

Роберт Грейвс Я, Клавдий. Божественный Клавдий

Я, Клавдий

...Повествование, которое подверглись самым различным искажениям не только теми, кто жил в те времена, но также и в последующие годы — это только верно, что все выдающиеся труды предаются сомнению и забвению — причем одни выдают за факты самые сомнительные слухи, другие — объявляют ложью то, что действительно имело место; последующими поколениями в обоих случаях допускались преувеличения.

Тацит

ОТ АВТОРА

Слово «золотой» употребляется здесь в значении общепринятой денежной единицы и соответствует латинскому aureus, монете, равной ста сестерциям или двадцати пяти серебряным динариям («серебряная монета»); это приблизительно то же, что английский фунт стерлингов или пять американских долларов. Римская миля на тридцать шагов короче английской. Даты на полях для удобства даны в современном летосчислении; по греческому летосчислению, используемому Клавдием, отсчет годов начинается от первой Олимпиады, которая происходила в 776 году до н. э. Из тех же соображений приводятся общепринятые сейчас географические названия; отсюда — Франция вместо Трансальпийской Галлии, так как Франция занимает приблизительно ту же территорию, а назвать такие города, как Ним, Булонь и Лион на современный лад, — их классические названия не будут узнаны широким читателем, — помещая их в Трансальпийскую Галлию, или, как ее именовали греки, Галатию, будет непоследовательно с моей стороны. (Греческие географические термины могут только запутать; так, Германия называлась у них «Страна кельтов».) Подобным образом в книге использовались наиболее привычные формы имен собственных — «Ливий» для Titus Livius, «Кинобелин» для Cunobelinus, «Марк Антоний» для Marcus Antonius.

Временами было трудно найти соответствующий аналог военных, юридических и других терминов. Приведу один-единственный пример со словом «ассагай» (метательное копьё с железным наконечником). Рядовой авиации Т. И. Шоу (которого я пользуюсь случаем поблагодарить за тщательную вычитку корректуры этой книги) сомневается в правильности употребления слова «ассагай» для передачи германского framea или pfreim. Он предлагает взять слово «дротик». Но я не принял его предложения, в отличие от всех прочих, за которые весьма признателен, так как «дротик» был нужен мне для перевода слова pilum — обычное метательное оружие регулярной римской пехоты, — а «ассагай» звучит более устрашающе и более подходит для оружия дикарей. Слово это у нас в ходу вот уже триста лет, а в девятнадцатом веке благодаря войне с зулусами стало еще употребительнее. Framea, копьё с длинными древками и железными наконечниками, использовались, согласно Тациту, и как метательное, и как колющее оружие. Точно таким же образом применяли ассагай зулусские воины, с которыми у германцев времен Клавдия было много общего в материальной культуре. Совместить утверждения Тацита об удобстве framea в ближнем бою и тем, будто бы ими было несподручно сражаться в лесу среди деревьев, можно, лишь сделав вывод, что германцы скорее всего

поступали так же, как и зулусы, а именно: отламывали конец длинного древка *framea*, когда начиналась рукопашная. Но до этого редко доходило, так как германцы предпочитали при столкновении с лучше вооруженной римской пехотой тактику молниеносных ударов и столь же молниеносного бегства.

В своем труде «Жизнь двенадцати цезарей» Светоний говорит, что «Истории» Клавдия написаны не так тяжеловесно, как бестолково. Однако, если некоторые абзацы этой книги написаны не только бестолково, но и тяжеловесно — неуклюжие фразы, неудачно построенные отступления, — это вполне соответствует стилю Клавдия, с которым мы знакомимся по дошедшим до наших дней отрывкам его речи на латыни относительно привилегий, дарованных им эдуям. В ней полно языковых погрешностей, но, возможно, перед нами просто копия официальной стенографической записи слов Клавдия, обращенных к сенату, — речь старого человека, добросовестно пытающегося выступить без подготовленного заранее текста, имея под руками лишь листок с набросанными наспех заметками. Книга «Я, Клавдий» написана разговорным слогом, да и сам греческий куда более разговорный язык, чем латынь. Найденное недавно письмо Клавдия александрийцам (на греческом), которое, однако, частично может принадлежать перу императорского секретаря, куда легче читать, чем речь к эдуям.

За исправление неточностей при передаче классических реалий я должен поблагодарить мисс Айлис Робертс, а за критические замечания по поводу стилистического соответствия английского текста поставленной задаче — мисс Лору Райдинг.

*Р. Г.
1934*

Глава I

Я, Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, и прочая, и прочая (не стану докучать вам перечислением всех моих титулов), которого некогда, и не так уж давно, друзья, родные и знакомые называли «идиот Клавдий», или «этот Клавдий», или «Клавдий-заика», или «Клав-Клав-Клавдий», или в лучшем случае «бедный дядя Клавдий», намерен написать историю своей не совсем обычной жизни, начиная с раннего детства, год за годом, пока не достигну того рокового момента, изменившего мою судьбу, когда восемь лет назад, в пятьдесят один год, я попал в — если можно так сказать — золотые сети, из которых до сих пор не могу выпутаться.

Это будет отнюдь не первая моя книга: по правде говоря, литература, а в особенности история — еще в юности я изучал этот предмет под руководством лучших историков Рима, — были, до того как наступила вышеупомянутая перемена, моей единственной профессией, единственным моим интересом в течение тридцати пяти лет. Поэтому читатели не должны удивляться тому, что я пишу как профессионал; книгу эту сочинил действительно я, Клавдий, а не мой секретарь и не официальный летописец, один из тех, кому общественные деятели имеют привычку верить свои воспоминания в надежде, что изящная форма восполнит убожество содержания, а лесть смягчит пороки. Клянусь всеми богами, у меня был лишь один секретарь — я сам, и сам я был своим летописцем: я пишу своей собственной рукой, и чего, спрашивается, я добьюсь у себя самого, если стану льстить сам себе? Могу добавить, что это даже не первая история моей жизни, написанная мной. Я уже написал восемь томов на эту тему в дар городскому архиву. Прескучная книга, которую я не ставлю ни в грош, но что было делать — положение обязывает. Честно говоря, я был в то время — два года назад — крайне занят другими делами. Первые четыре тома я продиктовал своему секретарю-греку и велел ему ничего не трогать

(разве что сделать фразу гармоничней или убрать противоречия и повторы). Но должен признаться, что вторая половина этой работы и несколько глав из первой были состряпаны этим самым секретарем, Полибием (которого еще мальчиком-рабом я так назвал в честь знаменитого историка), на основе данного ему мной материала. Он настолько точно скопировал мой слог, что никто бы не догадался, что там мое, что — его.

Повторяю, это прескучная книга. Я не мог позволить себе критиковать императора Августа, моего двоюродного деда по материнской линии, или его третью, и последнюю, жену Ливию Августу, мою бабу, потому что оба они были официально обожествлены, а я был связан с их культами в качестве жреца, и хотя мне ничего не стоило подвергнуть очень резкой критике недостойных преемников Августа на императорском троне, я воздержался от этого из соображений приличия. Было бы несправедливо оправдывать Ливию, да и самого Августа, который доверял и подчинялся этой удивительной и — не буду скрывать — чудовищной женщине, и рассказывать правду о двух других императорах, не находящихся под защитой нашего страха и благоговения перед богами.

Я сознательно сделал эту книгу скучной, запечатлев в ней лишь такие бесспорные факты, как, например, то, что такой-то женился на такой-то, дочери такого-то, который может похвалиться таким-то количеством почестей и наград, но не упоминал при этом политическую подоплеку этого союза или закулисные сделки между семьями. Или писал, что такой-то внезапно умер, поев африканских фиг, не обмолвясь и словом о яде или о том, кому эта смерть пошла на пользу, если только факты не были подтверждены решением уголовного суда. Я не лгал в этой книге, но и не говорил правды в том смысле, в каком намерен говорить здесь. Когда я на днях пошел на Палатинский холм в Аполлонову библиотеку и взял эту книгу, чтобы освежить в памяти кое-какие подробности и даты в главах, посвященных государственным событиям, мне встретились абзацы, относительно которых я мог бы поклясться, что их писал или диктовал я сам, — мой стиль не спутаешь ни с чьим другим, — но я абсолютно этого не помню. Если их автор — Полибий, то эти абзацы — пример на редкость ловкого подражания (не спорю, он мог изучать другие мои произведения), но если они все же написаны мной самим, значит, память у меня даже хуже, чем говорят мои враги. Перечитав последние строки, я вижу, что не столько снимаю с себя, сколько возбуждаю подозрение, во-первых, в том, единственный ли я автор этого труда, во-вторых, в том, можно ли мне верить как историку, и, в-третьих, в том, хорошо ли я помню факты. Но я не стану ничего менять; я пишу то, что чувствую, пишу своей собственной рукой, и чем дальше пойдет мой рассказ, тем менее у читателя будет оснований сомневаться, что я что-то утаил — слишком многое здесь будет не в мою пользу.

История эта останется в тайне. Но кому-нибудь же, могут меня спросить, я ее раскрою? Отвечаю: моя книга адресована потомкам. Я не имею в виду правнуков или праправнуков, я имею в виду очень далеких потомков. И все же я надеюсь, что вам, мои возможные читатели, которых отделяет от меня сто с лишним поколений, будет представляться, будто я обращаюсь непосредственно к вам, словно ваш современник, так точно, как давно почившие Геродот и Фукидид часто, кажется, обращаются ко мне. Но почему я указываю на таких отдаленных потомков? Сейчас объясню.

Чуть меньше, чем восемнадцать лет назад, я отправился в Кумы в Кампании чтобы посетить сивиллу в пещере горы Гавр. В Кумах всегда есть сивилла, потому что, когда одна умирает, ей наследует другая, ее прислужница, но не все они равно знамениты. Некоторым из них за все долгие годы их службы Аполлон так ни разу и не даровал права произнести прорицание. Другие пророчествуют, но, судя по той бессмыслице, которую они произносят, вдохновляет их не Аполлон, а Вакх, отчего в

прорицания вообще перестали верить. До того как сивиллой сделалась Деифоба, к которой часто обращался за советом Август, и Амалфея, которая все еще жива и весьма известна, в течение трехсот лет одна сивилла была хуже другой. Пещера их находится позади небольшого греческого храма, посвященного Аполлону и Артемиде, — Кумы были эолийской греческой колонией. Над портиком храма виден старинный золоченый фриз, приписываемый Дедалу, что явная нелепость, так как храму не больше пятисот лет, если не меньше, а Дедал жил по крайней мере тысячу сто лет назад. На фризе изображена история Тезея и Минотавра, которого Тезей убил в Лабиринте на Крите. Прежде чем я получил разрешение посетить сивиллу, я должен был принести на алтарь храма жертву Аполлону и Артемиде: первому — вола, второй — овцу. Стоял декабрь, погода была холодная. Пещера, вырубленная в толще скалы, вселяла ужас, подъем туда был крутой, извилистый и темный; к тому же там было множество летучих мышей. Я пошел переодетым, но сивилла узнала меня. Выдало меня заикание. В детстве я заикался очень сильно и хотя, следуя советам знатоков ораторского искусства, постепенно научился контролировать свою речь на официальных церемониях, в частной, не подготовленной заранее беседе я все еще, бывает, хотя и реже, чем раньше, спотыкаюсь от волнения о собственный язык: это и случилось со мной в Кумах.

Вскарабкавшись с трудом на четвереньках по крутой лестнице, я вошел во внутреннюю пещеру и увидел сивиллу, больше похожую на обезьяну, чем на женщину; она сидела на кресле в клетке, свисающей с потолка, на ней был красный плащ, немигающие глаза горели красным огнем в свете одного-единственного красного луча, падающего откуда-то сверху. Беззубый рот ухмылялся. Вокруг пахло смертью. Но я все же умудрился выжать из себя заранее приготовленное приветствие. Она ничего не ответила. Только спустя какое-то время я догадался, что это была лишь мумия Деифобы, предыдущей сивиллы, умершей не так давно в возрасте ста десяти лет; в глазницы ей были вставлены стеклянные шары, посеребренные сзади, чтобы они сверкали. Все сивиллы всегда жили вместе со своей предшественницей. Я простоял несколько минут перед Деифобой, дрожа и заискивающе улыбаясь, чтобы умиловить ее, — эти минуты показались мне вечностью. Наконец передо мной явилась настоящая сивилла, еще совсем молодая женщина по имени Амалфея. Красный луч погас, Деифоба исчезла (кто-то, наверно, прислужница, прикрыл окошечко из красного стекла), а сверху ударил новый луч света — белый — и осветил Амалфею, сидевшую в глубине темной пещеры на троне из слоновой кости. Ее безумное лицо с высоким лбом было прекрасно; она сидела так же неподвижно, как Деифоба. Глаза были закрыты. У меня подогнулись колени, и я с трудом проговорил:

— О, сив-сив-сив... — не в силах перестать заикаться.

Она открыла глаза, нахмурилась и передразнила меня:

— О, Клав-Клав-Клав...

Мне стало стыдно, я вспомнил, зачем я сюда пришел, и, сделав над собой усилие, сказал:

— О, сивилла, я пришел спросить тебя о судьбе Рима и своей собственной судьбе.

Постепенно ее лицо изменилось, ее охватил пророческий экстаз, тело ее задержалось, дыхание участилось, по всем уголкам пещеры пронесся вихрь, захлопали двери, у моего лица воздух со свистом рассекли чьи-то крылья, свет погас, и Амалфея голосом бога произнесла по-гречески следующее стихотворение:

Кто был Проклятьем поражен,
Кого томит монеты звон,
Недугом сломлен будет он:

Во рту личинки синих мух,
Глаза червивы, отнят слух,
Забытый, он испустит дух.

Затем, потрясая руками над головой, продолжала:

Десять лет промчат стремглав,
Дар получит Клав-Клав-Клав.
Он не рад ему, и прав:

Вкруг себя собравши знать,
Будет мямлить и мычать —
Что с придурочного взять...

Но пройдут за годом год
Лет, так, тыща девятьсот —
Всякий речь его поймет.

И тут бог расхохотался ее устами — прекрасный, но устрашающий звук: «Ха! Ха! Ха!» Я почтительно поклонился, поспешно повернул к выходу и заковылял прочь; на сломанной лестнице я растянулся, поранив лоб и колени, кувырком слетел вниз и еле живой выбрался наружу. Всю дорогу меня преследовал громоподобный смех.

Будучи профессиональным историком и жрецом, получив возможность изучать упорядоченные Августом Сивиллины книги и имея теперь опыт в расшифровке прорицаний, я могу интерпретировать эти стихи с известной долей уверенности. Под «Проклятьем» сивилла явно имела в виду проклятие небес, которое уже многие годы преследовало нас, римлян, за разрушение Карфагена. Именем наших главных богов, в том числе Аполлона, мы поклялись Карфагену в дружбе и защите, а затем, позавидовав тому, как он быстро оправился от бедствий, причиненных второй Пунической войной, обманом вовлекли его в третью Пуническую войну и полностью разрушили, истребив поголовно всех его обитателей и засеяв поля солью. «Звон монеты» — главное орудие этого Проклятья — безумная алчность, охватившая Рим, после того как он уничтожил своего главного соперника в торговле и сделался господином всех богатств Средиземного моря. Богатство повлекло за собой праздность, жадность, жестокость, бесчестность, трусость, изнеженность и все прочие, ранее не свойственные римлянам, пороки. Что это за «дар», которому я был не рад, — я получил его точно в указанный срок, — вы узнаете в свое время из этого повествования. Над словами о том, что спустя много лет всякий поймет мою речь, я ломал голову не один год, но теперь, думаю, наконец уразумел их смысл. Эти слова — повеление написать настоящую книгу. Когда я ее закончу, я пропитаю ее предохраняющим составом, запечатаю в свинцовый ларец и закопаю глубоко в землю, чтобы потомки могли выкопать ее и прочесть. Если я правильно понял сивиллу, это произойдет примерно через тысячу лет.

И вот тогда, когда все другие нынешние авторы, произведения которых доживут до тех дней, будут казаться заиками, а слог их хромым — ведь они пишут лишь для своих современников, притом с оглядкой, — моя книга расскажет обо всем ясно и без утайки. Возможно, поразмыслив, я не стану брать на себя труд запечатывать ее в ларец. Я просто оставлю ее где-нибудь — пусть лежит. Мой опыт историка говорит, что документы чаще сохраняются благодаря случаю, чем сознательным действиям. Аполлон напроорочил все это, пусть он и позаботится о рукописи. Как вы видите, я решил писать по-гречески, так как, по моему убеждению, греческий всегда будет

всеобщим языком литературы, а если Рим сгинет, как предсказала сивилла, то вместе с ним сгинет и латинский язык. К тому же греческий — язык самого Аполлона.

Я буду аккуратен с датами (которые, как вы видите, я выношу на поля) и с именами собственными. Мне даже вспоминать не хочется, сколько, работая над историей Карфагена и Этрурии, я провел мучительных часов, пытаюсь отгадать, в котором году произошло то или иное событие, действительно ли такого-то человека звали так-то или он был сыном, внуком, возможно, даже правнуком этого человека, а то и вовсе не состоял с ним в родстве. Постараюсь избавить будущих историков от подобных мук. Так, например, в моей книге есть несколько персонажей по имени Друз: мой отец, я сам, мой сын, мой двоюродный брат, мой племянник; всякий раз, что я буду упоминать это имя, я буду отмечать, — кого именно я имею в виду. Еще один пример: говоря о своем наставнике Марке Порции Катоне, я не оставлю никаких сомнений в том, что он не был ни Марком Порцием Катоном Цензором, развязавшим третью Пуническую войну, ни его сыном с тем же именем, известным знатоком законов и автором юридических трудов, ни его внуком-консулом, которого звали точно так же, ни правнуком с тем же именем, врагом Юлия Цезаря, ни праправнуком, убитым в битве при Филиппах, а был его абсолютно ничем не прославившимся прапраправнуком все с тем же именем, который никогда не занимал никаких высоких общественных постов да и не заслуживал их. Август сделал его моим наставником, а затем воспитателем молодых римлян из знатных семей и сыновей иноземных царей, ибо, хотя его имя давало ему право занимать самые высокие должности, его жестокость, глупость и педантизм не позволяли ему стать ничем, кроме простого учителя.

10 г. до н. э.

Чтобы определить время, когда происходили эти события, я думаю, самое лучшее будет сказать, что я родился в 774 году от основания Рима Ромулом и спустя семьсот шестьдесят семь лет после первой Олимпиады и что император Август, чье имя вряд ли будет забыто даже через тысячу девятьсот лет, к тому моменту уже двадцать лет правил Римом.

Прежде чем закончить эту вступительную главу, я должен добавить еще кое-что насчет сивиллы и ее прорицаний. Я уже говорил, что, когда одна сивилла умирает, ей наследует другая и что одни из них более известны, чем другие. Большой славой пользовалась Демофила, с которой советовался Эней, прежде чем спуститься в подземный мир. Известна также Герофила, которая явилась к царю Тарквинию и предложила купить у нее свиток с прорицаниями. Когда он отказался, так как цена показалась ему чересчур высокой, она, как говорит легенда, сожгла часть свитка и предложила ему купить то, что осталось, за прежнюю цену. Он опять отказался. Тогда Герофила сожгла еще кусок и снова предложила Тарквинию оставшееся по той же цене, и на этот раз царь из любопытства ей заплатил. Пророчества Герофилы были двух видов; во-первых, предупреждения о несчастье и прорицания благоприятных событий в будущем, во-вторых, указания о том, какие именно жертвы нужно принести богам, чтобы умиловить их при тех или иных предзнаменованиях. С течением времени к этим предсказаниям добавились примечательные и достоверные пророчества частным лицам. И когда в дальнейшем, согласно тем или иным знаменам, Риму угрожали бедствия, сенат приказывал жрецам, в ведении которых были свитки с прорицаниями, справляться в них, и там всегда находился ответ. Дважды свитки были частично уничтожены во время пожаров, и утраченные пророчества восстанавливались жрецами по памяти. Во многих случаях память им, по-видимому, изменяла, поэтому Август решил отобрать заслуживающие доверия тексты предсказаний, исключив из списков явные интерполяции и восстановленные тексты. Он также изъясил у населения и уничтожил все, какие только смог заполнить,

сомнительные частные собрания пророчеств, общим числом более двух тысяч. Просмотренные свитки прорицаний Август запер в ларец, поставленный под пьедесталом статуи Аполлона в храме, который он построил на Палатинском холме возле своего дворца. Спустя некоторое время после смерти Августа в мои руки попала уникальная книга из его личной исторической библиотеки. Она называлась «Сивиллины диковины: исключенные из канона пророчества, сочтенные жрецами Аполлона поддельными». Стихи были переписаны прекрасным почерком Августа, с теми типичными для него ошибками, которые он сперва делал по невежеству, а затем не исправлял из гордости. Большая часть этих стихов, судя по всему, не произносилась ни одной из сивилл, в экстазе или без него, и была сочинена безответственными людьми, которые желали прославить себя и свой род или навлечь проклятье на род соперников и для того приписывали божественное происхождение собственным фантастическим вымыслам. Я заметил, что род Клавдиев больше всех усердствовал по части таких подделок. Однако я нашел там два или три стихотворения, судя по их языку, сравнительно старых и, по-видимому, действительно вдохновленных богом, которые Август, чье слово было законом для жрецов Аполлона, не включил в канон из-за их вполне ясного и устрашающего смысла. У меня нет более этой книжицы. Но я помню слово в слово — да его и невозможно забыть — самое поразительное из этих, несомненно подлинных, предсказаний, записанных как по-гречески, так и, подобно большей части ранних пророчеств в каноне, в приблизительном переводе на латынь. Вот как оно звучит:

Минует век с Пунических войн —
К лохматому в рабство Рим попадет.
Лохматый сей, впрочем, будет лыс.
Одним он муж, а другим — жена.
Ему гарцевать на коне без копыт,
А жизни лишит его сын не сын,
И встретит он смерть не в бою.

И к власти придет лохматый второй,
Лохматому первому сын не сын.
Лохматый сей впрямь будет лохмат.
Он сделает мраморным глиняный Рим,
Но цепью невидимой свяжет его.
Погубит его жена не жена,
И рад будет гибели сын не сын.

Лохматый третий к власти придет,
Второму лохматому сын не сын.
И грязью покрыт, и кровью облит,
Лохматый сей, впрочем, будет лыс.
Победы и беды увидит с ним Рим.
А гибели рад будет сын не сын,
С подушкой вместо меча.

Четвертый лохматый к власти придет,
Лохматому третьему сын не сын.
Лохматый сей, впрочем, будет лыс.
Кошунства и яды увидит с ним Рим,
Погибнет же он от удара коня,
Что в детстве его носил.

Лохматый пятый к власти придет,
Он к власти придет, не желая ее.
Его недоумком считают вокруг.
Лохматый сей впрямь будет лохмат.
Он воду даст Риму и хлеб зимой,
Погубит его жена не жена,
И рад будет гибели сын не сын.

Шестой лохматый к власти придет,
Лохматому пятому сын не сын.
Он даст Риму пляски, пожар и позор,
Родительской кровью себя запятнав.
Лохматый седьмой не придет никогда.
Кровь хлынет из гроба ручьем.

Августу, должно быть, было ясно, что первый из «лохматых», то есть Цезарь (ведь слово «цезарь» означает «волосатый»), — его двоюродный дядя Юлий, усыновивший его. Юлий был лыс и прославился своим блудом — равно с женщинами и с мужчинами; его боевой конь, как гласит молва, был чудовищем с человеческими ступнями вместо копыт. Юлий вышел живым из многих боев и погиб наконец в сенате от руки Брута. А Брут, хотя и считался сыном другого человека, был внебрачным сыном Юлия. «И ты, дитя?» — сказал Юлий, когда тот бросился на него с кинжалом. О Пунических войнах я уже писал. Во втором из цезарей Август наверняка узнал себя. И действительно, глядя под конец жизни на великолепные храмы и общественные здания, воздвигнутые на месте прежних по его указу, и думая о том, как он всю жизнь старался укрепить и прославить Рим. Август похвалялся, что получил Рим глиняным, а оставляет его в мраморе. Но тех вещей строк, что касались его смерти, он, по-видимому, или не понял, или не поверил им, однако совесть не позволила ему уничтожить стихотворение. Кто были третий, четвертый и пятый «лохматые», станет ясно из моей истории, и я действительно буду недоумком, если, считая, что до сих пор прорицание во всех подробностях отвечает истине, не узнаю шестого «лохматого» и не порадуюсь за Рим, что шестому не наследует седьмой.

Глава II

Я не помню отца, умершего, когда я был ребенком, но в юности я пользовался всяким случаем получить сведения о его жизни и личности у кого только мог — сенатора, солдата или раба, которые знали его, — и желательно поподробней. Я начал писать его биографию как свою первую ученическую работу по истории, и, хотя бабка Ливия скоро положила ей конец, я продолжал собирать материал в надежде, что когда-нибудь смогу завершить свой труд. Я действительно закончил его — всего несколько дней назад, но даже сейчас будет бессмысленно пытаться представить эту биографию на суд широкой публики. Она настолько проникнута республиканским духом, что стоит Агриппинилле — моей теперешней жене — услышать о ее выходе в свет, как все экземпляры книги тотчас будут конфискованы, а мои незадачливые писцы пострадают из-за меня и моей опрометчивости. Хорошо, если им не переломают руки и не отрубят большой и указательный пальцы в знак ее особого благоволения. Как эта женщина ненавидит и презирает меня!

Отец всю жизнь был мне примером и повлиял на меня сильнее, чем кто-либо другой, не считая моего старшего брата Германика. А Германик был, по общему мнению, копией отца чертами лица, фигурой (за исключением тонких ног), смелостью,

умом и благородством, поэтому они сливаются у меня в сознании воедино. Если бы я мог начать это повествование рассказом о своих ранних годах, предварив его всего несколькими словами о родителях, я бы так, несомненно, и сделал, ибо генеалогия и семейные предания — скучная материя. Но я не могу не написать, и довольно подробно, о своей бабке Ливии (единственной, кто был в живых из родителей моих родителей при моем рождении), потому что, к сожалению, она является главным персонажем в первой половине этой истории, и если я не дам ясного представления о ее молодых годах, ее позднейшие поступки будут непонятны. Я уже упоминал, что она была замужем за императором Августом вторым браком после того, как развелась с моим дедом. Когда умер отец, она сделалась фактической главой нашего рода, заняв место моей матери Антонии, дяди Тиберия (официальной главы семьи) и самого Августа, чьему могущественному покровительству отец вверил нас, детей, в своем завещании.

Ливия, так же как и дед, была из рода Клавдиев, одного из самых старинных в Риме. Существует народная баллада, которую еще и до сих пор поют старики, где в припеве говорится, что на древе Клавдиев растут два вида фруктов: сладкие яблоки и кислица, и кислицы больше. К кислице неизвестный автор баллады причисляет Аппия Клавдия Гордого, который чуть не вызвал в Риме мятеж тем, что попытался сделать рабыней свободнорожденную девушку по имени Виргиния и овладеть ею, и Клавдия Друза, который в дни республики предпринял попытку стать царем всей Италии, и Клодия Красивого, который, когда священные цыплята не хотели клевать зерно, бросил их в море, вскричав: «Тогда пусть попьют!» — и из-за этого проиграл важное морское сражение. А в число сладких яблок автор баллады включает Аппия Слепого, который отговорил римлян вступать в опасный союз с царем Пирром, и Клавдия Пня, изгнавшего карфагенян из Сицилии, и Клавдия Нерона (что на сабинском диалекте означает «сильный»), который разгромил Гасдрубала, когда тот пришел из Испании, чтобы объединить свое войско с войском брата, великого Ганнибала. Эти трое были не только храбры и мудры, они были добродетельны. Автор баллады говорит также, что среди женщин рода Клавдиев тоже есть сладкие яблоки и кислица, и кислицы больше.

41 г. до н. э.

Мой дед был одним из лучших Клавдиев. Полагая, что Юлий Цезарь — единственный, у кого в ту тяжелую пору хватит силы обеспечить Риму мир и безопасность, дед присоединился к партии цезарианцев и храбро бился на стороне Юлия во время войны с Египтом. Но заподозрив, что Юлий стремится к личной власти, дед не пожелал содействовать его честолюбивым замыслам, хотя и не мог рискнуть пойти на открытый разрыв. Поэтому он попросил назначить его понтификом и был в этом качестве отправлен во Францию, чтобы основывать там колонии из солдат-ветеранов. Вернувшись после убийства Юлия, дед навлек на себя немилость молодого Августа, приемного сына Юлия, известного тогда под именем Октавиана, и его союзника, великого Марка Антония, тем, что осмелился предложить воздать почести тираноубийцам. Ему пришлось бежать из Рима. В смутах, которые последовали за тем, он примыкал то к одной партии, то к другой — в зависимости от того, какая, по его мнению, боролась за правое дело. Одно время он был на стороне молодого Помпея, затем воевал вместе с братом Марка Антония, сражался против Августа в битве при Перузии в Этрурии. Но, убедившись наконец, что Август, верный памяти приемного отца и обязанный отомстить за его убийство — долг, который он выполнил без всякой пощады, — однако не таит в душе желания стать тираном и хочет вернуть народу старинные вольности, дед перешел на его сторону и поселился в Риме с моей бабушкой Ливией и дядей Тиберием, которому было тогда два года. Он больше не участвовал в гражданских войнах, довольствуясь исполнением

обязанностей понтифика.

Бабка Ливия была одной из худших Клавдиев. Она вполне могла бы быть своей, перевоплотившейся в нее, тезкой и родственницей, той Клавдией, сестрой Клодия Красивого, которой было предъявлено обвинение в государственной измене, потому что однажды, когда ее карету задержала уличная толпа, она воскликнула: «Ах, если бы мой брат был жив! Он пустил бы в ход хлыст, быстро бы всех разогнал». Когда один из защитников народа («трибун» по-латыни) подошел и сердито велел ей замолчать, напомнив, что ее брат из-за своего богохульства потерял римский флот, — «Тем больше оснований желать, чтобы он был жив, — отпарировала она. — Он потерял бы еще один, а не то и, дай бог, два флота и немного уменьшил бы эту мерзкую толпу». И затем добавила: «Я вижу, ты — трибун, и твоя личность, по закону, неприкосновенна, но не забывай, что мы, Клавдии, не раз секли вас, народных защитников, и будь проклята твоя неприкосновенность!» Так же точно моя бабка Ливия отзывалась о римском народе в наши времена: «Чернь и рабы! Республика всегда была вздором. Что нужно Риму, так это царь». Так, во всяком случае, она говорила деду, доказывая ему, что Марк Антоний, Август (вернее сказать, Октавиан) и Лепид (богатый, но вялый патриций), управлявшие тогда римским государством, со временем поссорятся и, если он правильно поведет игру, использует свое положение понтифика и свою репутацию человека неподкупной честности, которой он славился у всех фракций, он может стать царем. Дед сурово велел ей замолчать — еще один совет в том же духе, и он с ней разведется (по старому обычаю муж мог отослать жену обратно к родителям без публичных объяснений, вернув принесенное ею приданое, но оставив себе детей). На это бабка ничего не возразила, сделав вид, будто подчиняется ему, но с этого момента их любовь умерла. Втайне от деда она тут же принялась обольщать Августа.

38 г. до н. э.

Это не составляло труда, так как Август был молод и легко поддавался женским чарам, а Ливия тщательно изучила его вкусы; кроме того, по всеобщему признанию, она была в то время одной из трех самых красивых женщин Рима. Она выбрала Августа, сочтя, что он будет лучшим орудием для достижения ее честолюбивых целей, чем Антоний, — Лепид вообще не шел в счет, — и не остановится ни перед чем, как показали проскрипции за два года до того, когда по личному приказу Августа две тысячи всадников и триста сенаторов, принадлежавших к враждебной фракции, были поголовно перебиты куда большим числом его сторонников. Увидев, что Август в ее руках, Ливия убедила его убрать Скрибонию — женщину старше него, на которой он женился из политических соображений, — сказав, будто ей известно, что Скрибония изменяет ему с близким другом моего деда. Август с готовностью поверил ей, не настаивая на подробных доказательствах. Он развелся со Скрибонией, хотя она ни в чем не была повинна, в тот самый день, когда та родила ему дочь Юлию, которую он отобрал у роженицы, прежде чем она успела взглянуть на дитя, и отдал жене одного из своих вольноотпущенников, чтобы та вскормила ее. Бабка, которой тогда было всего семнадцать, на девять лет меньше, чем Августу, пошла к деду и сказала ему:

— Теперь разводишься со мной. Я на пятом месяце беременности, и отец ребенка не ты. Я поклялась, что не рожу больше ребенка трусу, и намерена сдержать эту клятву.

Дед, что бы он ни почувствовал при этом признании, сказал только:

— Позови ко мне участника прелюбодеяния, и мы обсудим с ним все это без свидетелей.

На самом деле отцом ребенка был он сам, но дед этого не знал, и когда бабка заявила, что ребенок зачат другим, он принял ее слова на веру. Дед с удивлением

узнал, что обманул его не кто иной, как его мнимый, как оказалось, друг — Август, но пришел к заключению, что Ливия соблазнила его и он не устоял против ее красоты, а возможно, Август все еще имел на него зуб за некогда выдвинутое в сенате неудачное предложение наградить убийц Юлия Цезаря. Как бы то ни было, он ни в чем не упрекнул Августа и лишь сказал: «Если ты любишь эту женщину и женишься на ней как благородный человек, возьми ее, но пусть будут соблюдены приличия». Август обещал, что немедленно женится на Ливии и никогда не бросит ее, если она будет ему верна, поклявшись в том самыми страшными клятвами. И дед дал ей развод. Мне говорили, что он смотрел на ее связь с Августом как на наказание, ниспосланное ему богами за то, что однажды в Сицилии он по наущению бабки вооружил и поднял рабов против римских граждан, к тому же Ливия была из его собственного рода Клавдиев, и по этим двум причинам ему не хотелось публично ее позорить. Так что участвовал он в брачной церемонии через несколько недель после того и вручал Ливию ее будущему мужу, как сделал бы это отец, и пел со всеми свадебный гимн вовсе не из страха перед Августом. Когда я думаю о том, что дед нежно любил бабу и рисковал из-за своего великодушия быть обвиненным в трусости и сводничестве, я преисполняюсь восхищением перед его поступком.

Но Ливия не испытывала к нему благодарности, напротив, она пришла в ярость — ей показалось оскорбительным, что дед отнесся ко всему этому так спокойно и безропотно уступил ее, словно она ничего собой не представляла. И когда, спустя три месяца, Ливия родила ребенка, моего отца, она сильно разгневалась на сестру Августа Октавию, жену Марка Антония, — вторые мои дед и бабушка, — за ее эпиграмму, где говорилось, что родителям везет, когда у них родятся дети через три месяца после зачатия — до сих пор так быстро вынашивали плод только кошки и суки. Не знаю, действительно ли Октавия сочинила стишок, но если и так, Ливия заставила ее дорого за это заплатить. Я все же думаю, что автором эпиграммы была не она, ведь Октавия и сама вышла за Марка Антония в то время, когда была беременна от своего умершего мужа, а, как говорит пословица, свояк свояка видит издалека. Однако Марк и Октавия вступили в брак из политических соображений, и их союз был узаконен специальным указом сената, — здесь не было страсти с одной стороны и личного честолюбия с другой. Если спросят, как получилось, что коллегия понтификов согласилась признать законность брака Августа и Ливии, ответ прост: мой дед и Август оба были понтификами, а великим понтификом был Лепид, который все делал по указке Августа.

Как только отца отняли от груди, Август отослал его в дом деда, где его воспитывали вместе с дядей Тиберием, который был старше отца на четыре года. Когда дети подросли и стали что-то понимать, дед взял их воспитание в свои руки, а не отдал их наставнику, как было принято в те времена. Он упорно внедрял в них ненависть к тирании и преданность старинным идеалам справедливости, свободы и добродетели. Бабушка Ливия никак не могла примириться с тем, что сыновей забрали из-под ее опеки, хотя они ежедневно навещали ее во дворце Августа, находившемся по соседству с их родным домом на Палатинском холме, а когда она узнала, в каком духе дед их воспитывает, ее это сильно беспокоило.

33 г. до н. э.

Дед внезапно умер во время обеда с друзьями, и возникло подозрение, что его отравили, но дело это замяли, так как в числе гостей были Ливия и Август. В завещании дед просил Августа взять его сыновей под свое покровительство. Тиберий, которому в то время было всего девять лет, произнес на похоронах отца надгробную речь.

31 г. до н. э.

Август горячо любил свою сестру Октавию и был весьма огорчен, когда — вскоре после свадьбы — узнал, что Антоний, отправившись на Восток завоевывать Парфию, остановился по пути в Египте и возобновил свою связь с египетской царицей Клеопатрой. Еще больше он огорчился по поводу оскорбительного письма, полученного Октавией от Антония, когда она в следующем году покинула Рим, чтобы помочь ему в его военной кампании деньгами и солдатами. В письме, которое догнало ее на полпути, ей холодно приказывалось вернуться в Рим и заниматься домашними делами; однако деньги и солдат Антоний принял. Ливия в глубине души была всем этим очень довольна, так как уже в течение долгого времени прилагала усилия, чтобы посеять между Августом и Антонием вражду, а Октавия столь же усердно старалась все недоразумения сгладить. Когда Октавия вернулась в Рим, Ливия попросила Августа предложить ей оставить дом мужа и поселиться у них во дворце. Октавия отказалась отчасти потому, что не доверяла Ливии, отчасти потому, что не хотела быть причиной надвигающейся войны. Кончилось тем, что подстрекаемый Клеопатрой Антоний послал Октавии сообщение о разводе и объявил войну Августу. Это была последняя гражданская война, смертельный поединок между единственными двумя людьми, оставшимися на ногах — если я могу позволить себе эту метафору — после всеобщей баталии на всемирной арене. Правда, Лепид все еще был жив, но находился в заточении; у него не осталось ничего, кроме имени, и он был вынужден припасть к стопам Августа с мольбой о пощаде. Молодой Помпей, второе важное лицо империи, чей флот долгое время господствовал на Средиземном море, был к этому времени также побежден Августом, а затем взят в плен и убит Антонием. Поединок между Августом и Антонием оказался коротким. Антоний был наголову разбит в морской битве при Акции у берегов Греции. Он спасся бегством в Александрию, где покончил с собой, как и Клеопатра. Август присвоил все завоеванные Антонием земли на Востоке и сделался — к чему и стремилась Ливия — единственным правителем Римской державы. Октавия осталась верна интересам детей Антония — не только сына его первой жены, но даже трех детей Клеопатры, девочки и двух мальчиков, — и воспитывала их вместе со своими двумя дочерьми, одна из которых, Антония Младшая, стала моей матерью. Душевное благородство Октавии вызвало в Риме всеобщее восхищение.

Август управлял миром, а Ливия управляла Августом. Я должен здесь объяснить, чем была вызвана эта поразительная власть. Все всегда удивлялись, почему это у них нет детей, ведь бабка моя не была бесплодной, да и Август был, по слухам, отцом четырех детей, помимо Юлии, которая, без всякого сомнения, была его родной дочерью. Кроме того, все знали, что Август страшно влюблен в Ливию. Истинной причине их бездетности трудно поверить. А заключается она в том, что они так и не стали по-настоящему мужем и женой. Будучи вполне полноценным мужчиной с другими женщинами, Август оказывался бессильным, как ребенок, при сношениях, вернее, при попытке к ним, с моей бабкой. Единственным разумным объяснением этому может служить то, что Август был по природе благочестивым человеком, хотя опасности, подстерегавшие его после убийства его двоюродного деда Юлия Цезаря, вынудили Августа прибегать к жестокости и даже нарушать требования веры. Он знал, что его брак греховен, и мысль об этом, по-видимому, воздействовала на него, обуздывая его плоть.

Бабка, которой Август был нужен в первую очередь как орудие осуществления ее честолюбивых замыслов, а уж затем как любовник, была скорее рада его импотенции, чем сожалела о ней. Она увидела, что может использовать это как средство для подчинения его воли своей. Ливия бесконечно упрекала Августа за то, что он соблазнил ее и увел от любимого якобы мужа, уверяя ее в своей пылкой страсти и угрожая втайне деду, что, если он не отступится от жены, он поплатится за это как враг народа (последнее было полнейшей ложью). Да, говорила Ливия,

неплохо он ее обвел вокруг пальца! Страстный воздыхатель, оказывается, вообще не мужчина: любой нищий угольщик или раб больше мужчина, чем он! Даже Юлия не его дочь, и он это знает. Единственное, на что он способен, говорила она, это ласкать да гладить, целовать да закатывать глаза, как поющий евнух. Напрасно Август доказывал, что с другими женщинами он настоящий Геркулес. Ливия или отказывалась ему верить, или обвиняла его в том, что он расточает на других женщин то, чего лишает ее. Но, чтобы о них не сплетничали, она как-то раз сделала вид, будто беременна, а затем инсценировала выкидыш. Стыд и неутоленная страсть привязывали к ней Августа крепче, чем узы, которые возникли бы, если бы их взаимное влечение друг к другу удовлетворялось каждую ночь и Ливия народила бы ему дюжину прекрасных детей. Она очень заботилась о его здоровье и удобстве и оставалась ему верна, так как не была от природы чувственна и вожделела одного — власти, и Август был так ей за это благодарен, что позволил руководить собой во всех государственных и личных делах. Старые дворцовые слуги говорили мне по секрету, что после женитьбы на бабке Август даже не смотрел ни на одну другую женщину. Однако по Риму ходили всевозможные слухи о его связях с женами и дочерьми различных знатных людей, и после его смерти, объясняя, как ей удалось полностью завладеть его чувствами, Ливия не раз утверждала, будто причиной тому была не только верность, но и то, что она никогда не препятствовала его временным увлечениям. Я полагаю, она сама распускала все эти слухи, чтобы ей было чем его упрекнуть.

Если у кого-нибудь возникнет вопрос, есть ли у меня достаточные основания для этой любопытной истории, могу ответить. Первую ее половину, касающуюся развода, я слышал из уст самой Ливии в год ее смерти. Остальное, относительно импотенции Августа, я узнал от женщины по имени Брисеида, камеристки моей матери, которая прислуживала еще бабке, и, так как ей тогда было всего семь лет, при ней не стеснялись вести разговоры, которые, как они полагали, она не могла понять. Я считаю, что мой рассказ соответствует истине, и буду и дальше так считать, пока его не заменят другим, который так же хорошо будет отвечать фактом. На мой взгляд, строка в предсказании сивиллы о «жене не жене» подтверждает мое объяснение.

Увы, я сказал еще не все. Желая спасти доброе имя Августа, я умолчал о том, что все же сейчас расскажу. Ибо, как говорит пословица, шила в мешке не утаишь. Речь идет вот о чем. Ради того, чтобы укрепить свою власть над Августом, бабка Ливия по собственному почину предоставляла в его распоряжение красивых молодых женщин всякий раз, когда замечала, что его одолевает вожделение. Она устраивала это втайне, не говоря Августу ничего ни до, ни после, не давая волю ревности, которую она как законная жена должна была, по его убеждению, испытывать, и делала все тихо, не нарушая приличий, — молодых женщин, безмолвных в присутствии императора, словно духи, явившиеся ему во сне (Ливия сама выбирала их на сирийском невольничьем рынке, так как Август предпочитал сириек), проводили ночью к нему в спальню, подав сигнал стуком в дверь и позвякиванием цепи, а рано утром с таким же сигналом уводили. То, что Ливия улаживала это так заботливо и оставалась ему верна, несмотря на его бессилие, Август, должно быть, считал доказательством самой искренней ее любви. Вы можете возразить, что Август в его положении мог утолить свой аппетит без помощи Ливии в качестве сводницы — самые прекрасные женщины мира, будь то рабыни или свободнорожденные, девицы или замужние, были готовы его ублажить. Верно, но после женитьбы на Ливии ему, как он однажды сказал, ничего не лезло в горло, хотя, возможно, это могло, напротив, означать, что сама Ливия была несъедобна.

Так что у Ливии не было оснований ревновать Августа, разве что к своей золовке, моей второй бабке, Октавии, чья добродетель вызывала у всех такое же

восхищение, как ее красота. Ливии доставляло злобное удовольствие сочувствовать ей по поводу неверности Антония. Она дошла до того, что сказала, будто Октавия сама во всем виновата: нечего было так скромно одеваться и так чинно вести себя. Марк Антоний, указывала она, был человеком больших страстей, и, чтобы держать его в руках, женщина должна сочетать добродетель римской матроны с хитростями и уловками восточной куртизанки. Октавии надо было последовать примеру Клеопатры; египтянка, хоть и была старше Октавии на восемь лет и уступала ей в красоте, знала, как разжечь и как утолить похоть Антония. «Такие люди, как он, настоящие мужчины, предпочитают пикантное полезному, — нравоучительно заключала Ливия. — Для них червивый зеленый сыр вкуснее свежего творога». «Держи своих червей при себе!» — вспыхивала Октавия.

Сама Ливия одевалась очень богато и употребляла самые дорогие восточные духи, но в домашнем хозяйстве не допускала никакой расточительности и вела его, как она хвалилась, в старинном римском духе по следующим правилам: простая, но обильная пища, регулярные семейные богослужения, никаких горячих ванн после еды, постоянная работа для всех и суровая экономия. Под «всеми» понимались не только рабы и вольноотпущенники, но и каждый член семьи. Бедняжка Юлия, тогда еще девочка, должна была подавать пример прилежания. Она вела очень тоскливую жизнь. Каждый день она чесала и пряла шерсть, ткала пряжу и занималась рукоделием; даже в зимние месяцы ее поднимали с жесткой постели до рассвета, чтобы она успела выполнить все свои задания. А поскольку мачеха считала, что девушки должны получать широкое общее образование, Юлии было велено, помимо всего прочего, выучить наизусть гомеровские «Илиаду» и «Одиссею».

Юлия должна была также для удобства Ливии вести дневник, где записывалось, какую она сделала работу, какие прочитала книги, какие вела разговоры и так далее, что было для девушки большим бременем. Ей не разрешалось заводить знакомство с мужчинами, хотя те не раз поднимали чаши в честь ее красоты. Один юноша из старинного рода, сын консула, известный безупречным поведением, набрался смелости представиться ей однажды в Байях под каким-то учтивым предлогом, когда она совершала свою ежедневную получасовую прогулку у моря в сопровождении одной лишь дуэньи. Ливия, завидующая красоте Юлии и любви к ней Августа, отправила юноше очень суровое письмо, где говорилось, что ему нечего и ждать какого-либо общественного поста от отца девушки, чье доброе имя он пытался запятнать своим недопустимо фамильярным поступком. Саму Юлию также наказали — не разрешили выходить за пределы сада при вилле. Примерно в это время Юлия совершенно облысела. Я не знаю, приложила ли к этому руку Ливия, вполне возможно, что да, хотя, спору нет, в роду Цезарей все рано лысели. Так или иначе, Август нашел египетского мастера, который сделал ей великолепный белокурый парик, так что ее несчастье не только не уменьшило, а, напротив, усилило ее чары — свои волосы были у нее не очень хороши. Говорили, будто парик сделан не так, как обычно, на волосной сетке, а представляет собой целый скальп, соданный с головы дочери одного из германских вождей и пригнанный по голове Юлии; а чтобы он оставался живым и мягким, в него время от времени втирали специальную мазь. Но должен сказать, что я этому не верю.

Все знали, что Ливия держит Августа в строгости, пусть и не в страхе, и он старается ни в коем случае ничем не обидеть ее. Однажды Август в качестве цензора выговаривал нескольким богатым римлянам за то, что они разрешают своим женам увешивать себя драгоценностями.

— Женщине не подобает, — сказал он, — слишком богато одеваться. Долг мужа — отвратить жену от роскоши.

Увлеченный собственным красноречием, он, к сожалению, добавил:

— Мне иногда приходится журить за это собственную жену.

С уст провинившихся сорвался восторженный крик:

— О, Август, — воскликнули они, — скажи нам, какими именно словами ты журишь Ливию? Это послужит нам образцом.

Август был смущен и напуган.

— Вы неправильно меня поняли, — промолвил он, — я вовсе не говорил, что у меня когда-либо был повод упрекать Ливию. Как вы все прекрасно знаете, она образец женской скромности. Но я, разумеется, не колеблясь сделал бы ей замечание, если бы она забыла свое достоинство и по примеру ваших жен нарядилась подобно александрийской танцовке, которая, благодаря капризу судьбы, стала вдовствующей царицей Армении.

В тот же самый вечер Ливия не преминула поставить Августа на место, явившись к обеду в самом фантастически роскошном одеянии, какое только смогла найти, — его основной частью было одно из платьев Клеопатры для торжественных церемоний. Но Август хорошо вышел из неловкого положения, похвалив Ливию за остроумную и своевременную пародию на тот недостаток, который он порицал.

Ливия стала умнее с тех пор, когда она советовала моему деду надеть на голову венец и объявить себя царем. Титул «царь» все еще вызывал ненависть в Риме из-за непопулярной династии Тарквиниев, с которой, согласно легенде, покончил первый Брут (я называю его так, чтобы вы не спутали его со вторым Брутом, убившим Юлия Цезаря), изгнав царскую фамилию из Рима и став одним из первых двух консулов римской республики. Ливия уже поняла, что до тех пор, пока Август будет держать кормило власти, с самим титулом можно и подождать. Следуя ее совету, Август постепенно сосредоточил в своих руках все высшие должности республики. Он был консулом, а когда передал консульские полномочия надежному другу, сделался принцепсом, что, хотя номинально считалось равным консульству, было на практике выше него, да и любого другого государственного поста. Под наблюдением Августа находились также все провинции, он назначал туда губернаторов, стоял во главе всех армий и имел prerogative набирать рекрутов, объявлять войну и заключать мир. Его избрали пожизненно народным трибуном Рима, что позволяло ему беспрепятственно пользоваться своими полномочиями, давало право накладывать вето на решения других должностных лиц и обеспечивало личную неприкосновенность. Титул «император», который означал просто «главнокомандующий», а в последнее время стал означать «верховный правитель», Август делил с другими удачливыми военачальниками. Он занимал также должность цензора, что давало ему власть над двумя главными сословиями: сенаторов и всадников; сославшись на то, что тот или иной член этих сословий совершил аморальный поступок. Август мог лишить его звания и связанных с ним привилегий, что считалось несмыслимым позором. В ведении Августа была государственная казна; предполагалось, что через определенные промежутки времени он будет делать отчеты, но никто ни разу не отважился потребовать ревизии, хотя всем было известно о постоянном «уплывании» денег из государственной казны в императорскую.

Таким образом, Август распоряжался армией, держал под контролем законы (ибо его влияние на сенат было таково, что сенаторы принимали все, что бы он ни предложил), государственные финансы и общественные нравы, к тому же пользовался личной неприкосновенностью. Август даже имел право приговаривать любого из римских граждан от пахаря до сенатора к смерти или пожизненному изгнанию. Последний высокий титул, который он присвоил себе, был титул великого понтифика, что позволяло ему подчинить своему влиянию всю религиозную систему Рима. Сенат был готов даровать Августу любой титул — только пожелай, — кроме титула «царь»; они бы и на это пошли, если бы не страх перед народом. Самому Августу хотелось бы зваться Ромулом, но Ливия отговорила его от этого. Она

доказывала ему, что Ромул был царем и поэтому принимать это имя опасно, к тому же он входил в число божеств — покровителей Рима, и если Август возьмет его имя, это могут счесть кощунством. (Думала-то она другое — что имя «Ромул» недостаточно хорошо. Кто он был? Обыкновенный вожак разбойников и один из второстепенных богов.) Поэтому, последовав ее совету, Август, звавшийся до тех пор Октавианом, дал знать сенату, что ему было бы приятно получить имя «Август». Его желание тут же было удовлетворено. Имя это в переводе означает «священный». Разве мог с ним сравниться обыкновенный титул «царь»?

Сколько царей платили дань Августу! Сколько их прошло в цепях за его триумфальной колесницей! Разве верховный царь далекой Индии, прослышав о славе Августа, не отправил в Рим послов с подарками — шелками и благовониями, рубинами, изумрудами и сардониксами, тиграми, впервые увиденными тогда в Европе, и Гермесом, знаменитым безруким мальчиком, умевшим делать необыкновенные вещи ногами, — чтобы умиловить его, и не просил Августа о дружбе и покровительстве? Разве Август не оборвал династию египетских царей, которая возникла не меньше чем за пять тысяч лет до возникновения Рима? А какие только чудовищные предзнаменования не возникали, когда произошло это роковое вмешательство в историю! Разве не доносился из туч лязг оружия, не шел кровавый дождь? Разве на главной улице Александрии не возникла вдруг гигантская змея, издавая неправдоподобно громкое шипение? Разве не явились людям призраки мертвых фараонов? Разве не хмурились их изваяния? Разве Апис, священный бык Мемфиса, не разразился слезами, жалобно мыча?.. Так моя бабка рассуждала сама с собой.

Большинство женщин вообще не честолюбивы, те немногие, кто честолюбив, не переходят границ дозволенного. Но Ливия была единственной в своем роде: ее честолюбие вообще не знало границ, и при этом она оставалась абсолютно хладнокровной и уравновешенной, делая шаги, за которые любую другую женщину сочли бы безумной. Даже я, имевший такую прекрасную возможность наблюдать за ней, лишь постепенно стал догадываться, и то в общих чертах, каковы ее настоящие планы. При всем том, когда это наконец полностью обнаружилось, я был потрясен. Но, пожалуй, все же лучше перечислить поступки Ливии в исторической последовательности, не задерживаясь подробно на ее скрытых мотивах.

По ее совету Август убедил сенат создать два новых божества, а именно: богиню Рому, олицетворяющую женскую душу римской империи, и полубога Юлия, воинственного героя, обожествленного Юлия Цезаря (то, что Юлий при жизни не отказался от божественных почестей, предложенных ему на востоке, было одной из причин его убийства). Август знал цену религиозным узам, связывающим провинцию с Римом, узам куда более крепким, чем страх или благодарность. Нередко случалось, что, прожив много лет в Египте или в Малой Азии, даже урожденные римляне начинали поклоняться местным богам и забывали своих собственных, становясь тем самым чужестранцами во всем, кроме имени. С другой стороны, Рим ввез к себе столько религий из завоеванных стран, предоставляя — и не только ради удобства приезжающих в Рим гостей — пришлым богам, таким, как Изида и Кибела, великолепные храмы в самом городе, что было вполне резонно и справедливо в обмен внедрить в чужих городах своих богов. Рома и Юлий должны были служить кумирами для тех жителей провинций, которые были римскими гражданами и не хотели забывать о своем национальном наследии.

Следующим шагом Ливии было организовать приезд делегаций от тех жителей провинций, которым не посчастливилось получить в Риме полное право гражданства, с просьбой дать им какого-нибудь римского бога, которому они могли бы смиренно и преданно поклоняться. По совету Ливии Август полусуто сказал сенату, что, хотя этим беднягам, само собой, невозможно разрешить поклоняться таким божествам,

как Рома и Юлий, нельзя их оставлять совсем без бога, пусть самого скромного. На это Меценат, один из приближенных Августа, с которым тот в свое время обсуждал целесообразность принятия имени Ромул, сказал: «Давайте дадим им бога, который хорошо приглядит за ними. Давайте дадим им самого Августа». Август несколько смутился, но признал, что предложение Мецената разумно. Почему бы не обратиться на пользу Риму укоренившийся у восточных народов обычай воздавать божественные почести своим правителям? А поскольку поклоняться всему сенату вряд ли возможно — не помещать же шестьсот статуй в каждом из их храмов, — единственным выходом для них было поклоняться тому, кто проводит в жизнь решения сената, первому среди равных, которым случайно оказался он сам. И сенаторы, чувствуя себя польщенными тем, что в каждом из них есть хоть одна шестисотая божества, дружно приняли предложение Мецената. В Малой Азии тут же были воздвигнуты храмы Августу. Правда, культ его стал распространяться сперва только в пограничных провинциях, которые были под прямым контролем императора; ни во внутренних провинциях, номинально находившихся под контролем сената, ни в самом Риме он не привился.

Август одобрял то, как Ливия воспитывает Юлию, как бережливо ведет домашнее хозяйство. У него самого были простые вкусы. Август не ощущал разницы между свежим оливковым маслом и последними прогорклыми выжимками, когда оливки в третий раз идут под пресс. Он носил одежду из домотканой ткани. Вполне справедливо считалось, что пусть Ливия и была фурией, если бы не ее неустанная деятельность, Август ни за что не смог бы выполнить взятую им на себя колоссальную задачу: вернуть Риму мир и безопасность, отнятые долгими и бедственными гражданскими войнами, в которых сам он, спору нет, сыграл такую роковую роль. Август трудился четырнадцать часов в сутки, но Ливия, как утверждали, все двадцать четыре. Она не только, как я уже упоминал, умело вела огромное домашнее хозяйство, но наравне с Августом участвовала во всех государственных делах. Полный отчет о правовых, социальных, административных, религиозных и военных реформах, которые они провели совместными усилиями, не говоря уж об общественных работах, которые они предприняли, о храмах, которые воздвигли, колониях, которые основали, занял бы много томов. И все же многие выдающиеся граждане Рима, принадлежавшие к старшему поколению, не могли забыть, что это, казалось бы, превосходное переустройство государства стало возможным лишь благодаря военному поражению, тайным убийствам и публичным казням почти всех тех, кто не подчинился нашей энергичной паре. Если бы их деспотизм не был замаскирован старинными формами «свободного» правления, Ливии с Августом ни за что не удалось бы надолго удержать власть в своих руках. Даже при существующих порядках нашлись претенденты на роль Брута — на жизнь Августа было совершено четыре покушения.

Глава III

Имя «Ливия» одного корня с латинским словом, означающим «злость». Моя бабка была превосходная актриса, и внешняя благопристойность ее поведения, острота ума и любезные манеры обманывали почти всех. Но никто по-настоящему ее не любил: злость внушает страх, а не симпатию. В ее присутствии обыкновенные беспечные и добродушные люди остро ощущали свои недостатки — она умела ткнуть пальцем в их слабые места. Я должен попросить прощения за то, что продолжаю писать о Ливии, но это неизбежно: как все честные римские историки, я пишу «от яйца до яблок», я предпочитаю наш тщательный метод, при котором ничто не упускается, методу Гомера и прочих греков, которые кидаются в самую гущу событий, а уж оттуда идут вперед или назад, как им вздумается. Не скрою, у меня

нередко возникала мысль переписать заново историю Троянской войны латинской прозой для наших более бедных граждан, не умеющих читать по-гречески, начав с яйца, из которого вылупилась Елена, и двигаясь глава за главой, пока не дойду до яблок, поданных на десерт на празднике в честь возвращения Улисса и его победы над женихами жены. В тех местах, где Гомер непонятен или умалчивает о чем-то, я бы обращался к более поздним поэтам или к более раннему повествованию жреца Дареса, которое, хоть и полно поэтических вымыслов, на мой взгляд, достовернее, чем рассказ Гомера, потому что Дарес лично принимал участие в войне, сперва на стороне троянцев, затем — греков.

Я однажды видел странную картину на внутренней стороне крышки старого кедрового сундука, привезенного, кажется, откуда-то из северной Сирии. Надпись по-гречески гласила: «Отрава царит над миром». А лицо Отравы, хотя и нарисованное за сто лет до рождения Ливии, было, бесспорно, ее лицом. В этой связи я должен написать о Марцелле, сыне Октавии от прежнего брака. Август, очень любивший Марцелла, усыновил его, задолго до положенного возраста назначал на административные посты и женил на Юлии. По общему мнению римлян, он намеревался сделать Марцелла своим преемником. Ливия не возражала против усыновления, напротив — искренно приветствовала этот шаг, дающий ей больше возможности завоевать любовь и доверие Марцелла. Ее привязанность к юноше ни у кого не вызывала сомнений. Именно Ливия посоветовала Августу назначать его раньше срока на высокие должности, и Марцелл, который знал об этом, был весьма ей благодарен.

Некоторые проницательные люди думали, что Ливия покровительствует Марцеллу, чтобы вызвать ревность Агриппы — второго после Августа человека в Риме. Хотя и низкого происхождения, он был старинным другом Августа и весьма удачливым военачальником и флотоводцем. До сих пор Ливия делала все возможное, чтобы заручиться его дружбой и поддержкой. Агриппа был честолобив, но до известных пределов, он никогда не осмелился бы соперничать с Августом, которым от души восхищался, и быть его доверенным министром являлось для Агриппы венцом желаний. К тому же он никогда не забывал о своем скромном происхождении, и изображая перед ним величественную патрицианку, Ливия оставалась хозяйкой положения. Его значение для Ливии и Августа не ограничивалось только его службой, преданностью и популярностью у народа и сената. Дело обстояло так: согласно выдумке самой Ливии, считалось, будто Агриппа в интересах всей нации следит за политическим курсом Августа. Во время знаменитых дебатов между Августом и его двумя ближайшими друзьями Агриппой и Меценатом, инсценированных в сенате после низвержения Антония, Агриппа действительно делал вид, будто не советует Августу присваивать себе единоличную верховную власть, но лишь для того, чтобы аргументы Мецената и восторженные просьбы сенаторов взяли верх над его возражениями. Тогда Агриппа заявил, что будет верно служить Августу до тех пор, пока его владычество не перестанет приносить пользу Риму и не перейдет в деспотию. С тех пор на него смотрели как на надежный оплот против тирании, и с чем соглашался Агриппа, с тем соглашалась нация. Так что теперь те же проницательные наблюдатели считали, что, разжигая зависть Агриппы к Марцеллу, Ливия играет с огнем, и все происходящее вызвало в Риме живейший интерес. Впрочем, возможно, привязанность Ливии к Марцеллу была притворной, и на самом деле она хотела побудить Агриппу убрать Марцелла со своего пути. Ходили слухи, будто один из приверженцев Агриппы и его родич предложил, что он затеет ссору с Марцеллом и убьет его, но Агриппа, хотя и был раздражен, как хотела того Ливия, оказался слишком благороден, чтобы принять его низкое предложение.

Никто не сомневался в том, что Август назначит Марцелла своим преемником и что тот не только унаследует его колоссальное богатство, но и монархию (как иначе я

могу это назвать?) в придачу. Поэтому Агриппа заявил, что при всей его преданности Августу — а он никогда не сожалел о своем решении поддерживать его, — существует одно, чего он как гражданин и патриот не может допустить, а именно: наследственной монархии. Но Марцелл к тому времени был почти так же популярен, как Агриппа, и многие юноши из знатных семейств, для которых вопрос «империя или республика?» давно казался теоретическим, старались снискать его расположение, надеясь получить от него почести и важные посты, когда он сменит Августа. Эта всеобщая готовность приветствовать преемственность единовластия, по-видимому, радовала Ливию, но в узком кругу она сказала, что в том прискорбном случае, если смерть заберет у них Августа или его обязанности станут для него слишком обременительны, ведение государственных дел до того момента, как их возьмет в свои руки сенат, должно быть возложено на более опытного человека, чем Марцелл. Однако Марцелл пользовался такой любовью Августа, что, хотя обычно приватные высказывания Ливии претворялись в публичные эдикты, в данном случае на ее слова не обратили внимания, и все больше людей добивалось благоволения Марцелла.

23 г. до н. э.

Проницательные наблюдатели задавались вопросом, как Ливия поступит при этих обстоятельствах, но удача, видимо, была на ее стороне: Август слегка простудился, болезнь его приняла неожиданный оборот, его лихорадило и рвало; во время этой болезни Ливия готовила ему еду собственными руками, но желудок его настолько ослаб, что ничего не мог удержать. С каждым днем Август терял силы и наконец понял, что находится на пороге смерти. Его не раз просили назвать имя наследника, но он воздерживался из страха перед политическими последствиями, а также потому, что гнал от себя мысль о собственном конце. Однако теперь он чувствовал, что долг предписывает ему это сделать, и попросил у Ливии совета. Он сказал, что болезнь лишила его способности здраво рассуждать, он согласится на любого преемника, в пределах разумного, которого она ему укажет. Поэтому она приняла решение за него, и Август не стал возражать. Затем Ливия позвала к его постели второго консула, городских судей и некоторых сенаторов и всадников в качестве представителей своих сословий. Август был слишком слаб, чтобы говорить, но протянул консулу реестр сухопутных и морских военных сил и официальный отчет о государственных доходах, а затем подозвал к себе кивком Агриппу и передал ему свой перстень с печаткой, тем самым молчаливо признав его своим наследником, пусть даже править ему надлежало в тесном сотрудничестве с консулами. Это было большой неожиданностью. Все думали, что выбран будет Марцелл.

И с этого момента Август стал таинственным образом поправляться, лихорадка спала, желудок начал принимать пищу. Однако в заслугу это поставили не Ливии, которая продолжала за ним ухаживать, а некоему доктору по имени Муза, у которого был безобидный пунктик относительно холодных примочек и холодных микстур. Август был так благодарен ему за его мнимые услуги, что наградил Музу золотыми монетами в количестве, равном его весу, а сенат это количество еще удвоил. И хотя Муза был вольноотпущенник, его произвели в ранг всадника, что давало ему право носить золотое кольцо и претендовать на общественные должности. Сенат же принял еще более нелепый декрет, по которому всех лекарей освобождали от налогов.

Марцелл крайне оскорбился тем, что его обошли. Он был очень молод, ему еще и двадцати не исполнилось. Предыдущие милости Августа привели к тому, что Марцелл переоценил как свои таланты, так и политический вес. Он попытался отыграться, ведя себя подчеркнуто грубо по отношению к Агриппе на публичном пиру. Агриппа, хотя и с трудом, сдержался, чтобы не ответить, но так как инцидент этот остался без последствий, сторонники Марцелла подумали, будто Агриппа его боится.

Они даже стали толковать между собой о том, что, если в ближайшие год-два Август не переменит свое решение, Марцелл силой захватит у него императорскую власть. Они вели себя так шумно и хвастливо, а Марцелл так мало делал, чтобы их обуздать, что между ними и приверженцами Агриппы то и дело возникали ссоры. Агриппу раздражала наглость «этого щенка», как он называл Марцелла, — разве не он, Агриппа, занимал чуть не все государственные посты, не он выиграл множество баталий? Но к его раздражению примешивался испуг. В результате всех этих стычек создавалось впечатление, что они с Марцеллом, вопреки приличиям, спорят, кто из них будет носить перстень с печаткой, когда Август умрет.

Агриппа был готов принести чуть не любую жертву, лишь бы не создалась видимость, будто он играет такую роль. Обидчиком был Марцелл, пусть он и выпутывается, как сумеет. Агриппа решил удалиться из Рима. Он отправился к Августу и попросил назначить его губернатором Сирии. Когда Август поинтересовался, чем вызвана его неожиданная просьба, Агриппа объяснил, что надеется в этом качестве заключить важное соглашение с царем Парфии. Он постарается вернуть полковых орлов и пленников, взятых у римлян тридцать лет назад, в обмен на царского сына, которого Август держал в Риме в качестве заложника. О ссоре с Марцеллом Агриппа не сказал ни слова. Августа и самого эта ссора весьма тревожила, но, раздражаемый между давней дружбой с Агриппой и слепой родительской любовью к Марцеллу, он не признался даже себе самому в том, как благородно поступает Агриппа, ибо тогда ему пришлось бы признаться в собственной слабости, и также промолчал. Он поспешил согласиться на просьбу Агриппы, сказав, что им очень важно получить обратно орлов и пленников, если кто-нибудь из них еще остался в живых, и спросил, когда Агриппа будет готов выехать. Агриппа обиделся, неправильно истолковав его поведение. Он подумал, будто Август рад избавиться от него, поверив, что он на самом деле соперничает с Марцеллом из-за престола. Агриппа поблагодарил Августа за то, что тот согласился на его просьбу, холодно заверил его в своей дружбе и верности и сказал, что готов отплыть хоть на следующий день.

Но отправился Агриппа не в Сирию. Он доплыл всего лишь до Лесбоса, послав предварительно в Сирию своих заместителей, чтобы те вместо него управляли провинцией. Агриппа знал, что его пребывание на Лесбосе будет расценено как ссылка за ссору с Марцеллом, но не поехал в Сирию, так как в противном случае это дало бы сторонникам Марцелла повод говорить, будто он поехал на Восток, чтобы собрать армию и пойти походом на Рим. Агриппа искренне верил, что Марцелл намерен узурпировать монархию, и льстил себя надеждой, что Августу скоро понадобятся его услуги. Лесбос отвечал его целям, так как находился недалеко от Рима. Агриппа не забыл о своем обещании и начал через посредников переговоры с царем Парфии, однако не торопился с их завершением. Требуется немало времени и терпения, чтобы заключить выгодную сделку с восточным правителем.

Марцелла избрали городским судьей — его первый официальный пост, — и он устроил по этому случаю великолепные публичные игры. Он не только приказал покрыть навесом от солнцепека и дождя все театры и увесить их роскошными тканями, но воздвиг на рыночной площади гигантский многоцветный шатер, что создавало великолепный эффект, особенно если смотреть изнутри, когда стены и крышу шатра пронизывали солнечные лучи. На это ушло баснословное количество красной, желтой и зеленой материи, которую после окончания игр разрезали на куски и раздали гражданам на одежду и постельное белье. Из Африки привезли для травли в амфитеатре множество диких зверей, в том числе львов. Был также бой между пятьюдесятью германскими пленниками и равным числом черных воинов из Марокко. Август взял на себя значительную часть издержек, так же как и Октавия, мать Марцелла. Когда Октавия появилась в торжественной процессии, ее приветствовали

столь оглушительными овациями, что Ливия с трудом сдержала слезы зависти и гнева. Через два дня Марцелл заболел. Симптомы его болезни были в точности такими же, как у Августа во время его последней болезни, так что, естественно, послали за Музой. Муза стал невероятно богат и известен, брал по тысяче золотых за визит и то приходил к больному из милости. Во всех случаях, когда болезнь не зашла слишком далеко, одного его имени было достаточно для немедленного исцеления, а люди ставили это в заслугу примочкам и микстурам, рецепт которых он держал в строжайшей тайне. Вера Августа в Музу была столь велика, что он не придавал особого значения болезни Марцелла. и игры продолжались. Но почему-то, несмотря на неослабный уход Ливии и самые холодные примочки и микстуры Музы, Марцелл умер. Горе Октавии и Августа было безгранично; весь Рим оплакивал эту смерть как общественное бедствие. Однако было немало рассудительных людей, которые не сожалели об исчезновении Марцелла. Они не сомневались в том, что умри Август, Марцелл попытался бы занять его место и между ним и Агриппой началась бы гражданская война, а теперь Агриппа был единственным реальным наследником. Но они не взяли в расчет Ливию, твердым намерением которой в случае смерти Августа было... Клавдий, Клавдии, ты же говорил, что не будешь упоминать о мотивах Ливии и обещал только перечислять ее поступки... твердым намерением которой было в случае смерти Августа продолжать править империей, избрав орудием для этого моего дядю Тиберия, а в помощь ему — моего отца. Надо только, чтобы Август усыновил их и они стали его наследниками, а уж это она провернет.

После смерти Марцелла ничто не мешало Тиберию жениться на Юлии, и планы Ливии легко могли бы осуществиться, если бы в Риме не вспыхнули политические беспорядки — толпа требовала восстановления республики. Когда Ливия попыталась обратиться к народу с дворцовой лестницы, ее закидали грязью и тухлыми яйцами. Августа в то время в Риме не было, он вместе с Меценатом объезжал восточные провинции; письмо Ливии нагнало его в Афинах. Она писала коротко, в спешке, что положение в Риме из рук вон плохо и что надо любой ценой добиться помощи Агриппы. Август тут же вызвал Агриппу с Лесбоса и стал умолять его по имя давней дружбы поехать вместе с ним в Рим и вернуть пошатнувшееся доверие народа. Но Агриппа слишком долго вынашивал обиду, чтобы быть сейчас благодарным Августу за то, что тот его наконец призвал. Гордость не позволяла ему пойти на примирение. За три года Август написал ему всего три письма, да и те в весьма официальном тоне, и не пригласил его обратно после смерти Марцелла. С чего бы ему помогать теперь Августу? На самом деле виновата в их разрыве была Ливия, она ошиблась в оценке политической ситуации и поторопилась отстранить Агриппу. Она даже намекнула Августу, что Агриппа, хоть и находится за пределами Рима, на Лесбосе, знает больше, чем многие другие, о таинственной и роковой болезни Марцелла; кто-то ей говорил, утверждала она, будто, когда Агриппе сообщили печальное известие, он не выказал ни удивления, ни скорби. Теперь Агриппа сказал Августу, что он давно не был в Риме и не в курсе политических дел, — вряд ли он сможет взять на себя то, о чем его просят. Август, опасаясь, что, в теперешнем своем настроении вернувшись в Рим, Агриппа скорее выступит в качестве поборника народных свобод, чем защитника единовластия, отпустил его, любезно выразив свое сожаление, и поспешно призвал Мецената, желая посоветоваться с ним. Меценат попросил разрешения переговорить с Агриппой от имени Августа, чтобы попытаться узнать, на каких условиях он выполнит то, чего от него хотят. Август ради всех богов умолял Мецената сделать это «быстрее, чем спаржа варится» (его любимое выражение). Поэтому Меценат отвел Агриппу в сторону и сказал:

— Ну, дружище, признайся, чего тебе надо. Я понимаю, ты считаешь, будто с тобой плохо обошлись, но, уверяю тебя, у Августа есть все основания полагать, что

ты в равной мере его обидел. Разве ты хорошо поступил, все от него скрыв? Ты оскорбил этим и его чувство справедливости, и его чувство дружбы к тебе. Если бы ты объяснил ему, что сторонники Марцелла поставили тебя в крайне неловкое положение, а сам Марцелл задел твою честь, — клянусь, Август ничего о том не знал до вчерашнего дня, — он сделал бы все возможное, чтобы уладить дело миром. Честно говоря, ты вел себя как капризный ребенок, который чуть что надувает губы, а Август отнесся к тебе как отец, который не склонен этому потакать. Ты говоришь, он писал тебе холодные письма? А твои что — были нежны? А как ты с ним попрощался? Я хочу стать между вами посредником, потому что, если разрыв будет продолжаться, это приведет всех нас к гибели. Вы оба горячо любите друг друга, и как же иначе, ведь вы — два величайших римлянина наших дней. Август сказал мне, что, стоит тебе выказать бывшее прямодушие, он с радостью возобновит вашу дружбу и будет с тобой в прежних отношениях и даже еще более близких.

— Он так сказал?

— Его собственные слова. Разреши мне передать Августу твои сожаления по поводу того, что ты оскорбил его, и объяснить, что все это было недоразумением и ты покинул Рим, так как думал, будто он знает о той обиде, которую Марцелл нанес тебе на пиру. И что теперь ты, со своей стороны, горячо стремишься загладить урон, который причинил вашей дружбе, и надеешься, что Август пойдет тебе навстречу.

Агриппа:

— Меценат, ты — прекрасный человек и настоящий друг. Скажи Августу, что я, как всегда, в его распоряжении.

Меценат:

— Передам это ему с величайшим удовольствием. И добавлю, что, по моему личному мнению, небезопасно посылать тебя в Рим, чтобы восстановить там порядок, не выказав каким-либо особым образом своего личного доверия.

Затем Меценат отправился к Августу.

— Я умаслил его. Он сделает все, что ты желаешь. Но, как ребенок, ревнующий отца к другому ребенку, он хочет быть уверенным в твоей любви. Я думаю, единственное, что его удовлетворит, — это твое согласие на его брак с Юлией.

Решать надо было быстро. Август вспомнил, что Агриппа и его жена, сестра Марцелла, были в плохих отношениях со времени ссоры с Марцеллом и что про Агриппу говорили, будто он влюблен в Юлию. Август жалел, что с ним нет Ливии, чтобы дать ему совет, но медлить было нельзя: если он сейчас обидит Агриппу, он никогда не сможет вернуть его поддержки. Ливия написала, что помощи Агриппы надо добиться «любой ценой», — это развязывало ему руки, он мог принимать те меры, какие считал нужными. Август снова послал за Агриппой, и они разыграли величественную сцену примирения. Если Агриппа согласится взять в жены его дочь, сказал Август, это будет для него, Августа, доказательством, что их дружба, которую он ценит превыше всего на свете, держится на крепкой основе. Агриппа ронял радостные слезы и просил прощения за свои проступки. Он попытается быть достойным любви и великодушия Августа, сказал он.

21 г. до н. э.

Агриппа вернулся вместе с Августом в Рим, немедленно развелся с женой и женился на Юлии. Брак этот вызвал у всех такое одобрение, а празднество, устроенное на широкую ногу, прошло с таким великолепием, что политические беспорядки тут же прекратились. К тому же в заслугу Августу поставили и то, что Агриппа успешно довел до конца переговоры о возвращении полковых орлов, которые официально передали Тиберию как личному представителю Августа. Орлы были священными предметами, более священными для римских сердец, чем мраморные статуи богов. Вернулось также несколько пленных, но после

тридцатидвухлетнего отсутствия их вряд ли стоило с этим поздравлять; большинство из них предпочло остаться в Парфии, где они прочно обосновались и взяли в жены местных женщин.

12 г. до н. э.

Ливия отнюдь не была довольна сделкой, заключенной с Агриппой, единственным плюсом которой был позор, навлеченный на Октавию разводом ее дочери. Но бабка скрывала свои чувства. Прошло девять лет, прежде чем они смогли обойтись без услуг Агриппы. Тогда он неожиданно умер в своем загородном доме. Август в то время был в Греции, поэтому не провели ни дознания, ни вскрытия. Агриппа оставил много детей: трех мальчиков и двух девочек; все они являлись законными наследниками Августа, и Ливия понимала, что Август вряд ли легко поступится их интересами ради ее сыновей. Как бы там ни было, Тиберий женился на Юлии, которая облегчила для Ливии дело тем, что влюбилась в него и умоляла Августа замолвить за нее словечко перед Тиберием. Август согласился только потому, что Юлия угрожала в противном случае покончить с собой. Тиберию была ненавистна сама мысль о женитьбе на Юлии, но он не осмеливался возражать. Он был вынужден развестись со своей женой Випсанией, дочерью Агриппы от первого брака, которую он страстно любил. Однажды, уже после женитьбы на Юлии, встретив Випсанию случайно на улице, Тиберий долго смотрел ей вслед с такой безнадежной тоской, что Август, услышав об этом, приказал, ради соблюдения приличий, больше встреч между ними не допускать. Челядь из того и другого дома должна была следить, чтобы Тиберий никогда больше не видел свою бывшую жену. Випсания вскоре вышла замуж за честлюбивого молодого патриция по имени Галл. Кстати, я чуть было не забыл упомянуть о женитьбе моего отца на моей матери Антонии, младшей дочери Марка Антония и Октавии. Это случилось в тот же год, когда заболел Август и умер Марцелл.

Мой дядя Тиберий принадлежал к числу дурных Клавдиев. Он был угрюмый, скрытный и жестокий, но существовало три человека, которые влияли на него и держали в узле эти черты его характера. Первый из них — мой отец, один из лучших Клавдиев, жизнерадостный, открытый и великодушный; второй — Август, честный, веселый и доброжелательный человек, который, хоть и не любил Тиберия, хорошо относился к нему ради его матери; и, наконец, — Випсания. Влияние моего отца ослабло, когда братья смогли по возрасту принять участие в военных кампаниях и были отправлены сражаться в разных частях империи. Затем наступила разлука с Випсанией, за чем последовало охлаждение Августа, обиженного плохо скрываемой неприязнью Тиберия к Юлии. Лишенный их влияния, Тиберий мало-помалу совсем морально опустился.

Я думаю, сейчас самое время описать его внешность. Это был высокий, черноволосый, белолицый мужчина грузного сложения, с широченными плечами и такими сильными руками, что он давил ими орехи и мог проткнуть насквозь зеленое яблоко с жесткой кожурой указательным и большим пальцем. Если бы движения его не были так медлительны, он мог бы стать чемпионом по кулачному бою. Однажды в дружеской схватке он голыми руками, без ремней с металлическими пластинами, убил приятеля ударом по голове, от которого у того раскололся череп. Ходил он слегка вытянув шею вперед, опустив глаза в землю. Тиберий был бы хорош собой, если бы не множество прыщей, глаза навывкате и нахмуренные брови. На статуях эти недостатки не видны, поэтому он кажется на редкость красивым. Говорил он мало и медленно, так что, беседуя с ним, людям не терпелось одновременно закончить за него фразу и ответить на нее. Но при желании Тиберий мог произнести эффектную публичную речь. Он рано облысел, а оставшиеся на затылке волосы носил длинными, как было в моде у древней знати. Он никогда не болел.

Тиберий не пользовался популярностью в римском обществе, зато был весьма удачливым полководцем. Он возродил ряд стародавних дисциплинарных взысканий, но, поскольку он не жалел себя во время походов, редко спал в палатке, пил и ел то же, что и все остальные, и всегда сам возглавлял атаки, солдаты предпочитали служить под его началом, а не под началом какого-нибудь добродушного и беспечного командира, полководческому искусству которого они не так доверяли. Тиберий никогда не улыбался солдатам и не хвалил их и часто перегружал работой и муштрой. «Пусть ненавидят меня, — сказал он однажды, — лишь бы повиновались». Он держал полковников и полковых офицеров в такой же строгости, как солдат, так что никто не мог пожаловаться на его пристрастность. К тому же служить под его командой было и выгодно, так как, захватив вражеские лагеря и города, он обычно отдавал их своему войску на разграбление. Тиберий с успехом вел войны в Армении, Парфии, Германии, Испании, Далмации, в Альпах и во Франции.

Мой отец, говорю еще раз, был одним из лучших Клавдиев. Такой же сильный, как его брат, он был куда красивее его, быстрее в речи и движениях и ничуть не менее удачлив как полководец. Он относился к солдатам как к римским гражданам, а следовательно, равным себе во всем, кроме ранга и воспитания. Ему было тягостно наказывать их, и он отдавал приказ, чтобы с нарушителями дисциплины, по возможности, боролись их товарищи, которым, надо полагать, дорого доброе имя своего подразделения. Отец объявил, что, если, по их мнению, солдаты сами не в силах образумить нарушителя — ибо он не разрешал им ни убивать виновных, ни калечить, и тем самым выводить их из строя, — нужно обратиться к полковым командирам, но он предпочел бы, чтобы его люди были судьями сами себе. Капитаны могли применять розги с разрешения полковых командиров, но только в тех случаях, когда преступление — такое, как трусость в бою или кража у товарищей — говорило о низости характера и делало экзекуцию уместной; подвергшихся порке солдат отец приказывал не брать больше в действующие войска и отправлять в обоз или канцелярию. Любой солдат, считающий, будто его товарищи или командиры вынесли ему слишком суровый приговор, мог обратиться к отцу лично, хотя он сомневался в том, что приговоры эти заслуживают пересмотра. Такая система действовала великолепно — отец сам был прекрасный воин и своим личным примером вселял в войска такое мужество, на какое, на взгляд других командиров, они были не способны. Однако вы понимаете, как опасно было солдатам, с которыми обращались подобным образом, служить потом у обыкновенных начальников. Тому, кто получил в дар независимость, нелегко с ней расстаться. Всякий раз, когда войска, служившие под командой отца, оказывались под командой дяди, дело кончалось неприятностями. Но и войска, служившие под началом дяди, в свою очередь, смотрели с презрением и подозрением на дисциплинарную систему отца. Они привыкли покрывать проступки друг друга и гордились тем, как ловко избегают разоблачения; и поскольку в дядиных войсках солдата могли высечь, например, за то, что он первым обратился к офицеру или говорил излишне свободно и вообще за любое проявление независимости, рубцы от розог служили скорее к его чести, чем к позору.

Самые большие победы отец одержал в Альпах, во Франции и Нидерландах, но особенно в Германии, где его имя, я думаю, никогда не будет забыто. Он всегда находился в самой гуще сражения. Его мечтой было совершить подвиг, лишь дважды совершенный в римской истории, а именно: своими руками убить командующего армией противника и снять с него личное оружие. Много раз казалось, что счастье улыбается ему, но жертва всегда ускользала. То его враг спасался с поля боя бегством, то, вместо того чтобы драться, сдавался в плен, то какой-нибудь услужливый рядовой первым наносит удар. Ветераны, рассказывая мне об отце, восхищенно посмеивались: «Да что говорить, сердце радовалось смотреть, как твой отец верхом на вороном коне играет в прятки с каким-нибудь германским вождем.

Порой сразит человек десять из его личной охраны, а они парни крепкие, пока доберется до знамени, а к тому времени хитрая птичка уже тью-тью». Те, кто служил под командой отца, горделиво хвалились тем, что он был первым римским военачальником, который прошел вдоль Рейна из конца в конец, от Швейцарии до Северного моря.

Глава IV

Мой отец не забывал уроков свободолюбия, которые давал ему его отец. Совсем маленьким мальчиком он поссорился с Марцеллом, бывшим на пять лет его старше, когда Август наделил того титулом «глава юношества». Он сказал Марцеллу, что титул этот пожалован ему только по случаю троянских игр («битва греков с троянцами», разыгранная на Марсовом поле двумя верховыми отрядами, состоящими из сыновей сенаторов и всадников) и не дает ему никакого права вершить суд над другими людьми, которое Марцелл присвоил себе с тех пор; что касается его лично, то он, как свободнорожденный римлянин, не намерен подчиняться такой тирании. Он напомнил Марцеллу, что почестей за победу удостоился не он, а Тиберий, возглавлявший отряд «противников», и вызвал Марцелла на поединок. Августа очень позабавила эта история, когда он о ней услышал, и с тех пор он шутливо называл моего отца не иначе как «свободнорожденный римлянин».

Всякий раз, что отец приезжал теперь в Рим, его возмущало все растущее раболепие перед Августом, которое он встречал на каждом шагу, и он стремился поскорее вернуться в армию. Исполняя обязанности одного из главных городских судей в то время, как Август и Тиберий были во Франции, отец не мог не видеть роста карьеризма и политических спекуляций, внушавших ему отвращение. Он сказал с глазу на глаз одному своему другу, от которого я это услышал много лет спустя, что в одной роте его солдат больше старого римского свободолюбия, чем у всех сенаторов, вместе взятых. Незадолго до смерти он написал Тиберию из лагеря во внутренних областях Германии горькое письмо в том же духе. Он писал, что молит небо, чтобы Август последовал славному примеру диктатора Суллы, который, будучи единственным хозяином Рима после первой гражданской войны — все его враги были или покорены, или умиротворены, — решил по своему усмотрению самые неотложные государственные дела, а затем сложил с себя полномочия и снова стал рядовым гражданином. Если Август не сделает в ближайшее время то же самое — а он всегда заявлял, что таково в конечном счете его намерение, — будет слишком поздно. Ряды старой знати, к сожалению, сильно поредели; проскрипции и гражданские войны унесли самых лучших и храбрых, а те, кто выжил, затерявшись среди новой знати — тоже мне знать! — с каждым годом все более ведут себя по отношению к Августу и Ливии как их личные рабы. Скоро Рим забудет, что такое свобода, и подпадет под тиранию, не менее жестокую и деспотическую, чем на Востоке. Не для того он сражался во многих утомительных кампаниях под верховным командованием Августа, чтобы способствовать подобному бедствию. Даже его любовь к Августу и глубокое восхищение тем, кто был ему вторым отцом, не удерживает его от выражения подобных чувств. Он спрашивал Тиберия, как он думает, не удастся ли им двоим убедить или даже принудить Августа покинуть свой пост. «Если он согласится, я буду питать к нему в сто раз большую любовь и смотреть на него с во сто раз большим восхищением, чем раньше, но должен, увы, сказать, что тайная и неправомерная гордость, которую наша мать Ливия испытывает от того, что пользуется через Августа верховной властью, будет для нас в этом деле самой большой помехой».

К несчастью, письмо это было передано Тиберию в присутствии Августа и

Ливии.

— Деша от твоего благородного брата! — провозгласил императорский гонец, протягивая ему пакет.

Тиберий, не подозревая о содержании письма, не предназначенного для глаз и ушей Ливии и Августа, попросил разрешения тут же прочитать его.

— Пожалуйста. — ответил Август. — но при условии, что ты прочтешь его вслух. — И выслал слуг из комнаты. — Ну же, не будем терять времени. Какие его последние победы? Мне не терпится все услышать. Письма твоего брата всегда хорошо написаны и так интересны, куда лучше твоих, мой дорогой мальчик, если ты простишь мне это сравнение.

Тиберий прочел несколько слов и сильно покраснел. Он попытался проскочить через опасную часть, но увидел, что безопасных в письме почти нет, разве что конец, где отец жаловался на головокружение от раны в висок и рассказывал о трудном марше к Эльбе. Странные предзнаменования, писал он, появились здесь в последнее время: ночь за ночью с неба дождем падают звезды, из леса доносятся непонятные звуки, похожие на женские рыдания, на рассвете через лагерь проехали на белых конях два богоподобных юноши в греческих одеждах, а у входа в его палатку появилась германская женщина больше человеческого роста и сказала ему по-гречески, чтобы он прекратил свое продвижение вперед, так как судьба повелевает ему остановиться. Тиберий читал, одно слово — здесь, другое — там, запинаясь, жаловался на неразборчивый почерк, снова принимался читать, снова запинаясь и наконец совсем остановился.

— В чем дело? — спросил Август. — Неужели ты ничего больше не можешь там разобрать?

Тиберий собрался с духом:

— Честно говоря, могу, но письмо это не стоит того, чтобы его читать. Судя по всему, мой брат был не совсем здоров, когда писал его.

Август сильно встревожился:

— Надеюсь, он не серьезно болен?

Но бабка Ливия, конечно, сразу догадалась, что в письме есть строки, которые Тиберий боится читать вслух, так как они касаются Августа или ее самой, и, сделав вид, будто материнская тревога заставила ее забыть о хороших манерах, выхватила письмо из рук Тиберия. Она прочитала его от начала до конца, сурово нахмурилась и протянула Августу, сказав:

— Это вопрос, который касается только тебя. Не мое это дело — наказывать сына, даже самого естественного, а твое, ты — его отец и глава государства.

Август перепугался, не понимая, что, собственно, произошло. Он прочитал письмо, но оно показалось ему если не заслуживающим неодобрения, то скорее за то, что вызвало гнев Ливии, чем за то, что касалось его самого. По правде говоря, если оставить в стороне некрасивое слово «принудить», Август в глубине души одобрял чувства, выраженные в письме, хотя оскорбление, нанесенное бабке, затрагивало и его, ведь выходит, что он позволяет ей склонять себя к тому, против чего восстает его здравый смысл. Спору нет, сенаторы стали обращаться к нему, членам его семьи и даже к его слугам с постыдным подобострастием. Это корбило Августа не меньше, чем моего отца, и он действительно еще перед поражением и смертью Антония публично обещал уйти на покой, когда у Рима не останется больше внешних врагов, и с тех пор не раз упоминал в своих речах о том счастливом дне, когда его задача будет наконец выполнена. Август устал от бесконечных государственных дел и от бесконечных почестей, он мечтал об отдыхе и безвестности. Но бабка и слышать ни о чем не хотела, она всякий раз говорила, что его задача не выполнена и наполовину и если он сейчас уйдет в отставку, это приведет лишь к междоусобице. Да, верно, он трудится, не жалея сил, но разве она, Ливия, не трудится еще более усердно, хоть и

не имеет за это от государства прямой награды. И не надо быть простачком: как только он сложит с себя полномочия и сделается частным лицом, что защитит его от преследования и изгнания, а быть может, и от худшей участи? А как насчет родичей тех, кто был им убит или покрыт позором? Думаешь, они не затаили в душе зла? Если он станет рядовым гражданином, ему придется отказаться от личной охраны, не только от армий. Пусть он согласится пробыть еще десять лет на своем посту, возможно, к концу этого времени положение изменится к лучшему. И Август каждый раз уступал и продолжал править. Он принимал привилегии монарха в рассрочку, сенат утверждал их на пятилетний или десятилетний срок, чаще — на десять лет.

Бабка сурово посмотрела на Августа, когда он кончил читать.

— Ну как? — спросила она.

— Я согласен с Тиберием, — мягко сказал Август. — Молодой человек, должно быть, болен. У него помутился разум от переутомления. Ты обратила внимание на последний абзац, где он пишет о последствиях ранения в голову и о всех этих видениях? Это ли не доказательство? Ему нужен отдых. Врожденное благородство его души нарушено передрягами военной кампании. Эти германские леса — неподходящее место для больного человека, не так ли, Тиберий? Ничто так не действует на нервы, как вой волков — я уверен, рыдания женщин, о которых он пишет, не что иное, как волчий вой. Не стоит ли сейчас, после того как он задал германцам хорошую взбучку — они не скоро ее забудут, — отозвать его в Рим? Мне будет приятно снова его повидать. Да, разумеется, надо, чтобы он вернулся. Ты ведь будешь рада, дражайшая Ливия, увидеть своего мальчику?

Бабка не ответила прямо. Она сказала, все еще хмурясь:

— А ты что думаешь, Тиберий?

Дядя был большим дипломатом, чем Август. Он лучше знал натуру своей матери. Он ответил так:

— Похоже, что брат действительно нездоров, но даже болезнь не оправдывает такое не подобающее сыну поведение и такое чудовищное безрассудство. Я согласен с тем, что его надо отозвать, чтобы объяснить, сколь гнусно иметь такие низкие мысли насчет своей преданной ему и неутомимой матери и сколь возмутительно вверять их бумаге и посылать с гонцом через вражескую страну. К тому же ссылка на Суллу прямо наивна. Как только Сулла отказался от власти, сразу начались гражданские войны и его реформам пришел конец.

Так что Тиберий вышел сухим из воды, но гнев его против брата был вполне искренний: разве тот не поставил его в поистине трудное положение?

Ливия задыхалась от ярости, ведь Август так легко пропустил мимо глаз нанесенные ей оскорбления, да еще в присутствии ее сына. В равной мере жестоко гневалась она на моего отца. Она знала, что, вернувшись, он скорее всего попытается привести в исполнение свой план — заставить Августа отказаться от власти. Она также увидела, что не сможет управлять через Тиберия, даже если ей удастся добиться для него права наследования, пока мой отец, пользующийся огромной популярностью в Риме, за спиной которого, к тому же, были все западные полки, только и будет ждать случая восстановить, пусть силой, народные свободы. А для нее верховная власть значила теперь больше, чем жизнь или честь: слишком многим она ей пожертвовала. Но Ливия умела скрывать свои чувства. Она сделала вид, будто разделяет мнение Августа — мой отец просто болен, и сказала Тиберию, что его приговор слишком суров. Однако она согласилась с тем, что отца надо немедленно отозвать из армии. Ливия поблагодарила Августа за то, что он великодушно пытался найти оправдание ее бедному сыну; она пошлет к нему своего личного лекаря, а с ним пакет чемерицы из Антикиры в Фессалии — лекарство, которое, как считалось, лучше всего помогает при душевных заболеваниях.

Лекарь отправился в путь на следующий день вместе с гонцом, который вез

письмо Августа. В письме тот дружески поздравлял отца с победами и сочувствовал ему по доводу раны в голову; в нем было также разрешение вернуться в Рим, выглядевшее скорее как приказ, и отцу стало ясно, что ему придется вернуться, хочет он того или нет.

Отец ответил через несколько дней и выразил Августу признательность за его доброту. Он писал, что вернется, как только ему разрешит здоровье, но письмо достигло его после небольшой неприятности: его конь упал под ним на всем скаку, придавил ему ногу, и он поранил ее об острый камень. Он признателен матери за ее заботу, за лекарство и за то, что она отправила к нему своего врача, чьими услугами он не замедлил воспользоваться. Но он опасается, что даже его широко известное искусство не сможет помешать ранению принять дурной оборот. В конце отец писал, что предпочел бы остаться на своем посту, но желание Августа для него закон, и, повторил отец, как только он поправится, он вернется в Рим. Сейчас он находится в лагере в Тюрингии возле реки Сааль.

9 г. до н. э.

Узнав эти новости, Тиберий, бывший в то время с Августом и Ливией в Павии, тут же попросил разрешения ухаживать за больным братом. Август ответил согласием, и, вскочив на коня, Тиберий лишь с небольшим эскортом помчался галопом на север, направляясь к самой короткой дороге через Альпы. Перед Тиберием лежало пятьсот миль пути, но он мог рассчитывать на частую смену лошадей на почтовых станциях, а когда он будет уставать от верховой езды, он прикажет заложить повозку и урвет несколько часов сна, не задерживая продвижения вперед. Погода благоприятствовала Тиберию. Он пересек Альпы и спустился в Швейцарию, затем последовал по главной дороге вдоль Рейна, ни разу не остановившись, чтобы поесть горячей пищи, пока не достиг поселения под названием Манхейм. Здесь он пересек реку и, повернув на северо-восток, поскакал по бездорожью в глубь враждебной страны. Когда к вечеру третьего дня он достиг цели своего путешествия, он был один — первый его эскорт давно отстал, да и новый, набранный в Манхейме, не смог за ним угнаться. Говорят, что на вторые сутки Тиберий проскакал от полудня до полудня двести миль. Он успел приветствовать моего отца, но не успел спасти ему жизнь: нога к этому времени была до бедра охвачена гангреной. У отца, хоть он и был при смерти, хватило самообладания приказать, чтобы Тиберию были оказаны в лагере все почести, положенные ему как главнокомандующему. Братья обнялись, и отец шепнул:

— Она прочитала мое письмо?

— Еще раньше, чем я, — простонал дядя Тиберий.

Больше они не разговаривали, лишь отец сказал со вздохом:

— У Рима жестокая мать, у Луция и Гая опасная мачеха.

Это были его последние слова, и вскоре дядя Тиберий закрыл брату глаза.

Я слышал все вышесказанное от Ксенофонта, грека с острова Кос, который в то время, еще совсем молодым, был полковым лекарем отца и весьма возмущался тем, что присланный бабкой врач отстранил его от лечения. Следует объяснить, что Гай и Луций были внуки Августа от Юлии и Агриппы. Он усыновил их еще в младенчестве. У них был еще один брат по имени Постум, названный так потому, что он родился после смерти отца, но его Август не усыновил и оставил ему имя Агриппы, чтобы было кому продолжать его род.

Лагерь, где умер отец, называли «Проклятый»; погребальная процессия с его телом проследовала торжественным маршем на зимние квартиры армии в Майнце на Рейне; дядя Тиберий как самый близкий родственник усопшего прошел весь путь пешком. Армия хотела похоронить отца здесь, но дядя отвез тело в Рим, где оно и было сожжено на колоссальном погребальном костре, воздвигнутом на Марсовом

поле. Август сам произнес надгробное слово, в частности он сказал: «Я молю богов сделать моих сыновей Гая и Луция такими же благородными и добродетельными людьми, как этот Друз, а мне даровать такую же безупречную смерть».

Ливия не знала, насколько она может доверять Тиберию. Когда он вернулся с телом брата, его сочувствие ей выглядело принужденным и неискренним, а когда Август пожелал себе такой же смерти, как у моего отца, она увидела на губах Тиберия мимолетную улыбку. Но Тиберий, который, по-видимому, уже давно подозревал, что мой дед умер насильственной смертью, твердо решил ни в чем не перечить матери. Часто обедая за ее столом, он чувствовал себя полностью в ее власти и делал все возможное, чтобы завоевать ее милость. Ливия понимала, что у него на уме, и ее это устраивало. Тиберий был единственный, кто догадывался, что она отравительница, и, судя по всему, намеревался держать свои догадки при себе. Своим образом жизни и поведением Ливия заставила забыть то, как скандально она вышла за Августа, и теперь считалась в Риме образцом добродетели в самом прямом и неприятном смысле этого слова. Чтобы утешить Ливию в ее потере, сенат принял решение поставить ее статуи в четырех общественных местах, а также, опираясь на юридическую фикцию, внес Ливию в число «матерей трех детей». По законодательству Августа матери трех и более детей пользовались особыми привилегиями, в частности при получении наследства, а старые девы и бесплодные женщины вообще были лишены права получать что-либо по завещанию, и то, что они теряли, шло их плодовитым сестрам.

...Клавдий, ты, старый зануда, еще дюйм-два, и кончится четвертый свиток твоей автобиографии, а ты даже не добрался до места своего рождения. Ну-ка, давай сразу же пиши об этом, а не то ты никогда не достигнешь и середины своей истории. Пиши: «Я родился во Франции, в Лионе, первого августа, за год до смерти моего отца». Вот так. У родителей было до меня шестеро детей, но, поскольку мать всегда сопровождала отца в военных походах, ребенок должен был быть очень выносливым, чтобы выжить. Ко времени моего рождения в живых остались только брат Германик, на пять лет старше меня, и сестра Ливилла, на год старше; оба они унаследовали великолепное здоровье отца. Я — нет. Еще до того как мне исполнилось два года, я раза три чуть не умер, и если бы после гибели отца мы не вернулись в Рим, маловероятно, что эта история была бы написана.

Глава V

В Риме мы жили в большом доме, принадлежавшем деду, который завещал его бабке. Дом стоял на Палатинском холме, рядом с дворцом Августа и воздвигнутым им храмом Аполлона, в портиках которого была библиотека, и неподалеку от храма богов-близнецов Кастора и Поллукса. (Это был старый храм, сделанный из бревен и дерна, и шестнадцать лет спустя Тиберий построил на его месте за свой счет великолепное мраморное здание, раскрашенное и позолоченное изнутри и обставленное с такой роскошью, словно это был будуар богатой патрицианки. Скорее всего, сделать это ему велела бабка Ливия, чтобы доставить удовольствие Августу. Тиберий не был религиозен и не любил бросать деньги на ветер). Холм был более здоровым местом, чем низина у реки, большая часть домов на нем принадлежала сенаторам. Я был очень болезненный ребенок, «форменное поле боя болезней», как говорили доктора, и, возможно, выжил я лишь потому, что болезни никак не могли столкнуться, какая из них удостоится чести свести меня в могилу. Начнем с того, что родился я семимесячным, раньше срока, молоко кормилицы плохо подействовало на мой желудок, и меня всего обсыпало противной сыпью; я перенес малярию и корь, после чего немного оглох на одно ухо, и рожистое воспаление, и колит, и, наконец, детский паралич, от которого у меня укоротилась одна нога, так что я был обречен

всю жизнь хромать. Из-за какой-то из этих болезней у меня сделались очень слабые колени, и до конца своих дней я не мог ни пробежать, ни пройти пешком даже небольшое расстояние, и меня обычно носили в носилках. Надо еще упомянуть об ужасной боли под ложечкой, которая часто пронзает меня после еды. Боль эта настолько сильна, что были два-три случая, когда, не вмешайся мои друзья, я бы всадил нож для нарезания мяса, который я, обезумев, хватал со стола, в самое средоточие своих мучений. Я слышал, что эта боль, которую называют «сердечный приступ», страшнее любой другой боли, известной человеку, кроме боли при затрудненном мочеиспускании. Что ж, я, верно, должен быть благодарен богам за то, что они избавили меня хотя бы от нее. Вы предположите, что моя мать Антония, прекрасная и благородная женщина, воспитанная в правилах строжайшей добродетели ее матерью Октавией и единственная страсть моего отца, нежно заботилась обо мне, своем младшем ребенке, и даже, жалея меня за все мои злключения, любила больше остальных детей. Отнюдь. Мать делала для меня все, что повелевал ей долг, но не больше. Она не только не любила меня, она питала ко мне отвращение как из-за моей хилости, так и потому, что я был причиной очень трудной беременности, а затем очень мучительных родов, — она едва осталась в живых, а потом много лет болела. Своим преждевременным появлением на свет я был обязан испугу, который она испытала на пиру, данном в честь императора, когда тот приехал к отцу в Лион, чтобы торжественно открыть там Алтарь Рому и Августа; мой отец был в то время губернатором трех французских провинций, и Лион служил ему штаб-квартирой. Безумный раб-сицилиец, прислуживавший за столом, внезапно выхватил кинжал и занес его сзади над головой отца. Этого никто не заметил, кроме матери. Она поймала взгляд раба, и у нее хватило самообладания улыбнуться ему и неодобрительно покачать головой, указывая, чтобы он убрал кинжал. Пока раб колебался, двое других слуг увидели, куда она смотрит, и успели скрутить ему руки и обезоружить его. После чего мать потеряла сознание, и у нее тут же начались схватки. Возможно, как раз из-за этого я испытываю патологический страх перед убийством, ведь говорят, что предродовой испуг может перейти по наследству. Но, пожалуй, нет оснований упоминать о каком-то внутриутробном воздействии. Много ли членов императорской фамилии умерли своей смертью?

Я был ласковым ребенком, и отношение матери причиняло мне много горя. Я слышал от своей сестры Ливиллы, красивой, но жестокой, тщеславной и властолюбивой девочки — словом, типичный образчик худших Клавдиев, — что мать называла меня «живым предостережением» и говорила, что, когда я родился, надо было обратиться за советом к сивиллиным книгам. И что природа начала меня лепить, но не кончила и с отвращением отбросила в сторону, отчаявшись в успехе. И что древние были мудрее нас и великодушнее: они оставляли хилых младенцев на голом склоне холма в дождь и ветер ради блага целой расы. Возможно, Ливилла приукрашивала менее жестокие замечания матери — хотя недоношенные дети действительно выглядят довольно страшно, — но я и сам помню, как однажды, рассердившись на какого-то сенатора, выдвинувшего глупое предложение, мать вскричала: «Этого человека следует убрать! Он глуп, как осел... Что я говорю? Ослы — разумные существа по сравнению с ним... он глуп, как... как, о боги! Он глуп, как мой сын Клавдий!»

Ее любимцем был Германик — правда, он был всеобщим любимцем, — но я не только не завидовал тому, что он возбуждал повсюду любовь и восхищение, я радовался за него. Германик жалел меня и делал все, что мог, чтобы жизнь моя стала счастливой, хвалил меня старшим, называл хорошим и добрым ребенком, который вознаградит их за великодушное и заботливое обращение. Строгость только пугает его, говорил он, и делает еще более хворым. И он был прав. Нервное дрожание рук, подергивание головы, заикание, слабый желудок, постоянная слюна в

уголках губ были, в основном, результатом тех ужасов, которым меня подвергали во имя дисциплины. Когда Германик заступался за меня, мать обычно нежно смеялась, глядя на него, и говорила: «Благородное сердечко. Доброта так и переполняет его. Найди для нее объект получше». Но бабка Ливия говорила иначе: «Не болтай глупости, Германик. Если Клавдий будет подчиняться дисциплине, мы станем относиться к нему с добротой, которую он этим заслужит. Ты ставишь все с ног на голову». Бабка редко обращалась ко мне, а если и обращалась, то, не глядя на меня, говорила презрительным тоном чаще всего одно и то же: «Выйди из комнаты, мальчик, здесь буду я». В том случае, если она желала побранить меня, она никогда не делала это устно, но посылала мне короткую, холодную записку, например: «Нам стало известно, что мальчик Клавдий тратит зря время, болтаясь в библиотеке Аполлона. Пока он не научится извлекать пользу из простейших учебников, которые ему дают учителя, бессмысленно совать нос в серьезные труды на полках библиотеки. К тому же он беспокоит настоящих читателей. Этому должен быть положен конец».

Что до Августа, то, хоть он никогда не относился ко мне с преднамеренной жестокостью, он так же, как бабка Ливия, не любил бывать со мной в одной комнате. Он не чаял души в маленьких мальчиках (сам оставаясь большим мальчиком до конца своих дней), но только в таких, кого он называл «славные малые», вроде его внуков Гая и Луция и моего брата Германика — все они были на редкость хороши собой. В Риме жили сыновья союзных царей и вождей — из Франции, Германии, Парфии, Северной Африки, Сирии, — которых держали в заложниках, чтобы обеспечить покорность их родителей. Они учились вместе с внуками Августа и сыновьями ведущих сенаторов в Школе для мальчиков; Август часто приходил туда и играл с ними в галереях в шарики, бабки или пятнашки. Его любимцами были смуглые мальчики — мавры, парфяне или сирийцы — и те, кто весело болтал с ним о чем попало, словно Август был одним из них. Только раз он попытался преодолеть свое отвращение ко мне и разрешил поиграть в шарики со своими любимцами, но попытка эта была столь противоестественна, что я еще сильнее разнервничался и стал заикаться и трястись, как безумный. Больше он этого не делал. Август терпеть не мог карликов, калек и уродцев, говоря, что они приносят несчастье и их надо убирать с глаз долой. И все же я никогда не питал к нему ненависти, как к бабке Ливии. Ведь в его неприязни ко мне не было озлобления, и он всячески старался ее преодолеть; что скрывать, я действительно был жалким маленьким монстром, позором для такого сильного, пышущего здоровьем отца и для такой красивой и величавой матери. Август и сам был хорош собой, хотя не очень высок: у него были кудрявые белокурые волосы, поседевшие лишь к концу его жизни, блестящие глаза, веселое лицо и прекрасная осанка.

Я помню, как однажды случайно услышал эпиграмму на греческом языке, сочиненную Августом на мой счет и прочитанную Афинодору, философу-стоику из Тарса в Киликии, простому, серьезному человеку, к которому Август часто обращался за советом. Мне было тогда около семи лет, и они наткнулись на меня возле садка для карпов в нашем саду. Эпиграмма не сохранилась у меня в памяти слово в слово, но смысл ее был таков: «Антония старомодна, она не тратит лишних денег и не покупает себе на забаву мартышек у торговцев с Востока. А почему? Потому, что рождает мартышек сама». Афинодор подумал немного и сурово ответил в том же размере:

— «Антония не только не покупает себе на забаву мартышек у торговцев с Востока, но даже не ласкает и не кормит сладостями бедняжку сына, рожденного от ее благородного мужа».

Август смешался. Надо вам объяснить, что ни он, ни Афинодор, которому меня всегда представляли дурачком, не догадывались, что я их понимаю. Поэтому

Афинодор притянул меня к себе и шутливо сказал по латыни:

— А что думает по этому поводу юный Тиберий Клавдий?

Меня прикрывал от Августа массивный торс Афинодора, и я, почему-то вдруг перестав заикаться, выпалил по-гречески:

— Моя мать Антония не балует меня, но она позволила мне выучиться греческому у той, кто сама научилась у Аполлона.

Я хотел сказать всего лишь, что понял, о чем они говорили. Греческому меня научила женщина, которая была раньше жрицей Аполлона на одном из греческих островов, но попала в плен к пиратам, продавшим ее содержателю публичного дома в Тире. Ей удалось бежать, но она не могла больше быть жрицей, так как в неволе ей пришлось быть проституткой. Моя мать Антония, познакомившись с ее дарованиями, взяла ее к детям воспитательницей. Эта женщина часто говорила, что научилась всему от Аполлона, и я просто процитировал ее, но так как Аполлон был богом учения и поэзии, мои слова прозвучали куда остроумнее, чем я предполагал. Август был поражен, а Афинодор заметил:

— Хорошо сказано, малыш Клавдий. Мартышки не понимают ни одного слова по-гречески, верно?

Я ответил:

— Да, у них длинные хвосты, и они таскают яблоки со стола.

Однако когда Август принялся нетерпеливо меня расспрашивать, я снова смутился и стал заикаться так же сильно, как и всегда. Но с тех пор Афинодор сделался моим другом.

Существует история про Афинодора и Августа, которая им обоим делает честь. Как-то раз Афинодор сказал Августу, что он ведет себя неосторожно, допуская к себе кого попало: как бы ему не получить удар кинжалом в грудь. Август отвечал, что все это глупости. На следующий день Августу доложили, что прибыла его сестра, госпожа Октавия, по поводу годовщины смерти их отца и хочет приветствовать его. Август приказал немедленно ее впустить. Октавия была неизлечимо больна — в том самом году она умерла, — и ее всегда носили в занавешенных носилках. Когда носилки внесли, занавеси раздвинулись, оттуда выскочил Афинодор с мечом в руке и приставил меч к сердцу Августа. Август не только не рассердился, но поблагодарил Афинодора и признал, что он был неправ, когда отмахнулся от его предупреждения.

Кстати, не забыть бы рассказать вам об одном необыкновенном событии, случившемся в моем детстве однажды летом, когда мне исполнилось восемь лет. Моя мать, брат Германик, сестра Ливилла и я поехали в гости к тете Юлии в ее прекрасный загородный дом на самом берегу моря в Антии. Было около шести часов вечера, и мы сидели в винограднике, наслаждаясь свежим ветерком. Юлии с нами не было, но в компанию входили сын Тиберия Тиберий Друз — тот самый, которого мы потом всегда звали Кастор, — и дети Юлии — Постум и Агриппина. Внезапно мы услышали над головой громкий скрипучий крик. Мы взглянули вверх и увидели, что в небе дерутся орлы. Вниз летели перья. Мы пытались схватить их. Германик и Кастор оба поймали по перу, до того как они упали на землю, и воткнули себе в волосы. У Кастора было маленькое перышко из крыла, а у Германика — великолепное хвостовое перо. Оба пера были запятнаны кровью. Капли крови попали на поднятое вверх лицо Постума и платья Ливиллы и Агриппины. Вдруг по воздуху пронесся какой-то темный предмет. Сам не знаю почему, я приподнял подол своей тоги и поймал его. Это был крошечный волчонок, напуганный и раненый. Орлы устремились вниз, чтобы отобрать свою добычу, но я надежно спрятал волчонка, и, когда мы стали кричать и кидать в них палки, орлы растерянно поднялись вверх и с громким криком улетели. Я не знал, что делать. Волчонок мне был не нужен. Ливилла схватила его, но мать очень серьезно велела ей отдать волчонка обратно.

— Он упал к Клавдию, — сказала она, — у него он и должен быть.

Затем она спросила старого патриция, члена коллегии авгуров, который был с нами:

— Скажи мне, что это предвещает?

Старик ответил:

— Трудно сказать. Это может иметь очень важное значение или не иметь никакого.

— Не бойся, скажи, о чем, по-твоему, это говорит.

— Сперва отошли детей, — сказал он.

Я не знаю, дал ли он то толкование, которое вы волей-неволей будете вынуждены принять, когда прочитаете мою историю. Знаю только, что в то время как все остальные дети отошли подальше — милый Германик нашел еще одно орлиное перо в кусте боярышника для меня, и я гордо втыкал его себе в волосы, — Ливилла, которая всюду совала свой нос, забралась за живую изгородь из шиповника и кое-что подслушала. Громко рассмеявшись, она прервала старика:

— Несчастный Рим — он его защитник! Да помогут мне боги до этого не дожить!

Авгур повернулся к ней и погрозил ей пальцем:

— Дерзкая девчонка! — сказал он. — Не сомневайся, боги выполнят твою просьбу, да так, что это вряд ли придется тебе по вкусу.

— Ты будешь заперта в комнате без еды, девочка, — сказала мать.

Когда я теперь припоминаю эти слова, они тоже звучат зловеще. Ливиллу продержали взаперти до самого отъезда. Чего только она ни придумывала, чтобы выместить на мне злость! Но она не могла пересказать слов авгура, потому что поклялась именем Весты и наших домашних пенатов, пока хоть один из нас жив, не говорить о предзнаменовании ни прямо, ни окольным путем. Нас всех заставили дать эту клятву. Поскольку уже много лет я — единственный из тех, кто там был, оставшийся в живых (моя мать и авгур пережили остальных, хотя и были всех старше), я больше не обязан молчать. Какое-то время после того я замечал, что мать глядит на меня с любопытством, чуть ли не с почтением, но обращалась она со мной, как всегда.

Мне не разрешили ходить в Школу для мальчиков: из-за слабых ног я не смог бы участвовать в гимнастических упражнениях, составлявших основную часть образования, из-за своих болезней я отстал от остальных, а моя глухота и заикание служили помехой занятиям. Поэтому я редко бывал в компании мальчиков своего возраста и положения, для игры со мной звали сыновей наших домашних рабов; двое из них, Каллон и Паллант, оба греки, стали впоследствии моими секретарями, которым я доверял дела величайшей важности. Каллон сделался отцом двух других моих секретарей. Нарцисса и Полибия. Немало времени я проводил со служанками матери, слушал их болтовню, в то время как они пряли, чесали шерсть или ткали полотно. Многие из них так же, как моя воспитательница, были широко образованные женщины, и, признаюсь, я получал большее удовольствие от их общества, чем от почти любого общества мужчин, в котором мне с тех пор довелось бывать: они были терпимыми, очень неглупыми, скромными и добрыми.

Мой домашний учитель, о котором я уже упоминал, Марк Порций Катон, был, во всяком случае — в его собственных глазах, воплощением тех древнеримских добродетелей, которыми отличались все его предки до единого. Он вечно похвалялся своими предками, как все глупые люди, которые сами не совершили ничего, чем можно было бы хвалиться. Особенно часто он хвастался Катонем Цензором, который из всех персонажей римской истории, пожалуй, самый ненавистный для меня, так как он неустанно отстаивал «древние добродетели», отождествив их в умах римлян с такими понятиями, как грубость, педантизм и жестокость. Вместо учебников меня заставляли читать его хвастливые книги, и помню, как данное в одной из них описание его похода в Испанию, где он разрушил

больше городов, чем провел там дней, не так поразило меня его военным мастерством и патриотизмом, как вызвало отвращение к его бесчеловечности. Поэт Вергилий говорит, что миссия римлян — господствовать. Но как? «Милость покорным являть и смирать войною надменных». Катон действительно смирял надменных, но не столько войною, сколько ловко используя внутриплеменные противоречия; мало того — он прибегал к услугам наемных убийц, чтобы убирать грозных врагов. А что до «милости покорным», так он предавал мечу толпы безоружных людей, даже когда они безоговорочно капитулировали и сдавали свои города. Катон с гордостью пишет, что сотни испанцев предпочли покончить с собой целыми семьями, лишь бы не испытать на себе месть римлян. Неудивительно, что племена снова поднялись против нас, как только смогли собрать кое-какое оружие, и с тех пор остаются для нас бельмом на глазу. Катону нужны были две вещи: добыча и триумф; триумф назначался, если было столько-то — в то время, кажется, пять тысяч — убитых, и он старался, чтобы никто не обвинил его, как сам он обвинял из зависти своих соперников, будто он претендует на триумф, не сняв положенный урожай с полей смерти.

Триумфы, между прочим, были проклятием Рима. Сколько развязывалось ненужных войн только потому, что полководцам хотелось, надев лавровый венец, со славой проехаться по улицам города с закованными в цепи пленными, идущими позади колесницы, и военной добычей, горой нагруженной на карнавальные повозки. Август это понимал; по совету Агриппы он издал указ, согласно которому триумф предоставлялся только тому военачальнику, кто был членом императорской фамилии. Этот указ, выпущенный в год моего рождения, мог навести на мысль, будто Август завидовал своим полководцам, потому что к тому времени сам он перестал участвовать в активных военных действиях, а члены его семьи были еще малы, чтобы получать триумфы, но значил он совсем иное. Август не хотел больше расширять границ империи и рассчитывал, что военачальники не станут вызывать пограничные племена на столкновения, если победа над ними не принесет им в награду триумфа. Однако он разрешил «триумфальные украшения»: вышитая тога, статуя, венок и так далее — для тех, кому раньше назначили бы триумф: это должно было быть достаточным стимулом для хорошего военачальника, который ведет нужную Риму войну. Кроме всего прочего, триумфы плохо влияют на дисциплину. Солдаты напиваются, выходят из повиновения и обычно кончают день тем, что громят винные лавки, поджигают те, где продается масло, оскорбляют женщин и вообще ведут себя так, словно завоевали не какой-то там лагерь с деревянными домишками в Германии или занесенную песком деревню в Марокко, а сам Рим. После триумфа, отпразднованного моим племянником, о котором я вам вскоре расскажу, четыреста солдат и почти четыре тысячи частных граждан тем или иным путем расстались с жизнью, сгорело дотла пять больших кварталов жилых домов в районе проституток, было разграблено триста винных лавок, не говоря уже о прочих огромных убытках.

Но вернемся к Катону Цензору. Его руководство по ведению хозяйства и домашней экономии было дано мне для упражнений в правописании, и всякий раз, что я ошибался, я получал две затрешины: одну, по левому уху, за глупость, вторую, по правому — за оскорбление благородного Катона. Я помню один абзац в этой книге, который прекрасно иллюстрировал этого низкого, скарёдного и злобного человека: «Хозяин должен... продать состарившихся волов, порченную скотину, порченных овец, шерсть, шкуры, старую телегу, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще все лишнее». Что касается меня, то, когда я жил и хозяйничал в своем небольшом поместье в Калуге, я следил за тем, чтобы старых животных использовали на легкой работе, а затем просто держали на пастбище, пока возраст не делался для них обузой, тогда я велел убивать их ударом по голове. Я не ронял

свое достоинство, продавая их за безделицу крестьянину, который непосильной работой довел бы их до последнего издыхания. С рабами я всегда обращался великодушно, как с больными, так и со здоровыми, как с молодыми, так и со старыми, и ожидал от них, в свою очередь, глубокой преданности. Я редко бывал обманут в своих ожиданиях, хотя когда они злоупотребляли моим великодушием, я безжалостно наказывал их. Я не сомневаюсь, что рабы старого Катона все время болели, надеясь, не продаст ли он их более гуманному хозяину, и думаю также, что вряд ли он добивался от них такой честной работы и услужения, каких добиваюсь я. Глупо обращаться с рабами, как со скотом. Они куда понятливее, к тому же способны своей преднамеренной небрежностью и упрямством за одну неделю причинить больший урон вашему имуществу, чем заплаченная за них цена. Катон хвастал, что никогда не тратил на раба много денег, ему годился любой злобный урод, лишь бы у него были крепкие мускулы и крепкие зубы. Убейте меня, не понимаю, как он умудрялся находить на них покупателей, когда выкачивал из них все силы. Судя по тому, что я знаю о его потомке — говорят, как две капли воды похожем на него по характеру и по внешности (рыжеволосый, зеленоглазый, громкоголосый и грузный), — я полагаю, что он угрозами заставлял своих бедных соседей покупать у него отслуживших свое рабов по цене молодых.

Мой дорогой друг Постум, двумя годами меня старше, — самый верный друг, какой у меня был после Германика, — прочитал в одной старой книге, что Катон Цензор был не только скупердй, но и мошенник: он оказался замешан в каких-то грязных махинациях при торговле судами, но избежал публичного позора, объявив одного из своих бывших рабов номинальным владельцем. В качестве цензора, то есть человека, блюдущего общественную нравственность, он делал довольно странные вещи, якобы во имя общественной благопристойности, но в действительности, похоже, для того, чтобы насолить своим личным врагам. По его собственным словам, он исключил одного человека из сословия сенаторов потому, что тому «недостает римской чинности», — он поцеловал свою жену днем, да еще в присутствии дочери! Когда друг исключенного, тоже сенатор, обвинил Катона в несправедливости и спросил, неужели тот никогда не обнимает свою жену, кроме как на супружеском ложе, Катон горячо ответил:

— Никогда!

— Неужели никогда?

— Ну, откровенно говоря, года два назад жена бросилась мне на шею, испугавшись грозы, но, к счастью, этого никто не видел, и, уверяю тебя, она не скоро это повторит.

— О, — сказал сенатор, делая вид, будто неправильно понял Катона, который скорее всего хотел сказать, что прочитал жене суровую нотацию за недостаток чинности. — Я тебе сочувствую. Некоторые женщины не очень ласковы с некрасивыми мужьями, как бы те ни были справедливы и добродетельны. Но не отчаивайся — возможно, Юпитер пожалеет тебя и снова нашлет грозу.

Катон не простил этого обидчику, бывшему, кстати, его дальним родственником. Год спустя он проверял списки сенаторов, что входило в его обязанности цензора, и спрашивал каждого из них по очереди, женат ли тот. Тогда существовал ныне отмененный закон, согласно которому сенаторы должны были состоять в законном браке. Подошла очередь его родственника, и Катон задал ему вопрос по обычной формуле: «Есть ли у тебя жена? Отвечай по чести и в знак доверия», — на что следовало ответить: «Да (или нет), по чести и в знак доверия». Услышав этот вопрос, произнесенный скрипучим голосом, сенатор немного смутился, — он попал в глупое положение, так как, пошутив насчет жены Катона, он вскоре узнал, что сочувствовать надо не Катону, а ему самому, и был вынужден развестись. Поэтому, чтобы, не уронив собственного достоинства, обратить шутку против себя самого, сенатор

ответил: «Да, у меня действительно есть жена, но она вышла из моего доверия, а за честь ее я и гроша ломаного не дам». После чего Катон исключил его из сословия сенаторов за непочтительность.

А кто навлек на Рим Проклятие? Этот же самый Катон, который, когда в сенате спрашивали его мнение по любому вопросу, заканчивал свою речь следующими словами: «Так я считаю, и считаю также, что Карфаген должен быть разрушен, он является угрозой Риму». Твердя без конца одно и то же об угрозе, которую представляет собой Карфаген, Катон вселил в умы римлян такую тревогу, что, как я уже говорил, они нарушили свое торжественное обещание и стерли Карфаген с лица земли.

Я написал о Катоне Цензоре больше, чем намеревался, но это не случайно: в моей памяти он связан и с гибелью Рима, в которой он повинен не менее, чем те люди, чья «недостойная мужчин роскошь, — как он говорил, — подрывает силы государства», и с моим несчастливым детством под ферулой этого погонщика мулов, его прапраправнука. Я старый человек, и мой наставник уже пятьдесят лет как умер, но когда я думаю о нем, сердце мое по-прежнему преисполняется ненависти и гнева.

Германик защищал меня перед старшими уговорами и убеждениями, а Постум сражался за меня, как лев. Казалось, ему все нипочем. Он даже осмеливался высказывать свое собственное мнение в лицо самой бабке. Постум был любимцем Августа, поэтому какое-то время Ливия делала вид, будто ее забавляет его, как она называла это, детская импульсивность. Сперва Постум, сам не способный к обману, ей доверял. Однажды, когда мне было лет двенадцать, а ему четырнадцать, он случайно проходил мимо комнаты, где Катон занимался со мной. Постум услышал звуки ударов и мои мольбы о пощаде и, разъяренный, влетел внутрь.

— Не смей его трогать! — вскричал он.

Катон взглянул на него с презрительным удивлением и так меня ударил, что я свалился со скамейки.

Постум проговорил:

— Тот, кто боится бить осла, бьет седло (в Риме была такая поговорка).

— Наглец, что ты этим хочешь сказать?! — заорал Катон.

— Я хочу сказать, — ответил ему Постум, — что ты вымещаешь на Клавдии свое зло на людей, которые, как ты думаешь, сговорились помешать твоему возвышению. Ты слишком хорош, чтобы быть его учителем, да?

Постум был умен, он догадался, что эти слова так разозлят Катона, что он потеряет над собой власть. И Катон попался на удочку. Нанизывая одно на другое старомодные ругательства, он закричал, что во времена его предка, чью память оскорбляет этот проклятый заика, горе было бы тому ребенку, кто проявлял недостаточное почтение к старшим: в те времена дисциплину поддерживали крепкой рукой. А в наши развращенные дни первые люди Рима дают любому невежественному деревенскому придурку (это по адресу Постума) или слабоумному хромому молокососу разрешение...

Постум прервал его с предостерегающей улыбкой:

— Значит, я был прав. Развращенный Август оскорбил великого цензора, наняв тебя служить в этом развращенном семействе. Ты, верно, уже доложил почтенной Ливии о своих чувствах по этому поводу?

Катон был готов откусить себе язык от досады и страха. Если Ливия узнает о том, что он сказал, ему не поздоровится; до сих пор он выражал глубочайшую благодарность за честь, которую ему оказали, доверив воспитывать ее внука, не говоря уже о том, что ему безвозмездно вернули фамильное поместье, конфискованное после битвы при Филиппах, где его отец погиб, сражаясь против Августа. Катон был достаточно благоразумен (или труслив), чтобы учесть намек, и после этого мои ежедневные мучения значительно ослабли. Через три или четыре

месяца после того он, к моему восторгу, перестал быть моим наставником, так как его назначили директором Школы для мальчиков. Теперь Постум попал под его начало.

Постум был необычайно силен. Когда ему еще не исполнилось четырнадцати, он мог согнуть на колене железную полосу толщиной с мой большой палец, и я видел, как он ходил по площадке для игр с двумя мальчиками на плечах, одним на спине и еще одним, стоящим у него на ладонях. Он не был прилежным учеником, но умом — говорю без всякого преувеличения — намного превосходил Катона, и в последние два года пребывания в Школе мальчики избрали его своим вожаком. Во всех школьных играх он был «царь» — странно, что слово «царь» надолго уцелело у мальчиков, — и строго следил за порядком среди своих товарищей. Катону приходилось быть любезным с Постумом, если он хотел, чтобы остальные ученики поступали по его желанию, потому что все они слушались Постума с полуслова.

Катону было приказано Ливией представлять ей каждые полгода отчеты об учениках; она сказала, что если они покажутся ей интересными для Августа, она передаст их ему. Из этого Катон вывел заключение, что отчеты эти должны быть нейтральными, за исключением тех случаев, когда Ливия намекнет, чтобы он похвалил или осудил кого-нибудь из мальчиков. Многие браки устраивались, когда юные патриции были еще в Школе, и отчеты Катона могли пригодиться Ливии в качестве аргумента за или против предполагаемого союза. Браки среди римской знати должны были быть одобрены Августом как великим понтификом и большей частью диктовались Ливией. Однажды Ливия неожиданно зашла в Школу и увидела в галерее, как Постум, сидя на стуле, изображает «царя». Катон заметил, что она нахмурилась, и это придало ему смелости написать в очередном отчете: «Хотя и с большим нежеланием, я вынужден во имя добродетели и справедливости сообщить, что мальчик Агриппа Постум отличается жестоким, властным и упрямым нравом». После этого Ливия держалась с Катоном так милостиво, что следующий его отчет был написан в еще более сильных выражениях. Ливия не показала эти отчеты Августу, но отложила их на всякий случай, сам же Постум ничего об этом не знал.

В «царствование» Постума я провел два счастливейших года моей юности, могу даже сказать: моей жизни. Он приказал другим мальчикам, чтобы меня брали в игры в галереях, хотя я и не был учеником Школы, и сказал, что будет рассматривать всякую нанесенную мне обиду и причиненное мне зло так, словно их причинили ему самому. Поэтому я принимал участие во всех гимнастических упражнениях, которые позволяло мне здоровье, и только когда в школу заглядывали Август или Ливия, я старался уйти в тень. Теперь вместо Катона моим наставником был добрый старый Афинодор. За шесть месяцев я узнал от него больше, чем от Катона за шесть лет. Афинодор никогда не бил меня и относился ко мне с величайшим терпением. Он подбадривал меня, говоря, что хромота должна подстегивать мой ум. Вулкан, бог ремесленников, тоже был хромым. Что касается заикания, то Демосфен, самый великий оратор всех времен, был заикой с рождения, но излечился от этого благодаря терпению и настойчивости. Демосфен применял тот же самый способ, которым Афинодор учил сейчас меня: он заставлял меня декламировать, набрав в рот мелкие камушки. Стараясь справиться с мешавшими мне камнями, я забывал о заикании, камни один за другим постепенно вынимались изо рта, и, когда исчезал последний, я вдруг с удивлением обнаруживал, что могу произносить слова не хуже других людей. Но только когда декламирую. При обычном разговоре я по-прежнему сильно заикался. То, что я так хорошо декламирую, Афинодор держал от всех в тайне.

— Настанет день, мартышечка, и мы удивим Августа, — частенько говорил он мне. — Подожди еще немного.

Он звал меня «мартышечка» в знак любви, а не презрения, и я гордился этим прозвищем. Когда Афинодор бывал мной недоволен, он, чтобы меня пристыдить,

произносил громко и отчетливо:

— Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, помни, кто ты и думай, что ты делаешь.

2 г. н. э.

С такими друзьями, как Постум, Афинодор и Германик у меня мало-помалу появилась какая-то уверенность в себе. Афинодор сказал на самом первом нашем занятии, что будет учить меня не фактам, ведь факты я и сам могу узнать, где угодно, а умению правильно их изложить. Однажды, например, он ласково спросил меня, почему я так возбужден: я был не в состоянии сосредоточиться на том, что мне было задано. Я сказал ему, что только что видел множество рекрутов, которым Август делал смотр на Марсовом поле, перед тем как отправить их в Германию, где недавно снова разразилась война.

— Ну что ж, — сказал Афинодор тем же ласковым голосом, — если ты не можешь думать ни о чем другом и слеп сейчас к красотам гесиодовского слога, Гесиод может подождать до завтра. В конце концов, он ждал семьсот лет с лишком, так что он не будет в обиде, если мы отложим его еще на день. А пока давай сделаем вот что: садись, возьми свою дощечку и напиши мне письмо, опиши коротко все, что ты видел на Марсовом поле, как будто я уже пять лет как уехал из Рима, и ты шлешь мне морем весточку, скажем, на мой родной Тарс. Это даст занятие твоим рукам, которым ты не можешь найти места, и будет к тому же хорошей практикой.

Я с радостью стал царапать стилем по воску, а затем мы прочитали письмо с начала до конца, выискивая ошибки в правописании и композиции. Я был вынужден признать, что написал об одном слишком много, о другом слишком мало и поместил факты в неверном порядке. Абзац, где описывался плач невест и матерей и то, как толпа кинулась к мосту, чтобы в последний раз прокричать «ура» вслед уходящей колонне, должен был завершить письмо, а не начинать его. И ни к чему было упоминать, что кавалерия была на лошадях, это и так понятно. И я дважды написал, что боевой конь Августа споткнулся, одного раза достаточно, если он споткнулся один раз. А то, что Постум рассказал мне, когда мы возвращались домой, о религиозных обычаях евреев, интересно, но не имеет отношения к делу, потому что рекруты — италийцы, а не евреи. К тому же на Тарсе у моего адресата, вероятно, больше возможности изучать обычаи евреев, чем у Постума в Риме. С другой стороны, я не упомянул о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно узнать: сколько рекрутов было на плацу, хорошо ли они обучены, в какой гарнизон их отправляли, грустный или веселый у них был вид, что сказал им Август в своей речи.

Три дня спустя Афинодор велел мне описать ссору между моряком и старьевщиком, которую мы с ним наблюдали в тот день, проходя через рынок, и я сделал это с большим успехом. Сперва он обучал меня правильно излагать мысли, когда я писал сочинения, затем — когда говорил на заданную тему, и наконец — когда просто беседовал с ним. Афинодор не жалел на меня труда, постепенно я сделался более собранным, потому что он не пропускал без замечания ни одной моей небрежной, неуместной и неточной фразы.

Афинодор пытался заинтересовать меня философией, но когда увидел, что у меня нет к ней склонности, не принуждал меня переходить за границы общего знакомства с этим предметом. Именно Афинодор привил мне вкус к истории. У него были экземпляры первых двадцати томов «Истории Рима» Ливия, которые он давал мне читать в качестве образца легкого и ясного стиля. Ливий очаровал меня, и Афинодор обещал, как только я справлюсь с заиканием, познакомить меня с ним — они были друзья. Афинодор сдержал свое слово. Через шесть месяцев он взял меня в Аполлонову библиотеку и представил сгорбленному бородатому человеку лет шестидесяти, с желтоватым цветом лица, веселыми глазами и четкой манерой речи,

который сердечно приветствовал меня как сына отца, всегда вызывавшего его восхищение. В то время Ливий не написал еще и половины своей «Истории», которая по ее окончании состояла из ста пятидесяти томов, начинаясь с легендарных времен и кончаясь смертью моего отца, за двенадцать лет до нашей встречи с Ливием. В том же самом году он начал публиковать свою работу — по пять томов в год — и как раз подошел к той дате, когда родился Юлий Цезарь. Ливий поздравил меня с тем, что у меня такой учитель, как Афинодор, а Афинодор сказал, что я сторицей возмещаю его труды; затем я признался Ливию в том, какое получаю удовольствие, читая его книги, которые Афинодор рекомендовал мне в качестве образца превосходного слога. Все были довольны, особенно Ливий.

— Что, ты тоже собираешься стать историком, молодой человек? — спросил он.

— Я бы хотел стать достойным этого почетного звания, — отвечал я, хотя, по правде говоря, никогда серьезно об этом не задумывался.

Тогда Ливий посоветовал, чтобы я составил жизнеописание своего отца, и предложил мне помочь, отослав к самым надежным историческим источникам. Я был очень польщен и решил взяться за работу прямо на следующий день. Но Ливий сказал, что писать для историка — последняя задача, сперва надо собрать материал и отточить перо. Афинодор одолжит мне свой острый перочинный ножичек, пошутил он.

Афинодор был величественным старцем с темными глазами, орлиным носом и самой удивительной бородой, когда-либо росшей на подбородке. Она спускалась волнами до пояса и была белой, как лебединое крыло. Это не просто поэтическое сравнение, я не из тех историков, которые пишут в псевдоэпическом стиле. Я хочу сказать, что она была в буквальном смысле слова такая же белая, как крыло лебедя. На искусственном озере в Саллюстиевых садах жило несколько ручных лебедей; однажды мы с Афинодором кормили их с лодки хлебом, и я помню, когда он перегнулся через борт, я обратил внимание на то, что его борода и их крылья — одного и того же цвета. Афинодор имел привычку во время беседы медленно и ритмично поглаживать бороду, и как-то раз он заметил, что именно благодаря этому она сделалась такой пышной. Он сказал, что с его пальцев струятся невидимые частицы огня, которые питают волосы. Это была типичная шутка стойка по поводу философии эпикурейцев.

Борода Афинодора напоминала мне о Сульпиции, которого, когда мне исполнилось тринадцать, Ливия назначила моим учителем истории. У Сульпиция была самая жалкая бороденка из всех бород, какие я видел, седая, вернее, сивая, грязного, серовато-белого цвета с желтыми прожилками, как снег на улицах Рима после оттепели, и всегда взлохмаченная. Когда его что-то тревожило, Сульпиций накручивал ее на палец и даже совал кончик в рот и жевал. Я думаю, Ливия выбрала его потому, что считала самым скучным человеком в Риме и надеялась, назначив его мне в учителя, отбить у меня охоту заниматься историей, — она не замедлила узнать о том, какие я питаю честолюбивые намерения. Ливия не ошиблась: Сульпиций умудрялся засушить самые интересные вещи, но даже его сухость не смогла отвлечь меня от моей работы, а у него было одно прекрасное свойство — исключительная память на факты. Если мне были нужны какие-нибудь редкие сведения вроде того, каковы законы наследования у вождей тех альпийских племен, с которыми сражался мой отец, или значение и этимология их необычного боевого клича, Сульпиций знал, к кому обратиться по этому вопросу, в какой книге об этом написано, с какой полки в какой комнате какой библиотеки ее можно достать. Сульпиций не обладал критическим чувством и сам писал очень плохо, факты у него душили друг друга, как непрореженные цветы на грядке с рассадой. Но он оказался бесценным помощником, когда позднее я стал пользоваться его услугами, а не указаниями; он работал со мной тридцать один год, до самой своей смерти в

возрасте восьмидесяти лет; его память до самого конца оставалась безупречной, а борода — такой же выцветшей, жидкой и растрепанной, как и раньше.

Глава VI

6 г. до н. э.

Я должен теперь вернуться на несколько лет назад и написать о моем дяде Тиберии, судьба которого имеет прямое отношение к этой истории. Тяжелая у него была жизнь; стремясь к одному — покою и уединению, он был вынужден помимо своей воли все время быть на виду то в качестве военачальника в какой-нибудь пограничной военной кампании, то в качестве консула в Риме, то в качестве особого уполномоченного в провинциях. Публичные почести мало для него значили, хотя бы потому, как он пожаловался раз моему отцу, что присуждались ему скорее за его услуги в качестве главного мальчика на побегушках у Августа и Ливии, чем за те поступки, которые он совершал по собственной инициативе на свою ответственность. К тому же, обязанный поддерживать достоинство императорской фамилии и зная, что Ливия все время следит за ним, Тиберий должен был быть крайне осторожным, чтобы не переступить в своей личной жизни канонов нравственности. Из-за подозрительного, ревнивого, замкнутого и меланхоличного, как я уже говорил, характера у него было мало друзей, да и те — не друзья, а прихлебатели, к которым он относился с циничным презрением, чего они и заслуживали. И, наконец, его отношения с Юлией со времени женитьбы на ней лет пять назад становились все хуже и хуже. У них родился сын, но вскоре умер, и после этого Тиберий отказался с ней спать. На то были три причины. Во-первых, Юлия старела и теряла свою стройность, а Тиберий терпеть не мог пышных форм — чем больше женщина походила на мальчика, тем лучше. (Випсания была совершенно воздушной.) Во-вторых, Юлия оказалась чересчур требовательна в своей страсти, отвечать на которую Тиберии не хотел, а когда он отвергал ее, она впадала в истерику. А в-третьих, он обнаружил, что, будучи отвергнута супругом, Юлия мстит ему тем, что заводит любовников, которые дают ей то, в чем он отказал.

К несчастью. Тиберии не мог добыть никаких улик ее неверности, кроме свидетельства рабов, так как Юлия вела себя осмотрительно, а показании рабов было недостаточно, чтобы, опираясь на них, просить у Августа разрешения развестись с его единственной любимой дочерью. Однако Ливии Тиберий ничего не сказал, так как его ненависть к ней равнялась его недоверию, и он предпочитал молча страдать. Тиберий подумал, что, если ему удастся уехать из Рима, оставив Юлию, возможно, она перестанет остерегаться и Август сам в конце концов узнает о ее поведении. Вот если бы где-нибудь на границе развязалась война, достаточно серьезная, чтобы его туда отправили главнокомандующим! Это был его единственный шанс. Но всюду все было спокойно, да и самому Тиберию порядком надоело сражаться. После смерти моего отца к нему перешло командование германскими армиями (Юлия настояла на том, чтобы сопровождать его к Рейну), и он вернулся в Рим всего несколько месяцев назад. С первого дня его возвращения Август выжимал из него все соки, поручив ему трудную и неприятную задачу обследовать, как ведутся дела в работных домах и каковы вообще условия труда в районах, где живет беднота. Как-то раз, забыв на миг об осторожности, Тиберий воскликнул, обращаясь к Ливии: «О, мать, если б я мог избавиться, хотя бы на несколько месяцев, от этой невыносимой жизни!» Она напугала его, ничего не ответив и гордо покинув комнату, но позднее, в тот же день, позвала Тиберия к себе и, к его удивлению, сказала, что решила исполнить его желание и попросить для него у Августа временный отпуск. Ливия приняла это решение отчасти потому, что хотела, чтобы Тиберий чувствовал себя ей обязанным, отчасти потому, что узнала о

любовных шашнях Юлии, и ей, как и ему, пришла в голову мысль дать ей возможность сломать себе на этом шею. Но главной причиной было то, что старшие братья Постума Гай и Луций успели подрасти, и их отношения с Тиберием, их отчимом, были весьма натянутые.

Гай, который, по существу, был совсем неплохой малый (как и Луций), до некоторой степени занял в сердце Августа место Марцелла. Но Август, несмотря на предупреждения Ливии, так баловал обоих мальчиков, что можно только удивляться, как они не стали еще хуже, чем были. Они дерзко вели себя со старшими, особенно с теми, по отношению к кому, как они знали, Август в глубине души одобрял такое поведение, и окружили себя роскошью. Когда Ливия увидела, что потворство Августа внукам пресечь нельзя, она изменила политику и стала поощрять его баловство. Она не скрывала этого от мальчиков, надеясь завоевать их доверие. Ливия рассудила также, что если их самомнение еще хоть немного возрастет, они забудутся и попытаются захватить власть в свои руки. У нее была превосходная сеть осведомителей, так что она вовремя узнает про заговор и успеет арестовать зачинщиков. Ливия посоветовала Августу назначить Гая консулом на четырехлетний срок, когда ему было всего пятнадцать, хотя, согласно законам Суллы, гражданин Рима не мог стать консулом раньше чем в сорок три года, а перед этим должен был занять одну за другой три важных государственных должности. Позднее та же честь была оказана Луцию. Ливия также предложила, чтобы Август представил их сенату в качестве «глав юношества». Титул этот, в отличие от Марцелла, которому он был пожалован по определенному поводу, ставил братьев над всеми их ровесниками, равными им по рождению, и давал над ними постоянную власть. Стало совершенно ясно, что Август прочит Гая себе в преемники. Неудивительно, что сыновья тех самых патрициев, которые во времена своей молодости противопоставляли неопытного мальчишку Марцелла испытанному военачальнику и министру Агриппе, теперь делали то же самое, противопоставляя его сына Гая ветерану Тиберию, которого они подвергали бесчисленным оскорблениям. Ливия хотела, чтобы Тиберий последовал примеру Агриппы. Если, одержав столько побед и получив столько публичных почестей, он сейчас удалится на какой-нибудь близлежащий греческий остров, это произведет лучшее впечатление и скорее привлечет к нему всеобщую симпатию, чем если он останется в Риме и будет оспаривать победу на поле политической деятельности у Гая и Луция. (Историческая параллель стала бы еще явственнее, если бы они умерли во время отсутствия Тиберия и Августу вновь понадобилась бы его помощь). Поэтому Ливия обещала уговорить Августа дать Тиберию отпуск на неопределенный срок и разрешить ему отказаться от всех занимаемых им постов, но пожаловать ему почетный титул защитника народа — что обеспечит его неприкосновенность и помешает Гаю убить его, если тот вздумает от него избавиться,

Ливии оказалось исключительно трудно сдержать свое обещание, ведь Тиберий был самым способным министром Августа и самым его удачливым военачальником, и в течение долгого времени старик отказывался смотреть на просьбу жены всерьез. Но Тиберий ссылаясь на слабое здоровье и убеждал Августа, что его отсутствие выведет Гая и Луция из затруднительного положения, — он признался, что пасынки с ним не в ладах. Август ничего не желал слушать. Гай и Луций были еще мальчишки, лишенные опыта в военных и государственных делах, и, начнись серьезные беспорядки в Риме, провинциях или пограничных областях, от них будет мало проку. Август осознал, возможно, впервые, что в чрезвычайных обстоятельствах Тиберий — единственный, на кого он сможет опереться. Но его сердило, что ему «помогли» это осознать. Он ответил на просьбу Тиберия отказом и заявил, чтобы больше к нему с этим не обращались. Поскольку у Тиберия не оставалось другого выхода, он пошел к Юлии и с умышленной грубостью сказал ей, что брак их превратился в фарс и ему

противно находиться с ней в одном доме. Тиберий предложил ей отправиться к Августу и пожаловаться, что ее негодяй муж плохо с ней обращается, и она не будет счастлива, пока не разведется с ним. Август, сказал Тиберий, вряд ли согласится, по семейным соображениям, на их развод, но, возможно, вышлет его из Рима. Он готов отправиться в ссылку, лишь бы не жить с ней вместе.

Юлия решила забыть, что когда-то любила Тиберия. Он заставил ее много страдать. Он не только пренебрегал ею, когда они бывали одни, но, как узнала Юлия, начал понемногу приобретать те мерзкие привычки, из-за которых позже его имя внушало такое отвращение всем добропорядочным людям. Поэтому Юлия поймала его на слове и пожаловалась Августу в куда более сильных выражениях, чем мог предвидеть Тиберий, тщеславно полагавший, будто она все еще, несмотря ни на что, его любит. Августу всегда было трудно скрывать, что в качестве зятя Тиберий ему не по душе — это, естественно, поощряло сторонников Гая, — и теперь в ярости он принялся метаться по комнате, обрушивая на Тиберия все ругательства, какие приходили ему на язык. Однако он не преминул напомнить Юлии, что она сама во всем виновата, — разве он, Август, не предупреждал ее, каков Тиберий; послушалась бы отца — не было бы разочарования в муже. И хотя он очень любит и жалеет ее, расторгнуть их брак он не может. О том, чтобы разорвать союз между его дочерью и пасынком, союз, которому придавалось такое большое политическое значение, нечего и говорить; Ливия, он уверен, увидит это в таком же свете. Тогда Юлия стала умолять его, чтобы Тиберия по крайней мере отправили куда-нибудь на год или на два, потому что ей невыносимо его присутствие даже на расстоянии в сто миль. На это Август в конце концов согласился, и через несколько дней Тиберий уже был на пути к Родосу, который он давным-давно выбрал как идеальное место для жизни после отставки. Август, хотя и даровал ему по настоянию Ливии титул трибуна — защитника народа, ясно дал понять, что ничуть не опечалится, если никогда больше не увидит его.

Никто, кроме главных персонажей этой трагикомедии, не знал, почему Тиберий покинул Рим, и Ливия использовала нежелание Августа обсуждать этот вопрос публично в интересах Тиберия. Она говорила своим друзьям «по секрету», что Тиберий решил удалиться от дел в знак протеста против скандального поведения сторонников Гая и Луция. Она добавляла, что Август ему сочувствует и сначала отказался принять его отставку, обещая заставить обидчиков умолкнуть, но Тиберий, по собственным его словам, не хотел раздувать вражду между собой и сыновьями жены и подтвердил непреклонность своего намерения тем, что голодал четыре дня. Чтобы поддержать этот фарс, Ливия отправилась провожать Тиберия в Остию, римский порт, и умоляла его там от имени Августа и своего собственного изменить решение. Она даже устроила так, что все члены ее семьи — маленький сын Тиберия Кастор, моя мать, Германик, Ливилла и я — приехали в Остию вместе с ней и усилили пикантность ситуации, добавив наши мольбы к ее собственным. Юлия не появилась, и ее отсутствие только подтвердило то впечатление, которое пыталась создать Ливия — что жена стоит на стороне сыновей против мужа. Это была забавная и хорошо поставленная сцена. Мать моя играла превосходно, трое детей, которых как следует натаскали дома, произносили слова своей роли так, словно они шли от самого сердца. Я растерялся и не мог выдать из себя ни звука, пока Ливилла не ущипнула меня, тогда я расплакался и произвел больший эффект, чем все остальные. Мне было четыре года, когда все это случилось, и лишь когда мне исполнилось двенадцать, Август был вынужден против своего желания призвать дядю в Рим, где к тому времени произошли перемены в политической жизни.

Теперь о Юлии. Она заслуживает куда большего сочувствия и симпатии, чем она снискала в Риме. Хотя она любила удовольствия и развлечения, по природе она была, полагаю, скромная, добросердечная женщина, единственная из моих

родственников, у кого находилось для меня доброе слово. Я полагаю также, что не имелось никаких оснований обвинять ее, как это делали впоследствии, в том, будто она изменяла Агриппе, когда была за ним замужем. Все ее три сына — вылитые его копии. А произошло на самом деле вот что. Овдовев, она, как я уже упоминал, влюбилась в Тиберия и уговорила Августа позволить ей выйти за него. Тиберий, в ярости от того, что ему пришлось развестись с Випсанией, чтобы жениться на ней, держался с Юлией очень холодно. Она опрометчиво обратилась за советом к Ливии, которой хоть и боялась, но доверяла. Ливия дала ей приворотное зелье, сказав, что его надо пить целый год и тогда она станет неотразимой для мужа; принимать его надо раз в месяц, в полнолуние, и произносить при этом определенные молитвы Венере; об этом нельзя обмолвиться ни одной душе, иначе снадобье потеряет свою благотворную силу и причинит ей немалый вред. На самом деле Ливия дала Юлии — очень жестокий поступок — порошок из растертых зеленых мушек, которые водятся в Испании, и он так подстегнул ее вожделение, что она словно обезумела. (В дальнейшем я объясню, как я узнал об этом.) Какое-то время Юлия действительно разжигала страсть Тиберия безудержной распущенностью, к которой побуждало ее любовное зелье, вопреки ее врожденной скромности, но вскоре она надоела ему, и он отказался делить с ней супружеское ложе. Под воздействием злого снадобья, принимать которое, видимо, вошло у нее в привычку, Юлия была вынуждена удовлетворять свое желание при помощи любовных связей с теми молодыми придворными, на молчание и осмотрительность которых она могла положиться. Так было в Риме; в Германии и Франции она соблазняла телохранителей Тиберия и даже германских рабов, угрожая, если они колебались, обвинить их в том, что они сами предлагали ей близость, а за это их запороли бы до смерти. Так как Юлия все еще была красива, колебания, по-видимому, длились недолго.

После ссылки Тиберия Юлия позабыла осторожность, и вскоре весь Рим узнал об ее похождениях. Ливия и словом ни о чем не обмолвилась Августу, уверенная, что придет время и это дойдет до его ушей из какого-нибудь другого источника. Но слепая любовь Августа к Юлии вошла в поговорку, и никто не осмеливался ничего ему сказать. Через некоторое время люди решили, что уж теперь-то Август все знает, и, раз прощает дочери ее поведение, тем более следует молчать. Ночные оргии Юлии на Рыночной площади и даже на самой ростральной трибуне вызывали возмущение всего Рима, однако прошло четыре года, прежде чем у Августа открылись глаза. Только тогда он услышал все, и не от кого-нибудь, а от родных сыновей Юлии — Гая и Луция, которые пришли к нему вдвоем и возмущенно спросили, долго ли еще он намерен позволять их матери позорить собственное его имя и имя своих внуков. Они понимают, сказали юноши, что забота о репутации семьи заставляет Августа быть терпеливым с дочерью, но всякому долготерпению должен быть предел. Что им — ждать, пока мать одарит их кучей братьев-ублюдков от разных отцов? Когда на ее выходки будет официально обращено внимание? Август слушал с ужасом и удивлением и долгое время лишь молча глядел на них, широко раскрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Наконец к нему вернулся голос, и он, задыхаясь, позвал Ливию. Гай и Луций повторили все слово в слово в ее присутствии; Ливия сделала вид, будто плачет, и сказала, что последние три года Август сознательно пропускал правду мимо ушей, и это было ее самой большой печалью. Несколько раз, сказала Ливия, она собиралась с духом, чтобы поговорить с ним, но ей было совершенно ясно, что он не хочет слышать от нее ни единого слова. «Я была уверена, что ты все знаешь, но вопрос этот слишком больной, чтобы обсуждать его даже со мной...» Август, стиснув виски, со слезами отвечал, что до него не доходили никакие слухи и он не питал ни о чем никаких подозрений, будучи уверенным в том, что его дочь — самая добродетельная женщина Рима. Почему же тогда, спросила Ливия, Тиберий добровольно удалился на Родос? Может быть, ему

нравится жить в изгнании? Нет, он уехал потому, что был не в силах обуздать распутство жены и огорчился тем, что Август, как он полагал, закрывает на это глаза. Поскольку Тиберий не хотел восстанавливать против себя Гая и Луция, ее сыновей, обращаясь к Августу за разрешением о разводе, что ему еще оставалось, как не покинуть пристойным образом Рим?

Разговор о Тиберии пропал зря, Август накинул полу тоги на голову и ощупью направился в свою спальню, где заперся и оставался там, никого, даже Ливию, к себе не пуская, целых четыре дня, в течение которых он не ел, не пил и не спал и даже ни разу не брился, что было еще большим доказательством глубины его горя. Наконец Август дернул шнур, который проходил через отверстие в стене в комнату Ливии: серебряный звонок зазвонил. Ливия поспешила к нему, придав лицу любящее, заботливое выражение; Август, все еще не доверяя голосу, написал на вощенной табличке одну фразу по-гречески: «Пусть ее отправят в пожизненное изгнание, но не говорят мне куда». Он протянул Ливии перстень с печатью, чтобы она написала в сенат письмо от его имени, рекомендуя изгнание Юлии. (Эта печать, между прочим, представляла собой большой смарагд, на котором была вырезана голова Александра Македонского в шлеме, и была похищена из его гробницы вместе с мечом, нагрудником и прочей амуницией героя. Август пользовался этой печатью по настоянию Ливии, хотя и не без колебаний, так как сознавал, что это слишком самонадеянно с его стороны. Но однажды ему приснился сон: сердито нахмурившись, Александр отсек ему палец, на котором был перстень. Тогда Август сделал себе собственную печать: рубин из Индии, обработанный знаменитым золотых дел мастером Диоскуридом, которую наследники Августа носили как знак их верховной власти).

Ливия написала письмо сенату в очень сильных выражениях. Она сочинила его, следуя стилю самого Августа, которому было нетрудно подражать, так как он всегда предпочитал ясность изяществу, например, сознательно повторял одно и то же слово в предложении вместо того, чтобы подыскивать синоним или использовать перифразу (как это обычно принято в изящной словесности), и имел склонность злоупотреблять предлогами. Ливия не показала письмо Августу и послала его прямо в сенат, который тут же вынес решение о пожизненной ссылке Юлии. Ливия перечислила ее проступки в таких подробностях и выразила, якобы от лица Августа, такое к ним отвращение, что лишила его всякой возможности изменить впоследствии свой приговор и просить сенат вернуть Юлию в Рим. Попутно Ливия обстряпала неплохое дельце, представив в качестве любовников Юлии трех или четырех человек, погубить которых было в ее интересах. Среди них был один из моих дядьев, Юл, сын Антония, к которому Август весьма благоволил ради Октавии и сделал его консулом. Назвав его имя в письме к сенату, Ливия всячески подчеркивала, какой неблагодарностью он отплатил своему благодетелю, и намекала, что у них с Юлией был сговор захватить верховную власть. Юл наложил на себя руки. Я думаю, что обвинение в заговоре не имело под собой оснований, но как единственный оставшийся в живых сын Антония от Фульвии (Антилла, старшего его сына, Август убил сразу же после того, как Антоний покончил с собой, а двое других, Птоломей и Александр, сыновья Антония от Клеопатры, умерли в детстве) и как бывший консул и муж сестры Марцелла, с которой развелся Агриппа, Юл казался Ливии опасным. Недовольство народа Августом часто выражалось в сожалениях, что не Антоний выиграл битву при Акции. Остальные, кого Ливия обвинила в любовной связи с Юлией, были отправлены в изгнание.

Неделю спустя Август спросил у Ливии, был ли принят «определенный указ», — он теперь никогда не называл Юлию по имени и даже редко упоминал о ней окольным путем, хотя было ясно, что он беспрестанно о ней думает. Ливия сказала ему, что «определенное лицо» было приговорено к пожизненному заключению на

острове и уже находится на пути туда. Услышав это, Август опечалился еще больше, ведь Юлия не совершила единственного порядочного поступка, который ей оставался, а именно не покончила жизнь самоубийством. Ливия упомянула, что Феба, камеристка Юлии и главная ее наперсница, повесилась, как только указ об изгнании был обнародован. Август сказал: «Хотел бы я быть отцом Фебы». Еще две недели после того он не выходил из дворца. Я хорошо помню этот ужасный месяц. Нам, детям, по приказу Ливии было ведено надеть траур и не позволялось ни играть, ни шуметь, ни улыбаться. Когда мы снова увидели Августа, он выглядел постаревшим на десять лет, и прошло много времени, прежде чем он решился посетить площадку для игр в школе мальчиков или хотя бы возобновить утренние физические упражнения, состоявшие из ежедневной прогулки быстрым шагом по саду вокруг дворца, а затем бега по дорожке с препятствиями.

Ливия сразу же сообщила все новости Тиберию. По ее подсказке он написал Августу два или три письма, умоляя, подобно ему самому, простить Юлию и говоря, что, хотя она и была ему плохой женой, он хочет, чтобы все имущество, какое он когда-либо ей передавал, осталось в ее владении. Август не ответил. Он был убежден, что холодность и жестокость Тиберия к Юлии и пример безнравственности, который он ей подал, были причиной ее падения. Август не только не вызвал Тиберия в Рим, но отказался продлить срок его полномочий трибуна, когда тот истек в конце следующего года.

Существует солдатская походная песня, которая называется «Три печали сиятельного Августа», написанная в грубом трагикомическом духе, типичном для военного лагеря, которую много лет спустя после изгнания Юлии пели полки, расквартированные в Германии. В ней говорится о том, что сперва Август горевал о Марцелле, затем о Юлии, а затем о полковых орлах, утерянных Варом. Горевал глубоко о смерти Марцелла, еще глубже — о позоре Юлии, но глубже всего — об орлах, потому что с каждым орлом исчезал целый полк самых храбрых римских солдат. В песне, состоящей из многих куплетов, оплакивается злосчастная судьба семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого полков, которые, когда мне было девятнадцать лет, попали в засаду в глухом болотистом лесу и были уничтожены германцами, и говорится, что, получив известие об этом не имеющем себе равных несчастье, Август стал биться головой о стену:

Колотясь башкой о стенку,
Август поднял страшный рев:
«Вар, Вар, Вар, о Вар Квинтилий,
Возврати моих орлов!»

Разорвал он одеяло,
Разорвал две простыни:
«Вар, Вар, Вар, о Вар Квинтилий,
Мне полки мои верни!»

В следующих куплетах поется, что Август никогда не давал новым полкам номера тех трех, которые погибли в Германии, и на их месте в армейском списке был пробел. Автор песни заставляет Августа поклясться, что жизнь Марцелла и честь Юлии для него ничто по сравнению с жизнью и честью его солдат и что душа его не найдет покоя, «как блоха на очаге», пока все три орла не будут отвоеваны и положены в Капитолии. Но хотя с тех пор германцы терпели поражение за поражением, никто еще не обнаружил «насеста», где сидели орлы, — так хорошо эти трусы сумели их запрятать. Таким вот образом войска принижали горе Августа из-за Юлии, но я думаю, что на каждый час, что он горевал об орлах, приходился целый

месяц, когда он горевал о дочери.

Август не хотел знать, куда ее выслали, потому что тогда он бы постоянно обращался мыслями к этому месту и вряд ли смог бы удержаться и не навестить ее. Так что Ливии ничто не мешало дать волю своей мстительности. Юлию лишили вина, косметики, хорошей одежды — вообще всех предметов роскоши, стражей ей служили евнухи и старики. Ей не было разрешено принимать посетителей, она должна была каждый день прясть пряжу, как в детстве. Остров, куда ее сослали, находился у берегов Кампании. Он был очень маленький, и Ливия намеренно усилила страдания Юлии, держа там год за годом без смены одну и ту же стражу; естественно, стражники винили пленницу за то, что оказались сосланы на этот одинокий гнилой остров. Единственный, кто хорошо показал себя в этой некрасивой истории, — мать Юлии, Скрибония, с которой, как вы помните, Август развелся, чтобы жениться на Ливии. Много лет она вела уединенную жизнь вдали от мира и была сейчас очень стара, но она не побоялась пойти к Августу и попросить разрешения разделить изгнание дочери. Скрибония сказала ему в присутствии Ливии, что дочь забрали у нее сразу же после рождения, но она всегда обожала ее на расстоянии и теперь, когда весь свет отвернулся от ее милой девочки, она хочет показать, какова любовь истинной матери. Она считает, что бедное дитя ни в чем не виновато: ее поставили в очень трудное положение. Ливия презрительно расхохоталась, но чувствовала себя, должно быть, довольно неловко. Совладав со своими чувствами, Август знаком показал, чтобы просьба Скрибонии была выполнена.

Пять лет спустя, в день рождения Юлии, Август вдруг спросил Ливию:

— А остров большой?

— Какой остров? — сказала Ливия.

— Остров... на котором живет несчастная женщина.

— О, несколько минут пути от одного конца до другого, я полагаю, — сказала Ливия с нарочитой небрежностью.

— Несколько минут! Ты шутишь?

Август думал, что Юлия живет на каком-нибудь большом острове вроде Кипра, или Лесбоса, или Корфу. Помолчав немного, он спросил:

— Как он называется?

— Пандатерия.

— Что? О, боже, эта дыра? Как жестоко! Пять лет на Пандатерии!

Ливия сурово взглянула на него и сказала:

— Ты, верно, хочешь, чтобы она вернулась в Рим?

Тогда Август подошел к висевшей на стене карте Италии, выгравированной на тонком листе золота, с драгоценными камнями на месте городов. Он не мог говорить и лишь указал пальцем на Регий, живописный греческий город у Мессинского пролива.

Юлию перевезли в Регий, где ей была предоставлена большая свобода и даже позволялось принимать посетителей, — но тот, кто хотел ее повидать, должен был сперва обратиться за разрешением лично к Ливии, объяснить, какое у него дело к Юлии, и заполнить подробный пропуск, который шел к Ливии на подпись, где указывался цвет волос и глаз его владельца, перечислялись все особые приметы и шрамы, чтобы никто другой не мог воспользоваться этим документом. Мало кто хотел подвергаться этой процедуре. Дочь Юлии Агриппина попросила разрешения поехать к матери, но Ливия отказала — по ее словам, из соображений нравственности: Юлия могла плохо повлиять на дочь. Юлию по-прежнему держали в строгости, рядом не было ни одного друга, так как Скрибония умерла от лихорадки на Пандатерии.

Несколько раз, когда Август шел по улицам Рима, горожане кричали ему: «Верни свою дочь! Она достаточно страдала! Верни свою дочь!» Это было очень тяжело для Августа. Однажды он даже велел страже схватить двух человек, которые кричали

громче других, и сказал им сурово, что Юпитер их накажет и допустит, чтобы жены и дочери обманули и опозорили их. Эти выходки говорили не столько о жалости к Юлии, сколько о вражде к Ливии, которую все справедливо винили в суровости наказания и в том, что из-за ее искусной игры на гордости Августа он не позволяет себе смягчиться.

Что до Тиберия, то его удобный большой остров год-два вполне его устраивал. Климат там превосходный, еда хороша, и у дяди было предостаточно свободного времени, чтобы возобновить свои литературные занятия. Стиль его греческой прозы весьма неплох, и он написал несколько изящных незатейливых греческих элегий в подражание таким поэтам, как Эвфорион и Парфений. Они где-то у меня есть. Не один час у Тиберия уходил на дружеские диспуты с членами тамошних философских школ. Он увлекся классической мифологией и нарисовал огромную генеалогическую схему в виде концентрических кругов, пронзенных линиями родства, которые расходились лучами от нашего самого первого предка Хаоса, породившего Отца Времени, и достигали наружной окружности, усеянной нимфами, царями и героями. Работая над этой схемой, Тиберий не раз ставил в тупик экспертов по генеалогии такими, к примеру, вопросами: «Как звали бабушку Гектора по материнской линии?» или: «Был ли у Химеры отпрыск мужского пола?», а затем предлагал им привести соответствующие стихи кого-либо из древних поэтов в подтверждение ответа. Между прочим, как раз воспоминание об этой таблице, находящейся сейчас в моем владении, вызвало знаменитую шутку моего племянника Калигулы по адресу Августа: «О да, он приходится мне двоюродным дедом. Мы были точно в таком родстве, как пес Цербер с Аполлоном». По правде говоря, если подумать, Калигула здесь ошибается. Вам не кажется, нет? Двоюродным дедом Аполлона был Тифон, согласно одним авторитетным источникам — отец, согласно другим — дед Цербера. Но раннее генеалогическое древо богов так запутано и так изобилует кровосмесительными союзами — сын с матерью, брат с сестрой, — что, возможно, Калигула и доказал бы свою правоту.

Так как Тиберий был народный трибун, жители Родоса смотрели на него со страхом и почтением, и должностные лица провинции, плывущие на Восток, где их ждал какой-нибудь пост, или возвращавшиеся оттуда, не забывали сделать крюк на своем пути, чтобы нанести ему визит и засвидетельствовать почтение. Но Тиберий настаивал на том, что он — просто частное лицо, отклонял любые публичные почести и обычно обходился без положенных ему телохранителей. Только однажды он употребил власть, которую давало его звание: арестовал и присудил к месячному тюремному заключению молодого грека, который во время грамматического диспута, где Тиберий был председателем, пытался пренебречь его замечаниями. Дядя держался в хорошей форме, благодаря тому что ездил верхом и занимался упражнениями в гимнастическом зале, и был в курсе всех дел в Риме — Ливия каждый месяц присылала ему письмо с последними новостями. Кроме дома, в главном городе острова ему принадлежала небольшая вилла неподалеку, выстроенная на высоком мысу, господствующем над морем. Вверх по утесу к вилле шла потайная тропинка, по которой его доверенный вольноотпущенник, человек большой физической силы, проводил к Тиберию всяких сомнительных личностей — проституток, педерастов, гадалок, магов, — с которыми он обычно коротал вечера. Говорили, будто очень часто эти его гости, если Тиберий был ими недоволен, почему-то оступались на обратном пути и падали в море.

Я уже упоминал, что Август отказался вновь утвердить Тиберия на посту трибуна, когда истекло пять лет. Можно представить, что это поставило того в очень неловкое положение на Родосе, где он не пользовался особой популярностью; увидев, что дядя лишен своих телохранителей, судейской власти и права личной неприкосновенности, родосцы сперва стали обращаться с ним с фамильярностью, а

затем и с пренебрежением. Например, один известный греческий учитель философии, к которому Тиберий обратился за разрешением посещать его занятия, ответил, что у него нет сейчас свободных мест, пусть зайдет через неделю, возможно, тогда место и освободится. Затем Ливия сообщила дяде, что Гая послали губернатором в Малую Азию. Но, хотя он был совсем недалеко, в Хиосе, Гай не заехал на Родос и не нанес Тиберию ожидаемого визита. Тиберий слышал от кого-то из друзей, что Гай верит в ложные слухи, которые ходят по Риму, будто он, Тиберий, и Ливия составили заговор, чтобы поднять в войсках восстание, и что кто-то из свиты Гая даже предложил на публичном пиру, где все порядочно выпили, что он сплавает на Родос и привезет обратно голову «ссылного». Гай сказал тому, что «ссылный» его не страшит, пусть уж его бесполезная голова остается на его бесполезных плечах. Тиберий проглотил обиду, тут же отплыл в Хиос, чтобы помириться с пасынком, и вел себя с ним с таким смирением, что об этом все потом толковали. Тиберий, самый выдающийся римский гражданин после Августа, обхаживает мальчишку, которому нет и двадцати, и к тому же сына его собственной беспутной жены! Гай принял его холодно, но был польщен. Тиберий умолял его ничего не опасаться, ибо дошедшие до него, Гая, слухи были столь же безосновательны, сколь злонамеренны. Тиберий сказал, что не собирается возобновлять политическую карьеру, которую он прервал из уважения к самому Гаю и его брату Луцию; хочет он лишь одного: чтобы ему позволили провести остаток дней в мире и уединении, которые он научился ценить превыше всех публичных почестей.

Гай, польщенный возможностью проявить великодушие, взял на себя миссию переслать Августу письмо Тиберия с просьбой разрешить ему вернуться в Рим и обещал подкрепить это письмо собственным ходатайством. Тиберий писал, что он покинул Рим, только чтобы не мешать юным принцам, своим пасынкам, но теперь, когда они выросли и твердо стоят на ногах, не осталось никаких препятствий к тому, чтобы ему спокойно жить в самом Риме; он добавил, что Родос ему надоел и он жаждет вновь увидеть своих родичей и друзей. Гай переслал это письмо с обещанным ходатайством. Август ответил Гаю, не Тиберию, что Тиберий уехал, несмотря на настоятельные уговоры его родичей и друзей, когда государство очень в нем нуждалось; не ему теперь ставить условия возвращения. Содержание его письма получило широкую огласку, и тревога Тиберия еще усилилась. Он слышал, что во Франции, в Неме, народ сбросил статуи, воздвигнутые в память о его победах, и что к Луцию тоже поступили о нем ложные сведения, которым тот был склонен верить. Тиберий уехал из города и поселился в маленьком домике в глухой части острова и лишь изредка посещал свою виллу на мысу. Он перестал заботиться о здоровье и даже о внешнем виде, редко брился, ходил в шлепанцах и халате. В конце концов Тиберий отправил приватное письмо Ливии, где объяснил, в каком он опасном положении. Он дал ей торжественное обещание, что, если она сможет добиться для него разрешения вернуться в Рим, он будет до конца жизни поступать по ее указке. Дядя писал, что обращается к ней не столько, как к любящей матери, сколько в первую очередь, как к истинному, хотя и не признанному пока, кормчему государственного корабля.

2 г. до н. э.

Это-то и было нужно Ливии; она сознательно до этих пор не просила Августа призвать Тиберия в Рим. Она хотела, чтобы дядя так пресытился бездействием и публичным бесчестьем, как раньше — деятельностью и публичными почестями. Ливия отправила ему депешу, где говорила, что получила его письмо и согласна на предложенную сделку. Через несколько месяцев Луций таинственным образом умер в Марселе, на пути в Испанию, и Ливия принялась обрабатывать оглушенного этим ударом Августа, говоря, как ей все эти годы доставало помощи ее дорогого сына

Тиберия, о возвращении которого она до сих пор не отваживалась просить. Конечно, Тиберий поступил некрасиво, но он получил хороший урок, и его личные письма к ней говорят о безграничной преданности и любви к Августу. Теперь, когда брат его умер, доказывала она, Гаю, поддерживавшему просьбу Тиберия о возвращении, понадобится рядом преданный ему душой и телом человек, которому он сможет доверять.

Однажды вечером на виллу Тиберия на мысу пришел астролог по имени Фрасилл, араб по происхождению. Он бывал здесь раза два-три и сделал несколько многообещающих предсказаний, но ни одно из них до сих пор не исполнилось. Тиберий, почти потеряв в него веру, сказал своему вольноотпущеннику, что, если Фрасилл опять обманет его ожидания, придется ему споткнуться на обратном пути. Когда Фрасилл появился, Тиберий первым делом спросил:

— Каково взаимоположение моих звезд сегодня?

Фрасилл сел и, взяв кусок угля, сделал на каменной столешнице сложный астрологический расчет. Наконец он сказал:

— Они находятся в наиболее благоприятном сближении. Кризис твоей жизни миновал, все дурное осталось позади. С этого дня фортуна повернулась к тебе лицом.

— Превосходно, — холодно проговорил Тиберий, — а как насчет твоих звезд?

Фрасилл снова занялся расчетами, затем взглянул на Тиберия в действительном или притворном смятении:

— О, боги! — воскликнул он. — Мне угрожает ужасная опасность с воздуха и с воды.

— И никакой возможности избежать ее? — спросил Тиберий.

— Трудно сказать. Если мне удастся остаться в живых в течение ближайших двенадцати часов, я буду жить не менее счастливо — для моего положения, — чем ты. Но все недоброжелательные ко мне планеты находятся в сближении, и похоже, что опасности не избежать. Только Венера может спасти меня.

— Что такое ты сейчас говорил насчет нее? Я забыл.

— Что она сближается со Скорпионом, твоим созвездием, предвещая удивительно счастливую перемену в твоей судьбе. Разреши мне сделать дальнейшие выводы из этого крайне важного сближения: ты вскоре станешь членом рода Юлиев, который, вряд ли мне надо об этом напоминать, ведет свое происхождение по прямой линии от Венеры, матери Энея. Тиберий, моя скромная судьба таинственным образом связана с твоей блистательной судьбой. Если хорошие известия достигнут тебя до завтрашнего рассвета, это явится знамением того, что меня будет ждать впереди почти столько же счастливых лет жизни, сколько тебя самого.

Они сидели в портике, и внезапно на колено Фрасилла опустился королек или какая-то другая маленькая птичка и, наклонив головку набок, стала что-то чирикать. Фрасилл сказал ей:

— Спасибо, сестричка, твои новости пришли в самый раз. — Затем он обернулся к Тиберию: — Корабль везет тебе хорошие известия. Я спасен. Опасность отвлечена.

Тиберий вскочил с места и, обняв Фрасилла, признался в своих злых намерениях. Фрасилл не ошибся: на корабле прибыло официальное послание от Августа, который сообщал Тиберию о смерти Луция и говорил, что при сложившихся обстоятельствах ему милостиво дозволяется вернуться в Рим, хотя пока только как частному лицу.

Ну а как обстояли дела у Гаия? Август очень боялся, как бы во время его губернаторства на Востоке не начались бы волнения — справиться с ними Гаю было бы не под силу. К несчастью, царь Армении восстал, а царь Парфии угрожал с ним объединиться, что поставило Августа в затруднительное положение. Хотя Гай

показал себя умелым губернатором в мирное время, Август сомневался, что юноша сумеет успешно возглавить такую важную военную кампанию, а сам он был слишком стар, чтобы участвовать в ней, да к тому же у него хватало дел в Риме. Однако Август не мог никого послать на Восток на смену Гаю, так как Гай был консулом, и его не допустили бы до отправления этой должности, если бы оказалось, что он не способен быть главнокомандующим. Положение было безвыходным, оставалось предоставить Гаю его судьбе и уповать на лучшее.

Сперва Гаю везло. Опасность со стороны Армении миновала, так как с востока в нее вторглись орды кочевников-варваров. В то время как их изгоняли, царь Армении был убит. Услышав об этом, а также о большой армии, которую собрал Гай, царь Парфии помирился с ним, к большому облегчению Августа. Но новый царь Мидэ, посаженный Августом на престол Армении, был неугоден армянской знати, и, когда Гай отослал за ненадобностью дополнительные полки, армяне опять объявили войну. Гай снова собрал армию и выступил походом на Армению, где несколько месяцев спустя был предательски ранен вражеским военачальником, пригласившим его на переговоры. Рана была легкая. Гай не обратил на нее внимания и успешно завершил кампанию. Но лечили его, видимо, неверно, и здоровье Гаю, которое последние два года неизвестно почему становилось все хуже, серьезно пошатнулось: он потерял способность сосредотачивать мысли. В конце концов Гай обратился к Августу с просьбой разрешить ему отказаться от всех должностей и жить частной жизнью. Август был огорчен, но просьбу удовлетворил. По пути домой Гай умер. Таким образом, из всех сыновей Юлии остался один пятнадцатилетний Постум, а Август настолько примирился с Тиберием, что, как предсказал Фрасилл, усыновил его, сделав членом рода Юлиев и, вместе с Постумом, своим наследником.

Восток был на какое-то время замирен, но когда вновь вспыхнувшая в Германии война — я упоминал о ней в связи с учебным сочинением, которое я написал для Афинодора, — приняла серьезный оборот, Август сделал Тиберия главнокомандующим и выказал вернувшееся доверие, назначив его на десять лет народным трибуном. Кампания была жестокая, и Тиберий провел ее с прежним умением. Однако Ливия настаивала на его частых приездах в Рим, чтобы он был в курсе всех политических событий. Тиберий не забывал об их сделке и позволял ей во всем собой руководить.

Глава VII

1 г. до н. э.

Я вернулся на несколько лет назад, чтобы рассказать о дяде Тиберии, но, следуя за событиями его жизни вплоть до усыновления Тиберия Августом, я опередил мою собственную историю. Я постараюсь посвятить ряд последующих глав событиям, которые произошли до того, как мне минуло шестнадцать. В основном это будет перечень помолвок и браков между нами, молодыми аристократами. Первым достиг совершеннолетия Германик — ему исполнилось четырнадцать тринадцатого сентября, но празднование совершеннолетия всегда происходит в марте. Как это принято, Германик вышел ранним утром с венком на голове из нашего дома на Палатинском холме, в последний раз надев, как положено мальчикам, платье с пурпурной каймой. Впереди бежали поющие дети, разбрасывая цветы, рядом шел эскорт из друзей-патрициев, а позади — огромная толпа горожан, разделившихся на группы согласно их общественному положению. Процессия медленно спустилась по склону холма и вступила на рыночную площадь, где Германика встретили восторженные клики. Он ответил короткой речью. Затем процессия поднялась по склону Капитолийского холма. У Капитолия их ждали Август и Ливия, чтобы приветствовать Германика. В Капитолийском храме он принес в жертву Юпитеру

Громовержцу белого быка и впервые надел белую мужскую тогу. К моему великому разочарованию, мне не разрешили его сопровождать. Идти пешком, мол, мне будет слишком трудно, а если меня понесут на носилках, это произведет плохое впечатление. Из всех церемоний я видел лишь, как, вернувшись домой, Германик посвящал домашним пенатам свое детское платье и украшения и как бросал монеты и пирожки в толпу, собравшуюся у входа в дом.

Через год Германик женился. Август делал все, что мог при помощи законодательства, чтобы поощрять браки между знатными семьями. Империя была велика и нуждалась в большем количестве должностных лиц и старших армейских офицеров, чем могли дать аристократия и дворянство, несмотря на то, что их ряды все время пополнялись за счет простолюдинов. Когда именитые господа сетовали на вульгарность новоиспеченной знати, Август обычно отвечал раздраженно, что это наименее вульгарные из тех, кого он мог найти. Лекарство в их собственных руках, говорил он: все высокородные римляне и римлянки должны как можно раньше вступать в брак и рожать как можно больше детей. Августа не переставала терзать мысль о том, что число браков и количество детей в среде правящих классов неуклонно идет на убыль.

Однажды, когда благородное сословие всадников, из числа которых избирали сенаторов, стало жаловаться на суровость его законов против холостяков, Август вызвал все сословие на рыночную площадь, чтобы прочитать им мораль. Когда всадники собрались, он разделил их на две группы: женатых и холостяков. Неженатых оказалось гораздо больше. К каждой из этих групп он обратился отдельно. Он сильно распалил себя, обращаясь к холостякам, называл их разбойниками и свиньями и даже, прибегнув к забавной фигуре речи, убийцами собственного потомства. В это время Август уже был стариком, с присущими его возрасту раздражительностью и причудами, тем более естественными для человека, возглавлявшего государство чуть не всю свою жизнь. Он спросил, может, им пригрезилось, будто они — девственные весталки? Так весталки ни с кем не спят, чего нельзя сказать о них. Не будут ли они так добры объяснить ему, почему вместо того, чтобы делить ложе с добропорядочными женщинами своего сословия и зачинать здоровых детей, они тратят мужскую силу на грязных рабынь, мерзких азиатских и греческих шлюх? А если ему верить своим ушам, то партнером их ночных развлечений часто бывает одно из тех отвратительных созданий, профессию которых он, Август, даже не хочет упоминать, чтобы признание того факта, что они существуют в Риме, не расценили бы как прощение. Если бы это зависело от него, мужчина, который уклоняется от своего общественного долга и в то же время ведет распутную жизнь, подвергался бы такому же ужасному наказанию, как весталка, нарушившая обет девственности, — его закапывали бы живым в землю.

Что касается нас, женатых мужчин (ибо я тоже в то время уже был женат), Август произнес по нашему адресу настоящий панегирик, простирая к нам руки, словно хотел обнять. «Вас немного по сравнению с огромным населением Рима. Вы куда малочисленнее, чем ваши собратья вон там, не желающие исполнить свои естественные обязанности перед обществом. Однако по этой самой причине я возношу вам хвалу и вдвойне благодарен за то, что вы показали себя послушными моим желаниям и приложили все силы, чтобы увеличить население государства. Благодаря таким людям римляне будущего станут великой нацией. Сперва нас была горстка, но когда мы все поголовно стали жениться и производить на свет детей, мы смогли соперничать с соседями не только в мужественности наших граждан, но и в размере населения. Будем же всегда об этом помнить. Подверженные смерти, мы должны утешаться бесконечной преемственностью поколений, сменяющих одно другое, как несущие факел участники эстафеты; так точно при помощи друг друга мы можем сделать бессмертной ту часть нашей природы, которой никогда не достичь

божественного блаженства. Именно по этой причине первый и самый великий бог, сотворивший нас, разделил человеческую расу на две половины, он создал одних мужчинами, других — женщинами и вселил в эти половины взаимное тяготение, сделав их любовный союз плодоносным, чтобы, благодаря непрерывному размножению, смертные стали в некотором смысле бессмертны. Предание гласит, что сами боги — одни мужского, другие женского пола и что все они взаимосвязаны кровным родством — отцовством и материнством. Вы видите, что даже среди существ, которые не нуждаются в таком средстве, брак и деторождение считаются благородным обычаем».

Я с трудом удерживался от смеха, во-первых, меня хвалили за то, что было навязано мне против воли (я скоро расскажу вам об Ургуланилле, на которой я был в то время женат), а во-вторых, все это было чистым фарсом. Что толку обращаться к нам с такой речью, когда Август прекрасно знает, что «увиливают», как он это называл, от брака не мужчины, а женщины? Если бы он собрал вместо нас женщин и нашел к ним правильный подход, возможно, из этого что-нибудь бы и вышло.

Я помню, как-то раз я услышал, как две вольноотпущенницы моей матери обсуждали современный брак с точки зрения семейной женщины. Что она выигрывает, выходя замуж? — спрашивали они. Нравы так распушены, что никто больше не принимает брак всерьез. Бесспорно, некоторые старомодные мужчины настолько уважают супружество, что недовольны, когда жены рожают им детей от друзей и домашних слуг; а некоторые старомодные женщины настолько уважают чувства своих мужей, что остерегаются беременеть от кого-либо, кроме мужа. Но, как правило, любая недурная собой женщина может в наши дни спать с любым мужчиной, который ей приглянется. А если она выйдет замуж, а затем муж ей надоеет, как это обычно случается, и она захочет развлечься с кем-то другим, ей, возможно, придется бороться с гордостью или ревностью мужа. И финансовое положение женщины обычно не становится лучше после замужества. Ее приданое переходит в руки мужа или свекра, если он еще жив, как главы семьи, а с мужем или со свекром труднее поладить, чем с отцом или старшим братом, чьи уязвимые места женщина давно изучила. Замужество просто означает обременительные хозяйственные заботы. Что до детей — кому они нужны? Они причиняют вред здоровью госпожи и служат помехой ее забавам за несколько месяцев до рождения, и, хотя после рождения их тут же передают в руки кормилицы, нужно еще оправиться от этой неприятности — родов, и частенько случается, что, родив двух-трех детей, женщина навсегда теряет фигуру. Посмотри, как изменилась красавица Юлия, послушно уступив желанию Августа иметь потомство. А если госпожа любит своего мужа, ей приходится мириться с тем, что во время ее беременности он утешается с другими женщинами, а когда рождается ребенок — и не взглянет на него. К тому же, если не говорить о всем прочем, кормилицы в наши дни на редкость беспечны, и дети часто умирают. Какое счастье, что есть эти ловкие греческие доктора — если дело не зашло слишком далеко, они могут за два-три дня избавить вас от нежелательного ребенка, от чего никто не пострадает, и все останется шито-крыто. Конечно, некоторые, даже вполне современные, женщины питают старомодную тягу к детям, но ведь всегда можно усыновить ребенка, купив его у человека из порядочной семьи, на которого сильно нажимают кредиторы...

Август дал сословию всадников разрешение жениться на простолюдинках, даже на вольноотпущенницах, но это мало исправило положение. Всадники если уж и женились, то ради богатого приданого, а не по любви и не ради детей, и вольноотпущенница не была такой уж завидной партией, к тому же всадники, особенно те, кто был недавно включен в сословие, не хотели жениться на женщинах ниже себя по званию. В семьях старой знати картина была еще хуже: меньше выбор среди женщин, подходящих по степени родства, и более жесткие условия брачного

контракта. Жена попадала в полную зависимость от главы семьи, в которую входила. Всякая разумная женщина десять раз подумает, прежде чем подпишет такой контракт, ведь расторгнуть его может только развод, а после развода трудно получить обратно имущество, которое она принесла мужу в виде приданого. Однако во всех других, менее аристократических семьях женщина могла законно выйти замуж и при этом остаться независимой и держать под контролем собственное добро, если она оговаривала себе в качестве особого условия, что три ночи в году она будет спать вне стен супружеского дома — это лишало мужа права смотреть на нее как на свою собственность. Женщинам нравилась такая форма брака по тем самым вполне понятным причинам, по которым она не нравилась их мужьям. Практика эта началась среди низкороджденных семей города и распространялась все выше, пока не утвердилась во всех семьях, кроме семей старой знати. Здесь против нее возражали по религиозным мотивам. Из этих семей выбирали государственных жрецов, а согласно принятым установлениям жрец должен быть женат, причем женат по всей форме, и происходить из семьи, где родители тоже были женаты по всей форме. Время шло, и с каждым годом было все труднее находить кандидатов на должность жреца. Наконец в коллегии жрецов оказалось много незаполненных вакансий; надо было что-то предпринять, и юристы нашли выход. Высокородженным женщинам разрешили, заключая брачный контракт по всей форме, оговаривать, что полный отказ от личной свободы и своего достояния «касается лишь вопросов веры», а в остальном они пользуются всеми благами свободного супружества.

Но это произошло позднее. А пока единственное, что мог сделать Август, помимо законов о штрафах, налагаемых на холостяков и бездетных женатых мужчин, это оказывать давление на старших в семье, чтобы те женили и выдавали замуж детей и внуков (с наказом плодиться и множиться), пока те еще молоды, не понимают, чему их намерены подвергнуть, и вынуждены слепо повиноваться. Чтобы показать хороший пример, всех нас, младших отпрысков рода Августа и Ливии, помолвили и поженили в самом раннем возрасте, допускаемом законом. Как ни трудно этому поверить, Август был прадедом в пятьдесят четыре года и прапрадедом до того, как он умер в семьдесят шесть лет; а Юлия в результате второго, даже не первого, замужества, когда сама еще могла рожать, имела внучку в брачном возрасте. Таким образом, разные поколения частично перекрывали одно другое и генеалогическое древо императорской фамилии могло соперничать по сложности с генеалогическим древом Олимпа. Произошло это не только из-за частых усыновлений и браков между членами рода в более близкой степени родства, чем разрешалось религией, — императорская фамилия была превыше закона, — но потому, что не успевал муж умереть, как его вдову заставляли снова выйти замуж, причем за кого-нибудь из того же узкого родственного кружка. Я постараюсь сейчас разъяснить этот вопрос, избегая ненужных и скучных подробностей.

Я уже упоминал о детях Юлии, главных наследниках Августа, поскольку сама Юлия была отправлена в ссылку и вычеркнута из завещания, а именно: о трех мальчиках — Гае, Луции и Постуме и двух девочках — Юлилле и Агриппине. Младшие члены рода Ливии были: сын Тиберия Кастор, два двоюродных брата Кастора — мой брат Германик и я — и двоюродная сестра — моя сестра Ливилла. Да, не забыть еще внучку Юлии Эмилию. За неимением подходящего мужа из рода Ливии Юлилла вышла замуж за богатого сенатора по имени Эмилий (ее двоюродный брат по первому, до Августа, браку Скрибонии) и родила ему дочь. Брак Юлиллы не принес ей удачи, так как Ливия хотела, чтобы внуки Августа выходили замуж только за ее внуков, но, как вы скоро видите, бабку это недолго тревожило. Тем временем Германик женился на Агриппине, красивой серьезной девушке, в которую давно был влюблен. Гай женился на моей сестре Ливилле, но вскоре умер, не оставив детей. Луций, помолвленный с Эмилией, умер, не успев жениться.

После смерти Луция встал вопрос о подходящей паре для Эмилии. У Августа возникла близкая к истине догадка, что Ливия прочит ей в мужа не кого иного, как меня, а он с нежностью относился к девочке и даже помыслить не мог о том, чтобы выдать ее за такого калеку. Август решил воспротивиться этому браку; на этот раз, обещал он себе, Ливии не удастся настоять на своем. Случилось так, что вскоре после смерти Луция Август обедал у Медуллина, одного из своих старейших военачальников, происходившего по прямой линии от диктатора Камилла. После нескольких кубков вина Медуллин с улыбкой сказал Августу, что у него есть внучка, которую он очень любит. Она сделала неожиданно большие успехи в литературных занятиях, и насколько он понял, благодарить за это надо юного родственника его достопочтенного гостя.

Август был удивлен.

— Кто бы это мог быть? Ума не приложу. Я ничего об этом не слышал. Что происходит? Тайный роман под литературным соусом?

— Нечто в этом роде, — сказал, улыбаясь, Медуллин. — Я разговаривал с молодым человеком, и, несмотря на его физические недостатки, он мне понравился. Он еще себя покажет. У него открытая и благородная натура, а своей ученостью он произвел на меня весьма большое впечатление.

Не веря ушам, Август спросил:

— Неужто ты имеешь в виду Тиберия Клавдия?

— Да, именно его, — сказал Медуллин.

Внезапно лицо Августа просветлело — видно, он что-то решил, — и он спросил с неприличной поспешностью:

— Послушай, Медуллин, старый друг, ты бы не возражал, если бы Клавдий стал мужем твоей внучки? Если ты согласишься на этот брак, я буду очень рад устроить его. Номинально глава дома сейчас Германик, но в подобных делах он прислушивается к советам старших. Спору нет, не всякая девушка сумеет преодолеть свое отвращение к глухому и хрому заике, и мы с Ливией, естественно, не хотели его никому навязывать. Но если твоя внучка по собственной воле...

Медуллин сказал:

— Девочка сама заговорила со мной об этом браке и очень тщательно взвесила все «за» и «против». Она говорит, что Тиберий Клавдий — скромный, правдивый и добрый юноша, что из-за хромоты его никогда не отправят на войну и не убьют...

— И он не будет бегать за другими женщинами, — смеясь, закончил Август.

— ...И что глух он только на одно ухо, а что до его здоровья вообще...

— Плутовка, верно, рассудила, что на ту «ногу», которая более всего заботит честных жен, он не хромает. И правда, почему он не может стать отцом вполне здоровых детей? Мой старый, хромой, запаленный жеребец Буцефал произвел больше победителей в гонках, чем любой другой племенной конь в Риме. Но, шутки в сторону, Медуллин, твой род — один из самых почтенных, и семья моей жены будет горда породниться с вами. Ты серьезно хочешь сказать, что одобряешь этот союз?

Медуллин ответил, что девочку могла ждать куда худшая участь, не говоря уж о неожиданной чести вступить в родство с самим отцом отчизны.

Так вот, его внучка, Медуллина, была моей первой любовью, и, клянусь, во всем свете было не сыскать такого прелестного создания. Я встретил ее летом в Саллюстиевых садах, куда меня привел Сульпиций, так как Афинодор был болен. Дочь Сульпиция была замужем за дядей Медуллины, Фурием Камиллом, выдающимся воином, который шесть лет спустя был назначен консулом. Когда я увидел ее впервые, я был поражен не только ее неожиданным появлением — она подошла ко мне со стороны глухого уха в то время, как я был поглощен чтением, и когда я поднял глаза от книги, она стояла, склонившись надо мной, и смеялась, — но и ее красотой. Медуллина была тоненькая, с густыми черными волосами, белой

кожей и темно-синими глазами, движения ее были быстрые и легкие, как у птички.

— Как тебя зовут? — спросила она дружески.

— Тиберий Клавдии Друз Нерон Германик.

— О, боги, так много имен! Меня зовут Медуллина Камилла. Сколько тебе лет?

— Тринадцать, — сказал я, ни разу не заикнувшись.

— Мне только одиннадцать, но, спорю на что угодно, я перегоню тебя, если мы побежим к тому кедру и обратно.

— Значит, ты чемпионка по бегу, да?

— Могу перегнать любую девочку в Риме и своих старших братьев — тоже.

— Боюсь, ты выиграешь за мой невыход на состязание. Я совсем не могу бегать, я — хромой.

— Ах, бедняжка! Как же ты сюда добрался? Хромал всю дорогу?

— Нет, Камилла, в носилках, как ленивый старик.

— Почему ты называешь меня вторым именем?

— Потому что оно больше тебе подходит.

— Откуда ты это знаешь, умник?

— Этруски дают имя «Камилла» юным охотницам — жрицам Дианы. С таким именем просто нельзя не быть чемпионкой по бегу.

— Мне это нравится. Я никогда не слышала об этом. Я велю всем моим друзьям звать меня теперь Камилла.

— А ты зови меня Клавдий, ладно? Это имя подходит мне. Оно означает «калека». Дома меня зовут Тиберий, но это неподходящее для меня имя, ведь в Тибре очень быстрое течение.

Камилла рассмеялась.

— Хорошо, Клавдий. А теперь расскажи мне, что ты делаешь целыми днями, если не можешь бегать с другими мальчиками.

— Читаю, главным образом, и пишу. В этом году я прочитал кучу книг, а сейчас всего лишь июнь. Эта — на греческом.

— Я еще не умею читать по-гречески. Я только выучила алфавит. Дедушка сердится на меня — отца у меня нет, — думает, что я ленюсь. Конечно, когда говорят по-гречески, я понимаю, нас всегда заставляют говорить по-гречески за едой и когда приходят гости. О чем эта книжка?

— Это часть «Истории» Фукидида. Я как раз читаю про то, как один политик, кожевник по имени Клеон, стал критиковать полководцев, окруживших Спарту. Он сказал, что они не проявляют должного старания и что если бы он командовал греками, он бы через двадцать дней забрал в плен всю армию спартанцев. Афинянам так надоело его слушать, что они поймали его на слове и назначили главнокомандующим.

— Забавно. И что же дальше?

— Он сдержал обещание. Он выбрал хорошего начальника штаба и сказал, пусть воюет, как хочет, лишь бы выиграл битву. Тот знал свое дело, и через двадцать дней Клеон привез в Афины сто двадцать спартанцев высшего ранга.

Камилла сказала:

— Я слышала, как мой дядя Фурий говорил, что самый умный вождь тот, кто выбирает умных людей, чтобы они за него думали.

Затем добавила:

— Ты, наверно, много всего знаешь, Клавдий.

— Считается, что я — круглый дурак, и чем больше я читаю, тем большим слышу дураком.

— Я думаю, ты очень умный. Ты так хорошо рассказываешь.

— Но я заикаюсь. Мой язык не поспевает за мыслями. Он тоже из Клавдиев.

— Может быть, это просто робость. У тебя ведь мало знакомых девочек?

— Да, — сказал я, — и ты- первая, кто надо мной не смеется. Вот если бы нам с тобой хоть изредка встречаться, Камилла! Ты не можешь научить меня бегать, но я могу научить тебя читать по-гречески. Ты бы хотела?

— Очень. Но мы будем учиться по интересным книгам?

— По любой, какой хочешь. Тебе нравится история?

— Поэзия мне нравится больше, в истории надо помнить столько имен и дат. Моя старшая сестра без ума от любовной поэзии Парфения. Ты читал ее?

— Некоторые стихотворения, но они мне не понравились. Они такие манерные. Мне нравятся настоящие книги.

— И мне. Но есть ли у греков любовная поэзия, которая не звучит манерно?

— Есть. Феокрит. Я очень его люблю. Попроси, чтобы тебя привели сюда завтра в это же время, а я принесу Феокрита, и мы сразу начнем.

— Честное слово, это не скучно?

— Да, он очень хорош.

С тех пор мы встречались в саду почти каждый день и, сев в тени, читали вместе Феокрита и разговаривали. Я заставил Сульпиция пообещать, что он никому об этом не скажет, боясь, что если о наших встречах услышит Ливия, она запретит мне туда ходить. Однажды Камилла сказала, что я — самый добрый мальчик из всех, кого она знает, и я нравлюсь ей больше друзей ее братьев. Тогда и я сказал ей, как она мне нравится, и она была очень довольна, и мы поцеловались. Камилла спросила, есть ли для нас хоть какая-нибудь надежда пожениться. Она сказала, что дед сделает для нее все, что она захочет, и что она как-нибудь приведет его с собой в сад и познакомит нас, но согласится ли мой отец? Когда я сказал ей, что у меня нет отца и все решают Август и Ливия, она пришла в уныние. До тех пор мы редко говорили о своих семьях. Камилла никогда не слышала ничего хорошего о Ливии, но я сказал, возможно, бабка не станет возражать — она питает ко мне глубокое отвращение, и ей, по-моему, безразлично, что бы я ни делал, лишь бы не осрамил ее.

Медуллин был честный, горделивый старик и тоже увлекался историей, так что нам было о чем побеседовать. Он служил старшим офицером во время первой военной кампании моего отца и знал множество эпизодов из его жизни, большую часть которых я с благодарностью записал для «Биографии». Однажды мы с Медуллином заговорили о предке Камиллы Камилле, и, когда Медуллин спросил меня, какой его поступок вызывает во мне самое большое восхищение, я ответил: «Когда учитель из Фалерий предательски заманил вверенных его попечению детей к стенам Рима и сказал Камиллу, что фалерианцы будут согласны получить их обратно любой ценой, у того это вызвало лишь возмущение. Он велел содрать с предателя платье, связать ему за спиной руки и дать мальчикам розги и плети, чтобы они хлестали его весь обратный путь домой. Вот это я понимаю!» Читая эту историю, я представлял учителя в виде Катона, а на место мальчиков ставил Постума и себя самого, так что к моему гражданскому восторгу примешивались и личные чувства, но Медуллин был доволен.

Когда Германика попросили дать согласие на наш брак, он с радостью это сделал, так как я рассказал ему о своей любви к Камилле, у дяди Тиберия тоже не было никаких возражений: бабка Ливия скрыла, как обычно, свое недовольство и поздравила Августа с тем, что он поймал Медуллина на слове:

— Он, верно, был пьян, — заметила она, — раз одобрил такой союз, хотя, с другой стороны, приданое он дает маленькое, а честь породниться с императорским домом — велика. В роду Камиллов уже много десятков лет не появлялось людей с выдающимися способностями и высокой репутацией.

Германик сказал мне, что обо всем договорено, и помолвка состоится в ближайший счастливый день — мы, римляне, очень суеверны в этом отношении: никому и в голову не придет, например, устраивать сражение, или жениться, или

покупать дом шестнадцатого июля — день катастрофы при Аллии, случившейся при жизни Камиллы. Я не верил своему счастью. Я тоже боялся, что меня женят на Эмилии, сварливой жеманной девчонке с дурным характером, которая в подражание Ливилле дразнила меня и выставляла в глупом свете всякий раз, когда приходила к нам в гости, что случалось часто. Ливия настаивала на том, чтобы помолвка состоялась в самом узком кругу, так как она-де не может на меня положиться — вдруг я сваляю дурака. Я был доволен, я терпеть не мог пышные церемонии. Присутствовать должны были только свидетели; устраивать пиршества не станут, будет лишь ритуальное принесение в жертву барана, чьи внутренности покажут, благоприятны ли нам предзнаменования. Естественно, они окажутся благоприятными, уж Август, который будет совершать обряд, постарается об этом из любезности к Ливии. Затем будет подписан контракт относительно бракосочетания, которое состоится, когда я достигну совершеннолетия, а также обусловлено приданое. Мы с Камиллой возьмемся за руки и поцелуемся, потом я дам ей золотое кольцо, и она вернется в дом деда — тихо и спокойно, как пришла, без свиты из поющих подружек.

Даже сейчас я не могу без боли писать об этом дне. В чистой тоге, в венке, я стоял с Германиком у фамильного алтаря, тревожно дожидаясь, когда появится Камилла. Она запаздывала. Сильно запаздывала. Свидетели потеряли терпение и стали порицать старого Медуллина за плохие манеры — разве можно заставлять людей ждать во время такой важной церемонии! Наконец привратник объявил, что прибыл дядя Камиллы Фурий. Фурий вошел — бледный, как мел, в траурном платье. После нескольких приветственных слов он попросил прощения у Августа и у всех, кто там был, за опоздание и за злобещий вид и сказал:

— Случилось ужасное несчастье. Моя племянница мертва.

— Мертва! — вскричал Август. — Что ты мелешь! Нам передали всего полчаса назад, что она уже на пути сюда.

— Ее отравили. У дверей собралась толпа, как обычно, когда люди узнают, что дочь хозяина дома отправляется на помолвку. Племянница вышла, и женщины, любуясь ею, сгрудились вокруг нее. Вдруг девочка вскрикнула, точно ей наступили на ногу, но никто не обратил на это внимания, и она села в носилки. Не успели мы отъехать, как моя жена Сульпиция увидела, что племянница побледнела, и спросила, не боится ли она. «Ах, тетя, — сказала девочка, — какая-то женщина воткнула мне в руку иглу, мне дурно». Это были ее последние слова. Через несколько минут Медуллины Камиллы не стало. Я поспешил сюда сразу же, как переоделся. Простите меня.

Я разразился слезами, у меня сделалась истерика. Мать, разгневанная моим недостойным поведением, велела вольноотпущеннику увести меня в мою комнату, где я провел много дней в нервной лихорадке, не в состоянии ни есть, ни спать. Если бы не милый Постум, всячески утешавший меня, думаю, я вообще лишился бы рассудка. Отравительницу так и не нашли, и никто не мог объяснить, зачем она это сделала. Несколько дней спустя Ливия сообщила Августу, что, по достоверным источникам, одна из женщин в толпе, гречанка, считала себя, несомненно без оснований, обиженной дядей Камиллы и, возможно, решила отомстить ему таким чудовищным образом.

Когда я поправился, во всяком случае вернулся к обычному своему состоянию, Ливия посетовала в разговоре с Августом на то, что смерть Медуллины Камиллы поставила их в трудное положение. Она боится, что маленькую Эмилию придется все же помолвить с ее невозможным внуком, несмотря на вполне простительное нежелание Августа заключать этот брак. «Все удивляются, — сказала Ливия, — что их не обручили раньше». Так что бабка, как обычно, поставила на своем. Через несколько недель меня помолвили с Эмилией; и я ни разу за всю церемонию не

опозорился, так как горе сделало меня ко всему безразличным. Но глаза Эмилии, когда она появилась, были красны от слез ярости, а не горя.

Что касается Постума, то он, бедняга, был влюблен в мою сестру Ливиллу, с которой он часто виделся, так как, выйдя замуж за его брата Гая, она переехала жить во дворец и до сих пор жила там. Все ожидали, что Постум женится на ней, чтобы возобновить семейные связи, разорванные смертью его брата. Ливилле льстила его страстная привязанность, она постоянно флиртовала с ним, но она его не любила. Ее избранником был Кастор — жестокий, беспутный красивый юноша, словно созданный для нее. Я совсем случайно узнал о связи Ливиллы и Кастора и очень расстраивался из-за Постума, который не подозревал, что представляет собой моя сестра, а я не осмеливался сказать ему об этом. В его присутствии Ливилла обращалась со мной с наигранной нежностью, что трогало Постума и злило меня. Я знал, что как только Постум уйдет, она снова начнет надо мной издеваться. Ливия пронюхала насчет интрижки между Ливиллой и Кастором и держала их под наблюдением. Однажды ночью она была вознаграждена, получив записку от доверенного слуги, где сообщалось, что Кастор влез в комнату Ливиллы через балконное окно. Ливия поставила на балкон вооруженного стражника, а затем постучала в дверь и позвала Ливиллу по имени. Минуты две спустя Ливилла открыла ей с таким видом, будто только что проснулась, но Ливия вошла в комнату и нашла за занавесями Кастора. Бабка поговорила с ними без обиняков и, по-видимому, дала им понять, что не доложит о них Августу, который, конечно, отправил бы их в изгнание, только на определенных условиях, и если эти условия будут неуклонно выполняться, она сама поможет им вступить в брак. Вскоре после моей помолвки с Эмилией Ливия уговорила Августа помолвить Постума, к его величайшему горю, с девушкой по имени Домиция, моей двоюродной сестрой с материнской стороны, а Кастор женился на Ливилле. Это было в том же самом году, когда Август усыновил Тиберия и Постума.

4 г. н. э.

Ливия сочла, что Юлиллы и ее муж Эмилий могут послужить препятствием ее планам. Ей повезло получить доказательство того, что Эмилий и Корнелий, внук Помпея Великого, составили заговор с целью лишить Августа власти и разделить его посты между собой и некоторыми экс-консулами, в том числе с Тиберием, хотя его мнения на этот счет еще не выяснили. Заговор этот был раскрыт в зародыше, потому что первый же экс-консул, к которому обратились Эмилий и Корнелий, отказался в нем участвовать. Август не приговорил ни того, ни другого ни к смерти, ни даже к изгнанию. То, что они не смогли найти поддержку, было свидетельством его силы, а тем, что он помиловал их, он лишний раз это подтверждал. Август просто позвал виновных к себе и прочитал им нотацию по поводу их безрассудства и неблагодарности. Корнелий упал к его ногам и униженно благодарил за милосердие. Август попросил его не ставить себя в глупое положение. Я не тиран, сказал Август, чтобы устраивать против меня заговоры или преклоняться предо мной за милосердие, я просто государственный служащий римской республики, получивший на какой-то срок широкие полномочия для поддержания порядка. Эмилий, по-видимому, увлек его на ложный путь, исказив факты. Лучшим лекарством от этой глупости будет стать консулом в будущем году, когда наступит его черед, и удовлетворить свое честолюбие, разделив честь с ним, Августом, ведь в Риме нет должности выше, чем консул (теоретически это было так). Эмилий не захотел ронять свое достоинство и остался стоять. Август сказал ему, что как его свойственник он мог бы вести себя пристойнее, а как экс-консул мог бы вести себя благоразумнее. После чего лишил его всех почестей.

Забавным в данном случае было то, что за «милосердие» Августа вся заслуга была приписана Ливии — она утверждала, будто молила, как это может только

женщина, сохранить жизнь заговорщикам, которых Август уже решил примерно наказать. Она получила от Августа разрешение опубликовать небольшую написанную ею книжечку под названием «Ночные дебаты о силе и мягкости», где было полно интимных штришков. Мы видим, что Август беспокоен, тревожен, не может уснуть. Ливия ласково уговаривает его раскрыть, что у него на душе, и они вместе обсуждают, как следует поступить с Эмилием и Корнелием. Август говорит, что не хочет казнить их, но боится, что будет вынужден это сделать, так как, если он их простит, подумают, будто он их боится, и это может побудить других людей устраивать против него заговоры. «Всегда быть вынужденным мстить и наказывать очень тяжело для любого благородного человека, моя дражайшая жена».

Ливия: «Ты совершенно прав, и я хочу тебе кое-что посоветовать — конечно, если ты согласен выслушать мой совет и не станешь порицать меня за то, что я, женщина, дерзнула предложить тебе вещь, которую никто, даже самые близкие твои друзья, не дерзнут предложить».

Август: «Выкладывай, что бы то ни было».

Ливия: «Я скажу тебе без колебаний, ибо у нас с тобой один жребий и мы поровну делим радость и горе; пока ты в безопасности, я властвую вместе с тобой, если же, боги избавь, с тобой что-нибудь случится — это будет и моим концом...» Ливия советует Августу простить заговорщиков: «Мягкие слова отвращают ярость, а жестокие даже у мягких духом вызывают гнев, прощение смягчит самое горделивое сердце, а наказание ожесточит самое смиренное... Я не хочу этим сказать, что мы должны прощать всех преступников без разбора, ибо существуют люди, отличающиеся неискоренимой испорченностью, — на них бесполезно тратить доброту. Таких людей надо немедленно удалять из общества, как раковую опухоль из тела. Но во всех других случаях, когда ошибки, умышленные или нет, совершены по молодости, невежеству или недоразумению, следует, я полагаю, просто отчитать виновных или наказать в самой легкой форме. Давай сделаем опыт, начав с Эмилия и Корнелия». Август восхищается ее мудростью и признает, что она права. Но обратите внимание на то, как Ливия заверяет весь свет, будто в случае смерти Августа ее правлению придет конец, и запомните ее слова насчет «неискоренимой испорченности» неких людей. Бабка Ливия была хитрая бестия!

Ливия предложила Августу отменить предполагаемый брак между мной и Эмилией в знак императорского недовольства ее родителями, и Август с радостью согласился на это, так как Эмилия горько жаловалась ему на то, что ей, несчастной, придется выйти за меня. Ливии больше нечего было опасаться Юлиллы, которую Август считал пособницей мужа, но и о ней Ливия «позаботится» в свое время. А пока ей надо было заплатить долг чести своей подруге Ургулании, женщине, о которой я еще не упоминал и которая является одним из самых неприятных персонажей моей истории.

Глава VIII

Ургулания, связанная с бабкой крепкими узами выгоды и благодарности, была ее единственной наперсницей. Она потеряла мужа, сторонника Помпея во время одной из гражданских войн, и Ливия, тогда еще не покинувшая моего деда, укрыла ее и спасла от жестокости солдат Августа. Выйдя за Августа, Ливия настояла на том, чтобы Ургулании вернули конфискованные владения мужа, и пригласила ее жить в своем доме в качестве члена семьи. Благодаря Ливии — так как именем Августа Ливия могла заставить Лепида, великого понтифика, делать любые нужные ей назначения — Ургулания получила пост, который давал ей власть над всеми замужними женщинами из знатных семейств. Это надо объяснить. Каждый год в начале декабря высокородные римлянки должны были совершать

жертвоприношения Доброй Богине — очень важный обряд, возглавляемый весталками, и от того, правильно ли эти таинства совершались, зависели благосостояние и безопасность Рима в последующие двенадцать месяцев. Ни одному мужчине под страхом смерти не разрешалось осквернять их своим присутствием. Ливия, снискавшая расположение весталок тем, что перестроила их обитель и роскошно ее обставила, а также добилась для них в сенате через Августа многих привилегий, намекнула старшей весталке, что добродетель некоторых из женщин, приносящих ритуальные жертвы, вызывает подозрение. Ливия сказала, что, вполне возможно, бедствия гражданских войн были вызваны гневом Доброй Богини за распутство тех, кто тогда участвовал в ее таинствах. Она сказала далее, что если женщинам, которые признаются в прелюбодеянии, клятвенно пообещать, что об этом не узнает ни один человек и им не грозит публичный позор, служить Богине будут лишь добродетельные жены, и это смягчит ее гнев.

Старшая весталка, женщина очень религиозная, согласилась с ней, но попросила, чтобы Ливия поддержала это нововведение. Ливия сказала, что только прошлой ночью видела Богиню во сне, и та попросила, поскольку весталки неопытны в вопросах плотской любви, назначить какую-нибудь почтенную вдову из хорошей семьи матерью-исповедницей. Старшая весталка спросила, будут ли обнаруженные проступки оставаться без возмездия. Ливия ответила, что не смогла бы ничего об этом сказать, но, к счастью, Богиня во время того же сна выразила по этому поводу свое мнение, а именно: матери-исповеднице дается право подвергнуть грешницу наказанию, но это должно держаться в священной тайне между матерью-исповедницей и виновницей преступления. Старшей весталке просто будут сообщать, что такая-то женщина в этом году недостойна участвовать в таинствах или что такая-то искупила уже свою вину. Это вполне устраивало старшую весталку, но она боялась, что, если она назовет определенное имя, Ливия его отклонит. Ливия сказала, что назначить мать-исповедницу, конечно, должен великий понтифик, и, если старшая весталка не возражает, она все ему объяснит и попросит назвать подходящее лицо, совершив необходимые церемонии, чтобы удостовериться, угоден ли его выбор Богине. Так Ургулания получила это назначение, и, разумеется, Ливия не стала разъяснять ни Лепиду, ни Августу, какую оно давало власть. Она лишь вскользь упомянула, что это пост советницы по моральным вопросам при старшей весталке, «ведь сама она, бедняжка, не от мира сего».

Таинства обычно происходили в доме одного из консулов, но теперь их перенесли во дворец Августа, ведь он же был рангом выше, чем консулы. Это было удобно для Ургулании; она призывала женщин к себе в комнату (где все было устроено так, чтобы внушить страх и вызвать на откровенность), брала с них страшные клятвы говорить правду, а когда они признавались в своих грехах, удаляла их на то время, пока она решит, какого они заслуживают наказания. Но решала это Ливия, которая с самого начала была в комнате, скрываясь за занавесями. Обе старухи получали от этой игры огромное удовольствие, а Ливия вдобавок много полезных сведений и помощь в осуществлении своих планов.

Ургулания считала, что поскольку она — мать-исповедница и служит Доброй Богине, она неподвластна законам. Позднее я расскажу, как однажды, вызванная в долговой суд по иску одного из сенаторов, которому она задолжала большую сумму денег, она отказалась туда явиться, и Ливии, чтобы замять скандал, пришлось самой заплатить долг. В другой раз Ургуланию пригласили в качестве свидетельницы в сенатскую следственную комиссию; не желая подвергаться перекрестному допросу, она добилась разрешения не являться туда, и к ней отправили одного из судей, чтобы получить ее показания в письменном виде. Это была жуткая старуха с раздвоенным подбородком и крашенными сажей волосами (седыми, что было ясно видно у корней), дожившая до глубокой старости. Ее сын Сильван был консулом

незадолго до заговора Эмилия, одним из тех, к кому тот обратился. Сильван пошел прямо к Ургулании и рассказал ей о намерениях Эмилия. Она передала это Ливии, и Ливия обещала наградить их за эти ценные сведения, выдав за меня дочь Сильвана Ургуланиллу и тем самым породнив их с императорской фамилией. Ургулания пользовалась полным доверием Ливии и знала, что следующим императором будет не Постум, — хотя он являлся ближайшим наследником Августа, — а дядя Тиберий, так что этот брак был еще более почетным, чем казался на первый взгляд.

Я никогда не видел Ургуланиллы. Никто ее не видел. Мы знали, что она живет с теткой в Геркулануме, городе на склоне Везувия, где у старой Ургулании были земельные владения, но она никогда не приезжала в Рим даже в гости. Мы решили, что у нее слабое здоровье. Но когда Ливия прислала мне короткую резкую записку, где говорилось, что по решению семейного совета я должен жениться на дочери Сильвана Плавтия — куда более подходящий брак, чем предполагаемые ранее, если учитывать мои телесные недостатки, — я стал подозревать, что с этой Ургуланиллой дело куда серьезнее и слабое здоровье здесь ни при чем. Может быть, у нее заячья губа или родимое пятно на пол-лица? Во всяком случае, нечто такое, из-за чего ее не показывают людям. Вдруг она хромая, как я сам? Пусть. Возможно, она славная девушка, не понятая, как и я, окружающими. У нас может оказаться много общего. Конечно, это не то, что жениться на Камилле, но все же лучше, чем получить в жены Эмилию.

Назначили день помолвки. Я спросил Германика насчет Ургуланиллы, но он был в таком же неведении, как я сам, и мне показалось, что он чувствует себя неловко, дав согласие на брак и не раздобыв предварительно никаких сведений. Он был очень счастлив с Агриппиной и желал того же мне. Наконец настал условленный день, и снова в чистой тоге и в венке я ждал у семейного алтаря появления своей невесты. «Третий раз приносит удачу. — сказал Германик. — Право, я уверен, что она — красавица, добрая и разумная, как раз такая, какая тебе нужна». Такая? Со мной сыграли в жизни немало злых шуток, но эта, я думаю, была самой злой и жестокой. Ургуланилла оказалась... короче говоря, она вполне оправдывала свое имя, которое по-гречески звучит «Геркуланила». Она и выглядела юным Геркулесом в женском платье. В пятнадцать лет она была больше шести футов ростом (и продолжала расти), соответственной толщины и силы, с самыми большими руками и ногами, какие я видел в жизни, если не считать пленного парфянина-великана, который шел в триумфальной процессии, но это было значительно позднее. Она горбилась. Черты лица у нее были правильные, но тяжелые, и она все время злобно хмурила брови. Говорила Ургуланилла так же медленно, как дядя Тиберий (на которого, между прочим, она была очень похожа — ходили слухи, что на самом деле она — его дочь). Ургуланилла была невежественна, невоспитанна и тупа, вы не нашли бы в ней никаких привлекательных качеств. Странно, но первое, что пришло мне в голову, когда я ее увидел, была мысль: «Эта женщина способна на убийство. Надо тщательно скрывать, что она внушает мне отвращение, и не давать ей повода затаить против меня зло. Если она возненавидит меня, моя жизнь будет в опасности». Я неплохой актер, и хотя торжественную церемонию прерывали смешки, шепот, шулки и приглушенное хихиканье, меня обвинить в нарушении благопристойности у Ургуланиллы не было причин. Когда процедура окончилась, нам с Ургуланиллой велели предстать перед Ливией и Ургуланией. Мы вошли в комнату, закрыв за собой дверь, и стали перед ними — я, переступая ногами на месте от волнения, Ургуланилла, массивная, с ничего не выражающим лицом, сжимая и разжимая пальцы) — и тут эти две злобные старухи не выдержали и, позабыв всю свою важность, разразились безудержным хохотом. Никогда раньше я не слышал, чтобы они так смеялись, — это было страшно. Они издавали мерзкие всхлипы и взвизгивания, словно две пьяные проститутки, которые любят пытками или

распятием; меньше всего это походило на нормальный здоровый смех.

— Ах, мои красавчики! — проговорила наконец Ливия, вытирая глаза. — Чего бы я не дала, чтобы видеть вас вдвоем в постели в вашу брачную ночь! Это будет самое забавное зрелище после Девкалионова потопа.

— А что смешного произошло при этом знаменательном событии, дорогая? — спросила Ургулания.

— Неужели ты не знаешь? Бог затопил землю и уничтожил всех зверей и людей, кроме Девкалиона с семьей и нескольких животных, укрывшихся на вершине горы. Ты разве не читала «Потоп» Аристофана? Из всех его комедий эта — моя любимая. Место действия — гора Парнас. Там собрались разные животные, к сожалению, по одному от каждого вида, и каждый считает, что он — единственный из своих собратьев, оставшийся в живых. Поэтому, чтобы хоть как-то вновь заселить землю, они должны спариваться друг с другом, несмотря на колебания морального толка и явные неудобства. Девкалион обручает верблюда со слонихой.

— Верблюд и слониха! Неплохо придумано! — фыркнула Ургулания. — Посмотри на длинную шею Тиберия Клавдия, его тощее тело и длинное глупое лицо. А ножищи моей Ургуланиллы, большие оттопыренные уши и крошечные свинячьи глазки! Ха-ха-ха-ха! И кто же у них родился? Жираф? Ха-ха-ха-ха!

— В пьесе до этого не дошло. На сцене появляется Ирида и приносит благую весть: на горе Атлас нашли прибежище другие животные тех же видов; в последний момент она успевает расторгнуть бракосочетания.

— Был верблюд разочарован?

— О, жестоко.

— А слониха?

— Слониха только хмурилась.

— Они поцеловались на прощание?

— Аристофан ничего об этом не говорит. Но я уверена, что да. Ну же, зверюги, поцелуйтесь!

Я глупо улыбнулся. Ургуланилла нахмурилась.

— Поцелуйтесь же, — настойчиво повторила Ливия таким тоном, что стало ясно — надо повиноваться.

Мы поцеловались, и это вызвало у старух новую истерику. Когда мы вышли из комнаты, я шепнул Ургуланилле:

— Мне очень жаль. Я не виноват.

Но она не ответила и нахмурилась еще сильнее.

До свадьбы оставался целый год, так как на семейном совете решили, что я буду считаться совершеннолетним лишь в пятнадцать с половиной лет, а за это время многое могло случиться. Ах, если бы появилась Ирида!

Но она не появилась. У Постума тоже были свои неприятности: он уже достиг совершеннолетия, а Домиции оставались до брачного возраста считанные месяцы. Бедный Постум был влюблен в Ливиллу, хотя она и была замужем. Но прежде чем продолжить историю Постума, я должен рассказать о своей встрече с «последним римлянином».

Глава IX

Звали его Поллион, и я во всех подробностях помню нашу встречу, которая произошла ровно через неделю после моей помолвки с Ургуланиллой. Я читал в Аполлоновой библиотеке, как вдруг туда зашел Ливий и невысокий бодрый старик в тоге сенатора. Я услышал слова Ливия:

— Похоже, что у нас нет никакой надежды найти ее, разве только... А, здесь Сульпиций! Уж если кто-нибудь может нам помочь, так он. Доброе утро, Сульпиций. Я

хочу попросить тебя оказать услугу моему другу Азинию Поллиону и мне. Нам нужна одна книга, комментарий грека по имени Полемокл на «Военную тактику» Полибия. Помнится, как-то раз она попалась мне здесь на глаза, но в каталоге ее нет, а от библиотекарей никакого толку.

Сульпиций пожевал молча бороду, затем сказал:

— Ты неправильно запомнил имя. Не Полемокл, а Полемократ, и он был не грек, хоть имя и греческое, а еврей. Пятнадцать лет назад я видел эту книгу, если память мне не изменяет, на верхней полке, четвертой от окна, в заднем ряду, и название ее — «Трактат о тактике». Сейчас я ее достану. Не думаю, что ее переставили куда-нибудь с тех пор.

Тут Ливий увидел меня:

— Здравствуй, мой друг, как дела? Ты знаком со знаменитым Азинием Поллионом?

Я приветствовал их, и Поллион сказал:

— Что ты читаешь, мальчик? Какую-нибудь ерунду, судя по тому, с каким смущенным видом ты прячешь книгу. Молодежь нынче читает одну ерунду. — Он обернулся к Ливию: — Спорю на десять золотых, что это какое-нибудь злосчастное «Искусство любви», или дурацкие аркадские пасторали, или еще что-нибудь в этом же роде.

— Идет, — сказал Ливий. — Юный Клавдий совсем не такой, как ты думаешь. Ну, Клавдий, кто из нас выиграл?

Я сказал, заикаясь, Поллиону:

— Рад тебе сообщить, что ты проиграл.

Поллион сердито нахмурился:

— Что ты сказал? Рад, что я проиграл, да? Красиво же ты разговариваешь со старым человеком и к тому же сенатором.

Я промолвил:

— Я сказал это со всем уважением к тебе. Я рад, что ты проиграл. Я не хотел бы, чтобы эту книгу называли ерундой. Это твоя собственная «История гражданских войн», превосходная, осмелюсь заметить, книга.

Лицо Поллиона просияло. Посмеиваясь, он вынул кошелек и стал совать монеты в руку Ливия. Ливий, с которым он, судя по всему, был в состоянии дружеской вражды — если вы понимаете, что я имею в виду, — отказывался от них, напустив на себя крайне серьезный вид:

— Мой дорогой Поллион, я не могу взять деньги. Ты был совершенно прав, нынешняя молодежь читает всякую чушь. Ни слова больше, прошу. Я согласен, я проиграл пари. Вот тебе десять золотых из моего кармана, я рад их отдать.

Поллион обратился за помощью ко мне:

— Послушай, любезный юноша, я не знаю, кто ты, но похоже, что ты — человек разумный. Ты читал труды нашего друга Ливия? Скажи честно, ведь его писанина еще большая чушь, чем моя?

Я улыбнулся:

— Но его, во всяком случае, легче читать.

— Легче? Что ты подразумеваешь под этим?

— У него древние римляне ведут себя и разговаривают так, словно они живут в наше время.

Поллион был в восторге:

— Он попал в твое самое больное место, Ливий. Ты приписываешь людям, которые жили семь веков назад, современные поступки и мотивы этих поступков, современные привычки и современные слова. О да, читать тебя интересно, но это не история.

Прежде чем излагать дальше нашу беседу, я должен сказать несколько слов о

старом Поллионе, возможно, самом одаренном человеке своего времени, не исключая Августа. Ему уже перевалило за восемьдесят, но ум его был по-прежнему светлым, а здоровье, по видимости, крепче, чем у многих шестидесятилетних. Он пересек Рубикон вместе с Юлием Цезарем и сражался с ним против Помпея, служил под началом моего деда Антония до того, как тот поссорился с Августом, и был консулом и губернатором в Дальней Испании и Ломбардии, ему был назначен триумф за победу на Балканах, и он был личным другом Цицерона, пока они не поссорились, и покровителем поэтов Вергилия и Горация. Кроме того, Поллион был выдающимся оратором и автором трагедий. Но историком он был еще более превосходным, потому что любил правду, и придерживался ее в своих трудах со скрупулезной точностью, доходившей до педантизма, а это плохо сочеталось с условностями литературных форм. На трофеи, доставшиеся ему в балканской кампании, он основал публичную библиотеку — первую публичную библиотеку в Риме. Теперь здесь существуют еще две: та, в которой мы находились, и другая, названная в честь моей бабки Октавии, но библиотека Поллиона была организована лучше всех.

Сульпиций тем временем нашел нужную им книгу, и, поблагодарив его, они возобновили спор.

Ливий:

— Беда Поллиона в том, что, когда он пишет об исторических событиях, он считает нужным подавлять в себе все благородные поэтические чувства: его персонажи и их поступки невероятно скучны, а когда он заставляет их говорить, он отказывает им в малейшем ораторском искусстве.

Поллион:

— Да, поэзия — это поэзия, риторика — это риторика, а история — это история, и смешивать их нельзя.

— Нельзя? Еще как можно! Ты хочешь сказать, что я не имею права использовать в истории эпическую тему, потому что это прерогатива поэзии, и не могу вкладывать в уста моих военачальников зажигательные речи перед битвами, потому что это прерогатива риторики?

— Да, это самое я и хочу сказать. История должна отражать и увековечивать истинное положение вещей: что происходило, как люди жили и умирали, что они делали и говорили; эпос лишь искажает истину. Что до речей твоих полководцев, то они превосходные образцы ораторского искусства, но к истории никакого отношения не имеют, у тебя нет никаких свидетельств того, как они звучали на самом деле, они не только не соответствуют правде, они неправдоподобны. Мало кто слышал столько речей накануне битв, сколько их слышал я, но хотя полководцы, которые произносили эти речи, особенно Цезарь и Антоний, считались прекрасными ораторами, они были еще лучшими военачальниками и помнили, что они не на трибуне и с солдатами риторика ни к чему. Они разговаривали с ними, а не упражнялись в красноречии. Какую, думаешь, речь произнес Цезарь перед битвой при Фарсале? Умолял нас не забывать о женах и детях, и священных храмах Рима, и славных победах в прошлых походах? Ничего подобного, клянусь богами. Он залез на сосновый пень, держа в правой руке огромную редьку, в левой — кусок черствого солдатского хлеба, и, откусывая то от одного, то от другого, шутил. И это были не какие-нибудь утонченные остроты, нет, настоящие соленые шутки, насчет того, например, насколько целомудреннее жена Помпея его собственной распутной жены. И все это с самым серьезным видом. А что он при этом вытворял с редькой?! Животики надорвешь. Я помню один совершенно непристойный анекдот о том, как Помпей получил название «Великий»... ох уж эта редька!.. и другой, того хуже, как сам Цезарь потерял волосы на александрийском базаре. Я бы рассказал их вам, если бы не мальчик, да вы все равно не поймете в чем соль, вы же не обучались в

лагере Цезаря. Ни слова о предстоящей битве, лишь под конец: «Бедный Помпей! Хочет тягаться с Юлием Цезарем и его солдатами. Много же у него шансов!»

— Но ты не пишешь об этом в своей «Истории», — сказал Ливий.

— В общем издании — нет, — сказал Поллион. — Я не дурак. Но если хочешь взять у меня частное «Дополнение», которое я только что закончил, там ты это найдешь. Боюсь только, ты не соберешься это сделать. Ладно, доскажу вам остальное. Цезарь, как вы знаете, был великолепный имитатор, так вот, он изобразил перед нами Помпея, произносящего предсмертную речь до того, как пронзить себя мечом (все та же редька с откусанным кончиком), и проклинал — ну точь-в-точь Помпей — всемогущих богов за то, что они позволяют пороку брать верх над добродетелью. Как все хохотали! А затем заорал: «А ведь так оно и есть, хоть это говорит Помпей! Поспорьте с этим, если сможете, вы, проклятые, блудливые псы!» И кинул в них остаток редьки. Ну и рев тут поднялся. Да, таких солдат, как у Цезаря, больше не было. Вы помните песню, которую они пели во время триумфа после победы над Францией?

В Рим идет развратник лысый,
Горожане, прячьте жен!

Ливий:

— Поллион, дорогой друг, мы обсуждали не нравственность Цезаря, а то, как надо писать историю.

Поллион:

— Да, верно. Наш начитанный молодой друг критиковал твой метод, прикрывшись из уважения к тебе похвалой тому, что твои труды легко читаются. Мальчик, ты можешь предъявить нашему благородному другу Ливию еще какие-нибудь претензии?

Я:

— Пожалуйста, не заставляйте меня краснеть. Я восхищаюсь трудами Ливия.

— Не увиливай, мальчик. Тебе никогда не приходилось его ловить на исторической неточности? Похоже, что ты много читаешь.

— Я бы предпочел не...

— Давай начистоту. Что-нибудь у тебя да есть.

И я сказал:

— Должен признаться, действительно есть одна вещь, которая меня удивляет. Это история Ларса Порсены. Согласно Ливию, Порсена не смог захватить Рим, так как сперва ему помешало героическое поведение Горация у моста, а затем его привело в смятение беспримерное мужество Сцеволы; Ливий пишет, будто захваченный после попытки убить Порсену Сцевола сунул руку в огонь на алтаре и поклялся, что триста римлян, подобно ему, дали зарок лишить Порсену жизни. И поэтому Ларс Порсена заключил с Римом мир. Но я видел в Клузии гробницу Ларса Порсены, и там на фризе изображено, как римляне выходят из ворот Рима, и не шее у них ярмо, и как этрусский жрец стрижет ножницами бороды отцам города. И даже Дионисий Галикарнасский, который был расположен к нам, утверждает, что сенат постановил дать Порсене трон из слоновой кости, скипетр, золотую корону и триумфальную тогу, а это может означать лишь одно: что они оказывали ему почести, положенные верховному владыке. Так что, возможно, Ларс Порсена все же захватил Рим, несмотря на Горация и Сцеволу. И Арунт, жрец в Капуе (считается, что он — последний человек, умеющий читать этрусские надписи), сказал мне прошлым летом, что, согласно этруским преданиям, Тарквиния изгнал из Рима вовсе не Брут, а Порсена, а Брут и Коллатин, два первых консула Рима, были всего-навсего городские казначеи, назначенные Ларсом Порсеной собирать налоги с населения.

Ливий страшно рассердился:

— Право, удивляюсь тебе, Клавдий. Неужели ты настолько не уважаешь традиции, что веришь лживым измышлениям, которые рассказывают этруски — наши исконные враги, чтобы умалить величие Рима?

— Я только спросил, — смиренно ответил я, — что произошло на самом деле.

— Ну же, Ливий, — сказал Поллион. — Ответ нашему юному любителю истории. Что произошло на самом деле?

Ливий сказал:

— В другой раз. А сейчас вернемся к тому вопросу, который мы рассматривали, а именно: как надо писать историю. Клавдий, мой друг, ведь у тебя есть свои планы на этот счет. Кого из нас, двух именитых историков, ты возьмешь за образец?

— Вы ставите мальчика в трудное положение, — вступился Сульпиций. — Какой вы надеетесь получить ответ?

— Правда не обижает, — возразил ему Поллион.

Я перевел взгляд с одного лица на другое. Наконец я сказал:

— Думаю, я выбрал бы Поллиона. Я уверен, что мне и надеяться нечего достичь изящества стиля Ливия, поэтому я лучше попытаюсь подражать точности и усердию Поллиона.

Ливий проворчал что-то и направился было к дверям, но Поллион задержал его. Постаравшись затаить свою радость, он сказал:

— Полно, Ливий, неужели тебе обидно, что у меня появился один-единственный ученик, когда у тебя их тысячи по всему свету! Мальчик, ты никогда не слышал о старике из Кадиса? Нет, это вполне пристойная история. И, по правде сказать, печальная. Этот старик пришел в Рим пешком. Для чего? Что он хотел увидеть? Не храмы и не театры, не статуи и не толпы горожан, не лавки и не здание сената. Он хотел увидеть одного человека. Какого? Того, чья голова вычеканена на монетах? Нет, нет. Того, кто еще более велик. Он пришел, чтобы увидеть не кого иного, как нашего друга Ливия, чьи труды, похоже, он знал наизусть. Он увидел его, приветствовал и тут же вернулся в Кадис, где... сразу умер: разочарование и долгий путь оказались ему не по силам.

Ливий:

— Во всяком случае, мои читатели — искренние читатели. Ты знаешь, мальчик, как Поллион создал себе репутацию? Я тебе расскажу. Он богат, у него красивый огромный дом и на редкость хороший повар. Он приглашает к обеду кучу людей, которые интересуются литературой, кормит их изумительным обедом, а затем, словно невзначай, берет последний том своей «Истории». И скромно говорит: «Друзья, тут есть кое-какие места, в которых я не очень уверен. Я много над ними работал, и все же они еще нуждаются в последней шлифовке. Я надеюсь на вашу помощь. Если позволите...» И принимается читать. Слушают его вполуха. Животы у всех полны. «Этот повар — чудо, — думают они, — кефаль под пикантным соусом, и эти жирные фаршированные дрозды... а дикий кабан с трюфелями... когда я в последний раз так вкусно ел? Пожалуй, ни разу с тех пор, как Поллион читал нам прошлый том. А вот снова вошел раб с вином. Что может сравниться с кипрским вином? Поллион прав, оно лучше любого греческого вина на рынке». Тем временем голос Поллиона — а это красивый голос, как у жреца на вечернем жертвоприношении, — журчит и журчит; порою он смиренно говорит: «Ну как, по-вашему, сойдет?» И все отвечают, думая кто о дроздах, а кто, возможно, о кексах с коринкой: «Восхитительно, Поллион, восхитительно». Иногда он делает паузу и спрашивает: «Как вы полагаете, какое слово здесь больше подходит? Как лучше сказать: вернувшиеся посланцы побудили племя к мятежу или толкнули на него? Или что их отчет о создавшемся положении повлиял на решение племени поднять мятеж? Я полагаю, их отчет о том, что они видели, был вполне беспристрастным». И со

скамей доносятся голоса: «...Повлиял», Поллион. Напиши лучше «повлиял». «Благодарю, друзья, — говорит он, — вы очень любезны. Раб, где мой перочинный нож и перо? Я сразу же изменю предложение, если вы не возражаете». Затем Поллион публикует книгу и шлет всем обедавшим дарственный экземпляр. А они говорят своим знакомым, болтая с ними в общественных банях: «Прекрасная книга. Вы ее читали? Поллион — величайший историк нашего времени и не гордый, не гнушается спросить совета насчет стилистических тонкостей у людей со вкусом. Да хотя бы это слово „повлиял“ — я его подсказал ему сам».

Поллион:

— Верно, мой повар слишком хорош. В следующий раз я одолжу у тебя твоего, а заодно и несколько дюжин так называемого фалернского вина, и тогда получу действительно искреннюю критику.

Сульпиций протестуя поднимает руку:

— Друзья мои, вы переходите на личности.

Ливий уже шел к дверям. Но Поллион усмехнулся, глядя на удаляющуюся спину, и громко сказал, чтобы тот услышал:

— Порядочный человек Ливий, у него есть только один недостаток: болезнь под названием «падуаница».

Ливий тут же остановился и обернулся к нам:

— Чем тебе не угодил Падуй? Я не желаю слышать о ней ничего плохого.

Поллион объяснил мне:

— Ливий там родился. Где-то в северных провинциях. У них есть знаменитый горячий источник, обладающий удивительным свойством. Падуанца всегда можно узнать. Благодаря купанию в этом источнике и тому, что они пьют из него воду, — мне говорили, будто жители Падуи делают и то и другое одновременно, — падуанцы верят всему, чему хотят верить, причем так горячо, что убеждают в том и других. Именно благодаря этому падуанские товары славятся на весь мир. Одежда и ковры, которые там делают, не лучше, чем в других местах, по правде говоря, даже хуже, так как шерсть у тамошних овец желтая и грубая, но для падуанцев она — белая и мягкая, как гусиный пух. И они убедили весь мир в том, что это так.

Я сказал, подыгрывая ему:

— Желтые овцы! Вот диковина! Откуда у них такой цвет?

— Откуда? От воды в источнике. В ней есть сера. Все падуанцы желтые. Взгляни на Ливия.

Ливий медленно подошел к нам:

— Шутка шуткой, Поллион, и я на шутки не обижаюсь. Но мы затронули серьезный вопрос, а именно: как следует писать историю. Возможно, я допустил ошибки. Какой историк может их избежать? Но я, во всяком случае, если и искажал истину, то не сознательно, в этом ты меня не обвинишь. Да, я с радостью включал в свое повествование легендарные эпизоды, взятые из более ранних исторических текстов, если они подтверждали основную тему моего труда — величие древнего Рима; пусть они уклонялись от правды в фактических подробностях — они были верны ей по духу. Когда я наталкивался на две версии одного и того же эпизода, я выбирал ту, которая ближе моей теме, и я не буду рыться в этрусских гробницах в поисках третьей, которая, возможно, противоречит двум первым, — какой в этом толк?

— Это послужит выяснению истины, — мягко сказал Поллион. — Разве это так мало?

— А если истина окажется в том, что наши почитаемые всеми предки на самом деле были трусы, лгуны и предатели? Тогда как?

— Пусть мальчик ответит на твой вопрос. Он только вступает в жизнь. Давай, мальчик.

Я сказал первое, что пришло в голову:

— Ливий начинает свою «Историю», сетуя на современную порочность и обещая проследить постепенный упадок нравов, по мере того как Рим все больше богател благодаря завоеваниям. Он говорит, что с самым большим удовольствием будет писать первые главы, так как сможет при этом закрыть глаза на пороки наших дней. Но, закрывая глаза на современные пороки, не закрывал ли он их иногда и на пороки древних римлян?

— Что же дальше? — спросил Ливий, прищуриваясь.

— Дальше? — замялся я. — Возможно, между их пороками и нашими не такая большая разница. Возможно, все дело в поле деятельности и возможностях.

Поллион:

— Другими словами, мальчик, падуанец не сумел заставить тебя увидеть желтую от серы шерсть белоснежной?

Я чувствовал себя очень неловко.

— Читая Ливия, я получаю больше удовольствия, чем от любого другого автора, — сказал я.

— О да, — улыбнулся Поллион. — То же самое сказал старик из Кадиса. Но, как и он, ты чуть-чуть разочарован, да? Ларс Порсена, Сцевола и Брут стали у тебя поперек горла.

— Это не разочарование, не в этом дело. Теперь я вижу, хотя раньше об этом не задумывался, что есть два различных способа писать историю: один — чтобы побуждать людей к добродетели, другой — чтобы склонять их к истине. Первый путь — Ливия, второй — твой, и, возможно, они не так уж непримиримы.

— Да ты настоящий оратор! — восхищенно сказал Поллион.

Сульпиций, который все это время стоял на одной ноге, держа ступню другой в руке, как он обычно делал, будучи взволнован или раздражен, и закручивал в узлы бороду, теперь подвел итог всей беседы:

— Да, у Ливия никогда не будет недостатка в читателях. Людям нравится, когда превосходный писатель побуждает их к древним добродетелям, особенно если им тут же говорят, что в наше время, при современной цивилизации, таких добродетелей достичь невозможно. Но историки-правдолюбцы — гробовщики, которые обряжают труп истории (как выразился бедняга Катулл в своей эпиграмме на благородного Поллиона), — люди, запечатлевающие в своих записях лишь то, что произошло на самом деле, могут иметь аудиторию, только если у них есть превосходный повар и целый погреб вина с Кипра.

Его слова привели Ливия в ярость. Он сказал:

— Это пустой разговор, Поллион. Родня и друзья юного Клавдия всегда считали его придурковатым, но до сегодняшнего дня я не соглашался с общим мнением. Я с удовольствием отдам тебе такого ученика. А Сульпиций может совершенствовать его придурь. Он для этого самый подходящий человек в Риме.

И затем выпустил в нас парфянскую стрелу:

— Et apud Apollinem istum Pollionis Pollinctorem diutissime polleat.

Что значит, хотя по-гречески каламбур пропадает: «Так пусть ваш Клавдий там и процветает, где Поллион искусство в гроб кладет!» И, громко ворча, вышел.

Поллион весело крикнул ему вслед:

— Guod certe pollicitur Pollio. Pollucibiliter pollebit puer. («Одно лишь Поллион вам обещает: что мальчик в самом деле расцветет»).

Когда мы остались вдвоем — Сульпиций ушел искать какую-то книгу, — Поллион принялся расспрашивать меня.

— Кто ты, мальчик? Тебя зовут Клавдий, не так ли? Судя по всему, ты из хорошего рода, но я не знаю тебя.

— Я — Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик.

— Святые боги! Но Ливий прав, тебя считают дурачком.
— Да. Родные стыдятся меня, ведь я заикаюсь и хромаю и к тому же часто болею, поэтому я очень редко появляюсь на людях.
— Дурачок! Да ты один из самых одаренных юношей, каких я встречал за многие годы.

— Вы очень добры.
— Отнюдь. Ты хорошо поддел старика Ливия с Ларсом Порсеной. У Ливия нет совести, если говорить по правде. Я все время ловлю его не на том, так на другом. Я как-то спросил его, очень ли ему трудно находить нужные ему медные таблички среди беспорядка, царящего в государственном архиве. «Ничуть», — ответил он. Оказалось, что он ни разу туда не заглянул, чтобы проверить хоть один факт! Скажи, почему ты читал мою «Историю»?

— Я читал твое описание осады Перузии. Мой дед — первый муж Ливии — был там. Меня интересует этот период, и я собираю материал для жизнеописания отца. Мой наставник Афинодор посоветовал прочитать твою книгу, он сказал: это честная книга. Прежний мой наставник, Марк Порций Катон, говорил, что она соткана из лжи, естественно, я поверил Афинодору.

— Да, Катону такая книга вряд ли может понравиться. Его предки воевали на противной стороне. Я помогал выгнать его деда с Сицилии. Но ты — первый молодой человек из всех, кого я встречал, который хочет заниматься историей. Это занятие для стариков. Когда же ты будешь выигрывать сражения, как твой отец и дед?

— Возможно, в старости.

Он рассмеялся:

— Что ж, почему бы из историка, посвятившего всю жизнь изучению военной тактики, и не выйти непобедимому военачальнику, если он не трус и у него будут хорошие войска...

— И хорошие штабные офицеры, — вставил я, вспомнив Клеона.

— Да, и хорошие штабные офицеры... пусть даже он никогда не держал в руках меч или щит.

Я набрался смелости и спросил Поллиона, почему его часто называют «последним римлянином». Он был доволен, услышав этот вопрос, и ответил:

— Это имя мне дал Август. Это было тогда, когда он звал меня присоединиться к нему во время войны с твоим дедом Антонием. Я спросил его, за кого он меня принимает, — Антоний в течение многих лет был одним из моих лучших друзей. «Азиний Поллион, — ответил он, — я полагаю, что ты — последний римлянин. Зря так прозвали этого убийцу Кассия». «Но если я — последний римлянин, — сказал я, — чья в этом вина? И чья будет вина, если после того, как ты уничтожишь Антония, никто, кроме меня, не осмелится держать голову прямо в твоём присутствии или говорить, когда не спросят?» «Не моя, Азиний, — сказал он, словно оправдываясь, — не я Антонию, а он мне объявил войну. И как только я его разобью, я, конечно, восстановлю республику». «Если госпожа Ливия не наложит свое вето, — проговорил я».

Затем Поллион обхватил меня за плечи:

— Я хочу сказать тебе кое-что, Клавдий. Я очень старый человек, и, хотя кажусь бодрым, конец мой близок. Через три дня я умру, я это знаю. Перед самой смертью у людей наступает прозрение, они могут предсказывать будущее. Послушай меня! Ты хочешь прожить долгую, деятельную жизнь и пользоваться почетом на склоне лет?

— Да.

— Тогда подчеркивай свою хромоту, нарочно заикайся, почаще делай вид, что ты болен, болтай чепуху, трясى головой и дергай руками на всех официальных и полуофициальных церемониях. Если бы ты мог видеть то, что открыто мне, ты бы знал, что это — твой единственный путь к спасению, а в дальнейшем и к славе.

Я сказал:

— Рассказ Ливия о Бруте — я имею в виду первого Брута, — может быть, и не соответствует истине, но вполне подходит в данном случае. Брут тоже притворялся полоумным, чтобы было легче возродить народную свободу.

— Что, что? Народную свободу? Ты в нее веришь? Я думал, что младшее поколение даже не знает этих слов.

— Мой отец и дед — оба верили в нее...

— Да, — резко прервал меня Поллион, — потому они и умерли.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что поэтому-то их и отравили.

— Отравили? Кто?

— Гм-м... Не так громко, мальчик. Нет, имен я называть не стану. Но я дам тебе верное доказательство того, что я не просто повторяю пустые сплетни. Ты говоришь, что пишешь жизнеописание отца?

— Да.

— Так вот, ты увидишь, что тебе позволят дописать его только до определенного места. И тот, кто остановит тебя...

Тут к нам подошел, шаркая ногами, Сульпиций, и Поллион не сказал больше ничего любопытного; лишь когда настало время с ним прощаться, он отвел меня в сторону и пробормотал:

— До свидания, маленький Клавдий. Выкинь из головы глупые мысли насчет народной свободы. Время для нее еще не пришло. Положение должно стать куда хуже, чтобы оно могло стать лучше. — Затем громко добавил: — И еще одно. Если, когда я умру, ты найдешь в моих трудах что-либо не соответствующее, по твоему мнению, исторической правде, разрешаю тебе — я обусловлю твое право — разъяснить мою ошибку в приложении. Поддерживай мои книги на современном уровне. Когда книги устаревают, они годятся только на обертку для рыбы.

Я сказал, что почту за честь выполнить этот долг.

Через три дня Поллион умер. В своем завещании он отписал мне собрание ранних латинских исторических трудов, но мне их не отдали. Дядя Тиберий сказал, что тут какая-то ошибка, книги были оставлены не мне, а ему, ведь наши имена так похожи. Данное мне право делать исправления все посчитали шуткой, но я выполнил свое обещание, хотя и через двадцать лет. Я обнаружил, что Поллион очень сурово отозвался о Цицероне — «тщеславный, нерешительный, трусливый малый», — и, хотя был согласен с его мнением о характере Цицерона, счел нужным указать, что при всем том предателем, как считают Поллион, он не был. Поллион исходил из некоторых писем Цицерона, которые, как мне удалось доказать, были сфабрикованы Клодием Пульхром. Цицерон вызвал вражду Клодия, выступив против него свидетелем, когда того обвинили в том, что он пробрался на таинства Доброй Богини в виде музыкантши. Этот Клодий был еще одним из плохих Клавдиев.

Глава X

6 г. н. э.

Незадолго до моего совершеннолетия Август велел Тиберию усыновить Германика, хотя у него уже был наследник — Кастор, тем самым переведя моего старшего брата из рода Клавдиев в род Юлиев. Я оказался главой старшей ветви Клавдиев и владельцем денег и поместий, унаследованных от отца. Я сделался также опекуном матери — так как она не вышла вторично замуж, — что она воспринимала как унижение. Мать обращалась со мной еще более сурово, чем раньше, хотя все деловые документы должны были попадать ко мне на подпись, и я был семейным жрецом. Церемония, отметившая мое совершеннолетие, сильно

отличалась от той, которая была у Германика. В полночь я надел мужскую тогу, один, без сопровождающих и процессии, был отнесен в носилках в Капитолий, совершил там жертвоприношение и тем же образом вернулся обратно в постель. Германик и Постум пошли бы со мной, но для того, чтобы привлечь ко мне как можно меньше внимания, Ливия в этот вечер устроила во дворце пир, на котором они не могли не присутствовать.

Во время бракосочетания с Ургуланиллой было то же самое. Большинство людей узнало о нашей свадьбе лишь на следующий день, после того как торжественный обряд был совершен. Сама церемония прошла по всем правилам. Желтые туфли Ургуланиллы, ее фата огненного цвета, чтение предзнаменований, священный пирог, два стула, покрытые овечьей шкурой, совершенное мной возлияние, помазание новобрачной дверных косяков, три монеты, преподнесение мной Ургуланилле огня и воды — все было согласно ритуалу, за исключением того, что отменили процессию с факелами, и само действие разыграли небрежно, в спешке, только-только приличия соблюли. Для того, чтобы молодая жена не споткнулась о порог мужнего дома, когда она впервые входит в него, ее обычно переносят на руках. Мужчины из нашего рода, которые должны были это сделать, были пожилые люди, и Ургуланилла оказалась им не по силам. Один из них поскользнулся, и Ургуланилла шмякнулась вниз, увлекая их за собой, так что все трое растянулись на мраморном полу. Нет худшего предзнаменования во время свадьбы, чем это. И все же неверно было бы сказать, что союз наш оказался несчастливый. Сперва мы спали вместе, так как этого, по-видимому, от нас ожидали, и даже изредка вступали в половое сношение — мой первый опыт в этой области; этого тоже требовал брак, но отнюдь не любовь и не вожделение. Я всегда был предельно внимателен и учтив по отношению к жене, она платила мне базразличием — лучшее, чего можно было ожидать от подобной женщины. Через три месяца после свадьбы Ургуланилла забеременела и родила мне сына Друзилла, к которому я при всем желании не мог испытывать никаких отцовских чувств. От моей сестры Ливиллы он унаследовал злобность и язвительность, а от брата Ургуланиллы Плавтия — все остальные черты характера. Скоро я расскажу вам об этом Плавтии, с которого, по указанию Августа, я должен был во всем брать пример.

У Августа и Ливии вошло в обыкновение при решении важных вопросов, касающихся государственных или семейных дел, сохранять для потомства как вывод, к которому они приходили, так и все предварительные обсуждения — обычно в форме писем друг другу. Из обширной корреспонденции, оставшейся после их смерти, я сделал копии нескольких писем, иллюстрирующих тогдашнее отношение Августа ко мне. Первый отрывок относится к периоду за три года до моей женитьбы.

«Дорогая Ливия!

Хочу написать тебе о странной вещи, которая случилась сегодня. Не знаю, как ее и объяснить. Я разговаривал с Афинодором и между прочим сказал ему: „Боюсь, что обучать Тиберия Клавдия — довольно утомительное занятие. По-моему, он с каждым днем выглядит все более жалким, тупым и нервным“. Афинодор сказал: „Не суди мальчика слишком строго. Он очень болезненно переживает то, что родные разочарованы в нем и относятся к нему с пренебрежением. Но он далеко не туп, и — хочешь верь, хочешь нет — я получаю большое удовольствие от его общества. Ты никогда не слышал, как он произносит речь на заданную тему?“ „Речь?“ — сказал я, смеясь. „Да, речь, — повторил Афинодор. — Я вот что тебе предложу. Назови какую-нибудь тему для выступления и возвращайся сюда через полчаса, послушаешь, как он ее разовьет. Но только спрячься за занавесями, не то ты не услышишь ничего путного“. Я дал тему: „Римские завоевания в Германии“, — и через полчаса вернулся и спрятался, чтобы

его послушать. Еще ни разу в жизни я не был так поражен. Материал он знал, как свои пять пальцев, названия основных разделов были выбраны превосходно, а подробности находились в надлежащем соотношении с подтемами и надлежащей связи друг с другом; мало того, он владел голосом и не заикался. Клянусь тебе, слушать его было приятно и интересно. Но, хоть убей, не могу понять, как он сумел, выступая с речью, к тому же подготовив ее за столь короткий срок, говорить так разумно и связно, когда обычно он говорит так бестолково и бессвязно. Я выскользнул из комнаты, сказав Афинодору, чтобы он не упоминал при мальчике, что я его слышал и как он меня удивил. Однако считаю, что должен сообщить тебе об этом случае и даже спросить, не стоит ли нам с этого времени изредка допускать его к столу, когда у нас мало гостей, при условии, что он станет держать уши открытыми, а рот закрытым. Если, как я склонен полагать, все же есть какая-то надежда, что он в конце концов выправится, ему надо постепенно привыкать общаться с равными себе по положению. Мы не можем вечно держать его взаперти с наставниками и вольноотпущенниками. Конечно, насчет его умственных способностей мнения резко расходятся. Его дядя Тиберий, мать Антония и сестра Ливилла единодушно считают Клавдия идиотом. С другой стороны, Афинодор, Сульпиций, Постум и Германик клянутся, что, когда он хочет, он не глупее других людей, но легко теряет голову из-за своей нервозности. Что до меня, повторяю, я пока еще не пришел к определенному решению».

На что Ливия ответила:

«Дорогой Август!

Удивление, которое ты испытал, прячась за занавесями, сродни тому удивлению, которое мы испытали, когда индийский посол сдернул шелковое покрывало с золотой клетки, которую нам прислал его господин, верховный царь Индии, и мы впервые увидели птицу попугая, его зеленое оперение и ярко-красную грудку и услышали, как он говорит: „Да здравствует цезарь. Отец отчизны!“ В самой фразе нет ничего удивительного: любой ребенок может ее произнести, и удивило нас другое — то, что ее произносит птица. Ни один умный человек не станет хвалить птицу за то, что она произнесла подходящие слова, так как она не понимает значения ни одного из них. В заслугу это надо поставить тому, кто, проявив необыкновенное терпение, научил птицу их повторять, ведь, как ты сам знаешь, попугаев учат говорить совсем другие фразы, а что до нашего попугая, обычно он болтает сущие глупости, и нам приходится накрывать клетку, чтобы он замолчал. То же самое с Клавдием, хотя сравнение с моим внуком вряд ли лестно для попугая, красоту которого никто не станет отрицать. Речь, которую ты слышал, была, несомненно, выучена наизусть. Если на то пошло, „Римские завоевания в Германии“ — очень распространенная тема, и Афинодор мог натаскать Клавдия, дав ему для образца с полдюжины речей подобного толка, чтобы он выучил их назубок. Я не хочу сказать, что я недовольна. Напротив, я рада слышать, что мальчик поддается обучению, очень рада. Это значит, к примеру, что мы сможем подготовить его к свадебной церемонии. Но твое предложение, чтобы он участвовал в наших трапезах, просто смешно. Я есть в одной комнате с ним отказываюсь, у меня будет несварение желудка.

Что касается свидетельств в пользу того, что Клавдий не отстает в развитии, посмотри, кто свидетели. Германик еще в детстве поклялся отцу на его смертном одре любить и оберегать младшего брата, ты сам знаешь, какое у него благородное сердце; чтобы не обмануть отца и выполнить свой священный долг, он готов привести любые доводы в защиту Клавдия, даже назвать его умником в надежде, что со временем он, возможно, действительно поумнеет. В равной степени ясно, почему Афинодор и

Сульпиций считают, что Клавдий поддается обучению: им очень хорошо платят за то, что они его обучают, а их должность дает им возможность болтаться во дворце с важным видом и изображать из себя семейных советников. Что до Постума, то все последние месяцы я жаловалась тебе — не так ли? — что не могу понять этого молодого человека. Я считаю, что смерть поступила жестоко, отняв у нас его талантливых братьев и оставив нам его. Постум заводит споры со старшими, когда и спорить нечего, так как факты говорят сами за себя. просто чтобы досадить нам и подчеркнуть собственное значение как твоего единственного оставшегося в живых внука. Его защита Клавдия — яркий пример тому. Он очень нагло со мной разговаривал, когда на днях я случайно заметила, что Сульпиций зря тратит время на мальчика; он сказал — собственные его слова, — что, по его мнению, у Клавдия более острый ум, чем у многих его ближайших родичей... полагаю, что он имел в виду и меня! Но Постум — другая проблема. Сейчас о Клавдии, и я не могу допустить, чтобы он ел за одним столом со мной по причинам, которые, я надеюсь, ты поймешь.

Ливия ».

Год спустя, когда Ливия на короткое время уехала за город, Август писал ей:

«...Юного Клавдия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду, — хотя не скрою, его общество по-прежнему смущает меня, — чтобы он не обедал с Сульпицием и Афинодором. Они беседуют только на отвлеченные темы, и, притом что и тот и другой превосходные люди, их нельзя назвать идеальными сотрапезниками для юноши его возраста и положения. Я бы хотел, чтобы он выбрал какого-нибудь молодого патриция в качестве образца для подражания и в выправке, и в платье, и в манере себя держать. Но при его застенчивости и робости на это трудно рассчитывать. Он преклоняется перед нашим дорогим Германиком, но так остро ощущает собственные недостатки, что скорее я стану расхаживать в львиной шкуре, с дубинкой в руке и называть себя Геркулесом, чем он осмелится подражать своему старшему брату. Бедняге не везет, ведь в предметах важных, когда ум его блуждает, он достаточно обнаруживает благородство своей души...»

Небезынтересно и третье письмо, написанное вскоре после моей женитьбы, когда меня только что назначили жрецом Марса:

«Дорогая Ливия!

По твоему совету я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с твоим внуком Клавдием на Марсовых играх. Теперь, когда он достиг совершеннолетия и его назначили жрецом в коллегии жрецов Марса, мы не можем больше откладывать решение относительно его будущего, ведь мы с тобой согласились, что это необходимо. Если он — человек, так сказать, полноценный физически и духовно и может стать в итоге уважаемым членом нашей семьи, — а я полагаю, что это так, иначе я не усыновил бы Тиберия и Германика и не оставил Клавдия во главе старшей ветви рода Клавдиев. — тогда, очевидно, надо им заняться и предоставить ему возможность пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат. Возможно, я ошибаюсь — за последнее время он сделает весьма скромные успехи. Но если мы все же придем к заключению, что его физические недостатки связаны с недостатками умственными, не следует давать повода для насмешек над ним и над нами злым людям, которые привыкли потешаться над вещами такого рода. Повторяю, мы должны как можно скорее прийти к окончательному выводу, хотя бы для того, чтобы не ломать себе голову всякий раз, когда придется решать, способен ли он справиться с той или иной государственной должностью, к которой обязывает его

рождение.

В данном случае — отвечаю на твой вопрос, что делать с Клавдием во время Марсовых игр, — я не возражаю против того, чтобы он ведал угощением жрецов, но лишь при условии, что он все предоставит своему шурину, молодому Плавтию Сильвану, и будет слушаться его указаний. Он сможет многому научиться, и, если хорошо выучит урок, у него не будет причин ударить в грязь лицом. Но о том, чтобы сидеть рядом с нами на виду у всех в императорской ложе возле священной статуи, не может быть и речи; он только будет обращать на себя всеобщее внимание, и любые странности в его поведении вызовут нежелательные толки.

Вторая проблема — что делать с ним во время Латинских игр. Германик идет вместе с консулами на Альбанскую гору, чтобы принять участие в жертвоприношениях, и Клавдий, как я понял, хочет пойти с ним. Снова я не уверен, можно ли на него положиться и не выставит ли он себя на посмеище. Германик будет занят своими обязанностями и не сможет все время присматривать за ним. И если все же Клавдий пойдет туда, люди обязательно спросят, что он там делает и почему мы не назначили его на время праздника городским префектом — почетная должность, на которую, как ты должна помнить, мы назначали по очереди, как только они достигали совершеннолетия, Гая, Луция, Германика, юного Тиберия и Постума, чтобы они попробовали вкус власти. Лучший способ выйти из этого затруднительного положения — объявить, что Клавдий болен, так как о том, чтобы предоставить ему пост префекта, нечего и говорить.

Если захочешь, можешь показать это письмо нашей Антонии; заверь ее, что вопрос относительно ее сына будет скоро так или иначе решен. То, что официально он — ее опекун, ни с чем не соотносится.

Август ».

За исключением того, что угощение жрецов было моей первой общественной обязанностью, ничего особенно интересного об этом я сказать не могу. Плавтий, тщеславный проворный человек, похожий на воробья, исполнял все за меня и даже не дал себе труда объяснить мне систему обслуживания или порядок соблюдения старшинства жрецов, мало того — не желал отвечать мне, когда я его об этом спрашивал. Единственное, что он сделал, — познакомил меня с определенными ритуальными жестами и фразами, которые я должен был пускать в ход, приветствуя жрецов, а затем на разных стадиях обеда, запретив мне произносить хотя бы слово по собственному почину. Это было крайне неприятно, так как я не раз мог с успехом принять участие в беседе, а мое молчание и подчинение Плавтию производили плохое впечатление. Самих игр я не видел.

Вы заметили в письме Ливии слова, порочащие Постума? С этого времени они стали все чаще появляться в ее письмах, и, хотя Август сперва пытается защитить внука, постепенно недовольство им все растет. Я думаю, говорила ему Ливия куда больше, чем писала, — как иначе объяснить, что Постум так легко лишился расположения деда, — но некоторые претензии проскользнули и в письмах. Сперва Ливия передает жалобу Тиберия на то, что Постум дерзко отзывался о родосском университете. Затем — жалобу Катона на то, что Постум плохо влияет на младших товарищей, не желая подчиняться дисциплине. Вслед за тем Ливия предъявляет частные отчеты Катона, говоря, что не показывала их до сих пор, надеясь на перемену к лучшему. Потом упоминает, что Постум угрюм и замкнут — это было время, когда он горевал из-за смерти Гая и терзался из-за Ливиллы. Затем Ливия советует, когда Постум достигнет совершеннолетия, не отдавать ему сразу всего наследства, завещанного отцом, Агриппой, так как «оно предоставит ему возможности еще большего расточительства, чем он позволяет себе сейчас!». Когда по возрасту Постум смог вступить в армию, его зачисляют в гвардию в чине простого

лейтенанта и не воздают никаких особых почестей, оказанных в свое время Гаю и Луцию. Август считает, что это самый безопасный путь: Постум честолобив, нельзя допустить, чтобы возникла такая же неловкая ситуация, как тогда, когда молодые патриции поддерживали Марцелла против Агриппы или Гая против Тиберия. Вскоре мы читаем, что Постум с негодованием говорит по этому поводу Августу: «Сами по себе почести мне не нужны, но то, что меня их лишили, было неправильно понято моими друзьями — они сочли, будто я впал в немилость».

Затем идут более серьезные жалобы. Выведенный из себя Плавтием — ни один из них не сказал Ливии, что именно вызвало ссору, — Постум схватил его и бросил в фонтан в присутствии нескольких высокопоставленных лиц и их прислужников. Когда Август призвал его к ответу, Постум не выказал ни малейшего раскаяния и настаивал на том, что Плавтий заслужил купание, так как оскорбительно разговаривал со мной; при этом он выразил недовольство тем, что у него несправедливо удерживают наследство. Вскоре Ливия укоряет Постума в том, что он переменялся и ведет себя грубо по отношению к ней. «Что отравляет тебя?» — спрашивает Ливия, и Постум отвечает, ухмыляясь: «Может быть, ты подсыпала чего-нибудь мне в суп». Когда Ливия требует объяснения этой дерзкой шутки, он отвечает с еще более вульгарной ухмылкой: «Подсыпать приправу в суп — обычное дело для мачех». Затем поступила жалоба от начальника Постума насчет того, что тот не общается с другими молодыми офицерами и проводит все свое свободное время на море, где удит рыбу. Он даже получил прозвище «Нептун».

Обязанности жреца Марса не сильно меня обременяли. Плавтию, который был жрецом той же коллегии, предписали надзирать за мной во время церемоний. Я начинал ненавидеть Плавтия. Оскорбление, за которое Постум кинул его в воду, было далеко не единственным. Он называл меня лемуром и говорил, что лишь из уважения к Августу и Ливии не плюет мне в лицо всякий раз, как я задаю ему глупые и ненужные вопросы.

Глава XI

Год, предшествующий моему совершеннолетию и женитьбе, оказался плохим годом для Рима. На юге Италии произошло несколько землетрясений, разрушивших ряд городов. Весной дожди почти не выпадали, и у посевов по всей стране был жалкий вид, а затем, когда еще не успели собрать урожай, начались ливни и прибили те хлеба, которые все же заколосились. Ливни были такие сильные, что на Тибре снесло мост, и в течение семи дней в нижнюю часть города добраться можно было только на лодках. Стране угрожал голод, и Август отправил в Египет и другие части империи уполномоченных для закупки зерна в огромных количествах. Общественные амбары были пусты из-за плохого урожая в предшествующий год — хотя не такого плохого, как сейчас. Уполномоченным удалось купить зерна, но по очень высокой цене и меньше, чем нужно. Зимой город оказался в бедственном положении, тем более бедственном, что он был перенаселен — за последние двадцать лет население Рима удвоилось; к тому же швартовка кораблей в Остии, городском порту, была зимой небезопасна, и караваны с зерном, прибывшие с Востока, не могли разгрузиться в течение многих недель. Август делал все возможное, чтобы уменьшить голод. Он временно высла из Рима в сельские местности — не менее, чем за сто миль от города — всех его обитателей, кроме домовладельцев и их семей, назначил продовольственный совет из экс-консулов для распределения зерна и запретил публичные пиршества, даже в собственный день рождения. Много зерна он ввозил за свой счет и раздавал нуждающимся. Как всегда, голод привел к бесчинствам, а бесчинства привели к поджогам; целые улицы, где были расположены лавки, выжигались по ночам полумертвыми от истощения грабителями

из бедных кварталов. Чтобы предотвратить это, Август организовал бригаду ночных сторожей, разделенную на семь подразделений. Бригада эта оказалась настолько полезной, что ее так никогда и не распустили. Ущерб, причиненный грабежами и поджогами, был огромным. В это самое время ввели новый налог, чтобы добыть деньги для войны с Германией, и из-за голода, пожаров и налогов в народе началось брожение, стали открыто говорить о перевороте. На двери общественных зданий прикалывали ночью угрожающие призывы. Ходили слухи, что существует огромный заговор. Сенат обещал награду за сведения, которые помогут арестовать вожака, и множество людей поспешило донести на своих соседей, чтобы ее получить, и это еще увеличило беспорядки. По-видимому, на самом деле заговора не было, были лишь надежды, что он есть, да слухи. Наконец из Египта, где урожай убирают гораздо раньше, чем у нас, стало поступать зерно, и волнения постепенно улеглись.

Среди тех, кого временно выселили из Рима во время голода, были гладиаторы. Хоть и немногочисленные, они могли, по мнению Августа, в случае смуты быть опасны. Это был отчаянный народ, некоторые из них в прошлом — аристократы, проданные за долги в рабство и получившие от своих хозяев разрешение собрать сумму для выкупа, участвуя в гладиаторских боях. Если юный аристократ входил в долги, как это порой бывает, не по собственной вине или из-за юношеского легкомыслия, даже отдаленные родичи обычно спасали его от рабства, а не то вмешивался сам Август. Так что эти «благородные» гладиаторы были людьми, которых никто не считал нужным избавить от их участия и которые, став, само собой, вожаками в гладиаторских школах, вполне могли возглавить вооруженный бунт.

Когда обстановка исправилась, их вернули обратно, и, чтобы привести всех в хорошее настроение, было решено устроить от имени Германика и моего имени большие гладиаторские игры и травлю диких зверей в честь нашего отца. Ливия хотела напомнить Риму об его подвигах, чтобы привлечь внимание к Германику, который был живой портрет отца и которого, как все ожидали, должны были вскоре отправить на помощь Тиберию в Германию, где наших славных полководцев ждали новые победы. Мать и Ливия внесли свою долю, однако основное бремя расходов пало на нас с Германиком. А поскольку Германику в его положении деньги были нужнее, чем мне, то будет лишь справедливо, объяснила мне мать, если я дам в два раза больше. Я был только рад как-то услужить Германику. Но когда после окончания игр я узнал, во что они обошлись, у меня волосы стали дыбом: все представления были задуманы на широкую ногу, и, помимо обычных издержек на гладиаторские бои и травлю диких зверей, очень много денег ушло на то, чтобы разбрасывать их в толпу.

По особому указу сената во время процессии к амфитеатру мы с Германиком ехали в отцовской военной колеснице. Перед этим мы совершили жертвоприношения в его память у большой гробницы, выстроенной Августом для себя самого, где он велел захоронить урну с пеплом отца рядом с урной Марцелла. Мы проехали по Аппиевой дороге под мемориальной аркой отца, на которой была воздвигнута его колоссальная конная статуя, украшенная лаврами в честь торжества. Дул северо-восточный ветер, и врачи не разрешили мне выйти из дома без плаща. Я сидел рядом с Германиком, деля с ним пост распорядителя, и заметил, что, за одним исключением, только я из всех присутствующих был в плаще. Вторым был Август, сидевший по другую сторону от Германика. Он плохо переносил сильную жару и сильный холод и зимой, помимо очень плотной тоги, надевал четыре туники и шерстяной жилет. Кое-кто из находившихся в амфитеатре увидел особое предзнаменование в сходстве нашей одежды и в том, что родился я в первый день месяца, названного в честь Августа, к тому же в Лионе, где в тот самый день Август освящал свой алтарь. Во всяком случае, так они говорили через много лет после того. Ливия тоже была в императорской ложе — особая честь, оказанная ей как матери

моего отца. Обычно она сидела с весталками. Согласно правилам, на играх мужчины и женщины сидели порознь.

То был первый бой гладиаторов, который мне разрешили смотреть, и это еще усиливало мое замешательство, вызванное тем, что мне пришлось играть роль устроителя и сидеть в императорской ложе. Германик взял весь труд на себя, хотя делал вид, будто советуется со мной, когда надо было принимать решение, и провел всю церемонию с большой уверенностью и достоинством. Мне повезло: эти игры были лучшими, какие когда-либо показывались в амфитеатре. Правда, глядя на подобное зрелище впервые, я не мог оценить его по заслугам — мне не с чем было сравнивать, так как память не сохранила ни одного образца этого искусства. Но и после того я не видел ничего лучшего, а с тех пор мне пришлось быть свидетелем около тысячи первоклассных игр. Ливия хотела, чтобы Германик приобрел популярность как сын своего отца, и не жалела денег, чтобы нанять лучших гладиаторов Рима. Обычно профессиональные гладиаторы были очень осторожны и старались не пораниться сами и не поранить противника и тратили почти всю свою энергию на ложные удары и выпады, которые на вид и слух казались гомерическими, но на самом деле не причиняли никакого вреда, вроде тех ударов, которые наносят друг другу бутафорскими дубинками рабы в низкой комедии. Лишь изредка, когда бойцы приходили в ярость или хотели свести старые счеты, на них стоило смотреть. На этот раз Ливия собрала всю верхушку корпорации гладиаторов и сказала им, что желает получить за свои деньги настоящий товар. Если хоть одна схватка окажется притворной, она разгонит школы — слишком много было прошлым летом уловок во время боев. Поэтому главы школ предупредили гладиаторов, чтобы на этот раз они не вздумали играть в пятнашки, не то их вышвырнут из корпорации.

Во время первых шести поединков одного человека убили, один был так серьезно ранен, что умер в тот же день, а третьему отрубили руку со щитом у самого плеча, что вызвало хохот зрителей. В каждом из последующих трех поединков один из сражающихся обезоруживал другого, но побежденные настолько хорошо держались по время боя, что Германик и я вполне могли подтвердить одобрение публики, подняв большой палец в знак того, что им даруется жизнь. Один из победителей был за год или два до того богатым всадником. Во всех этих поединках противники, согласно правилу, сражались при помощи разного оружия: меч против копья или боевого топора, копье против палицы и так далее. Седьмой поединок был между гладиатором, вооруженным мечом установленного в армии образца и старомодным, круглым, обитым медью щитом, и гладиатором, чье оружие составлял трезубец для ловли форели и короткая сеть. Человеком с мечом, или «преследователем», был солдат гвардии, недавно приговоренный к смерти за то, что напился и ударил своего капитана. Смертная казнь была заменена боем с профессиональным гладиатором из Фессалии — человеком с трезубцем, — которому платили большие деньги и который, как сказал мне Германик, убил больше двадцати противников за последние пять лет.

Мои симпатии были на стороне старого солдата; когда он вышел на арену, он был очень бледен и нетвердо держался на ногах — он уже несколько дней просидел в тюрьме, и яркий свет резал ему глаза. Вся его рота, которая, по-видимому, очень ему сочувствовала, так как капитан был злой и грубый человек, который запугивал их и не брезговал рукоприкладством, стала его хором подбадривать; они кричали, чтобы он взял себя в руки и постоял за их честь. Солдат выпрямился и крикнул: «Постараюсь, ребята!» Его лагерное прозвище, как оказалось, было Окунь, и поэтому большая часть зрителей приняла его сторону, хотя гвардейцы не пользовались популярностью в городе. Если бы «окуню» удалось убить «рыболова», это было бы неплохой шуткой. Для человека, который борется за жизнь, иметь зрителей на своей стороне — половина успеха. Фессалиец — гибкий, жилистый, длинноногий и

длиннорукий малый — вышел с чванным видом сразу вслед за солдатом, одетый только в кожаную тунику и жесткую круглую кожаную шапочку. Он был в хорошем настроении и перекидывался шутками с передними скамьями: его противник был всего лишь любитель, а ему Ливия заплатила тысячу золотых за выступление и обещала еще пятьсот, если он убьет противника после хорошего боя. Гладиаторы вместе приблизились к нашей ложе и приветствовали сперва Августа и Ливию, а затем нас с Германиком обычной фразой:

— Здравствуй, цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Мы ответили на приветствие принятым жестом, и тут Германик сказал Августу:

— Взгляни, государь. Этот солдат — один из ветеранов моего отца. Он получил в Германии награду за то, что первым проник за укрепление врага.

Это заинтересовало Августа.

— Прекрасно, — сказал он, — значит, мы увидим настоящий бой. Но фессалиец, стало быть, на десять лет моложе, а возраст немало значит в этой игре.

Тут Германик дал сигнал трубачам, и бой начался. Фессалиец принялся танцевать вокруг Окуня, но тот не отступал. Он был не дурак и не тратил зря силы, бегая за более легко вооруженным противником, но и не стоял на месте. Фессалиец пытался вывести его из себя насмешками, но Окунь оставался невозмутим. Только один раз, когда фессалиец оказался на достижимом расстоянии, он пошел в наступление, и быстрота его выпада вызвала восторженный рев на скамьях. Но фессалиец вовремя отпрыгнул. Скоро бой стал более живым, фессалиец наносил колющие удары трезубцем. Окунь легко отражал их, не упуская из вида сеть с маленькими свинцовыми шариками для тяжести, которую фессалиец держал в левой руке.

— Красивая работа! — сказала Ливия Августу. — Лучший гладиатор в Риме. Он просто играет с солдатом. Ты заметил? Он давно мог запутать его сетью и прикончить, если бы захотел. Но он нарочно затягивает бой.

— Да, — сказал Август, — боюсь, песенка солдата спета. Не стоило ему напиваться.

Не успел Август закончить, как Окунь ударом меча вышиб из рук фессалийца трезубец, подбросил его вверх и, прыгнув вперед, распорол кожаную тунику противника у подмышки. Фессалиец молниеносно отскочил и на бегу кинул сеть в лицо Окуня. Как назло, свинцовый шарик ударил того по глазу, на секунду ослепив его. Солдат приостановился, и фессалиец, воспользовавшись преимуществом, повернулся и выбил меч у него из рук. Окунь прыгнул за мечом, но фессалиец его опередил; схватив меч, он подбежал к барьеру и кинул его богатому покровителю, сидевшему в первом ряду скамей, отведенных всадникам. Затем приступил к приятному занятию — расправе над безоружным врагом: сеть свистела возле самой головы Окуня, трезубец колот то тут, то там, но Окунь не падал духом, а один раз схватился за трезубец и чуть не вырвал его. Фессалиец теперь подгонял его поближе к нашей ложе, чтобы поэффектнее убить.

— Хватит, — сказала Ливия деловым тоном, — он достаточно поиграл. Пора кончать с этим солдатом.

Фессалиец не нуждался в указке. Он одновременно взметнул над головой Окуня сеть и нацелился трезубцем ему в живот. И тут раздался оглушительный рев. Откинувшись назад, Окунь правой рукой поймал сеть и тут же изо всех сил ударил ногой в древко трезубца у самой руки врага. Трезубец взмыл вверх, перелетел через голову фессалийца, перевернулся в воздухе и вонзился, дрожа, в деревянный барьер. Секунду фессалиец не мог прийти в себя, затем, оставив сеть в руках Окуня, кинулся мимо него за трезубцем. Окунь прыгнул вперед и в сторону и, когда фессалиец пробежал мимо, поддел его под ребра острым шипом в центре щита. Фессалиец, ловя ртом воздух, упал на четвереньки. Окунь не стал терять времени и,

резко взмахнув щитом, ударил его по затылку.

— Так бьют кроликов, — сказал Август, — но я никогда не видел, чтобы этот удар применяли на арене. А ты, моя милая Ливия? Прикончил его, могу поклясться.

Фессалиец был мертв. Я ожидал, что Ливия очень рассердится, но она сказала только:

— Поделом ему. Вот что получается, когда недооцениваешь противника. Я в нем разочарована. Однако я сэкономила на этом пятьсот золотых, мне, по-видимому, не на что жаловаться.

Завершились все удовольствия этого дня боем между двумя германскими заложниками, принадлежавшими к соперничающим племенам и добровольно вызвавшими друг друга на смертельный поединок. Оба рубили друг друга длинными мечами и алебардами — не очень красивое зрелище; у каждого к левому предплечью был привязан небольшой, богато украшенный щит. Мы не привыкли к такой манере драться, рядовые германские солдаты сражаются при помощи ассагаев — метательных копий с тонким древком и узким наконечником; алебарды и длинные мечи являются атрибутом высокого ранга их владельцев. Один из сражавшихся, светловолосый мужчина выше шести футов ростом, быстро расправился с противником, жестоко его изрубив, а затем прикончив сокрушительным ударом по шее. Толпа громко его приветствовала, и это вскружило ему голову: германец произнес целую речь на своем языке пополам с лагерной латынью и заявил, что он — прославленный воин у себя на родине, что он убил в битвах шесть римлян, в том числе одного офицера, до того как его дядя, вождь племени, отдал его из зависти в заложники. И теперь он вызывает на бой любого римлянина не ниже себя по положению; у них в Германии семь — счастливое число.

Первым на арену выскочил молодой офицер из хорошего, но обедневшего рода, Кассий Херея, и подбежал к императорской ложе за разрешением ответить на вызов. Его отец, сказал он, был убит в Германии, где он служил под началом славного генерала, в чью честь устроен праздник. Будет ли ему позволено принести этого хвастуна в жертву духу своего отца? Кассий был искусный фехтовальщик. Я часто наблюдал за ним на Марсовом поле. Германек посовещался с Августом, затем со мной; когда Август дал свое согласие и я промямлил свое, Кассию было велено вооружиться. Он пошел в раздевалку и одолжил у Окуня его меч, щит и доспехи — «на счастье» и в знак уважения к их владельцу.

Вскоре на арене завязался куда более серьезный бой, чем те схватки, которые показывали здесь гладиаторы-профессионалы; германец размахивал своим большим мечом, а Кассий, защищаясь щитом от ударов, старался заставить противника врасплох; но тот был столь же проворен, сколь могуч, и дважды сбивал Кассия с ног. В амфитеатре было совершенно тихо, зрители, как при священнодействии, замерли, слышался лишь лязг мечей и треск щитов. Август сказал:

— Боюсь, что германец слишком силен. Нельзя было разрешать этот поединок. Если он убьет Кассия, это произведет в войсках плохое впечатление.

Тут Кассий поскользнулся в луже крови и упал навзничь. Германец с торжествующей улыбкой сел на него верхом, а затем... затем в ушах у меня раздался шум, в глазах потемнело, и я потерял сознание. Волнение, охватившее меня при виде того, как убивают людей — я впервые наблюдал это воочию, — поединок между Окунем и фессалийцем, во время которого я всей душой сочувствовал Окуню, и, наконец, последний бой, когда мне показалось, что не Кассий, а я сам отчаянно бьюсь с германцем за жизнь, — все это оказалось мне не по силам. Поэтому я не видел, как германец поднял свой грозный меч, чтобы проломить Кассию череп, и как в этот самый момент тот молниеносным взмахом руки вонзил шип своего щита ему в поясницу, перекатился на бок и нанес решающий удар мечом под мышку. Да, Кассий благополучно прикончил своего противника. Не забудьте это имя — Кассий Херея, он

трижды сыграет важную роль в этой моей истории. Но вернемся ко мне. Сперва никто не заметил, что я потерял сознание, а когда заметили, я уже начал приходить в себя. Меня подперли с боков и поддерживали, пока представление не было закончено по всем правилам. Если бы меня пришлось выносить, это было бы позором не только для меня одного.

На следующий день Игры продолжались, но я на них не присутствовал. Объявили, что я заболел. Я пропустил одно из самых красочных зрелищ, когда-либо показанных в амфитеатре; — бой между индийским слоном — они куда больше африканских — и носорогом. Знатоки держали пари за носорога; хотя он уступал слону в размере, шкура у него куда толще, и они полагали, что он быстро расправится со слоном, пустив в ход свой длинный острый рог. В Африке, говорили они, слоны стараются держаться подальше от логовищ носорогов, и те единолично господствуют в своих угодьях. Однако этот индийский слон, как описывал мне потом Постум, не выказывал ни тревоги, ни страха; когда носорог выбегал на арену и кидался на него, он отражал нападение бивнями и неуклюже трусил за носорогом вдогонку, стоило тому в замешательстве повернуть вспять. Но увидев, что и сам он не может пропороть толстую кожу на шее носорога, слон, это удивительное животное, прибегнул к хитрости. Подняв хоботом оставленную служителем на песке метлу, сделанную из веток колючего кустарника, слон ткнул ею в морду противника, когда тот опять атаковал его, и выколол ему сначала один глаз, затем второй. Носорог, вне себя от боли и ярости, бросался в разные стороны в погоне за слоном и наконец врезался на всем бегу в деревянный барьер, пробил его и, оглушенный, со сломанным рогом, был остановлен мраморным барьером позади деревянного. Слон, раскрыв рот, точно в улыбке, подошел поближе и, расширив сперва брешь в деревянном барьере, принялся топтать своего врага, пока не проломил ему череп. Затем, кивая головой, словно в такт музыке, спокойно отошел в сторону. Тут выбежал его погонщик-индус с миской сластей, которые слон высыпал в рот под рукоплескания публики. Подставив хобот в качестве лестницы, он помог погонщику взобраться себе на спину и зашагал к императорской ложе, где сидел Август. Здесь он протрубил царский салют, которым этих животных учат приветствовать монархов, и опустил в знак почтения на колени. Но, как я уже говорил, сам я это зрелище пропустил.

В тот же вечер Ливия писала Августу:

«Дорогой Август!

Вчерашнее недостойное мужчины поведение Клавдия — его обморок при виде сражающихся людей, не говоря уж о нелепом подергивании рук и головы, — которое было тем более позорным, что произошло все это на торжественном празднике в ознаменование побед его отца, имеет по крайней мере одно преимущество: теперь мы можем раз и навсегда с уверенностью сказать, что, кроме как в качестве жреца — ибо вакансии в коллегии должны быть так или иначе заполнены, и Плавтий сумел как следует его натаскать для исполнения его обязанностей, — Клавдий ни в коем случае не должен появляться на людях. Придется сбросить его со счетов, он годится разве что для продолжения рода — я слышала, он исполнил свой долг перед Ургуланиллой, — но и в этом я буду уверена, лишь когда взгляну на ребенка, ведь он может оказаться таким же уродом, как отец.

Сегодня Антония извлекла из его комнаты тетрадь с историческими материалами, которые он собирает, чтобы написать жизнеописание отца; там же она нашла вымученное предисловие к предполагаемому труду, которое я посылаю тебе вместе с письмом. Как ты заметишь, Клавдий выбрал для восхваления единственный недостаток своего дорогого отца — его упрямое нежелание видеть, что время идет вперед, его нелепое

заблуждение, будто политические формы правления, подходившие Риму, когда он был небольшим городком и сражался с другими небольшими городками, могут быть возрождены, после того как Римская империя стала величайшей империей со времен Александра. А что случилось с его империей, когда Александр умер и не нашлось сильного человека, который мог бы унаследовать его трон и стать монархом? Она просто развалилась. Но я не буду тратить ни своего, ни твоего времени, изрекая всем известные истины.

Афинодор и Сульпиций, с которыми я совещалась по этому поводу, утверждают, будто впервые видят это предисловие, и согласны со мной в том, что его обнаружение нежелательно. Они клянутся, что никогда не внушали ему такие крамольные мысли, и думают, что он почерпнул их из старинных книг. Лично я полагаю, что он унаследовал их — у его деда, как ты помнишь, была такая же курьезная слабость; так похоже на Клавдия — взять в наследство этот единственный недостаток и пренебречь его физическим и духовным здоровьем. Надо благодарить богов за Тиберия и Германика. У них, насколько я знаю, республиканские глупости не в чести. Естественно, я приказала Клавдию прекратить его биографические занятия, сказав, что если он позорит память отца, падая в обморок на торжественных играх, устроенных в его честь, он недостойн писать его биографию; пусть найдет какое-нибудь другое применение своему перу.

Ливия ».

Когда Поллион сказал мне о том, что дед и отец были отравлены, он поставил меня в тупик. Я не мог решить, что это: старческая болтовня, шутка, или он действительно что-то знает. Кто, кроме Августа, был настолько заинтересован в единовластии, чтобы отравить патриция за то лишь, что он верит в республику? Однако я не мог представить, что Август на это способен. Прибегнуть к отраве могут рабы — это подлый, низкий вид убийства. Август никогда бы не опустился до него. К тому же Август всегда говорил о моем отце с любовью и восхищением, а уж в лицемерии его упрекнуть нельзя. Я просмотрел несколько исторических книг, появившихся в последнее время, однако не вычитал в них ничего нового относительно смерти отца по сравнению с тем, что я уже знал от Германика. Но дня за два до игр я случайно разговорился с нашим привратником, который был денщиком отца во время всех его военных кампаний. Честный малый хлебнул лишнего, потому что в эти дни имя моего отца было у всех на устах, и ветераны купались в отраженных лучах его славы.

— Скажи мне, что ты знаешь о смерти своего командира? — храбро спросил я. — Ходили ли в лагере какие-нибудь слухи о том, что его смерть была не случайна?

Он ответил:

— Я не сказал бы этого никому, кроме тебя, господин, но тебе я могу доверять. Ты — сын своего отца, а я не знаю никого, кто бы не доверял ему. Да, такие слухи ходили, и для них были основания. Твоего храброго и благородного отца отравили. Я уверен в этом. Некая персона, имени которой я не буду называть — ты и сам догадаешься, — позавидовала победам твоего отца и отозвала его в Рим. Это не болтовня, не толки, так было на самом деле. Приказ возвращаться пришел, когда твой отец сломал ногу; ничего страшного, нога хорошо заживала, пока не появился этот шарлатан из Рима — с сумкой, полной ядов. Кто его прислал? Та самая персона, которая прислала письмо. Дважды два — четыре, не так ли, господин? Мы хотели убить этого лекаришку, но он благополучно вернулся в Рим под особой охраной.

Когда я прочитал записку бабки Ливии, где мне предписывалось прекратить работу над жизнеописанием отца, я был озадачен еще больше. Не мог же Поллион указывать на бабушку как на убийцу бывшего мужа и сына! Это было невероятно. Какие у нее могли быть мотивы? И все же, подумав, я пришел к выводу, что если их кто и

отравил, то скорее не Август, а Ливия.

В то лето Тиберию нужны были солдаты для войны в восточной Германии, и рекрутов стали набирать в Далмации, до тех пор спокойной и покорной Риму провинции. Но когда рекруты были собраны вместе, то случилось так, что туда прибыл, как и каждый год, сборщик налогов и стал взыскивать с провинции сумму, хоть и не больше той, которую назначил Август, однако больше той, которую Далмация могла заплатить. Крестьяне ссылались на бедность. Сборщик воспользовался правом забирать силой детей в тех деревнях, которые не выплатили налога, и увозить их, чтобы продать в рабство. Отцы некоторых из этих детей были в числе рекрутов и, естественно, выразили гневный протест. Все войско восстало, командиры-римляне были убиты. В поддержку далматинцев поднялось племя боснийцев, и скоро все пограничные провинции от Македонии до Альп были в огне. К счастью, Тиберию удалось заключить с германцами мир — причем по их просьбе — и выступить против бунтовщиков. Далматинцы избегали генерального сражения; разбившись на небольшие отряды, они вели умелую партизанскую войну. Они были легко вооружены, хорошо знали местность и, когда настала зима, осмелели настолько, что стали делать набеги на территорию Македонии.

Сидя в Риме, Август не мог правильно оценить трудности, которые возникли перед Тиберием, и, заподозрив, что тот нарочно откладывает боевые действия из каких-то тайных и непонятных ему побуждений, решил отправить на границу Германика во главе собственной армии, чтобы подстегнуть Тиберия.

Германик, которому шел в то время двадцать третий год, только что, за пять лет до положенного срока, получил первую магистратуру. Его назначение на пост командующего всех удивило: ожидали, что выбор падет на Постума. У него не было никакой судейской должности, и, будучи в ранге полкового командира, он занимался тем, что обучал на Марсовом поле рекрутов для новой армии. Постум был на три года младше Германика, но его брата Гая послали губернатором в Малую Азию в девятнадцать, а на следующий год после того Гай стал консулом. Все сходились во мнении, что Постум ни чуть не менее одарен, чем Гай, и, в конце концов, он был единственным внуком Августа, оставшимся в живых.

Когда я услышал о назначении Германика, еще до того, как эта новость была обнародована, меня стали разрывать противоречивые чувства: радость за Германика и грусть из-за Постума. Я отправился разыскивать Постума и нашел его в его комнатах во дворце, куда я прибыл одновременно с братом. Постум пылко нас приветствовал и от всей души поздравил Германика.

Германик:

— Вот из-за этого-то я и пришел, дорогой Постум. Ты сам понимаешь, я очень рад тому, что на меня пал выбор, и горд этим, но военная репутация для меня ничто, если я наносу тебе вред. Как полководцы мы с тобой равны, но, будучи наследником Августа, ты, и никто другой, должен быть избранным на этот пост. С твоего разрешения, я пойду сейчас к Августу и откажусь в твою пользу. Я объясню ему, что отданное мне за твой счет предпочтение может быть неправильно истолковано в городе. Еще не поздно все переменить.

Постум:

— Милый Германик, зная твое благородство и великодушие, я позволю себе говорить откровенно. Ты прав, в Риме посчитают, что мне нанесено оскорбление. А то, что у тебя есть судейские обязанности, которые тебе придется на время прервать, а меня ничто здесь не задерживает, лишь ухудшает дело. Но поверь, мое разочарование с лихвой искупается доказательством твоей дружбы, которое ты даешь мне не в первый раз, и я желаю тебе победы над врагом и скорого возвращения.

Тут заговорил я:

— Если вы не возражаете, мне хотелось бы выразить свое мнение: по-моему, Август обдумал создавшуюся ситуацию значительно тщательнее, чем вы полагаете. Судя по нечаянно услышанным мной словам матери, он подозревает, что дядя Тиберий сознательно затягивает войну. Если после той старой размолвки между моим дядей и Гаем с Луцием послать туда Постума во главе свежих воинских сил, дядя может обидеться и заподозрить неладное. Он будет смотреть на Постума как на соглядатая и соперника. Но Германик — его приемный сын, и он не усомнится, что его прислали в подкрепление. Я думаю, единственное, что здесь можно сказать: Постуму, безусловно, выпадет другой удобный случай показать себя, и довольно скоро.

Им обоим пришлось по душе такая точка зрения, не затрагивавшая чести ни того, ни другого, и мы дружески расстались.

В тот же самый вечер, вернее сказать, за полночь — я засиделся за работой у себя в комнате на верхнем этаже — до меня донеслись издали крики, а затем раздался легкий шум с балкона. Я подошел к дверям и увидел над перилами голову и руку. Это был мужчина в военной форме. Он перекинул через перила ногу и перелез на балкон. На миг я прирос к полу — у меня мелькнула дикая мысль: «Это убийца, подосланный Ливией». Только я собрался позвать на помощь, как он шепнул:

— Тише. Не бойся. Это я, Постум.

— О, Постум! Ну и напугал же ты меня. Почему ты залезаешь в дом, как грабитель, да еще в такое время? Что с тобой случилось? У тебя все лицо в крови и порван плащ.

— Я пришел попрощаться, Клавдий.

— Не понимаю. Август передумал? Я полагал, что назначение уже обнародовано.

— Дай мне попить, у меня пересохло горло. Нет, я не еду на войну. Об этом и речи нет. Меня отправляют удить рыбу.

— Не говори загадками. Вот вино, пей побыстрее и скажи, что случилось. Куда ты поедешь удить?

— На какой-нибудь островок. Думаю, они еще не выбрали, какой именно.

— Ты хочешь сказать... — сердце мое упало, голова закружилась.

— Да, меня отправляют в изгнание, как мою несчастную мать.

— Но почему? Какое ты совершил преступление?

— Никакого. Ничего, о чем бы можно было официально заявить в сенате. Я думаю, речь будет идти о «неискоренимой испорченности». Ты помнишь их «Ночные дебаты»?

— О, Постум! Значит, бабка?..

— Слушай внимательно, Клавдий. Время не ждет. Я под строгим арестом, но я ухитрился справиться со стражниками и убежал. На ноги поднята дворцовая стража, и перекрыты все пути. Они знают, что я в одном из этих зданий, и обыщут комнату за комнатой. Мне надо было увидеть тебя, потому что я хочу, чтобы ты знал правду и не верил той напраслине, которую они возвели на меня. И я хочу, чтобы ты все передал Германику. Передай ему самый горячий привет и расскажи ему все от начала до конца, как я расскажу тебе. Мне безразлично, что обо мне подумают остальные, но я хочу, чтобы вы с Германиком знали правду и думали обо мне хорошо.

— Я не забуду ни единого слова, Постум. Не теряй времени, начинай.

— Ну, ты знаешь, что в последнее время я был у Августа в немилости. Сперва я не понимал почему, но вскоре мне стало ясно, что Ливия настраивает его против меня. Там, где дело касается Ливии, он становится просто тряпкой. Подумай только, живет с ней почти пятьдесят лет и до сих пор слепо верит ей! Но против меня была не только Ливия. В сговор с ней вступила Ливилла.

— Ливилла! Какой ужас!

— Да. Ты знаешь, как я ее любил и как страдал из-за нее. Ты однажды, год назад, намекнул, что она не стоит этого, и помнишь, как я рассердился на тебя. Я долго не хотел с тобой разговаривать. Прости меня, Клавдий. Надо знать, что такое безответная любовь. Я не открыл тебе тогда, что перед тем, как выйти за Кастора, Ливилла сказала мне, будто ее вынудила к этому Ливия, а на самом деле она любит меня. Я ей поверил. Почему мне было не поверить ей? Я надеялся, что когда-нибудь с Кастором что-нибудь случится, и мы с ней поженимся. С тех пор день и ночь я только об этом и думал. Сегодня в полдень, сразу после того как я повидался с тобой, я сидел с ней и Кастором в виноградной беседке возле большого пруда с сазанами. Кастор принялся насмехаться надо мной. Теперь-то я понимаю, что все это было заранее тщательно отрепетировано. Сперва он сказал: «Значит, предпочли Германика, а не тебя, да?» Я ответил, что считаю назначение вполне разумным и только что был у Германика и поздравил его. Тогда он сказал, ухмыляясь: «О, ваше высочество выразило свое одобрение. Кстати, ты что — все надеешься унаследовать от деда императорский престол?» Я держал себя в руках ради Ливиллы и сказал только, что не считаю пристойным обсуждать вопрос о том, кто будет преемником Августа, пока он жив и сохраняет все умственные и физические способности. Затем с иронией спросил его, не хочет ли он выдвинуть свою кандидатуру на пост императора. Он сказал с неприятной улыбкой: «Что ж, если бы я это сделал, у меня было бы больше шансов на успех, чем у тебя. Я обычно получаю то, что хочу. Я шевелю мозгами. Я завоевал Ливиллу, потому что шевелил мозгами. Не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, с какой легкостью я убедил Августа, что ты для нее не пара. Возможно, таким же путем я получу все прочее, к чему я стремлюсь. Кто знает». Тут уж я взорвался. Я спросил его, что он имеет в виду — что возводил на меня поклеп? Он сказал: «Почему бы и нет? Я хотел Ливиллу и этим добыл ее». Тогда я обернулся к Ливилле и спросил, знала ли она об этом. Она сделала вид, что возмущена, сказала, будто ей ничего не известно, но, спору нет, Кастор способен на любой бесчестный поступок. Она выдавила несколько слезинок и сказала, что Кастор — насквозь испорченный человек, и никто не представляет, сколько ей пришлось от него перенести; лучше бы ей умереть.

— Да, это ее старый трюк. Ливилла может заплакать в любую минуту. Всех ловит на эту удочку. Если бы я рассказал тебе все, что я о ней знаю, ты бы, возможно, сперва возненавидел меня, но избежал того, что случилось. Так что же случилось?

— Вчера вечером она прислала ко мне служанку, и та передала, что Кастор отправился, как всегда, на попойку и, возможно, будет отсутствовать всю ночь, и если вскоре после полуночи я увижу в окне свет, значит, путь свободен. Этажом ниже будет открыто окно, через которое я смогу потихоньку проникнуть в дом. Ливилла хочет сообщить мне что-то очень важное. Естественно, все это могло иметь лишь один смысл, и у меня чуть не выскочило сердце из груди. Несколько часов я прождал в саду, наконец в одном из окон мелькнул огонек. Я увидел, что окно под ним открыто, и залез внутрь. Служанка Ливиллы уже была там и провела меня наверх. Она показала мне, как пробраться к Ливилле в комнату, перелезая с одного балкона на другой, пока я не доберусь до ее окна, — мера предосторожности против стражи, оставленной в коридоре у ее дверей. Ливилла ждала меня; в пеньюаре, с распущенными волосами, она была необыкновенно хороша. Она сказала, что Кастор обращается с ней очень жестоко и что ее связывает с ним лишь супружеский долг, ведь, по его собственным словам, он женился на ней обманом и так ужасно с ней обращается. Она обвила меня руками, и я схватил ее в охапку и отнес на постель. Я сходил с ума от желания. И тут вдруг она принялась кричать и бить меня кулаками. Я подумал, что она потеряла рассудок, и зажал ей рот рукой, чтобы унять ее. Она вырвалась от меня, свалив на пол столик с лампой и стеклянным кувшином. Затем завопила: «Насилуют! Насилуют!» И тут, выбив дверь, в комнату вошли дворцовые

стражники с факелами в руках. Угадай, кто был у них во главе?

— Кастор?

— Ливия. Она отвела нас в том виде, в котором мы были, в покои Августа. Кастор был там, хотя Ливилла сказала мне, что он ужинает в другом конце города. Август отпустил стражу, и Ливия, не вымолвившая до тех пор ни слова, тут же накинулась на меня. Она сказала, что по совету Августа она отправилась ко мне, чтобы познакомить меня без свидетелей с обвинением Эмилии и спросить, какое я могу дать объяснение...

— Эмилии? Какой Эмилии?

— Моей племянницы.

— Я не знал, что она имеет что-нибудь против тебя.

— Ей нечего против меня иметь. Но она тоже участвует в заговоре... Так вот, сказала Ливия, не найдя меня в моих комнатах, она стала расспрашивать людей, и ей сказали, будто патруль видел меня под грушей в южной части сада. Она послала за мной солдата, он вернулся и доложил, что не нашел меня, но хочет сообщить об одном подозрительном обстоятельстве: он видел, как прямо над солнечными часами какой-то мужчина перелезал с балкона на балкон. Ливия знала, чьи там комнаты, и очень испугалась. К счастью, она появилась вовремя и услышала крики Ливиллы о помощи: я проник к ней в комнату через балкон и собирался ее изнасиловать. Стража взломала дверь и оттащила меня от «перепуганной полуобнаженной женщины». Она, Ливия, тут же привела меня сюда, захватив Ливиллу в качестве свидетельницы. Все время, что Ливия рассказывала свою историю, эта шлюха, Ливилла, рыдала, пряча лицо. Пенюар ее был разорван сверху донизу — видно, она сама специально разорвала его. Август называл меня диким зверем и сатиром и спросил, не сошел ли я с ума. Конечно, я не мог отрицать, что был у Ливиллы в комнате, и даже того, что хотел заняться с ней любовной игрой. Я сказал, что пришел туда по ее приглашению, и попытался объяснить все с самого начала, но Ливилла принялась вопить: «Он лжет, он лжет! Я спала, когда он влез в окно и попытался взять меня силой». Тогда Ливия сказала: «А твоя племянница Эмилия тоже, верно, пригласила тебя, чтобы ты на нее напал с гнусными намерениями? Ты пользуешься большой популярностью у молодых женщин». Это был умный ход с ее стороны. Я должен был доказать, что ни в чем не повинен перед Эмилией, и оставить разговор о Ливилле. Я сказал Августу, что накануне я обедал у своей сестры Юлиллы и там действительно была Эмилия, которую я видел перед тем полгода назад. Я спросил, при каких обстоятельствах я якобы на нее напал, и Август ответил, что я и сам это прекрасно знаю — после обеда, когда родители девушки вышли из комнаты, так как слуги подняли тревогу, закричав, будто в дом забрались воры, и только возвращение отца с матерью помешало мне осуществить мой гнусный умысел. История настолько нелепая, что я, как ни был обозлен, не мог удержаться от смеха, но это лишь разожгло гнев Августа. Он был готов встать с кресла и ударить меня.

Я сказал:

— Я ничего не понимаю. В дом на самом деле забрались воры?

— Нет, тревога оказалась ложной: мы с Эмилией оставались вместе несколько минут, однако разговор вели абсолютно невинный и при нем присутствовала воспитательница. Мы говорили о фруктовых деревьях и садовых вредителях до той самой минуты, пока не вернулись Юлилла и Эмилий и не сказали, что тревога была ложной. Они-то не станут выслуживаться перед Ливией, можешь в этом не сомневаться, они ее ненавидят. Значит, все это — дело рук самой Эмилии. Я стал лихорадочно соображать, какое зло она могла затаить против меня, но так ничего и не вспомнил. И вдруг меня осенило. Юлилла сказала мне по секрету, что Эмилия наконец добилась своего: она выходит замуж за Аппия Силана. Ты знаешь этого молодого щеголя, да?

— Да, но я не совсем улавливаю, где тут связь?

— Все очень просто. Я сказал Ливии: «Награда Эмилии за эту ложь — брак с Силаном? Верно? А что получит Ливилла? Может, ты обещала отравить ее теперешнего мужа и снабдить ее другим, покрасивее?» Как только я произнес слово «отравить», я понял, что обречен. Поэтому я решил воспользоваться случаем и высказать все, что накопилось у меня на душе. Я спросил Ливию, как ей удалось отравить моего отца и братьев и какие яды ей больше по вкусу — быстрого действия или медленного. Ты как думаешь, Клавдий, она отравила их? Я в этом уверен.

— Ты отважился задать ей такой вопрос? Вполне возможно, что ты прав. Я думаю, она отравила также моего отца и деда, — сказал я, — и предполагаю, что они — не единственные ее жертвы. Но у меня нет доказательств.

— У меня тоже. Но как приятно было бросить ей в лицо обвинение! Я орал во весь голос, верно, половина дворца слышала меня. Ливия поспешила из комнаты и позвала стражу. Я видел, что Ливилла улыбается. Я хотел ее задушить, но Кастор кинулся между нами, и ей удалось убежать. Тогда я стал бороться с Кастором, сломал ему руку и вышиб два передних зуба — они вылетели прямо на мраморный пол. Но я не мог драться с солдатами, это ниже моего достоинства. К тому же они были вооружены. Двое из них держали меня за руки, в то время как Август обрушивал на меня громы и молнии. Он сказал, что меня надо отправить в пожизненную ссылку на самый пустынный остров в его владениях и что только его чудовищная дочь могла родить ему такого чудовищного внука. Я сказал ему, что, хотя он считается римским императором, на самом деле он менее свободен, чем рабыня в публичном доме, который содержит пьяница хозяин, и что наступит день, когда у него откроются глаза на действительно чудовищные преступления этой гнусной обманщицы — его жены. Но моя любовь к нему и верность остаются неизменными.

По всему первому этажу дома уже раздавались крики «Держи! Лови!». Постум сказал:

— Я не хочу бросать на тебя тень, дорогой Клавдий. Не годится, чтобы меня нашли у тебя в комнате. Если бы у меня был меч, я пустил бы его в ход. Лучше умереть, сражаясь, чем гнить заживо на каком-нибудь острове.

— Терпенье, Постум. Уступи сейчас, ты еще свое возьмешь. Я тебе обещаю. Когда Германик узнает правду, он не успокоится, пока ты снова не будешь на свободе, и я тоже сделаю, что смогу. Если тебя убьют — это будет дешевая победа для Ливии.

— Вы с Германиком не можете опровергнуть все измышления и объяснить, что на самом деле произошло. Вы только попадете в беду, если попытаетесь.

— Я уверен, нам представится удобный случай. Ливии слишком долго удавалось добиваться своего, она скоро позабудет об осторожности. Рано или поздно она сделает промах. Она не была бы человеком, если бы не ошибалась.

— Она и не человек, по-моему, — сказал Постум.

— А когда Август наконец поймет, как она его обманывала, ты не думаешь, что он будет не менее беспощаден по отношению к ней, чем был беспощаден по отношению к твоей матери?

— Она успеет его отравить.

— Мы с Германиком проследим, чтобы этого не случилось. Мы предупредим его. Не отчаивайся, Постум. Все в конце концов образуется. Я буду писать тебе как можно чаще и посылать книги. Я не боюсь Ливии. Если письма не будут до тебя доходить, знай, что их перехватывают. Внимательно гляди на седьмую страницу любой книги, которая придет от меня. Когда мне надо будет сообщить тебе что-нибудь по секрету, я напишу это молоком. Египтяне придумали такой хитрый способ. Буквы становятся видны, только если подержать страницу над огнем... Ой, слышишь, как хлопают двери? Тебе пора уходить. Они в конце соседнего коридора.

На глазах Постума были слезы. Он нежно обнял меня, ничего больше не говоря,

и быстро вышел на балкон. Перелез через перила, помахал на прощанье рукой и скользнул вниз по виноградной лозе, по которой сюда забрался. Я услышал, как он бежит по саду, а через минуту раздались крики стражи.

7 г. н. э.

О том, что произошло за следующий месяц, а то и больше, я ничего не помню. Я снова был болен, очень серьезно болен, никто не верил, что я останусь в живых. К тому времени, как я стал поправляться, Германик был уже на войне, а Постум лишен наследства и отправлен в пожизненное изгнание. Остров, куда его сослали, назывался Планазия.

Он находился в двенадцати милях от Эльбы по направлению к Корсике и, на памяти людей, всегда был необитаем. Однако там были каменные развалины каких-то древних строений, и их приспособили под жилье Постуму и страже. По форме Планазия напоминала треугольник, самая большая сторона которого была в пять миль длиной. Остров этот — скалистый, без единого дерева, посещали его лишь живущие на Эльбе рыбаки и то лишь летом, когда они приезжали насаживать наживки в вершах для омаров. По приказу Августа, боявшегося, что Постум подкупит кого-нибудь из них и убежит, рыбакам запретили там появляться.

Тиберий был теперь единственным преемником Августа, за ним следовали Германик и Кастор — по женской линии, линии Ливии.

Глава XII

Если бы, описывая события последующих двадцати пяти с лишним лет, я ограничился перечислением моих собственных поступков, это не заняло бы много места на бумаге и было бы очень скучно читать: но вторая половина моей биографии, та, где я играю более заметную роль, будет понятна только в том случае, если я продолжу рассказ о моих родичах: Ливии, Тиберии, Германике, Постуме, Касторе, Ливилле и всех остальных, а это отнюдь не будет скучным, я вам обещаю.

Постум был в изгнании, Германик — на войне, из друзей со мной остался один Афинодор. Вскоре и он покинул меня и вернулся в родной Тарс. Как я мог возражать против его отъезда, если он поехал туда по горячей и настоятельной просьбе двух своих племянников, которые умоляли Афинодора помочь им освободить город из-под ига правителя. Они писали, что этот правитель на редкость ловко втерся в милость божественного Августа, и понадобится свидетельство такого человека, как Афинодор, в чьей неподкупной честности божественный Август не сомневается, чтобы убедить божественного Августа, что изгнание правителя-тирана из города им заслужено. Афинодору удалось избавить Тарс от этого кровопийцы, но вернуться в Рим, как он намеревался, он не смог. Племянники нуждались в его помощи для переустройства на твердой основе всего городского управления. Август, которому Афинодор отправил подробный отчет о предпринятых им шагах, выказал ему свою благодарность и полное доверие тем, что освободил Тарс на пять лет от уплаты императорской дани. Я регулярно переписывался с добрым стариком до самой его смерти, постигшей его через два года после отъезда из Рима в возрасте восьмидесяти лет. Чтобы почтить память Афинодора, в Тарсе учредили ежегодные празднества с жертвоприношениями в его честь, во время которых именитые жители города по очереди читали от первой до последней страницы его «Краткую историю Тарса», начав на восходе солнца и кончая после заката.

Германик писал мне время от времени, но письма его были столь же коротки, сколь нежны; хорошему командующему некогда писать письма родичам, все время между активными военными действиями уходит у него на то, чтобы лучше познакомиться с солдатами и офицерами, выяснить, каковы условия их жизни,

повысить их боеспособность и собрать сведения о расположении и планах противника. Германик был один из самых добросовестных командующих, какие когда-либо служили в римской армии, и пользовался даже большей любовью, чем наш отец. Я очень гордился, когда он попросил меня сделать, причем как можно скорее и тщательнее, краткую сводку из всех достоверных источников, какие я смогу найти в библиотеках, об обычаях различных балканских племен, с которыми он сражался, об обороноспособности и местоположении их городов, их традиционной военной тактике и особенно о хитростях, применяемых ими в партизанской войне. Он писал, что не может на месте добыть достаточно достоверные сведения: Тиберий — человек замкнутый, и то, что знает, держит при себе. С помощью Сульпиция и небольшой группы архивариусов и переписчиков, работавших круглые сутки, я сумел собрать те данные, которые были ему нужны, и отправил их Германику ровно через месяц после того, как получил его письмо. Я был еще более горд, когда вскоре после этого от Германика пришел ответ, где он просил прислать двадцать экземпляров рукописи, чтобы раздать их старшим офицерам, так как собранный мной материал уже сослужил ему большую службу. Германик писал, что каждый абзац ясен по смыслу и показывает существо дела; самыми полезными были разделы, где приводились особые сведения о секретных межплеменных военных содружествах, против которых в основном, а не против самих племен, и велась война, и те, где перечислялись различные виды священных деревьев и кустов — каждое племя поклонялось своему виду, — под чьей защитной кроной члены племени обычно прятали запасы зерна, деньги и оружие, когда были вынуждены в спешке покидать свои селения. Германик обещал рассказать Тиберию и Августу об оказанной мной ценной услуге.

Однако вслух об этой моей работе упомянуто нигде не было, возможно, потому, что, услышь противник об ее существовании, он изменил бы свою тактику и расстановку сил. А теперь они полагали, что в их неудачах виноваты предатели. Август наградил меня приватным образом, включив в коллегия августов, но было ясно, что все, сделанное мной, он ставит в заслугу Сульпицию, хотя тот не написал ни слова, лишь нашел для меня кое-какие факты. Одним из главных моих источников был Поллион, чья кампания в Далмации может служить образцом военного искусства: сражения, проведенные по всем правилам, и блестящая работа разведки. Хотя его отчет о местных обычаях и условиях имел полувековую давность, он помог Германику больше, чем примеры из какой-либо более современной военной истории. Ах, если бы Поллион был жив, чтобы услышать это от Германика собственными ушами! Я рассказал об этом Ливию, и тот сердито ответил, что никогда не отказывал Поллиону в умении писать компетентные военные учебники, — он отказывал ему в титуле историка в более высоком смысле этого слова.

Должен добавить, что, прояви я больше такта, Август, без сомнения, похвалил бы меня в своей речи к сенату по завершении войны. Но мои ссылки на его собственную балканскую кампанию были реже, чем они могли бы быть, если бы он, как Поллион, написал о ней подробный отчет или если бы официальные историки уделяли меньше места лести и больше — беспристрастному описанию и объяснению его побед и поражений. Я почти ничего не мог извлечь из этих панегириков, и, читая мою книгу, Август, верно, почувствовал себя оскорбленным. Он настолько искренно считал, будто от него зависит успех войны, что на последние два сезона нынешней балканской кампании переехал из Рима в городок на северо-восточной границе Италии, чтобы быть как можно ближе к театру военных действий, и в качестве главнокомандующего римскими армиями беспрестанно посылал Тиберию довольно бесполезные советы.

Я работал над биографией деда, той ее частью, где говорилось о роли, которую он сыграл в гражданских войнах, но не успел далеко продвинуться вперед — мной

было закончено всего два тома, — как вновь был остановлен Ливией. Она заявила, что я так же мало способен написать жизнеописание деда, как жизнеописание отца, и что нечестно было начинать эту работу у нее за спиной. Если я хочу с пользой применить свое перо, почему бы не избрать такой предмет, который не допускает ложного понимания и истолкования фактов. Например, такой, как преобразования в области религии, проведенные Августом после умиротворения. Тема эта была не очень увлекательная, но ее ни разу еще не рассматривали в подробностях, и я не имел ничего против того, чтобы заняться ею. Религиозные реформы Августа были, за небольшим исключением, превосходны: он возродил несколько жреческих общин, воздвиг восемьдесят два храма в Риме и его окрестностях и пожертвовал деньги на их содержание, обновил многочисленные старые храмы, приходившие постепенно в упадок, ввел чужеземные культы ради приезжих из провинций и восстановил ряд интересных старых народных праздников, которые мало-помалу, один за другим исчезли во время гражданских войн за последние пятьдесят лет. Я досконально изучил материал и завершил свой обзор за несколько дней до смерти Августа, шесть лет спустя после того, как его начал. Труд мой занял сорок один том, каждый в пять тысяч слов, но большую его часть составляли копии религиозных эдиктов, поименные списки жрецов, перечисления даров, переданных в сокровищницы храмов, и тому подобное. Самым ценным был вступительный том, где говорилось о первобытном ритуале у римлян. Здесь я оказался в затруднении, так как ритуальные реформы Августа базировались на данных, полученных религиозной комиссией, которая работала спустя рукава. По всей видимости, среди ее членов не было знатока стародавних обрядов, и в результате — в новые узаконенные священнодействия вкрался ряд ошибок, возникших из-за грубого непонимания древних религиозных формул. Лишь тот, кто изучали этрусский и сабинский языки, способен истолковать самые старые из наших заклинаний, а я потратил немало времени, чтобы овладеть начатками их обоих. В то время оставались в живых несколько крестьян, говоривших дома по-сабински, и я упросил двух из них приехать в Рим, чтобы с их помощью Паллант, бывший уже тогда моим секретарем, смог составить краткий словарь сабинского языка. Я хорошо им за это заплатил. Каллона, лучшего из моих секретарей, я отправил в Капую, чтобы он добыл материал для подобного этрусского словаря у Арунта, жреца, снабдившего меня сведениями о Ларсе Порсене, которые привели в восторг Поллиона и вызвали негодование Ливия. Эти два словаря, которые я впоследствии дополнил и опубликовал, дали мне возможность, к моему удовлетворению, прояснить ряд важных проблем, касающихся древних религиозных культов, но я научился быть осторожным, и, что бы я ни писал, это никак не ставило под вопрос эрудицию Августа или разумность его суждений.

Я не буду тратить время на описание балканской войны, скажу лишь, что, несмотря на искусное руководство дяди Тиберия, умелую помощь, оказанную ему моим тестем Сильваном, и боевые подвиги Германика, она тянулась около трех лет. Под конец весь край был покорен и практически превращен в пустыню, так как эти племена — все, и мужчины, и женщины, — доведенные до крайности, сражались с безрассудной храбростью и признавали свое поражение лишь после того, как огонь, голод и моровые болезни уменьшали их наполовину. Когда вожди повстанцев пришли к Тиберию на переговоры о мире, он стал их подробно расспрашивать, во-первых, почему им взбрело в голову восстать, и затем — почему они так отчаянно сопротивлялись. Главарь бунтовщиков, человек по имени Батон, ответил: «Вы сами в этом виноваты. Вы посылаете стеречь свои стада не пастухов и даже не пастушьих собак, а волков».

Это не совсем верно. Август сам выбирал губернаторов пограничных провинций, назначал им достаточное жалование и следил, чтобы имперские доходы не попадали в их карман. Налоги платились непосредственно губернатору, а не взимались

бесчестными откупщиками. Губернаторы Августа не были волками, подобно почти всем губернаторам республики, которые интересовались одним — как бы побольше выжать из подвластных им провинций. Многие из его губернаторов были хорошими пастушьими псами, а кое-кто честными пастухами. Но часто бывало так, что Август ненамеренно назначал слишком высокий налог, не принимая во внимание плохой урожай, или мор на скот, или землетрясение, а губернатор, не желая говорить, что налог чересчур велик, предпочитал взыскивать его до последней монетки, даже под угрозой восстания. Мало кто из них проявлял личный интерес к народу, которым они, как считалось, управляли. Губернатор селился в романизированном главном городе провинции, где были прекрасные здания, и театры, и храмы, и общественные бани, и рынки, ему и в голову не приходило посещать отдаленные районы. Управляли провинцией, по сути дела, помощники губернатора, помощники помощников и всякие мелкие чины; вот они-то и притесняли население, и, вероятно, именно их Батон назвал «волками», хотя тут куда уместнее было бы слово «блехи». Не может быть сомнения в том, что при Августе провинции куда больше благоденствовали, чем при республике, и что внутренние провинции, управляемые ставленниками сената, были куда беднее, чем пограничные, управляемые ставленниками Августа. Это послужило поводом для одного из самых благовидных аргументов, выдвинутых против республики, хотя он и исходил из малоубедительной гипотезы, будто средний моральный уровень руководителей республики ниже среднего морального уровня абсолютного монарха и его приближенных, и из софизма, будто вопрос об управлении провинциями важнее вопроса о том, что происходит в Риме. Отдавать предпочтение единовластию на том основании, что при нем процветают провинции, по-моему, все равно что рекомендовать человеку относиться к родным детям, как к рабам, если он будет относиться к рабам с должной заботой.

9 г. н. э.

За эту дорогую и разорительную войну сенат назначил Августу и Тиберию большой триумф. Напомню, что теперь только самому Августу и членам его семьи было позволено иметь настоящий триумф, всех остальных генералов награждали так называемыми триумфальными украшениями. Германик, хотя и был из рода цезарей, по «техническим причинам» триумфа не получил. Август мог бы сделать ради него исключение, но он был благодарен Тиберию за успешное проведение войны и не хотел вызывать его неудовольствие, оказывая Германику равные с ним почести. Однако Германика повысили в должности и назначили консулом раньше положенного возраста. Хотя Кастор не принимал участия в войне, ему было дано право посещать заседания сената до того, как он стал его членом, и его также повысили в звании.

Все население Рима с нетерпением ожидало триумфа, который всегда сопровождался раздачей зерна и денег и интересными зрелищами, но было обмануто в своих ожиданиях. За месяц до того дня, когда был назначен триумф, молния ударила в храм бога войны на Марсовом поле и чуть не сожгла его — ужасное предзнаменование, — а несколько дней спустя из Германии пришла весть о самом тяжком военном поражении, какое римская армия потерпела со времени Карр, я бы даже сказал — со времени Аллии, четыреста лет назад. Три полка пехоты были полностью уничтожены, и все территории, захваченные нами восточнее Рейна, были потеряны в один миг; казалось, ничто не может помешать германцам пересечь реку и предать огню и мечу замиренные и богатые французские провинции.

Я уже говорил о том, что для Августа это был сокрушительный удар. Он так тяжело переживал эту катастрофу не только потому, что нес за нее официальную ответственность как человек, которому сенат и народ поручили следить за безопасностью границ, но и потому, что был за нее в ответе морально. Катастрофа

эта произошла из-за его опрометчивых попыток навязать варварам цивилизацию слишком быстрыми темпами. Германцы, покоренные моим отцом, мало-помалу приспособлялись к римским порядкам, учились пользоваться деньгами, завели постоянные рынки, строили дома и обставляли их, как принято у цивилизованных людей, и когда они теперь собирались на сходки, это не кончалось, как раньше, побоищами. Они считались союзниками Рима, и, если бы им дали постепенно забыть старые варварские обычаи и позволили наслаждаться мирной жизнью под охраной римского гарнизона, который защищал бы их от диких соседей, возможно, за одно-два поколения, а то и раньше, они сделались бы такими же мирными и послушными, как жители соседней Франции. Но Вар, мой свойственник, которого Август назначил губернатором всех зарейнских земель Германии, стал обращаться с германцами не как с союзниками, а как с рабами. Он был порочный человек и совершенно не считался с тем, какое большое значение германцы придают целомудрию своих женщин. А когда Августу понадобились деньги, чтобы пополнить военную казну, опустошенную балканской войной, и он установил ряд новых налогов, от уплаты которых зарейнские германцы также не были освобождены. Вар, желая выслужиться, преувеличил платежеспособность своей провинции.

В лагере Вара было два германских вождя — Германн и Зигмир, которые бегло говорили по-италийски и казались полностью романизированными. Германн в предыдущую войну командовал германскими вспомогательными войсками, и его верность Риму не вызывала сомнения. Он прожил в Риме какое-то время и даже был включен в сословие всадников. Оба вождя часто разделяли с Варом трапезу и были с ним в самых близких, дружеских отношениях. Они всячески старались ему внушить, будто их соотечественники так же верны Риму и благодарны ему за блага цивилизации, как они сами, но втайне поддерживали постоянную связь с недовольными Римом вождями, которых они убедили пока что не оказывать римским войскам вооруженного сопротивления и проявлять полную готовность платить налоги. Вскоре они получают сигнал к массовому восстанию. Германн, имя которого означает «воин», и Зигмир — вернее, Сегимер, — чье имя означает «радостная победа», оказались куда умнее Вара. Помощники не раз предупреждали его, что германцы слишком уж хорошо себя ведут в последнее время, видно, стараются усыпить его бдительность перед внезапным бунтом, но он смеялся над их словами. Вар говорил, что германцы — очень глупый народ: куда им составить план восстания, тем более привести его в исполнение, они выдадут свою тайну задолго до того, как приспееет время. Их покорность — не что иное, как трусость: чем сильнее вы ударите германца, тем больше он будет вас уважать; богатство и независимость только порождают в них наглость, но стоит их победить, и они приползут к вашим ногам, как побитые псы, и будут беспрекословно вам повиноваться. Вар даже пренебрег предупреждением германского вождя, у которого был против Германны зуб и который давно разгадал его планы. Вместо того, чтобы держать войска в одном месте, как следовало бы сделать в не полностью покоренной стране, Вар разделил их на части.

Следуя секретным инструкциям Германны и Сегимера, дальние общины обратились к Вару с просьбой о защите против разбойников и военной охране для транспортов с французскими товарами. И тут же вспыхнуло восстание в самом восточном уголке провинции. Сборщик налогов и его помощники были убиты. Когда Вар собрал для карательной экспедиции бывшие в его распоряжении войска, Германны и Сегимер сопровождали его часть пути, а затем попросили их отпустить, обещая, если это понадобится, как только Вар за ними пошлет, прийти к нему на помощь со вспомогательными силами. Эти вспомогательные силы в полной боевой готовности находились в засаде впереди Вара, в нескольких днях пути. Германны и Сегимер послали дальним общинам приказ напасть на римские отряды, отправленные для их защиты, и полностью их уничтожить. Весть об этой бойне не

достигла Вара потому, что никто из солдат не остался в живых, да к тому же он не поддерживал связи с собственным штабом. Дорога, по которой шли римляне, была обыкновенной лесной тропой. Но Вар не принял никаких мер предосторожности — не выставил авангарда из стрелков, не прикрыл фланги; вся колонна, в которой было немало нестроевых солдат, растянулась беспорядочной цепью так беспечно, словно они находились в пятидесяти милях от Рима. Двигалась колонна очень медленно, так как солдаты были вынуждены все время рубить деревья и строить мосты через реки, чтобы переправить повозки с провиантом, и это позволило множеству племен присоединиться к тем германцам, которые уже сидели в засаде. Внезапно погода переменилась, полил дождь, длившийся более суток; кожаные щиты солдат насквозь промокли и стали слишком тяжелыми для боя, луки лучников пришли в негодность. Глинистая тропа сделалась такой скользкой, что люди с трудом могли удержаться на ногах, а повозки без конца застревали в грязи. Расстояние между головой и хвостом колонны все увеличивалось. И тут с соседнего холма поднялся столб дыма — сигнал, и германцы напали на римлян спереди, с обоих флангов и сзади.

Германцы не могли тягаться с римлянами в честном бою, и Вар не сильно преувеличивал их трусость. Сперва они отваживались нападать лишь на отбившихся солдат и возчиков, избегая рукопашной и забрасывая римлян из-за прикрытия градом ассагаев и стрел; стоило римлянину хотя бы взмахнуть мечом и крикнуть, как они убегали в лес. Однако при этой их тактике римляне несли большие потери. Отряды германцев под предводительством Германна, Сегимера и других вождей устраивали на тропе завалы — они скатывали в одно место захваченные повозки, сбивали с них колеса и наваливали поверх срубленные деревья. Было сделано несколько таких заграждений; спрятавшиеся за ними германские воины мешали римлянам их разобрать. Это сильно задерживало продвижение хвоста колонны, и солдаты, побоявшись быть отрезанными, бросили повозки и поспешили вперед, надеясь, что германцы займутся мародерством и на какое-то время о них забудут.

Передний полк дошел до холма, где из-за недавнего лесного пожара было мало деревьев, и римляне могли спокойно построиться и дожидаться остальных двух полков. У них все еще был их обоз, и потери не превышали нескольких сот человек. Два других полка пострадали куда сильнее. Многие солдаты оказались оторваны от своих рот, из них формировались новые подразделения числом от пятидесяти до двухсот человек, каждое с авангардом, арьергардом и защитой с флангов. Идущие на флангах передвигались крайне медленно — лес был густой, почва болотистая — и часто теряли связь со своими подразделениями; авангард нес тяжелые потери у заслонов, а арьергард безостановочно забрасывали сзади ассагаями. Когда в тот вечер устроили поверку, Вар обнаружил, что около трети его войска убито или пропало без вести. На следующий день он с боем вышел на открытую местность, но при этом пришлось бросить остаток обоза. Еды не хватало, и на третий день они были вынуждены снова углубиться в лес. На второй день убитых и раненых было не так уж много — большинство германцев грабили фургоны и уносили домой поживу, но на третий вечер при перекличке оказалось, что на месте только четверть войска. На четвертый день Вар, слишком упрямый, чтобы признать поражение и отказаться от первоначальной цели, все еще шел вперед, но прояснившееся было небо вновь заволокли тучи, и германцы, привыкшие к проливным дождям, осмелели, видя, что сопротивление римлян слабеет, и подошли к ним вплотную.

Незадолго до полудня Вар понял, что он разбит и покончил с собой, не желая попасть живым в руки врага. Большая часть старших офицеров и многие солдаты последовали его примеру. Лишь один офицер сохранил присутствие духа — тот самый Кассий Херея, который сражался в амфитеатре. Он командовал арьергардом, состоявшим из горцев-савойцев, которые чувствовали себя в лесу привычней, чем италийцы, и когда они узнали от уцелевшего солдата, что Вар мертв, орлы захвачены

и в живых осталось не больше трехсот человек, Кассий решил спасти от резни кого только сможет. Он развернул свой отряд и, внезапно бросив его в атаку, прорвался сквозь ряды врагов. Смелость Кассия, которую он сумел отчасти вдохнуть в своих солдат, поразила германцев. Они не стали преследовать небольшую кучку храбрецов и устремились вперед, туда, где их ждала более легкая добыча. Из ста двадцати солдат, которые были с ним, когда он кинулся в атаку, Кассий Херея сумел после восьмидневного марша по враждебной стране благополучно привести в крепость, откуда он вышел двадцать дней назад, восемьдесят человек, причем не потерять ротного знамени. Поистине — это один из величайших бранных подвигов наших дней!

Трудно передать, какая паника поднялась в Риме, когда слухи о бедствии подтвердились. Жители города паковали свои пожитки и грузили их на повозки, словно германцы были уже у городских ворот. Честно говоря, у них были причины для беспокойства. Потери в балканской войне были так тяжелы, что почти все ресурсы для пополнения войска оказались исчерпаны. Август безуспешно ломал голову над тем, где ему взять армию, чтобы послать ее под предводительством Тиберия к Рейну и не дать германцам захватить предмостные укрепления, чего они, по-видимому, еще не успели сделать. Когда он обнародовал воззвание, призывающее граждан к оружию, мало кто из годных к военной службе римлян добровольно откликнулся на него: идти против германцев казалось им верной смертью. Тогда Август выпустил второе воззвание, где говорилось, что из тех, кто не явится добровольно в течение трех дней, каждый пятый будет лишен гражданских прав и привилегий, а также всего имущества. Многие колебались даже после этого, поэтому Август казнил нескольких человек для примера и силой вынудил остальных вступить в армию, где многие из них, нужно сказать, стали превосходными воинами. Август также мобилизовал мужчин старше тридцати пяти лет и вновь зачислил на военную службу часть ветеранов, отбывших в солдатах шестнадцатилетний срок. С ними да с одним-двумя полками вольноотпущенников, которых обычно не призывали на действительную службу (хотя пополнение Германика во время балканской войны состояло в основном из них), Август собрал довольно внушительные силы, и, как только очередная рота была вооружена и экипирована, он тут же отправлял ее на север, не дожидаясь остальных.

Как мне было стыдно, как я сокрушался, что в этот горестный час, когда каждый человек был на счету, я не мог присоединиться к защитникам Рима. Я пошел к Августу и умолял его послать меня на Рейн, поручив любое занятие, где моя физическая слабость не будет служить помехой. Я предложил, что поеду в качестве начальника разведки при штабе Тиберия и займусь таким нужным делом, как сбор и сравнение данных о передвижении противника, допросы пленных, составление карт и инструктирование наших разведчиков. Не получив этого назначения (для которого я считал себя пригодным, так как тщательно изучил все германские кампании, умел руководить служащими и работать методически), я вызвался быть главным квартирмейстером Тиберия: я бы посылал в Рим заказы на необходимые боеприпасы и распределял бы их по мере поступления. Август был доволен тем, с какой охотой я откликнулся на его призыв, и сказал, что поговорит с Тиберием о моем предложении. Но из этого ничего не вышло. Возможно, Тиберий не верил, что от меня может быть какой-нибудь толк, а возможно, моя просьба была ему неприятна, так как его родной сын Кастор всячески уклонялся от службы в действующей армии и уговорил Августа отправить его на юг Италии для набора и обучения солдат. Германик был в таком же положении, как я, — это меня немного утешало. Он заявил о своей готовности служить в Германии, но Август не мог отпустить его из Рима, где Германик пользовался большой популярностью, — Август нуждался в его помощи при подавлении народных беспорядков, которые, как он опасался, начнутся сразу же,

как только войска покинут город.

Тем временем германцы выловили всех бежавших с поля боя солдат из армии Вара и многих из них принесли в жертву лесным богам, сжигая живыми в плетенных из лозы клетках. Остальных они держали в плену (некоторых пленников родственники впоследствии выкупили по невероятно высокой цене, но Август запретил им вступать в пределы Италии), не жалея захваченного у римлян вина, германцы устраивали попойку за попойкой и, не поделив добычу и славу, кидались с ножами друг на друга. Прошло много дней, пока они снова пришли в себя и осознали, какое слабое сопротивление ждало бы их, если бы они сразу двинулись к Рейну. Как только винные запасы стали иссякать, германцы атаковали не оказавшие отпора пограничные крепости, заняли их одну за другой и разграбили. Лишь одна крепость оборонялась до последнего — та, которой командовал Кассий Херея. Германцы взяли бы и ее столь же легко, как остальные, так как гарнизон там был мал, но Германн и Сегимер находились в другом месте, а прочие были незнакомы с римским искусством осады крепостей при помощи катапульт, баллист, «черепашек» и подрывных работ. У Кассия был большой запас луков и стрел, и он выучил всех находившихся в крепости, даже женщин и рабов, ими пользоваться. Он с успехом отбил несколько яростных атак на ворота и всегда держал наготове котлы с кипятком, чтобы вылить его на головы германцев, которые вздумали бы взобраться по лестницам на крепостные стены. Германцам так хотелось захватить эту крепость, где они ожидали найти богатую добычу, что они не торопились двигаться к предмостовым укреплениям на Рейне, которые защищала лишь горстка солдат.

И тут пришло известие, что к Рейну с другой стороны приближается Тиберий во главе новой армии. Германн сразу же сосредоточил свои силы, твердо намереваясь захватить мосты до того, как Тиберий подойдет. Под стенами крепости — германцам было известно, что там почти нет провианта, — был оставлен всего один отряд. Кассий, проведавший о планах Германна, решил уйти из крепости, пока еще есть время. Темной ненастной ночью он вывел потихоньку весь гарнизон и умудрился пройти мимо двух первых вражеских застав, прежде чем плач бывших с ними детей вызвал тревогу. На третьей заставе начался рукопашный бой, и, если бы германцы не так стремились проникнуть в городок, чтобы его разграбить, у людей Кассия не было бы никаких шансов остаться в живых. Но ему удалось оторваться от противника, а через полчаса он приказал трубачам играть сигнал атаки, чтобы германцы подумали, будто к нему подошло подкрепление, и больше не преследовали. Дул восточный ветер, и подразделение римлян у ближайшего моста услышало вдалеке звук трубы и догадалось, что происходит, — навстречу Кассию двинулся отряд, чтобы провести гарнизон в безопасное место. Два дня спустя Кассий успешно отразил массовую атаку германцев во главе с Сегимером, после чего к мосту подошел авангард войска Тиберия, и положение было спасено.

Конец года был отмечен изгнанием Юлиллы за «беспорядочные любовные связи» — то же обвинение, что предъявлялось ее матери Юлии, — на Тримерий, маленький островок у берегов Апулии. Настоящей причиной ее изгнания было то, что она вот-вот должна была родить еще одного ребенка, который, оказавшись это мальчик, будет правнуком Августа, не связанным узами родства с Ливией, Ливия не желала больше рисковать. У Юлиллы уже был один сын — болезненный, робкий и вялый, но его можно было не принимать в расчет. На этот раз Ливии помог, как ни странно, Эмилий. Он поссорился с Юлиллой и обвинил ее в присутствии их дочери Эмилии в том, что она пытается навязать ему ребенка, зачатого от другого. И назвал Децима из рода Силанов как ее соучастника. У Эмилии хватило ума понять, что ее жизнь и безопасность зависят от того, на каком счету она будет у Ливии, поэтому она тут же отправилась к ней и все ей рассказала. Ливия заставила ее повторить свой рассказ в присутствии Августа. Тогда Август призвал к себе Эмилия и спросил, правда ли, что

не он — отец ожидаемого ребенка его жены. Эмилию и в голову не пришло, что дочь предала своих родителей, и он сделал вывод, будто связь между его женой и Децимом, о которой он лишь подозревал, стала пищей досужих толков. Поэтому он подтвердил свое обвинение, хотя основывалось оно скорее на ревности, чем на фактах. Как только ребенок родился, Август велел забрать его и оставить на склоне горы. Децим сам отправился в изгнание, его примеру последовало несколько человек, которых обвинили в том, что в то или иное время они были любовниками Юлиллы. Среди них оказался поэт Овидий; Август — любопытная деталь — сделал его главным козлом отпущения, так как Овидий написал (за много лет до того) «Искусство любви». Эта поэма, и ничто другое, заявил Август, растлила ум и душу его внучки. И велел сжечь все экземпляры книги, какие можно было найти.

Глава XIII

Августу было уже за семьдесят. До последнего времени никому и в голову не приходило считать его стариком. Но недавние государственные и семейные катастрофы сильно изменили его. Характер у него стал неровный, и ему все труднее было приветствовать случайных посетителей с былой любезностью и не выходить из терпения на публичных пирах. Порой он раздражался даже на Ливию. Однако Август по-прежнему работал не покладая рук и дал согласие еще десять лет управлять империей. Когда Тиберий и Германик бывали в Риме, они брали на себя многие обязанности Августа, которые раньше он исполнял сам, и Ливия трудилась усерднее, чем всегда. Во время балканской войны, когда Август уезжал из Рима, он оставлял ей дубликат своей печати, и, поддерживая с ним тесную связь при помощи конных курьеров, Ливия сама вершила все дела. Август более или менее примирился с тем, что его преемником будет Тиберий. Он считал, что с помощью Ливии Тиберий сможет довольно неплохо править, продолжая его, Августа, политику, но льстил себя надеждой, что, когда он умрет, всем будет не доставать Отца отчизны и время его правления назовут веком Августа, как называли золотым веком Нумы время правления этого царя. Несмотря на исключительные заслуги Тиберия перед Римом, лично он был непопулярен, и вряд ли его популярность возрастет, когда он станет императором. Август был доволен, что естественным преемником Тиберия станет Германик, будучи старше своего названного брата Кастора, родного сына Тиберия, и что маленькие сыновья Германика, Нерон и Друз, из его собственного рода. Хотя судьба воспротивилась тому, чтобы родные внуки наследовали ему, настанет день, когда он, Август, снова будет править Римом, так сказать, в лице своих правнуков. Август, как и почти все прочие, уже начисто забыл о республике и считал, что сорок лет тяжелой и беспокойной службы на благо Рима дают ему право передать бразды правления, буде ему так вздумается, своим наследникам вплоть до третьего колена.

Пока Германик был в Далмации, я не писал ему о Постуме, боясь, что какой-нибудь агент Ливии перехватит мое письмо, но как только он вернулся с войны, я все ему рассказал. Он сильно встревожился и признался, что не знает, чему и верить. Германику было несвойственно плохо думать о людях, если ему не представляли неопровержимых доказательств того, что тот или иной человек действительно плох, напротив, он был склонен приписывать всем самые благородные мотивы их поступков. Эта его крайняя простота обычно служила ему не во вред, а на пользу. Большинству людей, с которыми он сталкивался, льстило его высокое мнение об их моральных устоях, и они старались не уронить себя в его глазах. Конечно, если бы Германик оказался по власти отпетого негодяя, благородство сердца погубило бы его, но, с другой стороны, если в человеке было хоть что-то хорошее, при Германике это всегда давало себя знать. Поэтому теперь он сказал мне, что не может поверить, будто Ливилла или Эмилия способны на такую

низость, хотя в последнее время, признался он, Ливилла его разочаровала. Он также сказал, что не видит, какие у них могли быть мотивы, а сваливать все, как я это сделал, на бабушку Ливию — просто смешно. Кто, будучи в здравом уме, негодуя спросил Германик, заподозрит Ливию в том, что она подстрекала их к столь злостному поступку? С таким же успехом можно заподозрить Добрую Богиню в том, что она отравила городские колодцы. Но когда я спросил, в свою очередь, действительно ли он верит, будто Постум совершил одну за другой две попытки к изнасилованию, причем обе на редкость безрассудные, а затем, даже если допустить, что он был в них виноват, солгал Августу и нам, Германик ничего не ответил. Он всегда любил Постума и верил ему. Я воспользовался этим и заставил Германика поклясться духом нашего дорогого отца, если он когда-нибудь найдет хоть малейшее свидетельство, что Постум был осужден несправедливо, все рассказать Августу, заставить его вернуть Постума обратно и наказать лжецов по заслугам.

11 г. н. э.

В Германии почти ничего не происходило. Тиберий удерживал мосты, но не решался переходить на другую сторону Рейна, не будучи уверен в своих войсках, которые он усердно муштровал. Германцы тоже не пытались пересечь реку. Август снова потерял терпение и стал побуждать Тиберия, не откладывая, отомстить за Вара и вернуть утраченных орлов. Тиберий отвечал, что стремится к этому всей душой, но войска еще не способны выполнить эту задачу. Когда Германик окончил свой срок исполнения магистратуры, Август отправил его к Тиберию, и тому волей-неволей пришлось проявить активность; надо сказать, что Тиберий вовсе не был ленив или труслив, просто крайне осторожен. Он пересек Рейн и захватил часть утраченной провинции, но германцы избегали генерального сражения, и Тиберию с Германиком, не желавшим попасть в засаду, удалось лишь сжечь сколько-то вражеских лагерей на Рейне да продемонстрировать свою военную мощь. Было несколько схваток, из которых они вышли с победой и взяли сотни три-четыре пленных. Римские войска оставались в этом районе до осени, а затем вновь пересекли Рейн. Следующей весной в Риме отмечался так долго откладываемый триумф, назначенный по поводу победы над далматинцами. К нему прибавился второй — за германский поход — главным образом, чтобы вернуть доверие народа. Нельзя не отдать должного благородному поступку Тиберия, хотя побудил его к нему Германик: показав во время триумфа Батона, пленного далматского вождя, Тиберий затем освободил его, пожаловал большую сумму денег и поселил со всеми удобствами в Равенне. Батон заслужил это: однажды он великодушно дал возможность Тиберию уйти из долины, где тот оказался заперт с большей частью своего войска.

Германик был назначен консулом, и Август направил в сенат официальное письмо, где рекомендовал его вниманию сената, а сенат — вниманию Тиберия. (Рекомендуя сенат Тиберию, а не наоборот, Август давал понять и то, что назначает Тиберия своим преемником — император выше сената, — и то, что не намерен произносить по его адресу хвалебную речь, хотя и произнес ее по адресу Германика.) Агриппина всегда сопровождала мужа в военных походах, как в свое время моя мать. Делала она это в основном из любви к нему, но и потому также, что не хотела оставаться одна в Риме, где ее могли призвать к Августу из-за сфабрикованного обвинения в прелюбодеянии. Она не знала, как к ней относится Ливия. Агриппина была типичная римская матрона из старинных легенд — сильная, мужественная, скромная, благоразумная, набожная, целомудренная и плодовитая. Она уже родила Германику четырех детей, а в дальнейшем родит еще пять.

Хотя правило Ливии насчет моего присутствия — вернее, отсутствия — за ее столом не было отменено, а мать по-прежнему обходилась со мной более чем

прохладно, Германик при каждой возможности приглашал меня в компанию своих благородных друзей. Ради него они относились ко мне более или менее уважительно, но взгляд семьи на мои умственные способности был известен, и считалось, будто Тиберий его разделяет, поэтому никто не домогался моего близкого знакомства. По совету Германика я объявил, что намерен устроить публичное чтение моего последнего исторического труда, и пригласил ряд известных любителей и знатоков литературы. Книга, которую я собирался читать и над которой много работал, должна была представить интерес для слушателей — я разбирал в ней формулы, применяемые этрусскими жрецами во время ритуальных омовений, и давал перевод каждой из них на латынь, что проливало новый свет на многие наши очистительные обряды, точное значение которых со временем стало неясным. Германик предварительно прочитал эту работу от корки до корки и показал матери и Ливии, которые одобрили ее, а затем великодушно послушал меня, когда я репетировал. Он поздравил меня как по поводу самой работы, так и исполнения, и, по-видимому, его отзыв стал широко известен, так как комната, где я намеревался читать, оказалась набита битком. Ливии не было, Августа тоже, но мать, сам Германик и Ливилла пришли.

Я был в прекрасном настроении и нисколько не нервничал. Германик предложил мне подкрепиться перед чтением бокалом хорошего вина, и я решил, что это превосходная мысль. Поставили кресло для Августа — если ему вдруг вздумается прийти — и для Ливии; роскошные кресла, в которых они всегда сидели, посещая наш дом. Когда все собрались и заняли места, двери закрыли, и я начал читать. Читал я отлично, следя за тем, чтобы не спешить и не тянуть, не кричать и не произносить слова слишком тихо, читал так, как надо, и чувствовал, что аудиторию, ничего не ждавшую от меня, чтение невольно захватило. И тут, как назло, раздался громкий стук в дверь. Никто не открыл ее, и стук повторился. Затем загрохотала ручка, и в комнату вошел самый толстый человек, какого я видел в жизни, в тоге всадника, с большой вышитой подушкой в руке. Я перестал читать, так как подошел к трудному и важному месту, а меня никто не слушал — все взгляды устремились на всадника. Он заметил Ливия и приветствовал его с певучим акцентом, присущим, как я потом узнал, падуанцам, затем обратился с приветствием ко всем присутствующим, что вызвало приглушенные смешки. Толстяк не обратил особого внимания на Германика, хотя тот был консул, или на нас с матерью, хотя мы были хозяева дома. Оглядевшись в поисках места, он увидел кресло Августа, но оно показалось ему узким, и он завладел креслом Ливии. Положил на него подушку, собрал у колен плащ и с ворчанием уселся. И, естественно, кресло, старинное и очень хрупкое, вывезенное из Египта в числе прочей мебели, захваченной во дворце Клеопатры, с треском под ним развалилось.

Все, кроме Германика, матери, Ливия и наиболее серьезных людей среди присутствующих, разразились хохотом; но когда толстяк со стонами и проклятиями поднялся, потирая ушибленные места и вышел в сопровождении вольноотпущенника из комнаты, тишина восстановилась, и я попытался продолжать. Однако я никак не мог унять смех, у меня сделалась истерика. Возможно, причиной тому было выпитое вино, а возможно, то, что я видел лицо толстяка, когда под ним подломилось кресло, чего не видел никто другой, так как кресло стояло в первом ряду, и он уселся прямо напротив меня. Так или иначе, я обнаружил, что не могу сосредоточиться на ритуале омовения у этрусков. Сперва слушатели разделяли мое веселье и даже смеялись вместе со мной, но когда, с трудом преодолев следующий абзац, я случайно взглянул уголком глаза на злосчастное кресло, еле стоявшее на расколотых ножках, и опять расхохотался, аудитория стала выказывать признаки нетерпения. Но это еще не все; только я успокоился, как двери распахнулись и в комнату вошли — кто, вы думаете? — ну конечно, Август и Ливия. Они торжественно прошествовали между двумя рядами стульев, и Август сел. Ливия собиралась сделать то же, но тут увидела,

что кресло сломано, и спросила громким голосом: «Кто сидел на моем кресле?» Германик прилагал все старания, чтобы объяснить Ливии, в чем дело, но она решила, что над ней потешаются, и вышла из комнаты. Август со смущенным видом последовал за ней. Кто меня обвинит в том, что я провалил чтение? Должно быть, сам злой бог Мом уселся в это кресло, потому что спустя пять минут ножки его разъехались, и оно снова рухнуло на пол: с одной из ручек отломилась золотая львиная голова и покатила прямо мне под ноги. Я снова потерял над собой контроль и, задыхаясь, захлебываясь и хрипя, принялся громко хохотать. Германик подошел ко мне и умолял взять себя в руки, но я смог лишь поднять с пола львиную голову и беспомощно указать на кресло. Если Германик когда-либо сердился на меня, это было в тот раз. Я очень расстроился, увидев, что он сердится, и это сразу отрезвило меня. Но я потерял всякую уверенность в себе и стал так сильно заикаться, что мне, увы, пришлось замолчать. Германик изо всех сил старался спасти положение: он предложил, чтобы мне вынесли благодарность за мой интересный труд, выразил сожаление, что неудачное происшествие вынудило меня прервать чтение и заставило Отца отчизны и сиятельную Ливию, его супругу, лишиться их своего общества, а также надежду, что в самом ближайшем будущем при более благоприятных обстоятельствах я прочитаю еще какую-нибудь из своих работ. На свете не было более заботливого брата и более благородного человека. Но я с тех пор ни разу не читал своих трудов на публике.

Однажды Германик пришел ко мне с очень серьезным и мрачным видом. Долгое время он молчал, но наконец решился и заговорил:

— Я беседовал сегодня утром с Эмилием, и мы вспомнили о бедном Постуме. Эмилий сам завел о нем речь, спросив, в чем именно его обвинили, и сказал, по-видимому, вполне искренне, что, как он понял, Постум пытался совершить насилие над двумя патрицианками, но никто, похоже, не знает, кто они. При этих словах я пристально на него посмотрел и увидел, что он не лжет. Тогда я предложил поделиться с ним своими сведениями, но только если он обещает держать в тайне то, что от меня услышит. Когда я сказал, что одна из женщин — его собственная дочь, обвинившая Постума в том, будто он хотел лишить ее невинности, причем не где-нибудь, а в родительском доме, Эмилий страшно был удивлен и не хотел мне верить. Он сильно разгневался и сказал, что воспитательница Эмилии, несомненно, не покидала комнаты, пока там был Постум. Он хотел пойти к Эмилии и выяснить, правда ли все это, и если так, почему он слышит эту историю впервые, но я остановил его, напомнив об обещании. Я не доверял Эмилии. Вместо этого я предложил расспросить воспитательницу, но так, чтобы не напугать ее. Эмилий послал за ней и осведомился, о чем разговаривали Постум и Эмилия во время ложной тревоги насчет воров в тот последний раз, когда Постум у них обедал. Сперва женщина ничего не могла вспомнить, но когда я спросил: «Не о фруктовых ли деревьях?», — она сказала: «Да, да, конечно, о вредителях фруктовых деревьев». Эмилий поинтересовался, не говорили ли они во время его отсутствия о чем-либо еще, и воспитательница ответила, что нет, насколько ей известно. Она припомнила, что Постум объяснял новый греческий способ борьбы с вредителем под названием «арап», и это вызвало у нее большой интерес, так как она знает толк в садоводстве. Нет, ответила женщина, она ни на секунду не отлучалась из комнаты. Поэтому, — продолжал Германик, — я пошел затем к Кастору и, словно случайно, завел разговор о Постуме. Ты помнишь, что поместье Постума было конфисковано, пока я был в Далмации, и продано с торгов, а вырученная сумма внесена в военную казну? Так вот, я спросил, какая судьба постигла мое столовое серебро, которое Постум как-то взял у меня для какого-то пира, и Кастор надоумил меня, как получить его обратно. Затем мы перешли на его ссылку. Кастор ничего не пытался скрыть, говорил без обиняков, и я рад сказать тебе, что вполне уверен — он в заговоре не участвовал.

— Но ты признаешь теперь, что заговор был? — с жаром спросил я.

— Боюсь, иначе всего этого объяснить нельзя. Но Кастор невинен, я не сомневаюсь. Он сам, не дожидаясь расспросов, рассказал мне, что по наущению Ливиллы дразнил Постума в саду, как и говорил тебе Постум. Делал он это потому, что Постум пялил глаза на Ливиллу, и ему, ее мужу, это не нравилось. Он добавил, что не сожалеет об этом, хотя шутки его были не самого лучшего вкуса, — ведь после того, как этот сумасшедший попытался насильно овладеть Ливиллой и нанес серьезные раны ему самому, жалеть о каких-то там словах было бы просто глупо.

— Он верит, что Постум пытался изнасиловать Ливиллу?

— Да. Я не стал открывать ему глаза. Я не хочу, чтобы Ливилла знала о наших подозрениях. Ведь она сразу сообщит о них Ливии.

— Теперь ты видишь, Германик, что все это — дело ее рук?

Он не ответил.

— Ты пойдешь к Августу?

— Я дал тебе слово. Я всегда держу слово.

— Когда ты пойдешь к нему?

— Сейчас.

13 г. н. э.

Что случилось при этом разговоре, я не знаю и никогда не узнаю. Но в тот вечер за обедом у Германика был куда более веселый вид; судя по тому, что он избегал моих вопросов, Август, должно быть, ему поверил, но взял с него клятву держать все пока в секрете. Прошло много времени, прежде чем мне стало известно, что последовало за их беседой. Оказывается, Август написал корсиканцам, которые уже несколько лет жаловались на набеги пиратов, что вскоре лично приедет к ним и разберется в этом деле; по пути он остановится в Марселе, где намеревается освятить храм. Немного погодя Август действительно отплыл из Рима, но прервал свое плавание на два дня, высадившись на Эльбе. В первый день он приказал, чтобы стражу Постума на Планазии заменили новыми людьми. Это было исполнено. В ту же ночь Август тайно отплыл на остров в рыбацкой лодке в сопровождении одного лишь Фабия Максима, его старинного друга, и некоего Клемента, бывшего раньше рабом Постума и удивительно похожего на своего прежнего хозяина. Я слышал, что Клемент был внебрачный сын Агриппы. Им повезло — они встретили Постума, как только высадились на берег. Он ставил на ночь удочки и заметил вдали парус в ярком свете луны; Постум был один. Август подошел к нему, открыл лицо и, протянув руку, вскричал: «Прости меня, мой сын!» Постум взял его руку и поцеловал. Затем оба они отошли в сторону, а Фабий и Клемент стояли на страже. О чем у них шел разговор — не знает никто, но когда они вернулись, на глазах Августа были слезы. Потом Постум и Клемент обменялись одеждой и именами; Постум отплыл вместе с Августом и Фабием на Эльбу, а Клемент занял его место на Планазии до тех пор, пока не будет получен приказ об освобождении Постума, что, по словам Августа, произойдет очень скоро. Клементу обещали свободу и большую сумму денег, если он хорошо сыграет свою роль. Он должен был притвориться больным на несколько ближайших дней и отрастить подлиннее волосы и бороду, чтобы никто не заметил подмену; ведь новая стража видела Постума в течение каких-то нескольких минут.

Ливия заподозрила, что Август делает что-то за ее спиной. Она знала, что он не любит моря и не сядет на корабль, если может ехать по суше, даже когда теряет при этом ценное время. Спору нет, на Корсику попасть было нельзя иначе как морем, но пираты не представляли такой уж серьезной угрозы, и Август вполне мог послать туда Кастора или еще кого-нибудь из своих приближенных, чтобы они разобрались в этом деле. Поэтому Ливия стала выпрашивать всех вокруг и в конце концов узнала, что, когда Август останавливался на Эльбе, он приказал сменить стражу Постума и в

ту же ночь отправился вместе с Фабием в маленькой лодчонке ловить рыбу в сопровождении одного раба.

У Фабия была жена по имени Марция, с которой он делился всеми своими секретами, и Ливия, раньше не обращавшая на нее никакого внимания, теперь принялась обхаживать ее. Марцию, женщину простую, легко было обмануть. Когда Ливия убедилась, что полностью втерлась к ней в доверие, она отвела ее как-то раз в сторону и спросила:

— Скажи, милочка, Август очень разволновался, когда увидел Постума после столь долгой разлуки? Он куда более мягкосердечный человек, чем хочет казаться.

Фабий предупредил Марцию, что поездка на Планазию должна держаться в тайне — если она скажет о ней хоть одному человеку, это может привести к роковым для него последствиям. Поэтому сперва Марция ничего не ответила Ливии. Ливия рассмеялась и сказала:

— Ну до чего же ты осторожная. Как часовой в лагере Тиберия в Далмации, который не пропустил в лагерь самого Тиберия, когда тот вернулся с верховой прогулки. потому что он не мог сказать пароль. «Приказ есть приказ», — заявил этот идиот. Милая моя Марция, у Августа нет от меня секретов, как и у меня от Августа. Но я хвалю тебя за осмотрительность.

Марция извинилась перед ней и сказала:

— Фабий говорил, что Август не мог унять слез.

— Естественно, — сказала Ливия. — но знаешь, Марция, пожалуй, лучше не рассказывай Фабию, что мы об этом говорили... Августу не нравится, когда люди знают, до какой степени он мне доверяет. Фабий, верно, рассказывал тебе о рабе?

Это был выстрел наугад. Возможно, раб тут был ни при чем, но задать этот вопрос все же стоило.

Марция сказала:

— Фабий говорил, что он удивительно похож на Постума, только ростом чуть ниже.

— Ты думаешь, стража заметит разницу?

— Фабий сказал, что вряд ли. Клемент был рабом в доме Постума и хорошо знает все его повадки; если он будет осторожен, то не выдаст себя, а стражу, как ты знаешь, заменили.

Теперь Ливии оставалось только найти, где находится Постум, который, как она полагала, скрывается под именем «Клемент». Она решила, что Август намерен вернуть ему свое расположение и, возможно даже, чтобы загладить вину, назначит его, в обход Тиберия, своим преемником. Ливия доверила эту тайну Тиберию и предупредила его о своих подозрениях.

На Балканах опять начались беспорядки, и Август намеревался отправить туда Тиберия, чтобы он подавил их, пока дело не приняло серьезный оборот. Германик был во Франции — собирал там дань. Август предполагал также отослать из Рима и Кастора — в Германию, и очень часто беседовал с Фабием, из чего Ливия заключила, что тот является посредником между Августом и Постумом. Как только путь будет свободен, Август, конечно же, сообщит о Постуме в сенате, заставит отменить указ об его изгнании и предложит избрать внука своим соправителем вместо Тиберия. Если Постума восстановят в правах, ее жизнь будет в опасности. Постум обвинил ее в том, что она отравила его отца и братьев, и Август вряд ли вернул бы ему свою благосклонность, если бы не поверил, что эти обвинения имеют под собой твердую почву. Ливия поручила лучшим своим агентам следить за всеми передвижениями Фабия, чтобы напасть на след раба по имени Клемент, но их усилия не увенчались успехом. Ливия решила не тратить времени даром и поскорей устранить Фабия. Однажды ночью его подстерегли на улице, когда он шел во дворец, и нанесли двенадцать ножевых ран; убийцы в масках скрылись. На похоронах произошел

небольшой скандал: Марция упала на труп мужа и с рыданиями просила у него прощения, говоря, что одна она виновата в его смерти, она была неосторожна и не вняла его предостережениям. Однако никто из присутствующих не понял, о чем речь, люди подумали, что от горя у нее помутился рассудок.

14 г. н. э.

Ливия велела Тиберию держать с ней тесную связь по пути на Балканы и двигаться как можно медленнее: за ним в любую минуту могут послать. Август, проводивший Тиберия вдоль побережья до самого Неаполя, внезапно заболел: у него расстроился желудок. Ливия собралась было за ним ухаживать, но Август поблагодарил ее и сказал, что это пустяки, он сам себя вылечит. Он взял свою шкатулку с медикаментами, принял сильное слабительное, затем целый день ничего не ел. Он категорически отверг услуги Ливии: у ней без того хватает забот. Со смехом он отказывался есть что-либо, кроме хлеба с общего стола и зеленых фиг, которые он срывал своими руками, воду пил только из того же кувшина, что и жена. Ничто в его обращении с Ливией, казалось бы, не изменилось, так же как и ее обращение с ним, но каждый читал мысли другого.

Несмотря на все предосторожности, состояние Августа стало хуже; в Ноле ему пришлось прервать поездку; Ливия послала Тиберию депешу, призывая его к себе. Когда Тиберий прибыл, ему доложили, что Август с каждой минутой слабеет и хочет его видеть. Он уже попрощался с несколькими экс-консулами, поспешившими сюда из Рима, когда они слышали о его болезни. Август спросил их с улыбкой, хорошо ли, по их мнению, он сыграл свою роль в фарсе — вопрос, который актеры задают зрителям в конце комедии. И, улыбаясь ему в ответ, хотя у многих на глазах были слезы, они отвечали: «Лучше тебя не сыграл бы никто, Август». «Тогда похлопайте мне на прощание», — сказал он. Тиберий просидел часа три у его постели, затем вышел и скорбным голосом сообщил, что Отец отчизны только что скончался на руках у Ливии с прощальным приветом ему, Тиберию, сенату и римскому народу. Тиберий вознес хвалу богам, что успел приехать вовремя, чтобы закрыть глаза своему отцу и благодетелю. На самом деле Август уже двенадцать часов как был мертв, но Ливия скрыла это и каждые несколько часов сообщала то утешительные, то тревожные сведения о его здоровье. По странному совпадению Август умер в той самой комнате, в которой умер его отец за семьдесят пять лет до того.

Я хорошо помню, как я узнал о его смерти. Это произошло двадцатого августа. Я сильно заспался после того, как проработал всю ночь; летом мне было куда легче работать ночью и спать днем. Меня разбудило прибытие двух старых всадников, которые попросили прощения за то, что побеспокоили меня, но дело не терпит отлагательства. Август умер, и благородное сословие всадников, поспешно собравшись, избрало меня своим представителем в сенат. Я должен был ходатайствовать от их имени, чтобы всадникам поручили почетную миссию отнести тело Августа на плечах обратно в Рим. Я еще не совсем проснулся и не соображал, что говорю. Я вскричал: «Отрава царит над миром! Отрава царит над миром!» Всадники смущенно и тревожно переглянулись; я пришел в себя и извинился, сказав, что мне привиделся ужасный сон, и я произнес вслух слова, которые слышал во сне. Я попросил их повторить, зачем они ко мне пришли, и затем поблагодарил их за честь и пообещал сделать то, о чем меня просили. По правде говоря, честь эта была небольшая, так как все свободнорожденные граждане Рима были всадниками, если только не навлекали на себя позор каким-нибудь бесчестным поступком и владели определенной собственностью, и, выкажи я при моих семейных связях даже средние способности, я бы уже давно был сенатором, как мой ровесник Кастор. Меня избрали на этот раз как единственного представителя императорской семьи, принадлежащего

к сословию всадников, чтобы не вызывать распрей между другими членами сословия. Впервые я оказался в сенате во время сессии. Я произнес ходатайство, не заикаясь, не забыв ни слова и вообще никак не опозорив себя.

Глава XIV

Хотя давно было ясно, что силы покидают Августа и жить ему осталось недолго, Рим не мог свыкнуться с мыслью о его смерти. Город чувствовал себя так, как чувствует себя ребенок, когда умирает его отец, и это не пустое сравнение. Неважно, каким был отец — храбрецом или трусом, справедливым или несправедливым, щедрым или скупым, — он был отцом, и никакой дядюшка или старший брат не заменит его ребенку. Август правил так долго, что только старые люди помнили, как было до него. Чего ж удивляться, если в сенате поставили вопрос, не вынести ли решение о том, чтобы божественные почести, которые еще при жизни воздавались Августу в провинциях, оказывались ему теперь в самом Риме.

Сын Поллиона Галл, которого Тиберий ненавидел за то, что тот женился на Випсании (первой жене Тиберия, если вы не забыли, с которой он был вынужден развестись ради Юлии) и ни разу не опровергнул публичных слухов о том, будто он — настоящий отец Кастора, и за то, что у него был острый язык, — этот Галл оказался единственным сенатором, отважившимся усомниться в уместности этого предложения. Он спросил, какое священное предзнаменование указало на то, что Августа встретят с распростертыми объятиями в небесной обители лишь потому, что его рекомендуют туда его смертные друзья и почитатели. Настала неловкая пауза. Наконец Тиберий поднялся с места и сказал:

— Сто дней тому назад, как вы помните, в пьедестал статуи моего отца Августа ударила молния. Первая буква надписи была стерта, остались слова AESAR AUGUSTUS. Каково значение буквы «С»? Это значит «сто». А каково значение слова AESAR? Я вам скажу. По-этрусски это означает «бог». Ясно, что смысл всего этого таков: через сто дней после того, как молния ударила в статую Августа, он должен сделаться богом в Риме. Какое еще нужно предзнаменование?

Хотя честь интерпретации слова AESAR (об этом странном слове каждый судил, как мог) была приписана Тиберию, перевел его не кто иной, как я, будучи единственным человеком в Риме, который знал этрусский язык. Я сказал об этом матери, и она назвала меня выдумщиком и дурачком, но, должно быть, мое толкование все же поразило ее, раз она повторила его Тиберию, ведь, кроме нее, я об этом не говорил никому.

Галл спросил, почему Юпитер предпочел передать свое повеление на этрусском, а не на греческом или латинском языке? Может быть, кто-нибудь видел другое, более убедительное знамение? Одно дело — издавать декрет о введении новых богов в невежественных азиатских провинциях, другое — приказывать образованным гражданам Рима поклоняться одному из их числа, пусть самому выдающемуся; тут уважаемому собранию нужно хорошенько подумать. Вполне возможно, что этим обращением к гордости и здравому смыслу римлян Галлу удалось бы задержать законопроект, если бы не некий Аттик, один из старших магистратов. Поднявшись с важным видом, он заявил, что, когда тело Августа сжигали на Марсовом поле, он заметил, как с неба спустилось облако, и дух умершего вознесся на нем так точно, как, согласно преданию, вознеслись духи Ромула и Геркулеса. Он клянется всеми богами, что говорит правду.

Речь Аттика была встречена громовыми рукоплесканиями, и Тиберий торжествующе спросил, хочет ли Галл еще что-нибудь сказать. Галл ответил, что хочет. Он вспомнил, сказал он, другое раннее предание о смерти и исчезновении Ромула, которое приводится в трудах самых серьезных историков в противовес

версии их уважаемого друга Аттика, в чьей правдивости он отнюдь не сомневался, а именно: Ромула так ненавидели за тиранию, которой он подверг свободный народ, что однажды, воспользовавшись внезапным туманом, сенаторы убили его, разрезали на куски и вынесли эти куски под тогами.

— Ну а Геркулес? — поспешно спросил кто-то.

Галл сказал:

— Сам Тиберий в своей блестящей речи на похоронах возражал против сравнения Августа с Геркулесом. Вот его собственные слова: «Геркулес в детстве сражался только со змеями и даже в зрелом возрасте — с одним-двумя оленями, диким кабаном, которого он убил, и львом, и убивал он их неохотно, по приказу, а Август сражался не с дикими зверями, а с людьми, и делал это по собственной воле». И так далее, и тому подобное. Но я возражаю против сравнения по другой причине: дело в обстоятельствах смерти Геркулеса.

Затем Галл сел. Намек был ясен всем, кто взял бы на себя труд подумать, ибо, согласно преданию, Геркулес умер от яда, которым был пропитан плащ, посланный ему женой.

Но предложение все равно прошло, и Август был обожествлен. В Риме и ближайших городах ему возвели храмы, была основана новая коллегия жрецов, отправляющих там богослужения, а Ливия, которой сенат тогда же пожаловал почетные имена Юлии и Августы, была назначена его верховной жрицей. Атик получил от Ливии в награду десять тысяч золотых и был принят в новую коллегию без вступительного взноса. Я тоже был назначен жрецом Августа, но мне пришлось внести взнос больший, чем у всех прочих, — ведь я был внуком Ливии. Никто не осмеливался спросить, почему вознесения Августа не видел никто, кроме Аттика. Самым забавным было то, что в ночь перед похоронами Ливия велела спрятать на верхушке погребального костра клетку с орлом, которую сразу, как только зажгут костер, должны были потихоньку открыть, дернув снизу за веревку. Взлетевший орел был бы принят всеми за дух Августа. К сожалению, чудо не удалось. Дверцу клетки заело. Вместо того, чтобы это скрыть, пусть бы орел сгорел, — офицер, которому была поручена вся операция, влез на погребальный костер и открыл клетку своими руками. Ливия была вынуждена сказать, что орла освободили по ее приказанию, это, мол, символический акт.

Я не буду писать о похоронах Августа, хотя более великолепных похорон в Риме не было, мне придется ограничиться лишь самыми важными событиями: я заполнил более тринадцати свитков лучшей бумаги — с новой бумажной фабрики, где я совсем недавно поставил новое оборудование, — а одолел лишь треть моей истории. Но о том, что было написано в завещании Августа, я умолчать не могу; все с интересом и нетерпением ждали, когда его прочтут, но ничье нетерпение не могло сравниться с моим, и вот почему.

За месяц до смерти Август неожиданно появился в дверях моего кабинета — он навещал мою мать, поправлявшуюся после долгой болезни, — и, отпустив свою свиту, завел со мной бессвязный разговор, не глядя на меня и держась так робко, словно он — Клавдий, а я — Август. Он взял книгу моей «Истории» и прочел абзац.

— Превосходно написано, — сказал он. — А когда вся работа будет закончена?

— Через месяц, а то и раньше, — ответил я.

Август поздравил меня и сказал, что прикажет устроить публичное чтение за его счет и пригласит на него друзей. Я был крайне удивлен, а Август продолжал беседу дружеским тоном и спросил, не предпочту ли я, чтобы мою книгу читал профессиональный чтец и ее смогли оценить по заслугам: читать на публике свое произведение всегда неловко — даже твердокаменный старик Поллион признавался ему, что всегда при этом нервничает. Я поблагодарил Августа от всего сердца и сказал, что, конечно, профессионал будет куда уместнее на публичных чтениях, если

моя работа вообще заслуживает такой чести.

Тут Август вдруг протянул ко мне руку:

— Клавдий, ты не таишь против меня зла?

Что я мог ответить ему? У меня на глазах выступили слезы, и я пробормотал, что я глубоко почитаю его и что он никогда не сделал мне ничего плохого, — с чего бы я стал таить против него зло?

— Да, — сказал Август со вздохом, — но, с другой стороны, и ничего хорошего, чтобы вызвать твою любовь. Подожди еще несколько месяцев, Клавдий, я надеюсь, мне удастся завоевать и любовь твою, и благодарность. Германик говорил со мной о тебе. Он сказал, что ты верен трем вещам: Риму, друзьям и истине. Я был бы очень горд, если бы Германик сказал то же самое обо мне.

— Германик не просто любит тебя, он поклоняется тебе, как божеству, — сказал я. — Он часто говорил мне об этом.

Лицо Августа просияло:

— Честное слово? Я счастлив. Значит, теперь, Клавдий, нас связывают крепкие узы — хорошее мнение Германика. А пришел я к тебе, чтобы сказать вот что: я очень плохо обращался с тобой все эти годы, и я искренне сожалею об этом, ты увидишь, теперь все изменится. — И процитировал по-гречески: — «Ранивший исцелит».

И с этими словами обнял меня. Повернувшись, чтобы уйти, Август проговорил через плечо:

— Я только что был у весталок и сделал несколько важных изменений в документе, который у них хранится, и, поскольку произошло это частично из-за тебя, твое имя тоже заняло в этом документе более видное место, чем раньше. Но — ни звука!

— Можешь положиться на меня. — сказал я.

Фраза Августа могла значить лишь одно: что он поверил рассказу Постума, переданному ему Германиком с моих слов, и восстановил его в завещании, находившемся у весталок, в качестве своего преемника и что я тоже буду награжден за верность Постуму. В то время я, естественно, не знал о поездке Августа на Планазию, но надеялся в душе, что Постума вернут в Рим и примут здесь с честью. Мои надежды не сбылись. Поскольку Август держал новое завещание, подписанное лишь Фабием Максимом и несколькими престарелыми жрецами, в секрете, было нетрудно утаить его в пользу завещания, сделанного за шесть лет до того, в то самое время, когда Август лишил Постума права наследования. Начало этого завещания звучало так: «Ввиду того, что злая судьба отняла у меня моих сыновей Гая и Луция, я желаю, чтобы моими наследниками в первой степени стали Тиберий Клавдий Нерон Цезарь — в размере двух третей моего состояния и моя возлюбленная жена Ливия — в размере одной трети, если сенат, учитывая ее заслуги перед государством, великодушно позволит ей в виде исключения получить в наследство такое имущество (превышающее установленную законом сумму наследства, оставляемого вдове)». Во второй степени — то есть в случае, если упомянутые ранее наследники умрут или по другой какой-нибудь причине не смогут наследовать ему — Август называл тех своих внуков, которые принадлежали к роду Юлиев и не навлекли на себя общественного позора, значит, речь шла о Германике — как приемном сыне Тиберия и муже Агриппины, самой Агриппине, их детях, а также Касторе, Ливилле и их детях. Постума в их числе не было. Из них Кастор должен был получить одну треть, а Германик с семьей — две трети всего состояния. В третьей степени в завещании были поименованы различные сенаторы и дальние родственники, но это было скорее знаком расположения, чем реальным подарком. Август не мог ожидать, что он переживет столько наследников первой и второй степени. Наследники третьей степени были разбиты на три группы: первые десять человек должны были разделить между собой половину имущества, следующие пятьдесят должны были

разделить треть имущества и третья группа, где было еще пятьдесят человек, должна была получить оставшуюся шестую часть. Последним именем в этом последнем списке последней степени наследования было имя Тиберия Клавдия Друза Нерона Германика, другими словами — Клав-Клав-Клавдия, или идиота Клавдия, или, как сыновья Германика все чаще называли меня, «бедного дяди Клавдия», а именно: мое собственное. В завещании не упоминались ни Юлия, ни Юлила, за исключением одного пункта, где Август запрещал после их смерти хоронить урны с их прахом в своей усыпальнице.

Хотя за последние двадцать лет Август получил по завещаниям старых друзей большие деньги — около ста сорока миллионов золотых — и был крайне бережлив в частной жизни, он столько потратил на строительство храмов и общественные работы, на вспомоществование и на зрелища для населения, на пограничные войны (когда военная казна была пуста) и на прочие государственные нужды, что от этих ста сорока миллионов и личного его немалого достояния, собранного из различных источников, осталось для завещательного отказа всего около пятнадцати миллионов, большая часть в виде недвижимости, которую трудно было реализовать. В это количество, однако, не входили некоторые значительные суммы, лежавшие в мешках отдельно от остального имущества в подвалах Капитолия, которые Август оставил, чтобы отказать их по завещанию союзным царям, сенаторам, всадникам и прочим гражданам Рима. Они составляли еще два миллиона. Была также отложена сумма на похоронные издержки. Все были удивлены незначительностью его имущества, и по городу поползли неприятные слухи. Лишь когда душеприказчики предъявили счета Августа, всем стало ясно, что тут нет никакого мошенничества. Римляне были весьма недовольны, что им досталось всего ничего, и когда в честь Августа за общественный счет показывали посвященную ему пьесу, актеры взбунтовались, такую нищенскую субсидию дал сенат, — один из них даже отказался выйти на сцену за предложенную ему плату. О недовольстве в армии я расскажу в скором времени. Сперва о Тиберии.

Август сделал Тиберия своим соправителем и наследником, но он не мог оставить ему империю, во всяком случае, не мог сказать об этом напрямик. Он мог только рекомендовать Тиберия сенату, к которому сейчас вернулась вся власть, бывшая раньше в руках Августа. Сенат не любил Тиберия и не хотел, чтобы он стал императором, но Германика, которого они избрали бы, будь у них такая возможность, не было в Риме. А отказать Тиберию в его притязаниях было не так легко.

Поэтому никто не осмеливался упоминать какое-либо другое имя, кроме имени Тиберия, и когда консулы предложили просить его взять на себя функции Августа, это было принято единогласно. Тиберий дал неопределенный ответ, сказав, что он не честолюбив, а ответственность, которую они на него возлагают, огромна. Одному лишь божественному Августу была по силам такая гигантская задача, и, по его мнению, лучше было бы разделить все обязанности Августа на три части и тем самым разделить ответственность.

Сенаторы, стремясь снискать его благосклонность, возражали, что за прошлое столетие уже не раз прибегали к триумвирату — правлению трех — и что единственным спасением от гражданских войн, к которым это приводило, оказалось единовластие. Последовала позорная сцена. С притворными слезами и вздохами сенаторы обнимали колени Тиберия, умоляя не отказывать им в просьбе. Чтобы положить этому конец, Тиберий сказал, что отнюдь не уклоняется от государственной службы — у него этого и в мыслях нет, — но по-прежнему считает, что все бремя власти ему одному не по плечу. Он уже далеко не молод, ему пятьдесят шесть лет, и у него плохое зрение. Но он возьмет на себя любую часть правления, которую ему поручат. Вся эта комедия разыгрывалась для того, чтобы никто не мог упрекнуть его, что он рвется к кормилу государства, и в особенности для того, чтобы показать Германику и Постуму (где бы он ни был), насколько прочно положение Тиберия в

Риме. Тиберий боялся Германика, чья популярность в армии была куда большей, чем его собственная. Он не думал, будто Германик стремится захватить империю для себя самого, но допускал, что, узнав об утаенном завещании, он попытается восстановить Постума в его наследственных правах и даже сделать его третьим — Тиберий, Германик и Постум — участником нового триумvirата. Агриппина была привязана к Постуму, а Германик во всем следовал ее совету, как Август — совету Ливии. Стоит только Германику войти в Рим во главе своих войск, и сенат будет единодушно приветствовать его, это Тиберий знал. Что он теряет? В самом худшем случае теперешнее скромное поведение позволит ему спасти свою жизнь и с честью уйти на покой.

Сенаторы поняли, что на самом деле Тиберий хочет того, от чего смиренно отказывается, и собирались было возобновить свои мольбы, когда Галл прервал их:

— Хорошо, Тиберий, — сказал он деловым тоном, — так какую именно часть правления ты желал бы получить?

Тиберий смешался от такого бестактного и непредвиденного вопроса. Помолчав немного, он сказал:

— Один и тот же человек не может и делить, и выбирать, и, даже будь это возможно, согласитесь, было бы нескромно с моей стороны выбирать или отвергать ту или иную часть государственного руководства, когда, как я уже объяснял, хочу я лишь одного — чтобы меня вообще освободили от него.

Галл решил использовать его ответ в своих целях:

— Единственно возможное деление империи могло бы быть таково: первое — Рим и Италия, второе — армия, третье — провинции. Что из этого ты выбираешь?

Тиберий молчал, и Галл продолжал:

— Прекрасно. Я знаю, что на этот вопрос нет ответа. Поэтому-то я и задал его. Своим молчанием ты признал, что делить на три части административную систему, которая была создана и согласована так, чтобы все нити сходились к одному лицу, чистая глупость. Или мы должны вернуться к республиканской форме правления, или придерживаться единовластия. Говорить о триумvirате — значит попусту тратить время сената, решившего, по-видимому, этот вопрос в пользу единовластия. Тебе предложили империю. Бери или отказывайся.

Другой сенатор, друг Галла, сказал:

— Как народный трибун ты обладаешь правом наложить вето на предложение консулов. Если ты действительно против единовластия, тебе бы следовало воспользоваться этим правом еще полчаса назад.

Поэтому Тиберий был вынужден извиниться перед сенатом и сказать, что неожиданность и внезапность их предложения застали его врасплох; это, конечно, большая честь, но нельзя ли ему еще немного подумать над ответом. Сенат отложил заседание, и на следующих сессиях Тиберий соизволил принять одну за другой все должности Августа. Однако он никогда не употреблял завещанное ему имя «Август», кроме как в письмах чужеземным царям, и следил, чтобы ему не вздумали оказывать божественные почести. Было и еще одно объяснение его осторожности, а именно: то, что Ливия похвалялась во всеуслышание, будто Тиберий получает империю в подарок из ее рук. Сделала она это не только, чтобы укрепить свое положение вдовы Августа, но и желая предупредить Тиберия, что если ее преступления когда-либо выйдут наружу, он будет считаться ее сообщником, ведь он и никто другой в первую очередь извлек из них выгоду. Естественно, Тиберий хотел показать, что ничем ей не обязан, и империя навязана ему сенатом против его желания.

Сенат расточал Ливии льстивые комплименты и был готов воздать ей самые неслыханные почести. Но, будучи женщиной, Ливия не могла присутствовать при дебатах в сенате и была теперь официально под опекой Тиберия, ведь он стал главой рода Юлиев. Поэтому, отказавшись от титула «Отец отчизны», Тиберий от

имени Ливии отказался от предложенного ей титула «Мать отчизны» на том основании, что скромность не позволяет ей его принять. При всем том Тиберий очень боялся Ливии и поначалу полностью зависел от нее, так как лишь Ливия могла познакомить его с секретами имперской системы. И вопрос был не только в том, чтобы ориентироваться в заведенном порядке. В руках Ливии были досье на каждого сенатора и всадника, имеющих в Риме какой-то вес, и на большинство высокопоставленных женщин, всевозможные донесения секретной службы, личная переписка Августа с союзными царьками и их родственниками, копии изменнических писем, перехваченных, а затем переданных адресату, причем все это — зашифрованное, так что без помощи Ливии Тиберий ничего не мог прочитать. Но он знал также, что и мать от него зависит. Между ними было соглашение о сотрудничестве, но каждый остерегался другого. Ливия даже поблагодарила Тиберия, когда он отверг предложенный ей титул «Мать отчизны», он, мол, поступил совершенно правильно, а Тиберий в ответ пообещал, что сенат примет большинством голосов любой титул, какой ей приглянется, как только их положение станет достаточно прочным. В знак своей преданности матери Тиберий подписывал все государственные бумаги двумя именами: своим и ее. А Ливия, со своей стороны, дала ему ключ к шифру, однако лишь к общему, а не особому, секрет которого, как она утверждала, умер вместе с Августом. А все досье были написаны как раз этим особым шифром.

Перейдем теперь к Германику. Когда в Лионе он услышал о смерти Августа и о пунктах его завещания, а также о том, что наследником оставлен Тиберий, он посчитал своим долгом поддерживать нового главу государства. Германик был племянником Тиберия, его приемным сыном, и, хотя они не питали особой симпатии друг к другу, они вполне могли работать сообща без всяких трений как дома, в Риме, так и во время военных кампаний. Германик не подозревал об участии Тиберия в заговоре, который привел к изгнанию Постума, и ничего не знал о новом, утаенном завещании; к тому же он полагал, что Постум все еще на Планазии, так как Август не сказал никому, кроме Фабия, ни о посещении острова, ни о замене Постума его рабом. Однако Германик решил как можно быстрее вернуться в Рим и откровенно обсудить дело Постума с Тиберием. Ведь Август сказал ему в приватной беседе, что он намерен вернуть Постуму свою благосклонность, как только получит свидетельства его невиновности, которые можно будет представить сенату; они обязаны считаться с волей покойного, пусть даже смерть помешала ему осуществить свое намерение. Он будет настаивать на том, чтобы Постума немедленно вызвали в Рим, отдали конфискованное имущество и назначили на какой-нибудь почетный пост; а также на временном запрещении Ливии участвовать в государственных делах за то, что ее интриги привели к его изгнанию. Но прежде чем Германик успел хоть что-нибудь предпринять, из Майнца пришли известия о военном мятеже на Рейне, а затем, когда он поспешно отправился туда, чтобы его подавить, их настигла в пути новая весть — о смерти Постума. Его, как сообщали, убил капитан стражи по приказу Августа, согласно которому внук не должен был его пережить. Германик был поражен и опечален тем, что Постума, по сути дела, казнили, но у него не было времени думать ни о чем, кроме мятежа. А вот бедного Клавдия это ввергло в глубочайшее горе, потому что у бедного Клавдия времени для размышлений было хоть отбавляй. Бедному Клавдию часто трудно было найти, чем бы занять свой ум. Невозможно работать над историческим сочинением больше пяти-шести часов в день, особенно если у тебя мало надежды, что его когда-нибудь прочтут. Поэтому я дал волю отчаянию. Откуда мне было знать, что убили не Постума, а Клемента, и что преступление это совершено было вовсе не по приказу Августа, мало того, даже Ливия и Тиберий были неповинны в нем.

На самом деле виноват в убийстве Клемента был старый всадник по имени

Крисп, владелец Саллюстиевых садов и близкий друг Августа. Как только он услышал в Риме весть о смерти Августа, он, не дожидаясь, пока увидит Ливию и Тиберия в Ноле, отправил капитану стражи на Планазии срочный приказ убить Постума, скрепив приказ печатью Тиберия (Тиберий доверил ему дубликат своей печати, чтобы Крисп смог подписывать кое-какие деловые бумаги, с которыми Тиберий не успел разобраться до того, как отправился на Балканы). Крисп знал, что Тиберий рассердится или сделает вид, будто рассердился, но объяснил Ливии, сразу же обратившись к ее покровительству, что он убрал Постума с дороги, так как узнал о заговоре гвардейских офицеров, которые были намерены послать за Юлией и Постумом корабль и привезти их в Кельн, в ставку Германика; Германик и Агриппина, естественно, радушно приняли бы их и предоставили им убежище, а затем офицеры заставили бы Германика и Постума пойти походом на Рим. Тиберий сильно разгневался, что его имя использовали таким образом, но Ливия решила обратить ситуацию себе на пользу и притворилась, будто верит, что человек, убитый под именем Постума, и был настоящий Постум. Криспа никак не наказали, а сенаторам неофициально сообщили, будто Постум был убит по приказу его божественного деда, который, благодаря своей мудрости, предвидел, что необузданный юноша попытается захватить верховную власть, как только узнает о его смерти, к чему якобы все и шло. Криспом руководило отнюдь не желание добиться благосклонности Тиберия и Ливии или предотвратить гражданскую войну. Он мстил за личную обиду. Будучи не менее ленив, чем богат, Крисп однажды расхвастался, что никогда не претендовал на какой-нибудь государственный пост — его вполне устраивает быть простым римским всадником. На что Постум заметил: «Простым римским всадником, Крисп? Тогда тебе не помешает взять несколько уроков римской верховой езды».

Тиберий еще не слышал о восстании. Он написал Германику дружеское письмо, соболезнуя ему по поводу смерти Августа и говоря, что теперь Рим ждет от него и его сводного брата Кастора защиты своих границ, поскольку сам Тиберий уже слишком стар для кампаний в чужих краях, и к тому же сенат просит его взять на себя все дела в Риме. Перейдя к смерти Постума, Тиберий пишет, что ему неприятна ее насильственная форма, но он не сомневается в мудрости решения, принятого Августом. О Криспе он даже не упомянул. Германик сделал вывод, что Август еще раз изменил свое мнение о Постуме на основании каких-то сведений, ему самому, Германику, неизвестных, и на какое-то время предоставил событиям идти своим чередом.

Глава XV

Стоявшие на Рейне войска подняли мятеж в знак солидарности с войсками, бунтовавшими на Балканах. Разочарование солдат, узнавших, что по духовной Августа на каждого из них приходится всего по три золотых — плата за четыре месяца службы, — усугубило их давнишние претензии, и они рассудили, что шаткость положения Тиберия вынудит его удовлетворить выдвинутые ими требования, чтобы добиться их поддержки. В эти требования входило повышение жалования, срок службы в армии не более шестнадцати лет и ослабление лагерной дисциплины. Жалование было действительно недостаточным, солдатам приходилось на свои деньги покупать оружие и амуницию, а цены на все возросли. И действительно, так как людские резервы истощились, в армии были оставлены тысячи солдат; которых пора было уволить много лет назад, и призваны ветераны, совсем негодные для строевой службы. И отряды, сформированные из недавно отпущенных на волю рабов, были действительно настолько разболтаны, что Тиберий счел необходимым ужесточить дисциплину, назначил ротными командирами грубых старых слуг и приказал постоянно занимать солдат на хозяйственных работах, а розги из

виноградной лозы — атрибут ротных — постоянно пускать в ход.

Когда известие о смерти Августа достигло балканских войск, в летнем лагере находилось одновременно три полка, и командующий дал им на несколько дней передышку от муштры и хозяйственных работ. Свобода и безделье выбили солдат из колеи, и когда ротные снова вызвали их на плац, они отказались повиноваться и выставили определенные требования. Командующий сказал, что выполнить их не в его власти, и предупредил о последствиях, к которым может привести мятежное поведение. Солдаты не оскорбили его ни словом, ни действием, но повиноваться отказались и в конце концов вынудили командующего послать сына в Рим к Тиберию с перечнем их требований. Когда юноша уехал, беспорядки усилились. Менее дисциплинированные солдаты принялись грабить лагерь и соседние деревни, а когда арестовали зачинщиков, остальные ворвались в караульное помещение и освободили их, убив ротного, который пытался им помешать. У этого ротного было прозвище «Подай другую», потому что, сломав одну лозу о спину солдата, он требовал вторую и третью. Когда сын командующего прибыл в Рим, Тиберий отправил на Балканы Кастора во главе двух батальонов гвардии, эскадрона гвардейской кавалерии и большей части дворцовой охраны, состоявшей из германцев; в качестве помощника с Кастором поехал штабной офицер по имени Сеян, сын командующего гвардией, один из немногих близких друзей Тиберия. В дальнейшем я еще много чего расскажу вам об этом Сеяне. Прибыв в лагерь, Кастор, с гордым видом, не выказывая страха, обратится к толпе солдат и прочитал им письмо отца, где тот обещал позаботиться о непобедимых полках, с которыми он делил тяготы многих кампаний, и начать с сенатом переговоры об их претензиях, как только оправится от горя, причиненного смертью Августа. Тем временем, писал Тиберий, он посылает к ним своего сына, чтобы удовлетворить те их просьбы, которые он сочтет осуществимыми, — остальное придется оставить на усмотрение сената.

Мятежники заставили одного из ротных выступить в качестве их представителя и изложить их требования — ни один из солдат не рискнул на это из страха, что впоследствии его назовут зачинщиком. Кастор сказал, что, к его великому сожалению, освобождение ветеранов от службы и повышение жалования до одной серебряной монеты в день — требования, которые он не уполномочен удовлетворить. Пойти на такую уступку может лишь его отец и сенат.

Это вызвало среди солдат сильное неудовольствие. Проклятье, сказали они, зачем он тогда сюда явился, если не может ничего для них сделать. Видно, хочет сыграть с ними такую же шутку, как его отец Тиберий: когда они предъявляли ему свои претензии, он обычно прятался за спину Августа и сената. Да и что такое сенат? Кучка никчемных богатых бездельников, большинство которых умрет со страху при виде вражеского щита или меча, выхваченного из ножен! Солдаты принялись кидать камни в свиту Кастора, и дело приняло угрожающий оборот. Но благодаря счастливой случайности все обошлось: в ту же ночь началось затмение луны, и это страшно напугало солдат — все солдаты суеверны. Они решили, что затмение — знак того, что боги гневаются на них за убийство ротного «Подай другую» и за отказ повиноваться начальству. Среди мятежников было немало верных Тиберию солдат, и один из них пришел к Кастору и предложил собрать своих единомышленников, чтобы они по двое, по трое обошли все палатки и попробовали образумить недовольных. Так и было сделано. К утру атмосфера в лагере сильно изменилась, и Кастор, хотя и согласился вновь послать в Рим те же требования, поставив под ними в знак согласия свою подпись, арестовал двух солдат, которые, по-видимому, начали бунт, и всенародно казнил их. Остальные не выражали протеста и даже в доказательство своей верности по собственному почину отдали в руки Кастора пятерых мятежников, убивших ротного. Но солдаты по-прежнему отказывались

участвовать в маршировке и хозяйственных работах — разве что в самых неотложных — до тех пор, пока из Рима не придет ответ. Погода испортилась, безостановочно лил дождь, лагерь затопило, солдаты не могли перейти от одной палатки к другой. Они сочли это новым предупреждением небес, и еще до того, как посланец успел вернуться из Рима, бунт окончился и полки послушно направились на зимние квартиры под руководством своих офицеров.

Мятеж на Рейне оказался куда серьезнее. Подвластная Риму Германия, восточная граница которой проходила теперь по Рейну, делилась на две провинции: Верхнюю и Нижнюю. Столицей Верхней провинции, которая простиралась до Швейцарии, был Майнц, столицей Нижней провинции, доходившей на севере до Шельды и Самбры, был Кельн. В каждой из провинций стояла армия из четырех полков; главнокомандующим был Германик. Беспорядки начались в Нижней провинции, в летнем лагере армии. Претензии предъявлялись те же, что и на Балканах, но поведение мятежников было куда более вызывающим, так как здесь находилось больше римских вольноотпущенников, недавно взятых на службу. Эти вольноотпущенники в душе все еще оставались рабами, привычными к безделью и легкой жизни, не в пример свободнорожденным гражданам, в основном бедным крестьянам, составлявшим костяк армии. Солдаты они были прескверные, тем более что для них не существовало таких понятий, как честь мундира или доброе имя полка. И неудивительно, ведь в прошлой кампании эти солдаты воевали под командой Тиберия, а не Германика.

Командующий потерял голову и не сумел обуздать наглость мятежников, окруживших его плотной толпой с жалобами и угрозами. Его нерешительность побудила их напасть на самых ненавистных им ротных; около двадцати из них солдаты засекли насмерть их же собственными розгами и кинули тела в Рейн. Остальных, осыпая насмешками и оскорблениями, выгнали из лагеря. Чудовищные, неслыханные поступки! Единственный старший офицер, сделавший попытку сопротивляться, был Кассий Херея. На него набросилась большая группа бунтовщиков, но вместо того, чтобы спастись бегством или просить пощады, Кассий, выхватив из ножен меч, кинулся в самую их гущу и, нанося удары направо и налево, прорвался к священному трибуналу, где, как он знал, ни один солдат не осмелится его тронуть.

У Германика не было гвардейских батальонов, на которые он мог бы опереться, однако он тут же отправился в мятежный лагерь с небольшой группой офицеров. О резне в лагере он тогда еще не знал. Солдаты окружили его огромной толпой, как ранее своего командира, но Германик наотрез отказался с ними говорить, пока они не построятся, как положено, по ротам и батальонам, каждый под своим знаменем, чтобы он знал, к кому обращаться. Солдаты пошли на эту пустяковую, как им казалось, уступку — им не терпелось услышать, что он скажет. Но оказавшись в строю, солдаты вспомнили о дисциплине. И хотя, убив офицеров, они не могли больше надеяться на доверие Германика или прощение, их сердца вдруг устремились к этому храброму, доброму и честному человеку. Один старый ветеран — там было много таких, кто служил в Германии двадцать пять, а то и тридцать лет назад, — воскликнул:

— Как он похож на отца!

А другой подхватил:

— Он, должно быть, на редкость хороший человек, если он такой же на редкость хороший, как отец!

Германик начал тихо, как при обычной беседе, чтобы привлечь всеобщее внимание. Сперва он говорил о смерти Августа и великом горе, которое вызвала эта смерть, затем заверил солдат в том, что Август превратил Рим в несокрушимую твердыню и оставил после себя преемника, способного управлять страной и

командовать армиями так, как делал бы это он сам.

— О славных победах моего отца в Германии вы знаете. Многие из вас принимали участие в сражениях.

— Лучше не было командира и человека! — закричал кто-то из ветеранов.

— Да здравствуют Германики, отец и сын!

Вот вам пример простодушия моего брата — он ведь не понял, какой эффект произвели его слова. Под отцом он подразумевал Тиберия (которого также часто именовали Германиком), а ветераны подумали, что речь идет о его настоящем отце; говоря о преемнике Августа, Германик опять же имел в виду Тибсрия, а ветераны решили, будто он говорит о себе. Не догадываясь об этом недоразумении, брат продолжал свою речь; он сказал о согласии, царящем во всей Италии, и о верности Франции, откуда он только что прибыл. Он не понимает, почему они видят все в мрачном свете. Какая муха их укусила? И что они сделали со своими ротными командирами, с полковниками и генералами? Почему этих офицеров нет в строю? Неужели их изгнали из лагеря, как он слышал?

— Кое-кто из нас еще жив и находится здесь, цезарь, — раздался голос: из рядов вышел, хромя, Кассий Херея и приветствовал Германика: — Но нас немного. Они стащили меня с трибунала и продержали в караулке связанным четыре дня без еды. Один из старых солдат только сейчас выпустил меня.

— Тебя, Кассий! Они поступили так с тобой?! С тобой, кто вывел восемьдесят человек из Тевтобургского леса? Кто отстоял мост на Рейне?

— Ну, во всяком случае, они не лишили меня жизни, — сказал Кассий.

С ужасом в голосе Германик спросил:

— Солдаты, это правда?

— Они сами во всем виноваты! — крикнул кто-то; поднялся страшный шум. Солдаты сдирали с себя одежду, чтобы показать почетные рубцы от ран на груди и позорные багровые кровоподтеки, оставленные розгами на спине. Один дряхлый старик вырвался из рядов и подбежал к Германику, раздвигая пальцами губы над голыми деснами:

— Я не могу есть твердую пищу без зубов, командир, и я не могу делать большие переходы и воевать на одной похлебке. Я был с твоим отцом во время его первой кампании в Альпах на седьмом году моей службы. Вместе со мной в роте два моих внука. Отпусти меня. Я качал тебя на коленях, когда ты был младенцем. И глянь-ка сюда, у меня грыжа, а я должен вышагивать по двадцать миль в день и тащить на спине груз в сто фунтов.

— Вернись в строй, Помпоний, — приказал Германик, узнавший старого солдата; он был поражен, увидев его. — Ты забываешься. Я займусь твоим делом позднее. Ради всех богов, покажи хороший пример молодым солдатам!

Помпоний отдал честь и вернулся на место. Германик поднял руку, призывая солдат к молчанию, но они продолжали кричать о низком жаловании и о ненужных хозяйственных работах, которые их заставляют выполнять от побудки до отбоя, — у них нет и минуты на самих себя, — и о том, что единственный способ расстаться с армией — это умереть от старости в ее рядах. Германик ждал, пока не наступила полная тишина. Тогда он сказал:

— От имени моего отца Тиберия я обещаю вам справедливость. Он так же близко принимает к сердцу ваше благополучие, как я, и все, что может быть сделано для вас без ущерба для империи, будет сделано. Я за это отвечаю.

— Долой Тиберия! — заорал кто-то, и этот возглас подхватили со всех сторон, сопровождая его улюлюканием и свистом. А затем солдаты вдруг принялись кричать: — Давай, Германик! Ты для нас император! Тиберия в Тибр! Давай, Германик! Германика в императоры! Долой Тиберия! Долой эту суку Ливию! Давай, Германик! Пошли на Рим! Мы — за тебя! Давай, Германик, сын Германика! Германика в

императоры!

Германика как громом поразило.

— Вы с ума сошли! — воскликнул он. — О чем вы говорите?! Кто я, по-вашему? Предатель?

Кто-то из ветеранов крикнул:

— Хватит, довольно! Ты сам сказал, что возьмешь на себя обязанности Августа, а теперь идешь на попятный!

Только сейчас Германик осознал свою ошибку, и, поскольку крики «Давай, Германик!» все продолжались, он соскочил с трибунала и поспешил туда, где была привязана его лошадь, чтобы ускакать из проклятого лагеря. Но солдаты вытащили мечи и преградили ему путь.

Вне себя, Германик закричал:

— Дайте мне пройти или, клянусь богами, я покончу с собой!

— Ты для нас — император! — отвечали солдаты.

Германик вытащил меч из ножен, но кто-то схватил его за руку. Каждому порядочному человеку было ясно, что он не шутит, но многие из бывших рабов думали, будто это только жест с его стороны и он только притворяется скромным и добродетельным. Один из них, рассмеявшись, крикнул:

— На, возьми мой, он острее!

Старый Помпоний, стоявший с ним рядом, вспыхнул от гнева и ударил его по губам. Друзья поспешно увлекли Германика к палатке командующего. Тот лежал в постели, спрятав голову под одеяло, полумертвый от ужаса и стыда, не в силах встать и, как положено, приветствовать Германика. И сам он, и штабные офицеры остались в живых лишь благодаря его личной охране из швейцарских наемников.

Не медля, провели военный совет. Из услышанного в караулке разговора, сказал Германику Кассий, он понял, что мятежники собираются послать депутацию в Верхнюю провинцию, чтобы заручиться поддержкой расквартированной там армии и поднять общее восстание. Шли также разговоры о том, чтобы оставить рейнскую границу без охраны и идти во Францию грабить города и похищать женщин, а затем основать на юго-западе страны независимое военное царство, защищенное с тыла Пиренеями. Этим маневрам они-де парализуют Рим, а к тому времени, когда их осмелятся тронуть, они сделают свое царство неприступным.

Германик решил немедленно отправиться в Верхнюю провинцию и заставить стоявшие там полки поклясться в верности Тиберию. Это были войска, служившие совсем недавно под его командой, и Германик полагал, что они останутся преданы Риму, если он попадет туда раньше депутации мятежников. Германик был уверен, что услышит там от солдат те же сетования по поводу жалования и службы, но командовали ими более надежные люди, выбранные им лично за твердость духа и воинскую доблесть, а не за имя. Но сперва надо было как-то утихомирить взбунтовавшиеся полки здесь, на месте. Германику оставался один-единственный путь. Он пошел на первое и последнее преступление в жизни: подделал письмо, якобы посланное Тиберием, и «получил» его на следующее утро у входа в свою палатку. Курьеру, тайно высланному ночью за пределы лагеря, было ведено выкрасть лошадь в строевых частях, проскакать двадцать миль на юго-запад, а затем вернуться как можно быстрее другим путем.

В письме говорилось, что Тиберию стало известно, будто стоящие в Германии полки высказали ряд законных претензий, и он готов, не мешкая, их удовлетворить. Он позаботится о том, чтобы солдатам тотчас же выплатили завещанные Августом деньги, и в знак того, что сам Тиберий не сомневается в их верности, он удвоит сумму из собственного кошелька. Он вступит в переговоры с сенатом насчет увеличения жалования. Он немедленно и без всяких оговорок отпустит из армии всех солдат, прослуживших двадцать лет, а те, кто служат больше шестнадцати лет, будут

использованы только в гарнизонах.

Германик не был таким умелым лжецом, как его дядя Тиберий, или бабка Ливия, или сестра Ливилла. Хозяин лошади, на которой прибыл курьер, узнал ее, узнали и самого курьера — одного из личных конюхов Германика. Поползли слухи, что письмо подложное. Но ветераны решили сделать вид, будто считают его подлинным, и просить, чтобы обещанные деньги и увольнение из армии были даны немедленно. Германик ответил, что император — человек слова и отпустит их хоть сегодня, но просил подождать денег — их нельзя полностью выплатить, пока полки не перейдут на зимние квартиры. В лагере не хватит наличных, сказал Германик, чтобы выдать каждому солдату по шесть золотых, но те, что есть, будут выданы до последней монеты, он сам за этим проследит. Это успокоило солдат, хотя Германик несколько упал в их глазах, раньше они были о нем лучшего мнения, — он боится Тиберия, говорили они, и не гнушается обмана. Солдаты выслали группы на поиски своих ротных командиров и пообещали снова повиноваться приказам командующего, которому Германик пригрозил, что если тот немедленно не возьмет себя в руки, он предъявит ему перед сенатом обвинение в трусости.

Убедившись, что увольнение проводится по должной форме и все имеющиеся деньги розданы солдатам, Германик отправился в Верхнюю провинцию. Он увидел, что полки стоят наготове, дожидаясь известий из Нижней провинции, но открытого мятежа нет, так как Силий, их командир, был человек умный и решительный. Германик прочитал солдатам то же подложное письмо и велел поклясться в верности Тиберию, что они тут же сделали.

Когда до Рима дошло известие о мятеже на Рейне, там поднялось сильное волнение. Тиберия и так порицали за то, что он послал на Балканы Кастора, а не отправился туда сам, и теперь открыто освистывали на улицах и спрашивали, почему, интересно, бунтуют именно те войска, которые были раньше под его началом, а остальные остаются спокойны (полки, которыми Германик командовал в Далмации, не присоединились к восстанию). Тиберия призывали немедленно выступить на Рейн и самому сделать всю черную работу, а не сваливать ее на Германика. Тиберий заявил сенату, что он поедет в Германию, и принялся не спеша собираться в путь, подбирать офицеров и снаряжать небольшой флот. Когда он был наконец готов, наступила зима, и плавание стало опасным, а из Германии начали поступать более утешительные известия. Так что Тиберий остался в Риме. Он и не собирался его покидать.

Тем временем я получил от Германика срочное письмо, где он просил меня как можно быстрее достать двести тысяч золотых под его поместье, но сделать это в полной тайне: деньги нужны для безопасности Рима. Больше Германик ничего не добавил, лишь приложил к письму подписанную доверенность, чтобы я мог действовать от его имени. Я отправился к его управляющему, и тот сказал мне, что, не продавая имущества Германика, можно добыть лишь половину требуемой суммы, а если объявить продажу, это вызовет разговоры, чего Германик, очевидно, стремится избежать. Поэтому вторую половину мне пришлось доставать самому: пятьдесят тысяч из сейфа — за вычетом этих денег, после того как я заплатил вступительный взнос в новую коллегию жрецов, там осталось всего десять тысяч — и пятьдесят тысяч, полученные от реализации кое-какой городской недвижимости, оставленной мне отцом (к счастью, у меня уже были на нее покупатели), и тех рабов, без которых я мог обойтись, но только если они не были очень ко мне привязаны. Не прошло и двух дней после получения письма, как я уже отправил Германику деньги. Услышав о продаже недвижимости, мать очень рассердилась, но поскольку я не мог открыть ей, для чего были нужны эти деньги, я сказал, что в последнее время, играя в кости, делал очень большие ставки, а желая отыграться, проиграл в два раза больше. Мать поверила мне, и прозвище «игрок» стало еще одной палкой, которой она меня

била. Но мысль, что я не подвел Германика и Рим, сторицей возмещала ее насмешки. Должен признаться, я часто в это время играл, но не проигрывал и не выигрывал помногу. Кости служили мне отдыхом от работы. Закончив «Историю религиозных реформ», я сочинил небольшой юмористический трактат об игре в кости (посвященный божественному Августу) с одной целью — подразнить мать. Я цитировал письмо, которое Август, очень любивший эту игру, написал однажды моему отцу; он говорил в нем о том, какое огромное удовольствие доставила ему их вчерашняя игра, он не встречал еще человека, который умел бы так красиво проигрывать. Отец, писал Август, всегда со смехом проклинает судьбу, если у него выпадет «собака», но когда противник делает верный бросок, так доволен, словно повезло ему самому.

«Честное слово, дорогой друг, выигрывать у тебя — одно наслаждение, а это — высшая похвала, с какой я могу отозваться о человеке, так как обычно я терпеть не могу выигрывать, потому что при этом я невольно заглядываю в души моих так называемых добрых друзей. Почти все они, за исключением самых верных, злятся, когда мне проигрывают, ведь я — император и, как они полагают, несметно богат. Разве справедливо со стороны богов давать лишнее тому, у кого и так всего полно? Поэтому я прибегаю к хитрости — возможно, ты и сам это заметил, — после каждой игры я ошибаюсь при подсчете очков. То беру меньше, чем выиграл, то плачу больше, чем проиграл, и почти ни у кого, кроме тебя, не хватает честности указать мне на ошибку». (Я бы с удовольствием процитировал следующий абзац, где говорилось о том, как непорядочно ведет себя при игре Тиберий, но, естественно, не мог этого сделать.)

Начал я эту книгу с шуточного — хотя вполне серьезного по форме — исследования того, насколько древней является игра в кости, подкрепляя его цитатами из несуществующих авторов и описывая различные фантастические способы метания костей. Но основным, разумеется, был вопрос о выигрыше и проигрыше, трактат так и назывался: «Как выиграть в кости». В еще одном письме Август писал, что чем больше он пытается проиграть, тем больше выигрывает и, даже обсчитывая сам себя при расчетах, редко встает из-за стола беднее, чем садятся за него. Я процитировал в противовес ему утверждение, приписываемое Поллионом моему деду Антонию, смысл которого заключался в том, что чем больше он пытается выиграть в кости, тем больше проигрывает. Сведя эти высказывания воедино, я вывел основной закон игры, а именно: боги помогают выиграть тому, кто меньше к этому стремится (разве что они еще раньше затаили против этого человека зло), поэтому единственный способ выиграть в кости — это выработать у себя искреннее желание проиграть. Написанная тяжеловесным языком, пародирующим ненавистного мне Катона, и аргументированная парадоксами, это была, право, очень смешная книжка. Я привел в ней старую пословицу, где вам обещают давать тысячу золотых всякий раз, когда вы встретите незнакомца верхом на пегом муле, но только при условии, что вы не будете думать о хвосте мула, пока не получите денег. Я надеялся, что этот трактат вызовет одобрение людей, которые считали, будто мои исторические работы неудобоваримы. Но нет. Никто не догадался, что он — юмористический. Я не сразу сообразил, что старики, выросшие на произведениях Катона, вряд ли оценят пародию на их любимого автора, а молодежь, не знакомая с его произведениями, просто не догадается, что это пародия. Поэтому книгу сочли исключительно скучной и глупой, написанной вымученным стилем на полном серьезе и неопровержимо доказывающей мое всем известное слабоумие.

Но я позволил себе весьма несвоевременное отступление, заставив Германика, так сказать, ждать своих денег, в то время как я пишу трактат об игре в кости. Будь старый Афинодор жив, он бы сурово меня за это отчитал.

Глава XVI

В Бонне Германика встретила депутация сенаторов, посланная Тиберием. Истинной их целью было выяснить, преувеличивает Германик серьезность мятежа или преуменьшает ее. Они привезли также приватное письмо Тиберия, в котором он одобрял обещания сделанные Германиком от его имени, кроме обещания удвоить отказанные Августом деньги, так как теперь, мол, это придется пообещать всей армии, а не только германским полкам. Тиберий поздравлял Германика с успехом его военной хитрости, но сожалел о необходимости прибегнуть к подлогу. И добавлял, что выполнит ли он эти обещания — зависит от самих солдат (значило это вовсе не то, как понял Германик, что Тиберий сдержит слово, если они вернутся к повиновению, а как раз наоборот). Германик тут же написал Тиберию ответ, где просил прощения за излишние траты, связанные с удвоением суммы, завещанной солдатам, и объяснял, что эти деньги выплачиваются из его собственного кармана (но солдаты ничего об этом не знают и считают своим благодетелем Тиберия) и что в поддельном письме говорилось яснее ясного: двойную сумму получают только германские полки как награду за недавние победы за Рейном. Что касается остальных обещаний, то ветераны, прослужившие двадцать лет, уже отпущены и остаются в рядах армии лишь до тех пор, пока не придут дарственные деньги.

Германику нелегко было погасить долговое обязательство на поместье, и он попросил меня в письме подождать, пока он сможет отдать мне мои пятьдесят тысяч. Деньги эти — подарок, ответил я, и я горжусь, что смог его сделать. Но вернемся к ходу событий. Когда сенатская депутация прибыла в Бонн, там уже стояли на зимних квартирах два полка. Во время пути сюда во главе с командиром они являли собой позорное зрелище: рядом со знаменами солдаты несли привязанные к длинным шестам мешки с деньгами. Другие два полка отказались покинуть летний лагерь, пока им полностью не выплатят все, что положено по завещанию. Те полки, Первый и Двадцатый, что находились в Бонне, заподозрили, будто депутацию послали, чтобы отменить сделанные им уступки, и снова начали бесчинствовать. Часть из них была за то, чтобы немедленно отправиться в свое новое царство. И вот в полночь в комнаты Германика, где в запертом ковчеге хранился орел Двадцатого полка, вломилась группа солдат; они стащили Германика с постели, сдернули у него с шеи золотую цепочку с ключами от ковчега, отперли его и забрали свое знамя. В то время как солдаты шумной толпой шли по улице, призывая товарищей «следовать за орлом», они встретили сенаторов — членов депутации, которые услышали крики и побежали на защиту Германика. Солдаты с проклятиями обнажили мечи. Сенаторы повернули и кинулись в штаб-квартиру Первого полка под прикрытие полкового знамени. Преследователи обезумели от ярости и вина, и если бы знаменосец не был храбрым человеком и не владел так хорошо мечом, главе депутации проломили бы череп — злодейство, за которое полку не было бы прощения и которое послужило бы сигналом для гражданской войны по всей стране.

Беспорядки продолжались всю ночь, но, к счастью, обошлось без кровопролития, если не считать крови, пролитой в пьяных драках между соперничающими ротами. Когда наступил рассвет, Германик приказал трубачу играть сбор и взошел на трибунал, взяв с собой сенатора, возглавлявшего депутацию. Солдаты роптали: совесть их была нечиста, и оттого они еще больше злобились, но смелость Германика смирила их. Германик встал, призвал всех к молчанию и вдруг широко зевнул. Прикрыв рот ладонью, он попросил прощения, сказав, что плохо спал эту ночь из-за мышинной возни под полом. Солдатам понравилась шутка, и они рассмеялись. Но Германик не присоединился к ним:

— Благодарение богам, что наступил рассвет. У меня еще не было такой ужасной ночи. Мне даже приснилось, что орел Двадцатого полка куда-то улетел.

Какое счастье видеть его сейчас в строю. По лагерю реяли духи разрушения, присланные сюда, надо думать, каким-то божеством, которое мы оскорбили. Вас охватило безумие, и лишь чудо помешало вам совершить преступление, равного которому нет в истории Рима, — без всякой причины убить посланца родного города: счастье, что он нашел убежище от ваших мечей у ваших же полковых богов.

Затем Германик объяснил, что депутация прибыла лишь затем, чтобы подтвердить обещания Тиберия от имени сената и проверить, добросовестно ли он, Германик, их выполняет.

— Так как насчет этого? Где остальные отказанные нам деньги? — крикнул кто-то; остальные подхватили его крик: — Наши деньги! Наши деньги!

По счастливой случайности в этот самый момент показались фургоны с деньгами под охраной отряда верховых из вспомогательных войск — они как раз въезжали в лагерь. Германик воспользовался этим обстоятельством и поспешно отправил сенаторов обратно в Рим в сопровождении того же вспомогательного отряда, затем стал наблюдать за раздачей денег; кое-кто из солдат пытался силой захватить мешки, предназначенные для других полков, и Германику лишь с трудом удалось им помешать.

К полудню беспорядки еще усилились; столько золота в солдатских кошельках могло привести лишь к безудержному пьянству и отчаянной игре в кости. Германик решил, что Агриппине, на этот раз сопровождавшей его, опасно оставаться в лагере. Она снова была беременна, и хотя старшие ее сыновья, мои племянники Нерон и Друз, находились в Риме и жили вместе со мной и моей матерью, маленький Гай был с ней. Солдаты считали, что этот красивый мальчуган приносит им счастье, он был их талисман; кто-то сделал для него маленькие солдатские доспехи, включая оловянный нагрудник, меч, шлем и щит. Все его баловали. Когда мать надевала ему обычное платье и сандалии, он принимался плакать и просить, чтобы ему дали меч и сапожки: он хочет пойти в палатки к солдатам. Поэтому он получил прозвище «Калигула», что означает «Сапожок».

Германик настаивал на том, чтобы Агриппина покинула лагерь, хотя она клялась, что ничего не боится и предпочитает умереть вместе с ним, а не ждать в безопасном месте вестей о том, что он убит мятежниками. Но Германик спросил, не думает ли она, что Ливия будет хорошей матерью для их осиротевших детей? Это решило дело и заставило Агриппину поступить по его желанию. Вместе с ней отправилось несколько офицерских жен; все они были в трауре и заливались слезами. Они медленно прошли через лагерь без слуг и служанок, словно беженцы из обреченного города. Для вещей у них была одна простая повозка, которую тащил мул. Женщин сопровождал Кассий Херея — их проводник и единственный защитник. Калигула сидел верхом у него на плечах, как на боевом коне, и с громкими криками размахивал мечом, то отражая «удары», то «нападая» на врага, как его научили кавалеристы. Вышли они из лагеря очень рано, и вряд ли кто-нибудь их видел; стражи у ворот не было, никто теперь не брал на себя труд трубить подъем, так что большая часть солдат спала, как свиньи, до десяти или одиннадцати утра. Несколько ветеранов, проснувшихся по привычке на рассвете, собирали возле лагеря хворост, чтобы сварить завтрак, и, окликнув беженцев, спросили, куда они направляются.

— В Треве! — крикнул в ответ Кассий. — Главнокомандующий отправляет свою жену и ребенка под защиту диких, но верных нам французских союзников, боясь, как бы они не лишились жизни, попав в руки знаменитого Первого полка! Передайте мои слова своим товарищам!

Ветераны поспешили вернуться в лагерь, и один из них, старик Помпоний, схватил трубу и дал сигнал тревоги. Из палаток высыпали еще не совсем проснувшиеся солдаты с мечами в руках.

— Что случилось? Кто нападает?

— Его забирают от нас. Нам больше не будет удачи, мы никогда больше его не увидим.

— Кого забирают? О ком ты толкуешь?

— Нашего мальчика, Калигулу. Его отец говорит, что не может больше доверить его Первому полку и отправляет его к проклятым французишкам. Одни боги знают, что там с ним будет. Всем известно, что такое французы. И мать тоже отправляет. На восьмом месяце, а идет бедняжка пешком, как рабыня. Эх, ребята! Жена Германика и дочь старого Агриппы, которого мы называли другом солдат. И наш Сапожок.

Удивительный народ — солдаты! Крепкие, как кожаный щит, суеверные, как египтяне, и сентиментальные, как сабинские старухи. Через десять минут не меньше двух тысяч охваченных горем и раскаянием солдат осаждали палатку Германика, в пьяном исступлении умоляя его разрешить жене вернуться в лагерь вместе с их любимым мальчуганом.

Германик вышел к ним, бледный от гнева, и приказал солдатам больше его не тревожить. Они опозорили себя, и его, и Рим, и он до конца жизни не будет им доверять; они оказали ему плохую услугу, когда вырвали из рук меч, который он хотел вонзить себе в грудь.

— Скажи, что нам делать, командир! Мы сделаем все, что ты скажешь. Клянемся больше не бунтовать. Никогда! Прости нас. Мы пойдем за тобой на край света. Только верни нам нашего маленького товарища, нашего Сапожка.

Германик сказал:

— Вот мои условия: поклянитесь в верности Тиберию и выдайте мне тех, кто отвечает за смерть командиров, за оскорбление депутации и за кражу орла. Если вы это выполните, я вас прощу, хоть и не до конца, и верну вам вашего маленького товарища. Однако жена моя не станет рожать в этом лагере, раз ваша вина полностью не заглажена. До родов осталось немного, и я не хочу, чтобы жизнь ребенка была омрачена злыми чарами. Но я могу послать ее не в Треве, а в Кельн, если вы не хотите, чтобы люди говорили, будто я доверил ее защите варваров. Мое полное прощение вы получите только тогда, когда сотрете память о своих кровавых преступлениях еще более кровавой победой над врагами нашей родины — германцами.

Солдаты поклялись выполнить условия Германика. Поэтому он отправил гонца перехватить Агриппину и Кассия, объяснить им, как обстоят дела, и привезти Калигулу обратно. Солдаты разошлись по палаткам и призвали всех товарищей, оставшихся верными Риму, присоединиться к ним и задержать зачинщиков мятежа. Было схвачено около ста человек, их привели к трибуналу, возле которого солдаты из обоих полков, с мечами наголо, образовали каре. Один из командиров заставлял каждого из пленников по очереди всходить на шаткий эшафот, сооруженный возле трибунала, и если рота признавала того виновным, его сбрасывали на землю и обезглавливали. За все два часа, что длилось это неофициальное судилище, Германик не промолвил ни слова, он сидел скрестив руки, с каменным лицом. Почти все зачинщики были признаны виновными.

Когда упала последняя голова, а тела вытащили за пределы лагеря, чтобы сжечь, Германик стал вызывать к трибуналу по очереди ротных командиров и требовать у них полного отчета о службе. Удостоверившись, что командир служил хорошо и место свое, судя по всему, получил не благодаря связям, Германик обращался к ветеранам роты и спрашивал, каково их мнение. Если ветераны отзывались о нем одобрительно и полковник, командир батальона, куда входила рота ничего против него не имел, ротный оставался в своем звании и должности. Но если репутация у ротного была плохая или солдаты роты выражали им недовольство, его разжаловывали, и Германик предлагал роте выбрать в своей среде того, кто более других достоин занять его место. Затем Германик поблагодарил всех солдат

за помощь и призвал их принести клятву верности Тиберию. Они торжественно в этом поклялись, а через секунду раздалось громовое «ура!». Солдаты увидели посланца Германика, во весь опор скакавшего к лагерю, а перед ним на спине коня — Калигулу; громко крича что-то пронзительным голосом, мальчик размахивал своим игрушечным мечом.

Германик обнял ребенка и сказал, что хочет добавить еще одно: согласно указаниям Тиберия, из двух находившихся здесь полков отпущены тысяча пятьсот ветеранов, чей срок службы уже истек. Но если кто-нибудь из них, сказал Германик, хочет получить полное прощение, как и их товарищи, которые перейдут через Рейн и отомстят за поражение Вара, они могут его заслужить. Он позволит наиболее крепким и энергичным солдатам вновь вступить в ряды своих рот, а те, кто годится лишь для гарнизонной службы, смогут служить в Тироле, где, как стало известно, в последнее время участились набеги германцев. Хотите верьте, хотите нет — ветераны, все, как один, выступили вперед и больше половины из них вызвалось участвовать в боевых действиях за Рейном. В их числе был и Помпоний, утверждавший, что, несмотря на отсутствие зубов и грыжу, он может служить не хуже любого другого. Германик сделал его своим денщиком, а внуков взял в свою личную охрану. Таким образом, в Бонне все наладилось, и солдаты твердили Калигуле, что он и только он подавил мятеж и что наступит день, когда он станет великим императором и одержит удивительные победы; это очень плохо влияло на мальчика, который, как я уже упоминал, был и без того ужасно избалован.

Но два других полка, расквартированных в месте, которое называлось Сантен, еще нужно было образумить. Они не успокоились даже после того, как им выплатили отказанные Августом деньги, и их командир ничего не мог с ними поделать. Когда стало известно, что боннские полки изменили свои намерения, главные бунтовщики всерьез испугались за собственную жизнь и стали подстрекать товарищей к новым бесчинствам и грабежам. Германик известил командующего, что он направляется к нему по Рейну во главе большой армии, и если те солдаты под его началом, которые еще остались ему верны, не последуют как можно быстрее примеру своих боннских товарищей и не казнят зачинщиков, он, Германик, истребит поголовно оба полка, не разбирая, кто прав, кто виноват. Командующий вызвал к себе потихоньку знаменосцев, сержантов и нескольких заслуживающих доверия ветеранов, прочитал им письмо и сказал, что медлить нельзя, Германик может нагрянуть с минуты на минуту. Они обещали сделать все, что в их силах, и, сообщив содержание письма еще нескольким верным людям, ворвались по данному в полночь сигналу в палатки и принялись уничтожать мятежников. Те яростно защищались и сразили немало верных присяге солдат, но в конце концов те взяли верх. Всего в эту ночь было убито и ранено пятьсот человек. Остальные, оставив в лагере лишь часовых, вышли походным маршем навстречу Германику, чтобы умолять его тут же вести их за Рейн против германцев.

Хотя в такое время года военные действия обычно затухают, погода стояла прекрасная, и Германик пообещал выполнить их просьбу. Он навел через реку понтонный мост и перешел на другой берег во главе двенадцати тысяч римских пехотинцев, двадцати шести батальонов союзников и восьми кавалерийских эскадронов. От своих лазутчиков на вражеской территории он знал о большом скоплении народа в деревнях возле Мюнстера, где был большой ежегодный праздник в честь германского Геркулеса. До германцев уже дошли слухи о мятеже — вернее, мятежники вступили в сговор с Германном и обменялись с ним дарами, — и они только ждали той минуты, когда полки отправятся в свое новое юго-западное царство, чтобы пересечь Рейн и пойти напрямик на Италию. Германик двинул полки пустынной лесной тропой и застиг германцев врасплох с кружками пива в руках (пиво — это напиток, получающийся в результате брожения замоченного зерна; германцы

поглощают его на праздниках в невероятном количестве). Германик развернул войско в четыре колонны на протяжении пятидесяти миль и предал все деревни огню и мечу независимо от пола и возраста жителей. На обратном пути он обнаружил, что отряды из различных местных племен устроили засады, чтобы помешать ему пройти через лес, но продолжал продвижение и, вступая в отдельные схватки, с успехом оттеснял врага. Вдруг от Двадцатого полка, бывшего в арьергарде, донесся сигнал тревоги. Оказалось, что на них напал большой отряд германцев под водительством самого Германна. К счастью, лес в этом месте был негустой, и солдаты могли маневрировать. Германик поскакал назад, туда, где было всего опаснее, и крикнул: «Прорвите их строй, Двадцатый, и все будет прощено и забыто!». Солдаты Двадцатого полка сражались как безумные; они отбросили германцев назад и тех, кто уцелел в кровавой резне, загнали далеко в луга, простиравшиеся за лесом. Германик заметил Германна и вызвал его на поединок, но германцы убегали — принять вызов значило обречь себя на верную смерть. Поэтому Германн усекал. Германику так же, как отцу, не везло — ему никак не удавалось сразиться один на один с вражеским вождем. Но победы он тоже одерживал не реже, чем отец, и полученное в наследство имя «Германик» теперь принадлежало ему по праву. Солдаты ликовали. Германик благополучно привел свою армию в лагерь за Рейном, где им ничто больше не угрожало.

Тиберий никогда не понимал Германика, а Германик — Тиберия. Тиберий, как я уже говорил, был один из дурных Клавдиев. Однако порой его можно было склонить к добродетели, и, живи он во времена, когда царило благородство и великодушие, он вполне сошел бы за человека, обладающего этими свойствами, — подлости в его характере не было. Но времена были отнюдь не такими, и сердце Тиберия ожесточилось, в чем, вы согласитесь со мной, в первую очередь была повинна Ливия. А Германик был по натуре добродетельный человек, и как бы ни были порочны времена, когда он родился, он не мог вести себя иначе, чем вел. Когда Германик отказался от единовластия, предложенного ему германскими полками, и заставил их поклясться в верности Тиберию, тому было не понять, почему он так поступил. Он решил, что Германик еще хитрее, чем он сам, и ведет какую-то сложную игру. Простая мысль о том, что для Германика честь превыше всего и он предан ему как главнокомандующему; и как названному отцу, ни разу не пришла Тиберию в голову. А Германик, поскольку он не подозревал, что Тиберий в сговоре с Ливией, и поскольку тот никак не уязвлял и не ущемлял его, а, напротив, всячески хвалил за то, как ему удалось справиться с мятежом, и назначил полный триумф за мюнстерскую кампанию, думал, будто намерения Тиберия столь же честны и благородны, как у него самого, и тот лишь по простоте душевной не разгадал до сих пор замыслы Ливии. Германик решил откровенно поговорить с Тиберием, как только приедет в Рим для триумфа. Но смерть Вара еще не была отомщена, прошло три года, прежде чем Германик вернулся. Тон писем, которыми за это время обменивались Германик и Тиберий, был задан Германиком, писавшим с сыновней почтительностью. Тиберий отвечал ему в том же дружеском духе, думая, что тем самым бьет Германика его же оружием. Он пообещал возместить Германику отданные солдатам деньги и выплатить вдвойне завещанные суммы балканским полкам. И он действительно заплатил им по три лишних золотых на человека — в балканской армии назревала угроза мятежа, — но отложил возврат потраченных Германиком денег на несколько месяцев из-за, как он выразился, финансовых затруднений. Естественно, Германик не требовал у Тиберия денег, и естественно, Тиберий так и не вернул их. Германик снова написал мне, спрашивая, не подожду ли я до тех пор, пока Тиберий не расплатится с ним, и я ответил, как и в первый раз, что я послал ему эти деньги в подарок.

Вскоре после того как Тиберий стал императором, я отправил ему письмо, где

говорил, что в течение довольно долгого времени изучал юриспруденцию и управление делами — так и было в действительности — в надежде, что мне наконец дадут возможность послужить своей стране в какой-нибудь ответственной должности. Он ответил, что, разумеется, брату Германика и его собственному племяннику ходить в платье всадника ни с чем не сообразно, и, поскольку меня сделали жрецом Августа, мне, конечно, должны разрешить носить сенаторское платье, он испросит для меня у сената разрешения ходить в вышитой тоге, какие носят консулы и экс-консулы, если я обещаю при этом не ставить себя в смешное положение. Я тут же написал, что я предпочитаю пост без почетного одеяния одеянию без поста, но единственным ответом были присланные мне в подарок сорок золотых, «чтобы купить на них игрушки во время Сатурналий». Сенат постановил, что я могу носить вышитую тогу, и в честь Германика, который проводил тогда очередную успешную кампанию в Германии, хотел предоставить мне место среди экс-консулов. Но Тиберий наложил на это вето, сказав, что, на его взгляд, я не способен произнести речь о государственных делах, которая не вывела бы из терпенья его собратьев-сенаторов.

В то же самое время Тиберий наложил вето на еще один указ, предложенный сенатом. И вот при каких обстоятельствах. Агриппина разрешилась от бремени в Кельне, родив дочь по имени Агриппинилла, и я должен сразу же сказать, что эта девочка оказалась одной из худших Клавдиев — честно говоря, если судить по ее задаткам, она превзойдет своих предков обоим пола высокомерием и порочностью. Несколько месяцев после родов Агриппина недомогала, и Калигула совсем отбился от рук, поэтому, как только Германик начал весеннюю кампанию, мальчика отправили в Рим. Он сделался своего рода национальным героем. Где бы он ни появлялся с братьями, на него пялили глаза, приветствовали криками и оказывали ему всяческое внимание. Хотя Калигуле еще не исполнилось трех лет, этот не по годам развитый мальчик был очень трудным ребенком, милым — лишь когда ему лестили, послушным — лишь когда его держали в ежовых рукавицах. Он должен был поселиться у своей прабабки Ливии, но ей было некогда как следует за ним присматривать, и, так как он постоянно шалил и попадал в переделки, к тому же ссорился со своими старшими братьями, Калигула перешел жить к нам, с моей матерью и со мной. Мать никогда не лестила ему, но взять его в ежовые рукавицы тоже не смогла. И вот однажды, всплыв, Калигула плюнул в нее, и она задала ему хорошую взбучку. «Ты — гадкая германская старуха, — крикнул мальчик, — я спалю весь твой германский дом». Он употреблял слово «германский» как самое страшное из ругательств. В тот же день Калигула пробрался потихоньку на чердак, где жили рабы, в чулан, который был забит старой мебелью и разным хламом, и поджег лежавшую там грудку старых соломенных тюфяков. Вскоре пылал весь верхний этаж, и поскольку дом был старый, с изъеденными жучком балками и щелями в полу, потушить огонь не смогли, хотя от пруда с карпами безостановочно по цепочке подавали воду. Мне удалось спасти все бумаги и ценные вещи, и кое-что из мебели, и не было человеческих жертв, если не считать двух старых рабов, лежавших из-за болезни в постелях, но от дома остались лишь стены и подвалы. Калигулу не наказали, потому что пожар страшно напугал его. Он сам чуть не сгорел, прячась под кроватью, пока дым не заставил его с криком выскочить наружу.

Так вот, сенат хотел издать указ, по которому мой дом отстроили бы за счет государства на том основании, что он служил кровом многим выдающимся членам нашего рода, но Тиберий воспротивился этому. Он сказал, что пожар произошел по моему недосмотру и что, ведя я себя с полной ответственностью, пострадал бы один чердак и урон не был бы так велик, и уж если надо заново отстроить и обставить дом, пусть это будет за его счет, а не за государственный, (громкие аплодисменты сенаторов). Это было несправедливо и нечестно, тем более что Тиберий и не собирался сдержать слово. Я был вынужден продать свою последнюю крупную

недвижимость в Риме — квартал жилых домов возле Коровьего рынка и примыкающую к нему большую строительную площадку, чтобы отремонтировать дом за свой счет. Я не сказал Германику, что поджег его Калигула, — он счел бы себя обязанным возместить нанесенный ущерб, и по сути дела это был, я думаю, просто несчастный случай, ведь такой маленький ребенок не может отвечать за свои поступки.

Когда солдаты Германика снова отправились воевать с германцами, они добавили еще несколько куплетов к песне о трех горестях Августа; я припоминаю два или три из них и отдельные строчки из прочих, по большей части смешные:

Шесть монет — а что в них толку?
Сыр да сало не по мне.
Жалко, нет вина ни капли
На германской стороне.

И еще:

Август нынче взят на небо.
В Стиксе плавает Марцелл —
Ждет он с Юлией свиданья,
И она уж не у дел.

Где орлы — никто не знает.
И мечтаем мы о том,
Как к могиле государя
Птиц пропавших принесем!

Был там еще куплет, который начинался так:

Германн потерял подружку
И вдобавок пива жбан...

но остального я не помню, да куплет этот и не представляет особой важности, разве что он напоминал мне о «подружке» Германна. Она была дочерью вождя, которого германцы называли Зигштос или что-то в этом роде, а римляне — Сегест. Он жил в Риме, как сам Германн, и был принят в сословие всадников, но в отличие от Германна, чувствовал себя связанным клятвой верности, которую дал Августу. Этот Сегест был тем самым человеком, который предупредил Вара насчет Германна и Сегимера и посоветовал Вару арестовать их на пиру, куда тот пригласил их как раз перед началом злосчастного похода. У Сегеста была любимая дочь, которую Германн похитил, и хотя он женился на ней, Сегест ему этого не простил. Однако ему было нельзя открыто выступить на стороне римлян против Германна, который считался национальным героем; он мог лишь поддерживать с Германиком секретную переписку, где сообщал ему о передвижениях военных сил германцев и постоянно заверял в том, что его верность Риму неколебима и он только ждет возможности это доказать. Однажды Сегест написал Германику, что Германн осадил его в укрепленной одним лишь частоколом деревне, поклявшись никому не дать пощады, и им долго не продержаться. Германик форсированным маршем подошел к деревне, разгромил не очень многочисленный отряд осаждавших — сам Германн, раненый, находился в другом месте — и вызволил Сегеста. И тут обнаружил, что его ждал ценный подарок — в деревне оказалась жена Германна, которая гостила у отца, когда между ним и ее мужем вспыхнула ссора, и которая вот-вот должна была родить.

Германик отнесся к Сегесту и всем его родичам очень милостиво и дал им земли на западном берегу Рейна. Германн, разъяренный пленением жены, испугался, как бы мягкость Германика не побудила других германских вождей сделать попытки к примирению. Он создал новый сильный союз племен, включая некоторые из тех, которые до сих пор были в дружбе с Римом. Но Германик по-прежнему был неустрашим. Чем больше германцев выступало против него в открытом бою, тем больше это было ему по сердцу. Он никогда не доверял им как союзникам.

Еще до окончания лета Германик победил германцев в целом ряде боев, заставил Сегимера сдаться и вернул первого из утраченных орлов — орла Девятнадцатого полка. Он также побывал на поле боя, где Вар потерпел поражение, похоронил кости своих товарищей по оружию по всем правилам и первый, своими руками, возложил кусок дерна на их могильный холм. Военачальник, который вел себя так пассивно во время мятежа, храбро сражался во главе своих войск, а в одном случае неминуемое, как всем казалось, поражение обратил в торжество. Преждевременное известие о том, что битва проиграна и германцы идут триумфальным маршем к Рейну, вызвало среди охранявших ближайший мост солдат такой переполох, что командир отдал солдатам приказ перейти на свой берег, а затем уничтожить мост, тем самым предоставив всех, кто находился на вражеском берегу, их судьбе. Но бывшая здесь Агриппина отменила приказ. Она сказала солдатам, что теперь она — их командир и останется им, пока не придет ее муж и не освободит ее от командования. Когда наконец войска вернулись с победой, Агриппина была на посту и приветствовала их. Ее популярность теперь почти что сравнялась с популярностью мужа. Она устроила лазарет для раненых, которых Германик отправлял в лагерь после каждой битвы, и оказывала им наилучшую медицинскую помощь. Обычно раненые солдаты не покидали своих подразделений, где они или выздоравливали, или умирали. Лазарет был устроен на личные средства Агриппины.

Я, кажется, уже упомянул о смерти Юлии. Когда Тиберий стал императором, ее ежедневный рацион на Регии сократился до четырех унций хлеба и одной унции сыра. Из-за сырости в помещении она заболела чахоткой, и такая голодная диета быстро свела ее в могилу. О Постуме так ничего и не было слышно, а пока Ливия не удостоверялась в его гибели, у нее не могло быть спокойно на душе.

Глава XVII

Тиберий продолжал править, держась во всем средней линии и советуясь с сенатом, прежде чем предпринять любой шаг, имеющий политическое значение. Но сенаторы так долго голосовали по указке, что, похоже, потеряли способность принимать самостоятельные решения, а Тиберий никогда явно не показывал, какое именно решение пришлось бы ему по душе, даже когда для него было очень важно, как они проголосуют. Он стремился удержать пост главы государства, но не желал, чтобы его правление походило на тиранию. Вскоре сенат увидел, что если Тиберий велеречиво выступает в защиту какого-либо предложения, значит, он хочет, чтобы оно было отклонено, а если он столь же велеречиво выступает против какого-нибудь предложения, значит, хочет, чтобы оно было принято; и только в тех редких случаях, когда он говорил коротко, без перлов красноречия, его надо было понимать буквально. Галл и старый остряк по имени Гатерий завели привычку развлекаться, произнося пламенные речи в поддержку Тиберия и доводя смысл его слов чуть не до абсурда, а потом голосуя так, как он на самом деле хотел, чем показывали, что прекрасно понимают его уловки. Этот самый Гатерий в то время, когда сенаторы уговаривали Тиберия принять верховную власть, воскликнул: «О, Тиберий, сколько еще несчастный Рим будет оставаться без властителя?» — рассердив Тиберия, так

как тот знал, что Гатерий видит его насквозь. На следующий день Гатерий решил продолжить потеху и, упав перед Тиберием на колени, умолял простить его за то, что он был недостаточно пылок в своих мольбах. Тиберий отпрянул от него с отвращением, но Гатерий схватил его за колени, и Тиберий свалился навзничь, ударившись о мраморный пол затылком. Телохранители Тиберия, состоявшие из германцев, не поняли, что происходит, и кинулись вперед, чтобы зарубить напавшего на их хозяина; Тиберий едва успел их остановить.

Гатерий великолепно пародировал. У него был очень громкий голос, подвижное лицо, изобретательный ум и богатое воображение. Стоило Тиберию употребить в своей речи какое-нибудь архаичное слово или притянутое за уши выражение, как Гатерий подхватывал его и делал ключевым в своем ответе (Август обычно говорил, что колеса красноречия Гатерия нуждаются в цепях, даже когда он едет в гору). Тугодуму Тиберию было трудно тягаться с Гатерием. Галл же превосходно изображал верноподданнический пыл. Тиберий тщательно следил за тем, чтобы не создалось впечатление, будто он претендует на божественные почести, и возражал против того, чтобы ему приписывали сверхъестественные свойства: он даже не разрешил жителям провинций строить храмы в его честь. Поэтому Галл любил, говоря о нем, называть Тиберия, словно случайно, «его священное величество». Когда Гатерий, всегда готовый подхватить шутку, поднимался, чтобы упрекнуть его за столь неподобающее выражение, Галл рассыпался в извинениях, говоря, что у него и в мыслях не было сделать что-либо вопреки приказу его священного... о боже, так легко впасть в ошибку... еще раз тысяча извинений... он хотел сказать, вопреки желаниям его досточтимого друга и собрата-сенатора Тиберия Нерона Цезаря Августа. «Без Августа, дурень, — произносил театральным шепотом Гатерий. — Он отказывался от этого титула тысячу раз. Он пользуется им, только когда пишет письма другим монархам».

Они обнаружили, чем сильнее всего можно уязвить Тиберия. Если он принимал скромный вид, когда сенат благодарил его за какую-нибудь заслугу перед Римом — например, за обещание достроить храмы, которые остались незаконченными после смерти Августа, — шутники всячески восхваляли его порядочность: вот ведь, не поставил же он себе в заслугу труды своей матери, и поздравляли Ливию с таким преданным и покорным сыном. Когда они увидели, что ничто так не раздражает Тиберия, как дифирамбы по адресу Ливии, они стали упражняться в этом на все лады. Гатерий даже предложил, чтобы, подобно тому как греков называют отцовским именем, назвать Тиберия в честь матери Тиберий Ливиад... но, возможно, более правильная для латыни форма будет «Ливигена»; звать его иначе — преступление. Галл нашел другое слабое место Тиберия — тот терпеть не мог, когда упоминали о его пребывании на Родосе. И вот однажды Галл позволил себе такую дерзкую выходку: в тот самый день, когда до Рима дошло известие о смерти Юлии, он принялся превозносить Тиберия за милосердие и в подтверждение привел историю о родосском учителе риторики, который отказал Тиберию, когда тот скромно обратился к нему за разрешением посещать у него занятия, заявив, что сейчас свободных мест нет, и предложил Тиберию навеститься через несколько дней. «Как вы думаете, — продолжал Галл, — что сделал его священное... прошу прощения, мне следовало сказать: что сделал мой досточтимый друг и собрат-сенатор Тиберий Нерон Цезарь, когда после его восшествия на престол этот наглый учителяшка приехал в Рим, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому божеству? Отрубил его наглую голову и дал вместо мяча своим телохранителям? Ничего подобного. С остроумием, равным его милосердию, он сказал, что у него сейчас нет свободных мест в когорте льстецов, и предложил ему навеститься через несколько лет». Скорее всего, Галл все это придумал, но у сенаторов не было оснований ему не верить, и они так горячо ему аплодировали, что Тиберию пришлось сделать вид, будто слова Галла

соответствуют истине.

Наконец Тиберию удалось заткнуть Гатерию рот; однажды он проговорил, как всегда медленно: «Прости меня, Гатерий, если я буду более откровенен, чем это принято между сенаторами, но я должен тебе сказать, что ты — страшный зануда и ни капли не остроумен». Затем он обратился к сенату: «Простите меня, отцы сенаторы, но я всегда говорил и снова скажу, что, раз вы были настолько любезны и предоставили мне абсолютную власть, я не должен стыдиться использовать ее для общего блага. И если я прибегну к ней сейчас, чтобы заставить замолчать шутов, которые своими глупыми выходками оскорбляют не только меня, но и вас, я надеюсь, что заслужу этим ваше одобрение. Вы всегда были со мной добры и терпеливы». Теперь Галлу пришлось вести игру в одиночку.

Хотя Тиберий ненавидел мать еще сильнее, чем прежде, он по-прежнему позволял ей руководить собой. Все назначения на должности — будь то консул или губернатор провинции — делались не им, а Ливией; это были весьма разумные назначения, так как она выбирала людей по заслугам, а не по семейным связям или за то, что они льстили ей или оказывали какое-либо личное одолжение. Я должен сказать ясно и недвусмысленно, если еще не сделал этого, что как бы преступны ни были средства, к которым Ливия прибегала, чтобы властвовать над Римом сперва через Августа, затем через Тиберия, она была исключительно способной и справедливой правительницей и созданная ею система управления разладилась лишь тогда, когда Ливия перестала ее возглавлять.

Я уже упоминал о Сеяне, сыне командующего гвардией. Он унаследовал пост отца и был одним из трех человек, которые пользовались сравнительным доверием Тиберия. Вторым был Фрасилл; он приехал в Рим вместе с Тиберием и по-прежнему имел на него большое влияние. Третьим был сенатор по имени Нерва. Фрасилл никогда не обсуждал с Тиберием вопросы государственной политики и не просил для себя никаких официальных постов, а когда Тиберий давал ему деньги, принимал их небрежно, словно они не представляли для него никакого интереса. У него была большая обсерватория в одной из сводчатых комнат дворца, где в окнах были такие прозрачные стекла, что их просто не замечали. Тиберий проводил у Фрасилла немало времени, тот учил его начаткам астрологии и многим другим тайнам магии, в том числе искусству толкования снов, заимствованному у халдеев. Сеяна и Нерву Тиберий избрал, по-видимому, за противоположность их характеров. Нерва не терял друзей и не приобретал врагов. Единственный его недостаток, если это можно назвать недостатком, заключался в том, что он молчал, когда видел зло, которое нельзя было исправить словами. Он был благородный, великодушный, отважный и вместе с тем мягкий человек, абсолютно правдивый и не способный ни на какой обман, даже если это могло принести ему выгоду. Если бы он, например, оказался на месте Германика, он бы ни за что не подделал письма, хотя от этого зависела бы его собственная безопасность и безопасность империи. Тиберий назначил Нерву надзирателем за городскими акведуками и постоянно держал при себе, чтобы всегда иметь перед глазами, как я полагаю, мерил добродетели. Точно так же Сеян служил ему мерилom порока. В юности Сеян был другом Гая и уехал вместе с ним на Восток; у него хватило ума предвидеть, что Тиберий выйдет из-под опалы, и даже способствовать этому; он убедил Гая, что Тиберий не обманывает его, утверждая, будто не стремится к власти, и посоветовал ходатайствовать за него перед Августом. Сеян тогда же сообщил об этом Тиберию, и Тиберий написал ему письмо, с которым тот не расставался, обещая, что никогда не забудет об его услуге. Сеян был лжец, мало того — лжец-стратег; он искусно распоряжался своими лживыми измышлениями, знал, как привести их в готовность и построить в такой боевой порядок, чтобы они одержали победу при любой схватке с подозрениями и даже в генеральном сражении с истиной — это остроумное сравнение принадлежит Галлу, я

тут ни при чем. Тиберий завидовал этому таланту Сеяна, точно так же, как завидовал честности Нервы, — хотя он уже далеко ушел по пути зла, необъяснимые для него самого порывы, толкающие его к добру, подчас заставляли Тиберия приостановиться.

Не кто иной, как Сеян, начал настраивать Тиберия против Германика; он говорил, что человеку, который подделал письмо отца, не важно, при каких обстоятельствах, нельзя доверять, что Германик стремится к власти, но ведет себе осторожно — сперва он завоевал любовь солдат подачками, затем затеял эту ненужную кампанию за Рейном, чтобы удостовериться в их боеспособности и безоговорочном подчинении. Что до Агриппины, говорил Сеян, то она на редкость честолюбива, только посмотри, как она вела себя на мосту — назвалась командиром и приветствовала возвращавшиеся полки, словно она невеста кто! А то, что мост хотели разрушить, она, возможно, просто придумала. Ему известно со слов вольноотпущенника, который рабом был в числе домашней прислуги Германика, что Агриппина почему-то верит, будто Ливия и Тиберий ответственны за смерть ее трех братьев и изгнание сестры, и поклялась отомстить за них. Сеян стал один за другим раскрывать заговоры против Тиберия и держал его в постоянном страхе перед убийцами, в то же самое время уверяя его, что пока он, Сеян, на страже, нет ни малейших причин для тревоги. Он подстрекал Тиберия противоречить Ливии по пустякам, чтобы показать, что она переоценила свои силы. Не кто иной, как Сеян, несколько лет спустя собрал гвардию воедино и навел в ней дисциплину. До тех пор три гвардейских батальона, размещенные в Риме, были расквартированы по подразделениям в разных частях города — в постоянных домах и подобных местах, и их с трудом могли собрать на плац; они были неопрятны в одежде, расхлябаны в движениях. Сеян сказал Тиберию, что, если построить для гвардейцев общий постоянный лагерь за пределами Рима, это их объединит, помешает воздействию слухов, не даст погрузиться в волны политических страстей, бушующих в городе, и крепче привяжет их к своему императору. Тиберий пошел еще дальше: он отозвал остальные шесть гвардейских батальонов, размещенные в других частях Италии, и построил лагерь, вместивший их всех — девять тысяч пехотинцев и две тысячи кавалеристов. Помимо четырех городских батальонов, один из которых он отослал в Лион, и поселений отставных ветеранов, это были единственные солдаты в Италии. Германские телохранители не шли в счет, так как считались рабами. При всем том это были отборные воины, более преданные императору, чем любой свободнорожденный римлянин. Среди них не нашлось бы ни одного человека, который действительно хотел бы вернуться в свою холодную, невежественную, варварскую страну; хотя они без конца распевали хором печальные песни о родине, германцы прекрасно проводили время и здесь.

Что касается уголовных досье, к которым Тиберию из-за страха перед покушениями на его жизнь так горячо хотелось получить доступ, то Ливия по-прежнему делала вид, будто ключ шифра утерян. Тиберий по совету Сеяна сказал ей, что, поскольку от них никому нет никакого прока, он их сожжет. Ливия ответила, что он может поступать, как хочет, но все же разумнее их не трогать — вдруг ключ найдется. Возможно, она сама его вспомнит.

«Прекрасно, матушка, — сказал Тиберий, — а пока ты не вспомнишь, я возьму эти бумаги на сохранение и попробую вечерами сам их расшифровать». И вот Тиберий взял досье к себе в комнату и запер в шкаф. Он очень старался найти ключ к шифру, но это оказалось ему не по силам. В простом шифре писалось латинское «Е» вместо греческой «альфы», латинское «F» — вместо греческой «беты», «G» — вместо «гаммы», «H» — вместо «дельты» и так далее. Ключ сложного шифра разгадать было почти невозможно. Для него были использованы первые сто строк первой книги «Илиады», которые надо было читать одновременно с написанием

текста; при этом каждая буква заменялась цифрой, равной числу букв алфавита между нею и соответствующей ей буквой у Гомера. Так, первая буква первого слова первой строки первой книги «Илиады» — «мю». Предположим, первая буква первого слова в некоем досье — «ипсилон». В греческом алфавите между «мю» и «ипсилоном» находится семь букв, поэтому вместо «ипсилон» будет написана цифра «7». При этом алфавит представляется в виде круга, где «омега» — последняя буква — следует за «альфой», первой, так что расстояние между «ипсилоном» и «альфой» будет «4», а между «альфой» и «ипсилоном» — «18». Эта система была придумана Августом, и, должно быть, требовалось немало времени, чтобы при ее помощи писать и расшифровывать, но я думаю, Август и Ливия постепенно набили руку и помнили, не считая, расстояние между любыми двумя буквами алфавита, что сэкономило не один час. Как я об этом узнал? Много-много лет спустя, когда эти досье перешли в мое владение, я сам нашел ключ. Мне случайно попался на глаза среди прочих свиток первой книги «Илиады». Было ясно, что изучались здесь только первые сто строк, потому что в начале пергамент был замусолен и покрыт пятнами, а в конце совершенно чист. Когда я присмотрелся внимательнее, я увидел крошечные цифры — «6», «23», «21», — еле заметно нацарапанные под буквами первой строки, и сразу догадался, что здесь и есть ключ к шифру. Меня удивило, что Тиберий не обратил внимания на эту путеводную нить.

Кстати, об алфавите. Я в то время как раз раздумывал о том, как самым простым образом сделать латынь по-настоящему фонетическим языком. Я считал, что в латинском алфавите не хватает трех букв. А именно: буквы для обозначения согласного «U», которая отличала бы этот звук от гласного «U»; буквы, соответствующей греческому «ипсилону» (гласный звук, средний между латинскими «I» и «U»), которой бы можно было пользоваться в латинизированных греческих словах, и буквы, обозначающей двойной согласный звук, который мы передаем на письме при помощи сочетания «BS», но произносим, как греческое «пси». Важно, писал я, чтобы жители провинций, изучающие латинский язык, учили его правильно; если буквы не будут соответствовать звукам, как им избежать ошибок в произношении? Поэтому я предложил для передачи согласного «U» использовать перевернутое «F» (которое используется с этой целью в этрусском языке), то есть писать LAF INIA вместо LAUNIA; половинку «H» — для обозначения греческого «ипсилон», то есть B-IBLIOTHECA вместо BIBLIOTHECA, и перевернутое «C» — для обозначения «BS», то есть A3QUE вместо ABSQUE. Последняя буква не была так уж важна, но первые две, на мой взгляд, были весьма существенны. Я предложил взять половинку «H» и перевернутые «F» и «C» потому, что это облегчило бы дело для всех тех, кто пользуется штампованными буквами из металла или глины — им не пришлось бы заказывать новые литеры. Я обнародовал свою книжицу, и человека два сказали, что в моих предложениях есть свой смысл, но, естественно, все это ни к чему не привело. Мать заявила, что может назвать три вещи, которые не осуществляются ни за что на свете: никогда через залив между Байями и Путеолами не протянется улица с лавками, никогда я не покорю остров британцев, и никогда ни одна из моих нелепых букв не появится в публичных надписях в Риме. Я не забыл ее слов, так как они имели свое продолжение.

Я сильнее обычного раздражал мать в эти дни потому, что наш дом все никак не могли достроить, а мебель, которую я купил, была хуже старой, и потому, что состояние матери сильно уменьшилось, ведь ей пришлось взять на себя часть расходов — даже отдай я все, что имел, моих денег все равно не хватило бы. В течение двух лет мы жили в императорском дворце (наши покои оставляли желать лучшего), и мать так часто срывала на мне дурное настроение, что под конец я не выдержал и уехал из Рима в свое поместье под Капуей; я приезжал в город лишь тогда, когда этого требовали мои обязанности жреца, что бывало не часто. Вы

спросите меня про Ургуланиллу. Она никогда не появлялась в Капуе, да и в Риме мы почти не общались друг с другом. Она едва здоровалась со мной, когда мы встречались, и не обращала на меня никакого внимания, разве что при гостях, чтобы соблюсти приличия; спали мы порознь. Она, по-видимому, любила нашего сына Друзилла, но это ни в чем практически не выражалось: его растила моя мать, которая вела все хозяйство и никогда не прибегала к помощи Ургуланиллы. Мать относилась к Друзиллу как к собственному сыну, казалось, она постепенно забыла, кто на самом деле его родители. Я так и не смог заставить себя полюбить Друзилла; это был угрюмый, вялый, грубый ребенок, а мать так часто ругала меня при нем, что он стал относиться ко мне без всякого уважения.

Я не знаю, как Ургуланилла проводила свои дни, но не похоже было, что ей скучно, ела она с превеликим аппетитом и, насколько мне известно, не имела тайных любовных связей. У этого странного существа все же была одна страсть — Нумантина, миниатюрное белокурое воздушное создание, жена моего шурина Сильвана, которая когда-то сказала или сделала что-то (я ничего об этом не знаю), что проняло мою толстокожую жену и коснулось того, что служило ей сердцем. В будуаре Ургуланиллы висел портрет Нумантины в натуральную величину, и если у нее не было возможности любоваться самой Нумантиной, она, по-моему, сидела часами перед портретом, любясь ее изображением. Когда я переехал в Капуу, Ургуланилла осталась в Риме с моей матерью и Друзиллом.

Единственным недостатком Капуи для меня было отсутствие хорошей библиотеки. Правда, для книги, над которой я начал работать — «История Этрурии», — библиотека была не нужна. Я к этому времени сделал уже неплохие успехи в этруском языке, и Арунт, у которого я каждый день проводил по несколько часов, очень мне помог, разрешив пользоваться архивами своего полуразрушенного храма. Он рассказал мне, что он родился в тот самый день, когда на небе появилась комета, предвещавшая начало десятого — и последнего — цикла развития этруской расы. Цикл для этрусов — это период, исчисляемый самой долгой жизнью, другими словами, цикл не кончается до смерти последнего человека, который был жив во время празднества по поводу окончания предыдущего цикла. Обычно цикл равняется ста годам с небольшим. Так вот, сейчас шел последний цикл, и когда он кончится, этруский перестанет существовать как живой язык. Предсказание это, можно сказать, уже осуществилось, так как у Арунта не было преемника, а крестьяне-этруски даже дома говорили по-латински. Поэтому Арунт с радостью помогал мне писать «Историю этрусов», ведь я, как он сказал, воздвигал мавзолей традициям некогда великой нации. Я начал эту работу на второй год царствования Тиберия и закончил двадцать один год спустя. Я считаю ее своей лучшей работой, во всяком случае, трудился я над ней более чем усердно. Насколько мне известно, об этрусках не написано больше ни одной книги, а они были, поверьте мне, весьма интересным народом, так что, я думаю, будущие историки скажут мне спасибо.

Я взял с собой Каллона и Палланта и вел спокойную, размеренную жизнь. Меня занимало хозяйство на примыкавшей к вилле ферме, и я с удовольствием принимал у себя друзей, время от времени приезжавших ко мне отдохнуть. Со мной жила женщина, по имени Акте, профессиональная проститутка, честная и порядочная женщина. У нас не было ни одной размолвки за все пятнадцать лет, что мы прожили вместе. Мы заключили чисто деловой союз. Акте сознательно выбрала проституцию своей профессией, я хорошо ей платил, и она не позволяла себе никаких глупостей. В известном смысле мы даже питали нежность друг к другу. Наконец Акте сказала, что скопила достаточно денег и хочет оставить свою работу. Она выйдет за приличного человека, старого солдата, который был у нее на примете, поселится в одной из провинций и народит детей, пока еще не поздно. Ей всегда хотелось иметь полный дом детей. Поэтому я поцеловал ее на прощание и дал ей в приданое

достаточно денег, чтобы она не испытывала никаких затруднений. Однако прежде чем уехать, Акте нашла себе преемницу, за которую могла поручиться, что та будет относиться ко мне хорошо. Она привела ко мне Кальпурнию, настолько на нее похожую, что, наверное, та была ее дочерью. Акте однажды упомянула, что у нее есть дочь, которую ей пришлось отдать на попечение чужих людей, потому что нельзя быть проституткой и матерью одновременно. Так вот, Акте вышла замуж за бывшего гвардейца, который прекрасно с ней обращался, и родила ему пятерых детей. Я до сих пор слежу за их семьей. Я упомянул об этом только потому, что мои читатели могли задать себе вопрос, какова была моя личная жизнь, если я жил врозь с Ургуланиллой. По-моему, для нормального человека долго обходиться без женщины неестественно, и поскольку Ургуланилла никак не годилась для роли жены, меня, я думаю, нельзя винить за то, что я жил с Акте. Между мной и Акте было своего рода соглашение, что пока мы вместе, ни один из нас не будет иметь дело ни с кем другим. Вызвано оно было не сентиментальными чувствами, а медицинской предосторожностью: в Риме было много венерических болезней — между прочим, еще одно роковое наследство Пунических войн.

Хочу, кстати, заявить, что я никогда, ни в один период жизни, не занимался гомосексуализмом. И не из выдвинутых Августом соображений, будто это мешает иметь детей, столь необходимых государству. Просто мне всегда было стыдно и противно смотреть, как взрослый мужчина, возможно судья и отец семейства, нежно сюсюкает с пухленьким размалеванным мальчиком в браслетах на руках и ногах или какой-нибудь убеленный сединами сенатор изображает Венеру перед высоченным Адонисом из гвардейцев-кавалеристов, который терпит старого дурака только потому, что у того есть деньги.

Когда я был вынужден бывать в Риме, я оставался там как можно меньше времени. Мне было не по себе в атмосфере Палатинского холма; вполне возможно, я чувствовал все растущий разлад между Тиберием и Ливией. Тиберий начал строить для себя огромный дворец на северо-западном склоне и еще до того, как закончили верхний этаж, переселился в нижние апартаменты, оставив дворец Августа в единоличное владение матери. Словно желая показать, что новый дворец Тиберия, хоть и в три раза больше старого, никогда не будет иметь такого же веса в глазах римлян, Ливия поместила в парадном зале великолепную статую Августа и хотела было — как верховная жрица его культа — пригласить всех сенаторов с женами на ритуальный пир. Но Тиберий сказал ей, что ему надо испросить согласие сената, это дело государственное, а не просто светское развлечение. Он так направил дебаты, что сенат постановил проводить празднество одновременно в двух местах: сенаторы во главе с Тиберием пировали в парадном зале, а их жены во главе с Ливией — в соседней большой комнате. Ливия проглотила обиду, сделав вид, что вовсе не обижается и все устроено разумно, согласно с тем, чего пожелал бы и сам Август, но приказала дворцовому повару сперва подавать кушанья женщинам, поэтому им достались лучшие куски и лучшие вина. Кроме того, она забрала для своего стола самые ценные золотые блюда и кубки. Так что Ливии удалось на этом пиру взять верх, и сенаторские жены хорошо позабавились за счет Тиберия и своих мужей.

Была и еще одна причина, по которой мне бывало не по себе, когда я приезжал в Рим, — я постоянно встречался с Сеяном. Мне было крайне неприятно общаться с ним, хотя он всегда бывал подчеркнуто любезен и ни разу не причинил мне явного зла. Меня удивляло, как человек с его лицом и манерами, низкорощенный, не прославленный воинской доблестью и даже не особенно богатый, мог добиться такого огромного успеха в Риме — он был сейчас второй по значению персоной после Тиберия — и такой популярности в гвардии. Его лицо — хитрое, жестокое, с неправильными чертами, на котором, правда, была написана своего рода животная храбрость и твердость характера, — не вызывало никакого доверия. Что удивляло

меня еще больше: по слухам, несколько высокорожденных римлянок оспаривали друг у друга его любовь. Сеян плохо ладил с Кастором, что было вполне естественно, так как поговаривали, будто Сеян и Ливилла нашли между собой общий язык. Но Тиберий, по-видимому, полностью ему доверял.

Я уже упоминал о Брисеиде, старой вольноотпущеннице моей матери. Когда я сообщил ей, что уезжаю из Рима и поселяюсь в Капуе, она сказала, что будет сильно по мне скучать, но поступаю я разумно.

— Мне приснился про тебя странный сон, господин Клавдий, прошу прощения за дерзость. Ты был маленьким хромым мальчиком; в ваш дом залезли грабители и убили твоего отца, его родных и друзей, но маленький хромоножка вылез через окно в кладовой и заковылял в ближний лес. Он залез на дерево и стал ждать. Грабители вышли из дома и, усевшись под деревом, где он прятался, начали делить добычу. Вскоре они принялись ссориться из-за того, кому что достанется, один из них был убит, затем еще двое; оставшиеся стали пить вино, словно они снова друзья, но вино было отравлено одним из убитых грабителей, так что все они умерли в страшных мучениях. Хромоножка слез с дерева и собрал все сокровища; он нашел среди них много золота и драгоценных камней, украденных в других домах, но он все забрал себе и стал очень богат.

Я улыбнулся:

— Странный сон, Брисеида. Но мальчик остался хромым, и все это богатство не могло вернуть к жизни его отца и родных.

— Нет, голубок, но, возможно, он женился, и у него появилась своя семья. Так что выбери себе хорошее дерево, господин Клавдий, и не слезай с него, пока последний грабитель не умрет. Вот о чем мой сон.

— Я не слезу вниз даже тогда, когда ни одного из них не останется в живых, если мне это удастся, Брисеида. Мне не по вкусу ворованные вещи.

— Ты всегда можешь вернуть их владельцам, господин Клавдий.

В свете того, что случилось в дальнейшем, все это звучит весьма знаменательно, впрочем, я не очень верю снам. Афинодору однажды приснилось, что в лесу возле Рима в норе барсука лежит сокровище. Он нашел это место, хотя никогда раньше там не был, и в склоне холма действительно был ход, ведущий в нору. Афинодор нанял двух местных жителей, чтобы они разрыли землю и добрались до норы, но что, вы думаете, они нашли там? Сгнивший от времени кошелек, где лежало шесть позеленевших медных монеток — недостаточно даже, чтобы заплатить крестьянам за работу. А одному из моих арендаторов, хозяину лавки, однажды приснилось, будто над его головой кружится стая орлов, а затем один садится ему на плечо. Лавочник счел это предзнаменованием того, что он когда-нибудь станет императором, но случилось совсем другое — на следующий день к нему явился наряд гвардейцев (у них были орлы на щитах) и арестовал его за какое-то преступление, подлежащее рассмотрению военного суда.

Глава XVIII

16 г. н. э.

Однажды в летний полдень я сидел на каменной скамье позади конюшни у себя на вилле, обдумывая какую-то проблему этрусской истории и кидая кости — правая рука против левой — на грубом деревянном столе. Ко мне подошел какой-то человек в отрепьях и спросил, не я ли Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, сын Германика и племянник императора Тиберия; его направили сюда из Рима, сказал он.

— Мне поручили тебе кое-что передать. Я не знаю, насколько это важно, но я — старый солдат, служил еще у твоего отца, брожу с места на место, ищу работу, и, знаешь, как это бывает, я рад, когда у меня есть предлог пойти куда-то, а не просто

куда глаза глядят.

— Кто дал тебе это поручение?

— Человек, которого я встретил в лесу возле мыса Коза. Станный малый. Одет он был, как раб, а говорил, как император. Высокий, крепко скроенный, молодой, но полумертвый от истощения.

— Как он себя назвал?

— Никак. Он сказал, когда я все тебе передам, ты и сам догадаешься, кто он, и очень удивишься, получив от него весть. Он заставил меня два раза повторить его слова — хотел убедиться, что я все правильно запомнил. Он велел сказать тебе, что он по-прежнему удит рыбу, но на одной рыбе долго не проживешь, и что ты должен передать это его шурина, и что если ему и посылали молоко, он его не получил, и что он хочет почитать книжечку, хотя бы в семь страниц. И чтобы ты ничего не делал, пока он снова не пришлет тебе весточку. Есть ли в этом смысл или этот парень не в своем уме?

Я не мог поверить своим ушам. Постум! Но ведь Постум мертв.

— У него выступающий подбородок, голубые глаза, и когда он задает вопрос, он склоняет голову набок, да?

— Точно так.

Я налил ему вина; руки у меня так тряслись, что половина пролилась. Затем, сделав знак подождать, вернулся в дом. Я нашел две простые, но крепкие тоги, нижнее белье, сандалии, две бритвы и мыло, потом взял первую попавшуюся под руку книгу — то оказался экземпляр последних речей Тиберия, обращенных к сенату, — и на седьмой странице написал молоком: «Какая радость! Я сразу же сообщу Г. Будь осторожен. Пришли за всем, что тебе нужно. Где я могу тебя увидеть? Приветствую тебя от всего сердца. Посылаю двадцать золотых — все, что у меня сейчас есть, но тот, кто спешит подарить, дары дарует двойные».

Когда бумага просохла, я дал солдату узел, куда завернул одежду, книгу и кошелек.

— Возьми эти тридцать золотых, — сказал я, — десять — тебе, двадцать — для человека в лесу. Принеси от него ответ, и ты получишь еще десять золотых. Но держи язык за зубами и возвращайся как можно быстрее.

— Не сомневайся, — сказал он. — Я тебя не подведу. Но что может помешать мне уйти совсем с этим узлом и всеми деньгами?

— Если бы ты был мошенником, ты не задал бы этот вопрос. Так что давай выпьем с тобой еще, и отправляйся.

Короче говоря, солдат ушел с деньгами и узлом и через несколько дней принес мне устный ответ от Постума: он благодарил меня за деньги и одежду, говорил, что не надо искать его, — где он, знает мать Крокодила, а зовут его теперь Пантер, и что он с нетерпением ждет, когда я передам ему ответ шурина. Я заплатил старому солдату десять золотых, которые обещал, и еще десять — за верность. Я понял, что Постум хотел сказать словами «мать Крокодила». Крокодил был старый вольноотпущенник Агриппы, которого мы звали так за его вялость, жадность и огромный рот. Его мать жила в Перузии, держала там гостиницу. Я хорошо знал это место. Я тут же написал Германику письмо, где сообщил ему свою новость: я отправил его с Паллантом в Рим и велел с ближайшей почтой переслать в Германию. В письме я сказал лишь, что Постум жив и прячется — я не сказал где, — и умолял Германика сразу же ответить мне, как только он получит письмо. Я ждал и ждал, но ответ не пришел. Я написал снова, подробнее, — по-прежнему никакого ответа. Я передал матери Крокодила, что Постуму от шурина пока ничего нет.

Больше я от Постума не получал никаких вестей. Он не хотел подвергать меня дальнейшей опасности, а имея деньги и возможность передвигаться с места на место без риска, что его арестуют, как беглого раба, он мог обойтись и без моей

помощи. Кто-то в гостинице узнал его, и ему пришлось уехать оттуда, чтобы не искушать судьбу. Вскоре слух о том, что Постум жив, распространился по всей Италии. В Риме только об этом и говорили. Человек десять, не меньше, в том числе три сенатора, приехали ко мне из Рима, чтобы конфиденциально спросить, действительно ли это так. Я сказал, что сам я Постума не видел, но разговаривал с тем, кто с ним встречался, и у меня не осталось сомнений в том, о ком у нас шла речь. Я, в свою очередь, спросил их, что они намерены делать, если Постум придет в Рим и получит поддержку римских граждан. Но прямота моего вопроса смутила и испугала их, и ответа я не дождался.

Сообщали, что Постум побывал в нескольких небольших городках в окрестностях Рима, но, по-видимому, он остерегался появляться там до наступления темноты и всегда покидал их, переодетый, до рассвета. Его ни разу не видели в публичном месте, он ночевал в какой-нибудь гостинице и оставлял записку с благодарностью за приют, подписанную его настоящим именем. Наконец однажды Постум высадился с небольшого каботажного судна в Остии. В порту за несколько часов уже было известно об его прибытии, и когда он ступил на берег, его ждала торжественная встреча. Постум избрал Остию, потому что летом там стоял римский флот, которым в свое время командовал его отец Агриппа. На мачте его суденышка развевался зеленый вымпел — Август дал Агриппе (и его сыновьям после его смерти) право поднимать на море этот вымпел в честь победы Агриппы при Акции. Память Агриппы чтили в Остии чуть ли не больше, чем память Августа.

Жизнь Постума была в опасности, поскольку изгнания ему никто не отменял, и открытое появление в Италии ставило его вне закона. Теперь он коротко поблагодарил толпу за радушный прием. Он сказал, что если судьба будет милостива к нему и он снова завоюет уважение римского сената и народа, уважение, которого он лишился из-за лживых обвинений, выдвинутых против него врагами, — его дед, божественный Август, слишком поздно понял, насколько они лживы, — он сторицей воздаст гражданам Остии за их верность. До Ливии и Тиберия каким-то образом дошли слухи обо всем этом, и они послали в Остию роту гвардейцев с приказом арестовать Постума. Но у солдат не было никаких шансов справиться с толпой моряков. Ротный благоразумно даже и не пытался исполнить распоряжение; он велел двум своим людям переодеться моряками и не сыскать с Постума глаз. Но к тому времени, как они переоделись, Постум исчез, и они не смогли напасть на его след.

На следующий день в Риме было полно моряков; они пикетировали главные улицы и, когда встречали всадника, сенатора или какое-нибудь официальное лицо, спрашивали у них пароль. Пароль был «Нептун», и, если те его не знали, их заставляли под угрозой побоев три раза его повторить. Побоев никто не хотел, и вскоре всеобщие симпатии стали склоняться на сторону Постума. Если бы Германик произнес хоть одно поощрительное слово, весь город, включая гвардию и городские батальоны, тут же поднялся бы против Тиберия и Ливии. Но без одобрения Германика помощь Постуму означала бы гражданскую войну. А мало кто верил, что у Постума будут шансы победить, если ему придется сражаться с Германиком.

Положение было критическим, и тут тот самый Крисп, который за два года до этого возбудил недовольство Тиберия (но был прощен), убив на острове Клемента, вызвался искупить свою вину, захватив на этот раз Постума. Тиберий предоставил ему свободу действий. Крисп каким-то образом обнаружил, где находится штаб-квартира Постума, и, отправившись к нему с большой суммой денег якобы для того, чтобы Постум мог заплатить морякам, потерявшим два дня на пикетирование улиц, пообещал переманить на его сторону германских телохранителей, как только Постум подаст сигнал. Он уже хорошо «подмазал» их, сказал Крисп. Постум ему поверил. Они договорились о встрече в два часа после полуночи на углу

определенной улицы, куда должны были сойтись также и моряки. Все вместе они пойдут ко дворцу Тиберия. Крисп прикажет телохранителям пропустить Постума. Тиберия, Кастора и Ливию арестуют, а Сеян, сказал Крисп, хотя и не участвует активно в заговоре, берется склонить гвардию к поддержке новой власти, как только будет нанесен первый успешный удар, — при условии, что он сохранит свой пост.

Моряки точно пришли к месту встречи, но Постум не появился. Улицы в это время были пустынные, и когда объединенные отряды германских телохранителей и отборных гвардейцев Сеяна внезапно напали на моряков — в большинстве своем пьяных и не построившихся в боевой порядок, — пароль «Нептун» потерял свою силу. Многие моряки были убиты на месте, еще больше — в то время, как они бежали с поля боя; говорят, спаслись лишь те, кто ни разу не остановился, пока не добрался до Остии. Крисп и двое солдат подстергали Постума в узком переулке между его штаб-квартирой и местом встречи, оглушили, стукнув мешком с песком по голове, засунули в рот кляп, связали, положили на закрытые носилки и отнесли во дворец. На следующий день Тиберий сделал заявление сенату. Некий раб Постума Агриппы по имени Клемент, сказал он, вызвал в Риме напрасную тревогу, выдав себя за своего бывшего, ныне покойного, хозяина. Этот дерзкий субъект сбежал от всадника, купившего его при продаже имущества Постума, и прятался в лесу на побережье Тоскании, пока не отрастил бороду, скрывшую его срезанный подбородок — основное различие между ним и Постумом. Некоторые буяны моряки сделали вид, что поверили ему, но это был лишь предлог, чтобы отправиться в Рим и устроить там беспорядки. Сегодня они собрались перед рассветом на окраинах Рима, чтобы идти под предводительством Клемента в центр города, грабить там лавки и частные дома. Встретив сопротивление городской стражи, моряки разбежались, бросив своего вожака; тот уже казнен, так что сенаторам не о чем больше беспокоиться.

Позднее я слышал, что Тиберий сделал вид, будто не узнает Постума, когда того привели во дворец, и с усмешкой спросил его:

— Как это тебе повезло стать цезарем?

На что Постум отвечал:

— Так же, как и тебе, и в тот же самый день. Ты забыл?

Тиберий велел рабу ударить Постума по губам за дерзость, а затем его вздернули на дыбу и велели назвать своих сообщников. Но он лишь рассказывал скандальные истории из личной жизни Тиберия, настолько отвратительные и с такой массой подробностей, что Тиберий вышел из себя и своими огромными костлявыми кулаками превратил его лицо в лепешку. Солдаты закончили кровавую работу в подвалах дворца, обезглавив Постума и разрубив его тело на куски.

Что может быть печальнее, чем оплакивать убитого друга, причем убитого в конце долгого и незаслуженного изгнания, а затем, с радостью и изумлением услышав, что ему каким-то неведомым образом удалось перехитрить своих палачей, оплакивать его во второй раз — теперь уже без надежды на ошибку, так и не повидавшись с ним, предательски схваченным, подвергнутым пыткам и столь же позорно умерщвленным. Меня утешала лишь мысль, что, как только Германик обо всем этом услышит — а я сразу же ему напишу, — он прервет кампанию в Германии и, сняв с Рейна часть войск, пойдет маршем на Рим, чтобы отомстить Ливии и Тиберию за смерть Постума. Я написал, но не получил ответа; я снова написал, ответа по-прежнему не было. Но вскоре от Германика пришло длинное нежное письмо, где между прочим он с удивлением спрашивал, как Клементу удалось с таким успехом сыграть роль Постума — он просто не может себе это представить. Мне стало ясно, что ни то, ни другое из этих писем до него не дошло; в единственном, которое он получил, отосланном вместе со вторым из них, я писал о деталях одного дела, которым Германик просил меня заняться, и теперь он благодарил меня за сведения — это было именно то, что ему нужно. Меня охватил ужас: я понял, что

Ливия или Тиберий перехватили остальные письма.

У меня всегда был слабый желудок, а страх перед ядом в каждом кушаний не делал его крепче. Я снова стал заикаться, и у меня начались приступы афазии — внезапной потери речи, что ставило меня в смешное положение: если приступ начинался в то время, как я говорил, я не мог закончить фразы. Самым неприятным в этом было то, что это мешало мне как следует исполнять обязанности жреца Августа, а до сих пор я ни у кого не вызывал нареканий. По заведенному с давних пор обычаю, если при жертвоприношении или другой службе в обряде допускается ошибка, все начинают с самого начала. А теперь часто случалось, что во время богослужения я сбивался, читая молитву, и, сам того не замечая, повторял несколько фраз два-три раза или брал в руки каменный нож для жертвоприношения, не посыпав голову жертвы ритуальной мукой и солью, — а это значило, что все надо было проделать заново. Было утомительно вновь и вновь возвращаться к началу церемонии, прежде чем доберешься без ошибки до конца, и верующие начинали беспокоиться. Наконец я написал Тиберию, бывшему великим понтификом, и попросил освободить меня на год от моих религиозных обязанностей по причине плохого здоровья. Он удовлетворил просьбу без всяких комментариев.

Глава XIX

16 г. н. э.

Третий год войны против германцев принес Германику еще больший успех, чем первые два. Он разработал новый план кампании, который позволял ему захватить противника врасплох и избавлял солдат от опасных и изнурительных переходов. Заключался он в следующем: построить на Рейне флот чуть не в тысячу транспортных судов, погрузить на них большую часть солдат и поплыть сначала по реке, затем через канал, который некогда прорыл наш отец, по голландским озерам и по морю до устья Эмса. Здесь Германик предполагал поставить суда на якорь у ближайшей отмели — все, за исключением нескольких, которые должны были служить в качестве наводного моста. Он собирался атаковать племена, жившие за Везером, речкой, текущей параллельно Эмсу, в пятидесяти милях за ним, на которой кое-где были броды. План этот осуществился до мельчайших подробностей.

Когда авангард достиг Везера, римляне обнаружили, что на противоположном берегу их поджидает Германн и несколько союзных вождей. Германн крикнул: «Кто вами командует — Германик?». Когда ему ответили «да», он спросил, не передадут ли Германику от него несколько слов, а именно: «Германн от всей души приветствует Германика и просит разрешения поговорить со своим братом». Речь шла о брате Германна, которого звали по-германски Голдкопф или наподобие этого; во всяком случае, имя его звучало так варварски, что его невозможно было передать латинскими буквами, — вроде того, как «Германна» мы превратили в «Арминия», а «Зигмира» — в «Сегимера», — поэтому его перевели на латынь, и Голдкопф стал зваться Флавием, что тоже значит «золотоголовый». Флавий много лет служил в римской армии и, еще находясь в Лионе во время разгрома Вара, заявил, что по-прежнему верен Риму, и отрекся от своего брата-предателя, оборвав с ним все семейные связи. На следующий год он храбро сражался в войсках Тиберия и Германика и потерял во время этой кампании глаз.

Германик спросил Флавия, хочет ли он побеседовать с братом. Флавий ответил, что особого желания он не имеет, но вдруг тот заявит о капитуляции. И вот братья принялись перекрикиваться через реку. Германн начал разговор по-германски, но Флавий сказал, что если он не станет говорить по-латыни, разговора не будет совсем. Германн не хотел говорить по-латыни, боясь, как бы другие вожди, не знавшие этого языка, не обвинили его в предательстве, а Флавий опасался того же со стороны

римлян, не понимавших по-германски. Вместе с тем Германн хотел произвести впечатление на римлян, а Флавий — на германцев. Германн старался придерживаться родного, а Флавий — латинского языка, но по мере того, как они входили в раж, из обоих этих языков получилась такая чудовищная мешанина, что слушать братьев, писал мне Германик, было все равно что смотреть комедию. Цитирую по полученному от него письму.

Германн: «Привет, брат. Что с твоим лицом? Как тебя изуродовал этот шрам! Потерял глаз?»

Флавий: «Да, брат. Ты его случайно не подобрал? Я потерял его в тот день, когда ты стремглав ускакал из леса, заляпав щит грязью, чтобы Германик тебя не узнал».

Германн: «Ты ошибаешься, брат. Спутал меня с кем-то другим. Ты, верно, тогда опять напился. Ты вечно трясся от страха перед битвой, пока не вливал в себя хоть один галлон пива, и когда звучал боевой сигнал, тебя надо было привязывать к седлу».

Флавий: «Это, понятно, враки. Но уж если об этом зашла речь, что за мерзкое варварское пойло, это ваше германское пиво. Я никогда теперь его не пью, даже если в лагерь привозят груды бочек из захваченных деревень. Наши солдаты пьют его, только когда у них нет другого выхода; они говорят, оно все же лучше, чем болотная вода, отравленная трупами германцев».

Германн: «Да, мне тоже нравится римское вино. У меня еще осталось несколько сотен кувшинов из тех, что я захватил у Вара. Этим летом я пополню свои запасы, если Германик не будет начеку. Между прочим, какую ты получил награду за то, что лишился глаза?»

Флавий (*важно*) : «Личную благодарность главнокомандующего и три награды, в том числе венец и цепь».

Германн: «Ха-ха! Цепь! Ты носишь ее на лодыжках, ты — римский раб?»

Флавий: «Лучше быть рабом римлян, чем предателем по отношению к ним. Да, кстати, твоя милая Труснельда живет хорошо и твой мальчуган тоже. Когда ты придешь в Рим повидаться с ними?»

Германн: «В конце этой кампании, брат. Ха-ха!»

Флавий: «Ты хочешь сказать, когда тебя поведут во время триумфа за колесницей Германика и толпа станет забрасывать тебя тухлыми яйцами? Ну и посмеюсь же я!»

Германн: «Ты лучше посмейся заранее, потому что, не будь я Германн, если через три дня ты уже не сможешь смеяться! Но хватит болтать. У меня к тебе поручение от матери».

Флавий (*тут же становясь серьезным и глубоко вздыхая*) : «Ах, моя милая, милая матушка! Что она поручила мне передать? Со мной ли все еще ее священное благословение, брат?»

Германы: «Брат, ты ранил нашу благородную, мудрую и плодовитую мать до глубины души. Ведь ты предал семью, племя и германскую расу. Она говорит, что если ты не одумаешься и не перейдешь немедленно на нашу сторону, чтобы командовать войском вместе со мной, она лишит тебя своего благословения и проклянет на веки веков».

Флавий (*по-германски, разражаясь слезами ярости*) : «О, она не говорила этого. Германн! Она не могла этого сказать. Ты все придумал, чтобы сделать мне больно. Признайся, что это — ложь, Германн!»

Германн: «Она дает тебе два дня на размышление».

Флавий (*своему конюху*) : «Эй, ты, образина, ты, свинья, где мой конь и оружие? Я плыву на тот берег, буду сражаться с братом. Германн, подлый негодяй! Готовься к бою!»

Германн: «Что ж, я готов, ты, одноглазый пожиратель бобов, ты, раб!»

Флавий вскочил на коня и уже собирался войти в реку, как римский полковник схватил его за ногу и стащил с седла: он понимал по-германски и знал, с каким нелепым почтением германцы относятся к матерям и женам. А вдруг Флавий на самом деле дезертирует? Поэтому он стал уговаривать Флавия не обращать внимания на Германна и его враки. Но Флавий, хоть умри, хотел оставить за собой последнее слово. Он вытер глаз и крикнул: «Я видел твоего тестя на прошлой неделе. У него славное поместье возле Лиона. Он сказал мне, что Труснельда приехала к нему потому, что посчитала позорным быть женой человека, который нарушил торжественную клятву Риму и предал друга, за чьим столом он ел. Она сказала, что единственный способ вернуть ее уважение — не пускать в ход оружие, которое она дала тебе на свадьбе, против своих закадычных друзей. До сих пор она оставалась верна тебе, но если ты не образумишься, этому придет конец».

Наступил черед Германца рыдать, и бушевать, и обвинять Флавия во лжи. Германик назначил офицера, чтобы тот не спускал с Флавия глаз во время следующей битвы и при малейшем намеке на измену заколол бы его.

Германик писал редко, но если писал, письма его были длинные и он сообщал в них обо всех интересных и занимательных вещах, которые находил не совсем уместными для своих официальных отчетов Тиберию. Я жил этими письмами. Я ничуть не волновался за брата, когда он сражался с германцами: он вел себя с уверенностью опытного пасечника, который смело подходит к улью и вынимает соты, и пчелы почему-то его не жалят, как ужалили бы меня или вас. Через два дня после того, как римляне перешли вброд Везер, произошла решающая битва с Германном. Меня всегда интересовали речи перед битвой — ничто не проливает такой свет на характер военачальника. Германик не обращался к солдатам с горячими призывами, как опытный оратор, не развлекал их непристойными шутками, как Юлий Цезарь. Говорил он всегда очень серьезно, точно и по-деловому. В этот раз он повел речь о том, что он думает о германцах. Он сказал, что они не солдаты. У них есть показная храбрость, и они неплохо воюют всем скопом, как дикие быки, у них есть своего рода животная хитрость, поэтому не следует, сражаясь с ними, пренебрегать обычными мерами предосторожности. Но после первой яростной атаки они устают, они не знакомы с дисциплиной в истинном, военном значении этого слова, им известно лишь чувство соперничества. Вожди не могут рассчитывать на то, что воины сделают то, чего от них требуют: они делают или слишком много, или недостаточно. «Германцы, — сказал он, — самая наглая и хвастливая нация в мире, когда все идет хорошо, но стоит им потерпеть поражение, как они становятся трусливыми и жалкими. Остерегайтесь показывать германцу спину, но не бойтесь его, пока стоите с ним лицом к лицу. И это все, что о них стоит сказать, за исключением последнего: завтра сражаться нам придется вон в том лесу; судя по всему, врагов будет так много, что у них не хватит места для маневрирования. Нападайте, не обращая внимания на ассагаи, старайтесь драться врукопашную. Метьте им в лицо, они этого не любят больше всего».

Германн тщательно выбрал поле боя: сужающуюся лощину между Везером и грядой лесистых гор. Он хотел драться в узком конце лощины, где за спиной у него был большой лес из берез и дубов, справа — река, слева — горы. Германцы разделились на три отряда. Первый из них — молодые воины из местных племен, вооруженные ассагаями, — должен был выступить против передовых римских полков, которые, возможно, будут состоять из французов, и отбросить их. Затем, когда подойдут римские подкрепления, первый отряд выйдет из боя и сделает вид, будто они в панике спасаются бегством. Римляне будут преследовать их до гор, и тут второй отряд, состоящий из соплеменников Германца, кинется на них из засады на склоне и атакует их фланги. Это вызовет среди римлян переполох, и тогда на поле

боя вернется первый отряд, а следом за ним — третий, опытные взрослые воины из местных племен, и они загонят римлян в реку. Тем временем из-за гор примчатся германские конники и добьют противника с тыла.

Это был бы хороший план, если бы Германн командовал дисциплинированной армией. Но все расстроилось самым смехотворным образом. Германик приказал войскам идти в следящем порядке: сперва два полка французской тяжелой пехоты со стороны реки и два вспомогательных германских полка со стороны гор, затем пешие лучники, затем четыре регулярных полка, затем Германн с двумя гвардейскими батальонами и регулярная кавалерия, затем еще четыре регулярных полка, затем французские конные лучники и французская легкая пехота. Когда у горных отрогов показались германские вспомогательные отряды, Германн, наблюдавший за тем, как разворачиваются события, с вершины сосны, вскричал, обращаясь к племяннику, который стоял внизу, дожидаясь приказаний: «Вон идет мой брат-предатель! Он не должен выйти живым из этой битвы!» Глупый племянник выскочил вперед и с криком «Германн приказал немедленно начать атаку!» кинулся вниз, в лощину, с половиной племени. Германну с трудом удалось задержать остальных. Германик тут же выслал навстречу им регулярную кавалерию с приказом напасть на дурней с фланга прежде, чем они доберутся до солдат Флавия, и французских конных лучников, чтобы те отрезали им путь к отступлению.

Тем временем от леса наступал первый отряд германцев, но на их пути оказались соплеменники Германца под предводительством его племянника, отброшенные назад атакой римской кавалерии; поддавшись панике, местные воины тоже обратились в бегство. Третий отряд германцев, где были сосредоточены главные силы, вышел из леса, ожидая, что те остановятся и подернут на врага, согласно первоначальному плану. Но отступающие думали об одном: как уберечься от кавалерии — и продолжали бежать навстречу своим. И тут у римлян выиграло сердце — восемь орлов, вспугнутые вылазкой германцев, с громкими криками поднявшись над лощиной, все вместе устремились к лесу. Какое еще нужно было предзнаменование?! «За орлами! За римскими орлами!» — вскричал Германик. И вся армия подхватила его крик. Между тем Германн пошел в наступление и, захватив пеших лучников врасплох, нанес им довольно большой урон, но замыкающий полк французской пехоты развернулся и пришел лучникам на помощь. Армия Германна, состоявшая из пятнадцати тысяч человек, могла бы еще выиграть битву, разгромив французскую пехоту и тем самым вбив грозный клин между римским авангардом и основными силами. Но германцев слепило солнце, отражавшееся от оружия, нагрудников, шлемов и щитов наступавшей ряд за рядом регулярной римской пехоты, и они дрогнули. Большинство бросилось обратно к горам. Германн собрал тысячи две воинов, но этого было недостаточно, а тут как раз подоспели два эскадрона регулярной кавалерии и, атаковав бегущих германцев, помешали Германну отвести их в горы. Как он сам выбрался оттуда — никто не знает, но говорили, будто он поскакал к лесу и нагнал вспомогательный германский отряд, который шел в атаку. Тогда он закричал: «Посторонитесь, вы, быдло! Я — Германн!» Никто не осмелился его убить, ведь он был братом Флавия, а Флавий будет обязан во имя фамильной чести отомстить за его смерть.

Битва превратилась в резню. Основные силы германцев были охвачены с флангов и оттеснены к Везеру; многие сумели его переплыть, но далеко не все. Германик направил второй ряд регулярной пехоты развернутым строем в лес, и те прикончили местных воинов, скрывавшихся там в слабой надежде, что ход битвы внезапно переломится в их пользу. (Лучники хорошо поразвлекались, сбивая вниз германцев, которые забрались на самые верхушки деревьев и прятались в их листве). Всякое сопротивление прекратилось. Бойня продолжалась с девяти часов утра до семи вечера, когда уже начало темнеть. На десять миль вокруг поля битвы по лесам

и лощинам валялись трупы германцев. Среди пленных была мать Германна и Флавия. Она молила оставить ей жизнь, говоря, что всегда пыталась убедить Германна прекратить тщетное сопротивление римским завоевателям. Так что верность Флавия Риму была гарантирована.

Месяц спустя произошла еще одна битва в густом лесу на берегах Эльбы. Германн выбрал место для засады и расположил свои силы в определенном боевом порядке, что вполне могло привести его к успеху, если бы Германик не узнал обо всем этом от перебежчиков за несколько часов до боя. Теперь же не римлян прижали к реке, а германцев вытеснили из леса, где их было так много, что они не могли применить свою обычную тактику: напасть из-за угла, а затем спастись бегством. Их загнали в окружавшее лес болото, и там тысячи из них утонули, воя от ярости и отчаяния. Германн, который был ранен стрелой в предыдущей битве, не мог на этот раз быть в первых рядах. Но он продолжал упорно сражаться и, встретив случайно в лесу Флавию, пронзил его ассагаем. Германну повезло, и он благополучно пересек болото, на удивление ловко прыгая с кочки на кочку.

Германик велел свалить в одну огромно груды все захваченное у врага оружие и поместил на трофей следующую надпись: «Покорив племена между Рейном и Эльбой, армия Тиберия Цезаря посвящает этот памятник их победы Марсу, Юпитеру и Августу». Ни слова о себе. В этих двух битвах потери Германика не превышали двух с половиной тысяч человек убитыми и серьезно ранеными. Германцы потеряли, должно быть, не меньше двадцати пяти тысяч.

Германик решил, что за этот год сделано достаточно, и отправил солдат обратно на Рейн, часть — сушей, часть — на транспортных судах. И тут произошло несчастье: не успели суда сняться с якоря, как внезапно с юго-запада налетел шторм и разбросал суда по всем направлениям. Многие из них пошли ко дну, устья Везера достиг лишь тот корабль, на котором был сам Германик. Брат жестоко упрекал себя за потерю целой римской армии, называл себя вторым Варом и хотел прыгнуть в море, чтобы присоединиться к мертвецам. Друзья с трудом удержали его. Однако спустя несколько дней ветер переменился, и суда стали возвращаться одно за другим, почти все без весел, некоторые с парусами из плащей; менее пострадавшие суда по очереди тащили на буксире те, которые с трудом держались на плаву.

Германик немедленно приказал чинить поврежденные суда, а из тех, что были в лучшем состоянии, отправил, сколько мог, к близлежащим необитаемым островам на поиски уцелевших солдат. Их нашли не так мало, но все они были полумертвые от голода и выжили лишь благодаря моллюскам и мясу выкинутых волнами на берегдохлых лошадей. Многие сами пришли вдоль берега Рейна из более отдаленных мест, где заключившие не так давно союз с Римом местные жители отнеслись к ним с большим почтением. Около двадцати судов было прислано обратно царьками Кента и Сассекса — со времени завоевания Британии Юлием Цезарем за семьдесят лет до того она платила Риму номинальную дань. В результате Германик не досчитался всего четверти своих людей; около двухсот из них попали в рабство — их обнаружили годы спустя в юго-западной части Британии и освободили из оловянных рудников, где их принудили работать.

Когда германцы впервые слышали о гибели римского флота, они решили, что их боги отомстили за них. Они опрокинули трофейную пирамиду и даже начали толковать о походе на Рейн. Но Германик нанес им неожиданный удар: он отправил шестьдесят пехотных батальонов и сто кавалерийских эскадронов против племен в верховьях Везера, а сам с восьмьюдесятью батальонами и второй сотней кавалерийских эскадронов пошел походом против племен, живущих между нижним Рейном и Эмсом. Обе операции увенчались успехом и, что было важнее, чем уничтожение многих тысяч германцев, — в подземном храме в лесу был найден орел Двадцать шестого полка и с триумфом оттуда унесен. Теперь лишь один орел —

Двадцать пятого полка — оставался в руках германцев, и Германик обещал солдатам, что на следующий год, если он по-прежнему будет командующим, они вызволят и его. А пока что он отправил войска обратно на зимние квартиры.

И тут Тиберий прислал письмо, настоятельно предлагая Германику возвратиться домой и отпраздновать назначенный ему триумф — он сделал вполне достаточно. Германик ответил, что не успокоится, пока не сломит полностью сопротивление германцев, для чего теперь нужно всего несколько сражений, и не вернет третьего орла. Тиберий написал ему, что для Рима такое количество убитых и тяжелораненых слишком велико, даже если это является ценой блестящих побед; он не подвергает сомнению полководческий талант Германика, в битвах Германик потерял совсем немного людей, но потери между битвами и во время шторма равняются двум полкам, а это больше, чем Рим может допустить. Тиберий напомнил Германику, что его самого Август девять раз отправлял в Германию и он знает, о чем говорит. А его мнение таково: смерть десяти германцев не стоит жизни одного римлянина. Германия похожа на гидру: чем больше голов отрубишь, тем больше новых вырастет. Лучший способ управлять германцами — играть на межплеменных междоусобицах и раздувать войну между вождями соседних племен, пусть убивают друг друга без посторонней помощи. Германик написал еще одно письмо, умоляя дать ему всего лишь год для окончательного разгрома германцев, но Тиберий отвечал, что Германик нужен в Риме в качестве консула, к тому же — здесь Тиберий затронул его самую чувствительную струну — Германик не должен забывать о своем названом брате Касторе. Германия сейчас единственная страна, где ведутся серьезные боевые действия, и если Германик обязательно хочет сам закончить германскую войну, у Кастора не останется никаких шансов получить триумф или звание главнокомандующего. Больше Германик не настаивал; желание Тиберия — для него закон, ответил брат, как только ему будет обеспечена смена, он вернется. Германик прибыл в Рим ранней весной и отпраздновал свой триумф. Все население вышло за пределы города, чтобы приветствовать его.

17 г. н. э.

В ознаменование возвращения орлов возле храма Сатурну была воздвигнута огромная арка, и триумфальное шествие прошло под ней. Ехали повозки, доверху груженные добром из германских храмов, вражескими щитами и оружием; на других были яркие изображения боевых схваток или германских речных и горных богов, повергнутых римскими солдатами. В одной повозке везли Труснельду с сыном, на шеях у них была узда; за повозкой следовала длинная вереница германских пленных в путах. Германик в лавровом венке ехал на колеснице, рядом с ним сидела Агриппина, позади все пятеро детей — Нерон, Друз, Калигула, Агриппинилла и Друзилла. Со времени триумфа Августа после победы при Акции ни одного полководца не приветствовали с таким пылом.

Но меня там не было. А был я — можете себе представить? — в Карфагене. За месяц до возвращения Германика я получил от Ливии записку, где мне предписывалось подготовиться к поездке в Африку. В Карфагене нужен член императорской фамилии, чтобы освятить новый храм, посвященный Августу, и я единственный, кто может выполнить этот долг и без кого здесь, в Риме, могут обойтись. Меня научат, как держать себя и как провести всю церемонию, и она надеется, что я не выставлю себя в глупом свете, пусть даже перед африканцами. Я сразу догадался, почему меня отсылают из Рима. Ехать сейчас не было никакой надобности, так как храм будет достроен не раньше чем месяца через три. Меня убирали с дороги. Пока Германик будет в Риме, мне не разрешат вернуться, а все письма домой будут просматриваться. Поэтому мне так и не удалось передать Германику все, что я так долго для него копил. Германик же сразу поговорил с

Тиберием, как и намеревался. Он сказал, что, по имеющимся у него сведениям, изгнание Постума явилось следствием жестокого заговора, организованного Ливией, — у него есть тому неопровержимые доказательства. Ливию необходимо удалить от государственных дел. Как бы дурно ни вел себя впоследствии Постум, это не оправдывает ее поступков. Вполне естественно, что Постум пытался избавиться от незаслуженной ссылки. Тиберий сделал вид, будто поражен его обличениями, но сказал, что не может пойти на публичный скандал, выставив на позор родную мать; лучше он предъявит ей обвинения с глаза на глаз, а затем постепенно лишит власти.

На самом деле он пошел к Ливии и передал ей слово в слово все, услышанное от Германика, добавив, что Германик — легковверный дурачок, но принимает все это так близко к сердцу и так популярен в Риме и армии, что, пожалуй, Ливии есть смысл убедить его в своей невиновности, если только она не сочтет это ниже собственного достоинства. Тиберий добавил, что отправит Германика куда-нибудь, как только сможет, скорее всего — на Восток, и снова поднимет в сенате вопрос о присуждении ей титула «Мать отчизны», которого она, бесспорно, заслуживает. Ливия, довольная тем, что он по-прежнему боится ее, раз все ей рассказал, назвала его послушным сыном. Она поклялась, что не возводила напраслины на Постума: вероятно, эта история — выдумка Агриппины, которой Германик слепо верит и которая подбивает его узурпировать единоличную власть. Агриппина, без сомнения, задалась целью, сказала Ливия, поссорить Тиберия с его любящей матерью. Тиберий, обняв ее, отвечал, что, хотя между ними и могут быть случайные размолвки, ничто не разорвет связующих их уз. Ливия ответила вздохом: она постарела — ей было далеко за семьдесят — и стала понемногу уставать от своих трудов; может быть, он освободит ее от самой утомительной части работы и будет лишь советоваться по таким важным вопросам, как назначения на должность и декреты? Она даже не обидится, если он перестанет ставить ее имя перед своим на официальных документах; она не хочет, чтобы в Риме говорили, будто она им командует. Однако чем скорее он убедит сенат дать ей титул «Мать отчизны», тем большую радость ей доставит. Внешне они пришли к полному согласию, но ни один не доверял другому.

Тиберий, бывший в то время консулом, назначил Германика вторым консулом и сказал, что уговорил Ливию удалиться от государственных дел, хотя для проформы он по-прежнему будет с ней советоваться. По-видимому, это удовлетворило Германика. Но Тиберию было не по себе. Агриппина с ним почти не разговаривала, и, зная, что они с Германиком во всем единомышленны, Тиберий не верил в их преданность. К тому же то, что происходило в Риме, человеку с таким характером, как у Германика, вряд ли могло прийтись по вкусу. Прежде всего — доносы. Поскольку Ливия не давала Тиберию доступа к секретным уголовным досье и не желала делиться с ним контролем над весьма действенной системой тайных агентов (у Ливии был платный агент почти в каждой влиятельной семье и почти в каждом важном учреждении), ему пришлось прибегнуть к иному методу. Тиберий издал указ, что в том случае, если кто-либо будет найден виновным в заговоре против империи или богохульстве по отношению к божественному Августу, его имущество будет конфисковано и разделено между обвинителями. Участие в заговоре против государства было доказать труднее, чем богохульство по отношению к Августу. Первое дело о богохульстве было возбуждено против шутника, молодого лавочника, который случайно оказался рядом с Тиберием на рыночной площади, когда там проходила похоронная процессия. Лавочник выскочил вперед и шепнул что-то на ухо покойнику. Тиберий пожелал узнать, что он сказал. Лавочник объяснил: он просил мертвеца передать Августу, когда встретит его на том свете, что деньги, отказанные римлянам по завещанию, до сих пор не выплачены. Тиберий приказал арестовать и казнить лавочника за то, что тот говорил об Августе как о простом духе, а не о бессмертном божестве, и добавил, что отправляет его на тот свет, чтобы он убедился в своей

ошибке. (Месяц или два спустя, между прочим, он полностью выплатил оставленные Августом деньги). В данном случае у Тиберия было какое-то оправдание, но позднее людей привлекали к суду и выносили смертный приговор за самые безобидные замечания, якобы оскверняющие имя Августа.

16 г. н. э.

Возник целый класс профессиональных доносителей, на которых можно было рассчитывать, что они возбудят дело против любого человека, вызвавшего недовольство Тиберия, — стоило лишь указать. Благодаря этому уголовные досье, где речь шла о настоящем преступнике, оказались ненужными. Посредником между Тиберием и этими негодяями был Сеян. За год до возвращения Германика Тиберий напустил доносителей на юношу по имени Либон, который был правнуком Помпея и двоюродным братом Агриппины через их бабушку Скрибонию. Сеян предупредил Тиберия, что Либон для него опасен — он не раз непочтительно отзывался о нем. Но в то время Тиберий был еще осторожен и не решался включать непочтительность к своей особе в число государственных преступлений, поэтому ему пришлось придумать другую вину. Так вот, чтобы скрыть собственную связь с Фрасиллом, Тиберий изгнал из Рима почти всех астрологов, магов, предсказателей и толкователей снов и запретил обращаться к тем из них, которые под шумок остались (кое-кто — с молчаливого согласия Тиберия, при условии, что они будут принимать своих клиентов в присутствии императорского агента, спрятанного в комнате). Один сенатор, оказавшийся профессиональным доносителем, убедил Либона посетить одну из этих ловушек, чтобы узнать, какая его ждет судьба. Сидевший в засаде агент записал все его вопросы. Сами по себе они были вполне невинны, только глупы: Либон хотел знать, насколько он разбогатеет и будет ли когда-нибудь занимать в Риме руководящий пост и тому подобное. Но на суде был предъявлен подложный документ, якобы найденный рабами у него в спальне и написанный его собственной рукой — список имен всех членов императорской фамилии и ведущих сенаторов, где против каждого имени стояли халдейские и египетские литеры. За посещение мага полагалось изгнание, но за занятие магией полагалась смерть. Либон отрицал, что документы эти написаны им, а показаний рабов, даже под пытками, было недостаточно, чтобы его осудить (свидетельство рабов принималось в расчет лишь в том случае, если кто-то обвинялся в кровосмешении). Показаний вольноотпущенников Либона вообще не было, так как ни уговорами, ни угрозами их не смогли заставить свидетельствовать против него, а ни одного вольноотпущенника нельзя подвергать пыткам, чтобы вырвать у него признание. Однако Тиберий по совету Сеяна провел через сенат постановление, что в случае, если кого-либо обвиняют в преступлении, караемом смертной казнью, его рабы могут быть куплены за соответствующую цену городским казначеем и тем самым получают право давать показания. Либон, не найдя себе адвоката, у которого хватило бы смелости его защищать, понял, что попал в западню, и попросил отложить суд до следующего дня. Когда просьба его была удовлетворена, он пошел домой и покончил с собой. Несмотря на это, сенат разбирал его дело по всей форме, словно Либон был жив, и признал его виновным во всех приписанных ему преступлениях. Тиберии посетовал, что глупый юноша наложил на себя руки, — он собирался ходатайствовать о том, чтобы ему даровали жизнь. Имущество Либона разделили между его обвинителями, в числе которых было четыре сенатора. Такой позорный фарс был невозможен в правление Августа, но при Тиберии его разыгрывали с вариациями вновь и вновь. Лишь один сенатор выразил публичный протест: это был некий Кальпурний Пизон. Он встал во время заседания сената и сказал, что ему так претит атмосфера политических интриг в городе, коррупция правосудия и позорные спектакли, где его собраты-сенаторы играют роль платных доносителей, что он навсегда покидает Рим

и поселяется в деревне в отдаленной части Италии. Сказав это, он вышел из зала заседаний. Речь его произвела на сенат большой эффект. Тиберий послал за ним и, когда тот вернулся, сказал ему, что, если в сенате в том или ином случае нарушается правосудие, любой сенатор волен указать на это в отведенное на то время. Тиберий добавил, что политические интриги — вещь неизбежная в столице величайшей империи, когда-либо известной миру. Неужели Кальпурний хочет сказать, что сенаторы не стали бы выдвигать свои обвинения, если бы не надеялись на награду? Он, Тиберий, восхищается искренностью и независимостью Кальпурния и завидует его талантам, но не лучше ли будет употребить эти благородные качества для исправления общественной и политической морали в Риме, чем погребать их в какой-нибудь жалкой деревушке в Апеннинах среди пастухов и бандитов? Так что Кальпурнию пришлось остаться. Вскоре он проявил на деле свою искренность и независимость, вызвав старую Ургуланию в суд за неуплату большой суммы денег, которую она была ему должна за картины и статуи, — у Кальпурния умерла сестра, и ее имущество пошло в распродажу. Ургулания прочитала бумагу, где ей предписывалось немедленно явиться в суд должников, и велела нести себя во дворец Ливии. Кальпурний отправился следом за ней; в вестибюле его встретила Ливия и приказала удалиться. Кальпурний вежливо и твердо отказался, сказав, что Ургулания обязана явиться на разбор дела, если только она не больна, а она, и это всем ясно, совершенно здорова. Даже весталки не освобождены от явки в суд, если их туда вызывают. Ливия заявила, что его поведение оскорбительно для нее и что ее сын, император, сумеет за нее отомстить. Послали за Тиберием; он попытался восстановить мир, сказав Кальпурнию, что Ургулания, конечно же, намеревалась прийти, как только успокоится после потрясения, которое вызвано вызовом в суд, и сказав Ливии, что она ошибается — Кальпурний вовсе не хочет выказывать ей неуважение; он, Тиберий, сам будет присутствовать на слушании дела и проследит, чтобы у Ургулании был хороший адвокат и разбирательство шло по всем правилам. Тиберий ушел из дворца вместе с Кальпурнием, направившимся в суд, болтая о всяких мелочах. Друзья Кальпурния пытались уговорить его отказаться от обвинения, но он отвечал, что он — человек старомодный и любит, чтобы ему отдавали то, что должны. Суд так и не состоялся. Ливия отправила вслед Кальпурнию и Тиберию верхового, в переметных суммах которого была вся сумма в золотых монетах; он нагнал их до того, как они подошли к дверям суда.

Но, возвращаясь к доносителям и к тому развращающему воздействию, которое они оказывали на жизнь в Риме, а также к коррупции суда, я как раз хотел написать, что, пока Германик был в Риме, не слушалось ни одного дела о богохульстве по отношению к Августу или о заговоре против государства; доносчикам было велено помалкивать. Тиберий вел себя безукоризненно, его речи в сенате были образцами чистосердечия. Сеян ушел на задний план. Фрасилла переселили из Рима под кров виллы Тиберия на Капри, казалось, что у Тиберия есть лишь один близкий друг — Нерва, к которому он все время обращается за советом.

Кастора я так и не смог полюбить. Это был жестокий, распутный, необузданный человек, к тому же сквернослов. Его натура яснее всего проявлялась во время гладиаторских боев: ему доставлял удовольствие вид крови, а не ловкость участников. Но я должен сказать, что с Германиком он вел себя благородно и, казалось, делался совсем другим в его обществе. Городские фракции пытались выставить их обоих в весьма неприятной роли соперников, оспаривающих друг у друга престол, но ни Германик, ни Кастор ничем не подтвердили, что такой взгляд на них имеет какие-то основания. Кастор относился к Германику с той же братской симпатией и уважением, что и Германик к нему. Кастор не то чтобы был труслив, но я бы назвал его скорее политиком, чем воином. Когда Кастора послали за Дунай по просьбе племен восточной Германии, ведущих кровавую оборонительную войну с

союзом западных племен, возглавляемых Германном, он сумел, благодаря умным, хотя и неблагоприятным действиям, вовлечь в войну богемские и баварские племена. Он проводил в жизнь политику Тиберия, способствуя тому, чтобы германцы истребляли друг друга. Маробод («тот, кто ходит по дну озера»), царь-жрец восточных германцев, убегая от врагов, попросил убежища в лагере Кастора. Ему предоставили приют в Италии, и, так как восточные германцы поклялись в верности Риму на вечные времена, Маробод в течение восемнадцати лет оставался заложником, гарантирующим их хорошее поведение. Эти восточные германцы были куда более свирепыми и сильными, чем западные, и Германику повезло, что ему не пришлось с ними воевать. Но Маробод завидовал Германцу, ставшему после победы над Варом в Тевтобургском лесу национальным героем, и, чтобы сорвать его планы и не дать ему осуществить честолюбивую цель сделаться верховным вождем всех германцев, отказался помочь ему в кампании против Германика хотя бы отвлекающим ударом на другом фронте.

Я часто думал о Германне. Он был в своем роде выдающийся человек, и хотя трудно забыть о его предательстве по отношению к Вару, Вар сделал немало, чтобы спровоцировать мятеж, а Германн и его соратники, безусловно, сражались за свободу. Германцы искренне презирали римлян. Они не понимали, чем положение солдат при жесткой дисциплине, которая была в римской армии под началом Вара, Тиберия да и любого другого военачальника, кроме моего отца и брата, отличается от обыкновенного рабства. Они были поражены, узнав о дисциплинарных порках, и считали позорным платить солдатам за каждый день службы, вместо того, чтобы привлекать их в армию, обещая добычу и славу. Германцы всегда отличались целомудрием, а римские офицеры открыто предавались таким порокам, за которые в Германии, будь это обнаружено, что случалось крайне редко, обоих преступников утопили бы в болоте — узаконенное обычаем наказание. Что касается их трусости, то все варвары трусы. Вот когда германцы сделаются цивилизованными людьми, мы сможем судить, трусливы они или нет. Однако они кажутся мне на редкость невыдержанными и задиристыми, и я пока не могу решить, есть ли у них какой-нибудь шанс стать действительно цивилизованными в ближайшем будущем. Германик считал, что ни малейшего. Оправдана ли его политика уничтожения (обычно Рим не придерживался такой политики, имея дело с пограничными племенами) или нет, зависит от ответа на этот вопрос. Конечно, захваченных орлов надо было вернуть, и Германн, опустошая провинцию после победы над Варом, не проявлял милосердия, а Германик, самый мягкий и гуманный человек, какого я знал, так ненавидел всеобщую резню, что, должно быть, имел достаточные основания, если пошел на нее.

Германн погиб в бою. Когда Маробод был вынужден бежать из страны, Германн решил, что теперь ничто не помешает его единовластному владычеству над германскими племенами. Но он ошибся, он не сумел единолично властвовать даже в своем племени. Это было свободное племя, и вождь не имел права командовать соплеменниками — в его власти было лишь руководить, советовать и убеждать. Однажды, год или два спустя, Германн попробовал издать «царские» указы. Его родичи, до тех пор всецело преданные ему, были так возмущены, что, даже не сговариваясь, накинулись на него с оружием в руках и разрубили на куски. Когда он умер, Германну было тридцать семь лет; он родился за год до Германика, своего смертельного врага.

Глава XX

18 г. н. э.

Я провел в Карфагене около года. (Это был тот самый год, когда умер Ливий;

умер он в Падуге, столь милой его сердцу). Старый Карфаген был стерт с лица земли, и на юго-востоке полуострова Август построил новый город, которому было суждено стать главным городом Африки. Я впервые с детских лет покинул пределы Италии. Климат здесь показался мне очень тяжелым, местные жители — дикими, больными и измученными работой, живущие тут римляне — скучными, сварливыми, корыстными и отставшими от времени, тучи неизвестных мне насекомых — устрашающими. Больше всего меня угнетало отсутствие лесов. В Триполи вы видите или ровные ряды посадок — фигов и оливок — и пшеничные поля, или голую, каменистую, поросшую колючими кустарниками пустыню. Я остановился в доме губернатора, того самого Фурия Камилла, дяди моей дорогой Камиллы, о котором я уже писал. Он был очень мил со мной. Чуть ли не при первой нашей встрече он сказал мне, как ему пригодилась во время балканской кампании моя «Балканская сводка», — я так удачно подобрал материал, меня, конечно же, наградили за нее. Фурий сделал все возможное, чтобы церемония посвящения прошла с успехом и чтобы жители провинции относились ко мне так, как того требовал мой ранг. Не щадя сил и времени, он показывал мне достопримечательности. Город успешно торговал с Римом, экспортируя не только огромное количество зерна и оливкового масла, но и рабов, пурпур, губки, золото, слоновую кость, черное дерево и диких зверей для травли в цирках. Однако мне почти нечем было занять свой досуг, и Фурий предложил мне, пока я там нахожусь, собрать материал для книги по истории Карфагена — это может представить для меня интерес. В библиотеках Рима не найдешь такой книги. К нему в руки недавно попали архивы старого Карфагена — их нашли местные жители в развалинах здания, где они рылись в поисках спрятанных сокровищ, — если я захочу ими воспользоваться, они мои. Я сказал Фурию, что совсем не владею финикийским, но он пообещал, если меня эта работа заинтересует, приказать одному из его вольноотпущенников перевести наиболее важные документы на греческий язык.

Мысль написать историю Карфагена пришла мне по душе, я чувствовал, что историки не отдали должного карфагенянам. В свободные часы я стал с помощью современных методов изучать руины старого города, а также знакомиться с географией всей страны. Я получил достаточное представление об основах языка, чтобы быть в состоянии прочесть простые надписи и понять те немногие финикийские слова, которые встречались у римских авторов в трактатах о Пунических войнах. Когда я вернулся в Италию, я начал писать «Историю Карфагена» одновременно с «Историей этрусков». Я люблю работать над двумя темами сразу — когда мне надоедает одна, я обращаюсь к другой. Но, возможно, я слишком старателен. Мне недостаточно просто переписывать страницы из древних авторов, если есть хоть какая-то возможность проверить их утверждения, обратившись к другим источникам, в особенности к тому, что сказано по этому вопросу людьми, принадлежавшими к соперничающей политической партии. Поэтому на эти две «Истории», каждая из которых заняла бы у меня год или два, если бы я менее добросовестно относился к своей работе, я потратил целых двадцать пять лет. За каждым написанным словом были сотни прочитанных; под конец я в совершенстве овладел этруским и финикийским и получил практическое знание нескольких других языков и диалектов, таких, как нумидийский, египетский, осский и фалисский. «Историю Карфагена» я кончил раньше.

Вскоре после посвящения храма, которое прошло вполне гладко, Фурию неожиданно пришлось выступить против Такфарината с немногими военными силами, бывшими в его распоряжении: один Третий полк регулярной пехоты, несколько вспомогательных батальонов и два кавалерийских эскадрона. Такфаринат, нумидийский вождь, в свое время дезертировавший из рядов римских вспомогательных войск, был на редкость удачливым разбойником. Он создал во внутренних районах своей территории нечто вроде армии, построенной по римскому

образцу, и вступил в союз с маврами, чтобы вторгнуться в провинцию с запада. Их армии, вместе взятые, были по меньшей мере в пять раз больше воинских сил Фурия. Противники встретились в открытом поле в пятидесяти милях от Карфагена; Фурию надо было решить, кого ему атаковать: два полудисциплинированных полка Такфарината, бывших в центре, или совсем недисциплинированных мавров на флангах. Он послал кавалерию и вспомогательные войска, состоявшие в основном из лучников, против мавров, приказав не давать им передышки, а сам с регулярным полком пошел прямо на нумидийцев Такфарината. Я наблюдал за битвой с холма в пятистах шагах от поля боя — я приехал на муле — и никогда еще раньше, да, думаю, и потом, не был так горд тем, что я — римлянин. Третий полк ни разу не нарушил боевого порядка, можно было подумать, что это парад на Марсовом поле. Они наступали развернутым строем тремя шеренгами с интервалом в пятьдесят шагов. В каждой шеренге было по сто пятьдесят колонн, каждая — по восемь человек в глубину. Нумидийцы остановились и приготовились к обороне. Они стояли в шесть шеренг, с такой же шириной фронта, как у нас. Третий полк, не задержавшись ни на секунду, тем же походным маршем двинулся на врага; лишь когда они приблизились к нумидийцам на десять шагов, первая шеренга метнула в них дротики. Затем солдаты обнажили мечи и, сомкнув щиты, кинулись в атаку. Они отбросили первую шеренгу противника, вооруженную копьями, до второй. Эта шеренга рассыпалась под новым дождем дротиков — у каждого римского солдата их было по два. Затем их сменила вторая шеренга, дав возможность солдатам первой перестроиться. Вскоре еще один сверкающий ливень одновременно пущенных дротиков обрушился на третью шеренгу нумидийцев. Мавры на флангах, которым сильно досаждали стрелы вспомогательных войск, увидели, что римляне глубоко вклиниваются в центр их построения. С воплями, словно уже проиграли битву, они разбежались во все стороны. Такфаринату пришлось с большими потерями пробиваться обратно к своему лагерю. Единственное неприятное воспоминание, связанное с этой победой, относится к праздничному пиру, во время которого сын Фурия Скрибониан отпускал шутки насчет моральной поддержки, оказанной мной войскам. Делал он это главным образом, чтобы подчеркнуть собственную храбрость, которую, по его мнению, недостаточно оценили. После пира Фурий заставил его попросить у меня прощения. Сенат назначил Фурию триумфальные украшения. Он был первым членом своего рода, завоевавшим военную награду с тех пор, как за четыреста лет до того его предок Камилл спас Рим.

Когда меня в конце концов отозвали, Германик уже отбыл на Восток — сенат назначил его верховным правителем всех восточных провинций. С ним поехали Агриппина и Калигула, которому исполнилось восемь лет. Старшие дети остались в Риме с моей матерью. Хотя Германик был сильно разочарован тем, что ему не удалось закончить войну с германцами, он решил воспользоваться предоставившейся ему возможностью пополнить свое образование, посетив места, прославленные в истории и литературе. Он побывал на Актийском заливе, где осмотрел мемориальную молельню, посвященную Августом Аполлону, и лагерь Антония.

Для Германика, внука Антония, это место обладало печальным очарованием. Он принялся объяснять план битвы Калигуле, но тот неожиданно прервал его глупым смехом: «Да, отец, мой дед Агриппа и мой прадед Август задали хорошую трепку твоему деду Антонию. Я удивляюсь, как тебе только не стыдно рассказывать мне об этом». Это был далеко не первый случай, когда Калигула дерзко разговаривал с отцом, и Германик решил, что бесполезно обращаться с ним мягко и дружески, как он обращаются с другими детьми, и единственная линия, которой следует держаться с мальчиком, — жесткая дисциплина и суровые наказания.

Германик посетил Фивы, чтобы увидеть место, где родился Пиндар, и остров

Лесбос, чтобы увидеть гробницу Сафо. Там появилась на свет еще одна из моих племянниц, получившая несчастливое имя Юлия, однако все мы звали ее Лесбия. Затем он побывал в Византии, Трое и знаменитых греческих городах, расположенных в Малой Азии. Из Милета Германик прислал мне длинное письмо, описывая свое путешествие в самых восторженных выражениях, и я понял, что он уже не так сожалеет об отъезде из Германии.

Тем временем в Риме все вошло в прежнюю колею, словно и не было консульства Германика, и Сеян возродил старые страхи Тиберия относительно названного сына. Он передал слова Германика, сказанные на обеде в частном доме, где был также один из его агентов, смысл которых сводился к тому, что восточные войска нуждаются в такой же ревизии, какую он провел на Рейне. Слова эти действительно были сказаны, но значили они лишь то, что в этой армии, как и в германской, есть плохие офицеры, которые дурно обращаются с солдатами, и при первой возможности он проверит все назначения. А Сеян внушил Тиберию, будто слова эти объясняют, почему Германик так медлит с захватом власти, — он-де не мог раньше надеяться на любовь восточных полков, которую теперь намерен завоевать, позволив солдатам самим выбирать себе командиров, даря им подарки и ослабив дисциплину, — в точности, как он сделал это на Рейне.

Тиберий был напуган и решил посоветоваться с Ливией, уповая на ее помощь. Ливия сразу сообразила, что надо сделать. Они назначили губернатором Сирии человека по имени Гней Пизон — назначение это отдавало под его начало большую часть восточных полков, пусть даже под верховной счастью Германика, — и сказали ему в личной беседе, что он может рассчитывать на их поддержку, если Германик начнет вмешиваться в его политические или военные распоряжения. Это был умный выбор. Гней Пизон, дядя того Луция Пизона, который оскорбил Ливию, был высокомерный старик, за двадцать пять лет до того заслуживший всеобщую ненависть в Испании, куда Август назначил его губернатором, своей жестокостью и жадностью. Он был по уши в долгах, и намек на то, что он может поступать, как ему вздумается, лишь бы досадить Германику, воспринял как приглашение сколотить в Сирии новое состояние вместо того, которое он некогда приобрел в Испании и давно спустил. Пизон невзлюбил Германика за его серьезность и благочестие, называл его за глаза суеверной старухой, к тому же страшно завидовал ему.

Посещая Афины, Германик выказал уважение к их славному прошлому тем, что подошел к городским воротам лишь с одним телохранителем. А на празднике, устроенном в его честь, произнес длинный торжественный панегирик афинским поэтам, воинам и философам. Пизон также проехал через Афины, направляясь в Сирию, и, поскольку они не входили в его провинцию, не потрудился быть любезным с афинянами; те также не сочли нужным быть любезными с ним. Человек по имени Теофил, брат одного из кредиторов Пизона, был незадолго до того признан виновным в подлоге. Пизон обратился к городскому собранию с просьбой, чтобы Теофила помиловали — в виде личного одолжения ему, Пизону, но получил отказ, что очень его рассердило: если бы Теофила простили, брат его, без сомнения, не стал бы требовать с Пизона долг. Пизон произнес возмущенную речь, где сказал, что теперешние афиняне не имеют права ставить себя в один ряд с великими афинянами времен Перикла, Демосфена, Эсхила и Платона. Древние афиняне были истреблены в бесконечных войнах, и теперешние жители Афин — обыкновенные ублюдки, дегенераты и потомки рабов. Он сказал, что любой римлянин, который восхваляет их, словно они — законные потомки древних греков, унижает этим свое достоинство; со своей стороны, он не может забыть, что во время последней гражданской войны афиняне поддерживали этого труса и предателя Антония против великого Августа.

Затем Пизон покинул Афины и по пути в Сирию завернул на Родос. Германик в

то время тоже был на Родосе, где посетил родосский университет, и слухи о речи губернатора, явно направленной против него, достигли Германика незадолго до того, как на горизонте показались корабли Пизона. Внезапно поднялась буря, и стало видно, что им приходится туго. Два небольших суденышка на глазах Германика пошли ко дну, третье, на котором находился сам Пизон, потеряло мачту, и его относил к скалам северного мыса. Кто, кроме Германика, не предоставил бы Пизона его судьбе?! Но Германик послал в море две шлюпки, гребцы которых, гребя из последних сил, сумели достичь корабля в последнюю минуту перед крушением и благополучно привели его на буксире в порт. Кто, кроме такого порочного человека, как Пизон, не сохранил бы на всю жизнь благодарность и любовь к своему спасителю? Куда там! Пизон с возмущением заявил, будто Германик откладывал спасательную экспедицию до последней минуты, надеясь, что послать ее станет слишком поздно, и, не задержавшись на Родосе и дня, хотя море еще не успокоилось, отплыл в Сирию, чтобы оказаться там раньше Германика.

Как только Пизон прибыл в Антиохию, он начал перестановки в полках, но как раз обратные тем, какие задумал Германик. Вместо того чтобы снять нерадивых и грубых ротных, он разжаловал в рядовые каждого офицера с хорошей репутацией среди солдат и назначил на их место своих фаворитов-негодяев — с негласной договоренностью, что половина добра, которое перепадет им на их новом посту, будет отдаваться ему, Пизону, зато у них будут развязаны руки. Для сирийцев настал тяжелый год. Лавочники и крестьяне должны были платить местным ротным «отступные деньги»; если они отказывались, ночью люди в масках устраивали на них налет, дом их сжигали дотла, семью убивали. Сперва городские корпорации, крестьянские союзы и прочие объединения обращались с просьбой прекратить террор к самому Пизону. Он всегда обещал немедленно начать расследование, но никогда этого не делал, а тех, кто жаловался, обычно находили забитыми насмерть по дороге домой. В Рим была послана делегация, чтобы узнать потихоньку у Сеяна, известно ли Тиберию о том, что происходит в Сирии, и если да, то одобряет ли он это. Сеян сказал сирийцам, что официально Тиберий ничего не знает. Он, конечно, пообещает назначить расследование, но ведь Пизон тоже им это обещал, разве не так? Пожалуй, самое лучшее, сказал Сеян, это платить отступные, сколько бы ни спрашивали, и не поднимать шума. Тем временем дисциплина в сирийских полках настолько расшаталась, что разбойничья армия Такфарината по сравнению с ними казалась образцом сноровки и преданности долгу.

Посланцы приехали также на Родос к Германику; он был поражен и возмущен тем, что от них услышал. Во время путешествия по Малой Азии он лично расследовал все жалобы на плохое управление и снимал с должностей всех судей, которые нарушали закон или каким-либо образом угнетали население. Германик написал Тиберию и сообщил ему о том, что ему стало известно относительно Пизона; он немедленно отплывает в Сирию, добавил Германик, и просит разрешения сместить Пизона с должности и заменить его более подходящим человеком, если окажется, что хоть некоторые из жалоб справедливы. Тиберий ответил ему, что он тоже слышал кое-какие нарекания, но они оказались необоснованными — чистый поклеп; он доверяет Пизону и считает его способным и справедливым губернатором. Германик не подозревал Тиберия в бесчестности и лишь утвердился в своем мнении о нем как о простаке, которого легко обмануть. Зачем только он просил позволения сделать то, что должен был сразу же сделать на свой страх и риск! До Германика дошло еще одно серьезное обвинение против Пизона, а именно: что тот вошел в сговор с Вононом, свергнутым царем Армении, нашедшим убежище в Сирии, и обещал снова посадить его на трон. Вонон был баснословно богат, так как, спасаясь бегством в Сирию, он прихватил с собой почти все содержимое государственной казны, и Пизон надеялся извлечь из этой сделки выгоду. Германик сразу поехал в

Армению, созвал совещание знатных людей страны и собственными руками, но от имени Тиберия, возложил венец на голову человека, которого они избрали царем. Затем приказал Пизону отправиться в Армению во главе двух полков, чтобы засвидетельствовать почтение новому монарху от лица соседней страны; если его удерживают более важные дела, он может послать сына. Пизон не выполнил ни того, ни другого. Посетив другие дальние провинции и союзные царства и уладив там все, к своему удовлетворению, Германик прибыл в Сирию и встретил Пизона на зимних квартирах Десятого полка.

На этой встрече присутствовали в качестве свидетелей несколько полковых офицеров, так как Германик не желал, чтобы Тиберию передали их беседу в искаженном виде. Он начал так мягко, как только мог, вопросом, почему Пизон не выполняет приказы. Германик сказал, что, если единственным объяснением этому служит та личная неприязнь и невоспитанность, которые Пизон проявил в своей речи в Афинах, в неблагоприятных замечаниях на Родосе и в ряде других случаев, ему, Германику, придется отправить императору официальное донесение. Затем выразил недовольство тем, каким разболтанным и грязным он нашел Десятый полк. И это в мирное время, в здоровом, прекрасно расположенном месте.

— Да, они и верно грязная публика, — ответил, ухмыляясь, Пизон. — Что бы подумали в Армении, если бы я послал их туда в качестве представителей могущественного и великого Рима? («Могущество и величие Рима» — было любимой фразой моего брата).

Германик, с трудом сдерживая гнев, сказал, что, судя по всему, разложение армии началось только после приезда Пизона в провинцию, о чем он и напишет в письме к Тиберию.

Пизон «смирненно» просил простить его, но тут же отпустил оскорбительное замечание о молокососах, чьим высоким идеалам в этом жестоком мире часто приходится уступать место менее возвышенной, но более практичной политике.

Сверкая глазами, Германик его прервал:

— Часто, Пизон, но не всегда. Завтра, например, мы будем сидеть с тобой на трибунале и увидим, может ли что-нибудь стать помехой высоким идеалам молодых и удастся ли жадному, жестокому старому распутнику, который ничего не смыслит в своем деле, отказать жителям провинции в справедливости.

Тем и закончилась встреча. Пизон сразу же написал Тиберию и Ливии о том, что произошло. Последнюю фразу Германика он процитировал таким образом, что Тиберий подумал, будто слова «жадный, жестокий старый распутник» относятся лично к нему. Тиберий ответил, что полностью доверяет Пизону и, если некое влиятельное лицо будет высказываться и поступать подобным нелицеприятным образом, любые меры, даже самые крайние, принятые его подчиненными, чтобы пресечь такое поведение, будут приветствоваться сенатом и римским народом. А Германик тем временем сидел на трибунале и выслушивал жалобы жителей на несправедливые приговоры судов. Пизон сперва пытался помешать ему, затягивал и даже срывал слушание каждого дела, но, увидев, что Германик сохраняет спокойствие и продолжает заседание без перерыва на отдых и еду, отказался от этого и перестал ходить на разбирательства, якобы по причине недомогания.

Жена Пизона, Планцина, завидовала Агриппине, которая, будучи женой Германика, занимала более высокое место на всех торжественных церемониях. Планцина измышляла разные мелкие оскорбления, чтобы досадить Агриппине, в основном подстрекала нижестоящих лиц на грубые выходки и замечания, которые всегда можно было объяснить случайностью или невежеством. Когда Агриппина отплатила ей, публично ее осадив, Планцина зашла еще дальше. Однажды утром в отсутствие Германика и Пизона она появилась на плацу одновременно с кавалерией и заставила солдат проделать ряд шутовских упражнений перед окнами Агриппины.

Она послала их в галоп по полю, дала команду атаковать пустые палатки, которые они изрубили в лапшу, велела трубачам играть все сигналы — от отбоя до пожарной тревоги — и устроила столкновение эскадронов. Под конец пустила конников по все сужающемуся кругу, а когда пространство внутри круга стало равняться лишь нескольким шагам, дала команду «кругом!», якобы для того, чтобы солдаты проделали тот же маневр в обратную сторону. Многие лошади упали, скинув седоков. Ни разу за всю историю кавалерии во время маневров не было такого хаоса. Кое-кто из озорников усилил его, принявшись колоть кинжалом соседних лошадей, чтобы те сбрасывали седока, или бороться, сидя в седле. Нескольких человек лошади сильно полягали, нескольких, падая, подмяли под себя и переломали им ноги. Одного солдата подобрали мертвым. Агриппина послала молодого штаб-офицера попросить Планцину, чтобы она перестала выставлять на посмешище себя и армию. Планцина ответила, парадирюя отважные слова Агриппины на рейнском мосту: «Пока мой муж не вернется, я командую кавалерией. Я готовлю их к ожидаемому нападению парфян». Действительно, как раз в это время прибыли парфянские послы и, подняв брови, с презрением наблюдали за этим спектаклем.

Вонон, прежде чем стать царем Армении, был царем парфян, но те быстро выгнали его из страны. Его преемник послал к Германику послов с предложением возобновить союз между Римом и Парфянским царством, сказав, что в честь Германика он приедет к Евфрату (река, по которой шла граница между Сирией и Парфией), чтобы лично приветствовать его. А пока что он просил, чтобы Вонона выслали из Сирии, откуда ему удобно вести изменническую переписку с некоторыми парфянскими аристократами. Германик отвечал, что он как представитель своего отца, императора, будет очень рад встретиться с царем парфян и возобновить их союз и что он переселит Вонона в какую-нибудь другую провинцию. Вонона отправили в Киликию, и надежды Пизона разбогатеть исчезли. Планцина ярилась не меньше мужа, так как Вонон чуть не каждый день дарил ей по драгоценному камню.

19 г. н. э.

В начале следующего года до Германика дошла весть о сильном голоде в Египте. Последний урожай был плохим, но в амбарах хранилось достаточно зерна, ссыпанного туда два года назад. Перекупщики поддерживали высокие цены, поставляя в продажу зерно в очень маленьких количествах. Германик сразу же отправился в Александрию и заставил перекупщиков продать по разумной цене все зерно, какое было нужно. Он обрадовался этой возможности посетить Египет, интересовавший его даже больше, чем Греция. Александрия в то время, как и сейчас, была культурным центром мира, точно так же, как Рим был и есть его политический центр, и Германик выказал уважение к ее традициям, вступив в город в простой греческой одежде, босиком и без охраны. Из Александрии он поплыл по Нилу, осмотрел пирамиды, Сфинкса, развалины египетских Фив, бывшей столицы Египта, и огромную статую Мемнона, грудь которого сделана полой и который вскоре после восхода солнца начинает петь, потому что воздух внутри груди нагревается, поднимается потоком вверх и выходит через трубку горла. Германик добрался даже до развалин Элефантины. Во время своего путешествия он вел подробный дневник. В Мемфисе он посетил луг великого бога Аписа, воплощенного в виде быка с особыми отметинами, но Апис, только увидев его, повернул в другую сторону и вошел в «злое стойло», что считалось дурным предзнаменованием. Агриппина повсюду сопровождала Германика, но Калигулу в наказание за постоянное непослушание оставили в Антиохии на попечение наставника.

Что бы теперь ни делал Германик, это вызывало подозрения Тиберия, но поездка в Египет была его самой большой ошибкой. Сейчас объясню почему. Август, поняв еще в самом начале царствования, что Египет является главной житницей

Рима и что, попади провинция в руки авантюриста, она сумеет с успехом обороняться даже при небольшой армии, издал правительственный указ, согласно которому ни один сенатор или всадник не могли посетить Египет без специального на то разрешения. Предполагалось, что это правило остается в силе и при Тиберии. Но Германик, встревоженный слухами о голоде, не стал тратить времени и ожидать разрешения Тиберия. И теперь тот был абсолютно уверен, что Германик наконец-то нанесет ему удар, от которого так долго воздерживался: конечно же, он отправился в Египет, чтобы переманить на свою сторону стоявшие там войска; осмотр достопримечательностей на Ниле — просто предлог посетить пограничные части: было большой ошибкой вообще посылать Германика на Восток. Тиберий публично заявил в сенате о своем недовольстве тем, что предписание Августа было так дерзко нарушено.

Когда Германик, весьма обиженный выговором Тиберия, вернулся в Сирию, он обнаружил, что все его приказы полкам и городам или просто не были выполнены, или были заменены противоположными им по смыслу приказами Пизона. Германик вновь издал приказы, где говорилось, что все приказы Пизона, отданные во время его, Германика, отсутствия, с настоящего момента отменены и что впредь, до особого распоряжения, ни один, подписанный Пизоном, приказ не будет считаться в провинции действительным, если под ним не будет стоять также его, Германика, имя. Не успел брат выпустить эту декларацию, как заболел. У него расстроился желудок, начались понос и рвота. Он подозревал, что в пищу ему подсыпают яд, и принимал все возможные меры предосторожности. Агриппина сама готовила ему еду, и никто из слуг не имел к ней доступа ни до, ни после приготовления. Но прошло немало времени, прежде чем Германик настолько поправился, что смог встать с постели и сидеть в кресле. Голод невероятно изощрил его чувство обоняния, и он сказал, что в доме пахнет смертью. Никто никакого запаха не ощущал, и сперва Агриппина отмахнулась от его слов, считая это болезненной фантазией. Но Германик настаивал на своем. Он говорил, что запах делается с каждым днем все сильнее. Наконец и Агриппина заметила его. Казалось, каждая комната пропитана тленом. Агриппина курила благовониями, чтобы перебить смрад, но все было напрасно. Слуги перетрусили и шептались между собой, что это — дело рук ведьм.

Германик всегда был очень суеверен, как все члены нашей семьи, кроме меня; я тоже суеверен, но не настолько. Мало того, что он верил в счастливые и несчастные дни и предзнаменования, Германик опутал себя сетью примет, выдуманных им самим. В самый большой ужас его повергало число двадцать пять и кукареканье петуха в полночь. Он считал очень дурным знаком то, что, вернув орлов Девятнадцатого и Двадцать шестого полков, он был вынужден, по приказанию Тиберия, уехать из Германии, не вернув орла Двадцать пятого полка. Он боялся черной магии, которой славились фессалийские ведьмы, и всегда спал с талисманом под подушкой, служащим против нее защитой, — сделанной из зеленой яшмы фигуркой богини Гекаты (лишь Геката обладала властью над ведьмами и призраками), держащей факел в одной руке и ключи от подземного мира — в другой.

Подозревая, что Планцина насылает на него злые чары — ходили слухи, будто она ведьма, — Германик, чтобы умиловить Гекату, принес ей в жертву, согласно обычаю, девять черных щенят. На следующий день дрожащий от страха раб доложил Германику, что, когда он мыл в вестибюле пол, ему показалось, будто одна плитка лежит свободно; он поднял ее и нашел внизу разлагающийся труп голого младенца с выкрашенным красной краской животом и привязанными ко лбу рогами. Немедленно во всех комнатах начались поиски, и то под плитками пола, то в нишах, выдолбленных в стенах и прикрытых занавесями, было сделано не менее дюжины столь же отвратительных и страшных находок, в том числе труп кошки с рудиментарными крыльями, растущими из спины, и голова негра, изо рта которого

торчала детская рука. На всех этих ужасных останках была свинцовая табличка с именем Германика. В доме провели ритуальное очищение, и Германик повеселел, хотя живот по-прежнему его беспокоил.

Вскоре после этого дом стали посещать призраки. Среди подушек находили выпачканные в крови петушиные перья, на стенах появлялись — иногда почти у самого пола, точно их написал карлик, иногда у потолка, словно написанные великаном, — начертанные углем зловещие знаки: фигурка повешенного, слово «Рим» вверх ногами, горностаи и вновь и вновь повторяющиеся цифры «25», хотя никто, кроме Агриппины, не знал о предубеждении Германика против этого числа. Затем появилось перевернутое имя брата; с каждым днем оно становилось короче на одну букву. Планцина могла спрятать в доме во время его отсутствия магические заклинания, но объяснить появление надписей и рисунков было нельзя. Слуги были вне подозрения, так как все эти потусторонние знаки возникали в тех комнатах, куда они не допускались. В одной комнате, с таким крошечным оконцем, что в него никак не смог бы пролезть человек, стены были покрыты предвещающими беду символами от пола до потолка. Единственным утешением Германику было мужество, с каким держались Агриппина и Калигула. Агриппина прилагала все силы, чтобы пролить свет на происходящее, а Калигула заявил, что он не боится, ведьмы ничего не могут сделать правнуку божественного Августа, и если он встретит хоть одну ведьму, он проткнет ее мечом. Но Германик снова слег в постель. Посреди ночи после того дня, когда от его имени остались только три буквы, Германика разбудил крик петуха. Как он ни был слаб, он соскочил с постели, схватил меч и кинулся в соседнюю комнату, где спали Калигула и малютка Лесбия. Он увидел там большого черного петуха с золотым ободком на шее, который кукарекал так, словно хотел поднять на ноги мертвецов. Германик попытался отрубить ему голову, но петух вылетел в окно. Германик упал, потеряв сознание. Агриппине удалось кое-как уложить его снова в постель, но когда он пришел в себя, то сказал ей, что обречен. «Нет, пока с тобой твоя Геката», — возразила она. Германик дотронулся под подушкой до талисмана, и к нему вернулось мужество.

Когда настало утро, Германик написал письмо Пизону в староримском духе, где объявлял ему войну не на жизнь, а на смерть и приказывал немедленно покинуть провинцию. Однако Пизон уже отплыл из Сирии и теперь находился в Хиосе, ожидая известий о смерти Германика, после чего он намеревался тут же вернуться и управлять провинцией по своему усмотрению. Мой бедный брат слабел с каждым часом. Назавтра, когда Агриппина куда-то отлучилась, а Германик лежал в полузабытьи, он вдруг почувствовал, ненадолго придя в себя, какое-то движение под подушкой. Германик повернулся на бок и в ужасе стал нащупывать амулет. Он исчез, а в комнате никого не было.

На следующий день Германик созвал своих друзей и сказал, что он умирает, а убийцы его — Пизон и Планцина. Он поручил друзьям рассказать Тиберию и Кастору, как его погубили, и умолял отомстить за его жестокую смерть. «И скажите гражданам Рима, — добавил Германик — что я вверяю мою возлюбленную жену и шестерых детей их попечению; пусть они не верят Пизону и Планцине, если те станут говорить, будто получили приказ убить меня, и даже если поверят, пусть не прощают им их злодеяния». Германик умер девятого октября, в тот самый день, когда на стене напротив его кровати осталась одна-единственная буква «Г», ровно на двадцать пятый день своей болезни. Его высохшее тело было выставлено на рыночной площади Антиохии, чтобы все могли видеть красную сыпь у него на животе и посиневшие ногти. Рабов Германика подвергли пыткам. Вольноотпущенников также подвергли допросу, каждого — притом что люди, ведущие дознание, сменяли один другого — в течение двадцати четырех часов, и под конец они были настолько сломлены телом и духом, что, зная они хоть что-нибудь, признались бы, лишь бы

положить своим мучениям конец. Как от рабов, так и от вольноотпущенников, узнали немного, а именно: что известную ведьму, некую Мартину, неоднократно видели вместе с Планциной, и обе они один раз побывали в доме Германика, когда там не было никого, кроме Калигулы. И что как-то днем, перед самым возвращением Германика, в доме оставался один глухой старый привратник, так как все остальные слуги пошли смотреть бой гладиаторов, который по приказанию Пизона устроили в местном амфитеатре. Однако черного петуха, знаки на стенах и пропажу талисмана нельзя было объяснить ничем, кроме вмешательства сверхъестественных сил. Командиры полков и все прочие римляне высокого ранга, находившиеся в провинции, собрались вместе, чтобы выбрать временного губернатора. Избрали командира Шестого полка. Он немедленно арестовал Мартину и отправил под стражей в Рим. Если над Пизоном назначат суд, она будет одним из главных свидетелей.

Когда Пизон услышал, что Германик умер, он не только не скрыл своей радости, но принес в храмах благодарственные жертвоприношения. Планцина, недавно потерявшая сестру, скинула траур и надела свой самый яркий наряд. Пизон написал Тиберию, что был смещен с поста губернатора, куда его назначил сам Тиберий, из-за храброго противодействия предательским замыслам Германика, направленным против государства; сейчас он возвращается в Сирию, чтобы вновь взяться за дела. Пизон писал о «роскошной жизни и наглости» Германика. Он действительно попытался вернуться в Сирию и даже получил поддержку некоторых полков, но новый губернатор осадил крепость в Киликии, где укрылся Пизон, вынудил его сдаться и отправил в Рим отвечать на все обвинения, которые, несомненно, будут ему там предъявлены.

Тем временем Агриппина отплыла в Италию с двумя детьми и урной с прахом мужа. В Риме известие о смерти Германика вызвало такое горе, что казалось, будто каждая римская семья потеряла самого любимого из своих близких. Хотя по этому поводу не было указа сената или приказа судей, целых три дня лавки были закрыты, суды безлюдны, не совершалось никаких сделок — все ходили в трауре, народ скорбел. Я слышал, как какой-то человек на улице сказал, что у всех такое чувство, будто солнце закатилось и никогда больше не взойдет. Свое отчаяние я и описать не могу.

Глава XXI

20 г. н. э.

Тиберий и Ливия заперлись каждый в своем дворце, делая вид, будто они настолько убиты горем, что не могут показаться на людях. Агриппина должна была прибыть в Рим по суше, так как наступила зима и плыть морем было опасно. Но она все же решилась на это, несмотря на штормы, и через несколько дней достигла Корфу, откуда при попутном ветре был всего один день пути до порта Брундизий. Там, отправив вперед гонцов с поручением сказать, что она возвращается, чтобы искать защиты и покровительства у сограждан, она немного передохнула. Кастор, уже вернувшийся в Рим, четверо детей Агриппины и я выехали из города ей навстречу. Тиберий тотчас отправил в порт два гвардейских батальона с распоряжением, чтобы судьи тех сельских районов, через которые будут проносить урну с прахом Германика, оказывали его покойному сыну положенные почести. Когда встреченная почтительным молчанием огромной толпы Агриппина ступила на берег, урну возложили на погребальные носилки и понесли к Риму на плечах гвардейских офицеров. С батальонных знамен в знак всеобщей скорби были сняты украшения, топорики и пучки розог держали опущенными вниз. В то время как многотысячная процессия пересекала Калабрию, Апулию и Кампанию, к ней со всех сторон стекалось множество людей: селяне в черных одеждах, всадники в пурпурных тогах;

со слезами, громко сетуя, они возжигали благовония духу умершего героя.

Мы встретили процессию в Террацине, в шестидесяти милях к юго-востоку от Рима; здесь Агриппина, прошедшая весь путь от Брундизия не размыкая губ, с сухими глазами и каменным лицом, при виде своих четверых осиротевших детей вновь дала волю горю. Она вскричала, обращаясь к Кастору: «Во имя любви, которую ты питал к моему дорогому мужу, поклянись, что будешь защищать жизнь его детей своей собственной грудью и отомстишь за его смерть! Это его последняя просьба к тебе». Кастор, рыдая, наверно, впервые с детства, поклялся, что выполнит его завет.

Если вы спросите, почему вместе с нами не поехала Ливилла, я отвечу: она только что родила мальчиков-близнецов, отцом которых, судя по всему, был Сеян. Если вы спросите, почему не поехала моя мать, я отвечу: Тиберий и Ливия не позволили ей присутствовать даже на похоронах. Раз всепоглощающая скорбь помешала их собственному участию в этой церемонии, им, бабке и приемному отцу усопшего, как же могла участвовать в ней его родная мать?! И они поступили разумно, не показавшись на глаза людям. Если бы они на это решились, пусть даже притворившись опечаленными, жители Рима, конечно, ополчились бы на них, и я думаю, что гвардейцы стояли бы в стороне и не шевельнули бы и пальцем, чтобы их защитить. Тиберий не удосужился сделать даже такие приготовления к похоронам, которые были обязательными, когда хоронили куда менее именитого человека: не было ни изображений Клавдиев и Юлиев, ни посмертной маски самого усопшего, выставляемой у носилок с покойным, не произносилось надгробное слово с роstralной трибуны, не было плакальщиков и причитаний. Тиберий оправдывался тем, что похороны уже были в Сирии, боги-де могли разгневаться, если бы здесь повторились все обряды. Но никогда еще в Риме не выказывалась такая искренняя и единодушная печаль, как в ту ночь. Марсово поле сверкало факелами, и толпа возле усыпальницы Августа, куда Кастор благоговейно поместил урну с прахом Германика, была такой плотной, что многих задавили до смерти. Повсюду люди повторяли, что Рим пропал, теперь не осталось никакой надежды; Германик был последним оплотом против тирании, и вот его подло убили. Повсюду жалели и восхваляли Агриппину и молились за безопасность ее детей.

Несколько дней спустя Тиберий опубликовал официальное заявление, где говорилось, что, хотя многие выдающиеся римляне умерли ради блага своей страны, ни одного из них так повсеместно и так горячо не оплакивали, как его дорогого сына. Однако теперь настала пора успокоиться и вернуться к своим обычным делам: правители смертны, благо страны — извечно. Несмотря на это, сатурналии в конце декабря прошли без обычных шуток и веселья, и только после праздника Великой Матери траур наконец кончился и жизнь вступила в свои права. Теперь подозрения Тиберия обратились на Агриппину. Утром на следующий день после похорон она пришла к нему во дворец и бесстрашно заявила, что будет считать его в ответе за смерть мужа, пока он не докажет своей непричастности и не отомстит Пизону и Планцине. Тиберий сразу же прервал разговор, прочитав ей по-гречески две строчки:

Не тем ли ты оскорблена,
Что не царица ты?

Пизон пока воздерживался от возвращения в Рим. Он послал вперед сына молить Тиберия о снисхождении, сам же отправился к Кастору, который вернулся на Дунай. Пизон думал, будто Кастор благодарен ему за то, что он убрал с его дороги соперника, также претендующего на единовластие, и охотно поверит басне об измене Германика. Но Кастор отказался его принять и во всеуслышание сказал посланцу Пизона, что, если ходящие повсюду слухи соответствуют истине, именно Пизону он и должен отомстить за смерть своего дорогого брата, как он поклялся это

сделать, — пусть Пизон держится от него подальше, пока не приведет доказательств своей невиновности. Тиберий принял сына Пизона не особенно тепло, но и не особенно холодно, словно хотел показать, что не будет держать ничью сторону до тех пор, пока публичное следствие не установит причин смерти Германика.

Наконец Пизон и Планцина явились в Рим. Они спустились на корабле по Тибру и высадились вместе со своими сторонниками у гробницы Августа: вызываясь улыбаясь, они прошествовали через собравшуюся негодующую толпу, которая чуть не набросилась на них с кулаками, и уселись в разукрашенный экипаж с двумя белыми французскими лошадьми, ожидавший их на Фламиниевой дороге. У Пизона был в Риме дом, выходивший фасадом на рыночную площадь, он тоже был разукрашен. Пизон пригласил всех друзей и родственников на пир по поводу своего возвращения и поднял пыль столбом, чтобы показать римлянам, что он их не боится и рассчитывает на поддержку Тиберия и Ливии. Тиберий намеревался поручить дело Пизона некоему сенатору, который стал бы вести его так бестолково, противореча сам себе и не трудясь представить свидетелей для подтверждения обвинений, что судебное разбирательство неминуемо кончилось бы оправданием. Слушаться дело должно было в обычном уголовном суде. Но друзья Германика, особенно три сенатора, сопровождавшие его в Сирию и вернувшиеся с Агриппиной, возражали против выбора Тиберия. В конце концов ему пришлось самому рассматривать дело, причем в сенате, где друзья Германика могли рассчитывать на необходимую поддержку. Сенат принял решение о ряде особых почестей в знак памяти о Германике — кенотафах, мемориальных арках, церемониях, положенных полубогам, на которые Тиберий не осмелился наложить вето.

Кастор снова вернулся с Дуная, и хотя сенат назначил ему оvation (малый триумф) за успех в сношениях с Марободом, он вышел в город пешком, как обыкновенный гражданин, а не въехал на боевой колеснице с венком на голове. Посетив отца, он тут же отправился к Агриппине и поклялся, что она может на него положиться: он добьется торжества справедливости.

Пизон попросил четырех сенаторов защищать его; трое из них отказались, сославшись на болезнь или неумение, четвертый, Галл, сказал, что он только тогда берется защищать человека, обвиняемого, и, похоже, справедливо, в убийстве, если может заслужить этим хотя бы благосклонность императорской семьи. Наконец Кальпурний Пизон, хотя он не был на пиру у дяди, взялся защищать его во имя чести семьи, затем к нему присоединилось еще три сенатора, уверенных, что Тиберий оправдает Пизона, какие бы ни были против него показания, а они впоследствии получат награду за свое участие. Пизон обрадовался — раз судить станет сам Тиберий, все, по заверению Сеяна, будет разыграно как по нотам: Тиберий притворится, будто он очень сердит, но под конец отложит рассмотрение дела *sine die*, пока суду не представят новые улики. Главную свидетельницу, Мартину, уже убрали с дороги — агенты Сеяна задушили ее, и обвинителям почти не на что будет опереться.

На слушание дела было отведено всего два дня, и человек, которого Тиберий первоначально прочил на роль судьи в расчете на то, что он все запутает, взял слово и принялся тянуть канитель, выдвигая против Пизона старые обвинения в плохом управлении и коррупции в Испании, где он был губернатором при Августе. Тиберий в течение нескольких часов слушал его болтовню, пока сенаторы, шаркая ногами, кашляя и хлопая табличками для письма, не дали ему понять, что, если он не вызовет главных свидетелей, будут неприятности. Четверо друзей Германика хорошо подготовили свои речи; каждый из них по очереди вставал и свидетельствовал о том, что Пизон довел армию в Сирии до морального разложения, оскорбительно держался с Германиком и с ними самими, не подчинялся приказам, о его сговоре с Вононом, о притеснениях, которым он подверг жителей провинции. Они

обвинили Пизона в том, что он умертвил Германика при помощи яда и ведовства, в принесении благодарственных жертв при известии о его смерти и, последнее, в вооруженном нападении на провинцию во главе незаконно набранного частного войска.

Пизон не возражал против обвинения в подрыве воинской дисциплины, в оскорблении Германика и неподчинении его приказам, о притеснении жителей провинции он только сказал, что слухи об этом преувеличены. Но он возмущенно отрицал, что когда-либо прибегал к яду или к ведовству. Обвинители умолчали о сверхъестественных явлениях в Антиохии, боясь вызвать скептические улыбки, они не могли также вменить Пизону в вину сговор с домашними слугами Германика и его рабами, так как уже было доказано, что те не имели никакого отношения к убийству. Поэтому Пизона обвинили в том, что он подсыпал яд в еду Германика, когда сидел рядом с ним на пиру у Германика в доме. Пизон поднял на смех это обвинение: как он мог незаметно проделать такую вещь, когда весь стол, не говоря о прислужниках, следил за каждым его движением? Наверно, при помощи магии?

У Пизона в руках была пачка писем, которые, как все знали, по их размеру, цвету и тому, как они были перевязаны, он получил от Тиберия. Друзья Германика потребовали, чтобы все инструкции, которые ему давались из Рима, были зачитаны суду. Пизон отказался это сделать на том основании, что письма были запечатаны печатью с головой сфинкса (принадлежавшей ранее Августу) — это делало их «секретными и конфиденциальными», читать их вслух равнялось измене. Тиберий поддержал его, сказав, что слушать эти письма — попусту тратить время, в них нет ничего важного. Сенат не посмел настаивать. Пизон передал письма Тиберию в знак того, что он вверяет ему свою жизнь.

Снаружи, в толпе, которой сообщали о ходе следствия, стали раздаваться сердитые крики, и какой-то человек с громким резким голосом гаркнул в окно: «Может, он избежит вашей кары, достопочтенные, но от нашей ему не уйти!». Появился посыльный и сообщил Тиберию, что толпа скинула с пьедесталов несколько статуй Пизона и тащит их, чтобы разбить, на Ступени слез — так называлась лестница у подножья Капитолийского холма, где выставлялись на обозрение трупы преступников перед тем, как, зацепив крюком за горло, их сбрасывали в Тибр. Тиберий приказал, чтобы статуи отобрали и поставили на место. Он с неудовольствием сказал, что не может при таких условиях заниматься разбирательством дела, и отложил заседание до вечера. Пизона вывели из здания сената под охраной.

Планцина, похвалявшаяся до сих пор, что разделит судьбу мужа, какая бы доля ему ни выпала, и, если надо, умрет вместе с ним, теперь перепугалась. Она решила защищаться отдельно и рассчитывала, что Ливия, с которой она была в тесной дружбе, вызовет ее из беды. Пизон ничего не знал об отступничестве жены. Когда слушание дела возобновилось, Тиберий никак не проявил к нему сочувствия и симпатии и, хотя потребовал от обвинителей представить более неопровержимые улики отравления Германика, предупредил Пизона, что его попытка силой оружия отбить обратно провинцию прощена быть не может. В тот вечер дома Пизон заперся у себя в комнате, и утром его нашли мертвым — он был заколот собственным мечом, лежавшим рядом с ним. Но это не было самоубийством.

Дело в том, что Пизон оставил у себя самое компрометирующее письмо; написанное ему Ливией от своего имени и от имени Тиберия и запечатанное простой печатью (печатью со сфинксом Тиберий пользовался сам). Пизон велел Планцине вступить с ними в сделку и купить ценой письма его и свою жизнь. Планцина отправилась к Ливии. Ливия велела ей подождать, пока она посоветуется с Тиберием. И тут между Тиберием и Ливией произошла их первая ссора. Тиберий страшно рассердился на мать — зачем она написала это письмо? А Ливия сказала, что он сам

во во всем виноват, раз не дает ей пользоваться печатью со сфинксом, и выразила недовольство тем, как непочтительно последнее время он ведет себя по отношению к ней. Тиберий спросил, кто из них император — он или она? Ливия ответила, что если и он, так только благодаря ей, и с его стороны неумно так себя с ней держать — если она сумела возвести его на трон, она сумеет и скинуть его оттуда. Ливия вынула какое-то письмо и принялась громко читать его; это было старое письмо, написанное ей Августом, когда Тиберий жил на Родосе, в котором Август обвинял его в предательстве, жестокости, скотоложестве и говорил, что, не будь Тиберий ее сыном, он не прожил бы и дня.

— Это только копия, — сказала Ливия. — Оригинал спрятан в надежном месте. И оно не одно, таких писем много. Тебе вряд ли понравится, если их станут передавать из рук в руки в сенате, верно?

Тиберий пересилил себя и попросил прощения за то, что дал волю гневу; спору нет, сказал он, они оба могут погубить друг друга, поэтому ссориться им просто глупо. Но каким образом сохранить Пизону жизнь, особенно после того, как он сказал, что если обвинение в вооруженном нападении на Сирию, с целью вернуть себе губернаторский пост, будет доказано, это означает смертный приговор без обжалования?

— Планцина не набирала войска, не так ли?

— Не вижу, где тут связь. Мне не получить от Пизона письмо, если я скажу, что пощажу одну Планцину.

— Если ты обещаешь пощадить Планцину, письмо от Пизона получу я. Предоставь это мне. Смерть Пизона удовлетворит общественное мнение. А если ты боишься взять это на свою ответственность, заяви, что за Планцину ходатайствовала я. Это будет только справедливо, ведь письмо, из-за которого нам грозят неприятности, действительно написано мной.

И вот Ливия отправилась к Планцине и сказала, что Тиберий ничего не желает слышать и скорее подвергнет родную мать всеобщей ненависти, чем рискнет собственной шкурой, защищая друзей. Единственное, чего она от него добилась, и то с трудом, это обещания простить ее Планцину, если письмо будет возвращено. Планцина пошла к Пизону с подделанным Ливией посланием, якобы от Тиберия, и сказала, что все устроилось как нельзя лучше, вот обещание помиловать их. Когда Пизон протянул ей письмо Ливии, Планцина неожиданно вонзила ему в горло кинжал. Затем окунула кончик меча в кровь, сунула рукоять в правую руку Пизона и вышла. Письмо и обещание о помиловании она, как условились, вернула Ливии.

На следующий день в сенате Тиберий прочитал вслух записку, которую, по его словам, Пизон написал перед самоубийством, где тот заявлял о своей невинности в тех преступлениях, в которых его обвиняли, торжественно заверял Ливию и его самого в своей преданности и умолял их взять под защиту его сыновей, так как они не участвовали в действиях, за которые его привлекали к суду. Затем начался суд над Планциной. Было доказано, что ее видели вместе с Мартиной, а то, что Мартина — отравительница, было подтверждено под присягой. Выяснилось, что, когда Мартину обряжали перед похоронами, у нее в волосах нашли флакончик с ядом. Старый Помпоний, денщик Германика, дал показания относительно жутких зловонных останков, спрятанных в доме, и относительно посещения дома Планциной и Мартиной в отсутствие хозяев; когда Тиберий задал ему вопрос, не являлись ли в доме злые духи, он описал во всех подробностях то, что там творилось. Никто из сенаторов не вызвался защищать Планцину. Она со слезами и клятвами утверждала, что ни в чем не виновна, говорила, будто не знала о том, что Мартину считают отравительницей, и только покупала у нее благовония, уверяла, будто женщина, приходившая с ней в дом Германика, была не Мартина, а жена одного из полковников. Разве это преступление — зайти к кому-нибудь в гости, когда там никого нет, кроме

маленького мальчика? Что касается оскорблений по адресу Агриппины, то она всем сердцем сожалеет о них и покорно просит Агриппину ее простить, но она выполняла приказ мужа, Как и положено жене, и делала это тем охотнее, что муж сказал ей, будто Агриппина с Германиком замышляют государственный переворот.

Тиберий подвел итоги. Он сказал, что в виновности Планцины есть некоторые сомнения. Ее связь с Мартиной, по-видимому, доказана так же, как и то, что сама Мартина имеет репутацию отравительницы. Но то, что эта связь криминальна, остается под вопросом. Со стороны обвинения не был предъявлен в суде ни флакон, найденный в волосах Мартины, ни доказательство того, что в нем содержался яд; это вполне могло быть снотворным или любовным зельем. Его мать Ливия очень высокого мнения о Планцине и хотела бы, чтобы сенат принял на веру ее показания ввиду отсутствия неопровержимых доказательств ее вины, ибо ночью Ливии явился дух ее любимого внука и просил ее не позволять, чтобы невинные страдали за преступления, совершенные мужем или отцом.

Итак, Пландину оправдали, а что до сыновей Пизона, то одному было разрешено унаследовать имущество отца, а другой, тот, который участвовал в битве при Киликии, был всего лишь отправлен в изгнание на несколько лет. Один из сенаторов предложил, чтобы семье покойного героя — Тиберию, Ливии, моей матери Антонии, Агриппине и Кастору — была выражена общественная благодарность за то, что они отомстили за его смерть. Но не успели сенаторы проголосовать за это предложение, как один из моих друзей, экс-консул, который был губернатором Африки до Фурия, поднялся, чтобы внести поправку. Здесь упущено одно важное имя, сказал он, а именно: имя брата усопшего героя — Клавдия, который сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы подготовить материалы обвинения и уберечь свидетелей от назойливого любопытства. Тиберий пожал плечами и сказал, что ему странно слышать, будто кто-то прибег к моей помощи; возможно, если бы обошлись без нее, обвинения против Пизона выглядели бы более убедительными. (Я действительно председательствовал на встрече друзей моего брата и решал, с каким показанием кто из них выступит; не скрою, я не советовал обвинять Пизона в том, что он подсыпал Германику яд собственной рукой, но они переспорили меня. И я надежно спрятал Помпонию и троих вольноотпущенников Германика на ферме возле моей виллы в Капуе до дня суда. Я пытался спрятать Мартину в доме знакомого купца в Брундизии, но Сеян выследил ее). Тиберий разрешил, чтобы мое имя вписали в благодарственный список, но это было для меня ничто по сравнению с благодарностью Агриппины. Она понимает теперь, сказала Агриппина, что имел ввиду Германик, когда говорил ей перед смертью, будто самый верный друг, какой у него был, это его бедный брат Клавдий.

Всеобщее возмущение Ливией было так велико, что, сославшись на это, Тиберию опять не обратился к сенату с просьбой даровать ей титул, который так часто ей обещал. Все хотели знать, что это значит, когда бабка удостоивает милостивой беседой убийцу внука и избавляет ее от мести сената. Ответ может быть один: бабка сама подстроила убийство и ничуть этого не стыдится; вряд ли жене и детям ее жертвы осталось долго жить после него.

Глава XXII

Германик был мертв, но Тиберий все равно не чувствовал себя в безопасности. Сеян без конца пересказывал ему, что тот или иной известный человек шепнул насчет него во время процесса Пизона. Перефразируя слова, некогда сказанные им же о своих солдатах: «Пусть боятся меня, лишь бы повиновались», Тиберий теперь говорил Сеяну: «Пусть ненавидят меня, лишь бы боялись». Трех всадников и двух сенаторов, которые откровеннее других критиковали его, Тиберий приговорил к

смерти по нелепому обвинению в том, что, услышав о гибели Германика, они якобы выразили удовольствие. Доносители разделили между собой их имущество.

Примерно в это время старший сын Германика Нерон достиг совершеннолетия. Он был похож на отца внешностью и чудесным характером, и, хотя не обещал быть таким умелым воином или талантливым управителем, как Германик, Рим многого от него ждал. Все радовались, когда он женился на дочери Кастора и Юлиллы, которую мы сперва называли Еленой из-за ее поразительной красоты (настоящее ее имя было Юлия), а потом Хэлуон, что значит «обжора», потому что она испортила свою красоту чревоугодием. Нерон был любимцем Агриппины. Все дети Германика, будучи из рода Клавдиев, делились на хороших и плохих, по словам баллады: на сладкие яблоки и кислицу. Кислицы было больше. Из девяти детей, которых Агриппина родила Германику, трое умерли в детстве — две девочки и мальчик, — и, судя по тому, что я видел, этот мальчик и старшая из девочек были лучшими из девяти. Август так любил этого мальчика, умершего, когда ему исполнилось восемь лет, что держал у себя в спальне его портрет в виде купидона и имел обыкновение, встав утром с постели, целовать его. Но из оставшихся в живых только Нерон мог похвалиться хорошим нравом. Друз был угрюмый, нервный, с дурными наклонностями. Друзилла была похожа на него. Калигула, Агриппинилла и последняя девочка, которую мы звали Лесбия, были так же, как и младшая из умерших дочерей, скверными во всех отношениях. Но Рим судил о всей семье по Нерону, потому что пока он единственный достиг того возраста, когда на тебя обращают внимание. Калигуле тогда было всего девять лет.

Однажды, во время моего приезда в Рим, ко мне пришла очень встревоженная Агриппина, чтобы посоветоваться со мной. Куда бы она ни пошла, сказала Агриппина, она чувствует, что за ней кто-то следит, она от этого просто больна. Знаю ли я кого-нибудь, кроме Сеяна, кто может воздействовать на Тиберия? Она уверена, что он решил убить ее или отправить в изгнание, если только ему удастся найти хоть малейший предлог. Я сказал, что знаю только двух людей, оказывающих на Тиберия благотворное влияние. Один из них — Кокцей Нерва, другой — Випсания. Тиберий так и не смог вырвать из сердца любовь к ней. Когда у нее с Галлом подросла внучка, которая в пятнадцать лет очень напоминала Випсанию такой, какой она была до развода с Тиберием, Тиберий даже думать не мог о том, чтобы отдать девушку кому-нибудь в жены, и не женился на ней сам лишь потому, что она была племянницей Кастора и брак мог считаться кровосмесительным. Поэтому Тиберий назначил ее главной весталкой, преемницей старой Окции, которая недавно умерла. Я сказал Агриппине, что, если она подружится с Кокцеем и Випсанией (которая, будучи матерью Кастора, сделает все, чтобы ей помочь), она и ее дети будут в безопасности. Агриппина послушалась моего совета. Випсания и Галл, очень жалевшие ее, разрешили ей пользоваться своим городским домом и тремя виллами как ее собственными и много возились с ее детьми. Галл, например, выбрал для них новых наставников, так как Агриппина подозревала, что старые — агенты Сеяна. От Нервы помощи было меньше. Он являлся знатоком законов, величайшим авторитетом по части контрактов, о которых он написал несколько юридических трудов, но во всем остальном был таким рассеянным и ненаблюдательным, что казался чуть ли не дурачком. Он был добр к Агриппине, как и ко всем, но не понимал, чего она от него ждет.

К сожалению, Випсания вскоре умерла, и это сразу сказалось на Тиберии. Он больше и не пытался скрыть свои порочные наклонности, слухам о которых люди просто отказывались верить. Некоторые из его пороков были ужасны и противоестественны, что никак не вязались с представлением о достоинстве императора Рима, избранного Августом. Ни женщины, ни юноши не могли теперь чувствовать себя при нем в безопасности, даже жены и дети сенаторов, — если им

дорога была собственная жизнь и жизнь их мужей и отцов, они, не противясь, делали то, что он от них требовал. Но одна жена консула потом покончила с собой в присутствии друзей, сказав им, что была вынуждена ради спасения юной дочери от похоти Тиберия предложить вместо нее себя, но этого ему показалось мало: воспользовавшись ее уступчивостью, старый козел принудил ее к таким чудовищным и грязным действиям, что лучше умереть, чем жить с воспоминаниями о них.

В это время повсюду распевали популярную песенку, начинавшуюся словами «О почему, о почему старый козел?...». Я бы сгорел от стыда, если бы привел ее всю целиком, но она была столь же остроумна, сколь неприлична; написала ее, по слухам, сама Ливия. Это была не единственная сатира на Тиберия, вышедшая из-под ее пера и пущенная анонимно в оборот при помощи Ургулании. Ливия знала, что рано или поздно они попадутся Тиберию на глаза, знала, что эти стихи очень его задевают, и думала, что, пока он считает, будто положение его из-за них неустойчиво, Тиберий не осмелится с ней порвать. Ливия из кожи лезла вон, стараясь привлечь к себе Агриппину, и даже рассказала ей по секрету, что Тиберий без ее ведома дал Пизону указание всячески донимать Германика. Агриппина не доверяла ей, но из всего этого было ясно, что между Ливией и Тиберием — вражда, а как сказала мне Агриппина, если уж ей придется выбирать между ними, она предпочтет прибегнуть к покровительству Ливии. Я был склонен с ней согласиться. По моим наблюдениям никто из фаворитов Ливии еще не стал жертвой доносов Тиберия. Но страшно было подумать, что может случиться, если Ливия умрет.

Особенно тревожили меня, хотя я и не мог толком объяснить почему, тесные узы, которые обязывали Ливию и Калигулу. Калигула вел себя с людьми, как правило, или нагло, или подобострастно, иного поведения он не знал. С Агриппиной, моей матерью со мной, с Кастором и своими братьями, например, он вел себя нагло. Перед Сеяном, Тиберием и Ливиллой пресмыкался. Но с Ливией он был другим, не знаю, как яснее выразить свою мысль, — казалось, он в нее влюблен. Это было не похоже на обычную привязанность маленького мальчика к балующей его бабушке, вернее прабабушке, хотя действительно, Калигула как-то раз приложил много усилий, чтобы переписать нежные стихи в подарок Ливии на ее семидесятипятилетие, а она задаривала его подарками. У меня создалось впечатление, что они делят друг с другом какую-то неблагоприятную тайну, хотя я вовсе не хочу сказать, будто между ними были предосудительные отношения. Агриппина, по ее словам, это тоже чувствовала, но не могла обнаружить ничего определенного.

Я наконец понял, почему Сеян так вежлив со мной: он предложил, чтобы мой сын Друзилл помолвился с его дочерью. Мне это не очень пришлось по душе, но лишь потому, что было жаль девочку, судя по всему, славную малышку. Каким мужем ей будет Друзилл, который каждый раз, когда я видел его, казался мне все более неуклюжим и глупым? Но сказать о своих чувствах я не мог. Тем более я не мог сказать, что сама мысль хоть о каком-то родстве с этим негодяем Сеяном мне глубоко противна. Он заметил, что я медлю с ответом, и спросил, не считаю ли я этот союз ниже достоинства своей семьи. Я, заикаясь, пробормотал: нет, конечно же, не считаю, его ветвь рода Элиев весьма почтенна. Сеян, хотя по рождению сын простого сельского всадника, был в юности усыновлен богатым сенатором из рода Элиев, консулом, оставившим ему все свои деньги; с этим усыновлением был связан какой-то скандал, но факт оставался фактом — Сеян был из Элиев. Он настаивал, чтобы я объяснил свою нерешительность: если этот брак мне не по нутру, он сожалеет, что заговорил о нем, но, понятно, сделал он это по совету Тиберия. Поэтому я сказал, что раз предложил этот союз сам Тиберий, я буду рад дать на него согласие, смущает меня одно: не рано ли четырехлетней девочке быть помолвленной с мальчиком тринадцати лет, который лишь в двадцать один год сможет формально вступить в брак, а до этого, возможно, окажется вовлечен в

другие связи. Сеян улыбнулся и сказал, что он уверен — я прослежу, чтобы мой сын держался подальше от греха.

23 г. н. э.

В городе поднялось большое смятение, когда узнали, что Сеян породнится с императорской фамилией, но все спешили поздравить его, да и меня. Через несколько дней Друзилл умер. Его нашли на земле за кустом в саду каких-то друзей Ургуланиллы, пригласивших его из Геркуланума в Помпею. В горле его застряла небольшая груша.

На дознании было сказано, что он подкидывал грушу в воздух и пытался поймать ее ртом. Нет сомнений, это несчастный случай. Но никто в это не верил. Было ясно, что Ливия, с которой не посоветовались относительно женитьбы одного из ее правнуков, устроила так, чтобы мальчика задушили, а затем сунули грушу ему в рот. Как было принято в таких случаях, дерево обвинили в убийстве, а потом, согласно приговору, вырыли из земли с корнем и сожгли.

Тиберий попросил сенат утвердить за Кастором звание трибуна. Это было равносильно тому, что назвать его своим преемником. Просьба его у всех вызвала облегчение. Она свидетельствовала о том, что Тиберию известны честолюбивые притязания Сеяна и он намерен их пресечь. Когда декрет был принят, кто-то из сенаторов предложил, чтобы его высекали на стене сената золотыми буквами. Никому было невдомек, что честь эта была оказана Кастору по совету самого Сеяна; он намекнул Тиберию, будто Кастор, Агриппина, Ливия и Галл объединили свои силы, и, отметив высоким званием Кастора, можно будет выяснить, кто еще входит в их партию. Сделать надпись золотыми буквами предложил один из друзей Сеяна, и имена сенаторов, поддержавших это нелепое предложение, были тут же записаны. Кастор стал куда более популярен среди лучших граждан Рима, чем в былые дни. Он перестал пить — смерть Германика отрезвила его — и хотя по-прежнему чрезмерно увлекался кровавыми гладиаторскими боями, чрезвычайно роскошно одевался и делал огромные ставки на бегах, он был добросовестный судья и верный друг. Я редко имел с ним дело, но когда мы встречались, он обращался со мной гораздо уважительнее, чем до смерти Германика.

Их с Сеяном жестокая ненависть друг к другу всегда угрожала вспыхнуть ярким пламенем, но Сеян старался не вызывать Кастора на ссору до тех пор, пока ее нельзя было использовать в своих интересах. Теперь это время пришло. Сеян отправился во дворец, чтобы поздравить Кастора со званием трибуна и нашел его в комнате вместе с Ливиллой.

Там не было ни вольноотпущенников, ни рабов, поэтому Сеян мог не стесняться в выражениях. К этому времени Ливилла по уши была в него влюблена, и он мог рассчитывать, что она предаст Кастора точно так, как некогда предала Постума, — Сеян каким-то образом узнал об этой истории. Однажды в какой-то беседе они даже посетовали, что они не императорская чета, — вот когда можно было бы делать все, что вздумается.

— Ну, Кастор, — сказал Сеян, — я хорошо обстряпал для тебя это дельце. Мои поздравления.

Кастор нахмурился. Кастором его называли только немногие, самые близкие друзья. Он получил это прозвище, как я, по-моему, уже объяснял, благодаря сходству с известным гладиатором, но закрепилось оно за ним из-за ссоры на пиру с каким-то всадником. Всадник сказал ему в глаза, что он пьян и ни на что не способен, и Кастор, выйдя из себя, с криком «Пьян и ни на что не способен, да? Я покажу тебе, пьян ли я, и на что я способен!» слез, шатаясь, с ложа и нанес всаднику такой страшный удар в живот, что тот изрыгнул все, что съел. Теперь Кастор сказал Сеяну:

— Я не позволяю называть меня Кастором никому, кроме друзей и равных мне.

А ты — ни первое, ни второе. Для тебя я — Тиберий Друз Цезарь. И я не понимаю, на что ты намекаешь, говоря, будто что-то для меня «обстряпал». И мне не нужны твои поздравления, о чем бы ни шла речь. Так что убирайся отсюда!

Ливилла:

— Что касается меня, я считаю трусостью с твоей стороны оскорблять Сеяна, не говоря уж о том, что ты неблагодарно выгоняешь его прочь, как собаку, когда он пришел поздравить тебя с почетным назначением. Ты сам знаешь, что твой отец никогда не дал бы тебе это звание, если бы не рекомендация Сеяна.

Кастор:

— Ты болтаешь глупости, Ливилла. Подлый доноситель имеет к этому такое же отношение, как мой евнух Лигд. У него раздутое самомнение. И скажи мне, Сеян, при чем тут трусость?

Сеян:

— Твоя жена права. Ты — трус. Ты не осмеливался разговаривать со мной подобным образом до того, как я сделал тебя трибуном и твоя личность стала неприкосновенной. Ты прекрасно знаешь, что иначе я бы тебя вздул.

— И поделом, — добавила Ливилла.

Кастор переводил взгляд с одного лица на другое, затем медленно сказал:

— Значит, между вами двумя что-то есть, да?

Ливилла презрительно улыбнулась:

— Предположим, что есть. Кто из вас лучше?

— Ладно, моя милая, — вскричал Кастор, — сейчас мы это увидим! Забудь на минуту, что я трибун, Сеян, и пусти в ход кулаки.

Сеян сложил руки на груди.

— Что, боишься?!

Сеян ничего не сказал, и Кастор с силой ударил его ладонью по щеке.

— А теперь убирайся!

Сеян вышел, раскланиваясь с преувеличенной почтительностью. Ливилла последовала за ним.

Этот удар решил судьбу Кастора. Сеян явился к Тиберию, пока след от пощечины еще не пропал, и заявил, будто, придя к Кастору поздравить его со званием трибуна, нашел его пьяным и тот хлестнул его по лицу, сказав: «Да, приятно ударить человека, зная, что он не ударит в ответ. И можешь передать моему отцу, что я сделаю то же самое с каждым из его вонючих доносчиков». На следующий день Ливилла пришла пожаловаться, что Кастор ее избил, и подтвердила слова Сеяна. Кастор, мол, избил ее потому, что она не скрыла, как ей противно видеть, когда бьют человека, который не может ответить тем же, и слышать, когда оскорбляют своего отца. Тиберий поверил им обоим. Он ничего не сказал Кастору, но поставил бронзовую статью Сеяна в театре Помпея — необычайно высокая честь, если ее оказывают человеку при жизни. Люди сделали вывод, что Кастор, несмотря на звание трибуна, попал в опалу (Сеян и Ливилла распространяли повсюду свою версию ссоры) и Сеян — единственный человек, чьей милости стоит добиваться. Поэтому было отлито много копии этой статуи и приверженцы Сеяна ставили их на почетное место в парадных залах своих домов по правую руку от статуи самого Тиберия, а статуи Кастора редко где можно было увидеть. Всякий раз, когда Кастор встречал отца, на его лице ясно читались обида и возмущение, и это сделало задачу Сеяна совсем легкой. Он сказал Тиберию, будто Кастор прощупывал различных сенаторов насчет того, поддержат ли они его, если он захватит верховную власть, и кое-кто уже обещал ему свою помощь. Те из них, которые казались Тиберию наиболее опасными, были арестованы все по тому же привычному обвинению в богохульстве по отношению к Августу. Одного приговорили к смерти за то, что он зашел в уборную, держа в руке золотую монету, где был высечен профиль Августа. Другому вменили в

вину то, что он включил статую Августа в список дачной мебели, предназначенной для продажи. Его тоже приговорили бы к смерти, если бы консул, разбиравший это дело, не попросил Тиберия голосовать первым. Тиберию было неудобно голосовать за смертный приговор, и сенатора оправдали, но вскоре осудили по другому обвинению.

Кастор перепугался и обратился к Ливии за помощью против Сеяна. Ливия сказала, чтобы он успокоился, она скоро образумит Тиберия. Но она не доверяла Кастору и боялась брать его в союзники. Она пошла к Тиберию и сказала ему, будто Кастор обвиняет Сеяна в том, что он совратил Ливиллу, злоупотребляя своим положением доверенного лица, шантажирует богатых людей и от имени Тиберия вымогает у них деньги и сам зарится на единовластие; Кастор сказал, добавила она, что, если Тиберий в ближайшем будущем не прогонит этого негодяя, он возьмет это в свои руки, и просил ее содействия. Представив дело таким образом, Ливия надеялась, что Тиберий станет так же мало доверять Сеяну, как Кастору, и по старой привычке будет полагаться только на нее. На какое-то время она преуспела в этом. Но затем произошел случай, показавший Тиберию, что Сеян действительно предан ему, о чем свидетельствовали и все его прошлые поступки. Однажды Сеян, Тиберий и несколько друзей отправились на пикник в грот на берегу моря; вдруг раздался грохот, и часть естественной кровли обвалилась, убив несколько слуг и похоронив под обломками остальных; вход в пещеру оказался завален. Сеян, встав над Тиберием на четвереньки — ни тот ни другой не были ранены, — прикрыл его от продолжавших падать обломков своей спиной. Когда час спустя солдаты их откопали, Сеян стоял все в той же позе. Между прочим, Фрасилл в тот день тоже упрочил свое положение: он сказал утром Тиберию, что незадолго до полудня будет час тьмы, равно как заверил Тиберия, что он на много лет переживет Сеяна и Сеян ему не опасен. Я думаю, Сеян договорился об этом с Фрасиллом, но доказательств тому у меня нет; Фрасилл не был таким уж бессребренником, но когда он предсказывал что-то согласно желанию своих клиентов, его пророчества исполнялись так же, как обычные предсказания. Тиберий и правда пережил Сеяна на несколько лет.

Тиберий дал еще одно публичное подтверждение того, что Кастор в немилости, сделав ему в сенате выговор за присланное туда письмо. Кастор просил извинить его за отсутствие на жертвоприношениях при открытии сената после летнего отпуска, объясняя, что его задерживает другое общественное дело и он не сумеет вернуться в город вовремя. Тиберий сказал с насмешкой, что можно подумать, будто малый воюет в Германии или отправился с дипломатическим поручением в Армению, когда задержавшее его «общественное дело» — всего лишь ловля рыбы и купание в Террацине. Тиберий добавил, что ему самому простительно на склоне лет иногда покидать город; он вправе сослаться на то, что силы его иссякли в результате долгой государственной службы мечом и пером. Но что, кроме наглости, могло задержать его сына? Это было очень несправедливо: Кастору поручили за время летнего отпуска подготовить отчет о береговых оборонительных сооружениях, а он не успел собрать к сроку все сведения и предпочел закончить работу, вместо того чтобы ездить попусту в Рим, а затем обратно в Террацину.

Не успел Кастор вернуться, как тут же заболел. По симптомам это была скоротечная чахотка. Он побледнел, похудел и харкал кровью. Кастор написал Тиберию и просил прийти к нему — они жили в разных концах дворца, — он умирает и хочет получить прощение отца за те обиды, которые он, сам того не желая, когда-нибудь ему нанес. Сеян отговорил Тиберия идти туда: возможно. Кастор на самом деле болен, но, с другой стороны, возможно, это просто уловка, чтобы заманить Тиберия к себе и убить. Поэтому Тиберий не пошел к сыну, а спустя несколько дней тот умер.

23 г. н. э.

О смерти Кастора не очень сожалели. Его необузданный, жестокий нрав и дурная слава заставляли горожан со страхом думать о том, что случится, если он станет преемником отца. Мало кто верил в его исправление. Большинство людей считало это просто хитростью, чтобы завоевать народную любовь, и он будет так же плох, как Тиберий, стоит ему занять его пост. А тут подрастают сыновья Германика — Друз тоже как раз достиг совершеннолетия, — они, бесспорно, наследники Тиберия. Но сенат из почтения к Тиберию оплакивал смерть Кастора так громко, как мог, и присудил ему такие же посмертные почести, как Германику. Сам Тиберий не делал вида, будто он очень скорбит о сыне, и произнес приготовленное им надгробное слово твердым, звучным голосом. Когда Тиберий увидел, что по лицам некоторых сенаторов катятся слезы, он сказал достаточно внятно «в сторону», обращаясь к стоявшему рядом Сеяну: «Фу, здесь пахнет луком!». Затем поднялся Галл и выразил свое восхищение тем, как хорошо Тиберий справился со своим горем. Он напомнил всем, что даже божественный Август, будучи среди них в смертном облиии, не смог совладать с чувствами, вызванными смертью Марцелла, его приемного сына (даже не родного), и когда он благодарил сенат за участие, ему пришлось прервать свою речь на середине, так обуревала его печаль. А та речь, которую мы только что слышали, является блестящим образцом самообладания. (Здесь будет уместным заметить, что когда четыре или пять месяцев спустя из Трои прибыли представители греков, чтобы выразить свое соболезнование Тиберию по поводу смерти его единственного сына, Тиберий поблагодарил их так: «А я соболезную вам, уважаемые, по поводу смерти Гектора»). Затем Тиберий послал за Нероном и Друзом и, когда они прибыли, взял каждого из них за руку и представил их сенату:

— Господа сенат, три года назад я вверил этих оставшихся без отца детей попечению их дяди, моего дорогого сына, которого мы горячо оплакиваем сегодня, желая, чтобы он их усыновил, хотя у него уже были родные сыновья, и воспитал достойными наследниками семейной традиции. («Правильно! Правильно!» — с места Галла, и всеобщие аплодисменты.) Но теперь, когда жестокая судьба похитила его у нас (стоны и сетования), я обращаюсь с подобной просьбой к вам. В присутствии богов, перед лицом нашей любимой родины, я молю вас взять под свое покровительство, под свою опеку этих благородных праправнуков Августа, чьи предки прославили свои имена в римской истории: постарайтесь, чтобы вы и я честно выполнили свои обязанности по отношению к ним. Внуки, эти сенаторы заняли теперь место вашего отца; ваше происхождение столь высоко, что какая бы, хорошая или злая, вас ни постигла участь, это тут же отразится на судьбе государств. (Оглушительные аплодисменты, слезы, благословения, заверения в верности).

Но вместо того, чтобы поставить здесь точку, Тиберий испортил все впечатление, закончив в своем обычном духе приевшимися всем фразами о том, что он скоро уйдет в отставку и восстановит республику, когда «консулы или кто-нибудь другой снимут бремя правления» с его «согбенных плеч». Если он не хотел, чтобы Нерон и Друз (или один из них) стали его преемниками, что он имел в виду, отождествляя их судьбу с судьбой Рима?

Похороны Кастора не были столь волнующими, как похороны Германика, — мало кто искренне о нем горевал, — но зато куда более великолепными. В похоронной процессии можно было увидеть все фамильные изображения Цезарей и Клавдиев, начиная с Энея, родоначальника Юлиев, и Ромула, основателя Рима, и кончая Гаем, Луцием и Германиком. Было здесь также изображение Юлия Цезаря — он, как и Ромул, считался только полубогом, но Августа не было, ведь он был богом поважнее.

Сеяну и Ливилле пришлось призадуматься над тем, как осуществить свою честолюбивую мечту стать императором и императрицей. На пути у них стояли

Нерон, Друз и Калигула — их предстояло устранить. Избавиться от троих без шума было трудновато, но, как заметила Ливилла, сумела же бабка избавиться от Гая, Луция и Постума, когда захотела передать власть Тиберию. А Сеян, тут и спору нет, был в куда более благоприятном положении, чтобы выполнить их план, чем была тогда Ливия. Желая показать Ливилле, что он действительно, как и обещал, намерен на ней жениться, Сеян развелся со своей женой Апикатой, от которой у него было трое детей. Он обвинил ее в прелюбодеянии и заявил, что она собирается стать матерью ребенка, зачатого не от него. Он не назвал во всеуслышание имени ее любовника, но сказал Тиберию, когда они были наедине, что подозревает Нерона. У Нерона, добавил он, плохая репутация из-за его интрижек с женами известных людей; он, видимо, воображает, будто может вести себя как ему вздумается, раз его прочтат в наследники престола. Тем временем Ливилла делала все возможное, чтобы лишить Агриппину покровительства Ливии: она предупредила Агриппину, что Ливия лишь использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием — это случайно соответствовало истине, — и предупредила Ливию через одну из ее прислужниц, что Агриппина использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием — что также соответствовало истине. Ливилла заставила их обеих поверить, будто каждая из них поклялась убить другую, как только надобность в ней отпадет.

Двенадцать понтификов начали включать имена Нерона и Друза в молитвы о здоровье и благоденствии императора, и другие жрецы последовали их примеру. Тиберий, будучи великим понтификом, направил им письмо, где выразил свое недовольство тем, что они не делают разницы между этими мальчишками и им самим, человеком, который с честью занимал все важнейшие государственные посты за двадцать лет до того, как они родились, и занимает их до настоящего времени; это просто неприлично. Тиберий вызвал понтификов к себе и поинтересовался, уговорила ли их Агриппина сделать это дополнение к обычной молитве или заставила угрозами. Они, естественно, отрицали и то и другое, но не убедили его; четверо из двенадцати понтификов, в том числе Галл, были так или иначе связаны с Агриппиной семейными узами, пятеро были с ней и ее сыновьями в дружеских отношениях. Тиберий сделал им суровый выговор. В своей следующей речи он предупредил сенат «не давать никаких преждевременных отличий, от которых у молодых людей может закружиться голова и они станут предаваться самонадеянным мечтам».

Агриппина нашла неожиданного союзника в Кальпурнии Пизоне. Он сказал ей, что вступился за своего дядю Гнея Пизона просто ради чести семьи, и она не должна считать его врагом, он приложит все старания для защиты ее самой и ее детей. Но после этого разговора Кальпурний недолго прожил. Его обвинили в «изменнических словах, произнесенных в частной беседе», в том, что он держит дома яд, и в том, что он явился в сенат, вооруженный кинжалом. Последние два обвинения были настолько нелепы, что сенат их отвел, но назначили день для разбирательства по поводу «изменнических слов». Не дожидаясь суда, Кальпурний покончил жизнь самоубийством.

Тиберий поверил Сеяну, будто в Риме существует организованная Агриппиной тайная партия «зеленых», членов которой можно узнать по их горячей поддержке «зеленого» возницы на бегах. Возницы каждой из четырех участвующих в бегах колесниц различались шестом своей одежды: красным, синим, зеленым и белым. В это время самым большим успехом пользовался возница в зеленом, а красный был самым непопулярным. И вот, когда, отправившись в праздники на бега, к чему его обязывало положение — сам он никогда не интересовался бегами и всегда обрывал пустые разговоры о них во дворце или на пирах, — Тиберий начал впервые обращать внимание на то, какую поддержку получает та или иная колесница, он с большим беспокойством обнаружил, что громче всех приветствуют возницу в зеленом. Сеян

также сказал ему, что для «зеленых» красный цвет — символ императора и его сторонников, и теперь Тиберий заметил, что, когда побеждает возница в красном — хотя случалось это редко, — в цирке раздаются шиканье и свист. Сеян был хитер: он знал, что Германик всегда поддерживал «зеленого» возницу и что Агриппина, Нерон и Друз в память о нем тоже предпочитают этот цвет.

В течение многих лет командующим войсками на Рейне был некий Силий. Я, кажется, уже упоминал о нем. Да, тот самый военачальник, чьи четыре полка не приняли участия в большом мятеже в Верхней Германии. Он был самый способный из заместителей брата и получил триумфальные украшения за победы над Германном. Незадолго до описываемых событий он, возглавив объединенные войска Верхней и Нижней провинций, подавил опасный бунт французских племен неподалеку от Лиона — места, где я родился. Он не отличался особой скромностью, но и хвастуном его нельзя было назвать, и если он действительно, как говорили, заявил во всеуслышание, будто, не сумеет он найти подход к тем четырем полкам, они присоединились бы к мятежникам, а значит, не будь его, у Тиберия не было бы и империи, — он недалеко ушел от истины. Но Тиберию это, естественно, не понравилось, хотя бы потому, что, как я уже объяснил, мятежные полки были раньше под его командой. Жена Силия — Созия — была лучшей подругой Агриппины. Случилось так, что во время Больших Римских игр, которые были в начале сентября, Силий делал крупные ставки на возницу в зеленом. Сеян крикнул ему с противоположной стороны цирка:

— Я ставлю на красного! Бьюсь с тобой об заклад на любую сумму!

Силий крикнул в ответ:

— Ты ставишь не на тот цвет, мой друг! Красный возница понятия не имеет о том, как держать в руках вожжи. Он пытается достичь успеха хлыстом. Ставлю тысячу золотых, что выиграет зеленый. Молодой Нерон говорит, что готов поставить полторы тысячи: он горячий поклонник зеленого.

Сеян многозначительно посмотрел на Тиберия, который слышал весь этот обмен репликами и был поражен дерзостью Силия. Он счел хорошим предзнаменованием то, что во время предпоследнего заезда, пересекая линию финиша, возница в зеленом упал и красному досталась легкая победа.

Через десять дней Силий предстал перед сенатом по обвинению в государственной измене. Ему вменялось в вину то, что он не принял должных мер на ранних стадиях бунта во Франции и брал себе в уплату за невмешательство треть добычи, в том, что он воспользовался своей победой для дальнейшего грабежа верных жителей Франции, а затем обложил провинцию чрезвычайными налогами для возмещения военных издержек. Созия была обвинена в соучастии в тех же преступлениях. Со времени этого бунта Силий был непопулярен во дворце. Тиберия тогда сильно порицали за то, что он сам не возглавил кампанию против бунтовщиков и проявлял больше интереса к делам о государственной измене, чем к подавлению бунта. В качестве оправдания Тиберий сослался в сенате на свой возраст — а Кастор был занят другими важными делами — и объяснил, что он находится в тесной связи со штабом Силия и даст ему необходимые указания. Все, что касалось французского бунта, задевало Тиберия за живое. Когда французов разбили, один сенатор-острослов, по примеру Галла, выставил Тиберия на посмеище, предложив назначить ему триумф, ведь за победу на самом деле надо благодарить его. Тиберий в ответ высказался в том духе, что победа эта незначительна, и не стоит о ней говорить: он был так недоволен, что никто не решился предложить, чтобы Силию назначили триумфальные украшения, которые он, безусловно, заслужил. Силий был разочарован, и слова насчет германского мятежа были сказаны им от обиды на неблагодарность Тиберия.

Силий счел ниже своего достоинства отвечать на обвинения в государственной

измене. Он ни о чем не договаривался с восставшими, а если его солдаты в некоторых случаях не видели разницы между имуществом мятежников и верных империи граждан, этого можно было ожидать: многие так называемые верные подданные Рима тайком финансировали бунт. Что до обложения налогом, то факты таковы: Тиберий обещал ему специальную сумму из государственной казны, чтобы покрыть издержки кампании и возместить римским гражданам, живущим в провинции, ущерб, нанесенный их домам, урожаю и скоту. В ожидании выплаты этих ассигнований Силий обложил налогом часть северных племен, обещая вернуть деньги, когда они будут выданы ему Тиберием, чего так до сих пор и не сделано. В результате бунта Силий лишился двадцати тысяч золотых, так как сформировал эскадрон добровольцев, который он вооружил за свой счет и которому платил из собственного кармана. Главный обвинитель Силия, один из консулов того года, со злобой стал говорить о его вымогательстве. Он был другом Сеяна и сыном военного губернатора Нижней провинции, который хотел получить верховное командование всеми римскими военными силами, посланными против французов, но должен был уступить место Силию. Силий не мог даже привести в качестве свидетельства обещание Тиберия относительно денег, так как письмо, где об этом шла речь, было запечатано печатью со сфинксом. Ну а разговоры о вымогательстве не имели отношения к делу — обвиняли-то его в государственной измене.

Под конец Силий воскликнул:

— Сиятельные отцы, я многое мог бы сказать в свою защиту, но не скажу ничего, потому что это разбирательство ведется незаконным образом и приговор вынесен давным-давно. Я прекрасно понимаю, что настоящее мое преступление заключается в словах относительно того, что, не найди я подход к полкам в Верхней Германии, они бы присоединились к мятежу. Сейчас вы окончательно убедитесь в моей виновности — я вам вот что скажу: если бы не «подход» Тиберия к войскам в Нижней Германии, там вообще не было бы мятежа. Друзья, я — жертва алчного, завистливого, жестокого, деспотичного...

Конец его речи потонул в гуле протестов со стороны перепуганных сенаторов. Силий отдал честь Тиберию и вышел, высоко подняв голову. Придя домой, он обнял Созию и детей, передал нежный прощальный привет Агриппине, Нерону, Галлу и остальным друзьям и, зайдя в спальню, вонзил меч себе в горло.

Оскорбления по адресу Тиберия сочли свидетельством его вины. Все имущество Силия было конфисковано с обещанием, что оно пойдет на возмещение несправедливо назначенного налога, а обвинители получают четверть оставшейся собственности, как того требует закон; деньги же, отказанные ему за верность Августом, должны быть возвращены в государственную казну, поскольку они были выплачены по недоразумению. Жители провинции не отважились настаивать на своих правах, и Тиберию достались три четверти имущества Силия — к этому времени уже не было разницы между военной, государственной и императорской казной. Впервые Тиберий получил прямую выгоду от конфискации имущества и позволил оскорбление своей личности считать доказательством государственной измены.

У Созии было личное достояние, и, чтобы спасти ей жизнь и избавить ее детей от нищеты, Галл потребовал отправить ее в изгнание, а собственность разделить пополам между обвинителями и детьми. Но один свойственник Агриппины, союзник Галла, предложил, чтобы обвинители получили только четверть всего имущества — законный минимум, — добавив, что Галл — верный приверженец Тиберия, но несправедлив к Созии, ведь всем известно: когда Силий лежал на смертном одре, она упрекала его за его вероломные и неблагодарные высказывания. Поэтому Созию всего лишь отправили в изгнание. Она уехала жить в Марсель, и поскольку, узнав, что ему грозит смертная казнь, Силий тут же потихоньку передал Галлу и другим друзьям

большую часть своего достояния в звонкой монете, чтобы они сохранили эти деньги для его детей, семья его отнюдь не бедствовала. Старший сын Силия, когда вырос, доставил мне немало неприятностей.

С тех пор Тиберий, раньше обвинявший людей в измене под предлогом того, что они богохульствовали по адресу Августа, стал все чаще проводить в жизнь указ, принятый в первый год его правления, о том, что любые высказывания, направленные против него самого и порочащие его доброе имя, должны считаться государственным преступлением. Он обвинил одного сенатора, которого подозревал в принадлежности к партии Агриппины, в том, что тот читал вслух бранную эпigramму, сочиненную на него. А дело было так: однажды утром жена сенатора заметила, что высоко на воротах дома прикреплен какой-то листок. Она попросила мужа прочитать, что там написано, — он был выше нее. Сенатор медленно прочитал, разбирая по буквам:

Хоть пить вино он перестал,
Но выпивает вновь.
Он просто взял другой бокал —
В нем убиенных кровь.

Жена наивно спросила, что это значит, и он ответил: «Опасно объяснять это на людях, дорогая». Возле ворот болтался профессиональный доносчик в надежде, что, когда сенатор прочитает эпigramму — работу Ливии, он скажет что-нибудь компрометирующее его. Доносчик тут же отправился к Сеяну. Тиберий лично подверг сенатора допросу, спрашивая, что он имел в виду под «опасно» и на кого, по его мнению, написана эпigramма. Сенатор ходил вокруг да около и не давал прямого ответа. Тогда Тиберий сказал, что, когда он был молод, по Риму циркулировало много пасквилей, обвиняющих его в пьянстве, но впоследствии доктора предписали ему воздерживаться от вина из-за предрасположенности к подагре, и вот в последнее время опять появились клеветнические стишки, на этот раз обвиняющие его в кровожадности. Тиберий спросил обвиняемого, не были ли ему известны эти факты и не думает ли он, что в эпigramме как раз говорится об императоре? Несчастный человек ответил, что до него доходили слухи о пьянстве императора, но он им не верил, так как они не имели под собой оснований, и никак не связывал эти поклепы с эпigramмой у себя на воротах. Тогда его спросили, почему он не доложил о прежних пасквилях сенату, как ему предписывал это долг. Сенатор ответил, что тогда, когда он их слышал, произносить или повторять какую угодно эпigramму, сколь бы бранной она ни была, написанную против любого, пусть самого добродетельного, человека, еще не считалось преступлением; даже если грубые и оскорбительные стишки были направлены против самого Августа, вас не обвиняли в государственной измене, лишь бы вы их не печатали. Тиберий спросил, о каком времени он говорит, ведь в конце жизни Август издал закон против таких стихов. Сенатор ответил:

— Это было на третий год твоего пребывания на Родосе.

— Сиятельные, — воскликнул Тиберий, — почему вы позволяете этому субъекту оскорблять меня?

И сенатора присудили к наказанию, которому обычно подвергали самых злостных предателей: полководцев, которые за плату проигрывали битву неприятелю, и им подобных, — его сбросили с Тарпейской скалы.

Другого человека, всадника, казнили за то, что он сочинил трагедию о царе Агамемноне, в которой царица, убившая его в ванне, вскричала, замахиваясь топором:

Тиран, я мщу тебе за все —

Здесь преступленья нет!

Тиберий сказал, что под Агамемноном подразумевался он сам и приведенные строки подстрекали к его убийству. Что придало трагедии, над которой все раньше посмеивались, так нескладно и скверно она была написана, своего рода величие, ведь все ее экземпляры были изъяты и сожжены, а автор казнен.

25 г. н. э.

За этим судебным делом последовало два года спустя другое — я пишу об этом здесь, так как история с Агамемноном напомнила мне о нем — дело Кремуция Корда, который вступил в столкновение с Сеяном из-за сущего пустяка. Однажды дождливым днем, войдя в здание сената, Сеян повесил свой плащ на крючок, куда обычно вешал плащ Кремуций, и тот, придя позже него и не зная, что плащ принадлежит Сеяну, перевесил его на другой крючок. Плащ Сеяна упал на пол, и кто-то наступил на него грязными сандалиями. Сеян принялся зло мстить за это Кремуцию, и тому стало настолько противно видеть его лицо и слышать его имя, что, когда статую Сеяна установили в театре Помпея, он воскликнул: «Это погубит театр!». Поэтому Сеян указал на него Тиберию как на главного сторонника Агриппины. Но так как Кремуций был почтенный кроткий старик, у которого не было ни одного врага на свете, кроме Сеяна, и который открывал рот только в случае крайней необходимости, обвинение против него было трудно подкрепить уликами, которые мог бы, не стыдясь, принять даже наш запуганный сенат. В конце концов Кремуция обвинили в том, что он в письменном виде восхвалял Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря. В качестве улики был предъявлен исторический труд, написанный Кремуцием за тридцать лет до того, который сам Август, приемный сын Юлия, включил, как было известно, в свою личную библиотеку и время от времени им пользовался.

Кремуций горячо защищался против этого нелепого обвинения. Он сказал, что Брут и Кассий так давно умерли и с тех пор их поступок так часто восхвалялся историками, что, по-видимому, весь этот процесс — розыгрыш, подобный тому, которому недавно подвергся молодой путешественник в Лариссе. Этого юношу публично обвинили в убийстве трех человек, хотя жертвами его были три бурдюка с вином, висевшие у дверей лавки, которые он исполосовал мечом, приняв за грабителей. Но это судебное разбирательство происходило во время ежегодного Праздника смеха, что оправдывало все происходящее, и юноша любил выпить и уж очень был склонен пускать в ход свой меч — возможно, его и следовало проучить. Но он, Кремуций Корд, слишком стар, чтобы его выставляли подобным образом на посмеище, и сейчас не Праздник смеха, а, напротив, четыреста семьдесят шестая годовщина обнародования закона Двенадцати Таблиц, этого славного памятника законодательного гения и незыблемых моральных устоев наших предков. После чего старик ушел домой и уморил себя голодом. Все экземпляры его книги, кроме двух или трех, которые его дочь спрятала и переиздала много лет спустя, уже после смерти Тиберия, были изъяты и сожжены. Книга эта не отличалась особыми достоинствами и пользовалась незаслуженной славой.

До тех пор я говорил себе: «Клавдий, ты ничем не блещешь, и толку от тебя на этом свете мало, и жизнь твоя не очень-то счастливая — не одно, так другое, но ей, во всяком случае, ничто не грозит». Поэтому, когда старый Кремуций, которого я очень хорошо знал — мы часто встречались и болтали в библиотеке, — лишился из-за такого обвинения жизни, я был до смерти напуган. Я чувствовал себя как человек, находящийся на склоне вулкана, когда тот внезапно начинает извергать пепел и раскаленные камни. Это было мне предостережением. В свое время я писал куда более крамольные вещи, чем Кремуций. В моей «Истории религиозных

реформ» было несколько фраз, которые вполне могли послужить основой для обвинения. И хотя мое имущество было очень незначительно и доносителям не имело смысла ставить мне что-нибудь в вину, чтобы получить его четвертую часть, я отдавал себе отчет в том, что все жертвы последних процессов о государственной измене были друзьями Агриппины, а я продолжал посещать ее всякий раз, когда приезжал в Рим. Я не был уверен в том, насколько мое родство с Сеяном послужит мне защитой.

Да, в то самое время я породнился с Сеяном и сейчас расскажу, как это произошло.

Глава XXIII

Как-то раз Сеян сказал, что мне следовало бы снова жениться, похоже, я не очень-то лажу со своей теперешней женой. Я ответил, что Ургуланиллу выбрала мне бабка Ливия и я не могу развестись с ней, пока Ливия мне этого не разрешит.

— Конечно, нет, — сказал он, — я вполне это понимаю, но тебе, должно быть, трудно приходится без жены.

— Спасибо, — сказал я, — я вполне управляюсь.

Он сделал вид, будто это великолепная шутка, и, громко рассмеявшись, заметил, что я далеко не дурак, но затем добавил, чтобы я непременно пришел к нему, если у меня возникнет возможность развестись. У него есть для меня на примете подходящая женщина — хорошего происхождения, молодая и неглупая. Я поблагодарил Сеяна, но мне стало не по себе. Когда я выходил из комнаты, он сказал:

— Друг Клавдий, я хочу дать тебе совет. Ставь на красных завтра в каждом заезде и не огорчайся, если ты потеряешь немного денег, в конечном счете ты все равно выиграешь. И не ставь на зеленых, в наши дни этот цвет приносит несчастье. Не говори никому о моих словах, это только между нами.

Я почувствовал облегчение: видно, Сеян все же думает, будто следует искать со мной дружбы, но что крылось за его словами, я понять не мог. На следующий день во время бегов — был праздник, посвященный Августу, — Тиберий увидел меня в цирке и, будучи в хорошем расположении духа, послал за мной.

Тиберий:

— Что ты подделываешь сейчас, племянник?

Я ответил, заикаясь, что пишу «Историю древних этрусков», если он ничего не имеет против.

Он:

— Правда? Это говорит о твоём здравом смысле. На свете не осталось ни одного древнего этруска, чтобы возражать против этого, и вряд ли есть хоть один живой этруск, которого бы это заботило, так что ты можешь писать все, что вздумается. А еще чем ты занят?

— П-пи-ишу «Историю древних к-к-к-кар-карфагенян», с твоего разрешения.

— Великолепно! А что еще? И не трать время на заикание. Я человек занятой.

— В данный м-м-мо-момент я с-с-с-с...

— Сочиняешь «Историю с-с-страны идиотов»?

— Нет, если позволишь, с-с-с-ставлю на красных.

Он пристально посмотрел на меня и сказал:

— Вижу, племянник, что ты не так уж глуп. А почему ты ставишь на красных?

Я был в затруднении, так как не мог признаться, что делаю это по совету Сеяна. Поэтому я сказал:

— Мне приснилось, будто зеленого лишили права участвовать в играх, потому что он поднял хлыст на других в-в-в-возниц, и красный п-п-п-пришел первым;

с-с-с-и-ний и б-б-б-белый остались далеко позади.

Тиберий дал мне кошелек с деньгами и пробормотал на ухо:

— Никому не говори, что деньги от меня, просто поставь их на красных, посмотрим, что из этого выйдет.

Это был счастливый для красных день, и, держа пари с молодым Нероном при каждом заезде, я выиграл около двух тысяч золотых. Я счел разумным посетить в тот же день Тиберия.

— Вот твой счастливый кошелек, государь, с целым выводком кошелечков, которые расплодились от него за этот день.

— Все мои? — воскликнул он. — Да, мне повезло. Красный — самый хороший цвет, верно?

Типично для моего дяди Тиберия. Он не оговорил точно, кому пойдет выигрыш, и я думал, что мне. Но если бы я проиграл, он бы сказал что-нибудь, чтобы я почувствовал себя его должником. Мог бы по крайней мере отдать мне комиссионные.

Когда я в следующий раз приехал в Рим, мать была в таком возбужденном состоянии, что я не решался раскрыть при ней рот, боясь, как бы она не вспылила и не дала мне затрещину. Насколько я понял, причиной ее расстройства были Калигула, которому недавно стукнуло двенадцать, и Друзилла — на год его старше, жившие тогда у нее. Друзилла была заперта в комнате без пищи, а Калигула, хоть и не был наказан, казался всерьез напуганным. Он пришел ко мне вечером и сказал:

— Дядя Клавдий, попроси бабушку не говорить про нас императору. Мы не делали ничего плохого, клянусь. Мы просто играли. Ты же не веришь этому про нас. Скажи, что не веришь.

Он объяснил, что именно не надо было говорить императору, и поклялся честью отца, что они с Друзиллой ни в чем не виноваты. Я почувствовал себя обязанным по мере моих сил им помочь и, отправившись к матери, сказал:

— Калигула клянется, что ты ошибаешься. Он клянется честью отца, и если у тебя есть хоть крупица сомнения в его вине, не отмахивайся от клятвы. Что до меня, я не могу поверить, чтобы двенадцатилетний мальчик...

— Калигула — чудовище, и Друзилла тоже, а ты — болван; я верю собственным глазам больше, чем их клятвам или твоей дурацкой болтовне. Завтра я прямо с утра пойду к Тиберию.

— Мать, если ты расскажешь обо всем императору, пострадают не только эти двое. Давай хоть раз поговорим откровенно. Может быть, я и болван, но ты знаешь не хуже меня, что Тиберий подозревает, будто Агриппина отравила Кастора, чтобы ее старшие сыновья унаследовали империю, и что он живет в страхе перед внезапным переворотом в их пользу. Если ты, бабка этих детей, обвинишь их в кровосмешении, думаешь, он не найдет способа привлечь за это к ответу старших членов семьи?

— Ты был и есть болван, говорю я. Видеть не могу, как у тебя трясется голова и дергается кадык.

Но я понял, что мои слова произвели на нее впечатление, и решил, что, если я не буду попадаться ей на глаза до отъезда из Рима, чтобы своим видом не напоминать о моем совете, возможно, Тиберий и не услышит от нее ничего об этом деле. Я уложил вещи и отправился в дом моего шурина Плавтия, чтобы попросить его приютить меня на несколько дней. (К этому времени Плавтий сделал хорошую карьеру, и через четыре года его ждала должность консула.) Я пришел к нему поздно вечером; он читал у себя в кабинете какие-то судебные бумаги. Жена уже легла, сказал он. Я спросил, как она поживает.

— Последний раз, что я ее видел, у нее был расстроенный вид.

Плавтий рассмеялся:

— Ах ты, сельский житель, ты разве не слышал? Я уже больше месяца как

разошелся с Нумантиной. Когда я сказал «жена», я имел в виду свою новую жену, Апронию, дочь того самого человека, который не так давно задал взбучку Такфаринату.

Я извинился и сказал, что, видимо, должен поздравить его.

— Но почему ты развелся с Нумантиной? Мне казалось, вы жили в добром согласии.

— Прекрасно жили. Но, сказать по правде, я в последнее время оказался в трудном положении из-за долгов. Мне сильно не повезло несколько лет тому назад, когда я был младшим судьей. Ты сам знаешь, что, когда оказываешься в такой должности, тебе приходится во время игр платить из собственного кармана. Начать с того, что я потратил больше, чем мог себе позволить, к тому же, как ты помнишь, мне на редкость не везло. Два раза во время игр была допущена ошибка в ритуале, и я был вынужден назавтра все начинать сначала. В первый раз был виноват я сам — я произнес молитву по устаревшей форме, ее изменили правительственным указом за два года до того. А во второй раз трубачу не хватило дыхания, и пришлось прервать сигнал; этого оказалось достаточно, чтобы снова все прекратить, не доведя до конца. Вот мне и пришлось трижды платить гладиаторам и возницам. С тех пор я не вылезал из долгов. Мне надо было что-то предпринять, кредиторы стали переходить к угрозам. Приданое Нумантины было истрачено много лет назад, но мне удалось договориться с се дядей. Он согласился принять ее обратно без денег при условии, что я разрешу ему усыновить нашего младшего сына. Он хочет иметь наследника, а наш мальчик ему по сердцу. Апрония очень богата, так что все мои дела теперь уладились. Конечно, Нумантина вовсе не хотела меня покидать. Мне пришлось сказать ей, будто я пошел на это лишь потому, что, если я не женюсь на Апронии, которая в меня влюблена и к которой благоволят во дворце, меня обвинят, как мне намекнул некий друг некоего важного лица, в богохульстве по отношению к Августу. Понимаешь, не так давно один из рабов споткнулся и уронил алебастровую вазу с вином посередине зала. У меня в руках был хлыст, и, когда я услышал грохот, я накинулся на парня и принялся его хлестать. Я ничего не видел от ярости. Он сказал: «Остановись, хозяин, погляди, где мы». Одна нога этого негодяя была на священном квадрате белого мрамора, на котором стоит статуя Августа. Я тут же бросил хлыст, но меня видели не менее полудюжины вольноотпущенников. Я не сомневаюсь, что могу им доверять и никто из них не пойдет на меня доносить, но Нумантину этот случай встревожил, вот я и воспользовался им, чтобы примирить ее с разводом. Между прочим, все это — только между нами. Я надеюсь, ты не передашь ничего Ургуланилле. Не хочу от тебя скрывать, ее наш развод сильно рассердил.

— Я никогда с ней теперь не вижусь.

— Ну, если увидишься, не говори ей того, что я сказал тебе. Поклянись, что не скажешь.

— Клянусь именем божественного Августа.

— Вот и хорошо. Ты помнишь комнату, где ты спал в прошлый раз?

— Да, благодарю. Если ты занят, я лягу сейчас. Я проделал сегодня долгий путь из Капуи, а дома меня задали неприятности. Мать буквально выгнала меня за дверь.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я поднялся вверх. Вольноотпущенник, как-то странно на меня поглядев, дал мне лампу; я вошел в спальню, расположенную почти напротив спальни Плавтия, и, запершись, принялся раздеваться. Постель была под пологом. Я снял одежду и вымыл руки и ноги в тазике для умывания, стоявшем в другом конце комнаты. Вдруг позади меня раздались тяжелые шаги, и мою лампу задули. «Тебе крышка, Клавдий, — подумал я, — у него, конечно, есть кинжал». Но вслух я сказал как можно спокойнее:

— Зажги, пожалуйста, лампу, кто бы ты ни был, и мирно обо всем поговорим. А если ты хочешь убить меня, при свете тебе будет виднее.

— Оставайся на месте, — ответил мне низкий голос.

Послышалось шарканье, ворчанье, шелест надеваемой одежды, затем удар кремнем по стали, и наконец лампа зажглась. Передо мной была Ургуланилла. Я не видел ее с похорон Друзилла, и за эти пять лет она не стала привлекательнее. Она была толще, чем раньше, невероятно толста, с обрюзглым лицом; этот Геркулес в женском облике мог одолеть тысячу Клавдиев. У меня довольно сильные руки, но ей достаточно было навалиться на меня, и она задавила бы меня насмерть.

Ургуланилла подошла ко мне и спросила:

— Что ты делаешь в моей спальне?

Я постарался все ей объяснить и сказал, что это глупая шутка Плавтия — послать меня в спальню, не сказав, что она там. Я чрезвычайно уважаю ее, сказал я, и искренне прошу извинить меня за вторжение; я немедленно уйду и буду спать в общественных банях.

— Нет, голубчик, раз уж ты здесь, оставайся. Я не часто имею удовольствие быть в обществе своего супруга. Не обманывай себя — убежать тебе не удастся. Ложись и спи, я присоединюсь к тебе позднее. Я почитаю, пока меня не сморит сон. Я уже много ночей почти не сплю.

— Мне очень жаль, если я тебя разбудил...

— Ложись в постель.

— Я очень сожалею, что Плавтий развелся с Нумантиной. Я ничего об этом не знал, пока несколько минут назад мне не сказал об этом вольноотпущенник.

— Ложись и перестань болтать.

— Спокойной ночи, Ургуланилла. Я, право, очень...

— Ты замолчишь? — Она подошла и задернула полог.

Хотя я смертельно устал и у меня слипалось глаза, я изо всех сил старался не спать. Я был уверен, что Ургуланилла подождет, когда я усну, и затем задушит меня. А пока она читала вслух скучную книгу, греческую любовную повесть самого идиотского толка, шурша страницами и медленно, хриплым шепотом произнося по слогам каждое слово:

— «О, муд-рец, — ска-за-ла она, — ты вку-сил сей-час и меда, и желчи. Смот-ри, что-бы сла-дось тво-е-го удо-воль-ствия не об-ра-ти-лась завт-ра в го-речь рас-ка-я-ния!» «Че-пу-ха, — от-ве-тил я, — моя лю-би-мая, ее-ли ты ода-ришь ме-ня еще од-ним та-ким по-це-лу-ем, я го-тов под-жа-ри-вать-ся на мед-лен-ном ог-не, как ку-ри-ца или ут-ка!»

Ургуланилла хмыкнула и сказала громко:

— Засыпай, муженек, я жду, когда ты захрапишь.

— Тогда не читай таких волнующих историй, — запротестовал я.

Спустя некоторое время я услышал, что Плавтий идет к себе в спальню. «О, небеса, — подумал я, — еще несколько минут, и он уснет и не услышит через две двери моих криков, когда Ургуланилла будет меня душить». Ургуланилла перестала шептать, ее бормотание и шелест страниц больше не помогали мне бороться со сном. Я чувствовал, что засыпаю. Я спал. Я знал, что я сплю и должен проснуться. Я яростно боролся со сном. Наконец я очнулся. Послышался тихий стук и шорох бумаги — книга слетела со стола на пол, лампа погасла, в комнате был сильный сквозняк. Должно быть, открылась дверь. Минуты три я внимательно вслушивался. Тишина. Ургуланиллы в комнате не было.

Я раздумывал, что предпринять, как вдруг раздался истошный крик... казалось, кричат совсем рядом. «Пощади! Пощади! — кричал женский голос. — Это дело рук Нумантины! О! О!» Затем донесся грохот от падения какого-то тяжелого металлического предмета, звон бьющегося стекла, снова крик, мягкий удар где-то далеко, затем торопливые шаги по коридору. Кто-то вошел в комнату. Дверь тихо прикрылась, щелкнула задвижка. Я узнал тяжелое дыхание Ургуланиллы. Я слышал,

как она раздевается и кидает одежду на стул, и вскоре она уже лежала рядом со мной. Я притворился, что сплю. Ургуланилла принялась нащупывать в темноте мое горло. Я сказал, словно не совсем еще проснулся:

— Перестань, детка, мне щекотно. Надо завтра поехать в Рим, привезти тебе благоволия.

Затем более осмысленным голосом добавил:

— О, Ургуланилла! Это ты? Что за шум? Который час? Мы уже давно спим?

— Не знаю, — сказала она, — я проспала, должно быть, часа три. Скоро рассветет. Похоже, случилось что-то ужасное. Пойдем посмотрим.

Мы встали, второпях накинули одежду и вышли из комнаты. Плавтий, голый, лишь закутанный в покрывало, стоял посреди взволнованной толпы людей, держащих факелы. Он был вне себя и только повторял:

— Это не я. Я спал. Я почувствовал, что ее вырвали из моих объятий, и слышал ее крики о помощи откуда-то сверху, словно ее несли по воздуху, а затем грохот, будто что-то рухнуло, и удар — когда она упала из окна. Было темно, хоть глаза выколи. Она кричала: «Пощади! Это дело рук Нумантины!»

— Расскажи это судьям, — сказал брат Апронии, делая шаг к нему, — увидишь, поверят ли они тебе. Ты убил ее, не отпирайся. У нее проломлен череп.

— Это не я, — повторил Плавтий. — Как я мог это сделать? Я спал. Это колдовство. Нумантина — ведьма.

Рано утром отец Апронии отвел Плавтия к Тиберию. Тот допросил его с пристрастием. Плавтий сказал теперь, что, пока он спал крепким сном, Апрония вырвалась из его объятий, с криком помчалась по комнате и выпрыгнула в окно. Тиберий велел тут же пронести его на место преступления. Первое, что он заметил в спальне — его собственный свадебный подарок: прекрасный бронзовый с золотом светильник из царской гробницы, лежавший разбитым на полу. Тиберий взглянул наверх и увидел, что он был выдран из потолка.

— Она цеплялась за светильник, и он упал, — сказал Тиберий. — Кто-то нес ее к окну на плечах. И взгляните, как высоко в окне пробита дыра. Апрония не сама выпрыгнула, ее выбросили.

— Это колдовство, — сказал Плавтий, — ее несла по воздуху какая-то невидимая сила. Апрония кричала и обвиняла мою прежнюю жену Нумантину.

Тиберий презрительно усмехнулся. Друзья Плавтия поняли, что его обвинят в убийстве, присудят к смертной казни, а имущество конфискуют. Поэтому его бабка Ургулания послала Плавтию кинжал, сказав, что он должен подумать о детях: если он предвосхитит приговор, немедленно покончив с собой, им оставят имущество. Плавтий был трус и не решался сам наложить на себя руки. Наконец он лег в ванну с горячей водой, велел врачу вскрыть ему вены и медленно и безболезненно истек кровью. Мне все это было крайне неприятно. В первый момент я не обвинил Ургуланиллу в убийстве, ведь меня спросили бы, почему, услышав крики о помощи, я не вскочил с постели и не спас Апронию. Я решил подождать суда и выступить со своим заявлением, только если Плавтию будет грозить смертный приговор. О кинжале я узнал, когда было уже слишком поздно. Я утешал себя мыслью, что Плавтий жестоко обошелся с Нумантиной, и к тому же всегда был мне плохим другом. Чтобы смыть пятно позора с имени Плавтия и оставить по нему хорошую память, его брат обвинил Нумантину в том, что она помрачила его рассудок колдовством. Но Тиберий вмешался в это дело, сказав, что, на его взгляд, Плавтий в то время, бесспорно, находился в здравом уме. И обвинение с Нумантины было снято.

С Ургуланиллой я после той ночи не обменялся ни словом. Но месяц спустя Сеян неожиданно зашел ко мне, когда проезжал через Капую. Он сопровождал Тиберия на Капри, остров неподалеку от Неаполя, где у Тиберия было двенадцать вилл и куда он частенько ездил развлекаться.

— Теперь ты сможешь развестись с Ургуланиллой, — сказал Сеян. — Она ждет через пять месяцев ребенка, так сообщили мне мои агенты. Можешь поблагодарить за это меня. Мне было известно о безумной любви Ургуланиллы к Нумантине. Я случайно увидел молодого раба, грека, который мог сойти за близнеца Нумантины. Я послал его в подарок Ургуланилле, и она тут же влюбилась в него. Его зовут Ботер.

Что мне оставалось? Только сказать ему спасибо. Затем я спросил:

— А кто же будет моей новой женой?

— Значит, ты не забыл о нашем разговоре? Та, кого я имею в виду, моя сводная сестра Элия. Ты, разумеется, знаешь ее?

Еще бы! Но я скрыл свое разочарование и только спросил, какой интерес молодой прекрасной и умной девушке выходить за такого старого, хворого, глупого хромого заика, как я?

— О, — ответил Сеян, не щадя меня, — все это ей безразлично. Она выйдет замуж за племянника Тиберия и дядю Нерона, только это ее и интересует. Ты же не думаешь, что она воспылала к тебе любовью. Возможно, она заставит себя родить от тебя ребенка ради продолжения рода, но что касается чувств...

— Другими словами, помимо чести стать твоим зятем, я мог бы с таким же успехом не разводиться с Ургуланиллой — жизнь моя не станет от этого лучше.

— Ну, ты справишься, — рассмеялся он. — Судя по тому, как выглядит эта комната, ты не томишься от одиночества. Я вижу, в доме есть хорошая женщина. Перчатки, ручное зеркальце, пальцы, коробка конфет, красиво подобранные цветы... Элия не будет ревнивой женой. Возможно, у нее тоже есть свои друзья, не знаю, я не сую нос в ее дела.

— Хорошо, — сказал я, — согласен.

— Не похоже, что ты очень признателен за это!

— Не в том дело. Ты порядком потрудились из-за меня, и я не знаю, как тебя и благодарить. Просто я побаиваюсь. Насколько мне известно, Элия — женщина требовательная, если ты понимаешь, что я хочу сказать.

Сеян расхохотался:

— У нее язык, как бритва. Но я не сомневаюсь, что за эти годы ты закалился и простой бранью тебя не проймешь. Мать хорошо выдубила тебе шкуру, не так ли?

— Не совсем, — ответил я, — я все еще уязвим.

— Ну, мне пора идти, дорогой Клавдий. Тиберий удивится, куда это я пропал. Значит, по рукам?

— Да, и я очень тебе благодарен.

— Между прочим, бедняжку Апронию убила Ургуланилла, верно? Я ожидал такой трагической развязки. Ургуланилла получила от Нумантины письмо, где та просила за нее отомстить. Как ты понимаешь, Нумантина его не писала.

— Я ничего об этом не знаю. Я тогда крепко спал.

— Как Плавтий?

— Гораздо крепче.

— Разумный ты человек. Что ж, до свидания, Клавдий.

— До свидания, Элий Сеян.

И он уехал.

Я развелся с Ургуланиллой, сперва испросив на то разрешения бабки. Ливия писала, что ребенок должен быть умерщвлен сразу после рождения: таково ее желание и желание Ургулании.

Я послал в Геркуланум к Ургуланилле верного человека, чтобы он сказал ей о том, какое я получил приказание, и посоветовал, если она хочет спасти ребенка, обменять его, как только он родится, на мертвое дитя. Я должен был предъявить мертвого младенца, а чьего, не имело значения, лишь бы он не очень давно умер. Ургуланилла так и сделала, а затем забрала его у приемных родителей, давших ей

раньше своего умершего ребенка. Я не знаю, что случилось потом с Ботером, но дитя, девочка, когда выросла, стала, по слухам, как две капли воды похожа на Нумантину. Ургуланилла уже много лет как умерла. Когда это случилось, пришлось сломать стену дома, чтобы вынести ее колоссальную тушу — мясо и жир, чистый вес, водянки у нее не было. В своем завещании она публично отдала мне дань следующими любопытными словами: «Что бы там ни говорили. Клавдий — не дурак». Она оставила мне коллекцию греческих гемм, несколько персидских вышивок и портрет Нумантины.

Глава XXIV

25 г. н. э.

Тиберий и Ливия больше не встречались. Ливия оскорбила Тиберия, поставив в надписи на статуе Августа, посвященной ему совместно с Тиберием, первым именем свое. Тиберий отомстил ей, сделав единственную вещь, которую она не могла простить: когда из Испании прибыли посланцы с просьбой разрешить им построить храм ему и его матери, он отказался от имени обоих. Тиберий сказал сенаторам, что, возможно, в минуту слабости он позволил посвятить храм в Азии сенату и его главе (то есть себе самому) в знак отеческой заботы Рима о своих провинциях. В посвяtitельной надписи там упоминается также имя Ливии Августы, верховной жрицы культа Августа. Но согласиться на обожествление себя и матери значило бы зайти в своей терпимости слишком далеко.

— Что до меня, господа сенат, даю вам торжественную клятву, что мне совершенно достаточно быть простым смертным, связанным путами человеческой природы, и занимать среди вас ведущее место к вашему удовлетворению — если вы действительно мною довольны. Пусть таким меня и запомнят потомки. Если они будут считать меня достойным моих предков, блюдущим ваши интересы, равнодушным к опасности, не боящимся личных врагов, от которых я защищаю благо нашей империи, мне этого достаточно. Любовь и благодарность сената, римского народа и наших союзников — самый прекрасный храм, какой я могу себе воздвигнуть; не из мрамора, но из куда более стойкого материала, чем мрамор, — храм в сердцах людей. Когда те, в чью честь были построены мраморные храмы и кого раньше свято чтили, теряют былую славу, святилища их становятся всего лишь простыми гробницами. А посему я молю небо даровать мне до конца жизни спокойствие духа и способность с ясной головой разбираться во всех делах, человеческих и священных; посему я заклинаю граждан Рима и его союзников, чтобы, когда это смертное тело погрузится в вечный покой, они восславили мою жизнь и деяния (если я заслужившую того) благодарностью в душе, а не внешней пышностью, возведением храмов и ежегодными жертвоприношениями. Истинная любовь, которую Рим испытывал к моему отцу Августу в то время, когда он жил среди нас в человеческом облики, теперь омрачена как благоговейным страхом, питаемым по отношению к нему людьми верующими, так и богохульным употреблением его имени в качестве рыночной клятвы. Кстати, господа, раз уж об этом зашла речь, я предлагаю, чтобы с сегодняшнего дня произнесение священного имени Августа в любых случаях, кроме самых торжественных, считалось преступлением и чтобы этот закон проводился в жизнь самым решительным образом.

Ни слова о чувствах Ливии. А за день до того Тиберий отказался назначить на должность судьи одного из ее ставленников, если она не согласится на то, чтобы он предварил назначение следующими словами: «Этот субъект — избранник моей матери Ливии Августы, чьим докучливым просьбам я был вынужден уступить, вопреки имеющимся у меня сведениям о его характере и способностях».

Вскоре после этого Ливия пригласила к себе на целый день всех

высокорожденных римлян. Гостей ждали всевозможные увеселения: фокусники, жонглеры, акробаты, декламация стихов, а также всевозможные сласти, засахаренные фрукты, вино и прекрасный алмаз для каждой гостьи в качестве памятного подарка. Чтобы увенчать прием, Ливия прочитала несколько писем Августа. Ей было уже восемьдесят три года, голос ее ослаб, и она шепелявила, но в течение полутора часов ее слушали, как замороженные. В первых прочитанных ею письмах содержались высказывания о государственной политике: казалось, Август писал специально, чтобы предостеречь против существующего теперь в Риме положения вещей. Там было несколько весьма уместных замечаний по поводу судебных дел о государственной измене, в частности следующий абзац:

«Хотя я имею законное право защищаться от всех видов клеветы, я приложу все старания, дорогая Ливия, чтобы не разыгрывать такой гнусный спектакль, как судебный процесс, и не обвинять в государственной измене какого-нибудь глупого историка, карикатуриста или сочинителя эпиграмм, сделавшего меня мишенью своего остроумия или красноречия. Мой отец Юлий Цезарь прощал поэту Катуллу самые язвительные сатиры, какие можно себе представить; он написал Катуллу, что если тот хочет доказать, будто он не подобоострастный льстец; как большинство его собратьев-поэтов, то он уже добился своего и может вернуться к другим, более поэтическим темам, чем сексуальные отклонения пожилого государственного деятеля; и не придет ли Катулл на следующий день к обеду вместе с тем, с кем захочет? Катулл пришел, и с тех пор они с Юлием Цезарем стали верными друзьями. Использовать величие закона, чтобы мстить за мелочные проявления личной злобы, значит публично признаваться в слабости, трусости и низости духа».

Был там и достойный внимания абзац о доносителях:

«В том случае, если я подозреваю, что доноситель выдвигает свои обвинения не из чувства истинного патриотизма и гражданской порядочности, а желает прямо или косвенно извлечь из них пользу для себя, я не только не принимаю в расчет его показаний, но ставлю черную отметку против его имени и никогда впоследствии не поручаю ему ответственный пост...»

Под конец Ливия прочитала несколько весьма поучительных писем. У нее были десятки тысяч сшитых в виде книг и пронумерованных писем Августа, написанных на протяжении пятидесяти двух лет. Из этих тысяч она выбрала пятнадцать, которые сильнее всего могли опозорить Тиберия. В первых письмах выражалось недовольство его безобразным поведением в раннем детстве, его непопулярностью среди соучеников в отрочестве, его скупостью и высокомерием в юности и так далее. Раздражение писавшего все росло, и все чаще повторялась фраза: «И если бы он не был твой сын, дорогая Ливия, я бы сказал...» Затем пришел черед сетования на жестокость Тиберия по отношению к войскам («словно он нарочно подстрекает их к мятежу...») и на его медлительность, когда надо наступать на врага, с нелестным для Тиберия сравнением между его методами ведения войны и методами его брата, моего отца. Дальше следовал гневный отказ взять Тиберия в зятя и подробный перечень его пороков. Затем шли письма, относящиеся к печальной истории с Юлией; выражения, в которых они были написаны, говорили о крайнем отвращении и даже ненависти Августа к Тиберию. Ливия прочитала также письмо, касающееся отзыва Тиберия с Родоса:

«Дражайшая Ливия.

Я хочу воспользоваться этой сорок второй годовщиной нашего брака, чтобы поблагодарить тебя от всего сердца за те исключительные услуги, которые ты оказала государству с тех пор, как мы объединили свои силы. Если меня величают Отцом отчизны, мне кажется нелепым, что тебя не величают Матерью отчизны; клянусь, ты сделала в два раза больше, чем я, для государственного переустройства. Почему ты просишь меня подождать

еще несколько лет, прежде чем обратиться к сенату с ходатайством оказать тебе эту честь? Мне остается единственный способ выказать уверенность в твоей бескорыстной верности и глубине твоих суждений — уступить твоим непрерывным просьбам отозвать в Рим Тиберия, человека, к которому, признаюсь, я продолжаю испытывать величайшую антипатию, и молю богов, чтобы, уступая тебе, я не причинил непоправимого вреда государству».

Последним Ливия прочитала письмо, написанное Августом примерно за год до смерти:

«Вчера, когда я обсуждал государственную политику с Тиберием, дорогая жена, меня внезапно охватило чувство глубочайшего отчаяния и сожаления при мысли о том, что придет время и эти глаза навек станут грозно сверкать на римский народ, этот костлявый кулак станет стучать на него, зубы — скрежетать, огромные ноги — топтать. Но я на минуту забыл о тебе и нашем милом Германике. Если бы я не верил, что, когда я умру, Тиберий будет следовать твоим указаниям во всех государственных делах и, устыдившись Германика, станет по его примеру вести, хотя бы с виду, пристойную жизнь, я бы даже сейчас, клянусь, лишил его наследства и попросил сенат взять обратно все его почетные титулы. Это не человек, а зверь, за ним нужен глаз да глаз».

Когда Ливия кончила читать, она поднялась и сказала:

— Пожалуй, уважаемые дамы, лучше не говорить мужьям об этих своеобразных письмах. Сказать по правде, я не осознавала, пока не начала читать, насколько... насколько они своеобразны. Я прошу вас хранить молчание — не столько ради себя, сколько ради империи.

Тиберий слышал обо всем этом от Сеяна, как раз когда собирался занять свое место в сенате, и его охватили стыд, ярость и страх. Как назло в тот самый день он должен был рассматривать дело о государственной измене, возбужденное против одного из понтификов, Лентуллы, который вызвал подозрения Тиберия, включив в молитву имена Нерона и Друза, а также голосуя за смягчение приговора Созии. Когда Лентулл, простодушный старик, известный равно своим высоким рождением, победами в Африке при Августе и своей скромностью и незлобностью, услышал, что его обвиняют в заговоре против государства, он громко расхохотался. Тиберий, и так расстроенный и смущенный, потерял голову и, чуть не плача, сказал:

— Если Лентулл тоже меня ненавидит, мне лучше умереть.

Галл ответил ему:

— Подбодритесь, ваше величество... прошу прощения, я забыл, что ты не любишь этого титула... мне следовало сказать: подбодрись, Тиберий Цезарь! Лентулл смеялся не над тобой, он смеялся с тобой вместе. Он радовался, что в кои веки в сенат поступило обвинение в измене, не имеющее под собой никаких оснований.

И обвинение против Лентуллы было снято. Правда, Тиберий уже успел к тому времени свести в могилу его отца. Тот был невероятно богат и так напуган подозрениями Тиберия, что покончил с собой, а в доказательство своей преданности оставил ему все свое состояние; Тиберий не мог поверить, что обездоленный им Лентулл не затаил на него зла.

Целых два месяца Тиберий не появлялся в сенате; он не мог глядеть сенаторам в глаза, зная, что их жены слышали письма Августа. Сеян предложил Тиберию на время покинуть Рим и пожить на вилле в нескольких милях от города; он отдохнет от посетителей, каждый день толпящихся во дворце, от шума и суеты города — это пойдет на пользу его здоровью. Тиберий последовал совету Сеяна. Он также принял свои меры против Ливии: отстранил ее «по возрасту» от участия в государственных

делах, перестал ставить ее имя на официальных документах, запретил оказывать ей впредь почести в день рождения и прозрачно намекнул, что тот, кто станет соединять их имена или восхвалять Ливию в сенате, будет считаться чуть ли не государственным преступником. Более активно сводить с ней счеты он опасался. Тиберий знал, что у Ливии по-прежнему в руках письмо, написанное им на Родосе, где он обещал повиноваться ей во всем до конца жизни, и что Ливия вполне способна во всеуслышание его прочитать, пусть даже тем самым она изобличит себя как убийцу Луция и Гая.

Но эта поразительная старуха, как вы увидите, еще не была побеждена. Однажды я получил от нее записку: «Госпожа Ливия Августа ожидает своего дорогого внука Тиберия Клавдия к обеду по поводу ее дня рождения: она надеется, что он пребывает в добром здравии». Я ничего не мог понять. Я — ее дорогой внук! Нежные расспросы о здоровье! Я не знал, смеяться мне или пугаться. Ни разу в жизни меня не приглашали к ней на день рождения. Я даже ни разу не обедал с ней за одним столом. Я не общался с ней — разве во время церемонии на празднике Августа — по крайней мере десять лет. Какая тут подоплека? Ну, через три дня я все узнаю, а пока надо купить ей поистине великолепный подарок. После долгих поисков я приобрел вещь, которую Ливия, без сомнения, должна была оценить, — изящную бронзовую чашу с ручками в виде змеиных голов, украшенную сложным узором из золота и серебра. По моему мнению — куда более тонкая работа, чем коринфские сосуды, за которые в наши дни коллекционеры дают бешеные деньги. Ее привезли из Китая. В центре чаши был вделан золотой медальон с головой Августа, каким-то образом попавший в эту чудесную далекую страну. Чаша обошлась мне в пять сотен золотых, хотя была совсем небольшой.

Но прежде чем рассказать о своем визите и долгой беседе с Ливией, я должен внести ясность в один вопрос, насчет которого я, возможно, ввел вас в заблуждение. Из моего рассказа о судебных процессах и прочих чудовищных вещах вы, вероятно, сделали вывод, что при Тиберии империя управлялась из рук вон плохо. Это было далеко не так. Хотя Тиберий и не предпринял никаких новых общественных работ, удовлетворившись завершением начатых Августом, он держал армию и флот в состоянии боевой готовности, регулярно платил должностным лицам и четыре раза в год требовал от них подробные отчеты, поощрял торговлю, обеспечивал регулярное снабжение Италии зерном, следил за исправностью дорог и акведуков, теми или иными способами ограничивал расточительство, заботился о твердых ценах на продукты, расправился с пиратами и разбойниками и постепенно создал в государственной казне значительный резервный фонд на случай крайней необходимости. Он подолгу не смещал с должности губернаторов провинций, если от них была хоть какая-то польза, чтобы не выбивать жизнь из привычной колеи, однако держал их под неусыпным надзором. Один губернатор, желая показать Тиберию свою преданность и расторопность, отправил ему дань в большем количестве, чем следовало. Тиберий отчитал его: «Я хочу, чтобы моих овец стригли, а не брили». В результате, после того как Германн умер, а Маробода пригласили в Рим и волнения среди германцев улеглись, почти не было стычек с пограничными племенами. Главным врагом оставался Такфаринат. В течение долгого времени его называли «Приносящий лавры», так как три военачальника подряд — мой друг Фурий, отец Апронии Апроний и третий, дядя Сеяна по материнской линии, Блез — одерживали над ним победы и получали триумфальные украшения. Блез, разгромивший армию Такфарината и взявший в плен его брата, был назначен главнокомандующим — редкая честь, обычно оказываемая только членам императорской фамилии. Тиберий сказал сенату, что он рад вознаградить Блеза таким образом, потому что тот — родич его верного друга Сеяна. И когда три года спустя четвертый полководец Долабелла положил конец африканской войне, вспыхнувшей с удвоенной силой, не только

разгромив Такфарината, но и убив его, ему были дарованы только триумфальные украшения, «чтобы лавры Блеза, дяди моего верного друга Сеяна, не утеряли своего блеска».

26 г. н. э.

Однако я говорил о хороших деяниях Тиберия, а не о его слабостях, и действительно, для империи в целом он был уже двенадцать лет мудрым и справедливым правителем. Никто не стал бы этого отрицать. Червоточина в сердцевине яблока — если здесь простительна метафора — не доходила до кожицы и не причиняла ущерба мякоти.

Из шести миллионов римских жителей какие-то две или три сотни страдали от ревнивых страхов Тиберия. А сколько миллионов рабов, жителей провинций и союзников, которые только номинально считались свободными, извлекали солидную выгоду из имперского строя, усовершенствованного Августом и Ливией и поддерживаемого в их традициях Тиберием! Но я жил, так сказать, в сердцевине яблока, и меня можно понять, если я уделяю больше места изъевшей его нутро червоточине, чем все еще чистой и ароматной наружной части.

Стоит тебе проявить слабость, Клавдий, и употребить метафору, что, правда, бывает редко, как ты заходишь слишком далеко. Ты ведь не забыл предостережений Афинодора? Ну ладно, назови Сеяна червем и на этом кончай — пора вернуться к твоему обычному непритязательному стилю.

Сеян решил сильнее разжечь обуревавший Тиберия стыд, чтобы удержать его за пределами города дольше чем два месяца. Он подговорил одного гвардейского офицера обвинить известного остряка по имени Монтан в том, что он очернил доброе имя императора. Если до тех пор обвинители остерегались пересказывать какие-либо оскорбления по адресу Тиберия, кроме самых общих — жестокий, высокомерный, властный, то этот вояка приписал Монтану наговор весьма своеобразного, но реального толка. Сеян постарался, чтобы мерзкая «клевета» соответствовала действительности, хотя Монтан, не знакомый, подобно Сеяну, с тем, что происходило во дворце, не был в ней повинен. Свидетель, лучший инструктор по стрельбе в гвардии, во все горло выкрикивал приписываемые им Монтану непристойности, не обходя молчанием даже самые неприличные слова и фразы и не давая заглушить себя протестами возмущенных сенаторов.

— Клянусь, что говорю одну правду, — орал он, — и, ради чести Тиберия Цезаря, я не опущу ни одного пункта из мерзкого разговора обвиняемого, случайно услышанного мной в вышеназванный день при вышеназванных обстоятельствах... Обвиняемый заявил затем, что наш милостивый император в результате всех этих оргий и чрезмерного употребления возбуждающих средств скоро станет импотентом, и для того, чтобы восстановить его иссякающие силы, примерно каждые три дня в специально убранной комнате в подвалах дворца для него устраиваются особые зрелища. Обвиняемый утверждал, будто их участники, так называемые спинтрии, выпясывают по трое в чем мать родила, задирая ноги до потолка, и...

Он продолжал в таком духе не менее получаса, и Тиберий не осмеливался его прервать — а возможно, хотел выяснить, сколько людям известно, — пока свидетель не перегнул палку (не важно, что он сказал). Тиберий вскочил на ноги, красный от стыда и гнева, и потребовал, чтобы ему дали возможность немедленно очистить себя от этих чудовищных обвинений или назначили судебное разбирательство. Сеян пытался успокоить его, но Тиберий продолжал стоять, сердито сверкая глазами, пока Галл не поднялся с места и не напомнил Тиберию, что обвиняют не его, а Монтана, — его доброе имя вне подозрений, и если известие о таком расследовании дойдет до пограничных провинций и союзных государств, это будет понято превратно.

Вскоре после того Фрасилл предупредил Тиберия — по наущению Сеяна или нет, не знаю, — что ему надо как можно скорее покинуть Рим и что возвращение в город грозит ему смертью. Тиберий сказал Сеяну, что переезжает на Капри и оставляет Рим на его попечение. Он присутствовал еще на одном судебном разбирательстве; на этот раз в государственной измене была обвинена моя родственница, Клавдия Пульхра, вдова Вара и, после того как Созию отправили в изгнание, ближайшая подруга Агриппины. Ей вменили в вину прелюбодеяние, торговлю дочерьми и колдовство против Тиберия. Насколько я знаю, она не была виновна ни в одном из этих преступлений. Как только Агриппина услышала о том, что грозит Клавдии, она поспешила во дворец и случайно застала Тиберия во время жертвоприношений Августу. Не успела церемония закончиться, как она подошла к нему и сказала:

— Тиберий, в твоих поступках нет никакой логики. Ты приносишь в жертву Августу фламингов и павлинов и преследуешь его внуков.

Тиберий медленно проговорил:

— Я не понимаю тебя. Кого из внуков Августа я преследовал вопреки его воле?

— Я не говорю о Постуме и Юлилле. Я говорю о себе. Ты сослал Созию, потому что она моя подруга. И Кальпурния — потому что он был мой друг. Ты заставил Силия покончить с собой, потому что он был мой друг. А теперь моя дорогая Пульхра тоже обречена, хотя ее единственное преступление — глупая привязанность ко мне. Люди начали меня чураться, они говорят, что я приношу несчастье.

Тиберий взял ее за плечи и снова сказал:

Не тем ли ты оскорблена,
Что не царица ты?

Пульхру признали виновной и подвергли смертной казни. Процесс вел человек по имени Афр, которого выбрали из-за его красноречия. Несколько дней спустя Агриппина неожиданно встретила Афру у театра. У него был пристыженный вид, и он избегал смотреть ей в глаза. Агриппина подошла к нему и сказала:

— У тебя нет причин прятаться от меня, Афр.

Затем процитировала, кое-что изменив, чтобы строки Гомера отвечали контексту, успокаивающий ответ Ахиллеса смущенным вестникам Агамемнона, принесшим от него унижительное послание:

Ближе предстань, ведь ни в чем ты не виновен,
но царь Агамемнон!

Об этом было доложено Тиберию (но не Афром), имя «Агамемнон» вновь вызвало у него тревогу.

Агриппина заболела: она подумала, что ее отравили. Она отправилась на носилках во дворец, чтобы в последний раз воззвать к Тиберию о милосердии. Агриппина стала такой худой и бледной, что Тиберий пришел в восторг: пожалуй, она скоро умрет. Он сказал:

— Агриппина, бедняжка, ты, кажется, серьезно больна. Что с тобой?

Она ответила слабым голосом:

— Возможно, я была к тебе несправедлива, когда думала, что ты преследуешь моих друзей за то, что они мои друзья. Возможно, я неудачно их выбираю или ошибочно о них сужу. Но, клянусь, ты не менее несправедлив ко мне, подозревая меня в вероломстве и думая, будто я питаю честолюбивые замыслы прямо или косвенно править Римом. Я прошу об одном — чтобы меня оставили в покое и ты даровал мне прощение за те обиды, которые я тебе нечаянно причинила, и... и...

Она разразилась рыданиями.

— И что еще?

— О, Тиберий, будь добр к моим детям! И будь добр ко мне! Разреши мне снова выйти замуж. Я так одинока! Со дня смерти Германика я не могу забыть о своих невзгодах. Ночью я не сплю. Если ты позволишь мне выйти замуж, я успокоюсь, не буду больше терзаться, ты и не узнаешь меня и тогда, может быть, перестанешь подозревать меня в заговорах. Я уверена, ты потому только думаешь, будто я затаила против тебя зло, что у меня такой подавленный вид.

— За кого ты хочешь выйти?

— За доброго, великодушного, скромного человека, не первой молодости, одного из твоих самых верных приверженцев.

— Как его зовут?

— Галл. Он говорит, что готов жениться на мне в любую минуту.

Тиберий круто повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова.

Через несколько дней он пригласил Агриппину к себе. Тиберий имел обыкновение звать к обеду людей, которым особенно не доверял, и пристально глядеть на них во время трапезы, словно желая прочесть их тайные мысли. Это почти всех приводило в замешательство. Если гость казался напуганным, Тиберий считал это доказательством его вины. Если он не опускал перед ним глаз, Тиберий считал это еще большим доказательством вины, которая к тому же усугублялась наглым поведением. Агриппина, все еще больная, с трудом могла проглотить самую легкую пищу, не испытывая тошноты, и теперь, под пристальным взглядом Тиберия, ей пришлось тяжело. Она не отличалась разговорчивостью, а беседа о сравнительных достоинствах музыки и философии не интересовала ее, ей нечего было по этому поводу сказать. Агриппина делала вид, будто ест, но Тиберий, внимательно следивший за ней, видел, что она отправляет обратно блюдо за блюдом, не притронувшись к еде. Он подумал, что Агриппина подозревает его в намерении ее отравить, и, чтобы проверить это, он выбрал яблоко в стоявшей перед ним вазе и, протянув ей, сказал:

— Дорогая Агриппина, ты почти ничего не ела. Съешь хотя бы это яблоко. Это очень хороший сорт. Три года назад царь парфян прислал мне в подарок молодые яблони, и сейчас они в первый раз принесли плоды.

Почти каждый из нас имеет своего «природного врага», если можно так выразиться. Для некоторых людей мед — страшный яд. Другие заболевают, если дотронутся до лошади, войдут в конюшню, просто полежат на тюфяке, набитом конским волосом. На третьих плохо действуют кошки, заглянув в комнату, они могут сказать: «Здесь была кошка, простите, но я ухожу». Лично я совершенно не переношу запаха цветущего боярышника. Природным врагом Агриппины были яблоки. Она взяла преподнесенный Тиберием плод, поблагодарила с плохо скрытым содроганием и сказала, что съест его, если можно, когда вернется домой.

— Ну хоть один кусочек, чтобы убедиться, какое оно вкусное.

— Прости меня, но я не могу.

Агриппина протянула яблоко слуге и велела аккуратно завернуть его в салфетку.

Почему Тиберий тут же не привлек ее к суду за государственную измену, как настаивал Сеян? Потому что Агриппина все еще была под покровительством Ливии.

Глава XXV

Вот я и подошел к рассказу об обеде у Ливии. Приветствовала она меня очень любезно и, по всей видимости, пришла в искреннее восхищение от моего подарка. Во время обеда, за которым, кроме меня, были только Ургулания и Калигула — высокий

бледный мальчик четырнадцати лет, с прыщавым лицом и запавшими глазами, — она поразила меня остротой ума и ясной памятью. Ливия задала мне вопрос о моей работе, и, когда я, говоря о первой Пунической войне, подверг сомнению некоторые подробности, приведенные поэтом Невием (он тогда служил в армии), Ливия согласилась со мной, но поймала меня на неверной цитате. Затем сказала:

— Теперь ты благодарен мне, внук, за то, что я не разрешила тебе писать биографию отца, не правда ли? Думаешь, ты обедал бы здесь сегодня, если бы я не вмешалась?

Каждый раз, что раб наливал мне вино, я выпивал кубок до дна и теперь, после десятого или двенадцатого кубка, чувствовал себя храбрым, как лев.

— Весьма благодарен, бабушка. Общество этрусков и карфагенян куда безопасней. Но скажи мне, почему я обедаю сегодня здесь?

Ливия улыбнулась.

— Что ж, признаюсь, твое присутствие за столом до сих пор причиняет мне некоторое... Но неважно. Если я и нарушила одно из своих старейших правил, это мое дело, а не твое. Ты недолюбливаешь меня, Клавдий? Будь откровенен.

— Возможно, так же сильно, как ты меня, бабушка.

(Неужели это мой голос?)

Калигула фыркнул. Ургулания хихикнула. Ливия рассмеялась.

— Достаточно откровенно. Между прочим, ты обратил внимание на это чудовище? Он вел себя непривычно тихо за едой.

— Кто, бабушка?

— Твой племянник.

— Разве он чудовище?

— Не притворяйся, будто тебе это не известно. Ты ведь и правда чудовище, Калигула?

— Как тебе будет угодно, прабабушка, — сказал Калигула, не поднимая глаз.

— Так вот, Клавдий, слушай, что я о нем скажу: это чудовище, этот твой племянник станет следующим императором.

Я думал, она шутит, и проговорил с улыбкой:

— Раз ты это говоришь, бабушка, значит, так и будет. Но почему именно он? Калигула — самый младший в семье и, хотя он выказывает большие природные таланты...

— Ты хочешь сказать, что все шансы на стороне Сеяна и твоей сестрицы Ливиллы?

Я был поражен свободой беседы.

— Ничего подобного я не хотел сказать. Меня не интересует государственная политика. Я просто имел в виду, что Калигула еще молод, слишком молод, чтобы быть императором. Это довольно смелое предположение.

— Отнюдь. Тиберий назначит его своим преемником. Можешь не сомневаться. Почему? Да потому, что такова его природа. Тиберий, как и бедный Август, тщеславен и не может вынести мысли о преемнике, который будет популярнее его самого. Но в то же время делает все, чтобы его ненавидели и боялись. Поэтому, когда он почувствует, что жить ему осталось недолго, он поищет кого-нибудь, кто хоть немного хуже него. И найдет Калигулу. У Калигулы на счету уже есть преступление такого высокого класса, какого Тиберию никогда не достичь.

— Пожалуйста, прабабушка... — умоляюще произнес Калигула.

— Ладно, чудовище, успокойся: пока ты примерно себя ведешь, я буду хранить твой секрет.

— А Ургулания его знает? — спросил я.

— Нет. Только чудовище и я.

— Он добровольно тебе признался?

— Конечно, нет. Калигула не из тех, кто признается. Я как-то раз обыскивала его спальню, хотела посмотреть, не замышляет ли он каких-нибудь фокусов — не занимается ли, например, любительски черной магией, не дистиллирует ли яды, ну и прочее в таком духе. И мне попался в руки...

— Пожалуйста, прабабушка...

— ...зеленый предмет, который рассказал мне весьма примечательную историю. Но я отдала его обратно.

Ургулания сказала, ухмыляясь:

— Фрасилл предсказал мне смерть в этом году, так что я буду лишена удовольствия жить в твое царствование, Калигула, если только ты не поторопишься и не убьешь Тиберия.

Я обернулся к Ливии:

— Он собирается это сделать, бабушка?

Калигула сказал:

— А это безопасно — говорить такие вещи при дяде Клавдии? Или ты собираешься его отравить? Отправить на тот свет?

Ливия ответила:

— О, вполне безопасно и когда он на этом свете. Я хочу, чтобы вы двое получше узнали друг друга. Это одна из причин сегодняшнего обеда. Послушай, Калигула. Твой дядя Клавдий — единственный в своем роде. Он настолько старомоден, что, поклявшись любить и защищать детей своего брата, он всегда — пока ты жив — будет тебе помогать. Слушай, Клавдий. Твой племянник Калигула — тоже единственный в своем роде. Он труслив, вероломен, похотлив, тщеславен и лжив, и он сыграет с тобой не одну злую шутку в жизни, но помни одно: он никогда тебя не убьет.

— Почему бы это? — спросил я, снова осушая кубок. Такие разговоры бывают только во сне: интересный, но бредовый.

— Потому что ты — тот человек, который отомстит за его смерть.

— Я? Кто это сказал?

— Фрасилл.

— А Фрасилл никогда не ошибается?

— Нет. Никогда. Калигулу убьют, и ты отомстишь за его смерть.

Наступило мрачное молчание; оно длилось, пока не подали десерт. Тут Ливия сказала:

— А теперь, Клавдий, мы поговорим с тобой наедине.

Остальные двое поднялись и вышли.

Я сказал:

— Станный какой-то у нас был разговор, бабушка. Кто в этом виноват — я? Может быть, я слишком много выпил? Я имею в виду, что некоторые шутки в наше время опасны. Забавляться так довольно рискованно. Надеюсь, слуги...

— О, они глухонемые. Нет, вино тут ни при чем. В вине скрыта истина, и разговор наш был вполне серьезным. Во всяком случае, с моей стороны.

— Но... если ты действительно считаешь его чудовищем, зачем ты поощряешь его? Почему не поддержать Нерона? Он — прекрасный юноша.

— Потому что не Нерон, а Калигула будет следующим императором.

— Но из него выйдет на редкость плохой император, если он таков, как ты говоришь. И ты, посвятившая всю жизнь служению Риму...

— Да, но против судьбы не пойдешь. А теперь, когда Рим оказался настолько безумен и неблагодарен, что разрешил моему негодяю сыну отстранить меня от дел, оскорблять меня — меня, можешь ты это себе представить! — величайшую правительницу, какую знал мир, и к тому же его мать...

Голос Ливии стал пронзительным. Я поспешил переменить тему. Я сказал:

— Успокойся, бабушка, пожалуйста, успокойся. Ты сама говоришь: против судьбы не пойдешь. Но нет ли в связи с этим чего-нибудь, что ты хотела бы сказать именно мне?

— Да, насчет Фрасилла. Я то и дело советуюсь с ним. Тиберий не знает об этом, но Фрасилл часто здесь бывает. Несколько лет назад он предрек ссору между Тиберием и мной — сказал, что под конец Тиберий восстанет против меня и возьмет всю власть в свои руки. Я тогда не поверила ему. Фрасилл сказал мне еще одно: что хотя я уйду из жизни изверившейся во всем старухой, после смерти меня в течение многих лет будут считать богиней. А еще раньше он предвещал, что тот, кто умрет в том году, когда, как я знаю теперь, суждено умереть мне, станет величайшим Божеством мира и что с течением времени все храмы в Риме и во всей империи буду посвящены только ему. Даже не Августу.

— А когда ты умрешь?

— Через три года. Весной. Я точно знаю день.

— Неужели тебе так хочется стать богиней? Мой дядя Тиберий, похоже, вовсе к этому не стремится.

— А я теперь, когда труды мои закончены, только об этом и думаю. И почему нет? Если Август — бог, Ливии смешно быть всего лишь его жрицей. Работала-то я, верно? Он был такой же никудышный правитель, как Тиберий.

— Да, бабушка. Но разве тебе недостаточно знать, что ты сделала, неужели для тебя так важно поклонение невежественной толпы?

— Дай мне объяснить, Клавдий. Я вполне с тобой согласна насчет невежественной толпы. Но я думаю не столько о славе на земле, сколько о том, что меня ждет в другом мире. Я совершила много дурных поступков — без этого великому правителю не обойтись. Для меня благо империи было превыше любых личных соображений. Чтобы спасти ее от раскола, мне пришлось пойти не на одно злодеяние. Август чуть было не погубил Рим своим дурацким фаворитизмом: Марцелл против Агриппы, Гай против Тиберия. Кто спас империю от новых гражданских войн? Я. Неприятная и трудная задача убрать с дороги Марцелла и Гая выпала мне. И не притворяйся, будто ты никогда не подозревал меня в том, что я их отравила. А что может быть достойной наградой для правителя, который совершает подобные преступления на благо своим подданным? Достойной наградой — и это само собой очевидно — может быть только одно: обожествление. Ты веришь, что души преступников обречены на вечные муки?

— Меня всегда учили, что это так.

— А бессмертные боги могут не бояться наказания, сколько бы преступлений они ни совершили?

— Да. Юпитер избавился от своего отца, убил одного из внуков, женился на собственной сестре и... да, я согласен... у них у всех подмоченная репутация. И, спору нет, они неподвластны преисподнему трибуналу, который судит простых смертных.

— Вот именно. Ты видишь теперь, почему для меня так важно быть богиней. Потому-то, если уж ты хочешь знать, я терпимо отношусь к Калигуле. Он поклялся, что, если я никому не выдам его тайну, он сделает меня богиней, как только станет императором. Поклянись, что и ты приложишь все силы, чтобы меня как можно скорее обожествовали, ведь... о, неужели ты не понимаешь? Ведь пока я не стану богиней, я буду в преисподней, где меня ждут самые ужасные и изощренные муки. Ничто не сможет их отвратить.

В голосе Ливии, потерявшем царственное высокомерие, зазвучала испуганная мольба; этот внезапный переход удивил меня больше, чем все, что я от нее услышал. Надо было как-то ответить ей, и я сказал:

— Не вижу только, какое влияние бедный дядя Клавдий может оказать на

императора или на сенат.

— Какая разница, видишь ты или нет, идиот! Ты поклянешься выполнить мою просьбу? Поклянешься собственной головой?

Я сказал:

— Бабушка, я поклянусь головой — хотя чего она сейчас стоит? — но только при одном условии.

— Ты осмеливаешься ставить условия мне?

— Да, — сказал я, — осмеливаюсь... после двадцатого кубка, и это очень скромное условие. Ты тридцать шесть лет гнушалась мной и не скрывала своего отвращения; не ожидаешь же ты теперь, что я хоть что-нибудь сделаю для тебя, не поставив своих условий.

Ливия улыбнулась.

— И в чем заключается твое скромное условие?

— Существует множество вещей, о которых я хотел бы узнать. Прежде всего я хочу узнать, кто убил моего отца, кто убил Агриппу, кто убил моего брата Германика и моего сына Друзилла...

— Зачем тебе это? Надеешься, как последний дурак, отомстить мне за их смерть?

— Нет, даже если ты в ней и повинна. Я никогда не мщу, если не вынужден к этому клятвой или необходимостью защищаться. Я верю, что зло наказывает само себя. Я хочу одного: знать истину. Я — профессиональный историк, и единственное, что меня по-настоящему интересует, это как происходит то или иное и почему. Я пишу историю, скорее чтобы самому получить сведения, нежели сообщать их читателям.

— Я вижу, старый Афинодор оказал на тебя большое влияние.

— Он был добр со мной, и я был ему благодарен. Вот я и стал стоиком. Я никогда не вступаю в философские споры — меня это не привлекает, — но мировоззрение стоиков я принял. Ты можешь быть спокойна, я никому не повторю ни слова из того, что ты мне расскажешь.

Я убедил Ливию в искренности своих слов и в течение четырех часов с лишним я задавал ей самые обстоятельные вопросы, и она спокойно, без уверток отвечала на них: так управляющий имением мог бы рассказывать приехавшему ненадолго хозяину о мелких потерях в хлеву или в птичнике. Да, она отравила моего деда, нет, отца моего она не отравляла, несмотря на подозрения Тиберия, — он умер от гангрены, да, она отравила Августа, намазывая ядом фиги, когда они еще были на дереве. Она рассказала мне всю историю с Юлией так, как я уже ее вам изложил, и историю Постума — подробности которой я имел возможность проверить; да, она отравила Агриппу и Луция так же, как Марцелла и Гая, да, она перехватила мои письма Германику, но нет, его она не отравляла — Планцина сделала это по собственному почину. Правда, она собиралась его убить, так же как моего отца и по той же самой причине.

— По какой, бабушка?

— Он хотел восстановить республику. Не пойми меня превратно: Германик не собирался нарушать клятву верности, данную Тиберию, хотя и стремился отстранить меня от государственных дел. Он надеялся заставить Тиберия сделать этот шаг по доброй воле и поставить это ему в заслугу, а самому остаться в тени. Он чуть не уговорил Тиберия, ты же знаешь, какой Тиберий трус. Мне пришлось работать не покладая рук, подделывать кучу документов и лгать на каждом шагу, чтобы не дать Тиберию свалить дурака. Я даже была вынуждена войти в сговор с Сеяном. Этот республиканизм — какая-то наследственная болезнь, нет-нет да и проявится. У твоего деда она тоже была.

— И у меня.

— До сих пор? Забавно. Насколько я знаю, молодой Нерон тоже ею болен. Это не принесет ему удачи. Но с вами, республиканцами, спорить бесполезно. Вы не желаете видеть, что в наше время так же мало шансов учредить республиканское правление, как заставить современных мужей и жен стать, подобно их предкам, чистыми и целомудренными. Все равно что стараться вернуть назад тень на солнечных часах — это просто невозможно.

Ливия призналась, что велела задушить Друзилла. И в том, как близок я был к смерти, когда написал о Постуме Германику. Пощадила она меня лишь потому, что ждала, не сообщу ли я Германику, где находится Постум. Больше всего меня заинтересовал рассказ бабки о способах, которыми она действовала. Я повторил вопрос Постума, какие яды она предпочитает — быстрые или медленные, и она ответила без малейшего смущения, что предпочитает применять повторные дозы медленных безвкусных ядов, дающих те же симптомы, что и скоротечная чахотка. Я спросил, как ей удавалось так хорошо замечать следы и наносить удар на таких далеких расстояниях: Гай был убит в Малой Азии, Луций — в Марселе.

Ливия напомнила мне, что ни одно замышленное ею убийство не приносило ей прямой и непосредственной выгоды. Например, она убила моего деда только после развода, и то не сразу, и не отравляла своих соперниц — Октавию, или Юлию, или Скрибонию. Жертвами ее были главным образом люди, устранив которых, она подвигала собственных сыновей и внуков ближе к престолу. Ургулания — единственная, кому она поверяла почти все свои тайны, но старая наперсница настолько осторожна и ловка и так к ней привязана, что вряд ли задуманные ими вместе преступления когда-нибудь будут раскрыты, но даже в этом случае ее, Ливию, в них никогда не уличат. Убрать несколько человек, стоявших у нее на пути и мешавших ее планам, ей очень помогли ежегодные исповеди знатных римлян Ургулании, которые та выслушивала накануне праздника Доброй богини. Ливия подробно объяснила мне почему. Случалось, что Ургулании признавались не просто в прелюбодеянии, но в кровосмесительных сношениях с братом или сыном. Ургулания заявляла, что искупить это может лишь смерть соучастника. Женщина молила найти какой-нибудь другой способ загладить вину. Ургулания говорила, что, пожалуй, есть еще один, угодный Богине, путь. Виновная может очистить себя тем, что с помощью человека, навлекшего на нее позор, поспособствует отмщению Богини. Не так давно, говорила Ургулания, ей пришлось выслушать столь же отвратительную исповедь от другой римлянки, которая, однако, уклонилась от убийства своего соблазнителя, и потому негодяй все еще жив, хотя сама женщина и пострадала. «Негодяем» поочередно были Агриппа, Луций и Гай. Агриппу Ургулания обвинила в кровосмесительных сношениях с его дочерью Марцеллиной, чье неожиданное самоубийство подкрепило ее слова. Гая и Луция — в кровосмесительных сношениях с матерью, до ее изгнания, а репутация Юлии известна. В каждом случае женщина была только рада разработать план убийства, а мужчина — осуществить его. Ургулания помогала советом и подходящим ядом. Безопасность Ливии обеспечивалась тем, что она никак не была связана с убийцей, который, даже если на него упало бы подозрение, даже если бы его поймали с поличным, не мог бы объяснить мотивов убийства, не изобличив самого себя. Я спросил, не терзают ли ее угрызения совести из-за того, что она убила Августа и отправила в изгнание или уничтожила столько его потомков. Ливия сказала:

— Я никогда не забывала, чья я дочь!

И это многое объясняет. Отец Ливии, Клавдиан, после битвы при Филиппах был объявлен Августом вне закона и покончил с собой, чтобы не оказаться в его руках.

Короче говоря, Ливия рассказала мне обо всем, что я хотел узнать, кроме причины странных явлений в доме Германика в Антиохии. Она повторила, что сама она тут ни при чем. Пизон и Планцина ничего ей не говорили, и она так же не в

состоянии прояснить эту тайну, как и я сам. Я увидел, что дольше настаивать бесполезно, поэтому я поблагодарил бабку за терпенье и, наконец, поклялся головой, что приложу все старания, чтобы сделать ее богиней.

Перед самым моим уходом Ливия протянула мне небольшой томик и сказала, чтобы я прочитал его, когда вернусь в Капуя. Это было собрание сивиллиных пророчеств, исключенных из канона, о которых я писал на первых страницах этой книги, и когда я подошел к прорицанию, которое называлось «Череда лохматых», я понял, почему Ливия пригласила меня на обед и заставила поклясться страшной клятвой. Если это было на самом деле. Все происшедшее казалось мне пьяным сном.

Глава XXVI

Сеян отправил Тиберию послание, где просил вспомнить о нем, если Ливилле будут искать мужа; он, конечно, всего-навсего всадник, но был случай, когда Август хотел отдать за всадника свою единственную дочь, и, если на то пошло, у Тиберия нет более преданного слуги, чем он. Он вовсе не стремится стать сенатором, его вполне устраивает теперешний пост бдительного стража, охраняющего жизнь своего благородного господина — императора. Сеян добавил, что этот брак был бы серьезным ударом по партии Агриппины, где его считают самым злейшим врагом. Они побоятся применить насилие к оставшемуся в живых сыну Ливиллы от Кастора — молодому Тиберию Гемеллу. Недавняя смерть его брата-близнеца, писал Сеян, лежит на совести Агриппины.

Тиберий милостиво ему отписал, что не может пока дать положительного ответа на его просьбу, хотя и чувствует себя многим обязанным ему. Он не думает, что Ливилла, оба мужа которой были из самых знатных родов Рима, будет довольна, если Сеян останется всадником, но если одновременно повысит его в ранге и принять в императорскую семью, это у многих вызовет зависть и тем укрепит партию Агриппины. Тиберий добавил, что, как раз желая избежать зависти, Август и думал выдать свою дочь за простого всадника, человека, удалившегося от дел и никак не связанного с политикой.

Но кончил он более обнадеживающе: «Я пока воздержусь и не открою тебе, как именно я намерен упрочить нашу близость. Одно я могу сказать — никакое вознаграждение за твою преданность не может быть слишком высоко, и когда возникнет возможность, я с большим удовольствием сделаю то, что намерен сделать».

Сеян достаточно хорошо знал Тиберия и понял, что обратился с просьбой преждевременно — он написал свое послание под нажимом Ливиллы — и нанес тем немалую обиду. Он решил, что Тиберия надо убедить немедленно уехать из Рима, назначив его самого бессрочным правителем города, решения которого могут быть обжалованы только перед императором. Будучи командующим гвардией, он имел под своим началом корпус связных — императорских гонцов, так что в его руках окажется вся переписка Тиберия. Он будет также решать, кого допускать к императору, и чем меньше у Тиберия будет посетителей, тем лучше. Мало-помалу вся власть окажется в руках правителя города, и он сможет делать все, что вздумает, не опасаясь вмешательства императора.

Наконец Тиберий покинул Рим. Предлогом было освящение храма Юпитера в Капуе и храма Августа в Ноле. Но возвращаться он не намеревался. Было известно, что он решился на это из-за предупреждения Фрасилла, а то, что предсказывал Фрасилл, считалось неизбежным и свято принималось на веру. Предполагали, что Тиберий, которому минуло шестьдесят семь лет, скоро умрет. (Ну и страшный он был: тощий, сутулый, лысый, с негнушущимися суставами, с заклеенными пластырем язвами

на лице.) Никто не думал, что ему было суждено жить еще одиннадцать лет. Возможно, потому, что он никогда больше не приезжал в Рим, разве что на пригородную виллу. Но так или иначе, прожил он еще, как оказалось, долго.

Тиберий взял с собой на Капри несколько греческих философов, и отряд отборных солдат, в том числе своих германских телохранителей, и Фрасилла, и кучу странных размалеванных созданий неопределенного пола, и, что самое любопытное, Кокцея Нерву. Капри — остров в Неаполитанском заливе, милях в трех от берега. Климат там мягкий — не холодно зимой, прохладно летом. Высадиться на остров можно только в одном месте, со всех сторон его защищают круглые утесы и непроходимые заросли. Как Тиберий проводил свободное время — когда не обсуждал с философами поэзию и мифологию или политику и юриспруденцию с Нервой, — лучше умолчать, даже исторический труд не выдержит этой мерзости. Достаточно сказать, что он привез с собой полное собрание книг Элефантиды — самую богатую на свете порнографическую энциклопедию. На Капри Тиберий мог делать то, чего не имел возможности делать в Риме — заниматься блудом на открытом воздухе среди деревьев и цветов или на берегу моря, не опасаясь чужих ушей. Так как некоторые из его развлечений на природе были крайне жестоки — ведь страдания его товарищей по играм больше всего доставляли ему наслаждение, — Тиберий считал, что достоинство Капри — удаленность от Рима — превосходит его недостатки. Он не все время жил на острове, иногда ездил в гости в Капую, Байи и Акцию. Но Капри был его штаб-квартирой.

28 г. н. э.

Через некоторое время Тиберий дал Сеяну полномочия убирать главарей партии Агриппины любыми удобными ему средствами. Он поддерживал каждодневную связь с Сеяном и одобрял его действия в письмах сенату. Однажды, во время новогоднего праздника в Капуе, Тиберий, читавший в качестве великого понтифика положенную по ритуалу молитву, вдруг обернулся к стоявшему неподалеку всаднику по имени Сабин и стал обвинять его в том, что он пытался толкнуть на измену его вольноотпущенников. Один из людей Сеяна туг же задрал тогу Сабина ему на голову, затем накинул на шею петлю и потащил прочь. Сабин крикнул сдавленным голосом: «Помогите, друзья, помогите!» — но никто не двинулся с места, и Сабин, чья единственная вина заключалась в том, что он был в свое время другом Германика и, попавшись в ловушку одного из агентов Сеяна, выразил в частной беседе сочувствие Агриппине, был по совокупности улик казнен. На следующий день в сенате прочитали письмо Тиберия, где он писал о казни Сабина и о том, что Сеян раскрыл опасный заговор. «Отцы сенаторы, пожалейте несчастного старика, живущего в постоянном страхе, ведь даже члены его собственной семьи злоумышляют против него». Всем было ясно, что он имеет в виду Нерона и Агриппину. Поднялся Галл и внес предложение, чтобы император изложил свои страхи перед сенатом и позволил их рассеять, что, без сомнения, будет нетрудно сделать. Но Тиберий все еще не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы отомстить Галлу.

Летом того же года на главной улице Неаполя произошла случайная встреча между Ливией, которую несли в носилках, и Тиберием, ехавшим верхом. Тиберий только что прибыл с Капри, а Ливия возвращалась из Геркуланума, где была в гостях. Тиберий предпочел бы, не здороваясь, проехать мимо, но многолетняя привычка взяла свое — он натянул поводья и сухо справился, как себя чувствует мать. Ливия сказала:

— Прекрасно, тем более что тебя это интересует, мой мальчик. Хочу дать тебе материнский совет: будь осторожен, когда ешь усача на этом твоём острове. Некоторые из тех, что там ловят, очень ядовиты.

— Спасибо, матушка, — сказал Тиберий, — так как предупредила меня ты, я

буду свято следовать твоему совету и есть только тунца и кефаль.

Ливия фыркнула и, обернувшись к бывшему с ней Калигуле, громко произнесла:

— Да, как я уже тебе говорила, мой муж (твой прадедушка, милый) и я бежали по этой самой улице однажды ночью шестьдесят пять лет назад (кажется, так), пробираясь к пристани, где нас ждал корабль. В любой момент нас могли арестовать и убить солдаты Августа — теперь это кажется странным! Мой старший сын — тогда у нас был всего один ребенок — сидел на плечах у отца. И что же сделал этот маленький негодяй? Поднял страшный рев: «О, отец, я хочу обратно в Перу-у-узию!» И выдал нас с головой. Из таверны вышли два солдата и окликнули нас. Мы юркнули в темный подъезд, надеясь, что они пройдут мимо. Но Тиберий продолжал вопить: «Хочу обратно в Перузию!» Я сказала: «Убей его! Убей щенка! Это наша единственная надежда!» Но мой муж был мягкосердечный болван и не пошел на это. Мы спаслись по чистой случайности.

Тиберий, оставшийся было, чтобы дослушать историю до конца, вонзил шпоры в бока лошади и в ярости ускакал. Больше они не встречались.

Предупреждение Ливии насчет рыбы имело одну-единственную цель — досадить Тиберию, заставить его думать, будто его рыбаки или повара ею подкуплены. Ливия знала, что Тиберий очень любит усаха и теперь вечно будет разрываться между желанием полакомиться и страхом смерти. Эта история имела печальное продолжение. Однажды Тиберий сидел под деревом на западном склоне острова, наслаждаясь легким ветерком, и сочинял стихотворный диалог на греческом языке между зайцем и фазаном, где каждый из них по очереди доказывал свое право на первое место среди яств. Идея эта принадлежала не ему, совсем недавно Тиберий наградил одного из своих придворных поэтов двумястами золотых за подобное сочинение, где первенство оспаривали гриб, конек, устрица и дрозд. Во вступительной части к своей поэме Тиберий отвергал их притязания, говоря, что только заяц и фазан могут претендовать на корону из петрушки, лишь их достоинства не вызывают сомнений, лишь у них нет никаких изъянов.

Тиберий как раз подыскал уничижительный эпитет для устрицы, когда внезапно услышал шорох в терновнике на склоне утеса, и перед ним появился какой-то человек дикого вида, с взъерошенными волосами. Его мокрая одежда была разорвана в клочья, лицо окровавлено, в руке раскрытый нож. Человек продирался сквозь колючий кустарник с криком: «Взгляни, цезарь, ну разве не красавец?» Из мешка на плече он вытащил огромного усаха и бросил его, все еще трепыхающегося, на траву у ног Тиберия. Это был простой рыбак; поймав такую необыкновенную добычу и увидев Тиберия на вершине утеса, он решил преподнести рыбу императору. Он привязал лодку к скале, доплыл до утеса, с трудом поднялся по обрывистой тропинке над пропастью до опоясывающих утес колючих кустов и прорубил себе проход через них ножом.

У Тиберия душа ушла в пятки. Он засвистел в свисток и крикнул:

— Помогите, помогите! Скорей! Вольфганг! Зигфрид! Адельстан! Убийца! Schnell!

— Идем, благороднейший, высокородженный, дарующий блага вождь! — тут же отвечали германцы. Они стояли на страже справа, слева и позади Тиберия — спереди, естественно, сторожевого поста не было — и бросились к нему, размахивая ассагами.

Рыбак не понимал их языка и, закрыв складной нож, весело сказал:

— Я поймал его вон у того грота. Как думаешь, сколько он весит? Форменный кит, да? Чуть не вытащил меня из лодки.

Тиберий несколько успокоился, но, подумав, что вдруг рыба отравлена, крикнул германцам:

— Не трогайте его! Разрубите эту рыбину пополам и потрите ему ею лицо.

Дюжий Вольфганг обхватил рыбака сзади так, что тот не мог шевельнуться, а остальные двое стали тереть ему лицо сырой рыбой. Незадачливый малый закричал: — Эй, перестаньте! Что за шутки! Хорошо еще, что я не предложил императору сперва то, другое, что лежит у меня в мешке.

— Посмотрите, что там у него, — приказал Тиберий.

Адельстан раскрыл мешок и обнаружил там огромнейшего омара.

— Потри ему лицо и этим, — сказал Тиберий, — да посильнее.

Несчастный потерял оба глаза. Наконец Тиберий сказал:

— Хватит. Можете его отпустить.

Рыбак сделал несколько неверных шагов, крича от боли; что еще оставалось, как не скинуть его в море с ближайшей скалы?

Я рад сообщить, что Тиберий никогда не приглашал меня на остров; я и в дальнейшем воздерживался от поездок туда, хотя все, свидетельствующее о мерзостных развлечениях Тиберия, давно убрано, а его двенадцать вилл, как говорят, очень красивы.

Я попросил у Ливии разрешения жениться на Элии, и она дала его, с усмешкой пожелав мне счастья. Она даже присутствовала на бракосочетании. Свадьба была роскошная — об этом позаботился Сеян, — и одним из ее последствий было охлаждение между мной и Агриппиной с Нероном, а также их друзьями. Они думали, будто я не смогу ничего держать в секрете от Элии, а Элия станет рассказывать Сеяну все, что ей удастся узнать. Это очень меня огорчило, но я видел, что переубеждать Агриппину бесполезно. (В это время она была в трауре по своей сестре Юлилле, умершей после двадцатилетнего изгнания на этом жалком островке Тремерии.) Поэтому я постепенно перестал навещать ее, чтобы не ставить нас обоих в неловкое положение. Мы с Элией лишь номинально были мужем и женой. Когда мы вошли в брачную опочивальню, она мне первым делом сказала:

— Имей в виду, Клавдий, я не желаю, чтобы ты касался меня, и если нам когда-нибудь придется спать вместе, как сегодня, между нами будет одеяло; только шевельнешься — вылетишь вон. И еще одно: ты не вмешиваешься в мои дела, я — в твои...

Я сказал:

— Спасибо, ты сняла тяжкий камень с моей души.

Элия была ужасная женщина. У нее был громкий, напористый голос, как у аукциониста на невольничьем рынке, и такое же, как у него, красноречие. Вскоре я даже не пытался ей отвечать. Само собой, я по-прежнему жил в Капуе. Элия никогда не приезжала туда ко мне, но Сеян настаивал, чтобы, бывая в Риме, я как можно чаще показывался вместе с ней на людях.

У Нерона не было никаких шансов устоять против Сеяна и Ливиллы. Хотя Агриппина постоянно предупреждала его, чтобы он взвешивал каждое свое слово, у него была на редкость открытая натура, и скрывать мысли он не умел. Среди молодых патрициев, которых Нерон считал друзьями, было несколько тайных агентов Сеяна, и они записывали все, что Нерон говорил по поводу общественных событий. Что еще хуже, его жена, которую мы звали Елена или Хэлуон, была дочерью Ливиллы и передавала ей все, сказанное Нероном по секрету. Но самую большую опасность представлял его брат Друз, с которым Нерон делился своими мыслями еще чаще, чем с женой, и который завидовал ему, так как Нерон был старший сын и любимец Агриппины. Друз отправился к Сеяну и сказал, что Нерон предложил ему в ближайшую темную ночь вместе отплыть в Германию, где они попросят защиты у полков — ведь они сыновья Германика — и призовут их к походу на Рим; конечно, он с негодованием отказался. Сеян посоветовал Друзу немного обождать — его попросят пересказать все это Тиберию в более подходящий момент.

Тем временем Сеян распустил слух, будто Тиберий намерен обвинить Нерона в

государственной измене. Друзья Нерона стали отворачиваться от него. Стоило двоим-троим из них отказаться от приглашений к обеду и холодно ответить на приветствие, когда они встречались в публичных местах, как все прочие последовали их примеру. Прошло несколько месяцев, и рядом с Нероном остались только истинные его друзья. Среди них был Галл, который, после того как Тиберий перестал посещать сенат, перенес свои насмешки на Сеяна. С ним он избрал следующую тактику: постоянно вносил предложения о том, чтобы сенат выражал Сеяну благодарность за его услуги государству и оказывал особые почести — воздвигал статуи и арки, даровал титулы, назначал богослужения и публичное празднование его дня рождения. Сенат не осмеливался возражать, сам Сеян, не будучи сенатором, не имел права голоса, а Тиберий не хотел идти против сената и накладывать вето на его решения, боясь, как бы Сеян не подумал, будто он потерял к нему доверие, и не желая восстанавливать его против себя. Теперь, когда сенату что-нибудь было нужно, к Сеяну посылался один из сенаторов с просьбой разрешить им обратиться к Тиберию, и если Сеян был против, вопрос об этом больше не поднимался. Как-то раз, сославшись на то, что потомкам Торквата в ознаменование услуг, оказанных их предком государству, сенат пожаловал в качестве семейного отличия золотое ожерелье, а потомкам Цинцинната — золотой завиток, Галл предложил, чтобы Сеян и его потомки были награждены золотым ключом — знаком его верной службы императору в должности привратника. Сенат единогласно принял это предложение, и Сеян, не на шутку встревожившись, написал Тиберию и посетовал, что Галл все последнее время злонамеренно предлагает воздать ему почести, чтобы восстановить против него сенат и даже, возможно, чтобы вызвать у императора подозрения, будто у него хватает дерзости питать чересчур честолюбивые замыслы. На этот раз предложение Галла еще более коварно — это намек на то, что доступ к императору якобы зависит от человека, использующего свою власть в целях личного обогащения. Сеян умолял, чтобы Тиберий изыскал какую-нибудь возможность наложить вето на это предложение и заставил Галла замолчать. Тиберий ответил, что не может наложить вето на декрет, не нанося вреда доброму имени Сеяна, но скоро предпримет шаги, которые утихомирят Галла. Пусть Сеян не волнуется, его письмо говорит об истинной преданности и глубине суждений. Но намек Галла попал в цель. Тиберий внезапно осознал, что, в то время как все происходящее на Капри известно Сеяну и даже в большой степени контролируется им, сам он знает о делах Сеяна лишь то, что тот соизволит ему сообщить.

29 г. н. э.

Я подошел теперь к поворотному пункту моей истории — смерти бабки Ливии, когда ей было восемьдесят шесть лет. Она могла бы прожить еще не один год, так как полностью сохранила слух и зрение и способность двигаться, не говоря об уме и памяти. Но в последнее время она стала страдать от простуд, вызванных воспалением носа, и когда зараза перекинулась на легкие, она слегла в постель. Ливия призвала меня во дворец — я случайно оказался в Риме. Было ясно, что конец ее близок. Она напомнила о клятве.

— Я не успокоюсь, пока не исполню ее, — сказал я.

Когда умирает очень старая женщина, причем не кто-нибудь, а твоя бабка, скажешь что угодно, лишь бы ей угодить.

— Но я думал, Калигула все для тебя устроит.

Несколько минут Ливия молчала. Затем проговорила с бессильной яростью:

— Он был здесь десять минут назад. Он стоял и смеялся надо мной. Он сказал, пусть я провалюсь в преисподнюю и буду гореть там синим пламенем — ему наплевать. Он сказал, что, раз дни мои сочтены, ему нет нужды держаться за меня, а клятва ничего не значит, ведь она была дана поневоле. Он сказал, что не я, а он

будет всемогущим божеством, о котором говорится в предсказаниях. Он сказал...

— Не волнуйся, бабушка. Ты еще над ним посмеешься. Когда ты станешь царственной небожительницей, а ему в преисподней миносавы подручные будут ломать на колесе кости до скончания времен...

— Подумать только, что я называла тебя дурачком, — сказала Ливия. — Я умираю, Клавдий. Закрой мне глаза и положи в рот монету, которую найдешь у меня под подушкой. Перевозчик ее узнает. Он отнесется ко мне с должным уважением...

И она умерла. Я закрыл ей глаза и положил в рот монету. Я никогда еще не видел таких монет. На лицевой ее стороне Август и Ливия в профиль смотрели друг на друга, на обратной была триумфальная колесница.

Мы не говорили с Ливией о Тиберии. Я вскоре узнал, что его загодя предупредили об ее состоянии, чтобы он успел отдать свой последний долг. Тиберий написал сенату, прося прощения за то, что не навестил ее, но он был крайне занят, и во всяком случае на похороны он приедет. Тем временем сенат присудил Ливии самые редкие почести, в том числе титул Матери отчизны, и даже предложил сделать ее полубогиней. Но Тиберий отклонил почти все их декреты, объяснив в письме, что Ливия, как исключительно скромная женщина, была не склонна искать общественного признания своих заслуг и особенно ненавистна была для нее мысль о религиозном поклонении ей после смерти. Письмо кончалось размышлениями о неуместности вмешательства женщин в политику, «для которой они не подходят и которая пробуждает в них самые дурные качества, такие, как самонадеянность и раздражительность, вообще свойственные женскому полу».

Конечно, Тиберий не приехал в Рим на похороны, хотя, единственно с целью ограничить их великолепие, участвовал во всех приготовлениях. Он занимался этим так долго, что, как ни высохло от старости и болезни тело Ливии, оно дошло до крайней степени распада, пока его возложили на погребальный костер. Ко всеобщему удивлению, хвалебную речь произнес Калигула, хотя это следовало сделать Тиберию, а в случае его отсутствия — его наследнику, Нерону. Сенат постановил построить в память Ливии арку — впервые в истории Рима женщине была оказана подобная честь. Тиберий разрешил оставить этот декрет в силе и сказал, что построит арку за свой счет, а затеям «забыл» об этом. Что до завещания Ливии, то большую часть имущества унаследовал, естественно, Тиберий, но столько, сколько было разрешено по закону, она оставила членам своей семьи и другим, пользующимся ее доверием лицам. Тиберий не отдал ни одному человеку то, что она отказала. Сам я должен был получить после смерти Ливии двадцать тысяч золотых.

Глава XXVII

Мне бы никогда и в голову не пришло, что я буду жалеть о Ливии. В детстве я вечер за вечером молился властителям преисподней, чтобы они забрали ее к себе. А сейчас я принес бы самые роскошные жертвы — белых быков, антилоп пустыни, дюжины ибисов и фламинго, — чтобы вернуть ее. Стало ясно, что лишь страх перед матерью все это время удерживал Тиберия в каких-то границах. Прошло всего несколько дней после ее смерти, и он нанес удар по Агриппине и Нерону. Агриппина к этому времени уже оправилась от болезни. Тиберий не обвинял их в государственной измене. Он написал сенату, жалуясь на крайнюю испорченность Нерона и «высокомерие и интриги» Агриппины, и предложил принять жесткие меры, чтобы призвать их к порядку.

Когда письмо было прочитано, в сенате надолго воцарилась тишина. Каждый задавал себе вопрос, какую поддержку окажут граждане Рима семье Германика, которую Тиберий избрал очередной жертвой, и не безопаснее ли пойти против Тиберия, чем против всего населения города. Наконец поднялся один из друзей

Сеяна и сказал, что они должны считаться с пожеланиями императора и издать тот или иной декрет против упомянутых им лиц. В сенате был официальный протоколист, который вел протоколы заседаний, и его слово имело большой вес. До сих пор он безропотно голосовал за предложения Тиберия, и, по словам Сеяна, на него можно было положиться — как ему скажут, так он и сделает. Однако на этот раз протоколист выразил протест. Он сказал, что сейчас не стоит поднимать вопрос о том, как держится Агриппина и ведет себя Нерон. Он считает, что император был введен в заблуждение и написал свое письмо слишком поспешно; им не следует утверждать никакого декрета, чтобы император мог на досуге еще раз все обдумать, прежде чем выдвигать такие серьезные обвинения против членов своей семьи. Это будет отвечать не только их, но и его собственным интересам. Тем временем известие о письме распространилось по всему городу, хотя все, что происходит в сенате, считается секретным, пока не появятся официальные указы императора, и у здания сената собралась огромная толпа, всячески выражавшая свою приверженность Агриппине и Нерону. «Да здравствует Тиберий! Письмо поддельное! Да здравствует Тиберий! Это работа Сеяна!» — кричали они.

Сеян срочно отправил посланца к Тиберию, который переехал на виллу в нескольких милях от Рима на случай, если возникнут беспорядки. Сеян доложил, что сенат отказался удовлетворить требование, выраженное в письме, что народ на грани бунта, называет Агриппину истинной Матерью отчизны, а Нерона — спасителем, и если Тиберий не будет действовать твердо и решительно, то еще до наступления ночи произойдет кровопролитие.

Тиберий, хотя и был напуган, последовал совету Сеяна и написал сенату угрожающее письмо, обвиняя протоколиста в не имеющем себе равных оскорблении императора и попрании его достоинства и требуя, чтобы все это дело было отдано целиком и полностью в его руки, раз самим им его интересы безразличны. Сенат уступил. После того как гвардия под звуки труб прошла через город с мечами наголо, Тиберий объявил, что, если бунтарские демонстрации не прекратятся, он урежет вдвое количество дарового зерна. Затем сослал Агриппину на Пандатерию, тот самый островок, где когда-то томила в заключении ее мать Юлия, а Нерона — на Понцу, другой крошечный скалистый островок на полпути между Капри и Римом, но вдали от побережья. Тиберий сказал сенату, что оба пленника чуть было не ускользнули из Рима в надежде толкнуть на измену верные рейнские войска.

Прежде чем отправить Агриппину в изгнание, Тиберий велел привести ее к нему и глумливо спросил, как она намерена править своим могущественным царством, унаследованным от матери (его добродетельной покойной жены), и будет ли она посылать послов к своему сыну Нерону в его царство, чтобы вступить с ним в военный союз. Агриппина не отвечала. Тиберий разозлился и заорал, что ждет ответа, и когда она и тут продолжала молчать, велел капитану гвардейцев ударить ее по спине. Тогда она наконец заговорила:

— Кровавый пакостник — вот твое имя. Я слышала, так тебя называл Теодор из Гадары, твой учитель риторики на Родосе.

Тиберий выхватил у капитана виноградную лозу и хлестал Агриппину до тех пор, пока она не лишилась чувств. В результате этого ужасного избиения Агриппина ослепла на один глаз.

Вскоре Друз тоже был обвинен в происках среди рейнских полков. Для подтверждения этого Сеян предъявил письма, по его словам, перехваченные, а в действительности подложные, а также письменное свидетельство Лепиды, жены Друза (с которой у Сеяна была интрижка), показавшей, будто Друз просил ее войти в контакт с моряками Остии, которые, как он надеялся, еще помнят, что они с Нероном внуки Агриппины. Сенат передал дело Друза на усмотрение Тиберия, и тот заточил юношу в отдаленной мансарде дворца под надзор Сеяна.

Следующей жертвой стал Галл. Тиберий написал сенату, что Галл завидует Сеяну и делает все возможное, чтобы иронической хвалой и другими злонамеренными способами вызвать к нему немилость императора. Сенаторы были так встревожены полученным в тот день известием о самоубийстве протоколиста, что немедленно послали к Галлу чиновника, чтобы тот его арестовал. В доме Галла чиновнику сказали, что Галла нет в Риме, он в Байях. В Байях его направили на виллу императора, и действительно Галл был там на обеде у Тиберия. Тиберий пил за здоровье Галла, и тот отвечал, как положено верному подданному; в пиршественном зале была такая дружеская и веселая атмосфера, что чиновник пришел в смущение и не знал, что сказать. Тиберий спросил, зачем он явился.

— Арестовать одного из твоих гостей, цезарь, по повелению сената.

— Которого? — спросил Тиберий.

— Азиния Галла, — отвечал чиновник, — но это, должно быть, ошибка.

Тиберий принял серьезный вид.

— Если сенат имеет что-то против тебя, Галл, и прислал этого чиновника тебя арестовать, боюсь, придется кончать наш приятный вечер. Я не могу идти против сената. Но я скажу тебе, как я сделаю — ведь мы пришли с тобой к полному согласию, — я напишу сенату и попрошу в виде личного одолжения не предпринимать по отношению к тебе никаких шагов, пока они не получат от меня известия. А это значит, что ты будешь под простым арестом, на попечении консулов, — без кандалов и тому подобного. Я добьюсь твоего оправдания, как только смогу.

Галл был вынужден поблагодарить Тиберия за великодушие, но не сомневался, что его ждет ловушка и Тиберий отплачивает за издевку издевкой; он не ошибся. Галла отвезли в Рим и поместили в подвальном помещении здания сената. Ему не разрешали никого видеть, даже слугу, и посылать письма друзьям и домашним. Пищу ему давали через решетку в двери. В подвале было темно — свет проникал через ту же решетку — и пусто, на полу лежал один тюфяк. Галлу сказали, что он находится здесь временно, что скоро приедет Тиберий и решит его дело. Но дни переходили в месяцы, месяцы в годы, а Галл по-прежнему оставался в подвале. Пища была скудная; Тиберий назначил такой рацион, чтобы Галл страдал от голода, но не мог от него умереть. Ему не дали ножа или другого острого предмета, так как опасались, как бы он не воспользовался им, чтобы покончить с собой, не дали ничего, чем бы он мог занять себя — ни письменных принадлежностей, ни книг, ни игральных костей. Он получал очень мало воды для питья, для мытья ему не давали воды совсем. Если о Галле заговаривали в присутствии Тиберия, старик отвечал, ухмыляясь: «Я еще не помирился с Галлом».

Услышав об аресте Галла, я пожалел, что только что поссорился с ним. Это была литературная ссора. Галл сочинил абсурдную книгу под названием «Сравнение моего отца Азиния Поллиона и его друга Марка Туллия Цицерона как ораторов». Если бы он сравнивал их по моральным качествам, или по политическим талантам, или даже по учености, первенство Поллиона было бы неоспоримо. Но Галл пытался доказать, что его отец обладал более отточенным слогом и превзошел Цицерона в ораторском искусстве. Это было нелепо, и я написал небольшую книжицу, где так и утверждал. Книжка эта вышла вскоре после моего критического разбора заметок самого Поллиона о Цицероне и сильно рассердила Галла. Я бы охотно воздержался от опубликования этой книги, если бы мог этим хоть немного облегчить жизнь несчастного Галла в тюрьме. С моей стороны, было глупо, я полагаю, так думать.

Наконец Сеян мог доложить Тиберию, что партия «зеленых» разгромлена, и ему больше не о чем беспокоиться. Тиберий сказал Сеяну, что решил в награду женить его на своей внучке Елене (чей брак с Нероном он расторг), и намекнул на дальнейшие милости. И тут моя мать, которая, не забывайте, была также матерью

Ливиллы, вмешалась в это дело. После смерти Кастора Ливилла стала жить у нее и постепенно настолько потеряла осторожность, что мать узнала о ее тайной переписке с Сеяном. Мать всегда была очень бережлива, а в старости ей доставляло особое удовольствие копить огарки, чтобы выплавлять из них новые свечи, продавать помои крестьянам, откармливавшим свиней, и, смешивая угольную пыль с какой-то жидкостью, делать из нее лепешки, которые, высохнув, горели не хуже угля. Ливилла же была весьма расточительна, и мать все время бранила ее. Однажды, проходя мимо комнаты Ливиллы, мать увидела, что раб выходит из нее с мусорной корзиной, полной бумаги.

— Куда ты идешь, мальчик? — спросила она.

— К топке, хозяйка, приказ госпожи Ливиллы.

Мать сказала:

— Что за безрассудство — набивать топку совершенно хорошей бумагой! Ты знаешь, сколько она стоит? В три раза больше пергамента. На некоторых из этих листов почти ничего не написано.

— Госпожа Ливилла строго-настрого приказала мне...

— Госпожа Ливилла была, видимо, очень занята своими мыслями, когда приказывала тебе уничтожить такую ценную вещь. Дай мне корзинку. Чистые куски можно использовать для хозяйственных списков. Мотовство до добра не доведет.

Мать взяла бумагу к себе в комнату и только собралась отрезать исписанные куски, как ей пришло в голову вообще вывести чернила с листов. До сих пор она честно старалась не читать написанное, но когда она принялась соскребать чернила, глаза ее невольно побежали по строчкам, и она вдруг поняла, что перед ней черновики или неудачные начала письма к Сеяну. Начав читать, мать не могла остановиться, и, еще не закончив, она уже все знала. Ливилла была вне себя от ревности, ведь Сеян согласился жениться на ком-то другом, мало того — на ее собственной дочери! Но Ливилла пыталась скрыть свои чувства — каждый следующий черновик письма был тоном ниже. Сеян должен действовать без промедления, писала она, пока Тиберий не заподозрил, что он не намерен жениться на Елене, а если он еще не готов убить Тиберия и захватить власть, не отравить ли ей самой свою дочь?

Мать послала за Паллантом, который выискивал для меня в библиотеке кое-какие исторические сведения об этрусках, и велела ему пойти к Сеяну и от моего имени попросить разрешения поехать на Капри, чтобы преподнести Тиберию мою «Историю Карфагена». (Я только что окончил эту работу и послал матери рукописный экземпляр, прежде чем ее публиковать). На Капри Паллант должен был просить императора, опять от моего имени, принять посвященный ему труд. Сеян охотно дал свое разрешение, так как знал, что Паллант — один из наших семейных рабов, и ничего не заподозрил. Но в двенадцатый том мать вклеила письма Ливиллы и свое письмо с объяснениями; она велела Палланту следить, чтобы никто не прикасался к книгам (все они были запечатаны), и отдать их Тиберию в собственные руки. Паллант должен был добавить к моим приветствиям и просьбе разрешить мне посвятить мой труд императору следующие слова: «Госпожа Антония также преданно приветствует императора: по ее мнению, книга ее сына не представляет для императора интереса; исключение составляет двенадцатый том, где содержится очень любопытное отступление, которое, как она полагает, покажется ему занимательным».

Паллант заехал в Капую, чтобы сообщить мне, куда он направляется. Он сказал, что нарушает этим строжайший приказ моей матери, но, в конце концов, его настоящий хозяин — я, а не она, хоть она и считает себя его госпожой; он боится невольно вовлечь меня в беду и уверен, что я вовсе не собирался посвящать свою книгу императору. Я был озадачен, в особенности когда он упомянул о двенадцатом

томе, поэтому, пока он умывался и менял одежду, я сломал печать. Когда я увидел, что туда было вложено, я ужасно перепугался и даже подумал, уж не сжечь ли мне книгу вместе с письмами. Но это было не менее опасно, чем оставить все как есть, и я снова скрепил печатью. Мать пользовалась дубликатом моей печати, который я дал ей для деловых бумаг, никто бы не догадался, что я открывал книгу, даже Паллант. Затем Паллант поспешил на Капри и на обратном пути сказал мне, что Тиберий взял двенадцатый том и удалился с ним в лес. Он разрешает мне посвятить ему свой труд, сказал император, но я должен воздержаться от преувеличенных восхвалений. Это меня немного успокоило, но Тиберию нельзя было доверять, особенно когда он казался к тебе расположенным. Естественно, я очень тревожился насчет того, что может произойти, и сердился на мать — ведь, впутав меня в ссору между Сеяном и Тиберием, она подвергала мою жизнь страшной опасности. Я даже подумал, не скряться ли мне куда-нибудь? Но куда? Скрываться было некуда.

31 г. н. э.

Первое, что случилось после того, — заболела Елена. Теперь-то мы знаем, что она была совершенно здорова, но Ливилла предложила ей на выбор — лечь в постель, притворившись, будто она больна, или слечь в постель, заболев на самом деле. Ее перевезли из Рима в Неаполь, где климат считается лучше. Тиберий разрешил отложить свадьбу на неопределенное время, но называл Сеяна своим зятем, точно она состоялась. Тиберий возвел Сеяна в ранг сенатора, назначил, одновременно с собой, вторым консулом и понтификом. Но то, что он сделал потом, перечеркнуло все эти милости: он пригласил Калигулу на несколько дней на Капри, а потом отправил его в сенат с весьма важным письмом. В письме говорилось, что он беседовал с молодым человеком, его наследником, и нашел, что тот ничем не схож со своими братьями по характеру и темпераменту, поэтому он не поверит никаким обвинениям в безнравственности или в отсутствии преданности, если их станут на него возводить. Он вверяет Калигулу заботам Элия Сеяна, своего сотоварища по консульству, и просит оградить его от всякого зла. Тиберий также назначил Калигулу понтификом и жрецом Августа.

Когда в Риме услышали про это письмо, там поднялось ликование. Поручая Калигулу попечению Сеяна, решили все, Тиберий предупреждал его, что вражда с семьей Германика зашла слишком далеко. То, что Сеян получил звание консула, сочли плохим для него предзнаменованием. Сам Тиберий сейчас был консулом в пятый раз, и все предшественники Сеяна, разделявшие с императором это звание — Вар, Гней Пизон, Германик, Кастор — умерли при печальных обстоятельствах. Вновь возникли надежды, что скоро все беды нации окажутся позади: ими будет править сын Германика. Возможно, Тиберий убьет Нерона и Друза, но он явно решил пощадить Калигулу. Сеян не станет императором. Все, кого Тиберий прощупывал по поводу своего выбора, явно одобряли то, что его преемником будет Калигула, — убедив самих себя, будто он унаследовал все добродетели отца; и Тиберия, всегда распознававшего реальное зло и сказавшего в глаза Калигуле, что он ядовитый змееныш, и по этой самой причине пощадившего его, это немало позабавило и очень обрадовало. Он мог воспользоваться растущей популярностью Калигулы, чтобы держать в узде Сеяна и Ливиллу.

Тиберий до известной степени доверился Калигуле и дал ему поручение узнать в дружеской беседе с гвардейцами, кто из их командиров имеет в лагере самое большое влияние после Сеяна, а затем удостовериться, так ли он жесток и бесстрашен, как тот. Калигула нарядился в женское платье, надел парик и, взяв для компании двух проституток помоложе, стал заходить в пригородные таверны, где по вечерам пили солдаты. С густо накрашенным лицом и накладным бюстом Калигула сходил за женщину: высокую и не очень привлекательную, но все же женщину. В

тавернах он говорил, будто живет на содержании у богатого лавочника, который дает ему кучу денег, и потому угощал всех вокруг. Щедрость сделала его популярным. Вскоре Калигула уже знал обо всем, что творилось в лагере; чаще всего в разговорах всплывало имя ротного капитана Макрона. Макрон был сыном одного из вольноотпущенников Тиберия и, судя по всему, самым жестоким человеком в Риме. Солдаты с восхищением говорили о его кутежах и распутстве, о том, как он верховодит остальными офицерами, как никогда не теряется в трудном положении. Даже Сеян побаивается его, Макрон — единственный человек, который осмеливается ему возражать. Поэтому однажды вечером Калигула познакомился с Макроном и потихоньку назвал ему свое имя; затем они вышли вдвоем из таверны, и между ними был долгий разговор.

Тиберий стал одно за другим писать сенату странные письма: то он говорил, что болен, чуть ли не умирает, то — что он внезапно поправился и срочно собирается в Рим. Не менее странно он писал о Сеяне, перемежая непомерные похвалы раздраженными упреками, и у всех сложилось впечатление, что он впадает в детство. Сеяна эти письма поставили в тупик, он не знал, устраивать ли переворот немедленно или оставить все по-старому — положение его было все еще прочным, — пока Тиберий не умрет или не появится возможность лишить его участи по причине слабоумия. Сеян хотел поехать на Капри и собственными глазами увидеть, как обстоят дела. Он написал Тиберию, испрашивая разрешения его посетить. Тиберий ответил, что, будучи консулом, Сеян обязан оставаться в Риме, достаточно и того, что сам он постоянно отсутствует. Тогда Сеян написал, что Елена серьезно больна и умоляет его навестить ее в Неаполе — может ли он приехать к ней, хотя бы на один день? А из Неаполя лишь час на веслах до Капри. Тиберий ответил, что Елену лечат лучшие доктора, надо набраться терпения; он сам собирается в Рим в ближайшие дни и хочет, чтобы Сеян его там, как положено, встретил. Примерно в это же время Тиберий не разрешил начать дело против бывшего губернатора Испании, которого Сеян обвинял в вымогательстве, на том основании, что показания свидетелей противоречивы. Никогда раньше в подобных случаях Тиберий не отказывал Сеяну в поддержке. Сеян перепугался. А тут и его консульский год закончился.

В день, назначенный Тиберием для прибытия в Рим, Сеян ждал во главе батальона гвардейцев перед храмом Аполлона, где заседал сенат, так как здание сената было тогда на ремонте. Неожиданно к нему подъехал Макрон и приветствовал его. Сеян спросил, почему он покинул лагерь. Макрон ответил, что Тиберий прислал ему письмо, которое он должен передать сенату.

— Почему тебе? — подозрительно спросил Сеян.

— Почему бы и нет?

— Но почему не мне?

— Потому что в письме говорится о тебе.

Затем Макрон шепнул ему на ухо:

— Сердечно поздравляю, командир. В письме для тебя есть сюрприз. Тебя сделают народным трибуном. Это значит, что ты станешь следующим императором.

Сеян не думал, что Тиберий на самом деле появится в Риме, но его молчание в последнее время сильно тревожило Сеяна. Сейчас, не помня себя от радости, он бросился в храм

Макрон скомандовал гвардейцам «смирно!» и сказал:

— Ребята, император назначил меня командующим вместо Сеяна. Вот мои полномочия. Возвращайтесь обратно в лагерь, вы свободны. А в лагере скажите всем остальным, что теперь за главного Макрон, и каждому, кто умеет выполнять приказы, перепадет по тридцать золотых. Кто здесь старший офицер? Ты? Уведи отсюда людей. И не подымайте лишнего шума.

Гвардейцы ушли, а Макрон вызвал начальника городской стражи, который уже был предупрежден, чтобы тот дал взамен них охрану. Затем Макрон зашел в зал заседаний следом за Сеяном, вручил консулам письмо и тут же вышел, не дожидаясь, пока его начнут читать. Он убедился, что стражники расставлены как надо, и поспешил вслед за гвардейцами в лагерь, чтобы не допустить там беспорядков.

Тем временем известие о том, что Сеяна назначают трибуном, разнеслось по всему залу, и сенаторы принялись наперебой его поздравлять. Один из консулов призвал всех к порядку и принялся читать письмо. Начиналось оно, как обычно, с извинений Тиберия по поводу его отсутствия на заседании (неожиданные дела и плохое здоровье), затем он перешел к общим вопросам, от них — к упрекам Сеяну за то, что он поспешил предъявить экс-губернатору обвинение, не имея твердых улик. Здесь Сеян улыбнулся, так как обычно, выразив свое недовольство, Тиберий оказывал ему какую-нибудь новую милость. Но письмо продолжалось в том же духе, упрек следовал за упреком, каждый новый абзац был резче, чем предыдущий, и улыбка сползла с лица Сеяна. Сенаторы, поздравлявшие его, в растерянности замолчали, один или двое, сидевшие рядом с ним, под каким-то предлогом перешли на другую сторону зала. В конце письма говорилось, что Сеян виновен в грубых нарушениях законности, что двое его друзей — его дядя Юний Блез, одержавший победу над Такфаринатом, и еще один — должны быть наказаны, а сам Сеян должен быть арестован. Консул, предупрежденный накануне Макроном, чего желает от него Тиберий, громко сказал:

— Сеян, подойди сюда.

Сеян не поверил своим ушам. Он ждал конца письма, где говорилось бы о назначении его трибуном. Консулу пришлось дважды его позвать, прежде чем он понял.

— Кто? Я? Ты имеешь в виду меня?

Как только враги Сеяна осознали, что он наконец повержен, они принялись громко свистеть и шикать; его друзья и родственники, опасаясь за собственную жизнь, присоединились к ним. Сеян внезапно оказался один. Консул задал вопрос, последует ли сенат совету императора.

— Да, да! — хором закричали сенаторы.

Вызвали начальника охраны, и когда Сеян увидел, что его гвардейцы исчезли, а на их месте городская стража, он понял, что проиграл. Сеяна повели под конвоем в тюрьму. Его окружила толпа горожан, узнавших о том, что происходит; с криками и улюлюканием они забрасывали его грязью. Сеян закутал голову тогой, но его пригрозили убить, если он не откроет лица, а когда он подчинился, комьев грязи стало еще больше. В тот же день сенат, видя, что гвардейцы не появляются, а толпа вот-вот ворвется в тюрьму и устроит над Сеяном самосуд, решил, чтобы оставить заслугу за собой, приговорить Сеяна к смертной казни.

Калигула тотчас известил об этом Тиберия при помощи сигнального огня. У Тиберия уже стояла наготове флотилия, чтобы отвезти его в Египет, если что-нибудь пойдет не так. Сеяна казнили, тело его бросили на Ступени слез, где толпа глумилась над ним три дня подряд. Когда пришло время скинуть тело в Тибр, оказалось, что голову уже отрубили и унесли в общественные бани, где играют ею в мяч, а от туловища осталась одна половина. Улицы Рима были буквально засыпаны осколками его бесчисленных статуй, стоявших во всех общественных местах.

Дети Сеяна от Апикаты также были присуждены к смерти декретом сената. У него был один совершеннолетний сын, другой — еще мальчик и девочка, которую в свое время помолвили с моим сыном Друзиллом, — ей только минуло четырнадцать. Младшего мальчика по закону нельзя было казнить, поэтому, опираясь на прецедент гражданской войны, его перед казнью заставили надеть взрослое платье; девочка, будучи девственницей, тем более находилась под защитой закона. Для казни

девочки, единственная вина которой заключалась в том, что она была дочь своего отца, не нашлось прецедента. Когда ее вели в тюрьму, она, не понимая, что происходит, кричала: «Не надо в тюрьму, выпорите меня, если хотите, и я не буду больше». Видимо, на ее совести был какой-то детский проступок. Чтобы избежать несчастья, которое постигнет Рим, если казнят девственницу, Макрон приказал главному палачу изнасиловать ее. Узнав об этом, я сказал про себя: «Рим, ты погиб. Столь ужасное злодеяние нельзя искупить», — и призвал богов в свидетели, что, пусть я и родственник императора, я стоял в стороне от государственных дел и ненавижу преступления не меньше, чем они, хотя и бессилён за них отомстить.

Когда Апиката услышала, что сделали с ее детьми, и увидела, как надругаются над их телами на Ступенях слез, она покончила с собой. Но сперва написала Тиберию письмо, говоря, что Кастора отравила Ливилла и что Ливилла с Сеяном хотели узурпировать власть. Она винила во всем Ливиллу. Моя мать не знала, что смерть Кастора — дело рук Ливиллы. Тиберий призвал мою мать на Капри, поблагодарил за огромные услуги, оказанные государству, и показал письмо Апикаты. Он сказал, что даст матери любую награду — ей стоит только попросить, — конечно, в разумных пределах. Мать ответила, что ей не надо никаких наград, она просит одного — чтобы имя их рода не было покрыто позором, чтобы ее дочь не казнили и не кидали тело на Ступени слез.

— Как же иначе тогда ее наказать? — резко спросил Тиберий.

— Предоставь ее мне, — ответила мать. — Я накажу ее сама.

Поэтому против Ливиллы не было возбуждено судебное дело. Мать заперла ее в комнате рядом со своей и уморила голодной смертью. День за днем, ночь за ночью она слышала отчаянные крики и проклятия дочери, становившиеся постепенно слабее, но держала ее там, а не в каком-нибудь отдаленном подвале, пока Ливилла не умерла. Сделала она так не из любви к мучительству — страдания Ливиллы причиняли ей жестокую боль, — но чтобы наказать себя за то, что она воспитала такую чудовищную дочь.

За смертью Сеяна последовал целый ряд казней, пострадали все его друзья, не успевшие вовремя переметнуться на другую сторону, и многие из тех, кто это сделал. Те, кто не опередил события, покончив с собой до казни, были сброшены с Тарпейской скалы на Капитолийском холме. Имущество их конфисковали. Обвинителям почти ничего не выпадало — Тиберий делался все более расчетливым. По совету Калигулы он выдвигал ложные обвинения против тех свидетелей, которые должны были извлечь из дела наибольшую выгоду, и таким образом получал возможность конфисковать и их достояние. Было казнено около шестидесяти сенаторов, двухсот всадников и более тысячи простолюдинов. Моя связь через брак с семьей Сеяна могла стоить мне жизни, не будь я сыном своей матери. Мне было разрешено развестись с Элией и удержать восьмую часть ее приданого, но я вернул ей все полностью. Она, наверно, сочла меня дураком. Я сделал это в качестве, так сказать, компенсации за то, что забрал у нее нашу дочку Антонию сразу, когда она родилась. Элия решила исполнить свой долг жены, как только почувствовала, что положение Сеяна становится шатким. Она думала, что это послужит ей защитой, если Сеян потеряет власть: вряд ли Тиберий велит казнить ее с ребенком от своего племянника во чреве. Я рад был развестись с Элией, но не стал бы отбирать у нее ребенка, если бы не мать, которая хотела иметь внучку в своем единоличном владении.

Единственным из родственников Сеяна, избежавшим казни, был его брат, и произошло это по той странной причине, что он осмелел лысину Тиберия. На последнем ежегодном празднике в честь Флоры, который он возглавлял, все церемонии исполнялись только лысыми людьми, а вечером гостей провожали из театра пять тысяч обритых наголо детей с факелами в руках. Прибывший на Капри

сенатор доложил об этом Тиберию в присутствии Нервы, и, чтобы произвести на того хорошее впечатление, Тиберий сказал:

— Я прощаю его. Если Юлий Цезарь не обижался на шутки по поводу своей лысины, кто я, чтобы это делать?

Я полагаю, что, когда Сеян пал, Тиберий решил всем на удивление вновь проявить великодушие к его брату.

Но Елену, только за то, что она притворилась больной, наказали, выдав ее за Бланда, выскочку, дед которого, провинциальный всадник, приехал в Рим в качестве учителя риторики. Все сочли это низким поступком со стороны Тиберия, потому что Елена была его внучка и этим браком он обесчестил собственный род. Говорили, что не надо далеко ходить, чтобы встретить рабов среди предков Бланда.

Тиберий понял, что гвардейцы, которым он щедро заплатил по пятьдесят золотых монет на каждого вместо обещанных Макроном тридцати, его единственная надежная защита против народа и сената. Он сказал Калигуле:

— В Риме нет человека, который не сожрал бы меня с потрохами.

Гвардейцы, чтобы выказать преданность Тиберию, заявили, что их обидели, поручив не им, а городской страже вести Сеяна в тюрьму, и в знак протеста вышли из лагеря и принялись грабить пригороды Рима. Макрон дал им потешиться одну ночь, но тех, кто не вернулся в лагерь через два часа после того, как на рассвете протрубили сбор, поразили чуть не до смерти.

32 г. н. э.

Через некоторое время Тиберий объявил амнистию. Никого больше не станут судить за прежние политические связи с Сеяном, и если теперь, когда причиненное им зло полностью отомщено, кто-нибудь в память о его хороших деяниях вздумает надеть по нему траур, возражений против этого не будет. Многие так и сделали, думая, что угодят этим Тиберию, но они ошибались. Вскоре все они были привлечены к суду по самым бездоказательным обвинениям — чаще всего в кровосмешении — и казнены. Вы можете спросить, как случилось, что после этой резни вообще остался хоть один сенатор или всадник, — я отвечу: Тиберий поддерживал численный состав обоих сословий постоянным приемом новых членов. Чтобы попасть в сословие всадников, было достаточно родиться свободным, иметь хорошую репутацию и столько-то тысяч золотых; желающих было хоть отбавляй, несмотря на огромный вступительный взнос. Алчность Тиберия все росла: он требовал, чтобы богатые люди оставляли ему в наследство по крайней мере половину своей собственности; в случае, если они этого не делали, он объявлял завещание недействительным из-за какой-нибудь юридической ошибки и забирал себе все имущество; наследники не получали ничего. Он больше не тратил денег на общественные работы — даже не завершил постройку храма Августа — и урезал бесплатную раздачу зерна и суммы, выдаваемые из казны на устройство зрелищ. Он регулярно платил армии, и только. Что касается провинций, то Тиберий вообще больше ничего для них не делал, — раз налоги и дань поступали без перебоев, он даже не брал на себя труд назначить нового губернатора, когда старый умирал. Однажды к нему приехала депутация из Испании с жалобой на то, что у них уже четыре года нет губернатора, а штат старого губернатора бессовестно грабит страну, Тиберий сказал:

— Надеюсь, вы не просите у меня нового губернатора? Новый губернатор привезет с собой новый штат чиновников, и ваше положение станет еще хуже. Я расскажу вам одну историю. Однажды на поле боя лежал тяжело раненный воин и ждал, когда врач перевяжет ему рану, которую облепили мухи. Его товарищ, раненный не так тяжело, увидел мух и хотел их согнать. «Не надо! — вскричал первый. — Не тронь их. Эти мухи уже напились моей крови, и мне не так больно, как было сперва; если ты их сгонишь, их место займут те, что еще голодны, и мне придется

конец».

Тиберий позволил парфянам опустошить Армению, задунайские племена вторглись на Балканы, а германцы пересекали Рейн и устраивали набеги на Францию. Под самыми необоснованными предлогами он конфисковал имущество ряда союзных вождей и царьков во Франции, Испании, Сирии и Греции. Он отнял у Вонона его сокровища (вы помните Вонона, того самого бывшего царя Армении, из-за которого Германик поссорился с Гнеем Пизоном?), отправив к нему своих агентов: те сперва помогли ему бежать из Киликии, куда его сослал Германик, а затем, нагнав в пути, убили.

Примерно в это время доносители стали обвинять богатых людей в том, что, давая ссуды, они запрашивают больше, чем им причитается, — по закону можно было брать лишь полтора процента с общей суммы. Правило это давно вышло из употребления, и вряд ли нашелся бы хоть один сенатор, который его не преступал. Но Тиберий подтвердил, что оно остается в силе. К нему отправилась депутация с просьбой дать полтора года, чтобы люди привели свои финансовые дела в соответствие с буквой закона, и Тиберию милостиво удовлетворил эту просьбу. В результате все сразу потребовали уплаты долгов, и это повлекло за собой большую нехватку ходячей монеты. А ведь вызвано повышение ссудного процента было прежде всего тем, что в императорской казне лежали мертвым грузом огромные запасы золота и серебра. Началась финансовая паника, цены на землю страшно упали. Надо было как-то облегчить положение. В конце концов Тиберий был вынужден ссудить банкирам без процентов миллион золотых из государственной казны, чтобы было что давать под земельные закладные. Тиберий и этого бы не сделал, если бы не Кокцей Нерва, у которого он все еще время от времени спрашивал совета; Нерва, живя на Капри, где от него тщательно скрывались оргии Тиберия и куда почти не доходили новости из Рима, был, пожалуй, единственным человеком в мире, верящим в великодушие и добродетель императора. Тот, например, объяснил Нерве (как рассказывал мне через несколько лет Калигула), что его размалеванные любимцы — бедные сиротки, которых он пожалел, и большинство из них не совсем нормальны, что объясняло их странный вид и поведение. Но неужели Нерва действительно был так наивен, чтобы этому поверить, или так близорук?

Глава XXVIII

Чем меньше будет сказано о последних пяти годах правления Тиберия, тем лучше. Я не могу заставить себя писать в подробностях о Нероне, которого уморили голодом; или об Агриппине, сперва обрадовавшейся падению Сеяна, но затем увидевшей, что участь ее от этого не стала легче, и переставшей принимать пищу: какое-то время ее кормили насильно, но в конце концов дали умереть; или о Галле, который погиб от чахотки; или о Друзе, переведенном с дворцовой мансарды в темный подвал и однажды найденном мертвым — горло его было забито шерстью из матраса, который он грыз, не в силах стерпеть голодные муки. После их смерти Тиберий писал сенату радостные письма — об этом я не могу умолчать, — где обвинял Агриппину в государственной измене и в прелюбодеянии с Галлом и сожалел, что «под давлением государственных дел он все время откладывал суд над Галлом и тот умер до того, как его вина была доказана». Что до Друза, то Тиберий называл юношу самым распутным и коварным негодяем, какого он когда-либо знал. Тиберий велел гвардейскому офицеру, сторожившему Друза, прочитать во всеуслышание запись того, что Друз говорил в тюрьме. Никогда раньше в сенате не читали ничего вызывающего столь же тягостное чувство. Было ясно, что Друза били, мучили и оскорбляли не только сам этот офицер, но простые солдаты и рабы, что

каждый день, отбирая крошку за крошкой, каплю за каплей, ему давали все меньше еды и питья. Тиберий даже велел огласить проклятия Друза, который исступленно, хотя и вполне связно, поносил его перед смертью. Друз обвинял Тиберия в алчности, вероломстве, бесстыдной порочности, в том, что он испытывал наслаждение, истязая людей, в убийстве Германика и Постума и целом ряде других преступлений (большую часть которых Тиберий действительно совершил, хотя ни об одном из них до сих пор не упоминалось публично); Друз молил богов, чтобы все неизмеримые страдания, которые Тиберий причинил другим, тяжким грузом давили на него день и ночь, наяву и во сне, чтобы он пал под их бременем в свой смертный час, а после смерти был приговорен к вечным мукам преисподним трибуналом. Сенаторы прерывали чтение восклицаниями, делая вид, будто они в ужасе от вероломства Друза, но за всеми их ахами и охами скрывалось удивление тем, что Тиберий по собственному почину обнажает перед всеми свои пороки и злодеяния. В то время Тиберий (как мне рассказал потом Калигула), терзаемый суеверными страхами и бессонницей, очень жалел сам себя и рассчитывал на искреннее сочувствие сенаторов. Он со слезами на глазах сказал Калигуле, что вынужден был убить его родных из-за их непомерного честолюбия и из-за того, что, по примеру Августа (он так и сказал: Августа, а не Ливии), он ставит спокойствие империи выше личных чувств. Калигула, не проявлявший никаких признаков горя или гнева из-за жестокого обращения Тиберия с его матерью и братьями, выразил старику свое соболезнование и тут же принялся рассказывать о новой форме разврата, о которой узнал недавно от каких-то сирийцев. Это был единственный способ подбодрить Тиберия, когда его начинала мучить совесть. Лепида, предавшая Друза, ненадолго его пережила. Ее обвинили в прелюбодеянии с рабом, и, не имея возможности отрицать свою вину (ее застали с ним в постели), она покончила жизнь самоубийством.

Калигула большую часть времени проводил на Капри, но изредка по поручению Тиберия ездил в Рим, чтобы приглядеть за Макроном. Макрон исполнял теперь все обязанности Сеяна и делал это очень хорошо, но у него хватило ума довести до сведения сената, что ему не надо никаких почестей и что любой сенатор, вздумавший их предложить, вскоре окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене, кровосмешении или подлоге. Тиберий назначит Калигулу своим преемником по нескольким причинам. Во-первых, будучи сыном Германика, он пользовался популярностью у народа, который вел теперь себя тихо и мирно, боясь, как бы беспорядки не повлекли за собой смерти их любимца. Во-вторых, Калигула великолепно умел прислуживаться и был одним из немногих людей, достаточно порочных, чтобы Тиберий чувствовал себя рядом с ним добродетельным. А в-третьих, Тиберий не думал, что Калигула на самом деле когда-нибудь станет императором. Фрасилл, которому Тиберий по-прежнему полностью доверял (так как еще не было ни одного события, противоречащего его предсказаниям), уже давно сказал ему: «Калигула с таким же успехом может стать императором, как проскакать верхом на коне через пролив между Байями и ПUTEОЛАМИ».

Фрасилл сказал также: «Через десять лет Тиберий Цезарь все еще будет императором».

Так оно и оказалось, только речь шла о другом Тиберии Цезаре.

Тиберий узнал от Фрасилла многое, хотя кое-что тот от него скрывал. Тиберий знал, например, какая судьба ждет Гемелла, который только считался его внуком, так как в действительности отцом мальчика был Сеян, а не Кастор. Тиберий сказал однажды Калигуле:

— Я делаю тебя главным наследником. Гемелла я делаю наследником второй степени на случай, если ты умрешь, но это только формальность. Я знаю, что ты убьешь Гемелла, но потом другие убьют тебя.

Он сказал это, рассчитывая пережить их обоих. Затем добавил, цитируя какого-то греческого трагика:

— «Когда я буду мертв, пусть огонь поглотит землю».

Но Тиберий еще не был мертв. Доносители по-прежнему занимались своим делом, и с каждым годом все большее число людей подвергалось казни. Не осталось почти ни одного сенатора, занимавшего свое место в сенате при Августе. Макрон был куда более жесток, чем Сеян, и проливал кровь без сожаления. Сеян был хотя бы сыном всадника, отец Макрона родился рабом. Среди новых жертв оказалась и Планцина, у которой после смерти Ливии не осталось защиты. Она была очень богата, и ее вновь обвинили в отравлении Германика. Пока была жива Агриппина, Тиберий не позволял привлекать Планцину к суду, ведь известие об этом доставило бы Агриппине радость. Я не огорчился, услышав, что тело Планцины бросили на Ступени слез, хотя она, не дожидаясь казни, покончила с собой.

Однажды, обедая с Тиберием, Нерва отказался от предложенных ему блюд, сказав, что он не голоден, у него пропал аппетит. До тех пор Нерва прекрасно себя чувствовал и был в хорошем настроении: судя по всему, он ничуть не тяготился отшельнической жизнью на Капри. Сперва Тиберий подумал, что Нерва накануне принял слабительное и дает отдых желудку, но когда на второй и третий день повторилось то же самое, Тиберий испугался, уж не решил ли Нерва уморить себя голодом. Он сел рядом с Нервой и стал умолять его, чтобы тот объяснил, почему он не ест. Но Нерва лишь попросил прощения и повторил, что не голоден. Возможно, Нерва сердится на него за то, что он не сразу последовал его совету устранить финансовый кризис, подумал Тиберий и спросил:

— У тебя появится аппетит, если я отменю все законы, ограничивающие процент на ссуды, и назначу определенную цифру, которую ты сочтешь достаточно низкой?

— Дело не в этом, — сказал Нерва, — я просто не хочу есть.

На следующий день Тиберий сказал Нерве:

— Я написал сенату. Мне рассказали, что два или три человека зарабатывают себе на жизнь доносами на правонарушителей. Мне никогда и в голову не приходило, что, награждая за верность государству, я побуждаю людей подстрекать своих друзей на преступления, а потом выдавать их, но, по-видимому, так происходило не раз. Я приказал сенату немедленно казнить любого, кто добывает деньги таким позорным способом, если это будет доказано. Может быть, ты теперь поешь?

Когда Нерва поблагодарил его и похвалил его решение, но сказал, что аппетит совершенно покинул его, Тиберий впал в отчаяние.

— Ты умрешь, если не станешь есть, Нерва. Что я тогда буду делать? Ты знаешь, как я ценю твою дружбу и советы. Пожалуйста, пожалуйста, поешь, Нерва, я тебя умоляю. Если ты умрешь, весь мир будет думать, что это дело моих рук, и уж во всяком случае, что ты уморил себя голодом из ненависти ко мне. О, не умирай, Нерва! Ты — мой единственный настоящий друг!

Нерва сказал:

— Просить меня есть бесполезно, цезарь. Мой желудок не принимает пищу. И, конечно, никто не станет возводить на тебя такую напраслину. Все знают, какой ты мудрый правитель и добрый человек, а меня, я уверен, ни у кого нет оснований считать неблагодарным, не так ли? Если я должен умереть, я умру, вот и все. Смерть — наш общий удел, а мне к тому же послужит утешением мысль, что я не пережил тебя.

Это не убедило Тиберия, но вскоре Нерва так ослабел, что не мог отвечать на вопросы, и на девятый день умер.

36 г. н. э.

Умер и Фрасилл. Его смерть возвестила ящерица. Пробежав по каменному столу, за которым Фрасилл и Тиберий завтракали на солнцепеке, ящерица уселась на указательном пальце старика.

— Ты пришла позвать меня, сестричка? — спросил Фрасилл. — Я ждал тебя.

Затем обернувшись к Тиберию, добавил:

— Моя жизнь подошла к концу, цезарь. Прощай! Я ни разу не солгал тебе, ты лгал мне многократно. Не прозевай свою ящерицу.

Фрасилл закрыл глаза, и через несколько минут его не стало.

Еще до смерти Фрасилла Тиберий завел у себя самое диковинное животное, какое видели в Риме. Когда там впервые появились жирафы и носороги, они вызвали всеобщее восхищение, но это, хоть и меньше размером, поражало куда сильнее. Его привезли с острова за Индией, который называется Ява, оно было похоже на ящерицу размером с теленка, с уродливой головой и зубцами на спине, как пила. Впервые увидев его, Тиберий заметил, что больше не будет сомневаться в существовании чудовищ, которых, по преданию, убили Геркулес и Тезей. Называлось оно бескрылый дракон, и Тиберий каждый день кормил его из собственных рук тараканами, дохлыми мышами и подобной гадостью. От чудища отвратительно пахло, у него были мерзкие повадки и злобный нрав. Дракон и Тиберий прекрасно понимали друг друга. Услышав слова Фрасилла, Тиберий решил, будто тот хотел сказать, что дракон его укусит, поэтому велел поместить его в клетку с частой решеткой, чтобы чудище не могло просунуть между прутьями свою уродливую голову.

37 г. н. э.

Тиберию уже шел семьдесят девятый год, от постоянного употребления мирриса и прочих возбуждающих средств он стал совсем немощным, но одевался щеголевато и старался казаться моложе своих лет. Теперь, когда Нерва и Фрасилл умерли, ему стало скучно на Капри, и в начале марта следующего года он решил бросить вызов судьбе и поехать в Рим. Он двинулся туда не спеша, с частыми остановками; последнее место, где он заночевал, была вилла на Аппиевой дороге, откуда уже виднелись городские стены. Но на следующий день после того, как он туда прибыл, дракон подал ему предсказанное Фрасиллом предупреждение. Днем, когда Тиберий пошел покормить его, он увидел, что тот лежит в клетке мертвый, а по нему во множестве бегают большие черные муравьи, стараясь отщипнуть кусочки мягкой плоти. Тиберий счел это предвестием того, что если он поедет дальше, то умрет и толпа разорвет на куски его тело. Поэтому Тиберий сразу же повернул обратно. По пути он схватил простуду из-за восточного ветра и еще усугубил ее на играх, устроенных солдатами гарнизона в одном из городков, которые он проезжал. На арену выпустили дикого кабана и попросили Тиберия метнуть в него со своего места дротик. Он кинул, не попал, рассердился на себя и велел подать другой. Тиберий всегда гордился своим умением метать копье и не хотел, чтобы солдаты считали, будто его одолела старость. Пытаясь попасть в кабана, он метал дротик за дротиком, хотя поразить свою цель на таком расстоянии явно не мог, разгорячился и наконец, обессиленный, был вынужден остановиться. Кабан остался цел и невредим, и Тиберий приказал выпустить его на волю в награду за то, как ловко он увертывался от его ударов.

Болезнь перекинулась на печень, но Тиберий продолжал путь. Он добрался до Мизена, находящегося у противоположного Капри конца Неаполитанского залива; там расположена база Западного флота. Штормило, и, к неудовольствию Тиберия, пересечь залив было нельзя. Однако на мизенском мысу у него была великолепная вилла — когда-то она принадлежала известному эпикурейцу Лукуллу. Тиберий со всей свитой остановился там. Его сопровождали Калигула и Макрон. Чтобы показать,

что с ним все в порядке, Тиберий устроил большой пир для местных властей. Они пировали уже несколько часов, когда личный врач Тиберия попросил разрешения покинуть застолье и заняться кое-какими делами, связанными с врачеванием, — некоторые травы лучше действуют, если их собирать в полночь или когда луна находится в той или иной фазе. Поэтому Тиберий привык, что по этой причине его врач уходит иногда во время трапезы из-за стола. Врач взял руку Тиберия, чтобы ее поцеловать, но держал куда дольше, чем следовало, и Тиберий вполне справедливо подумал, что врач щупает ему пульс, желая увидеть, насколько он ослабел. В наказание он велел тому снова сесть на место и не отпускал пирующих до утра, чтобы доказать, что он совершенно здоров. На следующий день Тиберий был в полном изнеможении, и по Мизену поползли перекинувшиеся затем в Рим слухи, что он умирает.

Еще раньше Тиберий сказал Макрону, что желает привлечь к суду несколько наиболее уважаемых сенаторов, которых он невзлюбил, и приказал любыми средствами добиться смертного приговора. Макрон записал их как соучастников преступления в обвинительный акт, который он готовил против жены одного из бывших агентов Сеяна, отвергшей его авансы, за что Макрон затаил на нее зло. Всех этих сенаторов обвинили в прелюбодеянии с ней и в употреблении имени Тиберия всуе. Запугав вольноотпущенников и подвергнув пытке рабов, Макрон добыл нужные ему показания — вольноотпущенники и рабы к этому времени уже забыли, что такое верность по отношению к хозяевам. Начался судебный процесс. Но хотя Макрон сам проводил допрос свидетелей и пытал рабов, на столе, как заметили друзья обвиняемых, не лежало, как обычно, императорское письмо, санкционирующее его действия, из чего они заключили, что в список, данный ему Тиберием, Макрон добавил одного или двух своих личных врагов. Главной жертвой этих, явно нелепых, обвинений был Аррунций, самый старый и почтенный член сената. За год до смерти Август сказал, что, если не Тиберий, императором может быть только он. Тиберий уже однажды пытался обвинить Аррунция в государственной измене, но безуспешно. Старый сенатор был единственным связующим звеном с веком Августа. В прошлый раз доносители вызвали такую бурю негодования — хотя никто не сомневался, что они действуют по наущению Тиберия, — что их самих судили, обвинили в лжесвидетельстве и приговорили к смерти. Все знали, что недавно у Макрона был с Аррунцией спор из-за денег, и разбирательство дела было отложено до тех пор, пока Тиберий не подтвердит полномочий Макрона. Тиберий не потрудился ответить на запрос сената, поэтому Аррунций и все остальные некоторое время находились в тюрьме. Наконец Тиберий прислал необходимое подтверждение и был назначен день суда. Аррунций решил покончить с собой еще до окончания дела, чтобы спасти свое имущество от конфискации и внуков — от нищеты. Он прощался со старыми друзьями, когда пришло известие о том, что Тиберий серьезно заболел. Друзья стали умолять Аррунция отложить самоубийство до последнего момента, потому что, если известие это верное, у него есть все шансы пережить Тиберия и получить прощение у его преемника. Аррунций сказал:

— Нет, я живу слишком долго. Моя жизнь была нелегка, когда Тиберий делил власть с Ливией. Она стала почти невыносимой, когда он делил власть с Сеяном. Макрон оказался большим негодяем, чем Сеян, и, попомните мои слова, Калигула, получив воспитание на Капри, будет еще худшим императором, чем Тиберий. Я не могу на старости лет делаться рабом нового хозяина, да еще такого, как он.

Аррунций взял перочинный нож и вскрыл на запястье вену. Его слова всех поразили, ведь Калигула пользовался огромной любовью народа, люди ждали, что он станет вторым Августом и даже превзойдет его. Никто не винил Калигулу за то, что он притворяется верным Тиберию, напротив, все восхищались тем, как ловко ему удалось пережить братьев и скрывать свои истинные — так полагали — чувства.

Тем временем у Тиберия почти остановился пульс, и он впал в кому. Врач сказал Макрону, что жить императору осталось самое большее два дня. Среди приближенных поднялась суматоха. Макрон и Калигула были в полном согласии. Калигула уважал Макрона за его популярность у гвардейцев, а Макрон уважал Калигулу за его популярность у всего народа; каждый рассчитывал на поддержку другого. К тому же Макрон был обязан Калигуле своим возвышением, а Калигула завел интрижку с женой Макрона, на что тот смотрел сквозь пальцы. Тиберий уже один раз кисло заметил по поводу того, что Макрон ищет дружбы Калигулы:

— Что ж, ты правильно делаешь, поворачиваясь спиной к заходящему солнцу и лицом — к восходящему.

Макрон и Калигула принялись рассылать послания командирам разных полков, где говорилось, что император быстро теряет силы и назначил Калигулу своим преемником, в знак чего дал ему перстень с печатью. Действительно, Тиберий, придя ненадолго в себя, велел позвать Калигулу и стащил с пальца перстень. Но тут же передумал, опять надел перстень, а затем крепко сжал руки, словно боялся, что его отберут. Когда он вновь впал в забытие и не выказывал больше признаков жизни, Калигула спокойно снял перстень и теперь, с гордым видом расхаживая по комнатам, хвастливо совал перстень под нос всем, кого он встречал, и выслушивал их почтительные поздравления.

Но Тиберий все еще был жив. Он застонал, пошевелился, сел на постели и позвал слуг. Он ослаб, так как давно ничего не ел, но в остальном был самым собой. Он уже не раз так развлекался: делал вид, будто умер, а потом оживал. Тиберий снова позвал. Никто его не услышал, слуги были в кладовой, пили за здоровье Калигулы. Но вскоре в комнату умирающего шмыгнул предприимчивый раб, чтобы посмотреть, нельзя ли там что-нибудь стянуть. В комнате было темно, и он страшно перепугался, когда Тиберий закричал:

— Проклятие! Куда подевались все слуги? не слышат разве, что я их зову? Я хочу хлеба с сыром, омлет, парочку говяжьих котлет и бокал хиосского вина. Немедленно! Тысяча фурий! Кто украл мой перстень?

Раб вылетел из комнаты и чуть не столкнулся с проходившим мимо Макроном.

— Император жив, господин, он требует еду и свой перстень.

Новость разнеслась по дворцу, последовала смехотворная сцена. Толпившиеся вокруг Калигулы люди бросились врассыпную. Послышались крики: «Благодарение богам, известие было ложным! Да здравствует Тиберий!» Калигула не знал, куда деваться от стыда и страха. Он сдернул перстень с пальца и оглядывался по сторонам, ища, где бы его спрятать.

Один Макрон не потерял головы:

— Вздор! — вскричал он. — Раб сошел с ума. Вели распять его, цезарь! Старый император был мертв уже час тому назад!

Он шепнул что-то Калигуле, и тот с благодарностью и облегчением кивнул. Затем Макрон поспешил в комнату Тиберия. Тиберий уже поднялся на ноги и теперь со стонами и проклятиями ковылял к дверям. Макрон подхватил его обеими руками, бросил на кровать и задушил подушкой. Калигула стоял рядом.

Сенаторы, разделявшие с Аррунцией заточение, были освобождены, но большинство из них потом жалело, что они не последовали его примеру. Кроме сенаторов, в тюрьме находилось около пятидесяти мужчин и женщин, которым тоже было предъявлено обвинение в государственной измене. Люди эти не имели никакого отношения к сенату, это были в основном лавочники, которые уклонялись от уплаты «отступных денег» — офицеры Макрона теперь вносили их со всех городских корпораций. Дела этих людей уже были закончены, всех присудили к смертной казни, и приговор должны были привести в исполнение в тот самый день, когда пришло известие о смерти Тиберия. Узники обезумели от радости при мысли, что теперь они

спасены. Но Калигула был в Мизене, вовремя обратиться к нему не успели, а начальник тюрьмы боялся потерять свое место, если по собственному почину отложит казнь. Поэтому их всех до одного казнили, а тела, как водится, бросили на Ступени слез.

Это вызвало вспышку народного гнева.

— Тиберий жалит, как дохлая оса! — закричал кто-то.

На перекрестках стали сходиться горожане во главе со старшинами корпораций; они молили Матерь-Землю и преисподний трибунал не давать телу и душе этого чудовища Тиберия никакого покоя до скончания времен. Погребальная процессия двигалась в Рим под эскортом гвардейцев; Калигула, как подобает ближайшему родственнику, шел пешком. Со всех сторон ему навстречу стекались люди, но не в трауре, а в праздничном платье; со слезами на глазах они благодарили небо за то, что оно сохранило хоть одного сына Германика, чтобы править ими. Старые крестьянки кричали:

— О, наш ненаглядный Калигула! Наш птенчик! Наше дитяtko! Наша звездочка!

За несколько миль до Рима Калигула поскакал вперед, чтобы подготовить все для торжественного въезда погребальной колесницы в город. Как только он уехал, собралась большая толпа и загородила Аппиеву дорогу досками и глыбами строительного камня. Когда появились первые верховые из эскорта, их встретили улюлюканьем, свистом и криками:

— В Тибр Тиберия!

— Скиньте его со Ступеней слез!

— Вечное проклятие Тиберию!

Главарь толпы закричал:

— Солдаты! Мы, римляне, не разрешаем везти в город этот смрадный труп! Он навлечет на нас несчастье! Везите его в Ателлу и поджарьте его там в амфитеатре!

Я должен объяснить, что «поджаривали», вернее, сжигали наполовину, а не полностью, тела нищих и прочих горемык; Ателла же был городок, известный тем, что с самых давних пор во время праздника урожая ряженые разыгрывали там соленый сельский фарс. У Тиберия была в Ателле вилла, и он почти каждый год присутствовал на этом празднике. Он обратил невинные, хоть и грубоватые, народные шутки в изощренное непотребство и заставил жителей Ателлы построить амфитеатр, чтобы показывать там фарсы, переработанные и поставленные им самим.

Макрон приказал гвардейцам прорвать преграду; несколько горожан было убито и ранено, два-три солдата упали, сбитые с ног булыжниками. Калигула предотвратил дальнейшие беспорядки, и тело Тиберия, как и положено, сожгли на Марсовом поле. Калигула произнес надгробное слово. Оно было сухим и ироничным и очень всем понравилось, потому что в нем много говорилось об Августе и Германике и очень мало — о Тиберии.

На пиру в тот же самый вечер Калигула рассказал историю, которая заставила всех прослезиться и упрочила его репутацию. Однажды утром в Мизене, сказал Калигула, как всегда, не в силах заснуть от мыслей о судьбе матери и братьев, он решил, будь что будет, наконец отомстить их убийце. Он схватил кинжал, принадлежавший отцу, и смело направился в комнату Тиберия. Император, мучимый кошмаром, со стоном метался на постели. Калигула медленно занес кинжал, чтобы его поразить, но тут в ушах у него зазвучал божий глас: «Правнук, остановись. Грех убивать его». «О божественный Август, — возразил ему Калигула, — он убил мою мать и братьев, твоих потомков. Разве мне не следует за них отомстить, даже если все отвернутся от меня за отцеубийство?» Август ответил: «Благородный юноша, коему суждено стать императором, нет нужды совершать то, что ты задумал. По моему приказанию фурии еженощно мстят ему во сне за дорогих тебе людей».

Калигула положил кинжал на стол рядом с кроватью и вышел. Он не объяснил, что произошло на следующее утро, когда Тиберий проснулся и увидел кинжал; все предположили, что Тиберий не осмелился об этом упомянуть.

Глава XXIX

Калигула стал императором; было ему тогда двадцать пять лет от роду. Редко когда в мировой истории — а возможно, и никогда — нового правителя приветствовали с таким энтузиазмом, редко когда было так легко удовлетворить скромные чаяния народа, который мечтал лишь о мире и безопасности. Полная казна, превосходно обученная армия, великолепная административная система, которую ничего не стоило привести в абсолютный порядок, — несмотря на небрежение Тиберия, империя все еще без задержки двигалась вперед под воздействием толчка, данного Ливией, — при всех этих преимуществах, не говоря уж о любви и доверии, которые достались ему в наследство как сыну Германика, и огромном облегчении, которое принесла всем смерть Тиберия, какой прекрасный был у него шанс войти в историю под именем «Калигула Добрый», или «Калигула Мудрый», или «Калигула-Спаситель»! Но писать так — пустое дело. Ведь будь Калигула тем, за кого его принимали, он бы никогда не пережил своих братьев и не был бы избран Тиберием в преемники. Вспомни, Клавдий, с каким презрением относился к подобным недопустимым допущениям Афинодор; он обычно говорил: «Если бы троянский конь ожеребился, нам было бы сейчас куда легче прокормить лошадей».

Сперва Калигуле казалось забавным поддерживать то несообразное с действительностью представление о своем характере, какое было у всех, кроме меня, моей матери, Макрона и еще одного-двух человек; он даже совершил несколько соответствующих своей славе поступков. К тому же Калигула хотел упрочить свое положение. У него было два препятствия на пути к полной свободе действий. Одним был Макрон, опасный своей властью над гвардией. Другим — Гемелл. Когда огласили завещание Тиберия (засвидетельствованное для большей секретности несколькими вольноотпущенниками и безграмотным рыбаком), оказалось, что старик, просто из вредности, вместо того, чтобы назначить Калигулу наследником первой степени, а Гемелла — второй, на случай, если с Калигулой что-нибудь случится, сделал их сонаследниками, которые должны были попеременно управлять империей. Однако Гемелл еще не достиг совершеннолетия и поэтому не являлся даже членом сената, а Калигула уже был понтификом и младшим магистратом, получив это звание на несколько лет раньше установленного законом срока. Поэтому сенат охотно разделил точку зрения Калигулы, заявившего, что, когда Тиберий писал завещание, он вряд ли был в здравом уме, и без всяких возражений отдал власть в руки Калигулы. Если не говорить о Гемелле, которого Калигула лишил также его доли в императорской казне на том основании, что императорская казна может принадлежать лишь императору, Калигула выполнил все пункты завещания Тиберия и без промедления выплатил всем оставленные им деньги.

Гвардейцы должны были получить по пятьдесят золотых на человека; чтобы обеспечить себе их поддержку, когда придет время избавиться от Макрона, Калигула удвоил эту сумму. Он отдал жителям Рима отказанные им четыреста пятьдесят тысяч золотых, прибавить по три золотых на каждого; он сказал, что хотел сделать это, когда достиг совершеннолетия, но старый император ему запретил. Армии получили такую же сумму, как завещанная им ранее Августом, причем без проволочки. Более того, Калигула выплатил деньги по завещанию Ливии, давно списанные как безнадежный долг всеми, кому они были оставлены. Для меня самыми интересными в завещании оказались два пункта: по одному из них я получил исторические труды, обещанные мне в свое время Поллионом, но не отданные, и ряд

других ценных книг, а также двадцать тысяч золотых, другой касался старшей весталки, правнучки Випсании, — ей было отказано сто тысяч золотых, которые она вольна была тратить по своему усмотрению — на себя или на коллегию весталок. Старшая весталка, будучи также правнучкой Галла, расплавил все золотые и сделала из них большой ларец для его праха.

Получив солидные суммы по завещаниям Ливии и Тиберия, я стал вполне обеспеченным человеком. Калигула еще сильнее удивил меня, вернув мне пятьдесят тысяч золотых, которые я добыл для Германика во время мятежа, — он слышал об этом от своей матери. Он не пожелал принять моих отказов и сказал, что делает это в память об отце, и если я буду и дальше упрямым, он настаивает на том, чтобы мне были выплачены также и накопившиеся за эти годы проценты. Когда я рассказал Кальпурнии о том, как я разбогател, на лице у нее отразилась скорее печаль, чем радость.

— Это не принесет тебе счастья, — сказала она. — Куда лучше жить скромно, как это было до сих пор, чем рисковать, что доносители отберут все твоё состояние, обвинив тебя в государственной измене.

Кальпурния, как вы помните, была преемницей Акте и отличалась редкой для своих семнадцати лет рассудительностью.

Я:

— Что ты имеешь в виду, Кальпурния, какие доносители? Доносителей в Риме больше нет и судебных процессов по обвинению в государственной измене тоже.

Она:

— Я что-то не слышала, чтобы доносителей выпроводили вместе со спинтриями.

(Раскрашенные «сиротки» Тиберия были изгнаны из Рима. Чтобы доказать свою неискорченность, Калигула выслал всю эту компанию на Сардинию, остров с нездоровым климатом, и велел честно трудиться, чтобы заработать себе на хлеб. Когда им сунули в руки кирки и лопаты и велели строить дороги, часть из них просто легли на землю и умерли, но остальных, даже самых изнеженных и утонченных, хлыстом заставили работать. Вскоре им повезло: на остров неожиданно напали пираты, захватили их, отвезли в Тир и продали в рабство богатым восточным распутникам.)

— Они не осмелятся вновь взяться за свои старые штучки, Кальпурния.

Она отложила вышивание.

— Клавдий, я не политик и не ученый, но у меня, хоть я и проститутка, есть голова на плечах, и простые цифры я складывать умею. Сколько денег оставил старый император?

— Около двадцати семи миллионов золотых. Это огромная сумма.

— А сколько новый император выплатил по завещаниям и дарственным?

— Около трех с половиной миллионов. Да, не меньше.

— А сколько за то время, что он правит, было завезено пантер, медведей, львов и тигров, и диких быков, и другого зверья для травли в цирке и в амфитеатрах?

— Тысяч двадцать. Возможно, больше.

— А сколько других животных было принесено в жертву в храмах?

— Не знаю. Приблизительно между одной и двумя сотнями тысяч.

— Все эти фламинго и антилопы из пустынь, и зебры, и бобры из Британии, наверно, недешево ему обошлись. А тут еще надо покупать диких зверей и платить «охотникам», которые убивают их на арене, и гладиаторам — я слышала, что гладиаторы сейчас получают в четыре раза больше, чем при Августе, — и устраивать публичные пиры и театральные представления — говорят, когда он вернул в Рим актеров, сосланных старым императором, он рассчитался с ними за все те годы, что они не играли. Неплохо, да? А сколько он потратил на скаковых лошадей, знают одни

боги! Туда да сюда — немного, верно, у него осталось от тех двадцати семи миллионов.

— Боюсь, ты права, Кальпурния.

— Считай, миллионов семь за три месяца как не бывало! Надолго ли ему хватит денег при таких темпах, даже если все богачи завещают ему целиком свое достояние? Императорские доходы стали меньше, чем в те времена, когда делами управляла твоя бабка и просматривала все счета.

— Надо полагать, когда у него улягутся первые восторги из-за того, что он может неограниченно тратить деньги, он станет более бережливым. У Калигулы есть хороший предлог для всех этих трат; он говорит, что при Тиберии деньги лежали в казне мертвым грузом, и это оказало самое губительное воздействие на торговлю. Он хочет снова пустить несколько миллионов в оборот.

— Что ж, ты лучше знаешь его, чем я. Возможно, он и остановится вовремя. Но если он будет сорить деньгами с такой скоростью, через год-два у него не уцелеет и медной монетки. Как ему пополнить казну? Вот почему я говорю о доносителях и судебных процессах.

Я:

— Кальпурния, пока у меня еще есть чем заплатить, я куплю тебе жемчужное ожерелье. Ты не менее умна, чем красива. Надеюсь, что ты столь же осторожна.

— Предпочитаю наличные, — сказала она, — если тебе все равно.

И на следующий же день я дал ей пятьсот золотых. Кальпурния, проститутка и дочь проститутки, была более умной, верной мне, доброй и честной, чем любая из тех четырех патрицианок, на которых я был женат. Вскоре я начал советоваться с ней о всех своих делах и могу сказать, что ни разу не пожалел об этом.

Не успели закончиться похороны Тиберия, как Калигула сел на корабль и, несмотря на штормовую погоду, отплыл на острова, где были похоронены его мать и Нерон; он собрал их полусожженные останки, привез в Рим, сжег их до конца и благоговейно захоронил в гробнице Августа. Он учредил новый ежегодный праздник с гладиаторскими играми и гонками колесниц в память матери и ежегодные жертвоприношения ее духу и духам братьев. Он переименовал сентябрь в германик — по примеру того, как предшествующий месяц был назван в честь его прадеда. Он осыпал мою мать таким количеством почестей, перечислив их в едином декрете, какие не были оказаны Ливии за всю ее жизнь, и назначил ее верховной жрицей Августа. Затем Калигула объявил всеобщую амнистию, вернул всех отправленных в изгнание и выпустил из тюрем политических заключенных. Он даже собрал множество судебных материалов, относящихся к процессам его матери и братьев, и публично сжег их на рыночной площади, поклявшись, что он их не читал и тем, кто выступал доносителем или каким-либо иным путем усугубил печальную участь дорогих его сердцу людей, нечего бояться, так как все свидетельства тех ужасных дней уничтожены. На самом деле Калигула сжег копии, оригиналы он оставил себе. По примеру Августа он строжайшим образом пересмотрел состав обоих сословий и вывел из них тех, кого он счел недостойными там быть, а по примеру Тиберия — отказался от всех почетных титулов, кроме титула императора и народного трибуна, и запретил воздвигать себе статуи. Я спрашивал себя, долго ли продлится такое его настроение и долго ли он сможет выполнять обещание, данное сенату, когда тот облакал Калигулу императорской властью, делить ее с сенаторами и быть их верным слугой.

Через шесть месяцев после начала его правления, в сентябре, истек срок консульства тогдашних консулов, и Калигула на некоторое время взял себе консульские полномочия. Кто, по-вашему, был назначен им вторым консулом? Не кто иной, как я! И я, кто двадцать три года назад молил Тиберия о настоящем poste, а не мишурных почестях, сейчас охотно отказался бы от этого назначения. И не потому,

что я хотел вернуться к работе (я лишь недавно закончил и пересмотрел «Историю этрусков» и еще не начал ничего нового), просто я совершенно забыл все процессуальные правила, юридические формулы и прецеденты, которые с таким трудом зубрил много лет назад, и всегда чувствовал себя в сенате неловко. К тому же, редко бывая в Риме, я не знал, на какие пружины нужно нажимать, чтобы быстро добиться тех или иных результатов, не знал и того, в чьих руках находится реальная власть. Почти сразу же у меня начались неприятности с Калигулой. Он поручил мне заказать статуи Нерона и Друза, которые должны были быть воздвигнуты и освящены на рыночной площади; в греческой мастерской, с которой я об этом договорился, поклялись, что статуи будут готовы в начале декабря. За три дня до срока я поехал посмотреть на работу. Негодяи еще и не начинали ничего делать под предлогом, что они только сейчас получили мрамор подходящего цвета. Я вышел из себя (как со мной нередко бывает в подобных случаях, но я обычно быстро остываю) и сказал им, что, если они немедленно не возьмутся за дело и не будут работать день и ночь, я выкину их всех — хозяина, управляющего и работников — за пределы Рима. Возможно, это заставило их нервничать; хотя статую Нерона закончили накануне церемонии и он был похож как две капли воды, у статуи Друза неосторожный скульптор сломал руку в запястье. Существуют способы починить поломку такого рода, но шва не скрыть, и я не мог представить Калигуле испорченную работу, да еще при таком важном событии. Поэтому я тут же отправился к Калигуле и сказал ему, что статуя Друза вовремя готова не будет. Ну и разбушевался же он! Он угрожал, что опозорит меня, лишит звания консула, и не желал слушать никаких объяснений. К счастью, на следующий день Калигула решил сложить с себя консульские полномочия и попросил меня последовать его примеру в пользу людей, которые еще до нас были выдвинуты на этот пост; так что угроза его оказалась пустой, а через четыре года я вновь был избран консулом с ним в паре.

Мне полагались апартаменты во дворце, и из-за суровых речей Калигулы, ополчившегося (по примеру Августа) на безнравственность, в каких бы формах она ни проявлялась, я не мог взять туда Кальпурнию, хотя и не был женат. Ей, к моему большому неудовольствию, пришлось остаться в Капуе, где я лишь изредка ее навещал. Нравственность самого Калигулы, по-видимому, не подлежала критике. Ему уже стала надоедать жена Макрона Энния, с которой Макрон развелся по просьбе Калигулы, чтобы тот мог жениться на ней, и теперь каждый вечер он отправлялся на поиски любовных приключений с компанией веселых юнцов, которых Калигула прозвал «разведчиками». В нее обычно входили три молодых штабных офицера, два известных гладиатора, актер Аппеллес и Евтих, лучший возничий в Риме, выигрывавший на бегах почти все заезды. Калигула сделался горячим приверженцем «зеленых» и рассылал по всему свету гонцов в поисках самых быстроходных лошадей. Он находил любой повод для колесничных состязаний и, если не препятствовала погода, устраивал по двадцать заездов в день. Калигула получал кучу денег, подбивая богатых людей ставить против него на другие цвета, что они из вежливости и делали. Но эти деньги были, как говорится, каплей в море его трат. Переодевшись в чужое платье, Калигула вместе с удалыми «разведчиками» каждую ночь уходил из дворца и посещал самые грязные притоны, вступая в стычки с городской стражей и устраивая шумные эскапады, которые начальник стражи благоразумно старался замять.

Все три сестры Калигулы — Друзилла, Агриппинилла и Лесбия — были замужем за патрициями, но он настоял на том, чтобы они переехали во дворец. Агриппинилле и Лесбии он позволял взять с собой мужей, но Друзилла должна была жить одна; ее муж, Кассий Лонгин, был отправлен губернатором в Малую Азию. Калигула требовал, чтобы к его сестрам относились с величайшим уважением, и дал им все привилегии, полагающиеся весталкам. Он велел присоединить их имена к

своему в публичных молитвах о его здравии и безопасности и даже включить в клятву, которую произносили должностные лица и жрецы при посвящении в сан и назначении на должность: «...да будет Его жизнь и жизнь Его сестер для меня дороже моей собственной жизни и жизни моих детей». Калигула относился к ним так, словно они были его жены, а не сестры, и это очень всех удивляло.

Любимицей его была Друзилла. Хотя она избавилась от мужа, вид у нее всегда был несчастный, и чем несчастней она казалась, тем внимательней и заботливей становился Калигула. Он выдал ее для вида за своего родича Эмилия Лепида, вялого, разболтанного юношу, младшего брата той Эмилии, дочери Юлиллы, на которой я чуть было не женился в отрочестве. Этого Эмилия Лепида, известного под именем Ганимед из-за своей женственной внешности и раболепия перед Калигулой, очень ценили в компании «разведчиков». Он был на семь лет старше Калигулы, но Калигула обращался с ним как с тринадцатилетним мальчиком, и тому, по-видимому, это нравилось. Друзилла его терпеть не могла. Но Агриппинилла и Лесбия то и дело со смехом и шутками забегали к нему в спальню и всячески дурачились с ним. Их мужья, казалось, ничего не имели против. Для меня жизнь во дворце была очень беспорядочной. И не в том дело, что я лишился привычного комфорта и слуги были плохо обучены, и не в том, что здесь не соблюдались обычные формы вежливости по отношению к гостям. А в том, что я никогда не знал наверное, какие отношения существовали между тем-то и тем-то лицом: сначала Агриппинилла и Лесбия, по-видимому, обменялись мужьями, затем стало похоже, что Лесбия находится в интимной связи с Аппеллесом, а Агриппинилла — с возничим. Что касается Калигулы и Ганимеда... но я уже достаточно сказал, чтобы показать, что я понимаю под «беспорядочным» образом жизни. Я был среди них единственным пожилым человеком и совершенно не понимал молодого поколения. Гемелл тоже жил во дворце; это был запуганный болезненный мальчик, который обгрызал ногти до мяса: обычно он сидел где-нибудь в уголке и рисовал сатиров и нимф для ваз. Ничего больше я о нем сказать не могу. Раз или два я пытался с ним заговорить — мне было жаль его, ведь он, как и я, был здесь чужаком; но, возможно, он думал, будто я хочу вызвать его на откровенность и заставить так или иначе осудить Калигулу, потому что отвечал он мне односложно. В день, когда он достиг совершеннолетия, Калигула объявил его своим приемным сыном и назначил «главой юношества», но все это было далеко не то, что делить с Калигулой императорскую власть.

38 г. н. э.

Калигула заболел, и целый месяц жизнь его висела на волоске. Доктора называли его болезнь воспалением мозга. Смятение римлян было так велико, что возле дворца день и ночь стояла многотысячная толпа, дожидаясь сведений о его здоровье. Люди тихо переговаривались между собой; до моего окна долетал приглушенный шум, словно где-то вдали по гальке бежал ручей. Тревога горожан выражалась подчас самым удивительным образом. Некоторые жители Рима вешали на дверях домов объявление, что, если смерть пощадит императора, они клянутся отдать ей взамен свою собственную жизнь. С общего согласия уже в полумиле от дворца прекращались уличные крики, грохот повозок и музыка. Такого еще не бывало, даже во время болезни Августа, той, от которой, как полагали, излечил его Муза. Но бюллетени день за днем гласили: «Без перемен».

Однажды вечером ко мне постучалась Друзилла.

— Дядя Клавдий, — сказала она. — Император хочет тебя немедленно видеть. Не задерживайся. Иди скорей.

— Зачем я ему нужен?

— Не знаю. Но, ради всего святого, постарайся его ублажить. У него в руке меч. Он убьет тебя, если ты скажешь не то, что он хочет услышать. Сегодня утром он

наставил острие мне прямо в горло. Он сказал, что я его не люблю. Мне пришлось без конца клясться, что я люблю его. «Убей меня, если хочешь, мой ненаглядный», — сказала я. О, дядя Клавдий, зачем только я родилась на свет. Он сумасшедший. Всегда таким был. Он хуже, чем сумасшедший. Он одержимый.

Я отправился в спальню Калигулы, увешанную тяжелыми портьерами и устланную толстыми коврами. Возле постели еле горел ночник. Воздух был спертый. Калигула приветствовал меня ворчливым тоном:

— Тебя не дожدهшься. Я велел поторопиться.

Больным он не выглядел, только бледным. По обе стороны кровати стояли на страже с топорами в руках два здоровенных глухонемых.

Я сказал, приветствуя его:

— Я спешил изо всех сил. Если бы не хромота, я был бы у тебя еще до того, как ринулся с места. Какая радость видеть тебя бодрым и слышать твой голос, цезарь! Могу я взять на себя смелость надеяться, что тебе лучше?

— А я вовсе и не болел. Только отдыхал. Со мной произошла метаморфоза. Это самое великое религиозное событие в истории. Не удивительно, что Рим притих.

Я догадался, что при всем том он ждет от меня сочувствия.

— Надеюсь, что метаморфоза не была болезненной, император?

— Очень болезненной, словно я сам себя рожал. Роды были очень трудными. К счастью, я все уже забыл. Почти все. Я родился развитым не по летам и ясно помню восхищение на лицах повивальных бабок в то время, как они купали меня после моего появления, и вкус вина, которое они влили мне в рот, чтобы придать сил.

— Поразительная память, император. Но могу я смиренно спросить, какой именно характер носит та славная перемена, что с тобой произошла?

— Разве это не видно и так? — сердито спросил Калигула.

Произнесенное Друзиллой слово «одержимый» и моя последняя беседа с Ливией, когда она лежала на смертном одре, подсказали мне, как надо себя вести. Я пал ниц, как перед божеством.

Минуты через две я спросил, не поднимаясь с полу, удостоен ли был кто-нибудь поклоняться ему раньше меня. Калигула сказал, что я первый, и я рассыпался в благодарностях. Калигула задумчиво покалывал мне затылок кончиком меча. Я решил, что моя песенка спета:

Калигула:

— Не скрою, я все еще нахожусь в человеческом облике, поэтому неудивительно, что ты не сразу заметил мою божественную суть.

— Не понимаю, как я мог быть так слеп. Твое лицо сияет в полумраке, как светильник.

— Да? — спросил он с интересом. — Встань с пола и подай мне зеркало.

Я протянул ему полированное металлическое зеркало, и он согласился, что лицо его светится ярким светом. Придя в хорошее настроение, Калигула принялся откровенничать.

— Я всегда знал, что это случится, — сказал он. Я всегда чувствовал, что я не простой смертный. Подумай только: когда мне было два года, я подавил мятеж в армии отца и спас Рим. Это так же удивительно, как истории, которые рассказывают о детстве Меркурия или Геркулеса, который в колыбели душил змей.

— А Меркурий всего лишь украл несколько быков, — сказал я, — да бренчал на лире. Тут и сравнивать нечего.

— Больше того, в восемь лет я убил отца. Даже Юпитер не смог этого сделать. Он только изгнал старикашку.

Я принял его слова за тот же бред наяву, но спросил деловым тоном:

— Убил отца? Почему?

— Он мне мешал. Хотел, чтобы я ему повиновался. Я, юный бог!

Представляешь?! Вот я и запугал его до смерти. Я потихоньку натаскал всякой падали в наш дом в Антиохии и засунул под пол. И рисовал заклинания на стенах. И спрятал у себя в комнате петуха, чтобы отправить отца на тот свет. И я украл у него Гекату. Погляди, вот она! Я всегда держу ее под подушкой.

Калигула поднял вверх зеленый яшмовый талисман.

У меня сердце облилось кровью, когда я узнал его. С ужасом в голосе я сказал:

— Так, значит, это был ты? И в запертую комнату через оконце залез тоже ты и сделал все те надписи?

Калигула гордо кивнул и продолжал болтать:

— Я убил не только родного отца, но и приемного — Тиберию. И если Юпитер сожительствовал только с одной своей сестрой, Юноной, то я спал со всеми своими сестрами. Мартина сказала, что мне следует так поступить, если я хочу быть таким, как Юпитер.

— Значит, ты хорошо знал Мартину?

— Еще бы. Когда родители были в Египте, я навещал ее каждый вечер. Она была очень умная женщина. Я тебе еще одно скажу. Друзилла тоже богиня. Я возведу об этом тогда же, когда и о себе. Как я люблю Друзиллу! Почти так же, как она любит меня.

— Могу я спросить, каковы твои священные намерения? Твоя метаморфоза, без сомнения, глубоко потрясет Рим.

— Разумеется. Прежде всего я нагоню на всех священный трепет. Я больше не позволю, чтобы мной командовали суматошные старики. Я им покажу... Ты ведь помнишь свою бабушку Ливию? Ну и смех. Она почему-то вообразила, будто предвечный бог, пришествие которого предсказывают на Востоке уже тысячу лет, не кто иной, как она. Я думаю, ее сбил с толку Фрасилл, вот она и поверила, что речь идет о ней. Фрасилл никогда не лгал, но любил вводить в заблуждение. Понимаешь, Ливия знала предсказание лишь в общих чертах. Божество это должно быть мужчиной, а не женщиной, и место его рождения не Рим, хотя оно и будет править Римом (я родился в Антии), и, хотя появится оно в мирные времена (как я), ему суждено стать причиной бесчисленных войн после смерти. Умрет этот бог молодым, народ сперва будет любить его, потом — ненавидеть: конец его будет печальным, все от него отвернутся. «Слуги будут пить его кровь». А после смерти он станет править всеми богами мира, даже в неведомых нам сейчас странах. Кто же это, если не я? Мартина говорила, будто на Ближнем Востоке за последнее время было много чудес, которые не оставляют сомнений в том, что бог этот наконец родился. Особенно волнуются евреи. Они почему-то считают, что это касается их больше всех. Я думаю, причина в том, что я однажды посетил вместе с отцом Иерусалим и впервые проявил там свою божественную суть.

Калигула приостановился.

— Мне бы очень хотелось об этом узнать, — сказал я.

— О, ничего особенного. Просто шутки ради я зашел в один дом, где их священнослужители и богословы обсуждали теологические вопросы, и неожиданно закричал: «Вы — куча старых обманщиков! Вы ничего в этом всем не смыслите». Это их как громом поразило, и один седобородный старик сказал: «О Дитя, кто ты? Тот, кого нам предвещали?» «Да», — смело ответил я. Он сказал, рыдая от восторга: «Тогда учи нас!» Я ответил: «Вот еще! Это ниже моего достоинства», — и выбежал из дома. Видел бы ты их лица! Нет, Ливия была по-своему умная и ловкая женщина — Улисс в юбке, как я однажды назвал ее прямо в лицо, — и когда-нибудь я, возможно, и обожествлю ее, но это не к спеху. Важной богини из нее не получится. Возможно, я сделаю ее покровительницей счетоводов и бухгалтеров — у нее были большие способности по этой части. А заодно подкину ей отравителей, вот же Меркурий — покровитель не только купцов и путешественников, но и воров.

— Это вполне справедливо, — сказал я. — Но больше всего меня сейчас волнует другое: кому мне поклоняться? Какое имя ты примешь? Можно ли, например, называть тебя Юпитер? Или ты еще более велик, чем он?

Калигула:

— О, конечно, более велик, но пока мое имя останется в тайне. Хотя, пожалуй, я думаю, на какое-то время я стану зваться Юпитером — Латинским Юпитером, чтобы меня не путали с этим греческим старикашкой Зевсом. С ним мне придется выяснить отношения в самое ближайшее время. Слишком долго он гнул свою линию!

Я спросил:

— Как получилось, что твой отец не был божеством? Я еще не слышал о боге, не имеющим божественного отца.

— Очень просто. Моим отцом был Август. Божественный Август.

— Но ведь он тебя не усыновлял, не так ли? Он усыновил твоих старших братьев, а ты должен был продолжать род своего отца.

— Я не говорю, что он был моим приемным отцом. Я имею в виду, что я его родной сын, родившийся от его кровосмесительной связи с Юлией. Это единственно возможное решение вопроса. Иначе и быть не могло. Не Агриппина же моя мать. Думать так просто нелепо. Ее отец был никто.

Я не был настолько глуп, чтобы указывать на то, что, раз Германик ему не отец, его сестры, следовательно, ему не сестры, а племянницы. Я потакал ему, как советовала Друзилла.

— Это самый великий день моей жизни, — сказал я. — Разреши мне удалиться и принести тебе жертвоприношение. Я совсем обессилел. Твое божественное дыхание слишком прямо для моих ноздрей. Я чуть не теряю сознание.

В комнате было ужасно душно. С первого дня, что он слег в постель, Калигула не разрешал открывать окна.

Калигула:

— Иди с миром. Я хотел тебя убить, но теперь раздумал. Передай «разведчикам», что я — бог и что у меня светится лицо, но больше ничего не говори. Насчет всего остального, что ты от меня узнал, я налагаю на твои уста печать священного молчания.

Я снова распростерся ниц и, пятась, ползком удалился. В коридоре меня остановил Ганимед и спросил, какие новости. Я сказал:

— Он только что сделался богом, и очень важным, по его словам. У него светится лицо.

— Плохие новости для нас, простых смертных, — воскликнул Ганимед. — Но все к тому шло. Спасибо, приму это к сведению и передам другим. А Друзилла знает? Нет? Тогда я ей тоже скажу.

— И сообщи ей, что она стала богиней, — попросил я, — на случай, если она сама этого не заметила.

Я вернулся к себе в комнату и подумал: «Все, что ни случается, — к лучшему. Люди скоро поймут, что Калигула безумен, и его упрячут под замок. У нас не осталось ни одного совершеннолетнего потомка Августа, который мог бы стать императором, кроме Гемелла, а Гемелл не завоевал популярности и не обладает сильным характером. Возродится республика. Тесть Калигулы — самый подходящий человек, чтобы ее провозгласить. Никто не пользуется таким большим влиянием в сенате. Я буду его поддерживать. Если бы только мы могли избавиться от Макрона и поставить на его место приличного командира, все было бы просто. Гвардейцы — самое большое препятствие на нашем пути. Они знают, что республиканский сенат не потерпел бы, чтобы они получали в дар по сто пятьдесят золотых на душу. Да, когда Сеяну пришлось в голову образовать из гвардейцев нечто вроде личной армии дяди Тиберия, это привело империю к восточному абсолютизму. Нам следует уничтожить

лагерь и расквартировать гвардейцев, как прежде, по частным домам».

Но — поверите ли? — божественность Калигулы ни у кого не вызвала сомнений. Какое-то время он довольствовался тем, что известие об этом распространялось лишь в частном кругу, и официально все еще считался смертным. Если бы каждый простирался при виде его ниц, это испортило бы его развлечения с «разведчиками» и лишило бы множества удовольствий. Но в течение десяти дней после выздоровления, встреченного всеобщей радостью, Калигула воздал себе все людские почести, какие были оказаны Августу за всю его жизнь, и еще парочку в придачу. Он был Цезарь Добрый, Цезарь — Отец Армий, Милостивый и Могущественный Цезарь и даже Отец отчизны — титул, от которого Тиберий твердо отказывался до конца своих дней.

Первой жертвой террора оказался Гемелл. Калигула послал за одним из полковников гвардии и сказал ему:

— Немедленно убей этого предателя, моего сына. Полковник пошел в комнату Гемелла и отрубил мечом ему голову.

Следующей жертвой стал тесть Калигулы. Он был из рода Силанов; Калигула женился на его дочери Юнии, но она умерла родами за год до того, как он стал императором. Силан отличался от своих собратьев-сенаторов тем, что был единственным среди них, кого Тиберий никогда не подозревал в измене, и заявлял, что его судебные решения обжалованию не подлежат. Теперь Калигула отправил ему письмо: «К завтрашнему утру ты должен умереть». Несчастный человек попрощался с семьей и перерезал себе горло. Калигула объяснил в письме к сенату, что Гемелл умер смертью предателя: во время его, Калигулы, недавней опасной болезни мальчишка ни разу не молился о его здоровье и старался снискать расположение его телохранителей. К тому же всякий раз, как его приглашали во дворец к обеду, он принимал противоядие, боясь, что его отравят, он весь пропах этими снадобьями. «Но разве есть противоядие против цезаря?» Его тесть, писал далее Калигула, также изменник: он отказался выйти с ним вместе в море в тот день, когда он отплыл на Пандатерию и Понцу, чтобы забрать останки матери и брата; он остался на берегу в надежде узурпировать власть, если буря потопит корабль. И сенат принял эти объяснения. На самом же деле Силан так плохо переносил качку, что чуть не умирал от морской болезни всякий раз, как садился на корабль, даже в тихую погоду, и Калигула сам милостиво отверг предложение Силана сопровождать его во время той поездки. А Гемелл страдал от упорного кашля, и от него пахло лекарством, которое он принимал, чтобы смягчить горло и не мешать застольной беседе.

Глава XXX

Когда мать узнала об убийстве Гемелла, она очень опечалилась и, приехав во дворец, потребовала свидания с Калигулой; он принял ее с угрюмым видом, так как чувствовал, что она будет его бранить. Мать сказала:

— Внук, могу я говорить с тобой наедине? Речь пойдет о смерти Гемелла.

— Только не наедине, — ответил он. — Все, что ты хочешь сказать, можешь говорить при Макроне. Если это действительно так важно, я должен иметь свидетеля.

— Тогда я лучше помолчу. Это наши семейные дела, они не для ушей сына рабов. Отец этого молодчика был одним из моих виноградарей. Я продала его своему деверю за сорок пять золотых.

— Будь добра, сообщи мне без проволочек, о чем ты собиралась со мной говорить, и не оскорбляй моих приближенных. Не знаешь разве, что я могу всех на свете заставить делать по-моему?

— Ты не обрадуешься, когда это услышишь.

— Выкладывай.

— Как хочешь. Я пришла сказать, что убийство бедняжки Гемелла — бессмысленное и беспричинное преступление, и я отказываюсь от всех почестей, полученных из твоих, обгаренных невинной кровью, рук.

Калигула рассмеялся и сказал Макрону:

— Я думаю, лучшее, что может сделать эта старая дама, это пойти домой, попросить нож у одного из своих виноградарей и перерезать себе голосовые связки.

Макрон:

— Я всегда советовал то же самое своей бабке, но старая ведьма не желала меня слушать.

Мать пришла ко мне.

— Я собираюсь уйти из жизни, Клавдий, — сказала она. — Все мои дела в порядке. Остались неуплаченными несколько мелких долгов, отдай их точно в срок. Не обижай челядь — они верно служили мне, все до одного. Мне жаль, что теперь некому будет присматривать за твоей дочкой; было бы неплохо, если бы ты снова женился и у нее была бы мать. Она хорошая девочка.

Я:

— Что? Ты хочешь убить себя? О, мать, не делай этого!

Она мрачно улыбнулась.

— Моя жизнь принадлежит мне, не так ли? С чего бы тебе отговаривать меня от того, что я задумала? Вряд ли ты будешь по мне скучать.

— Ты — моя мать, — сказал я. — У человека бывает всего одна мать.

— Я удивлена тем, что ты такой преданный сын. Я не была тебе очень любящей матерью. Кто мог этого от меня ожидать? Ты обманул все мои надежды — болезненный, слабый, робкий, придурковатый ребенок. Что ж, боги жестоко наказали меня за то, что я не уделяла тебе внимания. Мой сын, мой прекрасный Германик убит, бедные мои внуки Нерон, Друз и Гемелл — убиты, дочь мою Ливиллу я своими собственными руками наказала за ее чудовищные прегрешения — это было для меня тяжкой мукой, еще ни одна мать не испытывала таких мук, — все мои четыре внуки сбились с пути, а этот мерзкий богохульник Калигула... Но ты его переживешь. Ты, верно, и всемирный потоп переживешь.

В голосе ее, сперва спокойном, зазвучали привычные сварливые нотки.

Я спросил:

— Мать, неужели даже сейчас у тебя не найдется для меня доброго слова? Разве я когда-нибудь сознательно обидел или ослушался тебя?

Но она пропустила мои слова мимо ушей.

— Я жестоко наказана, — повторила она. Затем сказала: — Я желаю, чтобы ты пришел ко мне через пять часов. К тому времени все будет готово. Я рассчитываю, что ты исполнишь положенный обряд. Я не хочу, чтобы ты присутствовал при моем последнем издыхании. Если я еще буду жива, когда ты придешь, подожди в передней, пока Брисеида тебя не позовет. Не сбейся, когда будешь произносить прощальное слово, с тебя станется. Все указания насчет похорон будут написаны. Ты будешь на них самым близким из моих родственников. Я не хочу никаких похвальных речей. Не забудь отрубить мне правую руку и сжечь ее отдельно, как положено при самоубийстве. И никаких благовоний в погребальном костре; так часто делают, хотя и вопреки закону, и я всегда считала это расточительством. Я отпускаю Палланта на волю, так что не забудь: в похоронной процессии он должен быть в шапке вольноотпущенника. Постарайся хоть раз в жизни довести церемонию до конца, ничего не перепутав.

И это все, если не считать сухого «прощай». Ни поцелуя, ни слез, ни благословения.

Я в точности выполнил все пожелания матери, как и положено послушному сыну.

Но не странно ли — дать свободу моему рабу Палланту! Так же она поступила и по отношению к моей Брисеиде.

Несколько дней спустя, глядя на ее погребальный костер из окна столовой, Калигула сказал Макрону:

— Ты поддержал меня против этой старухи. Я награжу тебя, ты получишь самое почетное назначение в империи. Назначение, которым, согласно установленному Августом закону, удостоиваются лишь люди кристальной честности: я назначу тебя губернатором Египта.

Макрон был в восторге; в последнее время его беспокоило то, как относится к нему Калигула, а если он уедет в Египет, он будет в безопасности. Как и сказал Калигула, назначение это было важным: губернатор Египта мог уморить Рим голодом, перестав снабжать его зерном, а гарнизон можно было так усилить за счет местных новобранцев, что ему было бы нетрудно отразить вторжение любой посланной в Египет армии.

Так Макрона освободили от командования гвардией. Вначале Калигула не определил никого на его место, и командиры девяти батальонов командовали ею — каждый один месяц — по очереди. Калигула объявил, что по истечении девяти месяцев самый способный и преданный ему командир получит пост командующего навсегда. Но по секрету он обещал этот пост командиру батальона, из солдат которого состояла дворцовая стража, — не кому иному, как доблестному Кассию Херея, чье имя вы не могли забыть, даже если не очень внимательно читали эту книгу, — человеку, который убил германского заложника в амфитеатре, кто вывел свою роту, когда германцы вырезали почти всю армию Вара, кто затем спас мост через Рейн, кто мечом проложил себе путь среди мятежников в Бонне и кто нес на своих плечах Калигулу одним ранним утром, когда Агриппина с друзьями должна была пешком покинуть лагерь под его защитой. Кассий поседел, хотя ему не было еще и шестидесяти, и немного горбится, руки его дрожали после лихорадки, от которой он чуть не умер в Германии, но он по-прежнему превосходно владел мечом и считался самым храбрым человеком в Риме. Как-то раз один старый гвардеец помешался в уме и принялся в неистовстве бегать с копьем наперевес по дворцовому двору. Ему казалось, что он сражается с мятежниками-французами. Все бросились врассыпную, кроме Кассия, который, хоть и был невооружен, не тронулся с места, а когда сумасшедший кинулся на него, спокойно скомандовал, словно на плацу: «Рота, стой! Сложить оружие!» — и безумный солдат, для которого подчинение приказам стало второй натурой, остановился как вкопанный и положил копье на землю. «Рота, кругом! — снова скомандовал Кассий. — Шагом марш!» Так Кассию удалось его обезвредить. Этот самый Кассий и стал первым временным командующим гвардейцев и держал их в узде в то время, когда судили Макрона.

Дело в том, что назначение Макрона губернатором Египта было всего лишь уловкой со стороны Калигулы, такой же уловкой, как та, к которой прибег Тиберий, желая устранить Сеяна. Макрона арестовали, когда он садился в Остии на корабль, и привезли обратно в цепях. Его обвинили в том, что он виновен в смерти Аррунция и еще нескольких ни в чем не замешанных римских граждан. К этому обвинению Калигула добавил еще одно, а именно: что Макрон сыграл роль сводника, стараясь вызвать в нем страсть к своей жене Эннии, — соблазн, против которого ему, при его юношеской неопытности, было трудно устоять. Макрона и Эннию принудили к самоубийству. Я поразился тому, как легко Калигула избавился от Макрона.

Однажды Калигула в качестве великого понтифика сочетал браком мужчину из рода Пизона и женщину по имени Орестилла. Та приглянулась Калигуле, и, когда церемония была закончена и гости — большинство римских патрициев — собрались за пиршественным столом и, как это водится в подобных случаях, шумно веселились, Калигула вдруг крикнул новобрачному: «Эй, ты там, хватит целовать эту женщину.

Она — моя жена». Затем поднялся и в наступившей тишине велел гвардейцам схватить Орестиллу и препроводить ее во дворец. Никто из пораженных гостей не осмелился протестовать. На следующий день Калигула женился на Орестилле; муж ее был вынужден присутствовать на бракосочетании и быть посаженным отцом. Калигула прислал сенату письмо, где сообщил, что отпраздновал свадьбу в духе Ромула и Августа — имея в виду, наверное, похищение Ромулом сабинянок и женитьбу Августа на бабке Ливии (в присутствии моего деда). Через два месяца он развелся с Орестиллой и отправил ее и ее мужа в изгнание под тем предлогом, что они прелюбодействовали у него за спиной. Орестиллу сослали в Испанию, Пизона — на Родос. Пизону разрешили взять с собой всего десять рабов, а когда он попросил в виде милости позволить ему удвоить это число, Калигула сказал: «Бери сколько хочешь, но на каждого лишнего раба будет лишний стражник».

Друзилла умерла. Я уверен, что ее убил Калигула, но улики у меня нет. Мне передавали, что, когда он теперь целовал женщин, он приговаривал: «Ах, какая белая и нежная шейка! А стоит мне приказать — раз! — и ее разрубят пополам». Если шейка была особенно белой и нежной, он иногда не мог избежать искушения отдать этот приказ и посмотреть, как сбудется его похвальба. Но я думаю, что в случае с Друзиллой он сам нанес удар. Как бы там ни было, никому не было позволено увидеть ее тело. Калигула заявил, что Друзилла умерла от чахотки, и устроил ей необычайно пышные похороны. Ее обожествили под именем Пантея, построили множество храмов, высокородные римляне и римлянки были назначены ее жрецами и жрицами; ежегодный праздник в ее честь был более роскошным, чем любой другой праздник в календаре. Человек, якобы видевший, как дух Друзиллы был принят на небе Августом, получил десять тысяч золотых. В дни публичного траура по ней, объявленного Калигулой, считалось тяжким преступлением, караемым смертью, смеяться, петь, бриться, ходить в бани и даже обедать в кругу семьи. Суды были закрыты, не совершались бракосочетания, не было воинских учений. Калигула приговорил к смертной казни человека, продававшего на улицах горячую воду, и еще одного за то, что он выставил на продажу бритвы. Охватившее всех уныние было так велико, что Калигула сам не мог его выдержать (а может быть, его мучили угрызения совести?) и однажды ночью покинул город и отправился в Сиракузы в сопровождении одного лишь почетного караула. Дел у него там никаких не было, он просто хотел отвлечься. Доехал он всего лишь до Мессины, где как раз началось небольшое извержение Этны. Зрелище это так напугало Калигулу, что он тут же повернул обратно. Когда Калигула возвратился в Рим, там все пошло по-старому, снова начались игры гладиаторов, гонки колесниц и травля диких зверей. Калигула вдруг вспомнил, что люди, обещавшие во время его болезни отдать за него жизнь, все еще живы, и заставил их покончить с собой, не только потому, что клятвопреступление — грех, но главное, чтобы Смерть не сочла их сделку недействительной.

Как-то раз за ужином, довольно много выпив, я заявил, что вывел правило насчет того, как переходит по наследству женская красота; я утверждал, будто передается она через поколение, от бабушки к внучке, и приводил тому примеры. К сожалению, закончил я, сказав: «Самая прекрасная женщина, какую я видел в отрочестве, возродилась сейчас в лице своей внучки и тезки — Лоллии, жены губернатора Греции. Они похожи как две капли воды. За исключением одной-единственной дамы, имени которой я не назову, так как она здесь присутствует, Лоллия, по моему мнению, самая прекрасная из всех ныне живущих женщин». Исключение это я сделал лишь из тактичности, так как Лоллия была во много раз красивее моих племянниц Лесбии и Агриппиниллы, да и любой другой бывшей там дамы. Я не был в нее влюблен, просто я заметил однажды, что ее красота — совершенна, и вспомнил, что точно такое же впечатление давным-давно произвела на меня ее бабка. Калигула заинтересовался моими словами и стал расспрашивать

меня о Лоллии. Не сознавая, что я и так сказал больше, чем следовало, я наговорил еще. В тот же вечер Калигула написал мужу Лоллии, приказывая ему вернуться в Рим, где его ожидают исключительные почести. Ожидал же его развод с Лоллией, которую он своими руками должен был отдать в жены императору.

Еще одно случайное замечание, сделанное мною как-то за ужином, произвело на Калигулу неожиданный эффект. Кто-то упомянул об эпилепсии, и я сказал, что, согласно коринфским летописям, Ганнибал был эпилептик и что Александр и Юлий Цезарь оба были подвержены этой таинственной болезни, которая, по-видимому, неизбежно сопутствует полководческому гению. Калигула насторожил уши. Спустя несколько дней он очень правдоподобно изобразил в сенате эпилептический припадок — упал на пол и кричал во все горло, так что на губах его пузырилась пена (мыльные пузыри, скорее всего).

Римляне все еще были довольны жизнью. Калигула по-прежнему устраивал для них театральные представления, гладиаторские бои, гонки и травлю диких зверей и разбрасывал деньги с ораторского амвона и верхних окон дворца. Горожанам было безразлично, какие браки он заключал или расторгал, каких приближенных предавал казни. Калигула не мог вынести, если в театре или в цирке было хоть одно свободное место, а в проходах не толпился народ, поэтому в дни представлений он приостанавливал судебные заседания и временно отменял траур, чтобы никто не мог отговориться и не прийти. Калигула также ввел несколько новшеств: разрешал приносить с собой на представление подушки, а в жаркую погоду надевать соломенные шляпы и сидеть босиком — даже сенаторам, которым было положено подавать другим пример благочиния.

Когда мне наконец удалось на несколько дней приехать в Капую, чуть не впервые за год, Кальпурния почти сразу спросила:

— Ну и сколько, Клавдий, осталось в казне от тех двадцати семи миллионов?

— Меньше пяти миллионов, я думаю. Но Калигула строит прогулочные корабли из кедра, покрывает их золотом, усыпает драгоценными камнями, делает в них ванны и цветники; он начал возводить шестьдесят новых храмов и поговаривает о том, чтобы прорыть канал через Коринфский перешеек. Он принимает ванны из нарда и фиалкового масла. Два дня назад он подарил Евтиху, возникшему зеленым, двадцать тысяч золотых за то, что тот выиграл гонки против сильных соперников.

— А зеленые всегда выигрывают?

— Всегда. Или почти всегда. Недавно первым пришел красный, и зрители шумно приветствовали его. Им надоело, что выигрывают одни зеленые. Император был в бешенстве. На следующий день и возникший, и его упряжка оказались мертвы. Отравлены. Такие вещи случались и раньше.

— Скоро твои дела будут совсем плохи, мой бедный Клавдий. Кстати, не хочешь ли ты проверить счета? Год был неудачный, как я писала тебе. Скот передох, рабы воруют без зазрения совести, скирды хлеба горят. Ты стал бедней на две тысячи золотых. И управляющий тут не виноват. Он делает, что может, и он, во всяком случае, честен. Все это потому, что здесь нет тебя, чтобы самому присматривать за хозяйством.

— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Говоря по правде, я сейчас больше беспокоюсь за свою жизнь, чем за деньги.

— С тобой плохо обходится?

— Да. Все время куражатся надо мной. Мне это очень неприятно. И главный мой мучитель — император.

— Что они тебе делают?

— О, придумывают всякие штуки. Устраивают ловушки, подвешивают над дверью ведра с водой, кладут в постель лягушек или мерзких, воняющих миррисом мальчишек-педерастов; ты ведь знаешь, что я не терплю ни лягушек, ни педерастов.

Если я ложусь вздремнуть после обеда, они кидаются в меня косточками от фиников, или надевают на руки туфли и завязывают шнурки, или звонят у меня над ухом, словно случился пожар. И я совсем не могу работать. Стоит мне начать, они опрокидывают на листы чернильницу. И что бы я ни сказал, поднимают меня на смех.

— Ты — единственный, кто служит мишенью их насмешек?

— Я — их излюбленная мишень. Официальная.

— Клавдий, ты сам не представляешь, как тебе повезло. Следи внимательно, чтобы тебя не спихнули с этого места. Не давай никому его захватить.

— Что ты хочешь этим сказать, девочка?

— То, что люди не убивают тех, над кем смеются. Они бывают жестоки по отношению к своим жертвам, они пугают и грабят их, но не убивают.

Я сказал:

— Кальпурния, ты на редкость умна. Послушай меня. У меня все еще есть кое-какие деньги. Я куплю тебе красивое шелковое платье и золотую коробочку для притираний, и мартышку, и кулек коричневых конфет.

Она улыбнулась:

— Я предпочитаю получить этот подарок наличными. Сколько ты собирался потратить?

— Около семисот золотых.

— Прекрасно. Они нам скоро будут очень кстати. Спасибо, добрый мой Клавдий.

Когда я вернулся в Рим, я услышал, что в городе были беспорядки. Однажды ночью Калигулу разбудил отдаленный шум — это собравшиеся у амфитеатра горожане, распахивая и толкая друг друга, старались пробиться поближе к воротам, чтобы, когда их откроют, занять первые ряды даровых мест. Калигула послал роту гвардейцев с дубинками навести порядок. Гвардейцы, злые из-за того, что их подняли с постелей, колотили дубинками направо и налево и убили немало людей, в том числе несколько весьма состоятельных горожан. Чтобы высказать свое недовольство тем, что сон его был дважды нарушен — причем во второй раз, когда люди с криком разбегались от гвардейцев, шум был гораздо громче, — Калигула появился в амфитеатре лишь под вечер, когда все утомились от ожидания и проголодались. Когда зеленый выиграл первый заезд, никто не аплодировал, мало того — раздалось шиканье. Калигула в ярости вскочил с места: «О, будь у вас на всех одна шея, я бы перерубил ее!»

На следующий день предстояли гладиаторские бои и травля диких зверей. Калигула отменил прежние договоренности и заслал в амфитеатр самых жалких животных, каких сумел скупить на оптовом рынке, — шелудивых львов и пантер, больных медведей и старых, изнуренных диких быков, из тех, что посылают в гарнизонные города в отдаленных провинциях, где зрители не особенно разборчивы, а выходящие на арену любители предпочитают зверей похуже. Люди, которыми Калигула заменил объявленных на афишах, были под стать животным: тучные, неповоротливые, страдающие одышкой ветераны. Некоторые из них, возможно, были хороши в свое время — в давно прошедший золотой век Августа. Публика принялась свистеть и осыпать их насмешками. Этого-то Калигула и ждал. Он велел арестовать тех, кто больше всех шумел, и вывести их на арену — может, у них получится лучше? Шелудивые львы и пантеры, больные медведи и изнуренные быки быстро с ними расправились.

Популярность Калигулы пошла на убыль. Говорят, что толпа любит праздники. Спору нет. Но когда год превращается в один долгий праздник и у людей не остается времени заниматься делами, а удовольствие становится принудительным, то это другой разговор. Гонки колесниц всем приелись. Хорошо Калигуле, ведь он был лично заинтересован в упряжках и возничих и даже иногда сам правил. Он неплохо управлялся с вожжами и хлыстом, а остальные возничие следили за тем, чтобы не

обогнать его. Театральные представления тоже сильно надоели. Все пьесы похожи одна на другую, во всяком случае, на мой взгляд, различают их лишь знатоки. Калигула считал себя знатоком и к тому же питал пристрастие к Апеллесу, трагическому актеру, филистимлянину, который написал многие из пьес, где обычно сам играл. Одну из них, особенно восхищавшую Калигулу — так как он внес кое-какие предложения насчет роли Апеллеса, а тот их учел, — показывали много раз подряд, пока она не набила всем оскомину. Еще больше Калигула благоволил к Мнестеру, исполнявшему главные партии в мифологических балетах, бывших тогда в моде. Он обычно целовал Мнестера на глазах у всей публики всякий раз, когда тот делал особенно удачное па. Как-то раз один из всадников раскашлялся на представлении и был вынужден выйти, так как не мог унять кашель. Шум, который он поднял, протискиваясь мимо чужих колен, извиняясь, кашляя и пробираясь через битком набитые проходы к выходу из амфитеатра, помешал Мнестеру, и тот остановился посреди одного из самых изысканных своих танцев под нежные звуки флейты и стал ждать, пока все успокоится. Калигула пришел в бешенство; он велел привести к нему всадника и побил его собственной рукой. Затем отправил его в Танжер с запечатанным посланием царю Марокко. Царь (мой родственник — его мать была моей теткой Селеной, дочерью Антония от Клеопатры) был крайне изумлен содержанием письма. Там было написано: «Не откажи в любезности отослать подателя сего обратно в Рим». Все сословие всадников сильно возмутилось этим случаем: Мнестер был всего лишь вольноотпущенник, а вел себя как одержавший победу полководец. Калигула стал брать частные уроки красноречия и танцев у Апеллеса и Мнестера и спустя некоторое время начал появляться на сцене в их ролях. Произнеся монолог в какой-нибудь трагедии, он иногда оборачивался и кричал Апеллесу, стоявшему за кулисами: «Превосходно, не правда ли? Ты бы сам не сыграл лучше». А после того как, танцуя в балете, делал какой-нибудь удачный пируэт, он останавливал музыку, поднимал руку, чтобы призвать всех к тишине, и повторял его без аккомпанемента.

Подобно Тиберию, у которого был любимый дракон, Калигула завел себе любимца коня. Раньше его звали Порцелл (что значит «Поросенок»), но Калигула решил, что это имя недостаточно красиво, и переименовал коня в Инцитата — «Быстроногого». Инцитат всегда приходил на бегах первым, и Калигула так его обожал, что сделал сперва гражданином Рима, затем сенатором и наконец занес в списки кандидатов на пост консула. Инцитат получил собственный дом и слуг, у него была мраморная спальня, где лежал большой соломенный тюфяк, менявшийся каждый день, стояла кормушка из слоновой кости и золотое ведро для питья, а на стенах висели картины известных художников. Всякий раз, что Инцитат выигрывал гонки, его приглашали вместе с нами к обеду, но он предпочитал чашу ячменного пива рыбе и мясу, которыми всегда потчевал его Калигула. Мы должны были раз двадцать пить за его здоровье.

Деньги уходили все быстрее и быстрее, и наконец Калигула решил навести экономию. Как-то раз он сказал: «Какой смысл сажать в тюрьму за подлог, кражу и нарушение общественного порядка? Преступникам там не сладко, но и мне приходится тратиться на их кормежку и стражу. А если я их выпущу, они снова примутся за свое. Я сегодня объеду тюрьмы и разберусь в этом деле». Так он и поступил. Калигула отобрал самых закоренелых, как он считал, преступников и велел их казнить. Тела их разрубили на части и скормили диким зверям, ждавшим своей очереди быть убитыми в амфитеатре, — двойной расчет. Теперь Калигула каждый месяц обходил тюрьмы. Преступность слегка снизилась. Однажды казначей Калигулы Каллист сообщил ему, что в государственной казне остался всего один миллион золотых, а в императорской — полмиллиона. Калигула понял, что мало сократить расходы, надо увеличить доходы. Начал он с торговли жреческими

должностями и магистратурами, а также монополиями, и это сильно пополнило казну, но все же недостаточно, и тогда, как и предвидела Кальпурния, он прибег к помощи доносителей, чтобы обвинить богатых людей в истинных или вымышленных преступлениях и заполучить их имущество. Когда Калигула стал императором, он отменил смертельную казнь за государственную измену, но оставалось множество других преступлений, караемых смертью.

После казни первой группы осужденных Калигула устроил особенно великолепную травлю диких зверей. Но зрители были в дурном настроении. Они шикали, свистели, ворчали и не желали даже смотреть на арену. Затем в дальнем от императорской ложи конце цирка раздался крик: «Выдай нам доносителей! Выдай нам доносителей!» Калигула поднялся, чтобы восстановить тишину, но рев толпы заглушил его голос. Он отправил гвардейцев с дубинками туда, где орали громче всего, и они принялись дубасить людей по головам, но шум, и еще более яростный, возник в другом месте. Калигула перепугался. Он поспешно покинул амфитеатр, велел мне заменить его на распорядительском месте. Мне это вовсе не улыбалось, но когда я встал, чтобы обратиться к толпе, все вежливо замолчали и даже крикнули: «*Felicitur*», что значит: «Удачи тебе», и я вздохнул с облегчением. В отличие от Калигулы, у которого такой громкий голос, что его слышно с одного края Марсова поля на другой, я говорю тихо, и мне пришлось попросить кого-нибудь повторять за мной мои слова. Мнестер вызвался мне помочь, отчего моя речь прозвучала куда эффектнее.

Я объявил, что императора, к сожалению, вызвали по срочному государственному делу. Тут все расхохотались. Мнестер сопровождал свои слова красноречивыми жестами, показывающими, насколько важным и безотлагательным было это государственное дело. Затем я сказал, что обязанности распорядителя перешли, увы, к моей недостойной особе. Мнестер безнадежно пожал плечами и покрутил указательным пальцем у виска — более выразительно передать смысл моих слов было трудно.

— Давайте продолжать игры, друзья, — добавил я.

И тут сразу же поднялся крик:

— Выдай нам доносителей!

Но я спросил, а Мнестер повторил, вложив в это все свое обаяние:

— А если император согласится выдать их, что тогда? Кто-нибудь донесет на них?

Вместо ответа послышался неясный гул. Я задал еще один вопрос. Я спросил, кто более тяжкий преступник — доноситель или доноситель на доносителя? Или доноситель на доносителя на доносителя? Я сказал, что чем дальше идти по такому пути, тем он будет более гнусным, тем большее число людей окажется замарано грязью. Лучшая политика — не совершать ничего, что могло бы дать доносчикам основания для доносов. Если бы все, сказал я, вели истинно добродетельную жизнь, проклятое племя вымерло бы само собой из-за недостатка пищи, как мыши на кухне у скупца. Вы не представляете, какой смех вызвали мои слова. Чем шутка проще и глупее, тем больше нравится толпе. (Никогда мне так не аплодировали, как однажды, когда я тоже заменял Калигулу в цирке на распорядительском месте. Зрители сердито требовали, чтобы появился обещанный заранее, но не выходящий на арену гладиатор по имени Голубь. Я сказал: «Терпение, друзья. Сперва поймайте голубя, а уж потом ощипывайте его!» А по-настоящему остроумные шутки до них не доходят.)

— Давайте продолжать игры, друзья, — повторил я, и на этот раз крики прекратились. Бои оказались очень удачными. Два гладиатора одновременно убили друг друга ударом меча в живот, что случается очень редко. Я велел принести мне их оружие, чтобы сделать из него ножички; такие ножички считаются лучшими талисманами при эпилепсии. Калигула оценит этот подарок — если простит меня за

то, что я успокоил толпу, когда ему это не удалось. Он так перепугался, что поспешно выехал из Рима в Антий и не возвращался в течение нескольких дней.

Но все обошлось. Калигула был доволен ножичками, которые дали ему возможность поразглагольствовать о необыкновенных свойствах его болезни, а когда он спросил, что в его отсутствие произошло в амфитеатре, я сказал, будто я предупредил толпу о том, что их ждет, если они не раскаются в своем вероломстве и неблагодарности. Я сказал, что после этого мятежные крики сменились мольбами о пощаде, и у всех сделался испуганный и пристыженный вид.

— Да, — проговорил Калигула, — я был с ними слишком мягок. Я решил не уступать им ни на йоту. Отныне мой девиз — «Непреклонная твердость».

И, чтобы не позабыть об этом решении, он теперь каждое утро упражнялся перед зеркалом в спальне, корча грозные рожи и испуская жуткие вопли в своей личной ванной, где было хорошее эхо.

Я спросил Калигулу:

— Почему ты не объявишь публично о своей божественной сути? Ничто не приведет их в такой трепет.

Он ответил:

— Мне еще надо кое-что совершить в моем смертном облиии.

Первое, что он совершил, — приказал начальникам портов Италии и Сицилии задержать все суда больше определенного водоизмещения и, оставив груз в залог, отправить порожними под конвоем военных кораблей в Неаполитанский залив. Никто не мог понять, что означает этот приказ. Предполагали, что Калигула задумал вторжение в Британию и хочет использовать эти суда в качестве транспортных. Но ничего подобного. Калигула просто решил опровергнуть слова Фрасилла, будто он с таким же успехом может стать императором, как пересечь верхом залив между Байями и Путеолами. Он собрал около четырех тысяч судов — из них тысяча была построена специально для этого случая, — и поставил их на якорь в два ряда борт к борту через весь залив от доков в Путеолах до его виллы в Байях. Носы кораблей смотрели наружу, кормой каждую пару сцепили между собой. Так как носы были слишком высоки для его цели, Калигула велел их подровнять, спилив сидение рулевого и носовое украшение, что очень огорчило моряков, — ведь фигура на носу корабля считается его богом-хранителем. Затем Калигула велел уложить деревянный настил через все корабли, накидать на доски землю, увлажнить ее и утрамбовать; в результате получилась твердая широкая дорога в шесть тысяч шагов длиной от края до края. Когда появились новые корабли, вернувшиеся из плавания на Восток, Калигула велел связать их вместе так, чтобы образовалось пять «островов», которые присоединили к «дороге» на расстоянии в тысячу шагов один от другого. По сторонам «дороги» построили множество лавок, и Калигула приказал старшинам корпораций в десятидневный срок обеспечить их товарами и продавцами. На «дорогу» была подведена питьевая вода и посажены сады, на «островах» устроены поселения.

К счастью, во время этих приготовлений погода была тихая и на море стоял полный штиль. Когда все было готово, Калигула надел нагрудник Александра (Август считал себя недостойным носить перстень Александра, а Калигула надел ни мало ни много как его нагрудник), а поверх него — пурпурный шелковый плащ, стоявший колом от золотой вышивки с драгоценными камнями; в руки он взял меч Юлия Цезаря, боевой топор, который, как считалось, принадлежал Ромулу, и щит, которым, по преданию, владел Эней, оба — хранившиеся в Капитолии (и то и другое, по моему мнению, подделка, но такая давняя, что их можно считать настоящими); на голову он надел венок из дубовых листьев. После того как были принесены искупительные жертвы: Нептуну — тюлень, так как это плавающее животное, богу зависти — павлин, на случай, если, как сказал Калигула, кто-либо из богов ему позавидует, он сел на

Инцитата и поскакал по «мосту» в ПUTEОЛЫ. Следом скакала вся конная гвардия, позади нее — отряд кавалерии, отозванный из Франции, за ним шли двадцать тысяч пехотинцев. Когда Калигула достиг последнего «острова» недалеко от ПUTEОЛ, он велел трубить сигнал атаки и ринулся на город так яростно, словно преследовал разгромленного врага.

Калигула провел в ПUTEОЛАХ ночь и большую часть следующего дня, как будто отдыхал после битвы. Вечером он вернулся обратно в триумфальной колеснице с позолоченными колесами и боками, в которую были запряжены Инцитат и кобыла Пенелопа, на которой Калигула женил своего любимца согласно положенному ритуалу. Калигула был в том же великолепном наряде, с одной лишь разницей — на голове вместо дубового венка красовался лавровый. Следом за колесницей ехал длинный обоз, груженный «военной добычей» — мебелью, статуями и украшениями, взятыми в домах богатых купцов. Пленников у Калигулы представляли заложники, которых мелким восточным царькам надлежало присылать в Рим как гарантию своего хорошего поведения, и все рабы, каких от только сумел заполучить, одетые в национальные костюмы, с цепями на руках и ногах. Затем в разукрашенных колесницах следовали друзья Калигулы в нарядных вышитых тогах, воздающие ему хвалу. За ними шла армия и, наконец, процессия из двухсот тысяч граждан в праздничном платье. На холмах, окружающих залив, горело бесчисленное множество костров, и каждый солдат и горожанин в процессии нес зажженный факел. Это был самый эффектный спектакль, какой видел мир, и, по-моему, самый бессмысленный. Но как все веселились! На мысе Мизен к юго-западу от вилл загорелся сосновый лес — еще одно великолепное зрелище. Как только Калигула достиг земли, он потребовал подать ему золотой трезубец и другой шелковый плащ, расшитый серебряными рыбами и дельфинами. Экипированный таким образом, он сел на самый большой из своих пяти прогулочных кораблей, ждавший его у берега, и гребцы отвезли его к среднему «острову», превосходившему размерами все остальные. Большая часть войска сопровождала его на военных судах.

Калигула сошел с корабля, поднялся на увешанный шелковыми полотнищами помост и принялся разглагольствовать, обращаясь к проходившей мимо него толпе. Специально поставленные стражники не давали никому останавливаться, так что никто, кроме друзей Калигулы, находившихся возле помоста — в числе которых оказался и я, — и солдат на ближайших военных судах, не слышал больше одной-двух фраз. Среди прочего Калигула назвал Нептуна трусом за то, что тот без сопротивления позволил надеть на себя оковы, и пообещал в ближайшем будущем еще крепче проучить старика. (Похоже было, что он совсем забыл об искупительной жертве, принесенной им морскому царю). Что до императора Ксеркса, некогда, во время своего неудачного похода против Греции, построившего мост через Геллеспонт, то Калигула даже думать о нем не может без смеха. Он сказал, что этот прославленный мост был в два раза короче его «моста» и куда менее прочный. Затем Калигула объявил, что намерен дать каждому солдату по два золотых, чтобы они выпили за его здоровье, а всем остальным, кто там был, по пять серебряных монет.

Приветственные крики не смолкали в течение получаса, что, по-видимому, удовлетворило его. Калигула остановил их и велел начать раздачу денег. Толпа двинулась мимо него в обратном порядке; приносили и опорожняли мешок за мешком. Часа через два деньги кончились, и Калигула сказал тем, кому ничего не досталось, чтобы они выместили свое разочарование на тех, кто успел все захватить себе. Это, естественно, привело к свалке. А как пили, какие горланили песни, какие отпускали шутки, какая поднялась потеха, какие вспыхивали потасовки! Ни одна ночь не может сравниться с той, что последовала за этим днем. Сам Калигула под воздействием хмельного был склонен к довольно злым проделкам. Во главе

«разведчиков» и телохранителей-германцев он носился по «острову» вдоль ряда лавок, спихивая людей в воду. Море было таким спокойным, что только мертвецки пьяные да старики и дети не сумели спастись. Утонуло всего двести или триста человек.

Около полуночи Калигула устроил нападение на один из небольших «островов», сперва разрушив мост по обе стороны от него, а затем отталкивая один за другим корабли, из которых он состоял, пока обитателя «острова», лишившись всех путей спасения, не сгрудились на крошечном пятачке посредине. Последняя атака была оставлена флагманскому кораблю. Калигула стоял, размахивая трезубцем, на полубаке, откуда он устремился на еще оставшихся в живых перепуганных людей и сбросил их всех в море. Среди жертв этого морского сражения был самый удивительный участник триумфальной процессии Калигулы — Елеазар, парфянский заложник, самый высокий человек в мире — рост его равнялся одиннадцати футам. Однако сила его не соответствовала росту, голос напоминал рев верблюда, у него была слабая спина, и говорили, что он придурковат. По происхождению он был еврей. Калигула велел сделать из его тела чучело, нарядить в военные доспехи и поставить у дверей своей спальни для устрашения убийц.

Глава XXXI

Это двухдневное развлечение совершенно опустошило государственную и императорскую казну. Мало того, Калигула не только не вернул суда владельцам, но, велел починить «мост», уехал в Рим и занялся другими делами. Нептун, в доказательство того, что он вовсе не трус, наслал с запада сильный ветер и потопил около тысячи кораблей. Примерно столько же сорвалось с якоря и было выброшено на берег. Около двух тысяч благополучно переждали шторм на месте, но потеря чуть не половины торгового флота привела к нехватке судов для привоза зерна из Египта и других областей Африки, а следовательно, и к серьезной нехватке продовольствия в Риме. Калигула поклялся, что отомстит Нептуну. Чтобы раздобыть деньги, он прибегнул к новым, весьма остроумным способам, забавлявшим всех, кроме его жертв, их друзей и слуг. Например, юношей, которых он штрафами и конфискациями довел до такой глубокой нужды, что они стали его рабами, Калигула отправлял в школы гладиаторов. Когда кончался срок учения, он посылал их в амфитеатр сражаться за свою жизнь. Тратился он при этом лишь на их стол и кров; будучи рабами, они не получали платы. Если их убивали, на том деле был конец. Если они одерживали победу, Калигула продавал их с аукциона магистратам, в чью обязанность входило устраивать подобные состязания — масса людей помимо воли удостоилась этого почетного поста, — и всем, кто хотел участвовать в торгах. Калигула поднимал цены до самой несообразной величины, так как стоило кому-нибудь почесать голову или потереть нос, как Калигула делал вид, будто принимает это за знак того, что ему предлагают надбавку. Мой нервный тик привел меня к большой неприятности — у меня на руках оказались три гладиатора по две тысячи золотых каждый. Но мне еще повезло; судье по имени Апроний, уснувшему во время аукциона, Калигула продал гладиаторов, которых никто не хотел покупать, повышая цену всякий раз, что голова Апрония падала на грудь; проснувшись, он обнаружил, что должен заплатить ни мало ни много как девяносто тысяч золотых за тридцать совершенно не нужных ему гладиаторов. Один из гладиаторов, которых я купил, был очень хорош, но Калигула побился со мной об заклад против него на большую сумму. Когда наступил день боя, мой гладиатор едва стоял на ногах и его легко победили. Оказалось, что Калигула велел подмешать какие-то снадобья в его еду. Многие богатые люди участвовали в этих аукционах и по собственному почину назначали за гладиаторов высокие цены не потому, что нуждались в них, а потому,

что надеялись, раскошелившись сейчас, спастись в дальнейшем от облыжного обвинения, которое будет им грозить потерей не только денег, но и самой жизни.

Забавная вещь произошла в тот день, когда победили моего гладиатора. Калигула поспорил со мной на тысячу золотых, которые заставил меня поставить против его пяти тысяч, что в предстоящем бою между пятью гладиаторами, вооруженными сетью и трезубцем, и таким же числом «преследователей» — гладиатором, вооруженных мечом и щитом, выиграют «преследователи». Я смирился с тем, что потеряю свои деньги, но как только бой начался, я заметил, что гладиаторы с трезубцами поддаются противникам — видимо, они были подкуплены. Я сидел рядом с Калигулой и сказал ему:

— Похоже, что ты выиграешь, но, по-моему, эти ребята сражаются спустя рукава.

И действительно, гладиаторы с трезубцем и сетью один за другим сдались, и в конце концов все пятеро лежали на арене лицом в песок, а над каждым из них стоял «преследователь», подняв меч. Зрители опустили вниз большие пальцы в знак того, что побежденные заслуживают смерти. Калигула, бывший распорядителем, мог по своему усмотрению последовать совету публики или нет. Он ему последовал.

— Убейте их, — вскричал он, — они и не пытались выиграть!

Ничего не скажешь, не повезло беднягам, ведь Калигула обещал им сохранить жизнь, если они дадут себя победить; я был далеко не единственный, кого он принудил на них поставить, — он выиграл бы восемьдесят тысяч золотых, если бы победу одержали «преследователи». Что же было дальше? А вот что: один из побежденных гладиаторов так вознегодовал на этот обман, что внезапно сцепился со своим противником, свалил его на землю, схватил сеть и лежавший неподалеку трезубец и кинулся прочь. Вы не поверите, но в результате я выиграл пять тысяч золотых! Сперва этот взбешенный гладиатор убил двух «преследователей», которые, стоя к нему спиной над умерщвленными жертвами, отвечали на приветствия толпы, затем, по очереди, остальных трех, в то время как они бежали к нему, каждый на несколько шагов позади другого. Калигула расплакался от досады и воскликнул:

— О, чудовище! Погляди, он убил пять искусных многообещающих юношей этой мерзкой острой!

Когда я говорю, что выиграл пять тысяч золотых, я имею в виду, что я выиграл бы их, если бы у меня не хватило такта объявить наше пари недействительным.

— Разве это бой, когда один убивает пятерых? Где тут справедливость?! — сказал я.

До этого времени Калигула всегда отзывался о Тиберии как о форменном негодяе и поощрял всех других делать то же самое. Но однажды он произнес ему в сенате длинную хвалебную речь: Тиберия, мол, неправильно понимали, и он не позволит никому и слова худого сказать против своего названного отца.

— Я — император, и в таком качестве имею право его критиковать, если захочу, но у вас этого права нет. По сути дела, это равносильно государственной измене. На днях один из сенаторов официально заявил, будто Тиберий убил моих братьев Нерона и Друза после того, как посадил их в тюрьму на основании ложных обвинений. Надо же придумать такое!

Затем Калигула вынул судебные материалы, которые якобы сжег, и стал читать оттуда длинные выдержки. Из них следовало, что сенат не усомнился в показаниях, собранных Тиберием против его братьев и единодушно проголосовал за то, чтобы юноши были переданы в руки императора и наказаны. Некоторые сенаторы даже выступили против них свидетелями. Калигула сказал:

— Если вы знали, что факты, с которыми Тиберий знакомил вас (сам приняв их на веру), ложны, то убийцы вы, а не он; а теперь, когда он умер, вы осмеливаетесь перекладывать на него собственное вероломство и жестокость. Если вы все время

считали, что факты эти истинные, значит, он не убийца, и вы очернили его доброе имя. А если вы думали, что они ложные и Тиберий знает это, то вы не менее виновны, чем он, к тому же еще и трусы.

Калигула грозно нахмурился, подражая Тиберию, громко постучал, как тот, кулаком по столу, что напомнило всем ужасные процессы по обвинению в государственной измене, и произнес хриплым голосом — точь-в-точь как Тиберий:

— Хорошо сказано, мой сын! Никому из этих шавок нельзя доверять. Погляди, какого божка они сотворили из Сеяна, перед тем как обратились против него и разорвали на куски! Они поступят так же с тобой, если будут иметь хоть какую-то возможность. Все они ненавидят тебя и молят небо о твоей смерти. Мой тебе совет: руководствуйся только своими интересами и прежде всего думай об удовольствиях. Никто не любит, чтобы им командовали, и единственный способ сохранить власть — держать в страхе всю эту шваль. Следуй моему примеру. Чем хуже ты будешь с ними обращаться, тем больше они будут тебя чтить.

Затем Калигула заявил, что снова вводит смертную казнь за государственную измену, приказал выгравировать свою речь на бронзовой доске и повесить эту доску на стене сената над местами консулов и поспешно покинул зал. Больше в этот день сенат ничем не занимался — все были подавлены. Но на завтра мы принялись расточать Калигуле хвалы, называя его праведным и благочестивым правителем, и подписали декрет о ежегодных жертвоприношениях в благодарность за его милосердие. А что еще мы могли сделать? У Калигулы за спиной стояла армия, он был волен в нашей жизни и смерти, и пока не найдется человек достаточно смелый и умный, чтобы устроить против него успешный заговор, нам оставалось лишь ублажать императора и надеяться на лучшее. На пиру через несколько дней Калигула неожиданно разразился диким хохотом. Никто не понимал, что его так рассмешило. Консулы, сидевшие по обе стороны от него, спросили, не будет ли он столь милостив и не разрешит ли он им разделить его веселье. В ответ на это Калигула захохотал еще громче.

— Нет, — сказал он, давясь от смеха, и вытер глаза. — В том-то все и дело. То, над чем я смеюсь, вовсе не покажется вам смешным. Я смеялся при мысли, что стоит мне только кивнуть, и вам обоим туг же перережут горло.

Против двадцати самых богатых, по слухам, людей Рима было выдвинуто обвинение в государственной измене. Их лишили возможности покончить с собой до суда и всех приговорили к смертной казни. Один из них, старший магистрат, оказался совсем бедным.

«Идиот, — сказал Калигула. — Зачем он делал вид, будто у него есть деньги? Я попался на его удочку. Ему совсем ни к чему было умирать».

Я помню только одного человека, обвиненного в государственной измене, которому удалось спастись. Это был Афр, выступавший в роли обвинителя моей родственницы Пульхры, адвокат, славившийся своим красноречием. Афр написал на подножии статуи Калигулы, которую поставил у себя в доме, что в свои двадцать семь лет Калигула уже второй раз занимает пост консула. Калигула увидел в этом насмешку над своей молодостью и упрек в том, что он получил пост, которого по закону еще не был достоин, и обвинил Афру в государственной измене. Он сочинил длинную, тщательно продуманную обвинительную речь и произнес ее в сенате, пустив в ход все свое красноречие (и отрепетировав заранее каждую интонацию и каждый жест). Калигула имел привычку хвалиться, что он — лучший адвокат и лучший оратор в мире, и сейчас больше стремился превзойти Афру в ораторском искусстве, чем добиться его осуждения и конфисковать его деньги. Афр это понял и притворился, что он поражен и восхищен тем, как блестяще Калигула ведет процесс. Он повторял следом за Калигулой один за другим все выдвинутые против него пункты обвинения, превознося их с профессиональной беспристрастностью и

бормоча вполголоса: «Да, на это нечего возразить», и «Он исчерпал это доказательство до конца», и «Настоящая дилемма», и «Как он поразительно владеет языком». Когда Калигула кончил и с торжествующей улыбкой сел на место, Афра спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать. Он ответил:

— Лишь то, что мне, по-моему, очень не повезло. Я рассчитывал использовать свой дар слова, чтобы хоть немного отвести от себя гнев императора за мою непростительную беспечность с этой проклятой надписью. Судьба кинула кости против меня. В руках императора абсолютная власть, неопровержимые доказательства моей вины и красноречие, в тысячу раз превосходящее мое; даже если бы я избежал приговора и изучал ораторское искусство до ста лет, я не сумел бы с ним сравняться.

Афра присудили к смерти, но на следующий же день отсрочили исполнение приговора.

Кстати, о костях. Когда богатые жители провинций приезжали в Рим, их всегда приглашали во дворец на обед и дружескую игру в кости. Их удивляла и приводила в смятение удачливость императора: у него раз за разом получался «венерин бросок», и он обдирал их как липку. Да, Калигула всегда и во всем играл нечестно. Например, он отнял консульские полномочия у консулов и наложил на них огромный штраф на том основании, что они устроили традиционный праздник в честь победы при Акции, одержанной Августом над Антонием. Калигула заявил, что они оскорбили этим его предка Антония. (Между прочим, на одно из освободившихся мест Калигула назначил Афру.) На обеде за несколько дней до праздника он сказал нам, что накажет консулов независимо от того, как они поступят: если они отменят праздник, они оскорбят этим его предка Августа. И тут Ганимед совершил роковую ошибку. Он вскричал:

— Ах, как ты умен, милый! Им ни так, ни так от тебя не уйти. Но если у этих идиотов есть хоть капля ума, они все же станут отмечать этот праздник, ведь больше всех при Акции потрудился Агриппа, а он тоже твой родственник, так что они окажут честь двум твоим предкам из трех.

Калигула произнес:

— Ганимед, нашей дружбе конец.

— О, — воскликнул Ганимед, — не говори так, милый! Я не сказал ничего обидного для тебя.

— Выйди из-за стола, — приказал Калигула.

Я сразу догадался, в чем была ошибка Ганимеда. Причем двойная ошибка. Ганимед, родственник Калигулы по материнской линии, был потомком Августа и Агриппы, но не Антония. Все его предки принадлежали к партии Августа. Так что ему лучше было вообще не говорить на эту тему. К тому же Калигула не любил, когда ему напоминали, что в числе его предков был Агриппа, человек из ничем не примечательного рода. Но пока что Калигула не предпринял против Ганимеда никаких мер.

Калигула развелся с Лоллией, обвинив ее в том, что она бесплодна, и женился на женщине по имени Цезония, которая не отличалась ни молодостью, ни красотой. Она была дочерью командира городских стражников и женой пекаря или кого-то в этом роде, которому она уже родила троих детей. Но в ней было что-то необъяснимым образом привлекавшее Калигулу, что — не мог объяснить никто и меньше всего он сам. Калигула не раз говорил, что вырвет у нее секрет своей неодолимой тяги к ней, даже если для этого придется прибегнуть к пытке. Болтали, будто Цезония завоевала его при помощи приворотного зелья, от которого он затем сошел с ума. Но это только догадка, а сходить с ума он начал задолго до того, как ее встретил. Так или иначе, Цезония от него забеременела, и Калигула, как я уже сказал, женился на ней; он был вне себя от гордости, что станет отцом. Вскоре после этого

Калигула впервые публично заявил о том, что он бог. Это произошло, когда он посетил вместе с Апеллесом храм Юпитера на Капитолийском холме.

— Кто более великий бог — Юпитер или я? — спросил он Апеллеса.

Апеллес, думая, что Калигула шутит, и не желая богохульствовать в храме, задержался с ответом. Калигула подозвал свистом двух телохранителей-германцев и велел содрать с Апеллеса одежду и выпороть перед статуей Юпитера.

— Не торопитесь, — сказал он германцам. — Помедленнее, чтобы сильнее проняло.

Они секли Апеллеса, пока тот не потерял сознание, привели в себя, побрызгав святой водой, и снова секли, пока не засекли до смерти. После этого Калигула направил сенату письмо, где возвестил о своей божественной сути, и приказал немедленно начать строительство нового святилища возле храма Юпитера — «чтоб я мог обитать рядом с моим братом». Он поставил там свою статую в три раза больше натуральной величины, сделанную из чистого золота, которую ежедневно облачали в новое одеяние.

Вскоре Калигула поссорился с Юпитером. Слышали, как он говорил ему сердито: «Если ты не понимаешь, кто здесь хозяин, убирайся в Грецию». Юпитер якобы попросил прощения, и Калигула сказал: «Очень мне нужен твой жалкий Капитолийский холм! Я перееду на Палатин. Он куда лучше расположен. Я построю там достойный меня храм, ты, старый, жалкий мошенник». Другая любопытная вещь произошла, когда Калигула посетил Храм Дианы вместе с бывшим губернатором Сирии Вителлием. Вителлий добился в провинции большого успеха, форсировав Евфрат и неожиданно напав на царя парфян, который собирался вторгнуться в Сирию. Застигнутый на невыгодных для битвы позициях, тот был вынужден подписать унижительный для него мир и отдать сыновей в заложники. Я забыл упомянуть, что старший из них был в колеснице Калигулы, когда тот скакал через залив. Так вот, Калигула завидовал Вителлию и умертвил бы его, если бы я не предупредил Вителлия (он был мой друг), что ему надо сделать. Когда он высадился в Брундизии, его уже ждало там мое письмо. Как только Вителлий прибыл в Рим и был допущен к Калигуле, он пал ниц перед ним, как перед богом. Это было еще до того, как Калигула официально возвестил всем, что он божество, поэтому он решил, что поклонение Вителлия — искренно. Вителлий сделался закадычным другом Калигулы и всячески старался выразить мне свою благодарность. Как я уже сказал, Калигула был в храме Дианы и разговаривал с богиней — не со статуей, но с ее духом. Он спросил Вителлия, видит ли он Диану или один лишь лунный свет. Вителлий затрепетал всем телом, словно в священном страхе, и ответил, не поднимая глаз от пола:

— Только вы, боги, достойны лицезреть друг друга.

Калигула был доволен.

— Она прекрасна, Вителлий, и часто приходит во дворец разделить со мной ложе.

Примерно в это время я снова попал в беду. Сперва я подумал, будто все это подстроил Калигула, чтобы избавиться от меня. Я до сих пор не уверен, что это не так. Один мой знакомый, с которым я часто играл в кости, подделал завещание и в том числе мою печать, которую я якобы поставил как свидетель. К счастью для меня, он не заметил, что с одного края агата, служившего мне печатью, была трещинка, всегда оставлявшая след на воске. Когда меня неожиданно арестовали за сговор с целью обмана и препроводили в суд, я подкупил солдата, чтобы он отнес потихоньку мое письмо Вителлию: я умолял его спасти мне жизнь, как некогда я спас жизнь ему. Я просил намекнуть о трещинке Калигуле, который вел разбирательство этого дела, и иметь наготове мою печать для сравнения с подделанной. Но все надо было подстроить так, чтобы Калигула сам увидел между ними разницу и поставил это в

заслугу самому себе. Вителлий с большим тактом провел это дело. Калигула обнаружил трещину, похвастался своей зоркостью и освободил меня, сурово предупредив, чтобы я впредь получше выбирал себе знакомых. Человеку, совершившему подлог, отрубили руки и повесили их ему на шею как предостережение для других. Если бы меня признали виновным, я лишился бы головы. Калигула так и сказал мне в тот вечер за ужином.

Я ответил:

— О, милосердный бог, право, я не понимаю, почему тебя так тревожит, буду ли я жить.

Племяннику всегда приятна лесть из уст дяди. Калигула наклонился ко мне и спросил, подмигнув всем сидящим за столом:

— Могу я спросить, во сколько именно ты ценишь сейчас свою жизнь?

— Я уже подсчитал: в одну медную монетку.

— Как ты пришел к такой скромной цифре?

— Жизнь каждого человека имеет свою цену. Выкуп, заплаченный родичами Юлия Цезаря пиратам, захватившим его в плен и угрожавшим убить, составлял — хотя просили они сперва куда больше — всего двадцать тысяч золотом. Значит, жизнь Юлия Цезаря и стоила на самом деле двадцать тысяч золотых. На мою жену Элию однажды напали разбойники, но она откупилась от них аметистовой брошью, стоившей пятьдесят золотых. Значит, и жизнь ее имела ту же цену. Моя жизнь была спасена благодаря трещине в агате, весящем, если я не ошибаюсь, полгран. Агат такого качества стоит, вероятно, не больше чем одна серебряная монета за двадцать гран. Следовательно, эта трещинка, если сумеет ее найти, что нелегко, или найти на нее покупателя, что еще труднее, должна стоить не более чем одну сороковую часть серебряной монеты, то есть одну медную монетку. Значит, и жизнь моя стоит столько же.

— Если ты найдешь на нее покупателя! — захохотал Калигула в восторге от собственного остроумия.

Как все хлопали ему, я — в том числе! Еще долго после этого меня звали не Тиберий Клавдий, а Терунций Клавдий: «терунций» по-латыни — самая мелкая медная монетка, равная одной сороковой серебряной монеты.

Для поклонения Калигуле понадобились жрецы. Он сам был свой верховный жрец, а подчиненными ему жрецами он назначил меня, Цезонию, Вителлия, Ганимеда, четырнадцать экс-консулов и своего благородного друга Инцитата. Каждый из нас должен был заплатить восемьдесят тысяч золотых за эту честь. Он помог Инцитату раздобыть нужные деньги, обложив от его имени ежегодной данью всех лошадей Италии; если они не платили, их отправляли на живодерню. Цезонии достать деньги для вступительного взноса он помог тем, что обложил от ее имени налогом всех женатых мужчин за право спать со своими женами. Ганимед, Вителлий и прочие были богатыми людьми; хотя бывали случаи, когда им приходилось себе в убыток продавать свое имущество, чтобы незамедлительно достать сто тысяч наличными, у них оставалось еще достаточно. Чего нельзя было сказать о бедном Клавдии. Прежние шуточки Калигулы, когда он всучивал мне гладиаторов и заставлял втридорога платить за стол и кров во дворце, оставили мне всего тридцать тысяч золотых наличными; что до недвижимости, которую я мог бы продать, то у меня не было ничего, кроме небольшого поместья в Капуе и дома в Риме, перешедшего ко мне от матери. Я выплатил Калигуле эти тридцать тысяч и сказал ему в тот же день за обедом, что я объявил о продаже моего имущества и отдам ему остальные пятьдесят тысяч, когда найду покупателя.

— Больше мне продавать нечего, — добавил я.

Калигула счел это великолепной шуткой.

— Нечего продать? Почему ж? А твоя одежда?

К этому времени я уже понял, что самое благоразумное — делать вид, будто я и вправду придурковат.

— О боги! — воскликнул я. — Я совсем о ней забыл. Будь добр, предложи ее своим гостям, я уверен, что тебе удастся ее сбыть, ты ведь лучший аукционист в мире.

Я принялся скидывать с себя платье, пока не остался нагишом, если не считать салфетки, которой я поспешно прикрыл чресла. Калигула продал кому-то мои сандалии за две сотни золотых, тогу — за тысячу и так далее, и всякий раз я шумно выражал свой восторг. Наконец он захотел продать салфетку. Я сказал:

— Моя природная скромность не помешала бы мне принести в жертву последний лоскут, если бы полученные за него деньги помогли заплатить остаток моего взноса. Но в данном случае мне мешает нечто более сильное, чем скромность.

Калигула нахмурился:

— Что это? Что сильнее скромности?

— Мое уважение к тебе, цезарь. Это твоя собственная салфетка. Та, которой ты милостиво разрешил мне пользоваться во время нашей превосходной трапезы.

Этот фарс уменьшил мой долг всего на три тысячи. Но он убедил наконец Калигулу в моей бедности.

Мне пришлось отказаться от комнат во дворце и места за императорским столом и поселиться на время со старой Брисеидой, бывшей служанкой матери; я попросил ее сторожить мой городской дом до тех пор, пока на него не найдутся желающие. Туда приехала ко мне Кальпурния, и — верите ли? — у милой девочки в целости и сохранности были деньги, которые я дал ей вместо ожерелий, мартышек и шелковых платьев, и она предложила их мне взаймы. Более того, скот мой вовсе не пал, а скирды не сгорели, как она раньше сказала мне. Это было просто уловкой, чтобы повыгоднее их продать и отложить деньги на непредвиденный случай. Кальпурния вернула их мне — две тысячи золотых — до последней монеты, а также дала полный отчет о сделках, подписанных управляющим. Так что мы жили не так уж плохо. Но, чтобы поддержать легенду о моей нищете, я каждый вечер, взяв в руки кувшин, ходил, опираясь на клюку (и это — вместо носилок!), чтобы купить вина в таверне.

Старая Брисеида часто повторяла:

— Господин Клавдий, люди думают, будто я вольноотпущенница твоей матери. Но это не так. Я стала твоей рабыней, когда ты подрос, и ты, а не она, отпустил меня на волю, правда?

Я отвечал:

— Конечно, Брисеида. Когда-нибудь я всем об этом сообщу.

Она была славная старуха, всем сердцем преданная мне. Мы жили вчетвером в двух комнатах (кроме нас троих — еще старый раб, помогавший по хозяйству) и прекрасно проводили время, если принять все во внимание.

Ребенок Цезонии, девочка, родился через месяц после того, как Калигула женился на ней. Он сказал, что это — чудо. Он взял ребенка, возложил на колени статуи Юпитера — это было еще до их ссоры, — словно хотел показать, что и тому принадлежит честь отцовства, затем положил ее на руки статуи Минервы и дал пососать мраморную грудь богини. Калигула назвал дочку Друзиллой по имени своей умершей сестры, которое после ее обожествления было переименовано на «Пантея». Он также назначил ребенка жрицей. Чтобы раздобыть деньги на вступительный взнос, Калигула обратился с просьбой о помощи к римлянам; жалуюсь на бедность и большие траты, которые он вынужден делать как отец, он стал собирать деньги в фонд, который назвал фондом Друзиллы. Он поставил кружки для сбора пожертвований на всех перекрестках Рима с надписями: «Еда Друзиллы», «Питие Друзиллы», «Приданое Друзиллы», — и никто не отваживался пройти мимо

гвардейцев, стоявших рядом с кружками на посту, не опустив туда хоть несколько медных монет.

Калигула обожал свою маленькую Друзиллу, которая так же, как и он в свое время, была развита не по летам. Ему нравилось учить ее собственной «непреклонной твердости», причем начал он эти уроки, когда она только-только стала ходить и говорить. Калигула хвалил девочку, когда она мучила котят и щенят и пыталась выцарапать ногтями глаза своим маленьким товарищам по играм.

— Да, в том, кто твой отец, моя куколка, сомнений быть не может, — посмеиваясь, повторял он, когда это многообещающее дитя особенно отличалось. А однажды он наклонился к ней при мне и лукаво сказал: — А за первое настоящее убийство, которое ты совершишь, моя драгоценная, даже если ты убьешь всего-навсего твоего бедного старого дедушку Клавдия, я сделаю тебя богиней.

— А ты сделаешь меня богиней, если я убью маму? — пролепетал бесенок. — Я не люблю маму.

Деньги требовались Калигуле и для его золотой статуи. Он раздобыл их, издав эдикт, где говорилось, что он будет принимать подарки к Новому году у главных ворот дворца. Когда настал назначенный день, Калигула послал в город отряды гвардейцев, и те, угрожая оружием, согнали толпы горожан на Палатинский холм и заставили их бросить все, что у них было при себе, в огромные, специально поставленные там бочки. Римлян предупредили, что если они попробуют скрыться от гвардейцев или утаить хоть одну медную монетку, их немедленно подвергнут смерти. К вечеру две тысячи огромных бочек были полны до краев.

Примерно в это время Калигула заявил Ганимеду и Агриппиниллс с Лесбией:

— Как вам не стыдно, вы, трутни! Что вы делаете, чтобы заработать себе на хлеб? Вы обыкновенные паразиты. Вы не знаете разве, что все мужчины и женщины в Риме трудятся в поте лица, чтобы меня поддержать? Последний носильщик, каждая разнесчастная проститутка с радостью отдадут мне одну восьмую того, что они получают.

Агриппинилла сказала:

— Но, братец, ты же отобрал у нас под тем или иным предлогом все наши деньги. Разве этого не достаточно?

— Достаточно? Конечно, нет. Полученные в наследство деньги вовсе не то, что заработанные честным трудом. Вы, детки, приметесь у меня за работу.

И вот Калигула распространил в сенате листки, извещавшие, что в такой-то вечер во дворце откроется для избранной публики особый бордель на все вкусы, который будет обслуживаться особами самого знатного происхождения. Входной билет — всего одна тысяча золотых. Напитки бесплатно. С прискорбием должен сообщить, что Агриппинилла и Лесбия не очень протестовали против позорного предложения Калигулы, мало того, сочли, что их ждет неплохое развлечение. Однако они настаивали, чтобы он позволил им самим выбирать себе клиентов и не брал слишком больших комиссионных с того, что они заработают. К моему великому неудовольствию, меня тоже вовлекли в это дело, нарядив комическим привратником. Калигула в маске, изменив голос, играл роль содержателя публичного дома и пускал в ход их обычные мошеннические трюки, чтобы лишить гостей и удовольствия, и денег. А когда те протестовали, он звал меня в качестве вышибалы. У меня очень сильные руки, сильнее, чем у большинства людей, а вот от ног мало проку, поэтому, когда я неуклюже ковылял к гостям, а затем неожиданно принимался колотить их палкой — если мне удавалось их схватить, — это вызывало бурное веселье. Вдруг Калигула напыщенно продекламировал строки Гомера:

Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.

Это был отрывок из первой песни «Илиады», там, где хромоногий бог ковыляет по Олимпу, а все другие боги смеются над ним. Я лежал в это время на полу, дубася мужа Лесбии, — не часто мне выпадал случай отплатить за старые обиды. Когда Калигула кончил, я поднялся на ноги и сказал:

Рек — и от наковальни великан закоптелый поднялся
И, хромоногий, медленно двигал увечные ноги, —

и захромал к столу с угощением. Калигула был в восторге и процитировал еще две строки, которые идут раньше описания «несказанного смеха»:

...потщися могучего сладкими тронуть словами,
И немедленно к нам Олимпиец милостив будет.

Отсюда и пошло мое, данное им, прозвище Вулкан, которое я был рад получить, так как оно несколько защищало меня от его капризов.

Затем Калигула потихоньку вышел, снял маскарадный костюм и вернулся в своем облики через ту дверь, у которой он поставил меня. Он притворился, будто страшно удивлен и возмущен тем, что происходит, и снова принялся декламировать Гомера — исполненные стыда и гнева слова Улисса, возмущенного распущенностью женщин во дворце:

Он под покровом лежал. В ворота, он увидел, служанки,
Жившие в тайной любви с женихами, толпой побежали,
С хохотом громким, болтая, шумя и крича непристойно.
Вся его внутренность пламенем гнева зажглась
несказанным.
Долго не знал он, колеблясь рассудком и сердцем, что
делать —
Встать ли и, вслед за бесстыдными бросившись, всех
умертвить их?
Или остаться, дав волю в последний им раз с женихами
Свидеться? Сердце же злилось его; как рычит,
ощетинившись,
Злобная сука, щеняток своих защищая, когда их
Кто незнакомый берет, и за их покусаться готовясь,
Так на бесстыдниц его раздраженное сердце роптало.
В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу.
«Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело
В логе циклопа, в то время, когда пожирал беспощадно
Спутников он злополучных моих, — и терпенье рассудку
Выход из страшной пещеры для нас, погибавших,
открыло».

— Под «циклопом» понимайте «Тиберий», — сказал он. Потом хлопнул в ладоши, призывая гвардейцев, которые бегом прибежали на его зов. — Немедленно пришлите сюда Кассия Херею!

Послали за Кассием, и Калигула сказал ему:

— Кассий, славный герой, ты, кто служил мне боевым конем, когда я был ребенком, мой самый старый и самый верный друг, видел ли ты когда-нибудь такое печальное и унижительное зрелище? Мои сестры торгуют своим телом у меня во

дворце, мой дядя Клавдий стоит у дверей и продает впускные билеты! О, что сказали бы бедные мать и отец, если бы они дожили до этого дня!

— Арестовать их всех, цезарь? — горячо спросил Кассий.

— Лучше «остаться, дав волю в последний им раз с женихами свидеться...», — ответил, словно отчаявшись, Калигула и зарычал, как «злая собака».

Кассию было велено увести гвардейцев обратно.

Это была не последняя оргия такого рода, устроенная во дворце; впоследствии Калигула заставил сенаторов, присутствовавших на первом «приеме», приводить с собой жен и дочерей в помощь Агриппинилле и Лесбии. Но вопрос, где и как раздобыть деньги, становился все острее, и Калигула решил посетить Францию и посмотреть, что там можно сделать.

Он собрал огромное войско, затребовав по отряду из каждого полка регулярной армии, формируя новые полки и набирая рекрутов где только мог. Из Италии он вышел во главе ста пятидесяти тысяч человек, а во Франции увеличил армию до четверти миллиона. Вооружать и экипировать это огромное войско пришлось городам, через которые оно проходило, необходимое продовольствие Калигула реквизирует там же. Иногда он скакал в галоп и заставлял армию шагать по сорок восемь часов подряд, чтобы не отстать от него, иногда двигался со скоростью одной-двух миль в день, любясь окрестностями из носилок, которые несли на плечах восемь дюжих солдат, и то и дело останавливаясь, чтобы сорвать цветок.

Калигула предупредил о своем приезде в письмах, приказывая всем должностным лицам высоких рангов как в самой Франции, так и в рейнских провинциях, прибыть в Лион, где он намеревался сосредоточить все военные силы. Среди тех, кто подчинился этому приказу, был Гетулик, один из лучших офицеров моего милого Германика, командовавший последние несколько лет четырьмя полками в Верхней Германии. Он был очень популярен среди солдат, так как сохранил традицию не применять жестоких наказаний, и дисциплина в его полках держалась на любви к нему, а не на страхе. Популярен он был не только в Верхней, но и в Нижней провинции, в полках, которыми командовал его тесть Апроний — Гетулик женился на сестре Апрония, которую, как полагали, мой шурина Плавтий выбросил из окна. После убийства Сеяна Гетулику грозила смерть, так как он обещал отдать дочь замуж за сына Сеяна, но он избежал этого, написав Тиберию дерзкое письмо. Он заявил, что до сих пор, пока командование полками у него в руках, император может рассчитывать на его верность и верность его солдат. У Тиберия хватило благоразумия оставить его в покое. Но Калигула завидовал его популярности и, как только Гетулик приехал в Лион, его арестовали.

Калигула не предложил мне участвовать в этом походе, поэтому я знаю о том, что там произошло, из вторых рук и не могу писать об этом в подробностях. Мне стало известно лишь то, что Ганимед и Гетулик были обвинены в заговоре — Ганимед-де посягал на жизнь императора, а Гетулик был его пособником — и казнены без суда. Считалось, что Лесбия и Агриппинилла (муж последней незадолго перед тем умер от водянки) тоже участвовали в заговоре. Их сослали на остров у берегов Африки, недалеко от Карфагена. Это был очень жаркий, бесплодный остров, где единственным занятием было ныряние за губками; Калигула велел сестрам выучиться этому промыслу, так как сам он дольше содержать их не может. Но прежде чем отправиться на остров, они должны были пройти пешком под стражей от Лиона до Рима, неся по очереди в руках урну с прахом Ганимеда. Это было им наказание за многократное прелюбодеяние с Ганимедом, как объяснил Калигула в написанном высоким слогом письме к сенату. И тут же принялся распространяться о собственной снисходительности. Ведь они хуже обыкновенных проституток, ни у одной порядочной проститутки не хватило бы наглости заломить такую цену, какую требовали — и получали — Лесбия и Агриппинилла за участие в оргиях, а он их даже

не казнил!

Я не имел оснований жалеть племянниц. Они были по-своему так же дурны, как Калигула, и относились ко мне крайне недоброжелательно. Когда у Агриппиниллы за три года до того родился ребенок, она спросила Калигулу, как бы он посоветовал его назвать. Калигула сказал: «Назови его Клавдием, и он обязательно станет красавцем». Агриппинилла так разозлилась, что чуть не ударила Калигулу: вместо этого она обернулась и плюнула в мою сторону, а затем разрыдалась. Младенца назвали Луций Домиций. Лесбия была слишком горда, чтобы обращать на меня внимание или как-то показать, что она меня замечает. Если мы встречались в узком коридоре, она обычно продолжала идти прямо посередине, не замедляя шага, и я вынужден был прижиматься к стене. Мне приходилось напоминать себе, что это дети моего милого брата и что я обещал Агриппине сделать все возможное ради них.

На мои плечи было возложено довольно затруднительное для меня поручение — поехать во главе делегации из четырех экс-консулов в Лион, чтобы поздравить Калигулу с раскрытием заговора. Это была моя первая самостоятельная поездка во Францию, и лучше бы я ее не совершал. Мне пришлось взять у Кальпурнии деньги на дорожные расходы, так как на мое поместье и дом до сих пор не нашелся покупатель, а ждать, что Калигула очень мне обрадуется, я вряд ли мог. Я отплыл из Остии и сошел на берег в Марселе. После того как Калигула отправил в изгнание моих племянниц, он продал с аукциона драгоценности, украшения и наряды, которые они привезли с собой, и получил за них очень высокую цену: он тут же распродал и их рабов, а затем и вольноотпущенников под видом рабов. Покупали их богатые жители провинции, которым хотелось похвастаться: «Да, это и это принадлежало сестрам императора. Я купил все эти вещи лично у него». Успех навел Калигулу на новую мысль. Старый дворец, где жила некогда Ливия, стоял заколоченный. Там было полно ценной мебели и картин и реликвий, оставшихся после Августа. Калигула послал за этим добром в Рим, возложить на меня ответственность за их благополучное и незамедлительное прибытие в Лион. Он писал: «Пришли все сушей, а не морем. Я еще в ссоре с Нептуном». Письмо это пришло накануне того дня, когда я должен был отплыть, поэтому я перепоручил это дело Палланту. Трудность заключалась в том, что все свободные лошади и повозки были изъяты для обоза новой армии. Но Калигула отдал приказ, значит, и тягловая сила, и перевалочные средства должны были быть изысканы. Паллант отправился к консулам и показал им письмо Калигулы. Они были вынуждены реквизировать почтовые кареты, фургоны булочников и даже кляч, вертящих мельничные жернова, что причинило всем большие неудобства.

40 г. н. э.

Так вот и получилось, что как-то майским вечером, перед заходом солнца, Калигула, сидевший на парапете моста в Лионе и занятый воображаемой беседой с тамошним речным богом, увидел, как издали по дороге к нему приближаюсь я. Он узнал мои носилки по доске для игры в кости, которую я к ним приладил: я коротаю долгий путь, играя сам с собой. Калигула закричал сердито:

— Эй, ты, там, где повозки? Почему с тобой нет повозок?

Я крикнул в ответ:

— Благослови тебя небо, цезарь! К сожалению, повозки придут только через несколько дней. Они двигаются сушей через Геную. Я с моими спутниками прибыл по воде.

— Так и обратно отправишься по воде, голубчик, — ответил он. — Пожалуй-ка сюда.

Когда я приблизился к мосту, два германских солдата стащили меня с носилок, отнесли к среднему пролету и посадили на парапет спиной к реке. Калигула

подбежал и столкнул меня. Я перевернулся два раза в воздухе и полетел вниз — казалось, я пролетел тысячу футов, пока не коснулся воды. Помню, я сказал себе: «Родился в Лионе, умер в Лионе». Рона — река очень холодная, очень глубокая и очень быстрая. Тяжелая тога облепила мне руки и ноги, но я все же умудрился не пойти ко дну и даже выбраться на берег за излучиной, в полумиле от моста. Я куда лучше плаваю, чем хожу, у меня сильные руки, и так как я довольно толстый — я мало двигаюсь и люблю поесть, — я держусь на воде, как пробка. Кстати, мой племянник вообще не умел плавать.

Калигула был очень удивлен, когда несколько минут спустя увидел, что я ковыляю по дороге, и громко захохотал над моим видом — я весь перепачкался в вонючей тине.

— Где ты был, дорогой Вулкан? — крикнул он.

Ответ был у меня наготове:

— То громовержец

...меня, побужденного сердцем на помощь,
Ринул, за ногу схватив, и низвергнул с небесного прага:
Несся стремглав я весь день и с закатом блестящего
солнца
Пал на божественный Лемнос, едва сохранивший
дыханье.
Там синтийские мужи меня дружелюбно прияли, —

под «Лемносом» понимай «Лион», — сказал я.

Калигула сидел на парапете, а перед ним лежали ничком в ряд остальные трое членов нашей делегации. Ноги Калигулы стояли на шеях двух из них, а кончик меча упирался в спину третьего — мужа Лесбии, который с рыданиями молил о пощаде.

— Клавдий, — простонал он, услышав мой голос. — Уговори императора нас отпустить, мы явились лишь принести ему наши поздравления.

— Мне нужны повозки, а не поздравления, — сказал Калигула.

Казалось, Гомер написал отрывок, из которого я перед этим уже процитировал несколько строк, специально для этого случая. Я сказал мужу Лесбии:

— «...Претерпи и снеси, как ни горестно сердцу!» Я же молю тебя только

...не дай на себе ты увидеть
Зевса ударов; бессилен я буду, хотя и крушася,
Помощь подать: тяжело Олимпийцу противиться Зевсу!

Калигула был в восторге. Он спросил экс-консулов, моливших о пощаде:

— Во сколько вы цените свою жизнь? В пятьдесят тысяч золотых за каждого?

— Сколько ты скажешь, цезарь, — еле слышно отвечали они.

— Тогда выплатите эту сумму бедному Клавдию, как только вернетесь в Рим. Его хорошо подвешенный язык спас вам жизнь.

После этого он разрешил им подняться и заставил, не сходя с места, подписать обязательство о выплате мне в трехмесячный срок ста пятидесяти тысяч золотых.

Я сказал Калигуле:

— Всемиловитейший цезарь, ты нуждаешься в деньгах больше, чем я. Ты не откажешься принять от меня сто тысяч золотых, когда я их получу, в знак благодарности за мое собственное спасение? Если ты соизволишь принять дар, у меня еще останутся пятьдесят тысяч, и я смогу расплатиться с тобой, внося полностью вступительный взнос. Меня очень беспокоит этот долг.

Калигула сказал:

— Как тебе будет угодно, лишь бы ты обрел спокойствие духа, — и назвал меня своей «золотой монеткой».

Так что Гомер выручил меня. Но несколько дней спустя Калигула предупредил, чтобы я больше не цитировал Гомера:

— Этого автора сильно переоценили. Я собираюсь изъять его книги и сжечь их. Почему бы мне не осуществить на практике рекомендации Платона? Ты помнишь его «Государство»? Его доводы весьма убедительны. Платон считал, что поэтов вообще нельзя пускать в его идеальное государство, так как, говорил он, все они лгут. И он совершенно прав.

Я спросил:

— Собираешься ли ты, о божественный цезарь, сжечь стихи других поэтов, кроме Гомера?

— Непременно. Всех, кого слишком высоко оценили. Для начала — Вергилия. Он очень скучен. Хочет быть Гомером, но у него это не получается.

— А историков?

— Да. Ливия. Еще скучнее. Хочет быть Вергилием, но у него это не выходит.

Глава XXXII

Калигула потребовал дать ему результаты последнего официального имущественного ценза и, изучив его, вызвал в Лион самых богатых людей Франции, чтобы обеспечить хорошие цены, когда из Рима прибудет дворцовое добро. Перед началом аукциона он произнес речь. Калигула сказал, что он — несчастный банкрот, обремененный огромной задолженностью, но он надеется, что ради блага империи его дорогие друзья из провинции и благодарные союзники примут в расчет его трудное финансовое положение. Он просит их предлагать настоящую цену за фамильные вещи, которые он, к своему прискорбию, вынужден продать с торгов.

Мало того, что Калигула выучил все обычные трюки аукционистов, он придумал еще немало новых фокусов, куда более хитрых, чем те, что были доступны простым рыночным торговцам, у которых он заимствовал свой жаргон. Например, он продавал один и тот же предмет нескольким покупателям, каждый раз по-иному расписывая его историю и достоинства. Под «настоящей» ценой Калигула понимал «диктуемую чувством» цену, которая всегда оказывалась в сто раз больше, чем действительная. Он говорил, к примеру: «Это было любимое кресло моего прадедушки Марка Антония», или: «Божественный Август пил на своей свадьбе из этой чаши», или: «В этом платье моя сестра, богиня Пантея, была на приеме, данном царю Ироду Агриппе в ознаменование его освобождения из тюрьмы...» и так далее. И он продавал «кота в мешке», как он это называл, — небольшие предметы, завернутые в материю. Когда Калигуле удавалось обманом всучить кому-нибудь за две тысячи золотых старую сандалию или кусок черствого сыра, он был невероятно доволен собой.

Аукцион всегда начинался с резервированной цены; Калигула кивал кому-нибудь из богатых французов и говорил: «Ты, кажется, предложил за этот алебастровый ларец сорок тысяч? Благодарю. Но посмотрим, нельзя ли получить за него больше. Кто скажет сорок пять тысяч?» Сами понимаете, что страх подгонял покупателей. Калигула ободрал всех, кто там собрался, до нитки и, чтобы отметить это, устроил великолепный десятидневный праздник.

Затем Калигула направил свой путь в рейнские провинции. Он заявил, что намерен объявить германцам войну, которая кончится их поголовным истреблением. Его священный долг — завершить дело, начатое дедом и отцом. Калигула послал за Рейн два полка, чтобы установить местонахождение ближайшего противника. Было взято около тысячи пленных. Калигула осмотрел их и, отобрав триста крепких

юношей для своей охраны, выстроил остальных в один ряд у скалы. На обоих концах оказалось по лысому человеку. Калигула отдал Кассию приказ: «Убей их всех — от одного лысого до другого — в отмщение за смерть Вара». Известие об этой бойне достигло германцев, и они ушли в свои непроходимые леса. Когда Калигула вместе со своей армией переправился на другой берег, он никого там не обнаружил. В первый же день похода Калигула, чтобы развлечься, отправил несколько германских телохранителей в соседний лес, и к ужину те принесли известие, что «враг» совсем близко. Калигула ринулся в атаку во главе «разведчиков» и эскадрона гвардейской кавалерии. Он привел обратно захваченных жителей, заковав их в цепи, и объявил, что им одержана сокрушительная победа над превосходящими силами противника и взято много пленных. Калигула наградил своих товарищей по оружию новым военным орденом «Зоркий глаз», представлявшим собой золотой обруч, украшенный солнцем, луной и звездами из драгоценных камней.

На третий день похода дорога подошла к узкому ущелью. Армии пришлось построиться в колонну. Кассий сказал Калигуле:

— Вот в почти таком же месте, цезарь. Вар попал в засаду. Мне не забыть этого до самой смерти. Я шел во главе своей роты, и только мы достигли поворота дороги, вроде того, к которому мы сейчас подходим, как вдруг из-за группы елей, вон как та, впереди, раздался оглушительный боевой клич, и на нас со свистом обрушились три или четыре сотни ассагаев...

— Мою кобылу, быстро! — в панике вскричал Калигула. — Расступись!

Он спрыгнул с носилок, вскочил на Пенелопу (Инцитат оставался в Риме для участия в гонках) и помчался галопом обратно, к концу колонны. Через четыре часа он снова был у Рейна, но мост оказался забит повозками, а Калигула так стремился поскорее попасть на другую сторону реки, что он сошел с лошади, сел в кресло и велел солдатам передавать себя с рук на руки от повозки к повозке, пока не очутился в безопасности на противоположном берегу. Он тут же велел армии повернуть назад, объявив, что противник слишком труслив, чтобы принять бой, и поэтому он будет искать новых побед в ином месте. Когда армия вновь собралась в Кельне, Калигула пошел маршем вниз по Рейну, затем пересек его и направился к Булони, расположенной ближе всех остальных портов к Британским островам. Случилось так, что сын Кинобелина, короля Британии, поссорился в это время с отцом и, услышав о приближении Калигулы, покинул страну, переправился через пролив с несколькими сторонниками и отдал себя под защиту Рима. Калигула, уже сообщивший сенату о полном покорении Германии, теперь написал, что царь Кинобелин прислал к нему сына в знак признания владычества Рима над всем Британским архипелагом — от островов Силли до Оркнейских островов.

От начала до конца этой экспедиции я находился при Калигуле; нелегкое это было дело — улаживать его. Он жаловался на бессонницу и говорил, что его враг Нептун донимает его постоянным шумом волн в ушах, а ночью является ему и грозит трезубцем. Я сказал:

— Нептун? Я бы на твоём месте не позволил этому нахалу себя запугать. Почему ты не накажешь его, как наказал германцев? Ты ведь, если память мне не изменяет, однажды уже обещал ему это сделать, если он и впредь будет издеваться над тобой. Сколько можно проявлять снисхождение? Это большая ошибка.

Калигула посмотрел на меня, тревожно прищутив глаза.

— Ты думаешь, я безумен? — спросил он, помолчав.

Я боязливо рассмеялся.

— Безумен, цезарь? Ты спрашиваешь, считаю ли я тебя безумным? Да ты образец здравомыслия для всего обитаемого мира.

— Знаешь, Клавдий, — сказал он доверительно, — очень трудно быть богом в людском обличье. Я часто думаю, уж не схожу ли я с ума. Говорят, в таких случаях

хорошо помогает чемерица из Антикиры. Как ты считаешь?

Я сказал:

— Один из величайших греческих философов, но я сейчас не могу припомнить, кто именно, пользовался чемерицей, чтобы его ясный разум стал еще ясней. Но если ты спрашиваешь моего совета, я скажу: «Не надо тебе никакой чемерицы. Твое сознание ясно, как горное озеро».

— Да, — сказал он, — но я хотел бы спать больше трех часов в ночь.

— Ты и три часа спишь из-за своего людского обличия, — сказал я. — Боги вообще не спят.

Калигула успокоился и на следующий день стянул всю армию на побережье для битвы с Нептуном; впереди стояли лучники и пращники, затем германцы из вспомогательных войск с ассагаями и наконец, позади всех, французы. Кавалерия была на флангах; на песчаных дюнах расположились осадные орудия, баллисты и катапульты. Никто и понятия не имел, что будет дальше. Калигула въехал верхом на Пенелопе в море, пока вода не дошла ей до колен, и закричал:

— Нептун, старинный враг мой, защищайся! Вызываю тебя на смертный бой. Ты вероломно погубил флот моего отца, не так ли? Испробуй свою мощь на мне, если осмелишься.

И прочитал строку из Гомера, ту, где Аякс борется с Улиссом:

— «Ты подымай, или я подыму; А решит Олимпиец!»

На берег накатилась большая волна. Калигула презрительно рассмеялся и пронзил ее мечом. Потом спокойно вернулся на берег и велел трубить сигнал наступления. Лучники выпустили стрелы, пращники метнули камни, копьеносцы — дротики и копья, пехотинцы вошли в воду до подмышек и принялись рубить волны, кавалеристы кинулись в море с флангов и проплыли несколько шагов, размахивая саблями, баллисты извергали каменные ядра, а катапульты — огромные дротики и бревна с железными наконечниками. Затем Калигула сел на военный корабль, велел бросить якорь там, куда не долетали ядра, и принялся выкрикивать нелепые угрозы по адресу Нептуна и плевать за борт. Нептун не сделал никаких попыток защитить себя или ответить, если не считать того, что одного солдата ущипнул омар, а другого обожгла медуза.

Наконец Калигула приказал трубить отбой и велел солдатам вытереть кровь с мечей и собрать трофеи. Трофеями были морские ракушки на берегу. Каждый солдат должен был набрать их полный шлем и высыпать в общую кучу. Затем ракушки рассортировали, запаковали в ящики и отправили в Рим как доказательство его неслыханной победы. Солдаты сочли все это превосходной забавой, а когда Калигула к тому же выдал в награду по четыре золотых на человека, они приветствовали его оглушительными криками. В знак победы Калигула также выстроил очень высокий маяк наподобие знаменитого александрийского маяка, что оказалось великим благом для моряков в этих опасных водах.

Затем Калигула повел все войско обратно вверх по Рейну. Когда мы подошли к Бонну, он отозвал меня в сторону и хмуро шепнул:

— Полки так и не были наказаны за оскорбление, которое они мне нанесли, взбунтовавшись против отца, когда меня не было в лагере. Ты помнишь, мне пришлось вернуться и навести здесь порядок?

— Прекрасно помню, — ответил я. — Но ведь это было так давно. Прошло двадцать шесть лет; вряд ли успело много солдат из тех, кто служил тогда. Ты и Кассий Херея, пожалуй, единственные ветераны, оставшиеся в живых после того ужасного дня.

— Тогда я казню лишь каждого десятого, — сказал Калигула.

Солдатам Первого и Двадцатого полков было приказано собраться в одном месте, причем разрешено из-за жаркой погоды оставить оружие в палатках.

Гвардейской кавалерии также приказали явиться туда и взять с собой не только сабли, но и пики. Я заметил сержанта, который, судя по возрасту и количеству шрамов, вполне мог быть участником битвы при Филиппах. Я спросил:

— Сержант, ты знаешь меня?

— Нет, прошу прощения, не знаю. Похоже, что ты — экс-консул.

— Я — брат Германика.

— Право? Никогда не знал, что у него есть брат.

— Да, я не военный и вообще не очень важная персона. Но я хочу сказать вам, солдатам, одну важную вещь. Держите при себе мечи, когда пойдете днем на сбор.

— Почему, если мне будет позволено спросить?

— Потому что они вам могут пригодиться. Вдруг нападут германцы? Вдруг еще кто-нибудь...

Он пристально на меня посмотрел и увидел, что я не шучу.

— Большое спасибо, я передам всем твои слова.

Пехотинцев собрали вместе перед трибуналом, и Калигула, грозно нахмурясь, топая ногой и размахивая руками, обратился к ним с речью. Он начал с того, что напомнил им о некоей ночи ранней осенью много-много лет назад, когда небо было затянуто тучами... Здесь некоторые солдаты стали украдкой проскальзывать прочь через проход, оставшийся между двумя эскадронами кавалерии. Они отправились за оружием. Другие, не таясь, вытащили спрятанные под плащами мечи. Калигула, должно быть, это заметил, так как внезапно переменял тон прямо посреди фразы и принялся проводить сравнение между теми тяжелыми, к счастью забытыми, временами и теперешним славным, изобильным и победоносным правлением.

— Ваш маленький дружок стал мужчиной, — сказал он, — и могущественнейшим императором на свете. — Даже самый свирепый враг не осмеливается бросать вызов его непобедимым войскам.

Тут выскочил вперед мой старый сержант.

— Все пропало, цезарь! — вскричал он. — Противник пересек реку у Кельна — триста тысяч человек. Они отправились грабить Лион... а затем они перейдут через Альпы и разграбят Рим.

Никто не поверил этой бессмысленной истории, кроме Калигулы. Он позеленел от страха, спрыгнул с трибунала, схватил поводья, плюхнулся в седло и с быстротой молнии исчез из лагеря. Следом за ним помчал грум, и Калигула, обернувшись, крикнул ему:

— Слава богам, что у меня есть Египет! Там мне ничто не грозит. Германцы — плохие моряки.

Как все смеялись! Но вдогонку за Калигулой поскакал один из полковников и довольно скоро его нагнал. Он заверил императора, что опасность преувеличена. Реку пересек, сказал он, лишь небольшой отряд, да и его отбросили назад; наш берег полностью очищен от врага. Калигула остановился в ближайшем городе и отправил в сенат письмо, сообщая, что все его походы увенчались победой и он со своим славным войском возвращается в Рим. Калигула сурово упрекал остававшихся дома трусов за то, что они, судя по всему, продолжали вести обычный образ жизни — театры, бани, пиры, — в то время как он подвергался жесточайшим невзгодам, ел, пил и спал, как обыкновенный рядовой.

Сенаторы не знали, как его умиловить, ведь Калигула строго-настрого запретил сенату оказывать ему какие-либо почести по собственному почину. Они все же отрядили к нему посланцев с поздравлениями по поводу его блистательных побед и мольбами поспешить обратно в Рим, где его так недостает. Калигула страшно рассердился на то, что ему не назначили триумфа, даже вопреки его приказаниям, и на то, что в послании сената его называли не Юпитер, а всего лишь — император Гай Цезарь. Он похлопал по рукояти меча и вскричал: «Поспешить обратно? Само собой,

поспешу, и вот с этим в руках!»

Калигула начал приготовления к тройному триумфу — в честь победы над Германией, над Британией и над Нептуном. В качестве британских пленных он мог воспользоваться сыном Кинобеллина и его сторонниками, к которым он прибавил команды нескольких британских торговых судов, задержанных в Булони. Германские пленники у него были — целых триста человек настоящих и самые высокие французы, каких он сумел найти, в белокурых париках и германском платье, болтающие между собой на тарабарском, якобы германском, языке. Но, как я уже говорил, сенаторы боялись назначить ему официальный триумф, поэтому ему пришлось довольствоваться неофициальным. Калигула въехал в город в том же облачении, в каком скакал через залив в Байи, и только заступничество Цезонии, которая была разумной женщиной, спасло сенаторов от гибели. Калигула награждал римлян за их прошлые щедрые пожертвования, осыпая их с крыши дворца градом серебряных и золотых монет; но он прибавил к ним раскаленные железные диски, чтобы напомнить гражданам Рима, что император не простил их за беспорядки в амфитеатре. Солдатам было сказано, что они могут сколько угодно шуметь и бесчинствовать, и сколько влезет пить за общественным счет. Они не только воспользовались этим разрешением, но разграбили множество лавок и сожгли дотла квартал проституток. Порядок не могли восстановить целых десять дней.

Это произошло в сентябре. Все то время, что Калигула отсутствовал, на Палатинском холме между храмом Кастора и Поллукса и дворцом Калигулы поспешно возводили новый храм, доходивший до самой рыночной площади. Приехав, Калигула превратил храм Кастора и Поллукса в вестибюль к новому храму, велел проделать проход между статуями богов. «Божественные близнецы — мои привратники», — хвастливо говорил он. Затем Калигула отправил письмо губернатору Греции с приказом изъять из храмов и отослать в Рим все самые известные статуи богов. Он намеревался отсечь им головы и заменить их скульптурными изображениями собственной головы. Больше всего Калигула жаждал заполучить колоссальную статую Юпитера Олимпийского. Он велел построить специальный корабль для ее перевозки. Но перед самым спуском на воду в корабль попала молния. Во всяком случае, такова была официальная версия — я думаю, что на самом деле суеверная команда сама сожгла корабль. Тут Юпитер Капитолийский раскаялся в своей ссоре с Калигулой (так Калигула нам сказал) и умолял его вернуться и жить рядом с ним. Калигула ответил ему, что новый храм уже практически закончен, но, поскольку Юпитер так смиренно просит у него прощения, он пойдет на компромисс — построит мост над долиной и соединит два холма. И он сделал это; мост проходил над самой крышей храма, посвященного Августу.

Калигула был публично признан Юпитером. Он был не только Латинский Юпитер, но и Юпитер Олимпийский, мало того, он воплощал в себе всех остальных богов и даже богинь, которых он обезглавил и награждал своей головой. Иногда он был Аполлоном, иногда Меркурием, а иногда Плутоном; в каждом отдельном случае он носил соответствующий наряд и требовал соответствующих жертвоприношений. Я видел, как он расхаживал, изображая Венеру, в длинном газовом одеянии, рыжем парике, туфлях на высоком каблуке, с накладным бюстом и размаляванным лицом. Он выступал в качестве Доброй Богини на ее ежегодном декабрьском празднике; стыд и срам. Его любимцем также был Марс, но чаще всего Калигула оставался Юпитером; он ходил тогда в масличном венке и ярко-голубом шелковом плаще, нацепив бороду из тончайшей золотой проволоки, держа в руке кусок янтаря с зазубренными краями, который изображал молнию. Однажды в таком наряде он произнес речь с ораторского амвона на рыночной площади.

— Я намереваюсь в скором времени, — сказал он, — построить для себя город на вершине Альп. Мы, боги, предпочитаем горные вершины душным речным долинам.

Я смогу обозревать оттуда всю свою империю — Францию, Италию, Швейцарию, Тироль и Германию. Если я увижу, что где-нибудь внизу готовится заговор, я пошлю всем в предупреждение раскат грома, вот так! (Он грозно зарычал.) Если на это не обратят внимания, я поражу предателя молнией, вот так! (Он метнул кусок янтаря в толпу. Тот ударился о статую и отскочил, не причинив никому вреда.)

Находившийся в толпе чужеземец, сапожник из Марселя, приехавший осматривать достопримечательности Рима, разразился смехом. Калигула велел его схватить и привести к ораторскому амвону. Наклонившись к нему и грозно нахмурясь, он спросил:

— Кто я, по-твоему?

— Пустозвон, — сказал сапожник.

Калигула не поверил своим ушам.

— Пустозвон? — переспросил он. — Я- пустозвон?

— Да, — сказал француз. — Я всего лишь бедный французский сапожник, и я первый раз в Риме, но ничего другого я сказать не могу. Если бы кто-нибудь у меня дома говорил то, что говоришь ты, его называли бы пустозвоном.

Калигула подхватил его смех.

— Бедный дурачок, — сказал он. — Конечно, называли бы. Но ведь это говорю я!

Все расхохотались, как безумные, но над кем они смеялись, над Калигулой или сапожником, было неясно. Вскоре после этого Калигула соорудил «небесную» машину. Он поджигал фитиль, раздавался раскат «грома», вспыхивала «молния», и из машины летели камни в ту сторону, куда он ее направлял. Но я знаю из достоверных источников, что, когда ночью гремел настоящий гром, Калигула прятался под кровать. Насчет этого есть одна забавная история. Однажды, когда он шествовал по улицам в обличий Венеры, началась гроза. Калигула принялся кричать: «Отец, отец, пощади свою красавицу дочь!»

Деньги, которые он привез из Франции, скоро кончились, но Калигула изобрел новые способы увеличить свой доход. Его излюбленным приемом было обследовать в судебном порядке завещания людей, не оставивших ему ничего в наследство. Он доводил до сведения суда о всех благодеяниях, оказанных им завещателям, и заявлял, что то ли они забыли про благодарность, то ли, когда писали завещание, не были в здравом уме; он предпочитает думать последнее. Затем он аннулировал завещание и назначал себя основным наследником. Он обычно приходил в суд рано утром и писал на доске сумму, которую намеревался получить в тот день, чаще всего двести тысяч золотых. Когда он ее получал, он закрывал судебное заседание. Однажды утром Калигула издал новый эдикт о часах торговли различных лавок. Он велел начертать его крошечными буквами на небольшом листке и прибить выше человеческого роста на колонне посреди рыночной площади, где никто не потрудился его прочитать, не догадываясь, как он важен. В тот же день были переписаны имена нескольких сот торговцев, невольно нарушивших эдикт. Когда началось судебное разбирательство. Калигула разрешил тем, кто был в состоянии это сделать подать суду просьбу, чтобы им позволили ради смягчения приговора назначить его сонаследником совместно с собственными детьми. Мало кто смог этим воспользоваться. Теперь зажиточные люди, как правило, уведомляли императорского казначея, что Калигула назначается их основным наследником. Но и тут они просчитались. Калигула стал пользоваться ларцом с лекарствами, полученным в наследство от бабки Ливии, и как-то раз отправил в подарок тем, кто недавно включил его в свое завещание, корзинки с засахаренными фруктами. Завещатели скоропостижно умерли, все до одного. Калигула также вызвал в Рим моего родича, царя Марокко, и убил его, сказав без околичностей: «Мне нужно твое состояние, Птоломей».

Во время отсутствия императора в Риме осудили сравнительно мало людей,

тюрьмы пустовали, а значит, не хватало жертв для диких зверей. Калигула возместил эту нехватку за счет зрителей, причем сперва им отрезали язык, чтобы они не могли позвать на помощь друзей. У Калигулы становилось все больше причуд. Как-то раз жрец должен был принести ему в жертву молодого бычка — в тот день Калигула выступал в роли Аполлона. Обычная процедура заключалась в том, что прислужник оглушал животное ударом каменного топора по лбу, а жрец перерезал ему горло. Калигула вошел в храм, переодетый прислужником, и задал положенный по ритуалу вопрос: «Можно?» Когда жрец ответил: «Бей», — Калигула опустил топор и размозжил ему голову.

Я все еще жил в бедности с Кальпурнией и Брисеидой. и, хотя долгов у меня не было, денег не было тоже, не считая небольшого дохода с поместья. Я не забывал показывать Калигуле, как я беден, и он милостиво разрешил мне оставаться в сословии сенаторов, хотя я больше не имел на это права по своему имущественному положению. Но я чувствовал себя с каждым днем все менее прочно. Однажды в октябре в полночь меня разбудил оглушительный стук в парадную дверь. Я высунул голову в окно спальни.

— Кто там? — спросил я.

— Тебя немедленно требуют во дворец.

Я сказал:

— Это ты, Кассий Херея? Ты не знаешь, меня убьют?

— Мне приказано немедленно привести тебя к нему.

Кальпурния заплакала, Брисеида тоже, и обе нежно расцеловали меня на прощание. В то время как они помогали мне одеться, я поспешно говорил им, как распорядиться оставшимся у меня небольшим имуществом, что делать с маленькой Антонией, как устроить похороны и так далее. Это была очень трогательная сцена, но я не осмеливался ее затягивать. Скоро я уже хромал рядом с Кассием по пути во дворец. Кассий сказал угрюмо: «Вместе с тобой вызвали еще двух экс-консулов». Он назвал мне их имена, и я перепугался еще больше. Это были богатые люди, как раз из тех, кого Калигула обычно обвинял в заговоре против себя. Но при чем тут я? Я пришел во дворец первым. Двое остальных прибежали почти сразу за мной, задыхаясь от спешки и страха. Нас провели в зал суда и велели сесть на похожем на эшафот помосте напротив трибунала. За нами, переговариваясь вполголоса на своем языке, стояла стража из германских солдат. Комната была погружена во мрак, если не считать две небольшие масляные лампы на трибунале. Окна позади, как я заметил, были завешены черными занавесями, вышитыми серебряными звездами. Мы молча пожали друг другу руки. В прошлом я много натерпелся от этих людей, но кто вспоминает о таких мелочах, когда у порога стоит смерть? Так мы просидели в ожидании до самого рассвета.

Внезапно раздался звон цимбал и веселые звуки гобоев и скрипок. Из двери сбоку трибунала вышли гуськом рабы, каждый — с двумя светильниками, которые они поставили на столы у стен; и тут громкий голос евнуха запел известную песню «Когда ночные стражи...». Рабы удалились. Послышался звук шагов, и в комнату «впорхнула» высокая неуклюжая фигура в женской розовой тунике, с короной из искусственных роз на голове. Это был Калигула.

Розовоперстая богиня

Отдернет ночи звездный полог...

При этих словах Калигула раздвинул занавеси, и мы увидели первый проблеск рассвета: затем, когда евнух дошел до того места, где розовоперстая Заря тушит один за другим светильники, Калигула и это изобразил в своем танце. Пуф. Пуф. Пуф.

И где влюбленные таятся,
Застыв в тенетах нежной страсти...

Тут с ложа, которого мы не заметили, так как оно было в алькове, «богиня Заря» совлекла нагих девушку и мужчину и жестами показала, что им пора расставаться. Девушка была на редкость красива. Мужчина оказался евнухом, который пел. Они разошлись в разные стороны с горестным видом. Когда прозвучал последний куплет:

Заря, Богиня, всех ты краше,
Ты поступью своею чудной
Тревоги умиряешь наши... —

у меня хватило ума простереться на полу. Остальные поспешили последовать моему примеру. Калигула, сделав антраша, убежал со сцены, и вскоре нас позвали позавтракать с ним. Я сказал:

— О, бог богов! Никогда в жизни я не был свидетелем танца, который доставил бы мне такое же наслаждение. Мне не хватает слов, чтобы описать его прелесть.

Остальные присоединились ко мне и воскликнули:

— Какая жалость, что такое несравненное представление было дано перед такой крошечной аудиторией!

Калигула самодовольно сказал, что это была только репетиция. А представление он даст в одну из ближайших ночей в амфитеатре, собрав туда весь город. Я не совсем представлял, как он сможет повторить сцену с занавесями в огромном открытом амфитеатре, но благоразумно промолчал. Завтрак был очень вкусный, и старший экс-консул, сидевший на полу, попеременно ел пирог с дроздами и целовал ногу Калигулы. Я подумал о том, как обрадуются Кальпурния и Брисеида, когда я вернусь, и тут Калигула, бывший в прекрасном настроении, вдруг сказал:

— Хорошенькая девушка, не правда ли, Клавдий, старый греховодник?

— Очень хорошенькая, божественный.

— И до сих пор девственница, насколько мне известно. Ты не хочешь на ней жениться? Я не возражаю. Она мне было приглянулась, но, смешное дело, мне не нравятся незрелые женщины, да и зрелые тоже, если на то пошло, кроме Цезонии. Ты ее узнаешь?

— Нет, бог богов. Сказать по правде, я смотрел только на тебя.

— Она твоя родственница, Мессалина, дочь Барбата. Старый сводник даже слова не сказал, когда я попросил прислать ее ко мне. Какие они все трусы, Клавдий!

— Да, божественный бог.

— Ну и прекрасно, завтра я вас поженю. А сейчас я, пожалуй, отправлюсь в постель.

— Тысяча благодарностей. Прими мое глубочайшее почтение.

Калигула протянул мне для поцелуя другую ногу. Он исполнил свое обещание и на следующий день нас поженил. Он взял одну десятую приданого как плату за услугу, но в остальном вел себя достаточно пристойно. Кальпурния была в восторге, что я остался жив, и сделала вид, будто моя женитьба ее не трогает. Она сказала деловым тоном:

— Все хорошо, дорогой. Я вернусь в поместье, стану присматривать там за хозяйством. Ты не будешь скучать по мне с такой хорошенькой женой. А раз у тебя завелись деньги, тебе придется снова жить во дворце.

Я сказал, что жену мне навязали, и я буду очень, очень скучать по своей Кальпурнии. Но она отмахнулась от моих слов: Мессалина в два раза ее красивее, в три раза умней, да к тому же родовита и богата. Я уже в нее влюблен, сказала

Кальпурния.

Я чувствовал себя неловко. Все эти четыре тяжких года Кальпурния была моим единственным настоящим другом. Чего только она не делала для меня! И все же она была права: я действительно влюбился в Мессалину, и Мессалина должна была стать моей женой. Для Кальпурнии больше не было места.

Уезжала она в слезах. Я тоже плакал. Я никогда не был увлечен ею, но я знал, что она — мой самый верный друг, и если я буду в ней нуждаться, всегда придет мне на помощь. Нет нужды говорить, что, получив приданое, я про нее не забыл.

Глава XXXIII

Мессалина была на редкость красивая девушка, стройная и проворная, с черными, как гагат, глазами и копной черных кудрявых волос. Она почти все время молчала и улыбалась загадочной улыбкой, сводившей меня с ума. Она была так рада ускользнуть от Калигулы и так быстро сообразила, какие преимущества принес ей наш брак, что держалась со мной очень нежно, и я вообразил, будто она любит меня не меньше, чем я ее. Впервые с детства я был по-настоящему влюблен, а когда не очень умный и не очень привлекательный мужчина пятидесяти лет влюбляется в очень привлекательную и очень умную пятнадцатилетнюю девушку, ничего хорошего его обычно не ждет. Поженились мы в октябре, в декабре она забеременела. Мессалина, по-видимому, привязалась к маленькой Антонии, которой шел тогда десятый год, и я вздохнул с облегчением: наконец-то у девочки появилась мать, которая к тому же по возрасту годилась ей в подруги и могла объяснить, как надо вести себя в обществе, и вывезти в свет, чего Кальпурния была сделать не в состоянии.

Нас с Мессалиной опять пригласили жить во дворце. Мы прибыли туда в неудачный момент. Купец по имени Басс расспрашивал начальника дворцовой стражи о привычках Калигулы — правда ли, что он бродит ночью по галереям, так как его мучит бессонница? В какое время это бывает? Какие галереи он предпочитает? Сколько телохранителей его сопровождает? Начальник стражи сообщил об этом Кассию, а Кассий — Калигуле. Басса арестовали и подвергли допросу. Он был вынужден признаться в намерении убить Калигулу, но даже под пытками утверждал, что у него нет пособников. Тогда Калигула послал за его стариком отцом, приказав явиться на казнь сына. Старик, не подозревавший о планах Басса и об его аресте, пришел в ужас, увидев на полу стонущего сына с переломанными костями. Но он взял себя в руки и поблагодарил Калигулу за то, что тот милостиво призвал его закрыть сыну глаза.

— Закрыть сыну глаза! Вот еще! Да у него сейчас и глаз не будет, у этого убийцы. Я выколю их. И твои тоже.

Отец Басса сказал:

— Пощади нашу жизнь, цезарь. Мы — только орудие в руках могущественных людей. Я назову тебе все имена.

Это заинтересовало Калигулу, а когда старик назвал в числе заговорщиков командующего гвардией, начальника германцев, Каллиста-казначей, Цезонию, Мнестера и еще три-четыре имени, он позеленел от страха.

— А кого они хотели сделать императором вместо меня? — спросил он.

— Твоего дядю Клавдия.

— Он тоже участвует в заговоре?

— Нет. Они просто хотели использовать его как подставное лицо.

Калигула поспешно вышел из комнаты и велел позвать к нему командующего гвардией, начальника германцев, казначей и меня. Он спросил, указывая на меня пальцем:

— Разве этот годится в императоры?

Все ответили удивленно:

— Нет, если ты сам так не скажешь. Юпитер.

Тогда Калигула улыбнулся жалостной улыбкой и воскликнул:

— Я — один, а вас трое. Двое из вас вооружены, а я безоружен. Если вы ненавидите меня и хотите убить, убивайте и объявите этого бедного идиота императором вместо меня.

Мы все упали перед ним ниц, и военные протянули ему с пола оружие, говоря:

— У нас этого и в мыслях не было, о повелитель! Разве мы предатели? Если не веришь, убей нас.

Представляете, он действительно готов был нас убить! Но пока он колебался, я сказал:

— О всемогущий, полковник, вызвавший меня сюда, сказал мне о том, какое обвинение выдвинул против этих преданных тебе людей отец Басса. То, что это ложь, видно само собой. Если бы Басс действовал по их наущению, зачем бы ему было расспрашивать о твоих привычках? Разве он не мог бы получить все необходимые сведения от них самих? Нет, просто отец Басса решил спасти жизнь сына и свою собственную жизнь грубой ложью.

По-видимому, мои доводы убедили Калигулу. Он протянул мне руку для поцелуя, велел нам всем троим встать и вернул владельцам мечи. Басс и его отец были разрублены германцами на куски. Но Калигула не мог избавиться от страха, что его убьют, и страх этот вскоре еще усугубился дурными предзнаменованиями. Сперва в сторожку привратника при дворце попала молния. Затем Инцитат, приглашенный как-то вечером на ужин, встал на дыбы, и у него слетела подкова, разбившая алебастровую чашу Юлия Цезаря и расплескавшая на пол вино. Самым зловещим было то, что произошло в Олимпии, когда по приказанию Калигулы храмовые прислужники стали разбирать статую Юпитера на части, чтобы перевезти ее в Рим. Прежде всего должны были снять голову, чтобы она послужила меркой для головы Калигулы ей на смену. К потолку храма прикрепили блок, обвязали шею Юпитера веревкой и только собрались потянуть, как по всему храму прокатился громовой хохот. Прислужники в панике бросились бежать. Никого достаточно смелого, чтобы занять их место, найти не удалось.

Поскольку «неколебимая твердость» Калигулы заставила всех трепетать при одном упоминании его имени, Цезония посоветовала ему проявлять больше снисходительности, чтобы римский народ любил, а не боялся его. Она понимала, настолько опасно его положение, а ведь если с ним что-нибудь случится, она тоже лишится жизни, разве что станет известно, какие она прилагала старания, чтобы смягчить жестокость императора. Калигула же вел себя на редкость безрассудно. Он отправился по очереди к командующему гвардией, казначею и начальнику германцев и доверительно сказал каждому из них: «Тебе я верю, но остальные замышляют заговор против меня, считай их моими смертельными врагами». Те сообщили об этом друг другу, и когда действительно был организован заговор, они закрыли на это глаза. Калигула сказал, что он считает правильным совет Цезонии и благодарит за него, он, несомненно, последует ему, когда помирится со своими недругами. Он созвал сенат и обратился к нам в следующем тоне: «Скоро, мои враги, я дам вам всем амнистию и буду царствовать с любовью и миром тысячу лет. Таково предсказание. Но прежде чем наступит золотая эра, по полу этого здания покатятся головы и кровь фонтаном будет бить в потолок. Вас ждут безумные пять минут». Мы бы предпочли, чтобы сначала настала золотая эра, а уж потом — «безумные пять минут».

Организовал заговор Кассий Херея. Он был солдат старой школы, привыкший слепо повиноваться приказам старших по званию. Дело должно было дойти до крайности, чтобы человек такого склада подумал о заговоре против своего

главнокомандующего, которому он торжественно присягал на верность. Калигула безобразно обошелся с Кассием. Он твердо обещал ему пост командующего гвардией, а затем без всяких объяснений отдал его офицеру, совсем недолго служившему в армии и не имевшему никаких заслуг, в награду за то, что тот отличился во время попойки во дворце: вызвался осушить огромный кувшин вина, не отнимая его от губ, и сделал это — я не спускал глаз, — мало того, не изверг вино обратно. Кроме того, Калигула назначил его сенатором. Кассию поручались самые неприятные дела — сбор налогов, которые на самом деле не подлежали выплате, конфискация собственности за несовершеннолетние преступления, казнь невинных людей. И, наконец, Калигула заставил его подвергнуть пытке прекрасную, к тому же высокородную, девушку по имени Квинтилия. История была такова. К Квинтилии сваталось несколько молодых людей, но тот, кого прочил ей в мужа ее опекун, совсем ей не нравился. Девушка умоляла опекуна разрешить ей выбрать себе мужа среди остальных, и он согласился. Был назначен день свадьбы. Отвергнутый претендент, один из «разведчиков», отправился к Калигуле и выдвинул против своего соперника обвинение, сказав, что тот богохульствовал, называя своего августейшего повелителя «лысая дама». В качестве свидетельницы он назвал Квинтилию. Девушку и ее нареченного привели к Калигуле. Оба отрицали свою вину. Обоим было приказано вздернуть на дыбу. Кассий не смог скрыть своего отвращения, так как по закону пытать можно было только рабов. Заметив это, Калигула велел ему самому, своими руками, поворачивать блок. Квинтилия не издала ни стона, не произнесла ни слова во время этого испытания, а после сказала Кассию, который не мог удержаться от слез:

— Бедный полковник, я не питаю к тебе зла. Порой очень тяжело повиноваться приказам.

Кассий ответил с горечью:

— Лучше бы я умер в тот день вместе с Варом в Тевтобургском лесу.

Квинтилию снова привели к Калигуле, и Кассий доложил, что она ни в чем не призналась и даже ни разу не застонала. Цезония сказала Калигуле:

— Это потому, что она любит этого человека. Любовь побеждает все. Можешь разрезать ее на части, она все равно его не выдаст.

Калигула спросил:

— А ты была бы ради меня такой же храброй?

— Сам знаешь, что да, — сказала Цезония.

Поэтому жениха Квинтилии не пытали: он получил помилование, а самой Квинтилии дали в счет приданого восемь тысяч золотых из имущества «разведчика», казненного за лжесвидетельство. Но Калигула прослышал про слезы Кассия во время пытки и стал дразнить его старым плаксом. И это было еще не самое худшее, что он говорил. Сделав вид, будто он верит, что Кассий — сентиментальный престарелый педераст, Калигула все время отпускал по его адресу грязные шуточки в присутствии других гвардейских офицеров, которые были вынуждены им смеяться. Каждый день в полдень Кассий являлся к Калигуле за паролем. Раньше тот говорил «Рим», или «Август», или «Юпитер», или «Победа», или что-нибудь в этом роде, но теперь, чтобы досадить Кассию, Калигула придумывал всякую чепуху, вроде «Сандалии», или «Щипцы для завивки», или «Поцелуй меня, сержант», или «Любовь, только любовь», и Кассий должен был передавать эти пароли остальным офицерам и терпеть их насмешки. Он решил убить Калигулу.

Калигула стал еще безумнее. Однажды он вошел ко мне в комнату и сказал без всяких предисловий:

— У меня будет три императорских города, но Рим в их число не войдет. Один в Альпах, другой — вместо Рима — в Антии, ведь я там родился, и он заслуживает этой чести, к тому же он расположен на море, а третьим станет Александрия, на случай,

если германцы захватят два первых. Александрия — очень просвещенный город.

— Да, божественный, — смиренно ответил я.

И тут он вдруг вспомнил, что его называли лысой дамой — у него на макушке действительно светилась лысина, — и закричал:

— Как ты смеешь находиться в моем присутствии с такой уродливой шапкой волос на голове? Это богохульство!

Он обернулся к германским телохранителям:

— Отрубите ему голову!

Я опять подумал, что моя песенка спета. Но у меня хватило присутствия духа резко сказать германцу, который устремился ко мне с мечом в руках:

— Что ты делаешь, идиот! Бог не говорил «отрубите», он сказал: «остригите». Беги за ножницами, да побыстрей.

Калигула опешил. Он, возможно, и правда подумал, что сказал «остригите». Он разрешил германцу принести ножницы, и меня остригли наголо. Я попросил разрешения Калигулы посвятить ему состриженные волосы, и он милостиво дал на это согласие. После чего всем во дворце, за исключением германцев, велели остричься наголо. Когда очередь дошла до Кассия, Калигула сказал:

— Ах, какая жалость! Такие миленькие кудерки, и полковник так ими гордится!

В тот вечер Кассий встретил мужа Лесбии. Он был близким приятелем Ганимеда, и, судя по тому, что обронил в то утро Калигула, жить ему оставалось недолго. Муж Лесбии сказал:

— Добрый вечер, Кассий Херея, мой друг. Какой сегодня пароль?

Муж Лесбии ни разу еще не называл Кассия «мой друг», поэтому Кассий внимательно на него посмотрел.

Муж Лесбии — его звали Марк Виниций — снова сказал:

— Кассий, у нас много общего, и, когда я говорю «друг», я это и имею в виду. Какой сегодня пароль?

— «Кудерки», — ответил Кассий. — Но, мой друг Марк Виниций, если я действительно могу считать тебя своим другом, дай мне пароль «Свобода», и мой меч в твоём распоряжении.

Виниций обнял его.

— Мы не единственные, кто готов пустить в ход мечи ради свободы. Тигр тоже с нами.

«Тигр» — настоящее имя его было Корнелий Сабин — был гвардейский полковник, который обычно сменял Кассия, заступая вместо него на службу.

41 г. н. э.

На следующий день начались Палатинские игры. Этот праздник в честь Августа был учрежден Ливией в самом начале правления Тиберия и отмечался ежегодно в южном дворе старого дворца. Начинался он с жертвоприношений Августу и символической процессии, а затем в течение трех дней шли всякие увеселения: театральные спектакли, пение, танцы, выступления фокусников и тому подобное. Для зрителей воздвигались деревянные трибуны на шестьдесят тысяч мест. Когда праздник заканчивался, трибуны разбирали и прятали до следующего года. На этот раз Калигула продлил праздник с трех дней до восьми, перемежая представления гонками колесниц в цирке и потешными морскими боями на искусственном озере. Он хотел развлекаться до самого отъезда в Александрию, назначенного на двадцать пятое января. Калигула отправлялся в Египет, чтобы осмотреть достопримечательности, чтобы раздобыть денег при помощи своей «неколебимой твердости» и тех трюков, которые он пустил в ход во Франции, чтобы составить планы перестройки Александрии и, наконец, чтобы, как он хвастался, приделать новую голову Сфинксу.

Итак, праздник начался. Калигула совершил жертвоприношение Августу, но делал это довольно небрежно, с надменным видом, как хозяин, который из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств вынужден прислуживать одному из своих рабов. Когда церемония окончилась, Калигула объявил, что, если у присутствующих здесь граждан есть к нему просьбы, которые в его власти выполнить, он окажет им эту милость. Последнее время Калигула был сердит на римлян за то, что они не проявили достаточного энтузиазма на устроенной им травле диких зверей, и наказал их тем, что закрыл на десять дней городские амбары с зерном; но, возможно, он уже их простил, так как в тот день разбрасывал с крыши дворца деньги. Поэтому со всех сторон раздались радостные крики: «Больше хлеба, меньше налогов, цезарь! Больше хлеба, меньше налогов!» Калигула пришел в ярость. Он послал вдоль скамей взвод германцев, и те снесли не меньше сотни голов. Этот случай обеспокоил заговорщиков; он напомнил им о жестокости германцев и их фанатической преданности Калигуле. К этому времени в Риме вряд ли оставался хоть один человек, который не мечтал бы о смерти императора и не отправил бы его с радостью, как говорится, к праотцам, но для своих телохранителей Калигула был самый великий герой на свете. И если он наряжался в женское платье, или, пустившись в галоп, покидал на марше армию, или заставлял Цезонию раздеваться донага и похвалялся перед ними ее красотой, или сжигал свою самую красивую виллу в Геркулануме на том основании, что там два дня прожила пленницей его мать на пути в изгнание на остров, где она затем умерла, — эти необъяснимые поступки лишь подтверждали его божественность и делали его еще более достойным поклонения. Германцы глубокомысленно кивали друг другу и говорили: «Да, все боги такие. Никогда нельзя сказать, что они сделают. Туискон и Манн у нас дома, на нашей дорогой и милой родине, такие же в точности».

Кассия не пугала опасность, ему было все равно, что случится с ним самим, лишь бы убить Калигулу, но остальные заговорщики, настроенные менее решительно, стали подумывать о мести германцев, которую они навлекут на себя, убив их героя. Они начали искать отговорки, и Кассий не мог заставить их принять определенный план действий. Они предлагали положиться на случай. Кассий встревожился. Он назвал их трусами и обвинил в том, что они стараются выиграть время. Он сказал, что на самом деле они хотят, чтобы Калигула уехал в Египет целым и невредимым. Наступил последний день праздника. Кассий с большим трудом уломал остальных заговорщиков согласиться на вполне осуществимый план, и тут Калигула вдруг объявил, что праздник будет продлен еще на три дня. Он сказал, что намерен играть и петь в пьесе, которую он сочинил для жителей Александрии, но считает несправедливым не показать ее сперва своим соотечественникам.

Это дало более трусливым заговорщикам новый предлог для проволочек.

— Но, Кассий, это совершенно меняет дело. Теперь все куда легче. Мы можем убить его в последний день праздника, когда он уйдет со сцены. Это куда удобнее. Или когда пойдет на нее. Что тебе больше нравится.

Кассий отвечал:

— Мы составили план и поклялись привести его в исполнение. Мы должны следовать ему, это очень хороший план. Без единого изъяна.

— Но у нас теперь предостаточно времени. Почему не подождать еще три дня?

Кассий сказал:

— Если вы не осуществите наш замысел сегодня, как поклялись, мне придется действовать в одиночку. У меня мало шансов справиться с германцами, но я сделаю, что смогу. Если они станут меня одолевать, я закричу: «Виниций, Аспренат, Бубон, Аквила, Тигр, почему вы не здесь, как вы мне клятвенно обещали?»

Поэтому им пришлось согласиться привести в исполнение первоначальный план. Виниций и Аспренат должны были уговорить Калигулу уйти в полдень из театра,

чтобы искупаться в пруду и перекусить. Перед этим Кассий, Тигр и другие офицеры, участвовавшие в заговоре, должны были незаметно выскользнуть через служебный вход, обойти здание театра и подойти к крытой галерее, ведущей из театра прямо в новый дворец, а Аспренат и Виниций должны были убедить Калигулу воспользоваться этим коротким путем.

В тот день играли «Улисса и Цирцею», и Калигула обещал по окончании пьесы раздавать фрукты, пирожки и деньги. Естественно, он делал бы это со своего места возле ворот в театр, поэтому зрители стали собираться заранее, чтобы сесть к нему поближе. Когда открыли ворота, толпа наперегонки кинулась к крайним скамьям. Обычно женщины сидели вместе в одной части театра, отдельные сидения были отведены для всадников, сенаторов, знатных иностранцев и так далее. На этот раз все перемешалось. Я видел, как опоздавший сенатор был вынужден сесть между рабом-африканцем и женщиной с крашенными в шафрановый цвет волосами, в темном плаще, какие носят профессиональные проститутки. «Тем лучше, — сказал Кассий Тигру. — Чем большая здесь неразбериха, тем больше у нас шансов на успех».

Кроме германцев и самого Калигулы чуть не единственным человеком во дворце, кто ничего не слышал о заговоре, был бедный Клавдий. Произошло это потому, что бедного Клавдия тоже собирались убить, ведь он был дядей Калигулы. Вся семья Калигулы должна была быть убита. Заговорщики, по-видимому, боялись, что я объявлю себя императором и отомщу за смерть племянника. Они решили восстановить республику. Если бы только идиоты открылись мне, эта история имела бы совсем другой конец. Ведь я был более ревностным республиканцем, чем любой из них. Но они мне не доверяли и обрекли меня на смерть. Ну не жестоко ли это? Даже Калигула в некотором смысле больше знал о заговоре, чем я, так как получил из храма Фортуны Антийской предостережение: «Берегись Кассия». Но он неправильно его понял, решив, что речь идет о первом муже Друзиллы — Кассии Лонгине, и вызвал его из Малой Азии, где тот был губернатором. Калигула подумал, что Лонгин затаил на него зло за убийство Друзиллы, к тому же вспомнил, что тот был потомком Кассия, который участвовал в убийстве Юлия Цезаря.

Я пришел в театр в восемь часов утра и обнаружил, что привратник уже занял для меня место между командующим гвардией и начальником германцев. Командующий перегнулся через меня и спросил:

— Ты слышал новость?

— Какую? — сказал начальник германцев.

— Сегодня играют новую трагедию.

— Как она называется?

— «Смерть тирана».

Начальник германцев кинул на него быстрый взгляд и, нахмурясь, произнес:

Молчи, товарищ мой,
Иначе грек услышит нас с тобой.

Я сказал:

— Да, программу изменили. Мнестер покажет нам «Смерть тирана». Ее не играли много лет. Это про царя Кинира, который не захотел вступить в войну с Троей и был убит за свою трусость.

Представление началось; Мнестер был в великолепной форме. Когда он умирал на руках у Аполлона, он забрызгал всю сцену «кровью» из небольшого пузыря, спрятанного у него во рту. Калигула послал за ним и расцеловал в обе щеки. Кассий и Тигр проводили Мнестера в актерскую уборную, словно для того, чтобы защитить от назойливых поклонников. Затем вышли через служебный вход. Остальные

заговорщики, воспользовавшись суматохой во время раздачи денег, — следом за ними. Аспренат сказал

— Это было изумительно. А теперь как насчет купанья и легкого завтрака?

— Нет, — сказал Калигула, — я хочу посмотреть акробаток. Говорят, они очень хороши. Думаю, что я досижу до конца. Это последний день.

Он был в чрезвычайно благодушном настроении.

Виниций поднялся. Он хотел предупредить Кассия, Тигра и остальных, чтобы они не ждали. Калигула потянул его за плащ.

— Не убегай, приятель. Ты должен посмотреть этих девушек. Одна исполняет танец, который называется «танец рыбы»; когда на нее смотришь, кажется, будто ты сам глубоко-глубоко под водой.

Виниций сел и полюбовался танцем рыбы. Но сперва ему пришлось посмотреть от начала до конца небольшую мелодраму под названием «Лавреол, или Главварь разбойников», где убийство шло за убийством. Актеры — не из лучших — раздобыли, в подражание Мнестеру, пузыри с краской. Вы не представляете, какое море «крови» они вылили на сцену! Когда танец рыбы окончился, Виниций снова поднялся.

— Сказать по правде, божественный, я бы и рад был остаться, но меня призывает Очистительница. Видно, я съел какую-то гадость.

Пусть плавно выйдут эти подношенья —
Не слишком быстро, но без промедленья.

Калигула рассмеялся:

— Только не вини в этом меня, дорогой. Ты — один из моих лучших друзей. Я ни за что на свете не стал бы приправлять твою еду.

Виниций вышел через служебный вход и подошел к Кассию и Тигру, ждавшим во дворе.

— Лучше вернитесь, — сказал он. — Он будет смотреть представление до конца.

Кассий сказал:

— Прекрасно. Давайте вернемся. Я готов убить его там, где он сидит. Надеюсь, вы меня поддержите.

В этот самый момент к Кассию подошел гвардеец и сказал:

— Мальчики наконец прибыли, полковник.

Дело в том, что некоторое время назад Калигула отправил письмо в греческие города Малой Азии, приказывая каждому из них прислать в Рим по десять высокорожденных мальчиков, чтобы они танцевали на празднике национальный танец с мечами и пели гимн в его честь. Это был только предлог, чтобы заполучить их в свои руки: они будут ценными заложниками, когда Калигула обратит свой гнев против Малой Азии. Мальчики должны были прибыть на несколько дней раньше, но на Адриатике штормило, и они задержались в Корфу. Тигр сказал:

— Немедленно сообщи это императору.

Гвардеец поспешил в театр.

А меня все сильнее мучил голод. Я шепнул Вителлию, сидевшему позади:

— Неплохо было бы, если бы император вышел перекусить, и мы могли последовать его примеру.

Туг подошел гвардеец и сообщил о прибытии греческих мальчиков. Калигула сказал Аспренату:

— Великолепно. Они смогут выступить сегодня днем. Мне надо немедленно их увидеть и прорепетировать гимн. Пойдемте, друзья! Сперва репетиция, затем купанье, завтрак, а потом снова сюда.

Мы вышли. Калигула остановился у ворот, чтобы распорядиться насчет

дневного представления. Я по крытой галерее пошел вперед с Вителлием, двумя военачальниками и сенатором по имени Сенций. У входа я заметил Кассия и Тигра. Они не поздоровались со мной, как с остальными, это показалось мне странным. Когда мы дошли до дворца, я сказал:

— Ну и голоден же я! Я слышу по запаху, что готовят оленину. Надеюсь, эта репетиция не затянется надолго.

Мы были в вестибюле пиршественного зала. «Странно, — подумал я, — ни одного капитана, здесь только сержанты». Я вопросительно обернулся к своим спутникам, но — еще одна странность — обнаружил, что все они исчезли. И тут вдалеке послышались крики и визг, затем снова крики. Я не мог понять, что происходит. Кто-то пробежал мимо окна, крикнув: «Все кончено! Он мертв!» Спустя две минуты от театра донесся ужасающий рев, словно там началась резня. Рев тянулся и тянулся, но вот он затих, а затем послышалось громовое «ура»! Я кое-как поднялся в свою библиотеку и, дрожа всем телом, рухнул на стул.

Бюсты Геродота, Полибия, Фукидида и Азиния Поллиона смотрели на меня со своих постаментов. Их бесстрастные черты словно говорили: «Настоящий историк должен быть выше политических смут своего времени». Я решил вести себя как настоящий историк.

Глава XXXIV

А произошло вот что. Калигула вышел из театра. Его ждали носилки, чтобы отнести в новый дворец кружным путем между двумя рядами гвардейцев. Но Виниций сказал:

— Давай пойдем напрямик. По-моему, греческие мальчики ждут там у входа.

— Хорошо, пошли, — согласился Калигула.

Кое-кто из зрителей хотел последовать за ним, но Аспренат отстал и оттеснил их обратно.

— Император не желает, чтобы его беспокоили, — сказал он, — убирайтесь! — и велел привратникам закрыть ворота.

Калигула подошел к крытой галерее. Навстречу ему вышел Кассий и спросил:

— Какой сегодня пароль, цезарь?

Калигула сказал:

— Что? А, да, пароль. Кассий. Я дам тебе прекрасный пароль: «Юбка старика».

Тигр спросил из-за спины Калигулы: «Можно?» — это был условный сигнал.

— Бей! — крикнул Кассий, выхватывая из ножен меч и изо всех сил ударяя Калигулу.

Он хотел рассечь ему череп до подбородка, но, ослепленный яростью, промахнулся и попал между шеей и грудью. Главный удар пришелся по ключице. Калигула пошатнулся от боли и изумления. Он в ужасе оглянулся по сторонам, затем повернулся и побежал. Однако Кассий успел еще раз ударить его и рассек ему челюсть. Затем Тигр повалил Калигулу на землю ударом по голове, но тот медленно поднялся на ноги.

— Бей снова! — закричал Кассий.

Калигула возвел глаза к небу, на лице его отразилась мука.

— О, Юпитер! — взмолился он.

— Изволь! — вскричал Тигр и отсек ему руку.

Последний удар острием меча в пах нанес капитан по имени Аквила, но и после этого еще десять мечей вонзились в грудь и живот Калигулы, чтобы не было сомнений в его конце. Капитан по имени Бубон погрузил руку в рану Калигулы на боку и облизал пальцы.

— Я поклялся, что буду пить его кровь! — крикнул он.

Собралась толпа, поднялась тревога: «Германцы! Идут германцы!» У убийц не было никаких шансов противостоять целому батальону германцев. Они кинулись в ближайшее здание; им оказался мой старый дом, временно взятый у меня Калигулой под жилье для иностранных послов, которых он не хотел селить во дворце. Заговорщики пошли в парадную дверь и выбежали через черный ход. Все, кроме Тигра и Аспрената. Тигр сделал вид, что он тут ни при чем, и присоединил свой голос к германцам, взывавшим о мщении. Аспренат вбежал в крытую галерею, где германцы схватили и убили его. Убили они также двух сенаторов, которые случайно попались им по пути. Но это был лишь небольшой отряд германцев. Весь остальной батальон вошел в театр и закрыл за собой ворота. Они намеревались отомстить за смерть своего героя, вырезав там всех до одного. Отсюда те крики и визг, которые я слышал. Никто из зрителей не знал, что Калигула убит; они даже не знали, что на его жизнь покушались. Но намерения германцев были достаточно ясны, так как они похлопывали и поглаживали свои ассагаи и разговаривали с ними, точно с живыми, как принято у них перед тем, как пустить в ход это ужасное оружие. Спасения не было. Вдруг со сцены раздался сигнал трубы «Внимание!», за которым прозвучали шесть нот, означающих «Императорский приказ». На сцену вышел Мнестер и поднял руку. И сразу же шум умолк — слышались лишь тихие рыдания и приглушенные стоны, — так как, согласно приказу Калигулы, всякий, кто осмеливался издать хоть звук, когда на сцене появлялся Мнестер, тут же подвергался смерти. Германцы тоже перестали похлопывать и поглаживать ассагаи и прекратили заклинания. Сигнал трубы превратил их в статуи.

Мнестер вскричал:

— Он не умер, граждане! Ничего подобного. Убийцы напали на него, и под их ударами он упал на колени. Вот так! Но тут же снова поднялся. Вот так! Мечи не могут одержать победу над нашим божественным цезарем. Раненый, окровавленный, он все же встал на ноги. Вот так! Он поднял свою августейшую голову и прошел божественным шагом — вот так! — сквозь ряды трусливых растерянных убийц. Его раны зажили, свершилось чудо! Сейчас он на рыночной площади обращается с горячей речью к своим подданным с ораторского амвона.

Раздалось громовое «ура!», германцы вложили мечи в ножны и вышли из театра. Своевременная ложь Мнестера (подсказанная ему, по правде говоря, Иродом Агриппой, царем иудеев, единственным человеком в Риме, кто не растерялся в тот роковой день) спасла шестьдесят тысяч жизней, а возможно, и больше.

Но во дворце к этому времени уже узнали, что в действительности произошло, и там начался переполох. Несколько старых солдат решили воспользоваться удобным случаем и стали рыскать по комнатам в поисках поживы, делая вид, будто разыскивают убийц. На всех дверях во дворце были золотые ручки, равные по стоимости солдатскому жалованию за полгода, которые легко было сбить ударом меча. Я услышал крики: «Убей их, убей их! Отомстим за цезаря!», — и спрятался за занавесями. В комнату пошли два солдата. Они заметили мои ноги.

— Выходи, убийца. От нас не спрячешься.

Я вышел и пал ниц.

— Н-не у-убивайте м-меня, г-господа, — сказал я. — Я ни-ни в ч-чем н-не в-виноват.

— Кто этот старикан? — спросил один из солдат, недавно переведенный во дворец. — У него совсем безобидный вид.

— Ты что, не знаешь? Это брат Германика, инвалид. Он — ничего. Совершенно безвредный. Поднимайся, друг. Мы тебя не тронем.

Имя этого солдата было Грат.

Они заставили меня спуститься вместе с ними в пиршественный зал, где сержанты и капралы держали военный совет. Молодой сержант стоял на столе,

размахивая руками, и кричал:

— К черту республику! Наша единственная надежда — новый император. Любой император, лишь бы нам удалось убедить германцев его признать!

— Инцитат, например, — предложил кто-то и заржал.

— Да, клянусь богами! Лучше старая кляча, чем никто. Нам нужно немедленно найти кого-нибудь, чтобы успокоить германцев, не то они все тут разнесут.

Мои двое солдат протолкались через толпу, таща меня за собой.

— Эй, сержант! Посмотри, кто тут у нас! — крикнул Грат. — Нам, кажется, повезло. Это старый Клавдий. Чем не император? Лучшего человека на это место во всем Риме не сыщешь, хоть он и прихрамывает чуток и малость заикается.

Громкое «ура!», смех и крики:

— Да здравствует император Клавдий!

Сержант извинился:

— Прости, господин, мы думали, тебя нет на свете. Но ты нам подходишь по всем статьям. Поднимите его повыше, ребята, чтобы всем было видно.

Два дюжих капрала схватили меня за ноги и посадили себе на плечи.

— Да здравствует император Клавдий!

— Опустите меня! — в ярости закричал я. — Опустите меня! Я не хочу быть императором! Я отказываюсь быть императором! Да здравствует республика!

Но они только расхохотались:

— Надо же такое сказать! Не хочет быть императором, говорит! Стесняется!

— Дайте мне меч! — закричал я. — Я лучше покончу с собой!

К нам подбежала Мессалина.

— Соглашайся, Клавдий. Ради меня. Ради нашего ребенка. Нас всех убьют, если ты откажешься! Цезонию уже убили. А дочку ее схватили за ноги и разmozжили голову о стену!

— Все будет хорошо, господин, когда ты попривыкнешь, — сказал, улыбаясь, Грат. — Императорам не так уж плохо живется, право слово.

Больше я не протестовал. Что толку спорить с судьбой? Подгоняемый солдатами, я чуть не бегом направился в Большой двор под аккомпанемент глупейшего гимна, сочиненного, когда Калигула стал императором: «Поем Германика приход, он город наш от бед спасет». (Одно из моих имен тоже Германик.) Меня заставили надеть золотой венок Калигулы из дубовых листьев, отнятый у одного из мародеров. Чтобы не упасть, я крепко вцепился в плечи капралов. Венок то и дело сползал на ухо. Я чувствовал себя дурак дураком. Говорят, что я был похож на преступника, которого ведут к месту казни. Собранные вместе трубачи играли «Императорский салют».

На нас лавиной надвигались германцы. Они узнали от сенатора, вышедшего к ним навстречу в глубоком трауре, что Калигула действительно умер, были в ярости оттого, что их обманули, и хотели вернуться в театр, но театр опустел, и теперь они не знали, как поступить дальше. Поблизости не осталось никого, кроме гвардейцев, а гвардейцы были вооружены. «Императорский салют» положил конец колебаниям: они кинулись вперед с криком:

— Хох! Хох! Да здравствует император Клавдий! — и, яростно потрясая ассагаями в знак своей верности, стали протискиваться через толпу гвардейцев, стремясь поцеловать мне ноги.

Я крикнул, чтобы они не приближались, и они тут же пали передо мной ничком на землю. Раз за разом меня обносили вокруг двора.

Как по вашему, какие мысли и воспоминания пролетали у меня в голове в этот поворотный момент? Думал ли я о предсказании сивиллы, об упавшем мне в руки волчонке, о совете Поллиона или сне Брисеиды? О деде и свободе? Об отце и свободе? О трех своих предшественниках — Августе, Тиберии и Калигуле, об их

жизни и смерти? Об опасности, все еще угрожающей мне со стороны заговорщиков, сената и гвардейцев в лагере? О Мессалине и нашем нерожденном ребенке? О бабке Ливии и обещании ее обожествить, если я когда-нибудь стану императором? О Постуме и Германике? Об Агриппине и Нероне? О Камилле? Нет, вы никогда не угадаете, какие мысли проносились у меня в уме. Но я буду откровенен и сам скажу вам это, хотя признание не делает мне чести. Я думал: «Так, значит, я — император. Какая чепуха! Но теперь я по крайней мере смогу заставить людей читать мои книги. Стану устраивать публичные декламации для больших аудиторий. Книги-то неплохие, на них ушло тридцать пять лет тяжелого труда. Это не будет нечестно. Поллион собирал себе слушателей, давая великолепные обеды. Он был очень разумный историк и „последний из римлян“. В моей „Истории Карфагена“ полно занимательных эпизодов. Я уверен, что она всем понравится».

Вот что я думал. Думал я также о том, что теперь, когда я стал императором, у меня появилась возможность познакомиться с секретными архивами и выяснить, какие события на самом деле произошли в том или ином случае. Сколько запутанных историй еще надо распутать! Какой чудесный жребий для историка! Как вы видите, я действительно не упустил своих возможностей. И даже привилегией опытных историков подробно излагать разговоры, зная только их суть, я почти не воспользовался.

1934

Комментарии

Действие романа Р. Грейвза заканчивается 24 января 41 г., когда солдаты преторианской гвардии, случайно натолкнувшись во дворце на Клавдия, провозгласили его императором. Сенату, поставленному перед совершившимся фактом, не оставалось ничего иного, как поднести Клавдию все обычные титулы, которые получал глава государства. Первой задачей нового правителя империи было умиротворение всех партий. За убийство Калигулы казнены были только Кассий Херея и несколько главных заговорщиков. Как сообщает Иосиф Флавий («Иудейские древности», XIX, 270), голову Херее по его просьбе отрубили тем же самым мечом, которым он нанес удар Калигуле. Остальные лица, так или иначе замешанные в заговоре, были прощены. Клавдий приложил все усилия, чтобы стереть из памяти римлян годы жестокого правления своего предшественника: бумаги Калигулы были сожжены, ссыльные возвращены, новые налоги постепенно отменены, статуи Калигулы уничтожены.

Клавдий правил государством четырнадцать лет. Во время его правления завершился важный процесс, начавшийся еще при Цезаре и Августе, — реорганизация административной системы и создание бюрократического аппарата империи. Для управления огромным имуществом императора были созданы четыре дворцовые канцелярии, во главе которых Клавдий поставил своих вольноотпущенников — Полланта, Нарцисса, Каллиста и Полибия. Возникшие для управления частным хозяйством императора, дворцовые канцелярии постепенно превратились в центральные органы имперского управления.

Внешняя политика Клавдия была весьма энергичной и успешной — к империи были присоединены новые территории, зависимые царства вошли в более тесный контакт с имперской администрацией. Самым крупным достижением было завоевание Британии. В 43 г. пятидесятитысячная римская армия высадилась на юго-востоке острова и перешла Темзу. К театру военных действий прибыл Клавдий, на глазах у которого римляне разбили войска царя Каратака. Клавдий справил

триумф, а его сын получил почетное имя Британник. К концу жизни Клавдия были также завоеваны центральные районы Британии. В своей провинциальной политике Клавдий продолжал линию Цезаря на романизацию. Многие провинциалы получили права римского гражданства. В 48 г. сенат по настоянию Клавдия даровал право доступа в свой состав галлам.

Террористический режим, установившийся в Риме при предшественниках Клавдия, был смягчен, процессы об оскорблении величества прекратились. Тем не менее за время правления Клавдия, согласно античным источникам, было казнено 35 сенаторов и 300 всадников. Часть казненных принимала участие в заговорах против Клавдия, часть оказалась жертвами зависти и корыстолюбия третьей жены императора — Мессалины, часть — жертвами властолюбия его последней жены, Агриппины. Античные авторы рисуют Клавдия человеком слабым и безвольным, ставшим жалкой игрушкой в руках своих жен и вольноотпущенников. Эта характеристика справедлива по отношению к последним годам правления Клавдия — реальная власть постепенно ускользала из его рук.

В семейной жизни Клавдия преследовали неудачи. Мессалина своим распутством и разнузданностью сумела поразить даже издававшее виды римское общество. Когда Клавдий узнал, что она публично справила свадебные обряды со своим любовником Гаем Силием, он приказал казнить Силия и нескольких знатных римских всадников, с которыми Мессалина имела любовные связи. Сама Мессалина была убита по приказанию Нарцисса, опасавшегося, что Клавдий ее пощадит. После ее смерти Клавдий женился на своей племяннице Агриппине, у которой к этому времени был сын от первого брака — будущий император Нерон. Брак дяди с племянницей по римским законам считался кровосмесительным, однако в императорском Риме воля императора была выше законов — дело было улажено, и сенат вынес постановление, разрешающее подобные браки. Агриппина обладала твердым характером и сильной волей. Ее целью было сделать императором своего сына, и этой цели она добивалась, сметая с пути все препятствия, включая самого Клавдия, который был ею отравлен в 54 г. ядом, положенным в изысканное грибное блюдо.

Из римских авторов, переведенных на русский язык, о Клавдии и его предшественниках можно прочесть у Тацита (Корнелий Тацит. Соч.: в 2 т. Том 1. Анналы. Малые произведения. Л., 1970) и Светония (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964).

И. Левинская

Божественный Клавдий

Глава I

Прошло два года с тех пор, как я закончил свое долгое повествование о том, как я, Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, увечный заика, которого все его честолюбивые жестокосердные родичи считали дурачком, не стоящим того, чтобы его казнить, отравить, толкнуть на самоубийство, отправить в изгнание на необитаемый остров или уморить голодом — именно так они один за другим избавлялись друг от друга, — умудрился пережить их всех, даже моего безумного племянника Гая Калигулу, и в один прекрасный день неожиданно для себя самого был благодаря капралам и сержантам гвардейской дворцовой стражи провозглашен императором.

41 г. н. э.

На этом драматическом событии я и поставил точку, что для профессионального историка, вроде меня, просто непростительно. Историк не имеет права внезапно прерывать рассказ в самом кульминационном месте и оставлять читателей в неизвестности. Строго говоря, мне следовало хоть немного продолжить свое повествование и поведать вам, что думала вся остальная армия по поводу столь неконституционного поступка гвардейцев, что думал об этом сенат, какие чувства вызывала у них необходимость признать правителем Рима такого человека, как я, от которого они не ждали ничего хорошего, и не привело ли все это к кровопролитию, и какая судьба постигла Кассия Херею, Аквилу, Тигра — все до единого офицеры гвардии — и других убийц Калигулы, в том числе мужа моей племянницы Виниция. Так нет же, последние строки предыдущего тома посвящены совершенно неуместным мыслям, пронесившимся у меня в уме, в то время как, напялив мне на голову венок Калигулы из золотых дубовых листьев, меня раз за разом обносили в самой неудобной позе на плечах двух капралов вокруг Большого дворцового двора под приветственные крики гвардейцев.

Прервал я свое повествование на этом месте по одной-единственной причине — я пишу не столько, чтобы сообщить об исторических событиях, сколько желая попросить прощения за то, что позволил себе стать монархом римского мира. Вы, возможно, помните, если читали первый том книги, что и дед мой, и отец были убежденные республиканцы, и я пошел по их стопам. Правление моего дяди Тиберия и племянника Калигулы только усугубили мое предубеждение против монархии. Мне минуло пятьдесят к тому времени, как меня провозгласили императором, а в этом возрасте мы не так-то легко меняем свои политические взгляды. Я хотел прежде всего показать, сколь мало я стремился к власти и сколь трудно было противостоять гвардейцам — не уступил я тут же их капризу, это привело бы не только к моей собственной смерти, но и к смерти моей жены Мессалины, в которую я был страстно влюблен, и неродившегося еще ребенка. (Интересно, почему мы испытываем такую нежность к неродившемуся ребенку?) Особенно мне неприятно, что потомки могут заклеить меня как хитрого приспособленца, который притворился дурачком, был тише воды и ниже травы, пока не дождался благоприятного момента, а когда прослышал о дворцовом заговоре против императора, храбро вышел вперед, заявив свои права на престол. Продолжение моей истории в этом, втором, томе должно служить оправданием тому далеко не прямому курсу, которого я придерживался все тринадцать лет, что правлю империей. Другими словами, я надеюсь объяснить свои, казалось бы, несообразные поступки на разных этапах правления их связью с принципами, которых я не скрывал и которым — клянусь в этом — никогда намеренно не изменял. Если это мне не удастся, я надеюсь по крайней мере показать читателям, в каком исключительно трудном положении я оказался, — пусть они сами решат, были ли у меня выбор, каким иным курсом я мог идти.

Итак, продолжаю с того места, где я прервал нить своего повествования. Прежде всего разрешите мне повторить, что все могло обернуться куда хуже, если бы в Риме в это время случайно не гостил царь Иудеи Ирод Агриппа. Он единственный не потерял головы в критическую минуту и предотвратил резню, которая угрожала всем зрителям, находившимся в театре на Палатинском холме, от руки германцев — телохранителей императора. Тем, кто читал первую половину моей книги, может показаться странным, что до самых последних страниц они не встретили ни одного прямого упоминания об этом поразительном человеке, хотя в ряде случаев наши жизненные пути переплетались самым тесным образом. Дело в том, что, отдай я должное его необыкновенным эскападам — увлекательнейшее чтение само по себе, — он стал бы чересчур важным персонажем книги, а передо мной стояла совсем иная цель. И без того моей повести постоянно грозило быть обремененной сведениями, почти не имеющими к ней отношения. И хорошо, что я

решил ранее о нем не писать, ибо Ирод Агриппа играет весьма значительную роль в тех событиях, о которых пойдет речь дальше, и я могу теперь, не боясь отклониться от темы, поведать историю его жизни до того самого дня, когда убили Калигулу, а затем продолжать ее одновременно со своей собственной, вплоть до его смерти. Мне удастся тогда избежать нарушения единства места, времени и действия, что было бы неизбежно, растяни я рассказ о его приключениях на два тома. Я не хочу сказать, что в своих исторических трудах я неукоснительно придерживаюсь этого единства: как вы уже заметили, я остерегаюсь формализма в литературе. Но по правде говоря, невозможно писать об Ироде, не придав повествованию несколько театральный характер. Ведь сам он вел себя в жизни как главный актер в драме, и остальные всегда и везде подыгрывали ему. Драма, в которой он играл, нарушала строгие классические каноны, и хотя в итоге жизнь его была оборвана самым традиционным для драмы образом, а именно, классическим возмездием богов за классическую провинность греков — гордыню, в драме этой было слишком много чуждых грекам элементов. К примеру: бог, обрушивший на него кару, не входит в любезное сообщество, обосновавшееся на Олимпе; пожалуй, более странного божества нельзя найти в моих обширных владениях, да и за их пределами, если на то пошло. Облик его неизвестен, имя запрещается произносить; в его честь преданные почитатели обрезают крайнюю плоть и совершают множество других странных, варварских ритуалов. Говорят, он живет в одиночестве в Иерусалиме, в старинном кедровом ларце, обшитом изнутри барсучьим мехом, выкрашенным в синий цвет, и не желает иметь ничего общего с другими богами и даже признавать их существование. К тому же в жизни Ирода Агриппы трагическое было так перемешано с комическим, что вряд ли хоть один греческий драматург Золотого Века счел бы ее для себя подходящей темой. Представляете, каково было бы дивному Софоклу, если бы перед ним стояла задача воспеть высоким поэтическим слогом долги Ирода Агриппы. Но, повторяю, наступило время подробно рассказать вам все то, о чем я раньше умолчал, и лучше всего будет прервать на этом самом месте мою старую историю и приняться за новую.

Итак, наконец я начинаю.

ИСТОРИЯ ИРОДА АГРИППЫ

Ирод Агриппа, следует сразу сказать, не был ни кровным родственником, ни свойственником знаменитого генерала Августа Марка Випсания Агриппы, который женился на единственной дочери Августа Юлии и стал благодаря этому браку дедом моего племянника Гая Калигулы и моей племянницы Агриппиниллы. Не был он и вольноотпущенником Агриппы, хотя это вполне могло прийти вам в голову, ведь в Риме среди вольноотпущенников принято, в знак благодарности, брать себе имя бывшего хозяина. Нет, дело обстояло иначе: его называл так в память о вышеназванном Агриппе, умершем незадолго до его рождения, дед Ирода, Ирод Великий, царь Иудеи. Этот ужасный, хотя и замечательный в своем роде старик владел тронном не только благодаря покровительству Августа, ценившего в нем полезного союзника на Ближнем Востоке, но и в не меньшей степени благодаря расположению Агриппы.

Предки Ирода вышли из Идумеи, или Эдома, как ее еще называют, гористой страны, лежащей между Аравией и Южной Иудеей, и были не евреями, а идумеями. Юлий Цезарь назначил Ирода Великого, которому тогда только-только исполнилось пятнадцать лет, губернатором Галилеи в том же году, когда его отец получил назначение в Иудею. У Ирода сразу же начались неприятности, так как, борясь с бандитами во вверенной ему области, он без суда и следствия приговаривал местных жителей к смерти и был вынужден предстать перед синедрионом —

верховным судилищем страны. Вел он себя там весьма вызывающе, явился на суд в пурпурной тоге, в сопровождении вооруженных солдат, но дожидаться приговора не стал и тайно покинул Иерусалим. Римский губернатор Сирии, к которому он обратился за защитой, дал ему новое назначение в своей провинции, поставив правителем земель, граничащих с Ливией. Короче говоря, этот Ирод Великий, отец которого тем временем умер от яда, был провозглашен царем Иудеи в совместном указе моего деда Антония и двоюродного деда Августа (или Октавиана, как его тогда называли), положившим начало его тридцатилетнему славному владычеству над землями, границы которых все время расширялись благодаря щедрости Августа. У него было, одна за другой, десять жен, среди них две — его родные племянницы; а умер он, после нескольких неудачных попыток самоубийства, от самой мучительной, вероятно, и мерзкой болезни, известной медицине. Я никогда не слышал другого ее названия, кроме как Иродова немочь, и не знал никого, кто болел бы ею до него; симптомы ее были следующие: волчий голод, рвота, гной в животе, трупное дыхание, черви, размножающиеся в половых органах и безостановочные жидкие выделения из кишечника. Недуг этот причинял ему невыносимые муки и доводил этого свирепого старика до умоисступления. Евреи считали, что на Ирода пала божья кара за его кровосмесительные браки. Его первой женой была Мариам из известного еврейского рода Маккавеев; Ирод страстно был в нее влюблен. Но однажды, уезжая из Иерусалима в Сирию, чтобы встретиться в Лаодикее с моим дедом Антонием, он отдал своему гофмейстеру тайный приказ: в случае, если он падет жертвой происков своих врагов, Мариам следовало умертвить, чтобы она не попала в руки Антония; такой же приказ он отдал позднее, отправляясь на Родос для встречи с Августом. (И Антоний, и Август слыли сластолюбцами.) Когда Мариам узнала об этих приказах, она, естественно, возмутилась и наговорила в присутствии матери и сестры Ирода много такого, о чем было бы разумнее промолчать, так как они завидовали власти Мариам над Иродом; не успел он вернуться, как они пересказали ему ее слова и обвинили в том, что в его отсутствие она, чтобы ему досадить, совершила прелюбодеяние, — в качестве ее любовника они называли того же гофмейстера. Ирод приказал их обоих казнить. Но затем его стало терзать такое жгучее горе и раскаяние, что он заболел лихорадкой, чуть не сведшей его в могилу, а когда поправился, нрав его сделался столь мрачным и жестоким, что малейшее подозрение приводило к казни даже ближайших друзей и родственников. Одним из многих, кто пострадал от гнева Ирода, был старший сын Мариам: оба — он и его младший брат — были казнены по ложному обвинению их сводного брата, которого Ирод впоследствии тоже казнил, в заговоре с целью покушения на жизнь отца. Услышав об этих казнях, Август остроумно заметил: «Я предпочел бы быть свиньей Ирода, чем его сыном». Будучи по вероисповеданию иудеем, Ирод Великий не мог есть свинины, и его свиньям, следовательно, ничто не мешало спокойно дожить до старости. Так вот, этот незадачливый принц, первенец Мариам, и был отцом моего друга Ирода Агриппы, которого Ирод Великий отправил в Рим в возрасте четырех лет — как только сделал его сиротой, — чтобы его воспитали при дворе Августа.

Ирод Агриппа и я были сверстниками и много общались между собой благодаря моему дорогому Постуму, сыну Агриппы, к которому Ирод Агриппа, естественно, привязался всей душой. Ирод был очень красивый мальчуган, один из тех, кого отмечал своей приязнью Август, когда приходил в школу для мальчиков играть в мраморные шарики, чехарду и «блинчики». Но какой же он был проказник! У Августа был любимый пес, один из этих огромных храмовых сторожевых псов с пушистым хвостом из Адрана возле Этны, который не повиновался никому, кроме Августа, разве что Август говорил ему: «Слушайся такого-то и такого-то, пока я снова тебя не позову». Пес делал, как ему было приказано, но надо было видеть, каким несчастным тоскливым взором он провожал уходящего хозяина. Ирод умудрился каким-то

образом заставить страдавшего от жажды пса выпить целую миску крепкого вина, и того развезло, как старого солдата из регулярных войск в день увольнения из армии. Ирод повесил ему на шею колокольчик, выкрасил хвост в желтый, а лапы и морду в пурпурно-красный цвет, привязал к ногам свиные пузыри, а к плечам — гусиные крылья и выпустил его в дворцовый двор. Когда Август, удивленный отсутствием своего любимца, позвал: «Ураган, Ураган, ты где?!» — это невероятное чудовище появилось в воротах, и, шатаясь из стороны в сторону, приблизилось к нему. Смешнее момента за весь так называемый Золотой Век римской истории я припомнить не могу. Но это случилось первого апреля во время сатурналий, так что Августу пришлось проглотить недовольство. У Ирода была ручная змея, которую он выучил ловить мышей; во время занятий он прятал ее в складках платья, чтобы развлекать товарищей, когда учитель поворачивался к ним спиной. Он настолько отвлекал всех от учебы, что в конце концов его отправили заниматься вместе со мной под руководством Афинодора, моего белобородого учителя с Тарса. Понятно, Ирод и тут принялся за свои фокусы, но Афинодор отнесся к ним так добродушно, а я так неодобрительно, потому что очень любил Афинодора, что Ирод все это быстро прекратил. У него были блестящие способности, особенно к языкам, и необыкновенная память. Афинодор однажды сказал ему:

— Ирод, я предвижу, что наступит время и ты займешь самый высокий пост у себя на родине. Ты должен посвятить каждую минуту своей юности подготовке к этому времени. При твоих талантах ты можешь стать правителем, не менее могущественным, чем твой дед, Ирод Великий.

Ирод ответил:

— Все это прекрасно, Афинодор, но у меня куча отвратительных родственников. Ты даже не представляешь себе, что это за головорезы; таких негодяев не встретишь, путешествуя хоть целый год; и с тех пор, как мой дед восемь лет назад умер, они, как я слышал, ничуть не стали лучше. Если я буду вынужден вернуться в свою страну, я не проживу и полгода. (То же самое, что говорил мой бедный отец, когда воспитывался здесь в семье Азиния Поллиона. И мой дядя Александр, живший тогда вместе с ним. И они были правы.) Мой дядя, царь Иудеи, тот же старый Ирод, только, в отличие от деда, в пороках его нет никакого величия, одна низость, а мои дядья Филипп и Антипа — два хитрых лиса.

— Одна-единственная добродетель — защита от множества пороков, — сказал Афинодор. — Не забывай, что евреи фанатично привержены добродетели, сильнее, чем любой другой народ в мире; если ты проявишь себя добродетельным, они пойдут за тобой, как один человек.

Ирод ответил:

— Добродетель евреев не очень-то соответствует греко-римской добродетели, в которой ты наставляешь нас, Афинодор. Но все равно, благодарю тебя за вещие слова. Можешь быть уверен: если я стану царем, я буду хорошим царем, но до тех пор, пока я не сел на трон, я не могу позволить себе быть более добродетельным, чем все остальные мои родичи.

Какой у Ирода был характер? Что вам сказать? Большинство людей — я сужу по своему опыту — ни добрые, ни злые, ни праведники, ни негодяи. Немножко того, немножко другого, а в основном — никакие, обыкновенные посредственности. Но некоторые немногие люди обладают одной характерной особенностью в самом крайнем ее проявлении и во всех случаях жизни остаются себе верны; именно эти люди оставляют самый сильный след в истории. Я делю их на четыре группы. В первую входят негодяи с каменным сердцем; ярким примером таких людей был Макрон, командующий гвардией при Тиберии и Калигуле. Затем идут праведники с таким же каменным сердцем, выдающимся примером которых был Катон Цензор, «бука» моего детства. К третьей группе относятся праведники с золотым сердцем,

такие, как Афинодор и мой бедный покойный брат Германик. А к последней и самой малочисленной группе — негодяи с золотым сердцем, и среди них трудно представить более идеальный образец, чем Ирод Агриппа. Именно они, эти негодяи с золотым сердцем, эти анти-Катоны, оказываются самыми верными друзьями в тяжелую минуту. Вы ничего от них не ждете. У них, по их собственным словам, нет никаких принципов, их заботит лишь собственное благо. Но обратитесь к ним, когда попадете в беду, и скажите: «Сделай для меня то-то и то-то, ради всего святого», и они обязательно окажут вам эту услугу, но вовсе не «по дружбе», а потому, скажут они, что это совпадает с их бесчестными планами, и не пожелают и слушать благодарностей. Эти анти-Катоны — игроки и моты, но это лучше, чем быть скрягой. Они водят компанию с пьянчугами, убийцами, темными дельцами и сводниками, однако сами редко бывают навеселе, а если они замешаны в убийстве, можете не сомневаться, что об убитом мало кто пожалеет; они выманивают обманом деньги у богатых обманщиков, а не у простодушных бедняков и не принуждают женщин к сожительству помимо их воли. Ирод всегда настаивал на том, что он прирожденный негодяй. На это я обычно возражал: «Нет, ты по сути своей праведник в маске негодяя», что очень его сердило. Месяца за два до смерти Калигулы мы беседовали с Иродом на эту тему. Под конец он спросил:

— Сказать тебе, кто ты?

— Зачем? — ответил я. — Я — официальный дворцовый дурак...

— Да, — сказал он, — есть дураки, делающие вид, что они умны, и умники, делающие вид, что они глупы, но ты первый из тех, кого я встречал, кто, будучи дураком, делает вид, что он дурак. Наступит день, дружок, когда ты сам увидишь, с каким праведным иудеем ты имеешь дело.

Когда Постум был отправлен в изгнание, Ирод сблизился с Кастором, сыном моего дяди Тиберия, и эта беспутная парочка имела репутацию самых отчаянных буянов в городе. Они всегда были в подпитии и, если верить слухам, большую часть ночи занимались тем, что залезали в чужие окна и вступали в стычки с городской стражей, ревнивыми мужьями и разгневанными отцами почтенных семейств. От деда, умершего, когда Ироду было шесть лет, он получил в наследство немалые деньги, но промотал их до последней монеты, как только они попали к нему в руки. После чего был вынужден брать в долг. Сперва он обращался за ссудой к своим благородным друзьям, в том числе ко мне, причем столь небрежным тоном, что потом было трудно настаивать на возврате. Исчерпав свой кредит в этих кругах, Ирод стал обращаться к богатым всадникам, которым льстило, что они могут оказать услугу самому близкому другу единственного сына императора, а когда они стали волноваться, получают ли они обратно свои деньги, Ирод подольстился к вольноотпущенникам Тиберия, в чьих руках были финансовые дела, и уговорил их — при помощи взятки — ссужать ему деньги из императорской казны. У него всегда были наготове истории о его блестящих перспективах: то ему обещали восточное царство, то его ждало огромное наследство в сотни тысяч золотых от престарелого сенатора, находящегося на пороге смерти. Но наконец, в возрасте приблизительно тридцати трех лет, несмотря на всю находчивость и изобретательность, Ирод исчерпал весь свой репертуар, а тут умер Кастор (как мы узнали несколько лет спустя, его отравила жена, моя сестра Ливилла), и Ирод был вынужден покинуть своих кредиторов, не попрощавшись. Он бы обратился за помощью к Тиберию, если бы тот не заявил публично, что не желает видеть никого из друзей покойного сына, «так как боится, что это возродит его горе». Означало это, разумеется, лишь то, что он подозревал их в участии в заговоре, так как Сеян, его главный советник, убедил Тиберия, будто Кастор замыслил покушение на его жизнь.

Ирод спасся бегством в Эдом, родину его предков, и укрылся в полуразрушенной крепости в пустыне. Думаю, это был его первый приезд на

Ближний Восток с детских лет. В то время его дядя Антипа был губернатором (или тетрархом, как звучал тогда этот титул) Галилеи, куда входил и Гилеад. Владения Ирода Великого были разделены на три части между его тремя уцелевшими сыновьями, а именно: вышеупомянутым Антипой, его братом Архелаем, ставшим царем Иудеи и Самарии, и его младшим братом Филипом, который сделался тетрархом Башана, области, лежавшей к востоку от Галилеи, за рекой Иордан. И вот Ирод начал уговаривать свою преданную жену Киприду, присоединившуюся к нему в пустыне, чтобы она от его имени обратилась к Антипе за помощью. Антипа был не только дядей Ирода, но и зятем, так как женился на его красавице сестре Иродиаде, разведенной с другим из его дядьев. Сперва Киприда не соглашалась, так как адресовать письмо надо было Иродиаде, державшей Антипу под башмаком, а Киприда незадолго до того поссорилась с ней, когда та приезжала в Рим, и поклялась никогда в жизни с ней не разговаривать. Киприда уверяла, что ей куда приятнее оставаться в пустыне среди их диких, но гостеприимных родичей, чем унижаться перед Иродиадой. Ирод стал угрожать, что покончит с собой, прыгнув с парাপета крепости, и умудрился убедить Киприду в непритворности своих слов, хотя я уверен, что на свете трудно было найти человека, менее склонного расстаться с жизнью, чем Ирод Агриппа. Так что в конце концов Киприда написала Иродиаде.

Иродиада была польщена тем, что Киприда признала свою неправоту во время ссоры, и убедила Антипу пригласить Ирода с женой в Галилею. Ирод был назначен местным судьей (с небольшой годовой субсидией) в Тибериаде, новой столице, построенной Антипой в честь императора. Но вскоре он поссорился с Антипой, скупцом и лентяем, который заставлял Ирода остро чувствовать, сколь многим тот ему обязан.

— Послушай, племянник, ты ешь мой хлеб и пьешь мое вино, — сказал Антипа однажды на пиру, куда он пригласил Ирода и Киприду во время их совместной поездки в Тир, — и меня удивляет, что у тебя хватает наглости со мной спорить.

(Ирод возражал ему по поводу некоторых пунктов римского права.)

Ирод ответил:

— Дядя Антипа, ничего другого я и не ожидал от тебя услышать.

— Что ты хочешь этим сказать, голубчик? — сердито спросил Антипа.

— А то, что ты — провинциал и мужлан, — ответил Ирод, — так же мало знакомый с хорошими манерами, как с сутью законов, которые управляют Римской империей, и столь же мало знакомый с сутью законов, сколь скупой.

— Ты, видно, пьян, если позволяешь себе так разговаривать со мной, — проговорил, заикаясь, Антипа, красный как рак.

— Только не от того вина, которым ты нас потчует, дядя Антипа. Мне дороги мои почки. И где только ты умудрился раздобыть такое гнусное пойло? Верно, не так-то легко было найти его. Может быть, его вынули из трюма затонувшего давным-давно судна, которое вчера поднимали со дна? А возможно, ты ошпариваешь пустые кувшины из-под вина горячей верблюжьей мочой, чтобы снять со дна осадок, а затем сливаешь полученную бурду в эту прекрасную золотую чашу?

После чего Ирод и Киприда с детьми должны были поспешно направиться в гавань и сесть на борт первого отходящего корабля. Оказалось, что корабль направлялся на север, в Антиохию, столицу Сирии, где Ирод представился губернатору провинции Флакку, и тот очень любезно его принял ради моей матери Антонии. Вы будете удивлены, услышав, что моя мать, эта добродетельная матрона, которая решительно боролась с расточительством и беспорядком в своем доме, питала слабость к шалопаю Ироду. Его лихие повадки вызывали у нее какое-то извращенное восхищение; он частенько приходил к ней «за советом» и, изображая самое искреннее раскаяние, выкладывал ей все свои художества. Мать делала вид, будто возмущена его откровениями, но, несомненно, получала от них огромное

удовольствие, к тому же ей льстила внимательность Ирода. Он никогда не просил у нее взаймы, во всяком случае прямо, но она время от времени по собственному почину давала ему довольно большие суммы денег под обещание вести себя хорошо. Часть их Ирод вернул. Фактически, это были мои деньги, Ирод знал это, и, заходя затем ко мне, бесконечно меня благодарил. Однажды я намекнул матери, что ее щедрость по отношению к Ироду переходит все границы, но она страшно разгневалась и заявила, что раз деньги все равно швыряются на ветер, уж лучше пусть это делает Ирод, так, как подобает человеку из знатной семьи, чем я, проигрывая их в низкопробных кабаках вместе со своими подозрительными друзьями. (Мне надо было скрыть от нее, что я отправил большую сумму денег Германику, чтобы он мог умиротворить восставших на Рейне солдат, и я притворился, будто проиграл их в кости.) Помню, я как-то спросил Ирода, не надоедает ли ему слушать длинные рассуждения матери о римских добродетелях. Он сказал:

— Я безгранично восхищаюсь твоей матерью, Клавдий, и, кроме того, не забывай, что в душе я — невежественный иудей, и иметь наставницей римскую матрону из такого высокого рода и такой незапятнанной репутации для меня большая честь. К тому же она говорит на самом чистом латинском языке во всем городе. Когда она читает мне нотацию, я за одну-единственную встречу с ней больше узнаю о том, куда следует ставить придаточные предложения и как выбирать правильные эпитеты, чем посещая курс дорогостоящих лекций профессионального грамматиста.

Этот губернатор Сирии Флакк служил раньше под командой моего отца и возымел величайшее уважение к матери, всегда сопровождавшей отца в походах. После смерти отца он предложил матери руку и сердце, но она ответила отказом, сказав, что хотя любит и всегда будет любить его как старого друга, ее моральный долг перед славной памятью мужа — никогда больше не вступать в брак. Притом Флакк намного моложе ее, и их союз вызвал бы неприятные толки. В течение многих лет — до того дня, как Флакк умер, на четыре года опередив мать, — они вели дружескую переписку. Ирод знал об этом и сейчас завоевал расположение Флакка, неоднократно упоминая о душевном благородстве матери, ее красоте и отзывчивости. Флакк отнюдь не был образцом добродетели, он прославился в Риме тем, что однажды на пиру принял вызов Тиберия и в течение двух ночей и целого дня пил наравне с ним. Из любезности к императору он уступил ему на рассвете второго дня последний кубок, и тот вышел победителем, но Тиберий был в изнеможении, а Флакк, по словам присутствовавших, мог продержаться еще час, а то и два. Поэтому Флакк с Иродом прекрасно ладили друг с другом. К несчастью, в это самое время в Сирии находился младший брат Ирода Аристобул, с которым у него были отнюдь не дружеские отношения: Ирод взял у него деньги, пообещав вложить их в товары, которые отправляли в Индию, а затем сказал, что корабли пошли ко дну. Однако Аристобул узнал, что корабли не только не пошли ко дну, но даже не выходили в море. Он пожаловался Флакку на это мошенничество, но Флакк сказал, что тут какое-то недоразумение, его брат никак не мог совершить такой бесчестный поступок и он, Флакк, не желает принимать ту или иную сторону или выступать в роли третейского судьи. Аристобул решил не спускать с Ирода глаз, зная, что тому позарез нужны деньги, и подозревая, что он попытается раздобыть их при помощи какой-нибудь уловки: тогда он припугнет Ирода разоблачением и заставит его выплатить старый долг.

Год с небольшим спустя между Сидоном и Дамаском возник пограничный конфликт. Жители Дамаска знали, что, когда Флакку приходится разбирать подобные споры, он всецело полагается на советы Ирода, ценя его поразительные способности к языкам и умение, безусловно унаследованное от деда, скрупулезно анализировать противоречивые сведения, полученные от местных жителей, поэтому

они послали к Ироду тайную делегацию, предлагая большую сумму денег (я забыл сколько именно), если он склонит Флакка вынести решение в их пользу. Это стало известно Аристобулу и, когда дело было решено — благодаря настойчивому ходатайству Ирода, в интересах Дамаска, — он отправился к Ироду, сказал, что все знает и надеется, что теперь-то уж он получит свои деньги. Ирод впал в такую ярость, что Аристобул еле унес ноги. Было ясно, что Ирода не запугать и денег от него — ни единой монетки — не получить. Поэтому Аристобул пошел к Флакку и сообщил, что вскоре из Дамаска Ироду пришлют несколько мешков с золотом. Флакк перехватил их у городских ворот, а затем послал за Иродом; в создавшихся обстоятельствах тот не мог отрицать, что это плата за услуги, оказанные им при решении пограничного конфликта. Однако он не растерялся и просил Флакка не считать это золото взяткой, ведь, свидетельствуя в пользу Дамаска, он не отступал от правды — справедливость была на их стороне. Ирод добавил, что сидонцы тоже присылали к нему депутацию, но он отправил их обратно, сказав, что ничем не может им помочь, так как они не правы.

— Верно, Сидон предложил тебе меньше, чем Дамаск, — язвительно проговорил Флакк.

— Прошу, не оскорбляй меня, — ответил Ирод с благородным негодованием.

— Я не желаю, чтобы в римском суде справедливость покупали и продавали, как товар. — Флакк был в бешенстве.

— Ты сам был в этом деле судьей, господин Флакк, — сказал Ирод.

— А ты поставил меня в дурацкое положение в моем собственном суде! — вне себя от гнева вскричал Флакк. — Между нами все кончено. Убирайся куда хочешь, хоть в преисподнюю. Да выбери путь покороче.

— Боюсь, мне придется отправиться туда через Тенар, — сказал Ирод, — потому что, умри я сейчас, я не найду в кошельке самой мелкой монеты, чтобы заплатить Перевозчику. (Тенар — это самый крайний мыс на юге Пелопоннеса, откуда можно напрямик попасть в подземный мир, минуя Стикс. Именно этим путем Геркулес вытащил Цербера в Верхний мир. Бережливые обитатели Тенара хоронят своих мертвецов без привычной монеты во рту, зная, что им не придется платить Харону за перевоз.) Затем Ирод добавил:

— Право, Флакк, тебе не следует на меня сердиться. Понимаешь, мне и в голову не пришло, что я делаю что-нибудь плохое. Уроженцу Востока трудно, даже прожив в Риме тридцать лет, понять щепетильность вас, благородных римлян, в подобных делах. Я вижу все в ином свете: дамаскцы наняли меня в качестве адвоката для защиты их прав, а в Риме адвокаты получают колоссальные деньги и значительно сильнее, чем я, отклоняются от истины при рассмотрении дела. И, естественно, я оказал Дамаску немалую услугу, разъяснив тебе, кто из них прав. Что же тут плохого, если бы я взял деньги, которые они прислали мне по собственному почину? Я же не объявлял во всеуслышание о моем влиянии на тебя. Напротив, я был удивлен и польщен, услышав от них об этом. К тому же, как не раз указывала мне госпожа Антония, эта исключительно мудрая и прекрасная дама...

Но даже ссылка на мать, при всем уважении к ней Флакка, не помогла Ироду выпутаться из беды. Флакк дал ему на сборы одни сутки и сказал, что, если к концу этого срока Ирод все еще будет находиться в Сирии, ему придется отвечать перед уголовным судом.

Глава II

— Ну и куда же, ради всего святого, нам теперь ехать? — спросил жену Ирод.

— Если ты не будешь настаивать, чтобы я писала письма с просьбой о помощи — унижение для меня хуже, чем смерть, — мне все равно куда, — горестно отвечала

Киприда. — Индия достаточно далеко от твоих кредиторов?

— Киприда, моя царица, — сказал Ирод, — мы выдержим это испытание, как выдержали многие другие, и доживем с тобой до глубокой старости в достатке и благоденствии. И я торжественно тебе обещаю, что ты еще посмеешься над моей сестрицей Иродиадой прежде, чем я покончу с ней и ее муженьком.

— Мерзкая шлюха! — вскричала Киприда с истинно еврейским негодованием.

Как я вам уже говорил, Иродиада не только совершила кровосмешение, выйдя замуж за родного дядю, но и развелась с ним затем, чтобы вступить в брак с другим из дядьев — более богатым и влиятельным Антипой. Евреи могли иногда посмотреть сквозь пальцы на кровосмешение, так как браки между дядьями и племянницами были в обычае у восточных монархов, особенно в армянских и парфянских царских семьях, к тому же Ирод и Иродиада не были по происхождению евреями. Но к разводу каждый добропорядочный еврей (как прежде каждый добропорядочный римлянин) относился с величайшим отвращением, считая, что это навлекает позор и на мужа, и на жену, и никому из тех, кто оказался вынужден прибегнуть к разводу, и в голову не приходило, что это — первый шаг к последующему браку. Однако Иродиада достаточно долго прожила в Риме, чтобы ее по этому поводу мучила совесть. В Риме каждый, кто что-нибудь собой представляет, разводится рано или поздно. (Никто, к примеру, не назвал бы меня распутником, однако я развелся с тремя женами и, возможно, разведусь и с четвертой.) По всему этому Иродиада была очень непопулярна в Галилее.

Аристобул пришел к Флакку и сказал:

— В знак признательности за мою услугу, Флакк, ты, наверно, не поскупишься отдать мне деньги, конфискованные у дамаскцев. Они почти полностью покроют долг Ирода — помнишь, несколько месяцев назад я рассказывал тебе о его мошенничестве с кораблями?

— Аристобул, — ответил ему Флакк, — ты не оказал мне никакой услуги. Напротив, ты послужил причиной разрыва между мной и самым знающим моим советником, — трудно выразить, как мне его недостает. Чтобы поддержать дисциплину, я был вынужден выслать его; чтобы не уронить свою честь, я вынужден не звать его обратно, но если бы ты не заявил во всеуслышание об этой взятке, никто бы ничего не узнал и Ирод до сих пор помогал бы мне разбираться в здешних запутанных делах, которые ставят в тупик простодушного уроженца Рима, вроде меня. Это у него в крови. Я прожил на Востоке гораздо дольше, чем он, но в тех случаях, где я лишь приблизительно догадываюсь, в чем дело, он знает это наверняка. Интуиция.

— А как насчет меня? — спросил Аристобул. — Может быть, я могу занять его место?

— Ты, ничтожество? — презрительно вскричал Флакк. — Где тебе тягаться с Иродом! У тебя нет его чутья. И что еще важнее, никогда не будет. Тебе это известно не хуже, чем мне.

— Ну а как насчет денег? — спросил Аристобул.

— Ты заслужил их еще меньше, чем Ирод. Но, чтобы между нами не пробежала кошка, я верну их в Дамаск.

Что он и сделал. В Дамаске решили, что губернатор сошел с ума.

Месяца два спустя, будучи в немилости у Флакка, Аристобул решил переселиться из Антиохии в Галилею, где у него было поместье всего в двух днях пути от Иерусалима, который Аристобул, более религиозный, чем его родичи, хотел бы посещать во время важных церковных праздников. Он не желал брать с собой все свои деньги, так как, в случае ссоры с дядей Антипой, могла возникнуть необходимость срочно покинуть страну, и деньги достались бы Антипе. Поэтому Аристобул решил перевести большую их часть из банка в Антиохии в римский банк и

написал об этом мне как надежному другу семьи, дав полномочия вложить деньги в земельную собственность, если предоставится такая возможность.

Ирод не мог вернуться в Галилею; поссорился он и с дядей Филипом, тетрархом Башана, из-за каких-то владений отца, которые Филипп прибрал к рукам, а губернатором Иудеи вместе с Самарией был назначен Понтий Пилат, один из кредиторов Ирода. Царь этих стран, самый старший из сыновей Ирода Великого, за несколько лет до того был свергнут с трона за плохое управление, и царство объявили римской провинцией. Ироду не улыбалась мысль навсегда поселиться в Идумее — он не был любителем пустыни, — а шансы на то, что в Египте, в большой еврейской колонии в Александрии, его ждет горячий прием, были ничтожны. Александрийские евреи очень строго соблюдали религиозные обряды, строже даже, если это вообще возможно, чем их соотечественники в Иерусалиме, а Ирод, прожив так долго в Риме, сделался небрежен в своих привычках, особенно когда дело касалось еды. Евреям запрещено их первым законодателем Моисеем — из гигиенических соображений, как я понимаю, — есть целый ряд мясных продуктов, не только свинину (против свинины можно, пожалуй, привести некоторые аргументы), но зайчатину и крольчатину и другое вполне полезное мясо; а те животные, мясо которых им позволено есть, должны быть убиты определенным образом. Если дикая утка нашла свою смерть в воздухе от камня, выпущенного из пращи, каплуну свернули шею, а оленя подстрелили из лука, есть их мясо нельзя. Каждому животному, мясо которого идет в пищу, следует перерезать глотку, чтобы оно истекло кровью. И еще одно: каждый седьмой день недели евреи должны проводить в полной праздности, даже слуги в их домах не имеют права шевельнуть пальцем — ни приготовить еду, ни помешать угли в очаге. Кроме того, у них существуют дни национального траура по случаю давних бедствий, которые совпадают по времени с римскими праздниками. Живя в Риме, Ирод просто не мог одновременно быть правовеком иудеем и популярным членом высшего общества и предпочел презрение евреев презрению римлян. Поэтому он решил не ехать в Александрию и не тратить больше время на Ближнем Востоке, где, по-видимому, перед ним закрылись все двери. Ирод стоял перед выбором: или искать убежища в Парфии, где царь радушно примет его в качестве полезного посредника для осуществления его замыслов против провинции Рима — Сирии, или вернуться в Рим и прибегнуть к покровительству моей матери: возможно, ему удастся объяснить размолвку с Флакком. Он отказался от мысли о Парфии — ведь поездка туда означала полный разрыв с его прежней жизнью, не говоря о том, что он более полагался на мощь Рима, чем на мощь Парфии. К тому же было крайне опрометчиво пытаться пересечь Евфрат — границу между Сирией и Парфией, — не имея денег, чтобы подкупить пограничную стражу, которой был отдан приказ не пропускать в страну политических беженцев. Поэтому в результате Ирод выбрал Рим.

Удалось ли ему туда благополучно добраться? Сейчас услышите. У него не хватило наличных, даже чтобы оплатить проезд по морю — в Антиохии он жил в кредит, причем на широкую ногу, — и хотя Аристобул предложил дать ему займы сумму, достаточную, чтобы доплыть до Родоса, Ирод отказался, не желая ронять свое достоинство. Притом он не мог рисковать, беря билет на корабль, который спускался к морю по Оронту, так как было не исключено, что в гавани его ждали кредиторы и арест. И тут Ирод вспомнил об одном человеке, у которого можно было занять небольшую сумму, а именно: о бывшем рабе своей матери, которого она оставила в наследство моей матери Антонии, а та отпустила его на свободу и помогла ему открыть торговлю зерном в Акре — прибрежном городе к югу от Тира; он платил ей определенный процент со своих доходов и жил в полном достатке. Но между Антиохией и Акрой находился Сидон, а Ирод, само собой, получил «подарок» не только от жителей Дамаска, но и от сидонцев и не мог позволить себе попасть к

ним в руки. Он послал в Акру надежного вольноотпущенника, а сам, переодевшись в чужое платье, выбрался тайком из Антиохии и направился на восток — единственное, чего от него никто не ожидал, — и таким образом избежал преследования. Достигнув сирийской пустыни, Ирод сделал широкий круг к югу (на украденном верблюде), а затем двинулся по берегу Мертвого моря, держась в стороне от Башана, тетрархии своего дяди Филипа, и Петры, или, как еще говорят, Гилеада, — плодородной заиорданской области, где, как и в Галилее, правил его дядя Антипа.

Он прибыл в Идумею цел и невредим, был радушно встречен своими дикими родичами и, укрывшись в той же крепости посреди пустыни, принялся ждать вольноотпущенника, посланного в Акру за деньгами. Тот успешно выполнил поручение и привез двадцать тысяч афинских драхм; поскольку афинская драхма стоит значительно больше, чем римская серебряная монета, сумма эта в пересчете равнялась девятистам золотым. Во всяком случае, на такую сумму вольноотпущенник дал расписку торговцу зерном и привез бы эти деньги до единой драхмы, если бы торговец не удержал двадцать пять сотен на том основании, что за несколько лет до того Ирод выманил их у него обманом. Честный вольноотпущенник боялся, что Ирод будет сердиться, но тот только рассмеялся и сказал:

— Я рассчитывал, что эти двадцать пять сотен помогут мне получить двадцать тысяч. Если бы старый сквалыга не думал, что обвел меня вокруг пальца, покрыв моей распиской этот прежний долг, ему бы никогда и в голову не пришло снова одалживать мне деньги, ведь он не может не знать, в каких стесненных обстоятельствах я сейчас нахожусь.

Ирод устроил грандиозный пир для своих соотечественников, а затем направился со всеми предосторожностями в порт Антедон, поблизости от города филистимлян Газы, где побережье поворачивает на запад, по направлению к Египту. Здесь на борту небольшого торгового судна, которое было зафрахтовано в Антиохии, его уже ждали переодетые в чужое платье Киприда с детьми: судно это должно было отвезти всех их в Италию через Египет и Сицилию. Не успело столь счастливо воссоединившееся семейство обменяться пылкими приветствиями, как у борта появилась шлюпка с тремя римскими солдатами и сержантом, в руках которого был ордер на арест Ирода за неуплату в императорскую казну долга в двенадцать тысяч золотых. Ордер был подписан местным военным губернатором.

Ирод прочитал бумаги и сказал, обращаясь к Киприде:

— Я считаю это прекрасным предзнаменованием. Казначей сократил мой долг с сорока тысяч золотых до каких-то двенадцати. Когда мы вернемся в Рим, я дам в его честь роскошный пир. Конечно, пока я был на Востоке, я сделал для него немало, но двадцать восемь тысяч золотых более чем достаточное воздаяние.

Тут сержант прервал его:

— Простите, ваша светлость, но ни о каких пирах в Риме не может идти речь, пока вы не повидаетесь с военным губернатором по поводу этого долга. Он отдал приказ не выпускать из гавани ваше судно, если вы не вернете долг до последней монеты.

Ирод:

— Разумеется, я верну его. У меня это просто выскочило из головы. Такой пустяк. Возвращайтесь на берег и скажите его превосходительству, что я всецело к его услугам, но его любезное напоминание о моем долге в казну было сделано в не совсем удобный момент. Я только что встретился со своей преданной женой, ее светлостью Кипридой, с которой мы были в разлуке больше шести недель. Вы женаты, сержант? Тогда вы должны понять, как горячо мы оба хотим остаться наедине. Если вы не доверяете мне, можете оставить на борту двух солдат в качестве стражи. Подплывайте к нам часа через три-четыре, и мы будем готовы высадиться на берег. А это залог моей благодарности.

И он дал сержанту сотню драхм, после чего оставив на судне стражу, тот вернулся на берег без дальнейших возражений. Часа через два наступили сумерки, и Ирод велел отдать швартовы и выйти в открытое море. Он сделал вид, будто судно направляется на север, в Малую Азию, но вскоре изменил курс и повернул на юго-запад. Он решил все же зайти в Александрию и попытать счастья у тамошних евреев.

Солдат, которых команда позвала играть в кости, неожиданно схватили, связали и сунули в рот кляп, но как только Ирод убедился, что за ними нет погони, он приказал их освободить и сказал, что, если они будут вести себя разумно, он высадит их на берег, когда они подплывут к Александрии. Он поставил им только одно условие: в течение нескольких дней по прибытии они должны делать вид, будто они — его личный эскорт, и обещал за это оплатить их обратный путь в Антедон. Солдаты поспешили согласиться, опасаясь, что их бросят за борт, если они вызовут его недовольство.

Я забыл упомянуть, что выбраться из Антиохии Киприде с детьми помог один пожилой самаритянин, по имени Сила, преданнейший друг Ирода Агриппы. Это был мрачный человек плотного телосложения, с огромной бородой лопатой, который служил когда-то в кавалерии командиром эскадрона. За боевые заслуги во время войны с Парфией он получил два ордена. Ирод несколько раз предлагал сделать его римским гражданином, но Сила отказывался от этой чести на том основании, что ему придется тогда сбрить бороду, поскольку в Риме они не в моде, а на это он не пойдет ни за что на свете. Сила вечно давал Ироду разумные советы, которым тот не следовал, а когда у Ирода возникали затруднения, обычно заявлял: «Что я тебе говорил? Надо было слушать меня». Он гордился тем, что «режет правду-матку» и был, увы, абсолютно незнаком с тактом. Но Ирод терпел его, так как знал, что может рассчитывать на его помощь при любых, самых тяжелых обстоятельствах. Сила единственный сопровождал его во время первого побега в Идумею; если бы не он, Ироду с семьей не удалось бы спастись бегством из Тира после ссоры с Антипой. В Антиохии тот же Сила достал Ироду одежду, чтобы он мог скрыться от кредиторов, не говоря уж о том, что взял под свою защиту Киприду с детьми и нашел для них судно. Когда положение вещей было действительно тяжелым, Сила оживлялся и показывал себя с самой лучшей стороны, так как знал, что Ирод нуждается в нем и у него будет возможность сказать: «Я полностью в твоём распоряжении, Ирод Агриппа, мой любимейший друг, если мне будет позволено так тебя назвать. Но если бы ты последовал моему совету, всего этого просто не случилось бы». В пору благоденствия он делался все мрачней и мрачней, казалось, он с сожалением вспоминает прошлые черные дни нищеты и позора и чуть ли не призывает их обратно, предупреждая Ирода, что тот погубит себя, если не изменит свой образ действий (каков бы он ни был). Однако сейчас обстоятельства были настолько плохи, что Сила находился в прекрасном настроении. Он шутил с матросами и рассказывал детям долгие запутанные истории о своих военных приключениях. Киприда, которая обычно с трудом терпела его — он очень ее утомлял, — устыдилась своей антипатии к этому другу с золотым сердцем.

— Мне привили свойственное евреям предубеждение против самаритян, — сказала она Силе, — ты должен простить, что мне понадобилось столько лет, чтобы его преодолеть.

— Я тоже должен попросить прощения, — ответил Сила, — я имею в виду мой резкий язык. Но уж такая у меня натура. Я позволю себе сказать, что, будь твои еврейские друзья и родственники и прочие евреи чуть менее правоверными и чуть более милосердными, они бы скорее пришли мне по душе. Один из моих родичей ехал однажды по делу из Иерусалима в Иерихон и увидел на обочине дороги лежащего под палящим солнцем голого еврея. На того напали разбойники. Мой

родич промыл и перевязал, как мог, его раны, посадил на своего осла и отвез в ближайшую гостиницу, где заплатил вперед за жилье и еду — на этом настаивал хозяин, — а затем заехал за ним на обратном пути из Иерихона и помог добраться домой. Он не сделал ничего особенного, это у нас, самаритян, в крови. Для него это был обычный поступок. Но что забавно: трое или четверо зажиточных евреев — один из них священник, — которых встретил по пути мой родич до того еще, как натолкнулся на раненого, несомненно, тоже видели его на обочине, но, поскольку они не были с ним в родстве, предоставили ему умирать и проехали мимо, хотя он жалостно стонал и молил о помощи. Хозяин гостиницы тоже был еврей. Он сказал моему родичу, что вполне понимает нежелание путников оказать помощь раненому: если бы он умер у них на руках, они, дотронувшись до трупа, стали бы, согласно их закону, нечистыми, что причинило бы много неудобств им самим и их родственникам. Священник, объяснил хозяин, возможно направлялся на поклонение в иерусалимский храм, ему особенно опасно было оскверниться. Что ж, я, слава богу, самаритянин, у меня что на уме, то и на языке. Я режу правду-матку. Я...

Но тут Ирод прервал его.

— Ты не находишь, моя дорогая Киприда, что это весьма поучительная история. Ведь если бы этот бедняга был самаритянином, разбойники и грабить бы его не стали: у него не было бы и драхмы при себе.

В Александрии Ирод в сопровождении Киприды, детей и двух солдат сразу же направился в главное судье тамошней еврейской колонии — алабарху, как его здесь называют. Алабарх отвечал перед губернатором Египта за примерное поведение своих единоверцев. Он должен был следить за тем, чтобы они регулярно платили налоги, не устраивали на улицах потасовок с греками и вообще никак не нарушали общественного порядка. Ирод учтиво приветствовал алабарха и тут же попросил дать ему займы шесть тысяч золотых, обещая за это пустить в ход свое влияние при дворе императора в интересах александрийских евреев. Он сказал, что император Тиберий прислал ему письмо с просьбой немедленно приехать в Рим, чтобы помочь советом относительно положения дел на Ближнем Востоке, в результате чего он спешно покинул Эдом, где гостил у своих родичей, и не смог взять с собой достаточно денег для дорожных расходов. Римские телохранители были в глазах алабарха достаточно веским доказательством истинности слов Ирода, он решил, что и правда совсем неплохо иметь в Риме влиятельного покровителя. Незадолго до того в городе были беспорядки и зачинщиками выступили евреи, нанеся немалый ущерб недвижимой собственности греков. У Тиберия могло возникнуть желание лишить александрийских евреев части их весьма значительных привилегий.

Алабарх Александр был старым другом нашей семьи. Много лет назад он подвизался в качестве управляющего земельной собственностью, завещанной моей матери дедом Марком Антонием, унаследовать которую мой дед Август ей разрешил ради моей бабки Октавии, хотя большую часть остальных завещательных отказов объявил недействительными. Когда мать выходила замуж за отца, это имущество было принесено в семью в качестве ее приданого, а затем передано моей сестре Ливилле, когда она выходила за сына Тиберия — Кастора. Однако Ливилла довольно скоро его продала, поскольку привыкла жить на широкую ногу и нуждалась в деньгах, так что алабарху нечем было больше управлять. После этого переписка между ним и моей семьей постепенно прекратилась, и, хотя мать использовала свое влияние на Тиберия, чтобы добиться для алабарха того высокого поста, который он теперь занимал, и у него не было оснований думать, будто он утратил ее благоволение, все же он не представлял, до какой степени может положиться на ее поддержку, если окажется замешанным в каких-нибудь политических беспорядках. Он знал, что прежде Ирод был близким другом нашей семьи, и охотно ссудил бы ему деньги, если

бы был уверен, что мы по-прежнему в хороших отношениях, но вот уверенности в этом у него как раз и не было. Он спросил Ирода, как поживает моя мать, и тот, предвидя этот вопрос и будучи достаточно умен, чтобы первым не упоминать ее имени, ответил, что, судя по ее последнему письму, она находится в полном здравии и прекрасном настроении. У него оказалось при себе — конечно, совершенно случайно — ее теплое письмо, написанное перед тем, как он покинул Антиохию, в котором была целая куча домашних новостей. Ирод протянул его алабарху, и оно произвело на того еще большее впечатление, чем телохранители. Но завершалось письмо надеждой, что Ирод наконец занялся полезной деятельностью под началом ее уважаемого друга Флакка, а алабарх незадолго перед тем слышал от друзей в Антиохии, будто Ирод и Флакк поссорились, к тому же было вопросом, действительно ли Тиберий прислал Ироду приглашение, ведь Ирод его не показал. Поэтому алабарх никак не мог решить, давать Ироду деньги или нет. Все же он надумал уже их дать, но тут один из солдат, немного понимавший по-еврейски, сказал:

— Пожалуй мне восемь золотых, алабарх, и я сэкономлю для тебя восемь тысяч.

— Что ты имеешь в виду, солдат? — спросил алабарх.

— То, что этот человек — мошенник, который скрывается от правосудия. Мы не телохранители его, он нас похитил. Есть императорский ордер на его арест, так как он набрал в Риме в долг огромные деньги из императорской казны.

Спасла положение Киприда, бросившись со слезами к ногам алабарха:

— Ради вашей старинной дружбы с моим отцом Фазаэлем пожалей меня и моих детей. Не обрекай нас на нищету и гибель. Мой дорогой муж не совершал никакого мошенничества. То, что он тебе сказал, соответствует истине, хотя, возможно, он несколько приукрасил подробности. Мы действительно находимся на пути в Рим и благодаря недавним политическим переменам полны самых радужных надежд; если ты сейчас дашь нам денег, чтобы помочь выбраться из затруднений, бог наших предков воздаст тебе сторицей. Долг, из-за которого моего дорогого Ирода чуть было не арестовали, наследие его беспечной юности. Как только он прибудет в Рим, он найдет достойный способ его вернуть. Но если он попадет в руки врагов, которые у него есть в Сирии, это погубит не только его самого, но и наших детей и меня.

Алабарх обратился к Киприде, чья верность мужу в тяжелую годину чуть не вызвала слезы у него на глазах, и предусмотрительно, хотя и ласково спросил:

— Твой муж соблюдает закон?

Ирод увидел, что Киприда заколебалась, и ответил вместо нее:

— Не забывай, достопочтенный алабарх, что по рождению я идумей. Смешно требовать от идумея того же, что от еврея. Евреи и идумей — кровные братья благодаря нашему общему предку патриарху Исааку; но прежде чем поздравлять себя с тем, что евреи — избранный Богом народ, неплохо бы вспомнить о том, как Иаков, прародитель евреев, обманом лишил права первородства и благословения отца своего младшего брата Исава, прародителя идумеев. Не спрашивай с меня слишком много, алабарх. Прояви больше сострадания к идумею, попавшему из-за расточительности в беду, чем Иаков, не то, клянусь Живым Богом, первая же ложка красной чечевичной похлебки, которую ты положишь в рот, застрянет у тебя в горле. Мы потеряли из-за вас право первородства, а с ним и особую милость Бога, но в ответ хотим видеть хотя бы такое же сердечное благородство, которое сами неизменно выказываем другим людям. Вспомни о великодушии Исава: когда он случайно встретил Иакова в Пенуэле, он ведь не убил его.

— Но соблюдаешь ты закон или нет? — спросил алабарх, пораженный пылом, с каким говорил Ирод; оспаривать приведенные им исторические примеры алабарх не мог.

— Я сделал обрезание, мои дети тоже, я и все в моем доме всегда старались

соблюдать закон, открытый Богом вашему предку Моисею, настолько строго, насколько это возможно находясь в Риме и насколько это позволяло нам наше духовное несовершенство, ведь мы — идумеи.

— Нельзя совместить несовместимое, — упрямо сказал алабарх. — Или ты соблюдаешь закон, или нарушаешь его.

— Однако я читал, что Господь разрешил однажды Нааману, обращенному в иудейство сирийцу, молиться в храме Риммона рядом с царем, его властелином, — возразил Ирод. — А Нааман оказался верным другом евреям, не так ли?

Наконец алабарх сказал Ироду:

— Если я ссужу тебе эти деньги, ты поклянешься именем Бога — вечная Ему слава! — соблюдать закон, насколько это от тебя зависит, и любить Его народ и никогда не погрешить против Него по злему умыслу или по оплошности.

— Клянусь Его Священным Именем, — ответил Ирод, — и пусть жена моя Киприда и дети станут свидетелями того, что с этого мгновения я буду чтить Его всеми силами моей души и стану любить и защищать Его Народ. А если когда-нибудь я по жестокости сердца допущу святотатство, пусть черви, пожиравшие заживо плоть моего деда Ирода Великого, станут пожирать меня самого, пока не сожрут без остатка.

Так вот Ирод получил взаймы. Как говорил он мне впоследствии: «Я бы поклялся в чем угодно, лишь бы выцарапать эти деньги. Я был в безвыходном положении».

Но алабарх поставил еще два условия. Первое заключалось в том, что Ироду давалась сумма серебром, равная четырем тысячам золотых, а остальные деньги он должен был получить по прибытии в Италию. Алабарх все еще не до конца верил Ироду. Тому могло вдруг прийти в голову, взяв деньги, отправиться в Марокко или Аравию. Согласно второму условию, Киприда должна была отвезти детей в Иерусалим, чтобы они получили соответствующее воспитание под руководством первосвященника, брата алабарха. Ирод и Киприда согласились на это с большой радостью — им было известно, что ни один миловидный мальчик, ни одна хорошенькая девочка из высшего общества Рима не могли избежать противоестественных притязаний Тиберия. (У моего друга Вителлия, к примеру, забрали сына на Капри под предлогом, что он получит там широкое общее образование, и поместили среди мерзких спинтриев; в результате его натура была искалечена. Всю жизнь его не называли иначе, чем «спинтрий», и я не знаю худшего человека, чем он.) Поэтому было решено, что Киприда присоединится к Ироду в Риме после того, как устроит детей в Иерусалиме.

Заехать в Александрию, чтобы попросить в долг денег у алабарха, Ирода заставили слухи о падении Сеяна, привезенные вольноотпущенником из Сирии. В Александрии они были полностью подтверждены. Сеян в течение многих лет был главным советником Тиберия и пользовался его полным доверием, но вступил в заговор с моей сестрой Ливиллой с целью убить его и захватить престол. Раскрыла заговор моя мать; с помощью моего племянника Калигулы и безжалостного негодяя Макрона Тиберию скоро удалось призвать Сеяна к ответу. Обнаружилось, что Ливилла за семь лет до того отравила своего мужа Кастора, и что Кастор вовсе не был, как утверждал Сеян, предателем по отношению к отцу. Поэтому повеление Тиберия, строго-настрого запретившего бывшим друзьям Кастора являться ему на глаза, можно было считать недействительным, а покровительство моей матери сделалось еще более ценным, чем прежде. Если бы не все это, Ирод не стал бы тратить время и поступаться своим достоинством, пытаясь взять взаймы у алабарха. Евреи не скупаются на деньги, но они осторожны и делают все с оглядкой. Они дают в долг своим бедствующим соотечественникам, если те попали в беду не по собственной вине, причем не берут процентов, так как это запрещено их законом, и

единственной наградой им служит сознание, что они совершили добродетельный поступок. Но они не дадут ничего человеку другой веры, даже если он будет умирать от голода, тем более еврею, покинувшему, как они говорят, «духовное стадо» и следующему чуждым обычаям других стран, если у них нет твердой гарантии, что их щедрость принесет им немалую выгоду.

Глава III

Мы с матерью не подозревали о том, что Ирод вернулся в Италию, пока однажды не получили нацарапанную наспех записку, где говорилось, что он скоро к нам прибудет, и туманно прибавлялось, что он рассчитывает на нашу помощь, так как из той критической ситуации, в какую он попал, одному ему не выбраться.

— Деньги — вот что ему нужно, — сказал я матери, — и ответ один: их у нас нет.

И действительно, в это время мы никак не могли бросать деньги на ветер, как я уже объяснял в предыдущей книге. Но мать сказала:

— Как не стыдно так говорить, Клавдий. Но ты всегда был грубый, невоспитанный человек. Если у Ирода затруднения и он нуждается в деньгах, разумеется, мы должны раздобыть их так или иначе; это мой долг перед памятью его матери Береники. Несмотря на ее диковинные религиозные обычаи, милая Береника была одной из самых лучших моих подруг. К тому же такая великолепная хозяйка!

Мать не видела Ирода около семи лет и очень по нему соскучилась. Он считал своим долгом регулярно ей писать, сообщая по очереди обо всех своих невзгодах, причем так забавно, что передраги эти казались скорее восхитительными приключениями, вроде тех, о каких мы читаем в греческих сборниках, чем настоящими неприятностями. Пожалуй, самым веселым было письмо, присланное из Идумеи вскоре после того, как Ирод покинул Рим, где он писал о том, как его милая, прелестная глупенькая женушка помешала ему прыгнуть с парашюта башни. «Она была права, — кончал он письмо. — Башня эта — исключительно высокая». Последнее письмо, тоже написанное в Эдоме в то время, как Ирод ожидал деньги из Акры, было в таком же духе. Он рассказывал, как ему было стыдно украсть у купца из Персии его верблюда, — надо же пасть так низко. Однако, продолжал Ирод, стыд вскоре уступил место чувству, что он совершил весьма добродетельный поступок, оказав персианину исключительную услугу, так как животное оказалось вместилищем семи злых духов, один хуже другого. У купца, должно быть, камень с души свалился, когда, проснувшись однажды утром, он обнаружил, что принадлежащий ему верблюд исчез вместе с седлом, уздечкой и прочими принадлежностями. Переход через сирийскую пустыню был ужасен: стоило им оказаться у высохшего русла или в узком ущелье, верблюд чего только не вытворял, чтобы убить седока, даже подкрадывался к нему ночью с намерением затоптать его во сне. В следующем письме, из Александрии, Ирод писал, что в Эдоме отпустил это чудовище на свободу, но оно, бросая злобные взгляды, преследовало его всю дорогу до побережья. «Клянусь тебе, благороднейшая и высокоученейшая госпожа Антония, мой старинный друг и щедрая благодетельница, что я ускользнул в Антедоне от губернатора не столько из боязни кредиторов, сколько от ужаса перед этим жутким верблюдом. Не сомневаюсь, что он настоял бы на том, чтобы разделить со мной тюремную камеру, если бы я согласился на арест». В письме был постскриптум: «Мои родичи в Идумее были на редкость гостеприимны, но я не могу допустить, чтобы у тебя создалось впечатление, будто они входили ради нас в расходы. Они бережливы до такой степени, что надевают чистое белье в трех случаях в жизни: когда женятся, когда умирают и когда захватывают чужой караван, ведь тогда белье достается им даром. Во всей Идумее не найти ни одного сукновала». Ирод, естественно, истолковал ссору, вернее недоразумение, как он это называл, с Флакком самым выгодным для себя образом. Он

винил себя за неосмотрительность, всячески расхваливал Флакка за его, пожалуй даже слишком высокое, если это возможно, чувство чести — оно было настолько высоко, что жители провинции просто не в силах были его оценить и считали своего губернатора чудаком.

Теперь Ирод рассказал нам о том, что было пропущено в его письмах, не скрывая ничего, или почти ничего: он знал, что это — самое разумное, когда имеешь дело с моей матерью. Наибольшее удовольствие — хотя мать сделала вид, что возмущена, — ей доставила история о том, как Ирод похитил двух римских солдат и с их помощью пытался провести алабарха. Он также описал ужасный шторм, настигший их на обратном пути из Александрии, когда, как он сказал, все, кто был на борту, пять дней и пять ночей лежали в лежку из-за морской болезни. Капитан только и знал, что рыдал и молился, поэтому Ироду пришлось в одиночку вести корабль.

Затем он продолжал:

— Когда, стоя на баке нашего величавого судна, переставшего наконец качаться на волнах, я, не слушая благодарностей и восхвалений оправившейся команды, увидел перед собой сверкающую гладь залива, прекрасные храмы и виллы на его берегах и громадный, как башня, Везувий, над вершиной которого подымался, словно над домашним очагом, легкий дымок, — признаться, я не мог сдержать слезы. Я понял, что вернулся домой, на мою первую, дорогую моему сердцу родину. Я подумал обо всех любимых друзьях, с которыми так долго был в разлуке, в особенности о тебе, самая сведущая, прекрасная и благородная Антония... о тебе тоже, Клавдий, само собой... и о том, с какой радостью мы увидимся вновь. Но сперва, разумеется, я должен был обосноваться, как приличествует моему положению. Мне не пристало являться к вам на порог подобно нищему или бедному просителю-клиенту, пришедшему к своему патрону.

Как только мы пристали к берегу и я получил деньги по чеку, который алабарх выписал на один из местных банков, я сразу отправил письмо императору на Капри с просьбой оказать мне честь принять меня. Он весьма любезно ответил, что рад слышать о моем благополучном возвращении и с удовольствием повидается со мной; на следующий день между нами состоялась весьма обнадеживающая беседа. Должен с прискорбием признаться, что я чувствовал себя вынужденным — император сперва был в очень мрачном настроении — позабавить его некоторыми азиатскими историями, которые я, естественно, не могу здесь повторить, чтобы не оскорбить вашу скромность. Но вы сами знаете нашего императора: у него оригинальный ум и широкие разносторонние вкусы. Ну так вот, когда я рассказал ему особенно типичную историю в таком духе, он проговорил: «Ирод, ты мне по душе. Я хочу назначить тебя на очень ответственный пост — воспитателем моего единственного внука Тиберия Гемелла, который живет здесь при мне. Ты не откажешь мне в этом — ведь ты был близким другом его покойного отца, и я надеюсь, что мальчик к тебе привяжется. К сожалению, ребенок он замкнутый и угрюмый, и ему очень нужен такой друг, с открытым сердцем, как ты, чтобы служить ему образцом».

Я остался во дворце на ночь, и к утру нас было уже не разлить водой — император нарушил предписание врачей и пил со мной наравне. Я решил, что наконец-то фортуна улыбнулась мне, но тут внезапно тот единственный волосок, на котором столько лет висел дамоклов меч над моей злосчастной головой, умудрился лопнуть. Императору передали письмо из Антедона от этого идиота губернатора, где тот сообщал, что предъявил мне ордер на арест за неуплату двенадцати тысяч золотых, взятых в долг в императорской казне, но я хитростью сумел уйти от правосудия, захватив двух его солдат, которые еще не вернулись и, возможно, умерщвлены. Я заверил императора в том, что солдаты живы и невредимы, что они спрятались у меня на судне без моего ведома, желая проехать «зайцами», и что мне не предъявляли никакого ордера на арест. Возможно, солдат послали ко мне с этим

ордером, сказал я, но они предпочли увеселительную поездку в Египет. Во всяком случае, мы нашли их в трюме на полпути в Александрию. Я заверил императора, что, как только мы туда прибыли, я вернул солдат в Антедон, чтобы они были примерно наказаны.

— Ирод Агриппа, — сурово сказала мать, — это была преднамеренная ложь. Мне за тебя стыдно.

— Но не так стыдно, как мне самому, дорогая госпожа Антония, — сказал Ирод. — Сколько раз ты говорила мне, что честность — лучшая политика. Но на Востоке все лгут, и, естественно, ты и сам не принимаешь на веру девять десятых того, что слышишь, и рассчитываешь, что твои собеседники поступают так же. Я на миг забыл, что нахожусь в стране, где хотя бы чуть-чуть отклониться от истины считается бесчестным.

— Император поверил тебе? — поинтересовался я.

— От всего сердца надеюсь, что да, — сказал Ирод. — Он спросил меня: «А как же с долгом?» Я сказал ему, что речь идет о ссуде, предоставленной мне в императорской казне согласно всем правилам и под хорошее обеспечение, и если действительно был выдан ордер на мой арест за неуплату долга, это дело рук предателя Сеяна. Я немедленно поговорю с казначеем и решу этот вопрос. Но император сказал: «Ирод, если долг не будет выплачен в течение недели, я не сделаю тебя наставником своего внука». Вы же знаете, как он строг, когда речь идет об императорской казне. Я сказал таким небрежным тоном, каким только мог, что, разумеется, верну деньги в ближайшие три дня, но я уехал от него с тяжелым сердцем и сразу же написал тебе, моя великодушная покровительница, в надежде, что, может быть...

Мать сказала снова:

— С твоей стороны было очень дурно, Ирод Агриппа, лгать в лицо императору.

— О, я знаю это, конечно, знаю, — проговорил Ирод, изображая глубокое раскаяние. — Если бы ты была на моем месте, ты бы, несомненно, сказала правду, но мне не хватило мужества. И, как я уже говорил, эти семь лет на Востоке, вдали от тебя, притупили мое нравственное чувство.

— Клавдий, — обратилась ко мне мать с внезапной решительностью, — как нам достать двенадцать тысяч золотых за короткий срок? Как насчет письма от Аристобула, которое пришло сегодня утром?

По забавному стечению обстоятельств, в то самое утро я получил от Аристобула письмо, где он просил меня поместить его деньги в земельную собственность, — из-за нехватки звонкой монеты земля в то время сильно подешевела, — и вложил в письмо банковский чек на десять тысяч золотых. Мать рассказала об этом Ироду.

— Аристобул? — вскричал Ирод. — Как, ради всего святого, он умудрился набрать десять тысяч золотых? Видно, этот беспринципный тип воспользовался своим влиянием на Флакка, чтобы брать взятки с местных жителей.

— В таком случае, — сказала мать, — я считаю, что он поступил очень некрасиво по отношению к тебе, сказав моему другу Флакку, будто жители Дамаска прислали тебе дары за то, что ты успешно отстаивал их права. Я не ожидала этого от Аристобула. Пожалуй, будет только справедливо, если мы дадим тебе в долг — на время, только на время, имей это в виду, Ирод — эти десять тысяч, чтобы ты снова встал на ноги. Остальные две тысячи нам нетрудно достать, да, Клавдий?

— Ты забываешь, матушка, что у Ирода есть восемь тысяч, полученных от алабарха. Конечно, если он их еще не растратил. Он будет куда богаче нас, если мы доверим ему деньги Аристобула.

Я предупредил Ирода, что он должен, чего бы это ни стоило, вернуть ссуду не позже, чем через три месяца, иначе меня обвинят в обмане и уж во всяком случае в

нарушении моих обязанностей доверенного лица. Помочь Ироду таким способом было все же лучше, чем закладывать наш дом на Палатинском холме, — а как иначе мы могли раздобыть деньги? Однако все неожиданно обернулось наилучшим образом. Как только Ирод вернул двенадцать тысяч золотом в императорскую казну, он был назначен наставником Гемелла, и за два дня до того, как подошел срок возврата денег Аристобула, не только выплатил мне долг до последней монеты, но и отдал взятые у нас давным-давно пять тысяч, которые мы и не надеялись увидеть. А дело было просто: в качестве наставника Гемелла Ирод, помимо своей воли, проводил много времени в обществе Калигулы, которого семидесятипятилетний Тиберий усыновил и предполагал сделать своим наследником. Тиберий давал Калигуле очень мало наличных денег, и Ирод, завоевав доверие юноши роскошными пирами, богатыми подарками и прочим в таком духе, стал под большим секретом брать от его имени займы крупные суммы у богатых людей, желавших снискать расположение будущего императора. Все полагали, что Тиберию недолго осталось жить. Когда в деловых кругах узнали, каким доверием Калигула облек Ирода, тому стало легко просить о ссудах и от своего имени тоже. Вопрос о его прошлых долгах, сделанных за семь лет до того, уладился сам собой из-за смерти его кредиторов, так как ряды богатых людей сильно поредели в результате судебных расследований о государственной измене, которые велись под руководством Сеяна; тот же пагубный процесс шел при его преемнике Макроне. Насчет оставшихся долгов Ирод был спокоен: кто осмелится преследовать по суду человека, который в такой милости при дворе, как он. Деньги, которые он мне вернул, были частью сорока тысяч золотых, которые Ирод получил займы у вольноотпущенника Тиберия; в свое время, еще рабом, тот был в числе тюремщиков старшего брата Калигулы Друза, заморенного голодом в подвалах дворца. После освобождения он невероятно разбогател, торгуя рабами — он скупал больных рабов по дешевке и приводил их в прекрасную форму в собственной больнице, — и теперь опасался, что, став императором, Калигула отомстит ему за жестокое обращение с Друзом; а Ирод обещал, что смягчит сердце Калигулы.

Так что звезда Ирода с каждым днем становилась ярче, и он уладил кое-какие дела на Востоке к полному своему удовлетворению. К примеру, он написал друзьям в Эдом и Иудею — а всякий, кто теперь получал от него дружеское письмо, был этим весьма польщен — и спросил, не могут ли они снабдить его подробными сведениями о плохом управлении губернатора, который пытался арестовать его в Антедоне. Таким образом он собрал вполне внушительное количество фактов, которые объединил в письме, посланном якобы влиятельными гражданами Антедона, и препроводил его на Капри. Губернатор потерял свое место. Долг торговцу зерном из Акры Ирод отдал, вычитав пять тысяч драхм — в два раза больше того количества, которое было противозаконно удержано из суммы, присланной ему в Идумею, заявив, что как раз столько торговец зерном несколько лет назад одолжил у госпожи Киприды и не вернул ей. Что касается Флакка, Ирод не собирался, ради моей матери, сводить с ним счеты, а вскоре Флакк умер. Аристобула он решил великодушно простить, зная, что тот испытывает не только стыд, но и досаду на самого себя, так непредусмотрительно вызвав вражду брата, ставшего теперь столь могущественным. Аристобул мог быть весьма полезным, надо было только обломать ему рога. Ирод расквитался также с Понтием Пилатом, отдавшим в свое время приказ о его аресте в Антедоне, подучив своих друзей в Самарии выразить протест новому губернатору Сирии, моему другу Вителлию, по поводу грубых методов, которыми действовал Понтий Пилат во время недавних гражданских беспорядков, а также обвинить его в том, что он берет взятки. Пилат был вызван в Рим, чтобы ответить на эти обвинения перед лицом Тиберия.

Одним ясным весенним днем, когда Калигула и Ирод катались в открытой

коляске в окрестностях Рима, Ирод весело заметил:

— Да, что ни говори, а давным-давно пора вручить старому воину деревянную рапиру. — Под «старым воином» он подразумевал Тиберия, а под «деревянной рапирой» — почетный знак освобождения от дальнейших турниров, который жаловали на арене старым, потерявшим форму фехтовальщикам. Затем Ирод добавил: — Не прими это за лесть — хотя, возможно, мои слова звучат именно так, — но я на самом деле считаю, что ты произведешь куда лучшее впечатление на зрителей чем это когда-либо удавалось ему.

Калигулы был в восторге, но, к несчастью, кучер Ирода услышал его слова, понял их смысл и взял себе на заметку. Сознание, что в его власти погубить хозяина подтолкнуло этого болвана на дерзкие выходки, но до поры до времени они проходили незамеченными. Наконец, он вздумал украсть у Ирода очень красивые вышитые полости и продать их другому кучеру, хозяин которого жил в отдалении от Рима. Он доложил Ироду, что они пришли в негодность, так как на них попал деготь из бочки, стоявшей на чердаке конюшни, и тот не стал проверять его слова. Но однажды, отправившись на прогулку со всадником, кучер которого купил его полости, Ирод обнаружил их на собственных коленях. Кража была раскрыта, однако кучер всадника вовремя предупредил вора и тот сразу скрылся, чтобы избежать наказания. Первоначально он намеревался, в случае, если его разоблачат, заявить Ироду в лицо, что перескажет императору услышанные им слова. Но когда дошло до дела, кучер струсил, подумав вдруг, как бы Ирод тут же на месте не убил его за шантаж, ведь ему ничего не стоило раздобыть свидетелей, которые подтвердят, что это была самозащита. Кучер был одним из тех бестолковых людей, без царя в голове, которые и сами из-за этого попадают в беду, и на других ее навлекают.

Ирод знал, где может скрываться кучер и, не подозревая, что поставлено на карту, попросил городскую стражу арестовать его. Кучера нашли и вызвали в суд по обвинению в краже, но он заявил, что, будучи вольноотпущенником, имеет право обратиться к императору, а не быть осужденным без всякого разбирательства. И добавил:

— Я могу сообщить императору кое-что, касающееся его личной безопасности. То, что я слышал однажды, когда правил лошадьми на дороге в Капую.

Судье ничего не оставалось, как отправить его под вооруженным конвоем на Капри.

Из того, что я уже рассказал вам о характере моего дяди Тиберия, вы, вероятно, догадываетесь, какую он избрал линию, когда прочитал донесение судьи. Ему было ясно, что кучер подслушал какие-то изменнические слова, произнесенные Иродом, но предпочел не знать в точности, какие именно: Ирод был отнюдь не из тех людей, которые позволяют себе опасные замечания в чужом присутствии. Поэтому Тиберий держал кучера за решеткой, не вызывая на допрос, а Гемеллу, которому уже исполнилось десять лет, велел не спускать глаз с наставника и сообщать о любом подозрительном слове или поступке. Ирода встревожила эта проволочка, и он решил обсудить все с Калигулой. Они пришли к заключению, что высказывания Ирода в тот день, о котором говорит кучер, могут быть легко объяснены. И, если Ирод сам будет настаивать на расследовании дела, тем скорее Тиберий поверит, что слова «деревянная рапира» были употреблены в прямом смысле, так как Ирод скажет ему, будто разговор шел о Желтых Ногах — известном фехтовальщике, недавно ушедшем со сцены, с которым он сравнивал Калигулу, поздравляя с тем, как последний ловко фехтует.

Ирод заметил, что Гемелл ведет себя крайне странно: подслушивает у дверей и заходит к нему в комнаты в самое неподходящее время. Было ясно, что он делает это по приказу Тиберия. Поэтому Ирод снова приехал к моей матери, ввел ее в курс дела и настоятельно просил ходатайствовать перед императором от его имени о

скорейшем слушании дела, так как Ироду не терпится примерно наказать кучера за воровство и неблагодарность — Ирод всего за год до того по собственному почину отпустил его на свободу. О намерении кучера его уличить упоминать было не надо. Мать сделала все так, как просил Ирод. Она написала Тиберию и после обычного промедления получила ответ. Это письмо сейчас у меня в руках, и я могу процитировать его слово в слово. В кои-то веки Тиберий приступил прямо к делу.

«Если этот кучер намеревался облыжно обвинить Ирода Агриппу в каких-либо изменнических речах, чтобы прикрыть собственную вину, то за это безрассудство он уже достаточно наказан, пробыв столь долгий срок в заключении в моей не очень-то гостеприимной темнице в Мизене. Я собирался отпустить его, предупредив, чтобы он никогда не обращался ко мне за обжалованием решения суда, если его осудят за такое чепуховое преступление, как кража. Я слишком стар и слишком занят, чтобы меня беспокоили по пустякам. Но если по твоему настоянию я стану расследовать это дело и выяснится, что изменнические слова были на самом деле произнесены, Ирод пожалеет о своей настойчивости — его желание видеть кучера сурово наказанным может повлечь суровое наказание для него самого».

Письмо это заставило Ирода еще упорнее стремиться к тому, чтобы кучер предстал перед судом, причем в его присутствии. Сила, приехавший незадолго перед тем в Рим, уговаривал его ничего не делать, приводя в подтверждение своей правоты известную пословицу «от добра добра не ищут» или, как еще говорили в Риме: «Не трогай Камарины». (Возле Камарины, в Сицилии, были ядовитые болота, которые жители города осушили из гигиенических соображений и тем самым лишили город защиты; он был захвачен и полностью разрушен.) Но Ирод и слушать не желал: последние пять лет были вполне благополучными, и Сила все больше ему докучал. Вскоре Ирод узнал, что Тиберий, уже давно живший на Капри, приказал приготовить к своему приезду виллу в Мизене — ту, где Тиберий впоследствии умер. Ирод сразу же отправился вместе с Гемеллом и моей матерью — вы помните, что и Калигула, и Гемелл были ее внуки — в гости к Калигуле на его виллу в Бавлах; Бавлы находятся очень близко от Мизена на северном побережье Неаполитанского залива, так что когда вся их компания прибыла в Мизен после приезда Тиберия, чтобы выразить ему свое уважение, это выглядело вполне естественно. Тиберий пригласил их к обеду на следующий же день. Тюрьма, где томился кучер, была совсем близко, и Ирод уговорил мою мать попросить при всех Тиберия, чтобы он тогда же решил его вопрос. Я тоже был приглашен на этот обед, но отклонил приглашение, так как и мать, и Тиберий с трудом переносили мое присутствие. Но о том, что там произошло, я знаю со слов нескольких очевидцев. Обед был превосходный, с одним минусом — слишком мало вина. Тиберий по совету врача воздерживался от крепких напитков, естественно, все присутствующие из чувства такта и осторожности не просили слуг вновь наполнить кубок, опорожнив его, а те этого не предлагали. Воздержанность в вине всегда приводила Тиберия в плохое настроение, однако мать снова храбро завела разговор о кучере. Тиберий прервал ее, словно неумышленно переведя разговор на другую тему, и она не стала продолжать, пока обед не подошел к концу и все вышли в парк, чтобы прогуляться под деревьями, обрамлявшими здешний скаковой круг: Тиберия несли в портшезе, мать, на редкость бодрая для своих лет, шла рядом с ним. Мать сказала:

— Тиберий, могу я поговорить с тобой насчет этого кучера? Согласись, его дело давно пора решить и у всех станет легче на сердце, если ты сегодня подведешь под ним черту раз и навсегда. Тюрьма рядом, и все это займет каких-то несколько минут.

— Антония, — сказал Тиберий, — я тебе уже намекал, чтобы ты не

вмешивалась: лучшее враг хорошего, но, если ты настаиваешь, пусть будет по-твоему. — Затем он подозвал Ирода, шедшего позади портшеза вместе с Калигулой и Гемеллом, и сказал: — Я намерен допросить сейчас твоего кучера, Ирод Агриппа, так как на этом настаивает моя невестка, госпожа Антония, но, видят боги, я делаю это не по своей воле, — меня к этому вынуждают.

Ирод рассыпался в благодарностях за то, что он снизошел к его просьбе. Затем Тиберий велел Макрону, который тоже был здесь, немедленно привести к ним кучера.

Видимо, накануне вечером Тиберий обменялся с Гемеллом несколькими словами наедине. (Годом-двумя позднее Калигула заставил Гемелла дать ему полный отчет об этой беседе.) Тиберий спросил мальчика, может ли он доложить о чем-нибудь, порочащем его учителя, и тот ответил, что он не слышал от него никаких изменнических слов и не заметил никаких изменнических поступков, но он мало видел его последние дни, — Ирод все время проводил в обществе Калигулы и почти не занимался с ним, предоставив самому учиться по книгам. Затем Тиберий спросил Гемелла, не говорили ли Ирод и Калигула между собой насчет денег? Гемелл постарался припомнить и наконец сказал, что однажды Калигула спросил Ирода, удалось ли ему раздобыть денег у Р.О.Т., и Ирод сказал: «Я отвечу тебе позднее, кое у кого уже уши на макушке». Тиберий сразу догадался, что значит «Р. О. Т.». Без сомнения, речь шла о деньгах, взятых Иродом в долг для Калигулы, при условии, что они будут возвращены *post obitum Tiberii*, то есть, после смерти Тиберия. Поэтому Тиберий отпустил Гемелла, сказав ему, что все это мелочи и он вполне удостоверился в преданности Ирода. А сам немедленно послал в тюрьму доверенного вольноотпущенника, и тот от имени императора приказал кучеру сообщить, что именно он слышал от Ирода. Кучер повторил все слово в слово, и вольноотпущенник передал это Тиберию. По размышлении Тиберий вновь отправил вольноотпущенника в тюрьму, чтобы он научил кучера, как именно он должен отвечать во время суда. Вольноотпущенник заставил кучера заучить все наизусть и дал понять, что, если он скажет все, как надо, его не только отпустят на свободу, но и наградят.

Судебное разбирательство происходило прямо на беговом круге. Тиберий спросил кучера, признается ли он, что украл полости. Кучер ответил, что ни в чем не виноват, — Ирод сам их ему подарил, но потом пожалел о своей щедрости. Тут Ирод стал громко возмущаться его неблагодарностью и лживостью, мешая вести допрос, но Тиберий велел ему замолчать и спросил кучера:

— Что еще ты можешь сказать в свою защиту?

Кучер ответил:

— Даже если я и украл бы эти полости, чего я не делал, это было бы вполне простительно, потому что мой хозяин — изменник. Однажды днем, незадолго до моего ареста, я был на облучке коляски — мы ехали в Капую. За спиной у меня сидели твой внук Калигула и мой хозяин Ирод Агриппа. Мой хозяин сказал: «Хоть бы поскорей наступил день, когда старый воин умрет и ты будешь признан его наследником! Молодой Гемелл тебе не помеха; отделаться от него ничего не стоит. Все будут счастливы, и я — больше всех!»

Ирод был так поражен этими словами, что в первый момент не знал, как на них ответить, и лишь твердил: это ложь. Тиберий обратился к Калигуле, и тот, будучи редким трусом, встревоженно поглядел на Ирода в надежде на подсказку, но не получил ее и пробормотал, что если Ирод и произнес такие слова, он их не слышал: он припоминает эту поездку, тогда был очень ветреный день. Если бы при нем кто-нибудь произнес изменнические слова, уж он, Калигула, не пропустил бы их мимо ушей, тут же доложил об этом своему императору. (Калигула с легкостью предавал друзей, если его собственной жизни грозила опасность, и всегда восторженно внимал

Тиберию; о нем говорили, что не было еще лучшего раба у худшего господина.) Но тут Ирод храбро вмешался в разговор:

— Если твой сын, сидевший рядом со мной, не слышал изменнических слов, которые мне приписываются, — а уж он всегда начеку, если пахнет изменой, — как мог их услышать кучер, сидевший к нам спиной?

Но Тиберий уже принял решение.

— Надеть наручники на этого человека, — бросил он Макрону, а затем носильщикам: — Пошли.

Те двинулись вперед. Ирод, Антония, Макрон, Калигула, Гемелл и остальные стояли пораженные на месте, не зная, что предпринять. Макрон не был уверен в том, кого именно он должен был заключить под стражу, и когда Тиберий, сделав круг, снова вернулся туда, где все еще стояли остальные, Макрон сказал:

— Прости меня, цезарь, но кого из этих людей я должен арестовать?

Тиберий показал на Ирода и сказал:

— Вот тот, кого я имел в виду.

Макрон, весьма уважавший Ирода и, возможно, надеявшийся заставить Тиберия изменить решение, сделал вид, будто не понимает его, и снова спросил:

— Не мог же ты иметь в виду Ирода Агриппу, цезарь?

— Именно его и никого другого! — прорычал Тиберий.

Ирод выбежал вперед и чуть не пал ниц перед Тиберием. На это он не осмелился, так как знал, что Тиберий не любит, чтобы перед ним пресмыкались, как перед восточным царьком. Но он с самым жалостным видом простирает к нему руки, уверяя, что он верный подданный Тиберия и абсолютно не способен допустить даже мысль об измене, не то что сказать об этом. Он принялся с жаром говорить о своей дружбе с покойным сыном Тиберия (ставшим, как и сам Ирод, жертвой необоснованных обвинений в измене), чью безвозвратную утрату он оплакивает по сей день, и о том, какую высокую честь оказал ему император, назначив наставником своего внука. Но Тиберий лишь холодно и мрачно взглянул на Ирода, как он это умел, и глумливо сказал:

— Прибереги свое красноречие до дня суда, мой благородный Сократ, я не премину его назначить. — Затем обратился к Макрону: — Отведи этого человека в тюрьму. Можешь приковать его на ту же цепь, на которой сидел этот честный малый.

Больше Ирод не вымолвил ни слова, лишь поблагодарил мать за ее великодушное, хотя и безуспешное заступничество, на его запястьях защелкнулись наручники, и Ирода отвели в тюрьму. Здесь, в тесных и душных камерах, впроголодь, на голом полу, содержались простодушные римские граждане, рискнувшие обратиться к императору с жалобой на решение нижних судебных палат, не подозревая, что им предстоит томиться здесь до того неопределенного времени, когда он выберет минутку решить их судьбу. Некоторые из узников пробыли здесь уже не один год.

Глава IV

Когда Ирода подвели к тюремным воротам, он увидел возле них раба Калигулы, грека по имени Тавмаст, с кувшином для воды в руках. Раб с трудом переводил дыхание, словно бежал туда бегом. Ирод надеялся, что Калигула прислал его в знак того, что верен их дружбе, хотя и не может открыто о ней заявить, чтобы не прогневить Тиберия, и окликнул раба:

— Тавмаст, ради всего святого, дай мне напиться.

Погода была на редкость жаркая для сентября, а за обедом, как я уже говорил, почти не подавали вина. Юноша сразу же подошел к нему, точно для этого и был сюда прислан. У Ирода стало куда спокойнее на душе и, поднеся кувшин к губам, он

выпил его чуть не до дна — в нем оказалось вино, а не вода, как он думал. Затем сказал рабу:

— Ты заслужил благодарность узника за это питье. Обещаю тебе, что, когда я выйду на свободу, я тебя вознагражу. Я позабочусь о том, чтобы твой хозяин, который не из тех, кто оставляет друзей в беде, даровал и тебе свободу, как только освободит меня; я возьму тебя в услужение, и ты будешь у меня в доме доверенным лицом.

Ироду удалось сдержать свое слово, и Тавмаст постепенно дошел до поста его главного управляющего. Сейчас, когда я пишу эти строки, он еще жив и находится на службе у сына Ирода, хотя сам Ирод умер.

Ирода ввели за ворота в то самое время, когда узников выводили на прогулку, но им строго-настрого запрещалось разговаривать друг с другом без разрешения тюремщиков. На пятерых узников приходился один тюремщик, который следил за каждым их движением.

Появление Ирода не прошло незамеченным среди этих томившихся от скуки, апатичных людей: восточный принц в пурпурном плаще — такого здесь никогда раньше не видели. Однако сам Ирод никак их не приветствовал и стоял, устремив взор на крышу виллы Тиберия, словно хотел прочитать на ней предсказание того, что его ждет.

Среди узников находился престарелый германский вождь; его история в общих чертах такова. Он был офицером германских вспомогательных войск под началом Вара, когда владения Рима еще простирались за Рейн, и, в знак признания его бывших заслуг, получил римское гражданство. После того, как Вара предательски заманили в засаду и его армия была разгромлена знаменитым Германном, этот вождь, хотя он не служил (так он, во всяком случае, утверждал) в армии Германа и ничем не помогал тому в осуществлении его планов, не предпринял никаких шагов, чтобы доказать свою прежнюю верность Риму, а напротив, сделался главой своей родовой деревни. Во время кампаний, которые вел мой брат Германик, он вместе со всей семьей переехал в глубь страны и вернулся лишь тогда, когда Германика отозвали в Рим и казалось, будто опасность миновала. Однако ему не повезло, и во время одного из набегов римлян за Рейн, которые совершались время от времени с целью держать наших солдат в боевой форме и напоминать германцам, что наступит день, когда провинция снова будет в руках Рима, вождя этого взяли в плен. Римский генерал приказал было застрелить его, как дезертира, до смерти, но германец настаивал на том, что всегда был верен Риму и хочет воспользоваться своим правом римского гражданина прибегнуть к милосердию императора. За эти годы он совсем забыл лагерную латынь и теперь обратился к одному из тюремщиков, немного говорящему на его родном языке, с вопросом, кто этот красивый и грустный молодой человек, стоящий под деревом. Тюремщик ответил, что он еврей и пользуется большим весом у себя на родине. Германец попросил разрешения с ним заговорить, так как он никогда в жизни не общался с евреями, но полагает, что евреи не уступают в уме и храбрости самим германцам и у них многому можно поучиться. Он добавил, что и сам пользовался большим весом у себя на родине.

— У нас тут будет форменный университет, — сказал со смехом тюремщик. — Если вы, господа из дальних краев, захотите обменяться философскими взглядами, я постараюсь послужить вам переводчиком. Но не ждите многого от моего германского.

Ирод по-прежнему стоял под деревом, прикрыв лицо плащом, чтобы любопытные узники и тюремщики не заметили слезы у него на глазах, и тут произошла одна интересная вещь. На ветку над его головой села сова и уронила на него помет. Совы крайне редко летают при дневном свете, но лишь германский вождь заметил, что случилось, — все остальные не отрывали глаз от самого Ирода.

Германец вежливо приветствовал его через тюремщика, начав с того, что хочет

сообщить ему нечто важное. При первых словах Ирод открыл лицо и ответил, что он весь внимание. Он ожидал хоть какой-нибудь весточки от Калигулы и не понял сразу, что тюремщик переводит ему слова одного из узников. Тюремщик:

— Прошу прощения, господин, но этот старый германец хочет узнать, заметил ли ты, что на тебя уронила помет сова? Я выступаю в качестве его переводчика. Он римский гражданин, но от сырости в его родных местах его латынь сильно заржавела.

Как ни был Ирод разочарован, он не мог не улыбнуться. Он знал, что томившиеся от безделья узники часто разыгрывают друг друга, а тюремщики, кому их обязанности надоели ничуть не меньше, порой помогают им. Поэтому он не взглянул на дерево и не стал осматривать плащ, чтобы убедиться, что над ним не потешаются, а ответил шутливым тоном:

— Со мной случались и более странные вещи, дружище. Совсем недавно в окно моей спальни влетел фламинго, снес яйцо в моей туфле и улетел. Моя жена очень расстроилась. Если бы еще это был воробей или дрозд, даже сова, она бы и внимания не обратила. Но фламинго!..

Германец не знал, что такое фламинго, поэтому, пропустив реплику Ирода мимо ушей, продолжал:

— Тебе известно, что значит, когда птица роняет помет на голову или на плечо? На моей родине это предвещает большую, очень большую удачу. Когда так делает священная птица сова, притом не издав ни единого зловещего звука, это должно вызвать в твоем сердце глубочайшую радость и надежду. Мы, хавки, знаем все, что можно знать о совах. Сова — наш тотем, наше племя названо в ее честь. Если бы ты был мой соплеменник, я бы сказал, что бог Манн послал эту птицу, чтобы оповестить тебя о том высоком poste, который ждет тебя на родине и который ты займешь после того, как окончится твое недолгое заточение. Но мне сказали, что ты еврей. Могу я узнать имя твоего бога?

Ирод, все еще не решивший, говорит ли старик всерьез или притворяется, ответил, не уклоняясь от истины:

— Имя нашего бога слишком священно, чтобы произносить его вслух. Евреи могут упоминать о нем лишь перифразами и даже перефразируя сами эти перифразы.

Германец решил, что Ирод над ним смеется, и сказал:

— Пожалуйста, не думай, что я говорю все это, желая получить вознаграждение; увидев, что сделала птица, я просто не мог не поздравить тебя. И должен сказать тебе еще одно — ведь у себя на родине я известный авгур: когда в следующий раз эта птица сядет рядом с тобой и примется ухать, знай, что твои счастливые дни миновали, даже если ты будешь тогда благоденствовать, и жить тебе осталось столько дней, сколько раз она ухнет. Но пусть это наступит не скоро.

Ирод уже успел прийти в хорошее настроение и сказал германцу:

— Мне кажется, старик, ты несешь самую забавную дичь, какую я слышал с тех пор, как вернулся в Италию. Я искренне тебя благодарю за то, что ты старался меня приободрить, и если мне когда-нибудь удастся выйти отсюда, я постараюсь освободить и тебя. Надеюсь, с тобой будет так же весело за пределами тюрьмы, как в ее стенах, и мы проведем вместе не один славный вечерок за чашей вина и смешными историями.

Германец в гневе отошел от него.

Тем временем Тиберий отдал неожиданный приказ слугам паковать вещи и в тот же день отплыл на Капри. Полагаю, он боялся, что моя мать станет уговаривать его освободить Ирода и ему будет трудно отказать, поскольку он был обязан ей разоблачением заговора Сеяна и Ливиллы. Мать, понимая, что пока ничем не может помочь Ироду, разве только попытаться облегчить его жизнь в тюрьме, обратилась к

Макрону с просьбой оказать ей эту услугу. Макрон отвечал, что, если он создаст Ироду лучшие условия, чем остальным узникам, его ждут неприятности.

Мать сказала:

— Я не прошу устроить ему побег, но во всем остальном, умоляю тебя, сделай для Ирода все, что можешь, и если Тиберий об этом случайно узнает и будет недоволен, обещаю, что отвращу от тебя его гнев и возьму всю вину на себя.

Ей было крайне неприятно просить об одолжении Макрона, сына одного из наших фамильных рабов, но ее очень тревожила судьба Ирода и она была готова ради него почти на все. Макрону польстили ее просьбы, и он обещал приставить к Ироду тюремщика, который будет оказывать ему всяческое внимание, и назначить начальником тюрьмы капитана, которого она лично знает. Более того, он устроил в дальнейшем так, что Ирод питался вместе с этим начальником тюрьмы и получил разрешение ежедневно посещать местные бани. Макрон сказал, что, если вольноотпущенники Ирода доставят ему из дома теплую постель — дело шло к зиме, — а затем станут приносить еду, он проследит, чтобы им не чинили препятствий, только пусть говорят привратнику у ворот, что это предназначено начальнику тюрьмы. Так что тюремная жизнь Ирода не причиняла ему особых страданий — его приковывали цепью к стене лишь тогда, когда тюремщик куда-нибудь отлучался, — но он очень тревожился из-за Киприды и детей, так как был лишен каких-либо вестей с воли. Сила, хоть и не мог доставить себе удовольствие сказать Ироду, что надо было следовать его совету («от добра добра не ищут»), следил за тем, чтобы вольноотпущенники регулярно, не привлекая внимания, носили Ироду еду и все необходимое, и всячески старался ему помочь. Кончилось тем, что его самого арестовали, так как он пытался тайком передать в тюрьму письмо, но скоро отпустили, сделав предупреждение.

В начале следующего года Тиберий решил переехать с Капри в Рим и велел Макрону отправить туда всех узников, так как он намеревался сразу же по прибытии рассматривать их дела. Поэтому Ирода, как и всех остальных, вывели из Мизена и повели по этапу к Риму, чтобы поместить в тюремных бараках в лагере гвардейцев за городом. Вы помните, что Тиберий повернул обратно, чуть не от самых городских стен, испугавшись дурного предзнаменования — смерти своего любимца, бескрылого дракона; он поспешил на Капри, но простудился и был вынужден остановиться в Мизене. Вы помните также, что, когда все сочли, что он умер, и Калигула важно расхаживал по вестибюлю виллы, размахивая пальцем с печаткой перед глазами восхищенных придворных, Тиберий пришел в сознание и громко потребовал, чтобы ему подали еду. Но гонец уже принес в Рим известие о его смерти и восшествии на престол Калигулы. Вольноотпущенник Ирода, тот самый, что привез ему деньги из Акры, встретил случайно этого гонца в предместье города, когда тот на скаку во весь голос выкрикивал эту весть. Вольноотпущенник кинулся в лагерь, вбежал в барак, где находился Ирод, и громко воскликнул по-еврейски: «Лев сдох». Ирод задал ему несколько торопливых вопросов на том же языке; вид у него был такой довольный, что начальник тюрьмы приказал сообщить, какие ему принесли новости. Это нарушение тюремных правил, и не должно повторяться, сказал он. Ирод объяснил, что не произошло ничего особенного, просто у одного из его родичей в Идумее родился сын-наследник, но начальник тюрьмы потребовал без обиняков выложить ему всю правду, и в конце концов Ирод произнес:

— Император умер.

Начальник тюрьмы, бывший к этому времени с Иродом в прекрасных отношениях, спросил вольноотпущенника, уверен ли он в истинности своего известия. Тот ответил, что сам слышал это из уст императорского гонца. Тогда начальник тюрьмы собственными руками сбил с Ирода оковы, воскликнув:

— Мы должны выпить за это, Ирод Агриппа, мой друг, лучшее вино, какое есть в

лагере.

Они весело сели за стол, и только Ирод, бывший в ударе, принялся толковать начальнику тюрьмы, какой он славный человек — так тактично вел себя все это время — и какие счастливые дни их ждут теперь, когда Калигула стал императором, как вдруг пришло известие, что Тиберий жив. Это страшно испугало начальника тюрьмы. Он решил, что сообщение о смерти Тиберия было ложным, и Ирод все это подстроил, чтобы вовлечь его в беду.

— Обратно на цепь, сию же минуту! — вскричал он сердито. — И больше не жди, что я тебе когда-нибудь поверю.

Пришлось Ироду встать из-за стола и печально возвращаться к себе в подвал. Но, как вы помните, Макрон не дал Тиберию долго наслаждаться жизнью — зайдя в императорскую опочивальню, он задушил его подушкой.

Весть о смерти Тиберия, на этот раз окончательной, вновь достигла Рима. Но начальник тюрьмы продержал Ирода в оковах всю ночь. Он не собирался рисковать.

Калигула хотел сразу же освободить своего друга, но, как ни странно, отсоветовала делать это моя мать, которая была тогда в Байях, возле Мизена. Она сказала, что до похорон императора неприлично освобождать тех узников, кого он посадил в тюрьму за государственную измену. Будет куда лучше выглядеть, если Ирод, вернувшись в Рим, какое-то время посидит под домашним арестом. На том и порешили. Ирод приехал домой вместе с тюремщиком и должен был ходить в тюремной одежде. Когда официальный траур по Тиберию кончился, Калигула прислал ему записку, в которой просил его побриться, надеть чистое платье и приехать на следующий день к обеду во дворец. Казалось, все неприятности наконец остались позади.

Я, наверно, не упоминал о смерти, за три года до того, дяди Ирода Филипа; он оставил вдову — дочь Иродианы Саломею, которую считали самой прекрасной женщиной на Ближнем Востоке. Когда известие о смерти Филипа достигло Ирода, он тут же обратился к доверенному вольноотпущеннику Тиберия, который был в курсе всего, что касалось Востока, и убедил его оказать ему некую услугу. Вольноотпущенник должен был напомнить Тиберию, что у Филипа нет детей, и посоветовать ему не отдавать Башан, тетрархию, где тот правил, никому из родственников Ирода, а временно присоединить ее к Сирии для удобства управления. Вольноотпущенник ни в коем случае не должен был упоминать о подати, которая шла из тетрархии в императорскую казну и составляла сто шестьдесят тысяч золотых в год. Если Тиберий послушается его совета и велит написать губернатору Сирии, что Башан переходит к нему в подчинение, вольноотпущеннику следовало тайно добавить постскриптом того содержания, что деньги эти должны оставаться в казне Башана до тех пор, пока Филипу не назначат преемника. Ирод хотел сам заполучить и Башан, и эту дань. Поэтому, когда на обеде, устроенном в честь друга, благодарный Калигула наградил его за перенесенные страдания, пожаловав ему тетрархию вместе со всеми деньгами, присовокупив к этому титул царя, Ирод оказался очень и очень состоятельным человеком. Калигула велел также принести цепь, которую Ирод носил в тюрьме, и вручил ему вместо нее такую же, с той разницей, что все звенья ее были сделаны из чистого золота. Несколько дней спустя Ирод, позаботившись, чтобы старый германский вождь получил свободу, а кучер — обвинительный приговор за клевету, тюрьму и плети, после которых он еле выжил, радостно отплыл на Восток, в свои новые владения. Киприда отправилась с мужем с еще большей радостью, чем он. Все то время, что он пробыл в заточении, она выглядела больной и удрученной, ведь такой верной и преданной жены было поискать; даже ела и пила она лишь то, что получал в тюрьме Ирод. Жила она в доме младшего брата мужа — Ирода Поллиона.

Теперь счастливая пара вновь воссоединилась и, как обычно в сопровождении

Силы, отплыла в Башан через Египет. В Александрии они сошли на берег, чтобы нанести визит алабарху и засвидетельствовать ему свое почтение. Ирод хотел войти в город, не привлекая к себе внимания, так как не желал стать причиной стычек между евреями и греками, но евреи были вне себя от радости по поводу приезда еврейского царя, да еще пользующегося особой милостью императора. На пристани их встречала многочисленная толпа в праздничных одеждах; с криками «Осанна, Осанна!» и ликующими песнями она сопровождала их до еврейской части города, так называемой Дельты. Ирод делал все возможное, чтобы умерить всеобщие восторги, но Киприда была в таком восхищении от приема, столь непохожего на предыдущий, что ради нее он посмотрел сквозь пальцы на многие сумасбродства своих соотечественников. Александрийских греков охватила досада и зависть. Они одели «под царя» известного городского дурачка (вернее, играющего эту роль) по имени Баба, который обычно просил милостыню на главных площадях города, вызывая смех своим юродством. Они окружили его шутовским караулом с мечами из колбас, ветчинными щитами и свиными головами вместо шлемов и торжественно, всем напоказ, провели через Дельту. Толпа кричала: «Марин! Марин!», что значило «Царь! Царь!». Шествие остановилось у дома алабарха, затем у дома его брата Филона. Ирод посетил двух самых влиятельных греков и выразил свой протест. Он был краток.

— Я не забуду сегодняшний спектакль, — сказал он, — и, думаю, наступит день, когда вы пожалеете о нем.

Из Александрии Ирод и Киприда направились морем в Яффу, а оттуда в Иерусалим, чтобы повидаться с детьми и первосвященником, с которым Ироду было необходимо наладить отношения. Ирод принес в дар иудейскому богу свои железные оковы, — что вызвало большой эффект, — повесив их на стене в сокровищнице храма.

Затем они проехали через Самарию, пересекли границы Галилеи — не отправив приветственного послания Антипе и Иродиаде — и наконец достигли своего нового дома в Филиповой Кесарии, красивом городе, построенном Филипом на южных склонах горы Гермон и служившем ему столицей. Здесь они забрали деньги, скопившиеся после смерти Филипа в городской казне. Саломея, вдова Филипа, делала все возможное, чтобы завоевать Ирода, пускала в ход все свои чары, но ничего не добилась. Ирод сказал ей:

— Не спорю, ты очень хороша собой, очень любезна и остроумна, но припомни пословицу: «Переезжая в новый дом, не забудь захватить старой земли», другими словами, старый друг лучше новых двух. Моя дорогая Киприда — единственная, кто будет царицей Башана.

Вы сами можете представить, что Иродиада чуть с ума не сошла от зависти, услышав о том, какое счастье привалило Ироду. Киприда стала царицей, а она, Иродиада, — всего-навсего жена какого-то тетрарха. Она попыталась разжечь в Антипе те же чувства, какие терзали ее, но ленивый старик был вполне доволен своим положением: всего лишь тетрарх, да, но зато очень и очень богатый, а каким титулом или титулами его величают, не имеет для него никакого значения.

— Ничтожество, — сказала ему Иродиада. И он еще хочет, чтобы она уважала его! — Только подумать, что мой братец, Ирод Агриппа, этот нищий — ведь он совсем недавно искал у нас убежище, спасаясь от кредиторов, и если бы не наша доброта, не имел бы и корки хлеба на ужин, — этот грубиян и мошенник, который оскорбил нас и сбежал в Сирию, откуда его с позором изгнали за предательство и чуть не арестовали в Антедоне за долги, а когда он вернулся в Рим, посадили в тюрьму за государственную измену, — только подумать, что человек с такой репутацией, расточитель, за которым, где бы он ни был, тянется хвост из долгов, станет теперь царем и сможет смотреть на нас сверху вниз. На нас! Я этого не

перенесу. Немедленно поезжай в Рим и заставь нового императора дать тебе хотя бы такие же почести, какие он дал Ироду.

Антипа отвечал:

— Дорогая Иродиада, в твоих словах мало смысла. Мы живем здесь в довольстве и достатке, а если попробуем улучшить свое положение, можем навлечь на себя беду. После смерти Августа от Рима лучше держаться подальше.

— Я не буду с тобой разговаривать и спать в одной постели, — сказала Иродиада, — пока ты не дашь мне слово, что поедешь в Рим.

Ирод узнал об этом разговоре от одного из своих клевретов при дворе Антипы, и когда, вскоре после этого, Антипа отплыл в Рим, Ирод отправил Калигуле письмо с капитаном быстроходного судна, пообещав ему большие деньги, если он опередит Антипу. Капитан, с риском для жизни, поднял все паруса и сумел получить награду. Когда Антипа предстал перед Калигулой, у того уже было в руках письмо Ирода. Ирод писал, что во время своего пребывания в Иерусалиме, он слышал серьезные обвинения по адресу своего дяди Антипы, которым сперва не поверил, однако в дальнейшем их истинность подтвердилась. Дядя не только вел изменническую переписку с Сеяном и Ливиллой в то время, как они готовили заговор с целью захвата империи — это давняя история, — но в самое последнее время обменивался письмами с парфянским царем, намеревавшимся с его помощью поднять на Ближнем Востоке повсеместный бунт против Рима. Царь Парфии обещал в награду за его вероломство дать Антипе Самарию, Иудею и собственное его, Ирода, царство — Башан. В подтверждение своих слов Ирод упомянул, что в дворцовом арсенале Антипы находятся семьдесят тысяч доспехов. Каков еще может быть смысл этих секретных приготовлений к войне? Постоянная армия его дяди состоит из каких-то нескольких сотен человек — обыкновенный почетный караул. Ведь не для римских войск он приготовил это снаряжение.

Ирод, конечно, хитрил. Он прекрасно знал, что у Антипы не было абсолютно никаких воинственных намерений и что причиной столь чрезмерного количества доспехов была лишь любовь Антипы к хвастовству. Он получал большие доходы от Галилеи и Гилеада, и хотя гостеприимством не отличался, на дорогие вещи денег не жалел: он собирал доспехи, как богатые люди в Риме собирают статуи, картины и инкрустированную мебель. Но Ирод знал также, что это объяснение не придет в голову Калигуле, которому он не раз рассказывал о скупости Антипы. Поэтому, когда Антипа пришел в императорский дворец и приветствовал Калигулу, поздравляя с тем, что он унаследовал императорский трон, Калигула ответил ему весьма холодно и тут же спросил:

— Правда, тетрарх, что у тебя в арсенале есть семьдесят тысяч доспехов?

Антипа, испуганный и удивленный, не мог этого отрицать, так как Ирод был осторожен и назвал точную цифру. Он лишь пробормотал, что доспехи эти служат для его личного удовольствия. Калигула сказал:

— Аудиенция окончена. Твои отговорки шиты белыми нитками. Завтра я решу, что с тобой делать.

Антипа покинул дворец в замешательстве и тревоге.

Вечером, за обедом, Калигула спросил меня:

— В каком это городе ты родился, дядя Клавдий?

— В Лионе, — ответил я.

— Очень нездоровое место, да? — поинтересовался Калигула, крутя в пальцах золотой кубок.

— У него репутация самого гнилого места во всех твоих владениях. Я виню климат Лиона в том, что он обрек меня, еще в детстве, на теперешнюю пассивную и бесполезную жизнь.

— Да, я припоминаю, ты как-то уже говорил об этом, — сказал Калигула. — Вот

туда мы и отправим Антипу. Перемена климата пойдет ему на пользу. Для человека с таким горячим темпераментом в Галилее слишком жарко.

На следующий день Калигула сказал Антипе, что он лишен сана тетрарха и должен отправиться в изгнание; в Остии уже ждет корабль, который отвезет его в Лион. Антипа отнесся к этому философически — изгнание все же лучше, чем смерть, — и, что делает ему честь, ни разу, насколько я знаю, ни словом не упрекнул Иродиаду, последовавшую за ним в Рим. Калигула написал Ироду письмо, где благодарил за своевременное предупреждение, и в награду за его верность отдавал ему тетрархию Антипы и все доходы с нее. Но, так как Иродиада была родная сестра Ирода, и Калигула это знал, он сказал ей, что она может оставить себе любое имущество, которым владеет в Галилее, и, если пожелает вернуться туда, будет жить там под его покровительством. Иродиада, слишком гордая, чтобы согласиться на это, отвечала, что Антипа всегда относился к ней хорошо и она не бросит его в беде. Она принялась было распространяться на эту тему, надеясь смягчить сердце Калигулы, но он ее оборвал. На следующий день Антипа и Иродиада отплыли в Лион. В Палестину они не вернулись.

Благодарность Ирода не знала границ. Калигула показал мне его письмо. «...Но каков вояка, — писал Ирод, — семьдесят тысяч боевых доспехов — и все для его личного удовольствия. Каждый день надевай другие, и то хватит на двести лет! Ну не обидно ли, что такой человек зря пропадает в Лионе. Тебе надо было отправить его в Германию, он собственноручно покорил бы ее. Твой отец всегда говорил: когда имеешь дело с германцами, единственный путь — уничтожить их поголовно без всякой пощады, а тут к твоим услугам такой беспощадный, такой жадный до драки человек, что делает для себя запас в семьдесят тысяч доспехов, все по мерке». Ну и посмеялись мы над этим письмом! В конце Ирод добавлял, что должен приехать в Рим, чтобы лично поблагодарить Калигулу, так как перо и бумага не могут выразить всего того, что он чувствует. Он оставит своего брата Аристобула — под присмотром Силы — временным правителем Галилеи и Гилеада, а младшего брата, Ирода Поллиона, — временным правителем Башана.

Ирод приехал в Рим вместе с Кипридой и отдал кредиторам деньги до последней монеты, сообщая всем встречным и поперечным, что никогда больше не будет влезать в долги. В первый год правления Калигулы у Ирода не было никаких затруднений, стоящих того, чтобы о них говорить. Даже когда Калигула поссорился с моей матерью из-за Гемелла, которого он приказал убить, — вы можете не сомневаться, что Ирод его отнюдь не отговаривал, — и ей пришлось, как я писал в предыдущей книге, покончить с собой, Ирод был совершенно убежден в том, что Калигула по-прежнему верит в его преданность, и, чуть ли не единственный из ее друзей, надел по ней траур и присутствовал на похоронах. Я думаю, смерть ее была для Ирода большим ударом, но Калигуле он сказал так:

— Я был бы форменным негодяем, если бы не отдал последний долг духу моей благодетельницы. То, что ты выразил неудовольствие по поводу ее вмешательства в твои дела, должно было пробудить у госпожи Антонии глубочайшее горе и глубочайший стыд. Если бы я вызвал твою немилость подобным образом — но об этом смешно и думать, — я бы поступил так же, как она. Мой траур — дань ее мужественному уходу из современного мира, в котором такие люди, как она, следующие традициям древности, оказываются неуместны.

Калигула отнесся к его словам вполне благосклонно и сказал:

— Не волнуйся, Ирод, ты поступил, как должно. Она нанесла обиду мне, а не тебе.

Но когда в результате болезни Калигула повредился в уме, объявил о своей божественной сущности и принялся отсекал головы изваяниям богов и заменять их слепками с собственной головы, Ирод не на шутку встревожился. Он был правителем

многих тысяч евреев и предвидел, что его ждут неприятности. Первые признаки грядущей беды появились в Александрии, где его враги, греки, настояли на том, чтобы губернатор Египта принудил евреев воздвигнуть статуи императора в синагогах, подобно тому, как они сами воздвигали их в своих храмах, а также заставил их клясться, подобно грекам, его священным именем, принося присягу в суде. Губернатор Египта — враг Агриппины и сторонник Тиберия Гемелла — решил, что лучшим способом доказать верность Калигуле будет силой провести в жизнь императорский эдикт, хотя он касался только живших в городе греков. Когда евреи отказались признавать божественность Калигулы и поклоняться в синагогах его статуям, губернатор издал указ, в котором все живущие в Александрии евреи объявлялись чужеродцами и самозванцами. Греки праздновали победу. Начались погромы; богатых евреев, живших на широкую ногу в разных районах города рядом с греками и римлянами, изгоняли в узкие и тесные улочки Дельты. Было разграблено более четырехсот купеческих домов, а владельцы их убиты или искалечены. На тех, кто остался в живых, градом сыпались оскорбления. Потери убитыми и материальный ущерб были столь велики, что греки решили послать в Рим к Калигуле делегацию, которая должна была оправдать их поступок: мол, отказ евреев поклоняться императору привел в ярость наиболее молодых и необузданных александрийских греков, и те осмелились взять дело отмщения на себя. Евреи, в свою очередь, тоже послали делегацию во главе с братом алабарха Филоном, известным человеком, лучшим, как считали, философом в Египте. Когда Филон прибыл в Рим, он, естественно, нанес визит Ироду, с которым состоял теперь в родстве. Дело в том, что, заплатив алабарху восемь тысяч золотых долга, а также десять процентов этой суммы за два года — чем привел того в полное замешательство, поскольку по закону еврей не может брать с единоверца проценты, — Ирод выразил свою благодарность еще и тем, что обручил старшую дочь Беренику со старшим сыном алабарха. Филон попросил Ирода, чтобы тот вступился за него перед Калигулой, но Ирод ответил, что предпочитает не иметь к делегации никакого касательства: если дела примут серьезный оборот, он приложит все силы, чтобы смягчить гнев императора, а что гневаться тот будет жестоко, в этом нет никакого сомнения; больше он ничего пока сказать не может.

Калигула милостиво выслушал греческую делегацию, а евреев, как и предвидел Ирод, сердито выгнал вон. Мало ли, что Август обещал свободу вероисповедания, заявил Калигула, сам он и слышать об этом не хочет; Август давным-давно умер, а его дурацкие эдикты устарели.

— Ваш Бог — я. Никаких других богов у вас не будет.

Филон обернулся к остальным членам делегации и сказал:

— Я рад, что мы приехали сюда; эти слова — сознательный вызов Богу Живому. Теперь мы можем быть спокойны, что этого глупца ждет печальный конец.

Хорошо, что ни один из придворных не понимал по-еврейски.

Калигула отправил губернатору Египта послание, где говорилось, что, применив силу в знак протеста против вероломства евреев, греки выполнили свой верноподданнический долг, и, если евреи будут упорствовать в своем неповиновении, он явится в Александрию во главе войска и уничтожит их всех до одного. А пока он приказал заключить в тюрьму алабарха и всех высших должностных лиц еврейской колонии. Он объяснил, что, не будь алабарх в родстве с его другом Иродом Агриппой, он приказал бы казнить как его самого, так и его брата Филона. Единственное, что покамест смог сделать Ирод для александрийских евреев, это избавить их от губернатора Египта. Он уговорил Калигулу его арестовать на том основании, что тот в свое время враждебно относился к Агриппине (между прочим, матери Калигулы), и отправить в изгнание на один из греческих островов.

Затем Ирод сказал Калигуле, который уже стал испытывать нехватку в деньгах:

— Надо посмотреть, что мне удастся сделать в Палестине, чтобы раздобыть деньги для твоей казны. Аристобул сообщает, что этот забияка, мой дядя Антипа, был еще богаче, чем мы предполагали. Раз ты отправляешься завоевывать Британию и Германию — кстати, если окажешься случайно в Лионе, передай от меня горячий привет Антипе и Иродиаде, — в Риме будет очень тоскливо тем, кто останется здесь. Самое время мне тоже уехать и посетить мое царство; как только я услышу, что ты возвращаешься, я поспешу обратно; надеюсь, ты будешь доволен результатами моей поездки.

А дело было в том, что из Палестины к Ироду пришли весьма тревожные известия. Он отплыл на Восток в тот самый день, на который Калигула назначил начало своего нелепого похода, — в действительности прошло около года, прежде чем он покинул Рим. Калигула отдал приказ, чтобы его статую поставили в святилище иерусалимского храма — скрытом от всех глаз внутреннем покое, где, как считали иудеи, обитал в кедровом ларце их Бог и куда лишь один раз в год заходил первосвященник. Калигула приказал также, чтобы в праздничные дни статую выносили из святилища в наружный храмовый двор, где бы ей могли поклоняться все собравшиеся, равно иудеи и люди других верований. Он то ли не знал, то ли и знать не желал, о том благоговейном страхе, с каким иудеи относятся к своему божеству. Когда новый губернатор Иудеи, присланный на место Понтия Пилата (который, кстати сказать, вернувшись в Рим, покончил с собой), прочитал в Иерусалиме этот приказ, начались такие невероятные беспорядки, жители так буйствовали, что губернатор был вынужден укрыться в своем лагере за пределами города, где оказался по сути дела в осаде. Известие об этом застало Калигулу в Лионе. Он впал в страшную ярость и отправил депешу новому губернатору Сирии, сменившему моего друга Вителлия, где приказывал ему сформировать вооруженный отряд из сирийских вспомогательных войск и пойти во главе этого отряда и двух римских полков в Иудею, чтобы силой оружия добиться повиновения. Губернатор — по имени Публий Петроний — был солдатом старой школы. Он не теряя времени исполнил императорский приказ — в той части, которая касалась подготовки похода, — и двинулся к Акре. Отсюда он отправил письмо первосвященнику и старейшинам еврейской колонии, где писал о полученных им инструкциях и своей готовности провести их в жизнь. Тем временем Ирод тоже вступил в игру, хотя держался по возможности в тени. Он тайно связался с первосвященником и порекомендовал ему, какому курсу тому лучше следовать. По его совету губернатора Иудеи вместе с гарнизоном отправили под надежным эскортом в Акру, где находился Петроний. За ним последовала десятитысячная делегация первых людей еврейской колонии, обратившихся к нему с мольбой не совершать чудовищное святотатство, которое приведет к гибели родину их отцов, ведь ее тут же поразит проклятье. Они сказали, что клялись в политической верности Риму и им нельзя предъявить претензии в том, что они нарушили эту клятву или отказывались платить налоги, но прежде всего они должны быть верны Богу своих предков, который хранил их в прошлом (если они не нарушали Его закона) и строго-настрого запретил поклоняться другим божествам в своем храме.

Петроний ответил им:

— Я не берусь обсуждать вопросы религии. Возможно, все обстоит так, как вы сказали, возможно — иначе. Моя верность императору не делится на две половины: религиозную и политическую. Это слепая верность. Я его слуга и должен выполнять его приказания, будь что будет.

Евреи ответили:

— А мы верные слуги нашего Бога и станем выполнять Его приказания, будь что будет.

Дело зашло в тупик. Петроний двинулся в Галилею. По совету Ирода против

него не было предпринято никаких враждебных действий, но, хотя подошло время осеннего сева, поля оставались невспаханными, а люди надели траур и посыпали головы пеплом. Торговля замерла, ремесленники бездействовали. В Кесарии (той, что в Самарии) Петрония ждала новая делегация во главе с братом Ирода Аристобулом; губернатора вновь заверили, что у евреев нет никаких воинственных намерений, но, если он и дальше будет настаивать на выполнении приказа императора, богобоязненные евреи потеряют всякий интерес к жизни и страна будет разорена. Петроний не знал, как ему быть. Он хотел обратиться к Ироду за помощью или советом, но тот, чувствуя шаткость своего положения, успел отплыть в Рим. Петрония не страшила встреча с самым яростным врагом, будь то в регулярном бою или когда противник с криком кидался на него из засады, но что было делать этому старому воину, если почтенные старцы подходили к нему и склоняли перед ним головы со словами:

— Мы не оказываем сопротивления. Мы верные данники Рима, но наша религия требует отдавать должное Богу наших отцов, по закону которого мы жили с самого детства; убей нас, если хочешь, мы не можем жить, видя надругательства над нашим Богом.

Петроний ответил им прямо. Он сказал, что долг римлянина велит ему держать клятву верности, данную императору, и повиноваться ему без рассуждений; они сами видят, что при тех воинских силах, которые он имеет под своим началом, ему ничего не стоит выполнить полученный приказ. Однако он не может не отметить проявленную ими твердость и то, что они воздержались от насилия. Он признался, что, будучи человеком разумным и гуманным, он просто не в состоянии поступить так, как от него требует приказ, хотя, как официальное лицо, знает, в чем заключается его долг. Не подобает римлянину убивать безоружных стариков за то только, что они чтят Бога своих предков. Петроний сказал, что снова напишет Калигуле и представит все обстоятельства в самом благоприятном для них свете.

Вполне вероятно, что наградой ему будет смерть, но если, пожертвовав своей жизнью, он спасет жизнь тысяч трудолюбивых мирных жителей провинции, он готов на это. Он просил их приободриться и надеяться на лучшее. Первое, что надо сделать, как только он напишет письмо — а он напишет его сегодня же утром, — это выйти на поля. Если землю по-прежнему не обрабатывать, это приведет к голоду, а за ним последуют разбои и мор, и дело примет куда худший оборот, чем сейчас. Случилось так, что, пока он говорил, западный ветер нагнал грозовые тучи и начался сильный ливень. В том году обычные осенние дожди не выпадали ни разу и время для них прошло, так что ливень этот сочли счастливым предзнаменованием, и толпы евреев в траурных одеждах с песнями разошлись в разные стороны, радостно прославляя небеса. Дождь лил, не переставая, и вскоре земля снова ожила.

Петроний сдержал слово. Он отправил Калигуле письмо, где сообщал об упорстве евреев и просил пересмотреть его решение. Евреи глубоко его чтят, но утверждают, будто страну поразит проклятье, если в их храме будет воздвигнута чья-либо статуя, даже статуя их славного императора. Он особенно подчеркнул то, что отчаявшиеся жители страны перестали обрабатывать землю и теперь есть только два выхода: первый — воздвигнуть статую в храме и обречь страну на разорение, что приведет к огромным потерям в налогах и сборах, идущих в Рим, второй — отменить императорский приказ и заслужить вечную благодарность прекрасного народа. Он умолял императора по крайней мере отложить посвящение статуи, пока не будет собран урожай.

Но еще до того, как это письмо прибыло в Рим, заступником иудеев и их Бога выступил вернувшийся из Малой Азии Ирод Агриппа. Они с Калигулой горячо приветствовали друг друга после долгой разлуки, и Ирод отдал ему привезенные с Востока огромные сундуки, полные золота, самоцветов и других ценных вещей. Часть

этого была из его собственной сокровищницы, другая — из сокровищницы Антипы, а остальное, как я полагаю, он заимствовал из подношений, принесенных ему в дар евреями Александрии.

Ирод пригласил Калигулу на самый роскошный пир, какой когда-либо устраивали в Риме; никто и не слышал о таких деликатесах, которые подавали на стол: огромные пироги с начинкой из птичьих языков, необыкновенно нежная рыба, привезенная в бочках из Индии, жаркое из мяса животного неведомой породы, похожего на молодого слона, но покрытого шерстью — его нашли на Кавказе во льду промерзшего до дна озера и доставили в Рим, обложив снегом, через Армению, Антиохию и Родос. Калигула был поражен великолепием стола и признался, что у него не хватило бы выдумки на такой подбор необыкновенных яств, даже если бы хватило денег. Напитки были столь же удивительные, как яства, и по мере того, как пиршество шло к концу, Калигула все больше веселел и наконец, заявив, что все его прошлые милости по отношению к Ироду не стоят даже упоминания, пообещал даровать тому все, что в его силах.

— Проси у меня все, чего хочешь, дражайший Ирод, — сказал Калигула, — и это будет твое. — И повторил: — Все, что хочешь. Клянусь своей божественной сущью, я дарую это тебе.

Ирод стал заверять его, что устроил этот пир вовсе не для того, чтобы добиться благодеяний. Он сказал, что Калигула и так сделал для него больше, чем любой другой правитель для своего подданного или союзника за всю историю мира, как о том свидетельствуют предания. Он сказал, что ему абсолютно ничего не надо, и единственное, чего бы он хотел, — хоть в какой-то мере выразить свою благодарность. Однако Калигула, продолжая подливать вино в хрустальный бокал, продолжал настаивать: может быть, у Ирода все же есть какое-нибудь сокровенное желание? Какое-нибудь новое царство на Востоке? Халкида или Итурия? Ему стоит только пожелать.

Ирод:

— О самый щедрый, великодушный, божественный цезарь, повторяю, что для себя лично я не хочу ничего. Единственное, о чем я мечтаю, это почетное право служить тебе. Но ты прочитал мои мысли. Ничто не может ускользнуть от твоего пронзительного взора. Действительно, у меня есть к тебе одна просьба, но этот дар принесет пользу прежде всего тебе самому. Моя награда будет лишь в том, что я дал тебе совет.

Эти слова раздражили любопытство Калигулы.

— Не бойся, проси, Ирод, — сказал он. — Ведь я поклялся, что исполню твою просьбу. Разве я не хозяин своего слова?

— В таком случае мое единственное желание заключается в том, — сказал Ирод, — чтобы ты перестал и думать о воздвижении своей статуи в храме Иерусалима.

Наступило долгое молчание. Я присутствовал на этом историческом пиру и не могу припомнить, чтобы когда-либо в жизни мне было так не по себе, как тогда, когда я ожидал, к чему приведет бесстрашие Ирода. Как, скажите на милость, должен был поступить Калигула? Он поклялся своей божественной сущностью выполнить просьбу Ирода, причем в присутствии множества свидетелей, и вместе с тем, не брать же ему назад свое слово унижить этого иудейского Бога, который, единственный из всех богов мира, не желал ему покориться?!

Наконец Калигула заговорил. Кротко, чуть ли не умоляюще, словно надеясь, что Ирод поможет решить дилемму, он сказал:

— Не понимаю, дражайший Ирод, почему исполнение твоей просьбы пойдет мне на пользу?

Ирод продумал этот разговор во всех деталях еще прежде, чем сел за стол, и

теперь ответил с кажущейся серьезностью:

— Потому, цезарь, что, поместив свою священную статую в иерусалимском храме, ты не приумножишь свою славу. Как раз наоборот. Ты знаешь, что представляет собой статуя, которая находится в самом внутреннем покое храма, в его святая святых, и какие обряды совершаются там по праздникам? Нет? Тогда послушай, и ты сразу поймешь, что злостное упрямство, как ты считал, моих единомышленников, есть не что иное, как нежелание твоих верных подданных повредить своему императору. У иудеев, цезарь, очень странный Бог. Его называют анти-Бог. У него глубокое отвращение к статуям, в особенности к статуям с величественной и горделивой осанкой, таким, как статуи греческих богов. Чтобы показать свою ненависть к другим божествам, он велел воздвигнуть во внутреннем покое храма большое, кое-как сделанное нелепое изваяние осла с огромными ушами, большущими зубами и невероятных размеров гениталиями. Каждый праздник священники поносят статую, читая самые мерзкие заклинания и забрасывая ее экскрементами и отвратительными отбросами, а затем вывозят на тачке во двор храма, чтобы все молящиеся могли поносить ее таким же образом, так что весь храм воняет, подобно выгребной яме. Церемония эта совершается тайно, к ней допускаются только иудеи, да и им запрещено рассказывать об этом под страхом проклятия. К тому же им стыдно. Теперь ты понял, да? Старейшины евреев боятся, что, появившись твоя статуя в храме, это может привести к серьезному недоразумению: движимые религиозным фанатизмом, простые люди могут подвергнуть ее тяжелейшим надругательствам, думая, что своим пылом выражают почтение к тебе. Но, как я уже говорил, природный такт и святая печать молчания, наложенная на их уста, не позволили им объяснить нашему другу Петронию, почему они скорее умрут, чем дадут ему исполнить твой приказ. Счастье, что я могу сказать тебе то, чего они не могут. Я только наполовину еврей, по матери. Возможно, это избавит меня от проклятия. Так или иначе, я решил рискнуть ради тебя.

Калигула, жадно слушавший Ирода, принял все это за чистую монету, и даже меня его серьезный вид и тон чуть было не ввели в заблуждение.

— Если бы эти дураки были со мной так же откровенны, как ты, дражайший Ирод, — только и сказал Калигула, — это избавило бы нас всех от кучи неприятностей. Как ты думаешь, Петроний уже выполнил приказ?

— Надеюсь, что нет, — ответил Ирод.

Калигула тут же написал Петронию короткое письмо: «Если ты уже поставил мою статую в храме, как я велел, пусть она там и остается, но следи, чтобы все обряды совершались под неусыпным надзором римских солдат. Если еще нет, распусти свою армию и забудь про все это дело. Следуя совету Ирода Агриппы, я пришел к заключению, что данный храм — крайне неподходящее место для моей Священной Статуи».

Это письмо разминусовалось с письмом Петрония, прочитав которое Калигула пришел в страшную ярость: как он осмелился так писать, как осмелился делать попытки заставить его изменить свое решение из какой-то там жалости. Поэтому ответил он Петронию следующим образом: «Раз, судя по всему, взятки евреев для тебя дороже моей императорской воли, советую тебе быстро и безболезненно покончить с собой, прежде чем я так накажу тебя в назидание другим, что об этом не забудут до скончания веков».

К счастью, второе письмо Калигулы запоздало — корабль лишился грот-мачты между Родосом и Кипром и несколько дней не мог плыть дальше — поэтому известие о смерти Калигулы опередило его. Петроний был готов принять иудаизм, так легко у него стало на сердце.

Здесь кончается первая часть истории Ирода Агриппы; остальное вы узнаете по мере того, как я буду рассказывать свою собственную историю.

Глава V

Вот мы и вернулись к тому моменту, когда меня носили по Большому дворцовому двору на плечах два гвардейских капрала, а вокруг толпились германцы, потрясая ассагаями в знак верности. Наконец я уговорил капралов опустить меня на землю, а четверых германцев пойти за моим портшезом. Они принесли его, и я забрался внутрь. Мне сказали, что решено отнести меня в лагерь гвардейцев в противоположном конце города, где мне ничто не будет угрожать, — они опасались покушений на мою жизнь. Я снова начал было протестовать, как вдруг увидел какое-то яркое пятно в последних рядах толпы. Мне махала, описывая круги, рука в пурпурном рукаве, и я сразу вспомнил свои школьные дни. Я сказал солдатам:

— Кажется, я вижу там царя Ирода Агриппу. Если он хочет со мной говорить, пусть подойдет.

Во время убийства Калигулы Ирод был неподалеку. Он вышел следом за нами из театра, но его отвел в сторону один из заговорщиков под предлогом, что хочет его попросить обратиться к императору за какой-то милостью. Так что, как был убит Калигула, Ирод не видел. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы не сомневаться в том, что Ирод сумел бы спасти ему жизнь каким-нибудь фокусом; увидев труп Калигулы, он не стал скрывать горя, причиненного смертью бывшего покровителя. Он нежно обнял его, хотя тот был весь в крови, и отнес на руках во дворец, где положил на постель в императорской опочивальне. Он даже послал за врачами, точно Калигула был еще жив и его могли излечить. Затем вышел из дворца через другую дверь и не теряя времени направился в театр, где подсказал Мнестеру его знаменитую речь, ту, что успокоила разъяренных германцев и помешала устроить резню в отместку за убийство их повелителя. После чего Ирод снова поспешил во дворец. Услышав, что случилось со мной, он не побоялся пойти в Большой двор, чтобы узнать, не нуждаюсь ли я в его помощи. Должен признаться, что его кривая улыбка — один уголок рта вверх, другой вниз — сильно меня приободрила.

Прежде всего он сказал:

— Прими мои поздравления, цезарь, по поводу твоего избрания. Желаю, чтобы ты много лет владел тем почетным титулом, который эти храбрые воины даровали тебе, а себе желаю прославиться тем, что стал первым твоим союзником.

Гвардейцы во все горло крикнули «ура!». Затем, подойдя ко мне вплотную и сжав мне руку обеими руками, Ирод горячо заговорил по-финикийски. Он знал, что я знаком с этим языком, так как занимался историей Карфагена, а солдаты его не понимают. Ирод не дал мне возможности прервать себя:

— Послушай меня, Клавдий. Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты вовсе не хочешь быть императором, но ради всех нас и самого себя не будь дураком. Не выпускай из рук то, что боги даровали тебе по собственному почину. Мне нетрудно угадать, о чем ты думаешь. Ты собираешься передать свою власть сенату, как только солдаты отпустят тебя. Безумие! Это развяжет гражданскую войну. Сенат — стадо баранов, это так, но среди них есть несколько волков, готовых, как только ты сложишь свои полномочия, сражаться друг с другом, чтобы ими завладеть. Хотя бы Азиатик, не говоря уж о Виниции. Они оба участвовали в заговоре и теперь из страха, что их казнят, готовы на любой отчаянный шаг. Виниций и так уже считает себя цезарем после женитьбы на твоей племяннице Лесбии. Он вызовет ее из изгнания, и они образуют очень крепкий союз. Если не Азиатик или Виниций, так кто-нибудь другой, возможно Винициан. Ты единственный бесспорный император для римлян, к тому же за твоей спиной армия. Если ты не возьмешь на себя ответственность из-за каких-то нелепых предрассудков, ты все погубишь. Больше мне нечего сказать. Обдумай мои слова и не вешай носа.

Затем он обернулся к солдатам и крикнул:

— Римляне, вас я тоже поздравляю. Вы не могли сделать лучший выбор. Ваш новый император храбр, великодушен, учен и справедлив. Вы можете ему доверять так же, как доверяли его славному брату Германику. Не давайте одурачить себя никаким сенаторам и полковникам. Стойте за императора Клавдия, и он будет стоять за вас. Самое для него безопасное место — ваш лагерь. И я посоветовал ему щедро вознаградить вас за вашу преданность.

С этими словами Ирод скрылся.

Меня отнесли в портшезе в лагерь, проделав весь путь рысцой. Как только один из носильщиков выказывал признаки усталости, его сменял другой. Впереди с криками бежали германцы. Все тело у меня затекло; я был совершенно спокоен, но ни разу в жизни не чувствовал себя таким несчастным. Ирод ушел, и будущее снова стало казаться мне безнадежным. Только мы достигли священной дороги у подножья Палатинского холма, как к нам поспешно приблизились два посланца сената, чтобы перехватить нас и выразить протест против незаконного присвоения власти. Это были два «защитника народа», — по-латыни «трибуны». (Со времени республики, когда трибуны отстаивали права простых людей против деспотических посягательств знати, их личность считалась неприкосновенной, и, хотя они не претендовали на законодательную власть, они добились от аристократии привилегии накладывать вето на любое неугодное им постановление сената. Но Август и два его преемника на императорском престоле присвоили себе это звание вместе с его prerогативами, так что настоящие трибуны, хоть и избирались и исполняли определенные функции под руководством императора, потеряли свой первоначальный вес.) Сенат выбрал их в качестве посланцев не только, чтобы показать, будто весь Рим поддерживает его протест, но и потому, что неприкосновенность их личности должна была спасти их от нападков солдат.

Эти защитники народа, с которыми я лично не был знаком, не проявили особой храбрости: когда мы остановились, чтобы вступить с ними в переговоры, они даже не осмелились повторить те суровые слова, которые, как я позднее узнал, им было поручено мне передать. Они называли меня «цезарь» — титул, на который я еще не мог притязать, так как не принадлежу к роду Юлия Цезаря, — и очень робко сказали:

— Прости нас, цезарь, но сенаторы будут тебе крайне признательны, если ты немедленно прибудешь в сенат; они весьма интересуются тем, каковы твои намерения.

Я бы охотно пошел туда, но гвардейцы и слышать об этом не хотели. К сенату они не питали ничего, кроме презрения, и раз уж выбрали своего императора, были намерены не спускать с него глаз и противиться любой попытке сената возродить республику или назначить другого императора. Послышались сердитые крики: «Убирайтесь», «Скажите сенату, чтобы занимался своими делами и не мешал нам заниматься своими», «Мы не позволим, чтобы нового императора тоже зарезали». Я высунулся в окошечко портшеза и сказал:

— Будьте так добры, передайте сенаторам, что я свидетельствую им свое почтение, и сообщите, что в данный момент я не могу воспользоваться их милостивым приглашением. Я получил другое... еще раньше. Сержанты, капралы и солдаты императорской гвардии несут меня к себе в лагерь, где мне будет оказано всяческое гостеприимство. Я могу поплатиться жизнью, если оскорблю этих преданных воинов.

И мы снова пустились в путь.

— Ну и шутник наш новый император! — хохотали гвардейцы. В лагере нас встретили с еще большим энтузиазмом. Гвардейская дивизия состояла из двенадцати тысяч пехотинцев и приданной им конницы. Здесь уже не только сержанты и капралы, но и капитаны с полковниками провозгласили меня

императором. Я поблагодарил их за благосклонность ко мне, однако попытался по мере сил их расхолодить. Я сказал, что не могу согласиться стать императором, пока меня не избрал на императорский пост сенат, облеченный на то полномочием. Я был препровожден в штаб-квартиру, где со мной обращались с непривычной для меня почтительностью, но где я фактически был узником.

Что касается заговорщиков, то, убедившись, что Калигула мертв, и убежав от преследовавших их германцев, а также носильщиков императора и придворной охраны, которые тоже кинулись за убийцами, призывая к отмщению, они поспешили скрыться в доме Виниция, возле рыночной площади. Здесь их ожидали командиры трех городских полков — единственные соединения регулярной армии, расположенные в самом Риме, кроме дворцовых караульных гвардейцев и городских стражников. Эти полковники не принимали активного участия в заговоре, но обещали предоставить свои полки сенату, как только Калигула будет убит и восстановлена республика. Кассий настаивал на том, чтобы кто-нибудь пошел и убил меня и Цезонию — при нашем тесном родстве с Калигулой нас просто нельзя было оставить в живых. Сделать это вызвался полковник по имени Луп, шурин командующего гвардией. Он поспешил во дворец и, пройдя с мечом в руке через множество пустых комнат, вошел наконец в императорскую спальню, где, окровавленное, ужасное, лежало тело Калигулы в том виде, в каком его оставил Ирод. Но теперь на кровати сидела Цезония, положив его голову себе на колени, а к ее ногам прильнула Друзилла, единственный ребенок Калигулы. Войдя, Луп услышал, как Цезония причитает:

— О супруг мой, почему не послушал ты моего совета?

Увидев меч в руках Лупа, она встревоженно взглянула ему в лицо и, поняв, что ее участь решена, вытянула шею.

— Сделай чисто свою работу, — сказала она. — Не так, как другие убийцы, которые изгадили все дело.

Цезония была не из трусливых. Луп нанес ей удар, и ее голова упала на пол. Друзилла кинулась на него, царапаясь и кусаясь. Луп ухватил ее за ноги, размахнулся и вышиб ей мозги, ударив головой о мраморную колонну. Конечно, слышать об убийстве ребенка всегда неприятно, но поверьте мне, если бы вы знали эту любимицу отца, крошку Друзиллу, вы бы с удовольствием сделали то же, что Луп.

С тех пор было много споров насчет значения слов, обращенных Цезонией к труп, и действительно, толковать их можно по-разному. Одни считают, что речь шла о совете убить Кассия, о чьих намерениях она подозревала, прежде чем он успеет их осуществить. Так объясняли ее слова те, кто винят Цезонию в безумии Калигулы, она, мол, довела его до умопомрачения, давая ему приворотное зелье, которое полностью привязало его к ней. Другие думают, и должен сказать, я с ними согласен, что Цезония имела в виду свой совет мужу смягчить, как он называл это, «непреклонную твердость» и вести себя более разумно и гуманно.

Затем, чтобы выполнить до конца свою задачу, Луп принялся разыскивать меня. Но к этому времени уже послышались крики: «Да здравствует император Клавдий!» Он остановился в дверях зала, где собрались на совет гвардейцы и, когда увидел, насколько я стал популярен, испугался и потихоньку оттуда улизнул.

На рыночной площади возбужденные толпы горожан не могли решить, что делать, — то ли орать до хрипоты «ура!» в честь убийц, то ли вопить во все горло, требуя их крови. Прошел слух, что Калигула вовсе не убит, что все это — хитроумный розыгрыш, организованный им самим, и он только ждет, когда люди выразят радость по поводу его смерти, чтобы начать массовую резню. Это он и имел в виду, когда обещал показать вечером новую пьесу под названием «Смерть, разрушение и тайны преисподней». Осторожность восторжествовала, и толпа только начала было кричать, чтобы выразить свою верность: «Найдем убийц!», «Отомстим за смерть

нашего славного императора!», как на ростральную трибуну взошел Азиатик, человек с внушительной внешностью, пользовавшийся полным доверием Калигулы.

— Вы ищете убийц? — воскликнул он. — Я тоже. Я хочу поздравить их. Я об одном только жалею — что не я нанес удар. Калигула был низкий человек, и, убив его, они поступили благородно. Римляне, не будьте идиотами! Вы все ненавидели Калигулу и теперь, когда он мертв, можете спокойно вздохнуть. Расходитесь по домам и отпразднуйте его смерть песнями и вином.

Неподалеку стояли подтянутые сюда три или четыре роты из городских полков, и Азиатик сказал им:

— Солдаты, мы рассчитываем на то, что вы будете поддерживать порядок. Верховная власть в Риме снова в руках сената. Мы снова республика. Подчиняйтесь приказам сената, и, даю вам слово, к тому времени, когда все войдет в свою колею, каждый из вас станет значительно богаче. Следите, чтобы не было ни грабежей, ни уличных беспорядков. Любое посягательство на жизнь или имущество граждан будет караться смертью.

Горожане тут же переменяли тон и принялись приветствовать убийц, сенат и самого Азиатика.

Те из заговорщиков, кто были сенаторами, стали уходить из дома Виниция в здание сената на срочно созванное консулами совещание, и тут с Палатинского холма сбежал Луп с известием, что гвардейцы провозгласили меня императором и теперь спешно увозят в свой лагерь. Было решено послать мне угрожающее письмо с защитниками народа; их посадили на кавалерийских лошадях и велели обязательно меня перехватить. Они должны были передать письмо, умолчав о том, что оно послано сенатом не в полном составе; я уже рассказывал вам, как, когда дошло до дела, угроза потеряла почти всю свою силу. Другие заговорщики, гвардейские офицеры во главе с Кассием, захватили крепость на Капитолийском холме при помощи солдат одного из городских батальонов.

Хотел бы я быть очевидцем этого исторического совещания сената, куда собрались не только все сенаторы, но и многие всадники, и прочие люди, которым там было совсем не место. Как только стало известно об успешном захвате крепости, все покинули здание сената и перешли в храм Юпитера, который был поблизости, считая, что там безопаснее. Но сами перед собой они оправдывались тем, что официально сенатское здание называлось «Дом Юлия» и свободным людям не пристало собираться в месте, посвященном династии, от тирании которой они наконец счастливо избавились. Удобно устроившись на скамьях храма, все одновременно заговорили. Многие сенаторы кричали, что самую память о цезарях надо стереть с лица земли, статуи их разбить, храмы разрушить. Но тут поднялись консулы и призвали присутствующих к порядку.

— Не все сразу, сиятельные отцы, — говорили они, — не все сразу.

Консулы предложили произнести речь сенатору по имени Сентий — у него всегда была речь наготове, и говорил он громко и убедительно. Они надеялись, что, если кто-нибудь начнет говорить по принятой форме, сенаторы перестанут во все горло обмениваться с соседями поздравлениями и возражениями и можно будет спокойно приступить к делу.

Сентий:

— Отцы сенаторы, — начал он, — я не верю сам себе! Осознаете ли вы, что мы наконец свободны, что мы не рабы и не подвластны более безумству тирана? О, я верю: ваши сердца бьются так же сильно, с такой же гордостью, как и мое, хотя кто отважится предсказать, сколько времени продлится это блаженство. Так или иначе, будем радоваться, будем счастливы, пока это возможно. Прошло почти сто лет с тех пор, как в этом славном, древнем городе граждане провозглашали: «Мы свободны». Ни вы, ни я не можем припомнить, с каким чувством в те времена произносились эти

дивные слова, но сейчас, в эту минуту, у меня удивительно легко на душе. Сколь блаженны дряхлые старики, которые, прожив долгую жизнь в ярме, могут испустить последний вздох с этим сладостным возгласом на устах: «Мы свободны!» Сколь поучительно для людей молодых, коим свобода была пустой звук, слышать всеобщий крик: «Мы свободны!», понимая, что это значит.

Но, сиятельные отцы, мы не должны забывать, что сохранить свободу может лишь добродетель. Зло тирании в том, что она стоит на пути добродетели. Тирания учит нас лести и малодушию. При тиране мы лишь соломинки, несомые ветром его прихотей и капризов. Первым тираном в Риме был Юлий Цезарь.[#id20151009083049_168](#) С тех пор мы претерпели множество различных несчастий. Ибо после Юлия каждый следующий император, который нами правил, был хуже предыдущего. Все они назначали своим преемником человека еще более мерзкого. Эти императоры ненавидели добродетель лютой ненавистью. Худшим из них был Гай Калигула, враг людей и богов — да претерпит жестокие муки его дух! Стоило тирану причинить человеку зло, как он начинал подозревать этого человека в том, что тот затаил на него обиду, даже если он никак этого не проявлял. Против него фабриковали уголовное дело, присуждали его к смертной казни и тут же приводили приговор в исполнение. Так произошло с моим шурином, очень достойным, честным всадником. Но теперь, повторяю, мы свободны. Теперь мы отвечаем только друг перед другом. Отныне здесь снова будет звучать свободная речь, будут приниматься свободные решения. Мы должны сознаться, что были трусами, что жили, как рабы, что мы слышали о невыносимых бедствиях, поражавших наших соседей, но до тех пор, пока это не касалось нас самих, мы не размыкали уст. Отцы сенаторы, давайте постановим воздать величайшие почести тираноубийцам, особенно Кассию Херее, который был инициатором всего этого героического деяния. Имя его должно быть покрытым большей славой, чем имя Брута, убившего Юлия Цезаря, или тезки Кассия, бывшего рядом с Брутом и тоже нанесшего удар: ведь Брут и Кассий своим поступком ввергли страну в гражданскую войну, которая привела ее к глубочайшему упадку и бедствиям. А деяние Кассия Хереи не может к этому привести. Как истинный римлянин, он предоставил себя в распоряжение сената и вручил нам в дар драгоценную свободу, которой мы так долго, увы, очень долго, были лишены!

Эта пустая речь была встречена громкими и восторженными возгласами. Почему-то никто не вспомнил о том, что Сентий имел печальную славу одного из первых подхалимов Калигулы и даже получил прозвище «комнатная собачонка». Но сидевший рядом с ним сенатор вдруг заметил на пальце Сентия золотой перстень с огромной камеей из цветного стекла с изображением Калигулы. Сенатор этот раньше тоже был «комнатной собачонкой», но теперь, желая превзойти Сентия в республиканских чувствах, он сдернул с его пальца перстень и с благородным негодованием швырнул на пол. Все принялись дружно его топтать. Эта сцена была прервана приходом Кассия Хереи. Его сопровождали Аквила и Тигр, два других гвардейских офицера, участвовавших в убийстве, и Луп. Даже не взглянув на переполненные скамьи приветствующих его сенаторов и всадников, Кассий направился напрямик к консулам и отдал им честь.

— Какой сегодня пароль? — спросил он.

Ликующие сенаторы почувствовали, что это самый великий день в их жизни. При республике консулы совместно командовали военными силами, если только не назначался диктатор, который имел более высокое звание; но прошло уже более восьмидесяти лет с тех пор, как они давали на день пароль. Старший консул, еще одна «комнатная собачонка», надувшись от важности, ответил:

— Пароль, полковник, свобода!

Прошло десять минут, пока приветственные возгласы стихли настолько, что снова стал слышен голос консула. Он поднялся и встревоженно сообщил, что

вернулись трибуны, посланные ко мне от имени сената, и передали, что я, по моим словам, не могу выполнить их требование прибыть в сенат, так как меня насильственно забирают в лагерь гвардейцев. Это известие вызвало на скамьях замешательство и даже испуг, началась беспорядочная дискуссия, закончившаяся тем, что по предложению моего друга Вителлия решили послать за царем Иродом Агриппой. Ирод, как человек посторонний, однако бывший в курсе всех политических событий, к тому же пользующийся прекрасной репутацией и на Западе, и на Востоке, вполне мог дать сенату подходящий совет. Кто-то поддержал Вителлия, указав на то, что, как известно, Ирод имеет на меня большое влияние и его уважают в императорской гвардии, в то же время он всегда был расположен к сенату, где у него есть много личных друзей. Поэтому к Ироду послали нарочного с просьбой как можно скорее прийти на совещание. Я полагаю, что Ирод сам все это подстроил, но не могу сказать наверняка. Во всяком случае, он не спешил откликнуться на приглашение, хотя и не особенно тянул. Он послал вниз из спальни слугу сказать нарочному, что он спустится через несколько минут, но в данный момент не может, так как не вполне одет. Через некоторое время Ирод сошел вниз, благоухая очень резкими восточными духами, которые называются пачули; считалось, что этот запах производит неотразимый эффект на Киприду. Стоило Калигуле учуять этот запах, он с шумом втягивал носом воздух и говорил: «Ах ты, безотказный муж. До чего же ты любишь выставлять напоказ свои супружеские секреты». Это было во дворце дежурной шуткой. Вы сами понимаете, что Ирод не хотел, чтобы стало известно, сколько времени он провел на Палатинском холме, и заподозрили его в приверженности к той или другой стороне. На самом деле он покинул дворец, переодевшись слугой, смешался с толпой горожан на рыночной площади и вернулся домой за несколько минут до того, как к нему прибыл посыльный. Он использовал пачули в качестве алиби, и похоже, что его уловка увенчалась успехом. Когда Ирод прибыл в храм и консулы познакомили его с ситуацией, он прикинулся, будто очень удивлен моим избранием и долго распространялся о своем полнейшем нейтралитете в политике. Он-де всего лишь союзник Рима, его верный друг, и таковым, с их разрешения, он и останется, независимо от того, какое будет в Риме правление.

— Тем не менее, — продолжал он, — поскольку вы, видимо, нуждаетесь в моем совете, я буду говорить прямо. При определенных обстоятельствах республиканская форма правления кажется мне вполне достойной. То же самое можно сказать и о милостивой монархии. На мой взгляд, никто не может категорически утверждать, что одно государственное устройство лучше другого. Пригодность каждого из них зависит от характера народа, таланта правителя или правителей, географического местоположения страны и так далее. Существует лишь одно общее правило, вот оно: ни один разумный человек не даст даже этого (тут он презрительно щелкнул пальцами) за правительство, будь оно демократическим, плутократическим или аристократическим, если оно не может рассчитывать на верность и поддержку армии той страны, на управление которой оно претендует. Вот почему, сиятельные, прежде чем давать вам практические советы, я должен задать вам вопрос: стоит ли за вами армия?

Первым, чтобы ответить ему, вскочил с места Виниций.

— Царь Ирод! — вскричал он. — Городские батальоны верны нам до единого человека. Ты видишь здесь среди нас их трех командиров. У нас есть большой запас оружия и сколько угодно денег, чтобы платить солдатам, если понадобится формировать новые части. Среди нас многие могут выставить по две роты, укомплектованные собственными рабами из домашней челяди; мы с радостью дадим им свободу, если они поклянутся участвовать в битве за республику.

Ирод демонстративно прикрыл лицо ладонью, чтобы все видели, что он старается подавить смех.

— Мой друг господин Виниций, — сказал он, — мой тебе совет: не вздумай это сделать! Ты представляешь, какое это будет зрелище — твои привратники, пекари и банщики против гвардейцев, лучшей армии в мире? Я упоминаю о гвардейцах, так как будь они на вашей стороне, ты сказал бы об этом. Если ты думаешь, что из раба можно сделать солдата, навязав на него латы, сунув в руки копье, повесив на пояс меч и сказав: «Вперед, на врага», то... Повторяю, не вздумай это сделать!

Затем Ирод обратился ко всему залу.

— Сиятельные отцы, — сказал он, — вы сказали мне, что гвардейцы провозгласили императором моего друга Тиберия Клавдия Друза Нерона Германика, экс-консула, не испросив на это вашего согласия. И я понял, что гвардейцы не проявили особой охоты позволить ему явиться сюда по вашему приглашению. Но, если я не ошибаюсь, отправленное ему послание исходило не от всего сената, а лишь от неофициальной группы из нескольких сенаторов, и, когда оно было вручено Тиберию Клавдию, того сопровождала лишь кучка крайне возбужденных солдат — ни одного офицера там не было. Возможно, если послать сейчас в лагерь гвардейцев другую делегацию, облеченную всеми полномочиями, офицеры посоветуют Тиберию Клавдию отнестись к ней с уважением, которого она заслуживает, и обуздают излишнее веселье солдат под их командой. Я предлагаю отправить в лагерь тех же двух защитников народа и готов, если вы пожелаете, пойти вместе с ними и присоединить к их голосам свой — естественно, беспристрастно и незаинтересованно, как стороннее лицо. Я полагаю, что имею достаточное влияние на моего друга Тиберия Клавдия, которого знаю с детства — мы учились под руководством одного и того же почтенного наставника, — и достаточный авторитет среди гвардейских офицеров — я частый гость за их столом, — и, разумеется, отцы сенаторы, достаточно горячее желание заслужить ваше хорошее мнение, чтобы решить этот вопрос к удовольствию всех сторон.

И вот в тот же день, часа в четыре, когда я, наконец-то добравшись до второго завтрака, сидел за столом в офицерской столовой под молчаливым, неусыпным, хотя и почтительным надзором сотрапезников, в комнату вошел капитан с сообщением о том, что в лагерь прибыла сенатская делегация и сопровождающий ее царь Ирод Агриппа просит разрешения поговорить со мной наедине.

— Проводи сюда царя Ирода, — распорядился дежурный полковник. — Он наш друг.

Вскоре в комнату вошел Ирод. Он приветствовал всех офицеров, называя их по имени, а одного или двух даже хлопнул по спине; затем подошел ко мне и отвесил самый подобострастный официальный поклон.

— Могу я поговорить с тобой наедине, цезарь? — спросил он.

Я был смущен, услышав такое обращение, и попросил называть меня моим собственным именем.

— Ну, если уж ты не цезарь, не знаю тогда, кто может носить это имя, — сказал он, и все, кто там был, расхохотались. Ирод обернулся к ним.

— Мои доблестные друзья, — сказал он, — я благодарю вас. Если бы вы присутствовали на совещании сената сегодня днем, у вас было бы еще больше оснований смеяться. В жизни еще не видел такого скопища полоумных фанатиков. Вы знаете, что они задумали? Они задумали начать гражданскую войну и вызвать вас на решительный бой, имея себе в помощь лишь городские батальоны, возможно, одного-двух городских сторожей да домашних рабов, наряженных в солдатское платье, во главе с гладиаторами из цирка! Это же курам на смех! Говоря по правде, то, что я хочу сказать императору, может быть сказано при всех вас. Сенаторы прислали сюда трибунов, потому что ни один из них не осмелился явиться сюда сам: те предложат императору подчиниться власти сената, а если он не пойдет на это, что ж, его заставят. Как вам это понравится? Я пришел вместе с ними, так как обещал

сенату дать императору беспристрастный совет. Сейчас я исполню это обещание. — Ирод снова резко обернулся ко мне. — Мой совет, цезарь, будь с ними пожестче. Наступи на этих ничтожных червей и погляди, как они извиваются.

Я сказал упрямо:

— Мой друг Ирод Агриппа, ты, по-видимому, забыл, что я римлянин и что, согласно конституции, даже императорская власть зависит от воли сената. Если послание сената таково, что я могу ответить на него вежливо и смиренно, я не премину это сделать.

— Как знаешь, — сказал Ирод, пожав плечами, — но не думай, что сенаторы станут от этого лучше к тебе относиться. Согласно конституции, да? Я склоняюсь перед твоим превосходным знакомством со стариной, но имеет ли это слово какой-нибудь практический смысл в наши дни?

Затем в комнату впустили защитников народа. Они пробубнили дуэтом то, что велел передать сенат: меня настоятельно просят не прибегать к силе, но без дальнейших колебаний отдать себя под защиту сената; мне напоминают об опасностях, которых и они, и я избежали при покойном императоре, и умоляют не совершать поступков, которые могли бы привести народ к новым бедствиям.

Фраза об опасностях, которых они и я избежали при Калигуле, прозвучала три раза, так как сперва один из них ошибся, затем второй кинулся ему на помощь, и наконец первый повторил все с самого начала.

Я сказал довольно раздраженно:

— Что-то похожее я уже слышал, если не ошибаюсь. — И процитировал широко известную фразу Гомера, которая часто встречается в «Одиссее»:

Далее поплыли мы в сокрушение великом о милых
Мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от
смерти.

Ирод пришел в восторг и повторил со смехом: «Радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти», затем шепнул полковникам:

— В этом-то и соль. Волнует их одно — их собственные грязные шкуры.

Защитники народа всполошились и прокулдыкали все остальное, как индюки. Если я отвергну верховную власть, возложенную на меня вопреки конституции, сказали они, сенат обещает присудить мне наивысшие почести, какие может пожаловать свободный народ. Но я должен безоговорочно отдать себя в их руки. Если, напротив, я буду действовать неразумно и не явлюсь, как и прежде, в сенат, против меня будут направлены вооруженные соединения города, и, когда меня схватят, пусть я не надеюсь на милосердие.

Полковники столпились вокруг трибунов со свирепым видом, бормоча сквозь зубы угрозы, и те поспешили заверить их, что лишь повторяют слова, вложенные в их уста сенатом, а сами лично убеждены, что я — единственный человек, который может править империей. Они просили не забывать, что и как посланцы сената, и как защитники народа они неприкосновенны и личность их должна быть ограждена от любых посягательств. Затем сказали:

— Консулы велели нам передать второе послание, если первое тебе не понравится.

Я спросил, в чем заключается второе послание.

— Цезарь, — отвечали они, — нам велели тебе сказать, что, если ты действительно хочешь получить монархию, ты должен принять ее в дар от сената, а не от гвардейцев.

Я не мог удержаться от смеха; а с тех пор, как убили Калигулу, я даже не улыбнулся.

Я спросил:

— Это все или есть и третье послание на случай, если мне не понравится второе?

— Нет, больше ничего нет, цезарь, — смиренно ответили они.

— Что ж, — сказал я, все еще улыбаясь. — Передайте сенату, что я не виню их за нежелание получить нового императора. Предыдущему не удалось почему-то завоевать сердце своего народа. Но с другой стороны, императорская гвардия настаивает на том, чтобы я принял этот титул, офицеры уже присягнули мне на верность и заставили меня принять их присягу. Как же мне быть? Передайте сенату мое глубокое почтение и заверьте их, что я не стану делать ничего противоречащего конституции, — тут я с вызовом взглянул на Ирода, — они могут быть спокойны, что я их не обману. Я признаю полномочия сената, но вместе с тем должен напомнить, что нахожусь не в том положении, чтобы противостоять желаниям моих военных советников.

Защитники народа отбыли из лагеря, рады-радешеньки, что им удалось унести оттуда ноги. Ирод сказал:

— Неплохо, но было бы еще лучше, если бы ты проявил твердость, как я советовал тебе. Ты только затягиваешь дело.

Когда Ирод ушел, полковники сказали мне, что я должен оделить каждого гвардейца ста пятьюдесятью золотыми за то, что они возвели меня на престол, и пятьюстами золотыми всех капитанов. Что до них, полковников, сумма зависит от меня самого.

— Вам хватит по десять тысяч на человека? — пошутил я.

Мы сошлись на двух тысячах; затем они попросили меня назначить главнокомандующего, так как прежний командующий был в числе заговорщиков и сейчас, по-видимому, участвовал в совещании сената.

— Выберите, кого хотите, — безразлично сказал я.

Они выбрали полковника Руфрия Поллия. Затем мне пришлось выйти на плац, сообщить с трибунала о пожалованных мною деньгах и принять присягу на верность от каждой роты в отдельности. Меня попросили также заявить, что такие же деньги получают в дар полки, стоящие на Рейне, на Балканах, в Сирии, в Африке и во всех остальных уголках империи. Я сделал это с тем большей охотой, что, как я знал, всюду, кроме рейнских полков, солдатам сильно задержали жалование, — на Рейне Калигула заплатил деньгами, украденными у французов. На принятие присяги ушло несколько часов, так как слова ее повторял каждый солдат порознь, а их в лагере было двенадцать тысяч; затем появилась городская стража и потребовала, чтобы ей тоже позволили принести присягу а затем ввалилась толпа моряков императорского флота из Остии. Казалось, этому не будет конца.

Когда сенат получил мой ответ, было решено отложить заседание до полуночи. Предложил это Сентий, а поддержал его предложение сенатор, сорвавший перстень у него с пальца. Как только все проголосовали, сенаторы поспешно покинули храм и разошлись по домам, где запаковали кое-какие пожитки и, выбравшись из города, направились в свои поместья, — наконец-то они осознали шаткость своего положения. Наступила полночь, сенат собрался на совещание, но что за жалкий это был сенат: пришло меньше ста человек, и те были в панике. Командиры городских батальонов тоже вернулись сюда, но как только совещание началось, потребовали у сената дать им императора. Это единственная надежда для Рима, напрямик сказали они.

Ирод был совершенно прав. Первым предложил себя Виниций. У него, по-видимому, были сторонники, в том числе его двоюродный братец, этот крысенок Винициан, но их оказалось не так уж много, и консулы сразу указали ему его место. Они даже не поставили его кандидатуру на голосование. Затем, как и предсказывал

Ирод, выдвинул сам себя Азиатик. Но Виниций тут же поднялся с места и спросил, неужели кто-нибудь отнесется к этому предложению серьезно. Началась драка, противники не жалели кулаков. Винициану разбили нос, и ему пришлось лечь на пол, пока не перестала идти кровь. Консулы с трудом восстановили порядок. Тут пришло известие о том, что городская стража и моряки присоединились к гвардейцам, а также гладиаторы (я забыл о них упомянуть), и Виниций с Азиатиком сняли свои кандидатуры. Никто другой на императорский титул не претендовал. Сенаторы разбились на группки и тревожно перешептывались между собой. На рассвете в храм вошли Кассий Херея, Аквила, Луп и Тигр. Кассий сделал попытку обратиться к сенаторам с речью, но уже первые его слова о славном возрождении республики были заглушены яростными криками со скамей, где сидели полковники, командующие городскими батальонами.

— Забудь о республике, Кассий. Мы решили избрать императора, и если консулы его нам не найдут, да побыстрей, да чтобы был нам по вкусу, больше они нас не увидят — мы пойдем в лагерь гвардейцев и присягнем на верность Клавдию.

Один из консулов сказал тревожно, глядя на Кассия в поисках поддержки:

— Нет, мы еще не решили окончательно, стоит ли назначать нового императора. Согласно последней нашей резолюции — принятой единогласно — в Риме восстановлена республика. Кассий убил Калигулу не ради нового императора — верно, Кассий? — а чтобы вернуть нам старинные свободы.

Кассий вскочил на ноги, побелев от гнева, и крикнул:

— Римляне, лично я отказываюсь терпеть иго императора. Если будет назначен новый император, я не колеблясь сделаю с ним то, что сделал с Гаем Калигулой.

— Не говори глупостей, — прервали его офицеры. — В императоре нет худа, если он сам хорош. Разве мы бедно жили при Августе?

Кассий:

— Ладно, я дам вам хорошего императора, если вы обещаете принести мне от него пароль, — я дам вам Евтиха.

Вы, возможно, помните, что Евтих был одним из «разведчиков» Калигулы. Он считался лучшим возничим в Риме и управлял упряжкой «зеленых» во время бегов в цирке. Кассий хотел напомнить офицерам о всех тех хозяйственных работах, которые приходилось выполнять городским батальонам по приказу Калигулы: строить конюшни для скаковых лошадей, а затем чистить их под присмотром суетливого и грубого Евтиха.

— Видно, вам нравится стоять на коленях и соскребать навоз с пола конюшни по приказу императорского любимца, — сказал Кассий.

Один из полковников презрительно фыркнул:

— Хвастайся, сколько хочешь, Кассий, все равно ты боишься Клавдия. Признайся в этом.

— Я боюсь Клавдия? — вскричал Кассий. — Если сенат прикажет мне пойти в лагерь и принести оттуда его голову, я с радостью это сделаю. Я не могу вас понять. У меня не укладывается в сознании, как, прожив четыре года под управлением безумца, вы готовы отдать управление страной в руки идиота.

Но Кассию не удалось убедить офицеров. Они покинули сенат без единого слова, собрали своих солдат под ротными знаменами на рыночной площади и пошли в лагерь гвардейцев присягать мне на верность.

Сенат, вернее то, что от него осталось, потерял последних защитников. Каждый, как мне рассказывали, принялся упрекать своих соседей, никто больше и вида не делал, что предан республике, ведь попытку ее учредить постигла неудача. Если бы хоть один из них проявил мужество, мне не было бы так стыдно за мою родину. Я давно уже сомневался в достоверности некоторых героических легенд насчет древнего Рима, рассказанных историком Ливием, а услышав об этой сцене в сенате,

я усумнился и в правдивости моего любимого отрывка, того, где описывается стойкость сенаторов после поражения на реке Аллии, когда на город наступали кельты и исчезла всякая надежда, что стены выдержат их натиск. Ливий рассказывает, как молодые мужчины, способные биться с врагом, вместе с женами и детьми укрылись в городской крепости после того, как запаслись едой и оружием, решив держаться до конца. Но старики, чтобы не быть помехой осажденным, не последовали за ними и, надев сенаторские тоги и крепко сжав в руке сенаторские жезлы из слоновой кости, сели на сенаторские кресла в портиках своих домов и стали ожидать смерти. Когда я был мальчиком, старый Афинодор заставил меня выучить весь этот кусок наизусть, и я до сих пор его помню:

«Двери в дома патрициев были широко распахнуты, и захватчики, с благоговейным страхом взирая на сидевших под сводами галерей, были поражены не только сверхъестественным великолепием их одеяний и украшений, но и величественной осанкой и безмятежностью их лиц: казалось, это Боги. Пришельцы стояли, дивясь им, как дивились бы священным изваяниям, пока, как гласит легенда, один из чужаков не принялся тихонько поглаживать бороду патриция по имени Марк Папирий — в те времена бороды носили очень длинные — и тот, поднявшись со своего седалища, не стукнул его по голове жезлом. Восхищение уступило место ярости, и Марк Папирий первым из патрициев встретил смерть. Остальные приняли ее от кровавой руки захватчиков, так и не встав с места».

Бесспорно, Ливий был прекрасный писатель. Он хотел склонить людей к добродетели своими вдохновенными, хотя и противоречащими истине сказаниями о величии Рима в стародавние времена. Увы, подумал я, особенного успеха в том ему добиться не удалось.

Теперь уже ссорились между собой Кассий, Луп и Тигр. Тигр клялся, что скорее покончит с собой, чем будет приветствовать в моем лице императора и станет спокойно смотреть, как возвращается рабство.

Кассий сказал:

— Ты сам не думаешь того, что говоришь, да и не пришло еще время для таких разговоров.

Тигр сердито вскричал:

— И ты тоже, Кассий Херея! Ты хочешь бросить нас? Видно, жизнь тебе дороже всего на свете. Ты хвалишься, что организовал убийство, но кто нанес первый удар — ты или я?

— Я, — не задумываясь, ответил Кассий. — И я ударил его спереди, а не сзади. А что мне дорога жизнь, так только дураку она не дорога. И я не намерен зря отказываться от нее. Если бы я последовал примеру Вара в тот день в Тевтобургском лесу более тридцати лет назад и покончил с собой, — ведь казалось, будто исчезла последняя надежда, — кто вывел бы оттуда восемьдесят человек, оставшихся в живых, и не давал бы передышки германцам, пока нам на смену не подошел Тиберий со всей армией? Да, я дорожил в тот день жизнью. Кто знает, вдруг Клавдий в конце концов решит отказаться от императорского поста. Его ответ не исключает такого намерения; от этого идиота всего можно ждать, к тому же он труслив как заяц. До тех пор, пока я не буду твердо знать, что он собирается делать, я не стану накладывать на себя руки.

К этому времени сенаторы разошлись, а Кассий, Луп и Тигр спорили, стоя в пустом вестибюле. Когда Кассий посмотрел вокруг и увидел, что они остались одни, он разразился смехом:

— Ну не смешно ли нам, не кому-либо, а нам, ссориться между собой! Тигр, пойдем позавтракаем. И ты с нами, Луп! Пошли!

Я тоже в это время завтракал, проспав немногим более часа; и тут мне сообщили, что в лагерь прибыли консулы и эти твердокаменные республиканцы-сенаторы, участвовавшие в полночном заседании и желающие засвидетельствовать свое почтение и поздравить с восшествием на престол. Полковники были очень довольны и насмешливо сказали:

— Они пришли слишком рано, пусть подождут.

Я не выспался и был не в духе; что до меня, сказал я, у меня нет желания их принимать: я предпочитаю людей, у которых хватает храбрости не отступать от своих убеждений. Я постарался выбросить сенаторов из головы и продолжал свой завтрак. Хорошо, Ирод, поистине вездесущий в эти два богатых событиями дня, спас им жизнь. Германцы напились, и у них зудели руки от желания подраться; схватив ассагаи, они уже были готовы убить сенаторов, упавших на колени с мольбой о пощаде. Гвардейцы не делали никаких попыток вмешаться. Ироду пришлось прибегнуть к моему имени, чтобы утихомирить германцев. Он вошел в столовую, как только поместил вызволенных им из беды сенаторов в безопасное место, и сказал шутливо:

— Прости меня, цезарь, но я не думал, что ты так серьезно примешь мой совет наступить сенату на горло. С беднягами надо обращаться помягче. Если с ними что-нибудь случится, где ты еще раздобудешь таких поразительных подхалимов?

Мне становилось все трудней и трудней держаться республиканских взглядов. Что за комедия — я, единственный настоящий противник монархии, вынужден выступать в роли монарха! По совету Ирода я потребовал, чтобы сенаторы встретили меня во дворце. Офицеры не чинили препятствий моему уходу из лагеря. Гвардейская дивизия в полном составе сопровождала меня почетным эскортом: девять батальонов впереди, три — сзади, за ними все остальные войска, в первых рядах — дворцовая стража. И тут произошел крайне неприятный инцидент, приведший меня в полное замешательство. Кассий и Тигр, позавтракав, присоединились к параду и встали во главе дворцовой стражи, по обе стороны от Лупа. Я об этом ничего не знал, так как они находились далеко от моего портшеза. Дворцовая стража, привыкшая подчиняться Кассию и Тигру, решила, что они действуют согласно приказу Руфрия, нового командующего гвардией, хотя в действительности Руфрий послал им обоим уведомление о том, что они сняты с должности. Все окружающие были озадачены, но когда сообразили, что эта троица сознательно нарушает приказ, шумно выразили свое возмущение. Один из защитников народа побежал вдоль колонны, чтобы сообщить мне о случившемся. Я не представлял, что мне сказать или сделать, но не мог закрыть глаза на их вызывающий поступок: они демонстративно не повиновались приказу Руфрия и моей императорской власти.

Когда мы достигли дворца, я попросил Ирода, Вителлия, Руфрия и Мессалину (которая приветствовала меня с величайшим восторгом) немедленно собраться на совет относительно того, что мне следует предпринять. Войска стояли строем вокруг дворца, Кассий, Тигр и Луп все еще были среди них; они громко, уверенно разговаривали между собой, но другие офицеры держались от них в стороне.

Я открыл совет, сказав, что, хоть Калигула был мне племянником и я обещал его отцу, моему дорогому брату Германику, оберегать его от опасности и заботиться о нем, я не могу винить Кассия за убийство. Калигула сам всячески напрашивался на то, чтобы его убили. Я сказал также, что у Кассия лучший послужной список в армии, и, если бы я был уверен, что он нанес удар, движимый благородными мотивами, к примеру такими, которые вдохновляли второго Брута, я бы с радостью простил его. Но каковы были в действительности его мотивы? Вот в чем вопрос.

Первым заговорил Руфрий.

— Теперь Кассий утверждает, будто нанес удар во имя свободы, но на самом деле его толкнула на это обида: Калигула задел его самолюбие тем, что без конца

дразнил его, давая нелепые и неприличные пароли.

Вителлий:

— Если бы он нанес удар в пылу гнева, можно было бы сделать на это скидку, но заговор был задуман много дней, даже месяцев назад и убийство было совершено хладнокровно. Кассий сознательно на него пошел.

Мессалина:

— Ты забываешь, что он совершил не обычное убийство, что он нарушил присягу — торжественную клятву безоговорочной верности своему императору. За это он лишился права на жизнь. Если бы он был честным человеком, он бы уже давно принял смерть от собственного меча.

Ирод:

— И ты забыл также, что Кассий отправил Лупа убить тебя самого и госпожу Мессалину. Если ты оставишь его на свободе, римляне решат, что ты его боишься.

Я послал за Кассием и сказал ему:

— Кассий Херея, ты человек, который привык подчиняться приказам. Теперь я — главнокомандующий, не важно, нравится это мне или нет; и ты должен подчиниться моему приказу, не важно, нравится это тебе или нет. Мое решение таково: если бы ты поступил, как Брут, и убил тирана ради всеобщего блага, пусть бы ты лично и любил его, я бы одобрил твой поступок, хотя ожидал бы, поскольку ты нарушил этим присягу на верность, что ты умрешь от своей руки. Но ты задумал это убийство (и хладнокровно его совершил, когда другие не решились это сделать) из-за личной обиды, а это не заслуживает похвалы. К тому же, как я понимаю, ты по собственному почину послал Лупа убить госпожу Цезонию, мою жену госпожу Мессалину и меня самого, если он меня найдет, и по этой причине я лишаю тебя права покончить с собой. Ты будешь казнен как обычный преступник. Мне очень печально принимать это решение, поверь мне. Ты назвал меня идиотом перед всем сенатом и сказал друзьям, что я не заслуживаю пощады от их мечей. Возможно, ты прав. Но, дурак я или нет, я хочу воздать должное твоим заслугам перед Римом в прошлые времена. Не кто иной, как ты, спас мосты через Рейн после поражения Вара, и именно тебя в письме ко мне мой дорогой брат назвал лучшим воином, служившим под его командой. Я бы очень желал, чтобы у этой истории был более счастливый конец. Больше мне сказать нечего. Прощай.

Кассий молча отдал мне честь, и его отвели на место казни. Я распорядился также казнить Лупа. День был прохладный, и Луп, снявший плащ, чтобы его не забрызгало кровью, вскоре стал дрожать и жаловаться на холод. Кассию сделалось стыдно за него, и он сказал укоризненно:

— Волк никогда не жалуется на холод («lupus» на латыни значит «волк»).

Но Луп рыдал и, казалось, его не слышал. Кассий спросил у солдата, который исполнял роль палача, есть ли у него опыт в этом деле.

— Нет, — ответил солдат, — но до армии я был мясником.

Кассий расхохотался и сказал:

— Прекрасно. Не окажешь ли ты мне услугу — не воспользуешься ли моим собственным мечом? Это тот самый меч, которым я убил Калигулу.

Он был умерщвлен одним-единственным ударом. Лупу повезло меньше: когда ему приказали вытянуть шею, он сделал это очень робко, а затем отдернул голову, и удар пришелся по лбу. Палачу пришлось нанести несколько ударов, чтобы его прикончить.

Что касается Тигра, Аквилы, Виниция и остальных заговорщиков, я решил им не мстить. Они воспользовались амнистией, которую, как только сенаторы пришли во дворец, я объявил за все сказанные слова и совершенные поступки в этот и предыдущий день. Я обещал Аквиле и Тигру вернуть им звание, если они присягнут мне на верность, но прежнему командующему гвардией дал другое назначение, так

как Руфрий был слишком хорош, чтобы снимать его с этого поста. Да, надо отдать должное Тигру: он оказался человеком слова. Он поклялся перед Кассием и Лупом, что скорее покончит с собой, чем будет приветствовать в моем лице императора, и теперь, когда тех казнили, чувствовал себя обязанным отдать их духам этот долг чести. Он храбро убил себя за миг перед тем, как зажгли их погребальный костер, и тело его было сожжено вместе с ними.

Глава VI

Нужно было столько сделать, чтобы разобраться в том хаосе, который Калигула оставил после себя — почти четыре года плохого правления, — что даже сейчас, стоит мне подумать об этом, у меня голова идет кругом. По правде сказать, главным доводом, которым я оправдывал сам перед собой то, что не выполнил свое намерение отречься от престола, как только успокоится волнение, вызванное убийством Калигулы, была необъятность этого хаоса: я не знал в Риме никого, кроме себя самого, у кого хватило бы терпенья, даже если бы он и был облечен властью, выполнить эту тяжелую и неблагодарную задачу. Я не мог с чистой совестью снять с себя ответственность и возложить ее на консулов. Консулы, даже лучшие из них, не способны создать постепенной восстановительной программы, рассчитанной на пять-десять лет. Они не могут мысленно представить себе то, что будет, когда окончится годовой срок их службы. Они или ставят перед собой цель немедленно достичь каких-либо блестящих результатов и для этого форсируют события, или вообще ничего не делают. Эта задача была бы по плечу диктатору, назначенному на определенный срок. Но даже если бы и удалось найти диктатора с соответствующими деловыми качествами, можно ли было быть уверенным, что он не решит укрепить свое положение, узурпировав имя «цезарь», и не станет деспотом?

Я вспомнил с глухим возмущением, при каких великолепных условиях начинал правление Калигула: полная государственная и императорская казна, способные и надежные советчики, расположение всего народа. Да, мне ничего не оставалось, как сохранить власть в своих руках, во всяком случае на какое-то время, и надеяться, что, как только станет возможно, меня от нее освободят. Это будет наименьшим злом. Себе я мог доверять больше, чем кому-нибудь другому. Я устремлю свои помыслы к предстоящей мне работе и приведу все хоть в какой-то порядок, а уж потом докажу, что мои республиканские принципы — настоящие принципы, а не пустая болтовня, как у Сентия и людей его толка. А до тех пор буду воздерживаться, насколько это возможно, от императорских замашек. Но передо мной сразу же встала проблема: какие титулы я приму от сената. Без титулов, говорящих о твоём неотъемлемом праве на те или иные действия, далеко не уйдешь. Те, без которых не обойтись, принять придется. И необходимо подыскать себе помощников, скорее среди чиновников-греков и предприимчивых деловых людей, чем среди сенаторов. Есть очень подходящая латинская поговорка: «Olera olla legit», что значит: «Котелок сам найдет травы для похлебки». Как-нибудь управлюсь.

Сенаторы хотели дать мне все почетные титулы, какие только были когда-либо у моих предшественников, чтобы показать, как они раскаиваются в своем республиканском пыле. Большую часть я отверг, принял лишь имя «цезарь», на которое имел некоторое право, поскольку был с родом Цезарей в кровном родстве через мою бабушку Октавию, сестру Августа, и ни одного настоящего Цезаря не осталось в живых. Я принял его из-за авторитета, которым оно пользовалось у таких народов, как армяне, парфяне, германцы и марокканцы. Если бы они решили, что я незаконно захватил престол и хочу основать новую династию, это побудило бы их нарушить границы. Я принял также титул трибуна — «защитника народа», так как он обеспечивал мне неприкосновенность личности и давал право накладывать вето на

решения сената. Неприкосновенность личности была очень важна для меня, так как я намеревался отменить все законы и эдикты, согласно которым каралась государственная измена, и, кроме права личной неприкосновенности, ничто не могло оградить меня от убийц. Титул «отец отчизны» я отверг, так же как титул «август», и поднял на смех попытки сената присудить мне священные почести; я даже заявил, что не хочу, чтобы меня величали «император». Звание это, указал я, с древнейших времен давалось как знак почета за успешные ратные подвиги и вовсе не приравнивалось к рангу главнокомандующего. Августа провозгласили императором за победу при Акции и ряд других. Мой дядя Тиберий был одним из самых удачливых генералов за всю историю Рима. Мой предшественник Калигула из юношеского тщеславия позволил, чтобы его называли императором, но даже он почувствовал себя обязанным завоевать этот титул на поле брани; по этой причине он и отправился в поход за Рейн и устроил нападение на воды Северного моря. Его символические военные операции, хотя и не сопровождавшиеся кровопролитием, показывали, что он понимает, какие обязательства несет этот почетный сан. «Настанет день, сиятельные отцы, — писал я им, — и я, возможно, сочту необходимым начать военную кампанию и встать во главе своей армии и, если боги пошлют мне удачу, заслужу этот титул и буду с гордостью его носить, но до тех пор я должен просить вас не обращаться так ко мне из уважения к тем талантливым полководцам прошлого, которые действительно заслужили его».

Сенату так понравилось мое письмо, что они постановили воздвигнуть мне золотую статую — нет, три золотые статуи, — но я наложил вето на их решение по двум причинам: во-первых, я ничем не снискал эту честь, во-вторых, это было расточительством. Однако я согласился на то, чтобы с меня сделали три изваяния и поставили их в людных местах Рима, но самое дорогое из них — серебряное — должно было быть не сплошным, а полым, залитым внутри гипсом, а два других — одно из бронзы, другое из мрамора. Я принял эти три статуи потому, что в Риме огромное множество скульптур и еще две-три не составят разницы, а мне было интересно позировать действительно хорошему скульптору, ведь теперь лучшие скульпторы мира были к моим услугам.

Сенат также решил покрыть позором имя Калигулы всеми доступными способами. Они вынесли решение о том, чтобы день его убийства стал национальным праздником благодарения. И снова я воспрепятствовал им, прибегнув к вето; единственное, что я отменил, были эдикты Калигулы относительно религиозного поклонения ему самому и богине Пантее — ее имя он дал моей племяннице, бедняжке Друзилле, которую убил; во всем остальном я не предпринял ничего, что пятнало бы его память. Лучшей политикой было молчать. Ирод напомнил мне, что Калигула никак не опорочил память Тиберия, хотя имел все основания его ненавидеть; он просто его не обожествил и оставил недостроенной присужденную ему сенатом триумфальную арку.

— Но как мне быть со всеми его статуями? — спросил я.

— Ничего нет проще, — ответил Ирод. — Прикажи городским стражникам снять их завтра в два часа ночи, когда все спят, и принести сюда во дворец. Когда римляне проснутся, они увидят, что все ниши и пьедесталы свободны или снова заняты статуями, которые там стояли раньше и были убраны, чтобы освободить место для изваяний Калигулы.

Я последовал совету Ирода. Статуи были двух видов — изображения чужеземных богов, у которых сняли головы, заменив их головой Калигулы, и те, которые сделали с него самого, все — из драгоценных металлов. Первые я вернул, насколько это было возможно, в первоначальное состояние, вторые велел разломать на куски, расплавить и отлить монеты с моим изображением. Из огромной золотой статуи, которую он поставил в своем храме, начеканили почти миллион золотых. Я,

кажется, не упоминал, что при жизни Калигулы его жрецы — среди которых, к моему стыду, был и я — каждый день облачали эту статую в такое же платье, какое надевал он сам. Мы должны были не только одевать ее в обычное штатское или военное платье с нашитыми на них императорскими эмблемами, но и в те дни, когда Калигуле случалось вообразить себя Венерой, или Минервой, или Юпитером, или Доброй Богиней, наряжать соответственно этому, используя различные божественные знаки отличия.

Моему тщеславию льстило видеть на монетах самого себя, но, поскольку при республике это удовольствие было доступно всем выдающимся жителям Рима, меня не стоит за это винить. Однако портреты на монетах обычно приносят разочарование, так как их чеканят в профиль. Мы не знакомы со своим профилем и, когда видим его изображение, мысль о том, что мы так выглядим в глазах прочих людей, причиняет нам душевную травму. Благодаря зеркалу мы хорошо знаем наше лицо анфас и не только относимся к нему терпимо, но даже с некоторой симпатией, однако должен сказать, что, когда мне впервые показали образец золотой монеты, которую чеканили для меня на монетном дворе, я очень рассердился и спросил, что имелось в виду — карикатура? Маленькая головка на длинной-предлинной шее, озабоченное лицо, кадык, торчащий, словно второй подбородок, привели меня в ужас. Но Мессалина сказала:

— Нет, милый, именно так ты выглядишь. По правде говоря, портрет скорее тебе льстит.

— И ты можешь любить такого человека? — спросил я.

Она поклялась, что на всем свете нет более дорогого для нее лица. Так что я постарался привыкнуть к новым золотым.

Кроме статуй Калигула очень много денег расходовал на золотые и серебряные предметы, украшавшие дворец и другие места; их тоже можно было переплавить в слитки. Например, золотые дверные ручки и оконные рамы, или золотая и серебряная мебель в его храме. Я все это изъял. Я произвел во дворце большую чистку. В спальне Калигулы я обнаружил ларчик с ядами, принадлежавший Ливии, которым Калигула неплохо попользовался, посылая отравленные сласти тем, кто написал завещание в его пользу, а иногда подсыпая яд в тарелки приглашенных им к обеду гостей, когда их внимание было отвлечено какой-нибудь подготовленной заранее забавой. (Самое большое удовольствие, признался мне Калигула, он получал, глядя, как умирают от мышьяка.) В первый же безветренный день я взял с собой этот ларчик в Остию и, спустившись к морю на одном из прогулочных кораблей, кинул его за борт, когда мы отошли от берега примерно на милю. Минуту-две спустя на поверхность воды всплыли тысячи дохлых рыб. Я не говорил морякам, что находится в ларчике, и некоторые из них попытались было выловить рыбу, плавающую неподалеку, чтобы отвезти домой себе на обед, но я остановил их, запретив прикасаться к рыбе под страхом смерти.

У Калигулы под подушкой я нашел две его знаменитые записные книги; на одной из них был нарисован окровавленный меч, на другой — окровавленный кинжал. За Калигулой всегда следовал по пятам вольноотпущенник с этими книгами, и если ему случалось узнать о ком-нибудь нечто вызвавшее у него неудовольствие, он обычно говорил вольноотпущеннику: «Протоген, запиши его имя под кинжалом» или «Запиши его имя под мечом».

Под меч заносились имена тех, кого ждала казнь, под кинжал — тех, кому предлагалось покончить жизнь самоубийством. Последние имена, занесенные в книгу под кинжалом, были: Виниций, Азиатик, Кассий Херея и Тиберий Клавдий — то есть я. Книги эти я сжег в жаровне собственными руками, а Протогена казнил. И не только потому, что мне был противен самый вид этого жестокосердого человека со свирепым лицом, который всегда обращался со мной с недопустимой наглостью, —

мне стало известно из достоверных источников, что он угрожал сенаторам и всадникам занести их в эти книги, если они не заплатят ему большую мзду.

На допросе Протоген упорно стоял на том, что никогда не произносил таких угроз и не записывал в книги никаких имен, кроме тех, которые ему называл Калигула. Это поставило вопрос о том, на основании чего можно казнить человека. Любому из моих полковников ничего не стоило сообщить мне, вопреки истине, как-нибудь утром: «Такого-то и такого-то казнили на рассвете согласно твоим вчерашним распоряжениям». И даже если я заявлю, что ничего об этом не знаю, доказать это я не смогу, а память моя, как я сам в том охотно признаюсь, далеко не из лучших. Поэтому я возродил практику, введенную в свое время Августом и Ливией: немедленно заносить на бумагу все решения и распоряжения. Если мой подчиненный не мог показать бумагу с моей подписью, согласно которой следовало принять суровые дисциплинарные меры, или дать важные финансовые обязательства, или внедрить чрезвычайное новшество в судопроизводство, проведение всего этого в жизнь считалось не санкционированным мной, и, если я не одобрял эти действия, он нес за них ответственность. Постепенно эта практика, которую переняли мои советники в отношении своих подчиненных, стала чем-то само собой разумеющимся, и в правительственных учреждениях в присутственные часы редко случалось услышать хоть слово, разве что совещались между собой начальники ведомств или являлись с официальным визитом городские чиновники. У каждого дворцового слуги была при себе восковая дощечка на случай, если понадобится записать какое-нибудь особое приказание. Всем просителям, претендующим на различные посты, субсидии, покровительство, привилегии и так далее и тому подобное, предлагалось приносить с собой во дворец бумагу, где бы ясно было написано, чего они хотят и почему, и только в редких и крайних случаях разрешалось подкреплять свою просьбу устными доводами. Это экономило время, но принесло моим советникам незаслуженную репутацию гордецов.

Я расскажу вам о них. При Тиберии и Калигуле реальное управление делами все больше и больше переходило в руки императорских вольноотпущенников, которых бабка Ливия в свое время отдала обучаться секретарскому делу. Консулы и городские судьи хотя и считались самостоятельной властью, отвечающей за должное отправление своих обязанностей только перед сенатом, постепенно все больше зависели от советов, которые давались им от имени императора, особенно когда речь шла о запутанных документах, связанных с юридическими и финансовыми вопросами. Им показывали, куда приложить печать или поставить подпись на уже готовых документах, и они редко брали на себя труд познакомиться с их содержанием. Подпись их в большинстве случаев была чистой формальностью, и по сравнению с секретарями-советниками они совсем не разбирались в административных тонкостях. К тому же секретари разработали новую манеру письма, где было полно сокращений, тайных знаков и небрежно написанных букв, и прочитав это никто, кроме них, не мог. Я знал, что ожидать внезапной перемены отношений между корпусом секретарей и всем остальным миром невозможно, поэтому для начала скорее усилил, чем ослабил их власть, утвердив в должности тех из вольноотпущенников Калигулы, кто проявил себя способным к своему делу. Например, я оставил Каллиста, ведавшего как императорской, так и государственной казной, которую Калигула часто путал с императорской. Каллист знал о заговоре против Калигулы, но активного участия в нем не принимал. Он рассказал мне длинную историю о том, как незадолго до смерти император велел ему отравить мою пищу, но он благородно отказался. Я не поверил ему. Во-первых, Калигула ни за что не дал бы ему таких указаний и подсыпал бы яд, как всегда, собственной рукой; а во-вторых, если бы и дал, Каллист не осмелился бы его послушаться. При всем том я ничего ему не сказал, так как, судя по всему, он очень хотел сохранить свою

должность и был единственным, кто знал досконально тогдашнюю финансовую ситуацию. Я похвалил его, заметив, что, по-моему, он показал себя с самой лучшей стороны, умудрившись столько времени снабжать Калигулу деньгами, и я рассчитываю, что он и впредь будет пускать в ход свой провидческий дар и находить деньги ради спасения Рима, а не его гибели. В обязанности Каллиста входило также расследование судебным порядком всех государственных дел, связанных с финансами. Я оставил Мирона в качестве советника по правовым вопросам и Посидия — в качестве военного казначея, отдал под начало Гарпократа все игры и развлечения, а Амфею предоставил реестр. На обязанности Мирона лежало также сопровождать меня, когда я выходил к народу, просматривать все послания и петиции, которые мне вручались, и отделять важные, не терпящие отлагательства бумаги от обычной лавины назойливых и неуместных писем. В числе других моих советников был Паллант, в ведение которого я передал императорскую казну, и его брат Феликс, которого я сделал советником по иностранным делам, Каллон, под присмотром которого были все припасы города, и его сын Нарцисс, отвечавший за внутренние дела и частную переписку. Полибий был моим советником по вопросам веры — ведь я исполнял обязанности великого понтифика — и помогал мне в исторических изысканиях, если я мог выкроить для них время. Последние пятеро были собственные мои вольноотпущенники. После банкротства я был вынужден отказаться от их услуг, и они с легкостью устроились на канцелярскую работу во дворце, были посвящены в тайны секретарского братства и даже научились неразборчиво писать. Я разместил их всех в новом дворце, выгнав оттуда толпу гладиаторов, возничих, конюхов, актеров, фокусников и прочих прихлебателей, которых туда поместил Калигула. Новый дворец должен был в первую очередь служить правительственной канцелярией. Сам я жил в старом дворце, причем очень скромно, следуя примеру Августа. Для важных пиров и приема иностранных правителей я пользовался апартаментами Калигулы в новом дворце, одно крыло которого было предоставлено Мессалине в ее полное распоряжение.

Когда я назначал советников на их посты, я объяснил, что хотел бы, чтобы они проявляли как можно больше инициативы; пусть не ждут, что я стану все им указывать; даже будь у меня больше опыта, я не смог бы во все вмешиваться. Я не Август; когда он взял под контроль государственные дела, он был не только молод и энергичен, но имел целый корпус способных консультантов, людей, отличившихся на службе отечеству, таких, как Меценат, Агриппа, Поллион, не говоря об остальных. Я сказал, что они должны делать все, что в их собственных силах, а столкнувшись с какой-нибудь трудностью, пусть обращаются к «Протоколам деловых операций божественного Августа» — памятному труду, изданному Ливией при Тиберии, — и придерживаются форм и прецедентов, которые они там найдут. Конечно, если даже в этом бесценном манускрипте не отыщется примера тому, чем они должны заняться, пусть советуются со мной, но я надеюсь, что они, по возможности, избавят меня от ненужной работы.

— Дерзайте, — сказал я, — но до известных границ.

Я признался Мессалине, помогавшей мне с назначениями, что мой республиканский пыл с каждым днем остывает: я испытываю все большую симпатию и все большее уважение к Августу. А также уважение к моей бабке Ливии, несмотря на личную антипатию к ней. У нее был на редкость методичный ум, и если бы, прежде чем возродить республику, мне удалось добиться, чтобы государственная система работала хотя бы в половину так хорошо, как при ней и Августе, я был бы крайне доволен собой. Мессалина с улыбкой предложила сыграть роль Ливии в случае, если я возьму на себя роль Августа.

— Absit omen! — воскликнул я, сплевывая себе на грудь, чтобы отвести несчастье.

Мессалина заметила, что, шутки в сторону, у нее, как у Ливии, есть талант разбираться в людях и видеть, какое назначение им больше подойдет. Если бы я согласился дать ей свободу действий, она бы решала от моего имени вопросы, связанные с моим постом блюстителя морали и освободила меня от всех забот и хлопот. Как вы знаете, я был страстно влюблен в Мессалину и при выборе советников убедился, что суждения ее весьма трезвы, однако колебался — уж очень большую ответственность хотела она взять на себя. Но Мессалина умоляла позволить ей доказать, на что она способна. Она предложила вместе просмотреть поименный список сенаторов — она будет говорить, кто из них, по ее мнению, заслуживает в нем остаться. Я велел принести реестр, и мы принялись его читать. Должен признаться, я был поражен ее подробным знакомством со способностями, характером, частной и публичной историей каждого из первых двадцати сенаторов, которые были в списке. Если мне удавалось проверить факты, они оказывались абсолютно точны, и я с готовностью удовлетворил ее просьбу и поступил по своему желанию лишь в нескольких сомнительных случаях, когда Мессалине было безразлично, останется имя в списке или нет. После того как мы навели через Каллиста справки относительно имущественного положения некоторых сенаторов и решили, подходят ли они по умственным и моральным качествам, мы исключили около трети имен и заполнили образовавшиеся вакансии лучшими всадниками из имеющихся в наличии и бывшими сенаторами, вычеркнутыми из списка Калигулой по каким-то пустячным мотивам. Первым из тех, от кого я решил избавиться, был Сентий. Это диктовалось не только его глупой речью в сенате и дальнейшей трусостью, но и тем, что он был одним из двух сенаторов, сопровождавших меня во дворец во время убийства Калигулы, а затем бросивших на произвол судьбы. Вторым из моих спутников, между прочим, был Вителлий, но он уверил меня, будто поспешил уйти только затем, чтобы разыскать Мессалину и спрятать ее в безопасном месте; он думал, что Сентий останется и присмотрит за мной. Я полностью его простил. Я сделал Вителлия своим дублером на случай, если я вдруг заболею или со мной случится что-нибудь похуже. Так или иначе, от Сентия я избавился. Я объяснил его разжалование тем, что он не появился во дворце, когда я вызвал туда сенаторов, так как бежал в свое загородное поместье, не предупредив консулов об отсутствии, а вернулся лишь через несколько дней и в силу этого не попадал под амнистию. Другой ведущий сенатор, разжалованный мной, был конь Калигулы Инцитат, которому через три года предстояло сделаться консулом. Я написал сенату, что у меня нет никаких претензий к личной морали этого сенатора или к его способности выполнять те задачи, которые до сего времени вменялись ему в обязанность, но у него больше нет необходимого финансового ценза. Я урезал дотацию, дарованную ему Калигулой, до ежедневного рациона кавалерийской лошади, уволил его конюхов и поместил его в обыкновенную конюшню, где ясли были из дерева, а не из слоновой кости, а стены были побелены, а не украшены фресками. Однако я не разлучил его с женой, кобылой Пенелопой, это было бы несправедливо.

Ирод предупреждал меня, чтобы я все время был настороже против убийц, утверждая, что наша ревизия списка сенаторов, а в дальнейшем — списка всадников, принесла мне множество врагов. «Конечно, амнистия — это хорошо, — говорил он, — но вряд ли тебе воздадут великодушием за великодушие». По его словам, Винициан и Азиатик не постеснялись заявить, что новая метла чисто метет, что Калигула и Тиберий тоже в начале правления вели себя доброжелательно и нравственно и что кончу я, возможно, таким же безумцем и деспотом, как любой из них. Ирод советовал мне какое-то время вообще не посещать сенат, а затем принять все меры предосторожности против убийц. Это меня напугало. Я никак не мог решить, каких мер предосторожности будет достаточно, поэтому не ходил в сенат в течение целого месяца. Наконец я нашел решение: я испросил согласия сената — и получил его —

приходить на заседание с эскортом из четырех гвардейских полковников и Руфрия, командующего гвардией. Я даже занес Руфрия в список сенаторов, хотя у него не было соответствующего финансового ценза, и сенат дал ему по моей просьбе позволение выступать и участвовать в голосовании, когда он приходил туда вместе со мной. Кроме того, по совету Мессалины всех, даже женщин и мальчиков, кто являлся ко мне во дворец или в любое другое место, сперва обыскивали, чтобы удостовериться, нет ли при них оружия. Мне была неприятна мысль, что обыскивают женщин, но Мессалина настаивала, и я согласился при условии, что делать это будет ее вольноотпущенница, а не мои солдаты. Мессалина также требовала, чтобы на пирах присутствовали вооруженные гвардейцы. Во времена Августа это сочли бы уместным лишь при дворе тирана, и мне было стыдно смотреть, как они стоят строем у стен, но я боялся рисковать.

Я делал все возможное, чтобы восстановить самоуважение сената. Отбирая его новых членов, мы с Мессалиной интересовались их семейной историей не меньше, чем их личными качествами. Как будто в ответ на просьбу старших членов сенаторского сословия — хотя в действительности это была моя собственная идея, — я обещал принимать в сенат только тех, кто может насчитать четыре поколения предков, имеющих римское гражданство. Я сдержал свое слово. Единственное исключение я сделал в случае с Феликсом, моим советником по иностранным делам, — несколько лет спустя я воспользовался возможностью наградить его саном сенатора. Он был младшим братом моего вольноотпущенника Палланта и родился после того, как его отцу была дарована свобода, так что, в отличие от Палланта, сам он рабом никогда не был. Но я не нарушил обещания сенату: я попросил одного из членов рода Клавдиев — не настоящего Клавдия, а члена семьи клиентов этого рода, которые некогда иммигрировали в Рим из Кампании, получили римское гражданство и разрешение взять имя Клавдиев, — усыновить Феликса. Так что он имел, во всяком случае теоретически, четыре поколения соответствующих предков. Однако, когда я представил его сенату, поднялся недовольный ропот. Кто-то крикнул:

— Цезарь, в дни наших отцов таких вещей не делали.

Я сердито возразил:

— Сомневаюсь, сиятельный, что ты имеешь право это говорить. Твоя собственная семья не такая уж именитая. Я слышал, что во времена моего пра-пра-прадеда твои родичи торговали рубленой печенкой, да еще и недовешивали при этом.

— Это ложь! — вскричал сенатор. — Они были честные трактирщики.

Смех сенаторов заглушил его слова. Но я чувствовал себя обязанным еще кое-что добавить.

— Когда мой предок Клавдий Слепой, победитель этрусков и самнитов и первый выдающийся римский писатель, был назначен цензором более трехсот лет назад, он допустил в сенат сыновей вольноотпущенников, как это сделал я. Многие члены нашего собрания находятся здесь сейчас благодаря этому нововведению моего предка. Может быть, они хотят подать в отставку?

После чего сенат горячо приветствовал Феликса.

Среди всадников было полно богатых лодырей — по правде сказать, их и в дни Августа было не меньше. Но я, в отличие от него, не собирался потворствовать их лени. Я объявил, что те, кто станут уклоняться от выполнения общественных обязанностей, когда их об этом попросят, будут исключены из сословия. И в трех-четырёх случаях мое слово не разошлось с делом.

В числе бумаг, найденных во дворце, в личном сейфе Калигулы, были документы, касающиеся суда — при Тиберии — над моими племянниками Друзом и Нероном и их матерью Агриппиной, а также их казни. После восшествия на престол

Калигула притворился, будто сжег все эти бумаги — великодушный жест, но в действительности это было не так, и свидетели против моих племянников и невестки, а также сенаторы, голосовавшие за смертный приговор, находились в постоянном страхе перед его местью. Я внимательно перечитал эти бумаги и вызвал к себе всех оставшихся в живых из тех, кто, по-видимому, был замешан в вынесении смертного приговора невиновным людям. Каждому в моем присутствии был прочитан документ, который касался его лично, а затем вручен ему, чтобы он мог собственными руками сжечь бумаги на стоящей рядом жаровне. Здесь будет уместно упомянуть о зашифрованных досье на каждого выдающегося римлянина, которые Тиберий забрал у Ливии после смерти Августа, но разобрать не смог. Позже я их расшифровал, но они настолько устарели, что представляли скорее исторический, чем политический интерес.

Две наиважнейшие задачи, стоявшие теперь передо мной, были: постепенная реорганизация государственных финансов и отмена наиболее возмутительных из декретов Калигулы. Однако ни то, ни другое нельзя было осуществить наскоком. Я провел долгое совещание с Каллистом и Паллантом относительно финансов сразу же после того, как назначил их на посты; Ирод тоже был там, ведь он, надо думать, лучше, чем кто-либо другой, знал, как получить ссуду и справиться с долгами. Прежде всего нам предстояло решить, где взять наличные деньги для безотлагательных затрат. Это мы уладили, как я уже говорил, пустив в переплав золотые статуи, золотую посуду и украшения из дворца, а также золотую мебель из храма Калигулы. Ирод предложил, чтобы я, кроме того, обратился за ссудой от имени Капитолийского Юпитера к другим богам, чьи храмовые сокровищницы за последнюю сотню лет оказались забитыми бесполезными и безвкусными приношениями из драгоценных металлов, данными храму по обету. Дары эти по большей части шли от людей, которые хотели привлечь к себе внимание или похвалиться перед всеми своими успехами, и вовсе не были вызваны истинным благочестием. Например, купец после удачной поездки на Восток подносил богу Меркурию золотой рог изобилия, удачливый воин дарил Марсу золотой меч, а удачливый стряпчий дарил Аполлону золотой треножник. Надо думать, вряд ли Аполлону были нужны две или три сотни золотых и серебряных треножников, и, если его отец Юпитер оказался в нужде, Аполлон будет только рад одолжить ему несколько штук. Поэтому я отдал в переплав все подношения, которые мог взять, не обидев семьи тех, кто их делал, и не посягнув на предметы, имеющие историческую ценность, и велел вычеканить из них монеты. Ведь давать займы Юпитеру означало давать займы казне. На этом совещании мы решили также, что возьмем в долг у банкиров. Мы пообещаем им высокие проценты, это их привлечет. Но Ирод сказал, что главное — вернуть доверие народа и снова пустить в оборот деньги, припрятанные трусливыми коммерсантами. Он заявил, что, хотя нам необходимо экономить, не следует заходить с этим слишком далеко. Нельзя, чтобы экономию посчитали скупостью.

— Когда в былые дни, — сказал он, — у меня кончались деньги, я всегда старался потратить все, что еще оставалось, на одежду — плащи, кольца и красивую новую обувь. Это укрепляло мой кредит и давало возможность снова брать займы. Я бы советовал тебе последовать моему примеру. Небольшой кусочек листового золота может сыграть большую роль. К примеру, пошли двух мастеров золотых дел в цирк, чтобы они позолотили мишени для стрельбы; все сразу почувствуют, что мы процветаем, а тебе это будет стоить не больше пятидесяти-ста монет. И еще одна мысль пришла мне в голову сегодня утром, когда я смотрел, как тащат на холм глыбы сицилийского мрамора для облицовки храма Калигулы. Ты ведь не собираешься продолжать эти работы, да? Так почему бы тогда не выложить ими барьер в цирке, ведь он из известняка? Мрамор на редкость красив, и это вызовет настоящую сенсацию.

У Ирода всегда было полно замечательных идей. Как бы я хотел всегда иметь его под боком, но он сказал мне, что не может больше оставаться в Риме: надо же и своим царством заняться. Я ответил, что, останься он еще на несколько месяцев, я сделаю бы его царство таким же огромным, как то, которым правил его дед Ирод Великий.

Но вернемся к нашему совещанию. Мы постановили пополнить казну за счет всех этих различных ссуд и отменить для начала только самые нелепые налоги, введенные Калигулой, такие, как налоги на бордели, на выручку уличных торговцев и на использование содержимого общественных писсуаров — больших бочек, которые стоят на углах улиц и опорожняются чистильщиками одежды, когда жидкость поднимается до определенного уровня, чтобы использовать ее в своих целях. В декрете об отмене этих налогов я обещал, что, как только пополнится государственная казна, я отменю и все остальные.

Глава VII

Вскоре я заметил, что стал популярным. В число эдиктов Калигулы, которые я упразднил, входили эдикты, касающиеся его собственного религиозного культа и государственной измены, а также те, в которых аннулировались некоторые привилегии сената и народа. Я издал указ о том, что слова «государственная измена» с этого момента теряют смысл. Не только изменнические документы, но и явные действия, которые можно подтвердить свидетельскими показаниями, не будут рассматриваться как преступное деяние — тут я оказался еще снисходительнее Августа. Мой указ открыл двери тюрьмы для сотен горожан всех рангов. Но, по совету Мессалины, я оставлял каждого из них под домашним арестом, пока не убеждался, что обвинение в измене не прикрывало собой уголовщины. Ибо часто оно было только формальностью, дающей право на арест, а на самом деле человек совершил убийство, подлог или любое другое правонарушение. Я не мог предоставить слушание этих дел младшим судьям и чувствовал себя обязанным расследовать их сам. Каждый день я отправлялся на рыночную площадь и там, перед храмом Геркулеса, целое утро вел дознание вместе с судейской коллегией из собратьев-сенаторов. Уже много лет — с того самого времени, как Тиберий удалился на Капри, — их не допускали на императорский суд. Я также являлся без предупреждения в другие суды и садился на скамью присяжных при председательствующем судье. Мое знакомство с судопроизводством было весьма несовершенным, я не занимал обязательных для знатных римлян гражданских должностей, поднимаясь ступень за ступенью от судьи третьего класса до консула и оставляя свой пост лишь на время военной службы в чужих странах; за исключением последних трех лет, я подолгу жил за пределами Рима и очень редко присутствовал при разборе тяжб. Поэтому я был вынужден полагаться на свой природный ум скорее, чем на судебные прецеденты, и все время энергично сражаться с уловками адвокатов, которые, пользуясь моим невежеством, пытались опутать меня сетями крюкотворства.

Каждый день, когда я шел из дворца на рыночную площадь, я проходил мимо оштукатуренного здания, на фасаде которого было написано дегтем огромными черными буквами:

СУДЕБНЫЙ И ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ,
ОСНОВАННЫЙ И РУКОВОДИМЫЙ ВЫСОКОУЧЕНЫМ
И КРАСНОРЕЧИВЫМ ОРАТОРОМ И ЮРИСТОМ
ТЕЛЕГОНИЕМ МАКАРИЕМ,
ГРАЖДАНИНОМ РИМА И АФИН

Под этим на большой квадратной доске было следующее объявление:

Телегоний дает инструкции и советы всем, кто столкнулся с финансовыми или персональными трудностями и вынужден вследствие этого явиться в гражданский или уголовный суд: Телегоний имеет поистине энциклопедическое знакомство со всеми римскими эдиктами, статутами, декретами, декларациями, судебными решениями и так далее, и тому подобное, прошлыми и настоящими, действующими, приостановленными или бездействующими. По первому требованию высокоученый и красноречивый Телегоний может снабдить своих клиентов точными и юридически неоспоримыми суждениями по любому правовому вопросу в подлунном мире, какой соизволят представить на рассмотрение ему самому и его высококвалифицированным помощникам. Не только римское право, но также греческое, египетское, еврейское, армянское, марокканское и парфянское — все это Телегоний знает назубок. Не довольствуясь тем, чтобы снабжать своих клиентов сырьем, несравненный Телегоний снабжает их также готовым продуктом, а именно блестящими речами на любую тему, сопровождаемыми указаниями на уместные интонации и жесты. Личное обращение к присяжным заседателям — его фирменный товар. По требованию можно получить записную книжку с риторическими приемами и блестящими фигурами речи. Ни в одном суде ни один клиент Телегония не пострадал от неблагоприятного решения — разве что его соперник случайно пил из того же источника мудрости и красноречия. Умеренные цены и любезное обслуживание. Несколько вакансий для учеников.

«Язык сильней клинка»

Эврипид.

Постепенно я выучил это объявление наизусть, ведь я видел его очень часто, и теперь, когда обвинитель или защитник обращались ко мне со словами: «Я не сомневаюсь, цезарь, что тебе известен пятнадцатый параграф четвертой главы закона, регулирующего расходы населения в интересах государства, написанного Марком Порцием Катонем в том году, когда консулами были такой-то и такой-то», или: «Ты согласишься со мной, цезарь, что на острове Андросе, откуда родом мой подзащитный, к фальшивомонетчикам проявляют большую снисходительность, если доказано, что они действовали, заботясь о благосостоянии престарелых родителей, а не о своей собственной выгоде», или иную подобную чепуху, я улыбался им в ответ и говорил:

— Ты ошибаешься, любезный; мне это вовсе неизвестно. Я вовсе не высокоученый и красноречивый Телегоний, который может снабдить своих клиентов точными и юридически неоспоримыми суждениями по любому правовому вопросу в подлунном мире. Я просто судья в этом заседании. Продолжай и не трать моего времени.

Если они и дальше докучали мне, я говорил:

— Все это напрасно. Прежде всего, если я не захочу — не отвечу. Кто может меня заставить? Я в своих поступках волен. Как и всякий другой, так? По сути, я самый вольный из всех римлян. Ну а затем, если я все же тебе отвечу, клянусь богами, ты будешь об этом жалеть.

Между прочим, Телегоний этот, судя по всему, преуспевал, и его деятельность чем дальше, тем больше меня раздражала. Я просто не выношу судебных краснобаев. Если человек не может коротко и ясно изложить свое дело, привлекая необходимые свидетельства и воздерживаясь от неуместных разглагольствований о

знатности своих предков, множестве бедных родственников, которых он должен поддерживать, милосердии и мудрости судьи, злых шуток, которые с ним сыграла изменчивая судьба, и от прочих набивших оскомину ухищрений, он заслуживает самого жестокого наказания в рамках закона за нечестность, притворство и трату чужого времени. Я отправил Полибия купить у Телегония книжку, о которой говорилось в объявлении, и просмотрел ее. Несколько дней спустя я зашел в низший суд как раз тогда, когда обвиняемый начал декламировать одну из рекомендованных Телегонием речей. Я попросил у судьи разрешения вмешаться и обратился к оратору:

— Остановись, любезный, так дело не пойдет. Ты плохо выучил этот кусок. У Телегония тут была другая риторическая фигура... подожди-ка... «если обвиняемый в краже...» да, это самое место.

Я достал книжку:

— «Услышав об утрате соседа, исполненный к нему сострадания, в каких только лесах и долинах, среди каких открытых всем ветрам негостеприимных гор, в каких сырых и мрачных пещерах не искал я потерявшуюся овцу (потерявшуюся корову... лошадь... мула), пока наконец, трудно поверить, вернувшись домой, измученный, со стертыми ногами, я нашел ее (здесь прикрой глаза ладонью и сделай удивленный вид) и где? — в моей собственной овчарне (хлеву... конюшне... амбаре), куда это своенравное животное забрело во время моего отсутствия».

— Любезный, — сказал я, — ты сказал «роща» вместо «долина», совсем пропустил слова «со стертыми ногами» и такой выразительный эпитет, как «своенравная». И при слове «нашел» вовсе не казался удивленным, у тебя был просто глупый вид. Решение суда не в твою пользу. Вيني себя самого, а не Телегония.

Поскольку я посвящал судейским обязанностям по многу часов ежедневно, не исключая дней религиозных праздников, и даже соединил летний и зимний периоды судебной сессии, чтобы отправление правосудия шло без перерыва и ни один обвиняемый не был вынужден провести в тюрьме больше, чем несколько дней, я ожидал, что адвокаты, судейские и свидетели будут относиться ко мне повнимательней. Как бы не так. Я сказал без обиняков, что, если одна из враждующих сторон не явится в суд вообще или явится с опозданием, это заранее расположит меня в пользу противной стороны. Я старался проводить разбирательство как можно быстрее и получил (отнюдь не справедливо) репутацию человека, который выносит приговор, не дав обвиняемому возможность себя защитить. Если кого-нибудь обвиняли в каком-либо преступлении и я спрашивал его прямо, справедливо ли по своей сути это обвинение, а он начинал хитрить, стараясь уйти от ответа и говорил: «Позволь все тебе объяснить, цезарь. Я не то чтобы виноват, но...», я тут же его прерывал. Я произносил приговор: «Штраф в тысячу золотых», или: «Ссылка на остров Сардиния», или просто: «Смерть», а затем оборачивался к судебному служителю: «Следующее дело, пожалуйста». Ответчик и его защитник, естественно, сердились, что я не слушал их речей, где приводились в защиту обвиняемого смягчающие вину обстоятельства. Как-то раз разбиралось дело, где ответчик утверждал, что он имеет римское гражданство и потому явился в суд в тоге, а адвокат истца выступил с возражением, говоря, что тот — чужеземец и ему следует носить плащ. Разбираемое дело никак не зависело от того, был ли ответчик римским гражданином или нет, поэтому я заставил адвокатов замолчать, приказав ответчику надевать плащ во время речей со стороны обвинения и тогу во время речей со стороны защиты. Адвокатам это не очень понравилось, и они сказали, что я высмеиваю правосудие. Возможно, так оно и было. Но ведь и сами они относились ко мне очень плохо. Иногда, когда я не успевал разобрать за первую половину дня столько дел, сколько намеревался, и время обеда оставалось позади, они поднимали

страшный шум, если я откладывал дальнейшее слушание на следующий день. Они грубо кричали мне вслед, чтобы я вернулся и не заставлял честных граждан дожидаться отправления правосудия, и даже хватали меня за тогу и за ноги, словно хотели силой удержать меня в суде.

Я не препятствовал панибратству, если в нем не было ничего оскорбительного, — я обнаружил, что свободная атмосфера в суде помогает свидетелям давать нужные показания. Когда кто-нибудь запальчиво мне возражал, если мое суждение противоречило здравому смыслу, я ничуть не обижался. Однажды защитник обвиняемого объяснил, что его подзащитный, старик шестидесяти пяти лет, лишь недавно женился. Его жена выступала свидетельницей по этому делу. Это была совсем молодая женщина. Я заметил, что их брак незаконен. Согласно закону Паппия-Поппея (с которым я был случайно знаком) мужчина старше шестидесяти лет не имел права жениться на женщине моложе пятидесяти, так как мужчина за шестьдесят вряд ли способен иметь потомство. Я прочитал вслух греческую эпиграмму:

Женитьбой старцу не надуть природу —
«Взрастит рога иль чахлую породу».

Защитник ненадолго задумался, а затем выдал следующий экспромт:

Дурак хоть знает естества устройство,
Ему противные припишет свойства.
Коль старец крепок, поросль здорова,
Но дети дрянь у рохли молодого.

Он попал в самую точку, так что я простил его за то, что он назвал меня дураком, а на следующем заседании сената внес соответствующую поправку в закон Паппия-Поппея.

Самый жестокий приступ гнева, которому я поддался в суде, был вызван служителем, в чьи обязанности входило вызывать на разбирательство свидетелей и следить, чтобы они являлись вовремя. Я начал слушание дела о мошенничестве, но был вынужден его отложить из-за недостатка свидетельских показаний, так как главный свидетель сбежал в Африку, боясь, что его обвинят в соучастии. Когда дело это должно было слушаться повторно, я вызвал этого свидетеля, но его вновь не оказалось в здании суда. Я спросил служителя, была ли этому человеку вовремя послана повестка о необходимости его присутствия.

— О да, конечно, цезарь.

— Так почему же его здесь нет?

— К сожалению, он не может явиться.

— Единственное, что может оправдать его отсутствие — болезнь, причем столь серьезная, что его нельзя принести сюда в носилках без опасности для жизни.

— Вполне согласен с тобой, цезарь. Нет, свидетель больше не болен. Хотя был очень болен, как я понимаю. Но теперь все в порядке.

— А что с ним было?

— Его изувечил тигр, как мне сообщили, а затем началась гангрена.

— Удивительно, что он поправился, — сказал я.

— А он не поправился, — фыркнул служитель, — он мертв. Я думаю, смерть может служить оправданием его отсутствия.

Все захохотали.

Я пришел в такую ярость, что запустил ему в голову восковую дощечку, вскричав, что лишаю его римского гражданства и ссылаю в Африку.

— Отправляйся охотиться на львов! — крикнул я. — Надеюсь, они тебя как следует изувечат и у тебя начнется гангрена.

Однако через полгода я его простил и взял на прежнее место. Больше он не отпускал шуток на мой счет.

Будет только справедливо отметить здесь случай, когда такой же приступ ярости вызвал я сам. Молодого патриция обвинили в противоестественных действиях по отношению к женщинам. Жалоба исходила от членов гильдии проституток, неофициальной, но хорошо налаженной организации, которая вполне эффективно защищала женщин от хулиганства и мошенничества. Проституткам было неудобно самим привлекать к суду знатного юношу, поэтому они обратились к человеку, который в свое время пострадал от него и мечтал о мести — чего только не известно проституткам! — и предложили выступить свидетельницами, если он возбудит дело: проститутки умеют давать показания. Прежде чем разбирать эту тяжбу, я послал письмо Кальпурнии, красивой молодой проститутке, с которой я жил до женитьбы на Мессалине и которая оставалась мне верным и нежным другом в самые черные дни. Я попросил ее побеседовать с женщинами, которые будут давать показания, и узнать частным образом, действительно ли этот знатный юноша оскорбил их так, как они утверждают, или они просто подкуплены истцом. Через день или два Кальпурния прислала мне короткую записку, что юноша этот действительно повинен в жестоких и противоестественных действиях, что те, кто обратился в гильдию с жалобой, — порядочные девушки, одна из них — ее близкая подруга.

Я вел этот процесс; я велел привести к присяге свидетельниц, игнорируя возражение защитника относительно того, что лживость проституток вошла в поговорку и клятва их ничего не стоит, и стал слушать их показания, велел судебному регистратору все заносить в протокол. Когда одна из девиц повторила очень грязные и вульгарные слова обвиняемого, регистратор спросил: «И это записывать, цезарь?» На что я отвечал: «Почему бы и нет?» Юноша так разъярился, что, подобно мне самому, — вы помните слугу, который насмеялся надо мной? — кинул в меня дощечку для письма. Но если я промахнулся, он попал прямо в цель. Острый край дощечки оцарапал мне щеку до крови. Но я сказал лишь: «Рад видеть, молодой человек, что у тебя еще остался какой-то стыд». Я признал его виновным и поставил рядом с его именем в списке черную отметину, что лишало его права занимать какую-либо общественную должность. Но он был собственником Азиатика, и спустя несколько месяцев тот попросил меня стереть отметку, так как в последнее время юноша значительно исправился.

— Я сотру ее, чтобы угодить тебе, — сказал я, — но она все равно будет видна.

Позднее Азиатик повторил мои слова друзьям в доказательство моей глупости. Он, вероятно, не мог понять, что репутация человека похожа, как говаривала моя мать, на фаянсовую тарелку:

«Тарелка разбивается, репутация страдает от судебного приговора; тарелку чинят, она становится как новенькая; репутацию исправляет официальное прощение. Починенная тарелка и исправленная репутация лучше, чем разбитая тарелка или испорченная репутация, но тарелка, которую никогда не разбивали, и репутация, которая никогда не страдает, куда лучше».

Учитель всегда кажется чудачком своим ученикам. У него есть излюбленные словечки и фразы, которые хорошо им известны и всегда вызывают их смех. У каждого из нас есть любимые клише и характерные особенности речи, но, если ты не находишься на виду — как учитель, или командир, или судья, — этого почти не замечают. Во всяком случае, так было со мной — никто их не замечал, пока я не стал императором, ну а тогда, разумеется, они стали известны во всем мире. Стоило мне только сказать в суде: «Никоим образом ни в чести, ни в немилости», или (обернувшись к секретарю суда, после того как я подвел итоги дела): «Верно? Кто

спорит?», или произнести: «Если уж я принял решение, его не вырубишь топором», или вспомнить известную поговорку «По делам вору и мука», или произнести семейное проклятие «Десять тысяч фурий и змей!», как раздавался такой оглушительный взрыв смеха, точно я то ли сморозил невообразимую глупость, то ли, напротив, отпустил остроумнейшую шутку.

За первый год моей судебной деятельности я, должно быть, совершил сотни нелепых ошибок, но не меньше дел было благополучно решено, и порой я удивлялся сам себе. Помню один случай, когда свидетельница защиты отрицала свою связь с обвиняемым, а адвокат истца доказывал, что обвиняемый ее сын. Когда я сказал, что поверю ей на слово и в качестве великого понтифика немедленно сочетаю их браком, она так перепугалась этого кровосмесительного союза, что тут же призналась в лжесвидетельстве. Она сказала, будто скрыла их родство, чтобы суд поверил в ее беспристрастность. Это дело завоевало мне солидную репутацию, которую я почти сразу же утратил, расследуя другое, где обвинение в государственной измене покрывало обвинение в подлоге. Подсудимый был вольноотпущенником одного из вольноотпущенников Калигулы, и для него не было никаких смягчающих вину обстоятельств. Он подделал завещание хозяина перед самой его смертью — был ли он за нее в ответе, осталось неизвестным, — лишив тем самым свою хозяйку и ее детей средств к существованию. По мере того, как история эта становилась все более ясной, я все больше возмущался его поступком, и решил вынести ему самый суровый приговор. Защита была очень слабой — адвокат и не отрицал обвинения и лишь обрушивал на суд потоки несообразных фраз, состряпанных по рецепту Телегония. Время обеда давно прошло, я заседал шесть часов подряд. И тут из трапезной жрецов Марса, расположенной неподалеку, до моих ноздрей донесся восхитительный аромат. Жрецы Марса питаются лучше, чем любое другое жреческое братство: у Марса всегда достаточно животных для жертвоприношений. Мне чуть не стало дурно от голода. Я сказал старшему из судей, заседавших вместе со мной:

— Будь так добр, доведи за меня это дело и присуди максимальное наказание, если защита не сможет предъявить лучших доказательств, чем те, которые она предъявляла до сих пор.

— Ты действительно за самое суровое наказание для него? — спросил судья.

— Да, именно, неважно, в чем оно состоит. Этот человек не заслуживает снисхождения.

— Твое приказание будет выполнено, цезарь, — ответил он.

Мне принесли портшез, и я присоединился к жрецам за обеденным столом. Вернувшись в зал суда, я обнаружил, что обвиняемому отрубили руки и повесили ему на шею. Таково было высшее наказание за подлог, назначенное Калигулой и еще не исключенное из уголовного кодекса. Все сочли, что я поступил очень жестоко, так как судья сказал, что это мой приговор, а не его собственный. Хотя вряд ли тут была моя вина.

Я вернул всех, кто был отправлен в изгнание, но лишь испросив сперва на то согласие сената. В их числе были мои племянницы Лесбия и Агриппинилла, сосланные на остров у берегов Африки. Что касается лично меня, я бы их там, разумеется, не оставил, но и в Рим приглашать бы не стал. Раньше обе вели себя со мной весьма нагло, обе были в кровосмесительной связи с Калигулой, по своей воле или по принуждению — я не знаю, и все остальные их связи служили предметом публичных скандалов. Меня уговорила Мессалина. Теперь-то я понимаю, что ее толкнуло на это тщеславие. Агриппинилла и Лесбия всегда относились к ней свысока, а когда они узнают, что попали в Рим благодаря ее великодушному заступничеству, они будут чувствовать себя обязанными заискивать перед ней. Но в то время я приписывал просьбу Мессалины ее доброму сердцу. Итак, мои племянницы

вернулись, и я сразу увидел, что изгнание не сломило их дух, хотя нежная кожа, увы, потемнела под африканским солнцем. По приказу Калигулы они зарабатывали себе на жизнь, ныряя за губками. «Я не потратила время зря, — было единственное, что сказала Агриппинилла по поводу жизни на острове. — Я стала первоклассной пловчихой. Если кто-нибудь захочет избавиться от меня, пусть не пытается утопить». Что касается темного, как у рабынь, цвета их лиц, шей и рук, то они решили выкрутиться, уговорив кое-кого из своих знатных приятельниц ввести загар в моду. Сок ореха стал излюбленной туалетной водой. Однако подруги Мессалины сохраняли естественный нежный цвет лица и с презрением отзывались о смуглой компании — «эти ныряльщицы». Лесбия поблагодарила Мессалину весьма небрежно, а мне и вовсе не выразила благодарности. Она держалась на редкость неприятно.

— Ты заставил нас ждать на десять дней больше, чем было необходимо, — ворчала она. — И на корабле, который ты послал за нами, кишмя кишели крысы.

Агриппинилла была умней: она произнесла перед Мессалиной и мной очень изящную благодарственную речь.

Я утвердил право Ирода на царский сан в Башане, Галилее и Гилеаде и добавил к его землям Иудею, Самарию и Идумею, так что теперь его владения стали не меньше, чем владения его деда. Я расширил их на севере за счет Абилены, прежде входившей в Сирию. Мы заключили торжественный союз, скрепленный клятвами, на рыночной площади, в присутствии огромной толпы, и принесли в жертву богам свинью — старинный ритуал, возрожденный мной для этого случая. Я также даровал ему почетное звание римского консула, ведь во время недавнего кризиса сенат был вынужден обратиться к нему за помощью, так как не нашлось ни одного римского гражданина, способного мыслить ясно и беспристрастно; впервые за всю историю оно было пожаловано человеку его расы. По просьбе Ирода я даровал небольшое царство, Халкиду, его младшему брату Ироду Поллиону; Халкида расположена к востоку от Оронта, возле Антиохии. Ирод ничего не попросил для Аристобула, и тот ничего не получил. Я также с радостью освободил алабарха Александра и его брата Филона, которые все еще томились в александрийской тюрьме. Кстати говоря, когда сын алабарха, за которого Ирод выдал свою дочь Беренику, умер, она вышла за своего дядю, Ирода Поллиона. Я подтвердил право Петрония на титул губернатора Сирии и послал ему личное письмо с поздравлениями по поводу того, как он благоразумно вел себя во время конфликта из-за статуи Калигулы.

Я воспользовался советом Ирода насчет мраморных глыб, предназначенных для храма Калигулы, облицевав барьер вокруг арены цирка: он выглядел теперь куда наряднее. Затем передо мной встал вопрос, что делать с самим зданием храма, красивым даже без забранных оттуда украшений. Мне пришло в голову, что будет только справедливо по отношению к богам-близнецам, Кастору и Поллуксу, — пристойная форма извинения за Калигулу, превратившего их храм в портик к своему собственному, — отдать его им как пристройку. Калигула велел сделать пролом в стене за спиной богов для главного входа в свой храм, и они стали как бы его привратниками. Оставалось лишь заново освятить все помещения. Я назначил благоприятный день для этой церемонии и получил через авгуров одобрение богов; ведь хотя мы и производим освящение храма по собственному почину, мы сперва должны получить на это согласие божества, которому посвящен храм.

Я выбрал пятнадцатое июля, день, когда римские всадники в венках из оливковых ветвей выезжают на улицы Рима великолепной процессией, чтобы почтить богов-близнецов; от храма Марса они проезжают верхами по всем главным улицам города и, сделав круг, завершают свой путь у храма Кастора и Поллукса, где приносят жертвоприношения. Церемония эта совершается в ознаменование битвы при озере Регилл, которая произошла в этот день более трехсот лет назад. Кастор и

Поллукс сами примчались верхом на помощь римской армии, которая отчаянно сопротивлялась превосходящим силам латинян, и с тех самых пор их считают особыми покровителями всадников.

Чтобы выяснить волю богов, я отправился на вершину Капитолийского холма, в специально построенный для этой цели храм. Я призвал богов и, произведя необходимые расчеты, отметил часть неба, где надлежало проводить наблюдения, а именно ту его часть, где находилось созвездие близнецов. Не успел я это сделать, как услышал на небе какой-то скрипучий звук, и мне явилось то, чего я ждал, — предзнаменование. Это были два лебедя, летевших с отмеченного мной участка неба; чем ближе они подлетали, тем громче становился шум их крыльев. Я знал, что это Кастор и Поллукс в облике птиц, ведь, как вам известно, они и их сестра Елена вылупились из одного яйца, которое снесла их мать Леда, после того как отдалась Юпитеру, принявшему вид лебедя. Птицы пролетели прямо над своим храмом и вскоре исчезли вдали.

Я несколько опережу ход событий и опишу сам праздник. Начался он с очистительного обхода храма. Мы, жрецы, и наши помощники прошли процессией по всему помещению с лавровыми ветвями в руках; мы опускали их в сосуды со священной водой и разбрызгивали ее по сторонам. Мне пришлось послать за этой водой на озеро Регилл, где, между прочим, воздвигнут еще один храм Кастора и Поллукса; обращаясь к ним, я упомянул, откуда мы взяли воду. Мы также жгли серу и ароматические травы, чтобы отогнать злых духов, и играли на флейте, чтобы заглушить любое произнесенное вслух недоброе слово. Мы освятили так все места, по которым прошла процессия, они включали в себя новую пристройку и сам храм. Пролом между ними мы замуровали — первый камень я положил собственной рукой. Затем я совершил жертвоприношение. Я выбрал жертвы, которые, как я знал, понравятся богам, — принес каждому из них по быку, овце и свинье, все — близнецы. Кастор и Поллукс не входят в число главных божеств, они — полубоги и из-за своего смешанного происхождения находятся поочередно то на небе, то в подземном мире. Когда приносишь жертву героям, пригибаешь ее голову вниз, когда богам — задираешь ее вверх. Поэтому я, следуя старой, вышедшей из употребления практике, поочередно одному жертвенному животному задираю голову, другому пригибал. Мне редко приходилось видеть внутренности, так ярко говорящие об одобрении богов.

Сенат даровал мне по поводу этого праздника триумфальные одежды; предлогом послужил успешный поход в Марокко, где начались волнения в связи с убийством по приказу Калигулы тамошнего царя, моего двоюродного брата Птолемея. Я не имел никакого касательства к марокканской экспедиции, и, хотя теперь было принято в конце кампании награждать главнокомандующего лавровым венком и триумфальным платьем, я бы отказался от этой чести, если бы не одно соображение. Я решил, что будет выглядеть странно, если главнокомандующий станет посвящать храм единственным греческим полубогам, которые сражались за Рим, в платье, говорящем о том, что в действительности он никогда не командовал армией. Но я надел лавровый венок и триумфальный плащ только на самую церемонию, остальные пять дней праздника я был в обычной сенаторской тоге с пурпурной каймой.

Первые три дня мы смотрели театральные представления в театре Помпея, который я переименовал по этому случаю. Сцена и часть зала сгорели еще при Тиберии, но были им восстановлены и снова посвящены Помпею. Однако Калигуле не понравился эпитет «великий» на памятной доске, и он заменил имя Помпея своим. Теперь я свел это на нет: в надписи на мемориальной доске над сценой я отдал должное Тиберию за то, что он отстроил театр после пожара, и самому себе за то, что возвратил его Помпею; этот театр — единственное общественное здание, на котором появилось мое имя.

Мне никогда не нравилось, что знатные римляне и римлянки появляются на сцене, чтобы похвастаться своими актерскими и корибантскими талантами — совершенно чуждый нам обычай, возникший в конце правления Августа. Не представляю, почему Август не препятствовал этой практике более сурово. Скорее всего это объяснялось тем, что против нее не был принят закон, а Август относился терпимо ко всем греческим нововведениям. Его преемник Тиберий вообще не любил театра, неважно, кто был на сцене, и называл его пустым времяпрепровождением, безрассудством и поощрением пороков. Однако Калигула не только вернул профессиональных актеров, которых Тиберий изгнал из города, но и побуждал знатных любителей играть на сцене и нередко сам появлялся на ней. Неуместность этого новшества заключалась для меня главным образом в том, что знатные любители совершенно не умели играть. Римлян не назовешь врожденными актерами. Знатные греки и гречанки, принимая участие в театральных спектаклях, чувствуют себя как рыба в воде и всегда с честью выходят из этого испытания. Но мне не приходилось еще встречать в Риме любителя, от которого был бы хоть какой-то толк. В Риме был один великий актер — Росций, но он добился необыкновенного совершенства своей игры необыкновенным трудом, который он на это затратил. Каждое движение, каждый жест, которые он делал на сцене, он репетировал дома, вновь и вновь, пока они не становились у него естественными. Ни у одного другого римлянина не хватило терпения перековывать себя в грека. И вот на этот раз я отправил послания всем знатым дамам и господам, которые появлялись на сцене при Калигуле, приказывая, под страхом моего недовольства, разыграть две пьесы и интерлюдия, которые я для них выбрал. В то же самое время я зашел к Гарпократу, ведавшему играми и развлечениями, и сказал ему, чтобы он собрал труппу из лучших профессиональных актеров, каких сможет найти, и показал на второй день праздника, что такое настоящая игра. Программа и в первый, и во второй день была одинаковая, но я держал это в тайне. Мой небольшой наглядный урок прекрасно подействовал. В первый день на «актеров» было жалко смотреть. Какие деревянные жесты, какие неловкие выходы и уходы, как они бормотали, как коверкали текст, какое отсутствие торжественности в трагедии и юмора в комедии! Зрителям все это скоро надоело, они стали кашлять, шаркать ногами и болтать между собой. А на следующий день профессиональная труппа дала такое блестящее представление, что с тех пор никто из наших аристократов не осмеливался появиться на публичной сцене.

На третий день гвоздем программы был древнегреческий военный танец с мечами, который исполняли сыновья знати из греческих городов Малой Азии. Калигула затребовал мальчиков к себе под предлогом, что хочет посмотреть местные танцы, но на самом деле он брал детей как заложников, чтобы обеспечить хорошее поведение родителей в то время, как он будет разъезжать по Малой Азии и добывать деньги своими обычными шарлатанскими штучками. Услышав об их прибытии во дворец, Калигула пошел их проверить и только собрался репетировать с ними песню, которую они разучили в его честь, как появился Кассий Херея и спросил, какой на день пароль, и это было сигналом к убийству. Так что теперь мальчики танцевали тем веселей и искусней, что знали, какой они избежали судьбы, а кончив танец, спели мне благодарственную песню. Я дал всем в награду римское гражданство, а через несколько дней, нагрузив подарками, отправил домой.

В четвертый и пятый день представления шли в цирке, который выглядел очень нарядно благодаря позолоченным мишеням и мраморным барьерам, и в амфитеатрах. Было двенадцать гонок на колесницах и одни на верблюдах — забавное новшество. В амфитеатрах было убито триста медведей и триста львов и показан большой бой гладиаторов. Медведи и львы были заказаны Калигулой в Африке незадолго до смерти и только сейчас прибыли. Я честно сказал людям:

— Пройдет немало времени, прежде чем вы снова увидите травлю диких зверей.

Я собираюсь подождать, пока упадут цены. Африканские торговцы взвинтили их до немыслимой высоты. Если они их не снизят, пусть ищут другого покупателя, но, думаю, найти его будет не так легко.

Римляне — люди практические, и меня горячо приветствовали. Этим праздник закончился, если не считать пира, который я дал во дворце через несколько дней для знати и нескольких представителей народа. За стол село больше двух тысяч человек. У меня не было заморских деликатесов, но меню было хорошо продумано, жаркое было великолепным, вина — превосходными, и я не слышал, чтобы кто-то жаловался на отсутствие жаворонковых языков, паштетов, заливного из новорожденных антилоп или омлета из страусовых яиц.

Глава VIII

Скоро я пришел к решению относительно боев гладиаторов и травли диких зверей. Сперва о диких зверях. Я слышал об одной забаве, распространенной в Фессалии, которая имела двойное преимущество — наблюдать ее было увлекательно, а устраивать — дешево. Поэтому я ввел ее в Риме вместо обычной травли леопардов и львов. В ней участвовали молодые дикие быки. Фессалийцы дразнили быка, втыкая ему в тело небольшие стрелы, когда он выбегал из загона, где он был заперт, — стрелы не ранили его, но раздражали. Бык бросался на людей, те ловко увертывались. Люди были без оружия. Иногда они обманывали быка, держа перед собой кусок цветной ткани, — когда бык кидался на эту ткань, они отдергивали ее, не сходя с места; бык всегда целил в колышущуюся ткань. А иногда, когда бык бросался на них, они делали прыжок вперед и перепрыгивали через него одним махом или ступали ему на крестец, прежде чем снова соскочить на землю. Постепенно бык уставал, и с ним творили еще более дерзкие штуки. Был один фессалиец, который становился к быку спиной, наклонялся вперед и смотрел на него между ног, а затем, когда бык устремлялся к нему, делал в воздухе сальто назад и вскакивал быку на спину. Не раз можно было видеть, как фессалийцы кружили по арене, балансируя на быке. Если бык долго не уставал, они заставляли его скакать по арене галопом, сидя, словно на лошади, верхом, держась левой рукой за рог, а правой — крутя ему хвост. Когда животное выбивалось из сил, главный фессалиец начинал с ним бороться — схватив быка за рога, он постепенно заставлял его опуститься на землю. Иногда, чтобы было сподручней, он сжимал зубами ухо быка. Смотреть на эту забаву было очень интересно; часто бык неожиданно убивал человека, если тот переходил все границы. Дешевизна этой забавы объяснялась тем, что фессалийцы, простые сельские жители, не требовали за быков непомерной платы; к тому же быки часто оставались в живых и могли участвовать в следующем представлении. Умные быки, научившиеся избегать проделок противника и не давшие себя обуздать, становились любимцами публики. Был один бык по кличке Ржавый, пользовавшийся по-своему не меньшей славой, чем жеребец Инцитат. За десять представлений он убил не меньшее число своих мучителей. Постепенно народ стал предпочитать эту травлю быков всем развлечениям, кроме гладиаторских боев.

Теперь насчет гладиаторов: я решил набирать их в основном из рабов, которые при Тиберии и Калигуле свидетельствовали против своих хозяев, обвиняемых в государственной измене, и были причиной их смерти. Преступления, которые мне всего отвратительней, это отцеубийство и предательство. За отцеубийство я вновь ввел старинное наказание: преступника до крови секут плетьюми, затем зашивают в мешок вместе с петухом, псом и гадюкой — символы похоти, бесстыдства и неблагодарности — и в конце концов кидают в море. Я рассматриваю предательство рабов по отношению к своим хозяевам как своего рода отцеубийство, поэтому я

всегда заставлял этих гладиаторов сражаться до победного конца, но и при смерти или тяжком увечье одного из противников никогда не давал помилования победителю и заставлял его участвовать в следующих играх; и так до тех пор, пока он не был убит или жестоко ранен. Раз два случалось, что кто-нибудь из них делал вид, будто получил смертельный удар, когда в действительности был лишь слегка задет, и корчился на песке, словно не мог продолжать борьбу. Если я обнаруживал, что он разыгрывает комедию, я отдавал приказ перерезать ему горло.

Полагаю, что граждане Рима получали куда больше удовольствия от этих развлечений, чем от тех, которые устраивал для них Калигула, ведь они бывали гораздо реже. Калигула так обожал гонки колесниц и травлю диких зверей, что чуть ли не через день находил предлог устроить праздник. Для всех это было пустой тратой времени, и зрителям надоедало развлекаться гораздо раньше, чем ему самому. Я вычеркнул из календаря сто пятьдесят введенных им новых праздников. Кроме того, я принял решение прекратить повторы. Если в течение праздника в его церемонии совершали ошибку, даже самую незначительную, пусть в самый последний день, согласно обычаю всю церемонию следовало повторить с начала. В дни Калигулы это превратилось в настоящий фарс. Знатные римляне, которых он вынуждал устраивать игры в его честь за собственный счет, знали, что им ни за что не удастся отделаться одним представлением: он найдет в нем какой-нибудь изъян, когда дело станет подходить к концу, и им придется начинать все с начала во второй, третий, четвертый, пятый, даже десятый раз. Поэтому со временем у них вошло в обыкновение, чтобы умиловить Калигулу, совершать напоказ умышленную ошибку в последний день игр. Заслужив тем его милость, они отделялись лишь одним повтором всего действия. Я издал эдикт, где говорилось, что, если представление придется повторить, на это не должно уйти больше одного дня, а если вновь будет сделана ошибка, на том следует поставить точку. После чего ошибки вообще прекратились: все увидели, что я не поощряю их. Я также издал приказ, запрещающий публично праздновать мой день рождения и устраивать гладиаторские бои ради сохранения моей жизни. Дурно, сказал я, делать человеческие жертвоприношения, даже если в жертву приносится гладиатор, чтобы снискать благоволение подземных богов к живущему на земле.

Однако, чтобы меня не обвинили в том, будто я из скупости урезаю общественные развлечения, я иногда вдруг объявлял утром, что после полудня на Марсовом поле будут игры. Я объяснял, что для этого нет никаких особых оснований, кроме хорошей погоды, и, поскольку я не делал никаких специальных приготовлений, игры будут скромные, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Я называл их «Закуска» или «Угощение без затей». Они длились всего несколько часов.

Я только что упоминал о моей ненависти к рабам, предавшим своих хозяев. Но я понимал, что, если хозяева не проявляют к рабам отеческой заботы, от тех нельзя ожидать проявления сыновнего долга. В конце концов, рабы тоже люди. Я издал в защиту их ряд законов; приведу один пример. Богатый вольноотпущенник, у которого Ирод однажды одолжил деньги, чтобы отдать их моей матери и мне, сильно расширил свою лечебницу для больных рабов, расположенную теперь на острове Эскулапа в устье Тибра. Он объявлял во всеуслышание, что готов купить рабов в любом виде с целью их излечения, и предоставляет право выбора при приобретении раба его прежнему хозяину за цену, превосходящую ту, за которую тот продал ему этого раба, не более, чем в три раза. Его врачи лечили больных рабов, как скот. Но дело его расширялось и процветало, так как большинство хозяев не желают брать на себя лишние хлопоты; больные рабы отвлекают здоровых от их обычных занятий, а если испытывают боль, не дают своими стонами спать всем остальным. Хозяева предпочитают продать их, как только становится ясно, что болезнь будет долгой и изнурительной, следуя подлему наставлению Катона Цензора. Но я положил конец

этой практике. Я издал эдикт, согласно которому больной раб, проданный содержателю лечебницы, получал по выздоровлении свободу и не возвращался на прежнее место, а его хозяин возвращал владельцу лечебницы полученные за него деньги. Теперь, если раб заболел, хозяин был вынужден или лечить его дома, или платить за его лечение в лечебнице. В последнем случае по выздоровлении раб становился свободным, как и те, что были проданы владельцу лечебницы, и, подобно им, должен был внести в нее благодарственные пожертвования в размере половины того, что он заработает в течение трех лет. Если хозяин предпочитает лучше убить раба, чем лечить его или посылать в лечебницу, он будет обвинен в убийстве. Затем я лично обследовал эту лечебницу на острове и дал управляющему указания насчет размещения больных, питания и гигиены, оставлявших желать лучшего.

Хотя, как я уже сказал, я вычеркнул из календаря сто пятьдесят праздников, введенных Калигулой, я сам, должен признаться, ввел три новых праздника, каждый — на три дня. Два — в честь своих родителей. Я назначил торжества на дни их рождения, перенеся на свободные даты два маловажных праздника, случайно совпавших с ними. Я приказал петь по ним плачевные песни и выставил поминальное угощение за свой счет. Победы отца в Германии были уже раньше отмечены постройкой триумфальной арки на Аппиевой дороге и наследственным именем Германик, которым я гордился больше всех остальных имен, но я чувствовал, что должен возродить память о нем в сердцах людей. Моей матери были дарованы Калигулой большие почести, в том числе титул Августа, но когда он с ней поссорился и вынудил покончить с собой, он подло все их отменил: он написал в сенат письмо, где обвинял ее в измене по отношению к нему и неуважении к другим богам, утверждал, что она была полна злобы и алчности и что в ее доме, вопреки закону, открыто принимали астрологов и гадалок. Прежде чем вернуть матери, как подобало, имя Августа, я должен был доказать сенату, что все эти обвинения ложны: решительная, да, но благочестивая, бережливая, да, но щедрая, она не питала ни к кому злобы и ни разу в жизни не обращалась к астрологам и гадалкам. Я представил необходимых свидетелей. Среди них была Брисеида, камеристка матери; она числилась моей рабыней и получила свободу уже в преклонном возрасте. В исполнение того, что я ей обещал года за два до того, я представил Брисеиду сенаторам следующим образом:

— Сиятельные отцы, эта старая женщина была в свое время моей рабыней и за преданность и трудолюбие в течение всей ее жизни на службе рода Клавдиев — сперва в качестве служанки моей бабки Ливии, затем — моей матери Антонии, которую она всегда причесывала, — я наградил ее свободой. Некоторые люди, даже часть моих домочадцев, утверждают, будто она была рабыней моей матери. Хочу воспользоваться случаем закрепить это утверждение как злонамеренную ложь. Она родилась рабыней отца, когда он был еще ребенком, после его смерти перешла к моему брату, а затем ко мне. У нее не было иных хозяев. Вы можете полностью положиться на ее свидетельство.

Сенаторов удивила горячность моих слов, но, желая мне угодить, они громко приветствовали меня; и я действительно был доволен, ведь для старой Брисеиды это был самый славный момент в жизни, и аплодисменты сенаторов, казалось, предназначались не только мне, но и ей. Она разразилась слезами, и ее несвязные слова — дань памяти моей матери — почти не были слышны. Несколько дней спустя она умерла в роскошных дворцовых покоях, и я устроил ей великолепные похороны.

Матери возвратили все отнятые у нее титулы, и во время больших игр в цирке ее колесница участвовала в священной процессии, так же как колесница моей несчастной невестки Агриппины. Третий учрежденный мною праздник был посвящен моему деду Марку Антонию. Он был одним из самых блестящих римских военачальников и одержал на Востоке много замечательных побед. Единственной

ошибкой его была ссора с Августом после многих лет совместной деятельности и поражение в битве при Акции. Я не понимал, почему мы должны праздновать победу моего двоюродного деда Августа над моим родным дедом Марком Антонием. Я не зашел так далеко, чтобы обожествлять его, его многочисленные слабости делали его неподходящим для Олимпа, но праздник был данью его воинским качествам и доставлял радость потомкам тех римских солдат, кто ошибся и выбрал при Акции не ту из враждующих сторон.

Не забыл я и брата Германика. Праздника в его честь я учреждать не стал. Я почему-то чувствовал, что его дух этого не одобрит. Он был самый скромный человек из всех людей, равных ему по рангу и способностям, которых я знал, и всегда старался держаться в тени. Но я сделал нечто иное, что должно было — в этом я был уверен — доставить ему удовольствие. В Неаполе — греческой колонии — был праздник, на котором каждые пять лет исполнялась лучшая греческая пьеса, завоевавшая первое место на состязании, и я послал туда написанную Германиком комедию, которую нашел после его смерти среди его бумаг. Она называлась «Послы» и была написана с немалым остроумием и изяществом в стиле Аристофана. Сюжет заключался в том, что два брата грека, один из которых был командующим армией его родного города, воюющего с Персией, другой — наемником в персидском войске, прибывают одновременно в качестве послов ко двору нейтрального царя, которого оба просят о военной помощи. Я узнал комические черты перепалки между двумя германскими вождями, братьями Германном и Флавием, воевавшими на разных сторонах во время войны с германцами, которая последовала за смертью Августа. Кончалась комедия тем, что оба брата сумели уговорить глупого царя и он послал пехоту на помощь Персии и кавалерию на помощь Греции. Жюри единогласно присудило комедии первое место. Вы можете сказать, что они отдали ей предпочтение не только из-за огромной популярности Германика среди тех, кто общался с ним при жизни, но и из-за того, что, как всем было известно, предложил его пьесу император. Но из всех пьес, претендующих на приз, она была безусловно лучшей, и исполнение ее сопровождалось бурными овациями. Припомнив, что во время поездок в Афины, Александрию и другие известные греческие города, Германик всегда носил греческое платье, я сделал то же во время праздника в Неаполе. Я надевал плащ и высокие сапоги во время музыкальных и драматических представлений и пурпурную накидку и золотую корону, когда присутствовал на гимнастических состязаниях. Германику выдали в награду бронзовый треножник; судьи хотели назначить золотой в знак особого уважения, но я отклонил это из соображений экономии. Треножки чаще всего делают из бронзы. Я посвятил его от имени Германика местному храму Аполлона.

Теперь мне оставалось одно — выполнить обещание, данное бабке Ливии. Я поручился честным словом сделать все возможное, чтобы получить согласие сената на ее обожествление. Я не изменил взгляда на жестокость и неразборчивость в средствах, благодаря которым бабка получила контроль над империей и держала ее в руках ни мало ни много шестьдесят пять лет, но, как я говорил раньше, мое восхищение ее организаторскими способностями возрастало с каждым днем. Никто из сенаторов не возразил на мою просьбу, если не считать Винициана, родственника Виниция, который решил сыграть ту же роль, что и Галл за двадцать семь лет до того, когда Тиберий предложил обожествить Августа. Винициан поднялся со скамьи и спросил, на каких именно основаниях я обращаюсь с такой беспрецедентной просьбой и какое знамение, указывающее на то, что бессмертные боги примут к себе Ливию Августу с распростертыми объятиями, было послано мне с небес. Ответ был у меня готов. Я сказал Винициану, что незадолго до своей смерти моя бабка, несомненно под воздействием свыше, разговаривала сперва с моим племянником Калигулой, затем со мной и сообщила по секрету каждому из нас, что настанет день,

когда и он, и я сделаемся императорами. Заверив нас в этом, она заставила обоих поклясться, что мы употребим все свое влияние, чтобы обожествить ее, когда вступим на престол: она указала, что сыграла не меньшую роль, чем Август, в тех грандиозных преобразованиях, которые они вместе проводили после гражданских войн, и будет крайне несправедливо, если Август станет наслаждаться вечным блаженством в небесных чертогах, а она, низвергнутая в мрачные бездны преисподней на суд подземных богов, затеряется среди безликих и безгласных теней. Калигула, сказал я им, был в то время еще ребенком и имел двух старших братьев — не удивительно ли, что Ливии было известно, кому из трех стать императором, ведь с них она такого обещания не взяла. Так или иначе, Калигула дал ей слово, но, став императором, нарушил его; и уж если это не знамение того, как на ее обожествление смотрят боги, Винициану ничто не мешает поискать его в кровавых обстоятельствах смерти Калигулы.

Затем, отвернувшись от него, я обратился ко всем сенаторам вместе.

— Сиятельные, — сказал я, — вам, а не мне решать, достойна ли моя бабка Ливия Августа всенародного обожествления. Я могу только повторить свои слова: я поклялся головой, если стану императором, — должен признаться, событие это казалось мне невероятным и даже нелепым, хотя сама она не сомневалась, что оно произойдет, — приложить все силы, чтобы убедить вас вознести ее на небо, где она сможет стать рядом со своим верным супругом, который теперь, после капитолийского Юпитера, самый почитаемый из всех наших богов. Если вы отвергнете мою просьбу сегодня, я повторю ее через год в это самое время и буду повторять до тех пор, пока вы не ответите мне согласием, если только не лишусь жизни и по-прежнему буду иметь привилегию обращаться к вам с императорского престола.

На этом кончилась заранее приготовленная мною речь, но неожиданно для самого себя я с жаром воззвал к сенату, продолжив ее экспромтом:

— И мне кажется, сиятельные, что вам бы следовало учесть, решая этот вопрос, чувства самого Августа. Более пятидесяти лет они с Ливией работали в одной упряжке с утра до вечера изо дня в день. Он почти ничего не делал без ее ведома и совета, а в тех редких случаях, когда поступал по собственному усмотрению, не всегда, надо сказать, поступал мудро и не всегда его начинания увенчивались успехом. Да, всякий раз, что перед ним вставала задача, требующая максимального напряжения ума, Август неизменно посылал за Ливией. Я не буду утверждать, будто бабка была наделена одними достоинствами и не имела никаких недостатков. Это было бы слишком; кому и знать, как не мне. Начать с того, что она была совершенно бессердечна. Бессердечие — серьезный недостаток, который нельзя простить, когда оно сопровождается расточительством, алчностью, леностью и бесчинством, но когда оно сочетается с безграничной энергией и непреклонным стремлением к порядку и общественной благопристойности, это качество обретает совсем иной характер. Оно становится божественным атрибутом. По правде сказать, далеко не все боги были наделены им в той же степени, что Ливия. Она обладала поистине несигаемой волей — кроме как олимпийской ее не назовешь. И хотя она не делала поблажки никому из близких, если те не выказывали достаточной приверженности долгу или своей распутной жизнью вызвали публичный скандал, надо помнить, что она не допускала поблажки и себе самой. Как она трудилась! Она не давала себе отдыха ни днем ни ночью, увеличив тем самым шестьдесят пять лет своего правления до ста тридцати. Она рано стала отождествлять свою волю с волей Рима, и всякий, кто ей противостоял, был в глазах Ливии предатель, даже Август. И Август, на которого по временам находило упрямство, видел справедливость ее взгляда, и хоть официально Ливия была его неофициальной советчицей, в своих личных письмах к ней он тысячи раз признавал свою полную зависимость от ее

божественной мудрости. Да, Винициан, он употреблял слово «божественной». Я считаю, что этим все сказано. Когда Август разлучался с моей бабкой хоть ненадолго, он становился сам на себя не похож, — вы все достаточно стары, чтобы это помнить. Вполне можно утверждать, что его теперешняя задача на небе — блюсти благоденствие римлян — для него очень трудна из-за отсутствия прежней помощницы. Кто станет отрицать, что после смерти Августа Рим не процветал так, как при его жизни, за исключением тех лет, когда моя бабка Ливия правила им при посредстве своего сына, императора Тиберия. К тому же, приходило ли вам в голову, сиятельные отцы, что Август — единственный бог, который живет на Олимпе без супруги. Когда на небо вознесся Геркулес, ему тут же дали в супруги богиню Гебу.

— А как насчет Аполлона? — прервал меня Винициан. — Я не слышал, чтобы он бы женат. Твой довод хромает на обе ноги.

Консул призвал Винициана к порядку. Было ясно, что он хотел меня оскорбить, говоря о хромоте. Но я привык к оскорблениям и спокойно ему отвечал:

— Я всегда полагал, что бог Аполлон остается холостяком или потому, что не может выбрать одну из девяти муз, или потому, что боится обидеть восемь из них, выбрав в жены девятую. К тому же он бессмертен и вечно молод, так же как они, ничего страшного, если он отложит свой выбор на неопределенное время, ведь они все до единой в него влюблены, как говорит поэт, как бишь его? Но возможно, Август в конце концов убедит его выполнить свой долг по отношению к Олимпу, дать одной из девяти торжественный брачный обет и создать большую семью «быстрее, чем спаржа варится».

Раздавшийся взрыв хохота заставил Винициана замолчать, — «быстрее, чем спаржа варится» было одним из любимых выражений Августа. Были и другие: «Легче, чем собаке сесть на землю», «Есть много способов содрать шкуру с кота», «Не лезь в мои дела, я не буду лезть в твои» и «Я прослежу, чтобы это было отложено до греческих календ» (все равно, что сказать: «До тех пор, когда рак свистнет»), а также «Своя рубашка ближе к телу» (имея в виду, что собственные интересы стоят на первом месте). Если его пытались подавить образованностью, Август говорил: «Возможно, редька не знает по-гречески, но я-то знаю». Уговаривая кого-нибудь терпеливо переносить неприятности, он обычно говорил: «Давай будем довольствоваться тем, что предлагает Катон». Из моих рассказов о Катоне, этом добродетельном цензоре, вам нетрудно понять, что он имел в виду. Я обратил внимание, что сам часто употребляю эти обороты, — потому, вероятно, что согласился принять его имя и пост. Самым подручным было выражение, к которому он прибегал, когда, произнося публичную речь, терял конец фразы — то же все время происходит со мной, потому что я склонен, выступая экспромтом, равно как и в исторических трудах, если я за собой не слежу, запутываться в длинных и сложных предложениях... вот как сейчас, вы заметили? Так вот, стоило Августу сбиться, он, как Александр Македонский, разрубал гордиев узел одним ударом меча, говоря: «У меня нет слов, сиятельные отцы. Что бы я ни сказал, это не будет соответствовать глубине моих чувств по данному поводу». Я выучил эту фразу наизусть, и она часто спасала меня; я вскидывал руки, закрывал глаза и возглашал: «У меня нет слов, сиятельные отцы; что бы я ни сказал, это не будет соответствовать глубине моих чувств по этому поводу». Затем, приостановившись на миг, ловил нить своих рассуждений.

Мы обожествили Ливию без дальнейших проволочек и приняли решение поставить ее статую рядом со статуей Августа в его храме. Во время церемонии обожествления младшие сыновья знатных семей устроили потешный конный бой, который входил в «троянские игры». Мы также постановили, чтобы во время больших цирковых игр бабкина колесница ехала в процессии и чтобы везли ее слоны; честь эту она разделяла только с Августом. Весталкам было приказано приносить ей жертвоприношения, а все римлянки с этого времени должны были клясться в суде

именем Августы, наподобие того как римляне мужского пола, присягая, клялись именем Августа. Что ж, я сдержал обещание.

В Риме было сравнительно спокойно. Деньги поступали в казну в достаточном количестве, и я смог отменить еще часть налогов. Советники вполне управлялись с делами, к моему полному удовлетворению. Мессалина была занята проверкой реестров римских граждан. Она обнаружила, что ряд вольноотпущенников называли себя гражданами Рима и претендовали на привилегии, на которые не имели прав. Мы решили наказать обманщиков со всей строгостью, конфисковать их имущество, а самих снова сделать рабами и отправить на починку городских дорог или уборку мусора на улицах. Я так безоговорочно доверял Мессалине, что разрешил ей пользоваться от моего имени дубликатом моей печати для всех писем и документов. Чтобы в Риме стало еще спокойней, я распустил клубы. Ночная стража была больше не в состоянии сладить с созданными за последнее время по подобию «разведчиков» Калигулы бесчисленными сообществами молодых буянов, которые всю ночь не давали честным горожанам сомкнуть глаз своими дикими дебошами. Надо сказать, что эти клубы существовали в Риме последние сто и даже больше лет и были заимствованы из Греции. В Афинах, Коринфе и других греческих городах в такие клубы входили юноши из знатных семей, то же было и в Риме до начала правления Калигулы, который завел обыкновение пускать туда актеров, профессиональных гладиаторов, возничих, музыкантов и прочую шуштуру. В результате увеличилось буйство и беспутство, большому урону подверглась недвижимая собственность — молодые шалопаи иногда даже поджигали дома — и страдали ни в чем не повинные люди, случайно оказавшиеся на улице ночью, возможно в поисках акушерки или врача или по другому столь же безотлагательному поводу. Я издал указ о роспуске этих клубов, но, зная, что одного этого будет мало, сделал единственно возможный действенный шаг, чтобы положить им конец и восстановить общественный покой и порядок: запретил использование любого жилого помещения под клуб под угрозой очень большого штрафа и объявил незаконной продажу жареного мяса и другой, только что состряпанной снеди, для поглощения ее в том доме, где ее готовили. Я включил сюда продажу крепких напитков. После захода солнца ни в одной таверне не разрешалось пить вино. Ведь именно совместные трапезы и возлияния побуждали юношей, когда у них начинало шуметь в голове, выходить на свежий воздух, петь непристойные песни, приставать к прохожим и провоцировать ночную стражу на драки, а потом разбежаться по сторонам. Если они будут вынуждены обедать дома, вряд ли станут случаться подобные вещи.

Мой указ возымел свое действие и вызвал одобрение большинства горожан: стоило мне теперь показаться на улице, отовсюду раздавались приветствия. Тиберия никогда не встречали с таким пылом, да и Калигулу тоже, разве что в первые месяцы его правления, когда он был само великодушие, сама щедрость. Но я не сознавал, как меня любят и насколько, по-видимому, римляне страшатся меня потерять, пока по Риму не пронесся слух о том, что, направляясь из города в Остию, я попал в засаду, устроенную сенаторами и их рабами, и был убит. Весь город принялся оплакивать меня самым жалостным образом: горожане ломали руки, заливались слезами, сидя на пороге своих домов, плакали навзрыд; те же, у кого возмущение перебороло горе, кинулись на рыночную площадь с криком «Гвардейцы — предатели, а сенаторы — шайка отцеубийц». Послышались громкие угрозы, предлагали даже сжечь в отмщение здание сената. Слухи эти не имели под собой ни малейшего основания, хотя в тот день я действительно отправился в Остию, чтобы проверить, в каком состоянии причал для разгрузки. (Мне сообщили, что в плохую погоду по пути от корабля до берега теряется много зерна, и я хотел посмотреть, нельзя ли этого как-то избежать. Мало в каком из больших городов такая неудобная гавань, как

римская Остия. Когда дует сильный западный ветер и гонит в устье Тибра тяжелые волны, суда с пшеницей вынуждены неделями стоять на якоре, не имея возможности разгрузиться.) Я подозреваю, что слух насчет засады пустили банкиры, хотя доказательств у меня нет: ловкий трюк с целью создать резкий спрос на наличные деньги. Все говорили, что в случае, если я вдруг умру, начнется междоусобица и на улицах будут кровавые стычки между сторонниками соперничающих претендентов на престол. Банкиры, знающие об этих опасениях, предвидели, что те владельцы недвижимого имущества, которые не хотят быть замешаны в беспорядках, естественно, поспешат покинуть город: как только сообщат о моей смерти, они тут же кинутся в банки, чтобы срочно заложить свою землю и недвижимость за наличные деньги, причем будут согласны на суммы, куда меньшие, чем стоит их собственность. Это и случилось. Положение опять спас Ирод. Он пришел к Мессалине и настоял, чтобы она немедленно издала от моего имени приказ закрыть все банки впредь до особого распоряжения. Это было сделано. Но паника прекратилась только тогда, когда я получил в Остии известие о том, что творится в городе, и послал несколько своих служащих — честных людей, слову которых горожане должны были поверить, — обратно в город, на рыночную площадь, чтобы, поднявшись на роstralную трибуну, они засвидетельствовали перед горожанами, что все это выдумка, распространенная каким-то врагом государства для достижения собственных бесчестных целей.

Я обнаружил, что приспособления для разгрузки зерна в Остии никуда не годятся. Надо сказать, что вопрос о снабжении Рима зерном вообще был очень трудным. Калигула оставил государственные зернохранилища такими же пустыми, как государственную казну. Только убедив хлебных торговцев приходить к нам с грузом в любую погоду, даже с риском для их судов, мне удалось кое-как перебиться зиму. И, разумеется, я должен был платить им втридорога за потерянные суда, погибшую команду и зерно. Я твердо решил покончить с этим раз и навсегда и сделать Остию безопасной в самую плохую погоду; поэтому я послал за строителями, чтобы они ознакомились с местом и представили мне план новой гавани.

Первые настоящие неприятности за пределами Рима начались в Египте. С молчаливого согласия Калигулы александрийские греки позволяли себе чинить любую расправу над александрийскими евреями за их отказ поклоняться ему как божеству. Грекам не разрешалось носить на улице оружие — это была прерогатива римлян, — но, несмотря на это, они ухитрялись самыми разными способами применять по отношению к евреям физическое насилие. Евреи, многие из которых были откупщики и, естественно, не пользовались особой симпатией членов греческой колонии, не таких расчетливых и не таких богатых, ежедневно подвергались унижениям и угрозам. Будучи малочисленной, чем греки, они не могли оказать должного сопротивления, а их старейшины были в тюрьме. Евреи послали известие об этом своим родичам в Палестине, Сирии и даже Парфии, сообщая, в какое трудное положение они попали и умоляя о помощи деньгами, оружием и людьми. Их единственной надеждой было вооруженное восстание. Помощь не замедлила прийти, и не малая. Мятеж был назначен на день прибытия в Египет Калигулы, когда греки в праздничных одеждах соберутся в порту приветствовать его; римский гарнизон тоже будет там в почетном карауле, и город останется без защиты. Известие о смерти Калигулы привело к тому, что восстание началось раньше времени, причем недостаточно решительно и не достигло своей цели. Но губернатор Египта испугался и срочно прислал в Рим просьбу отправить в Александрию дополнительные войска: в самом городе их было слишком мало. Однако на следующий же день он получил мое письмо, написанное ему за две недели до того, где я уведомлял его о моем восшествии на трон и приказывал освободить из тюрьмы алабарха с другими еврейскими старейшинами, а также приостановить действие религиозных эдиктов

Калигулы и его указа о преследовании евреев до тех пор, пока я не буду в состоянии уведомить его об их полной отмене. Евреи ликовали, и даже те, кто раньше не принимал участия в восстании, решили, что теперь, когда император оказал им свое благоволение, они могут с лихвой отплатить грекам. Было убито немалое число самых ярких антисемитов. Тем временем я ответил губернатору Египта, приказав ему навести в городе порядок, даже, если понадобится, пустить в ход оружие, но добавил, что, учитывая мое предыдущее письмо, которое, как я надеюсь, оказало успокаивающее действие, я не считаю нужным слать подкрепление. Возможно, поступки евреев были спровоцированы, и теперь, будучи разумными людьми и зная, что их обиды будут постепенно заглажены, они прекратят всякие враждебные действия.

Это положило конец беспорядкам; и еще через несколько дней, посоветовавшись с сенатом, я окончательно отменил декреты Калигулы и вернул евреям все привилегии, которыми они пользовались при Августе. Но некоторые молодые евреи, все еще страдавшие от чувства несправедливости, устраивали шествия по улицам Александрии, неся знамена с надписями: «Лишить наших преследователей всех гражданских прав», что было нелепо, или: «Равные права всем евреям империи», что было далеко не так нелепо. Я издал эдикт следующего содержания:

«Тиберий Клавдий Нерон Цезарь Август Германик, великий понтифик, защитник народа, консул, избранный на второй срок, выпускает следующий декрет:

Сим я исполняю с охотой ходатайство царя Агриппы и его брата, царя Ирода, выдающихся людей, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, о том, чтобы я даровал всем евреям, проживающим в Римской империи, такие же права и привилегии, какие я даровал, вернее вернул, евреям Александрии. Я оказываю им эту милость, не только чтобы удовлетворить просьбу вышеназванных лиц, но и потому, что считаю евреев достойными этих прав и привилегий: они всегда были верными друзьями Римской республики. Однако я считаю несправедливым лишить (как предлагалось) какой бы то ни было греческий город прав и привилегий, дарованных ему Августом (ныне обожествленным), так же как было несправедливо лишить еврейскую колонию в Александрии — что сделал мой предшественник — всех ее прав и привилегий. Что справедливо для евреев, справедливо для греков, и наоборот. Посему я решил дозволить всем евреям империи без какой-либо помехи соблюдать обычаи их праотцов, если это не будет во вред Риму. В то же время я требую, чтобы они не злоупотребляли оказанной им милостью, выказывая презрение к верованиям и обычаям других народов: пусть удовольствуются возможностью соблюдать свой собственный закон. По моему соизволению решение это должно быть высечено на каменных плитах под ответственность правителей всех царств, городов, колоний и общин как в Италии, так и за ее пределами, независимо от того, кто там правит — римский губернатор или местный властитель, находящийся в союзе с Римом; плиты эти должны быть выставлены на всеобщее обозрение на видном месте, на такой высоте, чтобы слова были хорошо видны с земли, и стоять там целый месяц, чтобы их прочитали все жители до одного».

Как то раз в личной беседе с Иродом я сказал:

— Все дело в том, что ум евреев и ум греков устроен по-разному и конфликты между ними неизбежны. Евреи — серьезные и гордые, греки — тщеславны и насмешливы, евреи привержены к старому, неугомонные греки вечно ищут нового, евреи независимы и самонадеянны, греки держат нос по ветру и легко приспособляются. Я могу утверждать, что мы, римляне, понимаем греков — мы

знаем их потенциальные возможности и их пределы и делаем из греков полезных слуг, но я никогда не возьмусь утверждать, будто мы понимаем евреев. Мы победили их благодаря превосходящим военным силам, но мы отнюдь не чувствуем себя их владыками. Мы сознаем, что они сохраняют древние добродетели своего народа, а мы свои древние добродетели потеряли, и поэтому нам перед ними стыдно.

Ирод спросил:

— Тебе знакома еврейская версия Девкалионова потопа?

Еврейского Девкалиона звали Ной. У него было три женатых сына, которые, когда потоп кончился, вновь населили землю. Старшего сына звали Сим, среднего — Хам и младшего — Иафет. Хам был наказан за то, что насмеялся над отцом, когда тот однажды напился и сорвал с себя одежды, — он был обречен служить своим двум братьям, которые вели себя более пристойно. Хам — родоначальник всех африканских народов, Иафет — родоначальник греков и италийцев, а Сим — родоначальник евреев, сирийцев, финикийцев, арабов, идумеев, халдеев, ассирийцев и родственных им народов. Существует очень старое пророчество, где говорится, что стоит Симу и Иафету оказаться под одной крышей как начинаются пререкания и стычки. И так оно и есть. Александрия — яркий тому пример. Если бы из всей Палестины изгнать греков, которым здесь не место, было бы куда легче ею управлять. То же можно сказать о Сирии.

— Легче? Кому? Только не римскому губернатору, — улыбнулся я. — Римляне произошли не от Симы и рассчитывают на поддержку греков. Вам бы пришлось тогда изгнать и нас тоже. Но я с тобой согласен в том, что лучше бы Рим вообще не завоевывал Востока. Было бы куда разумней ограничиться потомками Иафета. Александр и Помпей — вот кто в ответе за это. Оба получили титул «великий» за свои восточные завоевания, но я не вижу, чтобы это пошло во благо их странам.

— Все уладится, цезарь, в свое время, — задумчиво сказал Ирод, — если у нас хватит терпения.

Затем я рассказал Ироду, что собираюсь помолвить свою дочь Антонию, которая скоро достигнет брачного возраста, с молодым Помпеем, потомком Помпея Великого. Калигула отобрал у молодого Помпея этот титул, сказав, что он слишком великолепен для мальчика его лет, да и к тому же во всем мире теперь есть лишь один «Великий». Незадолго до нашего разговора я вернул Помпею этот титул так же, как все прочие титулы, забранные Калигулой у знатных римских родов, а вместе с ними и семейные отличия, вроде ожерелья Торкватов и Цинциннатова золотого завитка. Ирод не высказал никаких взглядов по этому вопросу. Я и предположить не мог, что будущие политические отношения между Симом и Иафетом настолько занимали тогда его ум, что он не мог думать ни о чем другом.

Глава IX

Когда Ирод прочно посадил меня на трон и указал, каким путем идти дальше, — уверен, что именно так он рассматривал всю ситуацию, — и получил взамен ряд милостей, он сказал, что должен наконец покинуть Рим, если только у меня нет для него действительно важного дела, с которым не справится никто другой. Я не мог придумать предлога, чтобы его задержать, к тому же чувствовал бы себя обязанным возмещать все новыми землями каждый месяц, который Ирод провел со мной, поэтому после роскошного пира я его отпустил. Должен признаться, что в тот вечер мы были достаточно пьяны, и я ронял слезы при мысли о его отъезде. Мы вспоминали дни своей совместной учебы, и когда никто, по-видимому, не мог нас услышать, я перегнулся через стол и обратился к Ироду, назвав его старым прозвищем.

— Разбойник, — тихо сказал я, — я всегда думал, что ты будешь царем, но если

бы кто-нибудь сказал мне, что я стану твоим императором, я назвал бы того сумасшедшим.

— Мартышечка, — ответил он, тоже понизив голос. — Ты — дурак, как я всегда говорил тебе. Но дуракам — счастье. И счастье обычно не изменяет им. Ты будешь богом на Олимпе, а я всего лишь мертвым героем; да-да, не красней, так оно именно и будет, хотя нет сомнения в том, кто из нас умней.

Как приятно было слышать, что Ирод снова разговаривает со мной в своей обычной манере. Последние три месяца он обращался ко мне самым официальным образом, подчеркивая разделявшую нас дистанцию, ни разу не забыв назвать меня Цезарь Август и выразить глубочайший восторг по поводу любого моего мнения, даже если он, как ни прискорбно, был вынужден не согласиться с ним. «Мартышечка» (*Cercopithecion*) было прозвище, данное мне Афинодором. Я попросил Ирода, когда он будет писать мне из Палестины, класть в конверт вместе с официальным письмом, подписанным всеми его новыми титулами, неофициальное, с подписью «Разбойник», и сообщать в нем все новости как частное лицо. Он согласился при условии, что я буду отвечать ему тем же и подписываться «*Cercopithecion*». Мы скрепили договор рукопожатием, и тут Ирод пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Мартышечка, хочешь получить еще один из моих превосходных плутовских советов? И причем даром на этот раз.

— Будь так добр, дорогой Разбойник.

— Мой совет тебе, старина, таков: никогда никому не доверяй. Не доверяй самому преданному вольноотпущеннику, закадычному другу, любимейшему ребенку, любезной сердцу жене или союзнику, скрепившему союз с тобой самыми священными клятвами. Полагайся только на самого себя. Или хотя бы на свое дурацкое счастье, если чувствуешь в глубине души, что и на самого себя положиться не можешь.

Тон его был так серьезен, что развеял винные пары, туманившие мне голову, и пробудил мое внимание.

— Почему ты так говоришь, Ирод? — резко спросил я. — Разве ты не доверяешь Киприде? Не доверяешь своему другу Силе? Не доверяешь молодому Агриппе, своему сыну? Не доверяешь Тавмасту и своему вольноотпущеннику Марсию, который раздобыл для тебя в Акре деньги, а потом носил еду в тюрьму? Не доверяешь мне, твоему союзнику? Почему ты так сказал, Ирод? Против кого ты меня предостерегаешь?

Ирод засмеялся глупым смехом:

— Не обращай на меня внимания, Мартышечка. Я пьян, пьян в стельку. А когда я пьян, я болтаю самые невероятные вещи. Тот тип, что утверждал, будто истина в вине, видно хорошо налакался, когда утверждал это. Знаешь, что на днях я сказал своему мажордому? «Послушай, Тавмаст, я не желаю, чтобы за моим столом подавали молочного поросенка, фаршированного трюфелями и орехами. Слышишь?» «Очень хорошо, ваше величество, больше это не повторится», — ответил он. Однако если есть на всем свете блюдо, которое я предпочитаю всем другим, так это жареный молочный поросенок, фаршированный трюфелями и орехами. Что это я тебе только что наболтал? Не доверять союзникам? Смешно, да? Я на минуту забыл, что мы с тобой тоже союзники.

Поэтому я выбросил его слова из головы, но снова вспомнил о них на следующий день, когда, стоя у окна, смотрел, как коляска Ирода удаляется по направлению к Брундизию; я спрашивал себя, что он имел в виду, и у меня стало тревожно на душе.

Ирод был не единственным царем, присутствовавшим на этом прощальном пиру; там был также его брат Ирод Поллион, царь Халкиды, и Антиох, которому я вернул его царство Коммагену на северо-востоке от Сирии, отобранное у него

Калигулой, и Митридат, которого я сделал царем Крыма; кроме того, там был царь Малой Армении и царь Осроены; оба они все эти годы били баклуши при дворе Калигулы, полагая, что безопаснее жить в Риме, чем в собственных владениях, — меньше шансов вызвать подозрение, будто они злоумышляют против императора. Я отправил их всем скопом по домам.

Пожалуй, самым правильным будет продолжить сейчас историю Ирода Агриппы и довести отчет о том, что произошло в Александрии до логического конца прежде, чем вернуться к описанию событий, происходивших в Риме, и хотя бы вскользь упомянуть о том, что случилось на Рейне, в Марокко и на других границах. Ирод вернулся в Палестину с еще большей помпой и славой, чем в прошлый раз. Прибыв в Иерусалим, он снял со стены храмовой сокровищницы железную цепь, которую повесил там раньше в дар Иегове, и заменил ее золотой, пожалованной ему Калигулой; теперь, когда Калигула умер, он мог это сделать, не вызывая обиды. Первосвященник приветствовал его с глубоким уважением, но после того, как они обменялись положенными любезностями, позволил себе попенять Ироду на то, что тот отдал старшую дочь за своего брата: ничего хорошего, сказал он, из этого не выйдет. Ирод был не такой человек, чтобы выслушивать упреки какого-то священнослужителя, даже самого праведного, какой бы пост тот ни занимал. Он спросил первосвященника — звали его Ионафан, — согласен ли тот с тем, что он, царь Агриппа, сослужил хорошую службу богу и евреям, отговорив Калигулу осквернять храм и уговорив меня подтвердить законность всех религиозных привилегий александрийских евреев и даровать такие же права всем евреям, проживающим в империи. Ионафан отвечал, что он поступил превосходно. Тогда Ирод рассказал ему притчу. Однажды богач увидел на обочине дороги нищего, который простирали к нему руки, моля подать ему милостыню и сказав при этом, что они будто бы в родстве. Богач ответил: «Мне жаль тебя, нищий, и я сделаю для тебя все, что смогу, раз мы в родстве. Если ты завтра придешь в банк, то увидишь, что тебя ждут там десять мешков с золотом, в каждом — две тысячи золотых в местной монете». «Если ты не обманываешь меня, — сказал нищий, — да вознаградит тебя Господь». Нищий пришел в банк, и действительно ему вручили мешки с золотом. Как он был рад, как благодарен! Но один из его родных братьев, священнослужитель, который никак и ничем не помог ему, когда он был в беде, на следующий день явился в дом богача. «Это что — шутка? — возмущенно спросил он. — Ты поклялся дать своему бедному родичу двести тысяч золотых в государственной монете, и он поверил тебе, а ты его обманул. Я пришел к нему, чтобы помочь пересчитать деньги, и что же? В первом же мешке я нашел парфянский золотой! Ты же не станешь утверждать, будто парфянские деньги у нас в ходу. Честно это — сыграть такую шутку над бедным человеком?»

Но Ионафан ничуть не смутился. Он сказал Ироду, что со стороны богача было глупо портить свой дар, если он это действительно сделал, включив в него парфянский золотой. И добавил, что Ирод не должен забывать: даже величайшие цари — лишь орудия провидения и получают от Бога награду в зависимости от того, как преданно они Ему служат.

— А первосвященники? — спросил Ирод.

— Первосвященники достаточно награждены за свою преданность Ему, которая выражается, в частности, в порицании ими всех евреев, которые плохо исполняют свои обязанности перед Богом; их награда — право, надев священное облачение, раз в году входить в Святая Святых, где Он пребывает сам по себе, в неизмеримой Силе и Славе.

— Прекрасно, — сказал Ирод, — если я орудие в Его руках, как ты говоришь, я смещаю тебя с твоей должности. Кто-нибудь другой наденет священное облачение на Пасху в этом году. Это будет тот, кто разбирается, когда можно, а когда нельзя

докучать упреками.

Ионафана сместили, и Ирод назначил нового первосвященника, который через некоторое время тоже вызвал неудовольствие Ирода, заявив, что не положено самаритянину быть царским шталмейстером, у царя евреев должны быть в услужении только евреи. Самаритяне не произошли от Авраамова семени, они самозванцы. Шталмейстер, о котором шла речь, был не кто иной, как Сила, и ради него Ирод сместил первосвященника и предложил этот пост тому же Ионафану. Ионафан отказался, хотя и выразил благодарность, он сказал, что ему было достаточно один раз войти в Святая Святых и что вторичное посвящение в сан не будет столь же священной церемонией, как первое. Если Бог дал Ироду власть его сместить, это, верно, было в наказание за гордыню, и если сейчас Бог снизошел к нему, он ликует, но не будет больше рисковать, а то вновь Его прогневит. Поэтому он хотел бы предложить на пост первосвященника брата своего Матиаса — такого богобоязненного и благочестивого человека не найти во всем Иерусалиме. Ирод согласился на это.

Ирод устроил свою резиденцию в Иерусалиме в той его части, которая называлась Безета, или Новый Город, что крайне меня удивило, ведь у него было теперь несколько прекрасных городов, построенных в роскошном греко-римском стиле, любой из которых он мог сделать своей столицей. Время от времени Ирод наносил в эти города официальные визиты и обходился весьма любезно с их обитателями, но единственный город, говорил он, где должен жить и править еврейский царь — это Иерусалим. Он пользовался огромной популярностью у жителей Иерусалима не только из-за даров в храм и наведения красоты в городе, но и из-за отмены налога на недвижимую собственность, что сократило его доходы на сто тысяч золотых ежегодно. Однако даже за вычетом этих денег Ирод получал в целом за год полмиллиона золотых. Еще больше меня удивляло то, что Ирод каждый день ходил молиться в храм и очень строго соблюдал закон, — я прекрасно помнил, с каким презрением он отзывался об «этом святоше, распеваящем псалмы», — его благочестивом брате Аристоклесе, а судя по его частным письмам, которые он всегда вкладывал в официальные депеши, не было видно, чтобы в Ироде произошла духовная перемена.

Одно письмо, которое он мне прислал, почти целиком было посвящено Силе. Вот что он писал:

«Мартышечка, мой старый друг, хочу рассказать тебе на редкость печальную и на редкость смешную историю; она касается Силы, этого „верного Ахата“ твоего друга разбойника Ирода Агриппы. Высокоученый Мартышечка, не можешь ли ты порыться в своем огромном запасе редких исторических сведений и сказать, докучал ли твоему благочестивому предку Энею его верный Ахат до такой степени, до какой Сила докучает мне? Есть ли что-нибудь по этому поводу у комментаторов Вергилия? Дело в том, что я имел глупость назначить Силу своим шталмейстером, как я, по-моему, уже тебе писал. Первосвященник не одобрил это назначение, так как Сила самаритянин; самаритяне в свое время разгневали иерусалимских евреев, вернувшихся из вавилонского плена, разрушая за ночь стены, которые те строили днем; евреи им этого не простили. Мне пришлось ради Силы сместить первосвященника. Сила с каждым днем все больше важничал и давал все больше доказательств своей пресловутой прямоты: что, мол, у него на уме, то и на языке. Смещение первосвященника побудило его напустить на себя еще большую важность. Поверь моему слову, иногда вновь прибывшие ко двору не могли решить, кто из нас царь, а кто — всего лишь шталмейстер. Однако стоило мне намекнуть, что он злоупотребляет моей дружбой, он сразу же мрачнел, и моя милая Киприда упрекала меня за бессердечие и напоминала обо всем, что он сделал для нас. Мне

приходилось снова угождать ему и чуть ли не просить прощения за неблагодарность.

Худшей его привычкой было без конца рассказывать о моих прошлых бедах — причем в смешанном обществе — и приводить самые неловкие для меня подробности того, как он спас меня от той или иной опасности, каким верным другом мне был, какими превосходными его советами я пренебрег, а сам он, мол, никогда не искал никакой другой награды, кроме моей дружбы в дождь и ведро и бурю — таков уж у самаритян характер.

В конце концов он перегнул палку. Я находился в Тивериаде на Галилейском озере, где некогда был судьей при Антипе, и пригласил на пир важнейших людей Сидона. Ты помнишь о моей размолвке с сидонцами, когда я был советчиком Флакка в Антиохии? Можешь не сомневаться, так ужасно Сила себя никогда не вел, да еще на такой важной политической встрече. Первое, что он сказал Гасдрубалу, начальнику порта в Сидоне, человеку очень влиятельному в Финикии, было: „Мне знакомо твое лицо. Тебя не Гасдрубал ли зовут? Да, конечно, ты был в числе делегации, которая прибыла к царю Агриппе девять лет назад с просьбой использовать его влияние на Флакка в пользу Сидона во время спора с Дамаском насчет границ. Я хорошо помню, что советовал Ироду не брать ваших подарков, так как принимать взятки сразу у обеих сторон опасно и он наверняка попадет в беду. Но он, как всегда, только смеялся надо мной“.

Гасдрубал — человек тактичный, поэтому он сказал, что не может припомнить такого случая; он уверен, что Сила ошибается. Но Силу разве остановишь? „Неужели у тебя такая плохая память, — настаивал он. — Да ведь именно из-за этого Ироду пришлось бежать из Антиохии под видом погонщика верблюдов — я достал ему все, что нужно, — оставив жену и детей. Мне пришлось тайком посадить их на корабль, чтобы увезти из города, а он лишь кружным путем через сирийскую пустыню добрался до Идумеи. Он ехал на украденном верблюде. Нет, если ты хочешь спросить меня насчет верблюда, — я не крал его, его украл сам царь Ирод Агриппа“.

Меня бросало в жар и в холод, но отрицать основные факты этой истории было бесполезно. Я сделал все возможное, чтобы замаскировать их веселым рассказом о том, как однажды во мне выиграла кровь моих предков-кочевников, мне надоела цивилизованная жизнь в Антиохии и я не мог устоять перед побуждением покинуть город и пересечь необъятную пустыню, чтобы повидаться с родичами в Идумее. Зная, что Флакк попытается меня задержать — он не мог обойтись без моей помощи в политических вопросах, — я был вынужден тайно покинуть город и договорился с Силой, что воссоединюсь с семьей в порту Антедона, когда мои приключения подойдут к концу. Они оказались на редкость увлекательными. А в Антедоне меня встретил императорский курьер — он не смог найти меня в Антиохии — с письмом от императора Тиберия, где тот приглашал меня в Рим в качестве советчика, чтобы мои таланты не пропадали зря в провинции.

Гасдрубал слушал с вежливым интересом, восхищаясь моей изобретательностью, ведь он знал эту историю не хуже, чем Сила. Когда я кончил, он спросил: „Могу я узнать у вашего величества, было ли это ваше первое посещение Эдома? Насколько мне известно, идумеи — благородный, гостеприимный и храбрый народ и относятся к роскоши и легкомыслию с непримиримым презрением, которым мне легче восхищаться, чем брать его за образец“.

Но этому идиоту Силе обязательно надо было снова вмешаться в разговор. „О нет, Гасдрубал, это не было первым посещением Идумеи. Я был единственным — не считая госпожи Киприды и двух старших детей, — кто сопровождал царя Ирода во время первого посещения. Это было в тот год, когда убили сына Тиберия. Царю Ироду из-за этого пришлось бежать от римских кредиторов, а Идумея была единственным безопасным убежищем.

Ирод влез постепенно в огромные долги, несмотря на мои предупреждения, что рано или поздно наступит день расплаты. Сказать по правде, он терпеть не мог Идумею и задумал покончить с собой, но госпожа Киприда спасла его: она поступилась своей гордостью и написала смиренное письмо своей невестке Иродиаде, с которой перед тем поссорилась. Царя Ирода пригласили после того в Галилею, и Антипа назначил его судьей низшего суда в этом самом городе. Его годовой доход был всего семьсот золотых“.

Только Гасдрубал открыл рот, чтобы выразить удивление и недоверие, как на выручку мне неожиданно пришла Киприда. Она ничего не имела против рассказней Силы, когда речь шла обо мне, но когда он извлек на свет стародавнюю историю с ее письмом Иродиаде, это было совсем иное дело. „Сила, — сказала она, — ты слишком много говоришь, и большая часть из того, что ты сказал, не имеет смысла и далека от правды. Ты очень меня обяжешь, если впредь придержишь язык“.

Сила вспыхнул до корней волос и снова обратился к Гасдрубалу. „Такова уж моя самаритянская натура — я всегда режу правду-матку в глаза, даже если она неприятна. Да, у царя Ирода было много злоключений, прежде чем он получил свое теперешнее царство. Некоторых из них он судя по всему не стыдится — например, он своими руками повесил на стену в сокровищнице иерусалимского храма, железную цепь, в которую его заковали по приказу императора Тиберия. Его заключили в тюрьму за государственную измену. Я много раз предупреждал его не болтать с Гаем Калигулой при кучере, но он, как всегда, пропустил мои слова мимо ушей. Потом Гай Калигула дал ему золотую цепь — точь-в-точь как первая, и на днях царь Ирод повесил ее в сокровищнице, а железную забрал; вероятно, она недостаточно блестела“. Я поймал взгляд Киприды, и мы понимающе переглянулись. Я велел Тавмасту пойти наверх в мою спальню, взять железную цепь — она висела на стене напротив кровати — и принести ее к нам. Он выполнил это, и я пустил эту диковину по рукам; сидонцы с трудом могли скрыть замешательство. Затем я подозвал к себе Силу. „Сила, — сказал я, — я хочу оказать тебе особую честь. В знак признания твоих заслуг передо мной и моей семьей и за ту откровенность, с которой ты неизменно говоришь о моих делах даже в присутствии именитых гостей, я награждаю тебя орденом Железной Цепи, да продлятся твои годы, чтобы носить его. Ты и я — единственные, кто имеет этот орден, и я с радостью отдаю эту регалию в твое полное распоряжение. Тавмаст, надень цепь на этого человека и отведи его в тюрьму“.

Сила так поразился, что не сказал ни слова и был уведен из зала, как агнец на заклание. Самое забавное было то, что не отказываясь он так решительно от римского гражданства, когда я предлагал его исхлопотать, я бы не смог сыграть с ним эту штуку. Он бы обратился за помощью к тебе, и ты, при своем мягкосердечии, без сомнения, простил бы его. Ну, что говорить, я был вынужден сделать это, иначе сидонцы перестали бы меня уважать. А так это произвело на них, по-видимому, самое благоприятное впечатление и конец пиршества прошел с большим успехом. Это произошло несколько месяцев назад, и все это время я держал его в тюрьме, чтобы дать ему урок — Киприда за него не просила, — намереваясь, однако, выпустить его накануне праздника в честь моего дня рождения, который был вчера. Я послал в Тивериаду Тавмаста, чтобы он навестил Силу и сказал ему от меня: „Некогда я был посланцем надежды и утешения, встретившим нашего милостивого господина царя Ирода Агриппу, когда он входил в тюремные ворота в Мизене; сейчас я здесь, Сила, посланный принести надежду и утешение тебе. Знак — этот кувшин вина. Наш милостивый господин приглашает тебя на пир, который состоится через три дня в Иерусалиме и разрешает явиться, если ты этого хочешь, без ордена, который он пожаловал тебе. На, выпей вина. И мой совет тебе, друг Сила, никогда не напоминать людям об услугах, оказанных тобой в прошлом. Если

это благодарные и благородные люди, им не нужны напоминания, а если неблагодарные и неблагородные, напоминать им о прошлом — пустое дело“.

Все эти месяцы Сила мрачно размышлял о нанесенных ему обидах и горел желанием рассказать о них кому-нибудь, кроме тюремщика. Он сказал Тавмасту: „Вот что, значит, просил сообщить мне царь Ирод, да? И я должен быть ему благодарен, не так ли? А какую еще милость он намерен мне оказать? Может быть, пожаловать мне орден Кнута? Неужели он ждет, что те страдания, которые я претерпел, заключенный в эту одинокую темницу, научат меня держать язык за зубами, если я сочту нужным сказать правду, чтобы усовестить его лживых советников и льстивых придворных? Передай царю, что мой дух не сломлен, и если он освободит меня, я отпраздную это тем, что стану высказываться еще откровеннее и резче; я расскажу всему народу, сколько мы вместе испытали злоключений и как мне удавалось в конце концов спасти положение, хотя он чуть не губил нас обоих, отказываясь следовать моим советам, и как щедро он меня за все это наградил железной цепью и тюрьмой. Мой дух после моей смерти этого не забудет, как не забудет все мои славные деяния ради него“. „Выпей вино“, — сказал Тавмаст. Но Сила отказался. Тавмаст пытался урезонить безумца, но он не желал пить вино и требовал, чтобы мне было передано все, что он сказал. Поэтому Сила по-прежнему в тюрьме, и я не вижу возможности его освободить, с чем согласна и Киприда.

Меня позабавила эта история в Дориде. Ты помнишь, как я сказал тебе на прощальном пиру, когда мы оба так наладились и были так откровенны друг с другом, как два самаритянина, что тебя обожествят, моя Мартышечка; и не старайся этому помешать. А насчет молочного поросенка, фаршированного трюфелями и орехами, я, кажется, знаю, что я имел в виду. Я теперь такой примерный иудей, что никогда, никогда, ни по какому поводу не беру в рот нечистой пищи — по крайней мере если я это делаю, об этом знают лишь я, мой повар-араб да луна, когда она заглядывает ко мне в окна. Я воздерживаюсь от свинины, даже когда гощу у своих соседей финикийцев или обедаю с моими подданными греками. Когда будешь писать, сообщи, что нового у старой лисы Вителлия и этих злоумышленников и интриганов Азиатика, Виниция и Винициана. Я засвидетельствовал — и самым велеречивым слогом — свое почтение твоей прелестной Мессалине в своем официальном письме. Поэтому до свиданья и по-прежнему думай хорошо (лучше, чем он заслуживает) о своем товарище детства Разбойнике».

Сейчас я объясню насчет этой «истории в Дориде». Несмотря на мой эдикт, несколько молодых греков, жителей города Дорида в Сирии, достали где-то мою статую и, ворвавшись в еврейскую синагогу, водрузили ее в южной части помещения, как бы для поклонения. Местные евреи сразу же обратились к Ироду, своему естественному защитнику, а Ирод лично отправился в Антиохию к Петронию, чтобы выразить свой протест. Петроний написал судьям Дорида очень сердитое письмо, приказывая арестовать виновных и без промедления отправить к нему, чтобы он мог их наказать. Петроний указывал, что они совершили двойное преступление — оскорбили не только евреев, осквернив синагогу, где теперь нельзя совершать богослужение, но и меня, бесстыдным образом нарушив мой эдикт о веротерпимости. В его письме была одна любопытная фраза: что подходящее место для моей статуи не еврейская синагога, а один из моих собственных храмов. Я полагаю, что он думал, будто за это время я уступил уговорам сената и, с его стороны, будет любезно предвосхитить мое обожествление. Но я был тверд и наотрез отказывался стать богом.

Нетрудно себе представить, что александрийские греки лезли вон из кожи,

желая заслужить мое благоволение. Они прислали депутацию, чтобы поздравить меня с восшествием на престол и предложить, что они построят за свой счет и посвятят мне новый храм или, если я это отвергну, построят и укомплектуют библиотеку италийских исследований и посвятят ее мне как самому выдающемуся из современных историков. Они также попросили меня разрешить ежегодно в мой день рождения устраивать публичные чтения моих трудов «История Карфагена» и «История Этрурии». Каждый из этих трудов будет прочитан от корки до корки сменяющими друг друга высококвалифицированными чтецами, первый — в старой библиотеке, второй — в новой. Они знали, что это не может мне не польстить. Принимая их почетные предложения, я чувствовал себя в точности, как чувствовали бы себя родители мертворожденных близнецов, если бы спустя какое-то время после родов маленькие холодные трупы, лежащие где-нибудь в углу в корзинке в ожидании похорон, вдруг неожиданно порозовели, чихнули и в один голос принялись реветь. В конце концов, я потратил на эти книги более двадцати лучших лет моей жизни, взял на себя нелегкий труд изучить различные языки, нужные мне, чтобы собрать и проверить факты; и, насколько мне было известно, ни один человек до сих пор не подумал их прочитать. Когда я говорю «ни один человек», я должен сделать два исключения. Ирод читал «Историю Карфагена» — Этрурия его не интересовала — и сказал, что очень много узнал из нее о характере финикийцев, но что, по его мнению, мало кто проявит к этой книге такой же интерес. «В этой колбасе слишком много мяса, — сказал он, — и недостаточно специй и чеснока». Он имел в виду, что там было слишком много сведений и недостаточно легкого чтения. Он говорил мне все это, когда я еще был частным лицом, так что тут и речи нет о лести. Единственной, кто кроме моих секретарей и помощников по изысканию прочитал обе книги, была Кальпурния. Она сказала, что предпочитает хорошую книгу плохой пьесе, мои исторические книги — многим хорошим пьесам, которые она видела, а книгу про этрусков — книге про Карфаген, потому что там говорится о знакомых ей местах. Да, чтобы не забыть: когда я сделался императором, я купил Кальпурнии прекрасную виллу возле Остии, дал ей приличное годовое содержание и штат хорошо обученных рабов. Но она никогда не приходила во дворец, и я тоже не посещал ее из страха вызвать ревность Мессалины. Жила она вместе с близкой подругой по имени Клеопатра, родом из Александрии, тоже в прошлом проституткой; но теперь, когда у Кальпурнии было более чем достаточно денег, обе они расстались с этой профессией. Они были спокойные девушки.

А я — я был, как я уже говорил, очень горд предложением александрийцев, ведь, в конце концов, Александрия — культурная столица мира и не кого-нибудь, а меня ее первые граждане называли выдающимся современным историком. Я очень жалел, что не располагаю временем, чтобы поехать в Александрию и присутствовать хотя бы на одном из чтений. В тот день, когда у меня побывало посольство, я вызвал к себе профессионального чтеца и попросил его прочитать мне без свидетелей несколько отрывков из той и другой книги. Он читал с таким выражением, так четко произносил слова, что, забыв на секунду, что я автор этих отрывков, я принялся громко ему рукоплескать.

Глава X

Моей ближайшей задачей за пределами Рима было навести порядок на Рейне. К концу правления Тиберия северные германцы, воодушевленные вестями о его бездейственности, стали делать набеги на противоположную сторону реки в той части территории, которую мы называли Нижней провинцией. Небольшие группки германцев переплывали ночью Рейн в неохраемых местах, нападали на одинокие дома и деревушки, убивали жителей и захватывали золото и другие ценности,

которые могли найти, а на рассвете уплывали обратно. Остановить это было бы нелегко, даже если бы солдаты все время были начеку, чего, во всяком случае на севере, нет, потому что Рейн — река невероятной длины и охранять ее исключительно трудно. Единственной эффективной мерой против набегов был бы ответный удар, но Тиберий не разрешал устраивать карательные экспедиции в широких масштабах. Он писал: «Если вам докучают шершни, сожгите их гнездо, но если это только москиты, не обращайтесь на них внимания». Что до Верхней провинции, то следует вспомнить, что Калигула во время поездки во Францию послал за Гетуликом, командиром четырех полков, расквартированных в Верхней провинции, и казнил его по необоснованному обвинению в заговоре, затем пересек Рейн во главе огромной армии, прошел несколько миль вглубь, не встречая сопротивления германцев, но вдруг испугался и бросился обратно. Человек, который занял место Гетулика, был командир французских вспомогательных войск, стоявших в Лионе. Звали его Гальба. Он был одним из ставленников Ливии. Она начала продвигать его по службе, когда он был еще совсем молод, и он вполне оправдал ее доверие. Отважный воин и проникательный судья, Гальба трудился не покладая рук и имел репутацию образцового отца и мужа. Он достиг консульского возраста за шесть лет до того. В своем завещании Ливия оставила ему пятьсот тысяч золотых. Однако Тиберий, выступавший душеприказчиком Ливии, заявил, что это, должно быть, ошибка. Сумма была написана цифрами, а не словами, и, конечно же, завещательница имела в виду не пятьсот, а пятьдесят тысяч. Поскольку Тиберий не выплатил никому из тех, кому Ливия отказала деньги, ни одного золотого, в то время это не имело значения, но когда ему на смену пришел Калигула и расплатился со всеми сполна, то, что Калигула не знал об обмане Тиберия, оказалось для Гальбы весьма неудачным. Однако Гальба не настаивал, чтобы ему отдали всю положенную сумму, и, возможно, это оказалось к лучшему. В противном случае Калигула, у которого вскоре кончились деньги, не только не дал бы Гальбе этот важный пост на Рейне, но и, кто знает, обвинил бы его в том, что он участвовал в заговоре Гетулика.

То, как Калигула выбрал на этот пост Гальбу, довольно забавная история. Однажды он назначил в Лионе большой парад и, когда он закончился, призвал к себе всех офицеров, принимавших в нем участие, и прочитал им нотацию насчет необходимости держаться в хорошей физической форме.

— Римский солдат, — сказал он, — должен быть жестким, как подошва, и крепким, как железо, и офицеры обязаны подавать своим солдатам пример. Интересно, сколько из вас выдержат пустяковое испытание, которое я вам приготовил. Пошли, друзья, устроим небольшую пробежку в направлении Аутуна.

Он сидел в легкой коляске, запряженной двумя резвыми французскими лошадками. Кучер взмахнул кнутом, и они снялись с места. Вспотевшие после парада офицеры в тяжелой амуниции, с тяжелым оружием кинулись следом за ним. Калигула держался достаточно близко, чтобы они не могли отстать и скрыться из виду, но и не давал лошадям идти шагом, чтобы офицеры не последовали их примеру. Коляска ехала все дальше и дальше. Офицеры растянулись позади вереницей. Многие потеряли сознание, один умер на бегу. Когда началась двадцатая миля, Калигула наконец остановил лошадей. Только один человек выдержал испытание — Гальба. Калигула сказал:

— Что ты предпочитаешь, генерал, — бежать бегом обратно или ехать со мной рядом?

Гальба, хоть и запыхался, смог ответить, что, будучи солдатом, не имеет права выбора, он привык выполнять приказ. Калигула разрешил ему вернуться в Лион пешком, а на следующий день дал ему его теперешнее назначение. Агриппинилла, встретив Гальбу в Лионе, весьма им заинтересовалась; она захотела выйти за него замуж, хотя он уже был женат на женщине из рода Лепидов. Гальба, вполне

довольный своей женой, держался по отношению к Агриппинилле так холодно, как позволяла его преданность Калигуле. Агриппинилла не прекращала обхаживать его и однажды на приеме, устроенном тещей Гальбы, куда Агриппинилла явилась без приглашения, разразился скандал. Перед всеми собравшимися там знатными гостями теща Гальбы назвала ее в глаза бесстыдной и похотливой шлюхой и даже ударила кулаком по лицу. Дело обернулось бы плохо для Гальбы, если бы на следующий день Калигула не решил, что Агриппинилла была замешана в заговоре на его жизнь и не сослал ее, о чем я уже рассказывал.

Когда в страхе перед германцами, якобы перешедшими Рейн (досужая выдумка солдат — для смеха), Калигула спасся бегством в Рим, все военные силы были сосредоточены в одном месте. Большие участки реки были оставлены без охраны. Германцы сразу же об этом прослышали, так же как и про трусость Калигулы. Они воспользовались возможностью пересечь Рейн крупными силами и закрепиться на нашей территории, где причинили много вреда. Пересекали реку германцы из племени хаттов, что значит «горные коты». Кот — эмблема их племени. У них есть крепости в горной части страны, между Рейном и Верхним Везером. Мой брат Германик всегда отдавал им должное, считая лучшими воинами в Германии. В бою они держат строй, подчиняются, почти как римляне, приказам командиров, ночью строят укрепления и выставляют дозоры — предосторожность, которую редко применяют прочие племена.

Гальбе понадобилось несколько месяцев, чтобы вытеснить их с захваченной территории и прогнать обратно за Рейн, и это стоило ему значительных потерь в живой силе.

Гальба был сторонник строгой дисциплины. Гетулик же, хотя и способный командир, отличался терпимостью и мягкостью характера. В день, когда Гальба приехал в Майнц, чтобы принять командование, солдаты смотрели игры, устроенные в честь Калигулы. «Охотник» очень ловко справился с леопардом, и солдаты принялись дружно хлопать. Первые слова, которые Гальба произнес, войдя в генеральскую ложу, были следующими:

— Солдаты, держите руки под плащами. Теперь здесь команду я, а я не потерплю разгильдяйства и распушенности.

И в этом все имели случай убедиться. Однако, несмотря на строгость, он пользовался огромной популярностью. Враги обвиняли его в скупости, но это несправедливо, просто он был бережлив, воздержан в пище, не одобрял расточительства среди офицеров и требовал подробного отчета в тратах у своих подчиненных. Когда пришло известие об убийстве Калигулы, друзья побуждали его пойти на Рим во главе его войск, говоря, что он единственный человек, который может взять под контроль империю. Гальба отвечал:

— Отправиться на Рим и оставить Рейн без защиты? Интересно, за кого вы меня принимаете? Я римлянин. К тому же, по общему мнению, этот Клавдий — скромный и работающий человек, и хотя многие из вас, по-видимому, считают его дураком, я бы не торопился называть так члена императорской фамилии, который с успехом сумел пережить Августа, Тиберия и Калигулу. Я думаю, что в данных обстоятельствах это удачный выбор, и буду рад присягнуть Клавдию на верность. Он не воин, скажете вы. Тем лучше. Военный опыт императора не всегда благо. Божественный Август — говорю это со всем к нему уважением — был склонен в старости связывать руки своим генералам, давая им чересчур подробные инструкции и советы; последняя балканская кампания не тянулась бы так долго, если бы ему не хотелось, сидя в тылу, вновь выиграть те битвы, которые он выиграл во главе своих войск сорок лет назад. Я не думаю, что Клавдий в его возрасте захочет сам ходить в походы или будет склонен отвергать решения своих генералов в вопросах, в которых сам он не смыслит. Но в то же время он историк, обладающий глубокими знаниями, и, как

утверждают, имеет такое доскональное знакомство с основными стратегическими принципами, какому может позавидовать любой главнокомандующий с реальным боевым опытом.

Эти слова Гальбы были впоследствии переданы мне одним из его офицеров, и я послал ему лично письмо с благодарностью за его лестное мнение. Я сказал, что пусть он не беспокоится, я всегда дам полную свободу действий генералам в тех кампаниях, которые они будут возглавлять по моему приказу или моей санкции. Я буду лишь решать, должен ли поход быть завоевательным или носить чисто карательный характер. В первом случае сила удара должна быть смягчена, надо проявить гуманность: не разрушать захваченных городов и деревень, не уничтожать посевов, не оскорблять местных богов, и если враг уже разбит, не превращать бой в бойню. Однако если цель похода — карательная, тут уж не до милосердия: нужно предавать разорению города и деревни, сжигать на корню хлеб, равнять с землей храмы и безжалостно истреблять тех жителей, которых нет смысла угонять в Рим в качестве рабов. Я также буду указывать, на какие резервы может рассчитывать генерал и сколько ему разрешено иметь убитых и раненых. Я буду заранее намечать совместно с генералом конкретные объекты нападения и попрошу его сказать, сколько дней или месяцев ему понадобится, чтобы их захватить. Решение всех стратегических и тактических задач — расстановку войск, их боевой порядок — я оставляю на его усмотрение и воспользуюсь моим правом взять на себя личное командование и привести необходимые подкрепления только в том случае, если цель похода не будет достигнута за намеченное время, а количество убитых и раненых превысит обусловленное число.

Дело в том, что я задумал поход во главе с Гальбой против «горных котов». Это должна была быть карательная экспедиция. Я не собирался расширять империю, переходя Рейн — естественную и самоочевидную границу, но, поскольку хатты и другое северогерманское племя, истевоны, проявили неуважение к этой границе, надо было со всей решительностью показать, что Рим не потерпит попраения своего достоинства. Мой брат Германик частенько говорил, что единственное, чем можно снискать уважение германцев, это жестокость, — они единственный народ в мире, о котором он может это сказать. На испанцев, к примеру, производит впечатление вежливость завоевателей, на французов — богатство, на греков — уважение к искусству, на евреев — моральная чистота, на африканцев — хладнокровие и властность. Но для германца все это — ничто, его нужно бить смертным боем, пока не свалишь с ног, и снова бить, когда он попытается подняться, и снова бить, когда он будет, стелая, лежать на земле. «Пока раны его болят, он уважает руку, которая их нанесла».

Одновременно с походом против хаттов, возглавляемого Гальбой, должна была начаться другая карательная экспедиция против истевонов — во главе с Габинием, генералом, командовавшим четырьмя полками на Нижнем Рейне. Эта кампания интересовала меня куда больше, чем поход Гальбы, так как она имела дополнительную цель. Прежде чем отдать о ней приказ, я принес жертвы в храме Августа и сообщил ему по секрету, что намерен довести до конца дело, которое не удалось завершить моему брату Германику и которое, как я знаю, интересует Его Самого, а именно: освободить из плена третьего и последнего из утеранных Варом орлов, который вот уже тридцать лет как находится в руках германцев. Германик, напомнил я Ему, захватил обратно первого из утеранных орлов через год после Его, Августа, обожествления, а второго — на следующее лето, но прежде чем он смог отомстить за Вара, устроив германцам сокрушительный разгром, и завоевать обратно последнего орла, Тиберий отозвал его в Рим. Поэтому я обратился к Августу с мольбой содействовать успеху нашего оружия и восстановить честь Рима. Когда с жертвенника поднялся дымок, мне почудилось, что рука статуи шевельнулась,

словно благословляя меня, а голова кивнула. Возможно, тут был виноват дым, но я принял это за счастливое предзнаменование.

По правде сказать, я не сомневался в том, где именно в Германии был спрятан последний орел, и гордился тем, как я это обнаружил. Мои предшественники тоже могли бы об этом догадаться, если бы немного задумались. Мне всегда было приятно доказать самому себе, что я вовсе не такой дурак, каким все меня считают, и мало того — со многим могу управиться куда лучше их. Мне пришло в голову, что среди моей личной охраны, состоящей из пленных германцев самых разных племен из всех областей Германии, должно быть по крайней мере с полдюжины человек, знающих, где спрятан орел. Однако когда Калигула спросил их об этом, поставив в строй, и предложил свободу и кругленькую сумму в обмен на интересующие его сведения, лица их тут же стали непроницаемыми: казалось, никто ничего не знал. Я избрал совсем иной метод убеждения. Как-то раз я приказал им построиться и обратился к ним самым доброжелательным тоном. Я сказал, что в награду за верную службу намерен оказать им неслыханную милость: вернуть в Германию — дорогую их сердцу родину, о которой они каждый вечер поют такие грустные песни, — всех членов батальона телохранителей, которые прослужили в нем больше двадцати пяти лет. Я сказал, что хотел бы одарить их на прощанье золотом, оружием, лошадьми и тому подобным, но, к несчастью, не могу это сделать, не могу даже разрешить им забрать с собой имущество, которое они накопили за время своего плена. Препятствием служит пропавший орел. Пока эта священная эмблема не вернулась, честь Рима все еще в закладе, и если я награжу тех, кто в юности участвовал в разгроме армии Вара, чем либо еще, кроме свободы, это произведет в городе очень плохое впечатление. Однако для истинного патриота свобода дороже золота, и я уверен, они примут мой дар с такой же радостью, с какой я его приношу. Я не требую, сказал я, открыть мне местопребывание орла, поскольку это, несомненно, тайна, которую они поклялись своим богам никому не выдавать; я не буду просить никого из них нарушить клятву за деньги, как мой предшественник на престоле. Через два дня, пообещал я, все ветераны, прослужившие двадцать пять лет, будут отправлены за Рейн под надежным эскортом.

Затем я их распустил. Последствия не трудно было предвидеть. Эти ветераны еще меньше стремились вернуться в Германию, чем римляне, захваченные в плен парфянами в битве при Каррах, стремились вернуться в Рим, когда тридцать лет спустя Марк Випсаний Агриппа торговался с царем насчет обмена пленных. Эти римляне успели обосноваться в Парфии, женились, завели детей, разбогатели и совершенно забыли о прошлом. И мои германцы в Риме, хотя формально — рабы, вели самую легкую и приятную жизнь, и тоска их по дому была напускной, просто служила оправданием сентиментальных слез, когда они напивались. Они явились ко мне все, как один, и умоляли разрешить им остаться у меня на службе. Многие из них были отцами и даже дедами детей, рожденных рабынями из дворцовой челяди, у всех них водились деньги, так как Калигула время от времени дарил им щедрые подарки. Я притворился сердитым, обвинил их в неблагодарности и низости, раз они отказываются от бесценного дара свободы, и сказал, что не нуждаюсь больше в их услугах. Они попросили их простить и разрешить им по крайней мере взять с собой свои семьи. В этой просьбе я им отказал, снова упомянув об орле. Один из них, херуск, вскричал:

— Во всем виноваты эти проклятые хавки, это из-за них нам приходится уходить. Они поклялись не раскрывать тайны, а мы, все прочие германцы, которые тут ни при чем, должны страдать.

Это мне и было нужно. Я отпустил всех, кроме членов большого и малого племени хавков (хавки живут на северном побережье Германии, между Голландскими озерами и Эльбой; в свое время они входили в конфедерацию

Германца). Им я сказал:

— У меня нет намерения допытываться, где спрятан орел, но если кто-нибудь из вас не давал клятвы молчать, скажите мне об этом сразу.

Те, кто был из племени больших хавков, живущих на северо-западе, заявили, что они не давали никаких клятв. Я им поверил, потому что второй орел, которого отвоевал Германик, находился в их храме. Вряд ли одному племени достались бы два орла, когда распределяли добычу, захваченную после победы Германна над Варом.

Затем я обратился к старшему из малых хавков:

— Я не спрашиваю тебя, где орел и какому богу ты принес клятву. Но, может быть, ты мне скажешь, в каком городе или деревне ты ее давал? Если ты это скажешь, я отменю приказ о твоём возвращении на родину.

— Даже это будет нарушением клятвы, цезарь.

И тут я прибегнул к старому приему, о котором читал, когда занимался историей. Однажды некий финикийский судья, выехавший в одну деревню на судебное разбирательство, хотел узнать, где обвиняемый в краже человек спрятал украденную им золотую чашу; судья сказал этому человеку, что верит в его невиновность и отпустит его из-под стражи. «Пошли, приятель, лучше погуляем вместе, и ты покажешь мне все, что есть интересного в вашей деревне». Человек провел его по всем улицам, кроме одной. Судья узнал от его соседей, что в одном из домов на этой улице живет возлюбленная вора. Чашу нашли спрятанной у нее на чердаке. Последовав примеру судьи, я сказал:

— Ладно, я не буду настаивать.

Затем я обернулся к другому члену племени, который, судя по его тревожному и хмурому виду, разделял тайну, и спросил небрежно:

— Скажи, в каких городах и деревнях на вашей земле воздвигнуты храмы германскому Геркулесу?

Было вполне вероятно, что орлов посвящали именно этому божеству. Он перечислил семь имен, и я их записал.

— Это все? — спросил я.

— Больше не припоминаю, — ответил он.

Я обратился к большим хавкам.

— Я уверен, что на такой территории, как малая Хавкия, между великими реками Вебером и Эльбой не может быть всего семь храмов.

— О да, цезарь, — ответили они. — Он не упомянул знаменитый храм в Бремене на восточном берегу Вебера.

Вот благодаря чему я смог написать Габинию: «Я думаю, ты найдешь орла спрятанным в каком-нибудь укромном месте в храме Геркулеса в Бремене на восточном берегу Вебера. Не трать лишнего времени на расправу над истевонами. Пройди сперва сомкнутым строем через их земли и земли анзибариев, вызволи орла, а жечь, убивать и грабить будете на обратном пути».

Кстати, чтобы не забыть, я хотел рассказать вам еще одну историю похищенной золотой чаши: могу с таким же успехом сделать это сейчас. Однажды я пригласил на ужин несколько всадников из провинции, и — представьте только! — один из негодяев, марселец, унес золотую чашу, которая стояла перед ним. Я ничего ему не сказал и на следующий день снова пригласил его к ужину, но на этот раз перед ним поставили каменную чашу. Это, видимо, его напугало, так как на следующее утро золотая чаша была возвращена в сопровождении записки, где он в чрезмерно униженных выражениях извинялся за то, что осмелился взять на два дня мою чашу, чтобы скопировать узор, который привел его в восторг: он хотел увековечить память о великой чести, которую я ему оказал своим приглашением, ставя у себя дома на стол подобную чашу с вином до конца своих дней.

В ответ я отправил ему каменную чашу с просьбой прислать взамен в качестве сувенира золотую копию моей.

Я назначил день в мае, когда должны были начаться оба похода во главе с Гальбой и Габинием, увеличил численность их войск за счет рекрутов, набранных во Франции и Италии, до шести полков — оставив два полка оборонять границу на Верхнем Рейне и два — на Нижнем, — ограничил для каждого число возможных потерь убитыми и ранеными до двух тысяч человек и приказал закончить все операции к первому июля и вернуться домой. Целью Гальбы было захватить три города хаттов, построенных, когда Германия была под эгидой Рима: Нуазиум, Гравионарий и Мелокав, которые расположены на одной линии, параллельно Рейну, примерно в ста милях в глубь страны от Майнца.

Не буду входить в подробности. Скажу только, что обе кампании закончились полным успехом. Гальба сжег сто пятьдесят укрепленных частоколами деревень, уничтожил тысячи акров посевов, убил огромное число германцев, вооруженных и безоружных, и разграбил три указанных города к середине июня. Он взял около двух тысяч пленников обоего пола, в том числе знатных мужчин и женщин в качестве заложников, чтобы держать хаттов в узде. Он потерял двенадцать сотен солдат убитыми и ранеными, из которых всего четыреста были римляне. Задача Габиния была трудней, но он ее выполнил, потеряв только восемьсот человек. Он воспользовался моим предложением, данным в последнюю минуту, не идти прямо на Бремен, но захватить территорию ангривариев, живущих к югу от малых хавков, и уже оттуда послать на Бремен летучий кавалерийский отряд — вдруг удастся захватить город до того, как хавки сочтут нужным перенести орла в другое, более безопасное хранилище. Все удалось в точности, как было задумано. Кавалеристы, под командой самого Габиния, нашли орла там, где я ожидал, и Габиний был так доволен своим успехом, что подтянул туда остальные полки и прошел через всю малую Хавкию из конца в конец, сметая все на своем пути и сжигая один за другим деревянные капища германского Геркулеса, пока не осталось ни одного. Деревни и посевы он уничтожал не так методично, как Гальба, но на обратном пути сделал вполне достаточно, чтобы истевоны долго его помнили, и захватил две тысячи пленных.

Известие о спасении орла пришло в Рим одновременно с известием об успешном захвате Гальбой хаттских городов, и сенат немедленно присудил мне титул императора, от которого на этот раз я не отказался. Я счел, что заслужил его, найдя местопребывание орла, предложив устроить глубокий кавалерийский рейд и проведя подготовку обеих кампаний в полной тайне. Никто ничего не знал о них, пока я не подписал приказ о том, что новобранцы в Италии и Франции должны быть под ружьем и в течение трех дней отправиться на Рейн.

Гальба и Габиний получили триумфальные украшения; я бы ходатайствовал перед сенатом о триумфах, если бы походы не были всего лишь карательными. Но я убедил сенат дать Габинию наследственное имя «хавк» в ознаменование его подвига. Орла пронесли в торжественной процессии к храму Августа, где я совершил жертвоприношение и поблагодарил его за божественную помощь, затем посвятил ему деревянные ворота храма, где был найден орел, — Габиний прислал их мне в подарок. Самого орла я Августу посвятить не мог, так как уже давным-давно ему было приготовлено место рядом с другими двумя спасенными орлами в храме Марса Мстителя. Позже я отнес его туда и исполнил церемонию посвящения: мое сердце было преисполнено гордости.

Солдаты придумали куплеты о спасении третьего орла, но на этот раз вместо того, чтобы прибавить их к старой балладе «Три печали сиятельного Августа», они сложили новую балладу под названием «Клавдий и орел». Нельзя сказать, чтобы она мне льстила, но некоторые куплеты мне очень нравятся. Сюжет заключается в том, что, хотя во многих отношениях я форменный дурак и делаю самые нелепые вещи:

мешаю кашу ногой, бреюсь гребнем, отправившись в бани, выпиваю масло, которым должен умащать тело, и умащаюсь вином, которое мне подают для питья, — при всем том я на редкость учен: знаю названия всех звезд на небе, декламирую все стихи на свете и прочитал все книги во всех библиотеках мира. И плодом моей мудрости стало то, что лишь я смог сказать римлянам, где находится орел, который пропадал столько лет и не давался в руки тем, кто хотел вернуть его в Рим. В начале баллады повествуется — в драматических тонах — о том, как дворцовая гвардия провозгласила меня императором; я приведу три куплета, чтобы показать, что это за баллада:

Клавдий скрылся за портьерой,
Грат отвел ее тотчас:
«Нас веди! — сказал он грозно. —
Мы готовы, дай приказ!

Ради Августа веди нас
В бой, на славные дела.
Ну, смелей, ученый Клавдий!
Надо вызволить орла!»

Хватанул ученый Клавдий
Жадным ртом горшок чернил:
«А по мне — орла, сову ли:
На обоих хватит сил».

В начале августа, через двадцать дней после того, как меня избрали императором, Мессалина родила мне сына, и впервые в жизни я почувствовал отцовскую гордость. К своему сыну Друзиллу, который умер лет двадцать назад, когда ему было одиннадцать, я не испытывал никаких родительских чувств и очень прохладно относился к моей дочери Антонии, хотя она была хорошим ребенком. Происходило это потому, что брак с Ургуланиллой, матерью Друзилла, и с Элией, матерью Антонии (я развелся с ними обеими, как только политическая ситуация предоставила мне такую возможность), был навязан мне: я не любил ни ту ни другую. А в Мессалину я был страстно влюблен; я думаю, нашу римскую богиню Луцину, которая ведает родами, редко так обхаживали, воссылая к ней столько молений и принося столько жертв, как это делал я в последние два месяца, когда Мессалина была на сносях. Это был прекрасный здоровый младенец и, будучи моим единственным сыном, получил мои имена, как это у нас в обычае. Но я дал всем понять, что называть его надо Друз Германик. Я знал, что это произведет должное впечатление на германцев. Первый Друз Германик, чье имя вселяло страх по ту сторону Рейна почти пятьдесят лет назад, был мой отец, следующий, через двадцать пять лет — мой брат, я сам тоже был Друз Германик, а разве не я совсем недавно вернул в Рим последнего орла? Пройдет четверть века, и мой маленький Германик обязательно нас повторит — ведь все в истории повторяется — и перебьет еще несколько десятков тысяч германцев. Германцы как шиповник на краю поля: растет он так быстро, что его все время надо истреблять железом и огнем, чтобы он не вторгся в чужие владения. Как только мальчику исполнилось несколько месяцев и я мог взять его на руки без риска причинить ему вред, я завел привычку носить его по всему дворцу и показывать солдатам, которые любили его не меньше, чем я. Я напоминал им, что мальчик был первым из истинных цезарей со времен Великого Юлия, которому дали при рождении имя Цезарь, а не принят в этот род, как были по очереди приняты Август, Марцелл, Гай, Луций, Постум, Тиберий, Кастор, Нерон, Друз

и Калигула. Правда, в последнем случае гордыня толкнула меня на неточность. Калигула, в отличие от его братьев Нерона и Друза, родился на несколько лет позднее, чем его отец, мой брат Германик, был усыновлен Августом (цезарем благодаря тому, что самого его усыновил Юлий Цезарь); так что он был настоящим Цезарем. Меня спутал тот факт, что Тиберий (Цезарь благодаря тому, что его усыновил Август) усыновил Калигулу, только когда тому исполнилось двадцать три года.

Мессалина не пожелала кормить маленького Германика грудью, хотя я очень этого хотел, и нашла для него кормилицу. Она слишком занята, чтобы выкармливать ребенка, сказала она. Но когда кормишь грудью, это почти наверняка предохраняет от следующей беременности, а беременность куда больше отражается на самочувствии и мешает свободе действий, чем кормление грудью. Поэтому Мессалине не повезло — она вновь забеременела, да так скоро, что между рождением Германика и нашей дочери Октавии прошло всего одиннадцать месяцев.

В то лето был плохой урожай, и в городских житницах оставался такой скудный запас, что я перепугался и сократил бесплатный суточный рацион зерна, который бедные горожане считали причитающимся им по праву, до самого минимума. Да и это количество я умудрился выдавать лишь потому, что покупал или реквизирует зерно всюду, где была возможность. Путь к сердцу народа лежит через его желудок. В середине зимы, до того, как из Египта и Африки стали привозить пшеницу (к счастью, там новый урожай был исключительно хорошим), в бедных районах города не раз вспыхивали беспорядки и слышалась болтовня о перевороте.

Глава XI

К этому времени мои строители закончили отчет, который я им велел сделать, относительно того, возможно ли превратить Остию в безопасную зимнюю гавань. На первый взгляд, отчет этот мог отбить всякую охоту за это браться. Чтобы ее построить, требовалось десять лет и десять миллионов золотых. Но я напомнил себе, что результат нашей работы останется навеки и нам никогда не будет угрожать голод, во всяком случае до тех пор, пока в наших руках Египет и Африка. Мне казалось, что это дело достойно величия и гордости Рима. Прежде всего надо было вынуть грунт на большом участке земли, со всех сторон огородить котлован бетонными подпорными стенами и лишь затем пускать воду в эту внутреннюю гавань. Снаружи ее будут защищать два уходящих на глубину больших мола, построенных с двух сторон от входа, и остров между их оконечностями, который станет служить как волнорез, когда подует западный ветер и в устье Тибра стремительно покатятся огромные валы. На острове предполагалось построить маяк, наподобие знаменитого александрийского маяка, чтобы корабли могли безопасно войти в гавань, какой бы темной и ненастной ни была ночь. Этот остров и оба мола должны были образовать наружную гавань.

Когда строители принесли мне планы, они сказали:

— Мы сделали то, что ты нам велел, цезарь, но, конечно, это потребует огромных денег.

Я ответил довольно резко:

— Я просил о плане и примерной смете, вы были так любезны, что приготовили и то и другое, за это я вам весьма благодарен. Однако я не нанимал вас в финансовые советчики и буду признателен, если вы оставите свое мнение при себе.

— Но Каллист, государственный казначей... — начал было один из них.

Я оборвал его.

— Да, естественно, Каллист говорил с вами. Он очень осторожен, когда речь идет о государственных деньгах, и это правильно. Но все хорошо в меру.

Строительство гавани — дело величайшей важности. К тому же я не удивлюсь, если узнаю, что отбить у меня охоту заниматься этим вас убедили торговцы зерном. Чем меньше становится зерна, тем они становятся богаче. Они молят богов о плохой погоде и жиреют на горестях бедняков.

— О, цезарь, — добродетельно вскричали они в один голос, — неужели ты веришь, что мы станем брать взятки у торговцев зерном?!

Я увидел, что мой выстрел попал в цель.

— Я сказал «убедили», а не «подкупили». Не обвиняйте себя понапрасну. Послушайте-ка меня. Я намерен привести свой план в исполнение, сколько бы это ни стоило, вбейте это себе в голову. И вот еще что: это не займет столько времени и не потребует столько денег, как вам, по-видимому, кажется. Через три дня мы с вами тщательно разберемся в этом вопросе.

По совету моего секретаря Полибия я обратился к дворцовым архивам и там на самом деле обнаружил проект, подготовленный строителями Юлия Цезаря девяносто лет назад с той же самой целью. Проект почти не отличался от нового, но приблизительное время и стоимость оказались, к моему огромному удовольствию, куда меньше: четыре года и четыре миллиона золотых. С учетом некоторого подорожания материалов и труда нашу задачу можно будет выполнить, затратив половину той суммы, которую назвали мои строители, и более чем в два раза быстрее. В некоторых отношениях старый проект (отвергнутый как слишком дорогой!) был лучше нового, если не считать того, что в нем не был предусмотрен остров. Я тщательно изучил оба плана, сравнивая их по тем пунктам, где имелись расхождения, а затем поехал в Остию, взяв с собой Вителлия, который хорошо разбирался в строительном деле, чтобы проверить, не произошло ли каких-либо крупных перемен на территории будущей гавани со времени Юлия.

Когда я встретился со строителями, я был так напичкан информацией, что им было невозможно меня обмануть — например, занизив количество земли, которое сто человек могут перенести с одного места в другое за день, или утверждая, будто при выемке грунта придется стесать много тысяч футов твердой породы. Я знал теперь обо всем этом почти столько же, сколько они. Я не говорил им, откуда я это знаю, пусть думают, будто я познакомился со строительством во время занятий историей и мне хватило одной-двух поездок в Остию, чтобы глубоко изучить всю проблему и прийти к своим выводам. Я воспользовался тем впечатлением, которое на них произвел, и сказал, что, если замечу хоть какие-нибудь попытки затянуть работу после того, как она начнется, и недостаточный интерес к делу, я отправлю их всех вниз, в преисподнюю, чтобы они построили Харону на Стиксе новый пирс. Работа в гавани должна начаться немедленно. У них будет столько работников, сколько им надо, хотя бы тридцать тысяч и тысяча десятников из армии с необходимыми материалами, инструментами и транспортом, но начать они должны без задержки.

Затем я вызвал к себе Каллиста и сообщил свое решение. Когда он воздел с отчаянием руки и поднял к небу глаза, я сказал, чтобы он прекратил ломать комедию.

— Но, цезарь, где нам достать деньги? — заблеял он, как овца.

— У торговцев зерном, идиот, — ответил я. — Дай мне имена главных членов Зерновой Лиги, и я постараюсь, чтобы мы получили столько денег, сколько нам нужно.

Не прошло и часа, как передо мной предстали шестеро самых богатых торговцев зерном в Риме.

Я решил взять их на испуг.

— Мои строители сообщили мне, что вы пытались их подкупить, чтобы они представили проект новой гавани в Остии в невыгодном свете. Я смотрю на это очень серьезно. Это равносильно заговору против жизни ваших сограждан. Вы

заслуживаете, чтобы вас кинули на растерзание диким зверям.

Они со слезами клялись, что ни в чем не повинны, и молили меня научить, как им доказать свою преданность мне и Риму.

— Ничего не может быть легче: мне нужен срочный заем в один миллион золотых для осуществления остийского проекта; как только состояние финансов позволит, сумма будет возвращена.

Они стали уверять, будто, даже сложившись вместе, не смогут наскрести половины этой суммы, но я был не настолько глуп, чтобы им поверить. Я дал им месяц на то, чтобы раздобыть деньги, и предупредил, что, если они этого не сделают, я отправлю их в изгнание на Черное море. Или дальше.

— И помните, — сказал я, — когда эта гавань будет построена, это будет моя гавань: если вы захотите ею пользоваться, вам придется просить у меня разрешения. Не советую вам со мной ссориться.

Через пять дней я получил от них деньги, и в Остии сразу закипела работа: строили пристанища для людей, распределяли задания. Нужно признаться, что в подобных случаях очень приятно быть монархом и иметь возможность осуществить важное начинание, подавляя глупое противодействие одним повелительным словом. Но я должен был постоянно напоминать себе об опасности замедлить возрождение республики, если я стану неправильно осуществлять императорские prerogatives. Я делал все возможное, чтобы поощрить свободу речи и патриотизм и не позволить моим личным причудам превратиться в законы, которым должен подчиняться весь Рим. Это было очень трудно. Самое смешное то, что, судя по всему, свобода речи, патриотизм и сам республиканский идеализм входили в рубрику моих личных причуд. И хотя вначале, не желая казаться надменным, как все монархи, я поставил себе за правило быть доступным для любого из граждан Рима и разговаривать с людьми дружески, запанибрата, вскоре я был вынужден держаться более сдержанно и сухо. И не в том дело, что у меня не было времени для болтовни со всеми, кто заглядывал во дворец, а в том, скорее, что мои сограждане, за немногими исключениями, бессовестно злоупотребляли моей благожелательностью. Они отвечали на мою приязнь или вежливым высокомерием, точно хотели сказать: «Тебе не удастся одурачить нас и сделать из нас преданных слуг», или насмешливой наглостью, точно хотели сказать: «Почему ты не ведешь себя, как истинный император?», или насквозь фальшивой дружбой, точно хотели сказать: «Если тебе, ваше величество, угодно расслабиться и угодно, чтобы мы, сообразуясь с твоим чудачеством, тоже расслабились, погляди только, как мы стараемся тебе угодить! Но если ты вздумаешь нахмуриться, мы тут же падём ниц».

Но вернемся к гавани. Как-то раз Вителлий сказал мне:

— Республике нечего и надеяться осуществить общественные работы такого масштаба, какие может себе позволить монархия. Все грандиозные сооружения мира — дело рук царей или цариц. Городские стены и висячие сады Вавилона. Мавзолей в Галикарнасе. Пирамиды. Ты никогда не был в Египте, верно?

Я служил там в гарнизоне молодым солдатом. О, боги, невозможно передать словами, какое чувство благоговения и страха охватывает тебя при виде их. Мало сказать, охватывает — сокрушает тебя. Сперва ты слышишь о них в детстве и спрашиваешь: «Что это — пирамиды?» Тебе отвечают: «Огромные каменные гробницы трехгранной формы, без всяких украшений, просто покрытые белой штукатуркой, в Египте». Это звучит не очень интересно и не производит на тебя впечатления. Ты представляешь в уме те «огромные» строения, с которыми знаком, — скажем, храм Августа здесь, в Риме, или базилику Юлия. А затем, попав в Египет, видишь их вдали, в глубине пустыни — небольшие белые пятна, вроде палаток, и говоришь: «Это пирамиды? И чего только из-за них поднимают такой шум?» Но когда спустя несколько часов стоишь у их подножья задрав голову вверх,

это совсем другое дело! Цезарь, они так огромны, что в это нельзя поверить. Этого не может быть. Когда думаешь, что они выстроены человеческими руками, становится физически дурно. Первый взгляд на Альпы не идет ни в какое сравнение. Пирамиды такие белые, гладкие, безжалостно вечные. Такой грозный памятник людских устремлений...

— А также глупости, тирании и жестокости, — прервал я его. — Царь Хеопс, который построил Большую пирамиду, разорил свою богатую страну, обескровил ее и оставил при последнем издыхании; и все для того, чтобы удовлетворить свое нелепое тщеславие и поразить богов своей сверхъестественной мощью. А какой практической цели служит эта пирамида? Она была задумана как надгробный памятник Хеопсу до скончания века. Однако я читал, что этот нелепый, хотя и величественный мавзолей уже давно пуст. Гиксосы, эти властители пустынных нагорий, нашли потайной вход, обшарили внутреннее помещение и сделали костер из мумии гордого Хеопса.

Вителлий улыбнулся.

— Ты не видел Большой пирамиды, не то ты бы так не рассуждал. Да, она пуста, но это делает ее еще величественней. А что до цели, то она служит очень важной цели. Ее вершина является ориентиром для египетских крестьян, когда кончается ежегодный разлив Нила и они должны снова размечать границы своих полей в море плодородного ила.

— Лучше бы поставили высокий столб, — сказал я, — а еще лучше два — по одному на каждом берегу Нила — затраты же были бы пустяковыми. Хеопс был сумасшедший, как Калигула, хотя, в отличие от него, имел одну постоянную манию, а Калигула хватался то за одно, то за другое. Огромный город, который он задумал воздвигнуть в Альпах над Большим перевалом Святого Бернарда, вряд ли был бы доведен до конца, даже доживи Калигула до ста лет.

Вителлий согласился:

— Он был болтун. Ближе всего к сооружению пирамид он подошел, когда построил этот чудовищный корабль и украл в Александрии большой красный обелиск. Да, он был болтун и кривляка.

— Однако я вспоминаю, что однажды ты простерся ниц перед этим болтуном и кривлякой, как перед богом.

— А я с благодарностью вспоминаю, что посоветовал это сделать и сам подал мне пример — ты.

— Да простят нас небеса, — сказал я.

Во время этого разговора мы стояли возле храма Капитолийского Юпитера, где только что совершили обряд очищения в связи с тем, что незадолго до того на крышу храма опустилась птица, предвещающая несчастье (это была сова из тех, что мы называем «поджигательницами», так как они предрекают гибель от огня тому зданию, на которое они сядут). Я протянул вперед руку:

— Видишь? Это часть величайшего памятника, какой когда-либо был построен и, хотя Август и Тиберий — тот и другой самодержцы — внесли в него свой вклад и содержали в порядке, первоначально создан он был свободным народом. И я не сомневаюсь, что он будет существовать так же долго, как пирамиды, не говоря уже о том, что, как показало время, он сослужил куда большую службу людям.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. По-моему, ты показываешь на дворец.

— Я показываю на Аппиеву дорогу, — торжественно отвечал я. — Ее начали строить, когда цензором был мой великий предок Аппий Клавдий Слепой. Римские дороги — величайший памятник человеческой свободе, какой когда-либо был воздвигнут благородным и великодушным народом. Они пересекают горы, болота и реки. Они широкие, прямые и надежные. Они соединяют город с городом, страну со страной. Они тянутся на десятки тысяч миль и всегда переполнены толпами

благодарных путников. А Большая пирамида, пусть даже она поднимается на несколько сот футов, повергая любителей достопримечательностей в благоговейный трепет, хотя это всего-навсего разоренная гробница дурного человека, — свидетельство гнета и мучений, так что, взирая на нее, мы, кажется, слышим хлопанье бича в руках надсмотрщика и крики и стоны несчастных рабов, пытающихся водрузить на место огромную каменную глыбу... — Но тут, увлекаемый все дальше внезапным потоком красноречия, я обнаружил, что забыл начало фразы. Я замолчал, чувствуя себя глупо, и Вителлию пришлось меня выручать. Он воздел руки, закрыл глаза и провозгласил:

— У меня нет слов, сиятельные, чтобы выразить глубину моих чувств по этому поводу.

Мы оба расхохотались во все горло. Вителлий был одним из немногих, кто относился ко мне достаточно дружески, хотя и не переходя границ. Я никогда не знал, был ли он искренним или притворялся, но даже если и притворялся, он так искусно это делал, что я принимал все за чистую монету. Возможно, я вообще не ставил бы его искренность под сомнение, если бы он в свое время менее талантливо разыгрывал восхищение Калигулой и если бы не история с туфлей Мессалины. Сейчас я ее расскажу.

Однажды Вителлий, Мессалина и я поднимались по дворцовой лестнице, как вдруг Мессалина сказала:

— Остановитесь на минутку, пожалуйста. Я потеряла туфлю.

Вителлий быстро обернулся и, подобрав ее, подал Мессалине с почтительным поклоном. Мессалина была очарована. Улыбаясь, она сказала:

— Клавдий, ты не будешь ревновать, если я награжу этого храброго воина, нашего дорогого друга Вителлия, орденом Алмазной Туфли? Он так галантен, так услужлив.

— Но разве туфля тебе не нужна, моя крошка?

— Нет, в такой день лучше ходить босиком. И у меня масса других, не хуже.

Так что Вителлий взял туфлю, поцеловал ее и спрятал в карман в складке тоги, где затем постоянно ее держал, вынимая, чтобы снова поцеловать, когда, разговаривая со мной наедине, с чувством расписывал красоту Мессалины, ее ум и щедрость, добавляя, что мне на редкость повезло с женой. У меня всегда становилось тепло на сердце, а порой появлялись слезы на глазах, когда при мне хвалили Мессалину. Я не переставал удивляться, что она может любить хромого заику, старого педанта, вроде меня, но она клялась, что любит, и никто, доказывая я сам себе, не посмеет сказать, что она вышла за меня из корысти. В то время я был полный банкрот, а уж возможность того, что я стану императором, никак не могла прийти ей в голову.

Гавань в Остии была отнюдь не единственной из моих грандиозных работ на благо общества. Слова сивиллы, которую я, переодевшись в чужое платье, посетил в Кумах за десять лет до восшествия на императорский престол, предвещали, что я тот, кто «воду даст Риму и хлеб зимой». «Хлеб зимой» относился к Остии, а «вода» означала два больших акведука, построенных мной. Любопытная вещь — предсказания. Скажем, тебе что-то напророчили еще в детстве, и тогда это сильно занимало твои мысли, но затем все заволакивается туманом, ты начисто обо всем забываешь, и вдруг туман рассеивается, и ты видишь, что предсказание сбылось. Только после того, как акведуки были построены и освящены и гавань закончена, я вспомнил слова сивиллы. Однако, наверно, они все время были у меня в подсознании — так сказать, божий голос, который нашептывал мне, чтобы я осуществил эти два больших проекта.

Новые акведуки были очень нужны Риму; существующего водоснабжения было недостаточно, хотя он обеспечивался водой лучше любого другого города мира. Мы,

римляне, любим свежую воду. Рим — город бань, рыбных садков и фонтанов. Что скрывать — хотя в Риме уже было семь акведуков, богачи, добившись права подключать свои резервуары к главному водоводу, умудрились захватить большую часть общественной воды для собственного употребления — их бассейны должны были наполняться заново каждый день, а огромные сады требовали поливки, — так что многие из бедных граждан были вынуждены летом пользоваться для питья и приготовления пищи водой из Тибра, а это вредно для здоровья. Кокцей Нерва, этот добродушный старец, которого мой дядя Тиберий держал при себе в качестве доброго гения и который в конце концов покончил с собой, так вот этот Нерва, когда Тиберий назначил его инспектором акведуков, советовал ему проявить щедрость и дать городу запасы воды, соответствующие его величине; он напомнил императору, что его предок Аппий Клавдий Слепой заслужил вечную славу, проведя в Рим воду из источника в восьми милях от города, при помощи первого акведука, который так и называли — «Аппиев». Тиберий решил последовать совету Нервы, но отложил это на неопределенный срок. Так он, по своей привычке, откладывал это раз за разом, пока Нерва не умер. Тиберий почувствовал угрызения совести и послал строителей разведать, где есть источники, отвечающие правилам, которые установил знаменитый Витрувий. Правила эти следующие: источник должен бить с одинаковой силой круглый год, вода в нем должна быть чистая и свежая и не покрывать налетом трубы, находиться он должен на такой высоте над уровнем моря, чтобы при требуемом для желоба акведука напоре последний резервуар, куда попадает вода и распределяется затем при помощи труб по городу, был не ниже самых высоких городских зданий. Строителям пришлось довольно далеко удалиться от Рима, прежде чем они напали на источники, которые вполне их удовлетворили; но все же наконец они нашли их к юго-востоку от города. Два прекрасных полноводных источника под названием Голубой и Белый пробивались из земли возле тридцать восьмого дорожного столба по Сублаквейской дороге: их было можно соединить в один. Затем на сорок второй миль той же дороги, но по другую ее сторону, нашли еще один хороший источник — Новый Аниен; туда надо было подвести другой акведук, куда шла бы также вода из четвертого источника, Геркуланийского, расположенного напротив Голубого. Строители доложили Тиберию, что вода из этих четырех родников отвечает всем необходимым требованиям, чего нельзя сказать о тех ключах, которые находятся ближе. Тиберий велел представить планы двух акведуков и потребовал сметы. Но когда получил, тут же решил, что это ему не по карману, а вскоре умер.

Вступив на престол, Калигула, желая показать, что он не так скуп, как Тиберий, и его более заботят интересы Рима, сразу же начал осуществлять его проекты, кстати разработанные очень хорошо и подробно. Начал-то он прекрасно, но чем больше пустела его казна, тем трудней было продолжать, и, забрав людей с самых тяжелых участков (огромных арочных виадуков — аркада над аркадой в несколько ярусов, — которые несли воду через низины и лощины), он поставил их на более легкие места, где кюветы огибали склоны холмов или шли по ровной местности. Калигула все еще по-прежнему мог хвалиться, что работа быстро продвигается вперед — если считать пройденные мили, — а затраты были незначительными. Некоторые из виадуков, от строительства которых он увильнул, должны были достигать ста футов в высоту. Первый из них, впоследствии названный «Водопровод Клавдия», должен был тянуться на сорок шесть миль, из них десять миль — по аркадам. Второй, названный «Новый Аниен» должен был достигать пятидесяти девяти миль в длину, из них на аркадах — около пятнадцати. Поссорившись с римлянами, — когда они подняли шум в амфитеатре и он в страхе убежал из города, — Калигула воспользовался этим, чтобы вообще прекратить строительство акведуков. Он забрал всех, кто там работал, и поставил их на другие объекты, вроде постройки его храма или расчистки

территории в Антии (город, где он родился и намеревался воздвигнуть новую столицу).

Поэтому мне пришлось возобновить работу, имевшую, как я считал, первостепенное значение, там, где Калигула ее бросил, а именно на наиболее трудных участках акведуков. Если вы удивляетесь, почему акведук «Новый Аниен», хотя Геркуланийский источник вливается в него совсем близко от начала акведука «Водопровод Клавдия», должен был сделать такую большую петлю, а не быть проложенным на тех же аркадах, я вам отвечу: источник «Новый Аниен» выходит из земли на куда более высоком уровне, чем Геркуланийский, и если бы его сразу спустили к «Водопроводу Клавдия», ток воды был бы слишком стремительным. Витрувий рекомендует наклон желоба в полфута на каждые сто ярдов, и напор воды из «Нового Аниена» не позволял соединить его с «Водопроводом Клавдия» даже на высшем арочном ярусе, пока оба акведука не подошли почти к самому городу, пройдя рядом тринадцать миль. Чтобы вода не загрязнялась, желоб был покрыт крышкой с отдушинами на определенных расстояниях во избежание прорыва воды. Кроме того, желоба часто перемежались большими резервуарами, где вода отстаивалась. Эти резервуары служили и другой цели — ирригации полей — и сторицей окупали себя, позволяя местным землевладельцам обрабатывать земли, которые без орошения были бы бесплодны.

Потребовалось девять лет, чтобы довести работу до конца, хотя шла она без задержки, и, когда акведуки были достроены, они вошли в число главных чудес Рима. Оба потока вступали в город через Пренестинские ворота — «Новый Аниен» сверху, «Водопровод Клавдия» снизу, — для чего пришлось построить огромную двойную аркаду над двумя главными дорогами. Конечным пунктом была высокая башня, откуда вода уходила в девяносто две башни пониже. В Риме уже было около ста шестидесяти таких башен, но мои два акведука удвоили реальный запас воды. Инспектор акведуков подсчитал, что в Рим теперь поступало количество воды, равное тому, что мы имели бы, если бы через город текла река в тридцать футов шириной и шесть футов глубиной со скоростью двадцать миль в час. Эксперты и простые римляне пришли к единодушному мнению, что вода из моих акведуков — лучшая из всех, за исключением той, что приносил Марсийский акведук, самый главный из имеющихся в Риме: он снабжал пятьдесят четыре водонапорные башни и существовал около ста семидесяти лет.

Я очень сурово наказывал безответственных людей, которые крали воду. В прежние времена, до того еще, как Агриппа взял на себя труд произвести ревизию всей системы водоснабжения (он сам построил два новых акведука; один, на левом берегу Тибра, пролегал в основном под землей), воду чаще всего похищали, проделывая в магистрали дыры или подкупая для этого сторожей, причем так, что повреждение казалось случайным, — в Риме был закон, дававший людям право пользоваться при протечке даровой водой. В последнее время горожане снова вернулись к этой практике. Я реорганизовал корпус людей, обслуживающих акведуки, и отдал приказ, чтобы все протечки немедленно ликвидировали. Но появился еще один вид воровства. Были трубы, ведущие от центральной магистрали к частным напорным башням, построенным на деньги, собранные среди зажиточных семей или кланов. Делались они из свинца и имели стандартный размер, чтобы, когда они лежат горизонтально, через них из центральной трубы могло вытечь лишь определенное количество воды. Но, расширяя трубы шестами — ведь свинец очень податливый металл, — а затем меняя их наклон, люди увеличивали ток воды. Иногда более могущественные и дерзкие кланы заменяли эти трубы собственными. Я твердо решил это прекратить. Я велел отлить трубы из бронзы, поставить на них казенное клеймо и так соединить с центральной магистралью, чтобы их нельзя было сдвинуть, не сломав; я также приказал своим инспекторам регулярно посещать водонапорные

башни, чтобы проверить, все ли там в порядке.

Пожалуй, здесь будет уместно упомянуть о третьем из моих грандиозных предприятий — осушении Фуцинского озера. Это озеро, расположенное у подножья Альбанских гор в шестидесяти милях от Рима, если идти прямо на восток, имеет двадцать миль в длину и десять в ширину, но совсем не глубоко. Со всех сторон оно окружено болотами. Проект его осушения уже обсуждался в Риме. Местные жители, марсийцы, в свое время обратились по этому поводу с петицией к Августу, но, обдумав все должным образом, он отклонил их просьбу на том основании, что задача эта слишком трудоемкая и достигнутые результаты вряд ли оправдают затраченный труд. Теперь вопрос этот снова возник: ко мне явилась группа богатых землевладельцев из тех мест и предложила взять на себя две трети издержек по осушению озера, если я осуществлю этот проект. За это они просили пожаловать им, после того как уйдет вода, земли, отвоеванные у болот и самого озера. Я отказал им, так как мне пришло в голову, что полученная после осушения земля, вероятно, стоит гораздо дороже, чем они хотят заплатить. Дело казалось проще простого. Нужно было только пробить в горе канал длиной в три мили у юго-западной оконечности озера, дав тем самым выход воде в реку Лирис, протекающую с противоположной стороны горы. Я решил начать немедленно.

Это было в первый год моего правления. Вскоре стало ясно, что Август был прав, когда не взялся за это дело. Труд и затраты, необходимые, чтобы пробить в горе проход, значительно превосходили расчеты моих строителей. Мы натыкались на огромные участки сплошной скальной породы, которую надо было разбивать на мелкие кусочки и осколки тащить наружу по всему туннелю, и не знали, что делать с источниками, которые вдруг вырывались из-под земли и мешали работе. Чтобы вообще довести все до конца, мне вскоре пришлось отправить туда тридцать тысяч человек. Но я не люблю терпеть поражение и бросать дело на полпути. Канал был закончен всего несколько дней назад после тринадцати лет тяжких усилий. Скоро я отдам приказ открыть шлюзные ворота и выпустить из озера воду.

Глава XII

Как-то раз, незадолго до своего отъезда, Ирод предложил, чтобы я показался одному очень хорошему врачу, греку, и посоветовался с ним насчет своего здоровья; для Рима очень важно, чтобы я был в хорошей форме. В последнее время, сказал Ирод, у меня утомленный вид, что естественно при том, сколько времени я тружусь. Если я не сокращу количество рабочих часов и не приду в такое состояние, которое позволит мне выдерживать мою нагрузку, я очень скоро сведу себя в могилу. Я сердито ответил, что доктора греки не смогли вылечить меня в юности, хотя я обращался ко многим из них, а теперь слишком поздно бороться с моими телесными изъянами, да я и привык к ним, они — моя составная часть, и я вообще не желаю иметь дела с греческими врачами.

Ирод улыбнулся.

— Первый раз в жизни слышу, что ты согласен со стариком Катонем. Я вспомнил «Медицинские советы» из его энциклопедии, написанной им для сына, где он запрещал тому обращаться к греческим докторам. Вместо этого он советовал ему читать молитвы, следовать здравому смыслу и применять капустные листья. Они полезны при любом обычном заболевании, писал он. Ну, молятся за твое здоровье в Риме столько, что ты стал бы настоящим атлетом, если бы это зависело от молитв. А здравый смысл присущ — по праву рождения — каждому римлянину. Возможно, цезарь, ты забыл о капустных листьях?

Я раздраженно перевернулся на ложе.

— Так кого же ты рекомендуешь? Я повидаюсь с врачом, чтобы доставить тебе

удовольствие, но только с одним, не больше. Как насчет Ларга? Он назначен дворцовым лекарем. Мессалина говорит, что он толковый.

— Если бы Ларг знал, как тебя вылечить, он бы давно это предложил. Нет, обращаться к нему нет смысла. Если ты согласен обратиться только к одному-единственному врачу, проконсультируйся с Ксенофонтом с Коса.

— Как? С бывшим полковым лекарем моего отца?

— Нет, с его сыном. Он был при твоём брате Германике в последнюю кампанию, возможно, ты помнишь это, затем завел практику в Антиохии. Он пользовался там исключительным успехом, а не так давно приехал в Рим. Он следует девизу великого Асклепиада: лечи быстро, безопасно, приятно. Никаких сильнодействующих слабительных и рвотных. Диета, физические упражнения, массаж и немного простых лекарств из трав. Он вылечил меня от жестокой лихорадки настойкой из листьев желтого цветочка, который называется аконит, а затем привел в форму, посоветовав, какой мне придерживаться диеты, и так далее; сказал, каких пряностей надо избегать, и велел меньше пить. Он и хирург великолепный, если дело доходит до ножа. Точно знает, где находится у нас каждый нерв, кость, мышца и сухожилие. Сказал мне, что выучился анатомии у твоего брата.

— Германик не был анатомом.

— Да, но он был истребителем германцев. Ксенофонт подбирал свои знания на поле битвы. В Риме и Греции анатомии не научишься. Если хочешь стать хирургом, надо ехать в Александрию, где разрешают разрезать трупы, или следовать по пятам за победоносной армией.

— Он, вероятно, придет, если я за ним пошлю?

— Кто из врачей откажется? Ты забыл, кто ты? Но, само собой разумеется, если он тебя вылечит, ему надо щедро заплатить. Он любит деньги. Кто из греков не любит?

— Если он меня вылечит.

Я послал за Ксенофонтом. Он сразу мне понравился, потому что профессиональный интерес ко мне как к пациенту заставил его забыть, что я император и властен над его жизнью и смертью. Ему было лет пятьдесят. Выразив, как было положено, свое почтение, он затем обращался ко мне коротко, сухо и только по существу.

— Пульс. Благодарю. Язык. Благодарю. Прошу прощения (он вывернул мне веки). Глаза несколько воспалены. Это излечимо. Дам примочку, чтобы их промывать. Небольшое западание век. Встань, пожалуйста. Да, детский паралич. Это, естественно, я вылечить не могу. Слишком поздно. Вылечил бы, пока не прекратился рост.

— Ты в то время был еще ребенком, Ксенофонт, — улыбнулся я.

Но он, казалось, меня не слышал.

— Преждевременные роды? Да? Я так и подумал. И малярия?

— Малярия, корь, колит, золотуха, рожа. Весь батальон отвечает «здесь!», Ксенофонт, кроме эпилепсии, венерических заболеваний и мании величия.

Он снизошел до мимолетной улыбки.

— Раздеться, — сказал он. Я разделся. — Ты слишком много ешь и пьешь. Это надо прекратить. Нужно поставить себе за правило вставать из-за стола с желанием съесть еще хотя бы один кусочек. Да, левая нога сильно высохла. Советовать моцион бесполезно. Обойдемся массажем. Можно одеться.

Он задал мне еще несколько вопросов более интимного свойства, причем по его тону было ясно, что он заранее знает ответ и спрашивает лишь для порядка.

— Пачкаешь подушку слюной по ночам?

Я сконфуженно признался, что он не ошибся.

— Приступы внезапного гнева? Непроизвольное сокращение мышц лица?

Заикание, когда ты смущен? Периодическое недержание мочи? Временная потеря речи? Оцепенелость мышц, так что даже в теплые ночи ты нередко просыпаешься холодный и застывший?

Он даже пересказал мне содержание моих снов.

Я спросил, пораженный:

— А истолковать, Ксенофонт, ты их тоже можешь? Это, наверно, нетрудно.

— Да, — ответил он деловым тоном, — но это запрещено законом. Теперь, цезарь, я расскажу тебе про тебя. Ты можешь прожить еще немало лет, если захочешь. Ты слишком много работаешь, но этому я, вероятно, не в состоянии воспрепятствовать. Рекомендую как можно меньше читать. Усталость, на которую ты жалуешься, вызвана в основном перенапряжением глаз. Пусть все, что можно, тебе читают вслух. Пиши тоже поменьше. После обеда отдыхай по крайней мере час, не кидайся бегом в суд, как только проглотил последний глоток десерта. Нужно найти время для массажа — по двадцать минут два раза в день. Тебе требуется хорошо обученный массажист. Лучшие массажисты в Риме — мои рабы. Лучший из них Харм. Я дам ему специальные указания. Если мои правила будут нарушены, полного излечения ожидать нельзя, хотя лекарство, которое я пропишу, принесет значительную пользу. Возьмем, например, боль под ложечкой, на которую ты жалуешься, — мы зовем это «сердечный приступ»; если ты будешь пренебрегать массажем и переедать, да еще торопиться при этом, то стоит тебе разнервничаться по тому или иному поводу, этот приступ наверняка повторится несмотря на мое лекарство. Но следуй моим указаниям и будешь здоров.

— А что это за лекарство? Его трудно достать? Придется ли посылать за ним в Египет или Индию?

Ксенофонт позволил себе издать короткий скрипучий смешок.

— Нет, всего лишь на ближайшую пустошь. Я принадлежу к гомеопатической школе, возникшей на Косе. Я уроженец Коса, мало того, потомок самого Эскулапа. На Косе мы делим все болезни по их лекарствам; по большей части это лекарственные травы. Если их употреблять в больших количествах, они вызывают симптомы болезни, которую они же излечивают, если их принимать в небольших дозах. Так, если ребенок старше трех-четырех лет мочится в постель и проявляет другие признаки кретинизма, мы говорим: «У этого ребенка „одуванчиковая болезнь“». Если съесть много одуванчиков, это приведет к таким же симптомам, а ложечка отвара из них избавляет от болезни. Стоило мне войти в комнату и увидеть, как дергается у тебя голова и трясутся руки, услышать, как ты чуть заикаешься, приветствуя меня, и как резко звучит твой голос, я тут же сделал вывод. «Типичная „бриония“, — сказал я себе. — Отвар брионии, массаж, диета».

— Что? Обыкновенная бриония?

— Она самая. Я напишу инструкцию, как ее готовить.

— А молитвы?

— Какие молитвы?

— Разве ты не назначаешь специальных молитв, которые надо читать, когда принимаешь лекарство? Все остальные врачи, которые пытались меня лечить, назначали мне специальные молитвы, чтобы я повторял их, когда готовлю и принимаю лекарства.

Он ответил довольно холодно:

— Я предполагаю, цезарь, что, будучи великим понтификом и автором истории происхождения религии, ты подготовлен лучше меня к тому, чтобы взять на себя магическую часть лечения.

Я понял, что Ксенофонт, подобно многим грекам, неверующий, и больше ни на чем не настаивал. Так кончилась наша встреча; он попросил отпустить его, так как в приемной его ждут больные.

Надо признаться, бриония действительно вылечила меня. Первый раз в жизни я узнал, что это такое — чувствовать себя здоровым. Я не отступил от указаний Ксенофонта ни на шаг, и с тех пор ни разу не болел. Разумеется, я не перестал хромать и изредка заикаюсь, если меня что-нибудь взволнует, и дергаю головой по старой привычке. Но афазия исчезла, руки почти не трясутся, и я могу в свои шестьдесят четыре года работать, если надо, по четырнадцать часов в сутки и не ощущать себя под конец совершенно измученным. Сердечные приступы у меня изредка бывают, но только при тех обстоятельствах, насчет которых Ксенофонт меня предостерегал.

Можете не сомневаться, что я хорошо заплатил Ксенофонту за мою брионию. Я уговорил его переехать во дворец на равных правах с Ларгом. Ларг был неплохой врач в своем роде и написал несколько книг по медицине. Сперва Ксенофонт отказался. За те немногие месяцы, что он пробыл в Риме, он создал большую частную практику; по его подсчетам она приносила ему три тысячи золотых в год. Я предложил ему шесть тысяч — Ларг получал всего три тысячи — и, видя, что он все еще колеблется, сказал:

— Ксенофонт, ты должен переехать ко мне, я настаиваю. И если через пятнадцать лет благодаря тебе я все еще буду жив и здоров, я отправлю губернаторам Коса официальное письмо, где сообщу, что с этого времени остров, где ты выучился медицине, освобождается от набора рекрутов и выплаты имперской дани.

И он согласился. Если вас интересует, к кому обращал молитвы мой раб, приготавливая лекарство, и я сам, принимая его, скажу: к богине Карне, древней сабинской богине, к которой мы, Клавдии, всегда обращались за помощью со времен Аппия Клавдия из Регилла. Готовить и принимать лекарство, не сопровождая это молитвами, кажется мне таким же бесполезным, даже губительным делом, как праздновать свадьбу без гостей, музыки и жертвоприношений.

Да, чтобы не забыть, запишу-ка я два ценных врачебных совета, которые получил от Ксенофонта. Он частенько говорил:

— Тот, кто считает хорошие манеры важнее здоровья, дурак. Если тебя тревожат ветры, не старайся их удержать. Это очень вредно для живота. Я знал человека, который однажды чуть не убил себя, пытаясь перетерпеть. Если по той или иной причине тебе неудобно выйти — скажем, ты совершаешь жертвоприношение или обращаешься с речью к сенату, — не бойся рыгнуть или испортить воздух там, где ты стоишь. Все остальные испытают легкое неудобство, зато ты не причинишь себе вред. И еще одно: если у тебя насморк, не нужно без конца сморкаться. Это только усиливает выделение слизи и ведет к воспалению нежных оболочек носа. Пусть из носа течет. Подтирай его, но не сморкайся.

Я всегда следовал совету Ксенофонта, во всяком случае насчет сморкания, и теперь насморк кончается у меня куда быстрее, чем раньше. Конечно, сатирики и карикатуристы скоро подняли меня на смех, изображая с каплей под носом, но что мне до того? Мессалина заметила, что так заботиться о себе, с моей стороны, очень разумно: если я вдруг умру или серьезно заболею, что будет с Римом и империей, не говоря о ней самой и нашем сыне?

Однажды Мессалина сказала мне:

— Я начинаю раскаиваться в своей доброте.

— Ты имеешь в виду, что лучше бы моя племянница Лесбия не возвращалась из изгнания?

Она кивнула.

— Как ты догадался? Скажи мне, мой милый, почему она так часто заходит в твои апартаменты, когда меня нет во дворце? О чем говорит? И почему ты не сообщаем мне об ее визитах? От меня бесполезно что-либо скрывать.

Я улыбнулся успокаивающе, но чувствовал себя не совсем ловко.

— Мне нечего скрывать, совершенно нечего. Ты помнишь, что месяц назад я вернул ей последние из ее владений, отобранных у нее Калигулой. Те, что находятся в Калабрии, — мы с тобой решили их отдать лишь тогда, когда убедимся, что они с Виницием ведут себя прилично. Как я уже тебе говорил, узнав об этом, она разразилась слезами и, виня себя в неблагодарности, поклялась, что полностью изменит свой образ жизни и переборет свою глупую гордость.

— Очень трогательно, не сомневаюсь. Но я впервые слышу об этой драматической сцене. Ты не обмолвился ни единым словом.

— Я отчетливо помню, что все тебе об этом рассказывал как-то раз за завтраком.

— Тебе, должно быть, это приснилось. Так все же, в чем тут дело? Признайся. Лучше поздно, чем никогда. Когда ты вернул ей поместья, мне, естественно, показалось странным, что ты награждаешь ее за наглость по отношению ко мне. Но я ничего не сказала. Тебе видней.

— Ничего не могу понять. Я готов поклясться, что говорил обо всем тебе. У меня иногда бывают удивительные провалы в памяти. Поверь, любимая, мне очень жаль. Я отдал ей поместья лишь потому, что Лесбия утверждала, будто она только что была у тебя, извинилась перед тобой от всего сердца и ты промолвила: «Я охотно прощаю тебя, Лесбия. Пойди сообщи об этом Клавдию».

— О, какая наглая ложь! Ее ноги у меня не было. Ты уверен, что она сказала именно это? Или у тебя опять что-то с памятью?

— Совершенно уверен. Иначе я никогда не вернул бы ей поместья.

— Ты помнишь слова из присяги, которую принимают в суде свидетели: «Ложь в одном значит ложь во всем»? Очень подходит к Лесбии. Но ты мне еще не объяснил, почему она ходит к тебе. Что она старается вымогнуть?

— Насколько я знаю, ничего. Просто заходит время от времени дружески со мной поболтать, повторяет, как она мне благодарна, и спрашивает, не может ли чем-нибудь помочь. Никогда не задерживается надолго, чтобы не мешать, и всегда осведомляется о тебе. Когда я отвечаю, что ты занята, она говорит, мол, у нее и в мыслях не было тебя беспокоить, и просит прощения за беспокойство, которое причинила мне. Вчера она сказала, что ей кажется, будто ты все еще относишься к ней с подозрением. Я ответил, что этого не нахожу. Она болтает несколько минут обо всем понемножку, целует меня, как примерная племянница, и исчезает. Я получаю от ее визитов большое удовольствие. Но я был уверен, что упоминал о них тебе.

— Никогда. Эта женщина — змея. Я думаю, что разгадала ее план. Она постарается втереться к тебе в доверие — как примерная племянница, естественно, — а затем начнет возводить на меня напраслину. Сперва потихоньку, намеками, а затем, обнаглев, прямо, без околичностей. Возможно, она сочинит потрясающую историю о том, что я веду двойную жизнь. Скажет, что у тебя за спиной я каждую ночь занимаюсь распутством — гладиаторы, актеры, молодые щеголи, волокиты и им подобные. И ты, конечно, ей поверишь, как примерный дядюшка. О боже, до чего женщины любят сплетни. Верно, она уже принялась за это. Да?

— Нет, разумеется. Я бы не дал ей и рта раскрыть. Я не поверю никому, кто скажет, что ты изменяешь мне словом или делом. Я не поверю этому, даже если ты скажешь мне это сама. Ты довольна?

— Прости меня, милый, за ревность. Такая уж у меня натура. Я не могу вынести, когда ты водишь компанию с женщинами у меня за спиной, даже с родственницами. Я боюсь оставлять тебя с ними наедине. Ты так простодушен. Я не успокоюсь, пока не узнаю, какая подлость у Лесбии на уме. Но я не хочу, чтобы она догадалась, что я подозреваю ее. Не показывай, что поймал ее на лжи, до тех пор, пока у меня не будет против нее более серьезных улик. Обещай!

Я пообещал. Я сказал Мессалине, что больше не верю, будто в душе Лесбии действительно произошел перелом, и буду сообщать обо всех ее замечаниях во время наших бесед. Это успокоило Мессалину; она призналась, что сможет продолжать работу с более легким сердцем.

Я честно повторял Мессалине все, что говорила мне Лесбия. Для меня в ее словах не было ничего существенного, но Мессалина находила во многих из них особый смысл; особенно она придралась к одной — для меня вполне невинной — фразе, касающейся сенатора по имени Сенека. Сенека был судьей второго ранга и однажды навлек на себя неприязнь Калигулы, вызвав его зависть красноречием, с которым выступал в сенате. Он бы, несомненно, лишился головы, если бы не я. Я оказал ему услугу, умалив его ораторские способности; я сказал Калигуле: «Красноречив? Нет, Сенека не обладает красноречием. Просто он хорошо образован и у него изумительная память. Его отец был составителем книги „Полемика и искусство убеждения“ — сборника упражнений в риторике на заданные темы. Детские игрушки. Он много еще чего написал, что не вышло в свет; похоже, Сенека выучил все это наизусть. У него теперь есть ключ к любому замку. Это не красноречие, за ним ничего не стоит, не чувствуется никакой индивидуальности. Я скажу тебе, на что это похоже: на песок без извести. На этом репутацию оратора не построишь». Калигула повторил мои слова, выдав их за собственные. «Всего лишь школьные упражнения. Детская декламация, заимствования из неопубликованных книг отца. Песок без извести». И Сенеке была оставлена жизнь.

Теперь Мессалина спросила меня:

— Ты уверен, что она по собственному почину стала хвалить Сенеку, говоря, какой он честный и ничуть не честолюбивый? Может быть, ты первый заговорил о нем?

— Нет.

— Тогда можешь не сомневаться — Сенека ее любовник. Я подозревала последнее время, что у нее есть тайный любовник, но она так ловко замечает следы, что я не могла с уверенностью сказать, кто это: Сенека, или двоюродный брат ее мужа Винициан, или этот тип Азиний Галл, внук Поллиона. Они все живут на одной улице.

Десять дней спустя Мессалина сказала мне, будто она имеет неопровержимые доказательства того, что Лесбия во время отъезда из Рима ее мужа Виниция изменяла ему с Сенекой. Она привела ко мне свидетелей, которые клятвенно утверждали, будто видели, как поздно вечером Сенека, переодетый, выходил из своего дома, шли за ним до дома Лесбии, куда он входил через боковую дверь, замечали, как в спальне Лесбии внезапно загорался и тут же гаснул свет, а через три или четыре часа Сенека на их глазах выскальзывал из двери, все еще переодетый, и возвращался к себе.

Было ясно, что Лесбию нельзя было дольше оставлять в Риме. Она была моя племянница и, следовательно, важная фигура в обществе. Она уже была однажды отправлена в изгнание по обвинению в прелюбодеянии, и я вернул ее обратно только на том условии, что в будущем она станет вести себя более осмотрительно. Я ожидал, что все члены нашей семьи будут показывать римлянам высокий моральный пример. Сенеку тоже придется выслать. Он был женатый человек, сенатор, и хотя Лесбия, конечно, красавица, зная Сенеку, я подозревал, что толкнуло его на эту связь скорее честолюбие, чем вожделение. Она была прямым потомком Августа, Ливии и Марка Антония, дочерью Германика, сестрой покойного императора и племянницей ныне здравствующего, а он был всего-навсего сыном зажиточного провинциального грамматиста и родился в Испании.

Не знаю почему, но мне не хотелось самому беседовать с Лесбией, и я попросил сделать это Мессалину. Я чувствовал, что в этом деле у нее больше причин

возмущаться; я хотел, чтобы она была мной довольна, увидела, как я сожалею о том, что дал ей хотя бы малейший предлог для ревности. Она с радостью взяла на себя задачу отчитать Лесбию за ее неблагодарность и познакомить с моим приговором: ссылкой в Регий — город на юге Италии, где умерла ее бабка Юлия, сосланная туда за такое же преступление. Мессалина рассказала мне потом, что Лесбия держалась очень нагло, но в конце концов призналась в своей связи с Сенекой, сказав, что тело ее принадлежит только ей и она может делать с ним, что ей угодно. Узнав, что ее ждет изгнание, она впала в ярость и принялась угрожать нам обоим; она сказала: «Однажды утром слуги войдут в императорскую спальню и увидят, что у вас обоих перерезано горло» и «Как, по-вашему, мой муж и его семья отнесутся к этому оскорблению?»

— Пустые слова, любимая, — сказал я. — Не принимай их всерьез, хотя, пожалуй, есть смысл не спускать глаз с Виниция и его компании.

В ту самую ночь, когда Лесбия отправилась в Регий, незадолго до рассвета мы с Мессалиной проснулись от внезапного вопля и возни в коридоре за нашей дверью, громкого чихания и криков «Хватай его! Караул! Убийцы! Держи его!». Я соскочил с постели — от неожиданности сердце сильно билось у меня в груди — и схватил стул в качестве орудия обороны, умоляя Мессалину укрыться за моей спиной. Но мне не пришлось доказывать свою храбрость. Я увидел лишь одного человека, к тому же обезоруженного.

Я приказал страже не выпускать из рук мечей и снова лег в постель, хотя уснуть мне удалось не сразу: надо было успокоить Мессалину. Она была ни жива ни мертва от страха и то плакала, то смеялась.

— Это работа Лесбии, — всхлипывала она. — Я в этом уверена.

Утром я велел привести ко мне того, кто на меня покушался. Он признался, что он сирийский грек, вольноотпущенник Лесбии, хотя на нем была дворцовая ливрея. Я услышал от него совершенно нелепую историю. Он сказал, будто не собирался меня убивать. Виноват он лишь в том, что перепутал слова в самом конце таинства.

— Какого таинства? — спросил я.

— Мне запрещено говорить об этом, цезарь. Я не осмеливаюсь все тебе открывать. Это самое священное из всех священных таинств. Меня посвятили в него только вчера вечером. Это было под землей. Принесли в жертву какую-то птицу, и я выпил ее кровь. Появились два высоких духа с сияющими лицами и дали мне перечницу и кинжал. Мне рассказали, что они означают. Затем завязали мне глаза, переодели и приказали молчать. Они произнесли магические слова и велели следовать за ними в преисподнюю. Они водили меня туда и сюда, вверх и вниз по лестницам, по улицам и садам и описывали все странные зрелища, какие попадались по пути. Мы сели в лодку и заплатили перевозчику. Это был сам Харон. Затем мы вышли на берег ада. Они показали мне весь ад. Со мной говорили духи моих предков. Я слышал, как лает Цербер. Наконец они сняли с моих глаз повязку и шепнули: «Ты находишься в чертогах Бога смерти. Спрячь кинжал в своей тунике. Иди по этому коридору направо, в его конце поднимись по ступеням, затем иди налево по другому коридору. Если тебя остановит человек, назови ему пароль. Пароль — „судьба“. Бог смерти и его богиня спят в последней комнате. У их дверей стоят на страже еще два человека. Они отличаются от прочих. Мы не знаем их пароля. Подкрадись к ним тихонько, прячься в тени, и кинь им в глаза священный перец из этой перечницы. Затем смело распахни дверь и убей бога и богиню. Если тебе удастся все это осуществить, ты будешь до скончания времени жить там, где царит вечное блаженство, и станешь более великим, чем Геркулес, более великим, чем Прометей, более великим, чем сам Юпитер. Больше не будет смерти. Но по пути ты должен вновь и вновь повторять заклинание, благодаря которому мы безопасно привели тебя сюда. Если ты этого не сделаешь, все наши труды окажутся напрасны. Чары

будут нарушены, и ты очутишься совсем в другом месте». Мне стало страшно. Наверно, я перепутал магические слова, потому что, размахнувшись, чтобы кинуть перец, я вдруг увидел, что я в Риме, в императорском дворце и сражаюсь со стражей у дверей в твою спальню. Меня посетила неудача. Смерть по-прежнему царит в мире. Другой, более храбрый и хладнокровный человек, чем я, нанесет когда-нибудь этот удар.

— Сообщники Лесбии неглупы, — шепнула Мессалина. — Какой идеальный заговор!

— Кто посвящал тебя? — спросил я его. Но он не отвечал, даже под пытками, а от солдат у главных ворот я тоже ничего не добился — они только недавно были взяты на службу. Они сказали, что впустили его потому, что на нем была дворцовая ливрея и он знал пароль. Я не мог их винить. Он подошел к воротам вместе с двумя другими людьми в дворцовой ливрее, которые пожелали ему доброй ночи и ушли.

Я был склонен верить его истории, но он наотрез отказывался сказать, кто именно устроил его посвящение в это так называемое таинство. Когда я вежливо заверил его в том, что это никакое не таинство, а тщательно подготовленная мистификация и поэтому он не связан клятвой, он вспылил и отвечал мне очень грубо. Поэтому пришлось его казнить. И после долгой внутренней борьбы я был вынужден согласиться с Мессалиной, что ради общественной безопасности Лесбию тоже надо казнить. Я послал отряд кавалергардов, и на следующий день они привезли мне голову Лесбии как свидетельство ее смерти. Мне было очень мучительно казнить дочь моего дорогого брата Германика, ведь я пообещал на его смертном одре любить и защищать его детей, как моих собственных. Но я был вынужден так поступить. Я утешался мыслью, что на моем месте он поступил бы так же. Общественный долг был для него всегда выше личных чувств.

Что касается Сенеки, я сказал сенату, что, если у них нет веских оснований против, то я бы просил их утвердить указ о его ссылке на Корсику. Что и было сделано. Ему дали тридцать часов, чтобы покинуть Рим, и тридцать дней, чтобы покинуть Италию. Сенека не был популярен в сенате. На Корсике ему предоставились все возможности применить на практике философию стоиков, к которой он обратился, как он заявил, благодаря какому-то случайному моему слову в похвалу стоицизма. Лъстивость этого субъекта была поистине тошнотворной. Когда год или два спустя мой советник Полибий лишился любимого брата, Сенека, едва знакомый с Полибием и совсем не знакомый с его братом, прислал ему с Корсики длинное, тщательно сформулированное письмо, которое одновременно, его стараниями, было опубликовано в Риме под названием «Соболезнование Полибию». Соболезнование это выразилось в том, что автор письма мягко упрекал Полибия за уступку горю из-за смерти брата в то время, как я, цезарь, был жив и здоров и по-прежнему выказывал ему свое царственное благоволение.

«До тех пор, пока цезарь нуждается в Полибии, — писал Сенека, — Полибий должен нести свою ношу так же безотказно, как гигант Атлант, который, как говорят, несет на своих плечах весь мир во исполнение воли богов.

Самому цезарю, коему все дозволено, по этой же причине многое недоступно. Его бдительность — защита каждому дому, благодаря его трудам все отдыхают, его усердие ведет к счастью всех граждан, его неустанная деятельность влечет за собой всеобщее благоденствие. С того момента, когда цезарь посвятил себя человечеству, он утратил себя самого и, подобно звездам, что без остановки кружат по своим орбитам, ни разу с тех пор не позволил себе передохнуть или заняться собственными делами. А твоя судьба, Полибий, некоторым образом связана с его царственной судьбой, и ты тоже не можешь теперь думать о собственных интересах,

жить собственной жизнью. До тех пор, пока цезарь властен над миром, честь не позволяет тебе быть сопричастным радости или горю или любому другому свойственному людям чувству. Ты душой и телом принадлежишь цезарю. Разве это не твои собственные слова: „Цезарь мне дороже жизни“? Какое же право ты имеешь сетовать на тяжкий удар судьбы, когда цезарь живет и здравствует?»

Там было еще много разглагольствований о моем удивительном милосердии и сострадательности и целый абзац, где мне вкладывались в уста весьма нелепые изречения о том, как благородные люди должны переносить утрату брата. Я якобы ссылался на своего деда, Марка Антония, скорбевшего о своем брате Гае, на дядю Тиберия, скорбевшего о моем отце, на Гая Цезаря, скорбевшего о молодом Луции, и на самого себя, скорбевшего о моем брате Германике, а затем повествовал о том, как героически каждый из нас по очереди справлялся со своим горем. Эти сладкие слюни возымели лишь одно действие: я еще раз убедился в душе, что никому не причинил вреда, отправив Сенеку в изгнание, — разве что острову Корсика.

Глава XIII

Александрийские греки прислали указания своим посланцам, которые все еще были в Риме, чтобы они поздравили меня с победой в Германии, пожаловались на наглость евреев (в городе возобновились волнения), испросили моего разрешения опять создать в Александрии сенат и вторично предложили построить мне храмы, обеспечить их жрецами и содержать за свой счет. Помимо этой главной почести, они намеревались оказать мне еще несколько менее важных, в том числе воздвигнуть две золотые статуи, одну — олицетворяющую «Мир Клавдия Августа», вторую — «Победоносного Германика». Вторую статую я принял, так как она чествовала в основном моего отца и брата, чьи победы были куда важнее моих и завоеваны ими лично, и чертами лица эта статуя напоминала не меня, а их (все сходилось на том, что брат был вылитый отец). Как всегда, евреи, в свою очередь, тоже прислали посольство, поздравляя меня с победами, благодаря за великодушие, которое я проявил, издав эдикт о веротерпимости, касающийся всех евреев империи, и обвиняя греков в том, что они вызывают новые беспорядки, мешая священнодействиям во время праздников своими непристойными песнями и танцами перед синагогами. Я вложу в рукопись копию моего ответа александрийцам, чтобы показать, как я теперь управлялся с такими вопросами.

«Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик, император, великий понтифик, защитник народа, консул этого года, приветствует город Александрию.

Ваши посланцы Тиберий Клавдий Барбилл, Аполлоний, сын Артемидора, Херемон, сын Леонида, Марк Юлий Асклепиад, Гай Юлий Дионисий, Тиберий Клавдий Фаний, Пасион, сын Потамона, Дионисий, сын Саббиона, Тиберий Клавдий Аполлоний, сын Аристана, Гай Юлий Аполлоний и Гермеск, сын Аполлония, передали мне вашу петицию и подробно ознакомили меня с положением в Александрии, оживив расположение, которое я в течение многих лет, как вы знаете, испытывал к вам, поскольку вы всегда были преданы дому Августа, чему есть много доказательств. Особенно дружеские отношения установились между вашим городом и моей семьей; в этой связи достаточно упомянуть моего брата Германика Цезаря, чье благоволение к вам проявилось сильнее всего: он приехал в Александрию и лично обратился к вам. По этой же причине я с радостью принимаю предложенные вами почести, хотя обычно я к ним равнодушен.

Прежде всего я разрешаю вам отмечать день моего рождения как День Августа таким образом, как вы пишете. Затем я согласен на то, чтобы в указанных вами местах были воздвигнуты статуи мне и членам моей семьи, ибо я вижу, сколь горячо вы стремитесь дать мне свидетельство вашей преданности мне и моему роду. Что касается двух золотых статуй, ту, что называется „Мир Клавдия Августа“, сделанную по предложению моего друга Барбилла, я принять не могу, так как это может обидеть моих сограждан; ее надо посвятить богине РOME; вторую статую следует носить в процессиях так, как вы сочтете нужным, по соответствующим дням рождения; можете снабдить ее пьедесталом. Наверно, глупо, приняв из ваших рук эти почести, отказывать в образовании Клавдиевой трибы и в санкционировании священных участков в каждой области Египта, поэтому я разрешаю вам это сделать, и, если хотите, можете воздвигнуть конную статую моего губернатора, Витрасия Поллиона. Я также даю согласие на ваше ходатайство позволить вам установить в мою честь квадриги на границах империи: одну в Тапозире в Ливии, вторую в Фаросе в Александрии и третью в Пелузии в Нижнем Египте. Но я должен просить не назначать верховного жреца для поклонения мне и не воздвигать мне храмов, так как я не хочу оскорблять чувства своих собратьев — ведь, насколько я знаю, алтари и храмы на протяжении веков строились только в честь богов, никому другому это не причитается.

Что касается прочих ваших ходатайств, которые вы так горячо просите удовлетворить, вот мое решение. Я утверждаю гражданство всех жителей Александрии, достигших совершеннолетия к моменту моего вступления на престол, и их право на те привилегии и блага, которые с этим сопряжены; исключение составляют те самозванцы — сыновья рабынь, — которым удалось проникнуть в число свободнорожденных граждан. По моему соизволению все милости, дарованные вам моими предшественниками, будут за вами закреплены, так же как и те, что были дарованы вам прежними вашими царями и городскими префектами и подтверждены Божественным Августом. Согласно моему соизволению, священнослужители храма Августа в Александрии должны избираться по жребию так же, как они избираются в его храме в Канопе. Я одобряю ваш план назначения судей на трехлетний срок как весьма разумный, ведь, зная, что в конце службы придется давать отчет за любую допущенную ими ошибку, они будут вести себя осмотрительнее. Что касается просьбы о возрождении сената, я не могу сказать без подготовки, каков был обычай при Птоломеях, но вы знаете не хуже меня, что ни при одном из моих предшественников из рода Августа в Александрии сената не было. Поскольку вы предлагаете вступить на совершенно непроторенный путь и я совсем не уверен, будет ли это во благо вам или мне, я написал вашему теперешнему префекту, Эмилию Ректу, и попросил его навести справки, затем сообщить мне, будет ли создано сословие сенаторов, и если да, то каким образом.

Что до того, кто ответственен за недавние беспорядки или вернее — если говорить прямо — войну, которая идет между вами и евреями, то я не желаю связывать себя обязательством решать этот вопрос, хотя ваши послы, в особенности Дионисий, сын Теона, горячо защищали интересы греков в присутствии своих противников — евреев. Однако я сохраняю за собой право на суровое осуждение той стороны — кто бы это ни был, — которая начала беспорядки, и прошу вас понять: если обе стороны не прекратят эту упорную разрушительную вражду, я буду вынужден показать, на что способен благосклонный правитель, если в нем зажгут праведный гнев. А посему я вновь молю вас, александрийцы, выказать дружественную терпимость к иудеям, которые много лет живут с вами бок о бок, и не оскорблять их чувств, когда они молятся своему Богу согласно древним обрядам. Не мешайте им, пусть следуют своим национальным обычаям, как

то было в дни Божественного Августа, ибо я подтвердил их право на это, после того как беспристрастно выслушал обе стороны во время диспута. С другой стороны, я желаю, чтобы евреи не настаивали на новых привилегиях сверх тех, что им уже дарованы, и не присылали ко мне отдельных послов, словно вы живете в разных городах — неслыханное дело! — и не выступали в качестве соперников в атлетических и прочих состязаниях во время общественных Игр. Евреи должны довольствоваться тем, что они имеют, радуясь благам, которые дает большой город, исконными жителями которого они не являются, и не должны больше приглашать в Александрию на жительство соотечественников и единоверцев из Сирии или других частей Египта, не то они вызовут во мне еще большее подозрение. Если они пренебрегут этим советом, я буду считать, что они разжигают всеобщую вражду, и обрушу на них свою месть. До тех пор, однако, пока обе стороны будут терпимо и доброжелательно относиться друг к другу, воздерживаясь от взаимной неприязни, я обещаю проявлять такое же дружеское попечение об александрийцах и заботу об их интересах, какие всегда выказывала в прошлом моя семья.

Я должен здесь засвидетельствовать то, с каким рвением блюдет ваши интересы мой друг Барбилл, который вновь доказал это во время настоящего посольства, и сказать то же самое о моем друге Тиберии Клодии Архибусе.

Прощайте».

Этот Барбилл был астролог из Эфеса; Мессалина безоговорочно верила в его возможности, и я должен признать, что он действительно был очень умен и как предсказатель уступал лишь великому Фрасиллу. Он учился своему делу в Индии и в Вавилоне у халдеев. Его любовь к Александрии объяснялась тем, что много лет назад, когда Тиберий изгнал из Рима всех астрологов и предсказателей, кроме своего любимого Фрасилла, и Барбилл был вынужден покинуть город, первые люди Александрии оказали ему гостеприимство.

Месяц или два спустя я получил от Ирода депешу, где он официально поздравлял меня с победами в Германии, с рождением сына и с тем, что благодаря германским походам я завоевал титул императора. Как всегда, он вложил в конверт и личное письмо:

«Да, ты великий воин, Мартышечка, что тут и говорить! Тебе всего-то и надо что написать пером по бумаге: приказываю идти в поход, и „гопля!“ — знамена развеваются, мечи вылетают из ножен, головы валяются на траву, города и храмы объаты пламенем. Представляю, что было бы, если бы ты сел как-нибудь верхом на слона и самолично вывел войска на поле брани! Верно, разбил бы все вокруг в пух и прах. Я помню, как-то раз твоя дорогая матушка высказалась о тебе — не очень лестно — как о будущем завоевателе Британии. Почему бы и нет? Что до меня, я и в мыслях не держу никаких военных триумфов. Мир и безопасность — вот все, чего я прошу. Занят я тем, что готовлю свои владения к обороне против возможного вторжения парфян. У нас с Кипридой все хорошо, мы счастливы; дети тоже в порядке. Они учатся быть примерными иудеями и делают это быстрее, чем я, ведь они моложе. Между прочим, мне не нравится Вибий Марс, твой новый губернатор в Сирии. Боюсь, мы с ним скоро поссоримся, если он не перестанет совать нос в мои дела. Я очень жалел, когда кончился срок службы Петрония, — превосходный человек! Бедняга Сила все еще в узилище. Правда, я предоставил ему самую уютную камеру и разрешил пользоваться письменными принадлежностями, чтобы он мог дать выход негоднованию по поводу моей неблагодарности. Естественно, он получает не пергамент и не бумагу, а восковую дощечку, так что, закончив одно обвинение, он вынужден его стереть, прежде чем начать другое.

Ты весьма популярен среди александрийских евреев, и твои суровые слова в письме к александрийцам не пропали даром: евреи умеют читать между строк. Я слышал от моего старого друга алабарха Александра, что копии его были разосланы по всему городу со следующим оповещением от имени городского префекта:

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛУЦИЯ ЭМИЛИЯ РЕКТА

„Поскольку население Александрии слишком велико, чтобы все имели возможность присутствовать при чтении этого священного и милостивого письма, адресованного нашему городу, я счел необходимым развесить его во всех людных местах, чтобы каждый горожанин мог сам его прочитать, оценить величие Божественного Цезаря Августа и выразить благодарность за его доброту.

Четырнадцатый день августа, второй год правления Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика Императора“.

Они все равно тебя обожествят, хочешь ты того или нет; а пока будь здоров телом и бодр духом, хорошо ешь, крепко спи и никому не доверяй. Разбойник».

Школярские поддразнивания Ирода насчет легкости, с какой я завоевал титул императора, задела меня за живое. Его напоминание о словах матери тоже сыграло свою роль: задело мою веру в сверхъестественные силы. Однажды, много-много лет назад, когда я рассказал матери, что хочу ввести в латинский алфавит три новые буквы, она вскричала в припадке раздражения, что есть три вещи, которые никогда не осуществляются: никогда через Неаполитанский залив не протянется улица с лавками, никогда я не покорю остров британцев и никогда ни одна из моих нелепых букв не появится в публичных надписях в Риме. Однако первое уже сбылось — в тот день, когда Калигула построил свой знаменитый мост между Байями и Путеолами и застроил его с двух сторон лавками. Третье может сбыться в любой день, когда мне будет угодно, — достаточно испросить на это разрешения сената. Так почему бы не сбыться и второму?

Несколько дней спустя я получил депешу от Марса с пометкой: «срочно, секретно». Марс был способный губернатор и честный человек, хотя малопривлекательный в обществе — замкнутый, с сухими манерами, саркастичный, лишенный слабостей и причуд. Я назначил его на этот пост из благодарности за то участие, которое он, будучи командиром полка на Востоке лет двадцать назад, принял в разоблачении Пизона, убившего моего брата Германика, и в возбуждении против него уголовного дела. Марс писал:

«...Мой сосед, твой друг Ирод Агриппа, как мне сообщают, укрепляет Иерусалим. Возможно, тебе это известно, но я пишу, чтобы ты понял: когда укрепления будут закончены, Иерусалим станет неприступным. Я не хочу обвинять твоего друга царя Ирода в вероломстве, но, как губернатор Сирии, смотрю на эту ситуацию со страхом. Иерусалим господствует на торговом пути в Египет, и если тот попадет в руки к безответственному человеку, Риму будет грозить серьезная опасность. Говорят, что Ирод боится вторжения парфян, однако он достаточно оградил себя от этой маловероятной угрозы секретным союзом со своими царственными соседями на границе с Парфией. Не сомневаюсь, что ты одобряешь его заигрывания с финикийцами: он послал огромные дары в Бейрут, строит там амфитеатр, портики и общественные бани. Мне трудно понять, из каких соображений он обхаживает финикийцев. Однако пока что он не пользуется особым доверием у старейшин Тира и Сидона; возможно, у них есть на то

основания, не мне судить. Риска вызвать твое неудовольствие, я буду сообщать о политических событиях к югу и востоку от моего военного округа по мере того, как они будут оказываться в поле моего внимания».

Мне было крайне неприятно это читать, и сперва я рассердился на Марса за то, что он подрывает мое доверие к Ироду, но, поразмыслив, почувствовал к нему благодарность. Я не знал, что мне и думать. С одной стороны, я не сомневался, что Ирод не порвет узы дружбы между нашими странами и не нарушит клятву верности, данную мне перед всеми на рыночной площади; с другой стороны, у него, судя по всему, были какие-то тайные замыслы, которые, будь это любой другой человек, я бы назвал предательскими. Я был рад, что Марс смотрит в оба. Я никому ничего об этом не сказал, даже Мессалине, а Марсу написал так: «Письмо получил. Будь осторожен. Докладывай о дальнейших событиях». Ироду я отправил туманное письмо:

«Возможно, я воспользуюсь твоим советом насчет Британии, мой дорогой Разбойник, и если действительно решу вторгнуться на этот злосчастный остров, я обязательно усядусь верхом на слона. Это будет первый слон, которого увидят в Британии, и он, конечно, вызовет всеобщий восторг. Я был рад узнать, что у тебя все в порядке; не тревожься из-за вторжения парфян. Если я услышу, что они затевают драку и причиняют тебе беспокойство, я тут же пошлю в Лион за твоим дядей Антипой, чтобы он надел свои семьдесят тысяч первые доспехи и немедленно их разгромил, так что Киприда может спокойно спать ночью, а ты можешь не строить больше в Иерусалиме укрепления. Нам ни к чему, чтобы Иерусалим превратился в крепость, ты согласен? А вдруг твои разбойники родичи из Идумеи решат сделать набег и умудрятся проникнуть в Иерусалим до того, как ты достроишь последний бастион? Нам же не выгнать их обратно даже при помощи осадных орудий, „черепаш“ и таранов, что же тогда будет с торговым путем в Египет? Жаль, что тебе не понравился Вибий Марс. Как подвигается твой амфитеатр в Бейруте? Я послушался твоего совета и решил не доверять никому, кроме моей дорогой Мессалины, Вителлия, Руфрия и моего старого друга детства Разбойника, чьим поклопам на самого себя я как не верил, так и впредь не поверю и для кого я всегда останусь любящим его

Мартышкой».

Ирод ответил в своем обычном беспечном тоне, поддразнивая меня, точно ему безразлично, что будет с укреплениями, но теперь он знал, что мое шутовское письмо отнюдь не было таким шутовским, каким казалось на первый взгляд, знал он также, что Марс докладывает мне о нем. Марс вскоре ответил мне так же коротко, как писал ему я, и сообщил, что работы на укреплениях прекращены.

42 г. н. э.

Я возложил на себя консульские полномочия в марте, что пришлось на новый год, но через два месяца снял их в пользу сенатора, которому они причитались следом за мной; я был слишком загружен, чтобы заниматься делами, которые входили в обязанности консулов. В том году родилась моя дочь Октавия, чуть не произошел переворот во главе с Виницианом и Скрибонианом, и я присоединил к империи Марокко в качестве провинции. Сперва я коротко расскажу про Марокко. Мавры снова восстали под руководством способного полководца по имени Салаб, который возглавлял их в предыдущей кампании. Павлин, командовавший там римскими войсками, дошел до самого Атласского хребта, но так и не смог подойти вплотную к Салабу и нес тяжелые потери от засад и ночных атак. Тут срок его службы кончился, и он должен был вернуться в Рим. На смену ему пришел некий Хосидий

Гета, которому я наказал перед его отъездом ни в коем случае не допустить, чтобы Салаб стал вторым Такфаринатом. (Такфаринат был нумидиец, который при Тиберии помог трем генералам подряд получить лавровые венки, проигрывая решающее, казалось бы, сражение, а как только римские войска отводили назад, опять появляясь во главе вновь созданной армии; правда, четвертый генерал положил этому конец раз и навсегда, поймав и убив самого Такфарината.) Я сказал Гете:

— Не успокаивайся на частичном успехе. Ищи главные силы Салаба, разгромай их и убей или возьми в плен его самого. Если надо, преследуй его по всей Африке. Если он скроется во внутренних областях страны, где, как говорят, головы людей растут из подмышек, что ж, иди следом за ним туда. Тебе легко будет его опознать: у него голова на шее. Я сказал Гете также: — Я не собираюсь указывать тебе, как надо вести кампанию, но хочу дать один совет: не будь связан жесткими правилами, как это было с генералом Элием Галлом, который отправился на завоевание Аравии, словно Аравия — это Италия или Германия. Он нагрузил солдат обычным шанцевым инструментом, надел на них тяжелую амуницию вместо того, чтобы дать им мехи для воды и дополнительный паек продовольствия, и даже взял с собой несколько осадных орудий. Когда у солдат разболелись животы и они стали кипятить тухлую воду из колодцев, чтобы ее не было так опасно пить, Элий пришел и закричал: «Что? Кипятить воду? Ни один дисциплинированный римский солдат не кипятит воду для питья! Да еще на кизяке. Неслыханно! Римские солдаты собирают хворост или обходятся без костров!» Он потерял большую часть своей армии. И помни: внутренние области Марокко — опасные места. Приноравливай свою тактику и снаряжение к местным условиям.

Гета последовал моему совету в самом буквальном смысле. Он гонял Салаба по Марокко из конца в конец, два раза нанес ему поражение, причем во втором случае чуть было не захватил его в плен. После этого Салаб скрылся в Атласских горах, пересек их и углубился в лежавшую за ними неисследованную пустыню, велел своим людям оборонять перевал, пока он не получит подкрепления у своих союзников, здешних кочевников. Гета оставил возле перевала один отряд и с самыми выносливыми из солдат еле преодолел другой, еще более крутой перевал в нескольких милях от первого и отправился на поиски Салаба, взяв с собой столько воды, сколько могли унести его люди и мулы, и сведя снаряжение до минимума. Он рассчитывал найти хоть какую-нибудь воду, но они прошли за петлявшим по пустыне Салабом не меньше двухсот миль, прежде чем увидели первый куст саксаула. Запасы воды стали иссякать, солдаты теряли силы. Гета скрывал тревогу, но было ясно, что, даже если они немедленно повернут обратно, оставив надежду захватить Салаба, им не хватит воды, чтобы благополучно вернуться. Атлас был на расстоянии сотни миль пути, спасти их могло только чудо.

В Риме, когда наступает засуха, мы знаем, как убедить богов послать дождь. У нас есть черный камень, который называется «капающий камень»; в давние времена мы захватили его у этрусков и спрятали в храме Марса за городом. Мы идем в храм торжественной процессией, выносим этот камень наружу, брызгаем на него водой и приносим жертвы, сопровождая все это заклинаниями. После этого всегда начинается дождь... если только мы не допустили какой-либо мелкой ошибки в ритуале, что случается довольно часто. Но у Геты не было с собой «капающего камня», поэтому он стал в тупик. Кочевники привыкли по многу дней обходиться без воды, к тому же превосходно знали местность. Они стали сжимать кольцо вокруг римлян — отрезали от отряда, убивали, раздевали и увечили тех, кто, потеряв от жары рассудок, отставал от своих.

У Геты был денщик-негр, родившийся в этой самой пустыне, но проданный в рабство маврам. Он не помнил, где находится ближайший колодец, так как продали

его ребенком. Но он сказал Гете: «Генерал, почему ты не помолишься Отцу Гва-Гва?» Гета спросил, кто эта персона. Денщик ответил, что это Бог пустыни, который посылает во время засухи дождь. Гета сказал:

«Император велел мне приспособливаться к обстоятельствам. Расскажи мне, как вызвать Отца Гва-Гва, и я тут же сделаю это». Денщик ответил, что он должен взять небольшой горшок, наполнить пивом и закопать его по горлышко в песок, сказав: «Отец Гва-Гва, прими от нас пиво». Все должны вылить воду, которая еще есть у них в мехах в свои кружки, оставив чуть-чуть на дне, только чтобы обмакнуть пальцы и окропить ею землю. Затем все должны пить из кружек, танцевать и восхвалять Отца Гва-Гва, все время разбрызгивая воду, пока кружки не будут пусты. Сам Гета должен говорить нараспев: «Как эта вода орошает песок, так пусть падет на нас дождь! Мы выпили все до последней капли, Отец. Ничего не осталось. Что нам делать? Пей пиво, Отец Гва-Гва, и помочись на нас, твоих детей, не то мы умрем». Пиво — сильное мочегонное, а у этих кочевников такие же теологические понятия, как у древних греков, те тоже считали, что, когда идет дождь, это мочится Юпитер, так что до сих пор греки пользуются одним и тем же словом (разница только в роде), когда имеют в виду небо и ночной горшок. Кочевники верили, что можно побудить бога послать дождь, то есть помочиться, если угостить его пивом. Орошение земли, подобно нашим жертвоприношениям, должно было напомнить ему, если он забыл, как именно льет дождь.

Гета в отчаянии созвал своих солдат — те еле стояли на ногах — и спросил, нет ли у кого-нибудь случайно капельки пива. К счастью, среди них было несколько германцев из вспомогательных войск, и они предпочли взять с собой пиво, а не воду. В одном из мехов еще оставалось одна-две пинты. Гета уговорил их отдать это пиво ему. Затем поровну раздал оставшуюся воду, но пиво приберег для Отца Гва-Гва. Солдаты танцевали, пили воду и брызгали ею на песок, а сам Гета произносил предписанное заклинание. Отец Гва-Гва (по-видимому, имя его означает «Вода») был так доволен и поражен почестями, которые ему оказала эта внушительная компания абсолютных незнакомцев, что небо тут же потемнело от грозовых туч и начался такой ливень, длившийся трое суток, что каждая впадинка в песке превратилась в полную до краев лужу. Армия была спасена. Кочевники, посчитав ливень явным признаком благоволения Отца Гва-Гва к римлянам, смиренно предложили союз. Гета ответил отказом: пусть раньше выдадут ему Салаба. И вскоре Салаб был доставлен в цепях в римский лагерь. Гета и кочевники обменялись дарами, был заключен договор. Затем Гета двинулся обратно в горы, подошел с тыла к солдатам Салаба, все еще сторожившим перевал, и перебил или взял в плен весь отряд. Остальные силы мавров, увидев, что их вожака привезли в Танжер в цепях, сдались без боя. Так вот две пинты пива спасли жизнь двум тысячам римлян и дали Риму новую провинцию. Я приказал поставить храм Отцу Гва-Гва в пустыне за горами, где простирались его владения, и Марокко — я разделил его на две провинции: Западное Марокко со столицей в Танжере и Восточное Марокко со столицей в Кесарии — должно было обеспечивать его ежегодно данью в сто мехов самого лучшего пива. Я даровал Гете триумфальные украшения и просил бы сенат закрепить за ним наследственное имя Мавр («из Марокко»), если бы он не превысил свои полномочия, казнив Салаба в Танжере, не посоветовавшись сперва со мной. Это не диктовалось стратегической или тактической необходимостью, Гета сделал это только из тщеславия.

Я упоминал не так давно о рождении моей дочери Октавии. За это время и сенат, и народ стали все больше заискивать перед Мессалиной, так как было хорошо известно, что я передал ей большую часть своих обязанностей блюстителя нравов. Теоретически она считалась моей советницей, но, как я уже объяснял, у нее был дубликат моей личной печати, и она могла скреплять ею любые документы; кроме

того, я позволил ей решать, в определенных границах, кого из сенаторов или всадников вывести из сословия за нарушение благопристойности и кем занять открывшиеся вакансии. Она взяла на себя также трудоемкую задачу судить, кто из претендентов на римское гражданство достоин его получить. Сенат хотел воспользоваться рождением Октавии, чтобы пожаловать Мессалине титул «Августа». Как я ни любил ее, я считал, что она еще не заслужила эту честь. Ей было всего семнадцать, а моя бабка получила этот титул только после смерти, а мать — в глубокой старости. Поэтому я отказал им. Но александрийцы, не спросив моего разрешения — а то, что было сделано, я отменить не мог, — выпустили монету, где на лицевой стороне был мой профиль, а на обратной — изображение Мессалины во весь рост в одеянии богини Деметры; на ладони одной руки она держала две фигурки, символизирующие сына и дочь, в другой — сноп пшеницы, символизирующий плодородие: лестная игра слов, так как латинское *messis* означает «урожай». Мессалина была в восторге.

Как-то вечером Мессалина робко вошла ко мне в комнату, молча, словно украдкой, взглянула мне в лицо и наконец, запинаясь, смущенно спросила:

— Ты меня любишь, дражайший муж?

Я заверил ее, что люблю ее больше всего на свете.

— А какие три столпа есть в храме любви, о которых ты говорил мне на днях?

— Я сказал, что храм любви поддерживается тремя столпами: добротой, искренностью и пониманием. Вернее, я процитировал слова философа Мнасалка, который это сказал.

— Тогда выкажи мне самую большую доброту и самое большое понимание, на которое способна твоя любовь. От моей любви понадобится только искренность. Перейду к делу. Если это не очень для тебя трудно, не разрешишь ли ты мне... не позволишь ли... некоторое время спать отдельно? Я не хочу сказать, что люблю тебя хоть на йоту меньше, чем ты меня, но у нас родилось двое детей за каких-то два года, может быть нам не стоит рисковать, может быть лучше подождать немного, прежде чем заводить третьего? Беременность — очень противная штука: по утрам меня тошнит, измучает изжога, расстраивается живот — нет, мне просто не выдержать такого ужаса снова. И, если честно, даже не говоря об этом, я почему-то не испытываю больше к тебе той страсти, что раньше. Клянусь, люблю я тебя не меньше, но скорее как дорогого друга и отца моих детей, чем как возлюбленного. Вероятно, когда появляются дети, мы отдаем им почти все наши чувства. Я ничего от тебя не скрываю. Ты мне веришь, да?

— Я тебе верю, и я тебя люблю.

Она погладила меня по лицу.

— И я ведь не такая, как обыкновенные женщины, правда? — которые только и знают, что рожают детей, пока не состарятся. Я твоя жена — жена императора, я помогаю тебе в имперской работе, а ведь это важнее всего, не так ли? Беременность ужасно мешает этой работе.

Я сказал довольно грустно:

— Конечно, любимая, если таковы твои чувства, я не из тех мужей, которые добиваются своего силой. Но разве так уж обязательно нам спать врозь? Разве мы не можем спать в одной постели просто для компании?

— О, Клавдий! — вскричала она, чуть не плача. — Мне так трудно было решиться попросить тебя об этом, ведь я так сильно тебя люблю и не хочу тебя обидеть. Не делай все еще трудней. Теперь, после того как я искренне все тебе сказала, разве тебе не будет ужасно тяжело, если, лежа со мной в одной постели, ты проникнешься вдруг ко мне страстью, а я не смогу ответить тем же? Если я оттолкну тебя, это будет не менее губительно для нашей любви, чем если я уступлю тебе против желания; я уверена, ты будешь потом очень раскаиваться, если что-нибудь

уничтожит мою привязанность к тебе. Неужели ты не видишь, насколько лучше, если мы будем спать врозь, пока мои чувства не станут такими, как раньше. Скажем, просто, чтобы быть дальше от искушения, я буду спать в своих апартаментах в Новом дворце. Работе это только пойдет на пользу. Я буду вставать утром и сразу браться за бумаги. Из-за этих родов я сильно отстала с реестром граждан.

— Как ты думаешь, сколько ты захочешь оставаться там? — умоляюще произнес я.

— Мы увидим, как пойдет дело, — сказала Мессалина, нежно целуя меня в затылок. — О, как я рада, что ты не сердишься, у меня стало легко на душе. Сколько? О, не знаю. Неужели это так важно? В конце концов, что для любви постель, если любящих связывают другие крепкие узы, например приверженность идеалам, красоте и совершенству. Тут я согласна с Платоном. Он считал физическую близость помехой любви.

— Он говорил о гомосексуальной любви, — напомнил я ей, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком уныло.

— Ну, дорогой, — сказала она беспечно, — я делаю мужскую работу, так же как ты, так что, в конечном счете, согласишься, это одно и то же. А что мы оба привержены идеалам, это бесспорно, — надо быть большими идеалистами, чтобы заниматься всеми этими нудными делами во имя достижения политического совершенства. Ты со мной не согласен? Ну, значит, договорились? И ты, мой милый, мой дорогой Клавдий, не будешь настаивать, чтобы я делила с тобой постель — в прямом смысле, я хочу сказать. Во всех остальных смыслах я по-прежнему твоя преданная маленькая Мессалина, и помни, пожалуйста, что мне было очень неприятно просить тебя об этом.

Я сказал, что еще больше люблю и уважаю ее за искренность, и, конечно, пусть она поступает, как хочет, но, естественно, я буду с нетерпением ожидать, когда к ней вернутся ее прежние чувства.

— О, пожалуйста, умерь свое нетерпение, — вскричала Мессалина. — Мне от этого делается еще тяжелее. Если ты будешь нетерпелив, я стану думать, что я жестока с тобой, и, кто знает, начну делать вид, будто испытываю несуществующее влечение. Может быть, я отличаюсь от прочих женщин, но почему-то секс почти ничего для меня не значит. Я, правда, подозреваю, что многим другим женщинам это тоже надоедает, хотя они по-прежнему любят своих мужей и хотят, чтобы мужья любили их. Но если у тебя будут романы с другими женщинами, я с ума сойду от ревности. И дело не в том, что ты будешь спать с ними, — пусть, я не против, — а в боязни, как бы вдруг ты не перестал смотреть на одну из них просто как на приятную и удобную партнершу и не полюбил ее сильнее меня; ведь тогда ты захочешь со мной развестись. Я стану с подозрением относиться ко всем женщинам. Хотя нет. Если бы ты спал время от времени с хорошенькой служанкой или какой-нибудь славной чистенькой простолюдинкой, к ним я не стала бы тебя ревновать, наоборот, была бы рада, прямо в восторге, при мысли, что вы приятно проводите время; и потом, когда мы снова будем спать вместе, это не встало бы между нами. Мы считали бы это мерой, принятой ради твоего здоровья, как слабительное или рвотное. Я не стану ждать, что ты скажешь мне имя женщины, я даже предпочитаю его не знать, если только ты мне обещаешь, что у тебя не будет никаких делишек с кем-нибудь из тех знатных дам, к кому я по праву могу ревновать. Говорят, такие именно отношения были между Ливией и Августом.

— Да, в некотором роде. Но она никогда по-настоящему его не любила. Она сама сказала мне об этом. Это облегчало дело. Она выбирала молодых рабынь на невольничьем рынке и приводила их ночью к нему в спальню. Сириек в основном, если не ошибаюсь.

— Надеюсь, ты не ждешь этого от меня? Я живая женщина, в конце концов.

Таким вот образом, очень умно и очень жестоко, Мессалина сыграла на моей слепой любви. В тот же вечер она перебралась в Новый дворец. В течение долгого времени я ничего больше ей не говорил, надеясь, что она вернется. Но она тоже ничего не говорила, только нежно смотрела на меня, показывая всем своим видом и поведением, что между нами существует полное понимание. Лишь изредка она оказывала мне великое снисхождение и спала со мной. Прошло семь лет, пока до меня дошел первый слух о том, что происходило в ее покоях в Новом дворце, когда старый муж-рогоносец сидел за работой или благополучно храпел в своей постели в Старом дворце.

Здесь самое время рассказать историю Аппия Силана, экс-консула, который со времен Калигулы был губернатором Испании. Надо вам напомнить, что замужество с этим самым Силаном было той взяткой, которую Ливия посулила Эмилиии, если та предаст Постума; Эмилиия была правнучка Августа, с которой в детстве меня чуть не помолвили. Будучи ее мужем, Силан стал отцом трех мальчиков и двух девочек (теперь все они уже взрослые). Не считая Агриппиниллы и ее сына, они были единственными оставшимися в живых потомками Августа. Тиберий, опасаясь Силана из-за его блестящих родственных связей, огульно обвинил его в государственной измене вместе с несколькими другими сенаторами, в том числе Виницианом. Однако доказать этого не удалось и все избежали наказания, отделавшись сильным испугом. В шестнадцать Силан был самым красивым юношей в Риме, в пятьдесят шесть он все еще был очень хорош собой: волосы, чуть тронутые сединой, ясные глаза, походка и стать человека в расцвете лет. Он овдовел, так как Эмилиия умерла от рака. Одна из его дочерей, Кальвина, вышла замуж за сына Вителлия.

Как-то раз, незадолго до рождения маленькой Октавии, Мессалина заговорила со мной:

— Кто нам нужен здесь в Риме, так это Аппий Силан. Вот бы отозвать его из Испании и поселить у нас во дворце в качестве советника. Он исключительно умен и совершенно зря пропадает в Испании.

Я сказал:

— Да, это неплохой план; я восхищаюсь Силаном, и он пользуется большим влиянием в сенате. Но как мы сможем убедить его поселиться во дворце, он же не какой-нибудь мелкий служащий — секретарь или бухгалтер. Для его присутствия здесь должен быть достойный предлог.

— Я уже думала об этом, и мне пришла в голову блестящая мысль. Почему бы не женить его на моей матери? Она не прочь снова выйти замуж, ей всего тридцать три. И она — твоя теща, это будет большая честь для Силана. Ну, скажи же, что мой план хорош.

— Да, если ты договоришься с матерью...

— Я уже спрашивала ее об этом. Она утверждает, что будет в восторге.

Силан вернулся в Рим, и я женил его на Домиции Лепиде, матери Мессалины, и отвел им апартаменты в Новом дворце рядом с Мессалиной. Я скоро заметил, что в моем присутствии Силан чувствует себя неловко. Он охотно оказывал мне услуги, о которых я его просил: посещал неожиданно низшие суды, чтобы проверить, должным ли образом отправляется правосудие, выяснял и передавал мне, каковы жилищные условия в бедных районах города, посещал публичные аукционы, где продавалось конфискованное государственное имущество, и следил, чтобы аукционисты не устраивали никаких фокусов, но, казалось, он не мог глядеть мне в лицо и всегда избегал дружеской близости. Я был обижен. Но, подумайте сами, как я мог отгадать, в чем в действительности дело; а заключалось все в том, что Мессалина попросила меня отозвать Силана, так как еще девочкой была в него влюблена, женила его на своей матери, чтобы было легче вступить с ним в общение, и с первого дня после приезда Силана требовала, чтобы он с ней спал. Только подумать! Ее отчим и на

пять лет меня старше, его внука почти ровесница Мессалине! Нечего удивляться, что Силан странно со мной держался, если Мессалина сказала ему, будто переехала в Новый дворец по моему приказанию и я сам предложил, чтобы она стала его любовницей! Она объяснила, что я хотел отвлечь ее, так как завел глупую интрижку с Юлией, бывшей женой моего племянника Нерона, которую мы звали Елена, чтобы не путать с другими Юлиями, а потом из-за ее чревоугодия стали звать Хэлуон. По-видимому, Силан поверил этой истории, но спать со своей падчерицей, несмотря на ее красоту, отказался наотрез, пусть даже предложение исходит от императора; он сказал, что он человек влюбчивый, но не нечестный.

— Даю тебе десять дней на размышление, — пригрозила Мессалина. — Если под конец ты мне откажешь, я пожалуюсь Клавдию. Ты сам знаешь, какой он стал тщеславный с тех пор, как его сделали императором. Вряд ли ему будет приятно узнать, что ты пренебрег его женой. Он убьет тебя, не так ли, мать?

Домиция Лепида была целиком под каблуком Мессалины и сейчас тоже поддержала ее. Силан им поверил. То, что с ним приключилось при Тиберии и Калигуле, сделало его тайным антимонархистом, хотя он был не из тех людей, которые часто впутываются в политику. Он верил, что стоит человеку оказаться во главе государства, он очень скоро становится жестоким и сладострастным тираном. К концу десятого дня Силан, хотя и не поддался Мессалине, впал в такое отчаяние и иступление, что решил меня убить.

Мой советник Нарцисс в тот вечер случайно обогнал Силана в дворцовом коридоре и услышал, как тот бормочет вне себя: «Кассий Херея... старый Кассий. Сделай это... но не один». Нарцисс был занят своими мыслями и не вник полностью в смысл этих слов. Но они застряли у него в уме, и, как часто бывает в таких случаях, когда он в тот вечер лег спать, даже не вспомнив о встрече, они возникли во сне, претворившись в чудовищную картину: Кассий Херея протягивал Силану окровавленный меч с криком: «Сделай это! Бей! Бей снова! Старый Кассий с тобой! Смерть тирану!», и Силан кидался на меня и разрубал на куски. Сон был таким живым и ярким, что Нарцисс спрыгнул с кровати и поспешил ко мне в спальню, чтобы рассказать о нем.

Неожиданное пробуждение перед самым рассветом — я спал один, и спал не очень хорошо, — дрожащий голос Нарцисса, с ужасом рассказывающего о своем кошмаре, — все это испугало меня до холодного пота. Я велел принести светильники — сотни светильников — и тут же послал за Мессалиной. Мое внезапное приглашение ей тоже внушило страх, вероятно она подумала, что я все узнал, и скорее всего вздохнула с облегчением, услышав, что я всего-навсего хочу рассказать ей про сон Нарцисса.

— О, неужели ему это приснилось? — воскликнула она, содрогаясь всем телом. — О, небо! Это тот самый ужасный сон, который я пытаюсь припомнить каждое утро всю эту неделю. Я просыпаюсь с криком, но не знаю, почему я кричу. Значит, это правда. Конечно, правда. Это божественное предостережение. Немедленно пошли за Силаном и заставь его признаться.

Мессалина выбежала из комнаты, чтобы дать поручение своему вольноотпущеннику. Теперь мне известно, что она велела передать. «Десять дней истекли. Император приказывает тебе явиться к нему и потребует объяснения». Вольноотпущенник не понял, что означают десять дней, но передал все слово в слово, разбудив Силана. Силан вскричал:

— Явиться к нему? Не замедлю!

Он поспешно оделся, сунул что-то в складки тоги и с безумными глазами кинулся впереди посланца к моей комнате.

Но вольноотпущенник был начеку. Он остановил мальчика раба:

— Беги, одна нога здесь, другая — там, в зал заседаний и скажи страже, чтобы,

когда появится Аппий Силан, его обыскали.

Стража нашла спрятанный кинжал и задержала Силана. Я тут же его допросил. Конечно, объяснить для чего ему кинжал, он не мог. Я поинтересовался, не скажет ли он чего-нибудь в свою защиту, но он только рвал и метал, и, захлебываясь от ярости, бормотал что-то нечленораздельное, называя меня тираном, а Мессалину — волчицей. Когда я спросил, почему он хотел убить меня, он сказал вместо ответа:

— Верни мне кинжал, тиран. Я вонжу его в свою грудь!

Я приговорил его к казни. Он умер, бедняга, потому что у него не хватило ума рассказать правду.

Глава XIV

Казнь Силана и побудила Винициана устроить переворот. Когда я в тот же день доложил сенату, что Силан намеревался меня убить, но моя стража расстроила его коварные замыслы и он уже казнен, в зале раздался удивленный гул, затем тревожный, тут же смолкнувший шепот. Это была первая казнь сенатора с тех пор, как я правил Римом, и никто не верил, что Силан отважился бы поднять на меня руку. Все решили, что наконец-то я показал себя в истинном свете и впереди новое царство террора. Я отозвал Силана из Испании под предлогом, что хочу сделать его своим советником — великая честь, а на самом деле все это время имел тайный замысел его уничтожить. В точности как Калигула! Естественно, я и не подозревал об этих мыслях и даже позволил себе небольшую шутку насчет того, как я благодарен Нарциссу, он-де неусыпно блюдет мою безопасность даже во сне.

— Если бы не этот сон, я не послал бы за Силаном и он не выдал бы себя с перепугу и совершил бы покушение на мою жизнь в другой раз, более осмотрительно. Он имел много возможностей меня умертвить, поскольку я так безоговорочно ему доверял, что в последнее время освободил от унижительной необходимости подвергаться обыску в поисках оружия. — Жидкие хлопki.

Когда заседание сената окончилось, Винициан сказал друзьям: «Значит, благородный Аппий Силан казнен только потому, что греку-вольноотпущеннику императора приснился страшный сон. Неужели мы позволим править нами такому слабоумному, как этот олух Клавдий? Как по-вашему?»

Они пришли к единодушному мнению, что Риму нужен сильный, опытный император, а не такой «временно исполняющий обязанности», как я, который ничего не знает, ничего не хочет знать и в половине случаев поступает самым несообразным образом. Они принялись напоминать друг другу о самых моих грубых ошибках и эксцентричных выходках. Кроме тех, о которых я уже упоминал, они вспомнили, например, о решении, которое я принял незадолго до того, просматривая списки присяжных заседателей. Надо здесь объяснить, что в Риме было около четырех тысяч квалифицированных заседателей, обязанных участвовать в судебных разбирательствах, когда их вызывали на сессию; неявка каралась большим штрафом. Занятие это было крайне трудоемким и крайне непопулярным среди римлян. Списки присяжных первоначально подготавливались судьями первого класса, и в этом году, как обычно, половина тех, кто был в списках, под тем или иным предлогом просили разрешения не участвовать в суде, но в девятнадцати случаях из двадцати их просьба была отклонена. Судья передал мне окончательные списки на проверку; против имен, получивших отказ, была помета. Я случайно обратил внимание на то, что среди тех, кто охотно откликнулся на вызов, был человек, которого я знал, отец семерых детей.

По закону Августа он был освобожден от всех обязанностей до конца жизни, однако не просил избавить его от участия в судебных заседаниях и не упоминал о размере своей семьи. Я сказал судье:

— Вычеркни его из списков. У него семеро детей.

Судья запротестовал:

— Но, цезарь, он и не пытался отказываться.

— Вот именно, — сказал я. — Он хочет быть присяжным заседателем. Поэтому вычеркни его.

Я, разумеется, имел в виду, что раз этот человек скрывает свое право не выполнять неприятные и неблагодарные, по мнению всех порядочных людей, обязанности, значит, у него наверняка неблагоприятные планы. Нечестный заседатель может добыть кучу денег в виде взяток: всем известно, что одному заинтересованному заседателю ничего не стоит склонить к своему мнению десять незаинтересованных, а дело решается большинством голосов. Но судья был глуп и просто передал мои слова «Он хочет быть присяжным заседателем, поэтому вычеркни его» в качестве типичного примера моего недомыслия.

Винициан и другие мятежники осуждали также мое странное постановление о том, чтобы те, чьи дела я рассматривал в суде, сами, своими словами, докладывали мне о своем происхождении, связях, браке, карьере, финансовом положении, теперешних занятиях и так далее — обязательный для всех предварительный отчет, так как я желал слышать это из их собственных уст, а не от их патрона или адвоката. Казалось бы, причины такого решения ясны: мы узнаем о человеке из десяти слов, сказанных им о самом себе, гораздо больше, чем из десятичасового панегирика, произнесенного его другом. И не важно, что он скажет в этих десяти словах, главное — как он их скажет. Я убедился, что предварительное знакомство с тем, каков подсудимый: тугодум или говорун, хвастун или простак, хладнокровный или стеснительный, смысленный или без царя в голове, служит мне большой помощью в дальнейшем. Но в глазах Винициана и его друзей, лишая подсудимого помощи патрона и красноречия адвоката, на которые тот рассчитывал, я проявлял по отношению к нему несправедливость.

Как ни странно, больше всего из моих императорских проступков их возмутило то, как я повел себя в случае с серебряной коляской. Вот как это произошло. Как-то раз, проезжая по улице ювелиров, я заметил, что перед одной лавкой стоит толпа человек в пятьсот. Интересно, что их так привлекает, подумал я, и послал кучера разогнать толпу, мешавшую мне проехать. Когда стало свободно, я увидел, что на витрине лавки выставлена коляска, вся обшитая серебром, кроме ободка кузова, сделанного из золота. Оси тоже были серебряными, заканчивались они золотыми собачьими головами с глазами из аметиста; спицы были из эбенового дерева в виде негров, подпоясанных серебряными поясами, и даже чека каждого колеса была золотая. На серебряных боках кузова были вычеканены сцены, иллюстрирующие состязания колесниц в цирке, а ободья были инкрустированы золотыми виноградными листьями. По краям дышла и хомута, тоже серебряных, были лики купидонов — золотые с черепаховыми глазами. Этот удивительный экипаж был выставлен на продажу за сто тысяч золотых. Кто-то шепнул мне, что он был сделан по заказу какого-то богатого сенатора и уже оплачен, но по просьбе будущего хозяина был оставлен для всеобщего обозрения еще на несколько дней, так как он хотел, чтобы все в городе знали цену коляски (хотя сам он заплатил за нее куда меньше), прежде чем он вступит во владение ею. Это было вполне вероятно: сам ювелир вряд ли рискнул бы изготовить такую дорогую вещь — кто мог поручиться, что она найдет миллионщика покупателя. В своем качестве блюстителя нравов я имел полное право поступить так, как я поступил. Я приказал ювелиру с помощью молотка и зубила отодрать серебряные и золотые пластины и продать, на вес, опытному чиновнику, вызванному мной из казны, для переплавки на монеты. Раздались крики протеста, но я заставил всех замолчать, сказав: «Такой тяжелый экипаж повредит городские мостовые, надо сделать его чуть-чуть легче». Я ни

минуты не сомневался в том, кто владелец коляски: это был Азиатик, который больше не боялся демонстрировать свое колоссальное богатство, хотя от завистливых глаз Калигулы с успехом его утаил, разделив на сотни мелких вкладов на имя своих вольноотпущенников и друзей, хранившихся во множестве банков. Теперь же он стал выставлять свое богатство напоказ, что не могло не вызвать общественных беспорядков. Чего только он не устроил в Лукулловых садах, которые недавно купил! Их считали вторыми по красоте после Саллюстиевых садов, но Азиатик хвалился: «Когда я доведу до конца сады Лукулла, сады Саллюстия по сравнению с ними будут казаться пустошью». Он насадил там такие фруктовые деревья и цветы, устроил такие фонтаны и пруды, каких Рим никогда не видел. Я подумал, что, когда в городе истощатся припасы, никому не доставит удовольствия смотреть, как веселый сенатор с большим пузом разъезжает в серебряной коляске с золотыми чеками и золотыми собачьими головами на концах оси. Какой смертный устоит от желания выдернуть хотя бы одну чеку? Я и теперь считаю, что поступил тогда правильно. Но то, что я уничтожил произведение искусства — этот ювелир, тот самый, которому Калигула доверил отлить свою золотую статую, пользовался большой славой, — друзья Винициана сочли бессмысленным проявлением вандализма; это вызвало у них такое негодование, словно я вытащил из толпы несколько горожан и велел разделать их при помощи молотка и зубила на части и отдать мясникам для продажи. Сам Азиатик не выразил никакого возмущения и был достаточно осторожен, чтобы признаться, что коляска принадлежала ему. Больше всех мной возмущался Винициан. Он сказал: «В следующий раз он сдерет с нас тоги и велит распустить на нитки, чтобы отправить ткачам. Этот человек — сумасшедший. Нам надо избавиться от него».

Виниций не был в партии недовольных. Он догадывался, что находится у меня на подозрении — в свое время он выставил против меня свою кандидатуру, — и теперь тщательно следил за тем, чтобы ничем меня не задеть. К тому же он должен был понимать, что попытки избавиться от меня ни к чему не приведут. Я все еще был весьма популярен среди гвардейцев и предпринимал столько мер предосторожности против злоумышленников — постоянный эскорт солдат, тщательный обыск в поисках оружия, проверка каждого блюда на случай, если оно отравлено, — а мои слуги и приближенные были так мне верны и бдительны, что надо было быть на редкость удачливым и изобретательным, чтобы лишиться меня жизни, а самому остаться в живых. За последнее время было две попытки, обе предпринятые всадниками, которым я пригрозил исключением из сословия за изнасилование. Один поджидал меня у входа в театр Помпея, чтобы убить, когда я выйду. Это была неплохая мысль, но кто-то из солдат заметил, как он сдернул набалдашник трости, бывшей у него в руках, выдав тем самым, что это короткий дротик, и, кинувшись на него, ударил по голове в тот самый момент, когда тот хотел метнуть его в меня. Второе покушение было в храме Марса во время жертвоприношения. В этом случае оружием служил охотничий нож, но находившиеся там люди тут же разоружили убийцу.

По сути дела, избавиться от меня можно было только единственным способом — подняв вооруженное восстание, а где было взять войска, которые пошли бы против императора? Винициан полагал, что знает ответ на этот вопрос. Он надеялся на помощь Скрибониана. Этот Скрибониан был двоюродный брат маленькой Камиллы, которую много лет назад отравила моя бабка Ливия в день нашей помолвки. Когда я был в Карфагене за год до смерти Германика, Скрибониан разговаривал со мной в весьма оскорбительном тоне, так как он отличился в битве с Такфаринатом, в которой я не мог принять участие, и его отец Фурий Камилл, в то время губернатор Африки, заставил его публично просить у меня прощения. Он был вынужден извиниться, так как в Риме слово отца — закон, но никогда мне этого не простил и несколько раз после того выказывал свою неприязнь. При Калигуле, когда

я жил во дворце, он был в числе главных моих мучителей: почти все ловушки и прочие практические шутки, которым я подвергался, были делом его рук. Можете сами представить, что почувствовал Скрибониан, отправленный Калигулой командовать римскими войсками в Далмации, когда вскорости после того он услышал о моем избрании на пост императора. Мало сказать: зависть и возмущение, — страх за свою жизнь. Он стал спрашивать себя, такой ли я человек, чтобы, когда его срок службы окончится и он вернется в Рим, простить все причиненные им обиды, и если да, не будет ли ему труднее вынести мое прощение, чем гнев. Он решил вести себя со мной почтительно, ведь я был главнокомандующий, но при этом делать все возможное, чтобы завоевать личную преданность всех солдат и офицеров, служащих под его началом; когда придет время возвращаться в Италию, он напишет мне то же, что в свое время Гетулик написал императору Тиберию: «Можешь рассчитывать на мою верность до тех пор, пока командование полками в моих руках».

Винициан был близким другом Скрибониана и держал его в курсе всего, что происходило в Риме. После казни Силана он писал:

«У меня для тебя плохие новости, дорогой Скрибониан. Запятнав достоинство Рима своей глупостью, невежеством, паясничеством и полной зависимостью от советов своры греков-вольноотпущенников, мота и негодяя еврея, собутыльника Вителлия и похотливой и самовлюбленной девчонки жены, Клавдий совершил первое важное убийство. Бедного Аппия Силана отозвали с его поста в Испании, месяца два продержали во дворце в тревожной неопределенности, а затем содрали с кровати однажды утром и тут же казнили. Клавдий явился вчера в сенат и — представь только! — отпускал по этому поводу шуточки. Все римляне, кто еще в здравом уме, солидарны в том, что Силан должен быть отомщен, и считают, что, стоит появиться подходящему вожаку, весь народ будет его приветствовать. Клавдий все перевернул вверх тормашками, буквально начинаешь желать, чтобы вернулся Калигула. К несчастью, покамест гвардия за него, а без войск сделать ничего нельзя. Обе попытки убить его оказались неудачными. Он такой трус, что во дворец не пронесешь даже шпильку для волос: обыщут и отнимут. Мы надеемся, что ты придешь к нам на помощь. Если бы ты ввел в Рим Седьмой и Одиннадцатый полки и вспомогательные силы, которые собрал бы на месте, все наши беды остались бы позади. Пообещай дать гвардейцам не меньше того, что пообещал Клавдий, и они тут же переметнутся на твою сторону. Они презирают его за то, что он штатский и лезет не в свое дело, к тому же, после того как он наградил их сразу после его избрания — вынужденная щедрость, — он дал им всего лишь по золотому на брата, чтобы выпить за него в его день рождения. Как только ты высадишься в Италии — транспортные трудности легко преодолеть, — мы присоединимся к тебе с добровольческими отрядами и снабдим деньгами в любом нужном тебе количестве. Не раздумывай. Надо действовать, пока не стало хуже. Ты можешь достичь Рима прежде, чем Клавдий пошлет за подкреплениями на Рейн, хотя я не думаю, что он их получит. Говорят, будто германцы готовятся к ответному удару, а Гальба не такой человек, чтобы покинуть свой пост на границе, когда хатты выступили в поход. А если Гальба останется в Германии, Габиний тоже не уйдет, они всегда работают на пару. Так что переворот обещает быть бескровным. Я не хочу добавлять к моей просьбе довод о собственной твоей безопасности, так как знаю, что для тебя честь Рима превышает личных интересов. Однако тебе не мешает знать, что всего несколько дней назад Клавдий сказал Виницию: „Я не забываю старых обид. Когда некий губернатор вернется с Балкан, он заплатит кровью за те издевательства, которым он меня подвергал“. И еще одно. Не терзайся угрызениями совести, что ты оставляешь провинцию без защиты, полкам не придется долго отсутствовать. И почему бы не

прихватить с собой побольше заложников, чтобы у местных жителей не возникла охота поднять мятеж? К тому же Далмация не пограничная провинция, разве не так? Отвечай не медля, с нами ли ты и готов ли заслужить такое же славное имя, как твой великий предок Камилл, став вторым спасителем Рима».

Скрибониан решил рискнуть. Он написал Винициану, что ему понадобится сто пятьдесят транспортных судов из Италии, помимо тех, которые он раздобудет в далматских портах. Ему также потребуется миллион золотых, чтобы убедить два регулярных полка — каждый численностью в пять тысяч человек — и двадцать тысяч далматских новобранцев, которых он призовет в армию, нарушить данную мне присягу. Поэтому Винициан и его друзья заговорщики — шесть сенаторов и семь всадников, а также десять бывших всадников и шесть бывших сенаторов, которых я вычеркнул из списков, — незаметно покинули Рим под тем удобным предлогом, что им надо побывать в своих загородных поместьях. Первое известие о восстании дошло до меня в форме письма от Скрибониана, который обращался ко мне в самых наглых выражениях, называл слабоумным и самозванцем и требовал, чтобы я добровольно отказался от всех своих постов и удалился от дел. Он писал, что я доказал свою прискорбную неспособность справиться с задачей, возложенной на меня сенатом, растерявшимся под угрозой общественных беспорядков, и теперь он, Скрибониан, отрекается от присяги и намерен отплыть в Италию с тридцатитысячной армией под своей командой, чтобы восстановить порядок и дать Риму и всему миру достойное их правительство. Если я откажусь от монархии, учтя это предупреждение, я не буду лишен жизни и получу амнистию для себя и своей семьи, как даровал ее, взойдя на престол, своим противникам согласно чьему-то мудрому совету.

Прочитав это письмо, я не мог удержаться от смеха. Видят боги, что могло быть заманчивей, чем уйти в отставку и жить без забот и хлопот при хорошо организованном правительстве с Мессалиной, моими книгами и детьми! Конечно, разумеется, вне всякого сомнения я отказался бы от трона, если Скрибониан считает, что может управлять лучше меня. Иметь возможность, так сказать, сидеть, развалясь в кресле, и смотреть, как кто-то другой сражается с невыполнимой задачей, которую я никогда не хотел на себя брать и которая оказалась куда обременительнее, неприятнее и неблагодарнее, чем это могут выразить слова! Словно вдруг возник Агамемнон и крикнул Лаокоону и его сыновьям, которые борются с двумя огромными змеями, насланными на них разгневанным богом: «Эй, вы там! Руки прочь от этих великолепных созданий! Вам их не осилить. Эта задача по плечу только мне. Слышите, оставьте их в покое, не то будет хуже!» Но можно ли доверять обещанию Скрибониана насчет амнистии для меня и семьи? И будет ли его правительство так хорошо организовано и так порядочно, как он ждет? И что обо всем этом скажет гвардия? И так ли Скрибониан популярен в Риме, как он, по-видимому, думает? И захотят ли (вот что главное) змеи оставить Лаокоона и его сыновей и обвиться вокруг нового Агамемнона?

Я спешно собрал сенат и обратился к нему с речью:

— Сиятельные отцы, прежде чем прочитать вам это письмо, я хочу вас заверить, что охотно бы согласился на требования, которые в нем содержатся, и приветствовал бы отдых и безопасное будущее, которые оно, пожалуй в слишком суровых выражениях, обещает мне. Поверьте, я отклоню настояния Фурия Камилла Скрибониана только в одном случае — если вы единогласно решите, что при нем страна не будет так процветать, как при мне. Должен признаться, что до прошлого года я был, к своему стыду, совсем несведущ в искусстве государственного управления, судопроизводства и военного дела и, хотя я ежедневно учусь, все еще отстаю в своем образовании. Нет такого человека моих лет, который не смог бы поделиться со мной тысячью специальных сведений, известных всем, кроме меня. Но

виновато в этом мое слабое, в детстве, здоровье и не очень лестное мнение, которое мои блестящие родичи — теперь частично обожествленные — имели тогда о моих умственных способностях, а не мое нежелание выполнить долг перед родиной. И, хотя я никогда не надеялся занять ответственный пост, я старался с усердием, достойным одобрения, расширить свой кругозор — думаю, в этом вы не откажете мне. Я позволю себе сказать, что моя семья ошибалась: я никогда не был слабоумным. Я получил устное заверение в этом от божественного Августа после того, как он повидался с Постумом Агриппой на его острове, и от благородного Азиния Поллиона в библиотеке Аполлона за три дня до его смерти — правда, он посоветовал мне носить маску глупца, подобно первому Бруту, в качестве защиты от некоторых лиц, которые могут возыметь желание убрать меня с дороги, если я проявлю слишком большой ум. Моя жена Ургуланилла, с которой я развелся из-за ее угрюмого нрава, жестокости и измены мне, тоже взяла на себя труд запечатлеть в своем завещании — я могу показать вам его, если хотите, — свою уверенность в том, что я отнюдь не дурак. Последние слова божественной Ливии Августы на смертном одре, или, быть может, правильнее будет сказать — незадолго до ее обожествления, были: «Только подумать, а я еще звала тебя дураком». Не спорю, моя сестра Ливилла, моя мать Антония Августа, мой племянник, покойный император Гай, и его предшественник, мой дядя Тиберий, никогда не меняли своего взгляда на меня, и два последних даже запечатлели его в своих официальных посланиях к этой палате. Мой дядя Тиберий отказал мне в месте среди вас под тем предлогом, что любая моя речь будет испытанием вашего терпенья и пустой тратой времени. Мой племянник Калигула включил меня в ваше число — ведь я был его дядя и он хотел выглядеть великодушным, — но поставил за правило, чтобы во время дебатов я говорил последним, и сказал в речи — кто не помнит, может найти ее в архивах — что, если кому-нибудь из присутствующих надо облегчиться, пусть будет добр соблюдать в будущем приличия и не отвлекает всеобщее внимание, выбегая из зала посреди важного выступления — его собственного, например — а ждет, пока консул не даст слово Тиберию Клавдию Друзу Нерону Германику (как меня тогда звали), чье мнение по данному вопросу слушать вовсе не обязательно. Что ж, вы следовали его совету — я это помню, — не думая, что раните мои чувства, или думая, что их достаточно часто ранили прежде, чтобы я покрылся броней, как бескрылый дракон дяди Тиберия; а может быть, соглашались с моим племянником и считали меня слабоумным. Однако противоположное мнение двух божеств, Августа и Ливии — правда, тут вы должны поверить мне на слово, так как оно нигде не зафиксировано в письменном виде, — несомненно, перевешивает суждение любого смертного. Вы согласны? Я буду склонен считать богохульством, если кто-либо захочет противоречить им. Конечно, богохульство больше не карается смертной казнью — мы это отменили, но это — нарушение благочиния, вдобавок опасно: вдруг боги случайно услышат нас. К тому же и дядя мой, и племянник умерли насильственной смертью и никто по ним не скорбел, их речи и письма цитируются с куда меньшим почтением, чем речи и письма Августа, и многие их законы отменены. В свое время они были львами, сиятельные, но теперь они мертвы, а как гласит еврейская поговорка, которую так любил приводить божественный Август, — он узнал ее от царя Иудеи, Ирода Великого, которого ценил за ум не меньше, чем я ценю его внука, царя Ирода Агриппу, — «и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Я не лев, вы это знаете. Но я полагаю, из меня получился неплохой сторожевой пес; и сказать, что я развалил всю государственную машину или что я слабоумный, по-моему, значит нанести оскорбление не столько мне, сколько вам, ведь вы чуть не силой навязали мне монархию и с тех пор не раз поздравляли с успехами и награждали почестями, в том числе пожаловали мне титул «отец отчизны». Если отец — слабоумный, надо думать, дети унаследуют этот порок?

Затем я прочитал им письмо Скрибониана и вопросительно посмотрел вокруг. Когда я говорил, всем, очевидно, было неловко, хотя никто не отважился выразить это словами: они лишь аплодировали, протестовали и делали удивленный вид в тех местах, где, как они полагали, я этого ожидаю. Вы, мои читатели, без сомнения, думаете то, что, без сомнения, думали они: «Что за странная речь! И накануне восстания! Зачем Клавдию понадобилось ворошить старое и напоминать о своем якобы слабоумии. Естественно, мы давно обо всем этом забыли. Почему он находит нужным вызывать в нашей памяти, что родные некогда считали его умственно неполноценным, и приводить отрывки из письма Скрибониана, где об этом идет речь? Зачем он унижает себя, доказывая обратное?» Да, все это выглядело подозрительно, словно я боялся, что я действительно слабоумный, и хотел убедить сам себя в противном. Но я знал, что делал. И поступал очень даже ловко. Начать с того, что говорил я откровенно, а неожиданная откровенность, особенно, когда говоришь о себе, всегда подкупает. Я напоминал сенату, что я за человек — честный и преданный делу, не очень умный, но зато не своекорыстный — и что за люди они сами — умные, но своекорыстные, не честные, не преданные и даже не храбрые. Кассий Херея предупреждал их не отдавать монархию идиоту, а они пренебрегли его советом из страха перед гвардией. Хорошо еще, что все обошлось благополучно... пока. В Рим возвращалось благосостояние, в судах царила справедливость, народ был доволен, армии одерживали победы. Я не позволял себе никаких экстравагантных штук, не изображал тирана и, как я сказал сенату во время дискуссии после прочтения письма, возможно, я ушел дальше на своей хромой ноге, чем ушли бы многие другие на здоровых, так как, не забывая о своем увечье, я не разрешал себе ни передохнуть, ни замедлить шаг. С другой стороны, я хотел им показать своей речью, что они свободно могут сместить меня, если захотят, и моя бесхитростная откровенность насчет собственных недостатков не позволит им быть жестокими со мной, когда я снова сделаюсь частным лицом.

Выступили несколько сенаторов с верноподданническими речами, хотя весьма сдержанными: они страшились мести Скрибониана, если ему удастся спихнуть меня с престола. Один Виниций говорил с жаром:

— Сиятельные отцы, я думаю, многие из нас остро чувствуют упреки, которыми отец отечества, хоть и очень мягко, осыпал нас. Должен признаться, мне очень стыдно, что я неправильно о нем судил до того, как он стал императором, и считал, что он не годится для тех должностей, которые он с тех пор с таким успехом занимает. Мне кажется невероятным, что мы подвергали сомнению его умственные способности, и единственно возможное объяснение кроется, видимо, в том, что мы были обмануты, во-первых, его великой скромностью, а затем его сознательным самоуничижением при покойном императоре. Вы знаете поговорку: «Никто не кричит: „Рыба воняет!“» При Калигуле все перевернулось: всякий разумный человек с рыбой в корзине говорил одно — что она воняет, лишь бы на нее не упал его жадный, завистливый взгляд. Валерий Азиатик скрывал свое богатство, Тиберий Клавдий скрывал свой ум; мне нечего было скрывать, кроме ненависти к тирании, но я скрывал ее, пока не пришло время действовать. Да, мы все кричали: «Рыба воняет!» Теперь Калигула мертв, и при Клавдии откровенность заняла подобающее ей место. Я буду откровенен. Не так давно мой родич Винициан в моем присутствии очень резко высказывался против Клавдия и предлагал его скинуть. Я сурово его отчитал, но не сообщил об этом сенату, так как у нас не действует больше закон об измене родине, ну и он все же мой родственник. Люди должны пользоваться свободой речи, особенно среди родных. Сегодня Винициана нет среди нас. Он покинул город. Боюсь, что он уехал, чтобы присоединиться к Скрибониану. Я вижу, что нет здесь и его шести близких друзей. Должно быть, они уехали вместе с ним. Однако что такое семеро недовольных? Семеро против пятисот? Ничтожное меньшинство. И насколько

искренне их недовольство? Может быть, все дело в личных амбициях?

Я осуждаю поступок моего родича по трем причинам: первое — он проявил неблагодарность; второе — совершил акт предательства; третье — сделал глупость. Неблагодарность: отец отчизны от всего сердца простил его за то, что он поддерживал мои притязания на престол и все эти годы выказывал большую терпимость к его дерзким речам здесь, в сенате. Предательство: он взял на себя клятвенное обязательство подчиняться Тиберию Клавдию Цезарю как главе государства. Нарушение этой клятвы может быть оправдано только в том маловероятном случае, если цезарь вопиюще нарушит свою клятву справедливо править страной и печься об общем благе. Но он клятвы не нарушал. Поэтому предательство по отношению к цезарю — это неуважение к Богам, именем которых Винициан клялся, и враждебность по отношению к Риму, который с каждым годом все больше устраивает, что им правит цезарь. Глупость Скрибониана заключается в том, что, хотя, возможно, ему и удастся ложью и подкупом убедить несколько тысяч своих солдат вторгнуться в Италию и даже одержать несколько побед, вряд ли ему предназначено судьбой быть нашим императором. Неужели хоть один из членов этого почтенного собрания действительно в это верит? Верит, что гвардия — наш главный оплот — перейдет на его сторону? Гвардейцы не дураки, они знают, что для них выгодней. Сенат и римский народ тоже не дураки, они тоже знают, что при Клавдии они пользуются свободой и благосостоянием, которые были отняты у них предшествующими правителями. Скрибониан не сможет втереться в доверие Рима иначе, чем посулив восстановить нарушенную справедливость, но ему придется сильно поломать голову над тем, где найти обиды, которые требуется искупить. На мой взгляд, сиятельные отцы, этот обещанный нам переворот вызван личной завистью и личными амбициями. Нас просят не просто сменить одного императора, который оказался во всех отношениях достоин нашего уважения и послушания, на другого, о чьих качествах мы почти ничего не знаем и чьим намерениям не можем доверять, а подвергнуть Рим риску кровавой гражданской войны. Предположим, цезаря уговорят уйти в отставку. Думаете, армия с распростертыми объятиями примет Скрибониана в качестве главнокомандующего? У нас есть несколько человек высокого ранга, куда более способных взять на себя управление монархией, чем Скрибониан. Что помешает остальным командирам, за спиной у которых четыре, а не два регулярных полка, выставить свою кандидатуру на пост императора и двинуть войска на Рим? И даже если попытка Скрибониана удастся, что я лично считаю невероятным, как насчет Винициана? Вряд ли он захочет склониться перед заносчивым Скрибонианом. Возможно, он предложил поддержку только на том условии, что они разделят империю пополам. А если так, не ждет ли нас еще один смертельный поединок, вроде тех, что были в свое время между Помпеем и Божественным Юлием Цезарем, а затем между Марком Антонием и Божественным Августом? Нет, сиятельные отцы. Сейчас тот случай, когда наша благодарность, наша верность и наш личный интерес находятся в полном согласии. Мы должны преданно поддерживать Тиберия Клавдия Цезаря, если хотим заслужить признательность Рима и поддержку богов, и впоследствии, когда Винициан и Скрибониан умрут позорной смертью, которую они вполне заслужили, поздравить себя с тем, что остались привержены отцу отчизны.

Затем выступил Руфрий:

— Я считаю весьма бестактным замечание о том, что гвардия якобы может нарушить присягу. Как командующий гвардией, я отвергаю предположение, что хоть один гвардеец забудет о своем долге перед императором. Хочу напомнить, сиятельные, что именно гвардия первая обратилась к Тиберию Клавдию Цезарю, ныне отцу отчизны, с просьбой взять на себя верховное командование всей армией, а сенат в то время не спешил утвердить наш выбор. Поэтому не пристало сенатору

намекать, что гвардия может оказаться неверной. Нет, она первая провозгласила Клавдия императором и будет последней, кто покинет его. А если до лагеря дойдет слух, что сенат решил передать верховное командование в другие руки — в таком случае, сиятельные, мой вам совет: как только вы примете такое решение, или укрепляйте это здание, эту свою крепость, баррикадами из скамей и кучами булыжников, или откладываете заседание [sine die](#)^{#id20151009083049_214} и разбегайтесь во все стороны.

Так что мне единогласно был объявлен вотум доверия, и по поручению сената я написал Скрибониану письмо, где ему сообщалось, что он временно отстранен от командования и ему предлагается немедленно прибыть в Рим для дальнейших объяснений. Но Скрибониан не получил это письмо. Его уже не было в живых.

Я расскажу сейчас, что произошло. Рассчитывая на свою популярность в войсках — ведь он смягчил дисциплину, устраивал даровые игры и увеличил ежедневный рацион вина за собственный счет, — Скрибониан выстроил Седьмой и Одиннадцатый полки в местном амфитеатре и сказал, что его жизнь в опасности. Он прочитал им письмо Винициана — во всяком случае, большую его часть — и спросил, поддержат ли они его, если он предпримет попытку освободить Рим от тирана, который с каждым днем делается еще более своевластным и жестоким самодуром, чем Калигула. «Возродим республику! — вскричал он. — Только при республике мы поистине свободны!» Он разбрасывал семена, как говорится, щедрой рукой, и часть их сразу же проросла. Солдаты почуяли по его тону, что тут пахнет деньгами, а деньги они любят, к тому же разве справедливо, чтобы такой щедрый командир пал жертвой моего гнева или ревности? Они громко приветствовали его, а заодно и Винициана, который в свое время командовал Одиннадцатым полком, и поклялись, если понадобится, идти за ними хоть на край света. Скрибониан обещал им по десять золотых на каждого тут же, еще по сорок после высадки в Италии, и по сотне, когда они с победой войдут в Рим. Он выплатил по десять золотых на месте и отправил солдат обратно в лагерь, приказав быть наготове для будущей кампании. Он призвет их, как только придут транспортные суда и кончится набор местных рекрутов. Но Скрибониан совершил большую ошибку: он недооценил верность клятве и благоразумие своих людей. Да, в них легко, хотя и ненадолго, можно было разжечь возмущение, и они были не прочь принять в подарок пару монет, но открытое нарушение присяги — это другое дело. Этого так просто не купишь. Они пойдут за командиром и на край света, но не в Рим, его центр. Потребуется больше десяти золотых, чтобы убедить их отплыть в Италию, даже если на ее берегу их ждет каждого еще по сорок. Покинуть свою провинцию и захватить Италию? Да это же бунт, а если бунт не удастся, наказанием бунтовщикам служит смерть — смерть в бою или от меча палача, — возможно, их даже засекут до смерти или распнут на кресте, если император захочет, чтобы их смерть послужила всем примером.

Офицеры собрались вместе, чтобы решить, следовать призыву Скрибониана или нет. Но, хотя все, казалось, были на его стороне, особого желания прибегнуть к насилию они не выразили. В любом случае никто не хотел возрождения республики. Скрибониан говорил, что рассчитывает на их помощь, и пригрозил подвергнуть их справедливому гневу солдат, если они откажутся поддержать славное дело восстановления древних римских свобод. Офицеры решили оттягивать время. Они отправили к Скрибониану депутацию, которая ему передала, что они еще не договорились между собой — пусть уж он простит их за совестливые колебания: в день отплытия ему станет известно, к какому они пришли решению. Скрибониан сказал, пусть поступают как знают — у него хватит дельных людей на их место, но предупредил, что, если они откажутся с ним плыть, за упорство их ждет смерть. Но еще важнее, чем это совещание офицеров, был тайный совет знаменосцев, капралов и сержантов; все они прослужили в армии более двенадцати лет и почти все были

женаты на местных женщинах, так как вся их служба прошла в Далмации: римские легионы почти никогда не перемещают из одной провинции в другую. Седьмой и Одиннадцатый полки глядели на Далмацию как на вторую родину и заинтересованы были в одном: устроиться там как можно лучше и уберечь свое имущество.

Первым обратился к собравшимся знаменосец Седьмого полка:

— Парни, вы что, правда вздумали двигать отсюда в Италию за генералом? По мне, это чистая глупость, не говоря уже о чести полка. Мы дали присягу Тиберию Клавдию Цезарю, так или не так? Он оказался вполне приличным человеком, верно? Может, он и имеет зуб против старины Скрибониана, да кто знает, кто из них прав. Скрибониан и сам вечно ставит всякое лыко в строку, кому и знать, как не нам. Поссорились, пусть и разбираются между собой. Я готов воевать с германцами, маврами, парфянами, евреями, бриттами, арабами, китайцами — посылайте меня, куда хотите, это моя работа, я солдат. Но я не собираюсь сражаться в Италии с гвардейской дивизией. Говорят, император пользуется у них хорошей славой, да и вообще, по-моему, просто смешно думать, что мы будем с ними драться. Генералу не стоило нас об этом просить. Лично я не истратил еще его подарок и не стану это делать. Я за то, чтобы закрыть эту лавочку.

Все с ним согласились. Но молодые солдаты, да и старые с дурной репутацией из тех, кого лишь могила исправит, пришли к этому времени в такой раж в надежде на даровые деньги и богатую добычу, что перед собравшимися встал вопрос, как сорвать бунт, не ставя себя в ложное положение. У кого-то возникла разумная мысль. Тридцать лет назад мятеж в этих самых полках был подавлен в зародыше зловещим предзнаменованием — затмением солнца, за которым последовал страшный ливень; почему бы теперь тоже не организовать предвестие, чтобы отбить у всех охоту бунтовать? Подумав, они выбрали то, что показалось им самым подходящим.

Пять дней спустя от Скрибониана пришел в полки приказ идти маршем в порт со всем вооружением, довольствием и амуницией и быть в готовности немедленно отплыть в Италию. Знаменосцы Седьмого и Одиннадцатого полков тут же доложили командирам, что не смогли в то утро украсить, как обычно, орлов лавровыми гирляндами. Гирлянды падали на землю, стоило их привязать, и тут же засыхали! К знаменосцам присоединились те, кто носили штандарты, и в напускном смятии доложили еще об одном чуде: древки штандартов нельзя сдвинуть с места, они застряли там, где их воткнули в землю! Офицеры были только рады услышать об этих ужасных знамениях и, в свою очередь, доложили о них Скрибониану. Скрибониан пришел в ярость и кинулся в лагерь Одиннадцатого полка. «Говорите, штандарты нельзя сдвинуть с места, вы, лгуны? Это потому, что вы кучка трусов; собаки и те храбрее вас. Глядите! Кто сказал, что этот штандарт нельзя сдвинуть с места?» Он подошел к ближайшему штандарту и потянул его. Он тянул и толкал, пока на лбу его канатом не вспухли вены, но не смог даже на йоту сдвинуть штандарт. Дело в том, что в тот вечер, когда была сходка, конец древка — как и у всех остальных штандартов — был сунут в цемент, а затем засыпан землей. Цемент застыл, как камень.

Скрибониан увидел, что все потеряно. Он погрозил небу кулаком, поспешно спустился в порт, взбежал на борт своей личной яхты и велел команде поднять якорь и немедленно выходить в открытое море. Он направился в Италию, по-видимому намереваясь сообщить Винициану о своем провале. Но вместо этого оказался на острове Лисса, возле Корфу, куда его высадила команда, заподозрив, что планы его сорвались, и не желая больше иметь с ним дела. С ним остался один его вольноотпущенник, который был свидетелем того, как Скрибониан покончил с собой. Винициан тоже кончил жизнь самоубийством, когда через несколько дней до него дошли известия о том, что произошло, то же сделало большинство его собратьев-заговорщиков. С мятежом было покончено.

Не стану делать вид, будто был совершенно спокоен те десять дней, что прошли между моей речью в сенате и счастливой вестью о провале бунта. Я легко прихожу в панику, и если бы не Ксенофонт и его старания, у меня, возможно, был бы, как прежде, серьезный нервный срыв, но он пичкал меня то одним, то другим снадобьем, прописывал ежедневно массаж и внушал, в своей сухой манере, что мне нечего бояться будущего; с таким кормчим я благополучно избежал всех опасностей, грозивших моему здоровью. У меня застряли в голове две гомеровские строки, и я повторял их всем, с кем встречался:

Если ты сам добровольно желаешь и смело решился
Выступить в бой с ним, то страха не должен иметь...

Я даже дал их однажды Руфрию как пароль. Мессалина дразнила меня этим, но ответ был у меня наготове:

— У Гомера они тоже застряли в голове. Он использовал их вновь и вновь. Один раз в «Илиаде» и два или три раза в «Одиссее».

Большим утешением служила мне привязанность Мессалины, так же как доверие, которое, по-видимому, испытывал ко мне сенат, и приветственные крики жителей Рима и солдат, выражавших преданность мне всякий раз, что я появлялся вне стен дворца.

Я наградил Седьмой и Одиннадцатый полки, попросив сенат дать им новое имя «Верные Клавдию», и по настоянию Мессалины (Вителлий согласился с ней, что это не тот случай, когда надо миловать) предал казни основных бунтовщиков, которые еще остались в живых. Но не так, как Силана, без суда и следствия: каждого из них судили по всем правилам. Я придерживался следующей процедуры: сидя на председательском кресле — консулы с двух сторон от меня, — я читал вслух обвинение. Затем я пересаживался на свое обычное место, а консулы садились на председательские кресла и вели разбирательство дальше. У меня как раз тогда была жестокая простуда, и, притом что я всегда говорю негромко, теперь я мог лишь шептать; но возле меня были Нарцисс, Полибий и полковники гвардии, и если я хотел устроить перекрестный допрос обвиняемому или свидетелю, я передавал кому-нибудь из них список вопросов, чтобы их задали от моего имени, или произносил их ему шепотом. Лучшим рупором оказался Нарцисс, поэтому я использовал его чаще всех остальных. Позднее мои враги представили дело так, будто он производил дознание по собственной инициативе — какой-то вольноотпущенник вершит суд над знатными римлянами! Скандал! Спору нет, Нарцисс держался весьма свободно, с большим апломбом, и, не скрою, я присоединился к общему смеху, когда верный вольноотпущенник Скрибониана, которого он допрашивал, превзошел его в находчивости.

Нарцисс: Ты был вольноотпущенником Фурия Камилла Скрибониана? Ты присутствовал при его смерти?

Вольноотпущенник: Да.

Нарцисс: Ты пользовался его доверием и знал, что готовится восстание? Знал, кто были его сообщники?

Вольноотпущенник: Ты намекаешь, что я не заслужил его доверия? И, если у него были сообщники в этом, как ты утверждаешь, восстании, то я бы их предал?

Нарцисс: Я ни на что не намекаю. Я задаю тебе простой и ясный вопрос.

Вольноотпущенник: Тогда я дам тебе простой и ясный ответ: я ничего не помню.

Нарцисс: Не помнишь?

Вольноотпущенник: Его последние слова ко мне были: «Забудь все, что я тебе говорил. Пусть мои тайны умрут вместе со мной».

Нарцисс: Из этого вытекает, что ты действительно пользовался его доверием.

Вольноотпущенник: Меня не интересует, что из чего у тебя вытекает. Это твое дело. Хозяин повелел мне перед своей смертью забыть. Я выполнил его приказ.

Нарцисс (*сердито выходя на середину зала впереди меня и заслоня от меня свидетеля*) : Вот это честный вольноотпущенник, клянусь Геркулесом. А скажи-ка мне, приятель, что бы ты сделал, если бы Скрибониан стал императором?

Вольноотпущенник (*с неожиданным пылом*) : Я стоял бы позади него, приятель, и держал рот на замке.

Были казнены пятнадцать бунтовщиков из знатных, вернее бывших ранее знатными, римлян, но лишь один из них, некий Юнк, был судьей первого ранга, и я велел ему отказаться от должности прежде, чем вынес смертный приговор. Остальные сенаторы покончили жизнь самоубийством еще до ареста. Вопреки обычаю, я не конфисковал имущество казненных бунтовщиков и дал возможность наследникам получить его, точно те соблюли пристойность и сами покончили с собой. Мало того, в трех или четырех случаях, когда выяснилось, что имущество их сильно обременено долгами — возможно, по этой самой причине они и участвовали в перевороте, — я давал наследникам в дар деньги. Говорили, что Нарцисс брал взятки, чтобы скрыть улики против некоторых бунтовщиков, — это, безусловно, выдумка. С помощью Полибия я сам вел предварительное следствие и записывал все показания. У Нарцисса просто не было возможности утаить какие-нибудь свидетельства. Мессалина, правда, имела доступ к бумагам и, возможно, уничтожила некоторые из них, но я не могу сказать, так это или нет. Но ни Нарцисс, ни Полибий не держали документы в руках, кроме как при мне. Говорили также, что вольноотпущенников и граждан Рима подвергали пыткам, стараясь вырвать у них признание. Это такая же ложь. Несколько рабов действительно вздернули на дыбу, но не для того, чтобы добиться наговора на хозяев, а чтобы они показали против некоторых вольноотпущенников, которых я подозревал в лжесвидетельстве. Возможно, слухи о том, что я пытал горожан и вольноотпущенников, имели своим источником историю с рабами Винициана, которым он даровал свободу, увидев, что бунт провалился, чтобы они не смогли показывать против него под пыткой; в отпускной грамоте он датировал это более ранним — на целых двенадцать месяцев — числом. Это было незаконно, во всяком случае согласно закону, принятому при Тиберии как раз чтобы помешать таким уловкам, этих людей можно было допрашивать под пыткой. Одного так называемого гражданина подвергли пыткам, когда выяснилось, что он не имеет никаких прав на это звание. Юнк действительно заявил на суде, что в тюрьме с ним обращались крайне жестоко. Он появился весь в бинтах, с глубокими порезами на лице, но Руфрий поклялся, что его слова — наглая ложь: его раны — результат того, что, желая избежать ареста, он выпрыгнул голый из окна спальни в Брундизии и попытался продраться сквозь колючую изгородь. Два капитана гвардии подтвердили его слова.

Однако Юнк ему отомстил.

— Если мне суждено умереть, Руфрий, — сказал он, — я захвачу тебя с собой. — Затем он обратился ко мне. — Цезарь, твой командующий гвардией, которому ты так доверяешь, ненавидит и презирает тебя не меньше, чем я. Мы с Петом говорили с ним от лица Винициана и спрашивали, перейдет ли он на нашу сторону со своими гвардейцами, когда из Далмации придут войска. Он согласился на это, но при условии, что он, Винициан и Скрибониан разделят империю между собой. Опровергни мои слова, Руфрий, если у тебя хватит смелости.

Я арестовал Руфрия на месте. Сперва он пытался отделаться от этого обвинения шуткой, но Пет, один из бунтовщиков-всадников, ожидающий своей очереди в суде, подтвердил показания Юнка, и в конце концов Руфрий не выдержал,

признал себя виновным и просил о снисхождении. Я снизошел к его просьбе — дал возможность умереть от собственной руки.

Были казнены также несколько женщин. Я не понимаю, почему женщину должен защищать от наказания лишь тот факт, что она — женщина, если она подстрекала к мятежу, особенно если, выйдя замуж по вольной форме, она сохранила свою свободу и свое имущество и поэтому не может сослаться на принуждение. Их привели на эшафот в оковах, так же как их мужей, и в большинстве своем они проявили перед лицом смерти больше мужества. Одна из них, Аррия, жена Пета и близкая подруга Мессалины, жившая в браке согласно строгому брачному контракту, безусловно, получила бы помилование, если бы отважилась обратиться к суду, но нет, она предпочла умереть вместе с мужем. В награду за его показания против Руфрия, Пету было дозволено наложить на себя руки до того, как ему будет предъявлено официальное обвинение. Но он был трус и не мог заставить себя упасть на собственный меч. Аррия выхватила меч из его рук и вонзила себе в грудь.

«Посмотри, Пет, — сказала она, умирая, — совсем не больно».

Самая высокопоставленная персона, которой предстояло умереть из-за участия в заговоре, была моя племянница Юлия (Елена Обжора). Я был рад, что нашелся предлог от нее избавиться. В свое время она предала Сеяну своего мужа, моего бедного племянника Нерона, и добилась его изгнания на остров, где он и умер. Тиберий впоследствии выказал ей презрение, выдав за Бланда, грубого, вульгарного и безродного всадника. Елена завидовала красоте Мессалины, так же как ее власти; сама она давно уже потеряла свою замечательную красоту из-за чревоугодия и лени и стала невероятно тучной; однако Винициан был один из тех маленьких, похожих на крыс мужчин, которые так же любят женщин с роскошными формами, как крысы любят большие тыквы, и, если бы он стал императором, как он собирался, зная, что Руфрий и Скрибониан, вместе взятые, не могут с ним тягаться, Елена Обжора стала бы его императрицей. Выдал ее Мессалине не кто иной, как сам Винициан в знак его верности нам.

Глава XV

Итак, я все еще был императором, и мои надежды на быстрое и благополучное возвращение к частной жизни развеялись в прах. Я стал говорить себе, что Август был искренен, когда время от времени произносил речи о скором восстановлении республики, и что даже дядя Тиберий не так уж кривил душой, когда толковал об отказе от трона. Да, частному лицу ничего не стоит быть непоколебимым республиканцем и ворчать: «Неужели так трудно выбрать спокойный момент, сложить с себя обязанности и передать правление сенату?» В чем трудность, частное лицо поймет, только если само станет императором. Она заключается в словах «спокойный момент». Такого момента не существует. Обстановка никогда не бывает спокойна. Ты говоришь себе, вполне искренне: «Возможно, через шесть месяцев, возможно, через год». Но проходят шесть месяцев, проходит год, и даже если то, что нарушало покой, удавалось с успехом устранить, тут же возникало что-нибудь другое. Я твердо был намерен передать управление сенату, как только приведу в порядок сумбур, оставленный Тиберием и Калигулой, и заставлю сенат вернуть себе самоуважение — какая свобода без самоуважения? — обращаясь с ним как с ответственным законодательным органом. Однако я не мог относиться к сословию сенаторов с большим пиететом, чем оно того заслуживало. Я зачислил в него лучших римлян из имеющихся в наличии, но пресмыкательство перед волей монарха настолько вошло в их плоть и кровь, что вытравить его было очень трудно. Они не верили в мое добросердечие, и когда я приветливо, как это свойственно мне, обращался к ним, перешептывались между собой, прикрыв рот рукой — ну и

манеры! — а если я вдруг выходил из себя, как порой случалось, они тут же смолкали и сидели, дрожа, точно кучка школьников, которые злоупотребили терпением снисходительного учителя. Нет, пока еще я не мог отказаться от трона. Мне было очень стыдно — теоретически, — что я был вынужден предать смерти руководителей этого несостоявшегося антимонархического восстания, но что практически мне еще оставалось?

Мысли об этом приводили меня в уныние. Кто-то, кажется Платон, писал: единственным оправданием того, кто правит другими людьми, служит то, что в противном случае им самим правили бы люди, уступающие ему в талантах. В этом что-то есть. Но я-то, напротив, боялся, что, если оставлю свой пост, его займет кто-нибудь превосходящий меня талантами (хотя, льстил я себе, не трудолюбием) — например, Гальба или Габиний с Рейна, — и монархия станет еще крепче, а республика никогда не возродится. Так или иначе, «спокойный момент» пока еще не наступил. Я должен был снова браться за работу.

43 г. н. э.

Восстание и его последствия прервали государственные дела, и я месяца на два отстал от графика. Чтобы выиграть время, я отменил несколько необязательных праздников. Когда наступил новый год, я снова, в третий раз, взял на себя консульство — вторым консулом был Вителлий, — но через два месяца отказался от него в пользу Азиатика. Этот год один из самых важных в моей жизни — год вторжения в Британию. Но прежде чем к этому перейти, я должен хоть немного рассказать о делах домашних. Настало время моей дочери Антонии выйти замуж за молодого Помпея, способного юношу и, по-видимому, расположенному ко мне. Однако я запретил устраивать из их свадьбы большой всенародный праздник — мы отметили ее спокойно дома. Я не хотел, чтобы люди думали, будто я считаю своего зятя членом императорской династии. Честно говоря, мне не хотелось думать о своей семье как о династии — мы же не на Востоке; Юлии-Клавдии не лучше и не хуже, чем Корнелии, Камиллы, Сервии, Юнии или любой другой аристократический род. Не хотел я также, чтобы моему маленькому сыну отдавали особые почести, выделяя его из всех прочих знатных детей. Сенат попросил разрешить им отпраздновать день его рождения публичными играми за их счет, но я им отказал. Однако судьи первого ранга отметили этот день по собственному почину великолепным спектаклем и роскошным пиром, заплатив за все из собственного кармана, и в дальнейшем делали это каждый год. Было бы просто невежливо, если бы я не поблагодарил их за их благорасположение, а игры привели Мессалину в восторг. Я дал возможность молодому Помпею получить первую магистратуру на пять лет раньше положенного срока и сделал его городским префектом на время Латинских игр. Помпей был потомком Помпея Великого через свою бабушку по материнской линии, наследницу Помпея; от нее к нему перешли фамильные маски и статуи и право на родовое имя. Я гордился тем, что сумел через столько поколений соединить имя Цезарь с именем Помпей. Юлий Цезарь предложил мою бабушку Октавию в жены Помпею Великому почти сто лет назад, но тот отказался и поссорился с Юлием. Позднее она вышла за Марка Антония и стала прабабкой моей Антонии, которую я сейчас выдал за праправнука Помпея.

Несмотря на сокращение расходов, мы по-прежнему испытывали финансовые трудности. Урожай повсеместно был плох, и мне приходилось уделять львиную долю денег на покупку зерна по высоким ценам в отдаленных землях. Наводя всюду экономию, я лишил некоторых любимцев Калигулы — возникших, актеров и так далее — пожизненных пенсий, дарованных за общественный счет. Я и не подозревал, что их по-прежнему выплачивают, так как Каллист ни разу об этом не упомянул. Возможно, он получил взятку за то, что помалкивал.

Я принял одно важное решение. При Августе забота о государственной казне перешла из рук обычно работавших там чиновников, входивших в самый низший разряд судей, к судьям первого ранга. Однако на практике эти судьи, хотя и выступали в роли казначеев, всего лишь выплачивали или принимали в казну определенные суммы, указанные императором, а все расчеты велись императорскими вольноотпущенниками. Я решил восстановить прежнее положение вещей и вернуть казну чиновникам, которые сейчас были заняты иным делом — управляли меняльными конторами, занимались портовыми сборами в Остии и тому подобное, — дать им возможность как следует разобраться в системе государственных финансов, чтобы, когда монархия уступит место республике, не началась неразбериха; до сих пор все денежные расчеты, правильность которых не проверялась никем, кроме меня, производились Каллистом и его помощниками. Но я не хотел, чтобы эти чиновники воспользовались своим положением и грабили казну, — к сожалению, легче доверять вольноотпущенникам, чем свободным гражданам. Поэтому я объявил, что получить назначение смогут лишь те, кто за время службы устроят публичные игры за свой счет; бедные люди, доказывал я, скорее станут грабить государство, чем богатые. Отобранные мной юноши были обязаны, прежде чем вступить на новый пост, в течение года каждый день приходить в Новый дворец и изучать порядок, заведенный в казне, и установленную там практику. После чего им давали в казне свое ведомство, где они работали под моим началом — естественно, представлял меня Каллист, — а вольноотпущенник, старший служащий этого ведомства, выступал в качестве советчика. План оказался удачным. Вольноотпущенники и чиновники держали под надзором друг друга. Я предупредил Каллиста, что переписка между отделами должна теперь вестись при помощи обычного письма — греческого или латинского, а не скорописи, — надо ввести новых чиновников в курс дел.

Движимый тем же желанием послужить общественным интересам, я сделал все возможное, чтобы внушить высокое чувство долга судьям и губернаторам. Например, я настаивал, чтобы сенаторы, которым по новогоднему жребию выпало управлять провинциями (внутренними провинциями, я имею в виду, в противоположность пограничным, куда я сам, в качестве главнокомандующего, назначал военных губернаторов), не болтались в Риме, как это было у них в обычае, до июня или июля, когда наступала ясная погода и плыть по морю было одно удовольствие, а отправлялись к месту назначения не позже середины апреля.

Мы с Мессалиной произвели самую тщательную проверку реестра римских граждан, в который проникло множество недостойных лиц. Большую часть этой работы я предоставил Мессалине; в результате тысячи имен были вычеркнуты и десятки тысяч добавлены. Я не возражал против увеличения списка. Римское гражданство дает всем, кто его имеет, огромные преимущества перед вольноотпущенниками, жителями провинций и чужестранцами, и до тех пор, пока наше сообщество не становится слишком замкнутым или, напротив, слишком доступным, но остается в правильной пропорции ко всем обитателям римских владений — скажем, один гражданин Рима на шесть-семь остальных, — это служит важным сдерживающим фактором в мировой политике. Я только настаивал, чтобы новые граждане были людьми состоятельными, из хорошей семьи и с хорошей репутацией, чтобы они умели говорить на латыни, имели достаточное понятие о римском праве, религии и этике и чтобы они одевались и вели себя согласно своему новому положению. Всякого, кто претендовал на гражданство и отвечал этим требованиям, а также имел поручителя в лице сенатора высокого ранга, я включал в список. Не спорю, я ждал от этого человека, что он сделает дар в государственную казну, соответствующий его возможностям: ведь он будет получать от нее помощь самыми разными путями. Те, кто не могли найти поручителя, обращались ко мне

через моих помощников, и Мессалина выясняла, каково их прошлое. Рекомендованных ею людей я вносил в список без дальнейших расспросов. Я не догадывался тогда, что Мессалина получает от них большую мзду — ведь они попадали в реестр благодаря ее влиянию на меня — и что мои вольноотпущенники Амфей и Полибий, которых я временно привлек к проверке реестра, тоже скопили огромные суммы. Многие сенаторы, выступавшие поручителями за будущих граждан, пронюхали об этом и тоже стали брать деньги, как говорится, из-под полы; некоторые даже осторожно оповещали через своих агентов, что возьмут за покровительство куда более умеренную плату, чем любой другой сенатор, который занимается той же коммерцией. Повторяю, в то время я ничего обо всем этом не знал, хотя предполагаю, что они-то думали, будто я имею здесь свою выгоду через Мессалину как моего агента и поэтому смотрю сквозь пальцы на их делишки.

Я знал, не скрою, другое, а именно, что многие из моих советников берут от просителей денежные подарки. Однажды я даже обсуждал с ними этот вопрос. Я сказал:

— Я разрешаю вам брать подарки, но запрещаю их вымогать. Я не хочу вас обидеть, высказывая предположение, будто за взятку вы способны на подлог или какой-нибудь другой незаконный поступок, и не вижу, почему бы вам не получить награду за содействие людям, которое требует от вас времени и энергии, и за то, что *ceteris paribus* вы рассмотрели их дело в первую очередь. Если вы получили одновременно сто прошений об одной и той же милости, а дать ее можете лишь десяти, и не знаете, на ком остановить свой выбор, что ж, я скажу, будет глупо, если вы не выберете тех, кто может отблагодарить вас больше остальных. Мой верный друг и союзник царь Ирод Агриппа любит приводить еврейское речение — а верней, еврейский закон, который вошел в поговорку: «Не завязывай морду быку, который молотит хлеб». Это справедливо и подходит к данному случаю. Но здесь не аукцион, где идет непристойная распродажа милостей, и если я узнаю, что некоторые мои быки больше заняты тем, как бы набить рот зерном, чем молотью, я тут же отведу их с гумна на бойню.

Моего нового командующего гвардией звали Юст. Я созвал всех командиров полков и предложил им выбрать на этот пост одного из их числа, и хотя я предпочел бы кого-нибудь другого, я утвердил их выбор. Для военного Юст слишком любил вмешиваться в политику: например, он пришел ко мне как-то раз и сообщил, что некоторые из новых граждан, которых я возвел в это звание, не приняли моего имени, как следовало бы, чтобы показать свою верность, и не изменили завещания в мою пользу, чего требовала благодарность. У него уже был список этих неблагодарных и неверных людей, и он спросил, не хочу ли я, чтобы против них были сфабрикованы обвинения. Я заставил его замолчать, поинтересовавшись, вошло ли в обыкновение у новобранцев брать его имя или менять завещание в его пользу. Все это Юст не поленился мне сказать, но ни он, ни кто-либо другой ни словом не обмолвился, что Мессалина не только торговала римским гражданством и поощряла других им торговать, но и — а это еще позорней — получала огромные суммы, используя свое влияние на меня при выборе судей, губернаторов и армейских командиров. В некоторых случаях она мало того, что вымогала у человека деньги, еще и настаивала на том — лучше уж я сразу вам в этом признаюсь, — чтобы он переспал с ней для скрепления сделки. Самым ужасным было то, что она впутала во все это меня без моего ведома, говорила всем, будто я отверг ее, пренебрег ее красотой, но разрешил выбрать себе любого компаньона на ночь, лишь бы он согласился заплатить хорошую цену за должность, которую я при ее посредничестве продавал! Однако в то время я еще ничего не знал об этом и тешил себя мыслью, будто все идет хорошо и я поступаю со всеми честно и справедливо, что не может не вызвать любви и благодарности всей нации.

Из-за этой своей самоуверенности и слепоты я сделал одну особенно глупую вещь: я послушался совета Мессалины насчет монополий. Но не забывайте, как она была умна, и какой тугодум я сам, и как всецело я на нее полагался: она могла убедить меня в чем угодно. Однажды она сказала мне:

— Клавдий, я уже давно думаю кое о чем. Я думаю, что страна была бы куда богаче, если бы мы издали закон, запрещающий коммерсантам конкуренцию.

— Что ты имеешь в виду, любимая? — спросил я.

— Разрешить объяснить это аналогией. Представь, что у нас в правительстве не было бы ведомств. Представь далее, что каждый советник мог бы тогда переходить с места на место, от одного занятия к другому, как ему вздумается. Представь, что Каллист ворвался бы к тебе в кабинет утром и закричал: «Я пришел первый и хочу сегодня делать работу Нарцисса», а Нарцисс, задержавшийся на минуту, увидел бы на своем стуле Каллиста и кинулся бы в комнату Феликса, только-только успев его опередить, и принялся работать над какой-нибудь дипломатической нотой, которую Феликс не успел накануне закончить. Это было бы смешно, не правда ли?

— Очень смешно. Но при чем тут коммерсанты?

— Сейчас я тебе покажу. Беда с ними в том, что они редко продают один и тот же товар и мешают продавать свой товар конкурентам. Никто из них не думает об обществе, им надо одно — побыстрее набить карман. Коммерсант может какое-то время спокойно вести фамильное дело как виноторговец, а затем вдруг переключиться на торговлю маслом и продавать его дешевле, чем маслоторговец, давно живущий в той же округе; возможно, он вообще заставит того выйти из дела и купит его сам, или займется торговлей фигами или рабами, ничего в этом не смысля, и в результате или разорит своих конкурентов, или разорится сам. Торговля — это постоянная битва, и большая часть граждан страдает от нее так же, как мирное население в войну.

— Ты действительно так думаешь? Иногда, когда один из них хочет сбить цену или вылетает в трубу, они продают свой товар на диво дешево.

— С таким же успехом можно сказать, что иногда мирное население может неплохо поживиться на поле боя — металлический лом, конские шкуры и подковы, обломки повозок, достаточно крепкие, чтобы их использовать. Но чего стоят эти счастливые находки по сравнению с сожженными домами и вытоптаннами посевами?

— Неужели коммерсанты так плохи? Я всегда считал их полезными слугами государства.

— Они могут и им следует быть полезными. Но они приносят большой вред своей яростной конкуренцией, ведь они завидуют друг другу и не считаются с общими интересами. Например, разносится слух, что будет большой спрос на цветной фригийский мрамор, или сирийский шелк, или слоновую кость из Африки, или перец из Индии, и из страха упустить свой шанс, они, как бешеные псы, устраивают свалку в борьбе за рынок. Вместо того, чтобы заниматься своим собственным делом, они торопятся отправить корабли в любой уголок земли, где ждут найти выгоду, с наказом капитану купить как можно больше мрамора, шелка, слоновой кости и перца, сколько бы это ни стоило, и тогда, само собой, туземцы поднимают цены. И вот домой возвращаются двести кораблей с трюмами, забитыми шелком или перцем, купленными за бешеные деньги, а нам хватило бы и двадцати, а сто восемьдесят судов принесли бы больше пользы, если бы доставили другие товары, на которые будет спрос немного погодя и за которые можно будет получить приличную сумму. Совершенно ясно, что торговлю так же надо контролировать из центра, как армию, судопроизводство, религию и все остальное.

Я спросил Мессалину, как бы она контролировала торговлю, если бы я предоставил ей такую возможность.

— Как? Да это проще простого, — ответила она. — Я бы давала монополии.

— Калигула давал монополии, — сказал я, — и сразу вздул цены.

— Он не давал, а продавал монополии, причем тому, кто предлагал больше остальных, естественно, что цены подскочили. Я бы так не сделала. И мои монополии были бы мельче, чем у Калигулы. Где это видано — дать одному человеку право торговать инжиром во всем мире! Я же подсчитаю, каков нормальный годовой спрос на тот или иной товар, а затем предоставляю торговлю этим товаром на год или два одной или несколькими фирмам. Например, я предоставляю исключительное право ввозить и продавать кипрские вина такой-то фирме, исключительное право ввозить и продавать египетское стекло такой-то фирме, а балтийский янтарь, пурпур из Тира и британская эмаль отойдут другим фирмам. Тогда не будет никакой конкуренции и иностранные промышленники и торговцы сырьем не смогут поднять цены. «Не хотите, как хотите», скажет наш коммерсант, сам назначая цену. Коммерсанты, репутация которых недостаточно прочна, чтобы жаловать им монополию, должны или договориться с монополистами, если те думают, что не смогут сами управляться с объемом работы, или искать себе применение в других областях промышленности или торговли. Если бы я могла поступать по-своему, я привела бы все в порядок, в Риме было бы прекрасное снабжение, а государство получило бы куда больше портовых сборов.

Что ж, ее план звучал вполне разумно и одним из его плюсов было то, что это высвобождало много людей и судов для торговли зерном. Я тут же предоставил Мессалине право раздать большое число монополий, не подозревая, что хитрая женщина обвела меня вокруг пальца, и единственной целью этой аферы было получить огромные взятки от будущих монополистов. Через полгода прекращение конкуренции во всех отраслях монопольной торговли — куда входила торговля не только предметами роскоши, но и предметами первой необходимости, — подняло цены до чудовищной высоты; торговцы возмещали за счет покупателей то, что отдали Мессалине в виде взяток. После первой голодной зимы так тревожно в городе не было ни разу. На улицах меня сопровождали крики толпы, и мне пришлось поставить на Марсовом поле большой помост, стоя на котором я с помощью громкогласных гвардейских капитанов устанавливал на ближайший год цену наиболее вздорожавших товаров, — я основывался на ценах предыдущего года, насколько удавалось выяснить точные цифры. И, конечно, монополисты тут же хлынули во дворец, моля меня изменить свое решение — каждый в свою пользу, — ведь они бедные люди и их семьям грозит нищета, они и так уже умирают с голоду, ну и прочие глупости. Я сказал им, что, если их торговля не окупает себя при установленных мной ценах, им никто не мешает уступить свое место тем, кто ведет коммерцию лучшими деловыми методами, а затем предупредил, что, если они немедленно не покинут дворец, я обвиню их в «развязывании войны против государства» и их сбросят с Капитолийской скалы. Протесты прекратились, но они попытались взять надо мной верх, совсем изъяз с рынка свои товары. Однако стоило мне услышать, что какой-нибудь продукт — скажем, маринованная рыба из Македонии или лекарственные снадобья с Крита — не попадает в город в достаточном количестве, я добавлял еще одну фирму к тем, кто уже делил между собой монополию на этот товар.

Я всегда очень заботился о снабжении Рима продовольствием. Я приказывал управляющему моими италийскими поместьями отводить как можно больше земель в окрестностях Рима под овощи для городского рынка, в особенности под капусту, лук, салат-латук, эндивий, лук-порей и другие зимние сорта. Мой дворцовый врач Ксенофонт сказал мне, что частые вспышки заболеваний в бедных кварталах, бывающие зимой, являются результатом нехватки свежих овощей. Я хотел, чтобы их выращивали в изрядном количестве, каждый день еще до рассвета привозили в

город и продавали на рынке по самой низкой цене. Я также поощрял разведение свиней, птицы и рогатого скота и год-два спустя добился у сената особых привилегий для городских мясников и виноторговцев. Некоторые сенаторы выразили протест против моего предложения. Сами они получали все необходимое из собственных поместий, им было безразлично, что ест народ. Азиатик сказал:

— Холодная вода, хлеб, бобы, чечевичная каша и капуста — более чем достаточно для простых людей. Зачем давать им вино и мясо? Одно баловство.

Я возмущился жестокостью Азиатика и спросил его, предпочитает ли он сам холодную воду кьянти или капусту жареной дичи. Он ответил, что вырос на обильной и питательной пище, ему просто невозможно перейти на более скромный стол, но он не сомневается, что был бы куда крепче и здоровее, если бы смог это сделать, и очень дурно содействовать тому, чтобы бедняки питались роскошнее, чем они могут себе позволить.

— Я обращаюсь к вам, отцы сенаторы, — начал я, дрожа от возмущения. — Скажите, как можно иметь чувство собственного достоинства, если не съешь кусочек мяса хоть раз в месяц?

Сенаторам мой вопрос показался смешным. Мне нет. И то же произошло в конце заседания, когда речь зашла о виноторговцах.

— Их надо подбодрить, — сказал я. — Даже за последние пять лет число таверн значительно уменьшилось. Я говорю о честных погребках, где продают вино распивочно и на вынос, а не о тех грязных, закрытых мною заведениях, где торговали закуской, а не только вином, если это можно назвать вином! Жуткая бурда, большей частью приправленная свинцовыми солями, и тут же рядом бордель с больными девками и все стены заклеены порнографическими картинками. Пять лет назад в какой-то четверти мили от моего дома на Палатинском холме было не меньше пятнадцати... да нет, что я говорю? не меньше двадцати пяти хороших погребков, а теперь их всего три или четыре. И вино там было превосходное! «Фляга», и «Вакх», и «Ветеран», и «Два брата», и «Слава Агриппы», и «Лебедь» («Лебедь» еще держится, но остальные исчезли; лучшее вино было в «Двух братьях»), и «Бавкида и Филемон» — его тоже нет больше, славное было местечко. И «Тиса» тоже нет... я очень его любил...

Как они хохотали! У всех у них были свои винные подвалы, и, возможно, они ни разу в жизни не заходили в погребок, чтобы промочить горло или купить бутылочку вина. Я сердито нахмурился, и они смолкли. Я сказал:

— Вы, наверно, помните, что пять лет назад из-за причуд моего племянника, покойного императора, я разорился и был вынужден жить милостями моих друзей — между прочим, ни одного из вас среди них не было, — настоящих друзей: нескольких благодарных мне вольноотпущенников, проститутки и одного-двух старых рабов. Я заходил в эти таверны купить вина, потому что мой винный погреб был выставлен для продажи с торгов, так же как и мой дом, где мне по карману были всего две комнаты. Поэтому я знаю, о чем говорю. Я надеюсь, что, если кто-нибудь из вас случайно тоже окажется жертвой причуд императора и впадет в нужду, он вспомнит об этих наших дебатах и пожалеет, что не поддержал мое предложение о надлежащих поставках в Рим мяса и о защите таких честных погребков, как старый «Лебедь», «Корона» и «Черный пес», которые все еще существуют, но которым, если вы им не поможете, не долго осталось жить. К черту холодную воду и чечевичную кашу! И если, сиятельные, до того, как я кончу говорить — или после того, — я замечу на ваших лицах хотя бы подобие улыбки, я буду считать, что мне нанесено публичное оскорбление.

Я был в ярости, меня просто трясло, и я увидел, что их постепенно охватывает страх за свою жизнь. Мое предложение было принято единогласно.

Успех доставил мне мгновенное удовольствие, но затем я почувствовал

глубокий стыд и еще ухудшил положение, попросив сенат простить меня за скверный характер. Сенаторы расценили это как слабость и неуверенность в себе. Я хочу, чтобы вам было ясно: я вовсе не применил, вопреки моим заветным принципам равенства, справедливости и самоуважения, императорскую власть, чтобы запугать сенаторов и заставить их угрозами выполнить мою волю. Просто меня вывел из себя Азиатик и все остальные бессердечные богачи, которые смотрят на своих сограждан, как на грязь под ногами. Я не угрожал, я увещевал. Но впоследствии мои враги обратили все сказанное мной против меня, несмотря на то, что я попросил прощения, а затем написал и разослал по городу следующее письмо:

«Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик император, великий понтифик, защитник народа, консул на третий срок, приветствует сенат и римский народ.

Я отдаю себе отчет в том, что страдаю недостатком, который огорчает меня сильнее, чем вас, поскольку мы больше сожалеем о зле, причиненном нами, чем о зле, источником которого служат внешние силы, особенно если мощь их такова, что сдерживать их мы не можем, такие, как молния, болезни, град или жестокость судьбы. Я имею в виду приступы ярости, которым я становлюсь все более подвержен с тех пор, как принял бремя правления, возложенное вами на меня, вопреки моему желанию. Например, позавчера я отправил в Остию депешу, что приеду посмотреть, как идут земляные работы в новом порту, что я спущусь к морю по Тибру, что ждать меня можно около полудня, и, если у местных жителей есть какие-нибудь жалобы на землекопов или они хотят подать мне какие-нибудь петиции, я с удовольствием выслушаю их и во всем разберусь, но, когда я достиг Остии, ни одна лодка не вышла мне навстречу, ни одного городского чиновника не было у причала. Я разгневался и велел немедленно послать за ведущими гражданами города, в том числе за главным судьей и начальником порта. Я обратился к ним в самых несдержанных выражениях, спрашивая, почему я так низко пал в их глазах, что на пристани не было ни одного моряка, чтобы причалить мою яхту, верно они возьмут с меня портовый сбор за то, что я вообще к ним приплыл. Я укорял жителей Остии в неблагодарности — мол, рычат и кусают руку, которая кормит их, или, в лучшем случае, безразлично от нее отворачиваются, а объяснялось все проще простого: они не получили моей депешы. Они извинились передо мной, я извинился перед ними, и мы снова стали друзьями, не затаив друг на друга зла. Но я страдал от своего гнева куда сильнее, чем они, потому что, когда я кричал на них, они не чувствовали за собой никакой вины, а я потом мучился от стыда за то, что их оскорбил.

Поэтому позвольте мне признаться, что я подвержен этим приступам гнева, и умолять вас быть ко мне снисходительнее. Они скоро кончатся и совершенно неопасны. Мой врач Ксенофонт говорит, что они вызваны переутомлением, так же как бессонница. Все последние ночи я почти не сплю, грохот фургонов, привозящих после полуночи в город продукты, хоть и отдаленный, не дает мне уснуть до рассвета, когда мне порой удается забыться на часок. Вот почему я бываю таким сонным в суде после завтрака.

Второй недостаток, в котором я хочу признаться, это моя склонность к злопамятству: я не могу винить в этом переутомление или слабое здоровье, но скажу, что если я порой свожу с кем-нибудь счеты, то не из-за необъяснимой антипатии к лицу или поведению этого человека или зависти к его богатству и талантам. Моя мстительность всегда оправдана какой-нибудь давней несправедливостью или обидой, за которую передо мной не извинились и никак иначе их не искупили. Например, когда я впервые вошел в здание суда — вскоре после моего восшествия на престол, — чтобы решить дела людей, обвиненных в государственной

измене, я заметил того мерзкого служителя, который некогда лез вон из кожи, чтобы снискать милость моего племянника, покойного императора, за мой счет; это было, когда меня несправедливо обвинили в подлоге. Указывая на меня, он тогда воскликнул: „Вина написана у него на лице. Зачем затягивать слушание? Приговори его тут же на месте, цезарь“. Разве не естественно, что я это вспомнил? Я крикнул этому субъекту, когда, увидев, что я вхожу, он чуть не пополз ко мне на животе: „Вина написана у тебя на лице. Покинь это здание и чтобы ты больше никогда не показывался ни в одном из судов Рима!“

Вы все знаете старинное патрицианское изречение: „*Aquila non captat muscas*“ — „Орел не охотится на мух“, что значит: он не преследует пустяковые цели и не пытается во что бы то ни стало отомстить какому-нибудь ничтожеству, которое вызывает его на это. Но разрешите привести еще несколько строк, прибавленных к этому изречению моим благородным братом Германиком Цезарем:

„*Capfat non muscas aquila: at quaeque advolat ultro
Faucibus augustis, musca proterva perit*“.

Не забывайте об этом, и у нас не будет никаких недоразумений; нас по-прежнему будут связывать узы взаимной любви, в которой мы так часто клялись друг другу.
Прощайте».

(В переводе куплет этот значил следующее: «Орел не охотится на мух, но если какая-нибудь наглая муха сама влетит с жужжанием в его августейший клюв, тут ей и конец».)

Казнь Аппия Силана была лишь предлогом для мятежа, поэтому, желая показать, что я не питаю вражды к его семье, я устроил так, чтобы его сын Марк Силан, праправнук Августа, родившийся в год его смерти, стал через пять лет консулом; я также обещал младшему сыну Аппия, который приехал из Испании вместе с отцом и жил с нами во дворце, обручить его с моей дочерью Октавией, как только она достаточно подрастет, чтобы понять смысл этой церемонии.

Глава XVI

Британия расположена на севере, но климат там, хотя и сырой, далеко не такой холодный, как можно было бы ожидать; если землю как следует осушить, она станет исключительно плодородной. Коренные жители, низкорослые темноволосые люди, были вытеснены из своих владений примерно в то время, когда был основан Рим, кельтами, вторгшимися туда с юго-востока. Некоторые из них все еще сохраняют независимость, живя отдельными поселениями в неприступных горах и непроходимых болотах, остальные стали рабами и смешали свою кровь с кровью завоевателей. Я употребляю слово «кельты» в самом широком смысле, относя его ко множеству народностей, которые появились в Европе на протяжении нескольких последних столетий из отдаленных восточных земель, лежащих к северу от Индийских гор. Некоторые ученые полагают, что они были вынуждены покинуть родные места не из-за любви к скитаниям или под натиском более сильных племен, а из-за природного бедствия грандиозных масштабов, а именно, медленного и постепенного истощения огромных участков тучной, в прошлом, земли, которая раньше их кормила. В число кельтов, если в этом слове вообще есть какой-то смысл, я включаю не только большую часть обитателей Франции — кроме исконных жителей Аквитании и Иберии — и многие германские и балканские народности, но даже

ахейских греков, которые некоторое время жили на Верхнем Дунае, прежде чем продвинуться на юг, в Грецию. Да, греки сравнительно недавно пришли в Грецию. Они вытеснили исстари живших там пеласгов, культура которых шла с Крита, и принесли с собой своих богов, главным среди которых был Аполлон. Произошло это незадолго до Троянской войны. Дорийские греки появились еще позднее — через восемьдесят лет после Троянской войны. Примерно в это же время другие кельтские племена той же расы вторглись во Францию и Италию, и наш латинский язык ведет свое происхождение от их речи. Именно тогда произошло первое нашествие кельтов в Британию. Эти кельты, чей язык родственен примитивной латыни, назывались гаэлы — высокие, светловолосые, с большими руками и ногами, хвастливые, необузданные, однако благородные и великодушные люди, одаренные во всех видах искусства, включая умение ткать тончайшие ткани, чеканить по металлу, играть на музыкальных инструментах и слагать стихи. Они все еще существуют в Северной Британии на той же стадии цивилизации, которую обессмертил для греков, столь сильно изменившихся с тех пор, великий Гомер.

Четыреста или пятьсот лет спустя в северной Европе появились новые кельты, а именно те племена, которые мы называем галатами. Они захватили Македонию после смерти Александра и перешли в Малую Азию, заняв область, нареченную в их честь Галатия. Они вторглись также в Северную Италию, где сокрушили этрусков, дошли до Рима, разбили нас в битве при Аллии и сожгли наш город. Эти же племена завладели большей частью Франции, хотя их предшественники остались в центре, на северо-западе и на юго-востоке страны. Эти галаты тоже одаренный народ; правда, в области искусства они уступают прежним кельтам, зато более сплочены и куда лучшие воины. Роста они среднего, волосы у них черные или каштановые, подбородки круглые, носы прямые. Примерно в то же время, когда произошла злополучная битва при Аллии, несколько их племен вторглись в Британию через Кент, юго-восточную оконечность острова, и вынудили гаэлов отступить к другим берегам, так что теперь свободных гаэлов можно найти только на севере Британии и на соседнем с ней островке, Ирландии, все остальные — рабы. Захватившие страну галаты стали известны под именем бритты — «крашенные люди» (в знак принадлежности к определенной касте они разрисовывали лицо и тело синей краской) и передали это имя всему острову. Однако еще через двести лет из Центральной Европы по Рейну поднялась третья волна кельтов. Это те самые племена — мы называем их белги, — которые живут теперь на побережье Ла-Манша и считаются во Франции лучшими солдатами. Это смешанная раса, родственная галатам, но с примесью германской крови; у них светлые волосы, большие подбородки и орлиные носы. Они тоже вторглись в Британию через Кент и утвердились в южной части острова, за исключением юго-западного уголка, где по-прежнему живут бритты и их рабы гаэлы. Эти белги сохраняли тесную связь со своими родственниками на материке (один из их королей правил по обе стороны от Ла-Манша), постоянно торговали с ними и даже послали военное подкрепление, когда те сражались с Юлием Цезарем; точно так же на юго-западе острова бритты торговали со своими родичами — галатами с Луары и посылали им помощь.

Но хватит об обитателях Британии, перейдем теперь к истории их контактов с Римом. Первое римское вторжение в Британию было совершено сто восемь лет назад Юлием Цезарем. Он обнаружил в рядах своих противников — белгов и галатов с Луары — множество британцев и решил, что пора научить остров уважать мощь Рима. Он не мог рассчитывать на окончательное усмирение Франции до тех пор, пока самые упорные враги Рима могли найти в Британии безопасное убежище, а затем вновь предпринять попытки возродить независимость своей страны. Кроме того, Юлий хотел, из политических соображений, завоевать громкую военную славу, чтобы уравнивать счет в победах со своим соперником Помпеем. Его победы в Испании и

Франции были ответом на победы Помпея в Сирии и Палестине, а военные успехи в далекой Британии могли быть противопоставлены подвигам Помпея среди отдаленных народов Кавказа. Ну и наконец, Юлию Цезарю были нужны деньги. Судя по успехам торговцев с Луары и побережья Ла-Манша, ведущих дела с Британией, там был превосходный рынок, и Юлий хотел захватить его себе, сперва получив от жителей острова большую дань. Он знал, что в Британии есть золото, поскольку британские золотые монеты имели свободное хождение во Франции (между прочим, это были очень любопытные монеты: моделью им послужили золотые статеры Филиппа Македонского, которые попали в Британию через Рейн и Дунай, но с течением времени узор настолько стерся, что из двух коней в колеснице остался только один, сама колесница и возничий были чуть видны, а от головы Аполлона в лавровом венке сохранился один веночек). Но на самом деле Британия не особенно богата золотом, да и оловом тоже; хотя копи на юго-западе острова когда-то имели немаловажное значение — олово оттуда шло на продажу в Карфаген — и до сих пор еще разрабатываются, основное снабжение Рима сейчас идет с оловянных островков у побережья Галиции. В Британии есть сколько-то серебра, меди и свинца и на юго-восточном берегу ведется добыча железной руды. Есть тут и пресноводный жемчуг чистой воды, хотя он мелкий и не выдерживает сравнения с тем, что привозят с востока. Янтаря нет, если не считать обломков, которые выносит на берег прилив, — он попадает сюда из Балтики, зато есть превосходный гагат и другие ценные товары для внешней торговли, такие, как рабы, шкуры, шерсть, лен, домашние животные, украшенные эмалью изделия из бронзы, синяя краска, плетеные корзины и зерно. Юлиа больше всего интересовали золото и рабы, хотя он знал, что рабы, добытые им на острове, будут не особенно высокого качества — женщины малопривлекательны и вспыльчивы, а мужчин, кроме тех, кто принадлежал к местной знати и годился в кучера, можно использовать лишь на самых примитивных сельских работах. Среди них не найдешь поваров, ювелиров, музыкантов, цирюльников, секретарей или искусных куртизанок. Средняя цена за них на римском рынке — самое большее сорок золотых.

Юлий Цезарь дважды вторгнулся в Британию на юго-востоке острова, как это делали до него поочередно гаэлы, бритты и белги. В первом случае британцы яростно сопротивлялись его высадке на берег и показали себя прекрасными воинами, так что успехи Юлиа были невелики: он продвинулся в глубь страны всего на десять миль да взял несколько заложников из жителей Кента. Во втором случае, однако, учтя свой прежний опыт, он высадился с большим войском — двадцать тысяч человек, а не десять, как в первый раз. Он выступил из Сэндвича, селения неподалеку от побережья, и шел вдоль южного берега устья Темзы, форсировав сперва реку Стаур, а затем Темзу возле Лондона. Он двигался на территорию катувеллаунов — племя белгов, чей вождь стал повелителем нескольких более мелких вождей на юге и востоке острова; его столица называлась Уитхэмпстед и находилась в двадцати пяти милях к северо-востоку от Лондона. Когда я говорю «столица», я, конечно, употребляю это слово не в греко-римском понимании; вряд ли можно назвать городом пусть даже большое скопление плетеных и обмазанных глиной хижин и несколько строений из нетесаного камня, окруженных крепостными стенами. Как раз вождь этого племени, Кассивеллаун, и организовал сопротивление Юлию, однако вскоре он обнаружил, что, хотя его кавалерия и боевые колесницы сильнее, чем французская кавалерия, которую привел Юлий, пехота его уступает римской пехоте. Он решил, что лучшей тактикой будет вообще расстаться с пехотой и задержать наступление римлян с помощью кавалерии и колесниц. Юлий увидел, что может отправлять фуражиров на поиски провианта только целыми отрядами и при поддержке конницы: излюбленной тактикой британских боевых колесниц было внезапное нападение на одиночных солдат, отбившихся от своих, и даже на

небольшие группы. На марше римское войско не могло причинить особенно большого вреда — ну сожгут несколько полей с созревшими хлебами или деревень, — у британцев всегда было достаточно времени, чтобы спрятать женщин, детей и скот в безопасном месте. Однако, переправившись через Темзу, Юлий получил поддержку племен, которые незадолго до того были побеждены их врагами, катувеллавнами. Это были тринованты, жившие к северо-западу от Лондона, их столица — Колчестер. Сын триновантского вождя, убитого Кассивеллавном, спасся бегством во Францию незадолго до начала похода и обещал Юлию, если он захватит территорию катувеллавнов, поднять все восточное побережье в его поддержку. Обещание свое он выполнил, и теперь Юлию была обеспечена база на землях триновантов. Пополнив запасы продовольствия, Юлий вновь выступил в поход на Уитхэмпстед.

Кассивеллавно знал, что у него мало шансов одержать победу, разве что какой-нибудь отвлекающий удар заставит римлян повернуть обратно. Он отправил срочное послание подвластным ему союзникам в Кенте с просьбой подняться крупными силами и напасть на центральный лагерь Юлия. Юлий уже один раз был остановлен, вскоре после высадки на остров, известиями о том, что буря повредила часть его транспортных судов, которые, не позаботившись вытащить на берег, он оставил стоять на якоре. Он был вынужден вернуться от Стаура — немалый путь — и потратить десять дней на починку, что дало противнику возможность вернуть себе и укрепить позиции, которые Юлий завоевал с немалым трудом. Если кентцы согласятся напасть на лагерь Юлия, где было всего две тысячи пехотинцев и триста кавалеристов, и им удастся его захватить и завладеть флотом, Юлий окажется в ловушке и весь остров поднимется против римлян — даже тринованты покинут своих новых союзников. Кентцы произвели на лагерь массированную атаку, но были отбиты, понеся тяжелые потери. Услышав об этом поражении, все союзники Кассивеллавна, которые еще не сделали этого, отправили к Юлию мирных послов. Но он уже двигался на Уитхэмпстед и вскоре взял его приступом, атаковав одновременно с двух сторон. Эта крепость представляла собой огромное земляное укрепление в форме кольца, защищенное лесом, глубокими рвами и частоколом, и считалась неприступной. Она служила убежищем для всех членов племени, слишком старых или слишком молодых, чтобы сражаться. Римляне захватили там колоссальные стада и сотни пленников. Хотя армия Кассивеллавна не была разбита, ему пришлось просить о мире. Юлий поставил ему легкие условия, так как лето подходило к концу и он стремился поскорее вернуться во Францию, где назревало восстание. От катувеллавнов потребовали лишь передать в руки римлян несколько знатных мужчин и женщин племени как заложников, платить Риму золотом ежегодную дань и обещать не трогать триновантов. Поэтому Кассивеллавно отдал Юлию часть дани и передал заложников, что сделали также вожди всех остальных племен, кроме триновантов и их союзников с восточного побережья, которые ранее предложили Юлию помощь по собственному почину. Юлий вернулся во Францию с пленниками и тем скотом, который ему не удалось продать по дешевке триновантам, чтобы избавиться от необходимости переправлять его через пролив.

Восстание во Франции разразилось два года спустя, и Юлий так был занят его разгромом, что не мог пожертвовать даже частью людей для третьего похода на Британию, хотя Кассивеллавно, как только до него дошли слухи о восстании, сразу же перестал платить дань и послал во Францию помощь повстанцам. Вскоре начались гражданские войны, и хотя, когда они закончились, вопрос о вторжении в Британию время от времени и поднимался, всегда находилась подходящая причина его отложить; обычно это были неприятности на германской границе. Никогда нельзя было выделить для этого достаточно войск. В конце концов Август пришел к решению не расширять границ империи за пределы пролива. Вместо этого он

устремил свои силы на то, чтобы цивилизовать жителей Франции, рейнских провинций и тех областей Германии, которые завоевал мой отец. Когда в результате мятежа, возглавленного Германном, Август потерял зарейнскую Германию, он был еще менее склонен прибавить к своим заботам Британию. В письме к бабке Ливии, датированном годом моего рождения, он писал, что пока французы не созреют для римского гражданства и можно будет, не опасаясь, что они восстанут, отвести оттуда оборонительные войска, вторжение в Британию вряд ли будет политически оправдано:

«Но несмотря на все это, дражайшая Ливия, я считаю, что в конечном счете Британию надо будет превратить в пограничную провинцию. Нельзя допустить, чтобы остров, находящийся так близко к Франции, с таким многочисленным и воинственным населением, сохранял свою независимость. Заглядывая в будущее, я вижу Британию столь же цивилизованной, как теперешняя южная Франция, и я думаю, что островитяне, будучи родственны нам по крови, станут куда лучшими римлянами, чем когда-либо, как мы ни старайся, будут германцы, которые, несмотря на их понятливость и желание усвоить наши ремесла и прочие промыслы, на мой взгляд, более чужды нам по разуму и духу, чем даже мавры или евреи. Я не могу объяснить это чувство, кроме как сказав, что уж слишком быстро они всему учатся; ты ведь знаешь поговорку „быстро выучишь, быстро забудешь“. Тебе покажется глупым, что я пишу о британцах, словно они уже вошли в Римскую империю, но так интересно представлять будущее. Я не имею в виду через двадцать лет или даже пятьдесят, но допустим, что французам понадобится лет пятьдесят, чтобы заслужить римское гражданство, и еще двадцать уйдет на полное покорение Британии, — возможно, через сто лет Италия будет тесно связана со всем британским архипелагом и (не улыбайся) британская знать, возможно, займет места в римском сенате. А пока мы должны продолжить политику коммерческого проникновения. Этот король, который сделался верховным правителем большей части Британии, тепло встречает романизированных французских торговцев и даже греческих врачей, особенно окулистов, так как британцы, по-видимому, часто страдают от глазных болезней из-за заболоченности почвы, а римские чеканщики чеканят для него прекрасную серебряную монету — золотые остаются все еще прежними, варварскими, — и он в дружбе с нашим губернатором во Франции. За последние годы торговля с Римом сильно возросла. Мне говорили, что при дворе Цимбелина в Колчестере латынь слышна не реже, чем местная речь».

В связи с этим я должен привести отрывок из Страбона, философа, жившего при Тиберии. Он писал:

«В наши дни некоторые правители Британии добились дружбы Цезаря Августа, посылая к нему послов, которые рассыпаются перед ним в любезностях и даже делают жертвоприношения в храме Капитолийского Юпитера; Британия буквально превратилась в, так сказать, родную землю римлян. Островитяне платят очень умеренную пошлину как за вывозимые во Францию, так и за ввозимые в Британию товары; в основном это браслеты из слоновой кости, бусы, янтарь, стеклянная посуда и прочее в том же роде».

Затем Страбон перечисляет товары, которые идут на экспорт: золото, серебро, железо, шкуры, рабы, охотничьи собаки, зерно и рогатый скот. Его вывод — подсказанный, я думаю, самой Ливией:

«Поэтому римлянам нет никакой нужды вводить на остров войска и ставить гарнизоны. Понадобится по крайней мере один пехотный полк, подкрепленный кавалерией, чтобы принудить их платить дань; но содержание гарнизона обойдется в не меньшую сумму, а обложение данью повлечет за собой снижение таможенных пошлин, к тому же не надо забывать о военной угрозе, неразрывной с политикой насильственного захвата».

Предварительная оценка Страбона: «по крайней мере один пехотный полк» — была слишком скромной. «По крайней мере четыре полка» было бы куда ближе к истине. Август никогда не поднимал вопрос о том, что катувеллавы перестали платить дань, нарушив тем клятву в верности, и не выражал протеста против порабощения Цимбелином триновантов. Этот Цимбелин был внуком Кассивеллава и правил на острове сорок лет; последние годы его жизни — по-видимому, такова судьба всех престарелых правителей — были омрачены семейными неурядицами. Его старший сын попытался захватить власть и был изгнан из королевства; он спасся бегством во Францию, где явился к Калигуле и попросил помочь ему завладеть Британией, обещая, если Калигула посадит его на отцовский престол, признать главенство Рима. Калигула тут же отправил в сенат депешу, сообщая о капитуляции острова, а затем маршем двинулся впереди огромной армии в Булонь, словно намеревался немедленно начать вторжение на остров. Однако человек он был слабонервный и побоялся утонуть в проливе, где бывает большое волнение, или быть убитым в бою, или взятым в плен и сожженным в плетеной корзине в качестве жертвы местным богам; поэтому Калигула объявил, что, раз Британия сдалась Риму в лице королевского сына, поход туда теряет смысл. Вместо этого он предпринял атаку на Нептуна, приказав войскам пускать в воду стрелы, метать дротики и бросать камни — я вам уже все это описывал, — а потом собирать морские раковины в качестве добычи. Королевского сына он привел в Рим в цепях и, отпраздновав тройную победу — над Нептуном, Германией и Британией, умертвил его в наказание за неуплату дани, за трусливое нападение его отца на триновантов и за помощь, посланную некоторыми британскими племенами августодунским мятежникам на восьмой год правления Тиберия.

Цимбелин умер в тот же год и месяц, что Калигула, и на острове сразу началась гражданская война. Королем был провозглашен старший сын из оставшихся в живых, по имени Берик, но это был человек, которого не уважали ни его соплеменники, ни союзники. Уже через год два его младших брата Каратак и Тогодумн восстали против него, и он был вынужден спастись бегством на другую сторону пролива. Он явился ко мне в Рим и попросил о помощи на тех же условиях, на каких его старший брат просил некогда помощи Калигулы. Я ничего ему не пообещал, но разрешил жить в Риме с семьей и несколькими знатными людьми его племени, которые прибыли вместе с ним.

Купцы рассказали Тогодумну, правившему теперь страной вместе с Каратаком, что я — не воин, а трусливый старый дурень, который пописывает книги. Он прислал мне наглое письмо, где требовал немедленной выдачи Берика и других беглецов, а также возвращения священных регалий: тринадцати магических предметов — корона, чаша, меч и так далее, — которые Берик прихватил с собой в Рим. Если бы Тогодумн написал в вежливом тоне, я бы тоже ответил ему вежливо и, во всяком случае, вернул бы ему регалии, без которых, как оказалось, невозможно по всем правилам короновать катувеллавского короля. Теперь же я коротко ответил ему, что не привык, чтобы ко мне обращались так неуважительно, и поэтому не считаю себя обязанным оказывать ему какие-либо услуги. Он ответил, еще более нагло, что это ложь: еще совсем недавно все, в том числе мои собственные родные, обращались со мной без

малейшего уважения, и, поскольку я отказался выполнить его требования, он оставит в залог все римские торговые суда, стоящие в его портах, и не отпустит, пока не получит от меня регалии. Что мне оставалось? Только начать войну. Прояви я нерешительность, французы потеряли бы ко мне всякое уважение. Я пришел к такому выводу вовсе не из-за насмешек Ирода — то, что это совпало с его письмом, явилось чистой случайностью.

У меня были и другие причины начать войну. Одна заключалась в том, что наступило время, которое предвидел Август. Я был готов дать право римского гражданства многим наиболее цивилизованным французским союзникам, но в Северной Франции существовала сила, препятствовавшая развитию цивилизации, а именно, культ друидов — магическое верование, которое, несмотря на все наши попытки противодействовать ему, не угасало благодаря школам друидов в Британии, откуда оно перешло на материк. Для молодых французов было так же естественно поехать в Британию изучать магию, как для молодых испанцев — в Рим изучать право, или для молодых римлян — в Афины изучать философию, или для молодых греков — в Александрию изучать хирургию. Друидизм плохо сочетается с римской или греческой верой, так как допускает человеческие жертвоприношения и колдовство, и сами друиды, хотя и не воины, а священнослужители, всегда разжигали против нас бунт. Другим основанием для войны было то, что золотой век Цимбелина окончился. Я узнал, что Тогодумн и Каратак собираются начать войну со своими северо-восточными соседями, иконами, и с двумя подчиненными им племенами на юге, и, если я не вмешаюсь, нашей регулярной торговле с Британией, во всяком случае временно, придет конец. А теперь, к тому же, я мог рассчитывать на помощь икенов и других племен — было жаль упускать такой удобный случай.

Имеет смысл обрисовать здесь основные черты друидизма, культа, где, по-видимому, слились воедино верования кельтов и аборигенов Британии. Я не могу гарантировать вам достоверность всех деталей, так как сведения противоречивы. Магические заклинания друидов не дозволено хранить в письменном виде, а тем, кто откроют чужакам даже наименее важные тайные обряды, грозит ужасная судьба. Мой отчет основан на свидетельствах известных вероотступников, но в их число не входят жрецы. Ни одного посвященного в сан друида еще не удалось убедить, даже под пыткой, раскрыть их таинства. Слово «друид» означает «дубовик», так как дуб — их священное дерево. Их священный год начинается, когда на дубе появляются почки, и кончается, когда с него опадает листва. У них есть бог по имени Танар, а дуб — его символ. Именно Танар вспышкой молнии порождает омелу на дубовых ветвях, а омела — первейшее средство против всех болезней и колдовства. Есть у них и бог солнца по имени Мабон или Маконус, чьим символом является белый бык. Затем Луг, бог знахарства, поэзии и всех искусств, чей символ — змея. Однако все они — одно лицо, бог жизни и смерти, которому поклоняются в его разных ипостасях, как Озирису в Египте. Как Озириса каждый год топят бог вод, так и это триединое божество каждый год погибает от руки бога тьмы и воды, его дяди Нодона, и возвращается к жизни своей сестрой Сулис, богиней исцеления, которая соответствует Изиде. Нодон овеществляется в виде огромной волны, в двенадцать футов высотой, которая через определенные промежутки времени поднимается в устье Северна, главной из западных рек, затопляя посевы и разрушая жилища на протяжении тридцати миль в глубь страны. Друидизм исповедуется не по племенам — военным формированиям под командованием знати и королей, — а тринадцатью тайными сообществами, названными по имени различных священных животных, в каждое из которых входят члены всех племен, поскольку то, в каком из сообществ ты окажешься, зависит от месяца, в каком ты родился, — у них тринадцать месяцев в году. Там есть Бобры, Мыши, Волки, Кролики, Дикие Коты, Совы и тому подобное; в каждом из них — свои заклинания и обряды, а во главе — свой друид. Все это возглавляется верховным

друидом. Друиды не участвуют в битвах, и члены одного сообщества, оказавшиеся во время междуплеменной битвы на противоположных сторонах, должны, во исполнение данной ими клятвы, спешить на помощь друг другу.

Таинства их культа связаны с верой в бессмертие человеческой души, в поддержку которой приводится множество аналогий с природными явлениями. Одна из них — ежедневная смерть и ежедневное рождение солнца, другая — ежегодная смерть и ежегодное рождение листьев дуба; еще одно — ежегодная жатва колосьев и ежегодное прорастание семян. Они говорят, что, когда человек умирает, он уходит на запад, подобно солнцу, чтобы жить на священных островах Атлантического океана, пока для него не наступит время вновь родиться. По всей Британии стоят их алтари, которые называются дольмены; это плоский камень, положенный на два или более камней, поставленных стоймя. Их используют при обрядах посвящения в сообщество. Обряд этот — и смерть, и возрождение одновременно. Кандидат в сообщество ложится на каменную плиту и жрец инсценирует человеческое жертвоприношение: при помощи магии он якобы отрубает лежащему голову и показывает ее, окровавленную, толпе. Затем голову приставляют к туловищу и мнимый труп помещают под дольмен, словно в могилу, сунув между губ ветку омелы; после долгих молитв и заклинаний из-под дольмена выходит новый человек, точно младенец из чрева матери, и получает от названных родителей наставление, как ему теперь надо жить. Кроме дольменов, есть еще вертикальные камни, алтари фаллического культа, — кельтский Озирис похож на египетского и в этом отношении.

Ранг члена тайного сообщества определяется числом жертвоприношений, сделанных их богам, стоящим на поперечине его родового дольмена, числом врагов, убитых им в бою, и числом почестей, завоеванных в ежегодных культовых играх, где он выступает поочередно как возникший, фокусник, борец, поэт или арфист. Признаком ранга являются маски и головные уборы, которые носят во время церемоний, и синие узоры, нанесенные краской из вайды (болотное растение), которые покрывают их с головы до пят. Ряды друидов-жрецов пополняются за счет молодых людей, достигших высокого ранга в своих сообществах, которым был дан знак благоволения их богов. Но сперва требуется отдать двадцать лет упорной учебе в специальной школе, и отнюдь не каждый кандидат в друиды может с успехом подняться на обязательную тридцать вторую ступень. Первые двенадцать лет уходят на поочередное посвящение во все остальные двенадцать тайных сообществ, на зазубривание наизусть колоссальных мифологических саг и на изучение права, музыки и астрономии. Следующие три года посвящаются изучению медицины и последние три — изучению магии и предзнаменований. Искус, которому подвергают кандидатов на должность друида, исключительно труден. Например, вот как проходит поэтическое состязание: кандидат должен пролежать нагишом целую ночь в похожем на гроб ящике, наполненном ледяной водой — только ноздри могут выступать наружу, — с тяжелыми камнями на груди, и сочинить довольно длинную поэму, используя самый сложный из всех стихотворных размеров, на тему, которую ему дают, когда кладут в ящик. Когда на следующее утро он вылезает оттуда, ему полагается пропеть эту поэму на музыку, которую он тут же должен сочинить, сопровождая себя на арфе. Другое испытание заключается в том, что, стоя перед собранием всех друидов, он должен отвечать на их загадки, задаваемые в стихотворной форме, причем отвечать тоже загадками и тоже в стихах. Загадки эти все относятся к каким-нибудь малоизвестным событиям в какой-нибудь священной поэме, с которой кандидат, как предполагается, знаком. Кроме этого, он должен уметь нагонять при помощи магии туманы и ветры и вызывать и изгонять духов, и вообще колдовать.

Я вам сейчас расскажу о собственном моем знакомстве с магией друидов. Однажды я попросил одного друида показать мне свое искусство. Он велел принести

три сухие горошины и положил их рядом на моей протянутой к нему ладони. Он сказал:

— Ты можешь, не двигая рукой, сдуть среднюю горошину и не сдвинуть с места других?

Я попробовал, и, естественно, у меня ничего не вышло: от моего дыхания с ладони слетели все три. Друид поднял их и положил рядом на свою ладонь. Затем, придавив наружные горошины указательным пальцем и мизинцем той же руки, с легкостью сдул среднюю. Я рассердился за то, что меня одурачили.

— Так каждый может, — сказал я. — При чем тут магия?

Он снова протянул мне горошины.

— Попробуй, — сказал он.

Я попытался сделать то же, что он, но, к своей досаде, обнаружил, что мне не только не хватает дыхания, чтобы сдуть горошину — казалось, легкие мои внезапно сжались, — но я даже не могу разжать скрюченные пальцы. Их свело судорогой, и ногти, касавшиеся ладони, постепенно все глубже вонзались в тело, так что мне стоило большого труда не закричать. По лицу у меня катился пот.

Он спросил:

— Ну что, легко это сделать?

Я горестно ответил:

— Только не в присутствии друида.

Он дотронулся до моего запястья, и судорога отпустила меня.

Предпоследнее испытание друида таково: он должен провести самую длинную ночь года, сидя на качающемся камне под названием «гибельное сидение», который балансирует на краю глубокой пропасти где-то в горах в западной части острова. Всю ночь напролет ему являются злые духи, говорят с ним и стараются, чтобы он потерял равновесие. Он должен, не отвечая им ни единым словом, молиться и петь гимны во славу богов. Если он благополучно выдержит этот искуc, ему дозволяется подвергнуться последней проверке: выпить чашу с ядом, после чего он впадает в смертный транс, посещает остров мертвых и приносит оттуда такие доказательства своего визита, которые убеждают друидов-экзаменаторов, что бог Жизни в Смерти зачислил его в свои служители.

Сами друиды-жрецы бывают трех рангов. Те, кто прошел все испытания, истинные друиды, затем барды, выдержавшие поэтические состязания, но не удовлетворившие требования экзаменаторов в таких предметах, как умение пророчествовать, медицина и магия, и, наконец, те, кто удовлетворил требованиям в вышеназванных дисциплинах, но еще не получил степень барда — они известны как оваты, или слушатели. Нужно быть на редкость бесстрашным человеком, чтобы отважиться на последние испытания, после которых, как мне сказали, из пяти кандидатов в живых остаются два, поэтому большинство соискателей удовлетворяются степенью барда или овата.

Друиды являются законодателями и судьями, а также блюстителями чистоты культа как в общественной, так и в частной сфере; самое большое наказание, к которому они могут присудить, это лишить человека права участвовать в священных церемониях, и поскольку такое отлучение равносильно приговору к вечному небытию — так как лишь участвуя в этих церемониях, люди могут надеяться на возрождение после смерти, — друиды всемогущи и только глупец осмелится встать им поперек дороги. Каждые пять лет они проводят большую духовную чистку — как наш пятилетний ценз — и во искупление всеобщей вины приносят человеческие жертвы — сжигают их в больших корзинах, сплетенных по форме тела. Жертвы избираются из числа преступников: бандитов, тех, кто выдал какие-либо культовые тайны или виновен в подобных преступлениях, и тех, кого друиды обвиняют в незаконных занятиях магией для своих личных целей, что привело к гибели урожая или поветрию.

В то время друиды также объявляли вне закона всякого, кто принимал римскую веру или соединялся через брак с семьей, которая так сделала. На это, я думаю, они имели право, но сжигать людей живьем! Это уж слишком! Их надо было проучить.

В Британии есть два особенно священных места: одно из них — остров Англси у западного побережья, где среди дубовых рощ находится зимняя резиденция друидов и где горит неугасимым огнем священный костер из дубовых бревен. Этот костер был зажжен молнией в незапамятные времена, огонь из него передается во все уголки острова для сожжения трупов, чтобы обеспечить их будущее воплощение. Второе — огромный каменный храм в центре Британии, состоящий из гигантских монолитных алтарей-дольменов, расположенных концентрическими кольцами. Он посвящен богу Жизни и Смерти и, начиная с весеннего равноденствия — их новый год — и до летнего солнцестояния, там ежегодно проводятся религиозные празднества. Выбирают рыжеволосого юношу — олицетворение бога на этот год, — и облачают его в изумительно красивые одежды. Пока идут празднества, он может делать все, что ему вздумается. Каждый к его услугам, и если ему понравится драгоценный камень или оружие, их владелец почитает это за честь и с радостью их отдает. Все самые прекрасные девушки — его подруги, а состязающиеся атлеты и музыканты лезут вон из кожи, чтобы завоевать его одобрение. Однако, незадолго до летнего солнцестояния, он идет в сопровождении верховного друида, представителя бога Смерти, к дубу, на котором растет омела. Друид забирается на дуб и срезает омелу золотым серпом, стараясь не задеть ею землю. Омела — душа дуба, который после этого таинственным образом умирает. Приносят в жертву белого быка. Юношу окутывают зелеными дубовыми ветвями и ведут в храм, который построен таким образом — фасадом на восток, — что в утро летнего солнцестояния солнце попадает на главный алтарь, куда, крепко связав, кладут юношу и где верховный друид закалывает его заостренным стеблем омелы. Я не смог выяснить, что затем происходит с его телом, которое остается лежать на жертвеннике, не выказывая никаких признаков тления. Но во время осеннего праздника прощания жрица богини Сулис приезжает сюда из города на западе страны, который называется «Воды Сулис», поскольку там есть целебные источники, чтобы забрать это тело; предполагается, что богиня вернет ему жизнь. Говорят, что Триединый Бог едет на лодке на западный остров, где живет Нодон, и после ожесточенной битвы побеждает его. Зимние штормы — отголоски этой битвы. На следующий год он появляется снова, воплотившись в новую жертву. А засохший дуб идет на дрова для священного костра. На прощальном осеннем празднике каждое сообщество сжигает на алтаре животных, давших ему имя, набив ими полную плетеную корзину, а также ритуальные маски и головные уборы. В том же каменном храме происходит сложная церемония посвящения. Говорят, что при этом приносят в жертву новорожденных младенцев. Храм стоит в центре огромного некрополя, где хоронят всех друидов и прочих людей, имеющих высокий священный ранг, с церемониями, которые должны обеспечить им будущее воплощение.

В Британии есть также боги и богини войны, но они никак не связаны с друидизмом и настолько напоминают наших Марса и Беллону, что описывать их нет необходимости.

Во Франции центр друидизма был в Дре — городке к западу от Парижа, в восьмидесяти милях от побережья. Там все еще совершались человеческие жертвоприношения, точно римской цивилизации вообще не существует. Лишь представьте: друиды вскрывали тела людей, только что принесенных в жертву богу Танару, и искали в их внутренностях предзнаменования, испытывая столь же мало угрызений совести, сколько чувствовали бы мы с вами, будь перед нами олень или священная курица! Август не пытался уничтожить друидизм; он просто запретил римлянам вступать в их сообщества или присутствовать при жертвоприношениях.

Тиберий рискнул обнародовать эдикт, где говорилось о роспуске ордена друидов во Франции; но речь не шла о буквальном его исполнении — эдикт этот был нужен для того, чтобы дать Риму возможность не санкционировать официально решения, принятые советом друидов, или присужденные им наказания.

Друиды продолжают причинять нам неприятности, хотя многие французские племена отошли от культа и приняли нашу веру. Я решил, как только мы завоюем Британию, вступить с верховным друидом в сделку: за разрешение отправлять в Британии обряды обычным путем (естественно, воздерживаясь от заклинаний, направленных против Рима) он должен не допускать французов к посвящению в орден друидов и не разрешать британским друидам пересекать пролив. Без священнослужителей культ этот во Франции скоро умрет; я объявляю противозаконной любую их церемонию или празднество, где будут человеческие жертвоприношения, и стану приговаривать к казни всех, кто ослушается этого приказа. Само собой, в Британии друидизм тоже должен быть искоренен, но это в дальнейшем, пока думать об этом рано.

Глава XVII

Когда я изучал записки Юлия Цезаря о его двух британских кампаниях, мне стало ясно, что мы вполне можем разбить британцев в любом сражении, лишь немного перестроив нашу военную тактику, если с тех пор условия в стране не очень сильно изменились. Однако для этого понадобятся значительные военные силы. Большая ошибка начинать кампанию всего лишь с двумя полками и пытаться сделать то, на что требуется все четыре, а когда они оказываются разбитыми, посылать домой за подкреплениями, давая врагу время на передышку. Гораздо правильнее начинать с внушительными силами — самыми внушительными, какими только можно располагать — и сразу нанести сокрушительный удар.

Британские пехотинцы вооружены палашами и небольшими круглыми кожаными щитами. В поединке они не уступают римлянам и даже превосходят их. Но чем их больше, тем, в противоположность римлянам, они хуже сражаются. В разгаре битвы у роты британцев нет никаких шансов победить равную по численности роту дисциплинированных римских солдат. Наш дротик, короткий острый меч и длинный щит, края которого могут смыкаться с краями соседних щитов — идеальное вооружение для ближнего боя. Оружие британцев предназначено для единоборства, но чтобы им действовать, нужно место, где развернуться. Если во время битвы воины оказываются слишком скученны, а сомкнутые щиты врага мешают наносить боковые удары, от палаша мало толку, да и маленький щит недостаточно защищает от дротиков.

Британская знать сражается на колесницах, как греческие герои в Трое или латинские вожди в древности. В наше цивилизованное время колесницу давно не применяют во время боевых действий, теперь она — эмблема высокого военного ранга или победы. Порода лошадей у нас значительно улучшилась, и вместо колесниц давно используется кавалерия. В Британии очень мало лошадей, которые годятся для верховой езды, а без этого какая же конница? В колесницы британцы запрягают маленьких, сильных, специально обученных пони. Их можно резко остановить даже при быстром спуске и в одну секунду повернуть в обратную сторону. Каждая колесница является самостоятельной боевой единицей. Возничий, он же командир, всегда человек знатного рода; с ним в колеснице находятся два воина; еще два или три пеших воина, так называемые «бегуны», вооруженные ножами, бегут рядом с пони. Их задача — перерезать подколенные сухожилия у пони противника. Воины часто пробегают по дышлу и становятся на поперечину, балансируя на ней. Колонна колесниц, мчащихся во весь опор, как правило, прорывает развернутый

строй пехоты. Но если пехота все же удерживает позиции, колесницы пролетают мимо, воины осыпают пехотинцев градом копий, затем заходят с тыла и снова мечут в них копья. После того как этот маневр повторится несколько раз, возникшие отводят колесницы в безопасное место, а спешившиеся воины вместе с «бегунами» идут в решающую атаку. Если эта атака срывается, воины занимают свои места на колесницах, готовые к арьергардному бою. В колеснице британцев действительно, как заметил Юлий Цезарь, соединяются быстрота кавалерии с неколебимостью пехоты. Естественно, эскадроны колесниц предпочитают тактику охвата противника. Не менее естественно, что британские воины страдают болезнью, общей для всех недисциплинированных солдат, — они кидаются за добычей, не разгромив окончательно главные силы врага. Мне надо было придумать новый тактический план, чтобы справиться с колесницами: французская кавалерия Юлия не смогла их остановить; возможно, ему следовало заимствовать прием врага и использовать кавалерию совместно с легкой пехотой. Но я мог рассчитывать на то, что в стычках пехотных соединений победа будет за нами.

Я решил, что империя может выделить для экспедиции в Британию четыре регулярных пехотных полка, четыре вспомогательных полка и тысячу кавалеристов — что было немало. Посоветовавшись с моими армейскими командирами, я отозвал три полка с Рейна, а именно: Второй, Двенадцатый и Четырнадцатый, и один с Дуная — Девятый. Я поручил командование походом Гальбе и дал ему в помощь Гету, поставив его во главе кавалерии; начало похода я назначил на середину апреля. Но нас сильно задержала постройка транспортных судов, а когда они были готовы, заболел Гальба, и я решил ждать, пока он поправится. К середине июня он был все еще очень слаб, и я, к большому своему сожалению, увидел, что откладывать больше нельзя.

Я назначил на его пост ветерана, который слыл умнейшим тактиком и храбрейшим человеком в армии, некоего Авла Плавтия, дальнего родственника моей первой жены Ургуланиллы, и он тут же отправился в Майнц, чтобы принять командование полками, выделенными для экспедиции. Авлу было под шестьдесят, с тех пор, как он занимал должность консула, прошло четырнадцать лет; старые солдаты помнили, что он пользовался большой популярностью в Четырнадцатом полку, которым он командовал при моем брате Германике. Задержка, вызванная болезнью Гальбы, была тем более неприятна, что слухи о предстоящем вторжении, которое держалось в секрете до середины апреля, достигли противоположного берега пролива, и теперь Каратак и Тогодумн поспешно возводили оборонительные укрепления. Девятый полк уже успел подойти с Дуная к Лиону, два полка французских вспомогательных войск и один швейцарский вспомогательный полк давно стояли там под ружьем. Я отправил Авлу приказ сделать с рейнскими полками марш-бросок в Булонь, захватив по пути вспомогательный полк батавов — германское племя, живущее на острове в устье Рейна — и со всеми ними пересечь пролив на транспортных судах, которые он там найдет. Одновременно в Булонь подойдут те войска, которые были в Лионе. И тут возникла неожиданная трудность. Рейнские полки не пожелали сдвинуться с места. Они заявили, что им вполне хорошо там, где они есть, а британскую экспедицию они считают опасным и бессмысленным делом. Они сказали, что их отвод сильно ослабит оборону Рейна — хотя я усилил гарнизон, придав оставшимся полкам большие соединения французских вспомогательных войск и сформировав новый полк, Двадцать второй, — и что вторжение в Британию противоречит воле Божественного Августа, который утвердил навсегда в качестве стратегических границ империи Рейн и Ла-Манш.

Я сам в то время — середина июля — был в Лионе и отправился бы лично на Рейн, чтобы убедить солдат выполнить свой долг, если бы в Девятом полку не началось брожение, и среди французских солдат тоже; поэтому я послал в качестве

своего представителя Нарцисса, бывшего в Лионе вместе со мной. Это была страшная глупость, но благодаря моему дурацкому счастью все кончилось хорошо. Я по-настоящему не понимал, насколько Нарцисс непопулярен. Очень многие считали, будто я во всем следую его советам и вообще я у него на поводу. Прибыв в Майнц, Нарцисс довольно фамильярно приветствовал Авла и попросил построить полки перед военным трибуналом. Когда это было сделано, он взобрался на трибунал, выпятил грудь и произнес следующую речь:

«От имени императора Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика. Солдаты, вам было приказано отправиться маршем в Булонь и оттуда отплыть для вторжения в Британию. А вы ворчите и упираетесь, как бараны. Это очень плохо. Вы нарушаете присягу императору. Если император приказывает идти в поход, от вас ждут повиновения, а не возражений. Я прибыл сюда напомнить вам о вашем долге...»

Нарцисс говорил таким тоном, точно он не посланец императора, а сам император. Естественно, это вызвало недовольство солдат. Послышались крики: «Слезай с трибунала, холуй греческий. Мы не желаем слушать того, что говоришь ты».

Но Нарцисс был очень высокого мнения о самом себе и тут же принялся пространно их увещевать. «Да, — сказал он, — я всего лишь грек и всего лишь вольноотпущенник, но похоже, что я знаю свой долг лучше, чем вы, римские граждане».

И тут кто-то крикнул: «Ио Сатурналии, Ио Сатурналии!», и все их раздражение потонуло в громовом хохоте. «Ио Сатурналии» — возглас, который без конца раздаётся первого апреля — в день дураков, который мы ежегодно празднуем в честь бога Сатурна. Во время этого праздника повсюду шум, гам, дым коромыслом. Каждый имеет право делать и говорить все, что ему вздумается. Рабы наряжаются в одежду хозяев и командуют ими, точно те — рабы. Высокое попирается, низкое возвышается. Теперь уже все солдаты кричали: «Ио Сатурналии, Ио Сатурналии! Вольноотпущенник стал императором!» Ряды нарушились, началась шумная возня, слышались соленые шутки; к веселью присоединились капитаны, затем кое-кто из старших офицеров и наконец, из стратегических соображений, сам Авл Плавтий. Нарядившись в платье лагерной поварихи, он суетливо сновал по лагерю с большим кухонным ножом. Четверо или пятеро сержантов забрались на трибунал и принялись оспаривать друг у друга любовь Нарцисса. Нарцисс в полном смятении разразился слезами. Авл кинулся ему на помощь, размахивая ножом. «Вы, гадкие люди! — завизжал он пронзительно. — Оставьте в покое моего бедного мужа! Он достойный, уважаемый всеми человек!» Он согнал их с помоста и, обняв Нарцисса, шепнул ему на ухо: «Предоставь это мне, Нарцисс. Это же дети. Ублажи их сейчас, потом сможешь делать с ними все, что захочешь!» Он потянул Нарцисса за руку и сказал:

— Мой бедный муж сам не свой: он не привык к лагерному вину и вашим грубым повадкам. Но он оправится после того, как проведет со мной ночь, не так ли, моя куколка? — Он взял Нарцисса за ухо. — А теперь послушай меня, муженек! Этот Майнц — странное место. Тут мыши грызут железо, утреннюю побудку трубят петухи, а у ос дровишки за поясом.

Нарцисс сделал вид, будто испугался, — да он и был напуган. Но солдаты скоро о нем забыли. У них было достаточно других игр. Когда веселье стало затихать, Авл снова надел генеральский плащ, вызвал трубача и велел дать команду «слушайте все!». Через две минуты порядок был восстановлен. Авл поднял руку, призывая к тишине, и обратился к солдатам:

— Солдаты, мы устроили себе праздник Сатурна и получили от этого удовольствие, но сейчас труба положила ему конец. Так что давайте вернемся к

труду и дисциплине. Завтра утром я вопрошу волю богов, и, если предзнаменования будут благоприятны, готовьтесь сниматься с лагеря. Мы должны идти в Булонь, нравится это нам или нет. Это наш долг. А из Булони мы должны плыть в Британию, нравится это нам или нет. Это наш долг. А когда мы туда попадем, мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть, нравится это нам или нет. Это наш долг. И дадим этим британцам хорошую взбучку, неважно, понравится это им или нет. Такая уж их судьба. Да здравствует император!

Эта речь спасла положение, и больше не было никаких беспорядков. Нарцисс смог покинуть лагерь, не теряя своего достоинства.

Десять дней спустя, первого августа — в мой день рождения, — экспедиционный корпус отплыл от берегов Франции. Авл согласился со мной, что лучше переправить войска через пролив тремя эшелонами с интервалом в два-три часа: высадка первой группы привлечет все силы британцев, и две остальные смогут незаметно подойти к незащищенной части берега и высадиться, не вызвав сопротивления. Но оказалось, что даже первая группа не встретила отпора при высадке, так как до Британии дошли слухи об отказе рейнских полков выступить в поход; к тому же там решили, что в этом году нам уже слишком поздно что-либо предпринимать. Единственным стоящим упоминания происшествием во время переправы было столкновение судов первой и второй групп войск из-за внезапно поднявшегося ветра, который понес первые суда назад; но тут же все заметили, как небо с востока на запад прочертила вспышка света — счастливое предзнаменование, — которая двигалась в ту же сторону, что и войска; поэтому все, кто не был выведен из строя морской болезнью, снова приободрились и высадка прошла в победоносном настроении. Перед Авлом стояла задача захватить всю южную часть острова и провести стратегическую границу от реки Северн на западе до большого залива Уош на востоке, тем самым полностью включив бывшие владения Цимбелина в новую римскую провинцию. Однако всем племенам, которые добровольно покорятся Риму, он должен был предоставить обычные привилегии зависимых союзников. Поскольку это была не карательная экспедиция и нашей целью являлось завоевание страны, по отношению к покоренным племенам требовалось проявить максимум великодушия, — только не перегибая палку, чтобы они не приняли это за слабость. Не надо бессмысленно уничтожать имущество, насиловать женщин, убивать детей и стариков. Авл должен был сказать солдатам: «Императору нужны пленные, а не трупы. И поскольку вы останетесь стоять гарнизоном в этой стране, его совет: причинить здесь сейчас как можно меньше вреда. Умные птицы не гадят не только в своем гнезде, но и в гнездах, которые они захватили у других птиц».

Главной целью Авла был Колчестер, столица катувеллаунов. Когда он ее займет, икены, живущие на восточном побережье, несомненно, придут к нему и предложат вступить в союз, и он сможет построить там сильную базу для дальнейшего завоевания центра и юго-запада страны. Я предупредил его, что, если потери превысят две тысячи человек убитыми и ранеными еще до того, как основные силы вражеского сопротивления будут разгромлены, или возникнут сомнения в успешном конце кампании до начала зимних холодов, он должен немедленно сообщить мне об этом, и я поспешу к нему на помощь с резервами. Это известие передадут через всю Францию и Италию по цепи костров, и если дежурные у костров будут смотреть в оба, я получу сигнал в Риме через несколько часов после того, как он будет послан из Булони. В число резервов войдут восемь гвардейских батальонов, вся гвардейская кавалерия, четыре роты копьеносцев из Нубии и три роты стрелков из пращи, уроженцев Балеарских островов. Расквартированные в Лионе, они будут в полной боевой готовности.

Я намеревался оставаться в Лионе с этими резервами, но был вынужден

вернуться в Рим. Вителлий, которого я оставил там в качестве своего дублера, писал, что работа эта оказалась ему не по силам, что он отстал на два месяца от графика судебных дел и что у него есть основания полагать, что мой советник по судебным делам Мирон далеко не так честен, как мы оба думали. Одновременно я получил еще одно, весьма неприятное, письмо от Марса, прочитав которое я почувствовал, что должен, не теряя ни единого дня, возвратиться в Рим. Вот что он писал:

«Губернатор Сирии Вибий Марс имеет честь приветствовать императора по поводу приближающегося дня рождения и сообщает, что провинция процветает, никто не выражает недовольства, все подчиняется порядку и преданы своему императору. В то же время он должен признать, что его несколько встревожил недавний инцидент в городе Тивериаде, на Галилейском море, и просит императора одобрить те меры, которые он принял в связи с этим инцидентом.

В штаб-квартиру в Антиохии поступили неофициальные сведения, что царь Ирод Агриппа пригласил на секретную встречу следующих властителей соседних стран: Антиоха, царя Коммагены, Сампсигерама, царя Осроены, Кота, царя Малой Армении, Полемона, царя Понта и Киликии, Согема, царя Итурии, Ирода Поллиона, царя Халкиды. В случае, если слухи об этой встрече просочатся наружу, будет объяснено, что гости собрались в Тивериаде в ознаменование годовщины свадьбы Ирода Агриппы и царицы Киприды, состоявшейся ровно двадцать лет назад. Мне, твоему представителю, не было послано приглашение на этот пир, хотя правила хорошего тона, бесспорно, этого требовали. Я хочу повторить, что единственная информация об этом экстраординарном собрании верховных правителей пришла из неофициальных, чтобы не сказать тайных, источников. Согем Итурийский был болен, но прислал вместо себя своего гофмейстера. Все остальные цари послушно явились на зов Ирода Агриппы. Те, чей путь лежит через Антиохию (а именно, все вышеназванные, кроме царя Ирода Поллиона и царя Согема) и кто при визите в Галилею, естественно, должен был сделать небольшой крюк, чтобы засвидетельствовать мне, как твоему представителю, свое почтение, предпочли ехать кружным путем, причем путешествовали инкогнито и в основном ночью. Если бы не бдительность некоторых моих агентов в Сирийской пустыне восточнее Халкиды, я бы и не знал, что они уже в пути.

Я немедленно сам отправился в Тивериаду в сопровождении лишь моих дочерей и главных офицеров генерального штаба, надеясь застать это сборище врасплох. Однако царю Ироду Агриппе, видимо, сообщили о моем приближении. Он выехал из Тивериады в своем царском экипаже, чтобы приветствовать меня. Мы встретились на расстоянии в семь фарлонгов от города. Царь Ирод был не один — его сопровождали все пятеро высоких гостей, последний из которых, царь Понта, прибыл за минуту до меня. Царь Ирод ничуть не был смущен; он вылез из экипажа и, поспешив мне навстречу, приветствовал меня в самых теплых выражениях, какие можно себе вообразить. Он воскликнул, что он в восторге — я все-таки выбрал время посетить его, хотя и не ответил на два его приглашения, и заметил, что произошло поистине редкое событие: семеро правителей Востока встретились у седьмого дорожного знака. Он поставит вместо камня мраморную колонну и велит выгравировать на ней золотыми буквами наши ранги и имена. Я был вынужден вежливо ему отвечать, принять его басню насчет двух приглашений и даже поклясться, что найду того, кто перехватил его письма, которые не дошли до меня, и накажу по всей строгости закона. Остальные цари тоже спешили, и между нами начался обмен любезностями. Царь Коммагены, с которым я был знаком еще в Риме, высказал предположение, что письмо царя Ирода было скрыто от меня кем-то из слуг из уважения к моим чувствам. Я спросил, что он имеет в виду,

и он ответил, что недавняя кончина моей супруги еще, должно быть, свежа в моей памяти и вряд ли приглашение на годовщину свадьбы может доставить мне удовольствие. Я сообщил, что моя жена умерла четыре года назад, и он сказал, вздыхая: „Так давно? Мне кажется, я видел ее только вчера. Прелестная женщина“. Затем я спросил в лоб царя Понта, почему он не заехал в Антиохию приветствовать меня. Он сказал, не моргнув и глазом, что рассчитывал повидаться со мной на пиру и ехал другим, восточным маршрутом по совету предсказателя.

Мне так и не удалось лишить их невозмутимости духа, и мы все вместе въехали в Тивериаду под приветственные клики толпы. Через несколько часов начался праздничный пир, самый роскошный, на каком мне довелось бывать. Тем временем я послал одного из своих штабных офицеров к каждому из царей с поручением сказать в приватном порядке, что, если он хочет сохранить дружбу Рима, ему советуют уехать домой, как только это позволят правила приличия, а до тех пор не принимать участия ни в каких тайных совещаниях со своими царственными соседями. Коротко говоря, пир кончился под утро, и гости под тем или иным предлогом уехали в тот же день; совещание не состоялось. Я уезжал последним, и мы расстались с царем Иродом Агриппой с обычными любезностями. Однако, когда я вернулся в Антиохию, меня уже ждало письмо. Там было написано: „Ты оскорбил моих гостей и должен ответить за последствия: с этого дня я — твой враг“. Подписи не было, но мне ясно, что это — послание царя Ирода Агриппы.

Привет и наилучшие пожелания самой добродетельной и прекрасной госпоже Валерии Мессалине, твоей супруге».

Чем больше я вчитывался в это письмо, тем меньше оно мне нравилось. Похоже, воспользовавшись тем, что я был поглощен военными действиями в Британии, где находилась большая армия, которой в дальнейшем могли понадобиться подкрепления, Ирод задумал общее восстание восточных провинций, чему его фортификационные работы в Иерусалиме были лишь вступлением. Я крайне встревожился, но ничего сделать не мог — только показать Ироду, что Марс держит меня в курсе всех дел на Ближнем Востоке, да молиться о нашей скорейшей победе в Британии. Я сразу же написал ему письмо, сообщив преувеличенно радостные новости о британской кампании — Авлу пока еще не удалось прийти в соприкосновение со значительными силами противника, который следовал той же тактике, что и их праотцы, воевавшие с Юлием Цезарем, когда он шел через Кент, — и сказав, вопреки истине, что, поскольку экспедиция эта карательная, я ожидаю возвращения полков на материк самое большое через два месяца.

Это была первая ложь, сказанная мной Ироду, и так как я вверил ее бумаге, тем самым избежав замешательства, неизбежного при устном общении, мне удалось заставить его ей поверить. Я писал:

«...А также не можешь ли ты, Разбойник, сказать мне что-либо определенное об этом напроороченном нам восточном правителе, которому предстоит после смерти стать величайшим Божеством, когда-либо появлявшимся на земле? Я без конца слышу о нем со всех сторон. К примеру, вчера перед судом предстал еврей, которого обвиняли в нарушении общественного спокойствия. Говорили, что он угрожал кулаком жрецу Марса и кричал: „Когда возвестит о себе Правитель, всем вам придет конец. Ваши храмы обрушатся на землю и погребут вас, собак, под своими обломками! И это время близко“. При допросе он отрицал, что говорил что-нибудь подобное, и так как свидетельства противоречили одно другому, я его отпустил, только изгнал из Рима, — если отправить иудея обратно в Иудею, можно назвать изгнанием.

Калигула считал себя этим предвещанным миру Правителем, и в некоторых отношениях предсказание — в том виде, в каком оно было передано мне, — действительно указывает на него. Моя бабка Ливия тоже была введена в заблуждение словами астролога Фрасилла насчет того, что год ее смерти совпадает с годом смерти этого Правителя, и решила, будто речь идет о ней самой. Она не учла, что предсказан был Бог, а не Богиня, и что впервые Он должен явиться в Иерусалиме — Калигула был там в детстве — хотя впоследствии Ему предстоит править Римом. Есть что-нибудь о нем в священных книгах иудеев? Если да, то что? Насколько я знаю, твой ученый родственник Филон — знаток в этих вопросах. На днях мы говорили обо всем этом с Мессалиной, и она спросила меня, унаследовал ли кто-нибудь эту навязчивую идею от моей обожествленной теперь бабки Ливии Августы и моего безумного племянника Калигулы? Я сказал ей: „Я — нет, клянусь богами, хотя Ирод Агриппа и старается навязать мне божественный сан“. А как насчет тебя, старина Разбойник? Может быть, ты и есть тот, кого имеют в виду? Нет, поразмыслив, я вижу, что это не ты, хоть ты и связан с Иерусалимом. Предвещанный Правитель, как указывают пророки, человек необычайной святости. К тому же Фрасилл был твердо уверен в годе его смерти — пятнадцатый год правления Тиберия — тот год, когда должна была умереть Ливия и действительно умерла. Насколько мне известно, Фрасилл никогда не ошибался в датах. Так что ты потерял свой шанс. Но с другой стороны, если Фрасилл был прав, почему мы до сих пор ничего не слышали об этом умершем Царе? Калигула знал лишь часть предсказания, а именно, что этот Царь умрет, покинутый своими друзьями, и что потом они будут пить его кровь. Как ни странно, в его случае это исполнилось: Бубон, один из убийц, — помнишь? — поклялся убить его и пить его кровь в отомщение, и действительно, макнул пальцы в нанесенную им рану и облизал их — вот ненормальный! Но Калигула умер на девять лет позже, чем указано в предсказании. Буду очень тебе признателен, если ты сообщишь мне все, что об этом знаешь. Может быть, было два или три предсказания и они перепутались? А может быть, Калигула получил неточные сведения относительно некоторых подробностей? Ему рассказала обо всем отравительница Мартина, та, что была замешана в убийстве моего бедного брата Германика в Антиохии. Но я слышал, что предсказание это уже давно циркулирует в Египте и приписывается оракулу бога Аммона».

Писал я все это потому, что знал: Ирод действительно вообразил себя этим предвещанным Правителем. Мне рассказали об этом Иродиада и Антипа, когда, будучи во Франции, я посетил их в изгнании. Я не мог разрешить им вернуться в Иудею, хотя уже знал, что они не виновны в заговоре против Калигулы, но позволил покинуть Лион и пожаловал большое поместье в Кадисе (в Испании), где климат напоминал тот, к которому они привыкли. Они показали мне неосторожное письмо дочери Иродиады Саломеи, которая была в то время замужем за своим двоюродным братом, сыном Ирода Поллиона.

«...Ирод Агриппа с каждым днем становится все более набожным. Он говорит старым друзьям, что только делает вид, будто стал правоверным иудеем, а втайне поклоняется римским богам, и движут им лишь политические соображения. Но я теперь знаю, что это не так. Он очень строго соблюдает закон. Сын алабарха Тиберий Александр, отступивший от иудейской веры, к стыду и горю его превосходной семьи, сказал мне, что на днях в Иерусалиме он отвел Ирода в сторону и шепнул: „Я слышал, у тебя есть повар-араб, который действительно знает, как надо фаршировать и жарить молочного поросенка. Не будешь ли так добр пригласить меня к себе как-нибудь в гости? В Иерусалиме не найти ничего съедобного“. Ирод вспыхнул до корней волос и пробормотал, что его повар болен! На самом

деле он давным-давно его уволил. У Тиберия Александра есть и еще одна странная история про Ирода.

Вы, конечно, слышали о том забавном случае, когда он прибыл в Александрию с эскортом из двух римских солдат, которых он похитил, чтобы ему не предъявили ордер на арест, и взял в долг деньги у алабарха? Оказывается, алабарх пошел к Филону, этому своему ученому братцу, который пытается примирить греческую философию с иудейской библией, и сказал: „Возможно, я свалял дурака, брат Филон, но я одолжил Ироду Агриппе большую сумму денег под довольно сомнительное обеспечение. Он обещал отстаивать наши интересы в Риме и поклялся перед Всемогущим Богом заботиться о Его народе и защищать его, насколько это от него зависит, и подчиняться Его закону“. Филон спросил: „Откуда он взялся, этот Ирод Агриппа? Я думал, он в Антиохии“. Алабарх сказал: „Из Эдома; на нем был пурпурный плащ — настоящий пурпур, из Восора, — и он шествовал подобно царю. Я все же полагаю, что, несмотря на все его прошлые безрассудства и злоключения, он сыграет важную роль в истории нашей страны. Он человек редких дарований. И теперь, когда он торжественно поклялся...“ У Филона вдруг сделался очень серьезный вид, и он принялся цитировать пророка Исайю: „Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей?....Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною...день мщения в сердце Моем, и год Моих искупленных настал“. Филон уже давно был убежден, что Мессия близок. Он написал на эту тему несколько фолиантов. Он основывает свои доказательства на тексте в Числах („...восходит Звезда от Иакова“) и согласовывает его с тем, что говорится в Пророках. Совершенно помешался, бедняга. И теперь, когда Ирод стал таким могущественным, так твердо держит обещание соблюдать закон и оказал александрийским евреям столько услуг, Филон поверил, что он-то и есть Мессия. Окончательно убедило его в этом открытие, что род Ирода, хотя и вышел из Эдома, ведет свое происхождение от сына Зедекии, последнего царя перед рабством. (Этот Зедекия ухитрился тайно вынести своего новорожденного сына из города и благополучно переправить его к друзьям в Эдом до того, как Навуходоносор захватил город.) Похоже, что Филону удалось убедить Ирода, будто Мессия не кто иной, как он, и ему предназначено не только освободить евреев от чужеземного ига, но и объединить всех сынов Сима в великом духовном Царстве, где будет править Бог Небесных Воинств, Господь Сил Саваоф. Ничем другим нельзя объяснить его политическую деятельность в последнее время, которая, должна признаться, заставляет меня крайне тревожиться за будущее. Право, в воздухе носится слишком уж много религиозных идей. Это плохой знак. Я вспоминаю твои слова, сказанные, когда мы обезглавили этого идиота мистика Иоанна Крестителя: „Религиозный фанатизм — самая опасная форма безумия“.

Я написала больше, чем надо, но я уверена, милая мама, что дальше это никуда не пойдет. Сожги это письмо».

От Марса больше не было известий, не получил я ответа и от Ирода до того, как отплыл в Британию; прошло каких-то две недели после высадки, и Авл был вынужден послать за мной. Но я рассчитывал на то, что Ирод, умея читать между строк, догадается о моих подозрениях — хотя я остерегся упоминать Марса или устроенный Иродом пир — и крепко подумает, прежде чем делать следующий шаг. Я также укрепил гарнизон в Александрии и приказал Марсу взять под ружье всех новобранцев-греков, находящихся в Сирии, и быстро обучить их, распуслав слух, будто ожидается нашествие парфян. Делать это он должен будто бы по собственной инициативе, никому не сообщая, что это мой приказ.

Глава XVIII

Как я уже говорил, Авл высадился в Британии, не встретив сопротивления. Он выстроил сильный базовый лагерь в Ричборо, укомплектовал его ветеранами из всех полков, вытащил транспортные суда на берег, подальше от штормовых волн, и начал осторожно углубляться в Кент, двигаясь тем же путем, что и Юлий Цезарь во время второго похода, — тем, которым, естественно шли все, кто вторгался на остров. Сперва он встретил меньшее противодействие, чем Юлий, и ему не надо было с боем форсировать Стувр. Царь Восточного Кента, вассал Каратака и Тогодумна, решил не посылать воинов на подготовленные там позиции. Его сюзерены отвели главные воинские силы в Колчестер, когда услышали, что в этом году нашего вторжения скорее всего не будет, а его собственных войск было недостаточно для успешной обороны реки. Он вышел навстречу Авлу с мирными якобы намерениями и после обмена подарками присягнул на верность Риму. Царь Восточного Сассекса, области к западу от Кента, прибыл в лагерь с той же целью несколькими днями позже. Не встретил серьезного отпора Авл и на территории между Стувром и рекой Медвей — следующей естественной преградой. Но на пути полков все чаще встречались завалы из стволов и колючего кустарника, охраняемые небольшими отрядами боевых колесниц. Авл приказал командиру авангарда не прорываться через эти препятствия, а, обнаружив их, посылать кавалерийский эскадрон, чтобы зайти им в тыл и взять в плен всех их защитников. Это замедляло продвижение, зато не было лишних потерь. Большая часть жителей Кента, по-видимому, ушла в Вилд — непроходимые лесные чащобы, откуда их будет очень трудно выкурить. Но с флангов наступающей колонны стали появляться все более крупные отряды боевых колесниц, нападая на фуражиров и вынуждая их отступать к основным силам. Авл был уверен, что настроение жителей Кента, когда они в конце концов выйдут из Вилда — то ли, чтобы смиренно пообещать полную покорность, то ли, чтобы бесстрашно отрезать ему путь к отступлению, — будет зависеть от его успеха в битве с катувеллавнами. Хорошо еще, что его базовый лагерь был как следует укреплен.

Когда они подошли к Медвею там, где была граница подъема прилива и где Юлий во время второй кампании без потерь перешел реку вброд, они обнаружили, что их ждут большие силы противника на позициях, подготовленных еще несколько месяцев назад. Тут были оба — и Каратак, и Тогодумн со всеми своими данниками вождями и армией в шестьдесят тысяч человек. У Авла было не больше тридцати пяти тысяч солдат. Узкий брод через реку оказался практически непроходим, так как на всем его протяжении поперек него были вырыты параллельно берегам глубокие и широкие канавы. Британцы вольготно расположились биваком на противоположном берегу. До ближайшего брода вверх по реке был день пути, и, по словам пленных, он был укреплен таким же образом. Вниз по течению брода не было, река недалеко от этого места впадала в устье Темзы и каждый прилив разливалась по непролазным вязким болотам. Авл приказал солдатам засыпать канавы корзинами гравия, чтобы восстановить брод, но ему было ясно, что пройдет не менее двух-трех дней, пока, при их темпе работы, они смогут пересечь реку. Вражеский берег был защищен двумя мощными частоколами, и британцы, досаждавшие солдатам стрелами и оскорблениями, строили позади них третий. Дважды в день к устью реки подходила огромная приливная волна — обычная вещь в этих краях, хотя невиданная в Средиземном море, разве что во время штормов, — и это сильно замедляло работу. Но Авл рассчитывал, что прилив станет его союзником. На рассвете третьего дня при полной воде, когда река была совершенно недвижна, он послал батавский вспомогательный полк — три тысячи человек — вплавь через реку. Все германцы хорошо плавают, а батавы — лучше всех. Привязав оружие на спину, они переплыли на противоположный берег и застали неприятеля врасплох. Однако, минуя

ошарашенных людей у бивачных костров, они кинулись туда, где стояли пони, и принялись их калечить, выведя из строя не меньше двух или трех тысяч лошадей прежде, чем их владельцы поняли, что происходит. Затем они закрепились на вражеском берегу у брода за средним частоколом, используя его как бы с обратной стороны, и удерживали свою позицию против яростных атак противника, пока два батальона Девятого полка с большим трудом прорывались к ним на помощь на надувных бурдюках, построенных на скорую руку плотам и захваченных у врага рыбачьих лодках. Бой был яростным, отряды британцев, стоявшие выше по течению Медвея, чтобы помешать нашим людям переправиться в каком-либо ином месте, поспешили к броду и приняли участие в битве. Авл увидел, что происходит, и приказал Второму полку, которым командовал некий Веспасиан, пойти под прикрытием леса вверх по реке и перейти ее у какой-нибудь лишенной охраны излучины. Веспасиан нашел подходящее место милях в пяти от брода, где река немного сужалась, и отправил солдата вплавь на другую сторону, дав ему бечевку. При ее помощи перекинули канат и, туго натянув, привязали его концы к деревьям на обоих берегах. Второй полк был обучен этому маневру, и через час-два все были на противоположной стороне Медвея. Пришлось пустить в ход несколько канатов, так как расстояние было слишком велико, чтобы один, да еще туго натянутый, канат мог выдержать вес двадцати-тридцати тяжело вооруженных людей — он грозил лопнуть. Переправившись, полк поспешил вниз по реке, не встретив никого по пути, и через час внезапно появился у незащищенного правого фланга противника. Солдаты сомкнули щиты и с громким криком прорвались к укреплениям, уничтожив в этой единственной атаке сотни британцев. Ко Второму полку присоединился Девятый и полк батавов, и хотя количественный перевес был у неприятеля, им удалось объединенными силами оттеснить приведенного в смятение, но все еще не уstraшенного врага, расстроить его боевой порядок и обратить в беспорядочное бегство. Берег реки был очищен, и остаток дня Авл потратил на поспешное сооружение узкой гати из хвороста вдоль всего брода; при отливе ее намертво закрепили на якорях и засыпали все канавы. Кончили эту работу поздно ночью, и благополучно переправиться успела лишь часть армии — переправе помешал прилив, — остальным полкам пришлось ждать утра.

Британцы сосредоточились на холме за рекой, и на следующий день состоялось генеральное сражение. Возглавляла атаку французская пехота, не принимавшая участия в боях накануне, но противник не поддавался, а затем внезапно с левого фланга вырвалась колонна колесниц и, промчавшись через центр поля, вклинилась между основными нашими силами и первым французским полком, который шел развернутым строем, и осыпала его градом копий, причинив большой урон. Когда колонна колесниц, возглавляемая лично Каратаком, достигла правого фланга, она дерзко повернулась кругом, отрезала от остальных второй французский полк, подходивший на помощь первому, и, повторив тот же маневр, ускakала без особых потерь. Французы не смогли подняться на гребень холма, и Авл, видя, что британская кавалерия и боевые колесницы сосредоточились на его правом фланге и вот-вот начнут атаку на французов, смешавших свои ряды, отправил треть кавалерии на подвергшуюся угрозе позицию с приказом удержать ее любой ценой. Конники пустились в галоп, а Авл бросил вслед за ними всю оставшуюся пехоту, кроме Второго полка. Оставив его в поддержку французов на случай, если британцы пойдут в контратаку, и послав Гету с частью батавской пехоты и остатками кавалерии на левый фланг, Авл успешно завершил атаку на правом фланге. Колесницы врага не смогли задержать это наступление, хотя наша кавалерия понесла большие потери, прежде чем к ним на смену не подошел Четырнадцатый полк. Тогда Каратак повернул всю колонну, чтобы, обогнув холм сзади, атаковать наш левый фланг.

Героем битвы был Гета. Со своими семьями кавалеристами он выдержал

отчаянное наступление двух тысяч колесниц. Вместе с кавалерией было пятьсот тех самых батавцев, которые на рассвете покалечили пони, и сейчас снова пустили в ход ножи с немалым успехом. Если бы не они, Гете было бы не устоять. Сам Гета был сброшен с лошади и чуть не попал в плен, но в конце концов Каратак отвел свою колонну, оставив на поле боя сотню разбитых колесниц. К этому времени на правом фланге все сильнее становился натиск нашей регулярной пехоты, французы тоже держались твердо, и тут внезапно раздался крик, что Тогодумн смертельно ранен и его вынесли с поля боя. Британцы утратили мужество. Их строй заколебался и рассыпался: они устремились к левому флангу, где неожиданно столкнулись с отрядом Геты, вышедшим из небольшого леса. Гета бросил своих людей в наступление, и, когда бой окончился, на одном этом участке было найдено пятнадцать сотен вражеских трупов. Наши потери достигли девятисот убитыми, из которых семьсот были французы, и примерно столько же тяжелоранеными. Среди тех, кто умер от ран, был Берик, — причина войны; он сражался бок о бок с Гетой и, когда того сбросили с лошади, спас ему жизнь.

Следующим серьезным препятствием на пути Авла была Темза, которую Каратак удерживал почти так же, как раньше Медвей. Потерпев поражение, британцы отошли на ее противоположный берег, воспользовавшись одним им известным путем через болотистые участки поймы, проходимые лишь во время отлива. Наш авангард попробовал было пойти вслед за ними, но тут же завяз в болоте и был вынужден отступить на прежние позиции. Последовавшая затем битва очень напоминала предыдущую, так как условия были почти одинаковые. На этот раз переправу возглавлял Красс Фругийский, отец молодого Помпея, моего зятя. У самого Лондона он с боем пересек реку по мосту, который обороняла рота юношей из самых знатных британских родов, поклявшихся сражаться до последнего человека. Батавы опять переплыли во время прилива плесы ниже по течению. На этот раз защита противника была слабее, а потери убитыми столь же велики, к тому же мы взяли две тысячи пленных. Наши потери были незначительны — всего триста человек. Лондон был захвачен, нам достались богатые трофеи. Однако победа была омрачена гибелью чуть не тысячи французов и батавов, которые неосмотрительно стали преследовать разбитого врага, бежавшего в болота, и были поглощены трясиной.

Авл был уже за Темзой, но тут сопротивление британцев стало тверже, так как с юга, запада и центра острова подошло подкрепление. Появились свежие колонны колесниц. Смерть Тогодумна как оказалось, пошла врагу на пользу: верховное командование армией больше не было раздельным, и Каратак, способный вождь, пользовавшийся большим расположением друидов, мог теперь обратиться к своим союзникам и вассалам с пылким призывом отомстить за смерть его благородного брата. Поскольку наши потери превзошли обусловленное число и нельзя было честно сказать, что сопротивление неприятеля сломлено, Авл счел разумным отправить мне сигнал, о котором мы с ним договорились. Франции он достиг при помощи нашего судна, прибывшего, как было условлено, из Ричборо в Лондон с грузом вина, одеял и провианта. В Булони зажгли первый сигнальный огонь, и через очень короткое время донесение Авла пересекло Альпы и поспешило к Риму.

А я в тот самый день наконец нашел убедительное свидетельство мошенничества Мирона, подделывавшего документы и мою подпись. Его только что подвергли порке в присутствии всех прочих советников, а затем казнили. Я устал от трудного и неприятного дня и только было сел, чтобы перед ужином дружески сразиться в кости с Вителлием, как в комнату с взволнованным видом вбежал евнух Посид, мой военный советник, и закричал:

— Цезарь, сигнальный огонь! Ты нужен в Британии.

— В Британии? — воскликнул я. У меня в руках был стаканчик с костями, и я механически встряхнул его и кинул кости на стол, прежде чем подойти к окну,

выходящему на север. — Где, покажи!

Вечер был ясный, и даже я, при моем слабом зрении, смог, посмотрев туда, куда указывал Посид, различить небольшую красную точку на вершине горы Соракт в тридцати милях от Рима. Я вернулся к столу и увидел, что Вителлий широко мне улыбается.

— Неплохое предзнаменование, — сказал он, — как по-твоему? Все полчаса, что мы играли, у тебя каждый раз был самый низкий счет, а тут ты вскричал «В Британии!» и тебе выпала «венера».

И действительно, три кости легли аккуратным равносторонним треугольником, и на каждой было по шесть очков. Шанс получить «венеру» один к двумстам шестнадцати, так что мой восторг был простительным. Хорошее предзнаменование! Что может быть лучше для начала военной кампании? Ведь Венера, не забывайте, не только покровительница игры в кости, но и мать Энея, а значит, моя прародительница через бабушку Октавию, сестру Августа, и хранительница фортуны рода Юлиев, а я был теперь его признанным главой. Я увидел особый смысл в самом треугольнике, ибо такую именно форму имеет на картах Британия.

Теперь, когда я порой думаю об этом, я спрашиваю себя: может, богиня была здесь не при чем и все это дело рук Вителлия, который, когда я повернулся к нему спиной, все так славно подстроил? На свете нет человека, которого было бы легче обмануть, чем меня, во всяком случае, таково всеобщее мнение. Если это сделал Вителлий, он поступил правильно, потому что благодаря «венере» я отправился в свой первый завоевательный поход в окрыленном состоянии. В ту ночь я молился Венере (Августу и Марсу тоже) и пообещал, если она поможет мне одержать победу, оказать ей любую услугу, какую она пожелает. «Рука руку моет, — напомнил я ей, — и я жду, что ты расшибешься в лепешку, а дело сделаешь». У нас, Клавдиев, принято обращаться к Венере с шутливой фамильярностью. Предполагается, что ей это по вкусу, как прабабушкам, особенно таким, кто в молодости любил весело пожить, нравится, когда их любимые правнуки и правнучки обращаются к ним так свободно и бесцеремонно, словно они их ровесники.

На следующий день я отплыл из Остии в Марсель со всем своим штабом и пятьюстами добровольцами. Южный ветер был теплый и ровный, и я предпочел переезд по морю тряске в экипаже. Хоть выспаться смогу наконец. Весь город пришел в гавань пожелать нам счастливого пути, и каждый из провожающих старался перещеголять другого заверениями в своей преданности и пылом добрых пожеланий. Мессалина рыдала, обняв меня за шею. Маленький Германик желал ехать со мной, Вителлий пообещал Божественному Августу обшить все двери его храма золотыми пластинами, если я вернусь с победой.

Наш флот состоял из пяти быстроходных двухмачтовых военных судов, оснащенных квадратными парусами, каждое — с тремя скамьями гребцов и корпусом, крепко занайтовленным прочными канатами на случай шторма. Мы подняли якорь за час до рассвета и отошли от берега. Времени терять было нельзя, и я сказал капитану, чтобы он поднял все паруса, какие можно; он так и сделал, поставив на каждой мачте оба паруса, и, поскольку море было спокойным, вскоре мы уже плыли со скоростью десять узлов в час. Под вечер мы увидели Эльбу, а рядом остров Планазию, куда был сослан мой бедный друг Постум; я даже мог различить покинутые сейчас строения, где жила его стража. Мы прошли сто двадцать миль — около трети пути. Ветер еще не менялся. Качка не действовала на мой желудок, и я ушел в каюту, чтобы хорошенько поспать. Ночью мы обогнули Корсику, но в полночь ветер упал и рассчитывать можно было только на весла. Спал я прекрасно. Продолжу вкратце. На следующий день начался шторм, что сильно замедлило наше продвижение; ветер постепенно изменился на северо-западный.

Французское побережье показалось только на рассвете третьего дня. Море

было такое бурное, что весла то погружались в воду по уключину, то били по воздуху. Из четырех сопровождающих нас кораблей видны были только два. Мы подошли под защиту берега и очень медленно пошли вдоль него. Мы находились в пятидесяти милях к западу от Фретюса, где стоял наш флот, и шли между островами Иерского архипелага. К полудню мы должны были достичь Марсея. Когда мы проходили мимо Поркероля, самого большого из островов в западной части архипелага, отделенного в одном месте от полуострова Жиан, который выступает ему навстречу, проливом в одну милю шириной, ветер налетел на нас со страшной силой, и хотя матросы гребли как безумные, мы не продвигались вперед, а вскоре увидели, что нас понемногу сносит на скалы. До столкновения оставалось каких-то сто ярдов, когда ветер на миг утих и мы сумели выгрести на безопасное место. Однако через несколько минут мы снова попали в беду, и на этот раз опасность была еще серьезней. Последний мыс, который нам предстояло обогнуть, кончался большой черной скалой, которая под воздействием волн и ветра стала похожа на голову ухмыляющегося сатира. У его подбородка кипела с шипеньем вода, образуя что-то вроде белой кудрявой бороды. Ветер дул прямо в середину судна и толкал нас в пасть этого чудовища.

— Если мы угодим туда, он переломает нам все кости и искромсает мясо, — мрачно заверил меня капитан. — Не один хороший корабль развалился на части у этой черной скалы.

Я обратился с мольбой о помощи ко всем богам Пантеона. Впоследствии мне говорили, что сидевшие на веслах матросы клялись, будто в жизни своей не слышали таких красивых молитв, и это вселило в них новую надежду. Особенно горячо я молился Венере, умоляя убедить ее дядю Нептуна отнестись ко мне хоть немного бережней, ведь от того, уцелеет ли наш корабль, зависит судьба Рима; и пусть она будет так добра напомнить ему, что я никак не участвовал в нечестивой ссоре с ним моего предшественника, напротив, относился к нему, богу Нептуну, с величайшим уважением. Измученные гребцы из последних сил налегали на весла, а надсмотрщик бегал с плеткой по среднему настилу и с проклятиями вколачивал в них новое рвение. Мы кое-как выкрутились — как, я и сам не знаю, — и когда были наконец вне опасности и раздался дружный вздох облегчения, я пообещал гребцам, как только мы высадимся на берег, каждому по двадцать золотых.

Я был рад, что сохранил присутствие духа. Я впервые в жизни попал в шторм, а мне было известно, что даже самые храбрые люди в мире теряют голову перед угрозой утонуть. Говорят даже — не вслух, конечно, — что Божественный Август праздновал труса во время шторма и только чувство императорского достоинства не давало ему кричать и рвать на себе волосы. Действительно, он частенько приводил цитату о том, сколь «нечестив был человек, впервые поднявший паруса и бросивший вызов опасным морским глубинам». На море ему всегда не везло — разве кроме морских боев, — а если говорить о нечестивости, то однажды, когда во время внезапной бури пошел ко дну целый флот, Август был так возмущен этим, что запретил носить статую Нептуна в числе других богов в священной процессии вокруг цирка. После этого, стоило ему выйти в море, почти всегда начинался шторм, и три или четыре раза он чуть не потерпел кораблекрушение.

Наше судно первым достигло Марсея; к счастью, остальные тоже остались целы, хотя два корабля были вынуждены повернуть назад и укрыться в Фретюсе. Как приятно было чувствовать под ногами твердую землю. Я решил никогда больше не плыть морем, если можно ехать сушей, и с тех пор ни разу не изменил своему решению.

Как только я услышал, что высадка в Британии прошла успешно, я подтянул свои резервы к Булони, приказал Посиду держать собранные там транспортные суда наготове, загрузив их дополнительным оружием и амуницией, которые, возможно, понадобятся для похода. В Марселе — спасибо Посиду — меня с моим штабом

ждали двадцать быстроходных двуколок, и мы двинулись на перекладных вверх по долине Роны, от Авиньона к Лиону, где провели вторую ночь, и дальше на север вдоль Соны, делая по восемьдесят-девять миль в день — самое большее, что я мог вынести из-за беспрестанной тряски, которая терзала мне нервы, расстраивала желудок и вызывала жестокую головную боль. На следующий вечер в Шалоне мой домашний врач Ксенофонт потребовал, чтобы я отдыхал весь следующий день. Я сказал, что не могу позволить себе такую роскошь; он ответил, что, если я не отдохну, от меня будет мало толку, когда я наконец окажусь в Британии. Я впал в страшную ярость и попытался поставить на своем, но Ксенофонт решительно заявил, что такое мое поведение как раз и говорит о нервном срыве и спросил, кто мой врач — он или я сам. В последнем случае он тут же отказывается от места и возобновляет прерванную практику в Риме; в первом он должен просить меня следовать его советам: полностью расслабиться и подвергнуться основательному массажу. Я извинился перед ним, но сослался на то, что внезапная остановка приведет меня в такое нервное возбуждение, которое будет не снять никаким массажем, а говорить мне «расслабься» — все равно что советовать человеку, одежда которого объята пламенем, сохранять хладнокровие. В конце концов мы пришли к компромиссу: в Шалоне я задерживаться не стану и двинусь дальше, но не в двуколке, а в портшезе, который понесут на плечах шесть опытных носильщиков, и таким образом уменьшу по крайней мере на тридцать миль или около того те пятьсот, что еще предстояло пройти, в свою очередь, я согласен подвергнуться до выхода в путь и по прибытии на место стольким сеансам массажа, сколько он считает нужным.

Мне потребовалось восемь дней, чтобы добраться из Лиона в Булонь через Труа, Реймс, Суассон и Амьен, так как переход из Реймса Ксенофонт опять заставил меня проделать в портшезе. Но я не бездельничал все это время. Я вспоминал и обдумывал исторические записки, посвященные великим битвам прошлого — битвам Юлия, битвам Ганнибала, Александра, в особенности битвам моего отца и брата в Германии, — и спрашивал себя, удастся ли мне, когда дойдет до дела, применить на практике мое широкое и подробное знакомство с военной историей. Я поздравлял себя с тем, что всякий раз, когда можно было составить план битвы по описанию очевидцев, переданному из уст в уста, я непременно это делал; и с тем, что досконально овладел общими тактическими принципами, позволяющими сравнительно небольшой армии дисциплинированных солдат победить огромное полчище полуцивилизованных воинов из различных племен, а также стратегическими принципами, позволяющими успешно оккупировать их страну после победы.

В Амьене, лежа без сна на рассвете, я стал мысленно представлять поле боя. Возможно, пехота британцев будет находиться на лесистом гребне холма, а кавалерия и боевые колесницы выйдут на позицию и станут маневрировать в низине у ее подножья. Я выстрою нашу регулярную пехоту в обычном боевом порядке: два полка впереди, вспомогательные войска на флангах и гвардия в резерве. Слоны, которые будут здесь в новинку, так как подобных животных на острове еще не видели... и тут мне в голову вдруг пришла весьма неприятная мысль.

— Посид, — взволнованно позвал я.

— Да, цезарь, — ответил Посид и соскочил с тюфяка, еще не совсем проснувшись.

— Слоны уже в Булони, да?

— Да, цезарь.

— Когда я приказал тебе перевезти их из Лиона в Булонь?

— Когда мы узнали о высадке наших войск, цезарь: значит, седьмого августа.

— А сегодня двадцать седьмое?

— Да, цезарь.

— Так как же, ради всех богов, нам удастся переправить их через пролив? Нам надо было построить для них специальные транспортные суда.

— В Булони стоит корабль, на котором мы привезли из Александрии обелиск.

— Но я думал, он все еще в Остии.

— Нет, цезарь, он в Булони.

— Но если он вышел туда седьмого, он еще не успел прийти. Вряд ли он сейчас ближе Бискайского залива. Ты же помнишь, ему понадобилось три недели на путь из Египта, причем в идеальную погоду.

Но Посид был действительно способный советник. Оказывается, как только я решил включить слонов в наше подкрепление и велел доставить их в Лион — это было, по-моему, в мае, — он обдумал вопрос о том, как переправить их через пролив, и, не говоря мне ни слова, приспособил для этого судно, на котором привезли в Рим обелиск — единственное судно, достаточно большое для этой цели, — и послал его в Булонь, куда оно прибыло через шесть недель. Если бы он ждал моих приказаний, нам пришлось бы оставить слонов на материке. Это судно заслуживает большего, чем мимолетное упоминание. Еще никогда не спускали на воду такой огромный корабль. В длину целых двести футов, в ширину — пропорционально длине, основные шпангоуты сделаны из кедрового дерева. Калигула построил его в первые месяцы своего правления, чтобы привезти из Египта восьмидесятифутовый красный гранитный обелиск и четыре огромных камня, которые образовывали его пьедестал. Сначала обелиск был воздвигнут в Гелиополисе, потом простоял несколько лет в храме Августа в Александрии. Калигула хотел воздвигнуть его в свою собственную честь в новом цирке, который он строил на Ватиканском холме. Чтобы вы получили представление о колоссальных размерах этого судна, надо вам сказать, что его семидесятифутовая грот-мачта была сделана из ствола серебристой ели, диаметр которого у основания равнялся восьми футам, а в качестве дополнительного балласта для придания судну остойчивости, закрепив обелиск и камни пьедестала на палубе, погрузили сто двадцать тысяч мер египетской чечевицы — дар римскому народу.

Когда мы добрались до Булони, я с удовольствием увидел, что войска преисполнены боевого духа, транспортные суда готовы, а море спокойно. Мы тут же взошли на корабли. Наш переход через пролив был такой приятный, без каких-либо происшествий, что, высадившись в Ричборо, я тут же совершил жертвоприношение Венере и Нептуну, поблагодарив второго за его неожиданную милость, а первую — за ее любезное заступничество. Слоны не причинили нам никаких хлопот. Это были индийские слоны, а не африканские. Они в три раза больше африканских, а эти, которых Калигула купил для участия в церемониях, связанных с его собственным культом, были особенно хороши, в Остии я видел, как они работают, — по указанию индусов-погонщиков они переносили огромные камни и бревна. К своему удивлению, я обнаружил, что помимо слонов на палубе находятся двенадцать верблюдов. Это была идея Посида.

Глава XIX

Прибыв в Ричборо, мы прежде всего спросили, нет ли известий от Авла, — оказалось, от него только что пришла депеша. Авл сообщал, что британцы предприняли две атаки на лагерь, разбитый им к северу от Лондона, — одну днем, другую ночью, но были отбиты, потерпев урон. Однако к ним, похоже, каждый день подходят подкрепления даже из таких дальних краев, как Южный Уэльс, и ушедшие в Вилд жители Кента, по полученным сведениям, передали Каратаку, что, как только Авл будет вынужден отступить, они выйдут из лесов и отрежут его от базы. Поэтому Авл просил меня как можно скорее объединить наши силы. Я поговорил с двумя или

тремя тяжело ранеными солдатами, которых Авл отослал в базовый лагерь, и они в один голос утверждали, что пехоты врага бояться нечего, но вот их боевые колесницы кажутся вездесущими и количество их так возросло, что наши соединения могут отходить от основных сил армии, только если в них не меньше двухсот-трехсот человек.

Моя колонна стала готовиться к маршу. Слоны были нагружены тюками с запасными дротиками и амуницией, а на горбах верблюдов висели какие-то странные механизмы.

— Изобретение твоего предшественника на троне, цезарь, — объяснил Посид. — Я взял на себя смелость заказать в Лионе партию из шести штук, когда мы были там в июле, и велел прислать их на верблюдах. Это осадные орудия, которые используют против диких племен.

— А я и не знал, что покойный император изобрел какие-то военные устройства.

— Я думаю, цезарь, ты найдешь, что эти приспособления приносят очень хорошие результаты, особенно в сочетании с веревкой. Я взял на себя смелость захватить несколько сот ярдов.

Посид ухмылялся во весь рот, и я понял, что у него есть какой-то хитроумный план, который он пока не хочет мне открывать. Поэтому я сказал ему:

— У Ксеркса Великого был военный советник по имени Гермотим, евнух, как и ты, и если ему позволялось самому решить какой-нибудь тактический вопрос, вроде того, как овладеть неприступной крепостью без применения осадных машин, или переправиться без лодок через глубокую реку, вопрос этот бывал решен, но стоило Ксерксу или кому-нибудь другому вмешаться, дать совет или что-нибудь предложить, как Гермотим обычно заявлял, что теперь вопрос этот стал для него слишком сложным, и просил уволить его от решения. Ты — второй Гермотим, и, чтобы не спугнуть счастье, я предоставляю тебе полную свободу. Ты заслужил мое доверие тем, как предусмотрительно все устроил с переправкой слонов. Поверь, я жду великих дел от твоих верблюдов и их ноши. Если ты меня разочаруешь, я буду очень тобой недоволен, возможно, кину тебя на съедение пантерам в амфитеатре, когда мы вернемся.

Посид ответил, все еще ухмыляясь:

— А если я помогу тебе одержать победу, что тогда?

— Тогда я награжу тебя самым высшим знаком отличия, жаловать который в моей власти и который, кстати, очень тебе подходит: орденом Тупого Копья. Есть у тебя еще какие-нибудь новинки, спрятанные среди груза? Все эти верблюды, слоны и черные воины из Африки скорее наводят на мысль о представлении на Марсовом поле, чем о серьезной экспедиции.

— Нет, цезарь, больше почти ничего нет, но я думаю, эти туземцы увидят предостаточно, прежде чем мы с ними покончим, а плату за вход соберем потом.

От Ричборо мы двинулись маршем на север, не встречая никакого сопротивления; переправы держали для нас отряды Четырнадцатого полка, посланные с этой целью Авлом. После того, как мы переходили реку, они подстраивались сзади к нашей колонне. Нам не попался ни один британец на всем протяжении пути от Ричборо до Лондона, где пятого сентября мы с Авлом соединили войска. Я думаю, Авл так же был рад видеть меня, как я был рад видеть его. Прежде всего я спросил, каково настроение в армии. Он ответил, что солдаты бодры духом, и прибавил, что обещал им вдвое меньше подкреплений, чем я привел из Рима, и не упоминал о слонах, поэтому наши теперешние боевые силы — для них приятный сюрприз. Я спросил, где неприятель намеревается дать нам сражение, и Авл показал мне вылепленную из глины контурную карту местности между Лондоном и Колчестером. Он указал мне на место в двадцати милях от нас по дороге в Колчестер (слово «дорога» я, естественно, употребляю не в том смысле, в каком это понимают в

Риме), которое Каратак все это время постепенно укреплял и которое, без сомнения, и станет полем предстоящей битвы. Это был лесистый гребень холма под названием Брентвуд-хилл, который огибал дорогу большой подковой; на каждом ее конце был укреплен частоколом форт, в центре — тоже. Дорога шла на северо-восток. Левый фланг неприятеля за холмами был защищен болотами, спереди заслоном служил глубокий ручей Вилд-брук. На правом фланге холмы отходили к северу и тянулись в этом направлении три или четыре мили, но склоны так густо заросли деревьями, колючим кустарником и куманикой, что, как заверил меня Авл, пытаться охватить этот фланг, прорубая себе путь через чащу, было бесполезно. Поскольку единственным возможным подходом к Колчестеру была эта дорога и поскольку я хотел вступить в бой с основными силами врага как можно скорее, я очень тщательно изучил стоявшую перед нами тактическую задачу. Пленные и дезертиры подробно рассказывали о сделанных в лесу оборонительных сооружениях — они казались весьма внушительными. Мысль идти в лобовую атаку ничуть мне не улыбалась. Если мы двинемся против центрального форта, не разбив два других, мы подставим себя яростному удару с обоих флангов. Но если мы сперва нападём на фланги и даже возьмем форты, понеся крупный урон, это тоже не очень нам поможет, так как солдатам придется с боями продвигаться через ряд мощных частоколов в самом лесу, причем брать их поочередно.

На военном совете, куда мы с Авлом пригласили всех штабных офицеров и командиров полков, все сошлись на том, что фронтальное наступление неизбежно и мы должны быть готовы к тяжелым потерям. Невыгодно для нас было и то, что передний склон холма между лесом и рекой был идеально приспособлен для маневров колесниц. Авл рекомендовал массированную атаку на центральный форт при ромбоидальном построении. В голове колонны будет один полк, идущий двумя эшелонами, каждый — в восемь рядов в глубину. За ним пойдут бок о бок два полка с тем же построением, что первый, затем три полка рядом — самая широкая часть ромба, на ее флангах для защиты нужно поместить слонов; затем снова два полка и в завершение — один. Кавалерию и остальную часть пехоты надо оставлять в резерве. Авл объяснил, что такое построение полков предохранит их от атак с флангов — атака на первый полк вызовет шквал дротиков, посланных солдатами второго развернутого строя, атака на второй — вызовет удар третьего. Третий будут прикрывать слоны. Если же на замыкающие полки будет предпринята мощная атака боевых колесниц, полки развернутся и снова смогут защищать друг друга.

Я сказал, что ромб — красивое построение и оно с успехом применялось в таких-то и таких-то битвах — я перечислил их — во времена республики, но британцы настолько превосходят нас численно, что, стоит нам оказаться в центре подковы, они атакуют нас со всех сторон и мы не сможем отбить их, не нарушив построения: передняя часть ромба обязательно окажется отрезанной от задней. Я сказал также, и очень выразительно, что не согласен терять даже одну десятую часть того числа убитыми и ранеными, в которое, как мы подсчитали, нам обойдется лобовая атака. Веспасиан тут же привел старую поговорку о том, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, и спросил довольно нетерпеливо, уж не собираюсь ли я уменьшить потери, немедленно вернувшись во Францию, и сколько времени после этого я надеюсь пользоваться уважением армии.

Я резко ответил:

— Есть много способов содрать шкуру с кота, на лобовой атаке свет не клином сошелся.

Они говорили со мной свысока — еще бы, бывалые солдаты, участники многих походов, — стараясь поразить меня техническими и военными терминами, точно я был полный профан. Я сердито воскликнул:

— Уважаемые, как говаривал Божественный Август: «Возможно, редька не знает

по-гречески, но я-то знаю». Я сорок лет занимался тактикой, и не вам меня учить. Я знаю все шаблонные и нешаблонные ходы и дебюты в этой игре, где играют не шашками, а людьми. Но поймите наконец, что я не волен играть в нее по тем правилам, которые навязываете мне вы. Как отец отчизны я обязан печься о своих сыновьях; и я отказываюсь потерять три или четыре тысячи жизней в наступлении такого рода. Ни моему отцу Друзу, ни моему брату Германику и в голову бы не пришло устраивать лобовую атаку против таких мощных фортификаций.

Гета спросил со скрытой иронией:

— Что бы предприняли твои благородные родичи в подобном случае? Как ты думаешь, цезарь?

— Они нашли бы обходный путь.

— Но здесь нет обходного пути, цезарь. Мы в этом убедились.

— А я говорю: они бы его нашли.

Крапп Фругийский сказал:

— По словам пленников, вражеский левый фланг охраняет царица Цапля, а правый — царь Боярышник. Так они похваляются.

— Кто эта царица Цапля? — спросил я.

— Властительница болот. По их мифологии, она родственница Богини Боя. Та является в обликах ворона и садится на острия копий. Затем она заводит побежденных врагов в болота, где ее родственница царица Цапля съедает их всех до одного. Царь Боярышник — юноша. Весной он одевается во все белое и помогает британцам, защищая частокоты колючками; они валят боярышник и укладывают его колючими ветвями наружу, связывая стволы между собой. Через этот завал нелегко пройти. Но царь Боярышник защищает их правый фланг без искусственных преград. Наши разведчики все сошлись на том, что этот лес — непролазные дебри, нет смысла даже пытаться где-нибудь там пройти.

Авл сказал:

— Да, цезарь, боюсь, нам все же придется пойти на это фронтальное наступление.

— Посид, — вдруг позвал я, — ты когда-нибудь воевал?

— Никогда, цезарь.

— Слава богу, значит, я не один. Предположим, я возьму на себя невозможное и проведу нашу кавалерию на правом фланге через эти непроходимые дебри, несмотря на колючки, ты возьмешься подвести гвардию к левому флангу через это непролазное болото?

Посид ответил:

— Ты даешь мне более легкий фланг, цезарь. Оказалось, что через эту топь можно пройти. Правда, идти придется гуськом, но тропка там есть. Я встретил вчера в Лондоне одного человека — он испанец, бродячий лекарь-окулист, лечит в округе от болотной офтальмии. Сейчас он здесь, в лагере. Говорит, что хорошо знает это болото и тропу — всегда по ней ходит, чтобы миновать заставу на холме. После смерти Цимбелина в Британии перестали взимать определенный сбор с проезжающих, теперь путники платят больше или меньше в зависимости от того, сколько денег у них в седельных вьюках, и этому лекарю надоело, что его обдирают как липку. Ранним утром над болотом почти всегда стоит туман, и по этой тропке он проскальзывает в Колчестер незамеченным. Он говорит, стоит оказаться на тропе, вы ее не потеряете. Она выходит из болота в полумиле от холмов у опушки сосновой рощи. Вполне возможно, что там поставлены часовые — Каратак предусмотрительный генерал, — но я думаю, мне удастся выбить их с позиций и провести через болото столько людей, сколько не побоится за мной пойти.

Посид объяснил, какую военную хитрость он намерен применить, и я одобрил ее, хотя многие командиры удивленно поднимали брови. Затем я объяснил свой план

прорыва и захвата другого фланга; он был прост. Сосредоточив свой интерес на предложении Авла, все просмотрели очень важный факт, а именно то, что индийские слоны могут пройти через самую густую чащу, какую можно себе представить, и никакие шипы и колючки их не устроят. Но чтобы не повторяться, я больше не буду рассказывать о военном совете и о том, что там было решено. Перейду прямо к битве, которая произошла в Брентвуде седьмого сентября — памятная для меня дата, так как именно седьмого сентября мой брат Германик разбил на Везере Германика; если бы Германик остался в живых, ему было бы сейчас всего пятьдесят восемь лет, не больше, чем Авлу.

Мы выступили из Лондона по дороге на Колчестер. Головному отряду приходилось время от времени вступать в отдельные схватки с врагом, но серьезного сопротивления мы не встречали, пока не подошли к Ромфорду, деревушке в семи милях от Брентвуда, где был брод через реку Ром, оказавшийся, как мы увидели, под сильным прикрытием. Неприятель продержал нас там все утро, что стоило им две сотни убитыми и сотни ранеными. Мы потеряли всего пятьдесят человек, но в их числе были два ротных и один командир батальона, так что в некотором смысле в выигрыше оказались британцы. Днем впереди показались отроги Брентвуда, на ночь лагерь разбили на ближнем берегу реки, используя ее как оборонительный рубеж.

Я спросил волю богов. Как это всегда делается перед битвой, священным цыплятам кидают куски бобовой лепешки и смотрят, хорошо ли они едят. Если у них нет аппетита, считайте, что битва проиграна. Если приставленный к ним жрец откроет дверцу клетки и они тут же без звука и хлопанья крыльями устремятся наружу и будут так жадно клевать, что крошки посыпятся из клюва на землю, ничего не может быть лучше. Если будет слышно, как они ударяются о землю, это означает полный разгром врага. И нам выпало это наилучшее предзнаменование. Жрец спрятался от птиц позади клетки, став рядом со мной, и в тот момент, как я кинул лепешку, внезапно поднял дверцу. Цыплята выскочили наружу, не издав ни звука, и буквально набросились на еду, раскидывая вокруг себя крошки с самым беззаботным видом, что привело нас обоих в восторг.

Я подготовил весьма уместную, по-моему, речь. По стилю она напоминала труды Ливия, но, чувствуя историческое значение момента, я счел, что моя речь и должна быть выдержана в соответственном духе. Вот она:

«Римляне, пусть никто из вас не болтает зря языком и не поднимает голос в защиту прошлых дней, считая то время воистину золотым, и не умаляет достоинства нашего времени, быть поборником величия которого — наш долг, считая его всего лишь гипсом, покрытым позолотой. У греческих героев, когда они шли на Трою, были — если верить свидетельству великого Гомера — две строчки на губах:

Мы справедливо гордимся, что наших отцов мы храбрее:
Воинство в меньшем числе приведя под Арееву стену...

Не будьте чересчур скромны, римляне. Выше голову. Грудь вперед. В сегодняшней битве перед вами будут стоять люди, которые напоминают ваших предков, так же как орел — орла, волк — волка; это яростная, гордая, необузданная, грубая раса, держащая в руках оружие, которое устарело на несколько сотен лет, впрягающая в свои колесницы коней выродившейся породы, применяющая на поле боя примитивную тактику, уместную лишь на страницах эпических поэм, не организованная в дисциплинированные полки, а собранная по кланам и родам. Их так же верно ждет поражение от вашей руки, как ждет гибель дикого вепря, когда, наклонив голову, он кидается на умелого и опытного охотника, вооруженного охотничьим копьем и сетью. Завтра, когда будут сосчитаны убитые и длинные вереницы хмурых пленных пройдут перед вами под игом, вы станете сами смеяться над собой; если

хоть на миг потеряли веру в настоящее, если умы ваши когда-нибудь были ослеплены славными деяниями далекого прошлого. Нет, друзья, ваши мечи будут разить на поле битвы тела этих первобытных героев так же легко и небрежно, как священные птицы роняли на землю из своих алчных клювов кусочки священной лепешки, когда я, ваш главнокомандующий, узнавал волю богов.

Я слышал, что некоторые из вас, скорее из лени, чем из страха или отсутствия чувства долга, колебались, когда были призваны отправиться в этот поход, оправдываясь тем, что Божественный Август навечно установил границы Римской империи по Рейну и Ла-Маншу. Если бы это было так — а я докажу вам, что это неверно, — Божественный Август был бы недостоин нашего почитания. Миссия Рима — цивилизовать мир, а где во всем мире вы найдете расу, более достойную благ цивилизации, которые мы намерены даровать им, чем британцы? На нас возложена священная задача обратить этих свирепых людей, не отличающихся от наших далеких предков, в верных сыновей Рима, нашего славного города и отца, о чем именно в таких словах писал Божественный Август моей бабке Божественной Августе: „Заглядывая в будущее, я вижу Британию столь же цивилизованной, как теперешняя Южная Франция. И я думаю, что островитяне, будучи родственны нам по крови, станут куда лучшими римлянами, чем когда-либо, как мы ни старайся, будут германцы. Придет день (не улыбайся), и британская знать, возможно, займет места в римском сенате“.

Вы уже показали себя храбрецами. Дважды вы нанесли неприятелю сокрушительное поражение. Вы убили моего врага, короля Тогодумна, и отомстили ему за оскорбления. И эту, третью битву, вы не можете проиграть. Ваши силы — мощнее, чем прежде, ваше мужество — крепче, ваши ряды — теснее. Вы, как и противник, защищаете ваш домашний очаг и священные храмы наших богов. Где бы ни сражался римский солдат — в покрытых льдом горах Кавказа, в жгучих песках пустыни за Атласом, в сырых лесах Германии или на лугах Британии — он никогда не забывает о прекрасном городе, который дал ему имя, доблесть и чувство долга».

Я сочинил еще несколько абзацев в таком же возвышенном духе, но, как ни странно, не произнес ни единого слова из всей этой речи. Когда я поднялся на платформу трибунала и ротные закричали хором: «Приветствуем тебя, Цезарь Август, отец отчизны, наш император!», а солдаты подхватили их крик, прибавив к нему громовую овацию, я чуть не расплакался. Моя прекрасная речь вылетела у меня из головы, и я смог лишь протянуть к ним руки, ничего не видя из-за слез, и проблеять:

— Все в порядке, ребята, священные цыплята говорят, что все будет в порядке; мы приготовили большой сюрприз, мы так их вздуем, что они не забудут этого до самой смерти, — я имею в виду британцев, а не цыплят. (Оглушительный хохот, к которому я счел лучшим присоединиться, словно шутка была преднамеренной.)

— Хватит смеяться надо мной, ребята, — вскричал я. — Не помните разве, что случилось с маленьким негритенком в египетской сказке, когда он посмеялся над отцом, который по ошибке прочитал вечернюю молитву вместо утренней? Его съел крокодил, так что будьте поосторожнее. Да. Я прожил долгую жизнь, но еще ни разу я не был так горд, как в эту минуту. Как бы я хотел, чтобы мой бедный брат Германик был сейчас здесь и поделил со мной мою гордость. Кто-нибудь из вас еще помнит моего великого брата? Наверно, немногие, ведь он умер двадцать четыре года назад. Но все вы слышали о том, что он был величайшим римским полководцем. Завтра годовщина его замечательной победы над Германном, германским вождем, и я хочу, чтобы мы отпраздновали ее, как подобает. Ночной пароль сегодня «Германик!» и боевой клич завтра «Германик!», и я думаю, если вы будете выкрикивать его имя достаточно громко, он услышит вас внизу, в подземном мире, и поймет, что память о

нем не угасла в полках, которые он так любил и так успешно водил на врага. Это заставит его забыть свою несчастную судьбу — он умер в постели от яда, как вы знаете. Честь вести войска в атаку я предоставляю Двадцатому полку; Германик всегда говорил, что хотя в казармах вы, Двадцатый, самые недисциплинированные, самые задиристые и самые большие выпивохи во всей римской армии, на поле боя вы — львы. Второй и Четырнадцатый, вас Германик называл спинным хребтом армии. Вашей задачей завтра будет служить опорой французам, которые будут выполнять роль ребер в наших войсках. Девятый выступит последним, потому что Германик всегда говорил, что вы, Девятый, самый медлительный полк в армии, но зато самый надежный. Перед вами, гвардейцы, стоит особая задача. В мирное время вы живете легче всех и получаете больше всех, и будет только справедливо по отношению к остальным, если во время боевых действий вам достанется самое опасное и неприятное задание. Вот все, что я хотел вам сказать. Ведите себя хорошо, крепко спите, а завтра постарайтесь заслужить благодарность вашего отца!

Они кричали «ура» и «да здравствует», пока не охрипли, и я теперь знал, что Поллион был прав, а Ливий нет. Хороший генерал просто не может накануне сражения произнести заранее обдуманную речь, даже если она у него готова, так как губы его неминуемо скажут то, что подскажет сердце. Побочным результатом этой речи — которая, вы согласитесь со мной, не идет ни в какое сравнение с первой, — было то, что с тех самых пор Девятый полк называли между собой не «Девятый Испанский» (его официальное наименование), а «Улитки». Двадцатый, полный титул которого был «Победоносный Валерианский Двадцатый», стал известен среди других полков, как «Львы-Выпивохи», а когда солдат Четырнадцатого полка встречает теперь солдата Второго, они приветствуют друг друга «приятель Спинной Хребет». Французские вспомогательные отряды не называют иначе, чем «Ребра».

Над лагерем повис легкий туман, но вскоре после полуночи вышла луна, что было нам на руку, — будь небо облачно, нам было бы не пройти по болоту. Я проспал до двенадцати, когда Посид, как мы договорились, разбудил меня и протянул мне свечу и горящую сосновую ветку из бивачного костра. Я зажег от нее свечу и вознес молитву нимфе Эгерии. Эгерия — нимфа-пророчица, и славный царь Нума в стародавние дни советовался с ней по всякому поводу. Я исполнял эту семейную церемонию впервые, но мой брат Германик, и дядя Тиберий, и мой отец, и дед, и прадед, и все наши предки до них обращались к ней в полночь накануне битвы, и если их ожидала победа, нимфа давала им один и тот же знак: как только смолкали последние слова молитвы, пламя свечи вдруг тухло, даже в самую тихую и безветренную ночь, словно его гасили, зажав пальцами фитиль.

Я никогда не знал, верить мне в это или нет: я думал, что, возможно, тайна эта объясняется естественными причинами — сквозняк или плохой участок фитиля, даже невольный вздох того, кто наблюдал за свечой. Вряд ли можно было ожидать, что, услышав молитву кого-либо из Клавдиев, нимфа тут же покинет родной грот у озера Неми и полетит в Центральную Германию, или Северную Испанию, или Тироль — страны, где, как говорят, в разные годы она одалживала моих родичей обычным знаком своего присутствия. Поэтому я поставил свечу в глубине палатки, спустил клапан дверцы, чтобы защититься от сквозняка, и затем, отойдя на десять шагов, обратился к Эгерии торжественным тоном. Молитва была короткой, на сабинском диалекте. Текст ее был грубо изуродован устной традицией, так как сабинский язык, бывший некогда языком патрициев, давно вышел в Риме из употребления, но я изучал сабинский в процессе своих занятий историей и смог прочитать молитву в форме, близкой к первоначальной. И точно, не успел я проговорить последние слова, как свеча, с которой я не сводил глаз, погасла. Я тут же снова ее зажег, чтобы убедиться, не в фитиле ли дело, а возможно, Посид взял плохой воск, но нет, свеча горела ярко и продолжала гореть, пока от нее не остался фитилек в лужице воска, не

больше золотой монеты. Это было одним из немногих мистических переживаний, испытанных мной за долгую жизнь. У меня нет к этому дара. А вот моего брата Германика все время терзали всякие видения и призраки. В то или иное время он встретил почти всех наших полубогов, нимф и чудовищ, прославленных поэтами, а при посещении Трои, когда Германик был губернатором Азии, он даже удостоился лицезреть богиню Кибелу, которой поклонялись наши прародители троянцы.

Глава XX

В палатку поспешно вбежал Авл.

— Со сторожевых постов сообщают, что неприятель отходит от Вилд-брука, цезарь. Как будем действовать? Я предлагаю сразу же послать на ту сторону один полк. Я не знаю, какой у британцев план, но нам все равно придется завтра пересекать этот ручей, и если они решили отдать его нам без боя, мы сэкономим на этом время и людей.

— Отправь Девятый, Авл. Дай им материал для наводки моста. Надеюсь, завтра на их долю выпадет меньше, чем на долю всех остальных, так что могут и поспать поменьше. Прекрасные новости. Зашли вперед лазутчиков, надо, чтобы они догнали противника и доложили нам, как только его найдут.

После подъема по тревоге Девятый был отправлен на противоположный берег Вилд-брука. Вскоре от них пришло донесение, что неприятель отступил до половины склона горы, что наведено двадцать дощатых переправ через ручей и полк стоит в ожидании дальнейших приказов.

— Гвардейцам пора отправляться в путь, — сказал Посид.

— Как ты думаешь, этому лекарю можно доверять? — спросил я.

— Я иду впереди вместе с ним, цезарь, — сказал Посид. — Это мой план, и если он сорвется, я, с твоего разрешения, лишу себя жизни.

— Прекрасно. Отдай приказ выступать через пять минут.

Посид поцеловал мне руку, я хлопнул его по спине, и он вышел. Через несколько минут я увидел, как из восточных ворот лагеря бесшумно выступает первая рота гвардейцев. Им приказали идти не в ногу, чтобы их мерная поступь не донеслась до вражеских сторожевых постов, оружие, чтобы не лязгало, было обмотано тряпками. Щиты у всех были закинута за спину, и на каждом белел нарисованный мелом круг. Это поможет им, не перекликаясь, поддерживать связь в темноте. Белые пятна были видны хорошо; Авл как-то заметил, что олени следуют друг за другом в темной чаще благодаря пятну белой шерсти на зад. Гвардейцы прошли за лекарем мили три-четыре по неровной топкой местности, пока не подошли к самому болоту. От него исходило зловоние, повсюду мелькали блуждающие огни, и чтобы добраться до начала тайной тропы, гвардейцам пришлось брести следом за провожатым, проваливаясь выше колен в илистую, полную пиявок, жижу. Но лекарь знал, куда вел. Он нашел тропу и уже с нее не сходил.

Сторожевой пост британцев расположился в сосновой рощице у противоположного края болота, и, когда взошла луна, дозорным предстало такое зрелище, сопровождаемое такими звуками, что их сердца наполнились неодолимым страхом. Внезапно из тумана на расстоянии полета дротика возникла огромная птица с острым блестящим клювом, большим серым туловищем и длинными, в пятнадцать футов, ногами; она направлялась к ним гигантскими шагами, время от времени останавливаясь, чтобы с хриплым криком похлопать крыльями, почистить перья своим грозным клювом и снова крикнуть. Царица Цапля! Дозорные в ужасе скорчились на месте, надеясь, что страшное видение исчезнет, но оно неотвратимо приближалось к ним. Наконец птица, по-видимому, заметила их костер. Серdito дернув головой и раскинув крылья, Цапля устремила прямо к ним, крича все громче

и громче. Британцы вскочили и помчались куда глаза глядят. Царица Цапля с жутким гогочущим смехом преследовала их до дальнего края рощи, затем повернулась и гордо прошла вдоль края болота, время от времени издавая глухие крики.

На случай, если вы вообразили, будто это действительно была царица Цапля, прилетевшая чтобы их напугать, — если Эгерия могла явить себя таким удивительным образом, чем хуже Царица Цапля? — я должен объяснить нашу хитрость. Царицей Цаплей был один солдат-француз, уроженец обширных болот к западу от Марселя, где пастухи, когда им надо перебраться через топкие места, слишком широкие, чтобы их перепрыгнуть, используют ходули. Посид замаскировал его под птицу: туловище из плетеной корзины, обшитой байкой, крылья, которые прикрепили к рукам, тоже плетеные и покрытые легкой тканью; голову и клюв наскоро смастерили из планок, обтянули материей и укрепили на плечах солдата: он мог двигать ими, поворачивая шею. Клюв намазали фосфором. Страшные звуки он издавал благодаря хитроумной трубке с водой, которую держал во рту. Солдат знал повадки цапель и удачно копировал их походку, стоя на ходулях, крепко привязанных к его ногам. Лекарь довел их с Посидом до того места, где с тропы уже было видно очертание рощи. Гвардейцы шли в двухстах ярдах за ними, и теперь Посид отправил связного с приказом остановиться. Он подождал, пока не увидел, что «птица» свободно ходит по роще, и понял, что уловка удалась. Тогда он побежал обратно и сообщил гвардейцам, что путь свободен. Они поспешили вперед и захватили рощу. Чтобы восемь тысяч человек прошли гуськом в определенное место, требуется немалое время, и протекло не меньше пяти часов, пока все гвардейцы перебрались через болото; уже стало светать, но туман еще не рассеялся и они были не видны с холма.

За час до рассвета я принес жертвоприношение Марсу, затем я и весь мой штаб позавтракали и договорились о дальнейшем, если наши планы вдруг расстроятся. Однако мы уже знали, что основная масса гвардейцев успела занять исходную позицию — судя по всему, ничто не помешало их переходу через топь, — и мы все были уверены в победе. Геты с нами не было: взяв один батальон Восьмого полка (я забыл упомянуть о нем, он был в числе приведенных мной подкреплений), кавалерию, батавцев и слонов, он занял позиции в двух милях от лагеря по левому флангу. Моего зятя, молодого Помпея, тоже не было. Я поручил ему командовать нубийцами и балеарскими пращниками, и он уже перевел их через Вилд-брук. Балеарцы несли с собой мотки веревки для палаток, колышки и деревянные молотки, нубийцы — свои барабаны и длинные белые копья.

Завтрак был прекрасный, вина мы выпили как раз в меру — достаточно, чтобы быть довольными собой, но не настолько, чтобы поступать безрассудно, — и серьезное обсуждение дел часто прерывалось шутками. В основном это были остроты по поводу верблюдов — мы никак не могли выкинуть их из головы. Я внес свой вклад в виде цитаты из письма Ирода Агриппы моей матери: «Верблюд — это одно из семи чудес света. Он делит эту честь с радугой, эхом, кукушкой, неграми, вулканом и сирокко. Но он первое и самое великое из них».

Я отдал приказ войскам занять позиции по ту сторону Вилд-брука. Собранные вместе трубачи протрубили сигнал, который разнесся на много миль окрест. В ответ со склона холма послышались громкие крики и рев боевых рогов. Это неожиданно потрясло меня. Хотя я, естественно, знал, что битв не бывает без противника, всю эту ночь я представлял себе нашу битву как диаграмму на карте, где бесшумно сталкиваются квадраты и овалы: римские — затушеванные черным, британцев — оставленные белыми, оттесняя друг друга то в одну, то в другую сторону. Когда раздался звук труб и рогов, мне пришлось претворить схему в жизнь, я увидел за ней реальных людей, лошадей, колесницы и слонов. Я не спал с полуночи, и, по-видимому, мое лицо и жесты выдали, в каком я был напряжении: Ксенофонт даже

предложил, чтобы после завтрака я отдохнул и переправился через ручей только тогда, когда все войска будут на позиции. Словно он не понимал, как мне важно ждать их у переправы в императорских доспехах и пурпурном плаще, приветствовать каждый подходивший полк и смотреть, как он переправляется! Если бы Ксенофонт хоть шепотом произнес слово «массаж», думаю, я убил бы его на месте.

Я подъехал к ручью на спокойной старой кобыле: это не кто иная, как Пенелопа, вдова экс-гражданина Рима и несостоявшегося консула Инцитата, который незадолго до того сломал ногу на беговой дорожке, так что пришлось его прикончить. Здесь туман был еще гуще. Уже в пятнадцати шагах впереди ничего не было видно. А какая ужасная стояла вонь от верблюдов! Возможно, вы когда-нибудь проходили в тумане по полю, где бродил старый козел. Обычно ветер и солнце почти уничтожают запах, но туман точно впитывает его; вы даже представить себе не можете, какой смрад висел в воздухе. Верблюды эти были самцы, которых я купил для представлений в цирке — верблюдихи слишком дороги, — и воняли они страшно. Для лошадей запах верблюда — самый ненавистный из всех, но, поскольку кавалерия наша была далеко на фланге, это нам никак не повредило, а Пенелопа привыкла в цирке к любым запахам. Переправа через ручей прошла спокойно, и, несмотря на туман, полки построились на берегу в полном боевом порядке. Дисциплинированный полк может производить весьма сложные построения в полной темноте: гвардейцы часто занимаются строевой подготовкой на Марсовом поле ночью.

Я хочу, чтобы вы увидели битву глазами британцев, потому что это поможет вам правильнее оценить мой план атаки. Итак: лучшая их пехота находится в трех фортах, в каждом из которых спереди есть ворота для вылазок; а позади идет просека через лес, к открытой местности за ним. Форты соединены мощным палисадом, который тянется вдоль всей подковы лесистого кряжа, а в лесу находится столько воинов, что нападение на палисад между фортами ничего не даст. Незадолго до рассвета из центрального форта через ворота выезжает дивизион боевых колесниц. Им командует Каттигерн, зять Каратака, вождь триновантов. Другой дивизион выезжает из форта на правом фланге (правом с их стороны). Его возглавляет сам Каратак. Дивизионы останавливаются по обе стороны центрального форта. Каратак разгневан, он только что узнал, что триновантская пехота, стоявшая на Вилд-бруке, ночью оттуда отступила, и упрекает за это Каттигерна. Каттигерн в ярости. Как? Разговаривать с ним в таком тоне перед всем его племенем?! Он заносчиво спрашивает Каратака, уж не обвиняет ли он триновантов в трусости? Каратак интересуется, по какой другой причине они могли покинуть свой пост. Каттигерн объясняет, что они ушли оттуда из религиозных соображений. Их командир сильно раскашлялся из-за тумана и вдруг стал кашлять кровью. Они сочли это очень плохим предзнаменованием, уважение к нимфе ручья не позволяло им остаться. Поэтому они принесли жертвоприношение — двух пони вождя, — чтобы умилостивить нимфу, и отошли оттуда. Каратаку приходится принять объяснение, но он не скрывает своего недовольства. Он еще не знает, что дозорные из сторожевого поста в сосновой роще у болота тоже оттуда убежали, но до него уже дошли тревожные слухи, будто в тех местах явилась сама Царица Цапля, которую никто в Британии не видел с легендарных времен. И тут раздаются звуки наших труб и ответный рев их рогов. К Каратаку подбегают лазутчики и сообщают, что через ручей переправляются крупные силы противника.

Рассвело, ясно вырисовывается лес, покрывающий кряж горного полукольца, и открытый склон, идущий уступами к ручью, но сам ручей и часть поляны за ним в трех-четырёх сотнях ярдов от склона тонет в тумане. Каратак еще не может сказать, в какую сторону будут наступать римляне. Он вновь посылает разведчиков, чтобы прояснить обстановку. Минут через двадцать они поспешно возвращаются и сообщают, что римляне наконец снялись с места и движутся по дороге к центру

несколькими сомкнутыми колоннами. Каратак поворачивает дивизион колесниц на правый фланг и нетерпеливо ждет, когда из тумана появятся первые роты римлян. К нему подбегает какой-то воин и говорит, что перед самым выездом колесниц из тумана доносились глухие удары, словно римляне загоняли в землю колышки палаток, а отряд, посланный выяснить причину шума, не вернулся. Каратак ответил:

— Колышки палаток нам не страшны.

Наконец до них отчетливо доносятся топот ног и бряцание оружия приближающихся римлян и подбадривающие возгласы офицеров. В тумане смутно вырисовывается ведущая рота Двадцатого полка. Британцы громкими криками вызывают их на бой. Каттигерн бросает свою колонну колесниц на левый фланг. Неожиданно римляне останавливаются, и взору предстает любопытное зрелище. Взад-вперед, то возникая из тумана, то вновь ныряя в него, трусят за ведущими их солдатами невероятно высокие длинношеие животные с горбом на спине, — и это как раз на том фланге, который Каттигерну надо атаковать. Британцы напуганы и бормочут заклинания против злой силы. Каттигерну следовало бы бросить своих людей в атаку, но он все еще не знает, не является ли наступление римлян ложным, так как в поле его зрения не больше пятисот человек. Может быть, главная атака в каком-нибудь другом месте. Он выжидает. Каратак шлет ему верхового гонца, приказывая немедленно начать наступление. Каттигерн велит трубить атаку. И тут происходит очень странная вещь. Как только колонна колесниц слетает со склона вниз, туда, где в тумане ходили невиданные животные, с пони делается что-то невообразимое. Они визжат, становятся на дыбы, брыкаются, храпят, артачатся — их нельзя заставить тронуться с места. Ясно, что туман этот магический, не даром у него такой непривычный пугающий запах.

Дивизион Каттигерна в смятении, пони брыкаются и рвутся из построений, возничие орут и ругаются, пытаются их успокоить, и тут внезапно раздаются звуки труб и из тумана на них выступают два батальона Двадцатого полка, за которым следуют два батальона Второго. С криком «Германик! Германик!» они забрасывают воинов градом дротиков. Каратак тоже начинает атаку. На его дивизион численностью в три тысячи человек чары не действуют, и он несется вниз по склону к флангу остановившейся римской армии, где, судя по всему, нет бокового охранения. Но фланг этот охраняют еще более сильные чары, чем зловонный туман. Колонна колесниц мчится во весь опор, и только оказывается за пределами досягаемости дротиков, как вдруг слышатся шесть ужасных ударов грома, одновременно видны шесть вспышек молнии, по небу с шумом несутся пылающие шарики смолы. Испуганная колонна сворачивает направо, и тут их осыпает туча стрел, со свистом летящих к ним от пращников-балеарцев, поставленных позади «молний» и «грома». Возничие падают направо и налево, и так как вожжи туго обмотаны у них вокруг пояса, это ведет к гибели множества колесниц. Колонна почти выходит из-под контроля, но Каратак все же умудряется повернуть ее на прежний курс. Он стремится атаковать наш арьергард, который уже ясно виден, так как легкий ветерок отогнал туман на другой берег ручья. И тут происходит катастрофа. В то время, как колонна, уже нарушившая боевой порядок и слившаяся в одну хаотическую лавину, мчится вперед, колесница за колесницей с грохотом рушатся на землю, словно остановленные какой-то невидимой силой. Задние колесницы сгрудились так тесно, а инерция стремительного движения вниз по склону так велика, что никто не может остановиться или свернуть в сторону, не столкнувшись с соседями. Лавина слепо несется все дальше, и куча разбитых колесниц впереди становится все выше и выше. И заглушая треск дерева, стоны и вопли британцев, все громче и громче звучит дробь барабанов, а затем, словно ниоткуда, возникает полчище высоких, голых, черных людей, размахивающих белыми копьями. Они бросаются к груде разбитых колесниц, и их копья мелькают тут и там среди упавших воинов. Они хохочут, гикают, орут во

все горло, и ни один воин не отваживается защищаться от них, принимая их за злых духов. Каратаку едва удастся уцелеть в этой бойне. Его колесница перевернулась одной из первых, но самого вождя благополучно скинуло на землю. Он бежит направо и тут же падает в траву, зацепившись о веревку, туго натянутую колышками на высоте колен. В конце колонны, где возникими были белги из западной части острова, наконец догадались, что происходит впереди, и вовремя свернули в сторону. Пятьсот колесниц сумели избежать катастрофы. Тут белгов окликает Каратак, и они вызволяют его из беды. Остальные колесницы потеряны, так как два батальона Четырнадцатого полка заходят с тыла, а два батальона Девятого устремляются вперед на помощь нубийцам.

Каратак ведет колесницы обратно на холм и приказывает командиру белгов двигаться на другой фланг для поддержки Каттигерна. Сам он подъезжает к центральному форту, так как замечает, что ворота для вылазок открыты, и хочет узнать почему. Он въезжает внутрь и видит, что гарнизон исчез. Тем временем Каттигерн храбро сражается во главе отряда из спешившихся воинов с колесниц и тех пехотинцев, которые во множестве вышли к нему на подмогу из леса. Он ранен. Его дивизиона нет. Его брат возглавил отступление к центральному форту, откуда можно уйти по лесной дороге. Гарнизон форта последовал за ним. Двадцатый и Второй постепенно оттесняют людей Каттигерна назад, наступая на них сомкнутым строем. Возвратившись к воротам, Каратак слышит грохот несущихся колесниц: это белги, которые тоже обратились в бегство. Он пытается их остановить, но они не желают его слушать. Осознав, что битва проиграна, Каратак поворачивает свою колесницу и дважды трубит в рог из слоновой кости — сигнал отступления. Он надеется перегнать бегущих воинов и собрать из них отряд на дороге в Колчестер в нескольких милях отсюда. Но, выезжая из леса с его противоположной стороны, он слышит звуки наших труб и видит, как к опушке подходят, справа от него, восемь батальонов римской регулярной пехоты. Это гвардейцы. А слева, в отдалении, из леса появляются слоны и кавалерия и несутся к нему. Каратак кричит возникшему, чтобы тот хлестал лошадей, и ускользает.

Каратак исчез, и битва закончилась. Гвардейцы отрезали воинов, которые пытались уйти из леса, а те, кто там еще оставался, оказали очень слабое сопротивление. По лесной просеке был послан эскадрон кавалерии для захвата правого с их стороны форта, но на полпути они наткнулись на отряд вооруженных копьеносцев; у тех хватило присутствия духа обрезать канаты и освободить нечто вроде спускной решетки, которая плотно села на дорогу, сделав невозможным проход. Все три просеки были снабжены множеством таких решеток, соединенных с палисадами по обеим сторонам, но эта оказалась единственной, которой они воспользовались. К тому времени, когда кавалеристы уничтожили это препятствие, отступавшая группа британцев опустила следующую решетку и поспешила в форт предупредить, что все потеряно. Гарнизон благополучно скрылся в западном направлении. Второй форт сдался час спустя; к этому времени Каттигерн был серьезно ранен и сопротивление его воинов сломлено.

Мы взяли восемь тысяч пленных и насчитали на поле боя четыре тысячи семьсот убитых. Наши потери были незначительны; триста восемьдесят человек убитыми, шестьсот ранеными, из которых лишь сто пятьдесят не годились для дальнейшей службы. Мы послали слонов и кавалерию вперед, чтобы помешать убежавшим снова собраться в отряды на колчестерской дороге. В Челмсфорде они нагнали Каратака — он пытался организовать оборону реки Челмер. Одного вида слонов оказалось достаточно, чтобы британцы разбежались во все стороны. Каратак опять сумел спастись. Теперь он оставил последнюю надежду отстоять Колчестер. Во главе двухсот колесниц, принадлежавших его соплеменникам, он повернул на запад и исчез с театра военных действий. Он решил заручиться заступничеством

своих союзников, жителей Южного Уэльса.

Мы собрали все трофеи: оружие и обломки колесниц, соорудили из них высокую пирамиду и сожгли в знак благодарности Марсу. В этот вечер мы разбили лагерь на дальней стороне леса. Солдаты разбрелись в поисках поживы. Повсюду валялись золотые цепочки, украшенные эмалью латы и шлемы. Я издал приказ, строжайшие запрещающий касаться пленных женщин — сотни их сражались в лесу рядом с мужьями, — и трое солдат из Четырнадцатого полка были в тот же вечер казнены за ослушание. С наступлением ночи я почувствовал реакцию после победы и во время общего ужина у меня начался самый жестокий приступ желудочных колик — «сердечный приступ», как его называют, — какой я когда-либо испытывал. Казалось, сто мечей пронзили мое нутро, и я издал такой вопль, что все подумали, будто меня отравили. Ксенофонт кинулся мне на помощь и, поспешно перерезав столовым ножом завязки моих лат и бросив латы в сторону, встал на колени и принялся двумя руками растирать мне живот, а я вопил и орал, не в силах остановиться. Наконец ему удалось совладать со спазмом, и он велел обернуть меня нагретыми одеялами и отнести в постель, где я провел одну из ужаснейших ночей в жизни. Однако наша решительная победа оказалась для меня самым лучшим лекарством. К тому времени, когда мы, три дня спустя, подошли к Колчестеру, я снова был в полном порядке. Ехал я туда на спине слона, как индусский раджа.

У Колчестера нас встретил авангард дружественной армии. Это были икены, поднявшиеся нам на помощь в тот день, когда они узнали, что я прибыл в Лондон. Объединив наши силы, мы окружили город, который мужественно защищали старики и женщины, и взяли его штурмом. От имени Рима я тогда же заключил почетный союз с вождем икенов, царем Восточного Кента и царем Восточного Сассекса в знак благодарности за их помощь. Остальную часть владений Каратака я официально объявил римской провинцией, назначил губернатором Авла, и вскоре все мелкие царьки и вожди, включая кентских вождей, которые скрывались в Вилде, по всей форме приняли на себя обязательства подчиняться Риму и платить ему дань. После чего я решил, что выполнил все, ради чего мы пришли в Британию. Я попрощался с Авлом и его армией и вернулся в Ричборо с гвардией, слонами и пятьюстами добровольцами, которые отплыли вместе со мной из Остии, но прибыли сюда слишком поздно, чтобы участвовать в сражении. Мы сели на наши транспортные суда и пересекли пролив без каких-либо происшествий. Я провел в Британии всего-навсего шестнадцать дней.

Сожалел я об одном, хотя мне следовало благодарить судьбу. Во время битвы я был все время с Девятым полком и, когда два их батальона кинулись на помощь нубийцам, я, ощутив прилив храбрости, очертя голову поскакал вперед, чтобы, перегнав их, поскорей присоединиться к драке. Однако тут же передумал: я не хотел быть среди нубийцев, которые в пылу боя часто принимают своих за чужих. Я повернул Пенелопу и придержал ее у фланга. И тут я увидел вождя британцев, бежавшего к лесу между мной и грудой ломаных колесниц с брыкающимися пони. Я вытащил меч и пришпорил кобылу. Я почти настиг его, когда заметил большой отряд колесниц, и был вынужден повернуть и ускакать обратно. Я знаю теперь, что вождь этот был Каратак. Только подумать, что какие-то несколько секунд лишили меня возможности вступить с ним в поединок! Поскольку я был верхом и вооружен, а он — был пеший и безоружный, скорей всего мне посчастливилось бы его убить. А если так, меня ждала бы бессмертная слава! За всю нашу историю только два римских полководца убили вражеского военачальника в единоборстве и сняли с него оружие.

Глава XXI

Для того, чтобы римскому генералу был дан полный триумф за победу над

врагами его родины, он должен удовлетворять определенным требованиям, существующим со стародавних времен. Прежде всего, он должен иметь звание консула или судьи первого ранга и быть официальным главнокомандующим военными силами, одержавшими победу, а не просто исполняющим обязанности командира или его заместителем, и в качестве главнокомандующего он должен лично принести перед битвой жертвы богам и узнать, каковы предзнаменования. Затем сражаться он должен против иноземного врага, а не против бунтующих граждан своего отечества, и целью войны должен быть захват новых земель и установление там римского господства, а не возврат бывших римских территорий. Далее, он должен полностью разбить врага в генеральном сражении, которое окончит кампанию, и должен убить не менее пяти тысяч человек, а потери римлян должны быть сравнительно невелики. И последнее — победа его должна быть настолько полной, чтобы он мог отвести свои победоносные войска с завоеванных земель без ущерба для дела и вернуться с ними в Рим для участия в триумфе.

Разрешение праздновать триумф даруется сенатом, но, как правило, лишь после долгого и завистливого обсуждения. Обычно сенат собирается в храме Беллоны за пределами города и самым тщательным образом изучает обвитое лавром письмо полководца с официальным извещением о победе, и, если у сенаторов есть основания полагать, что его притязания необоснованны или преувеличены, сенат посылает за ним, чтобы он подкрепил их устными доказательствами. Если, однако, они решают, что тот одержал выдающуюся победу, они объявляют день общего благодарения и испрашивают по всей форме согласие римлян на впуск в стены города победоносной армии на день триумфа. Сенат имеет власть смягчать некоторые из этих условий, если он считает, что победа очень существенна для государства. Это только справедливо, но я должен с сожалением выразить здесь свое мнение, что из трехсот пятнадцати триумфов, отмеченных в Риме со времен Ромула, по крайней мере шестьдесят или семьдесят не заслуживали того, чтобы их праздновали, а с другой стороны, очень многие полководцы были лишены честно заработанного триумфа из-за происков своих соперников в сенате, которым чужие лавры не давали спокойно спать. Однако если генерал лишается положенной ему чести из-за козней врагов или просто по технической причине, он обычно празднует свой триумф неофициально на Альбанском холме за городом, и на нем присутствует весь Рим, так что это ничем не хуже настоящего триумфа, только его не заносят в городские анналы да после смерти его погребальную маску нельзя носить с триумфальной тогой. Самые позорные триумфы, которые видел Рим, были, пожалуй, триумф Юлия Цезаря после победы над его родственниками, сыновьями Помпея Великого, и тот, который праздновал один из моих предков, некий Аппий Клодий, несмотря на то, что и сенат, и римский народ отказали ему в этой чести; он уговорил свою сестру, весталку, сесть на его триумфальную колесницу, чтобы городские власти не осмелились стащить его на землю из страха оскорбить непорочную деву.

Когда я послал сенату письмо с просьбой предоставить мне триумф, я был заранее уверен в том, что получу его, — никто не осмелился бы противостоять моим притязаниям, даже будь они совершенно безосновательны — так же безосновательны, как притязания Калигулы, когда он праздновал тройной триумф по поводу победы над Германией, Британией и Нептуном. Он прошел с войском несколько миль в глубь Германии, не встретив сопротивления, стал жертвой собственных страхов и пустился в паническое бегство; он никогда не пересекал Ла-Манша и не посылал в Британию войска, а что касается Нептуна, ну что я могу сказать? Что, мягко говоря, нельзя назначать триумф за победу, настоящую или вымышленную, над своими национальными богами. Но я хотел соблюсти приличия, поэтому сообщил в депеше, что число убитых врагов во время битвы, которую

возглавлял лично я, было на три сотни меньше требуемой цифры в пять тысяч человек, но зато мы взяли такое количество пленных, что, возможно, это компенсирует нехватку убитыми, и что утешительная краткость нашего списка раненых и убитых тоже должны быть приняты в расчет, если сенат решит, в порядке исключения, не настаивать на первом требовании. Я обещаю, если триумф будет мне дан, предоставить шестьсот пленных для смертельных схваток в цирке, тем самым доведя количество убитых врагов до нужной цифры. Я писал, что не могу вернуться в Рим раньше марта, так как этой зимой Авлу понадобятся все находящиеся в Британии войска, чтобы приучить британцев к нашему постоянному пребыванию на острове; и даже после я не смогу оставить провинцию без охраны, поскольку не замиренные еще пограничные племена, возможно, будут устраивать набеги. Но я могу привести с собой войска, которые активно участвовали в последней битве, а именно Двадцатый полк, четыре батальона Четырнадцатого, два — Девятого, два — Второго, один батальон Восьмого полка и несколько подразделений вспомогательных войск, если это удовлетворит сенат. А пока, чтобы не нарушать древний обычай, я не вернусь в город (где по-прежнему, вместе с ними, будет править Вителлий в качестве моего представителя) и останусь во Франции, устроив свою штаб-квартиру в Лионе; буду решать в суде спорные дела, поданные на апелляцию, улаживать разногласия между племенами и городами, делать смотры, инспектировать оборонительные сооружения, ревизовать ведомственные счета и проверять, насколько строго выполняется мой приказ полностью уничтожить орден друидов.

Принято мое письмо было хорошо, сенат любезно отменил пункт о пяти тысячах убитых неприятельских воинов и попросил народ разрешить мне ввести в город мою армию, на что римляне с радостью согласились. Сенат постановил выделить мне полмиллиона золотых из общественных денег на празднование триумфа и назначил дату: первое марта, новый год.

Поездка по Франции прошла без каких-либо особых происшествий; я принял несколько важных решений насчет расширения рамок римского гражданства. Не буду терять времени, записывая свои впечатления о стране. От Авла регулярно приходили депеши, где он сообщал о захвате различных катувеллавнских крепостей и подробно рассказывал о дислокации войск; он прислал также на апробацию план будущей весенней кампании после возвращения войск из Рима. Я получил много поздравительных писем от губернаторов различных провинций, союзных царей и городов и от личных друзей. Марс написал из Антиохии, что моя победа произвела большой эффект и была весьма своевременной, так как на Востоке какими-то тайными врагами распространяются слухи о внутреннем упадке Рима и надвигающемся крахе империи, которые сильно будоражат сирийцев. Но это было еще далеко не все, что писал Марс. Он сообщал мне о недавней смерти старого царя Парфии — того самого, которого при Калигуле Вителлий застал врасплох, когда тот собирался вторгнуться в Сирию, и вынудил его дать знатных заложников, чтобы обеспечить в будущем его хорошее поведение — и переходе власти к его сыну Готарзу, ленивому, беспутному малому, у которого было много врагов среди парфянской знати. Марс писал:

«У Готарза есть брат Вардан, очень одаренный и честолюбивый принц. Этот Вардан сейчас направляется в Парфию, где он намерен оспаривать у брата трон. Совсем недавно он посетил Александрию под предлогом, что ему надо показаться известному ушному врачу — Вардан глуховат на одно ухо. Но путь его проходил через Иерусалим, и мои агенты уверяют меня, что он покинул владения царя Ирода куда более богатым, чем был раньше. Я не сомневаюсь, что с помощью этого еврейского золота он займет место своего брата; знать Парфии всегда можно купить. Он может также рассчитывать на

безвозмездную поддержку царя Адиабены — ассирийского царства, которое, вряд ли надо тебе напоминать, расположено за рекой Тигр к югу от Ниневии, — и на царя Осроены, находящейся в Западной Месопотамии. Ты помнишь, что этот царь Адиабены не так давно вернул трон покойному царю Парфии после того, как тот потерял его в результате заговора парфянской знати, и был вознагражден за эту услугу Золотым ложем и Стоячей тиарой. Но для тебя, возможно, будет новостью то, что эта важная персона обратилась в иудаизм и что его мать — первая в семье, кто переменял религию, — сейчас в Иерусалиме вместе с пятью маленькими принцами Адиабены, ее внуками, которых она привезла туда, чтобы они изучали еврейский язык, литературу и религию. Всем мальчикам было сделано обрезание.

Таким образом, царь Ирод находится в тесных деловых отношениях со следующими царями:

царем Халкиды,
царем Итурии,
царем Адиабены,
царем Осроены,
царем Малой Армении,
царем Понта и Киликии,
царем Коммагены и
будущим царем Парфии.

А с Парфией в союзе множество более мелких царьков Среднего Востока, владения которых идут вплоть до Бактрии и границ Индии. К тому же царь Ирод пользуется поддержкой евреев во всем мире, не исключая александрийских евреев, идумеев и набатеев, и сейчас зондирует почву, не удастся ли ему заручиться поддержкой царя Аравии. Хотя и медленно, льстивые речи Ирода перетягивают на его сторону финикийцев, только Тир и Сидон остаются холодны. Но Ирод прервал с этими городами дипломатические отношения и запретил своим подданным торговать с ними под угрозой смертной казни. Тир и Сидон будут вынуждены пойти на уступки. Их экономическое благосостояние зависит от торговли с соседними странами, и, если не считать зерна, которое они ввозят из Египта, и рыбы, улов которой в дурную погоду очень скуден, все их снабжение продовольствием находится под контролем царя Ирода.

Трудно преувеличить опасность этой ситуации, и мы должны быть благодарны тому, что ты одержал в Британии такую полную победу, хотя я бы предпочел, чтобы расквартированные там полки были более доступны для быстрой переброски на Восток, где, я уверен, они понадобятся в самом скором времени.

Если ты, с присущей тебе любезностью и прозорливостью, снизойдешь до того, чтобы подумать над советом, который я хочу дать тебе в этих трудных обстоятельствах, вот он: я предлагаю немедленно вернуть на трон Митридата, бывшего царя Армении, который в настоящее время живет в Риме. Было, если можно так сказать, никого не оскорбляя, прискорбной ошибкой со стороны твоего дяди Тиберия Цезаря разрешить покойному царю Парфии объединить свою корону с короной Армении, вместо того чтобы применить оружие и наказать его за то крайне оскорбительное письмо, которое царь Парфии написал императору. Если ты сразу же пришлешь Митридата ко мне в Антиохию, я берусь посадить его обратно на армянский трон, пока братья Вардан и Готарз оспаривают друг у друга трон Парфии. Теперешнего губернатора Армении можно подкупить, чтобы он не чинил нам слишком больших препятствий, а Митридат — человек вовсе не глупый и большой поклонник наших римских установлений. Его брат — царь Грузии командует сильной армией кавказских горцев. Я могу связаться с ним и организовать вторжение в Армению с севера, в то

время как мы будем наступать с юго-запада. Если нам удастся вернуть власть Митридату, нам нечего будет бояться царей Понта и Малой Армении, чьи царства будут отрезаны Арменией от Парфии, и царя Коммагены (сын которого недавно помолвлен с дочерью Ирода Друзиллой), так как его царство лежит между Арменией и моим военным округом. Север будет фактически в наших руках, а когда Вардан выиграет гражданскую войну и спихнет своего брата с трона (что, я думаю, не может не произойти), следующим его шагом будет поход на Армению. Если мы поддержим Митридата должным образом, Вардану окажется не так-то легко вернуть Армению, а его южных и восточных союзников будет не просто уговорить присоединиться к далекой и опасной экспедиции. А до тех пор, пока он не вернет себе Армению, Вардан вряд ли сможет содействовать осуществлению имперских замыслов царя Ирода Агриппы, в которых я лично не сомневаюсь. Это первое конкретное обвинение в вероломстве, которое я предъявляю твоему так называемому другу и союзнику; я прекрасно сознаю, что подвергаю себя опасности вызвать этим твое недовольство. Но для меня безопасность Рима важнее собственной, и я считал бы себя предателем, если бы утаил какую-нибудь политическую информацию, полученную мной, только потому, что ее неприятно читать. Раз уж я все это сказал, возьму на себя смелость предложить, чтобы ты снова пригласил в Рим сына Ирода Агриппы — Ирода Агриппу младшего, для участия в твоём триумфе. В этом случае нам будет нетрудно задержать его на неопределенное время под каким-либо предлогом, и он сможет оказаться полезным заложником и обеспечить хорошее поведение отца».

Передо мной было два пути. Первый — немедленно вызвать Ирода в Лион, чтобы он ответил на обвинения Марса, которым, несмотря на мое пристрастие к Ироду, я не мог не верить. Если он виновен, он откажется приехать, а это означает, что тут же начнется война, к которой я не готов. Второй — тянуть время и ничем не выказывать своего недоверия; опасность этого второго пути заключалась в том, что Ирод от этой отсрочки мог выиграть больше, чем я. Если я пойду этим путем, я, разумеется, последую совету Марса насчет Армении, но не ошибается ли Марс, считая, что дружественная Армения послужит достаточной защитой против невероятно мощного блока восточных стран, который, судя по всему, сколачивает Ирод?

Пришли письма и от Ирода. В первом он отвечал на мои вопросы насчет грядущего царя. Во втором горячо поздравлял меня с победой и, как ни странно, просил разрешения прислать в Рим сына, чтобы посмотреть на триумф; он надеялся, что я не буду иметь ничего против, если мальчик отдохнет несколько месяцев в Риме, прежде чем вернется летом в Палестину, чтобы помочь ему устроить празднества в честь моего дня рождения, который он надеялся отпраздновать в Кесарии. Вот отрывок из письма относительно предсказанного пророками царя:

«Да, Мартышечка, в детстве я часто слышал разговоры об этом Помазаннике, или Мессии, как его зовут на нашем языке, и они до сих пор продолжают в богословских кругах Иерусалима, но я не проявлял к ним особого интереса, пока твоя просьба сообщить тебе об этом предсказании не заставила меня серьезно исследовать вопрос. По твоему совету я обратился к нашему достойному другу Филону, который приехал в Иерусалим, чтобы выполнить какой-то обет, — он только и знает, что налагает на себя обеты и исполняет их. Понимаешь, Филон дерзнул пойти на нечто, я бы сказал, весьма абсурдное — он отождествил Идеальное Божество, как Его понимали Платон и его компаньоны философов — Неизменное, Неколебимое, Вечное, Единое, Разумное Совершенство, Которое есть превыше всего сущего, — с нашим яростным племенным

Богом Иеговой, пребывающим в Иерусалиме. Я полагаю, платоновское Божество показалось ему чересчур абстрактным и холодным, ему захотелось вдохнуть в него жизнь и в то же время возвеличить собственного Бога, дав ему власть над всей вселенной. Так или иначе, я спросил Филона, что говорится в Священном Писании об этой загадочной Личности. Филон тут же напустил на себя торжественность и сказал, что наш народ должен возлагать свои надежды на приход Мессии. Он сообщил мне следующие подробности.

Этот Мессия — царь, который придет на землю, чтобы искупить грехи Израиля; он — человек, олицетворяющий здесь нашего иудейского Бога. Мессия — не обязательно великий завоеватель, хотя он должен освобождать иудеев от любого чужеземного ига, которое будет препятствовать свободному отправлению их культа. Впервые предсказано это было, по словам Филона, вскоре после того, как законодатель евреев Моисей вывел их из Египта в дни Рамзеса II. В одной из книг Библии, приписываемой Моисею, той, которую мы называем „Числа“, его именуют „Звезда и Жезл от Иакова“. В более поздних священных книгах, относящихся примерно ко времени основания Рима, о нем говорится как о человеке, который соберет отовсюду заблудших овец Израиля и вернет их в родную овчарню в Палестине, — к тому времени евреи уже рассеялись по всему Ближнему и Среднему Востоку и жили там колониями. Некоторые покинули Палестину добровольно, став купцами и поселенцами, некоторых силой забрали в плен. Филон говорит, что иудейские богословы так и не могут решить, является ли этот Мессия реальной или символической фигурой. В дни героических Маккавеев (предков моей матери, священнического рода) его считали всего лишь символом. В другие времена на него не только смотрели как на реальное лицо, но даже отождествляли с освободителями еврейского народа, не относящимися к нему, такими, как Кир Персидский и даже Помпей, которые положили конец игу Асмонеев. Филон утверждает, что обе эти точки зрения неверны: Мессии еще предстоит прийти, и будет он еврей, прямой потомок царя Давида, чей сын Соломон построил храм в Иерусалиме, и родится он в деревне под названием Вифлеем. Он должен собрать сынов Израиля воедино и очистить их от грехов самым доскональным образом при помощи ритуала исповеди, покаяния и умиротворения разгневанного Иеговы. Иерусалим должен быть освящен вплоть до „кухонных кастрюль и колокольцев на шеях коней“. Филон даже знает, когда Мессия родится, а именно через пять тысяч пятьсот лет со дня рождения первого прародителя евреев, но, поскольку мнения насчет того, когда тот жил, расходятся, от этого мало толку.

Библия не совсем последовательна в своих предсказаниях относительно этого Мессии. Иногда его изображают грозным могучим воином с великолепной порфирой на плечах, который купается в крови врагов своей страны, а иногда кротким печальным изгоем, нечто вроде бедного пророка, проповедующего раскаяние и братскую любовь. Однако Филон говорит, что самое достоверное и ясное свидетельство о нем мы находим в Библии, в книге под названием „Псалмы Соломона“. Дано оно в форме молитвы:

„Воззри, о Господи, и воздвигни им царя, сына Давидова в предвещанное тобой время владычествовать над Израилем, Твоим слугой; и препоясай его силой сокрушить неправых властителей; и очистить Иерусалим от идолопоклонников, попирающих его; и исторгнуть грешников из наследия Твоего, сокрушить гордыню и силу их, как ломают жезлом железным сосуд горшечника; и истребить словами уст его все творящие беззаконие народы; и собрать воедино святой народ и путеводить его стезей правды. Язычники не расторгнут узы его и не свергнут с себя оковы его; он восславит Господа по всей земле и омоет Иерусалим своей

святостью, дабы стал благочестивым, как в начале. Со всех пределов земли придут народы узреть его славу и принесут ему в дар труждающихся сыновей Сиона; придут узреть славу Господа, которой Господь увенчал его, ибо он есть Царь истинный над ними угодный Богу. И не будет промеж ними нечестивых в дни его; ибо пребудут в святости, а царем у них Помазанник Божий“.

Эта легенда о Мессии, естественно, распространилась по всему Востоку в самых разных, обычно фантастических, формах, теряя с течением времени еврейскую окраску. Та версия, что приводишь ты: мучительная смерть царя, покинутого друзьями, которые впоследствии пьют его кровь, вряд ли еврейская, скорее она пришла из Сирии. По еврейской версии Мессия всего лишь царь иудеев и глава большого религиозного союза с центром в Иерусалиме, но не Сам Бог. Он не может посягать на божественность, так как евреи — самые упрямые в мире приверженцы единобожия.

Ты спрашиваешь, есть ли сейчас кто-нибудь, кто отождествляет себя с Мессией. За последнее время я таких не встречал. Единственный, кого я помню, был человек по имени Иешуа, сын Иосифа, уроженец Галилеи. Когда я служил судьей в Тивериаде (под началом моего дяди Антипы), у него было довольно много последователей среди простых людей, которые собирались на берегу озера слушать его проповеди. У него была замечательная внешность, и хотя отец его был всего-навсего ремесленник, он утверждал, что он — потомок Давида. Ходили какие-то сплетни относительно его рождения; некий Пантер, греческий солдат из стражи моего деда, вроде бы соблазнил его мать, вышивальщицу при храме. Этот Иешуа был вундеркинд (обычное явление среди евреев) и знал Писание лучше доктора богословия. Он много размышлял над вопросами веры, и, возможно, есть доля правды в истории о том, что его отец — грек, ведь, в отличие от истинных евреев, он нашел иудаизм довольно скучным вероисповеданием и принялся его критиковать — он, мол, не отвечает нуждам простых людей. Иешуа попытался бесхитростно сделать то, что с тех пор так искусно сделал Филон, а именно — совместить иудейскую теологическую литературу о богооткровении с греческой философией. Это напоминает мне строчку Горация в его „Науке поэзии“, где он пишет о картине, на которой нарисована прелестная женщина с мерзким рыбьим хвостом:

Лик от красавицы девы, а хвост от чешуйчатой рыбы —
Кто бы, по-вашему, мог, поглядев, удержаться от смеха?

Если что-нибудь внушает мне большее отвращение, чем грек или римлянин, перестроившийся на восточный лад, так это уроженец Востока, перестроившийся на греко-римский лад, как и вообще всякая попытка слить разные культуры. Мои слова направлены против меня самого, но я действительно так думаю. Твоей матери не удалось сделать из меня хорошего римлянина, она всего лишь испортила хорошего уроженца Востока.

Да, так вот, этот Иешуа сын Иосифа (или Пантера) имел пристрастие к греческой философии. Однако ему мешало то, что он не был ни греком, ни ученым. И должен был много работать — плотником, — чтобы заработать на хлеб. К счастью, он познакомился с человеком по имени Иаков, рыбаком с литературными вкусами, который посещал лекции в университете эпикурейцев в Гадаре, расположенной на противоположной Тивериаде стороне озера. К тому времени Гадара стала захудалым местечком, хотя в пору расцвета была родиной четырех знаменитых людей: поэта Мелеагра, философа Мнасалка, риторика Теодора, который учил ораторскому искусству твоего дядю Тиберия, и математика Филона, вычислившего соотношение длины окружности к ее диаметру с точностью до одной десятитысячной. Так

или иначе, Иешуа использовал крупницы философских знаний, почерпнутых Иаковом в Гадаре, и собственное знакомство с еврейскими Писаниями, чтобы объединить их и создать свое собственное учение. Но религия, не подкрепленная авторитетом, — ничто, поэтому сперва тайно, а затем во всеуслышание он стал отождествлять себя с Мессией и обращался к людям (как некогда Моисей) так, словно его устами вещал Сам Бог. У него был на редкость изобретательный ум, и обычно он произносил свои проповеди в форме притч, из которых в конце выводилась определенная мораль. Он притянул также на то, что может творить чудеса и исцелять больных и бесноватых. Он доставлял много неприятностей книжникам и фарисеям, стоящим во главе церкви, обвиняя их в том, что они сочетают строгое соблюдение закона с алчностью и надменным отношением к бедным. О нем рассказывают много хороших историй. Один из его политических противников однажды решил поймать его на слове, спросив, правильно ли для правоверного иудея платить подать Риму. Если бы Иешуа ответил „да“, он потерял бы влияние на народ, если бы ответил „нет“, он, возможно, был бы арестован гражданскими властями. Поэтому он сделал вид, будто не знает, о чем идет речь, и попросил показать ему, сколько денег надо платить, прежде чем он даст ответ. Ему показали серебряную монету и сказали: „Взгляни, столько должна отдать каждая семья“. Он спросил: „Чья это голова на монете? Я не умею читать по-латыни“. Ему ответили: „Это голова Тиберия Цезаря, разумеется“. Тогда он сказал: „Ну, если эта монета цезарева, отдавайте ее цезарю. Только не забывайте отдавать Богу Богово“. Его пытались также поймать на иудейском законе, но у него всегда были наготове глава и стих из Писания, чтобы подкрепить свою проповедь. Однако в конце концов он был признан еретиком, и кончилось все тем, что наш старый приятель Понтий Пилат, бывший в то время губернатором Иудеи и Самарии, арестовал его за то, что он сеет брожение в умах, и предал в руки верховного религиозного судилища в Иерусалиме, где его приговорили к смерти за богохульство. Если подумать, он действительно умер в один год с Божественной Ливией, и его последователи действительно покинули его, так что эта часть предсказания, которое ты цитируешь, исполнилась. И теперь есть люди, которые говорят, что Он — Бог, и они видели, как после смерти Иешуа его душа поднялась на небо — как у Августа или Друзиллы, — и утверждают, будто он родился в Вифлееме и тем или иным образом осуществил все то, что было предсказано Мессии. Но я намерен положить конец этим глупостям раз и навсегда. Только три дня назад я арестовал и казнил Иакова, который, по-видимому, был главным идеологом этого движения, и надеюсь снова захватить и казнить другого фанатика по имени Симон, который был арестован тогда же, но каким-то образом бежал из тюрьмы.

Беда в том, что, хотя разумные люди не могут „удержаться от смеха“ при виде ярко раскрашенной девы с рыбьим хвостом, толпа, скорее всего, будет пялить на нее глаза и даже поклоняться, видя в ней морскую богиню».

В этом, на первый взгляд чистосердечном, письме, была одна подробность, убедившая меня в том, что Ирод действительно считал себя Мессией или, во всяком случае, намеревался вскоре использовать огромную силу этого имени, чтобы способствовать осуществлению собственных честолюбивых планов. А стоит ему явить себя в качестве Мессии, евреи пойдут за ним все до одного. По его зову они станут стекаться в Палестину со всех краев света, и я предвидел, что его авторитет скоро необычайно возрастет, вся семитская раса примет новую веру и поможет ему изгнать «чужеродцев и неверных» из их среды. Обращение в иудаизм царя Адиабены со всеми чадами и домочадцами было той пушинкой, которая показала, куда дует ветер, причем не маленькой, недаром этого царя называли «творец царей»

и чрезвычайно уважали в Парфии. В следующем письме Марс сообщал, что, по слухам, в иудаизм перешел и царь Коммагены, бывший фаворитом Калигулы. (Говорили, будто именно он убедил Калигулу править на восточный лад, как абсолютный монарх, и, безусловно, именно к нему обращался Калигула за одобрением, совершив какое-нибудь особенно кровавое и изощренное злодеяние.)

Подробность, убедившая меня в желании Ирода объявить себя Мессией, заключалась в том, что, упомянув о Вифлееме, он и словом не обмолвился о том, что там родился он сам, там, а не в Иерусалиме, как обычно предполагалось. Его мать, Береника, однажды весьма красочно рассказала моей матери эту историю во всех подробностях. Она возвращалась в Иерусалим из поместий мужа, когда у нее внезапно начались схватки, и ей пришлось остановиться в придорожной деревне и рожать на постоялом дворе с жадным хозяином при помощи неумелой повивальной бабки. Ей не забыть этот ужас! Лишь спустя несколько часов после рождения Ирода Беренике пришло в голову осведомиться о названии деревни, очень грязной и полуразрушенной, и повивальная бабка ответила: «Вифлеем, родина патриарха Вениамина и царя Давида, то самое место, о котором пророк сказал: „И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле“». Береника, возмущенная тем, как тут с ней обошлись, воскликнула иронически: «Да благословит Всевышний Вифлеем во веки веков!» На что повивальная бабка заметила одобрительно: «Все, кто приезжает сюда, всегда так говорят». Матери эта история весьма пришлась по вкусу, и в течение нескольких лет, желая выразить презрение к какому-нибудь перехваленному месту, она обычно восклицала, подражая Беренике: «Да благословит Всевышний Вифлеем во веки веков!» Потому-то я его и запомнил.

Что касается этого Иешуа, или Иисуса, как называют его греческие последователи, его теперь тоже считают уроженцем Вифлеема — не могу сказать, на каком основании, так как Вифлеем находится не в Галилее, — и его культ с тех пор широко распространился, захватив даже Рим, где он вполне процветает, но лишь подпольно. В число церемоний этой веры входит вечеря братства, куда мужчины и женщины собираются, чтобы, символически, есть плоть Помазанника и пить его кровь. Мне рассказывали, что во время этого таинства часто случаются всевозможные бесчинства, слышны истерические крики, смех и рыдания, и ничего удивительного в этом нет, так как большинство новообращенных — рабы и люди из низших слоев общества. Прежде чем сесть за стол, они должны исповедаться в своих грехах — причем в самых тошнотворных подробностях — перед всеми собравшимися. Это служит им своего рода забавой, некое состязание в самоуничтожении. Главным жрецом культа (если можно удостоить его подобного титула) является рыбак из Галилеи, некий Симон, тот самый, о котором писал Ирод; его основные притязания на этот пост, по-видимому, основаны на том, что он покинул Иешуа, или Иисуса, в день ареста и отрекся от своей новой веры, но зато с тех пор искренно в том раскаялся. Ибо, согласно морали этой злосчастной секты, чем больше преступление, тем больше прощение!

Религия эта не признана большинством евреев (лучшие из них решительно отвергают ее) и потому подпадает под указ сената, запрещающий ночные клубы и братства поклонников Вакха; объединения такого рода представляют немалую опасность, так как от запрета становятся еще сильнее. Главный пункт этой веры — полное равенство всех людей в глазах иудейского Бога, с которым Иешуа теперь практически отождествлен, а также то, что Бог этот дарует вечное блаженство всем грешникам при единственном условии: они должны раскаяться в своих грехах и признать его превосходство над всеми другими богами. Членом секты может стать любой человек, независимо от класса, расы или репутации, поэтому к ней присоединяются люди, которые не могут надеяться, что их допустят до узаконенных

таинств в честь Изида, Кибелы, Аполлона и подобных божеств, так как они или не имеют соответствующего социального положения или утратили его, совершив какой-нибудь позорный поступок. Сперва новообращенных подвергали обрезанию, но потом отказались даже от этого предварительного ритуала, ведь секта далеко отошла от ортодоксального иудаизма, и теперь единственной вступительной церемонией является окропление водой и произнесение имени Мессии. Известны случаи, когда культ этот приобретал противоестественную притягательность для вполне образованных людей. В числе новообращенных оказался бывший губернатор Кипра, некий Сергей Павл, чей восторг от общества метельщиков улиц, рабов и бродячих торговцев старьем показывает, какой разлагающий эффект этот культ производит на цивилизованного человека. Он написал мне, что просит освободить его от поста, так как не может по совести приносить клятву именем Божественного Августа, поскольку это запрещает ему верность его новому Богу. Я удовлетворил его просьбу, но вычеркнул его из списков граждан Рима. Позднее, когда я расспрашивал его насчет этой новой веры, он заверял меня, что она не имеет никакого отношения к политике, что Иисус был человек глубочайшей мудрости и самого примерного поведения, верный Риму. Он отрицал, что учение Иисуса — мешанина из греческих и иудейских богословских банальностей. Он утверждал, будто оно расширяет границы свода религиозных правил и предписаний современного иудейства под названием Талмуд, от которого оно произошло, и резко расходится с суеверием и формальной обрядовостью партии книжников (на чью поддержку рассчитывал Ирод) тем, что придает большее значение братской любви во имя Бога, чем Божьему возмездию, которое ожидает тех, кто нарушает закон; духу закона, а не букве.

Я выполнил клятву, данную Венере, как только вернулся в Италию. В ответ на сон, где она явилась мне и сказала с улыбкой: «Клавдий, у меня течет крыша, почини ее, пожалуйста», я перестроил, и с большим размахом, ее знаменитый храм на горе Эрике в Сицилии, который сильно обветшал; я назначил туда жрецов из старинных сицилийских фамилий и обеспечил его большим годовым содержанием из государственной казны. Я также построил красивый алтарь Эгерии в ее роще в Арикии и сделал ей обещанное приношение — прекрасную женскую руку из чистого золота, которая тушит свечу; на подсвечнике была следующая надпись на сабинском диалекте:

Быстрокрылой Эгерии, вестнице победы, от хромоногого Клавдия с благодарностью. Пусть его свеча горит ясным пламенем до самого конца, а свечи его врагов мерцают и гаснут.

Глава XXII

44 г. н. э.

На Новый год я должным образом отпраздновал свой триумф. Сенат был столь любезен, что оказал мне еще ряд почестей. Прежде всего мне присудили гражданскую корону. Этим золотым венцом из дубовых листьев первоначально награждали воина, который во время битвы приходил на выручку товарищу, обезоруженному врагом и находящемуся в полной его власти, убивал этого врага и оставался в строю. Награду эту завоевывали куда реже, чем вы думаете, потому что свидетельствовать о подвиге должен был тот, кого спасли от смерти и кому затем положено было возложить венец на голову спасителя. Не так-то легко заставить римского солдата признать, что он находился во власти победившего его врага и обязан своей жизнью товарищу, превзошедшему его силой и доблестью: скорее он станет доказывать, что упал, нечаянно споткнувшись, и только хотел вскочить и прикончить своего противника, как этот парень, видно желая прославиться, сунулся не в свое дело и лишил его победы — поистине, медвежья услуга. Позднее

гражданскую корону стали присуждать командирам полков и армий, которые благодаря личной храбрости или умелому руководству спасали жизнь своих солдат. Именно за это корона и была дана мне, и я считаю, что вполне заслужил ее, отказавшись слушать военных советчиков. На ободке была надпись: «За спасение жизней своих сограждан». Вы, наверно, помните, что, когда меня впервые провозгласили императором, дворцовые гвардейцы напялили мне на голову такой же венец — тот, которым Калигула соизволил увенчать самого себя после «победы» над Германией. Тогда для этого не было оснований (хотя у Калигулы их было не больше), и я не знал, куда деваться от стыда, поэтому теперь, получив на венец все законные права, я надел его с огромным удовольствием. Затем мне присудили морскую корону. Этой короной, украшенной рострами кораблей, награждали за отвагу на море — например, моряка, который первым вступил на борт вражеского судна, или адмирала, разбившего неприятельский флот. Мне ее присудили за то, что, рискуя жизнью, я вышел в море в штормовую погоду, стремясь поскорее достичь Британии. Впоследствии я повесил оба эти венца на бельведере над главным входом во дворец.

Третьей почестью, оказанной мне сенатом, был наследственный титул «Британик». Моего сына теперь называли Друз Британик или просто Британик, и именно так я буду упоминать о нем в дальнейшем. Четвертой почестью были две триумфальные арки, воздвигнутые в ознаменование моей победы, одна — в Булони, так как она была базой нашей экспедиции, другая — в самом Риме на Фламиниевой дороге. Они были облицованы мрамором, украшены с обеих сторон трофеями и барельефами, рассказывающими о нашем походе, и увенчаны триумфальными колесницами из бронзы. Пятой почестью был принят сенатом декрет, где день моего триумфа объявлялся ежегодным праздником на вечные времена. Кроме этих пяти почестей были еще две комплиментарные почести, присужденные Мессалине, а именно: право сидеть в первом ряду в театре Помпея вместе с весталками, рядом с консулами, судьями и иностранными послами, и право иметь крытый парадный выезд. Мессалине к этому времени уже воздали все почести, какие присудили моей бабке Ливии за всю ее жизнь, но я по-прежнему возражал против пожалования ей титула «Августа».

После нескольких дней неустойчивой погоды солнце смиростивилось к нам и в день триумфа сияло во всю мочь; городские власти и прочие официальные лица постарались, чтобы Рим выглядел так свежо и весело, как только может выглядеть столь почтенный и величественный город. Фасады всех храмов и домов были тщательно выскоблены, улицы подметены так чисто, как пол в здании сената, все окна были украшены цветами и яркими тканями, возле входов стояли столы, ломившиеся от угощения. Двери храмов были широко распахнуты, статуи и алтари увиты гирляндами, всюду курили благовония. Все жители города надели свои лучшие одежды.

Я еще не въехал в город, так как провел ночь в лагере гвардейцев. Я приказал устроить на рассвете общий парад войск, которым предстояло участвовать в триумфе, и раздал дарственные деньги, которые, по моим расчетам, причитались им после продажи добычи, взятой в Лондоне, Колчестере и других местах, а также от продажи пленных. Деньги эти равнялись тридцати золотым на рядового, а сумма, полученная офицерами, была соразмерна их чину. Я уже послал деньги, исходя из этого же расчета, тем солдатам в Британии, без которых там нельзя было обойтись, и которые поэтому не могли вернуться в Рим для участия в триумфе. Я также раздавал награды: тысячу цепочек на шею за безупречное поведение на поле боя, четырехста налобных повязок (с золотыми медальонами в форме амулета, который надевают на голову лошадям) храбрым кавалеристам и тем пехотинцам, которым удалось убить кавалериста или воина с колесницы; сорок массивных золотых браслетов за

выдающуюся храбрость — когда я их давал, я в каждом случае читал подробный отчет о том подвиге, за который их получали; шесть лавровых гирлянд тем, кто внес свой вклад в победу, хотя лично не участвовал в битве (среди тех, кто удостоился этой награды, был командир базового лагеря и адмирал, командовавший флотом); три бастионных короны — тем, кто первым пересек укрепления и проник во вражеский лагерь, и один орден Тупого Копья — Посиду: этот орден, как и гражданскую корону, давали за спасение жизни, и Посид более чем заслужил его.

По моему совету сенат присудил триумфальные украшения всем сенаторам, участвовавшим в кампании — другими словами, всем командирам полков и старшим штабным офицерам. К сожалению, Авлу и Веспасиану покидать Британию было опасно, но все остальные приехали, как один человек. Хосидий Гета и его брат Лусий Гета, который командовал восемью батальонами гвардейцев в Британии, оба получили награду: я полагаю, впервые в римской истории два брата надели триумфальные украшения в один и тот же день. Лусий Гета стал моим новым командующим гвардией, вернее, он делил этот пост с человеком по имени Криспин, которого временно назначил туда Вителлий, потому что Юст, прежний командующий, был мертв. Мессалина прислала мне срочную депешу, которую я получил накануне Брентвудской битвы, где писала, что Юст прощупывал различных гвардейских офицеров с целью узнать, поддержат ли они его, если он поднимет вооруженное восстание. Я полностью доверял Мессалине, поэтому, не желая рисковать, немедленно послал приказ о его казни. Прошло несколько лет, прежде чем я узнал истинные факты: до Юста дошли слухи о том, что творилось в мое отсутствие в дворцовом крыле, где жила Мессалина, и он спросил одного из полковников, как ему лучше поступить — сразу же написать мне или подождать моего возвращения. Полковник был одним из наперсников Мессалины, поэтому он посоветовал Юсту ждать — плохие новости могут расстроить меня и помешать исполнению военных обязанностей, — а сам направился напрямик к Мессалине. Смерть Юста, причина которой вскоре сделалась известна в Риме, послужила предупреждением не посвящать меня в тайну, о которой к этому времени знали все, кроме меня, — даже мои враги в Британии и Парфии, как ни трудно этому поверить! Мессалина все быстрее катилась по наклонной плоскости. Но я не стану описывать здесь ее поведение во всех подробностях, ведь я в то время ничегошеньки об этом не знал. Она приехала в Геную встретить меня, когда я вернулся из Франции, и пылкость ее приветствия была одной из причин того, что я чувствовал себя таким счастливым. Да и маленький Британик и его крошка сестра за эти шесть месяцев стали такие прелестные детки и так выросли, их было просто не узнать!

Я хочу, чтобы вы поняли, как много значил для меня этот день. По-моему, на всем свете нет ничего, что превзошло бы великолепием римский триумф. Никакого сравнения с триумфом, который празднует царь какой-нибудь варварской страны, подчинив себе другого царя, своего соперника. Наш триумф — это честь, даруемая свободным народом одному из своего числа за великую службу, которую он сослужил родине. Я знал, что честно снискал эту торжественную встречу и наконец-то опроверг дурное мнение своих родных, считавших меня никчемным человеком, слабоумным, «тряпкой», карой божьей и позором для моих славных предков. Ночью в гвардейском лагере мне приснилось, что ко мне подошел Германик, обнял меня и сказал, как всегда серьезно: «Дорогой брат, ты очень хорошо себя проявил, лучше, должен признаться, чем я ожидал от тебя. Ты выполнил свой долг. Ты восстановил честь римского оружия». Когда я проснулся утром, я решил отменить закон Августа, по которому право получить триумф предоставлялось лишь императору, его детям и внукам. Если Авл будет продолжать кампанию в Британии и сумеет выполнить поставленную мною задачу постепенно замирить и подчинить себе всю южную часть острова, я постараюсь убедить сенат дать ему полный триумф.

Если ты единственный, кому по закону положен триумф, это не столько приумножает, сколько преуменьшает твою славу. Август ввел свой закон, чтобы помешать генералам ради триумфа сеять на границе вражду и вызывать пограничные племена на военные действия, но, безусловно, доказывал я себе, существуют и другие способы обуздать генералов, чем делать триумф, доступный раньше для всех, всего лишь фамильным ритуалом цезарей.

Когда церемония вручения орденов и медалей закончилась, я дал аудиенции: первую — всем губернаторам провинций, для временного пребывания которых в Риме я испрашивал согласие сената, вторую — послам дружественных держав и третью — изгнанникам. Дело в том, что я получил разрешение сената вернуть из ссылки всех, кто был изгнан, но только на время триумфальных празднеств. Эта последняя аудиенция была очень тяжела для меня — все они выглядели больными и слабыми и жалобно просили смягчить их приговор. Я сказал, чтобы они не отчаивались, я лично проверю каждое дело, и если увижу, что отменить постановление суда или сделать его менее суровым — в интересах общества, буду ходатайствовать за них перед сенатом. Впоследствии я так и поступил, и многим из тех, чей приговор должен был все же остаться в силе, было, во всяком случае, дозволено поменять место ссылки на лучшее. Я и Сенеке предложил переехать, но он отказался, сказав, что до тех пор, пока цезарь казнит его своим неудовольствием, он не может желать улучшения своей судьбы; ни вечный мороз, сковывающий (согласно рассказам путешественников) землю звероподобного финна, ни мучительная жара, иссушающая пески пустыни за Атласскими горами (куда победоносные войска цезаря сумели проникнуть вопреки силам природы, чтобы расширить границы введомого мира), ни лихорадка, царящая на болотах в дельтах рек отдаленной Британии, которыми мы завладели так же, как плодородными равнинами и долинами этого знаменитого острова благодаря военному гению цезаря, ни даже тлетворный климат Корсики, где злосчастный Сенека, автор этих строк, томится в течение двух лет — а может быть, двух столетий? — ни мороз, ни жара, ни сырость, ни корсиканский сплав из сырости, жары и мороза не будут замечены сосланным сюда стойком, который думает лишь о том, как терпеливо вынести сокрушительную тяжесть позора, от которого он столь тяжело страдает, и сделаться достойным прощения цезаря, если этот бесценный дар когда-либо, вопреки ожиданиям, будет ему пожалован... Я был вполне готов удовлетворить просьбу его друга Полибия и отправить Сенеку на родину, в Испанию, но раз он сам так настаивал на Корсике, что ж, Корсика так Корсика. Нарцисс слышал от портовых чиновников в Остии, что в число сувениров, которые этот храбрый стоик увез на память о своем визите в Рим, были украшенные драгоценными камнями золотые кубки, пуховые подушки, индийские специи, дорогие притирания, инкрустированные слоновой костью столы и ложа из душистого сандалового дерева, которое привозят из Африки, картины того сорта, что привели бы в восторг Тиберия, огромное количество фалернского вина и (правда, это относится к иной категории, чем все вышеперечисленное) полное собрание моих опубликованных трудов.

В десять часов утра настало время трогаться. Процессия вошла в Рим с северо-востока через триумфальные ворота и проследовала вдоль священного пути. Двигалась она в следующем порядке. Первыми, в своих лучших одеждах, шли сенаторы во главе с консулами. Затем отборная команда трубачей, умеющих играть в унисон торжественные триумфальные марши. Трубы должны были привлечь внимание к добыче, которую везла длинная вереница мулов, запряженных в разукрашенные фургоны, в сопровождении батальона дворцовых телохранителей в императорской ливрее. Добыча состояла из груд золотых и серебряных монет, оружия, доспехов, конской сбруи, драгоценных камней и украшений, слитков олова и свинца, богатых чаш и кубков, чеканных бронзовых ведер и мебели из дворца

Цимбелина в Колчестере, множества покрытых эмалью изделий из северной Британии, резных и раскрашенных тотемных столбов, бус из гагата, янтаря и жемчуга, головных уборов из перьев, вышитых одеяний друидов, покрытых резьбой весел от плетеных рыбацких лодок, и множества других красивых, ценных или необыкновенных вещей. За фургонами следовали подобранные в масть пони, запряженные в двенадцать лучших трофейных колесниц. Над головой каждого возничего была прикреплена на шесте доска, где указывалось имя одного из двенадцати покоренных британских племен. За колесницами вновь ехали фургоны, в которых находились модели захваченных нами городов и фортов из раскрашенного дерева или глины и живые скульптурные группы, изображающие, как боги различных британских рек отступают перед нашими войсками; каждая группа стояла на фоне огромной картины, где масляными красками был нарисован бой, происходивший на этой реке. Последней была модель знаменитого каменного храма Бога солнца, о котором я уже говорил.

Затем шли флейтисты, наигрывающие тихие мелодии. Они предвещали белых быков, шедших следом за ними под присмотром жрецов Юпитера, сердито мыча и доставляя всем много беспокойства. Рога их были позолочены, головы повязаны красными лентами и украшены гирляндами цветов, чтобы показать, что их ведут на жертвоприношение. Жрецы несли в руках секиры и ножи. За ними следовали прислужники из храма Юпитера с золотыми блюдами и прочими священными принадлежностями. Затем везли интереснейший экспонат — живого моржа. Этот похожий на быка тюлень с огромными костяными бивнями был пойман солдатами дозора из базового лагеря, когда он спал на морском берегу. За моржом вели дикий рогатый скот и оленей, везли скелет попавшего в ловушку кита и цистерну с прозрачными стенками, где сидели бобры. Затем несли оружие и знаки отличия взятых в плен вождей, идущих следом со всеми членами своего семейства, которые не сумели уйти из наших рук, а за ними в цепях вели менее важных пленников. Я очень сожалел, что в процессии не оказалось Каратака, но зато здесь был Каттигерн с женой, жена и дети Тогодумна, а также шестимесячный сын Каратака и тридцать высокопоставленных вождей.

За ними следовала колонна общественных рабов, идущих попарно, которые несли на подушках поздравительные золотые венцы, присланные мне союзными царями и государствами в знак признательности и уважения. Затем шли двадцать четыре придворных стража в пурпурном одеянии, у каждого в руке — топорик, обвязанный пучком розог и увенчанный лавровыми листьями. За ними ехала квадрига, сделанная по приказу сената из серебра и слоновой кости. Если не считать ее особой формы и чеканки по бокам, изображавшей две битвы и шторм на море, она очень напоминала ту колесницу, которую я сломал на улице ювелиров за то, что она была слишком роскошна. В нее были впряжены четыре белые лошади, и ехал в ней не кто иной, как автор этой истории — но не «Клав-клав-клавдий», или «Идиот Клавдий», или «Этот Клавдий», или «Клавдий Заика», и даже не «Бедный дядя Клавдий», но победоносный триумфатор Тиберий Клавдий Друз Нерон Цезарь Август Германик Британик, император, отец отчизны, великий понтифик, защитник народа четвертый год подряд, трехкратный консул, получивший в награду гражданскую и морскую короны и триумфальные украшения за три предыдущие кампании, не считая прочих менее существенных гражданских и военных почестей, слишком многочисленных, чтобы их перечислять. Этого парившего в эмпиреях счастливого обладателя всех вышеперечисленных титулов и наград облакала вышитая золотом тога поверх украшенной цветочным орнаментом туники, в правой слегка дрожавшей руке он держал лавровую ветвь, в левой — скипетр из слоновой кости, увенчанный золотой птицей. Чело его осеняла гирлянда из дельфийского лавра, лицо, руки, шея, ноги (все видные части тела) были, согласно возрожденному им обычаю древних,

выкрашены в красный цвет. Помимо самого триумфатора, в колеснице ехали его маленький сын Британик, с громкими криками хлопающий в ладоши, его друг Вителлий, в масличной короне, управлявший государством в отсутствие триумфатора, его малышка дочь Октавия на руках у молодого Силана, избранного в ее будущие мужа, который вместе с молодым Помпеем, мужем взрослой дочери триумфатора Антонии, доставил сенату письмо с лавровым венком. Силану присудили триумфальные одеяния так же, как и молодому Помпею, тоже сидевшему в этой колеснице с маленьким Британиком на коленях. Рядом с колесницей ехал верхом отец молодого Помпея Красс Фругийский, который надел в этот день триумфальный наряд во второй раз — первый был после победы Гальбы над хаттами. Да, чтоб не забыть, — позади триумфатора в колеснице стоял общественный раб, держа над его головой золотую этрусскую корону, украшенную бриллиантами, — дар римского народа. В его обязанности входило также шептать время от времени на ухо триумфатора старинную формулу: «Не кичись; помни, ты всего лишь смертный!» — предупреждение, что боги будут ревновать к триумфатору и его успеху, если он станет держаться с ними наравне, и постараются унизить его. А чтобы его не сглазил кто-либо из зрителей, к крылу колесницы были подвешены фаллический талисман, колокольчик и плеть.

Затем ехала Мессалина, супруга триумфатора, в своей парадной карете. За ней, пешком, шли генералы, получившие триумфальное одеяние. За ними те, кто завоевал лавровый венок. Затем полковники, капитаны, сержанты и прочие военные всех рангов, удостоенные наград. Затем слоны. Затем верблюды, запряженные попарно в повозки, на которых стояли шесть придуманных Калигулой машин, изрыгающих «молнию и гром», так успешно примененные Посидом в Британии. Затем шла на ходулях «царица Цапля» с золотой цепью, обвивающей ее шею. Мне говорили, что, за исключением меня самого, она вызвала самые бурные приветствия толпы. За ней шел Посид со своим Тупым Копьем и лекарь-испанец в тоге — ему было пожаловано римское гражданство. За ним следовала римская кавалерия, за ней — походным маршем пехота; оружие солдат было украшено лавровыми венками. Молодые солдаты кричали «Io Triumphe!» и пели победные гимны, а ветераны, воспользовавшись данным на этот день правом говорить, что им вздумается, не отказывали себе в удовольствии отпустить колкую и малопрстойную шутку по адресу триумфатора. Ветераны Двадцатого полка даже сочинили превосходную песню:

Пролил Клавдий наш ученый
Меньше крови, чем чернил.
А пришлось с британцем драться,
Носа он не воротил —
Цаплей и верблюжьей вонью
И веревкой победил!
Хей-хо-ой!

Цаплей, вонью и веревкой
Напугал он их — и вот
Убежали с жутким воплем,
Волос дыбом аж встает!
Так вопит наш славный Клавдий,
Если заболит живот!
Хей-хо-ой!

Мне говорили, что в конце колонны пели непотребные куплеты о Мессалине, но

до меня они не донеслись; по правде говоря, даже если бы их пела дворцовая стража, которая шла непосредственно передо мной, я и то ничего не услышал бы за чудовищным гулом толпы. После пехоты шли соединения союзных войск во главе с балеарцами и нубийцами.

На этом официальное шествие кончилось, но за ним со смехом и возгласами двигалась толпа городской черни, устроившей пародию на триумф. Их «триумфатором» был александрийский гаер по имени Баба, приехавший в Рим в надежде, что здесь ему улыбнется счастье. Он ехал в повозке для очистки выгребных бочек, в которую были впряжены друг за другом козел, овца, свинья и лиса; его тело и лицо были выкрашены в синий цвет британским красителем из вайды, одежда его была чудовищной пародией на триумфальный наряд. Плащ — лоскутное одеяло, туника — старый мешок, отделанный грязно-серыми лентами. Скипетром ему служила огромная капустная кочерыжка, к верху которой была привязана дохлая летучая мышь, лавровой ветвью — чертополох. Наш самый известный местный шут Аугурин не так давно согласился разделить с Бабой главенство в Обществе бродяг. Считалось, что Баба похож на меня как две капли воды, и поэтому он всегда исполнял роль цезаря в сценках, которые они вдвоем регулярно разыгрывали на задворках Рима. Аугурин играл Вителлия, или консула, или гвардейского полковника, или одного из моих советников, в зависимости от обстоятельств. Он был прекрасный пародист. В данном случае он изображал раба, держащего корону над головой «триумфатора» (перевернутый вверх дном ночной горшок, куда то и дело скрывалась голова Бабы), и все время щекотал его петушиным пером. Туника Бабы была сзади разорвана, и из нее выглядывало его сиденье, выкрашенное в синий цвет с ярко-красными пятнами, отчего оно походило на ухмыляющееся лицо. Руки Бабы безостановочно тряслись, он дергал во все стороны головой — карикатура на мой нервный тик — и вращал глазами. Всякий раз, что Аугурин лез к нему, Баба стучал его в ответ чертополохом или летучей мышью. В следующей выгребной повозке под рваным балдахином томно возлежала голая негритянка чудовищных размеров с медным кольцом в носу, кормя грудью маленького розового поросенка. Добыча, которую везли на тачках одетые в лохмотья торговцы старьем, состояла из кухонных отбросов, поломанных кроватей, грязных матрацев, ржавого железа, битой кухонной утвари и самого разного гнилья, а в качестве пленных выступали карлики, толстяки, ходячие мощи, альбиносы, калеки, слепцы, больные водянкой головного мозга — словом те, кто страдал от ужасных заболеваний или был выбран за свое исключительное уродство. Остальная часть процессии была под стать тому, что я перечислил. Мне говорили, что модели и картины, иллюстрирующие «победы» Бабы, были самым смешным зрелищем — само собой непристойным, — какое когда-либо видели в Риме.

Когда мы достигли Капитолийского холма, я сошел с колесницы и выполнил церемонию, которую требует от победителя обычай, но которая для меня лично была крайне утомительна: я смиренно, на коленях поднялся по ступеням храма Юпитера. С двух сторон меня поддерживали молодой Помпей и Силан. Согласно тому же обычаю, в это время полагалось отвести в сторону пленных вражеских вождей и умертвить их в темнице, пристроенной к храму. Это было пережитком древнего ритуала, когда в благодарность за победу приносились человеческие жертвы. Я решил пренебречь этим обычаем из политических соображений: я хотел оставить этих пленников в Риме, чтобы показать пример милосердия тем британским вождям, которые все еще стойко держались против нас. Сами они приносят в жертву военнопленных, но раз мы намеревались цивилизовать их остров, было просто нелепо ознаменовывать это актом примитивного варварства. Надо назначить этим вождям и их семьям небольшое содержание из общественных средств и всячески поощрять их романизацию, чтобы впоследствии, когда мы начнем формировать

британские вспомогательные войска, командующие ими офицеры были способны дружелюбно поддержать наши воинские силы.

Хотя я не принес в жертву Юпитеру британских вождей, я не забыл отдать ему в дар белых быков и часть добычи (лучшие золотые украшения из дворца Цимбелина), а также положить на колени священного изображения лавровую корону, сняв ее с головы. Затем коллегия жрецов Юпитера пригласила меня, моих спутников и Мессалину на публичный пир, а солдаты и офицеры разошлись в разные стороны, приглашенные горожанами. Дому, который не почтил своим присутствием ни один герой триумфа, поистине не повезло. Накануне я узнал из неофициальных источников, что Двадцатый полк намеревается устроить пьяный дебош, вроде того, который он устроил во время триумфа Калигулы, что они хотят напасть на улицу ювелиров и, если двери домов окажутся закрыты, они подожгут их или пустят в ход тараны. Сперва я думал поставить там заслон из бригады ночных сторожей, но это привело бы к кровопролитию, поэтому, поразмыслив, я принял другое, лучшее решение: наполнить фляги всех солдат даровым вином, чтобы они выпили за мое здоровье. Наполнили их перед началом шествия, но я приказал не пить, пока трубы не возвестят, что я принес, как положено, жертвы богам. Вино было первоклассное, но то, что налили во фляжки Двадцатого, как следует приправили маком. «Львы» выпили за мое здоровье и уснули таким крепким сном, что проснулись, когда триумф давно окончился; один из солдат, должен с прискорбием сказать, так и не проснулся. Но зато в тот день в городе не было никаких серьезных беспорядков.

Вечером меня провожала домой во дворец длинная факельная процессия и ансамбль флейтистов, за которыми следовала толпа поющих и славящих меня горожан. Я смертельно устал и, смыв с себя краску, тут же лег в постель, но празднество продолжалось всю ночь и уснуть я так и не смог. В полночь я поднялся и, взяв с собой только Нарцисса и Палланта, вышел на улицу. На мне была простая белая тога — наряд горожанина-простолюдина. Мне хотелось узнать, что на самом деле думают обо мне римляне. Мы смешались с толпой. Ступени храма Кастора и Поллукса были усеяны группами людей, отдыхающих и болтающих между собой, и мы нашли среди них местечко. Все обращались друг к другу без излишних церемоний. Я радовался, что свобода речи наконец вернулась в Рим после того, как ее столько лет подавляли при Тиберии и Калигуле, хотя далеко не все из того, что я услышал, доставило мне удовольствие. Все сходились во мнении, что триумф был хорош, но стал бы еще лучше, если бы я роздал деньги горожанам, а не только солдатам, и увеличил паек зерна. (В ту зиму опять не хватало зерна, но не по моей вине.) Мне очень хотелось услышать, что скажет покрытый шрамами капитан Четырнадцатого полка, сидевший неподалеку рядом с братом, которого он, как оказалось, не видел шестнадцать лет. Сперва капитан не хотел рассказывать о битве, хотя брат настойчиво расспрашивал его, и рассуждал о Британии, лишь как о месте расквартирования войск. Он рассчитывал, если ему повезет, разжиться неплохими трофеями и надеялся, выйдя в отставку, попасть в сословие всадников; за последние десять лет он скопил кучу денег, продавая освобождение от нарядов солдатам своей роты, к тому же «на Рейне не столько возможностей потратить деньги, как здесь, в Риме». Но под конец он все же сказал:

— Откровенно говоря, мы, офицеры Четырнадцатого полка, не очень высокого мнения о Брентвудском сражении. Из-за императора нам все досталось слишком легко. Умный человек, наш император, один из великих стратегов. Все вычитывает из книг. Эти веревки, к примеру, — типично военная хитрость. И та огромная птица, что хлопала крыльями и так страшно кричала. И верблюды, перепугавшие лошадей своей вонью. Первоклассный стратег, знает все уловки. Но стратег для меня не солдат. Старина Авл Плавтий пошел бы штурмом на центральный форт, не важно, чем это кончится. Старина Авл — солдат. Он бы устроил хороший кровавый бой, если

бы ему не помешали. Нам, офицерам Четырнадцатого, больше по душе кровавый бой, чем хитрые стратегические фокусы. Мы для этого и существуем — для кровавых сражений, а если и несем тяжелые потери, что ж, такова судьба солдата, зато те, кто остался в живых, продвигаются по службе. А на этот раз в Четырнадцатом не было ни одного производства в чин. Убили пару капралов, и все. Нет, император сделал битву слишком легкой. Мне-то еще повезло: я со своим головным взводом прорвался в середину колесниц, убил кучу британцев и получил вот эту цепь, так что мне лично не на что жаловаться. Но если говорить за весь полк, это сражение ни в какое сравнение не идет с теми двумя, что были до приезда императора: Мидвейская битва была битва что надо, с этим не поспоришь.

Его прервал дребезжащий старушечий голос:

— Все оно так, капитан, ты — человек храбрый, и мы все гордимся тобой, и, само собой, большое тебе спасибо, но что до меня, так мои двое парней служат во Втором, и хоть мне жаль, что они не получили на сегодня увольнительную, я благодарю богов за то, что они живы. А вот если бы твой генерал Авл смог поступить по-своему, они лежали бы сейчас на Брентвудском холме добычей для ворон.

К ней присоединился старик француз.

— Что до меня, капитан, мне не важно, как выиграли сражение, лишь бы оно было выиграно. Я слышал сегодня вечером, как двое офицеров вроде тебя обсуждали эту битву. Один из них сказал: «Хороший пример стратегии, умно, ничего не скажешь, по мне, даже слишком умно, пахнет лампой». А я вот что спрашиваю: одержал император победу, да еще какую, или нет? Одержал. И да здравствует император!

Но капитан сказал:

— «Пахнет лампой», сказали они? Точнее не скажешь. Стратегическая победа, но пахнет лампой. Император слишком умен, чтобы считаться хорошим солдатом. Что до меня, я благодарю богов, что не прочитал в жизни ни одной книги.

Когда мы уже шли домой, я сказал, запинаясь, Нарциссу:

— Ты ведь не согласен с этим капитаном, да, Нарцисс?

— Нет, цезарь, — отозвался Нарцисс, — а ты? Но я считаю, говорил он как человек храбрый и честный, и поскольку он всего лишь ротный, ты скорее должен быть доволен его словами. Нам ни к чему ротные капитаны, которые слишком много думают и слишком много знают. И ведь, согласишься, он не принижал твоих заслуг и воздал тебе должное за победу.

Но я сказал ворчливо:

— Я для них или полный идиот, или слишком большой умник.

Триумф продолжался три дня. На второй день представления шли одновременно в цирке и амфитеатре. В цирке показывали гонки колесниц (десять заездов), атлетические состязания, схватки между пленными британцами и медведями, а также танец с мечами, который исполняли мальчики из Малой Азии. В амфитеатре вторично разыграли живые картины, представляющие осаду и разграбление Колчестера и сдачу в плен вражеских вождей, затем была битва между катувеллавнами и триновантами, по три сотни человек с каждой стороны, в которой участвовала не только пехота, но и колесницы. Победили катувеллавны. Утром третьего дня снова были гонки колесниц и бой между катувеллавнами, вооруженными палашами, и нумидийскими копьеносцами, захваченными в плен Гетой год назад. Катувеллавны легко выиграли бой. Последнее представление было дано в цирке — пьесы, интерлюдии и акробатические танцы. Мнестер превзошел самого себя; зрители заставили его исполнить триумфальный танец из «Ореста и Пилада» — он играл Пилада — три раза подряд. На четвертый вызов Мнестер не вышел. Он выглянул из-за занавеса и игриво сказал: «Не могу выйти, уважаемые, мы с Орестом уже в постели».

Мессалина потом сказала мне:

— Я хочу, чтобы ты серьезно поговорил с Мнестером, дорогой муж. Он слишком независимо себя ведет для человека его профессии и происхождения, хотя актер он действительно замечательный. Во время твоего отсутствия он раза два или три мне нагрубил. Когда я попросила, чтобы его труппа стала репетировать к празднику мой любимый балет — ты ведь знаешь, что я взяла на себя надзор над играми и представлениями, так как Вителлий никак не мог со всем справиться, а затем выяснилось, что твой советник Гарпократ вел себя нечестно, и его пришлось казнить, а Пернакт, которого я назначила вместо него, очень медленно входил в курс дела, — ну, короче, мне было очень трудно за всем уследить, а Мнестер вместо того, чтобы облегчить мне задачу, вел себя, как упрямый осел. О нет, сказал он, поставить «Улисса и Цирцею» никак невозможно, он не знает никого, кто бы сыграл Цирцею, достойную его Улисса, а когда я предложила «Минотавра», он сказал, что роль Тезея — одна из его самых нелюбимых ролей, а брать такую второстепенную партию, как партия царя Миноса, значит ронять свое достоинство. Все время ставил мне палки в колеса. Он просто не желал понимать, что я представляю тебя и он должен делать то, что я ему велю. Но я не наказала его, так как подумала, вдруг ты этого не захочешь, и подождала до твоего приезда.

Я вызвал к себе Мнестера.

— Послушай, ничтожный грек, — сказал я. — Это моя жена, госпожа Валерия Мессалина. Римский сенат такого же высокого мнения о ней, как я: они присудили ей самые главные почести. В мое отсутствие она взяла на себя часть моих обязанностей и выполнила их к полному моему удовлетворению. Она выразила мне свое недовольство тем, что ты ничем ей не помогал и вел себя нагло. Изволь запомнить: если госпожа Мессалина велит тебе что-нибудь сделать, ты обязан повиноваться ей, как бы это ни ущемляло твое профессиональное тщеславие. Что бы она ни приказала, запомни, презренный грек, и беспрекословно. Что бы она ни приказала, и все, что она прикажет.

— Повинуюсь, цезарь, — ответил Мнестер, падая ниц с преувеличенной покорностью. — Прошу прощения за мою глупость. Я не понял, что должен выполнять все, что ни прикажет госпожа Мессалина, я думал, что должен выполнять лишь некоторые ее приказы.

— Ну, теперь ты понял.

И так кончился мой триумф. Войска вернулись к выполнению своих воинских обязанностей в Британии, а я вернулся к штатскому платью и своим государственным обязанностям в Риме. Вполне возможно, что больше никому в мире не доведется — как, бесспорно, не довелось до сих пор, — командовать своим первым сражением в возрасте пятидесяти трех лет, не бывши в юности на военной службе в каких бы то ни было войсках и нанести при этом врагу сокрушительный удар, а затем никогда больше не участвовать в боевых действиях.

Глава XXIII

Я продолжал реформы; прежде всего я старался вселить в своих подчиненных чувство ответственности перед обществом. Я назначил в казну новых служащих, тех, кого я готовил для этого последние несколько лет, определив им срок службы в три года. Я исключил из сословия сенаторов губернатора Южной Испании, так как он не смог снять с себя обвинение, предъявленное войсками, которые несли службу в Марокко, в том, что он обманом удерживал половину их хлебного рациона. Ему были вменены в вину и другие мошенничества, и губернатору пришлось выплатить сто тысяч золотых. Он обошел всех друзей, пытаясь добиться их сочувствия рассказами о том, будто обвинения были сфабрикованы Посидом и Паллантом, которых он задел,

припомнив им, что по рождению они рабы. Но мало кто ему посочувствовал. Как-то раз утром этот губернатор привез на публичный аукцион всю свою мебель и домашнюю утварь — в общей сложности около трехсот фургонов исключительно ценных предметов обстановки. Это вызвало большое оживление, так как он владел не имеющей себе равных коллекцией коринфских ваз. На аукцион сбежались все торговцы и ценители искусства — у них уже текли слюнки в предвкушении будущих сделок. «Бедняге Умбонию конец, — говорили они. — Нам повезло. Теперь мы купим по дешевке все то, что он не желал нам продавать, когда мы предлагали ему хорошую цену». Но их ждало разочарование. Когда копье воткнули торчком в землю в знак того, что аукцион начался, Умбоний продал один-единственный предмет — свою сенаторскую тогу. Затем он приказал выдернуть копье в знак того, что аукцион закончен, и в ту же ночь после двенадцати часов, когда фургонам разрешается ездить по улицам, увез свое добро обратно домой. Он просто показал нам, что у него все еще есть куча денег и он может жить припеваючи как частное лицо. Однако я не был намерен проглотить оскорбление. В том же году я установил очень большой налог на коринфскую посуду, избежать которого Умбоний никак не мог, так как выставил свою коллекцию на всеобщее обозрение и даже занес ее в аукционные списки.

В это самое время я начал досконально изучать вопрос о новых религиях и культах. Каждый год в Риме появлялись новые иноземные божества, чтобы удовлетворить нужды иммигрантов, и, в общем-то, я не имел ничего против. Например, возникшая в Остии колония из четырехсот йеменских купцов и их семей построила там храм своим племенным богам: богослужение проходило надлежащим образом и в надлежащем порядке, не было человеческих жертвоприношений или других безобразий. Возражал я против иного, а именно, беспорядочного соперничества между религиозными культами, и против того, что их священнослужители и миссионеры ходят из дома в дом в поисках прозелитов, употребляя для обращения людей в свою веру лексикон, заимствованный у аукционистов, сводников из борделей или бродячих греков-астрологов. То, что религия может быть ходким товаром, наподобие оливкового масла, фиг или рабов, в Риме открыли еще в последние годы республики; были предприняты шаги, чтобы помешать этой торговле, но они не увенчались успехом. Весьма заметный упадок традиционных верований наступил после нашего завоевания Греции, когда в Рим просочилась греческая философия. Философы хотя и не отрицали Божественного Начала, переводили его в такую отдаленную абстракцию, что практичные люди, вроде римлян, начинали говорить сами себе: «Да, боги беспредельно сильны и мудры, но они так же беспредельно далеки от нас. Они заслуживают нашего уважения, и мы будем преданно поклоняться им в наших храмах и приносить им жертвы, но нам теперь ясно, что мы ошибались, полагая, будто они находятся рядом с нами и берут на себя труд убить на месте грешника, или наказать целый город за преступление одного из горожан, или появиться среди нас в смертном обликах. Мы перепутали поэтические вымыслы с прозаической реальностью. Мы должны пересмотреть свои взгляды».

Для простых заурядных горожан это создало неуютную пустоту между ними и теми далекими идеалами, к примеру Силы, Разума, Красоты и Целомудрия, в которые философы превратили Юпитера, Меркурия, Венеру и Диану. Нужны были какие-то промежуточные звенья, и в пустоту хлынул целый сонм новых божественных и полубожественных персонажей. По большей части это были чужеземные боги с весьма определенной индивидуальностью, под которых не так легко было подвести философскую базу. Их можно было вызвать при помощи заклинаний, они могли принять видимый человеческий облик, могли появиться в центре кружка своих ревностных приверженцев и запросто поговорить с каждым из них. Иногда они даже

вступали в близость со своими почитательницами. Во время правления моего дяди Тиберия произошел известный всем скандал. Богатый всадник влюбился в одну почтенную патрицианку. Он пытался подкупить ее, предлагая две тысячи пятьсот золотых, если она согласится переспать с ним хоть раз. Она с негодованием отказалась и перестала даже отвечать на его приветствия, когда они встречались на улице. Всадник знал, что женщина эта поклоняется Изиде, дал жрицам храма взятку в пятьсот золотых, а те сказали женщине, будто бог Анубис воспылал к ней любовью и хочет, чтобы она пришла к нему. Женщина была весьма польщена и в ночь, назначенную Анубисом, пришла в храм, и там в святилище, на ложе самого бога, переодетый всадник забавлялся с ней до самого утра. Глупая женщина не могла сдержать радость и рассказала мужу и друзьям о редкой чести, которой она была удостоена. Большинство из них поверили ей. Три дня спустя она встретила всадника на улице и, как обычно, постаралась пройти, не ответив на его приветствие. Но он преградил ей путь и, взяв фамильярно за руку, сказал: «Милочка, ты сэкономила мне две тысячи золотых. Такой бережливой женщине, как ты, стыдно выбрасывать на ветер столько денег. Лично мне, что одно имя, что другое — все едино. Но раз мое тебе не нравится, а имя Анубис по вкусу, что ж, пришлось мне стать на одну ночь Анубисом. Но удовольствия я получил от этого не меньше. А теперь прощай. Я имел, что хотел, и с меня хватит». Женщина стояла как громом пораженная. Она кинулась в ужасе домой и рассказала мужу, как ее обманули и оскорбили. Она клялась покончить с собой, если он немедленно не отомстит за нее, — она не перенесет такого позора. Муж ее, сенатор, пошел к Тиберию, и тот, будучи высокого о нем мнения, велел разрушить храм Изиды, жриц распять, а статую богини кинуть в Тибр. Но всадник храбро заявил императору: «Ты сам знаешь силу страсти. Ничто не может против нее устоять. А то, что сделал я, должно послужить предостережением всем почтенным женщинам не принимать всякие новомодные вероучения, а держаться наших добрых старых богов». И отделался всего лишь несколькими годами изгнания. Муж, чье семейное счастье было разбито, начал кампанию против религиозных шарлатанов. Он подал в суд на четырех иудеев-миссионеров, обративших в свою веру знатную римлянку из рода Фульвиев, обвиняя их в том, что они уговорили ее послать через них в иерусалимский храм золото и пурпурную ткань в качестве приношения по обету, а сами продали эти дары и положили деньги себе в карман. Тиберий нашел, что они виновны, и велел их распять. Чтобы такие вещи не повторялись, он выслал всех евреев из Рима в Сардинию; уехало туда четыре тысячи человек, и через несколько месяцев половина из них умерла от лихорадки. Калигула разрешил оставшимся вернуться в Рим.

Как вы, наверно, помните, Тиберий выслал также из Рима всех предсказателей и мнимых астрологов. В нем забавно сочетались атеизм и суеверие, легкое верие и скептицизм. Он как-то раз сказал за обедом, что считает поклонение богам бесполезным, ведь звезды никогда не лгут; он верит в судьбу. Возможно, он изгнал из Рима астрологов потому, что не хотел ни с кем делить возможность получить пророчество, ведь Фрасилл всегда был рядом с ним. Но Тиберий не признавал одного: хотя сами звезды не лгут, трудно рассчитывать, что астрологи, даже лучшие из них, прочитают послание звезд абсолютно правильно и передадут прочитанное с абсолютной честностью. Лично я и не скептик, и не особенно суеверный человек. Я люблю старинные обряды и церемонии, унаследовал от своих предков веру в старых римских богов и не желаю подвергать их никакому философскому анализу. Я считаю, что каждый народ должен поклоняться своим богам на свой лад (при условии, что делается это цивилизованно), а не заимствовать экзотических чужеземных богов. В качестве верховного священнослужителя Августа я должен был смотреть на него как на бога, и в конце концов, кем был полубог Ромул, как не бедным пастухом, возможно, куда менее способным и трудолюбивым, чем Август. Если бы я был современником

Ромула, я, вероятно, засмеялся бы, если бы кто-нибудь мне сказал, что ему станут воздавать божеские почести. Если на то пошло, бог кто-либо или не бог — зависит от реальности, а не от нашего мнения. Если большинство людей поклоняются ему как богу, значит, он бог. А если его перестают боготворить, он — ничто. Пока Калигулу обожествляли и возводили его в кумир, он и на самом деле был сверхъестественным существом. Для Кассия Хереи оказалось почти невозможным убить его, так как его окружала некая аура, сотканная из благоговейного страха, — результат поклонения тысяч простых сердец; заговорщики чувствовали это и не решались на него напасть. Возможно, Кассию так никогда и не удалось бы добиться успеха, если бы Калигула сам не обрек себя на смерть предчувствием того, что будет убит.

Августу преданно поклоняются сейчас миллионы людей. Я сам молюсь ему почти с такой же верой, как молюсь Марсу или Венере. Но я провожу четкую границу между Августом как историческим лицом, чьи слабости и неудачи хорошо мне известны, и Божественным Августом, объектом всеобщего преклонения, имеющего власть и силу божества. Я вот что хочу сказать: конечно, если простой смертный самовольно захватит божественную власть, это заслуживает самого сурового осуждения, но если при этом ему удалось убедить людей поклоняться ему, и они делают это со всей преданностью, и нет никаких дурных предзнаменований или других знаков божественного недовольства по поводу его обожествления — что ж, значит, он бог и таковым мы должны его признать. Но почитание Августа как главного римского божества никогда бы не стало возможным, если бы не пропасть, которая благодаря философам разверзлась между простыми людьми и нашими традиционными богами. Для обычных римлян Август превосходно заполнил вакуум. Его помнили как благородного и милостивого правителя, который дал, возможно, более сильные доказательства своей любви к Риму и заботы о нем, чем сами Олимпийские Боги.

Однако культ Августа скорее служил политическим целям, чем удовлетворял потребности души религиозно настроенных людей, которые предпочитали обращаться к Изиде, или Серапису, или Имиуту, чтобы, участвуя в таинствах этих божеств, обрести уверенность в том, что «Бог» — нечто большее, чем далекий идеал совершенства или увековеченная слава почившего героя. Чтобы предложить альтернативу этим египетским культам — с моей точки зрения, они отнюдь не оказывали благотворного влияния на нашу греко-римскую культуру, — я добился у так называемого Совета пятнадцати — постоянной комиссии по иностранным вероисповеданиям в Риме — разрешения популяризовать таинства более подходящего характера. Например, еще двести пятьдесят лет назад в Риме, согласно прорицанию оракула, был введен культ Кибелы, богини, которой поклонялись наши предки троянцы, и поэтому вполне подходящий, чтобы удовлетворить наши религиозные нужды, но служение ей проходило в тайне, обряды исполнялись жрецами-евнухами из Фригии, так как римлянам запрещалось кастрировать себя в честь богини. Я все это изменил. Верховный жрец Кибелы избирался теперь из числа римских всадников и не был евнухом, а в культе теперь могли участвовать римские горожане, занимающие хорошее положение. Я также попытался ввести в Риме заимствованные в Греции элевсинские таинства. Вряд ли стоит описывать, как проходит этот знаменитый аттический праздник в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны; до тех пор, пока существует греческий язык, все будут об этом знать. Однако природа самих таинств, для которых празднество является лишь пышным покровом, скрыта от большинства людей. Я бы очень хотел рассказать вам о них, но из-за данной некогда клятвы, к сожалению, не могу этого сделать. Скажу лишь одно: они связаны с откровением о грядущей жизни, которая будет зависеть от того, насколько добродетельно ты вел себя как смертный. Вводя эти культы в Риме — я собирался допустить до участия в них только сенаторов,

всадников и состоятельных горожан, — я надеялся, что формальное поклонение обычным богам будет заменено ими не путем внешнего принуждения при помощи законов и эдиктов, а из внутреннего стремления людей к добродетели. Как ни обидно, моя попытка потерпела крах. Во всех основных греческих храмах, в том числе в храме Аполлона в Дельфах, прозвучали неблагоприятные предсказания, грозящие ужасными последствиями за мое «перенесение Элевсиса в Рим». Будет очень нечестиво с моей стороны предположить, что греческие боги объединили усилия, чтобы помешать мне переманить у них паломников — основной источник доходов их страны?

Я выпустил эдикт, запрещающий римским гражданам присутствовать на богослужении в синагогах и выслал из города самых ярких иудейских миссионеров. И написал об этом Ироду. Он ответил, что я поступил очень мудро и что он применит тот же принцип, вернее, его противоположность, в своих владениях: он запретит греческим учителям философии проводить занятия в еврейских городах и не допустит иудеев, которые посещали их в других странах, бывать на богослужении в храме. Ни Ирод, ни я и словом не упомянули в своих письмах о событиях в Армении и Парфии. А произошло там вот что. Я отправил царя Митридата в Антиохию, где Марс устроил ему почетный прием, а затем отослал в Армению с двумя регулярными батальонами, мощными осадными орудиями и шестью батальонами греческих вспомогательных войск из Сирии. Он прибыл туда в марте. Навстречу ему вышел со своей армией парфянский губернатор и был разбит. Это вовсе не означало, что Митридату тут же без спора уступили его царство. Кот, царь Малой Армении, выслал войска на помощь парфянскому губернатору, и хотя его экспедиция, в свою очередь, потерпела поражение, парфянские гарнизоны многих крепостей не пожелали сдаваться, и римским осадным орудиям пришлось уничтожать их одну за другой. Однако брат Митридата, царь Грузии, выполнил свое обещание вторгнуться в Армению с севера; к июлю они встретились на реке Арас и, объединив силы, захватили Муфаргин, Ардеш и Эрзерум — три главных города Армении.

В Парфии Вардан вскоре собрал большую армию, в которую цари Осроены и Адиабены внесли свою долю, и двинулся походом против своего брата Готарза, двор которого в то время находился в городе Экбатана в стране мидян. Совершив внезапный набег во главе корпуса дромадеров — они покрыли около трехсот миль за два дня, — Вардан скинул объятый паникой Готарза с трона и тут же все зависимые цари и города парфянской империи признали его верховным царем. Единственным исключением была Селевкия — город на реке Тигр, который, взбунтовавшись против царя, вот уже семь лет упорно отстаивал свою независимость. Нам очень повезло, что Селевкия отказалась признать верховенство Вардана, потому что Вардан счел делом чести осадить и захватить этот город прежде, чем обратить свое внимание на более важные дела, а Селевкию с ее толстенными стенами взять было не так легко. Хотя в руках Вардана находился Ктесифон, город на противоположном берегу Тигра, сам Тигр был свободен, и сильный флот Селевкии мог ввозить в город продовольствие, купленное у дружественных арабских племен на западном побережье Персидского залива. Пока Вардан тратил здесь драгоценное время, Готарз, спасшийся бегством в Бохару, собрал новую армию. Осада Селевкии длилась с декабря по апрель, пока Вардан, услышав о том, что предпринял Готарз, не снял ее и не двинулся походным маршем на северо-восток, пройдя по собственно Парфии тысячу миль до провинции Бактрия, где в конце концов встретился с Готарзом. Армия Вардана была больше, чем у брата, и лучше вооружена, но результат предстоящей битвы оставался спорным, и Вардан понял, что, даже если он победит, это может стать пирровой победой — он потеряет больше людей, чем может себе позволить. Поэтому, когда в самый последний момент Готарз предложил заключить соглашение, Вардан не стал возражать. В результате переговоров Готарз

официально уступил брату свои права на трон, а тот за это даровал ему жизнь, обширные поместья на южных берегах Каспийского моря и годовое содержание, соответствующее его рангу. Тем временем царь Адиабены и другие соседние правители оказали давление на Селевкию, требуя, чтобы город на определенных условиях сдался, и к середине июля Марс у себя в Антиохии уже знал, что Вардан — бесспорный властитель Парфии и что он двигается на запад с огромнейшей армией. Марс немедленно сообщил мне об этом, а также еще об одной неприятной вещи, а именно: под предлогом того, что греческие солдаты, расквартированные в Кесарии, якобы позволили себе по отношению к нему угрозы и оскорбления, Ирод разоружил их и направил на строительство дорог и ремонт городских укреплений. И это еще не все — в пустыне происходит тайное обучение больших соединений еврейских добровольцев под командой телохранителей Ирода. Марс писал: «Через три месяца судьба Римской империи на Востоке будет так или иначе решена».

Я сделал все, что мог в этих обстоятельствах. Я послал срочный приказ всем губернаторам восточных провинций привести в боевую готовность все войска, имеющиеся в их распоряжении. Я отправил дивизион военных кораблей в Египет для подавления бунта евреев, который должен был, по моим предположениям, вот-вот начаться в Александрии, и еще один — к Марсу в Антиохию. Я мобилизовал военные силы Италии и Тироля. Но никто, кроме Марса, меня и моего советника по иностранным делам Феликса — я был вынужден посвятить его в эту тайну, ведь он вел мою переписку, — не знал, какие ужасные грозовые тучи надвигались на нас с Востока. И никто, кроме нас троих, никогда об этом и не узнал, потому что благодаря удивительному повороту судьбы гроза так и не разразилась.

Я не обладаю драматическим талантом, как мой брат Германик, я всего лишь историк и не сомневаюсь, что большинство людей назовет мое повествование скучным и прозаичным, однако я подошел в нем к такому моменту, когда запечатленные мной голые факты, даже без каких-либо ораторских прикрас, вызовут такое же глубокое удивление моих читателей, какое вызвали тогда у меня. Прежде всего позвольте рассказать вам о том, в каком возбужденном, даже экзальтированном состоянии приехал из Иерусалима в Кесарию на празднество, которое готовилось там в честь моего дня рождения, царь Ирод Агриппа. Переполюнявшая его тайная гордость была так велика, что чуть не душила его. Наконец-то заложен крепкий фундамент того грандиозного и величественного здания, воздвигнуть которое он мечтал столько лет — фундамент Восточной Империи. Одно его слово, и (так именно он изобразил это царице Киприде) «в синее небо вознесутся великолепные белые стены, их покроет хрустальная крыша, а вокруг, теша глаз своей красотой, будут простираться до горизонта прекрасные сады с прохладными колоннадами и зеркальными прудами». Внутри дворца все будет сделано из берилла, опала, сапфира и сардоникса, не говоря о золоте, а в огромном зале суда будет сверкать алмазный трон, трон Мессии, которого до этих пор люди знали под именем Ирода Агриппы.

Он уже открыл свою тайну первосвященнику и синедриону, и они дружно поклонились ему до земли, воспели хвалу Богу и признали Ирода Божьим помазанником, тем, кого предсказали пророки. А теперь он мог публично открыться перед еврейским народом и всем миром. Они услышат его слова: «День избавления близок, сказал Помазанник Бога, скинем ярмо нечестивых». Иудеи поднимутся все, как один, и очистят пределы Израиля от чужеродцев и неверных. Только во владениях Ирода было двести тысяч евреев, умеющих владеть оружием, и еще много тысяч в Египте, Сирии и на Востоке, а иудей, сражающийся во имя своего Бога, как показала история Маккавеев, храбр до безумия. Никогда еще не было более дисциплинированного народа. Оружия и амуниции тоже хватало: к семидесяти тысячам доспехов, которые Ирод нашел в сокровищнице Антипы, он добавил еще

двести тысяч, не считая тех, что отобрал у греков. Укрепления вокруг Иерусалима еще не были достроены, но меньше чем за шесть месяцев город мог стать неприступным. Даже после моего приказа прекратить работы Ирод продолжал тайком копать под храмом большие кладовые и прокладывать длинные туннели, выходящие за стены города больше чем на милю, чтобы в случае осады солдаты гарнизона могли делать неожиданные вылазки и нападать на обложившую город армию с тыла.

Ирод заключил секретный союз против Рима со всеми соседними царствами и городами на сотни миль вокруг. Лишь финикийские города Тир и Сидон долго не желали идти ему навстречу, и это беспокоило Ирода, так как финикийцы были опытные моряки и он нуждался в их флоте для защиты своих берегов; но теперь и они присоединились к нему. Совместная депутация от обоих городов обратилась к казначею Ирода Бласту и смиренно сказала ему, что, поставленные перед выбором иметь своим врагом Рим или еврейский народ, они предпочли меньшее зло и прибыли сюда, чтобы молить его царственного повелителя о прощении и дружбе. Бласт сообщил им условия Ирода, которые они в конце концов приняли. И вот сегодня они официально заявят о своем подчинении. Условия были следующие: Тир и Сидон отрекаются от Аштарот и прочих своих божеств, соглашаются на обрезание и клянутся в вечном повиновении Богу Израиля и Его представителю здесь, на земле, Ироду Помазаннику.

Каким символическим жестом Ирод начнет свое славное царствование? Он воссядет на трон, затрубят рога, и он прикажет солдатам принести статую Бога Августа, установленную на рыночной площади, и мою собственную статую, стоящую рядом с первой (и увитую свежими гирляндами по поводу моего дня рождения), и возгласит стоящим перед ним толпам иудеев: «Се, сказал Помазанник Господень, сокрушите все кумиры в Моих пределах, обратите их в прах, ибо Я ревнивый Бог». Затем он примется колотить молотком по нашим изваяниям, отобьет головы, отломает руки и ноги. Народ встретит это радостными криками, и Ирод вновь воскликнет: «Се, сказал Помазанник Господень, о, сыны мои, сыны Сима, первенца слуги моего Ноя, очистите землю сию от чужеродцев и неверных, и пусть обиталище Иафета будет вашей добычей, ибо избавление близко». Известие об этом пронесется по стране, как лесной пожар. «Помазанник открылся нам и сокрушил статуи цезарей. Радуйтесь в Господе. Оскверним храмы язычников и уведем в плен врагов». Об этом услышат в Александрии. Триста тысяч евреев встанут, как один человек, захватят город, перебьют небольшой римский гарнизон. Услышат об этом в Ниневи, и Вардан двинется на Антиохию, а на границе с Арменией к нему присоединятся цари Коммагены, Малой Армении и Понта. Марсу с его тремя регулярными батальонами и двумя полками сирийских греков против них не устоять. К тому же Вардан в свое время дал торжественный обет перед первосвященником в храме, если Ирод поможет ему отвоевать трон у брата (а Ирод это сделал), публично признать свой долг Ироду, отправив к нему всех евреев, которые живут в обширной парфянской империи, вместе с семьями, стадами и имуществом, и поклясться в вечной дружбе с еврейским народом. Рассеянные по всему свету, овцы Израиля, наконец-то вернутся в свою овчарню. И будет их так много, как песчинок на морском берегу. Они захватят города, откуда изгонят чужеродцев и неверных, они станут единым святым народом, как в дни Моисеевы, но править ими тому, кто величием превзойдет Моисея, славой — Соломона, именем Ирод, Возлюбленный, Помазанник Божий.

Праздник, якобы в честь моего рождения, должен был состояться в амфитеатре Кесарии, и для представлений, которых Ирод на самом деле и не собирался устраивать, уже были готовы дикие звери, гладиаторы и колесницы. Аудитория состояла частью из сирийских греков, частью из евреев; те и другие занимали разные

части амфитеатра. Трон Ирода стоял там, где сидели евреи, рядом были места, предназначенные для почетных гостей. Не было ни одного римлянина, все они съехались в Антиохию, где отмечали мой день рождения под председательством Марса. Зато здесь были посланцы из Аравии, и царь Итурии, и делегация из Тира и Сидона, и мать царя Адиабены с его сыновьями, и Ирод Поллион с семьей. Зрителей защищал от палящего августовского солнца большой тент из белого холста, но над серебряным тронном Ирода, инкрустированным бирюзой, тент был из пурпурного шелка.

Зрители вошли толпой в амфитеатр и заняли места, ожидая, когда покажется Ирод. Раздались звуки труб, и тут же он появился у южного входа в окружении всей своей свиты и величаво проследовал через арену к своему трону. Все встали. На нем была царская мантия из серебряной парчи с нашитыми на нее полированными серебряными кружками, которые так ярко сверкали на солнце, что глаза резало. На голове Ирода была золотая диадема с бриллиантами, а в руке — блестящий серебряный меч. Рядом шла Киприда в порфире, а за ней — его прелестные дочки в белых шелковых платьях, вышитых арабесками, с каймами из пурпура и золота. Ирод шествовал высоко подняв голову и царственно улыбался, приветствуя своих подданных. Он подошел к трону и поднялся на него. Царь Ирод Поллион, послы из Аравии, царь Итурии покинули свои места и приблизились к ступеням трона, чтобы приветствовать Ирода. Они говорили по-еврейски: «О царь, да продлится твоя жизнь до скончания времен!» Но посланцам Тира и Сидона этого было мало. Они чувствовали себя обязанными искупить неуступчивость, которая была проявлена к нему в прошлом, и стали лебезить перед ним.

Глава тирян обратился к Ироду с глубочайшей покорностью в голосе:

— Будь милостив к нам, великий царь, мы сожалеем о своей неблагодарности.

Глава сидонцев:

— До сих пор мы почитали тебя как человека, но теперь должны признать, что ты выше простых смертных.

Ирод ответил:

— Сидон, ты прощен.

Тут воскликнул тирянин:

— Это голос Бога, а не человека.

Ирод ответил:

— Тир, ты прощен.

Он поднял руку, чтобы дать сигнал трубачам, и вдруг рука его вновь упала. В те ворота, в которые только что вошел он сам, влетела птица и летала теперь взад-вперед над ареной. Все взгляды обратились к ней, раздались удивленные возгласы.

— Смотрите, сова! Ее ослепил дневной свет!

Сова уселась на оттяжку тента над левым плечом Ирода. Он обернулся и поглядел на нее. Только теперь он вспомнил клятву, данную тринадцать лет назад в Александрии в присутствии алабарха, Киприды и детей, клятву почитать Бога сущего и исполнять его закон, насколько это в его силах, вспомнил и проклятье, которое навлечет на себя, если когда-либо сознательно станет богохульствовать в ожесточении сердца. Первая и главная заповедь Бога, возвещенная устами Моисея, была: «Я ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ... ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ ПРЕД ЛИЦЕМ МОИМ». Но когда посланец из Тира назвал его Богом, разве Ирод разорвал на себе одежды, разве пал на лице свое, чтобы отвратить гнев Божий? Нет, он улыбнулся кощунственным словам и сказал: «Тир, ты прощен», а стоящие рядом с ним люди громко подхватили: «Это Бог, а не человек!» Сова смотрела вниз в лицо Ирода. Ирод побледнел. Сова ухнула пять раз, захлопала крыльями, взлетела над рядами скамей и исчезла.

Ирод сказал Киприде:

— Эта сова прилетала ко мне в тюрьму в Мизене... это та же самая сова.

Из его уст вырвался душераздирающий стон, и он сказал еле слышно Хелку, своему шталмейстеру, занявшему место Силы:

— Вынесите меня отсюда. Я болен. Пусть мой брат, царь Халкиды, заменит меня на посту распорядителя игр.

Киприда прижала к себе Ирода:

— Ирод, царь мой, мой возлюбленный. Почему ты стонешь? Что у тебя болит?

Ирод ответил ужасным шепотом:

— Черви уже пожирают мою плоть.

Его вынесли из амфитеатра. Трубачи так и не поднесли рогов к губам. Статуи так и не были доставлены на арену и разбиты. Еврейские солдаты, стоявшие у театра, так и не дождались сигнала Ирода, по которому должны были ворваться внутрь и перебить всех греков. Игры окончились, не начавшись. В толпе раздались рыдания и стоны, евреи рвали на себе одежду и посыпали головы пылью. Пронесся слух, что Ирод умирает. Его терзала ужасная боль, но он позвал во дворец к своей постели младшего брата Ирода Поллиона, и Хелка, и Тавмаста, и сына первосвященника и сказал им:

— Друзья, все кончено. Через пять дней я умру. Мне больше повезло, чем моему деду Ироду Великому — он жил еще восемнадцать месяцев после того, как его начала мучить боль. Мне не на что жаловаться. Я прожил хорошую жизнь. За то, что случилось, мне некого винить, кроме себя самого. В течение шести дней старейшины Израиля приветствовали меня как Помазанника Божия, а на седьмой я неразумно выслушал богохульство, не выразив за это порицания. И хотя я намеревался расширить Его царство до края земли, и очистить его, и вернуть заблудшие племена, и поклоняться Ему всю оставшуюся жизнь, однако за один этот грех я отвергнут, как был отвергнут мой прародитель Давид за его грех против Урии Хеттеянина. Теперь евреям придется ждать еще тысячу лет, пока появится новый, более святой Избавитель и исполнит то, что я исполнить оказался недостойным. Скажите союзным царям, что краеугольный камень выпал из основания и помощи от еврейского народа им теперь не ждать. Скажите им, что я, Ирод, умираю и приказываю им без меня не начинать войны против Рима, потому что без меня они — лодка без руля, копье без наконечника, сломанный лук. Хелк, проследи, чтобы к грекам не было допущено насилие. Забери обратно оружие, которое было секретно роздано евреям, спрячь его в арсенале Кесарии Филипповой и поставь сильную охрану. Верните грекам мечи, пусть снова несут свою службу. Тавмаст, мой верный слуга, проследи, чтобы все мои долги были полностью выплачены. Брат мой Ирод, позаботься, чтобы с моей дорогой женой Кипридой и дочерьми Друзиллой и Мариам не случилось никакой беды, а главное — постарайся не допустить еврейский народ до какого-нибудь безрассудства. Приветствуй от моего имени евреев Александрии и попроси их простить меня за то, что я возбудил в них такие возвышенные надежды, а затем так глубоко их разочаровал. А теперь идите, да будет с вами Бог. Я больше не могу говорить.

Десятки тысяч евреев, надев власяницы, пали ниц на землю вокруг дворца, хотя стояла ужасная жара. Ирод Агриппа увидел их из окна верхней комнаты, где была его постель, и разразился рыданиями.

— Бедные евреи, — сказал он. — Вы ждали тысячу лет, и теперь вам придется ждать еще тысячу, а может быть, и две тысячи лет, пока наступит день вашей славы. Рассвет оказался ложным. Я обманул сам и обманул вас.

Он велел принести бумагу и, пока еще был в силах держать перо, написал мне письмо. Оно лежит сейчас передо мной вместе с остальными, которые я от него получал, и я не могу без слез сравнивать его почерк — все прежние написаны

решительно и четко, строка идет под строкой ровно, как ступени лестницы, а это нацарапано вкривь и вкось, каждая буква искажена, перекошена терзавшей его болью, как в признаниях преступников после того, как их вздернули на дыбу или хлестали плетью-девятихвосткой. Письмо было короткое:

«Мое последнее письмо: я умираю. В моем теле кишат черви. Прости твоего стариннейшего друга Разбойника, который любил тебя от всего сердца и при этом замыслил отобрать у тебя Восток. Почему я это сделал? Потому что Иафет и Сим могут жить, как братья, но каждый должен быть хозяином в своем доме. Запад остался бы в твоих руках от Родоса до Британии. Ты смог бы избавить Рим от всех богов и обычаев Востока: тогда и только тогда к вам вернулись бы те свободы былых времен, которые ты так высоко ценишь. Я потерпел неудачу. Я играл в слишком опасную игру. Мартышечка, ты глупец, но я завидую твоей глупости, это разумная глупость. И вот теперь, лежа на смертном одре, я прошу тебя: не вымещай свой гнев на моей семье. Сын мой Агриппа невинен, он ничего не знает о моих честолюбивых планах, так же как и дочери. Киприда изо всех сил старалась отговорить меня. Лучшая линия поведения сейчас для тебя — сделать вид, будто ты ничего не подозреваешь. Обращайся со своими восточными союзниками так, словно они по-прежнему тебе верны. Что они без Ирода? Гадюки, но с вырванным жалом. Мне они доверяли, но Парфии нет. Что до моих владений, сделай их вновь римскими провинциями, какими они были при Тиберии. Не оскорбляй моей чести, возвращая их Антипе. Назначать Агриппу моим преемником было бы опасно, но ради меня сделай что-нибудь в знак уважения к нему, ведь он мой сын. Не присоединяй моих земель к Сирии под начало моего врага Марса. Правь ими сам, Мартышечка. Поставь там губернатором Феликса. Феликс — никто, он не совершит там ничего особенно умного, но и ничего особенно глупого. Надо кончать, перо падает из пальцев. Меня терзает ужасная боль. Не горюй обо мне. Я прожил прекрасную жизнь и жалею лишь об единственном своем безрассудстве — о том, что недооценил гордости, мощи и зависти вечно сущего Бога Израиля, что осмелился Ему противостоять, как какой-то глупый философствующий грек из Гадары. Прощай, Тиберий Клавдий, мой друг; я люблю тебя так искренно, что ты и представить себе не можешь. В последний раз прощай, Мартышечка, друг моего детства, и никому не верь — никто возле тебя не заслуживает твоего доверия.

Твой умирающий друг Ирод Агриппа по прозвищу Разбойник»

Перед самой смертью Ирод вновь призвал к себе Хелка и Тавмаста и своего брата Ирода Поллиона и сказал им:

— Исполните мою последнюю волю. Пойдите в тюрьму к Силе и скажите ему, что я умираю. Скажите, что меня поразила Иродова немочь. Напомните ему о той клятве, которую я опрометчиво дал в Александрии в доме алабарха Александра. Расскажите о том, как я корчусь от мук. И попросите простить меня, если я причинил ему зло. Скажите, что он может прийти повидать меня и вновь пожать мне руку в знак дружбы. Затем поступите с ним, как сочтете нужным, в зависимости от его ответа.

Они пошли в тюрьму и застали Силу в его темнице с дощечкой для письма на коленях. Увидев их, Сила кинул ее лицевой стороной на пол. Тавмаст сказал:

— Сила, если эта дощечка полна упреков к твоему царю и господину Ироду Агриппе, хорошо, что ты бросил ее на пол. Когда мы скажем тебе, в каком состоянии наш царь, ты не удержишься от слез. Ты пожалеешь, что когда-либо даже единым словом упрекал и порочил его на людях, так как не умеешь держать язык за зубами. Он умирает, умирает в мучениях. Он болен Иродовой немочью, на которую опрометчиво обрек сам себя в Александрии, призвав на себя эту кару, если когда-нибудь оскорбит Всевышнего.

— Я знаю, — сказал Сила, — я был с ним, когда он давал клятву и потом предупреждал его...

— Помолчи, пока мы не передадим всего, что велел царь. Царь говорит: «Расскажите Силе о том, как я корчусь от мук, и попросите его простить меня, если я причинил ему зло. Он может, если хочет, покинуть тюрьму и прийти с вами во дворец. Я буду рад еще раз пожать его руку в знак нашей дружбы, прежде чем умру».

Сила сказал хмуро:

— Вы — евреи, а я — всего лишь презренный самаритянин, так что, видимо, ваше посещение для меня честь. Но я вот что скажу вам о нас, самаритянах: мы ценим свободную речь и честные поступки превыше того мнения, хорошего или плохого, которое наши соседи евреи соблаговолят иметь о нас. Что до моего бывшего друга и господина царя Ирода Агриппы, если он страдает от мук, пусть винит самого себя за то, что не слушал моих советов...

Хелк обернулся к царю Ироду Поллиону:

— Смерть?

Сила спокойно продолжал:

— Три раза я спасал ему жизнь, но на этот раз я ничего не могу для него сделать. Его судьба в руках Всевышнего. А что до его дружбы, как вы назовете друга, который...

Хелк выхватил дротик у солдата, стоявшего у дверей на страже, и вонзил в живот Силе. Тот и не пытался увернуться.

Он умер в тот самый миг, когда, измученный пятью днями непрерывной боли, к несказанному горю и ужасу всего еврейского народа, умер на руках Киприды сам царь Ирод Агриппа.

К этому времени то, что произошло с Иродом, ни для кого не было тайной. Казалось, проклятие распространилось на всех евреев и они лишились всякой силы духа. Греки ликовали. Полки, которым по приказу Ирода Хелк вернул оружие, вели себя самым бесстыдным и мерзким образом. Они напали на дворец и схватили Киприду и ее дочерей, намереваясь провести их в шутовской процессии по улицам Кесарии. Киприда выдернула из рук солдата меч и убила себя, но девочки были вынуждены надеть вышитые платья и сопровождать греков, мало того — присоединиться к гимнам, в которых те благодарили богов за смерть их отца. А потом девочек отвели в полковые бордели и там, на крышах домов, подвергли самому грубому и неpotребному насилию. И не только в Кесарии, но и в греческом городе Самарии на площадях устраивали пиры, и греки, украсив головы гирляндами и умастив тела благовониями, пили и ели до отвала и провозглашали тосты, совершая возлияния Перевозчику. Евреи даже не пытались поднять на них руку или возвысить голос в знак протеста. Нельзя идти против закона и оказывать помощь тому, кого проклял Бог. Они считали, что Божье проклятие поражает не только самого человека, но и его детей. Дочерям Ирода было всего шесть и десять лет, когда над ними так надругались.

Глава XXIV

Сегодня ровно десять лет со дня смерти Ирода, и я расскажу, как можно короче, о том, что произошло на Востоке за эти годы; хотя Восток не представляет теперь особого интереса для моих читателей, добросовестность не позволяет мне оставить ниши в этом повествовании. Марс, услышав о смерти Ирода, тут же приехал в Кесарию и восстановил там порядок, так же как и в Самарии. Он назначил во владения Ирода временного губернатора, некоего Фада, римского всадника, который вел коммерческие дела в Палестине и сам был женат на еврейке. Я утвердил это назначение, и Фад принялся действовать с надлежащей твердостью. Оружие,

розданное в свое время евреям, было возвращено Хелку не все; гилеадцы приберегли его, чтобы пускать в ход против восточных соседей, арабов из Раббот Амона; много оружия осталось у жителей Иудеи и Галилеи, где появились разбойничьи банды, приносящие стране немалый вред. Однако Фад с помощью Хелка и царя Ирода Поллиона, стремившихся доказать свою верность, арестовал вожakov гилеадцев, разоружил их приверженцев, а затем выловил одну за другой все бандитские шайки.

Союзные цари Понта, Коммагены, Малой Армении и Итурии последовали совету Ирода, переданному через брата, и вернулись под эгиду Рима, извинившись перед Варданом за то, что не пришли во главе своих армий на встречу с ним у границ Армении. Однако Вардан продолжал двигаться на запад: он твердо решил захватить Армению обратно. Марс послал ему из Антохии строгое предупреждение, где говорилось, что война с Арменией повлечет за собой войну с Римом. После чего царь Адиабены сказал Вардану, что не станет присоединяться к походу, так как его дети находятся в Иерусалиме и римляне схватят их в качестве заложников. Вардан объявил ему войну и уже готов был вторгнуться на его территорию, когда услышал, что Готарз собрал новую армию и возобновил свои претензии на парфянскую империю. Вардан повернул назад, и на этот раз бой между братьями на берегах реки Харинды, неподалеку от южного побережья Каспийского моря, шел до победного конца. Готарз был разбит и спасся бегством в страну даханцев, лежащую в четырехстах милях к востоку. Вардан преследовал его по пятам, но, разбив даханцев, его победоносная армия, как он ни настаивал, отказалась идти дальше, поскольку он вышел за пределы империи. Вардан вернулся на следующий год и уже был готов вторгнуться в Адиабену, как был убит парфянской знатью: его заманили в засаду, когда он был на охоте. Я вздохнул с облегчением, узнав, что его убрали с пути. Вардан был человек очень способный и на редкость энергичный.

Тем временем истек срок службы Марса, и я был очень рад его возвращению в Рим — я ценил его советы. В Сирию на его место я послал Кассия Лонгина. Он был известным юристом — я часто консультировался с ним по сложным правовым вопросам — и бывшим деверем моей племянницы Друзиллы. Когда известие о смерти Вардана достигло Рима, Марс не выразил удивления: похоже, он имел касательство к заговору. Он посоветовал мне послать в Парфию в качестве претендента на трон Мегердата, сына прежнего парфянского царя, — он уже много лет жил заложником в Риме. Марс сказал, что может гарантировать поддержку Мегердата теми, кто убил Вардана. Однако в Парфии во главе даханской армии вновь появился Готарз, и убийцы Вардана были вынуждены присягнуть ему на верность, поэтому Мегердату пришлось остаться в Риме до тех пор, пока не представится более удобный случай отправить его на Восток. Марс считал, что ждать этого придется недолго: Готарз был жестокий, капризный и трусливый человек, вряд ли знать Парфии долго будет ему верна. Марс оказался прав. Не прошло и двух лет, как ко мне прибыло секретное посольство от именитых людей Парфянской империи, включая царя Адиабены, с просьбой прислать им Мегердата. Я согласился на это, дав о нем наилучший отзыв. В присутствии послов я предостерегал его против деспотизма, убеждал смотреть на себя просто как на главного судью своего народа, а на народ — как на своих сограждан; к сожалению, справедливость и милосердие никогда еще не были в ходу у парфянских царей. Я отправил его в Антиохию, и Кассий Лонгин проводил его до Евфрата и посоветовал немедленно идти дальше в Парфию: он получит трон, если будет действовать решительно и быстро. Однако царь Осроены, мнимый союзник, а на самом деле тайный приверженец Готарза, намеренно задержал Мегердата при своем дворе, устраивая роскошные представления и охоты, а затем порекомендовал Мегердату идти через Армению кружным путем, а не отваживаться на прямой бросок через Месопотамию. Мегердат

последовал этому коварному совету, что дало Готарзу время подготовиться к его приходу, ведь, продвигаясь с армией по покрытому снегом Армянскому высокогорью, Мегердат потерял несколько месяцев. Пройдя Армению, он спустился по Тигру и захватил Ниневию и еще несколько важных городов. Царь Адиабены приветствовал Мегердата, когда он подошел к его границам, но тут же оценил его как «тряпку» и решил оставить его, как только представится возможность. Поэтому, когда армии Готарза и Мегердата встретились в бою, цари Осроены и Адиабены неожиданно бросили его одного. Он храбро сражался и чуть не победил, так как Готарз был настолько труслив, что его генералам пришлось приковать его к дереву, чтобы он не сбежал с поля боя. В конце концов Мегердат все же был взят в плен, и доблестный Готарз любезно отправил его обратно к Кассию, в насмешку отрезав ему уши. Вскоре Готарз умер. Последующие события в Парфии вряд ли заинтересуют моих читателей больше, чем они заинтересовали меня, а это значит: нисколько.

Митридат какое-то время удерживал трон Армении, но в конце концов был убит племянником, сыном своего брата, царя Грузии. Это довольно любопытная история. Царь Грузии управлял страной в течение сорока лет, и его старшему сыну надоело ждать, когда он умрет и освободит трон. Зная характер сына и опасаясь за собственную жизнь, царь посоветовал ему захватить трон Армении, более крупного и богатого царства, чем Грузия. Сын согласился. Тогда отец сделал вид, будто они поссорились, и сын спасся бегством в Армению, под защиту Митридата, который оказал ему сердечный прием и отдал свою дочь в жены. Тот немедленно начал происки против своего благодетеля. Он вернулся в Грузию, притворившись, будто помирился с отцом, который затем завязал ссору с Митридатом и приказал сыну выступить с войском для захвата страны. Римский полковник, бывший политическим советником Митридата, предложил устроить встречу Митридата и его зятя, и Митридат согласился на это, но в ту самую минуту, когда договор о ненападении должны были скрепить печатью, на него вероломно напали грузинские солдаты и задушили его одеялами. Услышав об этом чудовищном преступлении, губернатор Сирии созвал офицеров своего штаба, чтобы решить, не следует ли отомстить за Митридата, послав в Грузию, где править стал теперь его зять, карательную экспедицию, но, по-видимому, большинство сошлось во мнении, что чем более предательски ведут себя правители восточных стран, граничащих с Римской империей, чем больше крови там льется, тем лучше для нас — безопасность Рима зиждется на взаимном недоверии наших соседей — и нам не следует ничего делать. Однако, желая показать, что он не одобряет это убийство, губернатор отправил царю Грузии официальное письмо, приказывая ему отвести из Армении войска и отозвать сына. Когда парфяне услышали об этом письме, они сочли, что им представился подходящий случай отвоевать обратно Армению. Они вторглись в страну, новый царь спасся бегством, но затем им пришлось прервать экспедицию, так как зима была на редкость суровой и они потеряли много людей из-за обморожения и болезней, и царь вернулся и... Но к чему продолжать? Все рассказы о Востоке похожи один на другой — бессмысленное, безостановочное движение взад и вперед, из стороны в сторону, редко когда — так редко, что и в расчет брать нельзя — там появляется человек, который укажет цель и направление этому процессу. Ирод Агриппа был одним из таких людей, но он умер прежде, чем смог дать бесспорное доказательство своего гения.

Что до упований иудеев на Мессию, они было вновь вспыхнули во время губернаторства Фада благодаря некоему Теуду, магу из Гилеада, у которого появилось много приверженцев; он велел им следовать за собой к Иордану, где он, подобно пророку Елисею, прикажет водам расступиться, и они пройдут, не замочив ног, на другой берег, чтобы овладеть Иерусалимом. Фад отправил через реку эскадрон кавалерии, который атаковал исступленную толпу. Теуд был схвачен и

обезглавлен. (Больше претендентов на этот титул не появлялось, хотя, надо признать, секта последователей Иешуа, сына Иосифа, или иначе Иисуса, о которой писал мне Ирод, судя по всему сильно возросла даже здесь, в Риме; ко мне поступил донос на жену Авла Плавтия, где ее обвиняли в том, что она участвовала в вечере братства; но Авл был в Британии, и я ради него замаял это дело.) Задача Фада в Палестине еще затруднялась тем, что в стране случился сильный неурожай, а казна Ирода была почти пуста (и неудивительно при том, как он тратил деньги): купить зерно в Египте и тем облегчить бедственное положение было не на что. Однако Фад организовал комитет помощи среди евреев, и они сумели изыскать средства, чтобы как-то пережить зиму, но на следующее лето опять был недород, и если бы не мать царя Адиабены, отдавшая все свое богатство до последней монеты на покупку зерна в Египте, сотни тысяч евреев умерли бы от голода. Евреи рассматривали этот голод как месть Бога всему народу за грех Ирода Агриппы. Во втором недороде была вина не столько погоды, сколько еврейских крестьян: они так пали духом, что не стали сеять зерно, которым их снабдил преемник Фада (сын алабарха Александра, тот самый, что изменил иудаизму), а съедали его или даже оставляли прорасти в мешках. Евреи удивительный народ. Во время губернаторства некоего Кумана, которое последовало затем, в Иудее были большие беспорядки. Боюсь, что назначение Кумана на Восток оказалось ошибкой. Его правление началось с трагедии: опираясь на римский прецедент, он разместил батальон регулярной пехоты в галереях храма для поддержания порядка во время великого еврейского праздника Пасхи, и один из солдат, имевший зуб против евреев, спустил штаны во время самой сокровенной части службы и выставил на обозрение молящихся свои половые органы, крикнув с издевкой: «Эй, евреи, гляньте сюда. Неплохая картинка, стоит посмотреть!» Это вызвало всеобщее возмущение; евреи обвинили Кумана в том, что он приказал солдату устроить эту провокационную и крайне глупую демонстрацию. Естественно, Куман рассердился и велел толпе успокоиться и, как положено, продолжать свой праздник, но крики становились все более угрожающими. Куман решил, что в создавшихся обстоятельствах одного батальона мало. Чтобы внушить толпе страх, он вызвал весь гарнизон, что, по моему мнению, было большой ошибкой. Улицы Иерусалима очень узкие и кривые, к тому же их переполняли толпы паломников, как обычно собравшихся со всего света на праздник Пасхи. Раздался вопль: «Идут солдаты! Спасайтесь!» Люди кинулись врассыпную. Если кто-нибудь спотыкался и падал, его топтали ногами, и на перекрестках, где сталкивались два потока, напор сзади был так велик, что тысячи людей были раздавлены насмерть. Солдаты даже не вынули мечи из ножен, а из-за паники погибло не менее двадцати тысяч евреев. Бедствие было таким огромным, что последний день праздника не стали отмечать. А затем, когда толпа рассеялась и все начали расходиться по домам, группа галилеян случайно догнала в пути одного из моих египетских сборщиков налогов, который ехал из Александрии в Акру за деньгами, которые причитались в императорскую казну. Он занимался кое-какими коммерческими делами на стороне, и галилеяне отобрали у него шкатулку с драгоценностями. Когда Куман услышал об ограблении, он предпринял карательные меры по отношению к деревням, расположенным поблизости от того места, где это произошло (на границе между Самарией и Иудеей), оставив без внимания тот факт, что бандиты, судя по их речи, были из Галилеи и находились здесь случайно. Куман отправил команду солдат с приказом разграбить эти деревни и арестовать их старейшин. Так и было сделано, и во время грабежа кому-то из солдат попала в руки книга Моисеева Закона. Он принялся размахивать ею над головой, а затем стал читать вслух священное писание, пародируя его самым непристойным образом. Евреи завопили от ужаса и кинулись к нему, чтобы отобрать у него книгу. Но он со смехом пустился бежать, разрывая пергамент на куски и бросая из на землю. Страсти так разгорелись, что Куман был

вынужден казнить солдата, чтобы предостеречь его товарищей и выказать расположение евреям.

Месяца два спустя галилеяне пошли в Иерусалим на какой-то другой праздник, и жители самаритянской деревни не разрешили им через нее пройти из-за предыдущего инцидента. Галилеяне настаивали, началась драка, несколько из них было убито. Оставшиеся обратились к Куману с жалобой, но их претензии не были удовлетворены. Куман сказал, что самаритяне вправе запретить им идти через свою деревню. Почему было не обойти ее полями? Глупые галилеяне позвали на помощь известного бандита и отомстили самаритянам, разорив с его помощью несколько деревень. Куман вооружил их жителей и силами четырех батальонов самаритянского гарнизона нанес удар по участникам набега, убив и захватив в плен многих из них. Спустя некоторое время к губернатору Сирии прибыла делегация самаритян с просьбой отомстить за них галилеянам, — не тем, прежним, а другим, — обвиняя их в том, что они подожгли их деревни. Губернатор лично поехал в Самарию, решив покончить с этой распрей раз и навсегда. Он приказал распять взятых в плен галилеян, а затем стал тщательно расследовать первопричину беспорядков. Он обнаружил, что галилеяне имели право прохода через Самарию и что Куману следовало наказать самаритян, а не поддерживать их и что его карательные меры по отношению к еврейским и самаритянским деревням за преступление, совершенное галилеянами, были неоправданы; и далее, что первый шаг, который привел к нарушению общественного порядка, — непристойное поведение римского солдата во время Пасхи, — был поддержан командиром батальона, который, громко рассмеявшись, сказал, что, если евреям не нравится это зрелище, их никто не заставляет смотреть. Тщательно изучив все факты, губернатор пришел также к выводу, что самаритянские деревни были сожжены самими жителями и что требуемая ими компенсация во много раз больше, чем уничтоженная пожаром собственность. Прежде чем поджечь дома, из них вынесли все сколько-нибудь ценное. Поэтому губернатор отправил Кумана, командира батальона, самаритян, предъявивших иск галилеянам, и ряд свидетелей-евреев ко мне в Рим, и я расследовал их дело. Улики были противоречивы, но в результате я пришел к такому же заключению, что и губернатор. Я сослал Кумана на Черное море; самаритянских истцов приказал казнить за ложь и поджигательство, а полковника, который смеялся в храме, велел отвезти обратно в Иерусалим и провести по всем улицам города, чтобы жители могли осыпать его проклятиями, а затем казнить на месте преступления — я считаю преступлением когда офицер, чей долг поддерживать порядок на религиозном празднестве, сознательно разжигает страсти толпы, в результате чего гибнут двадцать тысяч невинных жителей.

Сместив Кумана, я вспомнил совет Ирода и назначил губернатором Феликса; это было три года назад, и он все еще в Иудее: ему приходится несладко, потому что в стране очень тревожно и она наводнена бандитами. Он женился на самой младшей из дочерей Ирода; она была женой царя Хомса, но ушла от него. Другая дочь вышла за сына Хелка. Ирод Поллион умер. Младшего Агриппу, который в течение четырех лет после смерти его дяди управлял Халкидой, я сделал царем Башана.

В Александрии три года назад снова были волнения и немало людей погибло. Я расследовал это, не выезжая из Рима, и выяснил, что греки, как и раньше, провоцировали евреев, нарушая их религиозные церемонии. Я наказал их соответствующим образом.

Ну, хватит о Востоке. Пожалуй, сейчас будет уместно завершить также мой отчет о событиях в других частях империи, чтобы иметь возможность уделить все внимание тому, что происходило в Риме, — это для меня куда важнее.

Примерно в то же время, когда парфяне прислали ко мне делегацию с просьбой дать им царя, то же сделали херуски — большая германская конфедерация, которой

раньше правил Германн. Его убили собственные родичи за попытки повелевать свободным народом на восточный лад; затем между двумя главными убийцами, его племянниками, вспыхнула вражда, приведшая к длительной гражданской войне, в результате которой весь царский род херусков был уничтожен, за одним исключением. Это был Италик, сын Флавия, брата Германца. Флавий остался верен Риму, когда Германн вероломно завел в засаду и перебил три полка Вара, и погиб от руки брата несколько лет спустя, будучи на службе у Германика. Италик родился в Риме и, как и его отец, состоял в благородном сословии всадников. Этот красивый и способный юноша получил хорошее римское образование, но, предвидя, что может прийти день, когда он займет трон херусков, я настоял, чтобы он научился пользоваться не только римским, но и германским оружием и досконально изучил родной язык и германское право; его наставниками были мои телохранители. Они научили его также пить пиво: германский принц, который не может пить наравне со своими танами, считается слабаком.

И действительно, в Рим прибыла делегация херусков, испрашивая Италика в короли. В самый первый день по приезде из-за них поднялась большая суматоха в Театре. Никто из послов раньше не бывал в Риме. Они пришли ко мне во дворец, и им сказали, что я в Театре. Поэтому они последовали за мной туда. Играли комедию Плавта «Угрюмец», и все следили за представлением, затаив дыхание. Германцев провели на общественные места, не очень хорошие, откуда почти ничего не было слышно. Усевшись, они принялись озира́ться вокруг и спрашивать громкими голосами: «А это почетные места?»

Служители пытались шепотом убедить их в том, что места почетные.

— А где сидит цезарь? Где его главные таны? — спросили они.

Служители указали вниз на места перед сценой.

— Вон цезарь. Но он сидит внизу только потому, что слегка глуховат. Ваши места — самые почетные во всем театре. Чем выше, тем почетней.

— А кто эти темнокожие люди с шапками в бриллиантах, которые сидят рядом с цезарем?

— Это послы из Парфии.

— Что такое Парфия?

— Большая империя на Востоке.

— Почему они сидят внизу? Разве это не достойные люди? Это потому, что они черные?

— Нет, нет, они очень достойные, — отвечали служители, — но, пожалуйста, не говорите так громко.

— Тогда почему они сидят на таких местах? — настаивали германцы.

(«Тише, тише!.. Успокойтесь там, дикари, нам ничего не слышно!..» — стали доноситься протесты.)

— Из уважения к цезарю, — солгали служители. — Они сказали: раз цезарь из-за своей глухоты вынужден сидеть так низко, они не позволят себе сидеть выше него.

— И вы думаете, мы позволим превзойти нас в вежливости какой-то несчастной кучке чернокожих?! — негодуяще вскричали германцы. — Пошли, братья! Все вниз!

Пьесу пришлось прервать на пять минут, пока они пробирались через переполненные зрителями скамьи и наконец с торжеством уселись среди весталок. Но намерения их были вполне похвальные, и я встретил их с тем почетом, какого они заслуживали. В тот же вечер за обедом я снизошел к их просьбе дать им Италика в короли; я был, естественно, очень рад, что мог выполнить их просьбу.

Я отправил Италика за Рейн с предостережением, которое было совсем не похоже на то, которым я напутствовал Мегердата, отправляя его за Евфрат, ведь парфяне и херуски отличаются друг от друга, по-моему, более, чем любые другие

народы в мире. Вот что я сказал Италику:

— Италик, помни, что тебя призвали повелевать свободным народом. Ты получил воспитание в Риме и привык к римской дисциплине. Действуй с оглядкой, не ожидай от своих соплеменников того, чего ждет от подчиненных римский судья или генерал. Германцев можно убедить, но не принудить. Если римский командир говорит подчиненному: «Полковник, возьми столько-то людей в такое-то место, построите земляное укрепление такой-то длины, толщины и высоты», тот отвечает: «Слушаюсь, генерал», уходит без возражений, и через двадцать четыре часа укрепление готово. С херуском нельзя говорить в таком тоне. Он захочет узнать, почему надо воздвигнуть это укрепление, и против кого, и не лучше ли будет послать кого-нибудь другого, менее важного, чем он, для выполнения этой позорной задачи — земляные укрепления говорят о трусости, станет доказывать он, — и какие подарки он получит, если все же согласится выполнить по собственной воле эту просьбу? Искусство управлять твоими соотечественниками, мой дорогой Италик, состоит в том, чтобы никогда не давать им прямого приказа, но выражать свое пожелание, хоть и ясно, в виде совета, который диктует государственная политика. Пусть твои таны думают, что оказывают тебе милость — это для них лестно — тем, что исполняют твою волю по собственному почину. Если надо осуществить какую-нибудь неприятную или неблагодарную задачу, вызови соперничество между твоими танами, пусть каждый считает делом чести претворить ее в жизнь, и не забывай награждать золотыми браслетами и оружием за услуги, которые в Риме считали бы обычной служебной обязанностью. А главное, будь терпелив и никогда не выходи из себя.

Итак, он уехал, преисполненный, как некогда Мегердат, самых радужных надежд, и был хорошо принят большинством танов, тех, кто понимал, что не имеет никаких шансов на опустевший трон, и ревниво относился ко всем местным претендентам. Италик плохо знал внутреннюю политику херусков, и можно было рассчитывать, что он будет править, не принимая сторону той или иной партии. Но некоторые люди считали самих себя достойными трона и теперь временно забыли свои разногласия, чтобы объединиться против Италика. Они ждали, что, будучи неопытен в искусстве управления, Италик вскоре все запутает, но он разочаровал их, правя страной исключительно хорошо. Тогда они тайно связались с вождями союзных племен, настраивая их против этого «римского ставленника». «Древние германские свободы покинули нас», — говорили они. «Рим торжествует. Неужели среди нас нет ни одного рожденного здесь херуска, достойного трона, что мы разрешили сыну шпиона и предателя Флавия захватить у нас власть?» Этот призыв помог им собрать большую армию. Однако сторонники Италика заявили, что он не захватывал трон, что трон был предложен ему с согласия большинства племени и что он — единственный оставшийся в живых принц королевской крови и, хотя родился в Италии, он усердно изучал германский язык и досконально ознакомился с обычаями и оружием своей родной страны, что правит он справедливо и что отец его Флавий вовсе не предатель, — он поклялся в дружбе с Римом, которую одобрил весь народ, в том числе и его брат Германн, и, в отличие от Германца, не нарушил своей клятвы. А что касается древних германских свобод, то это все — лицемерная болтовня, и те, кто об этом говорят, не задумаются погубить всю нацию, вновь развязав гражданскую войну.

Из большой битвы между Италиком и его соперниками победителем вышел Италик, и победа его была настолько полной, что вскоре он забыл мой совет, ему надоело потакать независимости и тщеславию германцев, и он принялся командовать своими танами. Они немедленно выгнали его. Впоследствии Италик вновь захватил власть при помощи соседнего племени, а затем вновь был изгнан. Я не делал никаких попыток вмешаться: на западе, так же как на востоке, безопасность Римской империи в большой степени зависит от гражданских разногласий между

нашими соседями. Сейчас, когда я пишу эти строки, Италик снова король; он пользуется всеобщей ненавистью, хотя только недавно с успехом закончил войну с хаттами.

Примерно в то же время начались беспорядки в северных областях Германии. Неожиданно умер губернатор нижнерейнской провинции, и германцы из враждебных племен сразу начали набеги на нашу сторону Рейна. Их вождь был способным человеком того же типа, что нумидиец Такфаринат, причинивший нам столько неприятностей во время правления Тиберия. Подобно Такфаринату, он дезертировал из нашего вспомогательного полка, где нахватался порядочно сведений касательно военной тактики. Звали его Ганнаск, по национальности он был фриз. Свои военные операции он проводил в больших масштабах. Он захватил у нас несколько речных транспортных судов и стал заниматься морским разбоем у берегов Фландрии и Брабанта. Я назначил в провинцию нового губернатора по имени Корбулон, к которому не питал особой симпатии как к человеку, но талантами которого с благодарностью пользовался. В свое время Тиберий сделал его специальным уполномоченным по дорогам и вскоре получил скрупулезный отчет о мошенничествах подрядчиков и нерадивости местных судей, в чьи обязанности входило следить за состоянием дорог. Тиберий согласно отчету наложил на обвиненных Корбулоном людей огромный штраф, никак не соответствующий их вине, так как дороги пришли в плохое состояние еще при предыдущих судьях, а подрядчиков, о которых писалось в отчете, наняли только для починки самых плохих участков. Когда на смену Тиберию пришел Калигула и через некоторое время почувствовал нужду в деньгах, он воспользовался в числе прочих трюков и уловок отчетом Корбулона и взыскал со всех судей и подрядчиков, которые занимали свои должности до тех, кого оштрафовал Тиберий, такой же штраф, причем взять его поручил самому Корбулону. Став преемником Калигулы, я вернул эти штрафы, удержав лишь суммы, необходимые для ремонта дорог, — примерно одну пятую всего количества. Калигула, естественно, употребил деньги отнюдь не для починки дорог, Тиберий также, и они пришли в ужасное состояние. А я действительно привел их в порядок и установил специальные дорожные правила, ограничивающие движение на сельских дорогах тяжелых частных экипажей, от которых куда больше вреда, чем от фургонов, привозящих в Рим продукты. Я считаю несправедливым, чтобы провинции расплачивались за роскошь и удовольствия богатых римских бездельников. Если состоятельные римские всадники желают посетить свои поместья, пусть используют портшезы или едут верхом.

Но я говорил вам о Корбулоне. Я знал, что он человек жестокий и пунктуальный, а гарнизону Нижней провинции как раз и был нужен придирчивый и строгий начальник, чтобы восстановить дисциплину; предыдущий губернатор, который недавно скончался, был слишком добродушный и беззаботный, к тому же с ленцой. Прибытие Корбулона в штаб-квартиру в Кельне очень напоминало прибытие Гальбы в Майнц. (Гальбу я назначил теперь губернатором в Африку.) Караульного солдата, стоявшего на посту у ворот лагеря он велел подвергнуть порке за неподобающий вид. Тот был небрит, давно не стрижен, и его форменный плащ был кричащего желтого цвета вместо положенного по уставу красно-коричневого. Вскоре после того Корбулон казнил двух солдат за то, что они «бросили оружие перед лицом врага»: они копали окоп и оставили мечи в палатке. Это напугало войска и заставило быть поживее, и когда Корбулон начал военные действия против Ганнаска и доказал, что он — способный полководец, а не только приверженец строгой дисциплины, солдаты стали делать все, что он от них требовал. Солдаты, во всяком случае старые солдаты, предпочитают генерала, на которого можно положиться, как бы он ни был строг, неопытному и неумелому, как бы он ни был гуманен.

Корбулон, используя наши военные суда, догнал и потопил пиратский флот

Ганнаска, а затем высадился на берег и принудил фризов дать заложников и поклясться в верности Риму. Он написал для них конституцию по римскому образцу, построил крепость на их территории и укомплектовал ее нашими людьми. Пока все шло хорошо, но Корбулон не остановился на этом, а пошел на земли больших хавков, которые не участвовали в набегах. Он услышал, что Ганнаск укрылся в одном из хавкийских храмов и послал туда эскадрон кавалеристов, чтобы выследить его и убить на месте, что было оскорблением хавкийских богов. Мало того, после убийства Ганнаска тот же самый эскадрон направился к Эмсу и там, в Эмсбурене, предъявил племенному совету хавков требования Корбулона немедленно покориться Риму и выплачивать огромную ежегодную дань.

Корбулон доложил мне о принятых им мерах, и я впал в настоящую ярость: он хорошо себя показал, избавившись от Ганнаска, но затевать ссору с хавками! Это было совсем другое дело. У нас не хватало войск для войны: если большие хавки призовут на помощь малых, а фризы снова поднимут бунт, мне придется послать в Германию крупные подкрепления, а взять их было негде из-за наших обязательств в Британии. Я написал Корбулону, приказывая немедленно отвести войска за Рейн.

Корбулон получил мой приказ до того, как хавки ответили на его ультиматум. Он рассердился на меня, полагая, что я завидую генералам, которые осмеливаются соперничать со мной в ратных подвигах. Он напомнил своим офицерам, что Гета в свое время не получил почестей, заслуженных им за блестящие завоевания в Марокко и захват в плен Салаба, и сказал, что, хотя я узаконил получение триумфа генералами, не принадлежащими к императорской семье, похоже, на практике никому, кроме меня, не будет предоставлена возможность вести кампанию, за которую по закону полагается триумф. Мои антидеспотические взгляды чистое притворство: я такой же тиран, как Калигула, только лучше это скрываю. Он сказал также, что я роняю престиж Рима, беря обратно угрозы, которые он посылал германцам от моего имени; теперь союзники станут над ним смеяться, не говоря уж о собственных войсках. Но это была всего лишь сердитая болтовня в кругу офицеров.

Войскам перед тем, как дать приказ об отступлении, он сказал так:

— Солдаты, Цезарь Август приказывает нам вернуться за Рейн. Мы еще не знаем, почему он так решил, и мы не можем ставить это под вопрос, хотя, должен честно признаться, лично я сильно разочарован. Как счастливы были римские генералы, возглавлявшие армии в старину!

Однако ему присудили триумфальные украшения, а я написал ему частное письмо, где отвечал на гневные обвинения, которые, говорил я, как мне передавали, он против меня выдвигал. Он на меня рассердился, ладно, писал я, я был не меньше сердит на него, когда услышал, что он провоцирует хавков на войну, и хотя у него не было оснований обвинять меня в зависти, я сам себя виню за то, что послал ему такую краткую депешу и не объяснил подробно причины, по которым отдал приказ отвести войска. Затем я привел эти причины. Корбулон ответил вежливым письмом, где извинился передо мной и взял обратно обвинения в деспотизме и зависти, и я полагаю, что мы поняли друг друга. Чтобы занять войска полезным делом и не дать солдатам времени зубоскалить над ним, он заставил их рыть между Маасом и Рейном канал в двадцать три мили длиной, который помешает морю периодически заливать эту плоскую местность.

С тех пор в Германии не случалось ничего достойного упоминания, если не считать нового набега хаттов, который был четыре года назад. Однажды ночью их большой вооруженный отряд пересек Рейн в нескольких милях к северу от Майнца. Нашими войсками в Верхней провинции командовал Секунд, тот самый консул, который так нерешительно себя вел, когда меня избрали императором. Считалось, что он лучший из теперешних римских стихотворцев. Лично я весьма низкого мнения о современных поэтах, так же как и о поэтах эпохи Августа, — в их поэзии нет

искренности. По-моему, последним из настоящих поэтов был Катулл. Возможно, без свободы нет и поэзии, возможно, при монархии настоящая поэзия умирает, и лучшее, на что можно рассчитывать, — это блестящая риторика и метрическая виртуозность. Что до меня, я променяю все двенадцать томов «Энеиды» Вергилия на одну книгу «Анналов» Энния. Энний, живший в дни расцвета римской республики и бывший близким другом великого Сципиона, — вот кого я считаю настоящим поэтом; а Вергилий всего-навсего искусный рифмоплет. Сравните их описание битвы: Энний пишет, как солдат, каковым он и был (начав рядовым, он дослужился до капитана), а Вергилий — как образованный зритель, наблюдающий бой с отдаленного холма. Вергилий много заимствовал у Энния. Кое-кто говорит, что он затмил неотшлифованный талант Энния гармоничностью и легкостью стиля. Чепуха! Это напоминает мне басню Эзопа о корошке и орле. У птиц было состязание, кто поднимется выше всех. Выиграл орел, но когда он устал и не мог взмыть выше, королек, который все это время сидел у него на спине, взлетел над ним на несколько футов и потребовал себе приз. Вергилий был лишь корошком по сравнению с орлом Эннием. И даже если говорить лишь о красотах языка, где вы найдете у Вергилия абзац, который по простоте, величию и благородству может сравняться с такими строками Энния:

Fraxinu frangitur afque abies consternitur alfa.
Pinus proceras pervortunt: omne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.

Повержен вяз, поваленная пихта
И царственные пинии лежат —
Лишь тыщи листьев и хвоинок еще дрожат.

Но они не поддаются переводу, и, во всяком случае, я не пишу трактат о поэзии. Однако, хотя стихи Секунда, на мой взгляд, так же неискренни и не достойны похвалы, как его поведение в сенате в тот знаменательный день, он вел себя достаточно решительно, когда хатты, в числе двух дивизий, вернулись после грабежа и разбоя на землях наших французских союзников. Победа не идет германцам на пользу, они теряют голову, в особенности если в их добычу входит вино: они льют его себе в глотку, как пиво, не учитывая различия в крепости. Полки Секунда окружили и разгромили обе дивизии, убив десять тысяч человек и столько же взяв в плен. Ему присудили триумфальные украшения, но триумфа я дать ему не мог, так как Секунд не удовлетворял правилам, согласно которым назначался триумф.

Не так давно я воздал подобные почести предшественнику Секунда, некоему Курцию Руфу, который, будучи всего лишь сыном гладиатора, поднялся в царствование Тиберия до ранга судьи первого класса. (Хотя на это место претендовали несколько высокородных и высокопоставленных римлян, Тиберий отдал ему это назначение, заметив: «Все так, но Курций Руф — сам свой прославленный предок».) Руф страстно хотел получить триумфальные украшения, но знал, что я не одобрю его, если он затеет ссору с врагом. Ему было известно о серебряной жиле, которую нашли при Августе в нескольких милях за Рейном незадолго до поражения Вара, и он отправил туда полк солдат для ее разработки. Прежде чем жила ушла на такую глубину, что серебро стало недостижимо, он добыл его столько, что хватило бы заплатить всей рейнской армии за два года службы. Безусловно, это стоило триумфальных украшений. Однако солдаты нашли, что добывать серебро — дело очень утомительное, и написали мне забавное письмо от имени всей армии:

«Верные войска Клавдия Цезаря шлют ему наилучшие пожелания и от всего сердца надеются, что он и его семья до конца их дней будут находиться в добром здравии. А также просят его, чтобы в дальнейшем он награждал своих генералов триумфальными украшениями до того, как отправить их командовать армией, тогда они не будут считать себя обязанными заслужить их, заставляя верные войска цезаря вкалывать до седьмого пота, разрабатывая серебряные жилы, роя каналы и делая прочую черную работу, которую куда больше пристало делать германским пленным. Если цезарь разрешит своим верным войскам перейти Рейн и взять в плен несколько тысяч хаттов, они с удовольствием это сделают, приложив все свое умение».

Глава XXV

45 г. н. э.

Через двенадцать месяцев после смерти Ирода я отпраздновал годовщину со дня моего британского триумфа; вспомнив разговоры, подслушанные мной на ступенях храма Кастора и Поллукса, я роздал деньги нуждающимся жителям города — по три золотых на человека, да еще ползолотого на каждого несовершеннолетнего ребенка. В одном случае мне пришлось выдать целых двенадцать с половиной золотых, но это объяснялось тем, что в семье было несколько пар близнецов. При раздаче денег мне помогали молодой Силан и молодой Помпей. Я думаю, узнав, что к этому времени я отменил нелепые налоги, установленные Калигулой, и вернул людям все отнятое им, что в гавани Остии продолжались работы, так же как продолжалось строительство акведуков и осушение Фуцинского озера, и при этом я был в состоянии, никого не обманывая, дать римлянам в дар по три золотых, не нарушая баланса в государственной казне, вы согласитесь, что за эти четыре года я достиг больших успехов.

Астроном Барбилл, о котором я упоминал в письме к александрийцам, сделав какие-то малопонятные математические расчеты, сообщил мне, что в мой день рождения ожидается затмение солнца. Это сильно меня испугало: затмение — одно из самых плохих предзнаменований, даже если оно случается в обычный день, а уж в мой день рождения, который совпадает с национальным праздником в честь Марса, оно сильно встревожит людей и придаст любому, кто захочет меня убить, веру в успех. Но затем я подумал: если я заранее всех предупрежу, люди отнесутся к этому иначе, они не станут пугаться, напротив, им будет лестно, что они знают о предстоящем затмении и понимают суть этого феномена.

Я выпустил следующее обращение:

«Тиберий Клавдий Друз Нерон Цезарь Август Германик Британик, император, отец отчизны, великий понтифик, защитник народа пятый год подряд, трехкратный консул приветствует сенат, римский народ и союзников.

Мой хороший друг Тиберий Клавдий Барбилл из Эфеса сделал некоторые астрономические расчеты, подтвержденные затем его коллегами астрономами Александрии, города, где эта наука достигла своего расцвета, и обнаружил, что в первый день августа сего года произойдет затмение солнца, в некоторых областях Италии — полное, в других — частичное. Я не хотел бы, чтобы вы впадали по этому поводу в панику, как то бывало в прежние времена, когда это естественное явление вызывало суеверные страхи. В старину это внезапное и необъяснимое событие считалось предупреждением богов: мол, подобно тому, как исчезли под покровом мрака животворящие солнечные лучи, так исчезнет на время счастье на

земле. Но теперь мы изучили природу затмений, мы даже можем предсказать, что „оно произойдет в такой-то и такой-то день“. И я думаю, все мы должны почувствовать гордость и облегчение от того, что былые страхи наконец рассеялись благодаря разумным толкованиям и доказательствам.

Вот как объясняют это явление мои ученые друзья: Луна, которая вращается по своей орбите ниже Солнца, или непосредственно под ним, или заслоненная от него планетами Меркурием и Венерой — это спорный вопрос, но он не относится к нашему предмету, — имеет долготное движение, подобно Солнцу, и вертикальное, которое, возможно, есть и у Солнца, но вот широтного движения Солнце не имеет ни при каких обстоятельствах, а у Луны оно есть. Когда благодаря этому широтному движению Луна оказывается на одной линии с Солнцем и проходит невидимо для нас под его сверкающим диском — невидимо, потому что Солнце так ярко, что Луна, как вы знаете, превращается в ничто, — тогда солнечные лучи, обычно падающие прямо на землю, оказываются заслоненными Луной. Для некоторых обитателей Земли затмение длится дольше, чем для других, — это зависит от того, где они живут; некоторые его совсем не видят. Главное то, что в действительности Солнце никогда не перестает светить, как полагают невежественные люди, и видно во всем своем великолепии тем, кому его не заслоняет Луна, проходя между ними и дневным светилом.

Вот в чем состоит причина затмения солнца — ее не труднее понять, чем то, почему в комнате станет на время темно, если вы прикроете рукой пламя свечи или лампы. (Затмение Луны, между прочим, вызвано тем, что она попадает в конусообразную тень, отбрасываемую Землей, когда Солнце находится по другую сторону, то есть тогда, когда Луна проходит через среднюю точку своего широтного движения.) Однако я требую, чтобы в тех местах, где затмение будет всего продолжительней (они обозначены на прилагаемой карте), судьи и прочие власти, отвечающие за порядок, приняли все меры предосторожности против общей паники и грабежа под прикрытием темноты, и препятствовали тому, чтобы люди смотрели на солнце во время затмения невооруженными глазами; смотреть можно только через кусочек рога или покрытого копотью стекла, иначе людям со слабым зрением это грозит слепотой».

Думаю, что я был первым правителем со времени сотворения мира, выпустившим подобное обращение, и оно пошло всем на пользу, хотя сельские жители, конечно, не поняли таких слов, как «долготное» и «широтное». Затмение началось точно в предсказанное время, и праздник прошел, как обычно, если не считать того, что Диане — богине луны и Аполлону — богу солнца были принесены особые жертвоприношения.

Я прекрасно себя чувствовал весь год, никто ни разу не покусился на мою жизнь, и единственный переворот, который попытались совершить, кончился самым позорным образом для его зачинщика. Им был Азиний Галл, внук Азиния Поллиона и сын первой жены Тиберия, Випсании, от Галла, за которого она затем вышла замуж и которого так ненавидел Тиберий, уморивший его в конце концов голодной смертью. Любопытно, как подходит некоторым людям им имя. «Галл» значит «петух», а «Азиний» — «осел», и Азиний Галл был поистине помесью осла и петуха по своей глупости и хвастливости — вряд ли вы нашли бы ему пару во всей Италии, ищи хоть целый месяц. Представьте только: не заручившись поддержкой войск, не имея достаточно денег, он вообразил, будто его «сильной» личности и благородного происхождения хватит, чтобы немедленно привлечь сторонников!

В один прекрасный день он появился на ростральной трибуне в центре рыночной площади и принялся разглагольствовать перед собравшейся толпой о порочности тирании, подробно останавливаясь на том, как Тиберий убил его отца, и

призывая вырвать с корнем род Цезарей и передать монархию тому, кто ее достоин. Из его туманных намеков толпа поняла, что Азиний Галл имеет в виду самого себя, и принялась смеяться и аплодировать. Он был очень плохой оратор и самый уродливый человек в сенате, не более четырех футов шести дюймов роста, с узкими покатыми плечами, большим длинным лицом, рыжеватыми волосами и крошечным ярко-красным носиком (он страдал несварением желудка), однако считал себя Адонисом и Геркулесом в одном лице. Я думаю, на всей рыночной площади не нашлось никого, кто принял бы его всерьез, отовсюду стали доноситься шутки, люди кричали: «*Asinus in fegulis*», «*Asinus ad lyram*» и «*Ex Gallo lac et ova*». («Осел на черепичной крыше» говорят в народе, когда внезапно появляется что-нибудь нелепое и смешное, «осел, играющий на лире» означает неумелое исполнение любого дела, а «петушиное молоко» и «петушиные яйца» — это бредовые надежды.) Однако ему продолжали аплодировать после каждой фразы, чтобы посмотреть, какую еще он выкинет глупость. И действительно, закончив свою речь, Галл попытался повести толпу во дворец, чтобы скинуть меня с трона. Они последовали за ним длинной процессией по восемь человек в ряд, но, не дойдя шагов двадцать до внешних дворцовых ворот, внезапно остановились, предоставив ему идти дальше в одиночку, что он и сделал. Часовые у ворот пропустили его без единого слова, ведь он был сенатор, и Азиний, выкрикивая по моему адресу угрозы, прошествовал вперед, и только попав во внутренние покои дворца, осознал, что он один. (Толпа бывает не только глупа и труслива, порой она остроумна и жестока.) Вскоре его арестовали, и хотя вся эта история была смешна и нелепа, я не мог посмотреть на нее сквозь пальцы: я отправил его в изгнание, но не дальше Сицилии, где у него были родовые поместья.

— Убирайся и кукарекай на своей навозной куче, или кричи «и-аа» на своем поле с чертополохом, выбирай любое, но чтобы я тебя больше не слышал, — сказал я уродливому злобному карлику.

Гавань в Остии все еще не была закончена, а у нас уже ушло шесть миллионов золотых. Самая трудная техническая задача заключалась в постройке острова между оконечностями двух огромных молв, и, хотите верьте, хотите нет, решил ее не кто иной, как я. Помните громоздкий корабль, построенный Калигулой для перевозки обелиска, на котором мы переправили в Британию верблюдов и слонов и доставили их обратно целыми и невредимыми? Он снова стоял в Остии; за это время он всего два раза покидал гавань, чтобы привезти из Египта цветной мрамор для постройки храма Венеры в Сицилии. Но капитан сказал мне, что судно становится непригодно к плаванию и он не рискнет снова выйти на нем в море. И вот однажды ночью, когда я лежал без сна, мне пришла в голову мысль: а что, если нагрузить его камнями и потопить? Это будет очень неплохое основание для острова. Но я тут же отказался от этой мысли — ведь не успеем мы нагрузить судно на четверть, как вода подступит к планширу, а стоит ему накрениться, все камни посыпятся в воду. Я подумал: «Вот была бы у нас под рукой Медуза Горгона, чтобы обратить весь корабль в одну колоссальную глыбу!» И эта причудливая мысль — мне часто в голову приходят такие фантазии, когда я крайне переутомлен, — породила поистине блестящую идею: почему бы не заполнить судно сравнительно легким цементом, а затем открыть люки и потопить его? В воде цемент твердеет.

Эта идея пришла мне в голову часа в два ночи, и я тут же хлопнул в ладоши, чтобы разбудить вольноотпущенника, и послал его за моим главным строителем. Примерно через полчаса — он жил на другом конце города — тот появился передо мной, едва переводя дух и дрожа всем телом: возможно, он ожидал, что его казнят за ту или иную оплошность. Я взволнованно спросил его, можно ли осуществить мой замысел, и с разочарованием услышал, что цемент недостаточно прочно застывает в морской воде. Однако приказал, чтобы в течение десяти дней он нашел способ этого

добиться.

— Десять дней, — сурово повторил я. — В противном случае...

Он подумал, что «в противном случае...» было угрозой, но, если бы ему не удалось ничего сделать, я объяснил бы ему свою шутку: я хотел всего лишь сказать, что «в противном случае нам придется отказаться от этого плана». Страх сделал его более сообразительным, и в результате недели самых безумных экспериментов он добился того, что цемент намертво застывал при соприкосновении с морской водой. Это был особый цемент — смесь обычного, получаемого из цементных карьеров в Кумах, с глиной, найденной в окрестностях Путеол, и теперь это громадное судно легло нерушимым монолитом на дне моря у входа в гавань на вечные времена. Сверху мы построили остров, используя огромные камни и этот же цемент, а на острове — высокий маяк. С верха башни каждую ночь светит сигнальный огонь; питает его скипидарное масло. Огонь отражается от больших листов полированной стали, что удваивает его яркость и направляет свет постоянным потоком на устье реки. Чтобы построить гавань, понадобилось десять лет и двенадцать миллионов золотых, и до сих пор еще ведутся работы в канале, но это великий дар городу, и пока мы — хозяева морей, Рим не будет голодать.

Казалось, для меня и Рима все идет хорошо. Страна процветала, народ был доволен, армии повсюду одерживали победы: Авл закреплял мое завоевание Британии, блестяще выигрывая один за другим бои со все еще не покоренными нами племенами белгов на юге и юго-западе страны; религиозные обряды исполнялись регулярно и пунктуально; нужды не было даже в беднейших кварталах города. Я сумел наконец расквитаться со своими задолженностями в суде и нашел способ окончательно решить ряд дел. Мое здоровье не оставляло желать лучшего. Мессалина казалась мне еще прекрасней. Дети росли крепкие и здоровые, маленький Британик был развит не по летам, чем всегда отличались (я — не в счет) дети из рода Клавдиев. Единственное, что меня огорчало, — тот невидимый барьер, который стоял между мной и сенатом и который я был не в силах сломать. Я делал все, чтобы выказать уважение к сословию сенаторов, в особенности к тем, кто имел полномочия консула, и к судьям первого класса, но ответом мне было подобострастие и подозрительность, которые я ничем не мог объяснить и не знал, как с ними бороться. Я решил возродить старинную должность цензора, обязанности которого блюсти мораль при империи перешли к императору, и в этой популярной некогда должности снова преобразовать сенат, избавившись от тех, кто ставил мне палки в колеса или просто не приносил никакой пользы. Я повесил в здании сената уведомление, где просил его членов обдумать собственные обстоятельства и решить, может ли он по-прежнему служить Риму в своем качестве сенатора и, если он чувствует, что не отвечает необходимым требованиям по материальному положению или способностям, отказаться от должности. Я намекнул, что те, кто не откажутся сами, будут с позором исключены. Я поторопил события тем, что разослал личные предупреждения сенаторам, которых намеревался вывести из сословия в случае, если они не уйдут по собственному почину. Таким образом, я избавил сенат от ста человек, а тех, кто остался, возвел в патрицианское достоинство. Это расширение сословия патрициев имело то преимущество, что увеличивало число кандидатов для высших жреческих постов, а также предоставляло больший выбор невест и женихов для членов старых патрицианских семей, так как четыре патрицианских рода, основоположниками которых были последовательно Ромул, Луций Брут, Юлий Цезарь и Август, практически вымерли один за другим. Казалось бы, чем богаче и могущественнее род, тем быстрее и пышнее он будет разрастаться, но в Риме дело обстояло иначе.

Однако даже эта чистка сената не принесла ощутимых результатов. Дебаты были чистым фарсом. Однажды, во время моего четвертого консульства, когда я

поставил на обсуждение некоторые правовые реформы, сенаторы отнеслись к этому так безучастно, что я был вынужден объясниться начистоту:

— Если вы одобряете мои предложения, сиятельные отцы, будьте добры сказать об этом сразу и не трать лишнего слов. Если не одобряете, внесите поправки, но сделайте это здесь и сейчас. И даже если вам нужно время, чтобы все обдумать, возьмите отсрочку, но помните — вы должны иметь свое мнение к тому дню, который будет назначен для дебатов. О каком достоинстве сената может идти речь, если консулы слово в слово повторяют высказывания друг друга; вы, когда очередь доходит до вас, не находите, что сказать, кроме как «я согласен», а в протоколах заседания будет записано: «Во время прений...»

В знак уважения к сенату я также вернул Грецию и Македонию в список сенатских провинций: мой дядя Тиберий сделал их императорскими. И восстановил право сената чеканить медную монету для обращения в провинциях, как это было при Августе. Ничто не вызывает такого уважения к верховной власти, как деньги; на золотых и серебряных монетах чеканили мой профиль, ведь, в конце концов, я был император и фактически отвечал почти за все управление страной, но на медяках вновь появилось знакомое всем «S. C.», а медь — это самая древняя, самая нужная и количественно самая важная разменная монета.

Непосредственным поводом для чистки сената послужило дело Азиатика.

46 г. н. э.

Однажды ко мне пришла Мессалина и сказала:

— Помнишь, ты спрашивал себя, не кроется ли за отказом Азиатика от должности консула что-нибудь еще, кроме приведенной им причины, будто бы люди завидуют ему и подозревают неизвестно в чем — ведь его назначают вторично?

— Да, похоже, было, за этим стояло что-то еще.

— Так оно и есть. Я сейчас скажу тебе то, что мне следовало сказать уже давно: Азиатик страстно влюблен в жену Корнелия Сципиона. Что ты об этом думаешь?

— В Поппею? Эту молодую женщину с прямым носиком и дерзким взглядом? О да, она очень привлекательна. А что она сама об этом думает? Азиатик не молод и не красив, как ее муж, он лыс и тучен, но, спору нет, он самый богатый человек в Риме, а его сады — чудо!

— Боюсь, что Поппея скомпрометировала себя с Азиатиком. Ладно, буду говорить начистоту. Несколько недель назад Поппея пришла ко мне — ты ведь знаешь, как мы с ней дружны, вернее, как были дружны, — и сказала: «Мессалина, душечка, я хочу попросить тебя об очень большой услуге. Обещай никому не открывать того, о чем я тебя попрошу». Разумеется, я обещала. «Я влюбилась в Валерия Азиатика и не знаю, как мне быть. Мой муж ужасно ревнив, и если он узнает, он меня убьет. Главная помеха в том, что мой брачный контракт заключен по всей форме, а ты сама знаешь, как трудно в этом случае получить развод, если муж не пойдет навстречу. Прежде всего, теряешь детей. Как ты думаешь, ты не могла бы мне помочь? Не могла бы попросить императора поговорить с моим мужем, чтобы он дал мне развод и я вышла за Азиатика?»

— Я надеюсь, ты не сказала ей, что меня можно к этому склонить. Ох уж эти женщины...

— О нет, милый, напротив. Я сказала, что, если она никогда больше и словом не обмолвится об этом предмете, я постараюсь, ради былой дружбы, забыть то, о чем она просила, но если до меня донесутся хоть какие-то слухи и я узнаю, что они с Азиатиком по-прежнему ведут себя неподобающе, я тут же пойду к тебе.

— Молодец. Я рад, что ты так сказала.

— Вскоре после этого Азиатик отказался от консульства и — помнишь? — попросил разрешения сената посетить свои владения во Франции.

— Да, и пробыл там довольно долго. Стараясь забыть Поппею, полагаю. На юге Франции множество хорошеньких женщин.

— Ничего подобного. Все это время я следила за Азиатиком. Во-первых, он принялся дарить дорогие денежные подарки гвардейским капитанам, сержантам и знаменосцам. Он говорит, что делает это из благодарности за их верность тебе. Это, по-твоему, правдоподобно звучит, да?

— Ну, у него столько денег, что он не знает, куда их девать...

— Не смеши меня. Нет такого человека, сколько бы у него ни было денег, который не знал бы, куда их девать. Во-вторых, они с Поппеей до сих пор регулярно встречаются, когда бедный Сципион уезжает из города, и проводят вместе ночь.

— Где они встречаются?

— В доме братьев Петра. Они ее двоюродные братья. А в-третьих, Сосибий сказал мне позавчера по собственному почину, что он полагает, с твоей стороны не очень мудро отпускать Азиатика так надолго в его французские поместья. Когда я спросила его, что он имеет в виду, он показал мне письмо от своего друга, присланное из Вены; друг писал, что Азиатик почти не бывает в своих поместьях, а разъезжает по провинции и посещает самых влиятельных людей, он даже совершил поездку по Рейну, где проявил большую щедрость к солдатам гарнизонов. Ты, наверно, помнишь, что Вена — его родной город, и Сосибий говорит...

— Немедленно позови сюда Сосибия.

Сосибий был учитель Британика, выбранный мной самим на этот пост, так что, как вы понимаете, я питал полное доверие к его суждениям. Александрийский грек, он с юности занимался изучением ранних латинских авторов и слыл лучшим знатоком текстов Энния; он был как дома в республиканском периоде нашего прошлого, которое он знал куда лучше любого римского историка, включая меня, поэтому я решил, что он будет достойным примером для моего маленького сына. Сосибий вошел в комнату, и когда я спросил его, ответил вполне откровенно. Да, он считает Азиатика честолюбцем, вполне способным организовать переворот. Разве он однажды уже не выдвинул свою кандидатуру на пост императора против моей?

— Ты забываешь, Сосибий, что те два дня были стерты амнистией со страниц нашей летописи.

— Но Азиатик участвовал также в заговоре против твоего племянника, покойного императора, и хвастался этим на рыночной площади. Когда такой человек без всякой видимой причины отказывается от консульства и удаляется во Францию, где пользуется большим влиянием и еще увеличивает его, разбрасывая деньги направо и налево, и, без сомнения, говорит, будто отказаться от консульства его вынудила твоя ревность или то, что он защищал своих земляков французов...

Мессалина:

— Все совершенно ясно. Он обещал Поппее жениться на ней, а единственный способ это сделать — избавиться от нас с тобой. Он получит разрешение снова уехать во Францию и поднимет там бунт с помощью французских войск, а затем привлечет и те, что стоят на Рейне. А гвардия будет готова провозгласить его императором, как была готова провозгласить тебя: почему бы не получить еще по две сотни золотых на брата?

— Кто еще, как вы думаете, замешан в заговоре?

— Надо выяснить все насчет братьев Петра. Они недавно попросили вести в суде их дело адвоката Суилия, а он один из моих лучших агентов. Если против них есть какие-нибудь улики помимо того, что они предоставили Поппее и Азиатике спальню в своем доме, Суилий это раскроет, можешь на него положиться.

— Я не люблю шпионства и не люблю Суилия.

— Мы должны защитить себя, и Суилий сейчас — самое удобное оружие.

Мы послали за Суилием, и через неделю он представил первый отчет,

подтверждавший все подозрения Мессалины. Братья Петра, несомненно, участвовали в заговоре. Старший из них уже давно распускал потихоньку слухи о видении, которое предстало ему как-то утром в полусне и которое астрологи истолковали самым устрашающим образом. Он якобы увидел мою голову, отсеченную от туловища и украшенную венком из белых виноградных листьев; толкование заключалось в том, что в конце осени я умру насильственной смертью. Младший брат — гвардейский полковник — действовал в качестве посредника между Азиатиком и гвардией. По-видимому, с Азиатиком и братьями Петра были связаны два моих старых друга, Педон Помпей, часто игравший со мной по вечерам в кости, и Ассарион, дядя моего зятя Помпея с материнской стороны, также имевший свободный доступ во дворец. Суилий высказал предположение, что им скорее всего будет поручено меня убить во время дружеской игры в кости. Кроме того, в числе сообщников были две племянницы Ассариона, сестры Тристония, связанные интимными отношениями с братьями Петра.

Ничего не остается, решил я, как ударить первыми. Я отправил командующего гвардией Криспина во главе роты гвардейцев, чья верность была вне подозрений, на виллу Ассариона в Байях, и там Азиатик был арестован. В наручниках и кандалах его привели ко мне во дворец. Вообще-то я должен был предъявить ему свои обвинения перед сенатом, но я не знал, как широко распространился заговор и как далеко зашел. Могли раздаться голоса в его защиту, а я вовсе не хотел этого допускать. Я допросил его в своей комнате в присутствии Мессалины, Вителлия, Криспина, Помпея и главных советников.

Роль общественного обвинителя играл Суилий, и, глядя на стоявшего перед ним Азиатика, я подумал: если уж бывает вина написана на лице человека, так она написана на этом лице. Но должен сказать, что Криспин не сообщил ему, в чем его обвиняют, — он и сам этого не знал, — а мало кто из нас может после неожиданного ареста со спокойной совестью смотреть на своих судей. Я помню, как отвратительно себя чувствовал, когда меня арестовали по приказу Калигулы за то, что я якобы поставил свою печать как свидетель на поддельном завещании. А Суилий был на редкость безжалостный обвинитель и даже видом своим внушал страх. У него было худое холодное лицо, седые волосы, черные глаза, а своим длинным указательным пальцем он делал выпады и размахивал, как мечом. Начал он с того, что осыпал Азиатика дождем комплиментов и издевок, которые, как все мы понимали, были лишь прелюдией к гневным грозовым разрядам брани и оскорблений. Он спросил Азиатика легким, якобы дружеским, тоном, когда именно он намерен посетить вновь свои французские владения — до сбора винограда? И что он думает об условиях землепашества в окрестностях Вены? И можно ли их сравнить с условиями в рейнской долине?

— Но не бери на себя труд отвечать, — сказал Суилий. — Меня так же мало интересует, хорош ли под Веной ячмень и громко ли там кукарекают петухи, как это на самом деле интересовало тебя.

Затем Суилий перешел к подаркам Азиатика в гвардии: спору нет, он — верный подданный, но не боится ли Азиатик, что простаки военные могут неправильно истолковать его щедрость?

Азиатик все тяжелей дышал — он явно нервничал. Суилий подошел к нему ближе, как «охотник» на арене амфитеатра, когда его пущенные издали стрелы попадают в цель: зверь ранен, и теперь в ход пойдет копье.

— Подумать только, что я называл тебя другом, обедал за твоим столом, позволил себе обмануться твоей любезностью, твоим благородным происхождением, любовью и доверием, которые ты хитростью снискал у нашего милостивого императора и всех честных граждан Рима. Тебя, грязное животное, педераст, сатир из борделя! Льстивый совратитель сердец и тел наших верных мужественных солдат,

тех самых солдат, коим доверена священная особа нашего цезаря, безопасность города и благоденствие всей империи. Где ты находился вечером во время пира в честь дня рождения императора? Ведь тебя приглашали на него. Был болен, да? Очень болен, не сомневаюсь. Я вскоре представлю суду самых отборных из твоих «хворых» друзей, молодых гвардейцев, подхвативших свою болезнь у тебя, ты, мерзкий распутник.

И так далее, и тому подобное. Азиатик смертельно побледнел, на лбу блеснули крупные капли пота. Цепь его звенела, когда он смахивал их. По правилам судебного разбирательства он не мог отвечать, пока не наступило время для защиты, но в конце концов он не выдержал и вскричал хрипло:

— Спроси своих сыновей, Суилий. Они не будут отрицать, что я мужчина.

Его призвали к порядку. Суилий перешел к интрижке Азиатика с Поппеей, но долго на этом не останавливался, словно это самый несущественный пункт обвинения, а не самый важный, и этим заманил Азиатика в ловушку: тот не признал ничего из поставленного ему в вину. Если бы Азиатик был умней, он не стал бы опровергать того, что склонил Поппею к прелюбодеянию, а отвергал бы все остальное. Но он отрицал все и тем самым подтвердил свою вину. Суилий вызвал свидетелей, по большей части молодых солдат. Главного из них, молодого рекрута с юга Италии, попросили опознать Азиатика. Видимо, ему сказали заранее, что тот, кто столь противоестественно его совратил, лыс, так как он указал на Палланта. Раздался громкий взрыв смеха: всем было известно, что Паллант разделяет со мной ненависть к этому греху, к тому же он был в тот вечер распорядителем на празднике.

Я чуть было тут же не прекратил разбирательство, но затем подумал: возможно, у свидетеля плохая память на лица — как у меня самого, — и то, что он не смог опознать Азиатика, никак не снимает с того других обвинений. Но когда я попросил Азиатика опровергнуть, если он может, пункт за пунктом то, в чем его уличает Суилий, голос мой звучал мягче. Он попытался это сделать, но не смог удовлетворительно объяснить свои передвижения по Франции, а уж что касается его интрижки с Поппеей, тут все его показания были ложными. Обвинение в том, что он совращал гвардейцев, я счел недоказанным. Говорили они под присягой деревянным неестественным голосом, свидетельствующим о том, что их слова были заранее выучены наизусть, и когда я задавал им вопросы, они лишь повторяли сказанное. Но, с другой стороны, я никогда не слышал, чтобы гвардейцы отвечали в суде иначе, — они привыкли к муштре.

Я приказал выйти всем, кроме Вителлия, молодого Помпея и Палланта — Мессалина разразилась слезами и выбежала из комнаты за несколько минут до того — и заявил, что не вынесу Азиатика приговор, не заручившись сперва их одобрением. Вителлий сказал, что вина Азиатика бесспорна, и он лично так же поражен и огорчен этим, как я сам; Азиатик — его старый друг, любимец моей матери Антонии, которая использовала свое влияние при дворе, чтобы способствовать продвижению по службе их обоих. Он сделал блестящую карьеру и всегда был в числе первых, когда надо было выполнить долг перед родиной: добровольно отправился за мной в Британию, а если не подоспел к решающему сражению, причиной тому была буря, а не трусость с его стороны. Поэтому, если Азиатик помешался в уме и предал собственное прошлое, можно все же проявить снисходительность: дать ему возможность погибнуть от собственной руки; хотя, строго говоря, он заслужил, чтобы его скинули с Тарпейской скалы, а затем с позором сволокли к Тибру и бросили в воду. Вителлий сказал также, что Азиатик фактически признал свою вину, отправив ему сразу же после ареста записку, где умолял, ради их старинной дружбы, добиться для него оправдания, а на худой конец — разрешения самому покончить с собой.

— Он знал, — добавил Вителлий, — что судить его ты будешь честно и справедливо, как всегда. Поэтому чем мое вмешательство могло ему помочь? Если

он виноват, его осудят, если невиновен — будет оправдан.

Молодой Помпей заявил, что Азиатик не заслуживает милосердия, но, возможно, он думал о собственной безопасности: в числе пособников Азиатика называли Ассариона и сестер Тристония, а они — родственники Помпея, и он хотел доказать мне свою преданность.

Я отправил Азиатiku записку, где уведомлял его, что откладываю судебное разбирательство на сутки и на это время он будет освобожден от оков. Он, естественно, должен был понять, что это значит. А Мессалина поспешила к Пoppее, предупредить о том, что Азиатик вот-вот будет осужден, и посоветовать, чтобы она предвосхитила суд над собой и свою казнь, покончив жизнь самоубийством. Я об этом ничего не знал.

Азиатик умер не дрогнув. Он потратил последний день жизни на то, чтобы привести в порядок дела, ел и пил, как обычно, и гулял в Лукулловых садах (как они все еще назывались), давая инструкции садовникам насчет деревьев, цветов и прудов. Когда он увидел, что его погребальный костер сложили слишком близко к аллее грабов, он страшно рассердился и оштрафовал вольноотпущенника, выбравшего это место, на сумму, равную его трехмесячному жалованию. «Неужели ты не понимаешь, идиот, что при ветре пламя доберется до этих чудесных старых деревьев и испортит весь вид?» Его последние слова, обращенные к семье, когда он лежал в теплой ванне, а врач был готов перерезать ему артерию на ноге, были: «Прощайте, мои дорогие друзья. Если бы я умер из-за темных махинаций Тиберия или ярости Калигулы, мне было бы не так обидно, но оказаться жертвой доверчивости слабоумного Клавдия, быть преданным женщиной, которую я любил, и другом, которому я доверял!..» Он был убежден, что все подстроили Пoppея и Вителлий.

Через два дня я пригласил Сципиона к обеду и спросил, как поживает его жена: я хотел тактично ему напомнить, что прекращу все это дело, если он по-прежнему любит Пoppею и готов ее простить.

— Она мертва, цезарь, — сказал он и зарыдал, обхватив голову руками.

Родные Азиатика, Валерии, желая показать, что они осуждают его предсмертные слова, были вынуждены подарить Мессалине в качестве умиловительной жертвы Лукулловы сады: хотя тогда я этого не подозревал, именно они были истинной причиной смерти Азиатика. Я привлек к суду братьев Петра и казнил их, после чего сестры Тристония покончили с собой. Что касается Ассариона, его смертный приговор я, по-видимому, тоже подписал, хотя ничего об этом не помню. Когда я велел Палланту предупредить Ассариона, что его ждет разбирательство, мне доложили о его казни и показали приговор, судя по всему не поддельный. Должно быть — единственное объяснение, которое я могу предложить, — Мессалина или ее покорное орудие Полибий засунули его между других важных бумаг, принесенных на подпись, и я подмахнул его, не читая. Теперь-то я знаю, что со мной постоянно играли такие штуки; пользуясь моим плохим зрением (у меня так уставали глаза, что я с трудом разбирал буквы, и то лишь при естественном свете), они «читали» мне вслух вместо официальных бумаг и писем, под которыми я должен был поставить подпись, выдуманные тут же на месте тексты, не имеющие ничего общего с подлинными документами.

Примерно в это же время умер Виниций; от яда. Я слышал несколько лет спустя, что он отказался спать с Мессалиной и что она подсыпала ему яд собственной рукой; спору нет, он умер на следующий день после обеда во дворце. Вполне возможно, что это правда. Так что теперь те трое — Виниций, Винициан и Азиатик, — кто соперничал в свое время со мной, претендуя на императорский трон, были мертвы, и смерть их, как все полагали, лежала на моей совести. Однако совесть моя была чиста. Винициан и Азиатик действительно оказались предателями, а Виниция я

считал жертвой несчастного случая. Но сенат и римский народ знали Мессалину лучше, чем я, и ненавидели меня из-за нее. Вот что было невидимым барьером между ними и мной, и никто не отваживался сломить его.

В результате моей возмущенной речи по поводу Азиатика, которую я произнес на той сессии, где сенаторы присудили Сосибии и Криспину денежные подарки за их услуги, сенат по собственному почину отказался в мою пользу от своего права давать его членам разрешение покидать Италию под любым предлогом.

Глава XXVI

Моя дочь Антония уже несколько лет как вышла за молодого Помпея, но детей у них пока не было. Однажды вечером я навестил ее в отсутствие молодого Помпея и спросил, почему это у нее всегда теперь такой мрачный и недовольный вид. Да, согласилась она, а с чего ей быть довольной? Я намекнул, что она чувствовала бы себя гораздо счастливее, если бы у нее был ребенок, и сказал, что, по моему мнению, долг молодой здоровой женщины, у которой есть слуги и куча денег, иметь не только одного, но нескольких детей. Антония вспыхнула:

— Отец, только дурак может ожидать, что он снимет урожай с поля, где ничего не посеяно. Не вини поле, вини его хозяина. Он сеет соль, а не семена.

И, к моему удивлению, она объяснила, что их брачные отношения с Помпеем не были должным образом завершены, мало того, мой зять обращается с ней самым гнусным образом. Я спросил, почему она не сказала об этом раньше, и она ответила — из страха, что я ей не поверю, ведь я никогда не любил ее так, как ее сводную сестру и брата; к тому же Помпей хвастается, будто может заставить меня плясать под свою дудку — я верю каждому его слову. Какие же у нее были шансы? Вдобавок ей пришлось бы свидетельствовать в суде о тех издевательствах, которым он ее подвергает. Ей не выдержать такого позора.

Я возмутился, как и любой другой отец на моем месте, и заверил ее, что люблю ее всем сердцем и лишь из-за нее относился к Помпею с таким уважением и доверием. Я поклялся честью, что немедленно отомщу негодяю, даже если подтвердится лишь половина ее слов. И скромность ее не пострадает: дело это никогда не попадет в суд. Что толку быть императором, если не можешь хоть изредка воспользоваться своими привилегиями для решения собственных дел, — это хоть как-то возместит труд, ответственность и огорчения, которые сопряжены с императорским постом. Когда оно ждет Помпея домой?

— Он вернется около двенадцати, — сказала Антония уныло, — и примерно в час уйдет к себе. Сперва он напьется. Девять шансов из десяти, что он возьмет с собой в постель этого мерзкого Лисида; он купил его на распродаже имущества Азиатика за двадцать тысяч золотых и с тех пор ни на кого больше не смотрит. Для меня это даже в своем роде облегчение. Видишь теперь, насколько все ужасно, если я говорю, что мне лучше, чтобы Помпей спал с Лисидом, чем со мной. Да, было время, когда я любила Помпея. Странная штука любовь, ты не находишь?

— Успокойся, моя бедняжка Антония. Когда Помпей окажется в своей комнате и ляжет спать, зажги две масляные лампы и поставь их здесь на подоконник. Это будет сигнал. Остальное предоставь мне.

Она поставила лампы на окно за час до рассвета, затем спустилась и велела привратнику открыть парадную дверь. За дверью был я. Я привел с собой Гету и двух гвардейских сержантов и отправил их наверх, а сам остался с Антонией в вестибюле. Она выслала из дома всех слуг, кроме привратника, бывшего с самого детства моим рабом. Мы стояли, взявшись за руки, взволнованно прислушиваясь, не донесутся ли из спальни крики или возня, но не было слышно ни звука. Время от времени Антония принималась плакать. Вскоре к нам спустился Гета и доложил, что мое приказание

выполнено: Помпей и раб Лисид были убиты одним и тем же ударом дротика.

Впервые я отомстил за личную обиду, пустив в ход свою власть императора, но, если бы я и не был императором, я чувствовал бы то же самое и сделал бы все, чтобы уничтожить Помпея; и хотя закон, наказующий за противоестественные действия, уже много лет не имеет силы, поскольку присяжные не желают выносить по нему обвинительный приговор, согласно этому закону Помпей заслужил смерть. Моей виной было то, что я казнил его без суда и следствия, но как иначе я мог поступить, не боясь замараться? Когда садовник обнаруживает, что одну из его лучших роз губит мерзкое насекомое, он не несет его на суд садовников, он давит его тут же собственными руками. Несколько месяцев спустя я выдал Антонию за Фауста, потомка диктатора Суллы, скромного, способного и трудолюбивого юношу, который оказался превосходным зятем. Два года назад он был консулом. У них родился ребенок, мальчик, но он был очень слабенький и скоро умер, а больше детей у Антонии не будет из-за вреда, нанесенного ей по небрежности повивальной бабкой во время первых родов.

Вскоре после этого я казнил Полибия, бывшего в это время моим советником игр и развлечений, так как Мессалина привела доказательства, что он продает право римского гражданства и кладет деньги в свой карман. Эта весть меня просто сразила. Подумать только, Полибий уже много лет обманывает меня! Я обучал его с самого детства и безоговорочно ему верил. Он помогал мне написать по просьбе сената официальную автобиографию для государственного архива — мы только-только кончили ее. Я относился к нему так дружески, что когда однажды мы расхаживали с ним по дворцу, обсуждая какой-то вопрос древней истории и к нам приблизились консулы с положенным утренним приветствием, я не отослал его. Это ущемило их самолюбие, но если я не был слишком горд, чтобы ходить рядом с Полибием и выслушивать его мнение, с чего бы им гордиться? Я предоставил ему полную свободу и не помню, чтобы он когда-нибудь этим злоупотребил, хотя однажды в театре он действительно слишком дал волю языку. Играли комедию Менандра, и когда актер произнес строку:

Ужели быть кнуту в преуспеянье,

кто-то за кулисами громко засмеялся. Возможно, Мнестер. Так или иначе, все обернулись и стали смотреть на Полибия, который, будучи советником игр и развлечений, должен был наводить порядок среди актеров: если кто-нибудь из них держался слишком независимо, Полибий приказывал его жестоко выпороть.

И тут Полибий крикнул в ответ:

— О да, но Менандр говорит также в своей «Фессалии»:

Те коз пасли, теперь у власти царской.

Это был намек на Мнестера, который в юности пас коз в Фессалии, а теперь, как все знали, был последним предметом страсти Мессалины.

Как мне стало впоследствии известно, Мессалина одновременно находилась в любовной связи и с Полибием, и тот оказался настолько глуп, что приревновал ее к Мнестеру. Вот она и отделалась от него, о чем я вам уже рассказывал. Остальные мои советники восприняли казнь Полибия как личное оскорбление — они сплотились в очень тесную гильдию, всегда покрывали друг друга и никогда не оспаривали мою милость и не завидовали один другому. Полибий ничего не сказал в свою защиту, не желая, по-видимому, подставлять под удар своих братьев, многие из которых, должно быть, были замешаны в той же позорной торговле римским гражданством.

Что до Мнестера, то теперь случалось не раз, что он не появлялся на сцене,

хотя его имя значилось на афишах. Театр взрывался возмущенными криками. Я, должно быть, стал совсем глупцом: хотя его отсутствие всегда совпадало с головной болью Мессалины, не позволяющей ей пойти в театр, мне и на ум не пришло сделать из этого выводы, а ведь они напрашивались сами собой. Мне несколько раз приходилось извиняться перед публикой и обещать, что это не повторится.

Один раз я сказал в шутку:

— Уважаемые, не хотите ли вы обвинить меня в том, что я прячу его в дворце?

Замечание это вызвало громовой хохот. Все, кроме меня, знали, где находится Мнестер. Когда я возвращался во дворец. Мессалина всегда посылала за мной; я находил ее в постели, в затемненной комнате, на глазах — влажная повязка. Она говорила еле слышно:

— Ах, дорогой, неужели Мнестер опять не танцевал? Значит, я ничего не потеряла. Я лежала здесь и просто исходила завистью. Один раз я даже поднялась и принялась одеваться, чтобы все же пойти, но боль была такая, что пришлось снова лечь. Пьеса была очень скучной без него?

Я говорил обычно:

— Мы должны настоять на том, чтобы он выполнял свои обязательства. Нельзя так, раз за разом, обращаться с римлянами.

Мессалина вздыхала:

— Не знаю, не знаю. Он такой ранимый, бедняжка. Как женщина. Великие артисты всегда такие. Говорит, у него чуть что — ужасные головные боли. И, если он чувствовал себя сегодня хоть на одну десятую так, как я, настаивать на его выступлении было бы просто жестокостью. И он не притворяется. Он любит свое дело и очень расстроен, когда подводит зрителей. Оставь меня сейчас, любимый. Я попробую уснуть.

Я на цыпочках выходил из спальни, и больше о Мнестере не говорилось... пока все не повторялось сначала. Однако я никогда не был о нем очень высокого мнения, в отличие от большинства. Его сравнивали с нашим великим актером Росцием, который во времена республики достиг таких высот в своем искусстве, что стал эталоном мастерства и совершенства. Люди до сих пор говорят о способном архитекторе, ученом историке и даже ловком кулачном бойце «настоящий Росций», что довольно глупо. Мнестера можно было сравнить с Росцием лишь в таком, весьма приблизительном, смысле. Не спорю, я никогда не видел Росция на сцене. Сейчас не осталось никого, кто бы видел его. Мы должны полагаться на мнение наших прапрадедов, а они все сходились на том, что главной целью Росция было «держаться в образе», и кого бы он ни изображал: благородного короля, хитрого сводника, хвастливого солдата или просто клоуна, тем он и был, как живой, без всякой аффектации. А Мнестер немилосердно ломался, и хотя все его па и жесты были действительно милы и грациозны, в конечном счете актером его не назовешь: просто миловидный юноша с ловкой парой ног и способностью к хореографическим импровизациям.

В это самое время, после четырех лет командования армией, из Британии вернулся Авл Плавтий, и я имел удовольствие убедить сенат предоставить ему триумф. Однако это был не полный триумф, как бы мне хотелось, а малый, или орация. Если заслуги генерала так велики, что недостаточно пожаловать за них триумфальные украшения и, вместе с тем, по каким-то техническим причинам, он не может претендовать на полный триумф, ему дают орацию. Например, если война еще не совсем завершена, или было пролито недостаточно крови, или противник не считается достойным — как было давным-давно при подавлении восставших рабов во главе со Спартаксом, хотя с ним было куда трудней справиться, чем со многими чужеземными царями. В случае с Авлом Плавтием возражение сената состояло в том, что его победы, по их мнению, были не настолько значительны, чтобы позволить

нам отвести из Британии войска. Поэтому он въехал в город не на триумфальной колеснице, а верхом, на голове вместо лаврового венка был венок из мирта, и он не держал жезла в руке. Процессию не возглавляли сенаторы, не было трубачей, и, когда пришли в храм, Авл принес в жертву богам не быка, а овна. Но во всем остальном орация не отличается от полного триумфа, и, чтобы показать, что отнюдь не моя зависть помешала Авлу получить те же почести, какие были присуждены мне, я выехал ему навстречу, когда он приближался к Риму по Священной дороге, поздравил с победами, предложил ему ехать справа от меня (более почетное место) и сам поддерживал его, когда он поднимался на коленях по capitoлийским ступеням. Я выступал в качестве хозяина у него на пиру, а когда пир закончился и мы провожали Авла домой с факельным шествием, снова поместил его справа от себя.

Авл был очень мне за все это признателен, но еще более, как он сказал мне без свидетелей, был благодарен за то, что я замял скандал по поводу участия его жены в христианской вечере (членов этой еврейской секты теперь называют христианами) и предоставил ему самому ее судить. Он сказал, что, когда женщина не может избежать разлуки с мужем — а здоровье его жены не позволяло ей последовать за ним в Британию, — она чувствует себя одиноко, ей приходят в голову странные фантазии, и она становится легкой добычей для шарлатанов от религии, особенно для иудеев и египтян. Но она хорошая женщина и хорошая жена, и он уверен, что она скоро излечится от этих глупостей. Он был прав. Два года спустя я арестовал всех главарей христиан, находящихся в Риме, и вместе с проповедниками старой иудейской веры выслал из страны; жена Авла очень помогла мне выловить их.

Эмоциональное воздействие христианства так сильно прежде всего потому, что его приверженцы утверждают, будто Иешуа, или Иисус, восстал из мертвых, чего не было ни с кем из людей, разве что в легендах; после того, как его распяли, он посещал друзей, ничуть, по-видимому, не пострадав от своих не очень-то приятных переживаний, ел и пил с ними, чтобы доказать свою телесную сущность, а затем вознесся на небо в сиянии славы. И нельзя доказать, что все это выдумки, потому что сразу после его казни началось землетрясение и большой камень, которым был завален вход в пещеру, где положили тело, оказался сдвинутым в сторону. Стражники в ужасе разбежались, а когда вернулись, труп исчез; судя по всему, был похищен. Стоит подобным слухам появиться на Востоке, их не остановишь, а доказывать их нелепость в государственном эдикте — не уважать самого себя. Однако я все же отправил в Галилею, где христиан больше всего, строжайший указ о том, что осквернение могил будет считаться тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Но хватит тратить время на этих нелепых христиан: мне надо продолжать собственную повесть.

Я должен рассказать еще о трех буквах, которые я добавил в латинский алфавит, о больших секулярных играх, которые я отпраздновал в Риме, о новом цензе римских граждан, о том, как я возродил древнее искусство прорицаний, пришедшее в упадок, о различных важных императорских эдиктах и о законах, принятых по моему совету и настоянию сенатом. Хотя, пожалуй, лучше сперва вкратце закончить рассказ о Британии: вряд ли теперь, когда Авл Плавтий благополучно вернулся домой, то, что произошло там в дальнейшем, сильно заинтересует моих читателей. На место Авла я послал некоего Остория, и ему там пришлось очень трудно. Авл полностью покорил южную часть страны — равнинную Британию, но, как я уже говорил, племена, живущие в горах Уэльса, и воинственные северные племена продолжали делать набеги на границы новой провинции, Каратак женился на дочери царя Южного Уэльса и теперь лично возглавлял его армию. Прибыв в Британию, Осторий сразу же заявил, что отберет оружие у всех жителей провинции, которых заподозрит в неверности, — тем самым он получал возможность послать основные силы против племен по ту сторону границ, оставив на юге лишь

небольшой гарнизон. Это вызвало всеобщее возмущение, а икены — наши добровольные союзники — решили, будто его слова относятся и к ним. Они подняли бунт, и Осторий, находившийся в Колчестере, неожиданно оказался перед угрозой нападения огромной армии, состоявшей из северо-восточных племен, не имея в своем распоряжении ни одного регулярного полка: они были в центральных областях страны или далеко на западе острова, и он мог опереться лишь на французские и батавские вспомогательные соединения. Осторий все же решил рискнуть, он немедленно начал бой и выиграл его. Конфедерация икенов запросила мира и получила его на легких условиях, а Осторий продвинул регулярные полки на север, захватив полностью всю территорию до границ с бригаантами, где он остановился. Бриганты — мощная федерация диких племен, занимающих север Британии до самого последнего узкого мыса; на несколько сотен миль к северу простирается только еще один остров, где в неизведанных грозных горах живут лишь вселяющие ужас рыжие гаэлы. Осторий подошел к реке Ди, впадающей в Ирландское море на западе страны, и принялся грабить долину, когда ему донесли, что на них с тыла надвигаются бриганты. Он повернул обратно и разбил значительные силы врага, взяв в плен несколько сот человек, в том числе сына короля и несколько танов. Король бригантов торжественно поклялся в течение десяти лет соблюдать почетный мир, если пленники будут освобождены, и Осторий согласился на это, но оставил королевского сына и пятерых танов в качестве заложников, хотя и под именем гостей. Это развязало ему руки, теперь он мог начать боевые действия против Каратака, засевшего в Уэльских горах. Для защиты уже покоренных земель Осторий использовал три из имевшихся у него четырех регулярных полков, расквартировав один в Карлсоне на Аске, два других — в Шрусбери на Северне. Остальная часть острова охранялась только вспомогательными войсками, за исключением Линкольна, где стоял Девятый полк, и Колчестера, где находилась колония ветеранов, получивших там землю, скот и рабов. Эта колония была первым нашим поселением в Британии, и я послал им письмо с разрешением основать храм в честь бога Августа.

Осторию потребовалось три года, чтобы покорить Южный и Средний Уэльс. Каратак был отважный противник, и, когда его с остатками армии оттеснили в Северный Уэльс, он сумел воспламенить жившие там племена своей храбростью. Но в конце концов Осторий победил его в последней битве, где мы тоже понесли тяжелые потери, и взял в плен его жену, дочь, зятя и двух племянников, находившихся в британском лагере. После отчаянной схватки в арьергарде армии сам Каратак с боем отошел на северо-восток и через несколько дней появился при дворе королевы бригантов (ее отец, король, умер, и она была единственным оставшимся в живых членом королевской семьи, не считая принца, который остался заложником у Остория, так что соплеменникам пришлось ее короновать). Каратак уговаривал ее продолжать войну, но королева была неглупа. Она заковала его в цепи и отправила к Осторию в доказательство того, что она верна клятве, данной ее отцом. Осторий в ответ отправил к ней обратно знатных заложников, за одного из которых она вышла замуж. Принца, своего брата, королева казнила, так как стало известно, что он трусил на поле боя, в отличие от ее мужа, который был взят в плен, лишь получив семь ран и прикончив пять римских солдат. Эта королева, по имени Картимандуя, оказалась самым верным нашим союзником. Она поссорилась с мужем, сказавшим, что он не считает себя связанным клятвой старого короля и не намерен поддерживать с нами мир. Не сумев убедить бригантов пойти на нас войной, он ушел в Южный Уэльс и поднял там новый бунт. Наш гарнизон в Карлсоне был внезапно атакован превосходящими силами британцев. Врага удалось отбить, но мы потеряли батальонного командира и восемь ротных Второго полка. Вскоре после этого два батальона французских вспомогательных войск, отправленных на фуражировку, также подверглись внезапному нападению и были поголовно уничтожены. Осторий,

измученный тремя годами непрерывных боев, принял эти неудачи слишком близко к сердцу, заболел и умер, бедняга, хотя ему могло бы служить утешением то, что накануне сенат присудил ему триумфальные украшения. Это произошло два года назад. Я послал в Британию вместо него генерала по имени Дидий, но пока он туда добирался, Четырнадцатый полк был разбит в решающей битве и ему пришлось отступить в свой лагерь, оставив пленных в руках врагов.

Затем муж Картимандуи покинул Южный Уэльс и напал на нее саму в отместку за то, что она убила его двух братьев, замысливших против нее заговор. Она обратилась за помощью к Дидию, и он отправил к ней четыре батальона Девятого полка и два — батавцев. С ними и своим войском она нанесла поражение мужу, взяла его в плен и заставила поклясться в повиновении ей самой и дружбе с Римом. Затем она простила его, и теперь они правят вместе, по-видимому в мире и согласии; с тех пор мы больше не слышим о вылазках за границу замиренных областей. Тем временем Дидий восстановил порядок в Южном Уэльсе.

А теперь позвольте мне попрощаться с моей Британией, провинцией, которая дорого нам обошлась, как в деньгах, так и в живой силе, и пока что мало дала взамен, если не считать славы. Но я полагаю, что завоевание острова в конечном итоге послужит на пользу Рима, и если мы будем относиться к британцам с доверием и справедливостью, из них получатся хорошие союзники, а в дальнейшем и хорошие граждане. Богатство страны заключается не только в зерне, металлах и скоте. Больше всего империя нуждается в людях, и если она может увеличить свои ресурсы, присоединив к себе земли, где живет честный, отважный и трудолюбивый народ, это куда лучшее приобретение, чем любой остров в Индии, откуда привозят специи, или золотonosный район Центральной Азии. Верность, проявленная королевой Картимандуей и ее танами, мужество, оказанное королем Каратаком в самых тяжелых обстоятельствах, — наисчастливейшие предзнаменования будущего.

Каратака привезли в Рим, и я объявил всеобщий праздник по этому поводу. Весь город вышел на улицы посмотреть на него. Гвардейская дивизия построилась на плацу перед лагерем, я сидел на помосте трибунала, специально воздвигнутого у лагерных ворот. Прозвучали трубы, вдалеке показалась небольшая процессия и направилась по полю к нам. Впереди шел отряд пленных британских солдат, за ними — приближенные таны Каратака, затем фургоны, набитые разукрашенными конскими попонами, хомутами и оружием — не только самого Каратака, но и тем, что он завоевал в войнах с соседями, — захваченными в его лагере в Кефн-Карнедде; за фургонами — его жена, зять и племянники и наконец сам Каратак. Он шел, высоко подняв голову, не глядя ни направо, ни налево, пока не приблизился к самому помосту. Здесь он горделиво поклонился и попросил разрешения обратиться ко мне. Я ответил согласием, и он заговорил так искренне и благородно, да еще на такой превосходной латыни и так бегло, что я прямо позавидовал ему: я никудышный оратор и вечно запутываюсь в собственных фразах.

— Цезарь, ты видишь меня в цепях, просящего даровать мне жизнь после того, как я семь долгих лет противился римскому оружию. Я продержался бы еще семь лет, если бы королева Картимандуя, которой я доверил свою жизнь, не презрела священного обычая нашего острова — гостеприимства. В Британии, когда человек просит пустить его в дом и хозяин делит с ним хлеб, и соль, и вино, то хозяин отвечает за жизнь гостя своей собственной жизнью. Однажды некий человек попросил убежища при дворе моего отца, короля Цимбелина, и, преломив с ним хлеб, открыл, что он убийца моего деда. Но отец сказал: «Ты мой гость. Я не могу причинить тебе зла». Заковав меня в цепи и отправив к тебе, королева Картимандуя сделала больше чести тебе как ее союзнику, чем себе как королеве бригантов.

Я по доброй воле признаюсь в своих ошибках. Письмо, которое мой брат Тогодумн написал тебе с моего согласия и одобрения, было настолько же глупым,

насколько грубым. Мы были тогда молоды и самонадеянны и, поверив слухам, недооценили силу римских войск, верность генералов и твой талант полководца. Если в дни благоденствия я был бы столь же умерен в своих притязаниях, как знатен и удачлив на поле брани, не сомневаюсь, что я вошел бы в этот город как друг, а не как пленник и ты удостоил бы меня королевского приема, ведь я — сын моего отца Цимбелина, которого Божественный Август уважал как своего союзника и повелителя, подобно ему самому, множества покоренных племен.

Что касается моего длительного сопротивления, то, поскольку целью твоей было захватить мое королевство и королевства моих союзников, мне не за что просить прощения. У меня были воины и оружие, колесницы, кони и сокровища: нет ничего удивительного, что я не пожелал расставаться с ними. Вы, римляне, хотите властвовать над всеми народами земли, но это вовсе не значит, что все народы сразу же признают вашу власть. Сперва вы должны доказать свое право господствовать, доказать мечом. Война между нами тянулась не один год, цезарь; твои армии шли за мной по пятам, от племени к племени, от форта к форту, но и сами вы понесли тяжелые потери; теперь я схвачен, и победа наконец в ваших руках. Если бы в той первой битве, при Медвее, я сдался твоему помощнику Авлу Плавтию, я был бы недостойн вас как враг, и он не послал бы за тобой, и ты никогда не отпраздновал бы заслуженного тобой триумфа. А потому отнесись с уважением к своему противнику теперь, когда он сломлен и унижен, даруй ему жизнь, и твое милосердие не будет забыто ни в твоей стране, ни в моей. Британия станет чтить милость победителя, если Рим признает храбрость побежденного.

Я подозревал Авла.

— Что до меня, я готов дать свободу этому доблестному королю. Посадить его снова на британский трон я не могу, это будет сочтено слабостью. Но я склонен оставить его здесь как гостя Рима и назначить ему содержание, соответствующее его нуждам, а также освободить его семью и танов. Что ты скажешь?

Авл ответил:

— Цезарь, Каратак показал себя храбрым и благородным врагом. Он не пытал и не казнил пленных, не отравлял колодцев, сражался честно и держал слово. Если ты дашь ему свободу, я почту за честь протянуть ему руку и предложить свою дружбу.

Я освободил Каратака. Он торжественно поблагодарил меня:

— Да будет у каждого римлянина такое же великодушное сердце!

В тот же вечер Каратак и его семья ужинали во дворце. Авл тоже был там, и мы, три бывалых воина, подогретые добрым вином, заново перевоевали всю Брентвудскую битву. Я рассказал Каратаку о том, как мы с ним чуть не сошлись в поединке. Он рассмеялся и сказал:

— Знай я это тогда!.. Но если ты по-прежнему хочешь сразиться, я готов. Завтра утром, на Марсовом поле. Ты — верхом на своей кобыле, я — пеший? При нашей разнице в возрасте это будет только справедливо.

Хочу привести здесь еще одно высказывание Каратака, которое стало широко известным:

— Не могу понять, благородные господа, как, владея таким великолепным городом, где дома похожи на мраморные утесы, лавки — на королевские сокровищницы, храмы — на видения друидов, о которых они рассказывают, вернувшись из королевства мертвых, вы можете зариться на то жалкое добро, что находится в наших бедных хижинах.

Глава XXVII

Искупительные игры, называемые Терентийскими или Секулярными, празднуются в Риме в ознаменование начала каждого столетнего цикла или века

людей. Торжества посвящаются Плутону и Прозерпине, богам подземного мира, и длятся три дня и три ночи. Историки сходятся во мнении, что ввел эти игры как государственный праздник некий Публикола, из рода Валериев, в двести пятнадцатом году со времени основания Рима, том самом году, когда Клавдии переселились в Рим из страны сабинов; но еще за сто десять лет до этого праздник этот по указанию дельфийского оракула вошел в семейные ритуалы Валериев. Публикола поклялся, что игры эти будут происходить в начале каждого цикла до тех пор, пока существует Рим. С тех пор было пять таких празднеств, но с разными интервалами, так как никто точно не знает, когда именно начинается новый цикл. Иногда за основу летоисчисления брали, подобно древним этрускам, естественный цикл в сто десять лет, иногда — римский гражданский цикл в сто лет, а иногда игры назначались, как только становилось ясно, что никого из участников предыдущих игр нет в живых.

Самый последний праздник при республике был в шестьсот седьмом году после основания Рима, и единственные игры с тех пор происходили в шестьсот тридцать шестом году при Августе. Эту дату никак нельзя оправдать, так как с прошлых игр прошло более ста двадцати лет, и Август, вернее Совет пятнадцати — его советники по религиозным делам, — не принимали в расчет ни официальный, или естественный, цикл в сто и сто десять лет, ни год смерти последнего человека, участвовавшего в предшествующих играх, а руководствовались предполагаемой датой первого празднества в девяносто седьмом году после основания Рима. Должен сознаться, что в своей истории религиозных реформ я признал эту дату правильной, но лишь потому, что, осмелев я критиковать Августа по этому весьма важному поводу, мне грозили бы серьезные неприятности с моей бабкой Ливией. Не буду вдаваться в подробности и скажу лишь, что его расчеты были бы неправильны, даже если бы первые игры действительно имели место именно тогда, но Август и тут ошибся.

46 г. н. э.

Я сделал отсчет от первых игр Публиколы, беря за единицу естественный цикл в сто десять лет (яснее ясного, что именно такой была длина цикла для самого Публиколы), пока не достиг шестьсот девяностого года после основания Рима. Вот когда на самом деле должны были быть последние игры, а затем — лишь в восьмисотом году, том самом, к которому мы подошли в этой истории, а именно на седьмом году моего правления.

Характер каждого цикла предопределен теми событиями, которые случаются в первый год. Первый год предыдущего цикла ознаменовался рождением Августа, смертью Митридата Великого, победой Помпея над финикийцами и захватом им Иерусалима, неудавшимся покушением Катилины на народные свободы и принятием на себя Цезарем звания великого понтифика. Нужно ли указывать вам, каково значение каждого из этих событий? Нужно ли говорить, что во время последовавшего цикла нашим войскам было суждено одерживать победы за пределами Рима, а империи расширять свои пределы, народным свободам быть подавленными, а роду Цезарей стать рупором богов? Теперь я намеревался искупить все грехи и преступления этого старого цикла и начать новый цикл торжественными жертвоприношениями. Ибо в этом самом году я рассчитывал завершить свои реформы. И тогда я верну бразды правления процветающей теперь и хорошо организованной нации в руки сената и римского народа, из которых они так надолго были вырваны.

Я обдумал свой план во всех деталях. Мне было ясно, что, если править страной станет сенат под руководством консулов, избираемых на один год, ничего хорошего из этого не выйдет: такой срок был недостаточным. И армии не по вкусу,

если главнокомандующий постоянно меняется. Коротко говоря, мой план заключался в том, чтобы отдать в дар народу императорскую казну — за исключением той суммы, на которую я смогу дальше жить как частное лицо, — и императорские провинции, включая Египет, и издать закон, по которому смена власти должна происходить не чаще, чем раз в пять лет. Консулы предыдущего пятилетнего срока правления вместе с представителями римского народа и всадников формируют правительство, которое будет советами и практической помощью содействовать в руководстве страной тому из них, кому выпадет жребий стать их главой, так называемым верховным консулом. Каждый из членов правительства будет нести ответственность за определенное ведомство, соответствующее одному из тех ведомств, что я создавал все эти годы при помощи моих вольноотпущенников, или за управление одной из пограничных провинций. Избранные на очередной срок консулы станут служить связующим звеном между верховным консулом и сенатом и исполнять свои традиционные обязанности апелляционных судей, а трибуны будут служить связующим звеном между верховным консулом и римским народом. Консулы будут избираться из числа сенаторов путем общих выборов, а в случае чрезвычайного положения в стране надо прибегнуть к всенародному голосованию. Я продумал ряд остроумных мер предосторожности, гарантирующих соблюдение моей конституции, и поздравил себя с тем, что она вполне реальна. Мои вольноотпущенники останутся в качестве постоянных должностных лиц, в ведении которых будут все правительственные чиновники, и новое правительство сможет извлечь пользу из их советов. Таким образом, достоинства монархического правления, искупающие его недостатки, будут сохранены без ущерба для республиканских свобод. А чтобы была довольна армия, я включу в новую конституцию пункт о выплате каждые пять лет дарственных денег в количестве, пропорциональном успехам наших войск за границами Рима и росту благосостояния в его пределах. Губернаторами внутренних провинций будут назначаться сенаторы и те из всадников, кто поднялся до высших командных должностей в армии.

Пока что я никому не рассказывал о своих планах и с легким сердцем продолжал работать. Я был уверен, что стоит мне доказать добровольным отречением от престола, что у меня никогда не было намерений становиться тираном, а к казням без суда и следствия, совершенным по моему приказу, меня принудили обстоятельства, все мои мелкие проступки будут прощены ради тех огромных преобразований, которые я осуществил, и все подозрения наконец рассеются. Я говорил себе: «Август всегда обещал, что откажется от престола и восстановит республику, но так и не сделал этого из-за Ливии. То же говорил Тиберий, но и он этого не сделал, так как боялся всеобщей ненависти, которую вызвал жестокосердием и деспотизмом. Но я действительно собираюсь отказаться от престола, мне ничто не может помешать. Совесть моя чиста, а Мессалина не Ливия».

47 г. н. э.

Секулярные игры праздновались не летом, как в прошлый раз, а двадцать первого апреля, в пастуший праздник, так как именно в этот день Ромул и его пастухи основали Рим восемьсот лет назад. Следуя примеру Августа, я ввел в них и другие божества, помимо бога подземного мира, хотя Терент, углубление вулканического происхождения на Марсовом поле, где по традиции происходят Секулярные игры, считающийся входом в преисподнюю, оставался центром праздника, — его превратили во временный театр и украсили разноцветными плошками. За несколько месяцев до этого дня я разослал повсюду герольдов, чтобы созвать горожан (по старинной формуле) «на праздник, который не видел никто из живущих ныне на земле и никто из живущих ныне на земле больше не увидит». Кое у кого это вызвало насмешки, так как немало стариков и старух еще помнили игры, устроенные Августом

шестьдесят четыре года назад, а некоторые даже участвовали в них. Но это была традиционная формула, и не я виноват, что Август устроил игры не тогда, когда надо.

Утром первого дня Совет пятнадцати роздал всем свободнорожденным горожанам со ступеней храма Юпитера на Капитолийском холме и храма Аполлона на Палатинском холме факелы, серу и битум для очищения, а также пшеницу, овес и бобы, часть которых должна была быть принесена в жертву паркам, а часть пойти на уплату актерам, участвующим в празднике. Рано утром во всех главных храмах Рима одновременно были совершены жертвоприношения Юпитеру, Юноне, Нептуну, Минерве, Венере, Аполлону, Меркурию, Церере, Вулкану, Марсу, Диане, Весте, Геркулесу, Августу, Латоне, паркам и Плутону с Прозерпиной. Но центральным событием дня, которое все стремились увидеть, было принесение в жертву Юпитеру белого быка, а в жертву Юноне — белой телки. Затем мы отправились процессией с Капитолия в Терент, распевая хором гимны в честь Аполлона и Дианы. Днем были гонки колесниц, гладиаторские бои и травля диких зверей в цирке и амфитеатре, а также сценические представления в театре Помпея.

В девять часов вечера, после того, как все Марсово поле освятили, окропив водой и окутав парами горячей серы, я принес в жертву паркам трех ягнят на трех подземных алтарях, построенных на берегу Тибра, а сопровождавшие меня горожане, размахивая горящими факелами, приносили в дар паркам пшеницу, овес и бобы и пели покаянные гимны. Кровью ягнят побрызгали на алтарь, а тела сожгли. В Теренте снова пели гимны, и вся искупительная часть праздника прошла с большой торжественностью. Затем разыгрывались сцены из римских легенд, в том числе показывался балет, иллюстрирующий бой между тремя братьями Горациями и тремя братьями Куриациями, который произошел в день первого празднования игр родом Валериев.

На следующий день благороднейшие матроны Рима во главе с Мессалиной собрались на Капитолии и обратились с мольбами к Юноне. Продолжались игры так же, как накануне: в амфитеатре убили триста львов и сто медведей, не говоря уж о быках и множестве гладиаторов. В ту ночь я принес в жертву Матери Земле черного борова и черную свинью. В последний день прекрасные юноши и девушки, числом три раза по девять, пели хором греческие и латинские гимны в святилище Аполлона и были принесены в жертву белые волы. Эта честь была оказана Аполлону за то, что Секулярные игры первоначально возникли по указанию его оракула. В гимнах молили о том, чтобы сам Аполлон, его сестра Диана, мать Латона и отец Юпитер защитили все большие и малые города и сельские районы римской империи. Одним из гимнов была знаменитая «Юбилейная песнь» Горация в честь Аполлона и Дианы, которая вовсе не казалась, как вы, может быть, думаете, устаревшей: по правде сказать, один стих этого гимна куда больше подходил для нашего времени, чем для того, когда он был написан:

Пусть он, жаркой мольбой вашей тронутый,
Горе войн отвратит с мором и голодом
От народа, направив
Их на персов с британцами!

Гораций писал эти строки, когда Август только задумал войну против Британии, но из его похода ничего не вышло, и британцы не были официально нашими противниками, как сейчас.

Еще жертвоприношения всем богам, еще гонки колесниц, еще гладиаторские бои, еще травля диких зверей и атлетические состязания. В эту ночь я принес в Теренте в жертву Плутону и Прозерпине черного овна, черную овцу, черного быка, черную телку, черного борова и черную свинью; на этом игры закончились и больше

не повторяются, пока не пройдет еще сто десять лет. Они прошли без сучка, без задоринки, за все эти три дня не было ни единой ошибки в ритуале, ни единого дурного знамения. Когда я спросил Вителлия, понравился ли ему праздник, он ответил: «Праздник был превосходным, поздравляю и желаю тебе долгих лет жизни». Я рассмеялся, и он попросил прощения за свою рассеянность. Он подсознательно отождествил день рождения Рима с моим днем рождения, объяснил Вителлий, и надеется, что его оговорка будет служить предзнаменованием того, что я доживу до самого преклонного возраста крепким и здоровым и совершу еще много замечательных деяний. Но Вителлий прекрасно умел играть комедию; я уверен теперь, что он приготовил свою шуточку за много недель до того.

Для меня самым главным моментом праздника, вселившим в мою душу наибольшую гордость, были Троянские игры, состоявшиеся на третий день на Марсовом поле, когда мой маленький Британик, которому только недавно исполнилось шесть лет, принял участие в схватке наравне с мальчиками вдвое его старше и управлялся со своим пони и оружием не хуже Гектора или Каратака. Ему достались самые бурные приветствия зрителей. Все отмечали его поразительное сходство с моим братом Германиком и предсказывали ему великолепные триумфы, как только он подрастет и сможет принять участие в военных походах. В этих играх участвовал также мой внучатый племянник, мальчик одиннадцати лет, сын моей племянницы Агриппиниллы. Звали его Луций Домиций. Я уже упоминал о нем, но только вскользь. Сейчас пришло время рассказать о нем поподробней.

Он был сыном Гнея Домиция Агенобарба (Медной Бороды), моего родича с материнской стороны, который имел репутацию самого жестокого человека в Риме. Жестокость передавалась в их роду по наследству, как и рыжая борода, и люди говорили: не удивительно, что у них медные бороды, — они как раз под стать железным лицам и свинцовым сердцам. В юности Домиций был в числе приближенных Гая Цезаря, в бытность того на Востоке, и уморил собственного вольноотпущенника, заперев его в комнате без питья и еды — не считая соленой рыбы и сухого хлеба — за то, что тот отказался напиться до беспамятства на его дне рождения. Когда Гай услышал об этом, он сказал, что не нуждается больше в его услугах и не числит его больше своим другом. Домиций отправился обратно в Рим и по пути, в приступе раздражения, внезапно пришпорил коня, проезжая по деревенской улице, и задавил, отнюдь не случайно, маленькую девочку, игравшую на дороге в куклы. Однажды он затеял на открытом рынке ссору со всадником, которому был должен деньги, и выдавил ему пальцем глаз. Мой дядя Тиберий приблизил к себе Домиция в последние годы правления, когда он водил компанию с самыми жестокими и подлыми людьми, чтобы, как полагали, чувствовать себя на их фоне хоть в какой-то степени добродетельным. Он выдал за Домиция свою приемную внучку, мою племянницу Агриппиниллу, и у них был единственный ребенок, этот Луций. Когда друзья принялись поздравлять Домиция с рождением наследника, он пробурчал: «Оставьте свои поздравления при себе, болваны. Если бы вы были истинными патриотами, вы бы в колыбели задушили это отродье. Неужели вы не понимаете, что нет такого порока на свете, человеческого и нечеловеческого, которому не предавались бы на пару мы с Агриппиниллой, и что этому чертенку суждено стать бедствием для нашей незадачливой страны? Мои слова не просто догадка: кто-нибудь из вас видел его гороскоп? Дрожь пробирает от одного взгляда».

Домиция арестовали по двойному обвинению в измене и кровосмесительной связи с сестрой Домицией — конечно, второе обвинение было простой формальностью, во времена Тиберия оно ничего не значило. К счастью для Домиция, Тиберий своевременно умер, и Калигула освободил своего друга. А вскоре умер и сам Домиций — от водянки. В завещании Калигула был назван сонаследником и получил две трети его имущества. А когда Калигула сослал Агриппиниллу на остров,

он прибрал к рукам и оставшуюся треть. Так что Луций был практически сиротой и нищим. Однако его тетка Домиция (не путайте ее с Домицией Лепидой, ее сестрой и матерью Мессалины) взяла его к себе. Это была женщина, для которой в жизни существовало одно — удовольствия, и побеспокоилась о маленьком Луции она лишь потому, что ему предсказано было стать императором; Домиция хотела быть с ним в хороших отношениях. Что она собой представляла, ясно видно по тому, каким учителям она доверила образование племянника; это были бывший балетный танцор, сириец, деливший благосклонность Домиции с бывшим гладиатором из Тироля, вышеупомянутый тиролец и ее парикмахер-грек. Они дали мальчику прекрасное разностороннее образование.

Когда спустя два года Агриппинилла вернулась в Рим, в ее сердце не вспыхнули никакие материнские чувства по отношению к сыну, и она сказала Домиции, что та может оставить его у себя еще на несколько лет; она хорошо ей заплатит, лишь бы снять с себя ответственность. Я вмешался и велел Агриппинилле взять мальчика домой; она взяла вместе с ним и учителей, так как без них он отказывался к ней ехать, а Домиция завела себе новых любовников. Агриппинилла заодно прихватила и мужа Домиции, бывшего консула, и вышла за него замуж, но вскоре они поссорились и разошлись. Следующим событием в жизни Луция было покушение на него; во время послеполуденной сиесты два человека, не замеченные привратником, который тоже спал, вошли в дом через парадный вход, поднялись наверх, не встретили никого в коридорах и стали ходить по ним, пока не наткнулись на раба, спавшего перед дверью одной из спален; решив, что это та самая, которая им нужна, они вошли, увидели на кровати спящего Луция, вытащили кинжалы и на цыпочках подкрались к нему. В следующую минуту они стремглав выскочили из комнаты с криком: «Змея, змея!» Хотя шум взбудоражил весь дом, не было сделано никаких попыток их задержать, и они спаслись бегством. А напугала их кожа кобры, которая лежала на подушке мальчика. Он обвязывал ее вокруг ноги как средство против золотухи, от которой он очень страдал в детстве, и, видимо, играл с ней перед сном. В затененной комнате ее легко было принять за живую кобру. Я теперь думаю, что убийцы были подосланы Мессалиной, она ненавидела Агриппиниллу, но по той или иной причине не осмеливалась в открытую в чем-нибудь ее обвинить. Во всяком случае, по городу распространились слухи, что у постели Луция стоят на страже две кобры, и Агриппинилла всячески их поддерживала. Она поместила кожу в золотой браслет, в виде змеи, чтобы мальчик всегда его носил, и говорила друзьям, будто ее действительно нашли у него на подушке, видимо она была сброшена там. Сам Луций хвастался перед товарищами, что его на самом деле охраняет кобра, но утверждать, будто их две, — преувеличение, сам он больше одной не видел. Она всегда пьет воду из его кружки. Больше на него не было совершено ни одного покушения.

Луций, как и Британик, был очень похож на своего деда, моего дорогого брата Германика, но мне это сходство было ненавистным. Черты их были схожи, как две капли воды, но честность, благородство, великодушие и скромность, написанные на лице Германика, на лице его внука уступили место коварству, криводушию, низости и тщеславию. И все же большинство людей не видели этого, ослепленные говорящей о вырождении утонченностью, сменившей мужественную красоту деда: Луций обладал той женственной миловидностью, которая умиляла мужчин, и прекрасно знал свою силу: каждое утро он тратил на туалет, особенно на прическу — он носил длинные волосы, — не меньше времени, чем мать или тетка. Его учитель-парикмахер холил своего смазливового питомца так же ревностно, как главный садовник в Лукулловых садах холит плоды на знаменитых персиковых шпалерах или редкостную белую вишню, которую Лукулл привез с Черного моря. Было странно видеть Луция на Марсовом поле с мечом, щитом и копьем в руках; обращался он с ними правильно, так, как его научил учитель-тиролец, бывший некогда гладиатором, и все же его

движения больше напоминали танец, чем отработку боевых приемов. Когда в том же возрасте с оружием упражнялся Британик, вам казалось, что слышен лязг оружия, звуки труб, стоны и крики, видны потоки вражеской крови, а при взгляде на Луция в воображении возникал только плеск аплодисментов, разносящийся по театру, розы и золотые монеты, дождем осыпающие сцену.

Но хватит о Луции. Поговорим об исправлениях, которые я внес в латинский алфавит, это более приятная тема. В моей предыдущей книге я уже объяснил, какие три новые буквы я счел необходимыми для современного языка: согласную «в», гласную между «и» и «у», соответствующую греческому ипсилону, и согласную, которую до сих пор мы передавали при помощи сочетаний «бс» и «пс». Я намеревался ввести их после триумфа, но затем отложил это до начала нового цикла. Я объявил о своем плане в сенате на следующий день после окончания Секулярных игр и получил одобрение. Но я сказал, что это новшество может лично затронуть каждого жителя империи и что я не хочу навязывать его римским гражданам в спешке и против воли, поэтому предлагаю провести по этому поводу через год плебисцит.

А пока что я выпустил прокламацию, где объяснял пользу своего проекта. Я указывал, что, хотя мы привыкли считать алфавит таким же священным и неизменным, как месяцы года, или порядок цифр, или знаки Зодиака, на самом деле это не так: все на свете подвержено изменению и исправлению. Юлий Цезарь внес поправки в календарь, привычная нумерация изменена и расширена, многие названия созвездий звучат по-иному, даже звезды, из которых они состоят, не бессмертны — например, семь Плеяд со времен Гомера сократились до шести, так как исчезла звезда Стеропа или, как ее называли еще, Электра. То же относится и к латинскому алфавиту. Изменились не только очертания латинских букв, но и само их значение, ведь они стали обозначать другие звуки. Латинский алфавит был заимствован у дорийских греков во времена ученого царя Эвандра, а греки первоначально взяли его у Кадма, когда тот прибыл в Грецию с финикийским флотом, а финикийцы переняли его у египтян. Это все тот же алфавит, но общее тут лишь имя. На самом деле египетское письмо было в виде рисунков животных и растений, которые с течением времени делались все более абстрактными и наконец превратились в иероглифы; финикийцы заимствовали и изменили их, греки, в свою очередь, заимствовали и изменили эти уже измененные буквы, а латиняне переняли у них и модифицировали алфавит, четырежды подвергшийся изменению. В примитивном греческом алфавите было всего шестнадцать букв, но постепенно появлялись новые буквы, пока их не стало двадцать четыре, а в некоторых городах двадцать семь. В первом латинском алфавите насчитывалось всего двадцать букв, так как три шипящих согласных и буква «Z» были сочтены излишними. Однако через пятьсот лет после основания Рима ввели букву «G» на смену «C», а еще позже в алфавит вернули «Z». И все же, по моему мнению, наш алфавит еще не идеален. Возможно, в начале будет непривычно — если страна проголосует за предложенные мной изменения — употреблять удобные новые формы вместо старых, но это скоро пройдет, и для поколения мальчиков, которых станут учить на иной лад, усвоить их вообще не составит труда. Разве непривычность и неудобство нашего календаря, измененного сто лет назад, когда один год пришлось растянуть на пятнадцать месяцев и, соответственно, изменить в каждом месяце число дней — да, там было на что жаловаться, — оказалось так уж трудно преодолеть? Вряд ли кто-нибудь сейчас захочет вернуться к старому летосчислению.

Что вам сказать? Все с ученым видом обсуждали этот вопрос, но, пожалуй, он никого особенно не волновал — хоть так, хоть этак — во всяком случае, меньше, чем меня. Когда наконец состоялся плебисцит, подавляющее большинство голосов было отдано новым буквам, но скорее, думаю, как любезность по отношению ко мне, чем из реального понимания дела. Сенат проголосовал за их немедленное внедрение, и

теперь их можно видеть во всех официальных документах и всех видах письменности начиная с поэм, ученых трактатов и юридических комментариев до аукционных афиш, требований об уплате долга, любовных записочек и непристойных выражений, нацарапанных мелом на стенах домов.

Я хочу сейчас коротко сообщить о своих общественных работах, декретах и реформах, которые относятся ко второй половине моего правления; этим я, так сказать, освобожу место, чтобы описать последние, мучительные главы моей жизни. Ибо я достиг теперь поворотного пункта этой истории, того перелома, как говорят трагики, после которого хотя я и продолжал исполнять свои императорские обязанности, делал это совсем с иным настроением.

Я закончил строительство акведуков. Построил много сотен миль новых дорог и починил старые. Запретил ростовщикам одалживать деньги молодым людям с погашением долга после смерти отцов — отвратительные сделки; процент всегда был грабительский, и нередко случалось, что отец безвременно умирал, вопреки законам природы. Эта мера была направлена в защиту честных отцов против расточительных сыновей, но я позаботился и о честных сыновьях расточительных отцов: постановил не трогать законное наследство сына при конфискации имущества отца за долги или уголовное преступление. Я издал также указ в защиту женщин, освободив их от обременительной опеки родичей по отцовской линии и запретив отдавать приданое в залог за мужние долги.

По совету Палланта, я выдвинул в сенате тут же принятый законопроект о том, что, если свободнорожденная женщина выходит за раба без ведома его хозяина, она тоже становится рабыней, но если она делает это с его ведома и согласия, она остается свободной и лишь ее дети от этого брака делаются рабами. Этот законопроект имел забавные последствия. Сенатор, назначенный в тот год консулом, обидел Палланта за несколько лет до того и боялся, что, вступив в должность, может столкнуться с трудностями, если не добьется его расположения. Я не хочу сказать, что его ожидания подтвердились бы, вряд ли Паллант стал бы ему мстить, он куда менее подвержен злопамятству, чем я; но так или иначе, у сенатора было тревожно на душе. Поэтому он внес в сенат предложение, чтобы Палланту дали почетное звание судьи первого класса и сто пятьдесят тысяч золотых за то, что он оказал стране такую большую услугу — выработал этот законопроект и убедил сенаторов принять его. Тут с места вскочил овдовевший муж Пoppей Сципион и заговорил с иронией, напомнившей мне Галла и Гатерия, сенаторов во времена правления моего дяди Тиберия.

— Я поддерживаю это предложение. И вношу еще одно: объявить этому выдающемуся человеку всенародную благодарность. Кое-кто из нас, дилетантов-генеалогов, не так давно обнаружил, что он прямой потомок царя Аркадии Палланта, предка того любителя и знатока литературы царя Эвандра, о котором недавно упоминал наш милостивый император, того самого Палланта, что дал свое имя Палатинскому холму. Он заслужил всенародную благодарность, говорю я, не только тем, что составил этот законопроект — неоценимая любезность! — но и тем, что проявил великодушие и скромность, скрыв свое царственное происхождение и предоставив себя к услугам сената, словно он — никто, мало того, соизволив считаться всего-навсего вольноотпущенником императора, хотя и его советником.

Сципиону никто не осмелился возразить, а я прикинулся наивным младенцем, который принял все это всерьез, и не наложил свое вето. Это было бы несправедливо по отношению к Палланту. Но как только объявили перерыв, я послал за ним и рассказал о предложении Сципиона. Паллант вспыхнул, не зная, то ли оскорбиться за насмешку, то ли радоваться, что сенат публично признал, какую важную роль он играет в государственных делах Рима. Он спросил меня, как ему следует ответить, и я сказал:

— Тебе нужны эти деньги?
— Нет, цезарь, я человек состоятельный.
— Состоятельный? Давай послушаем, сколько ты стоишь. Говори правду, я не рассержусь.

— Когда я в последний раз был в банке, я насчитал три миллиона.
— Чего? Серебряных монет?
— Нет, золотых.
— Пресвятые боги! И все — добытые честным трудом?
— До последней полушки. Люди обращаются с просьбой добиться какой-нибудь милости, и я всегда говорю: «Я ничего вам не обещаю». А они отвечают: «Мы и не надеемся, что ты что-нибудь для нас сделаешь. Пожалуйста, прими этот скромный дар в знак признательности за то, что ты был так добр и выслушал нас». На это я любезно улыбаюсь и кладу деньги в банк. Они к твоим услугам, цезарь, если они тебе нужны. Ты сам это знаешь.

— Да, Паллант, знаю. Но я и понятия не имел, что ты так богат.

— У меня никогда не было времени тратить деньги.

И это истинная правда. Паллант работал, как раб на галере. Поэтому я сказал ему, что я позабочусь, чтобы сенаторам не удалось над ним посмеяться, и посоветовал отказаться от денег, но принять звание. Он согласился на это, и я торжественно заверил сенат, что Паллант был очень доволен честью, которую ему оказали, присудив звание судьи первого класса, но предпочитает по-прежнему жить скромно — ему хватает того, что есть.

Сципион не желал уступать. Он внес новое предложение — просить меня, чтобы я уговорил Палланта уступить настояниям сената и принять в дар деньги. Предложение прошло. Но мы с Паллантом стояли на своем. По моему совету он отказал в просьбе и мне, и сенату, и фарс закончился еще одним предложением, выдвинутым Сципионом и принятым сенатом: поздравить Палланта с его бережливостью (читай: скупостью). Это поздравление было, по указанию сената, выгравировано на медной доске. Я думаю, вы согласитесь, что в дураках остались не мы с Паллантом, а Сципион и сенаторы.

Я ограничил гонорар адвокатов сотней золотых за одно дело. Это ограничение было направлено против таких людей, как Суилий, обвинявший Азиатика. Суилию было не труднее заставить присяжных дать обвинительный или оправдательный приговор, чем крестьянину пригнать своих свиней на рынок. Он брался вести любое дело, самое безнадежное, лишь бы полностью получить свой гонорар — четыре тысячи золотых. И величина этой суммы, не менее, чем его самоуверенность и красноречие, с каким он обращался к суду, оказывала соответствующее воздействие на присяжных. Разумеется, изредка даже Суилию не удавалось выиграть дело, поскольку вина его клиента говорила сама за себя и скрыть ее не представлялось возможным; тогда, чтобы не утратить своей репутации в суде — ведь она пригодится ему в дальнейшем, когда у него будет хоть какой-то шанс на успех, — Суилий практически науськивал присяжных на собственного клиента. В связи с этим был крупный скандал: богатый всадник, обвиненный в том, что он ограбил вдову одного из своих вольноотпущенников, заплатил ему обычное вознаграждение, а Суилий предал его, как было описано выше. Всадник пошел к Суилию и потребовал вернуть ему четыре тысячи золотых. Суилий сказал, что сделал все возможное, и отказался вернуть деньги — это, мол, будет опасным прецедентом. Всадник покончил с собой на пороге его дома.

Этим ограничением гонорара адвокатов, получать который в республиканские времена считалось незаконным, я подрывал их влияние на присяжных, и теперь, обсуждая приговор, они стали больше полагаться на факты. Я вел с адвокатами настоящую войну. Частенько, выступая в качестве судьи, я с улыбкой предупреждал

остальных членов суда:

— Я человек старый и легко выхожу из терпения. Вполне возможно, что я скорее решу дело в пользу той стороны, которая изложит факты коротко, откровенно и ясно, даже если эти факты изобличают их неправоту, чем в пользу той стороны, которая, будучи правой, напортит сама себе, устраивая здесь неуместное, пусть и блестящее, театральное представление. — И приводил цитату из Гомера:

Тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада,
Кто на душе сокрывает одно, говорит же другое.

Я всячески способствовал появлению адвокатов совсем иного толка: людей, не обладающих красноречием и даже не имеющих большого опыта, но зато отличающихся здравым смыслом, приятным голосом и умением свести любое дело к его простейшим элементам. Лучшего из них звали Агафон. Когда он быстро, точно — одно удовольствие слушать — вел чье-либо дело, я всегда принимал на веру его слова, — если не было доказательств обратного, — чтобы побудить остальных адвокатов следовать по его стопам.

Судебное и правовое заведение Телегония, этого «высокоученого и красноречивого оратора и юриста, гражданина Рима и Афин», было закрыто три года назад. Вот как это произошло. Однажды в апелляционном суде, где в тот день вел заседание я сам, появился жирный, суетливый, коротко стриженный человек и выступил в собственную защиту. Это был Телегоний. На него наложили большой штраф в уголовном суде за то, что по его наущению один из его рабов убил во время спора очень ценного раба Вителлия. Выяснилось, что раб Телегония, будучи в цирюльне, напустил на себя невероятную важность, заявляя, будто он адвокат и оратор. Начался спор между ним и рабом Вителлия, ждавшим, когда подойдет его очередь бриться; тот считался лучшим поваром в Риме (после моего) и стоил по меньшей мере десять тысяч золотых. Раб Телегония, у которого был достаточно хорошо подвешен язык, с язвительными шуточками стал сравнивать ораторский и поварской талант. Повар Вителлия не хотел затевать ссору и лишь спокойно высказался в том духе, что вряд ли можно проводить сравнение между тем, кто плохо владеет искусством красноречия, и тем, кто хорошо владеет искусством кулинарии, и добавил, что вправе ожидать от рабов, уступающих ему в цене, если не почтения, то хотя бы вежливости, ведь он стоит по крайней мере в сто раз больше, чем его оппонент. Тот, доведенный до ярости явным сочувствием повара со стороны всех остальных, выхватил у цирюльника бритву и полоснул ею по горлу повара с криком: «Я научу тебя, как спорить с людьми Телегония». Телегония оштрафовали на сумму, равную стоимости повара, на том основании, что поступок его раба явился следствием маниакальной уверенности, будто в споре неопровержим только личный аргумент, внушенной владельцем Судебного и правового заведения всем его служащим. Телегоний требовал обжалования приговора, доказывая, что никак не мог подстрекать своего раба к насилию, ибо даже девиз его заведения «Язык сильнее клинка», а это является прямым указанием прибегать в споре только к такому оружию. Он мотивировал свое требование также тем, что в тот день было очень жарко, а его рабу нанесли тяжелое оскорбление, посчитав, будто он стоит каких-то жалких сто золотых — ведь наименьшая сумма, которую можно запросить за этого высококвалифицированного служащего, составляет пятьдесят золотых в год, — и поэтому будет только справедливо предположить, что повар сам навлек на себя смерть своим вызывающим поведением.

Вителлий явился в суд в качестве свидетеля.

— Цезарь, — сказал он, — я вот как смотрю на это дело. Раб Телегония убил моего шеф-повара, добрейшего человека, хоть он никому не позволял наступать

себе на ногу, подлинного артиста в своем деле, как ты сам знаешь, ведь ты не раз расхваливал его подливы и пироги. Мне придется выложить не меньше десяти тысяч золотых, чтобы найти ему замену, да и тогда, можешь не сомневаться, мне не достать никого, кто был бы и в половину так хорош. Его убийца, желая возвысить ораторское искусство и унижить кулинарное, произносил, дословно, фразы, которые имеются в руководстве Телегония; кроме того, оказалось, что в этом же руководстве, в разделе «Свобода», есть много параграфов, где в самых пылких выражениях автор пытается оправдать того, кто прибегает к оружию, когда ему отказывает здравый смысл и не хватает аргументов.

Телегоний стал задавать Вителлию вопросы и, должен признать, чуть было не одержал над ним верх, но тут случайный посетитель суда поверг всех в изумление. Это был алабарх Александр, волею судеб оказавшийся в Риме и зашедший из любопытства в суд. Он передал мне записку:

«Человек, называющий себя Телегонием, гражданином Рима и Афин, — мой беглый раб по имени Иоанн, который родился в моем доме от рабыни сирийки. Я потерял его двадцать пять лет назад. Ты найдешь букву „А“, обведенную кружком на его левом бедре. Это наше семейное клеймо. Подпись: алабарх Александр».

Я приостановил слушание дела, служители вывели из зала Телегония и удостоверились в том, что он действительно принадлежит Александру. Только представьте, изображать из себя римского гражданина в течение двадцати пяти лет! Вся его собственность, за исключением десяти тысяч золотых, присужденных Вителлию, должна была перейти в руки государства, но я отдал половину алабарху. В ответ алабарх преподнес мне Телегония, а я дал его Нарциссу в полное его распоряжение. Нарцисс поручил ему полезное, хоть и скромное дело — вести судебные протоколы.

Таким вот образом я и правил. Я сильно расширил римское гражданство, желая, чтобы провинции, население которых верно Риму, добронравно и живет в благоденствии, как можно скорее получили тот же гражданский статус, что Рим и прочие области Италии. Первым городом северной Франции, для которого я добился гражданства, был Аутун.

Затем я провел перепись римских граждан.

48 г. н. э.

Их общее число, включая детей и женщин, достигло пяти миллионов девятист восьмидесяти четырех тысяч семидесяти двух человек, по сравнению с четырьмя миллионами девятьюстами тридцатью семью тысячами, которые дала перепись в год смерти Августа, и четырьмя миллионами двумястами тридцатью тремя тысячами согласно переписи, проведенной на следующий год после смерти моего отца. Написанные на странице книги, цифры эти, которые можно охватить одним взглядом, не производят особого впечатления, но поставьте за ними живых людей. Если бы все римские граждане пошли вереницей мимо меня быстрым шагом, носок к каблуку, понадобилось бы два года, пока передо мной появился бы последний. И это только те, кто обладает полным гражданством. А если бы в этот ряд встало все население империи, куда теперь можно зачислить Британию, Марокко и Палестину, числом более семидесяти миллионов, на то, чтобы пройти передо мной, им понадобилось бы в двенадцать раз больше времени, а именно двадцать четыре года, а за двадцать четыре года родилось бы новое поколение, так что мне пришлось бы сидеть там до конца своих дней, а люди все двигались бы мимо меня непрерывным потоком,

Скользили и текли потоком бесконечным,

и ни одно лицо не появилось бы дважды. Числа — настоящий кошмар! Только подумать, что в первом пастушьем празднике, устроенном Ромулом, участвовало всего три тысячи триста человек! К чему это все приведет?

В отчете о своей деятельности на императорском посту я прежде всего хочу подчеркнуть, что, по крайней мере до этого момента, я действовал, насколько позволяло мое разумение, радея об общем благе в самом широком смысле слова. Я не был ни жестоким тираном, ни упрямым реакционером и не стремился безумно к крупной ломке всего, что существовало до меня; я пытался всюду, где это было возможно, сочетать великодушие со здравым смыслом, и никто не упрекнет меня в том, что я не прилагал к этому все силы.

ДВА ДОКУМЕНТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ КЛАВДИЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ЭПИСТОЛЯРНЫЙ И ОРАТОРСКИЙ СТИЛЬ

Эдикт Клавдия, касающийся некоторых тиролевских племен 46 г. н. э.

Опубликован в императорской резиденции в Байях в год консульства Марка Юния Силана и Квинта Сульпиция Камерия в пятнадцатый день марта по повелению Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика.

Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик, великий понтифик, защитник народа шестой год подряд, император, отец отчизны, четырехкратный консул обнародует следующее официальное заявление:

К вопросу о некоторых старых разногласиях, решение которых было отложено на неопределенный срок уже в правление моего дяди Тиберия: мой дядя направил некоего Пинария Аполлинария, чтобы выяснить, в чем именно состоят разногласия между коменсианцами (насколько я помню) и бергалианцами, но только между ними; Пинарий не выполнил поручения, так как мой дядя упорно не желал появляться в пределах Рима; когда затем императором стал мой племянник Калигула, он также не потребовал у Пинария отчета, а тот понимал ситуацию и, не будь дурак, его не предложил. Вступив на престол, я получил сообщение от Камурия Статута о том, что мне подведомственны многие посевные и лесные угодья в тех краях, и — чтобы вернуться к настоящему времени — недавно отправил туда моего хорошего друга Планту Юлия. Собрав всех правителей, как местных, так и из отдаленных областей, он вник в эти вопросы и вывел свои заключения. Я одобряю все формулировки следующего эдикта, который, внесен сперва в него ясность, он приготовил мне на подпись, хотя принятые Плантой Юлием решения выходят за пределы того, чем занимался ранее посланный туда Пинарий:

«Что касается анаунианцев, туллиязианцев и синдунианцев, то я узнал из авторитетных источников, что часть из них, хотя и не все, присоединились к Южному Тиролю и подчиняются его правлению. Хотя я и вижу, что притязания этих племен на римское гражданство не имеют под собой прочного основания, все же, поскольку они уже фактически завладели этим правом, так сказать, явочным порядком, и настолько тесно смешались с южными тиролевцами, что разъединение принесет немалый вред сообществу этих прекрасных граждан, я по доброй воле сим разрешаю им и в дальнейшем пользоваться правами, которые они себе присвоили. Делаю это тем более охотно, что, как мне сообщили, многие из людей, чей общественный статус может иначе пострадать, служат в гвардейской дивизии — некоторые даже командуют ротами, — а часть их соотечественников включены в список присяжных заседателей Рима и успешно выполняют там эту почетную обязанность.

Настоящая милость дает правовую санкцию на все совершенные ими в прошлом действия и заключенные ранее сделки как между собой, так и с южными тирольцами или при любых других обстоятельствах в качестве, как они полагают, римских граждан, а также на те имена, которые они до сих пор носили, словно действительно были римскими гражданами».

**Сохранившиеся отрывки из речи Клавдия сенату с предложением
предоставить римское гражданство французам Аутунского района
48 г. н. э.**

Должен заранее попросить вас, сиятельные отцы, изменить ваш первый возмущенный взгляд на то предложение, которое я намерен сделать, и не считать, будто оно носит революционный характер; я уже предвижу, что ваше возмущение будет самым сильным препятствием на моем пути. Пожалуй, лучший способ преодолеть это препятствие — напомнить, сколько метаморфоз претерпела наша конституция на протяжении истории Рима, какой гибкой — как иначе скажешь? — она была с самого начала.

Некогда Римом правили цари, однако монархия не была наследственной. Корону завоевывали чужаки и даже иностранцы: такие, как сменивший Ромула царь Нума, уроженец Сабина (в те времена отдельное государство, хотя и расположенное близко к Риму), и Тарквиний Первый, севший на престол после Анка Мартия. Тарквиний поднялся из самых низов — отец его, Демарат, был из Коринфа, а мать, хотя и вышла из знатного рода Тарквиниев, была так бедна, что ей пришлось пойти на мезальянс — поэтому, не имея возможности занять почетный пост в Коринфе, Тарквиний переселился в Рим и был избран царем. Ему и его сыну — или внуку, историки не смогли прийти к единому мнению — наследовал Сервий Туллий, который, согласно римским летописям, был сыном Окрезии, полонянки. В этрусских анналах о нем повествуется как о верном друге этруска Цела Випина, разделившим с ним все его злоключения; там говорится, что, когда Цел потерпел поражение, Сервий Туллий ушел из Этрурии с остатками армии Цела и захватил вон тот холм, назвав его в честь своего бывшего командира Цельским. Затем он сменил свое этрусское имя — его звали Макстрна — на Туллий и завоевал римскую корону, став для нас очень хорошим царем. А позднее, когда Тарквиний Гордый и его сыновья заслужили ненависть римского народа своей тиранией, римский народ, уставший от монархии, скинул их с престола и у нас появились вместо них консулы — судьи, избираемые на один год.

Есть ли нужда напоминать вам о диктатуре, которую в трудные времена — когда шла война или начинались политические неурядицы — наши предки считали более надежной формой правления, чем даже власть консулов? Или о возникновении института защитников народа, трибунов, для защиты прав простых людей от посягательств знати? Или о Совете десяти, который на какой-то срок отобрал полномочия у консулов? Или о том времени, когда консульская власть делилась между несколькими людьми? Или о незаконном избрании консулов из числа армейских полковников — это случалось семь или восемь раз? Или о том, как выходцы из черни получали не только высшие судебские должности, но и доступ в орден жрецов? Однако хватит распространяться о ранних спорах наших предков и о том, к чему они привели; вы еще заподозрите, что, позабыв о скромности, я сделал этот исторический обзор предлогом для того, чтобы похвастаться недавним расширением империи за северные моря. (...)

По соизволению моего дяди, императора Тиберия, все основные колонии и города провинций должны были посылать в сенат своих представителей, отвечающих всем необходимым требованиям, как по имущественному положению, так и по репутации; и их оказалось не так

трудно найти. «Да, — можете вы сказать, — но между сенатором из Италии и сенатором из других краев большая разница». Когда я, в качестве цензора, приведу вам свои основания расширять границы римского гражданства, давая его провинциям, вы узнаете, что я чувствую по этому поводу. Сейчас же разрешите коротко выразить свою мысль: по-моему, нам не следует лишать уроженцев провинций места в этом собрании, если они могут сделать ему честь, только потому, что они провинциалы. Известная всем замечательная колония в Вене уже многие годы присылает к нам сенаторов, ведь так? Мой дорогой друг Луций Вестин — выходец из Вены; он один из самых выдающихся членов благородного сословия всадников и, по моей просьбе, помогает мне в административной работе. (Кстати, хочу попросить вас оказать милость его детям: я хотел бы, чтобы им были пожалованы высшие награды, которые даются священнослужителям, — я уверен, что впоследствии к тем почестям, что им оказали ради их отца, добавятся полученные по их собственным заслугам.) Правда, существует один француз, имя которого я не хочу здесь называть, так как он — негодяй и грабитель, и мне ненавистно даже упоминание о нем. Он был первым в школе кулачных бойцов и заявил в своей колонии, что его выбрали консулом еще раньше, чем она получила римское гражданство. Я столь же низкого мнения о его брате — такой жалкий и презренный тип, как он, вряд ли может принести хоть какую-то пользу в сенате.

Но сейчас настало время, Тиберий Клавдий Германик, познакомить сенат с главной темой твоей речи, раз ты уже добрался до границ южной Франции. (...) ...У сената не будет никаких оснований стыдиться этих благородных людей, стоящих сейчас передо мной, если их возведут в ранг сенаторов, как не устыдился мой знатный друг Периск, увидев старое французское имя Аллоброгик на одной из погребальных масок своих предков. Если вы согласны с тем, что я сказал, чего вы еще от меня ждете? Чтобы я показал вам пальцем на этой карте области, лежащие по ту сторону границы Южной Франции, откуда вышли некоторые наши сенаторы, и доказал, что мы не постыдились даже принять в свое сословие людей, рожденных в Лионе?

О сиятельные отцы, уверяю вас, что я с большой боязнью отваживаюсь пересекать знакомые границы моей родины — Южной Франции! Однако пришло время подумать об интересах этой огромной страны. Я признаю, что французы десять лет сражались против Юлия Цезаря (теперь обожествленного), но и вы, в свою очередь, должны признать, что после того они вот уже сто лет сохраняют такую верность и преданность Риму, даже когда в нем происходят беспорядки, какой мы и ждать не могли. Когда мой отец Друз отправился на завоевание Германии, Франция была у него в тылу и сохраняла мир в течение всех походов; то же было, когда его временно отозвали в Рим во время имущественной переписи населения — вещь для французов новая и тревожная. Что там говорить, даже сегодня — уж кому это знать по своему опыту, как не мне, — сделать перепись не так легко, хотя сейчас это всего-навсего государственный учет наших материальных ресурсов. (...)

Глава XXVIII

48 г. н. э.

Однажды в августе, в тот год, когда мы проводили перепись, Мессалина зашла ко мне в спальню рано утром. Я с трудом очнулся от сна. Мне всегда требуется какое-то время, чтобы прийти в себя, когда меня неожиданно будят, особенно если я не спал от полуночи до рассвета, как это нередко случается. Она наклонилась ко мне, поцеловала, погладила меня по волосам и крайне озабоченным тоном сказала, что

принесла мне ужасную весть. Я сонно и довольно сердито спросил какую.

— Барбилл, наш астролог... ты же знаешь, он никогда не ошибается... Я попросила его вчера составить мой гороскоп, он не делал этого уже два или три года, вчера ночью он наблюдал за звездами и вот только что он пришел ко мне, и знаешь, что сказал?

— Конечно, нет. Выкладывай и не мешай мне спать. У меня была ужасная ночь.

— Милый, я ни за что не потревожила бы тебя, если бы это не было так важно. Вот что он сказал: «Госпожа Мессалина, того, кто для вас очень близок, ожидает ужасная судьба. Снова пагубное влияние Сатурна. Он находится в самом грозном аспекте. Удар будет нанесен в ближайший месяц, не позже сентябрьских ид». Я спросила, кого он имеет в виду, он не ответил и говорил только намеками. Наконец я пригрозила, что его выпорют, это развязало ему язык. Догадайся, что он сказал?

— Терпеть не могу отгадывать загадки, когда я наполовину сплю.

— Но мне трудно выговорить это тебе в глаза. Это так ужасно. Он сказал: «Госпожа Мессалина, твой муж умрет насильственной смертью».

— Он так сказал? На самом деле?

Она мрачно кивнула.

Я сел на постели. Сердце гулко билось в груди. Да, предсказания Барбилла всегда сбывались. А это значило, что я не доживу до задуманного мной обнародования новой конституции каких-то нескольких дней. Я намеревался произнести торжественную речь седьмого сентября, в годовщину моей брентвудской победы, но хранил это в тайне от всех, даже от Мессалины, от которой вообще не имел секретов. Я сказал:

— И ничего нельзя сделать? Мы не можем придумать какую-нибудь хитрость и отвести предсказание?

— Ничего не приходит в голову. Ты мой муж, так ведь? Разве что... разве что... послушай, у меня появилась одна мысль! Предположим, что на этот месяц ты не будешь моим мужем.

— Но я твой муж. Я не могу сделать вид что ты мне не жена.

— Но ты можешь развестись со мной, разве не так? Только на этот месяц. А потом снова жениться на мне когда Барбилл скажет, что Сатурн ушел на безопасное расстояние.

— Нет, это невозможно. Если мы разведемся мы не сможем снова вступить в брак, если в промежутке ты не выйдешь за кого-нибудь другого.

— Я об этом не подумала. Но неужели отступать из-за какой-то технической сложности. Ну, так я выйду за кого-нибудь... за кого угодно... Простая формальность. За повара, или привратника, или за одного из дворцовых стражников. Ради свадебной церемонии, само собой. Мы войдем в брачную опочивальню и тут же покинем ее через другую дверь. Неплохая мысль верно?

Я подумал: что-то в этом есть, но, разумеется, выйти ей надо за человека знатного, из хорошего рода, не то это произведет плохое впечатление. Сперва я предложил Вителлия, но Мессалина с улыбкой сказала, что Вителлий так нежно к ней относится, что будет жестоко выйти за него замуж и не позволить ему провести с ней хоть бы одну ночь. К тому же, как насчет предсказания? Я же не хочу обрекать его на насильственную смерть, верно?

Мы принялись обсуждать различные кандидатуры, чтобы выбрать для нее самого подходящего мужа. Единственный, на ком мы сошлись, был Силий, консул этого года, сын того Силия, генерала моего брата Германика, которого Тиберий обвинил в государственной измене и вынудил покончить жизнь самоубийством. Я недолюбливал его, так как он возглавлял в сенате оппозицию против моих мер, направленных на расширение льгот и привилегий, предоставляемых нашим союзникам, и вел себя по отношению ко мне довольно нагло. После моей речи

относительно римского гражданства его попросили высказать свое мнение. Не странно ли, сказал Силий, что наши старинные союзники, благородные и славные греческие города в Ликий, лишены свободы (за пять лет до того я аннексировал территорию Ликии из-за бесконечных политических беспорядков, а также соседний с этой областью остров Родос, где местные жители посадили на кол несколько римских граждан), а кельтские варвары с севера получают права и привилегии, которые гарантируются римским гражданством. Я ответил на это возражение — единственное, которое было выдвинуто — как можно любезней. Начал я так:

— Кто спорит, длинен путь от знаменитой Ликии, от

Пышноструистого Ксанфа,

где, по словам поэта Горация, песню которого мы с вами слышали в прошлом году во время Секулярных игр,

Кудри омывает Аполлон,

до Франции и огромной и темной реки Роны... огромной темной реки Роны... о которой нет никаких упоминаний в классических легендах, если не считать сомнительного посещения этой реки Гераклом во время исполнения его десятого подвига — похищения быков Гериона. Однако я не думаю...

Тут меня прервал смех, из еле слышного ставший оглушительным. Оказывается, когда я сказал во второй раз «огромной темной реки Роны» и приостановился на миг в поисках подходящих слов, Силий произнес достаточно громко, чтобы всем было слышно — но, так как сидел он от меня со стороны глухого уха, сам я его слов не разобрал: «Да, огромной темной реки Роны, где, если историки не лгут,

Кудри омывает Клавдий», —

намек на тот случай, когда по приказу Калигулы я был скинут с перил моста и чуть не утонул. Можете представить, как я рассердился, узнав от Нарцисса причину смеха. Я не возражаю против дружеских шуточек в своей компании за обеденным столом или в банях, тем более — пусть даже шутка будет не совсем пристойной — во время сатурналий (между прочим, я вернул этому празднику пятый день, отобранный Калигулой), но мне и в голову бы не пришло потешаться над кем-нибудь в сенате, чтобы вызвать злорадный смех, и то, что это сделал консул, да еще на мой счет, к тому же в присутствии группы видных французов, которых я пригласил на это заседание, вызвало у меня гнев. Я вскричал:

— Сиятельные отцы, я позвал вас сюда, чтобы вы высказали свой взгляд на мое предложение, но по тому гвалту, который вы подняли, можно подумать, что мы не в сенате, а в самом дешевом борделе. Прошу соблюдать тишину. Что подумают о нас эти господа из Франции?

Шум немедленно прекратился. Так бывает всегда, стоит им увидеть, что я действительно сержусь.

Мессалина сказала, что с удовольствием выйдет за Силия, и не только из-за его грубости по отношению ко мне, это, безусловно, заслуживает астрального отмщения, но и потому, что, судя по взглядам, которые он на нее бросает, грубость его была вызвана ревностью, так как он страстно в нее влюблен. Какая самонадеянность, какая наглость! Но она накажет его по заслугам — объявит, что развелась со мной и готова стать его женой, а затем, в самый последний момент, сообщит, что их брак — одна проформа.

Так что мы остановились на Силии, и в тот же день я подписал документ,

разрывающий наши супружеские узы и разрешающий Мессалине вернуться под родительский кров. Мы обменялись с ней множеством шуток по этому поводу. Мессалина разыграла сцену раскаяния, умоляла меня о прощении и, упав передо мной на колени, просила разрешить ей остаться. Она со слезами обняла детей, которые не понимали, в чем дело.

— Неужели эти милые крошки должны страдать за грехи матери, о жестокосердный человек?

Я ответил, что ее грехи непростительны: она слишком умна, слишком прекрасна и слишком трудолюбива, чтобы оставаться со мной хотя бы на час. Она — недостижимый образец для всех остальных жен и делает меня объектом всеобщей зависти.

Мессалина шепнула мне на ухо:

— Если я проберусь во дворец ночью на следующей неделе и изменю тебе с тобой, ты отправишь меня в изгнание? У меня может появиться соблазн.

— Обязательно отправлю. И себя тоже. Куда мы поедем? Я бы хотел побывать в Александрии. Говорят, для изгнанников это идеальное место.

— И детей возьмем. Им там понравится.

— Для детей там неподходящий климат. Боюсь, им придется остаться здесь с твоей матерью.

— Мать не умеет воспитывать детей: посмотри только, как она воспитала меня! Если ты не возьмешь детей, я не приду сюда, чтобы нарушить супружескую верность.

— Тогда я женюсь на Лоллии Паулине, тебе назло.

— А я тогда убью Лоллию Паулину. Пошлю ей в подарок отравленные пирожки, как Калигула посылал тем людям, кто оставлял ему деньги по завещанию.

— Ну что ж, вот твои документы о расторжении брака под моей подписью и печатью, потаскушка. Теперь ты снова имеешь все права и привилегии незамужней женщины.

— Поцелуй меня, Клавдий, на прощанье.

— Ты напомнила мне знаменитую прощальную сцену между Гектором и Андромахой в шестой книге «Илиады»:

...и пошла Андромаха безмолвная к дому,
Часто назад озираясь, слезы ручьем проливая.
Скоро достигла она устроением славного дома
Гектора мужегубителя; в околе служительниц многих,
Собранных вместе, пошла и к плачу их всех возбудила...

Не торопись сообщать всем о нашем разводе. Ты — плохая актриса, прежде чем уходить со сцены, возьми несколько уроков у Мнестера.

— А я теперь сама себе хозяйка. Не поостережешься, выйду за Мнестера.

Силий считался самым красивым мужчиной среди римской знати, и Мессалина уже давно была от него без ума. Но он оказался отнюдь не легкой жертвой ее страсти. Во-первых, он был добродетельный человек, во всяком случае гордился своей добродетелью, во-вторых, был женат на знатной римлянке из рода Силана, сестре первой жены Калигулы, и наконец, хотя физически Мессалина была для него в высшей степени привлекательна, он знал, что она без разбора дарует свои милости патрициям, простолюдинам, гладиаторам, актерам и гвардейцам — в этом списке был даже один из парфянских послов — и не считал за особую честь получить приглашение в их компанию. Поэтому Мессалине приходилось прибегать к разным уловкам, чтобы поймать свою рыбку на удочку. Первая трудность заключалась в том, как убедить Силия прийти к ней. Мессалина несколько раз приглашала его, но он отказывался под тем или иным предлогом. В конце концов ей удалось добиться

своего, но лишь путем сговора с командиром городской стражи, ее бывшим любовником, который пригласил Силия к себе на ужин, а когда тот пришел, провел его в комнату, где за столом с двумя приборами его ждала Мессалина. Раз уж он там оказался, уйти было не так просто, а Мессалина не заикнулась о своей любви и принялась толковать о политике. Умно, ничего не скажешь! Она напомнила Силию об убитом отце и спросила, не тяжело ли ему видеть, как племянник убийцы, еще более кровожадный тиран, затягивает ярмо рабства все тесней и тесней на шее некогда свободного народа. (Речь шла обо мне, если вы сами меня не узнали.) Затем Мессалина сказала ему, что ее жизнь в опасности, так как она беспрестанно упрекает меня за то, что я не возродил республику, и за жестокие убийства невинных людей. Она сказала также, что я пренебрегаю ее красотой и предпочитаю ей простых служанок и дешевых проституток, и лишь в отместку за это небрежение она изменяет мне: ее неразборчивость вызвана крайним отчаянием и одиночеством. Он, Силий, единственный из всех, кого она знает, достаточно добродетелен и храбр, чтобы помочь осуществить задачу, которой она решила посвятить свою жизнь — возродить республику. Пусть он простит ее за ту невинную хитрость, к которой она прибегла, чтобы заманить его сюда.

Откровенно говоря, я не могу винить Силия за то, что он позволил ввести себя в обман; Мессалина каждый день обманывала меня в течение девяти лет. Не забываете, как она была хороша, да и к тому же, я полагаю, она подмешала что-то в его вино. Естественно, Силий принялся ее утешать, и прежде, чем успел сообразить, что происходит, они уже лежали в объятиях друг друга, перемежая слова «люблю» и «свобода» с поцелуями и вздохами. Мессалина сказала, что только теперь она поняла значение слова «любовь»; он клялся, что с ее помощью он при самой первой возможности восстановит республику, а она клялась быть верной ему до гробовой доски, если он разведется с женой, которая, как ей, Мессалине, известно, ему изменяет, к тому же бесплодна — неужели Силий позволит, чтобы род его прервался? И так далее, и тому подобное. Рыбка проглотила наживку, и теперь Мессалина вываживала ее, чтобы крепче подцепить на крючок.

Но Силий был не только добродетелен, но и осторожен и не чувствовал в себе достаточно сил организовать вооруженное восстание. С женой он развелся, но, по зрелом размышлении, сказал Мессалине, что лучше подождать, пока я умру, а уж потом возрождать республику. Тогда он женится на ней, усыновит Британика, после чего Рим и армия будут смотреть на него как на своего естественного предводителя.

Мессалина увидела, что ей придется действовать самой. Поэтому она провернула со мной трюк с Барбиллом, как я вам уже описал, ничего (если верить словам Силия) не сообщив ему о разводе, пока однажды не явилась к нему с полученным от меня документом и, не объясняя, как ей удалось его заполучить, радостно заявила, что теперь они могут пожениться и жить потом в свое удовольствие, но он не должен никому говорить об этом без ее разрешения.

Весь Рим был поражен, узнав о разводе, в особенности потому, что это никак не отразилось на моем отношении к Мессалине: когда она приходила во дворец заниматься своей административной работой, я обращался к ней с прежней, если не большей, уважительностью. Но каждый день она открыто, в сопровождении целой свиты прислужников, посещала Силия в его доме. Когда я намекнул, что дело заходит слишком далеко, Мессалина сказала, что уговорить Силия жениться на ней оказалось не так-то просто.

— Боюсь, он подозревает, что тут кроется какая-то ловушка; он очень сдержан и любезен, но в глубине души кипит от страсти, дрянь этакая! — сказала она.

Спустя несколько дней Мессалина радостно сообщила, что Силий наконец согласился и они поженятся десятого сентября. Она попросила меня совершить обряд бракосочетания в качестве великого понтифика и поглядеть на всю эту потеху.

— Ну не забавно ли будет видеть его лицо, когда он поймет, что надежды его обмануты и его обвели вокруг пальца?

К этому времени я уже сожалел о нашей затее, особенно о той шутке, которую мы намеревались сыграть с Силием, хотя он снова оскорбил меня в сенате, грубо прервав мою речь. Не следовало мне принимать предсказание всерьез, думал я. И все лишь потому, что я не совсем проснулся, когда Мессалина мне о нем рассказала. А если мне действительно была предсказана насильственная смерть, как можно ее избежать мнимым браком? Я вспомнил, что брачный союз не признается законным, пока отношения супругов не осуществлены физически. Я попытался уговорить Мессалину бросить всю эту затею, но она заявила, что я просто ревную к Силию, теряю чувство юмора и делаюсь глупым старым педантом, который портит всем настроение. Больше я об этом не заговаривал.

Утром пятого сентября я отправился в Остию, чтобы освятить большое новое зернохранилище. Я сказал Мессалине, что вернусь только на следующее утро. Она выразила желание поехать со мной, и я приказал подать нам коляску; но в последний момент у нее как всегда разболелась голова и она была вынуждена остаться. Это обмануло мои надежды, но планы менять было поздно, поскольку в Остии меня уже ожидали местные власти и я обещал принести жертвоприношения в храме Августа: с тех самых пор, как я вышел из себя, рассердившись на жителей Остии за то, что они не приняли меня должным образом, я тщательно следил за тем, чтобы не оскорбить их чувств.

Вскоре после полудня, когда я направлялся в храм для жертвоприношения, Эвод, один из моих вольноотпущенников, протянул мне записку. В его обязанности входило избавлять меня от лишних прошений. Все бумаги подавались ему, и если он считал ту или иную из них бессмысленной, незначительной и не заслуживающей моего внимания, меня ими не беспокоили. Просто удивительно, какую кучу глупостей пишут люди в прошениях. Эвод сказал:

— Прости, цезарь, но я тут ничего не понимаю. Мне передала это какая-то женщина. Ты не откажешься взять на себя труд прочитать записку?

К моему удивлению, записка была написана по-этрусски — вымерший язык, которым владели четыре-пять человек, не больше. Она гласила: «Риму и тебе самому угрожает большая опасность. Немедленно приходи ко мне. Не теряй ни минуты». Это поразило и напугало меня. Почему по-этрусски? К кому «ко мне»? Какая опасность? Прошло минуты две, прежде чем я догадался. Конечно же, это писала Кальпурния, та девушка, вы ее помните, которая жила со мной до моей женитьбы на Мессалине; я для забавы выучил ее этрусскому в то время, когда работал над историей Этрурии. Возможно, она писала по-этрусски не только, чтобы никто, кроме меня, не мог прочесть записку, но и чтобы я сразу догадался, от кого она. Я спросил Эвода:

— Ты видел эту женщину?

Он сказал, что по обличью она — египтянка, и очень хороша собой, хотя на лбу у нее оспины. Я тут же узнал Клеопатру, подругу Кальпурнии, делившую с ней кров.

Я договорился быть в доках сразу же после жертвоприношения, и отложить встречу было бы по меньшей мере неприлично; все подумали бы, что мне важнее навестить двух проституток, чем заняться имперскими делами. Однако я знал, что Кальпурния не из тех, кто будет писать по пустякам, и во время жертвоприношения решил повидаться с ней, чего бы мне это ни стоило. Может быть, притвориться больным? К счастью, Божественный Август пришел мне на помощь: внутренности овна, которого я принес ему в жертву, не предвещали ничего хорошего. Я еще не видел, чтобы у такого прекрасного на вид животного все внутри напоминало гнилой сыр. Было ясно, что в этот день любое государственное дело, а тем более столь серьезное, как освящение нового, величайшего в мире зернохранилища, просто

невозможно. Поэтому я попросил позволить мне перенести церемонию на завтра, и все согласились с тем, что это самое правильное решение. Я отправился к себе на виллу, сказав, что буду отдыхать до вечера, но с удовольствием приду на пир, куда я был приглашен, если он не будет носить официальный характер. Затем велел подать портшез к задним дверям виллы, и скоро меня уже несли за задернутыми занавесями к нарядному домику Кальпурнии на холме в пригороде Остии.

Кальпурния приветствовала меня с таким тревожным и горестным выражением, что я сразу понял: случилось что-то действительно серьезное.

— Говори сразу, — сказал я. — В чем дело?

Кальпурния разрыдалась. Я ни разу не видел ее плачущей, если не считать той ночи, когда по приказу Калигулы меня увели во дворец и она думала, что я иду на казнь. Она была выдержанная девушка, не манерничала, не ломалась, как обычная проститутка, и была, как говорится, «надежней римского меча».

— Ты обещаешь, что выслушаешь меня? Да нет, ты мне не поверишь. Ты велишь меня выпороть и вздернуть на дыбу. Я и сама не хочу ничего говорить. Но никто не осмеливается на это, значит, должна я. Я обещала Нарциссу и Палланту. Они были мне хорошими друзьями в прежние дни, когда мы бедствовали все вместе. Они сказали, ты не поверишь им, и никому другому тоже, но я сказала, я думаю, мне ты поверишь, ведь однажды, когда ты был в беде, я доказала свою дружбу. Разве я не отдала тебе все свои сбережения? Разве я была когда-нибудь жадной, или ревнивой, или нечестной по отношению к тебе?

— Кальпурния, за всю свою жизнь я знал всего трех безупречных женщин, и я назову их тебе. Одна — это Киприда, еврейская царица, другая — старая Брисеида, служанка моей матери, и третья — ты. А теперь скажи мне то, что хочешь сказать.

— Ты не включил в это число Мессалину.

— Само собой разумеется, что она в него входит. Хорошо, четыре безупречные женщины. И я не думаю, что наносу ей оскорбление, ставя рядом с восточной царицей, вольноотпущенницей-гречанкой и проституткой из Падуи. Та безупречность, о которой я говорю, не является прерогативой...

— Если ты включаешь в список Мессалину, вычеркни из него меня, — прервала она меня, тяжело переводя дыхание.

— Скромничаешь, Кальпурния. Не нужно. Я сказал то, что думал.

— Нет, скромность тут ни при чем.

— Тогда я не понимаю.

— Мне тяжело причинять тебе страдание, Клавдий, — медленно проговорила Кальпурния; было видно, что каждое слово дается ей с трудом. — Но это я и хотела сказать. Если бы Киприда была типичной восточной царицей, да еще из рода Ирода — жестокой, честолюбивой, порочной и неразборчивой в средствах, а Брисеида была типичной служанкой — нечистой на руку, ленивой, подлой, хорошо умеющей замечать следы, если бы твоя Кальпурния была типичной проституткой — тщеславной, похотливой, жадной, без каких-либо сдерживающих моральных правил — и использовала свою красоту для того, чтобы подчинять мужчин своей воле и губить их... если бы ты составил список самых худших женщин из всех, кого ты знал, и выбрал нас в качестве удобного примера...

— Что тогда? К чему ты ведешь? Ты говоришь так медленно.

— Тогда, Клавдий, ты по праву мог бы присоединить к нам Мессалину и сказать, что это само собой разумеется.

— Кто из нас сошел с ума? Я или ты?

— Только не я.

— Тогда объяснись. Что ты имеешь в виду? Чем провинилась моя бедная Мессалина, что ты вдруг набросилась на нее с такой яростью? Все это очень странно. Боюсь, Кальпурния, что нашей дружбе настал конец.

— Ты выехал утром из города в семь часов, да?

— Да. Что из того?

— Я выехала в десять. Мы с Клеопатрой ездили за покупками. И я видела свадьбу. Странное время для свадьбы, не так ли? Ну и веселились они. Все — пьяные в дым. Там было на что посмотреть. Весь дворец украшен виноградной лозой, плющом и огромными виноградными гроздьями, всюду бочки с вином и давяльные прессы. Праздник сбора винограда — так это было задумано.

— Какая свадьба? Говори дело.

— Свадьба Мессалины и Силия. Тебя разве не пригласили? Мессалина плясала и мешала жезлом Вакха вино в самой большой бочке. На ней была одна короткая туника, вся в винных пятнах, прикрывавшая лишь одну грудь, волосы распущены. И все же, по сравнению с другими женщинами, она выглядела почти пристойно. На тех развешались только леопардовые шкуры, так как они были вакханки. Вакха изображал сам Силий, на голове у него был венок из плюща, на ногах — котурны. Он казался еще более пьяным, чем Мессалина, мотал головой в такт музыке и скалил зубы, как Баба.

— Но... но... — глупо пробормотал я, — свадьба назначена на десятое. Я лично должен их сочетать.

— Они и без тебя управятся... Я сразу же пошла во дворец, к Нарциссу, и когда он увидел меня, он сказал: «Благодарение богам, Кальпурния, за то, что ты здесь. Ты — единственная, кому он поверит». А Паллант...

— Но я не верю. Я отказываюсь верить.

Кальпурния хлопнула в ладоши:

— Клеопатра! Нарцисс!

Они вошли в комнату и упали к моим ногам.

— Я правду говорю о свадьбе? Да или нет?

Они подтвердили, что это правда.

— Но я все об этом знаю, — слабо запротестовал я. — Это не настоящая свадьба, друзья. Это шутка, которую придумали мы с Мессалиной. Она не ляжет с ним в постель в конце церемонии. Это все совершенно невинно.

Нарцисс:

— Силий схватил ее, задрал тунику и принялся обцеловывать с ног до головы у всех на глазах, а она только смеялась и визжала, а потом понес ее в брачную опочивальню; они оставались там почти целый час, а потом снова принялись пить и танцевать. Это тоже кажется тебе невинным, цезарь? Мне — нет.

Кальпурния:

— И если ты немедленно не станешь действовать, хозяином в Риме будет Силий. Все, кого я встречала, утверждали, будто Мессалина и Силий поклялись собственной головой возродить республику и что их поддерживает сенат и большинство гвардейцев.

— Я должен услышать все. Я не знаю, смеяться мне или плакать. Осыпать вас золотом или засечь до смерти.

И я услышал от них все, хотя Нарцисс согласился говорить лишь при одном условии: если я прощу его за то, что он так долго скрывал от меня преступления Мессалины. Он сказал, что, когда ему впервые стало все известно, он решил избавить меня от горечи разочарования — я был так счастлив в своем неведении, — пока Мессалина не делает ничего, что подвергло бы опасности мою жизнь или угрожало империи. Он надеялся, что она возвратится на стезю добродетели или что все обнаружится само собой. Но время шло, Мессалина вела себя все более беспутно, и рассказать мне о ней становилось все трудней. По правде говоря, он не мог поверить, чтобы я не знал того, что знал весь Рим, и все провинции, если уж на то пошло, и даже наши враги за границей. Казалось невозможным, чтобы на протяжении

целых девяти лет до меня не дошли слухи об ее оргиях, поражающих всех своим бесстыдством.

Клеопатра рассказала самую, пожалуй, ужасную, хотя и смешную историю. В то время, как я был в Британии, Мессалина отправила вызов в гильдию проституток, где просила избрать среди них чемпионку, которая сможет померяться с ней силами во дворце: интересно, кто из них двоих доведет за ночь до изнеможения большее число доблестных партнеров. Гильдия прислала известную всем сицилианку по прозвищу Сцилла, названную так в честь чудовища, жившего в Мессинском проливе. Когда наступил рассвет, Сцилла была вынуждена признать свое поражение на двадцать пятом партнере, но Мессалина продолжала, из чистой бравады, пока солнце не поднялось высоко на небо. Что еще хуже, почти вся римская знать была приглашена на это состязание, и многие мужчины приняли в нем участие, а три или четыре женщины поддались уговорам Мессалины последовать ее примеру.

Я рыдал, обхватив голову руками, как Август каких-то пятьдесят лет назад, когда он услышал из уст своих внуков Гая и Луция примерно такую же историю об их матери Юлии; и, повторив слово в слово, слова Августа, я сказал, что никогда не слышал и намек на это, что не питал ни малейшего подозрения и считал Мессалину самой добродетельной женщиной в Риме. Мне захотелось, подобно Августу, запереться в своей комнате и никого не видеть. Но мне это не удастся. В голове у меня, не переставая, нелепо барабанили две строчки из музыкальной комедии — я забыл ее название, — которую показывала труппа Мнестера несколько дней назад:

Обычная история, печальна и смешна,
Когда у мужа-старика распутница жена.

Я сказал Нарциссу:

— Во время первых гладиаторских игр, которые я видел (я был распорядителем совместно с Германиком) — ты их помнишь, это были игры в честь моего отца, — испанцу гладиатору отрубили руку, в которой он держал щит, у самого плеча. Он был близко от меня, и я хорошо разглядел его лицо. У него сделался такой глупый вид, когда он понял, что произошло. А весь амфитеатр хохотал до упаду. Мне тоже показалось это забавным, да простят меня боги.

Глава XXIX

Тут в комнату вошел Ксенофонт и заставил меня выпить какой-то целебный отвар, — я был на грани обморока, — и уже не оставлял меня своим попечением. Я не знаю точно, какое он дал мне снадобье, но голова у меня сразу прояснилась, вернулось самообладание, я почувствовал полную отрешенность от всего вокруг. Казалось, я попираю ногами облака, как бог. Оно подействовало также на мое зрение, так что я видел Нарцисса, Кальпурнию и Палланта не рядом, а в двадцати шагах от себя.

— Пошлите за Турранием и Лусием Гетой.

Турраний был назначен управляющим складами после смерти Каллона, а Гета, как я уже говорил, командовал гвардией совместно с Криспином.

Заверив обоих, что они не будут наказаны, если скажут правду, я подверг их допросу. Они подтвердили все, сказанное мне Нарциссом, Кальпурнией и Клеопатрой, и добавили много чего другого. Когда я попросил Гету честно объяснить, почему он не доложил мне об этом раньше, он сказал:

— Разреши напомнить тебе, цезарь, поговорку, которая так часто бывает у тебя на устах: «Своя рубашка ближе к телу». Чем кончилась попытка моего предшественника Юста довести до твоего сведения, что делается в том крыле

дворца, где живет твоя жена?

Турраний на тот же вопрос ответил, напомнив мне, что, когда не так давно он набрался храбрости прийти ко мне с жалобой на Мессалину, отдавшую приказание незаконно конфисковать общественное имущество — базальтовые глыбы, предназначенные для ремонта Бычьего рынка, — чтобы использовать их, как оказалось, для постройки новой колоннады в Лукулловых садах, я очень рассердился и велел никогда впредь не ставить под сомнение ни один ее приказ и поступок — все, что она делает, делается по моей просьбе и настоянию или по крайней мере с моего полного согласия. Я сказал ему тогда, что, если в будущем у него будут претензии к госпоже Мессалине, пусть он обращается с ними к ней самой. Турраний был прав. Именно это я и сказал ему.

Все время, пока я расспрашивал Гету и Туррания, Кальпурния, стоявшая в глубине комнаты, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и, наконец поймав мой взгляд, умоляюще посмотрела на меня. Я понял, что ей нужно сказать что-то наедине. Я тут же всех удалил, и она проговорила мягко, но очень серьезно:

— Милый, ты ничего не добьешься, вновь и вновь задавая один и тот же вопрос разным людям. Это никуда тебя не приведет. Неужели не ясно: все они боялись тебе о ней сказать, с одной стороны, потому что знали, как ты любишь Мессалину и как доверяешь ей, с другой, и это главное, потому что ты — император. Тебе не повезло, но и сам ты вел себя очень глупо, и сейчас нужно сделать все, чтобы исправить положение. Если ты не начнешь немедленно действовать, ты всем нам подпишешь смертный приговор. Дорога каждая минута. Тебе надо не мешкая отправиться в лагерь гвардейцев и отдаться под защиту всех верных полков, которые там есть; не думаю, что они покинут тебя ради Мессалины и Силия. Может быть, найдется один-два полковника или капитана, которых они подкупили, но рядовые преданы тебе. Сразу же пошли в Рим верховых гонцов, пусть объявят повсюду, что ты возвращаешься в город, чтобы отомстить Силию и своей жене. Отправь ордера на арест всех, кто был на свадьбе. Возможно, этого хватит, чтобы подавить бунт в зародыше. Все они будут слишком пьяны, чтобы сделать что-нибудь опасное. Но не теряй времени.

— Да, — сказал я, — не буду.

Я снова позвал Нарцисса.

— Ты доверяешь Гете?

— Честно говоря, цезарь, не очень.

— А тем двум ротным, что пришли с ним?

— Им — да, но они глупы.

— Криспин отдыхает в Байях, кого же поставить командующим гвардией, если Гете нельзя доверять?

— Если бы Кальпурния была мужчиной, я бы сказал: Кальпурнию. Но, поскольку она женщина, что ж, на безрыбье и рак рыба: придется поставить меня. Спору нет, я всего лишь вольноотпущенник, но гвардейские офицеры знают и любят меня, и командовать я буду только один-единственный день.

— Прекрасно, Нарцисс, мой однодневный генерал. Скажи Гете, что доктора велели ему лежать в постели до завтрашнего дня. Дай мне перо и пергамент. Подожди. Какое сегодня число? Пятое сентября? Вот твои полномочия. Покажи их ротным и отправь их с солдатами в Рим арестовать всех, кто был на свадьбе. Но предупреди: никакого физического насилия, разве что при самозащите. Сообщи гвардейцам, что я уже в пути и что их верность, в которой я не сомневаюсь, не останется без награды.

От Остии до Рима восемнадцать миль, но гвардейцы преодолели это расстояние за полтора часа, воспользовавшись быстроходными двуколками. Оказалось, что, когда они прибыли, гости уже стали расходиться. Причиной тому был

всадник по имени Веттий Валент, бывший любовник Мессалины (пока не появился на сцене Силий), до сих пор пользующийся ее благосклонностью. Пирушка достигла той стадии, когда винные пары начинают постепенно рассеиваться и, как это обычно бывает, хмельное веселье понемногу уступает место усталости и смущению. Сейчас все глаза были устремлены на Веттия Валента: он обнимал ствол огромного вечнозеленого дуба, растущего возле дома, и разговаривал с воображаемой дриадой внутри. Дриада, по-видимому, влюбилась в него и шепотом, не слышным никому, кроме Веттия, приглашала его на свидание на верхушке дуба. Хоть и не сразу, он согласился присоединиться к ней и заставил приятелей построить живую пирамиду, чтобы он смог добраться до первой большой ветви. Два раза пирамида разваливалась под аккомпанемент визга и хохота, но Веттий не отступал и при третьей попытке сел на ветку верхом. Отсюда он принялся невзирая на опасность медленно подниматься к верхушке, пока, достигнув ее, не скрылся в густой листве. Все стояли, задрав головы, гадая, что теперь произойдет. Любопытство разгоралось все сильнее, так как Веттий был известный шутник. Скоро сверху послышались страстные вздохи и стоны дриады и собственные его смачные поцелуи. Затем наступила тишина; зрители принялись звать;

— Веттий, Веттий, что ты там делаешь?

— Рассматриваю наш мир. Отсюда так хорошо все видно. Дриада сидит у меня на коленях и показывает мне интересные места, поэтому не мешайте нам. Да, конечно, это здание сената, я и сам это знаю, глупышка! А это Колчестер! Быть не может, ты ошибаешься. Разве с этого дерева виден Колчестер? Ты хочешь сказать: лагерь гвардейцев. Да нет, клянусь небом, это действительно Колчестер. Вот название, написанное на доске для объявлений, а вот синелицые британцы, бродящие вокруг. Но что это? Что они делают? Нет, я не верю своим глазам. Что?! Поклоняются Богу Клавдию?

А затем, имитируя мой голос:

— «Почему, однако, я хочу знать почему? Больше некому поклоняться? Может быть, другие боги отказались пересечь пролив? Я их не виню. Меня самого чуть не вывернуло наизнанку, когда я его пересекал».

Все слушали, как замороженные. Когда он опять замолк, все закричали:

— Веттий, Веттий, а сейчас ты что делаешь?

Он ответил снова моим голосом:

— «Прежде всего, если я не захочу отвечать, то и не буду. Кто может меня заставить? Я в своих поступках волен, не так ли? Сказать по правде, я самый вольный человек в Риме».

— О, скажи нам, Веттий.

— Взгляните! Взгляните! Тысяча змей и фурий! Пусти меня, дриада, сейчас же отпусти. Нет, нет, в другой раз. Не могу сейчас задерживаться из-за этого. Мне надо вниз. Руки прочь, дриада!

— Что случилось, Веттий?

— Спасайтесь, кто может. Я увидел ужасное зрелище. Нет, погодите. Трог, Прокул, сперва помогите мне слезть! Остальные бегите!

— Что? Что?!

— К нам сюда несется от Остии страшный ураган! Спасайся, кто может!

И толпа бросилась врассыпную. Со смехом и визгом — жених и невеста впереди — они выбежали из сада на улицу за несколько секунд до того, как мои солдаты подскакали к воротам. Мессалина благополучно скрылась, так же как Силий, но солдаты без труда арестовали около двухсот гостей разом, а затем подобрали поодиночке еще человек пятьдесят, которые брели, спотыкаясь, домой. С Мессалиной осталось всего три провожатых. Сперва их было больше двадцати, но, как только раздался крик, что идут гвардейцы, почти все покинули ее. Пробравшись

пешком по улицам города, Мессалина достигла наконец садов Лукулла. К этому времени она уже немного протрезвела и решила, что ей нужно немедленно отправиться в Остию и вновь испробовать на мне свои чары — до сих пор ей всегда удавалось меня провести, — а также взять с собой детей для подкрепления. Она все еще была босиком, в запятнанной вином тунике и, когда она бежала по улицам города, вслед ей неслись улюлюкание и свист. Она послала во дворец служанку за детьми, сандалиями, драгоценностями и чистым платьем. Силия Мессалина бросила при первом признаке опасности, что яснее ясного свидетельствует о том, чего стоила их любовь. Мессалина была готова пожертвовать им, чтобы отвратить мой гнев от себя, а Силий отправился на рыночную площадь и занял свое место судьи, словно ничего не произошло. Он был все еще очень пьян и воображал, будто сможет доказать свою непричастность ко всему этому делу; когда ротный подошел, чтобы его арестовать, Силий заявил, что он занят, и вообще, чего им надо? В ответ на него надели наручники и отвели в лагерь гвардейцев.

Тем временем ко мне присоединился Вителлий и Кецина (мой коллега во время второго консульства), которые сопровождали меня в Остию и после жертвоприношения отправились навестить друзей в другой части городка. Я коротко сообщил им о случившемся и сказал, что немедленно возвращаюсь в Рим; я надеюсь, что они поддержат меня и засвидетельствуют то, с каким беспристрастием я буду карать виновных, независимо от их ранга и общественного положения. Олимпийское спокойствие, вызванное снадобьем Ксенофонта, по-прежнему не покидало меня. Я говорил хладнокровно, свободно и, думаю, разумно. Сперва Вителлий и Кецина ничего мне не ответили, лишь одним своим видом высказывая удивление и тревогу. Когда я спросил их, что они думают об этом, Вителлий по-прежнему ограничивался восклицаниями, выражающими ужас и изумление, вроде: «Они действительно так тебе сказали? О, не ужасно ли это?! Какое низкое предательство!» Кецина следовал его примеру. Подали парадную карету, и тут Нарцисс, которому я поручил написать обвинительное заключение против Мессалины и который был занят тем, что опрашивал наш персонал, чтобы пополнить список ее любовников, показал себя храбрым человеком и верным слугой.

— Цезарь, сообщи, пожалуйста, своим благородным друзьям, какова моя должность на сегодняшний день, и разреши сесть рядом с тобой. До тех пор, пока сиятельные отцы Вителлий и Кецина не выскажут честно, что они думают, вместо того чтобы произносить фразы, которые можно истолковать и как осуждение твоей жены, и как осуждение тех, кто ее обвиняет, мой долг командующего гвардией оставаться возле тебя.

Я рад, что он поехал с нами. По пути в город я принялся рассказывать Вителлию о милых повадках Мессалины, о том, как я любил ее и как низко она меня обманула. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Нужно быть каменным, чтобы устоять перед такой красотой.

Я заговорил о детях, и Кецина с Вителлием опять дружно вздохнули:

— Бедные, бедные детки! Нельзя, чтобы они страдали.

Но ближе всего к тому, что они действительно думали, было восклицание Вителлия:

— Для того, кто, подобно мне, смотрел на Мессалину с нежностью, кто восхищался ею, почти невозможно поверить этим грязным обвинениям, пусть тысяча достойных доверия свидетелей клянется, что они соответствуют истине.

И слова согласия, сорвавшиеся с губ Кецины:

— О, в каком порочном, каком печальном мире мы живем!

Их ждал неприятный сюрприз. Мы увидели в полутьме две повозки, приближающиеся к нам. Впереди ехала карета, в которую были запряжены белые лошади; в ней сидела Вибидия, самая старая — ей было восемьдесят пять лет — и

почтенная из весталок и мой большой друг. За ней следовала повозка с нарисованной на ней большой желтой буквой «L» — одна из тех повозок из Лукулловых садов, на которых там возят землю и мусор. В ней были Мессалина и дети. Нарцисс оценил ситуацию с первого взгляда — у него глаза лучше моих — и остановил лошадей.

— К тебе едет весталка Вибиция, цезарь, — сказал он. — Без сомнения, она будет умолять тебя простить Мессалину. Вибиция премилая старушка, и я о ней самого высокого мнения, но, ради всего святого, не давай ей опрометчивых обещаний. Не забывай, как Мессалина чудовищно с тобой обошлась, не забывай, что она и Силий — предатели Рима. Будь любезен с Вибидией, это само собой, но ничего ей не открывай. Вот обвинительный лист, просмотри его, прочитай имена. Погляди на одиннадцатый номер — Мнестер. И ты это простишь? А Кэсонин, как насчет него? Что можно думать о женщине, которая способна забавляться с такой тварью?

Я взял пергамент у него из рук. Выходя из кареты, он шепнул что-то на ухо Вителлию; я не знаю что, но этого оказалось достаточно, чтобы Вителлий ни разу не открыл рта. Пока я читал при свете фонаря обвинительный список, Нарцисс побежал по дороге навстречу Вибидии и Мессалине, которые тоже сошли на землю и направлялись к нам. Мессалина была сравнительно трезва и позвала меня издали нежным голосом:

— Привет, Клавдий! Я такая глупая девчонка! Ты просто не поверишь, что я такое натворила.

В кои веки моя глухота сослужила мне хорошую службу. Я не узнал ее голос и не расслышал слова. Нарцисс вежливо приветствовал Вибицию, но не дал Мессалине сделать больше ни шага. Мессалина осыпала его проклятиями, плевала ему в лицо, попробовала увернуться и проскочить мимо, но Нарцисс приказал двум сопровождающим нас сержантам довести ее до повозки и проследить, чтобы она вернулась в город. Мессалина вопила так, будто ее хотят изнасиловать или убить, и я, подняв глаза от списка, спросил, в чем дело.

— Женщина в толпе, — отозвался Вителлий. — Судя по крикам, у нее начались схватки.

Затем к нашей карете медленно приблизилась Вибиция, за ней, отдуваясь, спешил Нарцисс. Он с ней затем и разговаривал, избавив от этого меня. Нарцисс сказал Вибидии, что смешно благочестивой пожилой весталке просить за Мессалину, чье распутство и вероломство ни для кого не секрет.

— Не думаю, что вам, весталкам, будет по вкусу, если дворец снова превратится в бордель, как это было при Калигуле, верно? Или если танцоры и гладиаторы станут устраивать свои представления на постели великого понтифика, да еще с активным участием его жены. Как, одобрите вы это или нет?

Вибиция пришла в ужас: Мессалина призналась ей лишь в «опрометчивой фамильярности» с Силием. Она сказала:

— Я ничего об этом не знаю, но все равно я должна настоятельно просить великого понтифика не делать ничего поспешно, не проливать невинной крови, не осуждать никого, не выслушав сперва слов оправдания, помнить о чести своей семьи и долге перед богами.

Я прервал ее:

— Вибиция, Вибиция, мой дорогой друг, я буду справедлив к Мессалине, ты можешь рассчитывать на это.

Нарцисс:

— Без всякого сомнения. Опасность в другом — в том, что великий понтифик может проявить по отношению к своей бывшей жене незаслуженное сострадание. Для него будет очень и очень трудно судить ее так беспристрастно, как этого требует его государственный долг. Поэтому я должен просить тебя ради него самого не

делать положение еще более тягостным. Разреши мне, пожалуйста, попросить тебя удалиться, госпожа Вибидия, и заняться церемониями в честь богини Весты, в которых ты так хорошо разбираешься.

И она удалилась, а мы поехали дальше. Когда мы достигли города, Мессалина, как мне передали, сделала еще одну попытку увидеть меня, но была задержана сержантами. Тогда она послала Британика и крошку Октавию, чтобы они попросили за нее, но Нарцисс заметил, что они бегут к нашей карете, и махнул рукой, чтобы они вернулись. Я сидел молча, с грустью перечитывая список соучастников Мессалины в ее любовных утехах. Нарцисс озаглавил его: «Предварительный неполный отчет о печально известных нарушениях Валерией Мессалиной супружеской верности, начиная с первого года ее супружества с Тиберием Клавдием Цезарем Августом Германиком Британиком, отцом отчизны, великим понтификом и т. д. вплоть до настоящего дня». В списке было сорок четыре имени, в конечном итоге их стало сто пятьдесят шесть.

Нарцисс послал приказ вернуть повозку в Лукулловы сады: согласно правилам уличного движения, ей нельзя было находиться на улицах города в такое время дня. Мессалина увидела, что ее карта бита, и позволила увезти себя обратно. Детей отослали во дворец, но ее мать, Домиция Лепида, несмотря на охлаждение между ними в последнее время, храбро присоединилась к ней, иначе Мессалина ехала бы, не считая возчика, совсем одна. Затем Нарцисс велел кучеру отправиться к дому Силия. Когда мы приблизились к нему, я сказал:

— Погляди, мы не туда попали. Это же фамильный дворец Азиниев.

Но Нарцисс все объяснил.

— Когда Азиний Галл был сослан, Мессалина купила дворец и держала это в тайне, а затем преподнесла Силию как свадебный подарок. Зайди внутрь и посмотри своими глазами, что здесь творилось.

Я вошел и увидел хаос, оставшийся после свадьбы: украшения из виноградных лоз, винные бочки и прессы, столы с остатками еды и грязными тарелками, раздавленные ногами лепестки роз и цветочные гирлянды на полу, брошенные леопардовые шкуры и повсюду — пролитое вино. Дворец был пуст, если не считать старика швейцара и пьяной в дым пары, лежавшей в объятиях друг друга на брачном ложе в спальне молодых. Я приказал их арестовать. Мужчина оказался штаб-лейтенантом по имени Монтан, его соучастницей была родная племянница Нарцисса, молодая замужняя женщина с двумя детьми. Больше всего меня возмутило и расстроило то, что залы были обставлены нашей дворцовой мебелью, и не только той, что Мессалина привезла с собой как часть приданого, когда мы поженились, — я увидел здесь старинные фамильные ценности Клавдиев и Юлиев, в том числе статуи моих предков и семейные маски, перевезенные сюда вместе с тем шкафом, где они хранились. Что могло красноречивей сказать о намерениях Мессалины?! Мы снова сели в карету и отправились в лагерь гвардейцев. Нарцисс сидел мрачный, подавленный — он очень любил племянницу, а Вителлий и Кецина, решив, что для них будет безопасней поверить своим глазам, наперебой принялись призывать меня к отмщению. Добравшись до лагеря, мы нашли всю дивизию на плацу, построенную по приказу Нарцисса перед трибуналом. Уже совсем стемнело, и трибунал освещался неровным пламенем факелов. Я поднялся на помост и произнес короткую речь. Голос мой звучал внятно, но мне казалось, что он доносится издалека:

— Гвардейцы, мой друг покойный царь Ирод Агриппа, который первый рекомендовал вам меня в качестве императора, а затем убедил сенат одобрить ваш выбор, сказал мне, когда я в последний раз видел его живым, и повторил это в своем последнем письме, чтобы я никому не доверял, так как никто из тех, кто меня окружает, не стоит моего доверия. Я понял его слова в переносном смысле. Я продолжал относиться с абсолютным доверием к моей жене Валерии Мессалине,

которая, как я только сейчас узнал, была и есть распутница, лгунья, воровка, убийца и предательница по отношению к Риму. Я не хочу сказать, гвардейцы, что я не доверяю вам. Поверьте, вы — единственные, кому я доверяю. Вы солдаты и выполняете свой долг, не задавая вопросов. Я жду, что вы меня поддержите и сокрушите заговор, подготовленный против меня моей бывшей женой Мессалиной и ее любовником, консулом этого года Гаем Силием, которые хотели лишить меня жизни под тем предлогом, будто они намереваются возродить в Риме народную свободу. Сенат кишит заговорщиками, он разложился так же, как внутренности овна, принесенного мной утром в жертву Богу Августу, — вы не представляете, какое это было ужасное зрелище. Мне стыдно все это говорить, но таков мой долг, вы согласны? Помогите мне призвать к ответу моих врагов — наших врагов — и, если после казни Мессалины я вздумаю снова жениться, можете изрубить меня мечами, а моей головой играть в банях в мяч, как некогда головой Сеяна. Три раза женат, и все три раза неудачно. Как мне быть, ребята? Что вы думаете, скажите мне. От прочих своих друзей я не дождался прямого ответа.

— Убей их, цезарь! — Никакой пощады! — Задави гадину! — Всем смерть! — Мы за тебя! — Ты был слишком великодушен, черт побери! — Сотри их с лица земли, цезарь!

В том, что обо всем этом думали гвардейцы, сомнений не оставалось.

Поэтому я велел тут же привести ко мне всех арестованных мужчин и женщин и приказал арестовать еще сто десять мужчин, имена которых стояли в списке любовников Мессалины, и четырех знатных римлянок, которые во время пресловутой оргии во дворце поддались настояниям Мессалины и выступили в роли проституток. Я закончил разбирательство за три часа. Объяснялось это тем, что из трехсот шестидесяти человек только тридцать четыре отвергли предъявленные им обвинения. Тех, чья вина заключалась лишь в присутствии на свадьбе, я отправил в изгнание. Двадцать всадников, шесть сенаторов и гвардейский полковник, которые признали себя виновными в прелюбодеянии или попытке государственного переворота, или в том и другом вместе, просили о немедленной казни. Я оказал им эту милость. Веттий Валент попытался откупиться, предложив назвать имена главарей заговора. Я сказал ему, что могу их узнать без его помощи, и его отвели на казнь. Монтан тоже был в списке Нарцисса, но в свое оправдание сослался на то, что Мессалина заставила его провести с ней ночь, предъявив соответствующий приказ с моей подписью и печатью, и что после этой единственной ночи она потеряла к нему интерес. Должно быть, Мессалина заполучила мою подпись к этому документу, прочитав вслух «просто, чтобы не утомлять твои милые глазки, мой любимый» не то, что там было написано. Однако, как я указал Монтану, для участия в свадьбе я ему приказа не посылал, тем более для прелюбодеяния с племянницей моего друга Нарцисса, поэтому он тоже был казнен. Прибавьте к этому пятнадцать самоубийств, совершенных той же ночью в городе людьми, которые ожидали ареста. Среди них три моих близких друга, всадники Трог, Котта и Фабий.

Я подозреваю, что Нарцисс знал об их вине, но из дружбы не поместил их имена в список, удовлетворившись тем, что послал им предупреждение.

Мнестер отрицал свою вину. Он напомнил мне, что получил от меня приказание во всем подчиняться моей жене и делал это, хотя и против своей воли. Он скинул одежду и показал следы плети на спине.

— А все потому, что моя врожденная скромность не позволяла мне так энергично исполнять твой приказ, цезарь, как бы ей хотелось.

Мне было жаль Мнестера. Однажды он спас всех зрителей театра от резни, которую хотели устроить телохранители-германцы. Да и какой спрос с актера? Но Нарцисс сказал:

— Не щади его, цезарь. Погляди внимательно на его шрамы, кожа цела, крови

не было. Всякому, у кого есть глаза, ясно, что плеть не причинила ему настоящей боли, напротив, они оба получали от этого противоестественное удовольствие.

Тут Мнестер изящно поклонился гвардейцам — последний его поклон — и произнес свои обычные прощальные слова:

— Если я доставил вам удовольствие, в этом моя награда. Если провинился перед вами, прошу меня простить.

Ответом было молчание, и Мнестера увели навстречу смерти.

Единственные два человека, которых я пощадил, — я не говорю о тех, кто безусловно оказался невинен, — были некий Латеран и Кэсонин. Улики против Латерана шли вразрез друг с другом, а он был племянником Авла Плавтия, поэтому я принял на веру его слова, не имея доказательств обратного. Кэсонин же был такой жалкий и низкий негодяй, что я не хотел оскорблять всех остальных, казня его с ними вместе; при Калигуле он продавал себя мужчинам. Не знаю, что с ним стало; после того, как я его отпустил, он никогда не появлялся в Риме. Я также прекратил дело племянницы Нарцисса: я был у него в долгу.

Вакханок, все еще одетых лишь в леопардовые шкуры, я приказал повесить, процитировав речь Улисса из «Одиссеи», когда он наказывал распущенных служанок Пенелопы:

...И сын Одиссеев сказал им:
«Честною смертью, развратницы, вы умереть
недостойны,
Вы, столь меня и мою благородную мать Пенелопу
Здесь осрамившие, в доме моем с женихами
слюбившись».

Я вздернул их, как это описано у Гомера, двенадцать в ряд, на огромном корабельном тресе, натянутом между двумя деревьями с помощью лебедки. Ноги их лишь чуть-чуть не доходили до земли, и когда они умирали, я снова привел строку из «Одиссеи»:

...и смерть их постигла
Скоро: немного подергав ногами, все разом утихли.

А Силий? А Мессалина? Силий даже не пытался оправдываться, а когда я стал задавать ему вопросы, приводил голые факты, свидетельствующие о том, как он был соблазнен Мессалиной. Я нажимал на него:

— Но почему? Я хочу знать почему. Ты действительно был в нее влюблен? Ты действительно считал меня тираном? Ты действительно хотел возродить республику или метил на мое место?

Он ответил:

— Не могу объяснить этого, цезарь. Может быть, меня околдовали. Она заставила видеть в тебе тирана. Мои планы были туманны. Я говорил о свободе со многими друзьями, а ты ведь и сам знаешь, как это бывает: когда говоришь о свободе, все кажется просто. Ждешь, что все двери раскроются перед тобой, стены падут, а люди будут петь от радости.

— Ты хочешь, чтобы я пощадил твою жизнь? Отдать тебя под опеку семьи как слабоумного, не отвечающего за свои поступки?

— Я хочу умереть.

Мессалина прислала мне из Лукулловых садов письмо. Она писала, что любит меня так же нежно, как раньше, и надеется, я не отнесусь к ее шалости слишком серьезно; она просто водила Силия за нос, как мы с ней договорились, и если она

перепила и шутка зашла слишком далеко, это еще не значит, что я должен быть глупеньким — сердиться или ревновать. «Ничто не делает мужчину таким противным, таким ненавистным в глазах женщины, как ревность». Письмо передали, когда я еще был на трибунале, но Нарцисс не дал мне ответить до конца суда, и я послал лишь официальное уведомление: «Твое письмо получено: я уделю ему свое императорское внимание в надлежащее время». Нарцисс сказал, что до тех пор, пока я полностью не удостоверюсь в размерах ее вины, лучше не рисковать: мое письмо может внушить Мессалине надежду, что она избежит смерти и будет всего лишь сослана на какой-нибудь небольшой остров.

В ответ на уведомление о том, что я получил ее письмо, Мессалина прислала второе — длинное, многословное послание с пятнами слез, где она упрекала меня за холодный ответ на ее нежные слова. Оно содержало полное признание, как она называла это, во множестве опрометчивых поступков, но ни одного случая супружеской измены она не привела: она умоляла меня ради наших детей простить ее и дать ей возможность начать все с начала; обещала быть мне верной и покорной женой и стать для знатных римлянок идеальным образцом примерного поведения на все грядущие времена. И подписалась ласкательным прозвищем. Письмо пришло в то время, как я разбирал дело Силия.

Нарцисс увидел слезы у меня на глазах и сказал:

— Цезарь, не поддавайся. Кто родился шлюхой — шлюхой и умрет. Она обманывает тебя даже сейчас.

Я сказал:

— Нет, я не поддамся. Нельзя дважды умереть от одной и той же болезни.

И я снова написал: «Твое письмо получено: я уделю ему свое императорское внимание в надлежащее время».

Третье письмо Мессалины прибыло как раз тогда, когда на землю упали последние головы. Оно было сердитым и угрожающим. Она писала, что дала мне полную возможность отнестись к ней справедливо как порядочному человеку, и если я немедленно не попрошу у нее прощения за свою наглость, бездушие и неблагодарность, выказанные ей, мне придется отвечать за последствия, так как ее терпению приходит конец. Все гвардейские офицеры тайно присягнули ей на верность, так же как все мои вольноотпущенники, кроме Нарцисса, и все члены сената; стоит ей только слово сказать, и меня арестуют и отдадут ей на отмщение. Нарцисс откинул голову и захохотал:

— Что ж, по крайней мере она признает мою верность тебе, цезарь. Поехали во дворец. Ты, верно, умираешь с голоду. У тебя и росинки маковой во рту не было с самого завтрака, так ведь?

— Но что мне ей ответить?

— Это не заслуживает ответа.

Мы вернулись во дворец, где нас уже ждал хороший ужин. Вермут (прописанный Ксенофонтom в качестве успокоительного), устрицы и жареный гусь с моим любимым соусом из грибов и лука — приготовленный по рецепту, данному матери Береникой, матерью Ирода, — тушеная телятина с хреном, овощное рагу, яблочный пирог, приправленный медом и гвоздикой, и арбуз из Африки. Я жадно набросился на еду и когда наконец досыта наелся, почувствовал, что еще секунда — и я усну. Я сказал Нарциссу:

— Я совершенно выдохся. У меня не работает голова. Оставляю все на твою ответственность до завтрашнего утра. Я полагаю, я должен предупредить эту жалкую женщину, что ей следует завтра явиться сюда и ответить на все предъявленные ей обвинения. Я обещал Вибидии, что буду судить ее честно и справедливо.

Нарцисс промолчал. Я лег на свое ложе и мгновенно уснул.

Нарцисс поманил к себе гвардейского полковника:

— Приказ императора. Возьми шесть солдат и отправляйся к садам Лукулла; там в домике для увеселений находится госпожа Валерия Мессалина, бывшая жена императора. Казни ее.

Затем он велел Эводу опередить гвардейцев и сказать Мессалине об их приближении, дав ей тем самым возможность покончить с собой. Если она ею воспользуется, что она, конечно, не преминет сделать, мне не придется слышать о его приказе ее казнить, отдать который он был неправомошен. Эвод застал Мессалину лежащей на полу и рыдающей. Возле нее стояла на коленях ее мать. Не поднимая головы, Мессалина проговорила:

— О мой любимый Клавдий, я так несчастна и мне так стыдно.

Эвод рассмеялся:

— Ты ошиблась, госпожа. Император спит во дворце; он запретил беспокоить себя. Прежде чем уснуть, он приказал полковнику гвардии отправиться сюда и отрубить твою хорошенькую головку. Собственные его слова, госпожа: «Отрубите ее хорошенькую головку и насадите на острие копья». Я побежал вперед, чтобы тебя предупредить. Если ты так же отважна, как хороша собой, госпожа, мой совет тебе — покончить с этим делом до того, как они сюда придут. Я захватил с собой кинжал, на случай, если тут нет под рукой ничего подходящего.

Домиция Лепида сказала:

— Надеяться не на что, бедное мое дитя; выхода нет. Тебе остался единственный благородный поступок — взять у него кинжал и убить себя.

— Не верю, — рыдала Мессалина. — Клавдий ни за что не отважился бы избавиться от меня таким образом. Это все придумал Нарцисс. Надо было давным-давно убить его. Гадкий, ненавистный Нарцисс!

Снаружи послышалась тяжелая поступь солдат.

— Гвардейцы, стой! К ноге!

Дверь распахнулась, в дверном проеме, вырисовываясь на фоне ночного неба, появился полковник. Встал, сложив на груди руки и не говоря ни слова.

Мессалина вскрикнула и выхватила у Эвода кинжал. Боязливо попробовала пальцем лезвие и острие.

— Ты что, хочешь, чтобы гвардейцы подождали, пока я найду оселок и подточу его для тебя? — с насмешкой произнес Эвод.

Домиция Лепида сказала:

— Не бойся, дитя, тебе не будет больно, если ты сделаешь это быстро.

Полковник медленно расцепил руки и потянулся к эфесу меча. Мессалина приставила кончик кинжала сперва к горлу, затем к груди.

— О, мама, я не могу! Я боюсь!

Меч полковника уже покинул ножны. Полковник сделал три больших шага вперед и пронзил ее насквозь.

Глава XXX

За ужином Ксенофонт дал мне еще одну порцию «олимпийского» снадобья, и ко мне снова вернулось то отрешенное спокойствие, которое начало было меня покидать; я мгновенно уснул. Проснулся я внезапно — меня вырвал из сна грохот тарелок, которые уронил нерадивый раб, — громко зевнул и попросил прощения у всех присутствующих за свои дурные манеры.

— О чем тут говорить, цезарь?! — вскричали они. У всех был испуганный вид. «Нечистая жизнь, нечистая совесть», — подумал я.

— А не подсыпал ли кто-нибудь яд мне в кубок, пока я спал? — поддразнил я их.

— Упаси бог, — запротестовали все.

— Нарцисс, в чем был смысл шутки Веттия Валента насчет Колчестера? Будто

британцы отдадут мне божеские почести.

— Это не совсем шутка, цезарь, — сказал Нарцисс. — Не буду скрывать от тебя: в Колчестере действительно воздвигнут храм в честь Бога Клавдия Августа. Они поклоняются тебе с начала лета. Но я услышал об этом только сейчас.

— Вот почему я чувствую себя так странно. Я превращаюсь в бога! Но как это вышло? Я помню, что в письме Осторию утвердил постройку храма в Колчестере в честь Божественного Августа в благодарность за победу римского оружия в Британии.

— Полагаю, цезарь, что Осторий — и это вполне естественно — спутал, о каком Августе идет речь, тем более что ты писал о победе римских войск. Божественный Август остановился на берегах пролива, и его имя для британцев по сравнению с твоим — ничто. Мне сообщили, что туземцы говорят о тебе с величайшим благоговением и страхом. Они слагают поэмы о твоём громе и молнии, о магическом тумане и черных духах, о горбатых чудовищах и чудовищах, у которых змеи вместо носов. С политической точки зрения, Осторий был совершенно прав, посвятив храм тебе. Но я очень сожалею, что это было сделано без твоего согласия и, боюсь, против твоего желания.

— Значит, я теперь бог, да? — повторил я. — Ирод Агриппа всегда говорил, будто я этим кончу, а я утверждал, что он болтает вздор. По-видимому, я не могу исправить ошибку и отменить посвящение храма мне самому, как ты думаешь, Нарцисс?

— Это произведет очень плохое впечатление на жителей провинции, — ответил Нарцисс.

— Ну, сейчас мне это неважно, — сказал я. — Все на свете неважно. Может быть, велю прямо сейчас привести сюда на суд эту несчастную женщину? У меня не осталось никаких мелких чувств, присущих простым смертным. Я даже могу простить ее.

— Она мертва, — проговорил вполголоса Нарцисс. — Убита по твоему приказанию.

— Налей мне вина, — сказал я. — Я не помню, чтобы я отдавал такой приказ, но сейчас это не имеет значения. Интересно, какое я божество. В детстве старый Афинодор часто объяснял мне, что под Божеством понимают стоики: Бог — это идеально круглый шар, целое, не подверженное воздействию внешних случайностей и событий. Я всегда представлял Бога в виде огромной тыквы. Ха-ха-ха! Если я съем еще кусок этого гуся и выпью еще несколько кубков вина, я тоже превращусь в тыкву. Значит, Мессалина мертва! Красивая женщина, друзья, очень красивая, вы согласны? Но порочная, верно?

— Красивая, но очень порочная, цезарь.

— Отнесите меня кто-нибудь в постель. Дайте уснуть блаженным сном богов. Ведь я теперь блаженный бог, не так ли?

Меня отнесли в спальню, и я проспал без просыпа до полудня. За это время сенат принял послание, поздравляющее меня с благополучной ликвидацией заговора, а также решение изъять имя Мессалины из всех архивных документов и городских надписей и разбить все ее статуи. В полдень я встал и принялся за свою обычную административную работу. Все, кто мне встречались, обходились со мной крайне вежливо, но вид у всех был подавленный, а когда я пошел в суд, никто, впервые за эти годы, не поднимал шума и не пытался запугивать меня. Я в мгновение ока справился с разбором всех тяжб!

На следующий день я принялся разглагольствовать о покорении Германии, и Нарцисс, увидев, что лекарство Ксенофонта произвело слишком сильный эффект — помрачив рассудок, вместо того, чтобы, как предполагал Ксенофонт, постепенно смягчить удар, причиненный смертью Мессалины, — приказал больше мне его не

давать. Мало-помалу олимпийское спокойствие покинуло меня, и я снова почувствовал себя жалким смертным. В первое же утро, когда кончилось действие наркотика, я, спустившись к завтраку, спросил:

— Где моя жена? Где госпожа Мессалина?

Мессалина всегда завтракала со мной, если только у нее не «разламывалась голова».

— Она мертва, цезарь, — ответил Эвод. — Ее казнили несколько дней назад по твоему приказу.

— Я не знал, — с трудом проговорил я. — Я хочу сказать, я забыл.

И тут позор, горе и ужас недавних дней всплыли у меня в памяти, и я разрыдался. Заливаясь слезами, я идиотски бормотал о своей милой, бесценной Мессалине, осыпал себя упреками за ее убийство, говорил, что во всем виноват я один, и вообще вел себя, как последний осел. Наконец я взял себя в руки и велел подать портшез.

— Лукулловы сады, — приказал я.

Меня отнесли в Лукулловы сады.

Сидя на садовой скамье под кедром, глядя на зеленую лужайку, за которой уходила вдаль широкая грабовая аллея, поросшая травой, в одиночестве, так как вокруг не было никого, кроме моих германских телохранителей, стоявших на страже в кустарнике, я взял перо и длинный лист бумаги и принялся составлять подробный перечень того, что было мной сделано и что следует делать теперь. Этот документ сейчас при мне, и я перепишу его сюда в том самом виде, в каком он был написан. Утверждения мои, по какой-то непонятной мне причине, распались на связанные между собой трехстишия, вроде «терцин» британских друидов (их традиционный размер для стихов моралистического или дидактического характера).

Я люблю свободу, а не тиранию.
Я римский патриот.
Римлянин от природы республиканец.

Как ни странно, я император.
То есть, на мне обязанности монарха.
Уж в трех поколениях республики нет.

Республику растерзали гражданские войны.
Август ввел монархическое правление.
Так сказать, вынужденная мера.

Августу было никак не отречься.
В душе я проклинал его лицемерье,
Оставаясь убежденным республиканцем.

Императором стал Тиберий. Против воли?
Боялся, что власть перехватят враги?
Может быть, Ливия, мать, настояла?

Тиберий отправил меня в отставку.
Я считал его кровожадным лицемером,
Оставаясь убежденным республиканцем.

Ни с того ни с сего Калигула назначил меня консулом.
А я жаждал вернуться к своим книгам.

Калигула вздумал править, как восточный сатрап.

Я римский патриот.
Мне бы следовало убить его.
А я спасал шкуру, строя из себя дурачка.

Наверное, Кассий Херея тоже был римский патриот
Он нарушил присягу, убил Калигулу.
По крайней мере пытался восстановить республику.

Но республику не восстановили.
Напротив, провозгласили нового императора.
Этот император — я, Тиберий Клавдий.

Откажись я — меня бы убили.
Откажись я — была бы гражданская война.
Так сказать, вынужденная мера.

Я казнил Кассия Херею.
И мне тоже было никак не отречься.
Я стал вторым Августом.

Я много и долго трудился, как Август.
Расширил и укрепил империю, как Август.
Я был абсолютным монархом, как Август.

Но я отнюдь не лицемер.
Утешаюсь тем, что выбрал меньшее из зол.
Как раз в этом году хотел восстановить республику.

Позор Юлии мучал Августа.
«Не жениться б и умереть бездетным!»
Я так же мучаюсь позором Мессалины.

Надо было покончить с собой, а не править:
Нельзя было уступать Ироду Агриппе.
Из лучших побуждений я стал тираном.

Я не подозревал о злодеяниях Мессалины.
Моим именем она проливала кровь.
Неведение не освобождает от ответственности.

Но разве тут только моя вина?
Не разделит ли ее со мной вся нация?
Ведь намеренно сделали меня императором.

Ну осуществляю я свои благие намерения?
Восстановлю республику — что тогда?
Ждать от Рима благодарности?

«Знаешь, легко говорить о свободе.
Все кажется так просто.

Ждешь, что двери распахнутся и стены рухнут».

Весь мир признает во мне императора.
Все, кроме тех, что метят на мой пост.
Республика никому не нужна.

Азиний Поллион был прав:
«Будет намного хуже, прежде чем станет немного
лучше».

Решено: о республике нечего и думать.

Лягушки захотели царя.
И дан им был царь Чурбан.
Я был глух, слеп и туп, как чурбан.

Лягушки захотели царя.
Юпитер дал им нового царя — Аиста.
Калигула сплоховал: правил слишком недолго.

Я сплоховал: был слишком добр.
Я загладил грехи своих предшественников.
Я примирил Рим и мир с монархией.

Риму суждено поклониться новому цезарю.
Будь то безумец, похабник, убийца иль мот.
Аист вновь покажет, какова природа царей.

Меч тирании тупить — моя большая ошибка.
Отточив его, может, вину искуплю.
Лишь насильем лечат насилье.

А мне надо помнить: я — царь Чурбан.
Плюхнусь-ка я в тихий омут.
Пусть всплывет ядовитая муть.

Я осуществил свое решение. С того самого дня я неуклонно провожу его в жизнь. Я не позволил ничему воспрепятствовать мне. Сперва это было мучительно. Помните, я сказал Нарциссу, что чувствую себя точно так, как испанец-гладиатор, которому неожиданно отсекли на арене руку со щитом; разница в том, что испанец умер, а я продолжал жить. Вы, возможно, слышали, как в холодную сырую погоду калеки жалуются на боль в руке или ноге, которых у них давно нет? Они могут точно обозначить ее; скажем, это резь, которая поднимается от большого пальца к запястью, или ноющая боль в колене. Я часто ощущал это же самое. Я беспокоился о том, как примет Мессалина то или иное мое решение, или о том, очень ли ей надоела длинная скучная пьеса, которую я смотрел; во время грозы я вспоминал, что она боится грома.

Как вы, должно быть, догадались, больше всего я страдал от мысли, что мой маленький Британик и Октавия, возможно, вовсе не мои дети. Насчет Октавии я был в этом убежден. Она ни капельки не походила на Клавдиев. Я вглядывался в нее бесчисленное множество раз, пока вдруг не понял, что скорее всего ее отец — командир германских телохранителей, служивший при Калигуле. Когда через год после амнистии он запятнал свою репутацию, был разжалован и в конце концов

скатился до того, что стал гладиатором, Мессалина — теперь я вспомнил это — просила оставить этого жалкого негодяя в живых (он был обезоружен, и его противник стоял над ним, подняв трезубец), вопреки протестам всех зрителей в амфитеатре, которые свистели, орали и шикали, опустив вниз большие пальцы. Я даровал ему жизнь, так как Мессалина сказала, что мой отказ дурно отзовется на ее здоровье: дело было перед самым рождением Октавии. Однако через несколько месяцев он опять сразился с тем же противником и был убит на месте.

Британик был несомненным Клавдием, благородным маленьким римлянином, но мне пришла в голову ужасная мысль: что, если его настоящий отец — Калигула? Уж слишком он похож на моего брата Германика. В характере у них с Калигулой не было ничего общего, но наследственные признаки часто передаются через поколение. Эта мысль преследовала меня. Я старался видеть мальчика как можно реже, хотя не хотел создавать впечатления, будто я отрекся от него. Они с Октавией, наверно, сильно страдали в то время. Дети были очень привязаны к матери, поэтому я отдал указание не сообщать им об ее преступлениях в подробностях; они должны были знать, что их мать мертва, и все. Но они вскоре выяснили, что ее казнили по моему приказу, и, естественно, это вызвало у них детскую неприязнь. Но я все еще не мог заставить себя поговорить с ними о матери.

Я уже объяснял, что мои вольноотпущенники образовали очень тесную корпорацию, и тот, кто оскорблял одного из них, оскорблял всех, а тот, кого один из них брал под свое покровительство, пользовался милостью остальных. Они подавали этим хороший пример сенату, но сенат не следовал ему, его вечно раздирали разногласия, и многочисленные фракции объединяло лишь равно присущее всем раболепие по отношению ко мне. И вот теперь, через три месяца после смерти Мессалины, хотя между моими советниками Нарциссом, Паллантом и Каллистом и началось соперничество, они заранее договорились, что тот, кто выиграет, не станет использовать свое главенствующее положение, полученное благодаря тому, что он сумеет мне угодить, для уничтожения двух других. Вы ни за что не догадаетесь, что было предметом их соперничества. Выбор для меня четвертой жены! «Как же так, — воскликнете вы, — мы думали, ты позволил гвардейцам разрубить тебя на куски, если снова вступишь в брак!» Да. Но это было до того, как я принял свое роковое решение, сидя под кедром в Лукулловых садах, а стоит мне принять решение, я от него не отступаю. Я затеял среди моих вольноотпущенников игру-загадку: каковы мои матримониальные планы. Это была шутка, так как я уже избрал счастливницу. Начал я с того, что как-то за ужином заметил вскользь:

— Надо подумать о маленькой Октавии. Не дело ей быть на попечении вольноотпущенниц. Я казнил всех служанок, которые умели с ней обходиться, бедняжкой. Не могу же я ждать, что Антония станет за ней присматривать. Антония сама прихварывает после смерти своего малыша.

Вителлий сказал:

— Нет, что нужно крошке Октавии, так это мать. И Британику тоже, хотя мальчику легче управиться самому.

Я ничего не ответил, и все присутствующие поняли, что я снова думаю о женитьбе. Все они также знали, с какой легкостью Мессалина водила меня на поводу, и понимали, что тому, кто подыщет мне жену, можно не волноваться о будущем. И как только им представился подходящий момент обратиться ко мне наедине, каждый из них по очереди, Нарцисс, Паллант и Каллист, предложили мне свою кандидатуру. Мне было весьма любопытно следить за ходом их мыслей. Каллист вспомнил, что Калигула принудил губернатора Греции разойтись с женой, Лоллией Паулиной, и затем сам женился на ней (это была его третья жена), так как кто-то сказал ему на пиру, будто Лоллия — самая красивая женщина в империи; а затем вспомнил, что этот «кто-то» был я сам. Он решил, что раз за прошедшие с тех пор десять лет

Лоллия Паулина не только не утратила своей красоты, но даже еще похорошела, он может, не рискуя, предложить ее мне в жены. Так он и сделал на следующий же день. Я улыбнулся и пообещал внимательно обдумать то, что он сказал.

Следующим был Нарцисс. Сперва он спросил, кого мне предложил Каллист, и когда я сказал: «Лоллию Паулину», — он воскликнул, что она мне не подойдет. Ее интересует одно — драгоценности.

— Она не выйдет из дома, не навесив на себя эмеральдов, рубинов и жемчуга так тысяч на тридцать золотых, и всякий раз новых; к тому же она глупа и упряма, как ослица мельника. Цезарь, единственная женщина для тебя, как мы оба знаем, это Кальпурния. Но ты же не можешь жениться на проститутке, это будет плохо выглядеть. Поэтому я вот что предлагаю: ты женишься формально на какой-нибудь знатной римлянке, а жить станешь с Кальпурнией, как это было до встречи с Мессалиной. И будешь счастлив до конца своих дней.

— А кого ты прочишь мне в формальные жены?

— Элию Петину. Помнишь, после вашего развода она снова вышла замуж. Не так давно муж ее умер и оставил ее почти без средств. С твоей стороны будет милосердно жениться на ней.

— Но ее язык, Нарцисс.

— Несчастье ее обуздало. Из ее рта не вылетит больше ни одного ядовитого слова, это я беру на себя. Я предупрежу ее и сообщу об условиях брака. К ней будут относиться со всем уважением, которое причитается жене императора и матери твоей дочери Антонии, она будет иметь большой личный доход, но она должна будет подписать контракт, что в твоём присутствии ведет себя, как глухонемая, и не ревнует тебя к Кальпурнии.

— Я внимательно обдумую то, что ты сказал, дорогой Нарцисс.

Но догадался о моем выборе лишь Паллант, проявив то ли исключительную глупость, то ли исключительный ум. Как он мог предположить, что я сделаю столь чудовищную вещь, как женюсь на своей племяннице Агриппинилле? Во-первых, брак этот будет кровосмесительным, во-вторых, она мать Луция Домиция, к которому я питал глубочайшее отвращение, в-третьих, теперь, когда Мессалина умерла, Агриппинилла могла претендовать на титул самой порочной женщины Рима. Даже при жизни Мессалины я затруднился бы решить, кто из двоих хуже, они равно предавались разврату, и пусть Мессалина была менее разборчива и не гнушалась беспорядочным сожительством, она, во всяком случае, не виновна в кровосмешении, что, насколько мне известно, можно сказать об Агриппинилле. Но у Агриппиниллы было одно достоинство — храбрость, отсутствовавшая, как мы видели, у Мессалины. Паллант предложил мне жениться на Агриппинилле с той же оговоркой, а именно, что брак будет чисто формальным и я могу иметь любую любовницу, какую пожелаю. Агриппинилла, сказал он, единственная женщина в Риме, которая может взять на себя административную работу Мессалины: она окажет мне существенную помощь.

Я обещал внимательно обдумать то, что он сказал. Затем, дав вольноотпущенникам время разведать, хотят ли их ставленницы выдвинуть свою кандидатуру на должность жены цезаря, я устроил официальные дебаты между Каллистом, Нарциссом и Паллантом. В качестве третейского судьи я пригласил Вителлия, и через несколько дней дебаты начались. Рекомендуя Элию, Нарцисс привел тот довод, что, женись на ней, я возобновляю старую связь и не вношу новшества в семью, к тому же, добавил он, она будет хорошей матерью маленькой Октавии и Британику, ведь она давно уже породнилась с ними через их сводную сестру Антонию.

Каллист напомнил Нарциссу, что Элия уже очень давно со мной в разводе, и если снова принять ее в императорскую семью, она может слишком загордиться, и кто знает, станет потихоньку отыгрываться на детях Мессалины. Лоллия куда более

подходящая пара; никто не будет отрицать, что она самая красивая женщина на свете, к тому же добродетельная.

Паллант возражал против обоих предложений. Элия — старая мегера, а Лоллия — глупая пустышка, к тому же форменная ювелирная лавка; она начнет требовать каждый божий день новый набор безделушек за счет государственной казны. Нет, единственной избранницей может быть только госпожа Агриппина. (Теперь лишь я один звал ее уменьшительным именем: Агриппинилла.) Она приведет с собой внука Германика, который во всех отношениях достоин императорского жребия; и к тому же с политической точки зрения очень важно, чтобы женщина, все еще молодая и плодовитая, не вышла замуж в другой род и не передала туда сокровища Цезарей.

Я видел, что Вителлия прямо пот прошиб, так он старался отгадать, на ком из трех я остановил свой выбор, спрашивая себя в то же время, не лучше ли самому предложить новое, четвертое имя. Но угадал он правильно, возможно, по той очередности, в какой я давал моим вольноотпущенникам слово. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Мне так же трудно выбрать между тремя такими прекрасными, мудрыми, высокородными и выдающимися господами, как было трудно троянскому пастуху Парису выбрать между тремя богинями Юноной, Венерой и Минервой. Разрешите мне воспользоваться этой фигурой речи, она мне поможет. Элия Петина будет изображать Юнону. Она уже была замужем и имеет ребенка от императора; но, подобно тому, как Юпитер был недоволен Юноной, матерью Гебы, за ее острый язык, так и император был по той же причине недоволен Элией Петиной, и нам не нужны больше семейные войны на наших земных небесах. Утверждают, будто Лоллия Паулина — настоящая Венера, и действительно, Парис присудил приз Венере, но, как вы помните, Парис был чувствительный пастушок, и красота без интеллекта вряд ли придется по вкусу зрелому правителю с большим супружеским, а не только государственным опытом. По мудрости своей Агриппинилла сродни Минерве и почти ничем не уступает Лоллии по красоте. Жена императора должна быть и умна, и прекрасна собой. Я выбираю Агриппиниллу.

С таким видом, точно я впервые об этом подумал, я запротестовал:

— Но, Вителлий, она моя племянница. Не могу же я жениться на племяннице, так ведь?

— Если ты хочешь, чтобы я обратился по этому поводу к сенату, цезарь, я ручаюсь, что добьюсь их согласия. Это не принято, разумеется, но я могу привести те же аргументы, что привел ты сам, говоря о правах августодунцев; я могу доказать, что наши брачные законы делались на протяжении времени все более и более гибкими. Сто лет назад, например, сочли бы чудовищным брак между двоюродными братьями и сестрами, а теперь такие браки регулярно заключают даже в лучших семьях. Почему бы дяде не жениться на племяннице? Парфяне это делают, а у них очень древняя цивилизация. В роду Ирода также было больше браков между дядьями и племянницами, чем каких-либо других.

— Верно, — сказал я. — Иродиада вышла за своего дядю Филипа, затем покинула его и убежала с дядей Антипой. А дочь Ирода Агриппы, Береника, вышла за своего дядю Ирода Поллиона, царя Халкиды, а сейчас, как полагают, живет в кровосмесительной связи со своим братом молодым Агриппой. Почему бы Цезарям не вести себя так же свободно, как Иродам?!

Вид у Вителлия был удивленный, но голос звучал совершенно серьезно:

— Кровосмешение между сестрой и братом — совсем иное дело. Этого я не могу взять под защиту. Но вполне возможно, что наши самые ранние предки разрешали браки между дядьями и племянницами, — во всей древней классической литературе нет ни одного порицания женитьбы Плутона на его племяннице Прозерпине.

— Плутон был бог, — сказал я. — Впрочем, кажется, теперь я тоже бог. Паллант, что моя племянница Агриппинилла сама думает по этому поводу?

— Она сочтет это великой честью для себя и будет крайне рада, цезарь, — сказал Паллант, с трудом скрывая свое торжество. — Она готова поклясться, что всю жизнь до конца своих дней посвятит тебе, твоим детям и империи.

— Приведи ее сюда.

Войдя в комнату, Агриппинилла пала к моим ногам; я велел ей подняться и сказал, что готов жениться на ней, если она не против. В ответ она пылко меня обняла и заверила, что это счастливейший миг ее жизни. Я ей поверил. Почему бы и нет? Теперь она сможет моими руками управлять всем миром.

Агриппинилла отличалась от Мессалины. У Мессалины был дар целиком отдаваться чувственному наслаждению. Этим она пошла по стопам своего прадеда Марка Антония. Агриппинилла была женщина совсем иного рода. Она пошла в свою прабабку, божественную Ливию: она любила только власть. Как я уже говорил, она была глубоко порочна, но весьма скупой раздавала свои милости. Она спала только с теми мужчинами, которые могли быть ей выгодны политически. Например, у меня есть основания полагать, что она наградила Вителлия за его галантную защиту, и я наверняка знаю (хотя никогда ей об этом не говорил), что Паллант был тогда и продолжает быть сейчас ее любовником. Потому что в ведении Палланта императорская казна.

Итак, Вителлий произнес свою речь в сенате (организовав предварительно перед его зданием большую демонстрацию горожан) и сказал, что брак этот предложил он сам, и я согласился, что в этом есть политическая необходимость, но я нахожусь в раздумье и не дам окончательный ответ, пока не услышу, что скажет по этому поводу сенат и римский народ. Вителлий говорил со старомодным красноречием.

— ...И вам не придется долго искать, отцы сенаторы, дабы убедиться, что госпожа Агриппина превосходит всех других знатных дам Рима блеском своей родословной, что она дала прекрасное доказательство своей плодовитости и отвечает вашим требованиям, даже превосходит их по части своих добродетелей; право, мы должны возблагодарить провидение за то, что госпожа Агриппина, этот образец всех женских достоинств, в настоящее время вдова и может без помехи вступить в союз с тем, кто всегда был эталоном супружеской высоконравственности.

Вы, наверное, догадались, как встретили эту речь. Предложение было одобрено единогласно, однако вовсе не потому, что сенаторы так уж любили Агриппиниллу, просто теперь, когда ее шанс стать женой императора сделался вполне реальным, никто из них не отважился вызвать ее гнев; а несколько сенаторов, побуждаемые духом соперничества, рьяно вскочили с места и заявили, что, если понадобится, они заставят меня подчиниться единодушному желанию всей нации.

49 г. н. э.

Я выслушал их поздравления, приветствия и мольбы на рыночной площади и проследовал в сенат, где потребовал принятия декрета, узаконивающего на вечные времена браки между дядьями и племянницами со стороны брата. Декрет был принят. На новый год я женился на Агриппинилле. Лишь один человек воспользовался новым декретом, всадник, капитан гвардии. Агриппинилла хорошо ему за это заплатила.

Я сделал в сенате заявление насчет своего храма в Британии. Я объяснил, что обожествили меня по ошибке, и попросил своих сограждан простить меня. Но, возможно, они не будут настаивать на исправлении этой нелепой оплошности в виду политической опасности такого шага.

— Британия так далеко, а храм такой маленький, — иронически уговаривал я

их. — Маленький деревенский храм с земляным полом и крышей из дерна, вроде тех, в которых жили наши римские боги во времена республики до того, как Божественный Август переселил их в теперешние роскошные храмы. Неужели вы будете возражать против крошечного храма, который так далеко отсюда, одного-двух старых жрецов и скромного жертвоприношения время от времени? Что до меня, я никогда и не думал становиться Богом. И даю вам слово, что это будет мой единственный храм...

Но, судя по всему, никто и не собирался возражать. Завершив очередную перепись населения, я отказался от должности цензора и, начав этим восстановление республики, передал свои обязанности Вителлию. Впервые за сто лет контроль за общественной моралью ушел из рук цезарей. Что же прежде всего сделал Вителлий, после того, как сочетал браком меня и Агриппиниллу? Исключил из сенаторского сословия одного из судей первого ранга того года — не кого иного, как моего зятя, молодого Силана! Он объяснил это тем, что Силан был в кровосмесительной связи с собственной сестрой Кальвиной, бывшей невесткой Вителлия, с которой муж ее, молодой Вителлий, развелся незадолго до этого. Он застал их вдвоем в постели и рассказал об этом отцу, взяв с него клятву хранить тайну, но теперь, когда тот стал цензором, совесть не позволяет ему дальше молчать. Я сам провел расследование этого дела. Силан и Кальвина отрицали свою вину, но, судя по всему, она была бесспорна; поэтому я расторг брачный контракт между Силаном и моей дочерью Октавией (вернее — дочерью Мессалины Октавией) и приказал ему отказаться от судебной должности. Она истекала через двадцать четыре часа, но, чтобы подчеркнуть свое возмущение, я назначил кого-то на его место, пусть всего на этот последний день. Разумеется, Вителлий никогда не отважился бы заговорить о кровосмешении, если бы не Агриппинилла. Силан мешал ее честолобивым планам: она хотела, чтобы моим зятем стал ее сын Луций. Что вам сказать? Я любил Силана, и нельзя забывать, что он был прямым потомком Августа. Поэтому я обещал ему повременить с решением по его делу — имея в виду, что он покончит, как я ожидал, с собой. Однако он тянул и наконец выбрал для этого день моей свадьбы, что было довольно неуместно. Кальвину я отправил в изгнание и предложил коллегии понтификов совершить искупительные жертвоприношения в роще Дианы, возродив тем самым красочный ритуал, введенный Туллом Гостилием, третьим царем Рима.

Баба и Авгурин к этому времени превзошли себя. Они пародировали все, что я делал. Баба ввел в алфавит три новых буквы, одна передавала отхаркивание, вторая — цыканье зубом, третья — «неопределенный гласный, нечто среднее между икотой и отрыжкой». Он разошелся с гигантской негритянкой, игравшей роль Мессалины, прогнал ее плетью по улицам города, а затем устроил шуточную свадьбу с косоглазой альбиноской, заявив, что она его племянница со стороны брата. Он произвел перепись всех воров, нищих и бездомных и исключил из Общества бродяг тех, кто хоть раз в жизни ударил пальцем о палец, чтобы честно заработать себе на хлеб. Одна из его шуток заключалась в том, что он отказался от должности цензора и назначил вместо себя Авгурина на оставшийся срок — а именно ровно на шестьдесят минут по водяным часам. Авгурин принялся похвастаться великими деяниями, которые он совершит за это время. Однако его не устраивали часы Бабы, которые слишком спешат, он хотел сбегать за своими, в которых каждая минута в три раза дольше, чем у Бабы. Но Баба, передразнивая мой голос и жесты, повторял фразу, которую последнее время я довольно часто произносил в суде и весьма ею гордился: «Уж скорее философы придут к согласию, чем часы», и не позволял Авгурину уйти. Авгурин настаивал, что тот поступает несправедливо, если он будет цензором, ему понадобится не меньше часа, чтобы упорядочить все размеры и веса. Спор между ними разгорался все жарче, и тут внезапно положенный срок службы Авгурина истек и ничего не было приведено в исполнение.

— А я-то намеревался окунуть тебя в кипящую смолу, а затем поджарить, чтобы возродить красочный ритуал, введенный царем Туллом Гостилием, — горестно говорил Авгурин.

Я даю ему и Бабе полную свободу пародировать и высмеивать меня. На их спектакли перед храмом Меркурия собираются огромные толпы народа: Меркурий, как вы знаете, покровитель воров и бродяг. Агриппинилла страшно оскорбилась женитьбой Бабы на альбиноске, справедливо приняв все насмешки на свой счет, но я твердо сказал, немало ее тем удивив:

— До тех пор, пока я жив, Баба будет жить — запомни это... и Авгурин также.

— До тех самых пор, ни секундой дольше, — согласилась Агриппинилла самым неприятным тоном.

В этом году было нашествие гадюк. Я выпустил инструкцию, где сообщалось всем римлянам о верном средстве против змеиных укусов, а именно, соке тиса. Авгурин и Баба переписали и развесили ее, добавив в самом конце одну единственную фразу: «и наоборот», которая, по-видимому, считается одним из моих излюбленных выражений.

Глава XXXI

Я приближаюсь к концу своей долгой истории. Я уже пять лет как женат на Агриппинилле, но за эти годы почти не было важных событий, и я не буду описывать их подробно. Я позволил Агриппинилле и своим вольноотпущенникам командовать мной. Я раскрывал и закрывал рот и производил жесты руками, как те марионетки на шарнирах, которых мастерят в Сицилии, но голос был не мой и жесты тоже. Я должен сразу сказать, что Агриппинилла оказалась на редкость способной правительницей деспотического склада. Когда она входит в комнату, где находятся несколько знатных римлян, и обводит их холодным взглядом, всех начинает бить дрожь, они вскакивают по стойке «смирно» и едят ее глазами, чтобы догадаться, как лучше ей угодить. Ей больше не надо делать вид, будто она меня любит. Я скоро дал ей понять, что женился на ней исключительно из политических соображений и физически она меня отталкивает. Я был вполне откровенен с ней.

Я объяснил:

— По правде говоря, я устал быть императором. Я хотел бы, чтобы большую часть работы за меня делал кто-нибудь другой. Я женился на тебе не ради твоего сердца, но ради головы. Женщине легче управлять этой империей. У нас нет никаких оснований притворяться, будто нас связывают нежные узы.

— Мне это подходит, — сказала она. — Ты далек от идеала любовника, о котором можно мечтать.

— Ну и ты несколько отличаешься от той, какой была двадцать два года назад, милочка, когда впервые выходила замуж. Однако ты протянешь еще немного, если будешь по-прежнему делать массаж лица и принимать молочные ванны: Вителлий утверждает, будто ты — самая красивая женщина в Риме.

— Возможно, ты тоже протянешь, если не будешь выводить из себя тех, от кого ты зависишь.

— Да, мы двое пережили всех остальных наших родичей, — согласился я. — Сам не знаю, как нам это удалось. По-моему, мы должны поздравить друг друга, а не ссориться.

— Ты всегда начинаешь первый, — сказала она, — поступая, как ты выражаешься, «честно».

Агриппинилла не могла меня понять. Она вскоре обнаружила, что вовсе не нужно упрашивать, или обманывать, или запугивать меня, если ей хочется поступить по-своему. Я почти всегда с ней соглашался. Она не поверила сама себе, когда я

изъявил готовность помолвить Октавию с Луцием: она знала мое мнение о ее сыне. Она не могла взять в толк, почему я дал согласие. Это придало ей смелости пойти еще дальше и предложить, чтобы я усыновил его. Но я и сам имел такое намерение. Сперва она попросила Палланта прощупать меня по этому поводу. Паллант тактично повел разговор издалека. Начал он с Германика, с того, как его по просьбе Августа усыновил Тиберий, хотя у того уже был родной сын Кастор. Затем принялся разглагольствовать об удивительной братской любви между Германиком и Кастором и щедрости, проявленной Кастором по отношению к вдове и детям Германика. Я сразу понял, к чему клонит Паллант, и согласился с тем, что лучше иметь двух любящих сыновей, чем одного.

— Но не забывай, — сказал я, — это еще не конец истории. Германик и Кастор были оба убиты, и мой дядя Тиберий, уже в преклонных годах, тех же примерно, что и я, назвал другую пару любящих братьев в качестве своих наследников — Калигулу и Гемелла. Калигула имел преимущество: он был старше. Когда старик умер, Калигула захватил бразды правления в свои руки, а Гемелла убил.

Это заставило Палланта на некоторое время замолчать. Когда он попробовал подобраться ко мне с другого бока, начав говорить о том, какими друзьями сделались Луций и Британик, я сказал, словно невзначай:

— Ты знаешь, что наш род, род Клавдиев, идет по мужской линии без единого усыновления со времени самого Аппия Клавдия, жившего пять циклов назад? В Риме нет ни одного рода, который мог бы этим похвастаться.

— Да, цезарь, — сказал Паллант, — род Клавдиев на редкость твердо блюдет традиции, как никто в нашем податливом мире. Но, как ты сам мудро заметил, «все подвержено перемене».

— Послушай, Паллант, — сказал я, — чего ты ходишь вокруг да около? Скажи госпоже Агриппинилле, что, если она хочет, чтобы я усыновил Луция и назначил его сонаследником вместе с Британиком, я не возражаю. А что до податливости, то я на старости лет стал очень податливым. Можете размять меня в руках, как кусок теста, наполнить любой начинкой по своему вкусу и спечь из меня императорские пирожки.

50 г. н. э.

Я усыновил Луция. Теперь его называют Нероном. Недавно я выдал за него Октавию — правда, сперва я велел Вителлию удочерить ее, чтобы их нельзя было обвинить в формальном кровосмешении. В ночь их свадьбы все небо полыхало огнем. Луций (или Нерон, как его теперь зовут) всячески старался завоевать дружбу Британика. Но Британик видел его насквозь и гордо отвергал его подходы. Сперва он отказался признавать новое имя и продолжал называть того Луций Домиций, пока не вмешалась Агриппинилла и не велела ему извиниться. Британик сказал:

— Я извинюсь, только если мне прикажет отец.

Я велел ему извиниться. Я по-прежнему редко его видел. Я поборол свои мрачные подозрения насчет того, что он — незаконнорожденный сын Калигулы, и любил его так же нежно, как прежде. Но я скрывал свои истинные чувства. Я поставил себе целью играть роль царя Чурбана, и ничто не должно было помешать мне выполнить это решение. Учителем Британика все еще был Сосибий, учивший его на старозаветный лад. Британик привык к самой простой и грубой пище, спал на нарах, как солдат. Верховая езда, фехтование, фортификация и ранняя римская история — основное, что он изучал, но он знал труды Гомера, Энния и Ливия так же хорошо, как я, если не лучше. На каникулах Сосибий возил его в Капую, в мои поместья, и там он научился пчеловодству, разведению скота и земледелию. Я не позволил заниматься с ним греческой философией и ораторским искусством. Я сказал Сосибию:

— Древние персы учили своих детей метко стрелять и говорить правду. Научи моего сына тому же.

Нарцисс осмелился меня порицать:
— Образование, которое ты даешь Британику, цезарь, было бы превосходным в старину, когда, как ты сам любишь повторять

Ромул отдыхал под дубом,
Репу пареную ел,

и даже несколькими столетиями позднее, когда

Цинциннат оставил плуг свой,
Чтоб с врагами воевать.

Но сейчас, когда идет девятый цикл римской истории, оно немного устарело.

— Я знаю, что я делаю, Нарцисс, — сказал я.

Что до Нерона, то я нашел для нашего молодого царя Аиста самого подходящего учителя. Мне пришлось посылать на Корсику за этим чудом света. Возможно, вы уже догадались, кто это. Верно, Луций Анней Сенека, стоик, — дешевый оратор, бесстыдный льстец, развратный и беспутный искатель любовных приключений. Я лично обратился к сенату с просьбой даровать ему прощение и вернуть из ссылки. Я говорил о том, как терпеливо, без единой жалобы, он провел восемь лет в изгнании, о жестокой дисциплине, которой он добровольно подверг сам себя, о глубокой преданности нашему роду. Сенека, верно, немало удивился, ведь не так уж давно он сделал два ложных шага. Вскоре после напечатания «Соболезнования Полибию» тот был казнен за уголовное преступление. Сенека решил исправить ошибку, написав панегирик Мессалине. Через несколько дней после того, как он был опубликован, Мессалина подверглась позору и смерти; пришлось срочно забирать панегирик обратно. Агриппинилла была рада получить Сенеку в наставники сыну. Она ценила его как учителя риторики. Заслугу за его возвращение в Рим она приписала себе.

Нерон боится матери. Слушается ее во всем. Агриппинилла обращается с ним очень строго. Она уверена, что будет править через него после моей смерти, как Ливия правила через Августа, а затем через Тиберия. Но я вижу дальше, чем она. Я помню предсказание сивиллы:

Шестой лохматый к власти придет,
Лохматому пятому сын не сын.
Он даст Риму пляски, пожар и позор,
Родительской кровью себя запятнав.
Лохматый седьмой не придет никогда.
Кровь хлынет из гроба ручьем.

Нерон убьет свою мать. Это было предсказано при его рождении. Сам Барбилл предсказал это, а он никогда не ошибается. Он был прав даже, говоря о смерти мужа Мессалины, не так ли? Будучи женщиной, Агриппинилла не может командовать армией или обращаться к сенату. Для этого ей нужен мужчина. Когда я женился на ней, я знал, что могу рассчитывать на жизнь лишь до тех пор, пока Нерон не подрастет, чтобы занять мое место.

Агриппинилла попросила меня убедить сенат даровать ей титул «Августа», хотя и не ожидала получить от меня то, в чем я отказал Мессалине. Я удовлетворил ее просьбу. Она присвоила себе и другие неслыханные привилегии. Она сидит рядом со мной на трибунале, когда я разбираю судебные тяжбы, и поднимается на Капитолийский холм в колеснице. Она назначила нового командующего гвардией

вместо Геты и Криспина. Его имя — Бурр, и он предан Агриппинилле душой и телом. (Он участвовал в Брентвудской битве и потерял три пальца на правой руке от британского палаша.) У новой римской Августы нет соперниц. Элия Петина умерла, возможно, от яда, я не знаю. Лоллию Паулину тоже убрали с дороги; теперь, когда ее поборник Каллист умер, остальные вольноотпущенники не стали против этого возражать. Ее обвинили в колдовстве и в том, что она распространяла предсказания астролога, будто из-за моей женитьбы на Агриппинилле страну ждет беда. Мне было жаль Лоллию, поэтому в своей речи к сенату я рекомендовал изгнание. Но Агриппиниллу не проведешь. Она отправила в дом к Лоллии гвардейского полковника, и он позаботился о том, чтобы Лоллия покончила с собой. Затем, как положено, доложил о ее смерти. Но Агриппинилле этого показалось мало.

— Принеси мне ее голову, — приказала она.

Голову Лоллии принесли во дворец. Агриппинилла взяла ее за волосы и, поднеся к окну, заглянула в рот.

— Да, это Лоллия, без обмана, — удовлетворенно сказала она мне (я как раз входил в комнату). — Видишь, те самые золотые зубы, которые она сделала у дантиста в Александрии, чтобы не было видно, что у нее запала левая щека. Фу, какие жесткие волосы. Словно грива у пони. Раб, унеси это прочь. И циновку тоже: счисти с нее кровь.

Агриппинилла избавилась также от своей золовки Домиции Лепиды, матери Мессалины. Домиция Лепида теперь выказывала Нерону всяческое внимание, часто приглашала его к себе в гости, ласкала, хвалила и баловала его, не забывая напомнить обо всем, что она для него сделала, когда он был нищим сиротой. Спору нет, она изредка брала мальчика к себе, когда ее сестра Домиция уезжала из Рима и ей было обременительно захватывать его с собой. Увидев, что ее материнскому авторитету, основанному на строгости, угрожает потворство тетки, Агриппинилла обвинила ее в том, будто та публично прокляла мое брачное ложе, а также не сумела подавить бунт рабов в своем поместье в Калабрии. Судью и двух чиновников, которые пытались восстановить там порядок, жестоко избили, а сама Домиция Лепида заперлась в доме и сидела, сложив руки. Я разрешил вынести ей смертный приговор (хотя первое из обвинений скорее всего было сфабриковано), так как узнал, что она помогала Мессалине не только при попытках совратить Аппия Силана, но и во многих других случаях, когда той надо было обвести меня вокруг пальца.

Лишь к одному поступку Агриппиниллы я не смог отнестись философски. Когда я о нем услышал, признаюсь, у меня на глазах навернулись слезы. Но какой смысл был старому царю Чурбану отказываться вдруг от своего решения и, стряхнув равнодушие, мстить? Это было бы просто глупо — мезтью не вернуть к жизни того, кто мертв. Убийство моей бедной Кальпурнии и ее подруги Клеопатры — вот что заставило меня плакать. Однажды ночью кто-то поджег их дом, они оказались в ловушке у себя в спальнях и нашли свою смерть в огне. Выглядело все как несчастный случай, но это, несомненно, было убийство. Паллант, сообщивший мне о нем, имел наглость сказать, будто скорее всего это работа кого-нибудь из друзей Мессалины, кто знал, какую роль сыграла Кальпурния в том, что та оказалась в руках правосудия. За все это время я не проявил к Кальпурнии ни малейшего внимания. Ни разу не посетил ее после того ужасного дня. Я приказал теперь поставить красивый надгробный памятник на руинах сгоревшей виллы и высечь на мраморе сентенцию на греческом языке, единственную, которую я сочинил сам с тех пор, как упражнялся в сочинительстве в школьные дни. Но я чувствовал, что должен сделать что-то выходящее из ряда вон, чтобы передать свое огромное горе по поводу ее смерти и горячую благодарность за любовь и преданность, которые она всегда выказывала мне. Я написал:

«Любовь гетер и ложь — одно».
Издревле так считалось, но
Душа КАЛЬПУРНИИ — чиста.
Матроны, вашим — не чета.

В прошлом году, году женитьбы Нерона, во всем мире был неурожай, что почти опустошило наши зернохранилища. В этом году, хотя гавань в Остии достроена, суда, доставившие к нам зерно из Африки и Египта, не могут приблизиться к берегу из-за сильного северо-восточного ветра, который дует не переставая уже несколько недель подряд. В Италии урожай обещает быть хорошим, но жать хлеб еще рано, и был момент, когда в городских амбарах оставалось запасов всего на две недели, хотя я делал все возможное, чтобы пополнить их. Я был вынужден понизить норму зерна до крайнего предела. И тут, будто мною никогда и не прилагались все усилия, чтобы хорошо накормить своих сограждан (например, построил гавань, хотя все меня отговаривали, и организовал ежедневное снабжение города свежими овощами), я неожиданно обнаружил, что на меня глядят как на всеобщего врага. Меня обвиняли в том, что я специально морю горожан голодом. Стоило мне показаться на улице, как вокруг меня собиралась толпа с громкими протестами и улюлюканием, а раза два меня закидали камнями, комками грязи и заплесневелыми корками. Однажды, когда я шел по рыночной площади, я едва избежал серьезного увечья: на моих телохранителей накинулось две или три сотни человек и поломали их жезлы об их же спины. Мне с трудом удалось спастись через ближайшие боковые ворота, откуда выскочил мне на выручку небольшой отряд дворцовой стражи. В прежние дни меня это очень огорчило бы. Теперь я лишь улыбался про себя. «Лягушки разрезвились», — думал я.

Нерон надел тогу совершеннолетия через год после того, как я его усыновил. Я разрешил сенату утвердить за ним право стать консулом в двадцать лет, так что уже в шестнадцать он стал кандидатом в консулы. Я наградил его почетным триумфальным одеянием и назначил «главой юношества», как некогда Август, давший этот титул своим внукам Гаю и Луцию. А во время Латинских праздников, когда консулов и других старших судей не было в Риме, я, подобно Августу, ставил Нерона городским префектом, чтобы дать ему почувствовать вкус власти. Как правило, серьезные дела не рассматриваются в суде городским префектом — ждут возвращения в Рим постоянных судей. Однако Нерону удалось провести разбирательство нескольких весьма запутанных тяжб, которые были твердым орешком даже для самых опытных жрецов Фемиды, и вынести весьма прозорливые решения. Это вызвало всеобщий восторг, но мне, как только я услышал об этом, стало ясно, что весь спектакль был поставлен Сенекой. Я не хочу сказать, будто дела были подложные, нет, но Сенека подробно ознакомился с ними заранее и договорился с адвокатами о том, на каких пунктах они остановятся в своих речах, а затем натаскал Нерона на то, как опрашивать свидетелей, подытоживать результаты следствия и выносить приговор. Британик еще не достиг совершеннолетия. Я, как мог, старался удержать его в стороне от компании мальчиков его возраста и ранга: он встречался с ними только под присмотром наставников. Я не хотел, чтобы он подхватил императорскую заразу, которой я сознательно подвергал Нерона. Я распустил слух, что у него эпилепсия. Нерон стал объектом всеобщего восхищения. Агриппинилла была в восторге. Она думала, будто я ненавижу Британика из-за его матери.

В городе произошел хлебный бунт. Он был совершенно беспочвенным, и, если верить Нарциссу, который терпеть не мог Агриппиниллу (и к своему удивлению увидел, что я потворствую ему в этом), спровоцировал его не кто иной, как она. Беспорядки начались, когда я лежал в постели из-за простуды, и Агриппинилла,

зайдя ко мне, предложила издать указ, чтобы успокоить и умиротворить население. В нем я должен был сказать, что болезнь моя несерьезна, но даже если она примет плохой оборот и я умру, Нерон уже вполне способен заниматься государственными делами под ее руководством. Я рассмеялся ей в лицо.

— Ты просишь меня подписать свой смертный приговор, душечка? Что ж, дай мне перо, я подпишу его. На когда назначены похороны?

— Не хочешь подписывать, не надо, — сказала она. — Я тебя не принуждаю.

— Ну и прекрасно, — сказал я. — Тогда не буду. Я разберусь с этим хлебным бунтом, выясню, кто его начал.

Агриппинилла сердито хлопнула дверью. Я позвал ее обратно.

— Я пошутил. Конечно, я подпишу! Между прочим, Сенека уже научил Нерона произносить надгробную речь? Еще нет? Я бы хотел сперва ее послушать, если никто из вас не возражает.

Вителлий умер от апоплексического удара. Какой-то сенатор, то ли в припадке безумия, то ли в подпитии, неожиданно обвинил его перед лицом сената в том, что он хочет захватить престол. Все понимали, что обвинение это направлено против Агриппиниллы, но, хотя сенаторы ненавидели ее всем сердцем, никто, естественно, не осмелился его поддержать, и сенатор был объявлен вне закона. Однако Вителлий принял эту историю близко к сердцу, и вскоре его разбил паралич. Я навестил его, когда он лежал на смертном одре. Он не мог шевельнуть и пальцем, но разговаривал вполне разумно. Я задал ему вопрос, который уже давно хотел задать:

— Вителлий, в другое время ты был бы одним из самых добродетельных людей на свете. Как вышло, что ты, честный, прямой человек, став придворным, гнулся с каждым годом все ниже?

Вителлий:

— При монархии это неизбежно, как бы милостив ни был монарх. Старые добродетели исчезают. Независимость и откровенность потеряли цену. Самыми большими добродетелями стали услужливость и умение предвидеть желания монарха. Теперь надо быть или хорошим монархом, как ты, или хорошим придворным, как я, — или императором, или дураком.

Я:

— Ты хочешь сказать, что люди, которые остаются добродетельными на старый лад, неизбежно страдают в наше время?

— Пес Фенона поступил правильно.

Это были последние слова Вителлия. Он потерял сознание и больше не приходил в себя.

Я не успокоился, пока не разыскал в библиотеке, на кого сослался Вителлий. Оказалось, что у философа Фенона была собачка, которую он приучил ежедневно ходить к мяснику и приносить в корзинке кусок мяса. На это добродетельное создание, которое и помыслить не могло дотронуться до мяса без разрешения хозяина, однажды напала свора бродячих псов, которые, выдрав из его зубов корзинку, набросились на мясо и стали жадно его пожирать. Фенон, наблюдавший эту сцену из окна, увидел, что его песик какое-то время раздумывал, не зная, как ему поступить. Ясно, что пытаться отобрать мясо у дворян нечего было и мечтать: они бы просто разорвали его в клочья. Поэтому собачка ринулась в самую гущу и съела столько мяса, сколько смогла ухватить. По правде говоря, она съела больше, чем любая другая собака, потому что была храбрее и умнее остальных.

Сенат присудил Вителлию государственные похороны и статую на рыночной площади. Надпись на пьедестале гласит:

Луций Вителлий, дважды консул,
Один раз цензор,

А также губернатор Сирии,
Неколебимо верный своему императору.

53 г. н. э.

Я должен рассказать вам о Фуцинском озере. Я уже давно потерял к нему интерес, но вот однажды Нарцисс, в ведении которого были работы, передал мне сообщение подрядчиков, что туннель в горе наконец закончен; нам остается лишь поднять ворота шлюза: вода хлынет в туннель, и дно озера станет сухим. Тринадцать лет неустанного труда! Тридцать тысяч человек!

— Мы должны это отпраздновать, Нарцисс, — сказал я.

Я устроил потешный морской бой, притом с очень большим размахом. Это зрелище ввел в Риме Юлий Цезарь ровно сто лет назад. Он вырыл на Марсовом поле водоем, наполнил его водой из Тибра и приказал восьми кораблям, которые назывались «тирская» флотилия, завязать бой с другими восемью судами, называвшимися «египетская» флотилия. В битве участвовало две тысячи воинов, не считая гребцов. Когда мне было восемь лет. Август устроил подобный спектакль в постоянном водоеме по другую сторону Тибра, имеющем тысячу восемьсот футов в длину и тысячу двести футов в ширину, вокруг которого были построены каменные скамьи, как в амфитеатре. На этот раз с каждой стороны было по двенадцать кораблей — «афинская» и «персидская» флотилии, — и сражались на них три тысячи человек. Но мой морской бой на Фуцинском озере должен был затмить обе предыдущие битвы. Меня больше не заботила экономия. Я решил раз в жизни устроить поистине великолепное зрелище. Флотилии Юлия и Августа состояли только из легких судов, я же приказал построить двадцать четыре настоящих военных корабля с тремя рядами весел и двадцать шесть судов поменьше. Я выпустил из тюрем тысячу девятьсот преступников для участия в предстоящей битве под руководством профессиональных гладиаторов. Обе флотилии — одна называлась «родосской», другая — «сицилийской», — состояли каждая из двадцати пяти судов. Холмы вокруг озера служили прекрасным естественным амфитеатром, и хотя озеро было далеко от Рима, я не сомневался, что мне удастся собрать не менее чем двести тысяч зрителей. Я издал официальный циркуляр, где советовал взять с собой корзинки с едой. Но тысячу девятьсот вооруженных преступников не так-то легко держать в узде. Это реальная опасность. Мне пришлось отправить туда целую гвардейскую дивизию и разместить часть гвардейцев на берегу, а часть на плотях, скрепленных один с другим и полукругом пересекающих озеро. Плоты отделяли его юго-западный конец, сужавшийся к тому месту, где был прорыт канал, образуя удобное поле битвы, — все озеро было бы велико, оно простиралось на двести квадратных миль. У гвардейцев на плотях были наготове катапульты и баллисты, чтобы потопить любое судно, которое попытается протаранить заслон и спастись бегством.

Наконец великое событие наступило: я объявил всеобщий десятидневный праздник. Погода была прекрасная, зрителей собралось куда там двести тысяч — не меньше полумиллиона. Они приехали со всех уголков Италии, и я должен сказать, что и держались они, и одеты были на редкость прилично. Чтобы не было тесноты, я разделил весь берег на секции — я назвал их колонии, — поставив над каждой из них судью: он должен был организовать общее приготовление пищи, следить за санитарными условиями и так далее. Я построил большой полевой госпиталь из парусины для тех, кто будет ранен во время боя, и для тех, с кем произойдет несчастный случай на берегу. В нем появились на свет пятнадцать новорожденных, и я велел всем им дать дополнительное имя Фуцин или Фуцина.

К десяти часам утра в день сражения все места были заняты. Обе флотилии с экипажем на борту каждого корабля двинулись параллельно друг другу к

распорядителю — другими словами, ко мне, который сидел на высоком троне в золотых доспехах и накинутом поверх них пурпурном плаще. Трон стоял там, где берег выдавался в озеро, предоставляя самый широкий обзор. Рядом со мной на другом троне сидела Агриппинилла в длинной мантии из золотой парчи. Оба флагманских корабля приблизились к нам. Команды закричали:

— Здравствуй, цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Мне полагалось торжественно кивнуть, но я в то утро был в веселом настроении. Я ответил:

— И я вас, друзья.

Негодяи сделали вид, будто поняли мои слова как общее помилование и радостно крикнули:

— Да здравствует цезарь!

В тот момент я не осознал, что это значит. Обе флотилии проплыли мимо нас с приветственными криками, затем «сицилийцы» построились с западной стороны, а «родосцы» с восточной стороны от меня. Сигнал начать бой был дан механическим серебряным тритоном, который внезапно поднялся со дна озера, когда я нажал на рычаг, и задул в золотую трубу. Это вызвало большое возбуждение среди зрителей. Корабли обеих флотилий встретились, и все затаили дыхание. А затем... как вы думаете, что произошло затем? Они просто проплыли одни мимо других, приветствуя меня и поздравляя друг друга. Ну я и разозлился! Я спрыгнул с трона и кинулся бежать по берегу, поливая их громкой бранью:

— Для чего, вы думаете, я вас сюда привез? Вы, негодяи, вы, мерзавцы, вы, бунтовщики, вы, ублюдки? Целоваться друг с другом и выкрикивать мне приветствия? Вы могли бы делать это с таким же успехом на тюремном дворе. Почему вы не сражаетесь? Боитесь, да? Хотите, чтобы вас вместо этого скормили диким зверям? Если вы немедленно не вступите в бой, клянусь богами, представление начнут гвардейцы. Слышите? Я прикажу им пустить в ход осадные орудия и потопить все корабли до одного. А тех, кто попытается доплыть до берега, — убить.

Как я уже говорил вам, ноги у меня всегда были слабые, одна короче другой, и я не привык много ими пользоваться, и я стар и довольно тучен, к тому же на мне были очень тяжелые доспехи, а почва оказалась неровной, так что можете представить, какой у меня был вид, когда, спотыкаясь, шатаюсь, то и дело падая, крича во все горло — а голос мой не назовешь мелодичным, — побагровев и заикаясь от ярости, я бежал вдоль берега! Как бы то ни было, мне удалось заставить их начать битву, и зрители подбадривали меня криками: «Молодец, цезарь! Так держать, цезарь!»

Ко мне вернулось хорошее настроение, и я присоединился к общему смеху, пусть даже смеялись надо мной самим. Вы бы видели, какой убийственный взгляд бросила на меня Агриппинилла.

— Мужлан, — процедила она сквозь зубы, когда я взбирался обратно на трон. — Идиот неотесанный. Никакого чувства собственного достоинства. И ты ждешь, чтобы после этого тебя уважали?

— Только как твоего мужа, дорогая, — вежливо ответил я, — и тестя Нерона.

Наконец флотилии встретились. Я не буду подробно описывать бой, но обе стороны дрались превосходно. «Сицилийцы» таранили «родосские» корабли и потопили девять больших судов, сами потеряв всего три, а затем оттеснили оставшихся к той части берега, где мы сидели, и один за другим взяли на abordаж. «Родосцы» отбивались раз за разом, палубы были скользкими от крови, но в результате они были разбиты, и к трем часам «сицилийский» флаг был поднят на последнем «родосском» корабле. Полевой госпиталь был переполнен. На берег снесли около пяти тысяч раненых. Я помиловал оставшихся в живых, кроме тех «родосцев», кто был на трех больших кораблях и плохо сражался до того, как противник пошел на таран, и «сицилийцев» с шести легких судов, которые с начала

до конца старались уйти от боя. Три тысячи человек были убиты или утонули. Мальчиком я не мог видеть, как льется кровь. Теперь я смотрю на это спокойно, так занимает меня сама битва.

Я решил прежде, чем выпускать воду из озера, проверить, достаточно ли глубоко подведен канал, чтобы она могла вытечь. Я послал кого-то измерить глубину на середине озера. Мне доложили, что канал должен быть по крайней мере на ярд глубже, если мы не хотим, чтобы четверть воды осталась на дне. Значит, весь спектакль был зря. Агриппинилла накинулась на Нарцисса, обвиняя его в мошенничестве. Нарцисс винил инженеров, которых, сказал он, наверно подкупили подрядчики, чтобы они показали неверную глубину, и утверждал, что Агриппинилла к нему несправедлива.

А я смеялся. Какое все это имеет значение? Мы видели прекрасное зрелище, а канал за несколько месяцев можно углубить. Никто не виноват, сказал я, возможно, произошло естественное оседание грунта. Так что все мы отправились домой и ровно через четыре месяца вернулись. На этот раз мне было не набрать достаточно преступников, а устраивать бой в меньшем масштабе я не хотел, поэтому у меня возникла другая идея. Я велел построить у конца озера длинный и широкий понтонный мост и устроил на нем битву двух отрядов — по два батальона в каждом, — «этрусского» и «самнитского», соответственно одетых и вооруженных. Они двинулись навстречу друг другу с разных концов моста под аккомпанемент военных маршей, встретились в центре, где мост расширялся примерно до ста ярдов, и вступили в яростную битву. «Самниты» дважды захватывали поле боя, но контратаки «этрусов» отбрасывали их назад, и в конце концов «самниты» обратились в бегство, неся серьезные потери: одних пронзали «этрусские» пики с бронзовыми наконечниками, других рубили двуглавыми боевыми топорами, некоторых скидывали с моста в воду. Я отдал приказ, запрещающий участникам битвы плыть на берег. Если его сбросили в воду, он или тонет, или забирается обратно на мост. Победили «этрусы» и воздвигли трофей. Я даровал свободу всем победителям, а также некоторым «самнитам», которые сражались особенно храбро.

И вот наступил момент, когда воду можно было спустить. Возле шлюзовых ворот построили огромный дощатый пиршественный балаган, где должны были пировать сенаторы во главе со мной, их семьи, ряд ведущих всадников с семьями и все старшие гвардейские офицеры; на столы поставили роскошное угощение. Мы будем обедать под мелодичный плеск бегущей воды.

— Ты уверен, что на этот раз канал достаточно глубок? — спросил я у Нарцисса.

— Да, цезарь. Я сам измерял глубину.

Я подошел к шлюзным воротам, совершил жертвоприношение и прочитал несколько молитв — в частности, я просил прощения у наяды озера и призывал ее стать покровительницей крестьян, которые будут обрабатывать возвращенную людям землю — и наконец, дотронувшись до лебедки, возле которой стояла группа моих германских телохранителей, сказал:

— Раз-два, взяли!

Ворота поползли вверх, и вода с шумом обрушилась в канал. Раздалось оглушительное «ура!». Минуту-другую мы смотрели вниз в молчании, затем я сказал Нарциссу:

— Поздравляю, дорогой Нарцисс. Тринадцать лет работы, тридцать тысяч...

Меня прервал оглушительный грохот, за которым последовал многоголосый испуганный крик.

— Что это? — воскликнул я.

Нарцисс, забыв о церемониях, схватил меня за руку и буквально втащил на верх холма.

— Торопись! — орал он. — Быстрее, быстрее!

Я оглянулся, желая понять в чем дело, и увидел, что по каналу с ревом несется к нам огромная коричнево-белая стена воды, страшно сказать сколько футов в высоту, вроде тех, что в Британии каждый год приливают в устье реки Северн. К нам, заметьте!

Прошло какое-то время, пока я понял, что произошло. Внезапный напор воды привел к тому, что в нескольких сотнях ярдов отсюда во впадине между холмов она перелилась через края канала и образовала новое озеро. И в это озеро, подмытый у самой подошвы, сполз весь склон холма — сотни тысяч тонн камней, — целиком заполнив котловину и с огромной силой выбросив оттуда воду.

Почти все, кто там был, сумели, пусть и с мокрыми ногами, забраться наверх в безопасное место. Утонуло человек двадцать, не больше. Но пиршественный балаган разнесло в щепы, столы, лежа, угощение и гирлянды отнесло далеко на середину озера. О, как разгневалась Агриппинилла! Она накинулась на Нарцисса, крича, что он подстроил все это нарочно, желая скрыть, что канал все еще недостаточно глубок; она обвиняла его в том, что он положил себе в карман общественные деньги — миллионы золотых, и лишь небеса знают, в чем еще.

Нарцисс, нервы которого были и так на пределе, тоже вышел из себя и спросил Агриппиниллу, кем она себя мнит: царицей Семирамидой? Или богиней Юноной? Или главнокомандующей римской армией?

— Не суй нос не в свое дело! — завопил он ей в лицо.

В моих глазах все это было великолепной шуткой.

— Ссора не вернет нам обеда, — сказал я.

Еще больше я развеселился, когда инженеры доложили, что потребуется не меньше чем два года, чтобы прорыть новый проход через завал.

— Боюсь, мне придется устроить на этих водах еще один бой, друзья, — торжественно сказал я. Мне почему-то все это казалось удивительно символичным. Напрасный труд, как и вся та изнурительная работа, которую я проделал в первые годы правления ради сената и римского народа, которые никак этого не заслужили. Яростность этой огромной волны внушила мне чувство глубокого удовлетворения. Я получил удовольствие куда большее, чем от обеих битв, как на озере, так и на мосту.

Агриппинилла досадовала, что волна унесла драгоценный золотой сервиз, взятый во дворце; осталось всего несколько предметов, остальное лежит на дне озера.

— О чем тут беспокоиться? — поддразнил я ее. — Сними все эти сверкающие одежды — я присмотрю, чтобы Нарцисс их не украл, — гвардейцам будет ведено удерживать толпу, и можешь продемонстрировать нам, как ты ныряешь. Прямо с шлюзных ворот. Все получают огромное удовольствие: народу приятно видеть, что их правители — простые смертные, как и они... Но, дорогая, почему нет? Почему ты не хочешь? Полно, не сердись. Если ты могла нырять за губками, надо думать, ты можешь нырнуть за золотым блюдом, верно? Посмотри вон туда, видишь, там под водой что-то блестит; наверно, это одно из твоих сокровищ. Его совсем легко достать. Вон там, куда я кидаю камушек.

Глава XXXII

54 г. н. э.

Сейчас сентябрь четырнадцатого года моего правления. Барбилл недавно читал мой гороскоп и выражает опасение, что мне суждено умереть в середине следующего месяца. Фрасилл однажды предсказал мне то же самое: он сказал, что я проживу шестьдесят три года, шестьдесят три дня и шестьдесят три часа. Если подсчитать, выходит как раз тринадцатое число следующего месяца. Фрасилл яснее все мне объяснил, чем Барбилл. Я помню, он поздравил меня с комбинацией цифр

«семь» и «девять», дающих при умножении шестьдесят три, сказав, что это случается крайне редко. Что ж, я готов к смерти. Сегодня утром в суде я просил адвокатов выказать хоть немного уважения моему возрасту; я сказал, что в следующем году меня среди них не будет; к моему преемнику они могут относиться, как хотят. А когда разбиралось дело о нарушении супружеской верности, возбужденное мужем одной знатной римлянки, я сказал, что я сам был женат несколько раз и каждая из моих жен оказалась порочной, и хотя какое-то время я относился к ним снисходительно, это продолжалось недолго, и с тремя из них я развелся. Агриппинилла обязательно об этом услышит.

Нерону исполнилось семнадцать. Он держится то с напускной скромностью перворазрядной шлюхи, поминутно отбрасывая с глаз свои надушенные кудри, то с напускной скромностью перворазрядного философа, то и дело застывая на месте в кругу восхищенных придворных — правая нога выдвинута, голова опущена на грудь, левая рука упирается в бок, правая поднята, пальцы прижаты ко лбу, словно он погружен в мучительное раздумье. Но вот с его губ срывается блестящая эпиграмма, или подходящий к случаю куплет, или глубокомудрое изречение; однако автор их не он — Сенека даром, как говорится, свой хлеб не ест. Я желаю друзьям Нерона, чтобы он и дальше радовал их. Я желаю того же Риму и Агриппинилле, и Сенеке тоже. Я узнал в приватном порядке через сестру Сенеки (тайная приятельница Нарцисса, которая сообщает нам множество полезных сведений о нынешнем любимчике народа), что в ночь перед тем, как Сенека получил мой приказ вернуться, ему приснилось, будто он — наставник Калигулы. Я считаю это предзнаменованием.

Перед новым годом я позвал к себе Ксенофонта и поблагодарил за то, что он помог мне так долго оставаться в живых. Затем я выполнил данное ему обещание, хотя пятнадцать лет еще не истекли, и получил от сената согласие на бессрочное освобождение от налогов и военной службы его родного острова Кос. В моей речи сенату я подробно остановился на заслугах многих поколений знаменитых врачей — уроженцев этого острова, которые все притязают на то, что предком их является бог врачевания Эскулап, и со знанием дела разобрал применяемые ими методы лечения; закончил я отцом Ксенофонта, который был полковым лекарем при моем отце во время германских кампаний, и самим Ксенофонтом, которого я превознес выше их всех. Несколько дней спустя Ксенофонт попросил разрешения остаться при мне еще несколько лет. Он не объяснил это преданностью, или благодарностью, или привязанностью, хотя я немало для него сделал — поразительно бесстрастный человек! — нет, он обосновал свою просьбу тем, что во дворце ему удобно заниматься научной работой.

Должен признаться, что, оказывая Ксенофонту все эти почести, я рассчитывал на то, что он поможет мне осуществить план, который требовал величайшей секретности и осторожности. Я был обязан отдать этот долг самому себе и моим предкам. Речь идет ни меньше, ни больше, как о спасении Британика. Разрешите мне сейчас объяснить, почему я сознательно предпочел ему Нерона, почему дал такое старомодное воспитание, почему так тщательно оберегал от влияния придворных, от знакомства с пороками и лестью. Начнем с того, что я знал: моим преемником на троне будет Нерон; ему суждено продолжать это проклятое дело — тиранию, ему суждено наслать на Рим бедствия и заслужить вечную ненависть сограждан, ему уготовано судьбой быть последним из безумных цезарей. Да, все мы безумны, мы, императоры. В начале мы ведем себя вполне здраво, как Август, Тиберий, даже Калигула (человек он был злой и порочный, но сперва вполне разумный), — это монархия заставляет нас терять рассудок. Конечно же, после смерти Нерона республика возродится, говорил я себе, и я хотел, чтобы возродил ее Британик. Но как ему остаться в живых, пока правит Нерон? В Риме Нерон обязательно умиртвит его, как Калигула умертвил Гемелла. Я решил, что Британика надо переправить в

какое-нибудь безопасное место, где он сможет вести благородную и нравственную жизнь, как наши предки Клавдии в стародавние времена, чтобы в сердце его не погасло пламя истинной свободы.

«Но весь мир принадлежит теперь Риму, за исключением Германии, Востока, скифских пустынь к северу от Черного моря, неизведанной Африки и дальних районов Британии; где мой Британик будет в безопасности, где Нерон бессилен?» — спрашивал я себя. — «Не в Парфии или Аравии: хуже не выберешь. И не в Германии, я никогда не любил германцев. При всех своих варварских добродетелях, они наши естественные враги. Об Африке и Скифии я почти ничего не знаю. Для Британика есть лишь одно место, и это — Британия. Северные британцы одной расы с нами. Королева бригантов Картимандуя — моя союзница. Она благородная и мудрая правительница и поддерживает добрососедские отношения с моей провинцией в южной Британии. Ее полководцы — храбры и любезны. Юный пасынок Картимандуи, ее наследник, прибывает к нам в мае вместе с целой оравой молодых знатных британцев и будет гостить у меня во дворце. Я поселю его в покоях Британика и сделаю так, чтобы они стали кровными братьями, согласно обычаю британцев. Гости пробудут у нас все лето. Когда они отплывут обратно (а я пошлю их долгим путем, из Остии в их порт Хамбер), Британик отправится вместе с ними. Он выкрасит лицо и тело синей краской, наденет красную блузу и клетчатые штаны, в которых щеголяют молодые британцы, и повесит на шею золотые цепочки. Никто его не узнает. Я засыплю принца подарками и свяжу его священной клятвой скрыть от всех, кроме королевы, кто Британик такой, и проследить, чтобы он не подвергся опасности. А принц возьмет такую же клятву со всех, кто его сопровождает. При дворе Картимандуи Британика представят в качестве молодого грека знатного происхождения, чьи родители умерли, ничего ему не оставив, и он приехал в Британию в поисках счастья. В Риме его никто не хватится. Я распушу слух, что он заболел, Ксенофонт и Нарцисс помогут мне в этом обмане. Затем будет объявлено, что Британик скончался. У Ксенофонта было данное мной письменное разрешение завербовать для вскрытия тело любого раба, умершего в больнице на острове Эскулапа (он пишет научную работу о сердечных мышцах). Неужели он не найдет подходящий труп, чтобы использовать его в качестве останков Британика? При дворе Картимандуи Британик достигнет зрелого возраста, он научит бригантов всем ремеслам, которым я старался его обучить. Если он станет держаться скромно, у него не будет недостатка в друзьях. Картимандуя позволит ему молиться нашим богам. От римлян он будет держаться подальше. После смерти Нерона он откроется всем и вернется в Рим как спаситель родины».

Это был прекрасный план, и я делал все возможное, чтобы привести его в исполнение. Когда принц бригантов прибыл к нам, Британик поселил его у себя, и вскоре между ними завязалась тесная дружба. Они выучили друг друга своему родному языку и пользованию национальным оружием. Они побратались, не спрашивая меня, и обменялись подарками. Я радовался, что все идет так хорошо. Я рассказал Ксенофонту и Нарциссу о своем плане. Они обещали мне помочь. Все было наготове. И посмотрите, что из этого вышло! Мой хитроумный замысел оказался напрасным.

Три дня назад, рано утром, когда весь дворец еще спал, Нарцисс привел ко мне Британика. Я обнял его с жаром, который скрывал уже много лет. Я объяснил ему, почему я так относился к нему все последние годы. Мной руководили не жестокость или небрежение, сказал я, а любовь. Я процитировал ему слова оракула, переданные мне перед смертью Августом: «Ранивший исцелит». Я рассказал ему о предсказании сивиллы и моем стремлении спасти из гибнущего Рима того, кого я люблю больше всех на свете — его самого. Я напомнил ему о роковой истории нашего рода и умолял его согласиться на мой план, в котором заключался единственный шанс его

избавления от смерти.

Британик внимательно слушал меня, но тут он воскликнул:

— Нет, отец, нет! Отец, признаюсь, я ненавижу тебя со дня гибели матери. Я очень плохо думал о тебе. Для меня ты был педант, трус и глупец, я стыдился, что я твой сын. Вижу теперь, что был несправедлив. Прости меня. Но сделать то, что ты просишь, я не могу. Нет. Это бесчестно. Клавдий не должен красить лицо в синий цвет и прятаться среди варваров. Я не боюсь Нерона, Нерон трус. Разреши мне надеть мужскую тогу в этом году. Мне исполнится только тринадцать, но ты простишь мне один недостающий год: я высокий и сильный для своих лет. Как только я официально буду считаться взрослым, я смогу соперничать с Нероном на равных, несмотря на преимущества, которые ты ему предоставил и несмотря на его мать. Сделай нас сонаследниками, и мы еще посмотрим, чья возьмет. Это мое право как твоего сына. Да и не верю я в республику. Нельзя повернуть историю вспять. Это слова моей прабабки Ливии, и она была права. Мне нравятся стародавние дни не меньше, чем тебе, но я не слепой. Республика мертва, мертва для всех, кроме таких ветхозаветных людей, как ты и Сосибий. Теперь Рим — империя, и выбирать можно только между хорошим императором и плохим. Сделай меня сонаследником вместе с Нероном, и мне не будут страшны никакие предсказания. Поживи еще несколько лет, отец, ради меня. И тогда, когда ты умрешь, я смогу занять твое место и править, как положено. Гвардейцы меня любят и доверяют мне. Гета и Криспин сказали, что после твоей смерти они сделают императором меня, а не Нерона. Я буду хорошим императором, таким, каким был ты до того, как женился на мачехе. Дай мне настоящих учителей, от моих мне никакого толку. Я хочу изучать красноречие, я хочу разбираться в финансах и законах, я хочу научиться быть императором!

Никакие мои слова, даже слезы не могли переубедить его. Я потерял всякую надежду его уберечь; ни один врач не спасет жизнь пациента, если тот твердо решил умереть. Я делаю все, что он просит, и всячески балую его. Я рассчитал Сосибия и других учителей и нанял новых. Я обещал отпраздновать его совершеннолетие в первый день нового года и изменил свое завещание в его пользу: в старом он почти не упоминался. Сегодня я произнес в сенате прощальную речь и смиренно рекомендовал сенаторам Нерона и Британика как моих наследников-соправителей, а затем обратился к ним самим с длинным и торжественным увещанием, призывая их к братской любви и согласию, а сенат — к тому, чтобы они засвидетельствовали, что я их к этому призывал. Но с какой иронией я все это говорил! Я знал так же верно, как то, что огонь горяч, а лед холоден, что мой Британик обречен, и не кто иной, как я, присуждаю его к смерти и обрываю последний росток со старинного дерева, произросшего от Аппия Клавдия Слепого. Я, глупец.

У меня устали глаза, рука дрожит, я с трудом вывожу буквы. В последнее время появились странные знамения. На полуночном небе ярко сверкает большая комета, вроде той, что предвещала смерть Юлию Цезарю, Из Египта передали, что там видели феникса. Он прилетел, как обычно, из Аравии в сопровождении стаи других птиц. Я не думаю, чтобы это был настоящий феникс, тот показывается раз в тысячу четыреста шестьдесят один год, а с тех пор, как в царствование Птолемея III из Гелиополя сообщали о настоящем фениксе, прошло всего двести пятьдесят лет, но все же феникс есть феникс. И точно этих чудес — кометы и феникса — было мало, в Фессалии родился кентавр. Его привезли ко мне в Рим (через Египет, где его осмотрели александрийские доктора), и я дотрагивался до него собственными руками. Он прожил всего один день и лежал в бочонке с медом, но это был настоящий кентавр, самого высшего сорта, из тех, у которых не ослиное туловище, а круп коня. Феникс, комета, кентавр, рой пчел над знаменами в лагере гвардейцев, поросенок с когтями, как у орла, и молния, ударившая в памятник моего отца Друза! Вам недостаточно этого, прорицатели?

А теперь ни слова больше, Тиберий Клавдий, бог британцев. Больше ни слова.

Три описания смерти Клавдия

I. СВЕТОНИЙ. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ

...Вскоре затем он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Он пошел бы и дальше, но встревоженная этим Агриппина, которую уже не только собственная совесть, но и многочисленные доноскики обличали в немалых преступлениях, опередила его.

Умер он от яда, как признают все; но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Одни сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушания за трапезой жрецов на Капитолии, другие — что сама Агриппина за домашним обедом поднесла ему отраву в белых грибах, его любимом лакомстве. Что случилось потом, также рассказывают различно. Большинство сообщает, что тотчас после отравления у него отнялся язык и он, промучась целую ночь, умер на рассвете. Некоторые же передают, что сперва он впал в беспамятство, потом от переполнения желудка его вырвало всем съеденным, и отраву ему дали вновь — то ли подложив в кашу, будто ему нужно было подкрепиться после рвоты, то ли введя ее с промыванием, чтобы этим якобы облегчить его от тяжести в желудке.

Смерть его скрывали, пока не обеспечили все для его преемника. Приносили обеты о его здоровье, словно он был болен, приводили во дворец комедиантов, словно он желал развлечься. Скончался он в третий день до октябрьских календ в консульство Азиния Марцелла и Ацилия Авиолы, на шестьдесят четвертом году жизни и четырнадцатом году власти. Погребенный с пышностью, подобающей правителю, он был сопричтен к богам; впоследствии Нерон отказал ему в этих почестях и отменил их, но затем Веспасиан восстановил их вновь.

Предвещанием его смерти были важные знамения. На небе явилась хвостатая звезда, так называемая комета; молния ударила в памятник его отца, Друза; много должностных лиц, больших и малых, скончалось в тот же год. Да и сам он, как кажется, знал и не скрывал близости своего конца. Это видно из того, что при назначении консулов он назначил их только до месяца своей смерти; в последний раз присутствуя в сенате, он всячески увещевал сыновей своих жить меж собой в согласии и с мольбой просил сенаторов позаботиться об их молодости; а в последний раз заседаая в суде, он произнес, что близок его жизненный предел и, несмотря на общее возмущение, повторял это снова и снова.

II. ТАЦИТ. АННАЛЫ. КНИГА 12

...Под гнетом тяжких забот Нарцисс занемог и для восстановления сил мягкой погодой и целебными водами отправился в Синуэссу. Тогда Агриппина, уже давно решившаяся на преступление и торопившаяся воспользоваться удобным случаем, тем более что у нее были слуги, на которых она могла положиться, задумалась о том, какой вид яда ей следует применить: если его действие будет внезапным и быстрым, то как бы не раскрылось ее преступление; если же она изберет медленно действующий и убивающий исподволь, то как бы Клавдий на пороге смерти не понял, что он жертва коварства, и не возвратил своей любви сыну. Ей было желательно нечто особенное, такое, от чего помутился бы его разум и последовало постепенное угасание. И она разыскивает поднаторевшую в этих делах искусницу по имени Локуста, недавно осужденную за отравления, которую еще ранее долгое время использовали как орудие самовластия. Мастерством этой женщины был составлен

соответствующий яд; дал же его Клавдию евнух Галот, в обязанности которого входило приносить и отвеживать предназначенные для Клавдия кушанья.

Вскоре все стало настолько явным, что писатели того времени подробно рассказали о происшедшем: яд был примешан к изысканному грибному блюду; что Клавдий отравлен, распознали не сразу из-за его беспечности или, может быть, опьянения; к тому же приступ поноса доставил ему видимое облегчение. Пораженная страхом Агриппина, опасаясь для себя самого худшего и не обращая внимания на неприязнь присутствующих, обращается к ранее предусмотренной помощи врача Ксенофонта. И тот, как бы затем, чтобы вызвать рвоту, ввел в горло Клавдия смазанное быстродействующим ядом перо, хорошо зная, что, если затевать величайшие преступления невозможно, не подвергаясь опасности, то зато преуспевший в них щедро вознаграждается.

Между тем созывались сенаторы; консулы и жрецы провозглашали торжественные обеты, молясь об исцелении принцепса, тогда как его, уже бездыханного, обкладывали припарками и покрывалами с намерением скрывать его смерть, пока не будут приняты меры, которыми была бы закреплена за Нероном верховная власть. Как бы убитая горем и ищущая утешения Агриппина сразу же после кончины Клавдия припала к Британику и заключила его в объятия; называя его точным подобием отца, она всевозможными ухищрениями не выпускала его из покоя, в котором они находились. Задержала она при себе и его сестер Октавию и Антонию и, приставив стражу ко всем дверям, время от времени объявляла, что состояние принцепса улучшается, делая это ради того, чтобы поддерживать в воинах надежду на хороший исход и дожидаться благоприятного часа, указанного предвещаниями халдеев.

И вот в полдень, в третий день до октябрьских ид, внезапно широко распахиваются двери дворца и к когорте, по заведенному в войске порядку охранявшей его, выходит сопровождаемый Бурром Нерон. Встреченного по указанию префекта приветственными кликами, его поднимают на носилках. Говорят, что некоторые воины заколебались; озираясь по сторонам, они спрашивали, где же Британик; но так как никто не призвал их к возмущению, им только и оставалось покориться. Принесенный в преторианский лагерь Нерон, произнеся подобавшую обстоятельствам речь и пообещав воинам столь же щедрые, как его отец, денежные подарки, провозглашается императором. За решением войска последовали указы сената: никаких волнений не было и в провинциях. Клавдию определяются почести, воздаваемые богам, и похороны его обставляются с такой же торжественностью, с какой был похоронен Август, ибо Агриппина соревновалась в пышности со своей прабабкой Ливией. Завещание его, однако, оглашено не было, дабы предпочтение, отданное им пасынку, хотя у него был собственный сын, своею несправедливостью не смутило простой народ и не вызвало в нем негодования.

III. КАССИЙ ДИОН. РИМСКАЯ ИСТОРИЯ. КНИГА LXI (в переложении Ксифилина и Зонары)

Клавдий, вознегодовав на Агриппину за ее происки, в которых он все больше убеждался, призвал к себе сына своего Британика, коего она умышленно не пускала к нему на глаза (ибо делала все возможное, чтобы посадить на трон Нерона, своего сына от первого брака с Домицием), и стал открыто выражать любовь к мальчику всякий раз, что встречал его. Он не желал более мириться с поведением Агриппины и намеревался положить конец ее власти, разрешить сыну надеть *toga virilis* и объявить его наследником престола. Узнав об этом, Агриппина пришла в смятение и поспешила предвосхитить события, отравив Клавдия. Но поскольку он всегда пил за едой много вина и брал все те меры, что были в обычае у императоров, дабы

защитить свою жизнь, причинить ему вред было не так-то легко. Поэтому Агриппина послала за известной отравительницей по имени Локуста, которую незадолго до того осудили за это самое преступление, с ее помощью приготовила яд, за смертоносное действие которого та ручалась, и подсыпала его в овощи под названием грибы. Затем сама отведала их с одного блюда, а мужу положила с другого, куда был подмешан яд, сказав, что они крупнее и лучше. И вот жертву заговора унесли с пира как бы во хмелю, что частенько случалось и раньше, а ночью яд возымел свое действие, и Клавдий испустил дух, не могучи ни услышать, ни произнести ни слова. Было это тринадцатого октября; он прожил шестьдесят три года, два месяца и тринадцать дней, быв императором в течение тринадцати лет, восьми месяцев и двадцати дней.

Агриппине удалось осуществить задуманное лишь благодаря тому, что она заранее отправила Нарцисса в Кампанию под тем предлогом, будто ему необходимо пить тамошние воды для исцеления от подагры. Если бы он был в Риме, ей ничего не удалось бы достичь, так неусыпно оберегал он своего хозяина. Однако теперь его смерть последовала сразу же за смертью Клавдия. Его убили возле могилы Мессалины — случайное совпадение, хотя это и выглядело исполнением ее мстительных угроз.

Так вот Клавдий встретил свою смерть. Событие это, казалось, предвещали и комета, которая долго была видна на небе, и кровавый дождь, и молния, ударившая в знамена преторианцев, и то, что в храме Юпитера Победоносца сами собой открылись ворота, и рои пчел в преторианском лагере, и смерть должностных лиц каждого ранга. Император был предан земле с подобающей пышностью и получил все прочие почести, жалованные в свое время Августу. Агриппина и Нерон делали вид, будто скорбят по убитому ими человеку, и вознесли на небо того, кого вынесли с пира на носилках. По этому поводу Луций Юний Галлион, брат Сенеки, сделал очень остроумное замечание. Сам Сенека сочинил сатиру, которую он назвал «Отыквление Клавдия» (по сходству с «обожествлением»), а брату его приписывают фразу, где сказано очень много в нескольких словах. В связи с обычаем тащить на Форум тела казненных в тюрьме преступников большими крюками, а затем ими же скидывать их в Тибр, Луций Юний заметил, что Клавдия втащили крюком на небо. Нерон тоже оставил нам фразу, стоящую того, чтобы ее запечатлеть. Он сказал, что грибы — пища богов, поскольку именно благодаря грибам Клавдий попал на небо.

После смерти Клавдия правление страной по справедливости должно было перейти к Британику, бывшему его законным сыном, к тому же опередившему физическим развитием свои лета; однако, согласно законам, власть принадлежала также и Нерону, поскольку он был усыновлен императором. Право всегда на стороне силы, и притязания справедливы, если подкреплены оружием, ибо на чьей стороне армия, на той стороне и право, не важно, что делает или говорит правитель. Поэтому Нерон, уничтожив сперва завещание Клавдия и заполучив империю, убрал Британика и его сестер со своего пути. К чему же нам тогда сокрушаться о несчастьях, выпавших на долю других его жертв?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сенеку по приказу Нерона вынудили покончить жизнь самоубийством в 65 г. н. э. Он пережил большинство персонажей этой истории. Британика отравили в 55 году. Паллант, Бурр, Домиция, остававшиеся еще в живых Силаны, Октавия, Антония, Фавст Сулла — все умерли насильственной смертью. Агриппинилла выпустила Нерона из рук после двух первых лет его правления и обрела былое влияние, лишь согласившись вступить с ним в кровосмесительную связь. Затем он попытался избавиться от нее, отправив в море на дырявом судне, которое развалилось на части

довольно далеко от суши. Она благополучно доплыла до берега. В конце концов он послал солдат убить ее. Агриппинилла храбро приняла смерть, приказав им поразить ее в живот, где она выносила такого чудовищного сына. Когда в 68 г. н. э. сенат объявил Нерона врагом нации и он, по собственной его просьбе, был умерщвлен слугой, не осталось ни одного члена императорской династии, чтобы наследовать ему. В 69 г. н. э. — время анархии и гражданских войн — четыре императора сменили друг друга, а именно — Гальба, Отон, Авл Вителлий и Веспасиан. Веспасиан был милостивым правителем и основал династию Флавиев. Республика так и не была возрождена.

Комментарии

Действие второй части дилогии Р. Грейвза, романа «Божественный Клавдий», разворачивается в эпоху правления императора Клавдия, продолжавшуюся с 41 по 54 гг. н. э. Этот период, по оценкам историков, как древних, так и современных, выделялся относительным спокойствием, по крайней мере во внутренней жизни страны. В Риме был построен новый водопровод, проложены дороги, обновлены сооружения города Остии — главного порта Италии.

Внешняя политика Клавдия, с точки зрения императорского мышления, представляется весьма разумной. Активность постоянных врагов Рима — германцев успешно сдерживалась по принципу «разделяй и властвуй»: римляне поддерживали борьбу между германскими племенами, не допуская их объединения. В 50 г. на территории племени убиев было основано римское поселение Колония Агриппина (будущий Кельн), ставшее вскоре центром романизации германцев. При Клавдии была завоевана значительная часть Британии, а новый город Камулодун (будущий Колчестер) вместе с Лондиниумом (Лондоном) сделался своеобразной столицей этой отдаленной римской колонии. В Африке была покорена Мавритания, в Европе — Фракия: обе страны превратились в римские провинции.

Клавдию удалось на какое-то время положить конец борьбе между иудеями и греками в Александрии: в романе этому сюжету уделено немало места. Иудея при Клавдии из провинции была вновь обращена в вассальное царство во главе с Иродом Агриппой. Политика Клавдия в отношении провинций вообще отличалась последовательным рационализмом. Из нововведений в этой области стоит отметить предоставление в 48 г. жителям Галлии права быть избранным в сенат, что положило начало привлечению в высший орган власти Рима провинциальной знати.

Надо отметить, что объективные источники, например эпиграфические документы, дают основание считать Клавдия довольно энергичным правителем, активно занимавшимся делами государства, по крайней мере в первой половине своего правления. Историки Тацит и Светоний, рисуящие Клавдия человеком слабохарактерным, пассивным, непостоянным, по-видимому, все же пристрастны.

Клавдий Роберта Грейвза — вполне разумный властитель и, кроме того, глубокий интеллектual, наделенный столь симпатичными качествами, как чувство юмора, ирония, проницательность. Однако в романе Грейвза немало признаков жанра, который можно обозначить как «историческая фантазия». Отсюда — определенные трудности в комментировании. Так, оказывается невозможным объяснение многих военных реалий, которые сознательно «осовременены» автором. Разумеется, никаких «сержантов» или «полковников» в римской армии не было, но были центурионы и легаты. Точно так же обилие современных географических названий следует воспринимать в контексте эстетических установок Грейвза.

Ниже комментируются только строго исторические реалии, без уяснения которых правильное понимание мотивов повествования, возможно, будет затруднено.

В ряде случаев наилучшим комментатором выступает сам Грейвз, дающий необходимые пояснения от лица Клавдия: здесь какие бы то ни было ссылки излишни.

С. Трохачев